

ПРОВЕРЕНО
1959 г.

Николай Павлович
Конаковъ.

С 42(с) р
С 57
80/0
С-57

ИСТОРИЯ

ПРОВЕРЕНО
1959 г.

НОВѢЙШЕЙ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(1848—1890)

А. М. Скабичевскаго.

Цѣна 2 руб.

Изданіе Ф. Павленкова.

НГПУ
проверено
1995 г.

Ц/ф

4576 193 г
№ 7884

Скабичевъ

Московский Центральный книжный магазин
С. А. Югансона въ КИЕВѢ

НКП-РСФСР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
Учительский институт
Новосибирский

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Консультативный Г. Т.

ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ „НОВОСТИ“, ЕКАТЕРИНИНСКІЙ КАНАЛЪ, Д. 113.

1891.

Педвуз

№

1707

1707

REPUBLICAN PARTY

1860

1860

1860

1860

1860

1860

ОГЛАВЛЕНІЕ.



1. Общій обзоръ литературнаго движенія въ разсматриваемую эпоху и исторія критики.

- ГЛАВА I.—Слѣдуетъ-ли ставить Гоголя во главѣ новаго періода литературы съ эстетической точки зрѣнія и со стороны содержанія его произведеній.—Картинны старыхъ литературныхъ нравовъ.—Московскіе философскіе кружки тридцатыхъ годовъ, приведшіе къ полному измѣненію литературныхъ нравовъ.—Типъ умственнаго развитія стараго періода.—Новый типъ умственнаго развитія.—Народность, какъ основная идея новаго періода литературы 1.
- ГЛАВА II.—Общая картина реакціи пятидесятыхъ годовъ и давленіе ея на литературу. Безцвѣтность и безхарактерность всѣхъ органовъ печати. Исчезновеніе направленій. Кочующіе писатели.—Преобладаніе въ журналахъ специальныхъ научныхъ статей и мелочныхъ библиографическихъ изысканій.—Сказочная великосвѣтская беллетристика. Барышническая полемика. Отсутствие общественной сатиры.—Бюрократическіе оппортунисты въ литературѣ, ихъ идеалы и преобладаніе въ журналистикѣ пятидесятыхъ годовъ.—Петербургскіе критики пятидесятыхъ годовъ: А. В. Дружининъ и П. В. Анненковъ, какъ представители оппортунистовъ. Общій характеръ этой критики. Выдержки изъ статей Дружинина.—Забвеніе всѣхъ завѣтовъ сороковыхъ годовъ. Отрицаніе критики Бѣлинскаго и натуральной школы. Культъ Пушкина. Возвращеніе къ теоріи чистаго искусства 15.
- ГЛАВА III.—Московская оппозиція: изданіе *Пропілеевъ* и возникновеніе славянофильства. — Религіозныя и философско-историческіе взгляды первыхъ славянофиловъ. — Общественныя ихъ доктрины и демократическія тенденціи.—Погромы, испытанныя ими.—Литературныя заслуги славянофиловъ и ихъ критическіе взгляды.—Почвенники и ихъ ученіе. Критики почвенниковъ: Ап. Григорьевъ и Н. Страховъ. Точки соприкосновенія почвенниковъ съ петербургскими оппортунистами.—О. Ѳ. Миллеръ 28.
- ГЛАВА IV.—Одичаніе общества и забвеніе всѣхъ идей сороковыхъ годовъ въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ. Статья Пирогова: *Вопросъ жизни*, какъ образецъ этого одичанія.—Характеръ оживленія общества послѣ крымской кампаніи. Три различныя теченія въ шестидесятые годы и два періода этой эпохи.—Движеніе эстетическихъ идей послѣ смерти Бѣлинскаго. Теорія В. Майкова.—Биографическія данныя о жизни Н. Г. Чернышевскаго.—Диссертация его: «Отношеніе искусства къ дѣйствительности» 49.
- ГЛАВА V.—Дѣтство и семинарскіе годы Н. А. Добролюбова. — Пребываніе его въ педагогическомъ институтѣ и остальная жизнь его.—Философскіе и моральныя взгляды Добролюбова.—Эстетическія теоріи Добролюбова. Смена отрицанія искусства. Вопросъ о народности литературы.—Публицистическій характеръ критики Добролюбова.—Двѣ категоріи публицистическихъ взглядовъ Добролюбова.—Противорѣчія Добролюбова, обусловливаемые двойственностью эпохи. Разносторонность литературной дѣятельности Добролюбова. 68.

ГЛАВА VI.—Индивидуально-нравственный характеръ движенія во второй периодъ шестидесятыхъ годовъ. Два полюса этого движенія.—Значеніе <i>Русскаго Слова</i> и характеръ его сотрудниковъ.—Д. И. Писаревъ. Характеристика личности. Дѣтство.—Гимназическіе и студенческіе годы Писарева.—Послѣдній періодъ его жизни	Стр. 86.
ГЛАВА VII.—Четыре стороны литературной дѣятельности Писарева. Эстетическіе взгляды Писарева.—Отрицаніе Пушкина.—Нравственный идеалъ Писарева въ образѣ Базаровскаго типа.—Признаніе естественныхъ наукъ панацеею общественнаго прогресса и сведеніе всего къ этой точкѣ зрѣнія.—М. А. Антоновичъ.—Н. К. Михайловскій.	103.

II. Школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ.

ГЛАВА VIII.—Общая характеристика школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ; ея отношеніе къ вѣку и значеніе.—И. С. Тургеневъ, какъ глава этой школы; происхожденіе Тургенева; его родители.—Дѣтство; университетское образованіе; путешествіе за-границу послѣ университета.—Первые шаги на литературномъ поприщѣ. Стихотворенія и первыя антиромантическія повѣсти.— <i>Записки охотника</i> ; ссылка. Дальнѣйшіе факты жизни Тургенева до его смерти.—Характеристика самаго цвѣтущаго періода дѣятельности Тургенева.—Романъ <i>Отцы и дѣти</i> и характеристика четвертаго, послѣдняго періода дѣятельности Тургенева.—Общее значеніе Тургенева, какъ художника. Его политическія и эстетическія воззрѣнія	121.
ГЛАВА IX.—Родители, воспитатели Гончарова и его дѣтство.—Воспитаніе школьное и университетское.—Служба.—Первые литературные опыты.—Знакомство съ литературными кружками.—Выходъ въ свѣтъ <i>Обыкновенной исторіи</i> .—Среда, вліявшая на умственное развитіе Гончарова и складъ его таланта.—Различіе качествъ этого таланта отъ тургеневскаго.—Дальнѣйшіе факты его жизни.—Путешествіе кругомъ свѣта.— <i>Фрегатъ Паллада</i> .— <i>Обломовъ</i> .— <i>Обрывъ</i> и остальные его сочиненія	142.
ГЛАВА X.—Гр. Л. Н. Толстой въ отличіи его отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Дѣтскіе и юношескіе годы его до севастопольской кампаніи включительно.—Характеристика его произведеній этого періода его жизни.—Увлеченіе прогрессомъ конца пятидесятыхъ годовъ и первыя сомнѣнія въ немъ и въ европейской цивилизаціи вообще. Произведенія петербургскаго періода его жизни.—Л. Н. Толстой въ деревнѣ. Его педагогическая дѣятельность; педагогическія статьи и начало полного отрпцанія и скептицизма во всемъ окружающемъ.—Пятнадцать лѣтъ послѣ женитьбы. Раздвоеніе. Романъ <i>Война и миръ</i> .—Душевный переворотъ на пятидесятомъ году его жизни. Связь этого переворота съ прежнимъ теченіемъ мыслей Л. Н. Толстого. Результаты переворота.—Романъ <i>Анна Каренина</i> . Теолого-мистическія сочиненія Л. Н. Толстого и прочія произведенія послѣднихъ лѣтъ его жизни	160.
ГЛАВА XI.—Дѣтство и воспитаніе Ф. М. Достоевскаго.—Жизнь до ссылки.—Ссылка. Женитьба. Возвращеніе. Изданіе журналовъ.—Остальная жизнь до смерти.—Отличіе Достоевскаго отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ по міросозерцанію и характеру творчества.—Сложность сюжетовъ. Психіатрическій анализъ. Жестокость. Преобладающіе типы.—Два періода его литературной дѣятельности и характеръ каждаго періода. Проблески свѣта среди реакціоннаго мрака	183.
ГЛАВА XII.—С. Т. Аксаковъ.—Д. В. Григоровичъ.—А. Ф. Писемскій.—М. В. Авдѣевъ.—Женщины-беллетристки: Н. Д. Хвоцинская, Н. С. Соханская (Кохановская)	203.

III. Беллетристы-народники.

ГЛАВА XIII.—Преобладаніе беллетристики изъ народнаго быта. Идеалистически-сентиментальное воззрѣніе на народъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Марко-Вовчекъ.—Смѣхотворно-отрицательное отношеніе къ народу. Н. В. Успенскій и В. А. Слѣпковъ.—Оффиціальное изученіе народнаго быта. С. В. Максимовъ, Г. П. Давилевскій.—П. И. Мельниковъ.—Начало объективнаго изученія народнаго быта. П. И. Якушинъ.	223.
ГЛАВА XIV.—Беллетристы-народники изъ разночинцевъ и внесеніе ими новаго духа въ изображенія народнаго быта. Ф. М. Рѣшетниковъ и его дѣтство.—Юсестъ Рѣшетникова до пріѣзда въ Петербургъ.—Факты	

- послѣдующихъ лѣтъ его жизни. *Подливовцы* и прочія его сочиненія.— Стр.
 А. И. Левитовъ. Факты и обстоятельства его жизни.—Сравненіе Левитова съ
 Рѣшетниковымъ. *Степные очерки* Левитова.— Характеръ и содержаніе
 послѣдующихъ его произведеній.—Н. И. Наумовъ. Его жизнь и сочиненія . 246.
- ГЛАВА XV.—Г. И. Успенскій и Н. Н. Златовратскій, какъ представители
 новой и послѣдней фазы беллетристики изъ народнаго быта. Дѣтство и юность
 Г. И. Успенскаго и неблагоприятныя условія первыхъ десяти лѣтъ его
 творчества.—Общій характеръ творчества Г. Успенскаго и характеристика
 перваго, разночинскаго, періода его дѣятельности.—Переходное состояніе и
 вступленіе во второй періодъ дѣятельности, мужицкій.—Г. Успенскій въ
 качествѣ разрушителя иллюзій въ возрѣвнѣхъ интеллигенціи на народѣ.—
 Г. Успенскій у источника. *Власть земли* и значеніе очерковъ, группирующіеся
 вокругъ этого произведенія.—Биографическія свѣдѣнія о Златовратскомъ.—
 Характеристика сочиненій Златовратскаго и выводимыхъ имъ типовъ. 267.

IV. Беллетристы-публицисты.

- ГЛАВА XVI.—Беллетристы-публицисты. Ихъ дѣленіе по партіямъ. М. Е. Сал-
 тиковъ, какъ представитель демократической партіи. Дѣтскіе годы его и
 воспитаніе.—Ссылка, возвращеніе, служба, женитьба и редакторская дѣ-
 ятельность.—Черты его характера. Послѣдующіе годы и смерть.—Первый
 дореформенный характеръ его литературной дѣятельности. *Губернскіе*
очерки.—Второй періодъ, современный реформамъ. *Помпадуры и помпадуриши*.
Исторія одного города.—Третій періодъ—пореформенный (шестидесятые и
 семидесятые годы). *Ташкентцы*. *Дневникъ провинціала*. *Головлевы*.—Траги-
 ческій элементъ въ позднѣйшихъ сатирахъ Салтыкова.—Четвертый пе-
 ріодъ восьмидесятыхъ годовъ. *Мелочи жизни*. *Сказки*. *Пошехонская старина*. 298
- ГЛАВА XVII.—Н. Г. Помяловскій. Его дѣтство, воспитаніе и семинарскіе
 годы.—Остальные годы его жизни.—Характеристика его сочиненій: *Очерки*
бурсы, *Мышанское счастье*, *Молотовъ*, *Братъ и сестра*, *Портычане*.—Возни-
 кновеніе идеалистической школы беллетристики *Русскаго слова*, причины ея
 развитія и особенности ея. А. К. Шеллеръ. Главные факты его жизни.—
 Характеристика его произведеній.—Прочіе представители этой школы:
 П. В. Засодимскій, Н. Ѳ. Бажинъ, И. В. Ѳедоровъ (Омулевскій) 318.
- ГЛАВА XVIII.—Общая характеристика тенденціозной беллетристики либе-
 ральнаго лагеря. П. Д. Боборыкинъ. Факты его жизни и характеристика
 его литературной дѣятельности.—Е. Л. Марковъ, его жизнь и романы.—
 В. И. Немировичъ-Данченко, какъ путешественникъ, романистъ и поэтъ.—
 С. Н. Терпигоревъ. И. Саловъ.—Н. Д. Ахшарумовъ. Н. А. Лейкинъ. 329.
- ГЛАВА XIX.—Общая характеристика реакціонной беллетристики и ея шаб-
 лонъ—В. П. Клошниковъ.—Н. С. Лѣсковъ.—В. В. Крестовскій.—Б. М. Мар-
 кевичъ. В. Г. Авсеенко. К. Ѳ. Головинъ. В. П. Авенаріусъ 351.

V. Историческая беллетристика.

- ГЛАВА XX.—Два періода историческаго романа въ Россіи. Характеристика
 перваго періода. Движеніе исторіографіи въ шестидесятые годы, подгото-
 вившее второй періодъ.—Историческіи повѣсти и романы Н. И. Костомаро-
 ва.—*Князь Серебряный* А. Толстого. *Война и миръ* Л. Толстого. *Два пор-
 трета* Тургенева. *Старые юды* Мельникова. Историческіе романы Г. П. Да-
 нилевскаго, Д. Л. Мордовцева и Е. П. Карновича.—Романы Е. А. Саліаса-де-
 Турнемира. Характеристика дубочнаго историческаго романа и представитель
 его Вс. Соловьевъ. 364.

VI. Беллетристы восьмидесятыхъ годовъ.

- ГЛАВА XXI.—Новая беллетристическая школа, вызванная реакціею семи-
 десятыхъ годовъ, и ея особенности.—А. О. Новодворскій.—Биографическія
 свѣдѣнія о жизни В. М. Гаршина.—Характеристика его произведеній . . . 378.
- ГЛАВА XXII.—І. І. Ясинскій.—М. Н. Альбовъ.—К. С. Баранцевичъ.—Пе-
 тропавловскій (Каролинъ). А. И. Эргель. Г. А. Мачтетъ.—В. Г. Коро-
 ленко.—Маминъ (Сибирякъ). Д. Голцинь (Муравинъ). А. П. Чеховъ.
 В. І. Дмитриева. А. А. Винницкая. О. В. Шапиръ. М. В. Крестовская. . . 396.

VII. Драма и комедія.

- ГЛАВА XXIII.—А. Н. Островскій, какъ создатель русской сцены. Дѣтство и юность его.—Начало литературной дѣятельности и первый періодъ ея до эпохи реформъ.—Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни, недостатокъ матеріальныхъ средствъ и несправедливости. Улучшеніе его положенія въ послѣдніе годы жизни.—Общая характеристика пьесъ Островскаго: ихъ образцовая реальность, классическая простота и жизнерадостность.—Разносторонность точекъ зрѣнія Островскаго на жизнь и сложность изображаемыхъ явленій. Отсутствие односторонняго увлеченія какой-либо доктриной и слабость славянофильскаго вліянія въ пятидесятые годы.—Глубокое проникновеніе демократическимъ духомъ времени и отраженіе этого духа въ пьесахъ перваго періода: *Не въ свои сани не садись*. *Бѣдность—не порокъ*. Драма *Не такъ живи, какъ хочется*, какъ апогей славянофильскихъ вліяній 419.
- ГЛАВА XXIV.—Переломъ въ творчествѣ Островскаго съ наступленіемъ эпохи реформъ и увлеченіе прогрессивными идеями. Значеніе пьесъ *Въ чужомъ пиру похмѣлье* и *Не все коту масленица*, какъ похоронъ самодурства. Драма *Гроза* и противовѣсъ ея съ драмою *Не такъ живи, какъ хочется*.—Общее резюме всего вышесказаннаго. Положительные типы Островскаго.—Отрицательные типы. Универсальность изображенія русской жизни. Богатство языка.—Драматическая дѣятельность И. С. Тургенева и Писемскаго. Трилогія А. К. Толстого. А. И. Пальмъ.—А. А. Потѣхинъ.—И. Е. Чернышевъ. Н. Я. Соловьевъ. В. А. Крыловъ. Д. В. Аверкиевъ 439.

VIII. Поэзія.

- ГЛАВА XXV.—Дѣтство и юность Н. А. Некрасова. —Послѣдующіе факты его жизни.—Два элемента творчества Некрасова. Характеръ рефлексивнаго элемента.—Характеръ разночинно-народнаго элемента.—Присутствіе обоихъ элементовъ въ стихотвореніяхъ изъ народнаго быта. Общій выводъ. . . . 455.
- ГЛАВА XXVI.—Биографическія свѣдѣнія о жизни Т. Г. Шевченко.—Характеристика его произведеній.—И. С. Никитинъ. И. З. Суриковъ. С. Д. Дрожжинъ.—А. Н. Плещеевъ.—Развитіе и процвѣтаніе въ шестидесятые годы сатирической поэзіи. Прутковъ и А. М. Жемчужниковъ. В. С. Курочкинъ и его *Искра*. Д. Д. Минаевъ. 475.
- ГЛАВА XXVII.—Школа поэтовъ чистаго искусства. А. К. Толстой. Факты его жизни.—Характеристика его произведеній.—А. Н. Майковъ.—А. А. Шеншинъ (Фетъ).—Ф. И. Тютчевъ, Я. П. Полонскій.—Л. А. Мей. Н. Ф. Щербина.—Поэты-переводчики: Н. В. Гербель. П. И. Вейнбергъ. М. И. Михайловъ . . 495.
- ГЛАВА XXVIII.—Характеристика новыхъ скорбныхъ поэтовъ, выражающихъ современную эпоху. С. Я. Надсонъ. Факты его жизни.—Причина его популярности. Его нравственная физиономія, характеръ и духъ его произведеній. С. Г. Фругъ.—Н. М. Мвискій.—Д. С. Мережковскій. Новѣйшіе поэты чистаго искусства. А. Н. Апухтинъ, К. М. Фофановъ. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ. С. А. Андреевскій, П. А. Козловъ и проч. 513.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Подъ исторіей литературы въ широкомъ смыслѣ этого слова подразумѣваютъ часто исторію всѣхъ произведеній человѣческой мысли, способствовавшихъ умственному развитію общества, такъ что въ понятіе это входятъ кромѣ исторіи изящной литературы и критики также и разсмотрѣніе движенія наукъ, публицистики, прессы (т. е. возникновенія, паденія различныхъ органовъ печати и ихъ взаимныхъ отношеній между собою).

Авторъ не чувствуетъ себя въ силахъ совершить столь громадный трудъ, и полагаетъ, что для такой исторіи литературы послѣдняго сорокалѣтія не настало еще и время. Пришлось въ значительной степени сѣзуть задачу и ограничиться тѣсными рамками исторіи *изящной литературы* и находящейся въ тѣсной связи съ нею *критики*. Поэтому въ книгѣ этой говорится лишь о такихъ дѣятеляхъ литературы, которые или прямо относятся къ изящной литературѣ, или такъ или иначе соприкасаются къ ней и лишь—на сколько соприкасаются. Такъ напримѣръ, говоря о Н. И. Костомаровѣ, авторъ разсматриваетъ его лишь какъ творца историческихъ романовъ и повѣстей, не считая входящимъ въ предметъ книги разсмотрѣніе его научныхъ заслугъ въ качествѣ исторіографа.

Такъ какъ духъ времени, идеи и всѣ перипетіи умственного движенія разсматриваемой эпохи наиболѣе ярко выразились въ критикѣ, то это дало большое удобство соединить общій обзоръ эпохи съ исторіей критики въ лицѣ ея главныхъ представителей, чѣмъ и заняты первыя семь главъ книги, а затѣмъ уже съ восьмой главы начинается исторія самой изящной литературы, какъ продукта, разсмотрѣннаго предварительно умственного движенія времени.

Авторъ старался по возможности представить характеристики всѣхъ мало-мальски выдающихся литературныхъ дѣятелей, но конечно не могъ избѣгнуть кое-какихъ пробѣловъ. О нѣкоторыхъ литераторахъ умолчено, по ихъ ничтожному значенію въ литературѣ, отсутствію оригинальной фizioноміи и своего собственного слова; другіе-же не подлежатъ исторіи,

потому что физиономія ихъ еще не выяснилась, и они, не имѣя за собою никакого прошедшаго, принадлежатъ всецѣло будущему.

Обо многихъ писателяхъ какъ умершихъ, такъ въ особенности живыхъ, пришлось дать самыя скудныя біографическія данныя или-же и никакихъ не дать по неимѣнію ихъ. Подобнаго рода пробѣлы авторъ обѣщаетъ по возможности загладить въ слѣдующихъ изданіяхъ своей книги, особенно если тѣ изъ находящихся въ живыхъ писателей или родственники умершихъ, которые найдутъ недостаточными сообщенныя о нихъ свѣдѣнія, будутъ столь добры и любезны, что пришлютъ дополненія къ ихъ біографіямъ или поправки невѣрно сообщенныхъ фактовъ.

А. Скабичевскій.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I—Слѣдуетъ-ли ставить Гоголя во главѣ новаго періода литературы съ эстетической точки зрѣнія и со стороны содержанія его произведеній. II—Картина старыхъ литературныхъ нравовъ. III—Московскіе философскіе кружки тридцатыхъ годовъ, приведеніе къ полному измѣненію литературныхъ нравовъ. IV—Типъ умственнаго развитія стараго періода. V—Новый типъ умственнаго развитія. VI—Народность, какъ основная идея новаго періода литературы.

I.

Литературная эпоха, съ которою намъ придется имѣть дѣло въ этой книгѣ, считается обыкновенно гоголевскимъ періодомъ нашей литературы, такъ какъ ее прямо и непосредственно ведутъ отъ Гоголя, который будто-бы произвелъ полный переворотъ въ нашей беллетристикѣ, создалъ такъ называемую натуральную школу, и литература наша до сего времени представляетъ прямыя послѣдствія этого переворота. И вотъ прежде всего слѣдуетъ намъ отрѣшиться отъ этого предрасудка, который очень мѣшаетъ правильному пониманію характера и значенія послѣдней эпохи нашей литературы. Возникъ онъ какъ нельзя болѣе просто и естественно. Когда произведенія Гоголя обратили на себя всеобщее вниманіе, и молодежь подъ вліяніемъ Бѣлинскаго зачитывалась ими, въ числѣ этой молодежи находились и тѣ многочисленныя будущіе писатели, которые явились на литературное поприще въ теченіи сороковыхъ годовъ. То новое, что эти писатели впоследствии внесли въ нашу литературу, конечно въ то время еще не существовало, и никто его не предвидѣлъ. Произведенія Гоголя представлялись послѣднимъ словомъ литературы. Образы ихъ потрясали юныя сердца своею гениальностью и вмѣстѣ съ тѣмъ исключительною отрицательностью вполне гармонировали съ мрачнымъ колоритомъ времени. Въ то-же время Бѣлинскій не переставалъ твердить, что съ Гоголя начинается новая эпоха нашей литературы, рѣшительный ея поворотъ на путь натурализма. И вотъ молодое поколѣніе сороковыхъ годовъ мало-по-малу привыкло смотрѣть на Гоголя, какъ на единственнаго своего учителя, которому оно исключительно обязано всѣмъ литературнымъ достояніемъ.

Но если мы постараемся уяснить себѣ болѣе точно и опредѣленно, чѣмъ-же собственно писатели сороковыхъ годовъ и послѣдующіе были обязаны Гоголю, то мы должны будемъ придти къ заключенію, что вліяніе Гоголя на послѣдующую литера-

туру далеко не было ни такимъ всеобъемлющимъ, ни такимъ исключительнымъ, какъ мы привыкли думать.

Если мы будемъ разсматривать вліяніе Гоголя съ одной эстетической точки зрѣнія, будемъ считать его родоначальникомъ натурализма въ Россіи, то намъ со всѣхъ сторонъ могутъ возразить: на какомъ основаніи угодно намъ начинать натурализмъ не-премѣнно съ Гоголя, а не съ Пушкина? Чѣмъ-же не натуральны *Повѣсти Блѣкина*, *Капитанская дочка*, *Арапъ Петра Великаго*, *Графъ Нулинъ*, *Домикъ въ Коломнѣ*, наконецъ, хотя-бы и *Евгеній Онегинъ*? Пушкинъ потому уже имѣетъ болѣе правъ считаться первымъ образцовымъ натуралистомъ въ Россіи, что онъ — всестороннѣе Гоголя, у котораго лишь въ первыхъ романтическихъ произведеніяхъ вы встрѣчаете положительные элементы жизни; въ позднѣйшихъ-же — наиболѣе зрѣлыхъ — господствуютъ элементы отрицательные. Прямое вліяніе Гоголя поэтому на послѣдующихъ писателей только и видно тамъ, гдѣ у нихъ является комизмъ, юморъ. Но развѣ можно сказать, чтобы всѣ они были въ такой-же степени юмористами, какъ Гоголь?

Въ томъ-то и дѣло, что натурализмъ является въ русской литературѣ вовсе не въ видѣ *coup d'état*, внезапнаго открытія, принадлежащаго одному какому-нибудь писателю. Это не воинственный завоеватель, вторгшійся, Богъ вѣсть, откуда и разомъ все перевернувшій кверху дномъ, а мирный колонизаторъ, постепенно, медленно и незамѣтно прокрадывавшійся въ нашу литературу въ продолженіи всей первой половины нынѣшняго столѣтія, и притомъ, собственно говоря, не въ одну нашу, а и во всѣ европейскія. Всюду на знамени романтизма красовалось слово „народность“, и эта именно народность въ связи съ различными демократическими вліяніями и обратила вниманіе писателей на жизнь маленькихъ людей, составляющихъ народныя массы, что и привело всѣ литературы прямо къ натурализму.

Замѣчательно, что и Бѣлинскій, наиболѣе склонный производить натурализмъ исключительно отъ Гоголя, въ послѣднемъ своемъ обзорѣ *), напротивъ того, первые задатки натурализма видитъ уже въ Кантемирѣ, Фонвизинѣ, Крыловѣ, а тѣмъ болѣе въ Пушкинѣ:

«Наконецъ,—говоритъ онъ,—явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достиженіе относится къ стремленію. Въ ней слились въ одинъ широкій потокъ оба (идеальный и реальный), до того текшіе отдѣльно ручья русской поэзіи. Русское ухо услышало въ ея сложномъ аккордѣ и чисто русскіе звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лирической характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вошли элементы жизни дѣйствительной, что доказывается смѣлостью, въ то время удивившею всѣхъ, ввести въ поэму не классическихъ итальянскихъ или испанскихъ, а русскихъ разбойниковъ,—не съ кинжалами и пистолетами, а широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного изъ нихъ говорить въ бреду про кнутъ и грозныхъ палачей. Цыганскій таборъ съ оборванными шатрами между колесами телѣгъ, съ пляшущимъ медвѣдемъ и нагими дѣтьми въ перекидныхъ корзинкахъ на ослахъ, былъ тоже неслыханною дотошъ сценою для кроваваго трагическаго событія. Но отъ *Евгенія Онегина* идеалы еще болѣе уступили мѣсто дѣйствительности или по крайней мѣрѣ то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тѣмъ и другимъ, что поэма эта должна по-

*) *Взглядъ на русскую литературу 1847 г.*, кн. XI, стр. 338—340.

справедливости считаются произведениемъ, положившимъ начало поэзіи нашего времени. Тутъ уже натуральность является не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ вѣрное воспроизведеніе дѣйствительности со всемъ ея добромъ и зломъ, со всеми ея житейскими дрязгами; около двухъ или трехъ лицъ, опозитизированныхъ или нѣсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенные, но не на посмѣшище, какъ уроды, какъ исключенія изъ общаго правила, а какъ лица составляющія большинство общества. И все это въ романѣ, писанномъ стихами!

«Что-же въ это время дѣлалъ романъ въ прозѣ? Онъ всеми силами стремился къ сближенію съ дѣйствительностью—къ натуральности. Вспомните романы и повѣсти Нарѣжнаго, Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова, Ушакова, Вельмана, Полевого, Погодина. Здѣсь не мѣсто разсуждать о томъ, кто изъ нихъ больше сдѣлалъ, чей талантъ былъ выше: мы говоримъ объ общемъ имъ всемъ стремленіи—сблизить романъ съ дѣйствительностью, сблать его вѣрнымъ ея зеркаломъ».

Такимъ образомъ Гоголь является вовсе не такимъ новаторомъ, которые вводятъ нѣчто совершенно до нихъ небывалое и совершаютъ полный переворотъ въ судьбахъ литературы. Онъ повиновался лишь общему теченію развитія современной ему литературы и представляетъ одну изъ ступеней ея спуска изъ-за облачныхъ высотъ на почву дѣйствительности. Послѣдующіе-же литераторы отнюдь не остановились на этой ступени, а пошли далѣе, не довольствуясь односторонностью, какою отличается натурализмъ Гоголя.

Тѣмъ менѣе послѣдующіе писатели могли быть обязанными Гоголю относительно идейнаго содержанія его произведеній. Геніальная мѣткость, съ которою осмѣивалъ онъ именно то, что было въ его время наиболѣе пошлаго и грязнаго на Руси, была вполне инстинктивна, и произведенія Гоголя поражаютъ отсутствіемъ какихъ-либо сознательныхъ идеаловъ, во имя которыхъ осмѣивалась дѣйствительность. Это смущало постоянно самого Гоголя, заставляя его прибѣгать къ разнымъ натянутымъ объясненіямъ внутреннихъ пружинъ своего смѣха вроде „незримыхъ міру слезъ“ или „страха грядущаго закона“. Наконецъ, въ *Исповѣди* своей онъ самъ признался откровенно, что своимъ смѣхомъ онъ просто-на-просто лечился отъ тоски, ему самому необъяснимой, и, чтобы развлекать себя, придумывалъ все смѣшное, что только могъ выдумать, *вообще не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза*. Лишь приступивши къ *Мертвымъ душамъ*, Гоголь впервые началъ задумываться надъ тѣмъ, зачѣмъ, къ чему это, что должно сказать собою такой-то характеръ, что должно выразить собою какое-то явленіе? Результатъ подобнаго законнаго стремленія осмыслить свой смѣхъ, найти для него разумныя основанія, быть, какъ извѣстно, очень печаленъ для Гоголя: вслѣдствіе крайней скудности философскаго образованія, Гоголь началъ добиваться осмысленія своего творчества не путемъ усвоенія передовыхъ европейскихъ идей своего вѣка, а нравственнымъ самоуглубленіемъ, и запутался въ лабиринтъ мистико-аскетическихъ умствованій.

Теперь спрашивается, что-же общаго съ Гоголемъ съ этой стороны вы найдете у всѣхъ послѣдующихъ за нимъ писателей? Отношеніе ихъ къ дѣйствительности отнюдь не носитъ такого характера художественной безцѣльности, какъ это мы видимъ у Гоголя; напротивъ того, они съ первыхъ своихъ шаговъ на литературномъ поприщѣ начали анализировать жизнь на основаніи вполне сознательныхъ и опредѣленныхъ

идеаловъ, внушаемыхъ имъ различными вѣяніями ихъ вѣка. Нужно-ли и прибавлять, что идеалы эти не имѣютъ ничего общаго съ тѣми мистико-аскетическими теоріями, въ которыхъ путался Гоголь.

Однимъ словомъ, Гоголя съ его гениальнымъ смѣхомъ и со всѣми его бессмертными твореніями отнюдь не слѣдуетъ ставить впереди новаго вѣка. Напротивъ того, имъ заканчивается вѣкъ старый, — періодъ съ одной стороны выработки литературнаго языка и формъ, съ другой — перехода литературы съ почвы подражательности, риторичности и отвлеченности на почву народности, самобытности и реализма. Гоголь довершилъ эту вѣковую работу. Послѣ него осталась литература съ прекрасно-выработаннымъ языкомъ, стихотворнымъ и прозаическимъ, вполне реальная и самостоятельная. Не доставало этой литературѣ лишь одного, чтобы быть въ истинномъ смыслѣ этого слова европейскою: осмысленнаго, идейнаго содержанія, которое могло-бы поставить ее впереди своего времени. Этимъ и объясняется, почему Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь въ переводахъ на иностранные языки, поражая европейскихъ читателей своею гениальностью, въ то-же время далеко не въ такой степени удовлетворяли и увлекали, чтобы кому-либо пришло въ голову ставить ихъ во главѣ европейскаго движенія, какъ ставились нѣкогда Шиллеръ, Гёте, Байронъ, впоследствии Диккенсъ, Теккерей, В. Гюго, Ж. Зандъ, Бальзакъ, а нынѣ ставятся и русскіе писатели — Тургеневъ, Л. Толстой, Достоевскій. На вышеозначенныхъ классиковъ нашихъ смотрѣли, какъ на писателей, при всей ихъ гениальности, мѣстныхъ, любовныхъ, какъ первые проблески только-что начинавшагося пробуждаться русскаго національнаго гения. Людямъ, не предубѣжденнымъ противъ Россіи и всего русскаго, могли правиться въ этихъ гениальныхъ проблескахъ неподдѣльная и горячая любовь къ родинѣ, чуждая въ то-же время патріотическаго ослѣпленія и національной кипливости до такого поистинѣ героическаго нелицеприятія, что этимъ писателямъ ничего не стоило выставить на-показъ самыя мрачныя стороны русской жизни; во-вторыхъ, кристальная нравственная свѣжесть и цѣльность, отсутствіе малѣйшей лжи, фальши, напыщенной риторики, идеально-честное, подвижнически-бережное отношеніе къ каждому произносимому слову. Но не находили европейцы одного въ произведеніяхъ русскихъ классиковъ, для нихъ самаго главнаго: тѣхъ великихъ идей и роковыхъ вопросовъ жизни, какіе волновали въ то время Европу, а гдѣ и встрѣчались кое-какіе намеки на эти идеи и вопросы, отношеніе къ нимъ поражало или дѣтскою незрѣлостью, или легкостью поверхностнаго диллетанзма.

Мы нисколько не ставимъ въ вину этого недостатка нашимъ классикамъ тридцатыхъ годовъ. Онъ ни мало не мѣшалъ имъ стоять по главѣ русскаго общества, имѣть большое образовательное вліяніе на массу русскихъ читателей, младенчески-чуждыхъ всякаго умственнаго развитія и образованія и еще болѣе далекихъ отъ европейскаго движенія идей. Наконецъ, никогда потомство не забудетъ той великой и неоцѣненной заслуги, какую оказали эти литературные корифеи, создавъ литературный языкъ, формы и наконецъ поставивши литературу на почву самобытности и реальности. Однимъ словомъ, они завѣщали своему потомству великолѣпный инструментъ, отлично приспособленный для разыгрыванія на немъ какихъ угодно величественныхъ и глубокомысленныхъ классическихъ симфоній. Не доставало только музыкантовъ, которые были-бы

способны умѣло и разумно воспользоваться этими инструментами. Музыканты эти не замедлили явиться, и съ нихъ-то собственно и начинается совершенно новая эпоха въ нашей литературѣ.

II.

И дѣйствительно, передъ нами является эпоха до такой степени новая, представляющая такой полный переворотъ во всѣхъ литературныхъ сферахъ, что мы видимъ не одно только внесеніе новаго содержанія въ художественныя произведенія, но полное измѣненіе всѣхъ литературныхъ нравовъ и отношеній.

Старые литературные нравы отражали до извѣстной степени патріархальныя понятія, господствовавшія въ обществѣ нашемъ въ XVIII и до половины XIX столѣтій. Вплоть до пятидесятихъ годовъ въ литературномъ мѣрѣ существовала своя табель о рангахъ, свое мѣстничество и ревностное чинопочитаніе. Во главѣ литературы издревле господствовалъ особеннаго рода Олимпъ, на которомъ возсѣдали въ видѣ литературныхъ боговъ писатели первой величины, каждый со своею святой. Затѣмъ слѣдовали писатели второстепенные, третьестепенные и т. д., вплоть до журнальнаго плебса, пресмыкающагося въ самомъ низу, пишущаго ради презрѣнныхъ денегъ, корыстныхъ барышей и чуждыхъ поэтому того высшаго литературнаго благородства и безкорыстія, которыя казались свойственны лишь особаго рода избранникамъ.

Но съ презрѣніемъ смотря на честно заработанныя литературнымъ трудомъ деньги олимпійцы, въ то-же время, были очень падки на подачки свыше. Они упорно держались стараго покровительственнаго режима и поэтому старались вращаться въ великосвѣтскихъ кругахъ, проникать по-возможности въ придворныя сферы и всячески заискивать у сильныхъ міра, добываясь то пенсіи, то уплаты долговъ, то какой-либо льготы. Это конечно обязывало, и олимпійцы лишь къ маленькимъ смертнымъ воціали:

«Подите прочь, какое дѣло
Поэту мирному до васъ?»

Что-же касается меценатовъ, то конечно къ нимъ подобныя гордыя восклицанія не могли относиться. Напротивъ того, приходилось быть тише воды, ниже травы.

Въ литературномъ отношеніи олимпійцы составляли особенное общество, негласное и неорганизованное, но все-таки представлявшее изъ себя нѣчто вроде академіи изящной словесности. Всѣ они были связаны другъ съ другомъ узами болѣе или менѣе короткой дружбы. Старшіе покровительствовали младшимъ, поощряли ихъ и способствовали ихъ успѣхамъ мудрыми старческими совѣтами, оказывали имъ протекцію въ высшихъ сферахъ; младшіе благоговѣли передъ старшими, поклонялись имъ, внимали ихъ наставленіямъ и ликовали, когда старшіе приобщали ихъ къ своему олимпійскому союзу. И дѣйствительно, тутъ было изъ-за чего ликовать: пока олимпійцы не приближали къ себѣ писателя и не возвышали до себя, нечего было и думать понасть въ число олимпійцевъ. Журналы могли сколько угодно расхваливать какого-нибудь своего любимца и признавать въ немъ хотя всемірнаго генія, какъ, напримѣръ, Сенковскій сдѣлалъ это съ Кукольниковомъ. Писатели вроде напримѣръ Загоскина и

Марлинскаго могли приобретать самую огромную популярность, по всего этого было недостаточно, чтобы они дѣлались въ глазах публики олимпійцами, пока послѣдніе сами не провозглашали его своимъ. И наоборотъ, разъ избранникъ удостоивался этой чести, никакіе критическіе перуны не могли поколебать его репутаціи: олимпіецъ былъ неуязвимъ. Надеждницъ могъ писать какіе угодно злые памфлеты на Пушкина; на Гоголя могла ополчиться цѣлая рать критиковъ, начиная съ братьевъ Полевыхъ и кончая Сенковскимъ и Булгаринимъ, но это нисколько не вело къ уменьшенію ихъ литературнаго величія.

Нельзя сказать, чтобы въ литературѣ того времени не было направленій, лагерей партій, стремившихся проводить тѣ или другіе литературные принципы и вступавшихъ изъ-за нихъ въ ожесточенную борьбу. Такъ, карамзинисты боролись съ шипшиковистами, романтики—съ классиками. Но вся эта борьба велась преимущественно въ средѣ журнальнаго плебса. Олимпійцы если и принимали въ ней участіе, то лишь въ молодые годы, платя дань юности; впоследствии-же, съ лѣтами, они обыкновенно казались въ своихъ полемическихъ подвигахъ, какъ въ грѣхахъ молодости, и все болѣе и болѣе замыкались въ гордыхъ снѣжныхъ вершинахъ своего недоступнаго Олимпа. Одинъ только Пушкинъ, слишкомъ живой и горячій для такой замкнутости, постоянно нарушалъ святость Олимпа, то раздражая злою эпиграммой на какого-нибудь Булгарина, то вдругъ предпринявшій изданіе *Современника*, т.-е. рѣшившійся вмѣшаться въ толпу журнальной черни, хотя, по правдѣ сказать, журналъ вышелъ вполне олимпійскій, какъ по своей великосвѣтской чопорности и сухости, такъ и по самой цѣли *возвратить критику снова въ руки малаго избраннаго кружка писателей, уже облеченнаго уваженіемъ и довѣренностью публики.*

Стремясь такимъ образомъ снова взять въ свои руки критическое законодательство, которое нѣкогда, главнымъ образомъ, сосредоточивалось на Олимпѣ, въ тридцатые-же годы начало замѣтно выскальзывать изъ рукъ олимпійцевъ, послѣдніе не подозревали, что часть ихъ пробилъ. Они ратовали главнымъ образомъ противъ той безпутной, пристрастной и гаерской критики, которая воцарилась тогда въ петербургской журналистикѣ и преимущественно на страницахъ *Библиотеки для Чтенія*, но въ то-же время и не замѣчали, какъ совершенно въ сторонѣ отъ нихъ и внѣ ихъ вѣдѣнія росла огромная сила, готовившаяся упразднить ихъ гордый Олимпъ, и росла эта сила въ тѣхъ самыхъ утлыхъ и жалкихъ по вышнему виду московскихъ журнальчикахъ, каковы были *Телескопъ* и *Молва*, о которыхъ Гоголь въ своей передовой критической статьѣ въ № 1 *Современника* (*О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1845 годахъ*) отозвался съ чисто-олимпійскимъ пренебреженіемъ.

III.

Эта новая грядущая сила представлялась въ теченіе тридцатыхъ годовъ въ видѣ нисколько невѣдомыхъ трехъ философскихъ кружковъ молодежи: кружка Герцена, Станкевича и Кириевскихъ. Кружки эти то сходились, то расходились между собою и, наконецъ, къ началу сороковыхъ годовъ слились въ два окончательно сплотившіеся лагеря—петербургскій лагерь западниковъ, группировавшійся вокругъ Вѣлискаго, и

лагерь московскихъ славянъ-филловъ, во главѣ которыхъ стояли братья Кирѣевскіе, Аксаковы и Хомяковъ.

Кружки эти, собственно говоря, и не думали враждовать съ олимпійцами, подкапываться какъ-либо подъ ихъ авторитетъ. Напротивъ того, критики обоихъ лагерей относились съ большимъ уваженіемъ къ корифеямъ русской литературы, особенно къ Пушкину и Гоголю. Последний, какъ мы выше говорили, былъ поставленъ даже во главѣ новаго литературнаго движенія. Но самымъ своимъ существованіемъ кружки водворяли совершенно новые и небывалые въ литературѣ порядки. Они волюнъ уподоблялись тѣмъ молодымъ побѣгамъ, которые растутъ сами по себѣ, не ломая и не уничтожая старыхъ сучьевъ, но въ то-же время невольно, въ силу своей молодой энергіи, стягиваютъ къ себѣ всѣ соки дерева, и старымъ сучьямъ остается только сохнуть и отпадать отъ ствола. Такъ точно и новые литературные кружки начали притягивать къ себѣ всѣ молодыя силы. Начиная съ сороковыхъ годовъ, всѣ вновь появившіеся сильные таланты (а какъ много появилось ихъ въ теченіе сороковыхъ годовъ) уже не заискиваютъ знакомства у оставшихся въ живыхъ олимпійцевъ Жуковского, Крылова, Гоголя, — не стремятся сблизиться съ ними, не пужаются въ ихъ совѣтахъ, не добиваются отъ нихъ посвященія въ олимпійцы, и лишь при встрѣчахъ издали наблюдаютъ ихъ, какъ оставшіеся еще въ живыхъ рѣдкіе экземпляры вымирающей породы, вродѣ какихъ-нибудь зубровъ Бѣловѣжской пушчи, — и между тѣмъ, какъ эти зубры сходятъ одинъ за другимъ въ могилы, молодые писатели литературныхъ связей ищутъ въ сближеніи съ представителями тѣхъ или другихъ журнальныхъ кружковъ. вмѣсто прежняго іерархическаго порядка, литературный міръ начинаетъ представлять собою теперь федерацію литературныхъ лагерей. Литературныя силы группируются вокругъ журналовъ, которые стремятся быть не одними уже альбомами первостепенныхъ произведеній или сборниками энциклопедическихъ свѣдѣній, а проводятъ то или другое направленіе. замѣчательно, что публика является настолько уже созрѣвшею, что начинаетъ требовать отъ журналовъ направленія: по крайней мѣрѣ, журналы безъ направленія или съ направленіемъ непопулярнымъ теряютъ возможность имѣть много подписчиковъ, какіе-бы беллетристическіе шедевры ни помѣщали они на своихъ страницахъ. Такъ, послѣ смерти Пушкина печально влечилъ существованіе безжизненный и вялый *Современникъ* подъ редакцію Плетнева и, конечно, постепенно угасъ-бы, если-бы Некрасовъ въ 1847 году не взялъ его въ свои руки. *Библиотека для Чтенія*, послѣ своего эфемернаго успѣха въ тридцатыхъ годахъ, въ теченіе сороковыхъ и пятидесятыхъ существовала на счетъ горсти привычныхъ подписчиковъ, которые съ каждымъ годомъ отставали одинъ за другимъ. *Москвитинъ*, органъ славянофильскаго лагеря, долженъ былъ прекратиться въ 1855 году. Одинъ *Отечественныя Записки* первенствовали въ продолженіе всѣхъ сороковыхъ годовъ, благодаря тому, что вокругъ этого журнала группировался наиболѣе вліятельный и популярный кружокъ Бѣлинскаго, сосредоточивавшій въ себѣ все передовое движеніе сороковыхъ годовъ.

Въ то-же время литература сдѣлалась силою волюнъ самостоятельной и независимой. Ее теперь могли сдерживать, подавлять, но утратилась всякая возможность пользоваться мало-мальски талантливыми и вліятельными представителями ея, при-

влекая ихъ на свою сторону соблазнами земныхъ благъ. Гоголь былъ послѣднимъ могиканомъ, послѣ котораго покровительственный режимъ окончательно рухнулъ. Каждый маломальски дорожающій своею репутаціей писатель началъ считать главною основой литературной чести ничего не получать за свои произведенія, кромѣ полнстной журнальной платы и выручки изъ продажи отдѣльныхъ изданій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ писатели начали цѣнить не по одной даровитости, но также и по вѣрности своему знамени. Въ двадцатые годы не было и слѣда чего-либо подобнаго. Были писатели, уважаемые за таланты или личныя качества, образованность, умъ, доброту, были презираемые за противоположныя свойства. Но даже и такіе, которые очень горячо увлекались политикой своего времени, рѣзко отдѣляли эти увлеченія отъ литературнаго дѣла и въ литературѣ были самыми скромными служителями музъ; въ то-же время, они не только требовали, чтобы ихъ литературные собратья раздѣляли ихъ политическія убѣжденія, но доходили до такой неразборчивости, что допускали въ свой кругъ людей столь сомнительныхъ, какъ Гречь, Булгаринъ и т. п.

Полевой въ своемъ *Московскомъ Телеграфѣ* представилъ первые задатки оцѣнки писателей, принимая въ соображеніе не одну степень талантливости и эстетическія достоинства произведеній, но также и политическую репутацію. Такъ, при всѣхъ похвалахъ, расточаемыхъ Пушкину, онъ, насколько возможно, довольно прозрачно проводилъ ту мысль, что Пушкинъ уже не тотъ, чтó былъ, и, нападая на его стремленія къ великосвѣтскости, намекалъ ясно на тѣ новыя официальныя связи и отношенія, которыя завязались у Пушкина послѣ 1826 года.

Въ продолженіе тридцатыхъ годовъ былъ тоже довольно рѣзкій примѣръ всеобщей ненависти и презрѣнія, которыя питало большинство мало-мальски порядочныхъ литераторовъ къ Гречу и Булгарину, хотя нужно замѣтить при этомъ, что ненавидѣли и презирали ихъ не какъ политическихъ враговъ, не за ихъ направленіе, а за пресмыкательство и наущничество — качества чисто-нравственныя.

Во всякомъ случаѣ, представленныя нами факты являются единичными и исключительными. Какъ мало, въ то-же время, люди стараго воспитанія и закала думали о честности и вѣрности своему знамени, можно судить по тому, что тотъ-же Полевой, который напалъ на Пушкина, впослѣдствіи не считалъ для себя постыднымъ явняться съ Гречемъ и Булгаринимъ, да еще удивлялся, за чтó Вѣлинскій негодуетъ на его литературное поведеніе.

Совсѣмъ не то мы видимъ съ наступленіемъ сороковыхъ годовъ; литературная честность и вѣрность убѣжденіямъ виѣняются въ такую священную обязанность каждому мало-мальски порядочному литератору, что безъ нихъ немислимо дѣлается литературная репутація.

IV.

Это радикальное измѣненіе всѣхъ литературныхъ нравовъ и отношеній въ сороковые годы зависѣло вполнѣ отъ того новаго духа, новыхъ идей и литературныхъ требованій, какіе внесли въ литературу философскіе кружки тридцатыхъ годовъ.

Но чтобы уразумѣть то новое идейное содержаніе, какимъ преисполнились люди сороковых годовъ, надо заглянуть назадъ и посмотрѣть, что представляли собою въ умственномъ отношеніи люди прежнихъ поколѣній, подобно тому, какъ то-же самое мы сдѣлали въ предыдущемъ параграфѣ съ литературными правами.

Сказать, чтобы люди прежнихъ поколѣній были необразованные и круглые невѣжды и чтобы мысль ихъ непробудно спала, было-бы большимъ заблужденіемъ. И въ прежніе годы, во вторую половину XVIII вѣка и первые три десятилѣтія XIX, встрѣчались люди очень образованные, стоявшіе, повидимому, въ одномъ уровнѣ съ передовыми людьми Европы; и тамъ вы встрѣтите и консерваторовъ, и либераловъ, и скептиковъ, и мистиковъ; стоить вспомнить только такія личности, какъ Радищевъ, Мордвиновъ, Тургеневъ, Муравьевъ, кн. Одоевскій, вспомнить молодые годы Пушкина и его друзей. Можно даже сказать, что по своей начитанности люди конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія превышали всѣ позднѣйшія поколѣнія вплоть до нашихъ дней. Въ то время не искали еще умственной пищи исключительно въ однихъ журналахъ и газетахъ, какъ это весьма многіе дѣлаютъ нынѣ, и поэтому въ каждой большой помѣщичьей усадьбѣ встрѣчалась обширная библіотека, заключающая въ себѣ всю мудрость XVIII вѣка. Между тѣмъ, какъ старики, люди времени очаковскихъ и покоренія Крыма, собирали эти библіотеки, молодежь вплоть до пушкинскаго поколѣнія училась по книгамъ, какія въ этихъ старинныхъ дѣдовскихъ книгохранилищахъ находила. Такимъ образомъ, до самыхъ тридцатыхъ годовъ главная основа образованія почти у всѣхъ передовыхъ людей нашего отечества заключалась во французской философій эпохи энциклопедистовъ. И дѣйствительно, со времени Фонвизина и до Пушкина включительно, вы видите броженіе однихъ и тѣхъ-же идей, одинъ и тотъ-же характеръ и типъ мышленія: поверхностный скептицизмъ, основанный болѣе на остроуміи вольтеровскаго характера, чѣмъ на глубинѣ мысли, сенсуализмъ, какъ послѣднее слово морали, и болѣе или менѣе ярый либерализмъ, въ видѣ неопредѣленныхъ, туманныхъ и совершенно безпочвенныхъ порываній къ свободѣ. Вислѣдствіи ко всему этому присоединился байронизмъ, расцвѣтшій на почвѣ того-же рационализма XVIII вѣка, какъ антигезъ его, въ видѣ разочарованія въ томъ необузданномъ восторгѣ, съ какимъ въ XVIII столѣтіи праздновали торжество человеческого разума.

Но, какъ-бы ни оказался несостоятельнымъ рационализмъ прошлаго столѣтія, все-таки, на Западѣ, на своей родной почвѣ, онъ имѣлъ то важное преимущество, что былъ весьма почтеннымъ результатомъ трехсотлѣтней тяжелой работы европейской мысли, упорно стремившейся свергнуть съ себя средневѣковыя традиціи, и это было дѣйствительно торжество разума, хотя и не такое безусловное, какъ это казалось современникамъ Вольтера и Руссо.

У насъ тѣ-же самыя идеи являлись не результатомъ сложныхъ умственныхъ процессовъ, а принимались на вѣру въ видѣ готовыхъ модныхъ, отвлеченныхъ формулъ, которыми болѣе забавлялись какъ дѣти, и щеголяли, какъ дэнди, чѣмъ заботились о приобщеніи ихъ къ жизни. Поэтому такъ легко и разставались съ ними наши передовые люди, съ лѣтами приходившіе обыкновенно къ убѣжденію, что все это болѣе ничего, какъ молодые бредни. Но не одинъ лѣта играли здѣсь роль; достаточно бывало малѣйшаго толчка въ жизни, чтобы идеи, болтавшіяся въ головѣ безъ всякой орга-

нической, а часто и логической связи, сразу высказывали изъ нея, и тогда обнажался дѣтскій умъ, совершенно не привыкшій къ малѣйшему самостоятельному философско-научному анализу, пробавлявшійся готовыми традиционными формами. На мѣсто дешеваго и взятаго на-прокатъ скептицизма являлся болѣе или менѣе мрачный мистицизмъ. Сенсуализмъ смѣнялся суровымъ аскетизмомъ или-же праотеческою домостроевскою моралью, отъ эфемернаго либерализма, въ свою очередь, не оставалось и слѣда. Жажда спасительныхъ реформъ и сознание общественныхъ недостатковъ уступали мѣсто кичливому самодовольству кваснаго патриотизма. Карамзинъ, такимъ образомъ, изъ поклонника Руссо превращался въ приверженца крѣпостнаго права, свобододолюбивый Пушкинъ писалъ *Бородинскую годовщину*, *Клеветникамъ Россіи* и доказывалъ, что русскимъ крѣпостнымъ живется несравненно лучше, чѣмъ англійскимъ рабочимъ. Многие изъ самыхъ смѣлыхъ либераловъ двадцатыхъ годовъ подъ старость дѣлались святошами, или-же, возвысившись по лѣстницѣ почестей, обращались въ свирѣпыхъ и безпощадныхъ гонителей малѣйшихъ признаковъ свободомыслія.

V.

Совершенно иное видимъ мы въ философскихъ кружкахъ тридцатыхъ годовъ. Нѣмецкія метафизическія системы, явившіяся въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтій, имѣли то преимущество, что представляли собою новые процессы свѣжихъ умовъ, сильно возбужденныхъ предшествовавшимъ движеніемъ, но не успѣвшихъ еще дойти до конечныхъ результатовъ этого движенія въ видѣ освобожденія отъ средневѣковыхъ традицій. Это было какъ нельзя болѣе по плечу нашимъ соотечественникамъ, умы которыхъ были еще болѣе свѣжи и нетронуты. Нѣмецкая метафизика, исподволь освобождая эти дѣвственные умы отъ традицій, безъ всякихъ рискованныхъ скачковъ и крутыхъ спусковъ, въ то-же время, приучала ихъ къ самостоятельной работѣ. Метафизическія системы нельзя было принять въ видѣ определенныхъ афоризмовъ. Надъ однимъ усвоеніемъ ихъ надо было поломать голову. Но и вполне усвоившіе ихъ имѣли дѣло не съ какими-либо готовыми аксіомами и формулами, а, собственно говоря, съ орудіями мысли, посредствомъ которыхъ предлагалось обсуждать и анализировать окружающую жизнь.

Но какъ ни благотворно было это увлеченіе юнаго поколѣнія сороковыхъ годовъ нѣмецкою философіей, само по себѣ оно было далеко еще не достаточно. Съ одною нѣмецкою философіей умамъ нашихъ передовыхъ людей долго пришлось-бы бродить по метафизическимъ лабиринтамъ, и самое большее, чего они могли-бы добиться, это выхода, въ концѣ-концовъ, на свѣтъ и свѣжій воздухъ реального положительнаго мышленія, обоснованнаго естественно-научными знаніями. Конечно, такой выходъ не замедлялъ-бы открыться подъ влияніемъ такихъ свѣтлыхъ западно-европейскихъ умовъ, каковы Контъ, Милль, Бокль, Дарвинъ и пр., какъ это и произошло на самомъ дѣлѣ въ шестидесятые годы, но, во всякомъ случаѣ, это движеніе страдало-бы крайнею односторонностію. Наши передовые люди сороковыхъ годовъ и послѣдующихъ, при всѣхъ успѣхахъ ихъ въ общемъ міросозерцаніи, рисковали-бы остаться

индифферентными въ вопросахъ общественныхъ, что мы и нынѣ замѣчаемъ у нѣкоторыхъ естествоиспытателей и мыслителей Западной Европы.

Но рядомъ съ нѣмецко-философскимъ неотразимо дѣйствовало на юное поколѣніе сороковыхъ годовъ другое движеніе, господствовавшее преимущественно на французской почвѣ и имѣвшее характеръ исключительно общественный. Это была полная и радикальная переработка тѣхъ раціоналистическихъ политическихъ формулъ, какія были завѣщаны XVIII столѣтіемъ. Формулы эти, хотя и представлялись идеально-совершенными и логически-неопровержимыми, тѣмъ не менѣе были крайне отвлеченными и потому разбились при первомъ столкновеніи съ суровою дѣйствительностью, которая оказалась слишкомъ неподатливою, чтобы сразу уложиться въ нихъ. Розовая мечта XVIII вѣка объ основаніи раціональныхъ общественныхъ связей на свободныхъ договорахъ исчезла, какъ дымъ. Оказалось, что какія ни изобрѣтай прекрасные договоры и какъ ихъ ни усовершенствуй, независимо отъ нихъ и часто совершенно вопреки имъ, жизнь продолжаетъ течь въ своихъ издревле проложенныхъ руслахъ, слѣпо повинаясь своимъ историческимъ традиціямъ.

Это сознаніе, явившееся результатомъ тяжкихъ опытовъ и разочарованій, привело къ убѣжденію, что недостаточно однѣхъ внѣшнихъ реформъ, допускающихъ подъ блестящею наружностью все ту-же отжившую ветость; необходимо, чтобы всѣ общественныя отношенія были переработаны въ своихъ основаніяхъ. И вотъ начался тщательный, кропотливый анализъ всѣхъ основъ общественной и индивидуальной жизни, — безпощадный, разлагающій, философско-научный анализъ, о которомъ и не мечтали XVIII вѣкъ. Возникъ цѣлый рядъ роковыхъ и существенныхъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ оказалось тождественно гамлетовскому *быть или не быть*. Таковы были вопросы: дѣтскій — о воспитаніи здороваго и сильнаго поколѣнія: семейный — объ основаніи семьи на началахъ любви и довѣрїи, вмѣсто прежнихъ страха, принужденія и самодурства; женскій — освобожденіе женщинъ отъ гражданскаго и имущественнаго безправія; а надъ всѣми этими вопросами господствовалъ вопросъ объ увеличеніи народнаго благосостоянія.

Всѣ умы Европы до такой степени были поглощены этими вопросами, что рѣшенія ихъ начали требовать не только отъ административныхъ сферъ, политическихъ трибунъ, университетскихъ кафедръ и ученыхъ кабинетовъ, но и отъ художественныхъ студій. Требованіе, чтобы искусство участвовало въ общей работѣ вѣка, отвѣчая на всѣ животрепещущіе вопросы жизни, возникло въ Европѣ не въ видѣ какой-либо отвлеченной и празднои теоріи, принадлежавшей представителямъ юной Германіи или французскимъ романтикамъ школы Виктора Гюго. Оно одновременно возникаетъ во всей Европѣ и прежде всего осуществляется практически, а затѣмъ уже возводится въ теорію тенденціознаго искусства. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите всѣхъ выдающихся писателей XIX вѣка: Шатобриана, Ламартина, Беранже, В. Гюго, Жоржъ-Занда, Гейне, Гюцкова, Ауэрбаха, Шпильгагена, Байрона, Шелли, Диккенса, Теккерея, Джоржа Эллиота и пр., — всѣ они являются тенденціозными, и каждое произведеніе ихъ глубоко проникнуто тревожными вопросами своего времени.

VI.

Могло-ли это всеобщее и могучее движеніе, охватившее всю Европу, остаться безъ вліянія на умы нашей интеллигенціи, теперь уже въ достаточной мѣрѣ подготовленной философскимъ развитіемъ къ серьезному проникновенію вопроса, увлекавшими Европу? Къ тому-же наши передовые и мыслящіе люди имѣли ту особенность, что въ то время, какъ въ Европѣ давно уже были рѣшены многіе элементарные вопросы гражданской жизни, и Европа словно къ стѣнѣ подошла къ такому роковому вопросу, рѣшеніе котораго зависитъ не отъ ума и воли какихъ-бы то ни было гениальныхъ личностей, а отъ трудовъ и усилій многихъ поколѣній, у насъ стояла на очереди масса вопросовъ вполне элементарныхъ и практически легко осуществимыхъ, каковы вопросы о крѣпостномъ правѣ, закрытыхъ судахъ, виновныхъ откупакъ и пр.

Философско-научный анализъ при такихъ условіяхъ принялъ въ передовыхъ кружкахъ нашего общества еще болѣе интенсивный логически послѣдовательный и вмѣстѣ съ тѣмъ практически реальный характеръ, чѣмъ на Западѣ. Это въ значительной степени окрыляло энергію и энтузіазмъ нашихъ интеллигентныхъ классовъ. И вотъ началась такая переработка всѣхъ идеаловъ, такое могущественное стремленіе отрѣшиться отъ всѣхъ тѣхъ романтическихъ иллюзій, какими жили тридцатые годы, такое въ тоже время горячее проникновеніе идеями народнаго блага, такое искреннее, слезное покаяніе въ вѣковыхъ неправдахъ, лежавшихъ на совѣсти русскаго человѣка, что по-истинѣ ничего подобнаго до сихъ поръ не представляла еще исторія человѣческаго рода.

Все это движеніе и весь этотъ анализъ со всѣми тѣми тревожными вопросами, которые были подняты въ сороковые годы, укладываются въ одно слово, вполне опредѣляющее ихъ во всей ихъ сложности и внутреннемъ духѣ, который проникалъ ихъ. Слово это — *народность*.

И дѣйствительно, слова *народность*, *народъ*, *народное благо*, *народные идеалы* въ концѣ сороковыхъ годовъ сдѣлались самыми популярными въ литературѣ и начали употребляться на каждомъ шагѣ не однимъ какимъ-либо кружкомъ, а въ одинаковой степени сдѣлались заветными лозунгами всѣхъ литературныхъ лагерей. Правда, каждый кружокъ по-своему понималъ народные идеалы и по-своему стремился къ нимъ, но во всякомъ случаѣ считалъ это своею святою обязанностью. Явились даже и такіе писатели, которые безсознательно подчинялись духу времени и невольно выражали въ своихъ произведеніяхъ все тѣ-же идеи, которыя волновали ихъ современниковъ, и сами не отдавая себѣ въ этомъ отчета. Въ то-же время степенью проникновенія этими самыми идеями начало опредѣляться достоинство писателей: такъ, тѣ изъ нихъ,

которые оставались чужды общему течению или шли противъ него умышленно, теряя всякое значеніе и вліяніе, не пользовались ни малѣйшимъ уваженіемъ, или-же встрѣчали общее враждебное отношеніе къ себѣ.

Нужно-ли и говорить о томъ, что при этомъ всеобщемъ увлеченіи вопросами жизни не могло быть и рѣчи о чистомъ искусствѣ. Уже въ 1842 году Вѣлинскій торжественно провозгласилъ:

«Духъ нашего времени таковъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничится «птичьимъ пѣніемъ», создастъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ историческою и философскою дѣйствительностью современности, если она вообразитъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ ясно-видѣній и поэтическихъ созерцаній. Произведенія такой творческой силы, какъ бы ни громаднa была она, не войдутъ въ жизнь, не возбудятъ восторга и сочувствія ни въ современникахъ, ни въ потомствѣ... Съ однимъ естественнымъ талантомъ недалеко уйдешь; талантъ имѣетъ нужду въ разумномъ содержаніи, какъ огонь въ маслѣ для того, чтобы не погаснуть... *Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, смысломъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, смѣть свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которая не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни...*»

Изъ тирады этой вы можете ясно видѣть, что дѣло шло здѣсь вовсе не въ подчиненіи литературы какимъ-либо узкимъ партіоннымъ тенденціямъ. И свобода творчества, и художественныя требованія оставались неприкосновенными. Но, не довольствуясь ими, Вѣлинскій требовалъ, чтобы русская литература была естественно и непроизвольно преисполнена живого, *философско-научнаго содержанія*, то-есть, требовалъ, именно, того, чего русской литературѣ до той поры недоставало.

Заявленіе подобнаго требованія въ 1842 году мы можемъ поэтому считать сигналомъ ко вступленію нашей литературы въ новый періодъ ея развитія. Начались сороковые годы, въ которые новое литературное движеніе въ теченіе какихъ-нибудь 7—8 лѣтъ совершило такое быстрое развитіе и такъ укоренилось, что его не могли уже заглушить и уничтожить мрачные годы послѣдующей реакціи. Въ концѣ сороковыхъ годовъ мы видимъ, что русская мысль окончательно начинаетъ выходить изъ метафизическихъ сумерекъ на свѣтъ и свѣжій воздухъ реализма, что еще болѣе осмысливаетъ и усиливаетъ и анализъ общественной жизни, и проникновеніе народными интересами. Появляется цѣлый рядъ молодыхъ, талантливыхъ беллетристовъ, проникнутыхъ совершенно новымъ духомъ. Въ то-же время, и публицистика, и критика совершаютъ первыя попытки пойти далѣе по новому пути: являются политико-экономическія статьи В. Милютина въ передовыхъ журналахъ и критическія В. Майкова. Въ литературныхъ обзорнѣяхъ начинаютъ раздаваться многозначительные возгласы вродѣ нижеслѣдующихъ:

«Самое важное характеристическое явленіе современной жизни заключается въ сильномъ стремленіи общества къ матеріальнымъ интересамъ. Вещественное благосостояніе человѣка занимаетъ умы всѣхъ сословій. Удобство земного существованія, повсюдное довольство—вотъ главный вопросъ, волнующая забота нашего вѣка. Мета-

физическая эпоха германской жизни кончилась; вниманіе и надежды обратились къ требованіямъ общественной жизни, которой нечего дѣлать въ холодной отвлеченности философскихъ системъ; первенство принадлежитъ наукамъ общественнымъ, интересы дѣйствительности должны быть разлиты по всему обществу и застрахованы обществомъ, и главная задача науки показать законы равномѣрнаго распредѣленія блага по всѣмъ классамъ, опредѣлить разумныя начала, постоянныя правила общественного богатства. При такомъ движеніи ума не остается праздною и неподвижною и критика. Она измѣняетъ свою точку зрѣнія сообразно своему расположенію или неприязни, съ чисто-эстетической арены она ступила въ другія пространства, не стѣсняясь одною сферой художественнаго творчества, но имѣя дѣло съ цѣлымъ твореніемъ жизни; вмѣнила себѣ въ обязанность смотрѣть на произведенія словесныя съ той стороны, которою они соприкасаются съ общественнымъ бытомъ; ея цѣль — оцѣнить литературную дѣятельность въ отношеніи къ общественнымъ вопросамъ».

Все это вы найдете въ январьской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* за 1848 годъ, но уже въ февралѣ журналъ этотъ сразу получаетъ иной характеръ, иное содержаніе. Вышеприведенная тирада была, такимъ образомъ, какъ-бы предсмертнымъ завѣщаніемъ исходящихъ сороковыхъ годовъ, которое передали они грядущему десятилѣтію. Но не скоро пятидесятымъ годамъ пришлось исполнить это завѣщаніе. Все движеніе, такъ быстро и широко раскинувшееся, было сразу парализовано и остановлено на многіе годы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I—Общая картина реакціи пятидесятихъ годовъ и давленіе ея на литературу. Безцвѣтность и безхарактерность всѣхъ органовъ печати. Исчезновеніе направлений. Кочующіе писатели. II—Преобладаніе въ журналахъ специальныхъ научныхъ статей и мелочныхъ библиографическихъ изысканій. III—Сказочная великосвѣтская беллетристика. Барышническая полемика. Отсутствие общественной сатиры. IV—Бюрократическіе оппортунисты въ литературѣ, ихъ идеалы и преобладаніе въ журналистикѣ пятидесятихъ годовъ. V—Петербургскіе критики пятидесятихъ годовъ: Александръ Васильевичъ Дружининъ и Павелъ Васильевичъ Анненковъ, какъ представители оппортунистовъ. Общій характеръ этой критики. Выдержки изъ статей Дружинина. VI—Забвеніе всѣхъ завѣтовъ сороковыхъ годовъ. Отрицаніе критики Бѣлинскаго и натуральной школы. Культъ Пушкина. Возвращеніе къ теоріи чистаго искусства.

I.

Послѣ бурнаго 1848 года мрачная реакція безразсвѣтною ночью на многіе годы воцарилась надъ всею Европой и, въ особенности, надъ Россіей. Въ то время, какъ въ Европѣ реакція эта была прямымъ результатомъ разочарованія въ возможности сразу переработать жизнь на тѣхъ разумныхъ и справедливыхъ основаніяхъ, о которыхъ мечтали въ продолженіе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, въ Россіи, гдѣ никакихъ попытокъ къ подобной переработкѣ не предпринималось, реакція получила характеръ слѣпнаго ретроградства и той панической свѣтлобоязни, при которой въ каждой самостоятельной и свѣжей мысли начали подозрѣвать опасное покушеніе на разрушеніе всѣхъ основъ.

Такъ какъ мы ищемъ не исторію Россіи вообще, а лишь литературнаго движенія ея послѣ 1848 года, то мы не имѣемъ нужды останавливаться на всѣхъ подробностяхъ этой реакціи и считаемъ достаточнымъ ограничиться однѣми общими и крупными чертами, необходимыми для уясненія того характера, который приняла въ это время литература.

Это было гоненіе не на какую-либо партію, ученіе, а на мысль вообще, на какое-бы то ни было движеніе ея. Кромѣ официально утвержденныхъ идей и понятій, все остальное отрицалось огуломъ и безъ всякаго разбора. Съ этою цѣлью были закрыты философскія кафедръ во всѣхъ университетахъ, остальные предметы были подвергнуты самому строгому контролю, причемъ отъ профессоровъ начали требовать не только того,

чтобы они ни слова не произносили сверхъ установленныхъ программъ, но чтобы, вмѣстѣ съ тѣмъ, были самыми усердными проводниками все тѣхъ же официальныхъ идей и взглядовъ. Въ то-же время, было крайне ограничено и доведено до послѣдняго минимума число учащихся въ университетахъ.

Надъ литературою нависла цѣлая стѣга цензуры. Кромѣ общихъ цензурныхъ комитетовъ, каждое министерство цензурило статьи, касающіяся его. А надъ всѣми этими цензурами возвышался грозный бутурлинскій комитетъ, который наблюдалъ за дѣйствіями всѣхъ прочихъ цензуръ и каралъ не только новыя прегрѣшенія, но и инквизиторски изслѣдовалъ старыя, совершенныя, Богъ вѣсть, когда, въ опасеніи, какъ-бы не были допущены новыя изданія вредныхъ книгъ, давно уже пропущенныхъ цензорами, и въ прежніе годы не отличавшимися снисходительностью.

Сдавленная въ самыхъ тѣсныхъ тискахъ всѣхъ этихъ цензуръ, обязанныхъ, не ограничиваясь явнымъ смысломъ статей, проникать въ тайныя намѣренія авторовъ и докладывать объ этихъ намѣреніяхъ высшему начальству, литература сразу утратила богатое идейное содержаніе, какое мы видѣли въ концѣ сороковыхъ годовъ, совершенно обезцвѣтилась и обезличилась. Словно по какой-то безпощадно-злой проницательности судьбы, едва было провозглашено на страницахъ журналовъ, что первенство принадлежитъ наукамъ общественнымъ и что критика должна оцѣнивать литературную дѣятельность въ отношеніи къ общественнымъ вопросамъ, именно, общественныхъ-то вопросовъ и было запрещено касаться литературѣ, хотя-бы мелькомъ и косвенно. Дошло до того, что не допускали не только критическое отношеніе къ общественнымъ порядкамъ или правительственнымъ распоряженіямъ, но не позволяли толковать обо всемъ томъ хотя бы въ самомъ одобрительномъ и хвалебномъ духѣ.

Это безусловное запрещеніе всякой публицистики особенно сильно отразилось на газетной прессѣ, которая едва влачила свое существованіе въ видѣ жалкихъ сѣренькихъ листочковъ *Съверной Пчелы* Ѳ. Булгарина, *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей* Очкина, *Полуднейскихъ Вѣдомостей*, *Русскаго Инвалида* и *Московскихъ Вѣдомостей* Захарова. Всѣ эти газеты выходили безъ передовыхъ статей и политическихъ корреспонденцій, довольствуясь сообщеніемъ опубликованныхъ правительственныхъ распоряженій и безцвѣтными фельетонами, трактующими о кондитерскихъ, гуляньяхъ, и извѣстіями о рѣдкихъ случаяхъ обыденной жизни, вроде бабы, разрѣшившейся тройнями.

Столь-же измѣнились и журналы—и *Отечественныя Записки* Краевскаго, и *Современникъ* Некрасова, и *Библиотека для Чтенія* Сенковскаго, и славянофильскій *Москвитянинъ* и пр. Въ предыдущей главѣ мы указали, какъ на одну изъ самыхъ существенныхъ особенностей новаго періода литературы, на образованіе литературныхъ лагерей и требованіе отъ журналовъ направленія. Но въ пятидесятые годы журналы вновь принимаютъ характеръ безцвѣтныхъ и безхарактерныхъ сборниковъ, ничѣмъ почти не отличающагося другъ отъ друга, тѣмъ болѣе, что многіе изъ сотрудниковъ являются у нихъ общіе. Прежде всего, конечно, беллетристы и поэты: Григоровичъ, Писемскій, Потѣхивъ, Половскій, Фетъ, Щербина и пр., начали печататься разомъ во всѣхъ органахъ, не обнаруживая ни малѣйшаго пристрастія ни къ одному изъ нихъ. Но не одни беллетристы и поэты, всегда отличавшіеся до извѣстной степени индивиду-

ферентизмомъ къ журнальнымъ направленіямъ, перекочевывали изъ одного журнала въ другой, — примѣру ихъ слѣдовали и критики, несмотря на то, что, по самой профессіи своей, являясь представителями того или другого литературнаго лагеря, они должны были-бы сосредоточивать свою дѣятельность въ одномъ какомъ-либо органѣ; такъ, мы видимъ, что выдающіеся критики того времени: Дружининъ, Аксаковъ, Ап. Григорьевъ — постоянно кочуютъ изъ одного органа въ другой или-же участвуютъ разомъ въ нѣсколькихъ.

— II. —

Приведеніе всѣхъ органовъ въ печати къ уровню безцвѣтныхъ сборниковъ, зависѣло, конечно, прежде всего, отъ удаленія съ литературной арены всѣхъ тѣхъ наиболѣе выдававшихся и сильныхъ мыслью и талантами дѣятелей, которые стояли во главѣ движенія сороковыхъ годовъ. Бѣлинскій лежалъ въ могилѣ, и самое имя его не допускалось цензурою упоминать въ печати; Герценъ былъ за границей; Грановскій то хандрилъ и путался въ туманныхъ философскихъ рефлексіяхъ, то мирился съ жизнью путемъ разныхъ компромиссовъ; В. Милютинъ ушелъ въ сферу чистой науки. Изъ молодыхъ писателей, въ свою очередь, весьма многіе выбыли изъ строя и притомъ такія могучія силы, какъ Щедринъ, Ѳ. Достоевскій, Плещеевъ. Но самая главная причина безцвѣтности журналовъ лежала, конечно, въ полной невозможности обсудить маломальски животрепещущій вопросъ и провести свѣжую мысль.

Поневолѣ, вмѣсто живыхъ публицистическихъ статей, журналы начали наполняться теперь необъятно-длинными, сухими и спеціальнѣйшими учеными трактатами, вмѣсто которыхъ никакъ не въ литературныхъ, а въ какихъ-либо спеціальныхъ органахъ. Это называлось на журнальномъ языкѣ того времени придавать органу дѣловую и научную солидность. И вотъ всѣ журналы старались перещеголять одинъ другой этою тяжеловѣсною солидностью. Наиболѣе тщеславились своею научностью *Отечественныя Записки*, на страницахъ которыхъ помѣщались такія ученѣйшія вещи, какъ *Домашній бытъ русскихъ царей* Забѣлина; *Сибирскія мѣтотиси XVI и XVII столѣтій*; *филологическій разборъ перевода Жуковскаго Одиссеи съ приложеніемъ греческаго текста, или разборъ латинскаго руководства Греча профессора Фрейтага* и пр. Но и *Современникъ*, на который редакція *Отечественныхъ Записокъ* смотрѣла свысока, какъ на журналъ легковѣснаго дилетантизма, въ свою очередь, не уступалъ *Отечественнымъ Запискамъ* въ помѣщеніи спеціальнѣйшихъ научныхъ статей, вродѣ отрывковъ изъ исторіи Соловьева, трактата о рыболовствѣ, критическихъ статей по поводу химической диссертациі „о вѣсѣ пая висмута“ и т. п.

Рядомъ съ тѣмъ въ критическихъ сферахъ на первый планъ выступала бібліографія, начались кропотливыя изслѣдованія мелкихъ фактиковъ жизни давно сошедшихъ въ могилу писателей, вродѣ Тредьяковскаго или Богдановича. Вотъ какъ характеризуетъ эту бібліографію Добролюбовъ:

«Начали дорожить каждымъ малѣйшимъ фактомъ біографіи и даже бібліографіи. Гдѣ первоначально были помѣщены такіе-то стихи, какія въ нихъ были опечатки, какъ онѣ измѣнены при послѣднихъ изданіяхъ, кому принадлежатъ подписи А. или В. въ такомъ-то журналѣ или альманахѣ, въ такомъ-то томѣ близкаго извѣстнаго склавичевскій.

писатель, съ кѣмъ онъ встрѣчался, какой табакъ курить, какіе носилъ сапоги, какія книги переводилъ по заказу книгопродавцевъ, на которомъ году написалъ первое стихотвореніе, — вотъ важнѣйшія задачи современной критики, вотъ любопытные предметы ея изслѣдованій, споровъ, сожалѣній... Цѣлыми годами труда самаго кропотливаго не добывалось равно никакихъ результатовъ: публику душили ссылками на ЛМ и страницы журналовъ, давно отжившихъ свой вѣкъ, а она часто и не знала даже, о чемъ идетъ дѣло. Мы помнимъ, какъ лѣтъ пять тому назадъ двое ученыхъ—старый и молодой — ожесточенно ратовали другъ противъ друга за то, какъ нужно произнести одинъ стихъ Пушкина: на четыре *стороны* или *сторонами*; помнимъ, какъ двое молодыхъ ученыхъ глумились другъ надъ другомъ изъ одного вздорнаго стихотворенія съ подписью Д—гъ, не зная, кому приписать его — Дельвигу или Дальбергу. Да мало-ли что можно вспомнить изъ того времени, въ томъ-же безвредномъ родѣ, какъ будто вызванномъ отчаяніемъ скуки. И ничего не вышло изъ этихъ споровъ, изслѣдованій и открытій...»

Такою плодотворною дѣятельностью занимались въ то время Н. М. Лонгиновъ, Геннади, В. П. Гаевскій, А. А. Галаховъ, П. В. Анненковъ.

III.

Беллетристика, въ свою очередь, значительно спала съ тона и далеко не оправдывала тѣхъ ожиданій, какія возлагались на нее въ концѣ сороковыхъ годовъ. Въ свое время мы укажемъ на то, какъ отразилась реакція пятидесятихъ годовъ на дѣятельности выдающихся писателей того времени. Здѣсь-же мы замѣтимъ лишь, что не произведенія этихъ выдающихся писателей (Тургенева, Гончарова, Писемскаго и пр.), довольно рѣдкія въ то время, стояли на первомъ планѣ въ журналахъ пятидесятихъ годовъ, не они возбуждали сенсаціи и дѣлали подписку, а совершенно особеннаго рода беллетристика, исключительно принадлежавшая этому времени и вполне его характеризующая. Это были безконечно длинныя романы съ весьма сложными, запутанными и сказочными сюжетами, главные герои которыхъ являлись великолѣпными представителями столичнаго или провинціального свѣта, отличались изящными манерами, модными костюмами, гордою и мрачною душою à la Печоринъ и непреклонною энергіей въ покореніи женскихъ сердець. Въ созданіяхъ подобныхъ романовъ сказывалось, съ одной стороны, вліяніе французской беллетристики, преимущественно Александра Дюма-отца и Евгенія Сю, съ другой же—это была традиція тридцатыхъ годовъ, марлиновщина и соллогубовщина, подавленная на время критикою Евлинскаго и теперь возродившаяся въ нѣсколько обновленномъ видѣ, сообразно измѣнившимся требованіямъ времени. Въ *Современникѣ* поставщиками такихъ романовъ являются Некрасовъ въ сообществѣ съ Станицкой (Авд. Як. Панаевой) и производятъ такіе лубочные романы, какъ *Три страны свѣта* и *Мертвое озеро*. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* мы видимъ В. Зотова съ его безконечными романами, вродѣ, наприимѣръ, *Старого дома*, тянувшася годы и дѣйствіе котораго, начиная съ петровскихъ временъ, черезъ рядъ поколѣній, постепенно достигаетъ современности. Представителями же подобнаго рода беллетристики слѣдуетъ считать Вонлярлярскаго, романы котораго изъ великосвѣтской жизни въ стилѣ Евгенія Сю печатались въ разныхъ журналахъ того времени. Рядомъ съ нимъ подвизались на поприщѣ того же великосвѣтскаго романа гр. Ростопчина, Евгенія Туръ, Дружининъ и пр.

Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить еще одну особенность журналистики того времени: эти самые журналы, которые утратили почти всякое различіе одинъ отъ другого, сплошь наполненные сухими, квази-научными статьями и безконечными сказочными романами, лишенные, въ то-же время, всякой возможности проводить какое-бы то ни было направленіе, тѣмъ не менѣе, вели между собою самую ожесточенную полемику, причѣмъ особенная вражда господствовала между *Отечественными Записками* и *Современникомъ*, равно какъ между петербургскими органами въ качествѣ западниковъ и *Москвитяниномъ*, выразителемъ славянофильскаго лагеря. Но вся эта полемика не имѣла и тѣни какого-либо идейнаго содержанія. Это было одно безсодержательное зубоскальство и хихиканье, полное слѣпотоу пристрастія и беззастѣнчиво-открытаго барышничества. Весь вопросъ шелъ, главнымъ образомъ, о томъ, чтобы переманить другъ отъ друга подписчиковъ. Это называлось на журнальномъ языкѣ того времени осенній походъ, заключавшійся въ томъ, что около подписныхъ мѣсяцевъ каждый журналъ начиналъ пересмѣивать недостатки своего соперника и выставлять свои преимущества, причѣмъ рѣчь шла не объ идеяхъ и взглядахъ, а выставлялись на видъ такія погрѣшности противниковъ, какъ неправильныя выраженія, плохой переводъ, опечатки и т. п.

Нужно-ли и говорить о томъ, что о мало-мальски солидной и глубокой общественно-политической сатирѣ не могло быть и помысленія въ тѣ времена. Единственными представителями сатиры этой эпохи являются И. Панаевъ со своими фельетонами въ *Современникъ* подъ заглавіемъ *Замѣтки новаго поэта* и Дружининъ, помѣщавшій въ *С.-Петербургскихъ Выдомостяхъ* и *Современникъ* „*Путешествіе Чернокушечникова по петербургскимъ дачамъ*“ Это была сатира правовъ, обличавшая такіе мелкіе недостатки частныхъ людей, какъ суетность, фатовство, житье сверхъ средствъ, или бѣдствія петербургскихъ дачниковъ въ борьбѣ со стихіями. Въ 1854 г. въ *Современникъ* появился особенный сатирическій отдѣлъ *Литературный ералашъ*, въ которомъ выступили три поэта: гр. Алексѣй Константиновичъ Толстой, Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ и Владиміръ Михайловичъ Жемчужниковъ подъ вымышленнымъ именемъ Кузмы Пруткова съ его пародіями и афоризмами; но стѣить лишь прочесть эти произведенія сатирической музы пятидесятихъ годовъ, вышедшія въ 1884 году отдѣльнымъ изданіемъ, чтобы убѣдиться, какую безсодержательно-плоскую буффонаду представляла подобная сатира.

IV.

Но было-бы ошибочно предполагать, что измельчаніе литературы зависѣло исключительно отъ однихъ цензурныхъ условий. Въ самомъ обществѣ было достаточное количество реакціонныхъ элементовъ, и когда люди, сильные духомъ, смѣлые и послѣдовательные мысля, сошли съ литературнаго поприща, литературу заволокли особеннаго рода оппортунисты, словно специально созданные реакціей для того уровня, къ которому была приведена журналистика, и которые не только не тяготились тяжелымъ положеніемъ печати, а, напротивъ того, какъ сыръ въ маслѣ катались при установившихся порядкахъ, въ послѣдовавшемъ-же движеніи литературы и мысли

представляли собою не малый тормазъ. Это были люди, пропитанные до мозга костей духомъ петербургскаго бюрократизма. Повидимому, они представляли изъ себя безукоризненно передовыхъ прогрессистовъ и либераловъ, западниковъ, гонявшихся за послѣднимъ словомъ европейской цивилизаціи, и реалистовъ, ратовавшихъ за трезвую мысль, основанную на самыхъ положительныхъ данныхъ. Но либерализмъ ихъ не шелъ далѣе поверхностнаго англоманства, увлеченіе западнымъ прогрессомъ—далѣе восхищенія чудесами европейской промышленности въ видѣ желѣзныхъ дорогъ, электрическихъ телеграфовъ и сельско-хозяйственныхъ машинъ; реализмъ ихъ исполнѣе осуществлялся въ практической философій дядюшки Адуева, въ отрицаніи на ряду съ романтическими фантазіями и порывами какихъ-бы то ни было безкорыстныхъ увлеченій. Весь идеалъ ихъ заключался въ умѣньѣ къ 50 годамъ нажить кругленькій капиталчикъ, въ комфортѣ, умѣренности, аккуратности и солидности во всѣхъ жизненныхъ отправленияхъ и чопорной великосвѣтскости, а иногда и хлыщеватаго дендизма подъ личиною развитія чувства изящнаго. Идеалъ этотъ вы можете встрѣтить въ массѣ беллетристическихъ произведеній того времени. На каждомъ шагу являлся передъ вами тщеславящійся своею честностью администраторъ, неподкупный ревизоръ и слѣдователь во фракѣ съ иголочки, съ безукоризненно-свѣтскими, изящными манерами и нѣжнымъ сердцемъ, наклоннымъ пылать неизмѣнною страстью, но и въ самомъ разгарѣ этой страсти неспособный выйти изъ границъ великосвѣтской чопорности и допустить какой-нибудь необузданный порывъ. Таковъ, напримѣръ, герой повѣсти Дружинина *Поленка Саксъ*.

«Часто думаю я,—говорить о немъ героиня,—любить-ли кого-нибудь этотъ человекъ? Ни до свадьбы, ни послѣ не сказалъ онъ мнѣ открыто, что онъ хоть сколько-нибудь въ меня влюбленъ. «Любовь моя не на словахъ, а въ жизни»,—говаривалъ онъ нѣсколько разъ. Чтобъ онъ сталъ цѣловать мои руки, чтобъ онъ становился на колѣни... si donc! — отъ этого изменится рубашка на груди, запачкается платье. Является онъ ко мнѣ не иначе, какъ во фракѣ или сюртукѣ,—tiré à quatre épingles,—верхъ дерзости, если онъ осмѣлится надѣть лѣтнее пальто, вмѣсто фрака!»

Еще ниже въ той-же повѣсти мы видимъ, что Константинъ Саксъ даже и такія служебныя обязанности, которыя вовсе не требуютъ парада, исполняетъ не иначе, какъ во фракѣ (и, конечно, ужъ въ бѣломъ галстукѣ, прибавимъ мы отъ себя), заставляя просителей и подчиненныхъ подолгу дожидаться, пока совершаетъ онъ свой туалетъ.

Вотъ этой-то средѣ бюрократическаго оппортунизма и обязана была журналистика пятидесятихъ годовъ и педантически-сухою ученостью, и библиографическою мелочностью, и безъвѣдностью. Литераторы подобнаго рода увлекались въ своей дѣятельности единственнымъ побужденіемъ составить литературную карьеру и побольше написать, чтобы побольше получить.

Въ предыдущей главѣ мы говорили, что въ основѣ новаго литературнаго періода лежала идея возвращенія къ народу, демократизаціи русской мысли и жизни. Все это было предано полному забвенію оппортунистами съ ихъ узко-буржуазными и бюрократическими идеалами. Между тѣмъ, они господствовали въ петербургской литературѣ, давали тонъ всему и были главными судьями новой беллетристической школы, и если

только не совратили ее съ пути, на который направилъ ее Вѣлинскій, то благодаря лишь тому, что среди нихъ не было ни одного столь талантливаго критика, который подчинилъ-бы беллетристовъ своему вліянію. Но если критики, созданные петербургскою литературною средой того времени, и не отличались ни сильными талантами, ни вліяніемъ, тѣмъ не менѣе, они представляютъ такой своеобразный характеръ, что мы считаемъ не лишнимъ закончить эту главу ознакомленіемъ съ ихъ взглядами и критическими методами.

V.

Наиболѣе сильнымъ авторитетомъ въ то время въ критикѣ петербургскихъ журналовъ пользовались Александръ Васильевичъ Дружининъ и Павелъ Васильевичъ Анненковъ.

А. В. Дружининъ родился въ 1825 г.; воспитывался въ Пажескомъ корпусѣ, откуда былъ выпущенъ въ лейбъ-гвардіи финляндскій полкъ прапорщикомъ. Съ 1847 г. онъ служилъ въ канцеляріи военнаго министра, а въ 1851 г. вышелъ въ отставку. Первая повѣсть его, обратившая на себя общее вниманіе—*Поленка Саксъ*, была напечатана въ № 12 *Современника* 1847 г. Затѣмъ потянулся въ *Современникъ* рядъ его рассказовъ, каковы: *Разсказъ Алексѣя Дмитриевича*, *Повѣсть Жюм*, *Докторъ и пациентъ* и пр. Одновременно съ этимъ Дружининъ приступилъ къ печатанію галереи замѣчательныхъ романовъ старыхъ и новыхъ временъ съ біографическими свѣдѣніями объ авторахъ и выступилъ въ *Современникъ* въ качествѣ фельетониста подъ псевдонимомъ Ивана Чернокушнникова. Подъ тѣмъ-же псевдонимомъ онъ писалъ впоследствии въ *Библіотекъ для чтенія* и *Вѣкъ*.

Въ *Библіотекъ для Чтенія* Дружининъ помѣстилъ въ 1851—52 гг. рядъ статей подъ заглавіемъ *Джонсонъ и Босвелъ. Картины британскихъ литературныхъ нравовъ во второй половинѣ XVIII вѣка*. Въ *Современникъ* въ продолженіе всей первой половины пятидесятыхъ годовъ онъ велъ критическіи фельетонъ подъ заглавіемъ *Письма иногороднаго подписчика о русской журналистикѣ*, а съ утвержденіемъ съ 1856 года въ *Современникъ* новой редакціи тѣ-же фельетоны онъ перенесъ въ *Библіотеку для Чтенія*, гдѣ съ тѣхъ поръ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ и редакторомъ. Изъ прочихъ трудовъ его замѣчательны—переводъ трагедій Шекспира—*Король Лиръ*, *Коріоланъ* и *Ричардъ III*, статьи его въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1861 и 1862 гг. Изъ *дневника мирового посредника*, подъ псевдонимомъ Безвѣстнаго.

Въ 1859 г. онъ ознаменовалъ свою жизнь инициативою вопроса объ основаніи „Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ“ и принималъ самое горячее участіе въ учрежденіи его. Неутомимая дѣятельность, подточивъ его силы, была главною причиною его преждевременной смерти; въ исходѣ 1863 г. онъ слегъ, а 19-го января 1864 г. умеръ въ Петербургѣ отъ чахотки на 39 году жизни.

Павелъ Васильевичъ Анненковъ родился въ Москвѣ 19-го іюня 1813 г. Отецъ его былъ богатый помѣщикъ симбирской губерніи. Учился онъ сначала въ Горномъ Институтѣ, гдѣ дошелъ до специальныхъ классовъ; затѣмъ долгое время былъ воль-

послушателемъ на историко-филологическомъ факультетѣ въ с.-петербургскомъ университетѣ. Въ 1833 г. онъ поступилъ было въ канцелярію министерства финансовъ, но вскорѣ бросилъ службу и въ 1840 г. уѣхалъ за-границу, откуда началъ присылать письма, которыя печатались Бѣлинскимъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1840—42 гг. Вообще, втеченіе сороковыхъ годовъ онъ проводилъ время по большей части за-границей, рѣдко наѣзжалъ въ Россію, и литературная дѣятельность его ограничивалась нѣсколькими посредственными разсказами и корреспонденціями. Въ пятидесятыхъ годахъ литературная дѣятельность Анненкова принимаетъ характеръ болѣе энергическій; онъ выдвигается на первый планъ, и до половины шестидесятыхъ годовъ, занимаетъ мѣсто перваго критика рядомъ съ А. В. Дружининымъ. Но особенно прославился онъ, какъ бібліографъ, и по этой отрасли оставилъ по себѣ весьма почтенную память, такими трудами, какъ полное собраніе сочиненій Пушкина съ *материалами* для біографіи его въ 1856 году и изданіемъ переписки и біографіи Станкевича въ 1867 г.

Одновременно съ этимъ помѣщались въ различныхъ журналахъ критическіе этюды, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны слѣдующіе: *И. С. Тургеневъ и Л. Н. Толстой* (1854 г.), *О мысли въ произведеніяхъ излишней словесности* (1855 г.), *С. Т. Аксаковъ и его „Семейная хроника“* (1856) *Литературный шикъ слабого чловѣка по поводу „Аси“ Тургенева* (1858 г.), *Дѣловой романъ въ нашей литературѣ: „Тысяча душъ“, романъ А. Писемскаго* (1859 г.), *Наше общество въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ Тургенева* (1859 г.), *„Гроза“ Островскаго и критическая буря* (1860 г.), и проч.

Послѣднія 20 лѣтъ своей жизни Анненковъ проживалъ большею частью за-границей, лишь изрѣдка наѣзжая въ Россію. Наиболѣе замѣчательными его трудами этого періода представляются его воспоминанія о движеніи русской мысли и литературныхъ дѣятеляхъ сороковыхъ годовъ, которыя онъ печаталъ на страницахъ *Вѣстника Европы*: таковы *Замѣчательное десятилітіе, Идеалисты 30-хъ годовъ, Молодость С. Тургенева, Художникъ и простой чловѣкъ (А. Ѳ. Писемскій)* и проч.

Умеръ Анненковъ 8-го марта 1887 г. въ Дрезденѣ.

Читая статьи и фельетоны этихъ критиковъ, особенно Дружинина, тщетно вы будете искать въ нихъ какіе-либо руководящіе принципы и критеріи, между тѣмъ, еще разъ повторяемъ, статья эти имѣютъ вполне опредѣленный и своеобразный характеръ, благодаря которому они должны были очень нравиться тѣмъ петербургскимъ бюрократическимъ оппортунистамъ, представителями которыхъ являлись они въ литературѣ.

Въ самомъ дѣлѣ: вы представьте только себѣ петербургскаго либеральнаго администратора, который вечеромъ, въ свободный часъ отъ служебныхъ обязанностей и преферансной пульки, въ комфортабельномъ кабинетѣ, полулежа у пылающаго камина, занимался перелистываніемъ послѣднихъ книжекъ журналовъ и пробѣгалъ беллетристическія новости. Изъ каждой прочитанной повѣсти онъ выносилъ свои сужденія, не лишеныя иногда и остроумія, и мѣткости, и здраваго смысла. Но развѣ эти сужденія касались того внутренняго смысла, который таился въ прочитанномъ произведеніи, — того духа, который его проникалъ? Ничуть не бывало: все дѣло ограничива-

валось выдержанностью или невыдержанностью того или другого характера, сътованіемъ на недостатокъ внѣшней занимательности, чѣмъ такъ отличаются французскіе романисты и до чего русскимъ далеко, или-же насмѣшками надъ претензіей беллетриста выводить свѣтскихъ людей, не имѣя ни малѣйшаго понятія объ истинной свѣтскости, и т. п. Именно, подобнаго рода сужденіями отличаются всѣ критическія статьи и фельетоны того времени, и особенно Дружинина.

Возьмемъ для примѣра двѣ-три выдержки. Такъ, въ 1850 году была напечатана въ апрѣльской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* повѣсть Тургенева *Дневникъ лишняго человека*. Казалось-бы, на какія серьезныя и важныя размышленія должна была вызвать мало-мальски живого критика эта мрачная повѣсть, особенно въ общемъ мрачномъ колоритѣ того времени и, притомъ, подѣ свѣжимъ впечатлѣніемъ перваго чтенія, и вдругъ мы читаемъ слѣдующій отзывъ Дружинина въ его четырнадцатомъ письмѣ:

«Повѣсть эта принадлежитъ къ самымъ слабымъ произведеніямъ автора *Записокъ охотника*. Это одна изъ тѣхъ повѣстей, которыя никогда не дочитываются до конца и о которыхъ два-три любителя выражаются съ глубокомысленнымъ видомъ: «это собственно не повѣсть, а психологическое развитіе». Г. Тургеневъ слишкомъ уменъ, чтобы написать вещь совершенно скучную, и человекъ, со вниманіемъ прочитавшій его послѣднее произведеніе, найдетъ въ немъ нѣсколько мыслей, живописныхъ описаній, но не болѣе. Мы въ послѣднее время такъ уже привыкли къ психологическимъ развитіямъ, къ рассказамъ «темныхъ», «праздныхъ», «лишнихъ» людей, къ запискамъ мечтателей и ипохондриковъ, мы такъ часто съ разными болѣе или менѣе искусными нувелистами заглядывали въ душу героевъ больныхъ, робкихъ, загнанныхъ, огорченныхъ, вялыхъ, что наши потребности совершенно измѣнились. Мы не хотимъ тоски, не желаемъ произведеній, основанныхъ на болѣзненномъ настроеніи духа; если-бы самъ авторъ *Обермана* воскресъ и написалъ намъ новый романъ въ этомъ родѣ, сомнѣваюсь, чтобы такой романъ былъ дочитанъ до конца... даже до конца первой главы. Г. Тургеневъ, владѣя замѣчательною способностью къ психологическому анализу, любить подмѣчать въ каждомъ изъ своихъ героевъ стороны слабыя, раздражительныя, болѣзненныя. Эта особенность, употребленная въ мѣру, помогла ему обрисовать прекрасный характеръ Вилицкаго въ *Холостякѣ*, и очень эффектно проявилась въ одномъ изъ *Рассказовъ охотника*, если не ошибаюсь, въ *Гамлетъ Щироваго узда*. *Дневникъ лишняго человека* построенъ весь на этой особенности, и оттого повѣсть слаба, однообразна, утомительна».

Затѣмъ, рассказавъ содержаніе повѣсти, Дружининъ приходитъ къ слѣдующему выводу:

«Прочитавъ съ довольно унылымъ чувствомъ повѣсть г. Тургенева, я задумался надъ этою повѣстью одного изъ любимыхъ моихъ писателей. Мнѣ захотѣлось разгадать одну изъ главныхъ причинъ той мелочности, въ которую впала наша беллетристика за послѣднія пять или шесть лѣтъ,—мелочности, непонятной въ то самое время, когда наша ученая словесность быстро движется впередъ и когда каждый изъ русскихъ журналовъ каждый мѣсяць представляетъ своимъ читателямъ по одной, по двѣ замѣчательныхъ статей серьезнаго содержанія (sic). Думалъ о причинахъ этой мелочности, и пришелъ къ двумъ убѣжденіямъ: первое, что сатирической элементъ, какъ-бы блистателемъ онъ ни былъ, не способенъ преобладающимъ элементомъ въ изыщной словесности, и второе, что наши беллетристы истощили свои способности, гоняясь за сюжетами изъ современной жизни».

Нѣтъ ничего удивительнаго въ дикости всѣхъ этихъ сужденій: всѣ петербургскіе администраторы того времени, начиная съ надворныхъ и кончая дѣйствительными тайными совѣтниками, повторяли буквально тѣже изреченія: и что надобно имъ всѣ эти инпохондрки въ нашей беллетристикѣ, и что мы не хотимъ тоски, и что беллетристика измелчала, и что причина этому—преобладаніе сатиры и погоя за современными сюжетами и т. п.

Въ томъ-же году, въ № 21 *Москвитянина*, была напечатана не менѣ многознаменательная повѣсть Писемскаго *Тюфякъ*. Къ этой повѣсти Дружининъ отнесся гораздо благосклоннѣе, причѣмъ особенно понравился ему языкъ дѣйствующихъ лицъ, обладающій, по его мнѣнію, «тою бойкостью и оригинальностью, которая такъ очаровательна въ романахъ господина Вельмана». Въ заключеніе-же довольно поверхностнаго и казеннаго разбора Дружининъ замѣчаетъ вдругъ, на этотъ разъ въ угоду даже не самимъ надворнымъ совѣтникамъ, а ихъ женамъ и дочерямъ, что въ повѣсти Писемскаго мало вишней занимательности, и это онъ ставитъ въ вину автору. «Беллетристу,—говоритъ онъ,—какъ бы талантливъ онъ ни былъ, нечего бѣгать отъ живыхъ сценъ, движенія, *даже таинственности и эффектовъ*: онъ пишетъ не для однихъ диллетантовъ, уже охлажденных къ романамъ и при чтеніи занимательнаго разсказа говорящихъ: «лучше Монте-Кристо не выдумаешь, любезный другъ!» и т. д.

VI.

Однимъ словомъ, всѣ великіе завѣты Вѣлинскаго были забыты. Точно какъ будто этихъ самыхъ будущихъ критиковъ, своихъ преемниковъ, подразумѣвалъ Вѣлинскій, когда въ своемъ литературномъ обзорѣ за 1847 годъ заставилъ изнѣженнаго сибарита съ пренебреженіемъ бросить книгу, заключающую въ себѣ повѣсть въ духѣ натуральной школы, и воскликнуть: «Книга должна пріятно развлекать; я безъ того знаю, что въ жизни много тяжелаго и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!».—Такъ,—отвѣчаетъ Вѣлинскій на это восклицаніе,—милый, добрый сибаритъ, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и бѣдный забывать свое горе, голодный—свой голодъ, стоны, страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетитъ, не нарушился твой сонъ».

Эти пророческія слова Вѣлинскаго исполнились буква въ букву: критики-сибариты, о которыхъ мы говоримъ, не замедлили воздвигнуть цѣлый походъ противъ натуральной школы и создали особенный культъ поэзіи Пушкина не ради величія этой поэзіи самой по себѣ и неоцѣнныхъ заслугъ Пушкина, а въ видѣ противодѣйствія гоголевскому вліянію, какъ заявляли они въ своихъ статьяхъ, съ цѣлью возвращенія нашей литературы къ свѣтлому взгляду на жизнь и дѣйствительность.

Такъ, Дружининъ въ своей статьѣ по поводу изданія сочиненій Пушкина, въ *Библіотекѣ для Чтенія* въ 1885 году, между прочимъ, говоритъ:

«Одинъ изъ современныхъ литераторовъ выразился очень хорошо, говоря о сущности дарованія Александра Сергѣевича. «Если-бы Пушкинъ прожилъ до нашего времени, — выразилъ онъ, — его творенія составили-бы противудѣйствіе гоголевскому

направленію, которое, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, нуждается въ такомъ противудѣйствіи». Отзывъ совершенно справедливый и весьма примѣнимый къ дѣлу. И въ настоящее время, и черезъ столько лѣтъ послѣ смерти Пушкина, его творенія должны сдѣлать свое дѣло. Изучая прозу Пушкина, его *Отчина*, гдѣ изображенъ вседневный бытъ нашъ какъ городской, такъ и деревенскій, его стихотворенія, viuшennыя сельскими картинами, сельскимъ бытомъ, мы придемъ къ началу того противудѣйствія, той реакціи, которая такъ нужна въ текущей словесности. Что-бы ни говорили пламенные поклонники Гоголя (и мы сами причисляемъ себя не въ холоднымъ его читателямъ), нельзя всей словесности жить на однѣхъ *Мертвыхъ душахъ*. Намъ нужна поэзія. Поэзіи мало въ послѣдователяхъ Гоголя, поэзіи нѣтъ въ излишне-реальномъ направленіи многихъ новѣйшихъ дѣятелей. Самое это направленіе не можетъ назваться натуральнымъ, ибо изученіе одной стороны жизни не есть еще натура. Скажемъ нашу мысль безъ обиняковъ: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своимъ сатирическимъ направленіемъ. Противъ того сатирическаго направленія, къ которому привело насъ неумѣренное подражаніе Гоголю, поэзія Пушкина можетъ служить лучшимъ орудіемъ. Очи наши проясняются, дыханіе становится свободнымъ: мы переносимся изъ одного міра въ другой, отъ искусственнаго освѣщенія къ простому дневному свѣту, который лучше всякаго яркаго освѣщенія, хотя и освѣщеніе, въ свое время, имѣетъ свою пріятность. Передъ нами тотъ-же бытъ, тѣ-же люди, но какъ все это глядитъ тихо, спокойно и радостно!».

Отъ требованій, чтобы искусство тихо, спокойно и радостно смотрѣло на жизнь, одинъ шагъ до теоріи чистаго искусства, а разъ наши критики-опиортунисты встали на эту почву, имъ только и оставалось—мало того, что забыть всѣ завѣты Бѣлинскаго, но придти къ полному его отрицанію, и они не замедлили вступить на этотъ путь, причемъ послѣдовательнѣе и откровеннѣе всѣхъ оказался Дружининъ, который въ своей статьѣ *Очерки изъ крестьянскаго быта А. О. Писемскаго въ Библиотекѣ для Чтенія 1856 года* прямо отрицаетъ критику Бѣлинскаго и указываетъ даже на вредное ея вліяніе:

«Большая часть пишущихъ людей, — говоритъ онъ, — понимала необходимость жизни и примиренія съ жизнью, сознавала необходимость всего того, отъ чего ее отвращала новая критика, то-есть необходимость свѣтлаго взгляда на вещи, веселаго простудушнаго смѣха, необходимость беззлобнаго отношенія къ дѣйствительности, необходимость любящаго, симпатическаго взгляда на людей и на дѣла людскія. Потому-то даже годы полнаго торжества дидактической критики принесли нашему искусству вредъ скорѣе отрицательный, чѣмъ положительный. Критика сороковыхъ годовъ скорѣе мѣшала развитію писателей существующихъ, нежели содѣйствовала къ появленію новыхъ писателей-дидактиковъ. На литераторовъ, уже составившихъ себѣ имя и вновь появляющихся, критика Бѣлинскаго налагала стѣснительныя узы, но художниковъ, собственно ею созданныхъ, она не имѣла. Своихъ поэтовъ, своихъ литературныхъ адептовъ она не создала; эти послѣдніе, побѣгавшіе самое короткое время на дидактической кордѣ, исчезали съ лица земли и гибли вслѣдствіе своего собственнаго безсилія. Всюду кипѣла свѣжія молодая сила, всюду являлось сдержанное противорѣчіе узкимъ дидактическимъ требованіямъ господствующей критики. Чуть замолкъ голосъ Бѣлинскаго, чуть его поэтическое слово перестало служить самымъ непоэтическимъ изъ всѣхъ цѣлей, въ ряду русскихъ критиковъ даже не нашлось человѣка, желающаго продолжать дѣло. При всемъ уваженіи къ критикѣ гоголевскаго періода, при всей личной симпатіи къ ея главнымъ дѣятелямъ, каждый поэтъ и каждый прозаикъ, воспитанный на ея теоріяхъ, почувствовалъ, что, наконецъ, пришло время отрѣшиться отъ всей мертвенной, рутинной стороны сказанныхъ теорій.

Несмотря на полное господство дидактическихъ преданій въ искусствѣ, движеніе нашей изящной словесности шло шире и всестороннѣе.

Трудно представить себѣ болѣе извращеніе всѣхъ историко-литературныхъ данныхъ. Бѣлинскій, всегда первый ратовавшій противъ дидактизма въ искусствѣ и требовавшій отъ писателей лишь живого, естественнаго проникновенія общественными вопросами, попалъ вдругъ въ дидактики, оказалось вдругъ, что онъ не создалъ ни одного писателя, а тѣ, которые подчинялись его требованіямъ, исчезали и гибли вслѣдствіе своего безсилія. Вотъ до чего договорились, наконецъ, критики-оппортунисты! Забѣательно, что подобный походъ противъ всѣхъ завѣтовъ Бѣлинскаго имѣлъ мѣсто не на однѣхъ страницахъ *Библиотеки для Чтенія*, гдѣ онъ былъ умѣстенъ, сообразно традиціямъ этого журнала, всегда ратовавшаго противъ критики Бѣлинскаго и натуральной школы. Не уступалъ въ этомъ отношеніи даже и *Современникъ*, и около того-же времени, именно, въ 1855 году, въ немъ была помѣщена критическая статья П. В. Анненкова: *О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности*, въ которой Анненковъ, въ свою очередь, весьма рѣшительно возсталъ противъ всеобщаго требованія отъ изящныхъ произведеній мысли, поученія. Постоянныя хлопоты о мысли, которыми занята не одна публика, но и критика, сообщаютъ, по его мнѣнію, педагогическій характеръ изящной литературѣ вообще, какъ это мы видимъ не только въ нашемъ прошломъ, но и въ настоящемъ:

«Съ одной стороны, — говоритъ Анненковъ, — кругъ дѣйствія литературы отъ этого, можетъ быть, и расширяется, но, съ другой стороны, онъ утрачиваетъ большую часть самыхъ дорогихъ и существенныхъ качествъ своихъ — свѣжесть пониманія явленій, простодушіе во взглядѣ на предметы, смѣлость обращенія съ ними. Тамъ, гдѣ опредѣляется относительно достоинство произведеній по количеству мысли и цѣлнотѣ его по вѣсу и качеству идеи, тамъ рѣдко является близкое созерцаніе природы и характеровъ, а всегда почти философствованіе и нѣкоторое лукавство. Не говоримъ уже о томъ, что на основаніи мысли легко быть судьей литературнаго произведенія всякому, кто признаетъ въ себѣ мысли (а кто-же не признаетъ ихъ въ себѣ?), а на основаніи эстетическихъ условий это тяжелѣе. Не говоримъ также, что по существу критикъ, ищущихъ предпочтительно мысли, вся лучшая сторона произведенія, именно, его постройка, остается почти всегда безъ оцѣнки и опредѣленія, но скажемъ, что обыкновенно и не тѣхъ мыслей требуютъ отъ искусства, какія оно призвано и способно распространять въ своей сферѣ... Требуютъ мысли не художнической, а философской или педагогической. Извѣстно, что каждый изъ отдѣловъ изящнаго имѣетъ свой кругъ идей, нѣсколько несходныхъ съ идеями, какія можетъ производить до безконечности способность разсужденія вообще. Такъ, есть музыкальная, скульптурная, архитектурная и также литературная мысль. Всѣ онѣ самостоятельны и не могутъ быть перенесенными, чтобы перемѣщенная мысль не сдѣлалась, вмѣсто истины, парадоксомъ и чудовищностью. Какого-же рода цикль идей принадлежитъ повѣствованію и въ чемъ сущность его? Развитіе психологическихъ сторонъ лица или многихъ составляетъ основу всякаго повѣствованія, которое почерпаетъ жизнь и силу въ наблюденіи душевныхъ оттѣнковъ, тонкихъ характерныхъ отличій, игры безчисленныхъ волненій человеческого нравственнаго существа въ соприкосновеніи съ другими людьми. Гдѣ есть въ разсказѣ присутствіе психологическаго факта и вѣрное развитіе его, тамъ есть настоящая и глубокая мысль. Взамѣнъ, если повѣствованіе основано на чистой мысли, но выраженной, какъ всегда выражается такая мысль, посредствомъ невозможнаго или противузстетическаго душевнаго настроенія, то мысль уже не спасетъ разсказа, какъ-бы сама по себѣ ни была свѣтла и благородна. Про-

изведеніе останется, все-таки, плохимъ, впечатлѣніе, произведенное имъ, будетъ слабо и вліяніе совершенно ничтожно».

Это отрицаніе философскихъ и всякихъ другихъ мыслей въ изящныхъ произведеніяхъ, кромѣ одной психологической правды, и требованіе, чтобы критика на первомъ планѣ ставила чисто-эстетическую оцѣнку, въ свою очередь, шли совершенно въ разрѣзъ и съ духомъ времени, и съ существеннымъ значеніемъ новой литературной школы. Мы нарочно сдѣлали эту цитату изъ статьи Анненкова, чтобы показать, какъ къ концу реакціоннаго періода литераторы-оппортунисты въ такой степени успѣли проникнуть всюду и перемѣшать всѣ карты, что на страницахъ *Современника* вы могли встрѣчать тѣ-же самые взгляды, какіе развивались и въ *Библиотекѣ для Чтенія*, и въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Но 1855 былъ послѣднимъ годомъ всеобщаго господства оппортунистовъ. Въ слѣдующіе годы они принуждены были сосредоточиться въ двухъ журналахъ: *Отечественныхъ Запискахъ* и *Библиотекѣ для Чтенія*, — и слѣпо, вяло и бессмысленно ратуя противъ могучаго теченія вновь проснувшейся жизни, они *Библиотеку для Чтенія* совсѣмъ погребли, а *Отечественныя Записки* къ концу шестидесятихъ годовъ довели почти до издыханія.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I—Московская оппозиція: изданіе *Протилесъ* и возникновеніе славянофильства. II—Религіозные и философо-историческія взгляды первыхъ славянофиловъ. III—Общественныя ихъ доктрины и демократическія тенденціи. VI—Погромы, испытанныя ими. V—Литературныя заслуги славянофиловъ и ихъ критическіе взгляды. IV—Почвенники и ихъ ученіе. Критики почвенниковъ: Ап. Григорьевъ и Н. Страховъ. Точки соприкосновенія почвенниковъ съ петербургскими оппортунистами. VII—Орестъ Федоровичъ Миллеръ.

I.

Вслѣдствіе-ли отдаленности Москвы отъ центрального пункта реакціи, оттого ли, что она была очагомъ и колыбелью новаго литературнаго движенія, или по какимъ-либо инымъ причинамъ, но въ пятидесятые года Москва далеко не представляла такого литературнаго заустѣнія, какъ Петербургъ. Въ ней шевелилась кое-какая самостоятельная жизнь и даже замѣчался призракъ чего-то вродѣ оппозиціи.

Таково, напримѣръ, было изданіе Катковымъ и Леонтьевымъ (съ 1851 и по 1857 гг.) пяти томовъ сборниковъ статей по классической древности, подъ заглавіемъ *Протилеи*. Въ сборникахъ этихъ помѣщались ученныя статьи по древнему міру и переводы классиковъ, какъ самихъ издателей, такъ и Грановскаго, Кудрявцева, М. Куторги и прочихъ специалистовъ по исторіи и древностямъ. И хотя содержаніе этихъ сборниковъ было строго научное, при полномъ отсутствіи чего-либо тенденціознаго и будирующаго, но самое періодическое изданіе статей по классической древности было уже оппозиціей противъ слѣпнаго гоненія на все классическое, воздвигнутаго въ то время въ административныхъ сферахъ въ видѣ уничтоженія преподаванія греческаго языка въ гимназіяхъ и крайняго стѣсненія въ университетахъ программъ по древней исторіи.

Еще больше жизни и движенія замѣчалось въ то время въ славянофильскомъ лагерѣ. По-истинѣ можно сказать, что подъ свистками и хихиканьями петербургскихъ оппортунистовъ славянофилы переживали въ то время самыя свѣтлыя и доблестныя страницы своей исторіи, и въ ихъ честныхъ и высоко идеальныхъ кружкахъ сохранялись тѣ лучшія традиціи сороковыхъ годовъ, которыя были столь постыдно забыты хлыщевато-бюрократическими журналистами Петербурга.

На славянофиловъ привыкли у насъ смотрѣть, какъ на самыхъ крайнихъ реакціонеровъ, смѣшивая ихъ въ одну категорію съ квасными патриотами 30-хъ годовъ вродѣ

Шевырева и Погодина. Другіе шли еще дальше, искали начала славянофильской партіи въ раскольникахъ и стрѣльцахъ эпохи Петра, и затѣмъ, открывая въ каждомъ послѣдующемъ поколѣніи аналогичныя явленія, видѣли прямого предшественника славянофиловъ въ адмиралѣ Шишковѣ съ его ратованіями за старый слогъ.

Но не надо забывать, что въ то время, какъ Шишковъ ничего не представлялъ собою, кромѣ слѣпого изуверства и узкаго педантизма, славянофилы сороковыхъ годовъ были образованнѣйшими и ученѣйшими людьми своего времени, и читали тѣ-же книжки, по какимъ учились и Герценъ, и Бѣлинскій, и Грановскій, и всѣ прочіе выдающіеся люди противнаго лагеря. Было время, когда и они принадлежали къ тому же кружку Станкевича, и лишь во второй половинѣ тридцатыхъ годовъ произошло распаденіе кружка на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Но закваска въ обоихъ лагеряхъ осталась одна и та-же, а именно: съ одной стороны, увлеченіе нѣмецкою философійю, съ другой—гуманными демократическими идеями французской публицистики тридцатыхъ годовъ.

Чтобы понять, что такое было славянофильство въ его сильныхъ и слабыхъ сторонахъ, слѣдуетъ представить себѣ людей, мышленіе которыхъ едва успѣло получить могучій толчокъ, выведшій ихъ изъ круга мыслей, раздѣляемыхъ темною толпой. До того времени они были беззавѣтно вѣрующими людьми, слѣпо преданными всѣмъ традиціямъ; страстно любили свою родину, воображая, что лучше ея нѣтъ другой страны въ цѣломъ мірѣ; наконецъ, привыкли на всѣ ея учрежденія смотрѣть какъ на нѣчто въ высшей степени совершенное и священное. Однимъ словомъ, подобно любому простолыдину, они смѣшивали понятія о религіи, отечествѣ и его учрежденіяхъ въ нѣчто совершенно безраздѣльное, въ равной степени неприкосновенно божественное и одно безъ другого невысказанное.

Но вотъ мысль ихъ увлеклась новыми философскими системами и филантропо-демократическими идеями. Къ чему-же должна она была устремиться? Конечно, прежде всего, къ тому, чтобы отдать отчетъ въ прежнихъ своихъ вѣрованіяхъ и осмыслить ихъ на основаніи новыхъ данныхъ. Такими данными были двѣ метафизическія системы—Шеллинга и Гегеля. Одна учила, что каждая народность осуществляетъ какую-нибудь идею. Но есть идеи частныя, мелкія, и есть крупныя, всемірно-историческія. Сообразно чему и народы дѣлятся на всемірно-историческіе, первостепенные и второстепенные, неисторическіе. Гегель, въ свою очередь, училъ, что большинство народностей выражаютъ собою тѣ односторонности и крайности, на которыя распадается идея въ процессѣ своего діалектическаго развитія, но есть великія націи—избранники, которымъ суждено примирять односторонности въ высшемъ возсоединяющемъ синтезѣ. Гегель полагалъ, что столь гигантская роль въ современной исторіи принадлежитъ, конечно, ужь Германіи.

Если, стоявшій во главѣ европейской философій, Гегель былъ способенъ на такое патріотическое пристрастіе, то тѣмъ болѣе свойственно было нашимъ юнымъ московскимъ мыслителямъ, привыкшимъ съ дѣтства смотрѣть на родину, какъ на соединеніе всѣхъ совершенствъ, возмнить, что, именно, ей предназначено осуществить собою тотъ возсоединяющій синтезъ, какой Гегель приписывалъ своей возлюбленной Германіи.

Въ чемъ-же долженъ былъ заключаться этотъ синтезъ? Конечно, въ осуществленіи

тѣхъ самыхъ гуманныхъ, демократическихъ идей, которыя Европа тщетно пытается осуществить, не въ силахъ будучи отрѣшиться отъ своего историческаго прошлаго. Роль такого осуществленія принадлежитъ Россіи.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ первоначальнымъ ходомъ мышленія, какой господствовалъ въ кружкѣ Станкевича, принадлежа, безразлично, какъ будущимъ славянофиламъ, такъ и западникамъ. Но далѣе затѣмъ представился вопросъ: почему-же, именно, на долю Россіи выпала подобная великая роль? Этотъ вопросъ, именно, и раздѣлилъ московскихъ мыслителей на два лагеря, такъ какъ онъ допускаетъ возможность двухъ діаметрально противоположныхъ рѣшеній: Россіи можетъ быть свойственна ея великая роль или потому, что она представляетъ собою *tabula rasa*, не имѣя никакихъ историческихъ традицій, которыя мѣшали-бы ей, какъ западнымъ народамъ, осуществленію великихъ идей, или, же, наоборотъ, она имѣетъ въ свою очередь очень прочныя традиціи, но такія, которыя нисколько не мѣшаютъ осуществленію великихъ идей, такъ какъ вполне имъ соотвѣтствуютъ. Нужно-ли и говорить о томъ, что за первое рѣшеніе ухватились люди, наиболѣе отрѣшившіеся отъ традицій; второе-же было свойственно тѣмъ, которымъ съ традиціями разстаться было жалко. Таково было происхожденіе раздѣленія славянофиловъ и западниковъ.

II.

И дѣйствительно, въ первыхъ славянофилахъ прежде всего васъ поражаетъ ультра-религіозное міросозерцаніе, покоющееся на вполне традиціонныхъ началахъ. Такъ, А. С. Хомяковъ является передъ нами писателемъ по преимуществу богословскимъ, причемъ, какъ научныя его статьи, такъ и стихотворенія проникнуты религіознымъ экстазомъ. Ив. Кирѣевскій изъ рьянаго западника превратился въ славянофила подъ вліяніемъ схимника Новоспасскаго монастыря, старца Филарета, за которымъ ухаживалъ при его смерти. К. Аксаковъ самъ былъ особеннаго рода свѣтскимъ схимникомъ, оставаясь, по словамъ Ив. Панаева, «въ житейскомъ, практическомъ смыслѣ, до сорока лѣтъ, т. е. до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и приросъ къ нему, какъ улитка къ родной раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной жизни, безъ подпоры семейства. Въ своихъ ученыхъ и литературныхъ занятіяхъ, онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца и происшедшая отъ этого перемѣна въ домашнемъ быту вдругъ сломила его несокрушимое здоровье. Онъ не могъ перенести этой потери и перемѣны, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ».

Въ то-же время, славянофилы очень строго соблюдали посты и всѣ религіозныя обряды; самыя-же ревностныя изъ нихъ не только снимали шапки и набожно крестились передъ каждою церковью, но и приходя въ гости, прежде чѣмъ раскланяться съ хозяевами, крестились и кланялись по народному обычаю образамъ.

Нѣтъ ничего удивительнаго послѣ того, что въ основѣ славянофильскаго ученія лежитъ идея вполне религіозная. Западъ, по мнѣнію славянофиловъ, пришелъ къ печальному разочарованію и ему грозитъ гибель разложенія, потому что онъ воспринялъ отъ древняго Рима цивилизацію, основанную на одностороннемъ началѣ рассу-

дочности, вѣшней принудительной силѣ формальныхъ законовъ и договоровъ и мертвой механической государственности. Когда христіанство сломило язычество, императоръ Θεодосій провозгласилъ его государственною религіей и это, по мнѣнію Хомякова, была роковая ошибка, поведшая къ губельнымъ послѣдствіямъ. „Вѣдь, не то государство,—говоритъ онъ въ своихъ *Запискахъ о всемирной исторіи*,—есть христіанское, которое признаетъ христіанство, но то, которое признается христіанствомъ: ибо не церковь благословляется государствомъ, но государство церквью“. Ревность великаго императора ввела его, по мнѣнію Хомякова, въ ошибку, къ несчастію, отзывающуюся черезъ 14 вѣковъ вплоть до нашего времени и заключающуюся въ томъ, что Западъ понялъ христіанство въ духѣ римской государственности, вслѣдствіе чего церковь находилась сперва въ полной зависимости отъ государства, потомъ-же, когда, стремясь къ независимости, она стала мало-по-малу приобрѣтать и силу, и власть, то поставила себѣ цѣлью сдѣлаться самой государствомъ съ папой—самодержавнымъ властелиномъ народовъ во главѣ—и съ духовенствомъ, послушнымъ орудіемъ его воли. Между тѣмъ, идеаль челоѣчества заключается въ совѣмъ противоположномъ, ибо не церковь должна имѣть подобіе государства, но государство должно преобразоваться въ церковь.

Россія, прежде всего, тѣмъ отличается отъ Запада, что приняла христіанство не изъ Рима, а отъ Византіи. Исторія-же Византіи, по мнѣнію Хомякова, представляетъ продолженіе древней греческой. Греція-же искони была богата умственною самобытною дѣятельностью. Востокъ чуждъ былъ римской централизаціи, и каждая восточная церковь сохранила свою особенность и свободу, полагая единеніе во вселенскихъ соборахъ, и такимъ образомъ здѣсь былъ разрѣшенъ вопросъ, неразрѣшимый на Западѣ: сочетаніе въ церкви единства со свободою. Въ то-же время, вѣра основывалась здѣсь не на одной разсудочности, не только мыслилась, но и чувствовалась,—была не однимъ познаніемъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и жизнью, въ чемъ и заключалась восточная цѣльность сравнительно съ западною односторонностью. Поэтому и въ Россіи православная церковь, управляя личнымъ убѣжденіемъ людей, никогда не имѣла притязанія насильственно управлять ихъ волею, приобрѣтая власть свѣтскую, не стремилась быть государствомъ, какъ и государство, въ свою очередь, смиренно сознавая свое мірское назначеніе, никогда не признавало себя „святымъ“ въ смыслѣ сопроницанія и свѣтскости, какъ „Священная римская имперія“.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ самою слабою стороною славянофильскаго ученія. Не говоря уже о томъ, что здѣсь мы находимъ массу доктринерства въ видѣ подогнанія во что-бы то ни стало историческихъ фактовъ подъ теорію, построенную на метафизической почвѣ, не говоря о явномъ патриотическомъ пристрастіи, сквозящемъ въ каждомъ камнѣ этой фантастической постройки, не мало отлугивали отъ славянофиловъ ихъ прославленіе византіиства и слишкомъ ужъ усердное подливаніе всюду деревяннаго масла. Это была со стороны славянофиловъ чисто дон-кихотская борьба противъ всеобщаго теченія и духа ихъ времени.

Теперь мы обратимся къ болѣе свѣтлымъ сторонамъ этого ученія, которыми славянофилы были обязаны преимущественно историческимъ трудамъ К. Аксакова. И здѣсь вы найдете не мало и доктринерства, и мечтательнаго идеализма, но сквозь всѣ

эти недостатки, свойственные людямъ, находящимся на метафизической почвѣ, проглядываютъ истины, добытыя путемъ серьезныхъ научныхъ изысканій, и вмѣстѣ съ тѣмъ горячее увлеченіе великими идеями, движущими современнымъ чело-вѣчествомъ.

III.

Въ то время, какъ западные государства, по мнѣнію славянофиловъ, сложились путемъ завоеванія, насилія, вражды, русское государство было основано добровольнымъ признаніемъ власти. При такихъ условіяхъ не нужна оказалась никакая гарантія; она есть зло; гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра. Никакой договоръ не удержитъ людей, какъ скоро нѣтъ внутренняго на это желанія. Вся сила—въ нравственномъ убѣжденіи. Такимъ образомъ, русское государство—это основанный на довѣренности союзъ народа съ властью, земли съ государствомъ. Народъ пахалъ, промышленялъ, торговалъ, поддерживая государство деньгами, въ случаѣ нужды становясь подъ знамена. Государь являлся первымъ хранителемъ земли. Въ основѣ этого порядка стоялъ общинный бытъ народа, чтó составляло рѣзкое отличіе отъ Запада, гдѣ въ основѣ лежалъ родовый бытъ, который повелъ къ созданію всюду сильныхъ и полномочныхъ аристократій. Въ Россіи-же аристократіи не было и не могло быть, ибо боярство не было наследственно: это было сословіе служилое, составлявшее дружину государеву и пользовавшееся за свою службу помѣстьями и вотчинами. Общины-же представляли собою союзъ людей, отказывавшихся отъ своего эгоизма; личность здѣсь не теряется, но, отказываясь отъ своей исключительности для согласія общаго, она находитъ себя въ высшемъ, очищенномъ видѣ въ согласіи равнодѣльно самоотверженныхъ личностей. Выраженіе совокупной нравственной дѣятельности общины есть совѣщаніе, имѣющее цѣлью общее согласіе; отсюда вытекаетъ начало единогласія при рѣшеніяхъ общины, противоположное началу большинства, насильственному, обладающему лишь физическимъ преимуществомъ.

Но подъ общинами К. Аксаковъ разумѣлъ не одну только сельскую общину въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Онъ полагалъ общинное начало и въ древнихъ городахъ съ ихъ вѣчами, и въ областяхъ, составлявшихъ удѣльные княжества, а позже все московское царство составляло одну обширную общину, добровольно покорявшуюся государямъ и заявлявшую свое мнѣніе въ земскихъ соборахъ, причемъ мнѣніе это никогда не имѣло законодательной принудительной силы, а было лишь свободнымъ проявленіемъ общественнаго разума: наша мысль такова, а тамъ какъ угодно будетъ государю.

Изъ всего этого прямо вытекаетъ отрицательный взглядъ славянофиловъ на реформы Петра и на весь такъ называемый петербургскій періодъ. Они обвиняли Петра не только въ томъ, что онъ перекраивалъ русскую жизнь по чуждымъ ей началамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ нарушилъ союзъ земли съ государствомъ, пересталъ слушать голосъ земства, а совершалъ свои реформы насильственно, деспотически.

Во всемъ этомъ безспорно много утопическаго и фантастическаго. Конечно, допетровская Русь далеко не представляла собою такого идиллическаго рая, какой рисуютъ

славянофилы. Только крайнее ослѣпленіе отвлеченною доктриной могло отрицать на Западѣ всякое проявленіе альтруистическихъ стремленій, а въ русской жизни не видѣть элементовъ той-же холодной и мертвящей разсудочности и формализма. Но все-таки слѣдуетъ отдать справедливость въ тѣхъ великихъ заслугахъ, которыя оказали славянофилы своему отечеству, какъ въ научномъ отношеніи, такъ и соціально-нравственномъ. Какъ-бы ни заблуждались они, воображая русскій народъ богоизбраннымъ, предназначеннымъ совершить великій подвигъ возрожденія Европы, все-таки слѣдуетъ воздать имъ честь, что эту богоизбранность они полагали въ очень хорошихъ вещахъ, и все ученіе ихъ было проникнуто тѣми великими и гуманными идеями, которыя носились въ воздухѣ и готовились обновить русскую жизнь.

Такъ, отрицаніе аристократизма въ древней Руси не было у нихъ одною сухою научною формулой. Все ученіе ихъ было проникнуто живымъ демократическимъ духомъ. Выше всего въ славянскомъ племени ставили они миролюбіе, пристрастіе къ земледѣлю и отвращеніе къ воинственнымъ набѣгамъ, и, какъ результатъ всего этого, они выставляли смиреніе, скромность, стремленіе къ простотѣ и правдѣ въ жизни при полномъ отсутствіи кичливости, рисовки и наружнаго блеска.

«Если братство народовъ,—разсуждалъ Хомяковъ,—если чувства правды и добра—не призракъ, но сила животворная и вѣчная, то нравственное главенство въ будущемъ принадлежитъ не германцамъ—завоевателямъ и аристократамъ, но славянамъ—земледѣльцамъ и разночинцамъ».

А вотъ что говоритъ Ив. Кирѣевскій въ своей статьѣ: *О характерѣ просвѣщенія Европы*:

«На Западѣ роскошь была не противорѣчіе, но законное слѣдствіе раздробленныхъ стремленій общества и человѣка; она была, можно сказать, въ самой натурѣ искусственной образованности; ее могли порицать духовные, въ противность обычнымъ понятіямъ, но въ общемъ мнѣніи она была почти добродѣтелью. Ей не уступали, какъ слабости, но напротивъ гордились ею, какъ завиднымъ преимуществомъ. Въ средніе вѣка народъ съ уваженіемъ смотрѣлъ на наружный блескъ, окружающій человѣка, и свое понятіе объ этомъ наружномъ блескѣ благоговѣнно сливалъ въ одно чувство съ понятіемъ о самомъ достоинствѣ человѣка. Русскій человѣкъ больше золотой парчи придворнаго уважалъ дохмоть юродиваго. Роскошь проникла въ Россію, но какъ зараза отъ сосѣдей. Въ ней извинялись, ей поддавались какъ пороку, всегда чувствуя ея незаконность, не только религіозную, но и нравственную».

Въ свою очередь и К. Аксаковъ говоритъ въ своей статьѣ о русской исторіи:

«Русская исторія въ сравненіи съ исторіей Запада Европы отличается такою простотою, что приведетъ въ отчаяніе человѣка, привыкшаго къ театральнымъ выходкамъ. Русскій народъ не любитъ становиться въ красивыя позы; въ его исторіи вы не встрѣтите ни одной фразы, ни одного красиваго эффекта, ни одного яркаго наряда, какими поражаетъ и увлекаетъ васъ исторія Запада; личность въ русской исторіи играетъ вовсе небольшую роль; принадлежность личности необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ея и нѣтъ у насъ. Нѣтъ рыцарства съ его кровавыми доблестями, ни безчеловѣчной религіозной пропаганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообще этого безпрестаннаго щегольского драматизма страстей».

Въ то-же время изъ того положенія славянофильскаго ученія, что въ союзѣ земли съ властью землѣ принадлежитъ неотъемлемое право свободнаго выраженія мнѣнія, прямо простекала горячая приверженность славянофиловъ къ свободѣ слова устнаго и печатнаго, и они при каждомъ удобномъ случаѣ смѣло и самоотверженно отстаивали эту свободу, платясь за это запрещеніями ихъ изданій и другими невзгодами.

Что они далеко не были слѣпыми приверженцами *statu quo*, объ этомъ можно судить по знаменитой запискѣ К. Аксакова: *Овнутреннемъ состояніи Россіи*, поданной въ 1855 году черезъ гр. Влудова только-что вступившему тогда на престолъ Императору Александру II.

Въ запискѣ этой, излагая все то-же свое ученіе о добровольномъ союзѣ власти съ землею, Аксаковъ между прочимъ заявляетъ:

«Начала русскаго гражданскаго устройства не были нарушены со стороны народа (ибо это его коренныя народныя начала), но были нарушены со стороны правительства. То-есть правительство вмѣшалось въ нравственную свободу народа, стѣснило свободу жизни и духа (мысли, слова) и перешло такимъ образомъ въ душевредный деспотизмъ, гнетущій духовный міръ и человѣческое достоинство народа и наконецъ, обозначившійся упадкомъ нравственныхъ силъ въ Россіи и общественнымъ развращеніемъ. Впереди-же этотъ деспотизмъ угрожаетъ или совершеннымъ разслабленіемъ и паденіемъ Россіи на радость враговъ ея, или-же искаженіемъ русскіихъ началъ въ самомъ народѣ, который, не находя свободы нравственной, захочетъ наконецъ, свободы политической, прибѣгнетъ къ революціи и оставитъ свой истинный путь. И тотъ, и другой исходъ—ужасный, ибо тотъ и другой—гибельны: одинъ—въ матеріальномъ и нравственномъ, другой—въ одномъ нравственномъ отношеніи».

Но не одну свободу слова отстаивали славянофилы; съ одинаково горячимъ сочувствіемъ и участіемъ относились они и ко всѣмъ реформамъ прошлаго царствованія, начиная съ крестьянской и кончая вопросомъ о свободѣ женщинъ. Замѣчательно, что согласно своему ученію женскій вопросъ они въ свою очередь поставили на традиціонную почву. Такъ, уже въ статьѣ своей о былинахъ Владимірова цикла К. Аксаковъ между прочимъ говоритъ:

«Женщины былины часто носятъ куяки, панцири, кольчуги, также выѣзжаютъ въ поле искать бранныхъ опасностей. Сила ихъ никогда не уступаетъ мужской. Такова Настасья Королевишна, на которой женился Дунай, сестра Афросиньи Королевишны, супруги великаго князя Владиміра, отличавшейся влюбчивымъ сердцемъ. Такова жена Ставра боярина, Василиса Микулишна. Прибавимъ въ дополненіе къ этой мужественности женщинъ образъ совершенно русскій Царь-Дѣвицы; вспомнимъ преданія объ Амазонкахъ, о чешской Власкѣ, и все это вмѣстѣ, утверждая за славянскою женщиной независимость и равныя права съ мужчиною даже въ ратномъ дѣлѣ, совершенно уничтожаетъ тѣмъ самымъ всякую мысль о рабствѣ или угнетеніи женщинъ у славянъ».

Наконецъ не мѣшаетъ обратить вниманіе еще на одну черту славянофиловъ, — правда мелкую и нѣсколько даже комическую, но которую исторія конечно не забудетъ поставить на видъ, — именно ту самую страсть наряжаться въ національныя костюмы, надъ которою такъ потѣшались петербургскіе оппортунисты, что даже славянофильская мурломка вошла въ пословицу. Не нужно забывать, что страсть эта проявлялась въ такое время строгаго бородобрітія, общей затянутасти и подтянутасти,

когда малѣйшее отступленіе отъ общепринятой формы возбуждало не только презрѣніе со стороны чопорныхъ хранителей свѣтскости, какъ *mauvais-ton*, но и вниманіе полиціи, какъ нѣчто подозрительное. Много нужно было мужества, чтобы въ тѣ времена являться среди московскихъ улицъ и салоновъ въ охабняхъ, высокихъ шапкахъ и съ пушистыми бородами, несмотря на всѣ толки, насмѣшки и полицейскій внушенія. Люди, проводящіе неуклонно свои принципы въ жизни до мелочей, всегда возбуждали сочувствіе въ каждомъ мыслящемъ человѣкѣ, и особенно заслуживаютъ этого сочувствія славянофилы, которые въ первой половинѣ пятидесятихъ годовъ одни только дерзали проявлять хотя какую-нибудь самостоятельность въ области мысли и въ области жизни.

IV.

Послѣ всего этого слѣдуетъ-ли удивляться тому погрому, какой пришлось пережить славянофиламъ въ началѣ пятидесятихъ годовъ, и считать этотъ погромъ недоразумѣніемъ со стороны цензурнаго вѣдомства? Могло-ли это вѣдомство, не дозволявшее Булгарину отзываться о правительственныхъ распоряженіяхъ даже съ похвальной стороны, допустить вдругъ свободное проявленіе такого рѣшительнаго и полного отрицанія всѣхъ современныхъ порядковъ, до котораго не доходили западники, въ особенности въ образѣ оппортунистовъ того времени? Здѣсь отрицались не тѣ или другія злоупотребленія власти или ея излишества, а цѣлый историческій періодъ со всѣмъ созданнымъ имъ строемъ жизни. Нѣтъ ничего послѣ этого удивительнаго, что когда въ 1852 году вышелъ первый выпускъ *Московскаго Сборника*, въ которомъ славянофилы впервые выступили съ полнымъ и систематическимъ изложеніемъ своего ученія, министерство народнаго просвѣщенія тотчасъ-же обратило вниманіе на „предосудительность направленія“ этого *Сборника*, причѣмъ особенное неодобреніе заслужила статья И. В. Кирѣвскаго: *О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи*, и было сдѣлано распоряженіе представлять рукописи славянофиловъ, предназначавшіяся для слѣдующихъ трехъ томовъ *Сборника*, въ Петербургъ, въ главное управленіе цензуры, а вслѣдъ затѣмъ было постановлено не разрѣшать выхода подобныхъ сборниковъ чаще, чѣмъ одинъ разъ въ годъ. Когда-же И. Аксаковъ въ началѣ слѣдующаго 1853 года внесъ въ московскій цензурный комитетъ программу трехъ предполагаемыхъ томовъ, затѣмъ и весь второй томъ въ рукописи, главное управленіе цензуры, куда все это было послано, нашло въ рукописи „не мало статей, которыя по предосудительности выраженныхъ въ нихъ мыслей, высказывающихъ недоброжелательство къ настоящему порядку вещей и косвенное неодобреніе предпринимаемыхъ правительствомъ мѣръ ко благу народному, не только не могутъ войти въ составъ второго тома *Московскаго Сборника*, но и вообще не могутъ быть допущены къ печатанію и должны быть подвергнуты строгому запрещенію“.

Особенное при этомъ вниманіе было обращено на статью Хомякова: *Нѣсколько словъ по поводу статьи Кирѣвскаго: О характерѣ просвѣщенія Европы*, и статьи К. Аксакова: *Богатыри временъ великаго князя Владиміра по русскимъ тѣнямъ*. Статьи эти порицались цензурнымъ вѣдомствомъ главнымъ образомъ за

нихъ демократическій духъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ за то, что въ нихъ „замѣтно какое-то недовольство настоящимъ образованіемъ, образомъ жизни и даже учрежденіемъ правительства, и высказывается стремленіе выставить нашъ древній русскій бытъ въ преувеличенно лучшемъ видѣ, какъ заслуживающій безусловно во всѣхъ отношеніяхъ одобренія и подражанія“.

Не ограничиваясь запрещеніемъ выпуска второго тома *Сборника*, администрація подвергла всѣхъ славянофиловъ строгому полицейскому надзору; Ив. Аксаковъ былъ лишенъ права когда-бы то ни было быть издателемъ или редакторомъ журнала, и всѣ статьи славянофиловъ продолжали отсылаться въ главное управленіе по дѣламъ печати.

Такъ продолжалось до новаго царствованія; но и съ наступленіемъ эпохи новыхъ вѣяній и либерализма, на славянофиловъ все-таки продолжали коситься, и рѣдкое изданіе ихъ оставалось безъ погромовъ. Такъ, большого труда стоило имъ выхлопотать въ 1858 г. дозволеніе на изданіе новаго журнала *Русская Бесѣда*, но и то И. Аксакову не было допущено подписываться въ качествѣ редактора. Въ 1859 г., правда, послѣ неимоверныхъ хлопотъ, было дозволено И. Аксакову издавать еженедѣльную газету *Парусъ*, но газета была запрещена на № 2, а взявъ ее цензурное вѣдомство предлагало издавать *Пароходъ*, но съ тѣмъ, чтобы „идеи о правѣ самостоятельности развитія народностей, какъ славянскихъ, такъ и иноплеменныхъ, не имѣли мѣста въ газетѣ и все, что относится до сего предмета, было-бы исключено“. Славянофилы не пожелали издавать газету на этихъ условіяхъ. Затѣмъ, въ 1861 году было разрѣшено И. Аксакову издавать еженедѣльную-же газету *День*, но съ тѣмъ, чтобы въ газетѣ не было политическаго отдѣла, и кромѣ того цензурѣ было предписано имѣть за газетою самое строгое наблюденіе; эти два обстоятельства конечно содѣйствовали тому, что газета могла удержаться до конца 1865 года, когда И. Аксаковъ самъ ее прекратилъ. Тѣмъ не менѣе въ первый-же годъ изданія газета навлекла на себя цѣлую бурю вслѣдствіе проекта полной свободы печати, напечатаннаго въ № 32, и перепечатки одного правительственнаго извѣщенія изъ *Инваида* съ нѣкоторыми замѣчаніями отъ редакціи рѣзкаго характера. Послѣ № 34 *День* былъ приостановленъ до 1 сентября того-же года, И. Аксаковъ-же лишенъ права быть отвѣтственнымъ редакторомъ, и это лишеніе продолжалось до конца года. Но наиболее бурное существованіе испытала газета *Москва*, которую Ив. Аксаковъ издавалъ съ 1 января 1867 г. по 21 октября 1868 г., и въ этотъ періодъ времени она получила девять предостереженій и три приостановки.

V.

Славянофиламъ не удалось выставить такихъ талантливыхъ и блестящихъ критиковъ, какихъ мы находимъ въ западническомъ лагерѣ, но тѣмъ не менѣе нельзя отрицать ихъ немалого вліянія на ходъ развитія нашей изящной литературы. Изъ славянофильскаго лагеря пошли первые піонеры въ народъ собирать пѣсни, сказки, пословицы, изучать обряды, повѣрья, міросозерцаніе и идеалы народа. Въ то же время славянофилы первые возстали на то поверхностное, высококѣрно-барское

отношеніе къ народу, какое господствовало въ литературѣ нашей въ пятидесятихъ годахъ. Такъ, К. Аксаковъ въ *Московскомъ Сборникѣ* 1847 г. вотъ что говоритъ по поводу повѣсти кн. Одоевскаго изъ народной жизни *Сиротинка*:

«Всегда съ невольнымъ, горькимъ чувствомъ и съ негодованіемъ читаемъ мы такія повѣсти, гдѣ изображается (будто-бы изображается) нашъ народъ; невыносимо тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу совершенно чуждый, совершенно отъ него оторванный, лицо отвлеченное, какъ все, чтó оторвано отъ народа, когда такой писатель, полный чувства своего мнимаго превосходства, вдругъ заговоритъ снисходительно о народѣ, могущественномъ хранителѣ жизненно-великой тайны, во всей силѣ своей самобытности предстоящемъ передъ нами, легко и весело съ нимъ разставшимися. Писатель не трудится надъ тѣмъ, чтобы узнать, понять его; для него узнавать и понимать въ немъ нечего; ему стоитъ только снисзойти написать о немъ. Противно видѣтъ, когда онъ, для вѣрнѣйшаго изображенія, прибѣгаетъ къ народному будто-бы отбѣнку рѣчи, къ народнымъ выраженіямъ, дошедшимъ до его слуха черезъ переднюю и гостиную. Такой умышленный маскарадъ, такая милостивая поддѣлка, особенно, когда пишутъ для народа,—оскорбительна».

Не говоря уже о такихъ писателяхъ, какъ Островскій и Писемскій, начавшихъ свое поприще на страницахъ «*Москвитянина*», и потому, можно сказать, вышедшихъ прямо изъ славянофильскаго лагеря, но и всѣ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ, не исключая такихъ западниковъ, какъ Некрасовъ и Тургеневъ, не мпновали хотя бы косвеннаго вліянія славянофильской критики, въ видѣ стремленія въ самобытности в народности. Такъ, наприрѣръ, конечно, славянофиламъ обязанъ былъ Тургеневъ тѣмъ своимъ сужденіемъ о Рудинѣ, которое онъ высказываетъ словами Лежнева:

«Несчастіе Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это точно большое несчастіе. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ,—двойное горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ—чепуха, космополитъ—нуль, хуже нуля; виѣ народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ фізіономіи нѣтъ даже идеальнаго лица; только пошлое лицо возможно безъ фізіономіи».

Въ то-же время въ эстетическомъ отношеніи славянофилы одни только въ теченіе пятидесятихъ годовъ строго блюли завѣтъ конца сороковыхъ годовъ, постоянно ратуя за идейность и тенденціозность въ искусствѣ, требуя, чтобы художники были, въ то же время, пророками, обличителями и проповѣдниками высшихъ идеаловъ своего времени. Это требованіе осуществляли они и на практикѣ, являясь во всѣхъ своихъ художественныхъ произведеніяхъ, стихотвореніяхъ, драмахъ и повѣстяхъ неизмѣнными пропагандистами своихъ излюбленныхъ ученій; тоже самое проповѣдывали и въ теоріи—со своею обычною прямою и рѣзкою. Такъ, К. Аксаковъ въ одной изъ своихъ критическихъ статей категорически заявляетъ:

«Въ наше время поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда возможны), можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способвъ изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ о математикѣ, который, выслушавъ изищное произведеніе, спросилъ: что этимъ доказывается? Какъ ни странно этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ даже поэтическомъ произведеніи являлся вопросъ: что этимъ доказывается? Таковы эпохи исканій, изслѣдованій, трудныя эпохи постиженія и рѣшенія общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха».

На этомъ основаніи К. Аксаковъ впоследствии, прѣвѣтствуя *Губернскіе очерки Щедрина*, между прочимъ говорилъ:

«И въ добрый часъ! Намъ нужны такія рѣчи. Сочиненія г. Щедрина имѣютъ общественный интересъ — и вотъ главная причина ихъ успѣха! Мы говорили уже, какъ важенъ общественный элементъ въ Россіи, и то, что *это—существенный элементъ литературы нашей*. Законное негодованіе, съ которымъ представлены всѣ общественныя искаженія, слышное даже тамъ, гдѣ авторъ повидимому въ сторонѣ, не можетъ не находить сочувствія во всѣхъ хорошихъ людяхъ и въ цѣломъ обществѣ, и успѣхъ *Губернскихъ очерковъ* есть утѣшительное явленіе».

Еще замѣчательнѣе въ этомъ отношеніи рѣчь Хомякова, сказанная имъ на засѣданіи Общества любителей русскаго слова 4-го февраля 1859 года въ отвѣтъ на вступительное слово графа Льва Толстаго, который въ то время высказывалъ взгляды на искусство, діаметрально противоположныя нынѣшнимъ, и былъ рьяный приверженецъ теоріи чистаго искусства. Считаемо не лишнимъ привести рѣчь Хомякова цѣлкомъ.

«Общество любителей русской словесности, включивъ васъ, графъ Левъ Николаевичъ, въ число своихъ дѣйствительныхъ членовъ, съ радостью прѣвѣтствуетъ васъ, какъ дѣятеля чисто художественной литературы. Это чисто художественное направленіе защищаете вы въ своей рѣчи, ставя его высоко надъ всѣми другими временными и случайными направленіями словесной дѣятельности. Странно было бы, еслибъ общество вамъ не сочувствовало въ этомъ; но позвольте мнѣ сказать, что работа вашего мнѣнія, вами столь искусно изложеннаго, далеко не устраняетъ правъ временнаго и случайнаго въ области слова. То, что неизмѣнно, какъ самыя коренныя законы души, то безъ сомнѣнія занимаетъ и должно занимать первое мѣсто въ мысляхъ, побужденіяхъ и слѣдовательно въ рѣчи человѣка. Оно, и оно одно, передается поколѣніемъ поколѣнію, народомъ народу, какъ дорогое наслѣдіе, всегда множимое и никогда не забываемое. Но съ другой стороны есть, какъ я имѣлъ уже честь сказать, постоянное требованіе самообличенія въ природѣ человѣка и въ природѣ общества, есть минуты, и минуты важныя въ исторіи, когда это самообличеніе получаетъ особенныя, неопровержимыя права и выступаетъ въ общественномъ словѣ съ большею опредѣленностью и съ большею рѣзкостью. Случайное и временное въ историческомъ ходѣ народной жизни получаетъ значеніе всеобщаго, всечеловѣческаго уже и потому, что всѣ поколѣнія, всѣ народы могутъ понимать и понимаютъ болѣзненные стоны и болѣзненную исповѣдь одного какого-нибудь поколѣнія или народа. Права словесности, служительницы вѣчной красоты, не уничтожаютъ правъ словесности обличительной, всегда сопровождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся цѣлительницею общественныхъ язвъ. Есть безконечная красота въ невозмутимой правдѣ и гармоніи души, но есть истинная, высокая красота и въ покаяніи, возстановляющемъ правду и стремящемъ человѣка или общество къ нравственному совершенству.

«Позвольте мнѣ прибавить, что я не могу раздѣлить мнѣнія, какъ мнѣ кажется, односторонняго германской эстетики. Конечно искусство вполне свободно: въ самомъ себѣ оно находитъ оправданіе и цѣль. Но свобода искусства, отвлеченно понятаго, нисколько не относится къ внутренней жизни самого художника. Художникъ — не теорія, не область мысли и мысленной дѣятельности: онъ—человѣкъ, всегда человѣкъ своего времени, обыкновенно лучший его представитель, весь проникнутый его духомъ и его опредѣлившимися или зарождающимися стремленіями. По самой впечатлительности своей организаціи, безъ которой онъ не могъ-бы быть художникомъ, онъ принимаетъ въ себя и болѣе другихъ людей всѣ болѣзненныя, такъ-же какъ и ра-

достныя ощущенія общества, въ которомъ онъ родился. Посвящая себя всегда истинному и прекрасному, онъ невольно, словомъ, складомъ мысли и воображенія, отражаетъ современное въ его смѣси правды, радующей душу чистую, и лжи, возмущающей ея гармоническое спокойствіе. Такъ сливаются двѣ области, два отдѣла литературы, о которыхъ мы говорили; такъ писатель, служитель чистаго художества, дѣлается иногда обличителемъ даже безъ сознанія, безъ собственной воли и иногда противъ воли. Васъ самихъ, графъ, позволю я привести въ примѣръ. Вы идете вѣрно и неуклонно по сознанному и опредѣленному пути; но неужели вы вполнѣ чужды тому направленію, которое назвали обличительною словесностью? Неужели хотя-бы въ качествѣ чахоточнаго ямщика, умирающаго на печкѣ, въ толпѣ товарищей, повидимому равнодушныхъ къ его страданіямъ, вы не обличали какой-нибудь общественной болѣзни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали отъ этой мозолистой безчувственности добрыхъ, но не пробужденныхъ душъ человѣческихъ? Да, и вы были, и вы будете обличителемъ. Идите съ Богомъ по тому прекрасному пути, который вы избрали,—идите съ тѣмъ-же успѣхомъ, которымъ вы увѣнчались до сихъ поръ, или еще съ большимъ, ибо вашъ даръ не есть преходящій и скоро исчерпываемый: повѣрьте, что въ словесности вѣчно и художественно постоянно принимаетъ въ себя временное и преходящее, превращая и облагораживая его, и что все разнообразныя отрасли человѣческаго слова безпрестанно сливаются въ одно гармоническое цѣлое.

Согласитесь, что болѣе горячаго и краснорѣчиваго защитника теорія искусства для жизни положительно не было въ русской литературѣ. Понятно, что вслѣдствіе всего этого группировавшійся вокругъ *Современника* кружокъ литераторовъ во второй половинѣ пятидесятыхъ годъ находилъ себя болѣе солидарнымъ съ славянофилами, чѣмъ съ петербургскими оппортунистами того времени. Такъ, въ *Современникѣ* 1857 г., въ т. LXVI, въ *Замѣткахъ о журналахъ*, которыя въ то время велъ Чернышевскій, мы читаемъ слѣдующее сужденіе о славянофилахъ:

«Читатели, зная нашъ образъ мыслей, не могутъ конечно предполагать въ насъ особеннаго расположенія къ тѣмъ примѣсамъ славянофильской системы, которыя находятся въ противорѣчій и съ идеями, выработанными современною наукою, и съ характеромъ нашего времени. Но мы повторяемъ, что выше этихъ заблужденій есть въ славянофильствѣ элементы здоровые, вѣрные, заслуживающіе сочувствія. И если уже должно дѣлать выборъ, то лучше славянофильство, нежели та умственная дремота, то отрицаніе современныхъ убѣжденій, которое часто покрывается эгидой вѣрности западной цивилизаціи, причѣмъ подъ западною цивилизаціею понимаются чаще всего системы, уже отвергнутыя западною наукою, и факты наиболѣе прискорбные въ западной дѣйствительности, не говоря уже о замѣненіи общинной поземельной собственности полновластною, личною».

VI.

Но славянофильство въ свою очередь подобно западничеству 50-хъ годовъ не могло остаться въ томъ чистомъ видѣ, въ какомъ мы видѣли его въ ученіи первыхъ славянофиловъ. Реакція пятидесятыхъ годовъ не замедлила и его подвергнуть своему растлѣвающему вліянію. Изъ него выдѣлился въ эту эпоху своего рода оппортунизмъ, такой-же безхарактерный, мутный и двуличный, какъ и петербургскій, и даже, какъ увидимъ ниже, имѣющій съ нимъ точки соприкосновенія. Такова была славянофильская

фракція, носившая первоначально прозвище *почвенниковъ*, а впоследствии, въ шестидесятыя годы, получившая кличку *стрижей*.

Фракція эта въ пятидесятыя годы группировалась вокруг *Москвитянина*; впоследствии же, въ шестидесятыя годы, она имѣла въ своемъ распоряженіи два петербургскіе журнала: *Время*, издававшееся съ 1861 по 1863 г., и *Эпоху* — съ 1864 по 1865 годъ. Оба журнала издавались Мих. Достоевскимъ въ сообществѣ съ братомъ его Фед. Достоевскимъ. Но всѣ эти органы почвенниковъ не имѣли никакого успѣха, подобно оппортунистскимъ журналамъ, несмотря на участіе такихъ сильныхъ талантовъ, какъ Островскій и Писемскій въ *Москвитянинъ* и Ф. Достоевскій во *Времени* и *Эпохъ*.

Желая плыть по теченію, что и составляетъ суть всякаго оппортунизма, почвенники отказались отъ тѣхъ послѣдовательныхъ и крайнихъ выводовъ, которые, дѣлая славянофильство непопулярнымъ, тѣмъ не менѣе составляли всю оригинальность и, такъ сказать, цвѣтъ этого ученія. Такъ, они перестали выдвигать на первый планъ византизмъ и, продолжая считать православіе существеннымъ элементомъ русской самобытности, въ то-же время не выставляли на первый планъ требованія, чтобы государство превратилось въ церковь. вмѣстѣ съ тѣмъ, они отказались отъ основного положенія славянофиловъ, именно отъ предположенія просвѣтительной роли Россіи въ будущемъ, какъ осуществительницы тѣхъ великихъ, гуманныхъ идей, какія тщетно пыталась осуществить Западная Европа. вмѣсто этой грандіозной миссіи, построенной на основахъ гегелевской философіи, они, основываясь якобы на новыхъ положительныхъ данныхъ, начали проповѣдывать, что каждая народность съ самаго начала своего существованія слагается въ особенный типъ вродѣ родовъ и видовъ животнаго царства, и подобно тому, какъ курица не можетъ превратиться въ гуся, такъ и каждая народность не въ состояніи отдѣлаться отъ своихъ особенностей. Такимъ образомъ по самому существу своему ученіе почвенниковъ въ отличіе отъ славянофильскаго, предвидѣннаго въ будущемъ всемірно-историческій прогрессъ, является фаталистически-консервативнымъ. Всякая солидарность народностей отрицается. Каждая народность развиваетъ свои самобытныя начала, отказаться отъ которыхъ не въ состояніи и передать которыя не можетъ, и единственнымъ отношеніемъ между народами является вѣчная борьба не на-животъ, а на-смерть различныхъ враждебныхъ началъ. Такова, напримѣръ, борьба Запада Европы съ Востокомъ, германскаго міра съ славянскимъ, которая не можетъ кончиться ничѣмъ инымъ, какъ лишь полнымъ уничтоженіемъ одного изъ этихъ двухъ враждующихъ міровъ.

Въ такомъ видѣ является это мрачное ученіе въ сочиненіяхъ главныхъ представителей его: Н. Я. Данилевскаго — *Россія и Европа* и Н. Страхова — *Борьба съ Западомъ въ русской литературѣ* и проч. Нужно только вспомнить обстоятельства того времени, когда возникло это ученіе, эпоху всеобщаго разочарованія въ социальныхъ идеяхъ сороковыхъ годовъ, мрачной реакціи, подъ гнетомъ которой и подъ флагомъ націонализма таился глубокий раздоръ, развѣдавшій всю Европу; наконецъ, слѣдуетъ принять во вниманіе только что разгоравшуюся крымскую войну, и вы поймете, какъ подъ влияніемъ и впечатлѣніемъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ идеалистическое и гу-

манное славянофильство переродилось въ человѣконенавистническое ученіе почвенниковъ.

Но, направивъ по теченію свои взгляды въ общихъ ихъ основаніяхъ, почвенники и въ различныхъ частностяхъ не замедлили поступиться смѣлыми славянофильскими крайностями въ пользу господствовавшей реакціи. Основное положеніе ихъ ученія, гласящее, что народъ не въ силахъ освободиться отъ своихъ особенностей, дало имъ возможность подъ внѣшнимъ слоемъ наносныхъ вліяній искать эти особенности и въ личности Петра со всеми его реформами, и въ послѣдующемъ развитіи интеллигенціи, и въ литературныхъ произведеніяхъ, начиная съ Кантемира и кончая беллетристами сороковыхъ годовъ. Такимъ образомъ и волки оказались смты, и овцы цѣлы. Здѣсь уже мы не видимъ того радикальнаго отрицанія всего петербургскаго періода и оторванной отъ народа интеллигенціи, которое такъ пугало администрацію въ славянофилахъ. Всему воздается своя доля справедливости, и выходитъ въ концѣ-концовъ нѣчто крайне туманное, темное и противорѣчивое.

Главнымъ, наиболѣе талантливымъ и виднымъ критикомъ почвенниковъ былъ конечно Ап. Григорьевъ (р. въ 1822 г., ум. въ 1864 г.), хотя онъ нѣсколько отличался отъ позднѣйшихъ своихъ собратьевъ: Н. Страхова, Данилевскаго и пр., въ томъ отношеніи, что стоялъ несравненно ближе къ славянофиламъ, чѣмъ они. Родомъ москвичъ (отецъ его былъ чиновникомъ московскаго магистрата), кончившій курсъ московскаго университета въ 1842 году по юридическому факультету, онъ лишь до 1847 года служилъ въ Петербургѣ въ сенатѣ, а затѣмъ переселился въ Москву въ 1847 году и жилъ въ ней безвыѣздно до 1857 года, преподавая законовѣдѣніе въ 1-й московской гимназійи и принимая близкое участіе въ редакціи *Москвитянина*. При такихъ условіяхъ жизни онъ имѣлъ возможность близко сойтись съ кружкомъ славянофиловъ и подчиниться ихъ вліянію.

И дѣйствительно, мы видимъ во всѣхъ его критическихъ статьяхъ то присутствіе живого демократическаго духа, которымъ были преисполнены всѣ лучшіе люди сороковыхъ годовъ и котораго тщетно будете вы искать у его послѣдователей. Это былъ человѣкъ, по самой натурѣ своей, честныхъ, гуманныхъ и воплнѣ народныхъ инстинктовъ; всѣ пороки интеллигенціи, развившіеся на почвѣ крѣпостничества, какъ-то: самодурство, праздность, высокомеріе, извѣженность, нервность, рисовка, всяческая ложь, распушенность, пзвращенность имѣли въ немъ заклятаго врага. И напротивъ того, идеалами его были искренность, простота, непосредственность, цѣльность и полнота всякаго жизненнаго, *органическаго*, какъ онъ любилъ выражаться, явленія. Погова его за народными идеалами доходила порою до комическаго донкихотства. Никогда конечно не забудется тотъ восторгъ, который заставилъ его при появленіи на сценѣ Любима Торцова разразиться въ *Москвитянина* нескладными стихами, воссѣвающими этого героя, который

Стоитъ съ поднятой головой,
Бурнуетъ напаяливъ обветшалый,
Съ растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но съ русской чистою душой.

Въ то-же время, какъ извѣстно, всѣ изображаемые въ произведеніяхъ словесности типы онъ дѣлилъ на два разряда: хищные и кроткіе, причемъ въ хищныхъ типахъ онъ видѣлъ отступленіе отъ живыхъ и естественныхъ народныхъ идеаловъ, нѣчто наносное, плодъ чуждыхъ, западныхъ вліяній, между тѣмъ какъ въ кроткихъ типахъ полагалъ воплощеніе чисто-русской души, преполненной любви и смиренія. Поэтому онъ не совсѣмъ долюблялъ Лермонтова за его Печорина и въ то-же время преклонялся передъ повѣстями Бѣлкина, видя въ этомъ Бѣлкинѣ олицетвореніе кроткаго типа и побѣду Пушкина надъ всѣми прежними хищными идеалами, которыми онъ увлекался подъ вліяніемъ Байрона. Впослѣдствіи эту свою погоню за кроткими идеалами Ап. Григорьевъ простеръ до такой смѣлости, что когда вышелъ въ свѣтъ *Обломовъ* Гончарова, и всѣ увлекались героинею его Ольгою, видя въ то-же время въ жевитѣ Обломова на Агаевѣ Фодосѣевнѣ нравственное паденіе его, Ап. Григорьевъ одинъ только изъ всѣхъ тогдашнихъ критиковъ дерзнулъ выступить съ глубокою правдой, которая конечно въ то время показалась всѣмъ верхомъ комическаго юродства. Такъ, въ его статьѣ по поводу *Дворянскаго инзда*, въ *Русскомъ Словѣ* 1859 года, мы читаемъ слѣдующія замѣчательныя строки:

«Герои нашей эпохи не Штольцъ Гончарова и не его Петръ Ивановичъ Адуевъ, да и героини нашей эпохи тоже не его Ольга, изъ которой подъ старость, если она точно такова, какою вопреки многимъ грандіознымъ сторонамъ ея природы показываетъ намъ авторъ, выйдетъ преотвратительная барыня съ вѣчною и безцѣльною нервною тревожностью, истинная мучительница всего окружающаго, одна изъ жертвъ, Богъ знаетъ, чего-то. Я почти увѣренъ, что она будетъ умирать, какъ барыня въ *Трехъ смертяхъ* Толстого. Уже если между женскими лицами г. Гончарова придется выбирать непременно героиню, безпристрастный и незатемненный теоріями умъ выберетъ, какъ выбралъ Обломовъ, Агаеву Фодосѣевну, не потому, что у нея локти соблазнительны и что она хорошо готовитъ пироги, а потому что она гораздо болѣе женщина, чѣмъ Ольга».

Эта-же самая демократическая жилка подъ вліяніемъ славянофиловъ привела его къ глубокой ненависти къ петербургскимъ оппортунистамъ и поклонникамъ чистаго искусства, которыхъ онъ называлъ диллетантами и ставилъ ниже даже всякаго рода нежалуемыхъ имъ теоретиковъ. Такъ, въ *Русскомъ Мирѣ* 1860 г., въ статьѣ *Послѣ „Грозы“ Островскаго*, онъ между прочимъ говоритъ:

«Нельзя въ наше время отказать въ уваженіи и сочувствіи никакой честной теоріи, т.-е. теоріи, родившейся вслѣдствіе честнаго анализа общественныхъ отношеній и вопросовъ, и весьма трудно оправдать чѣмъ-либо диллетантское равнодушіе къ жизни и ея вопросамъ, прикрывающее себя служеніемъ какому-то чистому искусству. Съ теоретиками можно спорить, съ диллетантами—нельзя, да и не надобно. Теоретики рѣжутъ жизнь для своихъ идола-жертвенныхъ требъ, но это имъ, можетъ быть, многого стоить. Диллетанты тѣшатъ только плоть свою, и какъ имъ въ сущности ни до кого и ни до чего нѣтъ дѣла, такъ и до нихъ тоже никому не можетъ быть въ сущности никакого дѣла. Жизнь требуетъ порѣшеній своихъ жгучихъ вопросовъ, кричитъ разными своими голосами,—голосами почвъ, мѣстностей, народностей, построеній нравственныхъ, въ созданіяхъ искусствъ, а они себѣ тянутъ вѣчную пѣсенку про блага бычка, про искусство для искусства, и принимаютъ чадъ мысли и фантази въ смыслѣ какого-то безплодія. Они готовы закидать грязью Залда за неприличную тревожность ея созданій и манерою фламандской школы оправдывать пустоту

и низменность чиновническаго взгляда на жизнь. То и другое имъ ровно ничего не стоить! Нѣтъ, я не вѣрю въ ихъ искусство для искусства не только въ нашу эпоху,— въ какую угодно *истинную* эпоху искусства. Ни фанатическій гибелинъ Дантъ, ни честный англійскій мѣщанинъ Шекспиръ, столь ненавистный пуританамъ всѣхъ странъ и вѣковъ даже до сего дня, ни мрачный инквизиторъ Кальдеронъ не были художниками въ томъ смыслѣ, какой хотить придать этому званію диллетанты. Понятіе объ искусствѣ для искусства является въ эпохи упадка, въ эпохи разъединенія сознанія немногихъ лицъ, утонченнаго чувства диллетантовъ, съ народнымъ сознаніемъ, съ чувствомъ массы... Истинное искусство было и будетъ всегда народное, демократическое, въ философскомъ смыслѣ этого слова. Поэты суть голоса массы, народностей, мѣстностей, глашатаи великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которыя служатъ ключами къ уразумѣнію эпохъ — организмовъ во времени и народовъ—организмовъ въ пространствѣ).

Но, примыкая всѣми этими лучшими сторонами своего мышленія къ славянофиламъ, Ап. Григорьевъ въ то-же время значительно отстываетъ отъ нихъ, и эти-то вотъ отступленія и составляютъ самые слабые пункты его взглядовъ, они-то и повели къ развитію ученія почвенниковъ и въ то-же время приблизили Ап. Григорьева и особенно его послѣдователей къ тѣмъ самымъ петербургскимъ оппортунистамъ, которыхъ онъ такъ ненавидѣлъ, называя ихъ диллетантами.

Великое несчастье Ап. Григорьева заключалось въ томъ, что онъ слишкомъ увлекся нѣмецкою метафизикой, заблудился въ ея лабиринтахъ и остался въ нихъ навсегда, причежъ всѣ его неотъемлемые прекрасные инстинкты затемнились и расплылись въ мышленіи его въ туманныя, абстрактныя и противорѣчивыя формулы. Въ этомъ отношеніи судьба зло и ехидно подсмѣялась надъ нимъ; не обидно ли было, что онъ, всю жизнь непрестанно ратовавшій за самостоятельность русской мысли и русскаго искусства, всю жизнь оставался подавленнымъ тяжелымъ гнетомъ неперевавленнаго нѣмецкаго геллертерства; онъ, преклонявшійся передъ простотою и ясностью русской мысли, окончательно утратилъ это драгоценное качество русскаго ума и сдѣлался способенъ писать не иначе, какъ темными, туманными абстрактно-философскими, безконечно-длинными періодами на нѣмецкій образецъ, въ которыхъ порою трудно добраться какого-бы то ни было смысла, и изобрѣталъ къ тому же новыя, крайне неудачныя и курьезныя терминны, вродѣ, напримѣръ, *допотопныхъ талантовъ*, возбуждая этими терминами всеобщій хохотъ въ литературѣ?

Исходя изъ философіи Шеллинга, Ап. Григорьевъ искусство ставилъ выше всѣхъ прочихъ отраслей человѣческой дѣятельности, считая его лучшимъ изъ всѣхъ земныхъ дѣлъ, давалъ ему руководящую роль въ движеніи человечества, признавалъ за нимъ однимъ право и способность сказать „новое слово“. Идеаль души человѣческой по его ученію всегда и вездѣ остается неизмѣненъ; но въ чистомъ и общемъ видѣ онъ не можетъ ни воплотиться, ни быть познаваемъ. Въ этомъ отношеніи намъ доступна только *цветная* истина, какъ выражался Ап. Григорьевъ; ея выраженіе есть художество: отвлеченная, голо-логическая мысль всегда понимаетъ и судитъ жизнь уже, одностороннѣе. Только художествомъ могутъ быть вѣрно изображены, только созерцаніемъ и чувствомъ вполне поняты проявленія одного и того-же идеала въ различныхъ формахъ историческихъ эпохъ и народностей.

Такимъ образомъ искусство по самой сущности—*народно*. Творчество заклю-

чается главнымъ образомъ въ созданіи *типовъ*, т.-е. образовъ, представляющихъ опредѣленный, органически-цѣльный складъ душевной жизни, носящій на себѣ печать извѣстной народности. Истинная критика должна опредѣлять, разъяснять это типическое народное выраженіе идеаловъ въ искусствѣ. Связывая художественное произведеніе съ почвою, на которой оно родилось, усматривая положительное или отрицательное отношеніе художника къ жизни, она углубляется въ самый жизненный вопросъ, и такую критику Ап. Григорьевъ называлъ *органическою* въ отличіе отъ *исторической* критики Бѣлинскаго, для которой искусство есть результатъ жизни, а не выраженіе идеаловъ, которыми управляется жизнь, и отъ *эстетической*, совершенно отвлеченной отъ жизни.

Такой крайне идеалистическій взглядъ на искусство, выдающій въ немъ высшую человѣческую дѣятельность, придающій ему руководящую роль въ видѣ выраженія народныхъ идеаловъ, казалось-бы совершенно согласовался съ теоріей искусства для жизни и совершенно шелъ въ разрѣзъ съ теоретиками чистаго искусства. Тѣмъ не менѣе, какъ это ни странно, онъ-то именно и привелъ почвенниковъ ко взглядамъ, во многихъ отношеніяхъ соприкасающимся со взглядами петербургскихъ оппортунистовъ-западниковъ, приверженцевъ чистаго искусства.

Требованіе, чтобы искусство олицетворяло идеалы жизни въ ихъ типическихъ народныхъ проявленіяхъ, прежде всего прямо отстраняетъ художниковъ отъ увлеченія какими-либо злобами дня; они должны проникать въ глубь народной жизни, отыскивая въ ней существенныя явленія, а не увлекаться преходящими модными вѣяніями времени. Но этого мало: воплощая народные идеалы, искусство должно примирять насъ съ жизнью. Поэтому высшее призваніе его заключается во всестороннемъ, объективно-безпристрастномъ и любовномъ изображеніи жизни. До такой высоты поэзія именно и достигаетъ въ художникахъ-генияхъ, каковы Шекспиръ, Гете, Пушкинъ. Всякое же одностороннее изображеніе жизни, исключительно положительныхъ или отрицательныхъ ея элементовъ, есть уже отступленіе отъ истинной нормы искусства, уродство, фальшь. Ап. Григорьевъ не успѣлъ еще дойти до крайнихъ выводовъ этой теоріи и всякими философскими ухищреніями старался оправдать и пессимизмъ Байрона, и хищничество Лермонтова. Но позднѣйшіе почвенники, и особенно Н. Страховъ, дошли до полнаго отрицанія въ области искусства ироніи, сатиры и какого-бы то ни было отрицательнаго взгляда на жизнь и людей.

Такъ, въ своей статьѣ *Русская Литература (Русск. Вѣстн. 1875 г., № 6)*, Н. Страховъ прямо говоритъ:

«Оно (т.-е. искусство) можетъ употреблять иронію, можетъ достигать въ этомъ приемѣ величайшей художественности, какъ это и было у Гоголя, но остановиться на ироніи оно не можетъ. Гоголь, задумавъ въ *Мертвыхъ душахъ* изобразить полную картину русской жизни, конечно не имѣлъ никогда и въ мысляхъ ограничиться одною ироніей; его намѣреніе всегда было (какъ это видно изъ многихъ мѣстъ первой части *Мертвыхъ душъ*) постепенно смягчить свой тонъ, перейти въ юморъ и кончить серьезнымъ разсказомъ. Гоголь былъ человѣкъ восторженный, пламенно, кровно любившій свою родину, и его художественная иронія порождена этою восторженностью, а не холоднымъ анализомъ недостатковъ русской жизни. Гоголь какъ извѣстно не справился съ задачею, за которую взялся съ такимъ воодушевленіемъ и увѣренностью. Онъ погибъ, мучительно усиливаясь взять другой тонъ и создать новыя лица...

«Но прямое отношеніе къ предметамъ,— говоритъ далѣе Н. Страховъ,— которое началось съ ироніи Гоголя, не только однако-же не исчезло въ нашей литературѣ, а напротивъ, продолжается у многихъ писателей и развилось даже до своихъ крайнихъ формъ. Иронія, которая у Гоголя имѣла такую строгую художественную мѣру, понемногу вовсе удалилась отъ предмета; все больше и больше усиливая свое выраженіе, писатели стали безпрерывно употреблять иронію гиперболическую, въ которой уже нѣтъ заботы о реальномъ изображеніи, а напротивъ вся потѣха заключается въ *искаженіи* реальныхъ чертъ. Эта гиперболическая иронія иногда разыгрывается наконецъ до того, что переходитъ въ чистое *глумленіе*, то-есть въ рѣчи совершенно безмысленныя и самою своею безсодержательностью выражающія презрѣніе къ тому, о чемъ говорится. вмѣсто ироніи явилось такъ сказать нахальное, наглое обращеніе съ предметами, какъ всего сильнѣе выражающее пренебреженіе къ нимъ того, кто о нихъ говоритъ. Такой приѣмъ представляютъ произведенія Щедрина и Некрасова. Ихъ приѣмы пришлось очень по душѣ многимъ русскимъ людямъ которые вообще не любятъ прямой рѣчи, для которыхъ почти нѣтъ середины между сентиментальностью и цинизмомъ. Спокойная рѣчь, раскрывающая съ художественною мѣрой свойства предметовъ, имъ кажется скучною и даже противною, какъ нѣчто прѣсное; имъ нужна сильная приправа, густая присыпка перцу, что-нибудь язвительное или надрывающее. Поэтому они сами ни о чемъ говорить просто не могутъ, вѣчно иронизируютъ и сыплютъ циническими выраженіями безъ малѣйшаго повода».

Но въ предыдущей главѣ мы видѣли, что петербургскіе западники-оппортунисты съ своихъ эстетически-циркурейскихъ точекъ зрѣнія пришли къ тѣмъ-же требованіямъ отъ искусства успокоивающаго и примиряющаго дѣйствія и въ то-же время безпристрастнаго и полнаго изображенія жизни, представляя образцомъ такой поэзіи того-же Пушкина. Послѣ этого вполне понятно, что почвенники могли очень легко мириться съ петербургскими оппортунистами и появляться въ однихъ органахъ. Такъ, напримѣръ Ап. Григорьевъ помѣщалъ свои статьи не въ однихъ только славянофильскихъ и почвенныхъ органахъ, а также въ *Отечественныхъ Запискахъ*, *Библиотекѣ для Чтенія*, *Русскомъ Словѣ*, гдѣ онъ былъ въ числѣ трехъ первоначальныхъ редакторовъ этого журнала; то-же слѣдуетъ сказать и о Страховѣ.

VII.

Совершенно въ сторонѣ отъ почвенниковъ стоитъ Орестъ Фёдоровичъ Миллеръ, этотъ наиболѣе вѣрный послѣдователь славянофильскихъ первоучителей. Ор. Ф. Миллеръ родился 4 авг. 1834 г. у чиновника таможеннаго вѣдомства Фридриха Миллера, проживавшаго въ Гансалѣ. Рано потерявъ родителей, Миллеръ былъ воспитанъ въ домѣ дяди Ивана Петровича Миллера и тетки Екатерины Николаевны, съ которою Миллеръ прожилъ до самой ея смерти въ 1884 году. Воспитаніе получилъ онъ блестящее, много путешествовалъ съ родными и по Россіи, и заграницей. Къ сожалѣнію воспитаніе это было совершенно изолировано отъ той струи жизни, по какой плыла вся молодежь того времени, носило идеалистически-отвлеченный характеръ и къ тому-же въ немъ слишкомъ ужъ много было религіознаго элемента, въ видѣ бесѣдъ благочестивой тетюшки, странниковъ и богомолковъ, посѣщавшихъ часто домъ Миллера, впечатлѣній католическихъ процессій, которыя поражали воображеніе ребенка во время странствія его съ родными по юго-западнымъ городамъ, особенно

въ Вильнѣ, наконецъ вліянія бывавшихъ въ домѣ его родныхъ—виленскаго митрополита, бывшаго тогда архимандритомъ, Платона и архіепископа литовскаго Юсифа. Особенно привязался мальчикъ къ Платону и подъ обаяніемъ этой привязанности развилось у него желаніе приобщиться къ православію, которое исповѣдовала обожаемая имъ „матушка“, какъ называлъ онъ свою тетку, что и произошло въ 1848 г., когда Миллеру было пятнадцать лѣтъ.

Въ 1851 году Миллеръ поступилъ въ с.-петербургскій университетъ на филологическій факультетъ. Это было самое глухое время въ русской жизни, и развитіе юноши въ университетскіе годы продолжало носить столь-же односторонній характеръ. „Мы не знали ни кутежа, ни какихъ-либо романтическихъ приключеній, — вспоминалъ впоследствии о своихъ университетскихъ годахъ Миллеръ, — насъ въ университетѣ занимали только наука, литература и искусство, понимаемыя по жалуй слишкомъ отвлеченно, помимо непосредственной связи съ исторіей“...

Носясь такимъ образомъ постоянно въ сферѣ духовно-христіанскихъ идеаловъ. Миллеръ весьма естественно изъ всѣхъ русскихъ писателей наибольшую приверженность питалъ къ Жуковскому, написалъ даже стихи на его смерть и посвятилъ ему патристическую драму *Подвигъ матери*, которая въ 1854 году была поставлена имъ на сценѣ Михайловскаго театра. Въ 1852 году Миллеръ удостоился полученія золотой медали за сочиненіе о комедіяхъ Сумарокова, Фонвизина, Княжнина и Шаховскаго, а въ 1855 году, кончивъ курсъ со степенью кандидата, сталъ готовиться по предложенію проф. Никитенко къ магистерскому экзамену, выдержавши который, онъ выступилъ въ свѣтъ въ 1858 году съ своей магистерской диссертациіи *О нравственной стихіи въ поэзіи*.

Диссертациія эта, разсматривавшая памятники поэзіи всѣхъ народовъ исключительно съ духовно-нравственной стороны, насколько они соотвѣтствуютъ христіанскимъ идеаламъ любви, кротости, смиренія и возвышенія духа надъ грѣшною плотью, появилась со своимъ ультра-религіознымъ духомъ какъ разъ въ такой моментъ, когда вся литература находилась въ воинствующемъ настроеніи, когда въ проповѣди самоотверженія и кротости готовы были видѣть нѣчто вроде оправданія крѣпостнаго права, а въ смиренія — молчалинство, и понятно, что всѣ критики встали на-дыбы противъ злополучной диссертациіи; авторъ былъ сопричисленъ къ самымъ отсталымъ ретроградомъ такимъ властителемъ думъ того времени, какъ Добролюбовъ въ *Современникѣ*, а вслѣдъ затѣмъ не менѣе сурово отнесся къ Миллеру въ *Атенѣ* Котляревскій.

Впечатлѣніе, произведенное этими рецензіями, было такъ сильно, что Миллеръ сдѣлался положительно опальнымъ человекомъ. Двери всѣхъ редакцій были для него закрыты, и на него точно легла печать литературнаго отверженія. Не только отвѣтъ Котляревскому, но и никакая другая статья его въ теченіе трехъ лѣтъ не принималась ни одною редакціею. Даже при личныхъ встрѣчахъ съ нѣкоторыми представителями тогдашняго литературнаго міра, отъ него просто отворачивались. Онъ до того началъ бояться своего имени, что, когда по поводу столѣтняго юбилея Шиллера ему пришлось прочесть пять публичныхъ лекцій въ залѣ второй гимназіи, на входныхъ билетахъ было просто обозначено: „лекціи о Шиллерѣ“, безъ объяв-

ленія имени лектора. И даже впоследствии, приступивъ къ чтенію лекцій объ изученіи народной словесности въ петербургскомъ университетѣ въ качествѣ приватъ-доцента, въ ноябрѣ 1863 г., Миллеръ все еще опасался враждебной демонстраціи со стороны студентовъ.

Но все эти опасенія были совершенно напрасны. Лекціи о Шиллерѣ прошли мало того что благополучно, но публика встрѣтила оратора благосклонно, и онъ имѣлъ успѣхъ. Точно также все обошлось благополучно и при началѣ университетскаго курса, и между Миллеромъ и студентами сразу установились добрыя отношенія, которыя, укрѣпляясь съ каждымъ годомъ, сдѣлали его любимцемъ молодежи и самымъ популярнымъ профессоромъ въ университетѣ, благодаря его высокимъ нравственнымъ качествамъ, цѣльности его душевнаго склада, непоколебимой и нелицепріятной вѣрности идеаламъ, гуманности въ отношеніи къ своимъ молодымъ слушателямъ, которымъ онъ никогда не отказывалъ ни въ добромъ совѣтѣ, ни въ посильной помощи.

Къ тому-же, къ началу университетскаго курса Миллеръ значительно отрѣшился уже отъ своихъ ультра-мистическихъ взглядовъ на литературу; онъ успѣлъ къ этому времени познакомиться съ русскимъ народнымъ эпосомъ и съ сочиненіями славянофиловъ, въ ученіи которыхъ онъ увлекся самыми свѣтлыми ихъ сторонами, — именно народно-демократическими идеалами. Онъ пошелъ даже далѣе славянофиловъ, совершенно послѣдовательно рѣшивъ, что если становиться на почву отрицанія всякихъ чуждыхъ и наносныхъ вліяній и требовать вполнѣ самостоятельнаго развитія, исходящаго изъ глубины народнаго духа, то слѣдуетъ отрицать благотворность и византійскаго вліянія. Нетерпимость, доходящая до фанатизма, мертвенность, предпочтеніе „буквы“ „духу“ закона, аскетизмъ, схоластика и цезаре-папизмъ, — все это по его словамъ тѣ теченія, которыя римско-языческая, разлагающаяся Византія, съ ея претензіей на міро-владычество, съ ея проповѣдью о подчиненіи божьяго Кесарю, обильною струею вливала въ свѣжіе мѣхи русской жизни, заражая ихъ міазмами и наполняя началами, чуждыми славянской народности.

«Изъ Византіи, говоритъ Миллеръ, все болѣе и болѣе проникалъ къ намъ тотъ крайній аскетизмъ, который со своимъ рѣшительнымъ безучастіемъ въ текущей жизни вполнѣ объяснялся въ ней тѣмъ, что именно лучшие люди могли совершенно отчаяваться въ возможности совладать съ общественными недугами. Перенесенный въ нашу скорѣе непочатую, чѣмъ испорченную почву, на которой была стало быть вполнѣ возможна борьба со зломъ, — аскетизмъ, не имѣя жизненныхъ основаній, дошелъ однако-же подражательно до такого крайняго развитія личности въ религіозной сферѣ, до такой, можно сказать, эгоистически-утилитарной заботливости собственно о своей душѣ, что это ужъ прямо подавляющимъ образомъ дѣйствовало на славянскую общинность и скорѣе совпадало съ западно-европейскимъ заслуживаемъ леновъ на небѣ».

Главными трудами Миллера считаются его докторская диссертація, появившаяся въ 1870 году, подъ заглавіемъ: *Сравнительно-критическія наблюденія надъ словеснымъ составомъ народнаго русскаго эпоса. Илья Муромецъ и богатырство кievское*, и вышедшая въ 1874 г. первымъ изданіемъ книга *Русскіе писатели послѣ Гоголя*, содержащая въ себѣ десять публичныхъ лекцій, читанныхъ Милле-

ромъ въ ноябрѣ 1874 года въ с.-петербургскомъ собраніи художниковъ, съ цѣлю усиленія средствъ общества вспомошествованія студентамъ с.-петербургскаго университета, въ которомъ онъ состоялъ тогда товарищемъ предсѣдателя.

Въ книгѣ о былинахъ Миллеръ сосредоточилъ около Илья Муромца изслѣдованіе всѣхъ вообще кievскихъ былинъ. По массѣ собраннаго матеріала и сдѣланныхъ выводовъ ничего еще не появлялось у насъ равнаго по объему книгѣ Миллера, которая по праву можетъ считаться единственнымъ до сихъ поръ полнымъ изслѣдованіемъ русскаго былеваго эпоса. То обстоятельство, что, выйдя изъ народа, Муромецъ рисуется въ самомъ идеальномъ свѣтѣ, дало Миллеру основаніе назвать нашъ эпосъ *простонароднымъ* и отиѣтитъ какъ достояніе преимущественно простого народа. Отсюда вытекло у него положеніе о необходимости обновленія изъ народа.

«Самъ собою, говоритъ онъ въ послѣдней главѣ, работою собственнаго ума народъ выработалъ ученіе о взаимной помощи и братской любви и, храня его въ своихъ сказкахъ подъ прозвищемъ *мупости*, внесеть его и въ литературу, и въ науку историческую, когда наконецъ наступитъ ея пора». И далѣе: «новымъ, здоровымъ и трезвымъ, изъ жизни выходящимъ идеализмомъ литература наша проникается лишь тогда, когда въ ней проявятся связи съ народомъ, т. е. когда она изучитъ его глубоко, какъ онъ есть, безъ всякихъ предвзятыхъ мыслей, а онъ получитъ возможность вносить въ нее свѣжіе соки, выдвигая изъ собственныхъ своихъ нѣдръ писателей, которые могли-бы развить далѣе, перелить въ новыя, современнѣйшія, просвищенныя формы тѣ задатки глубокихъ и самобытныхъ идей, какія таитъ онъ въ своемъ безыскусственномъ эпосѣ».

Эти самыя идеи лежатъ въ основѣ и второго его труда *Русскіе писатели послѣ Гоюля*. Все развитіе русской литературы со временъ Петра онъ полагаетъ исключительно въ стремленія освободиться отъ подчиненія западнымъ вліяніямъ и встать на самобытную народную почву, и въ степени этого освобожденія полагаетъ относительное достоинство произведеній русской словесности. Такъ напримѣръ, сравнивая Пушкина съ Лермонтовымъ, Миллеръ замѣчаетъ:

«У Пушкина борьба своего собственнаго съ навѣяннмъ чужимъ успѣла завершиться и національные элементы его поэзіи приняли широкое міровое значеніе; у Лермонтова-же, въ силу его преждевременной смерти, борьба осталась незавершившейся. До конца жизни мы видимъ у Лермонтова два перекрещивающіеся направленія: съ одной стороны онъ сильно подвергся вліянію Байрона, которое выразилось у него гораздо глубже, рѣшительнѣе, властнѣе, чѣмъ у Пушкина; но съ другой стороны, съ этимъ противнымъ боролось нѣчто другое — самобытное. Ошибочно мнѣніе тѣхъ, которые, не допуская въ Лермонтовѣ самобытности, говорятъ, что смерть постигла его во-время. Мы же, принимая во вниманіе силу его таланта, смѣемъ предположить, что самобытныя стороны взяли-бы верхъ надъ чужимъ».

Вотъ съ этой точки зрѣнія народной самобытности и разсматривалъ Миллеръ всѣхъ русскихъ писателей. Лекціи въ с.-петербургскомъ университетѣ онъ читалъ до конца 1887 г., когда былъ уволенъ отъ занимаемой имъ каѳедры, съ назначеніемъ пенсіи въ 2,500 р. Въ 1889 г. 1-го іюня онъ умеръ скоропостижно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I—Одичаніе общества и забвеніе всѣхъ идей сороковыхъ годовъ въ половинѣ пятидесятихъ. Статья Пирогова: *Вопросы жизни*, какъ образецъ этого одичанія. II—Характеръ оживленія общества послѣ крымской кампаніи. Три различныя теченія въ шестидесятыя годы и два періода этой эпохи. III—Движеніе эстетическихъ идей послѣ смерти Бѣлинскаго. Теорія В. Майкова. IV—Биографическія данныя о жизни Николая Гавриловича Чернышевскаго. V—Диссертация его: *Объ отношеніи искусства къ действительности*.

I.

Не болѣе семи лѣтъ продолжалась реакція пятидесятихъ годовъ, а тѣмъ не менѣе общество успѣло въ этотъ короткій періодъ времени совершенно одичать. Какъ-то не вѣрилось, что-бы это было то самое общество, которое такъ недавно еще увлекалось критическими статьями Бѣлинскаго, лекціями Грановскаго и философскими трактатами Искандера. Сороковые годы казались чѣмъ-то такимъ уже отдаленнымъ, что приходилось воскрешать ихъ въ памяти людей, такъ недавно еще переживавшихъ эти годы, путемъ историческихъ статей, какъ какую-нибудь отдаленнѣйшую эпоху нашей исторіи.

Такое по крайней мѣрѣ значеніе имѣли статьи Н. Г. Чернышевскаго, печатавшіяся въ *Современникѣ* въ 1855 и 56-мъ годахъ, подъ заглавіемъ: *Очерки гоголевскаго періода*. Желая познакомить публику съ Бѣлинскимъ и съ его значеніемъ въ русской литературѣ и въ то-же время не осмѣливаясь назвать его по имени, а именуя глухо авторомъ статей о Пушкинѣ, „критикомъ гоголевскаго періода“, Чернышевскій дѣлаетъ массу выисокъ изъ Бѣлинскаго, словно имѣя дѣло не съ знаменитымъ критикомъ, умершимъ всего 7 лѣтъ тому назадъ, а съ мало извѣстнымъ писателемъ, жившимъ по крайней мѣрѣ за сто лѣтъ до того времени.

Изъ всего движенія сороковыхъ годовъ сохранились въ обществѣ одни лишь смутныя и неопредѣленные понятія о гуманности, гражданской честности и неподкупности; и въ то время, какъ старшее поколѣніе, допуская въ своей жизни массу компромиссовъ, держалось утонченнаго эстетическаго эпикуреизма, младшее ударялось въ суровый, аскетическій идеализмъ мистическаго, средневѣковаго характера.

До какой степени общество отставало въ то время отъ движенія европейской мысли, скабичевскій.

мы можем судить по статьѣ Н. И. Пирогова: *Вопросы жизни*, напечатанной въ *Морскомъ Сборникѣ*, въ 23-й т. 1856 года, и произведшей такую всеобщую и шумную сенсацию, что всѣ журналы наперерывъ прославляли эту статью, почти цѣлкомъ ее перепечатывали и ни одного голоса не послышалось, который рѣшился-бы обсудить ее критически и безпристрастно. Н. И. Пироговъ послѣ этой статьи сдѣлался во всѣхъ глазахъ однимъ изъ представителей новаго движенія, изъ хирурга превратился въ педагога и былъ сдѣланъ попечителемъ сначала одесскаго, а потомъ кievскаго округовъ.

Правда, сенсация, какую произвела статья Пирогова, обуславливалась тѣмъ, что она была напечатана въ официальномъ органѣ и представлялась какъ-бы новою правительственною программю воспитанія, шедшею совершенно въ разрѣзъ съ прежною. Но восхищались ею не за одну только эту новую программу, а въ каждой строкѣ видѣли бездну премудрости, и что крайне передовое и выходящее изъ ряда вонъ. И вдругъ что-же мы находимъ въ этой статьѣ?

Правда, въ основѣ ея лежала мысль, которая въ то время носилась въ воздухѣ, именно, что воспитаніе должно заключаться не въ узко-утилитарныхъ цѣляхъ, не въ томъ, чтобы готовить чиновниковъ, моряковъ, докторовъ, невѣсть, а чтобы, прежде всего, приготовить *человѣка*. Но подъ этимъ много-знаменательнымъ словомъ скрывалась въ статьѣ Пирогова идея вполне средне-вѣковая, аскетическая. Изъ дальнѣйшаго развитія статьи оказывалось, что узко-утилитарный характеръ воспитанія зависѣлъ отъ того, что въ обществѣ преобладало стремленіе къ земному счастію, и оно въ этомъ отношеніи все еще находилось на степени язычества.

«Вспомнимъ еще разъ, говорилъ Пироговъ въ своей статьѣ, что мы—христиане, и слѣдовательно главною основою нашего воспитанія служить и должно служить Откровеніе. Всѣ мы съ дѣтства не напрасно-же ознакомились съ мыслью о загробной жизни, всѣ мы не напрасно-же должны считать настоящее приготовленіемъ къ будущему. Выходя-же въ существующее направленіе нашего общества, мы не находимъ въ его дѣйствіяхъ ни малѣйшаго слѣда этой мысли. Во всѣхъ обнаруживаніяхъ по крайней мѣрѣ жизни практической и даже отчасти и умственной, мы находимъ рѣзко выраженное, матеріальное, почти торговое стремленіе, основаніемъ которому служить идея о счастіи и наслажденіяхъ въ жизни земной».

Чтобы вывести общество наше изъ того опаснаго состоянія, какимъ представляется стремленіе къ земному счастію, существуетъ по мнѣнію Пирогова, единственный путь „приготовить насъ воспитаніемъ къ *внутренней* борьбѣ, неминуемой и роковой, доставивъ намъ всѣ способы и всю энергію выдерживать неравный бой“.

«Какое же долженъ быть юный атлетъ, приготовляющійся къ этой роковой борьбѣ?—спрашиваетъ Пироговъ и затѣмъ отвѣчаетъ: первое условіе: онъ долженъ имѣть отъ природы хотя какое-нибудь притязаніе на умъ и чувство. Пользуйтесь этими благими дарами Творца, но не дѣлайте одаренныхъ бессмысленными поклонниками мертвой буквы, дерзновенными противниками необходимаго на землѣ авторитета, суемудрыми приверженцами грубаго матеріализма, восторженными расточителями чувства и воли и холодными адептами разума».

«Все, что есть высокаго, прекраснаго на свѣтѣ, замѣчаетъ Пироговъ въ другомъ мѣстѣ—искусство, вдохновеніе, наука,—не должно слишкомъ сродняться со вседневною жизнью; оно утратить свою первобытную чистоту, выродится и запылится прахомъ».

Забываясь о томъ, чтобы юноши не сдѣлались суемудрыми приверженцами грубаго матеріализма, дерзновенными противниками необходимаго на землѣ авторитета и холодными адептами разума, Пироговъ вмѣстѣ съ тѣмъ оберегаетъ и женщинъ отъ ложныхъ шаговъ на гибельномъ пути эмансипаціи:

«Воспитаніе—говоритъ онъ—наряжая, выставляетъ ее (т. е. женщину) на-показъ для зѣвакъ, обставляетъ кулисами и заставляетъ ее дѣйствовать на пружинахъ, такъ, какъ ему хочется. Ржавчина съѣдаетъ эти пружины, а черезъ щели истертыхъ и изорванныхъ кулисъ она начинаетъ высматривать то, что отъ нея такъ бережно скрывали. Мудрено-ли, что ей тогда приходитъ на мысль пробовать самой, какъ ходятъ люди. Эмансипація—вотъ эта мысль. Паденіе—вотъ первый шагъ. Пусть многое останется ей неизвѣстнымъ. Она должна гордиться тѣмъ, что многого не знаетъ. Не всякій—врачъ. Не всякій долженъ безъ нужды смотрѣть на язвы общества... Если женскіе педанты, толкуя объ эмансипаціи, разумѣютъ одно воспитаніе женщины,—онѣ правы. Если-же они разумѣютъ эмансипацію общественныхъ правъ женщины, то они сами не знаютъ, чего хотятъ».

Мы нарочно сдѣлали всѣ эти выдержки изъ статьи Пирогова, чтобы показать, какъ въ половинѣ пятидесятихъ годовъ мыслилъ одинъ изъ самыхъ передовыхъ вождей общества, человѣкъ, пользовавшійся всеобщимъ поклоненіемъ за необыкновенную чуткость и свѣтлость своихъ взглядовъ. Чего-же можно было требовать въ то время отъ темной и полуобразованной массы?

II.

Нѣтъ ничего послѣ этого мудренаго, что общество было застигнуто эпохою реформъ совершенно врасплохъ и не будучи ни мало подготовлено къ ней. Никакихъ определенныхъ и сознательныхъ стремленій, никакой выработанной программы дѣйствій не было ни у кого и въ поминѣ. Это было чисто стихійное возбужденіе съ одной стороны пессимистическаго характера, съ другой—напротивъ того, поражавшее своимъ восторженнымъ оптимизмомъ. Въ то время, какъ пессимизмъ былъ слѣдствіемъ неудачъ крымской кампаніи и сознанія общей расшатанности и разстройства всей государственной системы, оптимизмъ возбуждался ежедневно не только предвкушеніемъ великихъ историческихъ событій, которыя готовились переживать, вродѣ освобожденія крестьянъ, земской и судебной реформъ, или широкаго открытія университетскихъ дверей для людей всѣхъ сословій, но и въ виду такихъ мелочей, какъ дозволеніе курить на улицахъ, упрощеніе или полное уничтоженіе разнаго рода униформъ, допущеніе ношенія бородъ и т. п. Каждый день приносилъ слухи о новыхъ реформахъ и преобразованіяхъ, иногда самые фантастическіе и нелѣпые. То начинали толковать объ уничтоженіи чиновъ и орденовъ; на другой день переносили столицу изъ Петербурга въ Москву, на третій—готовились къ измѣненію стараго стиля на новый и т. п. Всѣ эти слухи и толки сильно электризовали толпу; и старъ, и младъ, убѣленные съдинами генералы наравнѣ со студентами наперерывъ либеральничали другъ передъ другомъ, проникались гуманностью и неудержимымъ стремленіемъ къ прогрессу. Каждый день устраивались какіе-нибудь многолюдныя сборища, то въ видѣ обсужденія преподаванія въ воскресныхъ школахъ или вообще педагогическихъ собраній, то студенческихъ сходокъ въ стѣнахъ университета, то ученыхъ юридическихъ диспутовъ вродѣ на-

примѣръ, пренія Костомарова съ Погодинымъ о происхожденіи Руси, и рѣдкое такое собраніе обходилось безъ какихъ-нибудь шумныхъ манифестацій и протестовъ.

Оживленіе это не замедлило отразиться и въ литературѣ. Она въ свою очередь исполнилась животрепещущаго содержанія. Журналы, какъ старыя, такъ и вновь возникавшіе, снова первымъ условіемъ своего существованія начали считать твердое и неуклонное проведеніе опредѣленнаго направленія. Правда, они всѣ наперерывъ либеральничали, увлекаемые общимъ духомъ времени; въ равной степени были преисполнены обличеніями взяточничества и всякаго рода административныхъ злоупотребленій и публицистическими статьями, смѣло обсуждавшими предстоявшія реформы и поднимавшими новые вопросы; тѣмъ не менѣе каждый изъ крупныхъ органовъ проводилъ теперь какіе-нибудь излюбленныя тенденціи. Такъ, вновь возникшій въ 1856 году *Русскій Вѣстникъ* подъ редакцію Каткова и Леонтьева съ самаго начала своего существованія и до 1862 года, былъ приверженцемъ аристократическаго представительства въ англійскомъ духѣ; *Современникъ* проповѣдывалъ демократическія идеи; *Отечественныя Записки* подъ редакцію Краевскаго и Дудышкина, равно какъ и угасавшая *Библиотека для Чтенія*, — продолжали проводить бюрократо-оппортунистическіе принципы. Славянофилы выпускали свои органы въ видѣ *Русской Бесѣды* и газеты *День*; наконецъ нѣсколько позже возникли органы оппортунистовъ-почвенниковъ: *Время* и *Эпоха*.

Что касается до газетъ, то онѣ значительно позже, лишь послѣ польскаго возстанія, съ 1863 года, въ свою очередь сдѣлались органами различныхъ направленій; до этого-же времени пользовались наибольшою популярностью лишь тѣ газеты, которыя давали болѣе всякаго рода разнообразныхъ свѣдѣній, каковы были: *С.-Петербургскія Вѣдомости*, *Сѣверная Пчела*, *Московскія Вѣдомости*, *Сынъ Отечества*.

Но одними политическими вопросами, въ виду совершившихся великихъ реформъ, далеко не исчерпывается движеніе шестидесятыхъ годовъ. Здѣсь встрѣтились и сошлись въ одинъ потокъ три различныхъ движенія, чѣмъ и обуславливается необыкновенная бурность и смутность этой эпохи.

Такъ, рядомъ съ движеніемъ политическимъ и съ проникновеніемъ народными демократическими идеалами, мы видимъ философское движеніе въ видѣ воскресенія идей сороковыхъ годовъ и окончательнаго перехода мысли передоваго общества на реальную почву. Наконецъ въ то-же время при быстромъ распространеніи образованности въ среднихъ и бѣдныхъ слояхъ общества началось перемѣщеніе центра тяжести общественнаго движенія изъ дворянскихъ слоевъ общества въ разночинныя, и вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ появленіе новыхъ идеаловъ, соответственныхъ этой средѣ, полную переработку всѣхъ этическихъ вопросовъ объ отношеніи личности къ семьѣ и къ обществу.

Эти три теченія такъ тѣсно и неразрывно переплетались другъ съ другомъ и такъ вліяли одно на другое, что присутствіе ихъ мы видимъ во всѣхъ событіяхъ и фактахъ того времени. Такъ, философское движеніе принесло съ собою увлеченіе естественными науками и создало огромную переводную литературу, причѣмъ общество наше впервые ознакомилось съ твореніями такихъ великихъ умовъ Европы, какъ Маколей, Вокль, Спенсеръ, Дарвинъ, Льюисъ, Молешоттъ и пр., и пр., и это вело за собою освобожденіе

мысли отъ всѣхъ традиціонныхъ авторитетовъ, возбуждало критическое отношеніе ко всему, что до того времени казалось неприкосновеннымъ и неподлежащимъ ни малѣйшему сомнѣнію, — а тѣмъ самымъ содѣйствовало къ свободной и рациональной переработкѣ всѣхъ общественныхъ и личныхъ идеаловъ. Въ то-же время увлеченіе вопросами о народномъ благѣ, ведя за собою изученіе народной жизни и народныхъ идеаловъ, придавало демократическій характеръ не только стремленіямъ къ общественнымъ преобразованіямъ, но и выработкѣ личныхъ нравственныхъ идеаловъ.

Но какъ ни тѣсно было соприкосновеніе этихъ трехъ теченій и взаимное вліяніе ихъ другъ на друга, тѣмъ не менѣе, приглядываясь ближе и пристальнѣе къ жизни того времени, вы всегда будете въ состояніи отличить ихъ одно отъ другого. Такъ, среди массы общественныхъ и литературныхъ дѣятелей того времени вамъ ничего не стоитъ усмотрѣть, что одни, оставаясь метафизиками, наиболѣе увлекались политическими вопросами своего времени, другіе ставили на первый планъ вопросы философскіе, увлекались естествознаніемъ и славили наступленіе господства реализма; наконецъ, третьи болѣе всего увлекались вопросами этическими и моральными.

Но болѣе всего при этомъ заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что вся эпоха такъ называемыхъ шестидесятыхъ годовъ, занимающая собою десятилѣтіе, начиная съ 1855 года и по 1866-й—рѣзко распадается на два періода, гранью между которыми представляется освобожденіе крестьянъ. Такъ, мы видимъ, что до 1861 года движеніе имѣетъ характеръ преимущественно политической. Все общество является увлеченнымъ вопросами общественнаго характера, во главѣ которыхъ стоитъ, конечно, освобожденіе крестьянъ. Въ литературныхъ сферахъ въ этотъ періодъ замѣчается рѣдкое единодушіе и солидарность. Демократы *Современника*, аристократы *Русскаго Вѣстника*, оппортунисты *Отечественныхъ Записокъ*, хотя и вступаютъ нерѣдко въ споры по разнымъ животрепещущимъ вопросамъ жизни вроде наприимѣръ спора *Современника* съ *Экономическимъ Указателемъ* и *Русскимъ Вѣстникомъ* объ общинѣ; хотя сатирическіе бичи въ видѣ *Искры* или *Свистка* въ *Современникѣ* хлещутъ направо и налево, тѣмъ не менѣе вы не видите еще въ литературныхъ сферахъ того антагонизма и непримиримой розни, какіе возникли, начиная съ 1862 года. Совсѣмъ иной характеръ представляетъ эпоха шестидесятыхъ годовъ во второмъ своемъ періодѣ. Несмотря на то, что реформы продолжаются (земская, судебная), на первый планъ выступаютъ теперь вопросы философскіе и моральные, начинается выработка новыхъ индивидуально-нравственныхъ идеаловъ. Въ обществѣ въ то-же время съ каждымъ годомъ развивается все болѣшая и болѣшая рознь и антагонизмъ. Дѣлятся не только ужъ на партіи, враждебныя въ политическомъ отношеніи, причемъ *Русскій Вѣстникъ* и *Московскія Вѣдомости* рѣшительно выступаютъ на реакціонный путь, но вмѣстѣ съ тѣмъ начинаютъ враждовать по философскимъ и моральнымъ вопросамъ.

Эти два періода шестидесятыхъ годовъ имѣли каждый своего представителя въ журналистикѣ и критикѣ. Вокругъ этихъ представителей группировались литературныя силы, и самые періоды носятъ ихъ названіе. Такъ, первый періодъ называютъ добролюбовскимъ; второй — писаревскимъ. И дѣйствительно: Добролюбовъ и Писаревъ являются какъ-бы фокусами, въ которыхъ наиболѣе ярко сосредоточивается духъ и

характеръ обоихъ періодовъ. На этихъ двухъ представителяхъ критики шестидесятыхъ годовъ мы съ особеннымъ вниманіемъ остановимся.

III.

Но прежде чѣмъ мы приступимъ къ характеристикѣ дѣятельности Добролюбова, считаемъ не лишнимъ сдѣлать бѣглый обзоръ тѣхъ измѣненій критико-эстетическихъ взглядовъ и теорій, которыя совершались со смерти Бѣлинскаго и до начала дѣятельности Добролюбова.

Дѣло въ томъ, что какъ ни силенъ былъ разрывъ съ лучшими традиціями сороковыхъ годовъ въ началѣ пятидесятихъ годовъ, какъ ни велико было всеобщее забвеніе этихъ традицій при полномъ господствѣ оппортунистической критики съ ея возвращеніемъ къ теоріи чистаго искусства, — все-таки не прекращалась нѣкоторае маленькая живая струйка, журчащая втихомолку; оставались люди, которые не только ничего не забыли, но напротивъ того: имъ удалось значительно измѣнить эстетическіе взгляды и теоріи, господствовавшіе въ концѣ сороковыхъ годовъ, пересадить ихъ на почву положительнаго, реальнаго мышленія и такимъ образомъ подготовить дѣятельность Добролюбова.

Такая переработка эстетическихъ воззрѣній началась уже при жизни Бѣлинскаго, въ 1846 году, и первымъ новаторомъ является Валеріанъ Николаевичъ Майковъ, братъ знаменитаго поэта Ал. Ник. Майкова, учившійся въ С.-Петербургскомъ университетѣ и кончившій курсъ со степенью кандидата юридическихъ наукъ въ 1842 году.

Мы видѣли, что уже Бѣлинскій установилъ въ критикѣ принципъ „искусства для жизни“, но этотъ принципъ въ статьяхъ великаго критика — словно висѣлъ въ воздухѣ, такъ какъ въ эстетическихъ воззрѣніяхъ своихъ Бѣлинскій продолжалъ держаться старыхъ метафизическихъ теорій, не замѣчая, что онѣ по самому существу своему находились въ полномъ разладѣ съ новымъ принципомъ.

Въ самомъ дѣлѣ: сообразно этимъ теоріямъ, искусство имѣетъ совершенно особенную, свою самостоятельную область, вполне исчерпывающую все его значеніе. Область эта — *прекрасное*. Какъ-бы мы затѣмъ ни опредѣляли, что такое *прекрасное*, сообразно различнымъ философскимъ системамъ, и каково отношеніе творчества поэта къ этому прекрасному, находится-ли прекрасное въ душѣ поэта и поэтъ силою творчества облакаетъ прекрасное въ матеріальные образы, идеализируя дѣйствительность, или-же прекрасное лежитъ въ самой дѣйствительности, заключается въ полномъ осуществленіи идеи въ чувственныхъ образахъ, и творчество поэта ограничивается лишь непосредственнымъ воззрѣніемъ, раскрытіемъ прекраснаго въ природѣ и жизни, — во всякомъ случаѣ утилитарный принципъ является въ полномъ противорѣчьи со всѣми этими опредѣленіями. Съ ихъ точки зрѣнія вполне естественно кажется, будто онъ выводитъ искусство изъ его родной стихіи и навязываетъ ему совершенно чуждую роль, насилуетъ его въ самомъ его проявленіи, такъ какъ процессъ творчества, по самому существу непосредственный и произвольный, стремится обратить въ нѣчто разсудочно-предназначенное.

Бѣлинскій не обращалъ вниманія на это полное противорѣчiе старыхъ эстетическихъ теорiй и утилитарнаго принципа; не замѣчалъ онъ и того, что эти старыя теорiи, вполнѣ соответствовавшiя прежнимъ эстетическимъ требованiямъ отъ искусства въ эпоху романтическихъ школъ, совершенно расходились съ новыми требованiями реальнаго искусства. Область искусства до такой степени успѣла къ тому времени раздвинуться, что требовались неимовѣрныя дiалектическiя натяжки, чтобы подвести подъ излюбленную идею прекраснаго многое, что производилось современнымъ искусствомъ, не говоря уже о томъ, что самое понятiе о прекрасномъ совершенно измѣнилось на почвѣ реальнаго мышленiя.

Въ самомъ дѣлѣ, разъ рушилось прежнее метафизическое воззрѣнiе, что все существующее есть ничто иное какъ дiалектическое развитiе безусловной идеи, вмѣстѣ съ тѣмъ должно было рушиться и воззрѣнiе на прекрасное какъ на соответствiе идеи и формы, но тогда чтѣ-же такое прекрасное? А съ другой стороны—исчерпывается-ли этимъ прекраснымъ область искусства? Какъ подвести подъ идею прекраснаго изображенiя вродѣ Чичикова или Ноздрева? А если прекрасное далеко не исчерпываетъ всего, что творитъ искусство, то въ чемъ-же заключается его назначенiе, его роль? Отражать, списывать дѣйствительность во всемъ ея разнообразiи, добромъ и зломъ, прекрасномъ и безобразномъ? Но зачѣмъ?

Таковы вопросы, представившiеся всѣмъ умамъ, разставшимся съ прежними метафизическими теорiями и вступившими на реальную почву. Въ отвѣтъ на эти вопросы мы и видимъ въ литературѣ нашей первыя попытки пересадить эстетическiе понятiя на реальную почву и вмѣстѣ съ тѣмъ согласовать утилитарный принципъ искусства съ эстетическими воззрѣнiями, вывести его прямо изъ нихъ. Валерiану Майкову принадлежитъ первая такая попытка. Суть его эстетическихъ воззрѣнiй, полнѣе всего выраженныхъ въ статьяхъ его о стихотворенiяхъ Кольцова (*От. Зап.* 1846 г., т. 49) и о романахъ В. Скотта (*От. Зап.* 1847 г., т. 51), заключается въ слѣдующемъ:

Когда мы наблюдаемъ окружающую насъ дѣйствительность, все, что мы видимъ, мы сравниваемъ съ собою, и все то, въ чемъ мы не усматриваемъ ни малѣйшаго сходства съ собою, чтѣ намъ поэтому совершенно ново, чуждо и непонятно, все это для насъ *замѣтельно*, мы стремимся *изучить* это невѣдомое, усвоить его, найти въ немъ общее съ нами; а разъ этого мы достигаемъ, предметъ открывается намъ съ другой своей стороны—*симпатичной*, т. е. все то, что мы находимъ въ немъ общаго съ нами, возбуждаетъ въ насъ сочувствiе.

«Поэтому, говоритъ Майковъ: каждый предметъ, доступный нашему познанiю, необходимо раздѣляется нами на двѣ половины: къ первой относимъ мы все то, чтѣ нисколько не напоминаетъ намъ о собственной нашей природѣ—эта сторона любопытная, подстрекающая одну любознательность; ко второй—все то, чтѣ въ немъ есть общаго съ нами, человѣкомъ; это—сторона *симпатическая*, возбуждающая въ насъ *любовь*, сердечное кровное сочувствiе. Количественное различiе впечатлѣнiй, произведенныхъ на насъ тою и другою, заключается въ томъ, что любопытное владѣтъ нами только въ силу своей новостн и дѣлается безразличнымъ тотчасъ-же по усвоенiи, между тѣмъ какъ симпатическое (назовите его, какъ угодно) вѣчно будетъ имѣть для насъ интересъ, если мы только сами не теряемъ способности чувствовать и сочувствовать».

Изъ этого отличія занимательнаго отъ симпатичнаго проистекаетъ отличіе науки отъ искусства. Все, что не возбуждаетъ въ насъ никакихъ эмоцій, а только одно любопытство, входитъ въ область науки; все-же симпатичное, въ чемъ мы находимъ частичку себя, все, что такъ или иначе относится къ намъ, что насъ волнуетъ, радуетъ, приводитъ въ негодованіе или пугаетъ, все это входитъ въ область искусства. Такимъ образомъ, „художественная мысль, по словамъ Майкова, зарождается въ формѣ любви или негодованія, и тайна творчества—въ способности вѣрно изобразить дѣйствительность съ ея симпатичной стороны. Иными словами, художественное творчество есть пересозданіе дѣйствительности, совершаемое не измѣненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ (въ поэзію)“.

Такова эстетическая теорія В. Майкова. Первое ея достоинство заключается въ томъ, что она стоитъ вполне на реальной почвѣ и въ то-же время значительно расширяетъ сферу искусства согласно новымъ требованіямъ: сообразно ей сфера искусства заключается не въ одномъ только прекрасномъ, а въ изображеніи всего, что какъ-бы то ни было, относится къ намъ и возбуждаетъ въ насъ какія-бы то ни было эмоціи. Въ то-же время, и принципъ утилитаризма не только не стоитъ въ противорѣчій съ этою теоріею, а прямо вытекаетъ изъ нея. Искусство сообразно теоріи Майкова является не безцѣльнымъ списываніемъ дѣйствительности, а возведеніемъ ея въ міръ человѣческихъ интересовъ. Интересы-же бываютъ различные: узко-эгоистичные, грубо-матеріальные, низменные, и высокіе общечеловѣческіе, альтруистическіе. Спору не можетъ быть, что съ какими-бы интересами ни имѣло дѣло искусство, оно остается искусствомъ, но неоспоримо и то, что тѣмъ оно выше, достойнѣе и благотворнѣе, чѣмъ выше тѣ интересы, которымъ оно служитъ.

Къ сожалѣнію В. Майковъ не успѣлъ развить свою замѣчательную теорію вполне обстоятельно и всесторонне. Онъ умеръ раньше Вѣлинскаго, лѣтомъ въ 1847 году, купаясь въ прудѣ въ одной изъ окрестностей Петербурга. Но мысли, брошенныя имъ въ немногихъ оставшихся послѣ него статьяхъ, не затерялись во мглѣ послѣдовавшей реакціи и не замедлили принести свои плоды.

Но прежде, чѣмъ мы приступимъ къ дальнѣйшимъ попыткамъ перенести эстетическія возрѣнія на реальную почву, припомнимъ еще одинъ эпизодъ, относящійся къ концу сороковыхъ годовъ и имѣющій, безъ сомнѣнія, тѣсное сродство съ этими попытками. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1847 года, въ 53 т., была помѣщена статья, посвященная разбору перевода В. Модестова курса эстетики Гегеля. Статья эта, неизвѣстно кому принадлежащая, написана очень тяжелымъ философскимъ языкомъ и отличается крайнею темнотою и сбивчивостью изложенія, простирающагося до того, что во многихъ мѣстахъ вы не разберете даже, говоритъ-ли авторъ отъ себя или онъ приводитъ слова какого-либо нѣмецкаго эстетика, гдѣ кончаетъ цитату и начинаетъ свои собственные сужденія. Между прочимъ, вы находите въ статьѣ слѣдующее мѣсто, весьма замѣчательное по отношенію къ той новой эстетической теоріи, о которой будетъ рѣчь ниже:

«Точка зрѣнія умозрительной эстетики,—по преимуществу практическая: искусство существуетъ только потому, что въ природѣ нѣтъ истинно-прекраснаго. Капитолій-

ская и медичейская Венеры должны быть идеалами женской красоты; ландшафтная живопись должна очистить ландшафтъ отъ всего случайнаго. Между тѣмъ, искусство далеко не превосходить природу: вездѣ уступаетъ оно ей въ свѣжести и полнотѣ жизни. Въ этомъ-то смыслѣ, говорить Гете, всѣ формы искусства имѣютъ въ себѣ нѣчто ложное, даже самыя вѣрныя, самыя прочувствованныя. Пусть спроситъ себя каждый, не обращались-ли невольно его глаза въ трибунахъ во Флоренціи отъ Венеры медичейской на живыя, одушевленные формы прекрасныхъ женщинъ, разсматривавшихъ статую, на ихъ прелести — застѣчивую улыбку; или, если это кажется слишкомъ грѣшнымъ для нѣкоторыхъ набожныхъ душъ, спрашиваю, не лучше-ли во сто разъ, не гармоничнѣе-ли всякой прекраснѣйшей картины отзывается въ нашей душѣ Неаполитанскій заливъ въ своей очаровательной дѣйствительности? Но цѣль искусства и не заключается совсѣмъ въ такомъ неровномъ соперничествѣ. *Оно есть языкъ, ничто болѣе, какъ языкъ, чувственное выраженіе нашихъ чувственныхъ мыслей, ощущеній и созерцаній* ¹⁾. И только по той причинѣ, что это индивидуально-чувственное содержаніе не можетъ быть выражено никакимъ другимъ способомъ, какъ въ этихъ чувственныхъ формахъ природы и жизни, только потому и говорить ими искусство».

Въ 1847 году, когда появилась эта статья, на второмъ курсѣ филологическаго факультета с.-петербургскаго университета учился будущій видный дѣятель русской литературы, Николай Гавриловичъ Чернышевскій. Мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній о томъ, когда началъ онъ сотрудничать въ разныхъ журналахъ, и могла-ли статья эта принадлежать ему. Во всякомъ случаѣ, насъ поражаетъ представленная нами выдержка изъ статьи тѣмъ, что мысли, выраженные въ ней, во многомъ сходятся съ идеями, приведенными въ извѣстной диссертациі Н. Г. Чернышевскаго: *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*. Диссертациія эта составляетъ важный шагъ въ развитіи эстетическихъ идей въ разсматриваемый нами періодъ. Но прежде, чѣмъ мы обратимся къ ней, сообщимъ краткія свѣдѣнія о жизни Н. Г. Чернышевскаго.

IV.

Николай Гавриловичъ Чернышевскій родился въ Саратовѣ 19-го іюня 1828 г. Отецъ его, Гавріилъ Ивановичъ, занимавшій сначала должность инспектора въ мѣстномъ духовномъ училищѣ, затѣмъ былъ священникомъ, еще съ конца тридцатыхъ годовъ избранннмъ въ санъ благочиннаго, а съ 1856 года занялъ мѣсто каедральнаго протоіерея. Отлично зная языки греческій, латинскій и французскій, онъ обладалъ обширнымъ умомъ и добросовѣстнымъ отношеніемъ къ каждому дѣлу; честностью и сердечностью онъ снискалъ всеобщую любовь не только прихожанъ, но и всѣхъ кому доводилось сталкиваться съ нимъ въ жизни.

Какъ единственнаго сына, ребенка холили, нѣжили и осыпали всевозможными ласками и попеченіями. Въ благочестивой, мирной и скромной семьѣ онъ жилъ счастливо и беззаботно въ условіяхъ самыхъ благопріятныхъ для умственнаго развитія. Сверхъ отца и матери, болѣзненной женщины, Чернышевскій особенно привязанъ былъ къ своей двоюродной сестрѣ Любови Николаевнѣ. Страстная люби-

¹⁾ Курсивъ въ подлинникѣ.

тельница чтенія, она читала и для себя, и для него, рассказывала ему, играла съ нимъ; онъ слушалъ ее съ увлеченіемъ и засыпалъ вопросами. Ей-же былъ обязанъ Чернышевскій и обученію грамотѣ; увлекла его Любовь Николаевна и музыкой: воспріимчивый мальчикъ выучился отъ нея играть на фортепіано.

Выучившись читать, онъ весь углубился въ чтеніе, употребляя на него всѣ свободныя отъ ученія и отъ игръ съ товарищами часы. У отца его, какъ любителя чтенія, была значительная по тому времени бібліотека, къ которой съ почтеніемъ относился даже Н. Ив. Костомаровъ. въ бытность свою въ Саратовѣ. Кромѣ того Чернышевскій пользовался книгами изъ бібліотеки сосѣдей-помѣщиковъ, съ дѣтьми которыхъ былъ въ дружественныхъ отношеніяхъ. Вообще, онъ бралъ книги, гдѣ только можно, и читалъ ихъ съ жадностью, нерѣдко выписывая изъ нихъ въ тетрадки, которыхъ у него было много. До какой степени въ немъ съ самыхъ первыхъ лѣтъ дѣтства была развита страсть къ чтенію, можно заключить изъ того, что онъ не расставался съ книгою и продолжалъ читать, сидя за обѣдомъ или ужиномъ. и эту привычку сохранилъ до смерти: впоследствии во время обѣда онъ обыкновенно читалъ газеты и журналы.

Считая излишнимъ отдавать сына въ духовное училище, Гавріилъ Ивановичъ самъ приготовилъ его къ поступленію въ семинарію, причемъ особенно налегалъ на древніе языки, такъ что Чернышевскій, еще до поступленія въ семинарію, могъ переводить нѣкоторыхъ классиковъ. Въ 1842 г. Чернышевскій былъ принятъ въ саратовскую семинарію, въ классъ реторики, на пятнадцатомъ году отъ рожденія. Въ это время, по словамъ товарища его А. Ив. Розанова, онъ былъ нѣсколько болѣе средняго роста, съ необыкновенно нѣжнымъ, женственнымъ лицомъ; волосы его были свѣтло-желтые, но волнистые, мягкіе и красивые; голосъ—тихий, рѣчь пріятная, вообще это былъ юноша, какъ самая скромная, симпатичная и неволью располагающая къ себѣ дѣвушка. Къ несчастью, онъ былъ крайне близорукъ; книгу или тетрадь держалъ всегда у самыхъ глазъ, а писалъ наклонившись къ самому столу.

Будучи бойкимъ, рѣзвымъ и разговорчивымъ со своими сверстниками и близкими знакомыми, Чернышевскій отличался особенной застѣнчивостью въ чужихъ домахъ, особенно мало ему знакомыхъ; въ гости его брали противъ желанія, и онъ обыкновенно сидѣлъ бирюкомъ, храня глубокое молчаніе.

Поступивши въ семинарію. Чернышевскій согласно уставу. по которому ученикъ обязательно долженъ изучать одинъ живой языкъ. изъявилъ желаніе изучать два языка: французскій и татарскій. Къ изученію послѣдняго мальчикъ былъ увлеченъ извѣстнымъ ориенталистомъ, нумизматомъ и археологомъ Г. С. Саблуковымъ, который преподавалъ исторію въ саратовской семинаріи и былъ вхожъ въ домъ Гавріила Ивановича. Сверхъ того Чернышевскій занимался арабскимъ и еврейскимъ языкомъ, знаніе которыхъ было необязательно для учениковъ семинаріи.

Въ семинаріи Чернышевскій былъ крайне застѣнчивый. тихій и смиренный, ни съ кѣмъ не рѣшаясь заговорить первымъ. Товарищи прозвали его дворянчикомъ, такъ какъ онъ и одѣтъ былъ лучше другихъ. и былъ сынъ извѣстнаго протоіерея, котораго уважало не только семинарское начальство, но даже архіерей и учителя считали за честь бывать у него въ домѣ. Кромѣ того Чернышевскій очень часто ѣздилъ въ

семинарію на лошади, что въ то время въ Саратовѣ считалось аристократизмомъ; поэтому чуть-ли не цѣлый годъ чуждались его и не рѣшались вступать съ нимъ въ разговоръ. Изъ всей семинаріи онъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ только съ однимъ ученикомъ, М. Левицкимъ, который, какъ лучшей ученикъ, сидѣлъ съ нимъ рядомъ. Правились Чернышевскому споры и рассказы Левицкаго. Но дружба эта ограничивалась стѣнами семинаріи, и какъ Чернышевскій ни просилъ его къ себѣ въ гости, Левицкій, бѣдный, неотесанный бурсакъ, не рѣшался идти къ нему, отговариваясь тѣмъ, что и одежда у него плохая, и онъ не умѣетъ обращаться въ обществѣ, въ особенности въ домѣ такого высокопоставленнаго лица, какимъ былъ отецъ Чернышевскаго. Вообще, товарищи неохотно посѣщали Чернышевскаго, и если нѣкоторые изрѣдка рѣшались зайти къ нему, долго не засиживались. Между тѣмъ Чернышевскій хотѣлъ сблизиться съ лучшими учениками и быть съ ними въ дружественныхъ отношеніяхъ. Жизнь семинаристовъ того времени была груба; но Чернышевскій не обращалъ на это никакого вниманія: для него дороги были бесѣды съ умными товарищами. Желая докончить о чемъ нибудь разговоръ, Чернышевскій заходилъ иногда съ товарищами, любившими выпить, въ кабачокъ, гдѣ велъ съ ними дружескую бесѣду, отказываясь отъ волки, котовою угощали его товарищи. Не найдя себѣ друга между семинаристами, Чернышевскій, будучи на 4 года старше своего двоюроднаго брата А. Н. Пыпина, сдѣлался его другомъ, руководителемъ и воспитателемъ, передавая ему всѣ свои обширныя знанія.

Но это все было впоследствии, въ старшихъ классахъ семинаріи, въ младшихъ-же классахъ, не уступая товарищамъ въ физической силѣ, которую Чернышевскій успѣлъ развить съ дѣтства, играя съ дѣтьми по цѣлымъ часамъ на берегу Волги, онъ однако-же мало участвовалъ въ играхъ семинаристовъ, вѣчно чѣмъ-нибудь занимался и даже во время переѣмъ почти никогда не видѣли его гуляющимъ по двору или корридору. Передъ нимъ постоянно на столѣ лежало нѣсколько тетрадокъ. Однѣ были записки преподавателей, въ другія онъ писалъ какія-нибудь замѣтки или дѣлалъ выписки изъ книгъ, такъ напримѣръ выписывалъ изъ лексикона Кроненберга цѣлыя фразы изъ Овидія и другихъ писателей. Когда-же товарищи обращались къ нему за разъясненіемъ какой-нибудь фразы, онъ бросалъ свои занятія и принимался переводить и объяснять грамматическія правила, весь погружаясь въ свои объясненія, причемъ прочитывалъ иногда наизусть цѣлыя главы Лактанція или другихъ классиковъ.

„Научныя свѣдѣнія его, по словамъ товарища Розанова, были необыкновенно велики: онъ зналъ языки латинскій, греческій, еврейскій, французскій, нѣмецкій, польскій и англійскій. Начитанность была необыкновенная. Между нашими преподавателями былъ нѣкто Г. С. Воскресенскій... Это былъ человекъ жестокой до звѣрства, но какъ преподаватель, лучшей въ семинаріи... Заговорить бывало о чемъ-нибудь и спросить: не читалъ-ли кто-нибудь объ этомъ?— всѣ или молчать, или отвѣтить, что не читали. „Ну, а вы, Чернышевскій, читали?“—спросить онъ. Въ то время какъ Воскресенскій говорилъ и спрашивалъ, Чернышевскій по обыкновенію писалъ что-нибудь. Во время класса при наставникахъ онъ всегда дѣлалъ выписки изъ ле-

копконовъ, — это было его обыкновенное и непрѣмное занятіе. Пишетъ Чернышевскій, учитель спроситъ его и не повторяетъ вопроса; тотъ встаетъ и начинаетъ: „германскій писатель NN говоритъ объ этомъ... французскій... англійскій“... Служаешь бывало и не можешь понять, откуда человѣкъ набралъ столько свѣдѣній? И такъ всегда: коль скоро о чемъ-нибудь не знаетъ никто, то и берутся за Чернышевскаго, а тотъ знаетъ ужь непрѣмно. Многосторонностью знаній и обширностью свѣдѣній по св. Писанію, всеобщей гражданской исторіи, логикѣ, психологіи, литературѣ, исторіи, философій и пр. онъ поражалъ всѣхъ насъ. Наставники наши считали удовольствіемъ поговорить съ нимъ, какъ съ человѣкомъ вполне уже развитымъ“.

Вообще Чернышевскій рѣзко выдѣлялся изъ среды учениковъ и познаніями, и поведеніемъ. Въ 1847 г. онъ аттестованъ былъ такъ: „способностей отличныхъ, прилежанія ревностнаго, успѣховъ отличныхъ, поведенія весьма скромнаго“. Учителя были отъ него въ восторгѣ, особенно учитель словесности, который входилъ съ рапортомъ въ семинарское правленіе, донося ему о сочиненіяхъ Чернышевскаго, какъ о замѣчательныхъ и образцовыхъ.

Чернышевскій мечталъ изъ семинаріи поѣхать въ духовную академію и кончить тамъ курсъ со степенью бакалавра, но по совѣту одного родственника рѣшился поступить въ университетъ и въ ноябрѣ 1844 г. вышелъ изъ семинаріи. Инспекторъ семинаріи, Тихонъ, встрѣтивши мать его у кого-то въ гостяхъ, спросилъ ее:

— Что вы вздумали взять вашего сына изъ семинаріи? Развѣ вы не расположены къ духовному знанію?

На это Евгенія Егоровна отвѣчала:

— Сами знаете, какъ унижено духовное званіе: мы съ мужемъ и порѣшили отдать его въ университетъ.

— Напрасно вы лишаете духовенство такого свѣтила, сказала ей инспекторъ.

Два года готовился Чернышевскій дома ко вступительному экзамену въ университетъ, упражняясь въ это время въ нѣмецкомъ языкѣ, при содѣйствіи нѣкоего колониста Б. Х. Грефа, который тоже готовился въ университетъ, а Чернышевскій въ свою очередь помогалъ ему въ изученіи латинскаго языка.

Мать Чернышевскаго сама отвезла нѣжно любимаго сына въ Петербургъ въ 1846 г.. устроила его на квартирѣ, и Чернышевскій выдержалъ вступительный экзамень, получивъ изъ всѣхъ предметовъ по полному баллу и лишь по географіи тройку.

Втеченіи университетскаго курса Чернышевскій серьезно занимался древними языками, общою словесностью и изученіемъ славянскихъ нарѣчій, слушая лекціи Из. Ив. Срезневскаго, который приблизилъ его къ себѣ, очень полюбилъ и подъ его руководствомъ Чернышевскій составилъ словарь къ Ипатіевской лѣтописи, напечатанный въ прибавленіяхъ къ „Изв. II отд. акад. наукъ“ 1853 г.

Въ 1850 году Чернышевскій былъ выпущенъ II-мъ канцеляромъ и оставленъ для занятія при университетѣ. но въ 1851 году онъ вѣхалъ въ Саратовъ, куда тянула его любовь къ родителямъ. Тамъ онъ занялъ мѣсто учителя въ гимназіи. Жизнь въ продолженіи всего пребыванія своего въ Саратовѣ онъ велъ крайне замкнутую, имви

единственными друзьями отца съ матерью да книги. Впрочемъ къ этому времени относится сближеніе его съ П. И. Костомаровымъ, который какъ разъ въ это время проживалъ въ Саратовѣ.

Схоронивъ мать и затѣмъ женившись, Чернышевскій въ январѣ 1854 года былъ перемѣщенъ въ Петербургъ во 2-й корпусъ на должность учителя 3-го пола. Но педагогическая дѣятельность его продолжалась не долго, не болѣе трехъ, пяти лѣтъ, а затѣмъ Чернышевскій весь предался литературѣ. Литературныя связи оны успѣвъ уже завязать на университетской скамьѣ, сблизившись черезъ Срезневскаго съ Ирин. Ив. Введенскимъ и посѣщая его среды. Но принималъ-ли онъ участіе въ журналистикѣ и писалъ-ли что-нибудь для печати въ университетскіе годы, мы не знаемъ. Въ 1853 году начали появляться его библіографическія статейки сначала въ *Отечественныхъ Запискахъ*, потомъ въ *Современникъ*; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ занимался и переводами романовъ. Такъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1854 года былъ помѣщенъ въ его переводѣ романъ Чарльза Ливера, *Семейство Довоовъ*.

Работая безъ усталы, Чернышевскій въ то-же время готовилъ вышеупомянутую нами магистерскую диссертацию, которая хотя и была написана и одобрена совѣтомъ университета, но не была утверждена министромъ народнаго просвѣщенія, А. С. Норовымъ, была конфискована, и такимъ образомъ Чернышевскій, уже славный магистерскій экзаменъ (1855 г.) и очень удачно защищавшій диссертацию на диспутъ, не былъ удостоенъ степени магистра.

Вскорѣ послѣ этого эпизода съ диссертацией Чернышевскій сблизился съ редакціей *Современника* и сдѣлался постояннымъ и исключительнымъ сотрудникомъ этого журнала. Одно время, въ 1858 году, онъ былъ редакторомъ *Военнаго Сборника*, но это редакторство продолжалось недолго.

Дѣятельность его въ *Современникъ* распадается на два періода. Первый простирается до 1858 года. Въ это время Чернышевскій завѣдывалъ критическимъ отдѣломъ журнала, велъ журнальныя замѣтки и сверхъ массы критическихъ статей по текущей литературѣ помѣстилъ на страницахъ *Современника* два крупныя трактата: *Очерки Гоголевскаго періода* и *Лессингъ и его время*. Первый трактатъ посвященъ, какъ извѣстно, характеристикѣ Вѣлинскаго. Но и во второмъ трактатѣ, опредѣляя значеніе знаменитаго германскаго критика, Чернышевскій сравниваетъ съ нимъ аналогическое значеніе для насъ все того-же Вѣлинскаго.

Со вступленіемъ въ *Современникъ* Добролюбова, Чернышевскій предоставилъ ему вести критику въ журналѣ и самъ принялся за публицистику. Такъ, въ ноябрьской и декабрьской книжкахъ *Современника* за 1858 годъ были напечатаны статьи: *Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія* и *О необходимости держаться умеренныхъ цифръ при опредѣленіи величины выкута*, вызвавшія оживленную полемику современныхъ экономистовъ. Въ 1859 г. Чернышевскій напечаталъ статьи: *Экономическая дѣятельность и государство* и *По поводу „Очерковъ Англій и Франціи“ Чичерина*. Слѣдующій 1860 годъ ознаменовался обширною статьею: *Капиталъ и Трудъ* и въ томъ же году онъ приступилъ

къ печатанію перевода *Основаній политической экономіи* Милля съ простран-ными примѣчаніями, спискавшими ему громкую общеевропейскую пзвѣстность. Рядъ политико-экономическихъ статей и очерковъ, вызванныхъ текущими финансовыми и экономическими реформами и мѣропріятіями, печатался въ *Современникъ* также въ 1861 и 1862 годахъ.

Вѣстѣ съ этимъ Чернышевскій съ самаго начала своего участія въ *Современникъ* удѣлялъ время для историческихъ переводовъ, компіляцій и оригинальныхъ статей. Такъ, въ 1856—57 годахъ въ *Современникъ* былъ напечатанъ рядъ статей подъ заглавіемъ: *Разказы изъ исторіи Анліи* (по Маколею). Съ начала шестидесятихъ годовъ подъ редакцію Чернышевскаго началъ выходить переводъ *Всемирной исторіи* Ф. Шлоссера, издававшійся Серно-Соловьевичемъ. Кромѣ того перу Чернышевскаго принадлежитъ нѣсколько историко-публицистическихъ очерковъ и разсужденій: *Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X* (1858 г.), *Кавеньякъ* (1858 г.), *Юльская монархія* (60 г.), *Антропологическій принципъ въ философіи* (60 г.), *О причинахъ паденія Рима* (61 г.) и др.

Съ 1864 года литературная дѣятельность Чернышевскаго, какъ извѣстно, надолго прерывается. лишь по возвращеніи на родину въ 1883 году онъ получилъ возможность снова заняться литературой и началъ третій періодъ своей дѣятельности. Понятно, онъ уже не могъ занять прежняго мѣста въ литературѣ и отдался почти всецѣло переводу на русскій языкъ *Всеобщей исторіи* Вебера. Изъ этого обширнаго сочиненія въ 15 томовъ, по 1000 страницъ въ каждомъ томѣ, Чернышевскій успѣлъ перевести, а Солдатенковъ напечатать—11 томовъ; двѣ трети 12-го тома также переведены Чернышевскимъ, причемъ къ послѣднимъ томамъ Чернышевскій въ формѣ введенія прикладывалъ оригинальные очерки по исторіи, а во 2-мъ изданіи 1-го тома помѣстилъ: *Очеркъ научныхъ понятій о возникновеніи обстановки человѣческой жизни и о ходѣ развитія человечества въ до-историческія времена*.

При такомъ гигантскомъ трудѣ Чернышевскій нашелъ еще время помѣстить въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* обширную научную статью подъ заглавіемъ: *Характеръ человѣческаго знанія* и, сверхъ того, напечаталъ въ *Русской мысли*: *Гимнъ Дьзъ неба*, стихотвореніе подъ псевдонимомъ „Андреевъ“ (1885 г. № 7); *Происхожденіе теоріи благотворности борьбы за жизнь*, подписанное Трансформистъ (1888, № 9); *Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова*, сообщенные Андреевымъ 1889, №№ 1, 2. Въ цѣломъ видѣ, въ отдѣльномъ изданіи эти матеріалы вышли уже послѣ смерти Чернышевскаго.

Жизнь, по словамъ саратовскихъ газетъ, въ это время онъ велъ замкнутую, уединенную; былъ съ головою погруженъ въ свои литературныя занятія, хотя въ обществѣ своихъ знакомыхъ отличался рѣдкимъ одушевленіемъ и говорливостью.

Страдалъ Чернышевскій давнишнимъ недугомъ—катарромъ желудка. Передъ смертію онъ лишился сознанія, долго и много бредилъ, иногда диктуя изъ Вебера. Кровоизліаніе въ мозгу положило конецъ его существованію. Къ величайшему утѣшенію родныхъ и самого покойнаго, послѣдніе мѣсяцы своей жизни ему пришлось провести въ родномъ Саратовѣ, куда онъ переселился какъ разъ въ годъ своей смерти. Чернышев-

скій умеръ вскорѣ послѣ этого переселенія, въ 12 ч. 35 м. ночи, съ 16 на 17-ое октября 1889 года.

V.

Минуя публицистическую дѣятельность Чернышевскаго, какъ не входящую въ составъ нашего обзорѣнія, мы ограничимся лишь его критическими статьями и начнемъ съ диссертации, знакомящей насъ съ его эстетическими воззрѣніями.

Цѣль диссертации заключается именно въ томъ, чтобы окончательно разрушить устарѣлыя эстетическія теоріи, построенныя на метафизическихъ основаніяхъ и намѣсто ихъ водворить новыя и вполне реальныя. Поэтому авторъ прямо начинается съ тщательнаго анализа идеи *прекраснаго*. Опровергая одно за другимъ старыя опредѣленія вродѣ тѣхъ, что „прекраснымъ называется полное проявленіе идеи въ отдѣльномъ предметѣ“ или что „прекрасное есть единство идеи и образа“, Чернышевскій вмѣсто нихъ ставитъ свое, основанное на реальныхъ данныхъ.

«Ощущеніе, говоритъ онъ, производимое въ человѣкѣ прекраснымъ,— свѣтлая радость, похожая на ту, какою наполняетъ насъ присутствіе милого для насъ существа. Мы безкорыстно любимъ прекрасное, мы любуемся, радуемся на него, какъ радуемся на милого намъ человѣка. Изъ этого слѣдуетъ, что въ прекрасномъ есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это «что-то» должно быть нѣчто чрезвычайно многообъемлющее, нѣчто способное принимать самыя разнообразныя формы, нѣчто чрезвычайно общее; потому что прекрасными кажутся намъ предметы чрезвычайно разнообразные, существа совершенно непохожія другъ на друга.

«Самое общее изъ того, что мило человѣку и самое милое ему на свѣтѣ—жизнь; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось-бы ему вести, какую любить онъ; потому и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить: все живое, уже по самой природѣ, своей ужасается гибели, небытія и любить жизнь. И кажется, что опредѣленіе: *«прекрасное есть жизнь»*; *прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ*; *прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни*,—кажется, что это опредѣленіе удовлетворительно объясняетъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго».

Изъ такого опредѣленія прекраснаго прямо вытекаетъ тотъ выводъ, что прекрасное въ сферѣ искусства должно всегда уступать прекрасному въ самой жизни. Въ самомъ дѣлѣ, разъ прекрасное есть все то, въ чемъ наиболее проявляется жизнь, то можетъ-ли отраженіе этой жизни, какъ-бы оно ни было близко къ подлиннику, равняться съ самимъ оригиналомъ. Большая часть диссертации именно и посвящена опроверженію старыхъ эстетическихъ теорій, утверждавшихъ, будто „идея прекраснаго, не осуществляемая дѣйствительностью, осуществляется произведеніями искусства“. Чернышевскій доказываетъ, что нѣтъ, это—неправда; прекрасное искусства всегда уступаетъ прекрасному дѣйствительности, — и это самая лучшая и наиболѣе обстоятельная часть диссертации.

Далѣе затѣмъ, естественно, возникаетъ вопросъ, въ чемъ-же заключается назначеніе искусства, если оно оказывается совершенно бессильно и несостоятельно въ томъ, въ чемъ до тѣхъ поръ видѣли главное его призваніе, именно въ осуществленіи идеи

прекраснаго?—Но тутъ Чернышевскій выказываетъ поразительное непониманіе цѣлей и значенія искусства, полное отсутствіе всякой эстетической жилки, вслѣдствіе чего сбивается на совершенно ложный путь.

Такъ, по его мнѣнію, ближайшая цѣль искусства—воспроизводить дѣйствительность, но не для того, чтобы превосходить ее или хотя-бы равняться съ нею, но чтобы нѣсколько напоминать намъ о ней, помогать нашей памяти. Не всѣ могутъ каждый часъ любоваться моремъ: между тѣмъ фантазія слаба, ей нужна поддержка, напоминаніе—и что бы оживить свои воспоминанія о морѣ, чтобы яснѣе представить его въ своемъ воображеніи, смотреть на картину, изображающую море.

Но подобное опредѣленіе искусства не только не объясняетъ намъ творческихъ процессовъ художника, но и эстетическихъ наслажденій простыхъ смертныхъ. Неужели Айвазовскій рисуетъ морскіе пейзажи съ тою-же холодною утилитарною цѣлью знакомить насъ съ моремъ и напоминать о немъ, съ какой ученый показываетъ свои туманныя картины допотопной флоры и геологическихъ формаций? Неужели въ свою очередь мы идемъ въ картинную галерею, словно въ какой-нибудь музей съ единственною цѣлью знакомиться съ чуждыми намъ предметами или-же припоминать давно невиданные? Какую-же роль играетъ тотъ творческій экстазъ, который побуждаетъ художника творить, и та сильная, доходящая порою до нервной дрожи и слезъ эмоція, которую мы ощущаемъ, когда любуемся изображеніемъ дѣйствительности, мимо которой не разъ проходили совершенно равнодушно?

Далѣе затѣмъ Чернышевскій выходитъ, повидимому, на широкую дорогу, когда слѣдующимъ образомъ раздвигаетъ область искусства:

«Обыкновенно говорятъ, что содержаніе искусства есть прекрасное; но этимъ слишкомъ стѣсняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое — моменты прекраснаго, то множество произведеній искусства не подойдутъ по содержанію подъ эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое. Въ живописи не подходятъ подъ эти подраздѣленія картины домашней жизни, въ которыхъ нѣтъ ни одного прекраснаго или смѣшнаго лица, изображеніе старика или старухи, не отличающихся особенно старческою красотою и т. д. Въ музыкѣ еще труднѣе провести обыкновенныя подраздѣленія: если отнесемъ марши, патетическія пьесы и т. д. къ отдѣлу величественнаго; если пьесы, дышанція любовью или веселостью, причислимъ къ отдѣлу прекраснаго; если отыщемъ много комическихъ пѣсень, то у насъ еще остается огромное количество пѣсень, которыя по своему содержанію не могутъ быть безъ натяжки причислены къ одному изъ этихъ родовъ: куда отнести грустные мотивы? неужели къ возвышенному, какъ страданіе? или къ прекрасному, какъ нѣжныя мечты? Но изъ всѣхъ искусствъ наиболѣе противится подведенію своего содержанія подъ тѣсныя рубрики прекраснаго и его моментовъ—поэзія. Область ея—вся область жизни и природы; точки зрѣнія поэта на жизнь въ разнообразныхъ ея проявленіяхъ такъ-же разнообразны, какъ повятія мысли объ этихъ разнохарактерныхъ явленіяхъ; а мыслитель находитъ въ дѣйствительности очень многое, кромѣ прекраснаго, возвышеннаго и комическаго. Не всякая горе доходитъ до трагизма; не всякая радость граціозна или комична. Что содержаніе поэзіи не исчерпывается тремя извѣстными элементами, виѣшнимъ образомъ видимъ изъ того, что ея произведенія перестали вмѣщаться въ рамки старыхъ подраздѣленій. Что драматическая поэзія изображаетъ не одно трагическое или комическое, доказывается тѣмъ, что кромѣ комедіи и трагедіи должна была явиться драма. Вмѣсто эпоса, по преимуществу возвышеннаго, явился романъ съ безчисленными своими родами. Для большей части

нынѣшнихъ лирическихъ пьесъ не отыскивается въ старыхъ подраздѣленіяхъ главія, которое могло-бы обозначить характеръ содержанія: недостаточны сотни рубрикъ, тѣмъ менѣ можно сомнѣваться, что не могутъ всего обнять три рубрики (мы говоримъ о характерѣ содержанія, а не о формѣ, которая всегда должна быть прекрасна).»

Все это какъ нельзя болѣе справедливо. Но далѣе затѣмъ Чернышевскій снова сходитъ съ правильной дороги. Повидимому онъ очень близко подходитъ къ В. Майкову въ своемъ дальнѣйшемъ и окончательномъ опредѣленіи искусства. Сфера искусства, по его словамъ, не ограничиваясь однимъ прекраснымъ, обнимаетъ собою все, чтò въ дѣйствительности (въ природѣ и жизни) интересуется человѣка, не какъ ученаго, а просто какъ человѣка; общеприятное въ жизни—вотъ содержаніе искусства.

Но Майковъ рѣзко разграничивалъ сферу интереснаго въ смыслѣ *занимательнаго* отъ интереснаго въ смыслѣ *симпатичнаго*, близко касающагося насъ и возбуждающаго въ насъ различныя эмоціи, и на этомъ основаніи утверждалъ существенное различіе между наукою и искусствомъ. Чернышевскій-же не сдѣлалъ этого различія, слово *интересное* употребилъ въ общемъ и неопредѣленномъ смыслѣ, и въ результатѣ такого безразличія получилось тождество искусства съ наукою. Искусство, по мнѣнію автора, имѣетъ еще другое значеніе—объясненіе жизни, и въ этомъ смыслѣ оно ничѣмъ не отличается отъ разсказа о предметѣ; различіе только въ томъ, что искусство вѣрнѣе достигаетъ своей цѣли, чѣмъ ученый трактатъ: подъ формою жизни мы гораздо легче знакомимся съ предметомъ, нежели когда находимъ сухое указаніе на предметъ. Романы Купера болѣе, нежели этнографическіе разсказы и разсужденія о важности изученія быта дикарей, познакомили общество съ ихъ жизнью.

Но если искусство тождественно съ наукою и играетъ по отношенію къ ней лишь служебную роль иллюстрированія изучаемаго, въ такомъ случаѣ какую-же роль должна играть такъ называемая *творческая фантазія*? Изъ длиннаго опредѣленія этой роли на стр. 98, 99 и 100 мы видимъ, что Чернышевскій ничѣмъ не отличаетъ ее отъ способности угадыванія, наведенія, комбинированія фактовъ и изолированія изображаемаго предмета отъ всего излишняго и ненужнаго, присущей каждому талантливому ученому, который иногда по одной найденной челюсти опредѣляетъ цѣлый скелетъ животнаго. Но если мы и допустимъ, что подобная способность необходима для художественнаго творчества въ равной степени, какъ и для научныхъ изслѣдованій, то можно-ли все-таки сказать, чтобы въ ней одной заключалось все творчество? Но Чернышевскій словно чувствуетъ, что онъ всталъ на какую-то шаткую и колеблющуюся подъ нимъ почву и спѣшитъ оговориться, что предметъ его изслѣдованія—искусство, какъ объективное произведеніе, а не субъективная дѣятельность поэта, потому было-бы неумѣстно вдаваться въ исчисленіе различныхъ отношеній поэта къ матеріаламъ его произведенія.

Это отождествленіе искусства съ наукою и приданіе искусству служебной роли иллюстрированія научныхъ, философскихъ и публицистическихъ изысканій было роковою ошибкою, которая повела за собою весьма крупныя послѣдствія. Первымъ дѣломъ она вывела критику изъ той роли, которая наиболѣе ей свойственна, какъ цѣ-

нительницѣ художественныхъ произведеній, и которую критика исполнила съ такимъ блестящимъ успѣхомъ въ эпоху Вѣлинскаго. Теорія Майкова, если-бы она была вполне развита и утвердилась-бы въ литературѣ, нисколько не сбивала-бы критику съ этой роли, напротивъ того, лишь расширяла-бы область ея сужденій и приговоровъ, такъ какъ сообразно этой теоріи критика должна была-бы опредѣлять не только эстетическія достоинства и недостатки произведенія, но также и большую или меньшую важность и значеніе тѣхъ жизненныхъ интересовъ, которые выражаются въ произведеніи.

Совсѣмъ иныя требованія для критики вытекаютъ изъ теоріи Чернышевскаго. Здѣсь критикъ, смотря на произведеніе, какъ на служебную иллюстрацію жизни, прежде всего опредѣляетъ, вѣрна-ли иллюстрація. Если не вѣрна, онъ ее отбрасываетъ въ сторону, не считая нужнымъ иногда и заикаться о такомъ произведеніи. Если-же иллюстрація вѣрна, онъ тотчасъ-же принимается по ней анализировать самые факты жизни, такъ что въ концѣ-концовъ критика является не критикою въ собственномъ смыслѣ этого слова, а рядомъ моральныхъ, этическихъ, публицистическихъ трактатовъ, изученіемъ жизни по художественнымъ произведеніямъ совершенно подобно тому, какъ анатомію и географію учатъ по атласамъ.

Такъ какъ велѣдъ затѣмъ наступила бурная эпоха реформъ и поднятія дѣлага ряда вопросовъ, то подобная критика пришлась какъ нельзя болѣе ко времени и кстатіи и была осуществлена въ блестящей дѣятельности Добролюбова.

Но затѣмъ теорія тождества науки и искусства и служебной роли послѣдняго по отношенію къ первой, воспринятая молодыми и незрѣлыми умами, послѣдовательно, по наклонной плоскости, должна была дойти до полного отрицанія искусства, что мы и видимъ въ публицистахъ *Русскаго Слова*, съ Писаревымъ во главѣ.

Что касается до Чернышевскаго, то онъ первый подаль примѣръ той публицистической критики, которая вытекала изъ его теоріи. Но правдѣ сказать, критическія статьи его далеко уступаютъ статьямъ Добролюбова. Прежде всего вы видите въ нихъ отсутствіе того-же, чѣмъ хромаетъ и диссертация, т. е. эстетическаго, а слѣдовательно и критическаго чутія, и этотъ недостатокъ повелъ за собою рядъ вопіющихъ промаховъ. Такъ напримѣръ Чернышевскій очень пренебрежительно и враждебно отнесся къ драмѣ Островскаго *Бѣдность не порокъ* изъ чисто партійной вражды, и въ то-же время съ большимъ восторгомъ привѣтствовалъ появленіе рассказовъ Николая Успенскаго, усмотрѣвъ въ нихъ конецъ сентиментальной идеализаціи народа и начало реального и трезваго отношенія къ нему, не замѣтивши въ то-же время всю поверхностность и грубость шаржей Николая Успенскаго.

Болѣе удачными критическими статьями Чернышевскаго являются или историко-литературнаго содержанія, каковы о Лессингѣ, *Очерки гоголевскаго періода*, характеристики Пушкина и Гоголя, или-же тѣ, въ которыхъ онъ, вѣрный своей теоріи, является не столько критикомъ, сколько публицистомъ. Такова напримѣръ статья его въ *Современникѣ* 1857 года въ т. LXIII *О губернскихъ очеркахъ Щедрина*, провозвѣщающая ту общую мысль, что нравственность человѣка зависитъ отъ общественныхъ порядковъ. Самою-же лучшею въ этомъ родѣ безспорно является статья въ *Атенѣ*

1858, № 3, *Русскій человекъ на rendez-vous*, по поводу повѣсти Тургенева *Ася*. Статья, по справедливости слѣдуетъ сказать, блестящая; но это вовсе не критика, а аллегорія, скрывающая подъ личиною разбора повѣсти Тургенева воззваніе о скорѣйшемъ освобожденіи крестьянъ.

Чернышевскій является такимъ образомъ прямымъ предшественникомъ Добролюбова. Онъ не только внушилъ послѣднему свои эстетическія воззрѣнія, но и практически началъ то, что блистательно довершилъ Добролюбовъ. Послѣдній затмилъ своего учителя, и учитель смиренно уступилъ ему мѣсто, переставши писать критическія статьи и выступивши на поприще публицистики и политической экономіи, болѣе свойственное характеру его таланта и качествамъ его холоднаго, діалектическаго и математическаго ума.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I—Дѣтство и семинарскіе годы Ник. Ал. Добролюбова. II—Пребываніе его въ Педагогическомъ институтѣ и остальная жизнь его. III—Философскіе и моральныя взгляды Добролюбова. IV—Эстетическія теоріи Добролюбова. Сѣмена отрицанія искусства. Вопросъ о народности литературы. V—Публицистическій характеръ критики Добролюбова. VI—Двѣ категоріи его взглядовъ. VII—Противорѣчія Добролюбова, обуславливаемая двойственностью эпохи. Разносторонность литературной дѣятельности Добролюбова.

I.

Ни одинъ изъ литературныхъ дѣятелей шестидесятыхъ годовъ не представляетъ собою такого полного, цѣльнаго и, можно сказать, идеальнаго типа молодого поколѣнія конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, какъ Николай Александровичъ Добролюбовъ. Въ немъ по-истинѣ можно сказать воплотился его замѣчательный вѣкъ.

Родился Н. Ал. Добролюбовъ въ Нижнемъ-Новгородѣ 24 янв. 1836 года. Отецъ его былъ священникъ нижегородской Николаевской церкви. Достатки у него были, судя по всему, очень скудные, а семейство большое, состояло изъ пяти дочерей и трехъ сыновей. Приходилось жизнь вести самую скромную, стѣсняясь во всемъ, и это отражалось конечно на бытѣ всей семьи. Поэтому картина дѣтства Добролюбова носить довольно мрачный колоритъ: монотонное, однообразное существованіе день за день въ полной замкнутости; томительная скука, особенно въ праздничные дни. Дома слушаніе вѣчныхъ жалобъ на безденежье, всеобщую подлость, прижимку и обиду; брань и попреки суроваго отца, срываваго на родныхъ всѣ свои невзгоды, а виѣ семьи чувство обиднаго отчужденія и высокоумрнаго презрѣнія со стороны свѣтскаго провинціального общества. Все это въ самомъ юномъ возрастѣ успѣло наложить на чело будущаго критика печать суроваго и мрачнаго взгляда на жизнь.

Къ отцу Добролюбовъ былъ холоденъ и чувствовалъ невольное отчужденіе отъ него вслѣдствіе его строптивости; зато къ матери былъ привязанъ всею душою. „Отъ нея, писалъ онъ въ 1854 году, послѣ ея смерти, получилъ я свои лучшія качества, съ ней сроднился я съ первыхъ дней моего дѣтства; къ ней летѣло мое сердце, гдѣ бы я ни былъ, для нея было все, все, чтб я ни дѣлалъ“.

Матери былъ обязанъ Добролюбовъ и первыми шагами своего развитія. Уже трехъ лѣтъ съ ея словъ онъ заучилъ нѣсколько басенъ Крылова и прекрасно произносилъ ихъ передъ домашними и чужими. Мать-же выучила его и читать, и писать азбуку. Когда ему минуло 8 лѣтъ, для занятія съ нимъ были приглашены семинаристы, сначала Садовскій, потомъ Костровъ, и послѣдній занимался съ нимъ три года столь толково и успѣшно, что одиннадцати лѣтъ Добролюбовъ былъ отданъ въ духовное училище, а черезъ годъ успѣлъ уже попасть въ четвертый, послѣдній классъ этого училища.

Здѣсь онъ съ перваго-же года обратилъ на себя общее вниманіе. Робкій, застѣчивый мальчикъ, нѣжный, барской наружности, съ мягкими руками въ то-же время онъ поразилъ всѣхъ бойкостью и находчивостью отвѣтовъ и начитанностью, необыкновенною для 12-ти-лѣтняго ребенка. Въ 1848 году онъ перешелъ въ семинарію и тамъ, чуждаясь товарищей, весь ушелъ въ книги, читалъ русскихъ авторовъ, ученые сочиненія, журналы—и дома, и въ классахъ. Въ его упражненіяхъ по классу реторики и шитки постоянно было видно знакомство съ лучшими русскими литераторами, что и выставлялось на видъ учителемъ словесности. Въ немногихъ упражненіяхъ, какія были по исторіи всеобщей, была видна тоже начитанность. Въ среднемъ отдѣленіи семинаріи Добролюбовъ поражалъ громадными сочиненіями въ 30, 40, 160 страницъ листовъ по философскимъ темамъ, особенно объ ученіи отцовъ церкви и по русской церковной исторіи. Въ то-же время, уже на 14 году онъ началъ писать стихи и между прочимъ переводилъ Горація.

Что касается внутренняго міра Добролюбова, то онъ обуславливался, съ одной стороны, впечатлѣніями всего, что приходилось читать въ то время юношѣ; съ другой стороны, всѣми обстоятельствами его жизни. Такъ, подвліяніемъ русскихъ классиковъ онъ по собственнымъ словамъ его „хотѣлъ походить на Печорина и Тамарина, затѣмъ толковать, какъ Чацкій* и въ то-же время, смотря съ презрѣніемъ и ненавистью на окружающую его губернскую жизнь, восклицалъ въ своемъ дневникѣ въ романтическомъ порывѣ: „все пошло, глупо, мелко, ничто не удовлетворяетъ порывовъ высокаго ума, глубоко чувствующаго сердца“... Вмѣстѣ съ тѣмъ подвліяніемъ, съ одной стороны, тягостныхъ условій домашней обстановки, съ другой — преобладанія религіознаго содержанія въ духовной школѣ, наконецъ и общественныхъ вѣяній, располагавшихъ молодежь того времени къ мистическимъ экзальтаціямъ, Добролюбовъ впалъ въ аскетизмъ и штизмъ, выразившіеся въ безпощадныхъ нравственныхъ самобичеваніяхъ. Такъ, онъ ежедневно велъ въ дневникѣ своемъ списокъ своихъ грѣховъ съ благочестивыми укоризнами себя, обѣщаніями строго наблюдать за собою и исправляться и оканчивалъ эти сокрушенія словами: „Господи! Спаси мя, не остави мене погибающа!“

Къ концу семинарскаго курса всѣ эти романтическіе порывы мало-помалу исчезли. Юноша взглянулъ вокругъ себя трезвымъ взглядомъ холодной и расчетливой положительности, созналъ, что только упорнымъ трудомъ, рассчитывая каждую минуту, онъ можетъ хоть чего-нибудь достигнуть, хотя въ сущности закалъ его характера

оставался тотъ-же самый, — и въ основѣ этого характера лежалъ все тотъ-же суровый аскетизмъ, перенесенный только съ романтико-религіозной на положительную и практическую почву. Такъ, онъ еще болѣе ушелъ въ свой научный трудъ. Выйдя затѣмъ изъ семинаріи за два года до окончанія курса, въ августѣ 1853 года, онъ отправился въ Петербургъ держать пріемный экзаменъ въ с.-петербургскую духовную академію, такъ какъ въ университетъ, несмотря на все свое желаніе, онъ не могъ поступить по невозможности родителей содержать его. Но въ Петербургѣ онъ узналъ о возможности поступить въ Педагогическій институтъ на казенный счетъ и воспользовался ею, удовлетворивъ такимъ образомъ до нѣкоторой степени своему желанію поступить въ свѣтское высшее заведеніе.

II.

Въ институтѣ онъ конечно ужъ вновь погрузился въ книги. „Онъ читалъ, читалъ всегда и вездѣ, по временамъ внося содержаніе прочитаннаго (хотя онъ и безъ того хорошо помнилъ) въ илѣвшуюся у него толстую въ алфавитномъ порядкѣ библиографическую тетрадь, — говоритъ одинъ товарищъ Добролюбова, въ своихъ воспоминаніяхъ объ институтскихъ годахъ его; — въ столѣ у него было столько разнаго рода замѣтокъ, рѣдкихъ рукописей, тетрадей, корректуръ, держа которыя въ первое время, онъ зарабатывалъ себѣ копейку, въ шкафѣ столько книгъ, что ящикъ въ столѣ и полки въ шкафѣ ломились“.

Но не въ одномъ этомъ погруженіи въ книги сказался аскетизмъ Добролюбова. Такъ, въ письмахъ къ товарищамъ онъ выказалъ полное невниманіе къ красотамъ столицы и отказался описывать ихъ, чѣмъ возбудилъ въ товарищахъ со всѣхъ сторонъ упреки въ гордости, невнимательности, въ томъ, что онъ корчитъ изъ себя очень умнаго человѣка, на котораго не дѣйствуетъ внѣшность. Вместе съ тѣмъ, несмотря на свои 18 лѣтъ, онъ гналъ отъ себя и преслѣдовалъ въ другихъ все радостное, свѣтлое, малѣйшее проявленіе безхитростнаго и беззавѣтнаго молодого веселья. „Страшное дѣло, пишетъ онъ въ дневникѣ своемъ, нѣсколько дней тому назадъ я почувствовалъ въ себѣ возможность влюбиться; а вчера ни съ того, ни съ сего вдругъ мнѣ пришла охота учиться танцовать. Чортъ знаетъ, что это такое. Какъ-бы то ни было, а это означаетъ во мнѣ начало примиренія съ обществомъ. Но я надѣюсь, что не поддамся такому настроенію: чтобы сдѣлать что-нибудь, я долженъ не убаюкивать себя, не дѣлать уступки обществу, а напротивъ держаться отъ него дальше, питать желчь свою...“

Въ этой выдержкѣ изъ дневника проглядываетъ не одинъ только аскетизмъ, но и нѣкоторое ожесточеніе, и это ожесточеніе наиболѣе усилилось въ молодомъ человѣкѣ, когда на него обрушилось нѣсколько тяжкихъ ударовъ судьбы. Не прошло и года со времени поступленія его въ институтъ, какъ умерла у него мать. Не успѣлъ онъ оправиться отъ этой дорогой и незабвимои утраты, какъ вслѣдъ за нею пошелъ

въ могилу и отецъ, оставивши семейство въ крайней нищетѣ и къ тому-же обремененное долгами. На рукахъ Добролюбова осталась семья изъ пяти сестеръ и двухъ братьевъ. Въ отчаяніи онъ намѣревался уже бросить институтъ и искать мѣсто уѣзднаго учителя на родинѣ, и едва отклонили его близкіе люди отъ этого намѣренія, представивши тѣ резоны, что все равно на скудное жалованье уѣзднаго учителя семью ему не прокормить, сестры-же и братья могутъ жить пока у родственниковъ и у нѣкоторыхъ прихожанъ, уважавшихъ его отца. Но Добролюбовъ былъ слишкомъ гордъ и не могъ допустить, чтобы родные его жили милостью другихъ, и вотъ онъ, сверхъ своихъ институтскихъ занятій, началъ давать уроки, доставать переводы и такимъ образомъ прибрѣталъ деньги на содержаніе сестеръ и братьевъ. Эти занятія сверхъ силъ очень вредно вліяли какъ на здоровье, такъ и на расположеніе духа юноши. Сдержанное, холодное и тѣмъ болѣе мрачное ожесточеніе окончательно овладѣло имъ. Такъ, когда товарищъ встрѣтилъ его на желѣзной дорогѣ и спросилъ, что у него новаго, Добролюбовъ отвѣчалъ: — „Отецъ умеръ“ — и, по словамъ товарища, въ холодномъ тонѣ отвѣта, сказаннаго Добролюбовымъ съ язвительною улыбкою, слышалось проклятіе, посланное судьбѣ... Онъ смѣялся, сообщая эту грустную новость, но такъ смѣялся, что товарища его покорило.

Таковъ былъ Добролюбовъ при началѣ своего литературнаго поприща; такимъ-же остался онъ и впродолженіи всей своей недолгой жизни. Тотъ-же идеализмъ, не допускавшій ни малѣйшихъ уступокъ и примиреній, тотъ-же суровый ригоризмъ, отвергавшій всякое безцѣльное и безавѣтное наслажденіе и требовавшій, чтобы всѣ помысленія человѣка были направлены въ сторону общественной пользы, та-же холодная, язвительная и безошадная иронія, — проникаютъ всю дѣятельность Добролюбова до самой послѣдней статьи его. Созданный обстоятельствами личной жизни и духомъ времени, онъ сразу является передъ вами во весь свой ростъ, словно отчеканенный, и такимъ-же сходитъ въ могилу безъ малѣйшихъ измѣненій относительно убѣжденій, взглядовъ и требованій.

Уже въ началѣ 1855 года познакомился онъ и вошелъ въ сношеніе съ Н. Г. Чернышевскимъ, къ которому отправился съ тенденціозною повѣстью, изображавшею параллель воспитанія и жизни изнѣженнаго барченка и закаленнаго лишеніями бѣдняка. Чернышевскій прямо и положительно сказалъ Добролюбову, чтобы онъ не совался въ беллетристику, что онъ пишетъ не повѣсть, а критику на сцены, имъ самимъ придуманная. Этотъ приговоръ окончательно направилъ Добролюбова на путь критики и въ 1856 году, за годъ до окончанія курса въ Педагогическомъ институтѣ, были напечатаны въ *Современникѣ* первыя статьи его о *Собесѣдникѣ любителей русскаго слова* и разборъ *Акта главнаго педагогическаго института*. Статьи эти сразу обратили на себя вниманіе и начитанностью автора, и усвоеніемъ духа и всѣхъ результатовъ движенія сороковыхъ годовъ, и наконецъ сдержанностью, холодною ироніею, которую трудно было ожидать отъ 19-ти лѣтняго юноши. Но имя его пока оставалось неизвѣстнымъ, во избѣжаніе какихъ либо неприяностей въ институтѣ. Онъ долженъ былъ даже отложить свое сотрудничество въ *Современникѣ* до окончанія курса,

ограничившись послѣдній годъ пребыванія своего въ институтѣ помѣщеніемъ нѣсколькихъ педагогическихъ статей въ журналѣ Чумикова и Паульсона. И лишь по окончаніи курса, въ половинѣ 1857 года, началъ онъ свое постоянное сотрудничество въ *Современникѣ*, а въ концѣ 1858 года принялъ уже въ свое завѣдываніе отдѣлъ критики и библіографіи въ этомъ журналѣ.

Затѣмъ дальнѣйшая жизнь его, продолжавшаяся всего лишь три года, представляетъ собою одинъ неуспѣшный трудъ, прерываемый лишь нѣсколькими часами необходимаго отдыха, причемъ о Добролюбовѣ буквально можно сказать, что отъ письменнаго стола онъ не отрывался. Однимъ словомъ, стоитъ взглянуть на количество написаннаго Добролюбовымъ въ эти три года, на четыре увѣсистые тома его сочиненій, чтобы понять, что это была за немовѣрная работа. Нѣтъ ничего удивительнаго, что силъ молодого человѣка едва хватило на три года, причемъ въ послѣдній годъ своей жизни онъ принужденъ былъ часто отрываться отъ работы, борясь съ одолевавшею его болѣзью, предпринять съ этою цѣлью путешествіе за-границу. Такимъ образомъ количество времени, въ которое написаны четыре тома его сочиненій, этимъ еще болѣе сокращается. Нѣтъ ничего удивительнаго, что 17-го ноября 1861 года его уже не стало. Непреклонно-суровый сподвижникъ нашего времени, онъ быстро сгорѣлъ, принесъ свою молодую жизнь и всѣ свои силы на алтарь своего отечества и не вынесъ изъ своего короткаго существованія ни одной живой радости, ни малѣйшаго проблеска счастья.

III.

Что касается до міросозерцанія Добролюбова, до его общихъ философскихъ взглядовъ, то къ сожалѣнію мы не можемъ привести ни одного такого мѣста въ его сочиненіяхъ, въ которомъ взгляды эти выражались-бы съ полнотою и опредѣленностью. Живя въ такой моментъ, въ который все вниманіе людей было поглощено общественными вопросами, Добролюбовъ рѣдко вдавался въ общія и отвлеченныя философскія разсужденія, и мы можемъ указать на весьма немногія его статьи, которыя могутъ дать приблизительныя понятія о его міросозерцаніи. Таковы: *Жизнь Магомета*, соч. Вашингтона Ирвинга (С. Д., т. I, стр. 614); *Буддизмъ, его догматы, исторія и литература*, соч. Васильева (С. Д., т. II, стр. 321). Обѣ эти статьи знакомятъ насъ съ религіозными воззрѣніями Добролюбова. Еще опредѣленнѣе выражается его реальное міросозерцаніе въ статьѣ *Ораммическое развитіе чловѣка въ связи съ его умственной и нравственной дѣятельностью* (С. Д., т. II, стр. 21). Что касается индивидуально-нравственныхъ вопросовъ, которыми немало занимался Добролюбовъ, то въ основѣ его моральныхъ воззрѣній замѣчались всѣ тѣ противорѣчія, какія лежали въ духѣ его времени и условіяхъ его воспитанія. Такъ съ одной стороны онъ повидимому строго держался той нравственной теоріи, которая требуетъ, чтобы нравственные поступки чловѣка не были однимъ лишь пассивнымъ послушаніемъ правиламъ морали, а выходили изъ глубины самаго духа чловѣка, чтобы правила морали проникали всего чловѣка, были его второю натурою

и исполненіе ихъ было для него наслажденіемъ, а не одною тягостью исполненія долга. Такъ въ статьѣ о Станкевичѣ онъ говоритъ:

„У насъ очень часто превозносятъ добродѣтельнаго человѣка тѣмъ всестороннѣе, чѣмъ болѣе онъ принуждаетъ себя къ добродѣтели. Но, по нашему мнѣнію, холодные послѣдователи добродѣтели, исполняющіе предписанія долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь къ добру,—такіе люди не совсѣмъ достойны пламенныхъ восхваленій. Эти люди жалки сами по себѣ. Ихъ чувства постоянно представляютъ имъ счастье не въ исполненіи долга, а въ нарушеніи его; но они жертвуютъ своимъ благомъ, какъ они его понимаютъ, отвлеченному принципу, который принимаютъ безъ внутренняго, сердечнаго участія. Поэтому они всегда несчастны отъ своей добродѣтели, жалуются на свои многотрудные подвиги и часто оканчиваютъ тѣмъ, что ожесточаются противъ всего на свѣтѣ...

„Кажется, не того можно назвать истинно-нравственнымъ, кто только терпѣть надъ собою велѣнія долга, какъ какое-то тяжелое иго, какъ „нравственныя вериги“, а именно того, *кто заботится слить требованія дома съ потребностями внутренняго существа своего, кто старается переработать ихъ въ свою плоть и кровь внутреннимъ процессомъ самосознанія и саморазвитія, такъ чтобы они не только сдѣлались настоятельно необходимыми, но и составляли внутреннее наслажденіе...*

„Скажутъ, что въ подобномъ направленіи выражается очень сильно собственный эгоизмъ человѣка, и этому эгоизму какъ будто подчиняются всѣ другія, высшія чувствованія. Но мы спросимъ: кто-же когда-нибудь могъ освободиться отъ дѣйствія эгоизма, и какое наше дѣйствіе не имѣетъ эгоизма своимъ главнымъ источникомъ? Мы всѣ ищемъ себѣ лучшаго, стараемся удовлетворить своимъ желаніямъ и потребностямъ, стараемся добиться счастья. Разница только въ томъ, кто какъ понимаетъ это счастье. Есть конечно грубые эгоисты, которыхъ взглядъ чрезвычайно узокъ и которые понимаютъ свое счастье въ грубыхъ наслажденіяхъ чувственности, въ униженіи передъ собою другихъ и т. п. Но вѣдь есть эгоизмъ другого рода. Отецъ, радующійся успѣхамъ своихъ дѣтей, — тоже эгоистъ; гражданинъ, принимающій близко къ сердцу благо своихъ соотечественниковъ—тоже эгоистъ; вѣдь вотъ онъ, именно онъ самъ, чувствуетъ удовольствіе при этомъ; вѣдь онъ не отрекся отъ себя, радуясь радости другихъ. Даже если человѣкъ жертвуетъ чѣмъ-нибудь своимъ для другихъ, и тогда эгоизмъ не оставляетъ его. Онъ отдаетъ бѣдняку деньги, приготовленные на прихоть; это значитъ, что онъ развился до того, что помощь бѣдняку доставляетъ ему больше удовольствія, нежели исполненіе прихотей. Но если онъ дѣлаетъ это не по влеченію сердца, а потому только, что слѣдуетъ предписанію долга? Въ этомъ случаѣ эгоизмъ скрывается глубже, потому что тутъ уже дѣйствіе—не свободное, а принужденное; но и здѣсь все-таки есть эгоизмъ. Почему нибудь человѣкъ предпочитаетъ-же предписаніе долга своему собственному влеченію. Если въ немъ нѣтъ любви, есть страхъ. Онъ опасается, что нарушеніе долга повлечетъ за собою наказаніе или какія-нибудь другія неприятыя послѣдствія; за исполненіе-же

онъ надѣется награды, доброй славы и т. п. При внимательномъ разсмотрѣніи и окажется, что побужденіемъ дѣйствій формально-добродѣтельного человѣка служить эгоизмъ очень мелкій, называемый прозе тщеславіемъ, малодушіемъ и т. п. Право, хвалить за это нечего“.

Но рядомъ съ этими требованіями, чтобы нравственность естественно и непринужденно вытекала изъ глубины самаго человѣческаго духа, вы видите въ самомъ Добролюбовѣ не малые задатки той самой доктринерской нравственности, противъ которой онъ столь горячо ратовалъ. Такъ въ дневникѣ его мы читаемъ слѣдующія строки:

„Дѣлать то, что мнѣ противно, я не люблю. Если даже разумъ убѣдитъ меня, что то, къ чему имѣю я отвращеніе, благородно и нужно, и тогда я сначала стараюсь приучить себя къ мысли объ этомъ, придать болѣе интереса для себя этому дѣлу — словомъ *развить себя до того, чтобы поступки мои, будучи согласны съ абсолютною справедливостію, не были противны и моему личному чувству*. Иначе, если я примусь за дѣло, для котораго я еще недовольно развить, и слѣдовательно не гожусь, то, во-первыхъ, выйдетъ изъ него — „не дѣло, только мука“, а во-вторыхъ, никогда не найдешь въ своемъ отвлеченномъ разумѣ столько силъ, чтобы до конца выдержать пожертвованіе собственною личностію отвлеченному понятію, за которое бьешься“.

Повидимому Добролюбовъ и въ этихъ словахъ ратуетъ все противъ той-же доктринерской нравственности. Но это лишь повидимому; по крайней мѣрѣ въ стремленіи *развить себя до того, чтобы поступки, согласные съ абсолютною справедливостію, не были противны и личному чувству, если человекъ чувствует отвращеніе къ тому, что благородно и нужно* — вамъ представляется нѣчто заключающее въ себѣ весьма доктринерское. Благородное и нужное должно произтекать инстинктивно и непосредственно изъ глубины человѣческой природы, а не быть продуктомъ какого-то искусственнаго развитія. И къ тому-же гдѣ-же положите грань между развитіемъ себя до благороднаго и нужнаго — и приневоливаніемъ?

Въ другомъ-же мѣстѣ дневника вы ясно замѣчаете струю вполне уже доктринерскую:

„Жизнь, пишетъ Добролюбовъ, меня тянетъ къ себѣ, тянетъ неотразимо — бѣда, если я встрѣчу теперь хорошенькую дѣвушку, съ которою близко сойдуся — влюблюсь непременно и сойду съюма на нѣкоторое время... Итакъ, вотъ она начинается жизнь-то... Вотъ время для разгула и власти страстей... А я, дурачокъ, думалъ въ своей педагогической и метафизической отвлеченности, въ своей книжной сосредоточенности, что уже я „пережилъ свои желанья и разлюбилъ свои мечты“. *Я думалъ, что выйду на поприще общественной дѣятельности чѣмъ-то вроде Катона безстрастнаго или Зенона стоика. Но впрямь жизнь возьметъ свое*“.

Можете сами сообразить, насколько отвлеченно-доктринерскаго заключается въ этомъ аскетическомъ бѣгствѣ отъ жизни, боязни, чтобы она не взяла свое, изъ какихъ-бы прекрасныхъ идеаловъ не вытекали эти боязни и бѣгство. Что-же касается до *развитія себя до благородныхъ и высокихъ стремленій*, то это говорилось не спро-

ста. Этими словами Добролюбовъ платилъ особенную дань своему времени. Но объ этомъ мы поговоримъ еще ниже.

IV.

Эстетическія воззрѣнія Добролюбова не представляли чего-либо оригинальнаго. Въ бѣльшей степени они сходились со взглядами Вѣлинскаго; отчасти-же Добролюбовъ подчинялся и воззрѣніямъ Чернышевскаго. Такъ, подобно Вѣлинскому, онъ стоялъ за теорію искусства для жизни и отрицалъ эстетическую критику, прямо говоря въ своей статьѣ о *Наканунѣ*, что эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень и что малому знакомству съ чувствительными барышнями онъ долженъ тѣмъ, что не умѣетъ писать такихъ пріятныхъ и безвредныхъ критикъ; но подобно Вѣлинскому онъ отрицалъ въ то-же время и тенденціозное, надуманное творчество, требуя отъ него полной естественности и произвольности. Такъ, въ началѣ статьи своей *Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ* онъ прямо говоритъ:

„Мы нисколько не думаемъ, чтобы всякій авторъ долженъ былъ создавать свои произведенія подѣ влияніемъ извѣстной теоріи: онъ можетъ быть какихъ угодно мнѣній, лишь-бы талантъ его былъ чутокъ къ жизненной правдѣ. Художественное произведеніе можетъ быть выраженіемъ извѣстной идеи не потому, что авторъ задался этою идеей при его созданіи, а потому что автора его поразили такіе факты дѣйствительности, изъ которыхъ эта идея вытекаетъ сама собою. Такимъ образомъ напримѣръ философія Сократа и комедія Аристофана въ отношеніи къ религіозному ученію грековъ служатъ выраженіемъ одной и той-же идеи — разрушенія древнихъ вѣрованій; но вовсе нѣтъ надобности думать, что Аристофанъ задавалъ себѣ именно эту цѣль для своихъ комедій: она достигается у него просто картиной нравовъ того времени. Изъ его комедій мы рѣшительно убѣждаемся, что въ то время, когда онъ писалъ, царство греческой мифологіи уже прошло; то-есть онъ практически приводитъ насъ къ тому, что Сократъ и Платонъ доказываютъ философскимъ образомъ“.

Но этимъ и ограничивается тождество взглядовъ на искусство Добролюбова и Вѣлинскаго. Далѣе мы видимъ влияніе Чернышевскаго. Такъ, Добролюбовъ подобно Чернышевскому разницу между художникомъ и мыслителемъ полагаетъ лишь ту, что одинъ мыслитъ конкретнымъ образомъ, никогда не теряя изъ виду частныхъ явленій и образовъ, а другой стремится все обобщать, слить частные признаки въ общей формулѣ. Существенной-же разницы между истиннымъ знаніемъ и истинною поэзіею по мнѣнію Добролюбова быть не можетъ.

Отсюда Добролюбовъ подобно Чернышевскому выводитъ второстепенное, служебное значеніе искусства. „По существу своему, говоритъ онъ въ статьѣ *Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ*, литература не имѣетъ дѣятельнаго значенія, она только или предлагаетъ то, что нужно сдѣлать, или изображаетъ то, что дѣлается и сдѣлано.“

Въ первомъ случаѣ она беретъ свои матеріалы и основанія изъ чистой науки; во второмъ — изъ самыхъ фактовъ жизни. Такимъ образомъ вообще говоря, литература представляетъ собою силу служебную, которой значеніе состоитъ въ пропагандѣ, а достоинство опредѣляется тѣмъ, что и какъ она пропагандируетъ“.

Выдѣляя затѣмъ нѣсколько гениальныхъ поэтовъ вроде Шекспира, Данте, Гёте и Байрона, которые, служа полнѣйшими представителями высшей степени человѣческаго сознанія въ извѣстную эпоху, и съ этой высоты обозрѣвая жизнь людей и природы и рисуя ее передъ нами, возвышались надъ служебною ролью литературы и становились въ рядъ историческихъ дѣятелей, способствовавшихъ человѣчеству въ яснѣйшемъ сознаніи его живыхъ силъ и естественныхъ наклонностей, Добролюбовъ затѣмъ говоритъ: „что-же касается до обыкновенныхъ талантовъ, то для нихъ именно остается та служебная роль, о которой мы говорили. Не представляя міру ничего новаго и невѣдомаго, не намѣчая новыхъ путей въ развитіи человѣчества, не двигая его даже и на принятомъ пути, они должны ограничиваться болѣе частнымъ спеціальнымъ служеніемъ: они приводятъ въ сознаніе массъ то, что открыто передовыми дѣятелями человѣчества, раскрываютъ и проясняютъ людямъ то, что въ нихъ живетъ еще смутно и неопредѣленно“...

Проводя далѣе все ту-же извѣстную намъ параллель между наукой и искусствомъ, Добролюбовъ прибавляетъ: „результатъ одинъ, и значеніе двухъ дѣятелей было-бы одно и то-же; но исторія литературы показываетъ намъ, что за немногими исключеніями литераторы обыкновенно опаздываютъ, подмѣчаютъ и рисуютъ возникающее движеніе тогда уже, когда оно довольно явственно и сильно. Зато впрочемъ они ближе къ понятіямъ массы и больше имѣютъ въ ней успѣха: они подобны барометру, съ которымъ всякій справляется, между тѣмъ какъ метеоролого-астрономическихъ выкладокъ никто не хочетъ знать. Такимъ образомъ, говоритъ Добролюбовъ въ заключеніе, признавая за литературою главное значеніе пропаганды, мы требуемъ отъ нея одного качества, безъ котораго въ ней не можетъ быть никакихъ достоинствъ, именно „правды“.“

Въ этихъ опредѣленіяхъ роли и значенія литературы вы видите уже задатки того полного отрицанія искусства вмѣстѣ съ совѣтомъ беллетристамъ и поэтамъ заняться популяризациею естественныхъ наукъ, какое послѣдовало позже со стороны Писарева.

На болѣе твердой и самостоятельной почвѣ стоитъ Добролюбовъ, когда въ своихъ рѣчахъ о ничтожномъ вліяніи литературы онъ отправляется не отъ общихъ эстетическихъ основаній, а отъ общественныхъ условій русской жизни, въ видѣ хотя-бы безграмотности и необезпеченности массъ. Здѣсь онъ являлся въ свое время вполне новаторомъ, произнося слѣдующія слова въ своей статьѣ *О степени участія народности въ развитіи литературы* (С. Д., т. I, стр. 563):

„Напрасно у насъ и громкое названіе *народныхъ* писателей: народу къ сожалѣнію вовсе нѣтъ дѣла до художественности Пушкина, до плѣнительной сладости стиховъ Жуковского, до высокихъ пареній Державина и т. д. Скажемъ больше: даже

юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже онъ и грамотѣ выучится; онъ долженъ заботиться о томъ, какъ - бы дать средства полмиллиону читающаго люда прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишутъ для удовольствія читающихъ. Забота не малая! Она-то и служитъ причиною того, что литература доселѣ имѣетъ такой ограниченный кругъ дѣйствія... Массѣ народа чужды наши интересы, непонятны наши страданія, забавны наши восторги. Мы дѣйствуемъ и пишемъ за немногими исключеніями въ интересахъ кружка, болѣе или менѣе незначительнаго: оттого обыкновенно взглядъ нашъ узокъ, стремленія мелки, всѣ понятія и сочувствія носятъ характеръ парціальности. Если и трактуются предметы, прямо касающіеся народа и для него интересные, то трактуются опять не съ обще-справедливой, не съ человѣческой, не съ народной точки зрѣнія, а непременно въ видахъ частныхъ интересовъ той или другой партіи, того или другого класса“...

Въ этихъ словахъ вы дѣйствительно слышите голосъ вѣка съ его неодолимою тягою къ народу; въ нихъ выражается впервые возникшее горькое сознаніе по-истинѣ жалкаго значенія литературы, существующей для ничтожной интеллигентной горсти, которая утопаетъ въ несмѣтныхъ массахъ темнаго люда, борящагося съ нищетою и невѣжествомъ. Изъ этого-же великаго сознанія вытекла вполне естественная мысль, что даже и Пушкина нельзя назвать вполне народнымъ писателемъ. „Народность, говоритъ Добролюбовъ (т. I, стр. 599), понимаемъ мы не только какъ умѣнье изобразить красоты природы мѣстной, употребить мѣткое выраженіе, подслушанное у народа, вѣрно представить обряды, обычаи и т. п. Все это есть у Пушкина; лучшимъ доказательствомъ служить его *Русалка*. Но чтобы быть поэтомъ истинно-народнымъ надо больше: надо проникнуться народнымъ духомъ, прожить его жизнью, стать вровень съ нимъ, отбросить всѣ предрасудки сословія, книжнаго ученія и пр., прочувствовать съ тѣмъ простымъ чувствомъ, какимъ обладаетъ народъ—этою Пушкину не доставало“.

Подобное опредѣленіе народного писателя представляетъ собою самое вѣщее и великое откровеніе столь славной эпохи, какъ конецъ пятидесятихъ годовъ, и такого лучшаго представителя этой эпохи, какимъ былъ Добролюбовъ.

V.

Изъ всѣхъ этихъ эстетическихъ взглядовъ Добролюбовъ и выводилъ критеріи своей критики, которую онъ называлъ *реальною*, но которая въ сущности была чисто публицистическая, имѣя дѣло съ анализомъ не самихъ произведеній, а тѣхъ фактовъ жизни, которые въ произведеніяхъ изображаются. Реальная критика, по мнѣнію Добролюбова, должна относиться къ произведенію художника точно такъ-же, какъ къ явленіямъ дѣйствительной жизни: она изучаетъ ихъ, стараясь опредѣлить ихъ собственную норму, собрать ихъ существенныя, характерныя черты; не-

редъ ея судомъ стоятъ лица, созданные авторомъ, и ихъ дѣйствія: она должна сказать, какое впечатлѣніе производятъ на нее эти лица, и можетъ обвинить автора только за то, ежели впечатлѣніе это неполно, неясно, двусмысленно. Какъ скоро въ писателѣ-художникѣ признается талантъ, т. е. умѣнье чувствовать и изображать жизненную правду явленій, то уже въ силу этого самаго признанія произведенія его даютъ законный поводъ къ разсужденіямъ о той средѣ жизни, о той эпохѣ, которая вызвала въ писателѣ то или другое произведеніе. И мѣркою для таланта писателя будетъ здѣсь то, до какой степени широко захвачена имъ жизнь, въ какой мѣрѣ прочны и многообъятны тѣ образы, которые имъ созданы. Для критика, по мнѣнію Добролюбова, тѣ только произведенія и важны, въ которыхъ жизнь сказала сама собою, а не по заранѣ придуманной авторомъ программѣ. Такъ, о *Тысячъ душъ* Писемскаго Добролюбовъ ничего не говорилъ, потому что по его мнѣнію вся общественная сторона этого романа насильно пригнана къ заранѣ сочиненной идеѣ, и положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ невозможно, потому что отношеніе къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво...

Если подобные критеріи значительно суживали задачи критики въ истинномъ значеніи этого слова, предоставляя критику не обращать никакого вниманія на значительное большинство выходящихъ ежегодно произведеній и ограничиваться разсмотрѣніемъ лишь весьма небольшого числа такихъ, на вѣрность изображеній которыхъ можно положиться, зато для публициста открывалась широкая дорога анализировать жизнь и проводить свои общественныя идеи на основаніи произведеній первоклассныхъ художниковъ, а въ такихъ не было въ то время недостатка.

Добролюбовъ такъ и дѣлалъ, и лучшіе его критическіе этюды, каковы: *Темное царство*, *Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ*, *Что такое обломовщина*, *Когда-же придетъ настоящий день*—заключаютъ въ себѣ ничто иное, какъ глубокой и всесторонній анализъ существенныхъ сторонъ русской жизни.

Взгляды, проводимые Добролюбовымъ, можно раздѣлить на двѣ категоріи. Одни выходятъ изъ анализа тѣхъ патріархальныхъ отношеній, какія перешли къ намъ по наслѣдію отъ до-петровской старины и сохранялись въ жизни того времени во многихъ явленіяхъ и семейнаго, и общественнаго быта. Анализируя различныя степени и виды общественной деморализаціи того времени, Добролюбовъ ставилъ въ противоположность старымъ, отжившимъ началамъ новымъ.

Въ этомъ отношеніи выдающіяся статьи его представляютъ не одинъ только анализъ тѣхъ художественныхъ образовъ, фактовъ и взглядовъ, какіе авторъ находитъ въ разбираемыхъ произведеніяхъ. Содержание подобныхъ этюдовъ совершенно выходитъ изъ рамокъ критики въ тѣсномъ смыслѣ этого слова.

Что касается до самихъ авторовъ и ихъ произведеній, то конечно они разсматриваются крайне односторонне; многое, чтó Добролюбову было не нужно въ его публицистическихъ видахъ, онъ смѣло опускалъ, другое подгонялъ искусственно къ прово-

димымъ имъ идеямъ. Все это ставилось ему неоднократно на видъ и въ укоръ, и совершенно справедливо, если смотрѣть на Добролюбова, какъ на критика. Но въ томъ именно и дѣло, что это былъ вовсе не критикъ, а публицистъ.

VI.

Въ то время какъ въ первой категоріи взглядовъ Добролюбовъ стоялъ на почвѣ культурно-исторической, во второй категоріи—онъ анализировалъ жизнь еще глубже, становясь на экономическую почву, разбирая жизнь со стороны отношенія труда къ капиталу, людей закаленныхъ тяжкою борьбою за существованіе къ людямъ изнѣженнымъ и обезволеннымъ тунейдствомъ и праздною, наконецъ—интеллигенціи къ народу.

Наиболѣе рѣзко и ярко взгляды эти выражаются въ статьѣ *Что такое обломовщина*. Произведя въ ней анализъ героя романа Гончарова, какъ помѣщичій типъ, возросшій на почвѣ крѣпостного права, Добролюбовъ вслѣдъ затѣмъ приводитъ поразившую своею смѣлостью аналогію между Обломовымъ и цѣлымъ рядомъ героевъ своего времени—Онѣгиннымъ, Печориннымъ, Бельтовымъ, Рудиннымъ. Конечно, если разсматривать всѣхъ этихъ героевъ, какъ художественные типы, принадлежавшіе къ различнымъ эпохамъ, вы увидите между ними болѣе различія, чѣмъ сходства. Но такъ какъ они всѣ принадлежатъ къ одной средѣ, развившейся на почвѣ крѣпостного права и деморализованной имъ, то понятно, что они должны сходиться между собою въ нѣкоторыхъ чертахъ, составляющихъ характеристическую особенность этой среды. „Обломовъ, говоритъ Добролюбовъ, есть наша прямая родина, ея владѣльцы—наши воспитатели, ея триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово (Обломовкѣ)*. Приравнивая такимъ образомъ всю русскую интеллигенцію къ обломовскому типу, Добролюбовъ говоритъ:

„Если я вижу теперь помѣщика, толкующаго о правахъ человечества и о необходимости развитія личности—я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ.

„Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ—Обломовъ.

„Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ и смѣлыя разсужденія о бесполезности *тихаго шага* и т. п., я не сомнѣваюсь, что онъ—Обломовъ.

„Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдѣлано то, чего мы давно надѣялись и желали,—я думаю, что это все пишуть изъ Обломовки.

„Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ

нуждамъ человѣчества и втеченіе многихъ лѣтъ съ неуменшающимъ жаромъ разсказывающихъ все тѣ-же самыя (а иногда и новыя) анекдоты о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода, — я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку...

„Остановите этихъ людей въ ихъ шумномъ разглагольствованіи и скажите: „вы говорите, что нехорошо то и то; что-же нужно дѣлать?“ Они не знаютъ... Предложите имъ самое простое средство, — они скажутъ: „да какъ-же это такъ вдругъ“. Непремѣнно скажутъ, потому что Обломовы иначе отвѣчать не могутъ... Продолжайте разговоръ съ ними и спросите: что-же вы намѣрены дѣлать? — Они вамъ отвѣтятъ тѣмъ, чѣмъ Рудинъ отвѣтилъ Натальѣ: „что дѣлать? Разумѣется покоряться судьбѣ. Что-же дѣлать? Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами“... и пр. Больше отъ нихъ вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ ихъ лежитъ печать Обломовщины“.

Это мѣсто статьи Добролюбова даетъ намъ ключъ къ тому крайне скептическому отрицательному взгляду, какой постоянно проводилъ онъ въ продолженіи всей своей литературной дѣятельности, — на всеобщее возбужденіе и радужное настроеніе, замѣчаемое имъ въ обществѣ. Онъ постоянно указывалъ на непрочность и эфемерность всего этого движенія, возникшаго въ средѣ, которая по самому существу своему инертна и неспособна къ мало-мальски серьезному отношенію къ жизни. „Всмотритесь, говорилъ онъ постоянно, въ характеръ обличеній, — вы безъ особеннаго труда замѣтите въ нихъ нѣжность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся развѣ только нѣжности, обнаруженной во взаимныхъ отношеніяхъ тѣхъ достойныхъ друзей, одинъ изъ которыхъ у Гоголя мечтаетъ о томъ, какъ „высшее начальство, узнавъ объ ихъ дружбѣ, пожаловало ихъ генералами“. „Конечно, это плохо, это гадко, безумно, отвратительно“, — говорятъ всѣ обличители, не скупясь на сильныя эпитеты, — и вы думаете: вотъ молодцы-то, вотъ энергическіе-то дѣятели!.. Погодите немножко: это въ нихъ говорить Собакевичъ, но Маниловъ не замедлитъ вступитъ въ свои права, и у нихъ тотчасъ явится и мостикъ черезъ рѣчку, и огромнѣйшій домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что оттуда можно видѣть даже Москву“.

Въ противовѣсъ этимъ отрицательнымъ качествамъ интеллигенціи Добролюбовъ постоянно выставлялъ народъ, въ которомъ одномъ онъ видѣлъ воплощеніе всѣхъ своихъ высшихъ нравственныхъ идеаловъ и полагалъ единственную надежду на возрожденіе общества. Такъ, въ статьѣ *Черты для характеристики русскаго простонародья* (т. 3, стр. 154) мы читаемъ слѣдующее многознаменательное мѣсто:

«Общее расслабленіе, болѣзненность, неспособность къ глубокой, сосредоточенной страсти характеризуютъ если не всѣхъ, то большинство нашихъ «цивилизованныхъ» собратьевъ. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего имъ нужно и чего имъ жалко. Желаютъ они — такъ, что жить безъ того не могутъ и все-таки ничего не дѣлаютъ для осуществленія своихъ желаній; страдаютъ они

такъ, что умереть лучше, и живутъ себѣ, ничего, только меланхолическій видъ принимаютъ. Не то у простаго человѣка: онъ или неглижируетъ, вниманія не обращаетъ на предметъ и ужъ не толкуетъ о своихъ желаніяхъ, или ужъ если привяжется, если рѣшится, то привяжется и рѣшится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не страшатъ его, когда ихъ нужно одолѣть для достиженія страстно желаннаго и глубоко задуманнаго. Если ужъ нельзя достигнуть, простаго человѣкъ не останется сложа руки; по малой мѣрѣ онъ измѣнить все свое положеніе, весь образъ своей жизни, убѣжить, въ солдаты наймется, въ монастырь поидеть; часто онъ просто естественнымъ образомъ не переживетъ неудачи въ достиженіи цѣли, которая уже проникла въ существо его и сдѣлалась ему необходима въ жизни; если-же физическое сложеніе его слишкомъ крѣпко и можетъ вынести больше, нежели сколько нужно для крайняго раздраженія нервовъ и фантазій, онъ не церемонится покончить съ собою насильственнымъ образомъ. И это тоже служить для насъ свидѣтельствомъ, какъ для простаго, здороваго человѣка, разъ почувствовавшаго свою личность и ея права, несносна жизнь безплодная, бесполезная, автоматическая, безъ принциповъ и стремленій, безъ смысла и правды, жизнь подобная той, какую проводятъ, напримѣръ, игрушечкины господа и многіе другіе»...

Но не одну индивидуальную нравственность народа превозносясь Добролюбовъ при каждомъ удобномъ случаѣ и не одну цѣльность и мощность натуры простаго человѣка противопоставлялъ онъ дряблости и развинченности интеллигентныхъ людей. Переходя отъ отдѣльныхъ личностей къ народнымъ массамъ, онъ постоянно видѣлъ въ нихъ единственную могучую стихійную силу, на которую можетъ всегда положиться безсильная и ничтожная сама по себѣ интеллигенція. Онъ вѣрилъ, что эта необъятная сила можетъ воспринять вслѣдствіе однихъ жизненныхъ опытовъ и переполненія числа страданій. Такъ, въ статьѣ *Народное дѣло* (т. 4, стр. 71) онъ говоритъ:

«Говоря о народѣ, у насъ сожалѣютъ обыкновенно о томъ, что къ нему почти не проникаютъ лучи просвѣщенія, и что онъ поэтому не имѣетъ средствъ возвысить себя нравственно, сознать права личности, приготовить себя къ гражданской дѣятельности и проч. Сожалѣнія эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не даютъ намъ права махнуть рукой на народныя массы и отчаяться въ ихъ дальнѣйшей участи. Не одно скромное ученье подъ руководствомъ опытныхъ наставниковъ, не одна литература, всегда болѣе или менѣе фразистая, ведетъ народъ къ нравственному развитію и къ самостоятельнымъ улучшеніямъ матеріальнаго быта. Есть другой путь—путь жизненныхъ фактовъ, никогда не пропадающихъ безслѣдно, но всегда влекущихъ событіе за событіемъ, неизбѣжно, неотразимо. Факты жизни не пропускаютъ ничего мимо; они дѣйствуютъ и на безграмотнаго крестьянскаго парня, и на отупѣвшаго отъ фухтелей кантониста, какъ дѣйствуютъ на студента университета... Дѣйствительный фактъ, отразившись въ практической жизни дѣятельнаго, рабочаго человѣка, породитъ тоже дѣйствительный фактъ, тогда какъ книжныя теоріи и предположенія образованныхъ людей можетъ быть такъ и останутся только теоретическими предположеніями».

Нужно-ли и говорить о томъ, что во всѣхъ подобныхъ сужденіяхъ Добролюбовъ является наиболѣе всего выразителемъ демократическихъ стремленій своей эпохи.

VII.

Но какъ ни сильна была логика Добролюбова и какою строгою послѣдовательностью ни отличались всё его взгляды, случалось и ему иногда измѣнять этой послѣдовательности и вступать въ невольныя противорѣчія, повинуваясь все тому-же духу своего вѣка. Мы ставили уже на видъ въ предыдущей главѣ, что движеніе шестидесятихъ годовъ имѣло двойственный характеръ, что рядомъ съ движеніемъ социальна-политическимъ, заключавшимся въ демократизаціи мысли русской интеллигенціи и въ рядѣ реформъ, имѣвшихъ въ виду благо народныхъ массъ, шло движеніе чисто философское, въ видѣ перехода мысли передовыхъ людей съ метафизической почвы на реальную и всеобщаго стремленія къ умственному развитію и обогащенію знаніями. Въ умственномъ развитіи, просвѣщеніи видѣли въ то время такую-же панацею отъ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ недуговъ интеллигенціи, какъ и въ реформахъ. Мы переживали въ это время почти ту-же самую безграничную вѣру въ царство разума, какою былъ преисполненъ XVIII вѣкъ, и Добролюбовъ при всемъ своемъ скептическомъ отношеніи къ интеллигенціи съ ея отвлеченнымъ и мншурнымъ образованіемъ и при всей вѣрѣ въ непосредственныя силы народа невольно подчинялся всеобщему поклоненію разуму.

И вотъ мы видимъ, что рядомъ съ приравненіемъ всей интеллигенціи къ обломовскому типу, рядомъ съ цѣлою серією убѣдительнѣйшихъ доказательствъ, что типъ Инсарова до сихъ поръ еще невозможенъ въ нашей жизни, такъ какъ „наша общественная среда подавляетъ развитіе личностей, подобныхъ Инсарову“, мы видимъ въ статьѣ *Литературныя мелочи прошлаго года* первое выставленіе людей молодого поколѣнія противъ поколѣнія стараго, какъ новый общественный типъ *людей реальныхъ съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ*. И появленіе этого новаго типа объясняется Добролюбовымъ не въ связи съ какимъ-либо улучшеніемъ общественныхъ порядковъ, какъ мы могли-бы ожидать сообразно основнымъ взглядамъ Добролюбова на зависимость нравственности людей отъ условій ихъ быта, а однимъ только измѣненіемъ философскихъ идей. Такъ, по его мнѣнію молодые люди съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ потому отличаются спокойствіемъ и тихою твердостью, что „они спустились изъ безграничныхъ сферъ абсолютной мысли и стали въ ближайшее соприкосновеніе съ дѣйствительною жизнью. Отвлеченныя понятія замѣнились у нихъ новыми представленіями, подробности частныхъ фактовъ обрисовались ярче и отняли много силы у общихъ опредѣленій. Люди новаго времени не только поняли, но и прочувствовали, что абсолютнаго въ мірѣ ничего нѣтъ, а все имѣетъ только относительное значеніе. Оттого для нихъ невозможно увлеченіе тенденціями, подобными наприимѣръ слѣдующимъ: *pereat mundus, fiat justitia*; „лучше умереть, нежели солгать хоть разъ въ жизни“; „лучше убить свое сердце, чѣмъ измѣнить хоть однажды долгу супружескому, или сыновнему, или гражданскому“ и т. д. Все это для нихъ слишкомъ абстрактно и слишкомъ мало имѣетъ значенія. На первомъ планѣ всегда стоитъ у нихъ человѣкъ и его прямое существенное благо; эта точка зрѣнія

отражается во всѣхъ ихъ поступкахъ и сужденіяхъ. Сознаніе своего кровнаго, живого родства съ человѣчествомъ, полное разумнѣе солидарности всѣхъ человѣческихъ отношеній между собою — вотъ тѣ внутренніе возбудители, которые занимаютъ у нихъ мѣсто *принципа*. Ихъ послѣдняя цѣль — не совершенная, рабская вѣрность отвлеченнымъ высшимъ идеямъ, а принесеніе возможно большей пользы человѣчеству“ . . .

Въ теоретической сферѣ все это конечно имѣло мѣсто; но слѣдовало-ли изъ этого, чтобы виѣстѣ съ тѣмъ и въ практической сферѣ послѣдовали аналогическія измѣненія въ томъ смыслѣ, что молодое поколѣніе эпохи Добролюбова „не умѣло блестяще и шумѣть“, чтобы „въ его голосѣ не было кричащихъ нотъ, а раздавались одни сильные и твердые звуки“; „нынѣшніе молодые люди, говоритъ Добролюбовъ, хотятъ вести правильную, серьезную игру, и потому считаютъ вовсе ненужнымъ съ перваго-же раза выводить слона и ферезь, чтобы на третьемъ ходѣ дать шахъ и матъ королю. Они навѣрное разсчитываютъ, что это только повредитъ ихъ игрѣ, и потому подвигаются понемножку, заранѣе обдумавъ планъ атаки и безпрестанно слѣдя за всѣми движеніями противника. Они также добьются своего шаха и мата; но ихъ образъ дѣйствій вѣрнѣе, хотя вначалѣ игра и не представляетъ ничего блестящаго и поразительнаго“ .

Дѣйствительность въ скоромъ времени совершенно опровергла эти слова Добролюбова, и поколѣніе его отличилось именно тѣмъ, что вознамѣрилось кончить игру даже не на третьемъ, а сразу на первомъ ходѣ. И въ самомъ дѣлѣ, какъ ни казалась непроходимую пропасть между старымъ и молодымъ поколѣніемъ на почвѣ философскаго міровоззрѣнія, не было причины существовать такой-же пропасти и въ практическихъ сферахъ сообразно всѣмъ теоріямъ Добролюбова и по пословицѣ—яблочко отъ яблони далеко не падаетъ. Тѣмъ не менѣе, вся эта тирада Добролюбова очень многозначительна, такъ какъ служитъ прототипомъ того возвеличенія базаровскаго типа, какой послѣдовалъ нѣсколько лѣтъ спустя.

Такого-же рода противорѣчія встрѣтите вы и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ сочиненій Добролюбова. Такъ, въ IV главѣ статьи *Темное царство* онъ говоритъ между прочимъ: „Самодурство и образованіе—вещи сами по себѣ противоположныя, и потому столкновеніе между ними очевидно должно кончиться подчиненіемъ одного другому: или самодуръ проникнется началами образованности и тогда перестанетъ быть самодуромъ, или онъ образованіе сдѣлаетъ слугою своей прихоти, причемъ разумѣется останется прежнимъ невѣждою“ .

Но разъ мы признали, что самодурство обуславливается извѣстнымъ порядкомъ жизни, какъ это явствуется изъ статьи Добролюбова, то нѣтъ никакого основанія полагать, чтобы оно могло быть сломлено путемъ одного образованія и чтобы самодуръ могъ перестать быть самодуромъ только потому, что проникнется началами образованности. Образованность, смягчая нравы, можетъ придать самодурству лишь болѣе уточненныя формы, какъ это мы и видимъ въ интеллигентныхъ классахъ и у насъ, и даже въ Западной Европѣ, но уничтожить самодурство очевидно можно лишь вырвавши это растеніе съ корнемъ и вспахавши потомъ тщательно землю, на которой оно произросло.

Такое-же противорѣчіе мы видимъ въ 1-й главѣ той-же статьи, гдѣ Добролюбовъ сомнѣвается, чтобы Бородинъ могъ великодушно простить измѣну любимой дѣвушки, и видитъ въ этомъ натяжку со стороны Островскаго на томъ основаніи, что „во всей піесѣ Бородинъ выставляется благороднымъ и добрымъ постаринному, послѣдній-же поступокъ его вовсе не въ духѣ того разряда людей, которыхъ представителемъ служитъ Бородинъ“. Здѣсь очевидно подразумѣется опять все то-же „развитіе“, „образованность“, которые одни только, какъ думали въ то время, могутъ дѣлать людей способными къ столь великодушнымъ поступкамъ, какъ женитьба на обезпеченной дѣвушкѣ. Но въ такомъ случаѣ, какое-же значеніе имѣютъ всѣ рѣчи Добролюбова о преимуществѣ народа передъ интеллигентными людьми относительно силы, чистоты и деликатности чувствъ простыхъ людей, способныхъ и любить, и ненавидѣть, и прощать съ большею непосредственностью и беззавѣтностью, чѣмъ интеллигентные люди?

Послѣ всего этого намъ должно быть вполне понятнымъ то вышеприведенное мѣсто изъ дневника Добролюбова, гдѣ онъ говоритъ о *развитіи себя* до благородныхъ и высокихъ стремленій. Этими словами Добролюбовъ въ свою очередь платилъ дань своему вѣку, воображая, что благородныя и высокія стремленія суть исключительный продуктъ умственного развитія, образованности, и люди темные, какъ скоты безсловесныя, лишены какихъ-бы то ни было высокихъ и безкорыстно-честныхъ побужденій.

Но подобныя отступленія отъ преобладающихъ взглядовъ такъ мимолежны, что едва замѣтны, и принимать ихъ въ расчетъ не стоитъ, опредѣляя значеніе и характеръ дѣятельности Добролюбова, которая все-таки остается преимущественно публицистическая, и все-таки на первомъ планѣ во всѣхъ его статьяхъ стоитъ анализъ вліянія на личность общественной среды. Въ то-же время, если мы примемъ въ соображеніе разнохарактерность дѣятельности Добролюбова, то можно задать вопросъ, правильно-ли опредѣляется роль его въ русской литературѣ, какъ критика? Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только прочесть перечень его статей, чтобы убѣдиться, что это былъ писатель самый разносторонній. Рядомъ съ критическими статьями, вы найдете у него и педагогическія (*О значеніи авторитета въ воспитаніи; Собраніе литературныхъ статей Н. И. Пирогова; Рѣчи и отчетъ, читанные въ торжественномъ собраніи московской практической академіи коммерческихъ наукъ; Всероссийскія иллюзіи, разрушаемыя розами; Отъ дождя да въ воду*), и по внутреннимъ вопросамъ (*Литературныя мелочи прошлаго года; Народное дѣло; Любопытный пассажъ въ исторіи русской словесности*), и по вѣшной политикѣ (*По поводу одной очень обыкновенной исторіи; Непостижимая странность; Изъ Турина; Отецъ Александръ Гавацци и его проповѣди*), и статьи полемическаго характера, стихотворенія элегическія, юмористическія, народныя и даже повѣсти, (напр. его рассказъ *Дьялецъ* въ *Современникѣ* 1858 г., т. LIX).

Въ качествѣ сатирика, въ особенномъ сатирическомъ отдѣлѣ *Современника*, *Свистка*, онъ былъ беспощаднымъ обличителемъ и грозою всякой словесной мишуры, фразистости, напускного либерализма, скрывающаго подъ блестящею вѣшностью грубое азіатское варварство и закорузлое невѣжество. Вичъ его съ равною беспощад-

ностью обрушался какъ на жрецовъ чистаго искусства вроде Фета или Тютчева такъ и на тенденціозныхъ поэтовъ вроде Розенгейма, съ пафосомъ мнимой гражданской скорби обличавшихъ мелкихъ чиновниковъ за гривенникъ, взятый ими съ просителя. Строгий приверженецъ во всѣхъ сферахъ жизни естественности, искренности и простоты, при глубокомъ и страдномъ проникновеніи стремленіями къ общественной пользѣ, онъ требовалъ и отъ литературы тѣхъ-же качествъ. Таковъ былъ наиболѣе типическій и яркій представитель конца пятидесятихъ годовъ.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I—Индивидуально-нравственный характеръ движенія во второй періодъ шестидесятихъ годовъ. Два полюса этого движенія. II—Значеніе *Русскаго Слова* и характеръ его сотрудниковъ. III—Дмитрій Ивановичъ Писаревъ. Характеристика личности. Дѣтство. IV—Гимназическіе и студенческіе годы Писарева. V—Послѣдній періодъ его жизни.

I.

Мы говорили уже въ предыдущихъ главахъ, что движеніе шестидесятихъ годовъ распадается на два періода рѣзкою гранью въ видѣ такого колоссальнаго событія, какъ освобожденіе крестьянъ: до 19-го февраля 1861 года характеръ движенія былъ исключительно-политическій, а затѣмъ оно принимаетъ характеръ индивидуально-нравственный и философскій. Рука объ руку съ разрушеніемъ послѣднихъ остатковъ метафизическаго міровоззрѣнія и съ установленіемъ новаго реального мышленія идетъ выработка новыхъ нравственныхъ идеаловъ. Интеллигентное общество начинаетъ дѣлиться на партіи не только по тѣмъ или другимъ политическимъ взглядамъ и общественнымъ стремленіямъ, но и по философскимъ и этическимъ воззрѣніямъ. Такъ возникаетъ пресловутая рознь между старымъ поколѣніемъ и юнымъ, отцами и дѣтьми, причемъ вы напрасно стали-бы искать источника этой вражды въ какихъ-либо политическихъ несогласіяхъ, вродѣ того хотя-бы что молодое поколѣніе отстаивало-бы реформы, а старое имъ противодѣйствовало. Напротивъ того, всѣ совершившіяся реформы шестидесятихъ годовъ и въ предначертаніи ихъ, и въ исполненіи были всецѣло дѣломъ людей сороковыхъ годовъ, отцовъ, которые мечтали о нихъ съ самой своей ранней юности и приняли горячее участіе въ ихъ осуществленіи. Споръ-же между поколѣніями шелъ объ идеализмъ и реализмъ, о старой системѣ семейной и личной нравственности, основанной на традиціяхъ, и о новой, проистекающей изъ новаго, реального міровоззрѣнія и потребностей вѣка. Вслѣдствіе этого новаторы получили клички не какія-либо политическія, а чисто философскія. Сами себя они называли реалистами, противники-же окрестили ихъ нигилистами...

Этотъ нравственно-философскій характеръ движенія второго періода шестидесятихъ годовъ обуславливался двумя причинами. Первая причина заключалась въ томъ,

что масса интеллигенціи, коснѣвшая до того времени, какъ мы выше видѣли, въ сферѣ традиціонныхъ взглядовъ и не шедшая далѣе метафизико-идеалистическихъ порывовъ и аскетическихъ идеаловъ, теперь, благодаря усилившейся въ концѣ пятидесятихъ годовъ переводческой дѣятельности, сразу познакомилась съ цѣлымъ рядомъ передовыхъ мыслителей Европы новаго реального мировоззрѣнія, каковы: Ог. Контъ, Милль, Бокль, Льюисъ, Бюхнеръ, Молюшоттъ и пр. и пр. Каждого изъ этихъ столповъ европейской науки и мысли въ единственномъ числѣ было достаточно, чтобы произвести полный переворотъ въ умахъ людей того времени. И вотъ началось сильное броженіе въ видѣ переработки всѣхъ философскихъ и моральныхъ взглядовъ, увлеченія реализмомъ, естественными науками и такими этическими вопросами, какъ педагогическій, семейный, женскій и пр.

Вторая причина была общественно-экономическая. Освобожденіе крестьянъ совершенно измѣнило нравы интеллигентнаго круга. Въ то время какъ съ быстрымъ распространеніемъ образованности въ ряды интеллигенціи вошла масса разночинцевъ, мѣщанъ и вообще немущаго люда, сами дворяне, особенно мелкопомѣстные, разоренные эмансипаціею, увидѣли себя въ беспомощномъ положеніи гораздо худшемъ, чѣмъ положеніе привыкшихъ къ труду и лишеніямъ разночинцевъ. Такимъ образомъ создавалась почти не существовавшая до того времени обширная среда интеллигентнаго пролетаріата, которая, сосредоточивая въ своихъ нѣдрахъ все умственное движеніе своего времени, по самымъ условіямъ своего существованія должна была выставить совершенно новые индивидуально-нравственные идеалы въ видѣ апофеоза труда, какъ основы нравственности въ оппозицію высококомфрно-презрительному взгляду на трудъ, утвердившемуся на почвѣ крѣпостного права; въ видѣ утвержденія семьи на началахъ любви, солидарности, равноправности членовъ— вмѣсто принципа власти и безусловнаго подчиненія, составлявшаго основу прежней, патріархальной семьи.

Замѣчательно, что здѣсь, т. е. на почвѣ выработки новыхъ индивидуально-нравственныхъ идеаловъ мы видимъ два совершенно противоположные полюса, находившіеся по отношенію другъ къ другу въ полномъ антагонизмѣ. Такъ съ одной стороны мы слышимъ раздающійся изъ разночинской среды протестъ противъ распущенности нравовъ на почвѣ крѣпостного права, ведущій къ строгому обузданію личности во всѣхъ ея низменныхъ прихотяхъ и похотяхъ. Стремленіе это, начало котораго мы замѣтили уже въ нѣкоторыхъ воззрѣніяхъ Добролюбова, породило новый аскетизмъ подъ вличкою „ригоризма“ и, какъ увидимъ ниже, ударяясь въ крайность, доходило до такихъ-же отрицаній самыхъ естественныхъ требованій человѣческой природы, какія были подъ стать средневѣковому аскетизму.

Съ другой-же стороны, мы видимъ напротивъ того развитіе сепсуализма, стремившася освободить личность отъ всѣхъ средневѣковыхъ традицій по нравственнымъ вопросамъ, проповѣдывавшаго полную свободу чувствъ и страстей и подчинявшаго личность однимъ только разумнымъ требованіямъ личной и общественной пользы.

Нужно-ли говорить о томъ, что въ то время, какъ аскетическое теченіе выходило изъ разночинско-мѣщанской среды людей, самымъ гнетомъ скудной жизни приученныхъ ко всякаго рода самообузданіямъ; проповѣдь-же свободы чувствъ и

страстей напротивъ того была болѣе свойственна людямъ, воспитавшимся на почвѣ крѣпостного права, съ молокомъ матери воспринявшимъ наклонность къ легкимъ и свободнымъ нравамъ и привыкшимъ ни въ чемъ себѣ не отказывать.

II—IV.

Весьма естественно, что распушенность нравовъ, возникшая на почвѣ крѣпостного права, не могла сразу исчезнуть вмѣстѣ съ освобожденіемъ крестьянъ, а долго еще должна была заявлять о своемъ существованіи въ средѣ людей, вышедшихъ изъ помѣщичьихъ усадебъ, избѣженныхъ стариннымъ барскимъ воспитаніемъ и не привыкшихъ въ чемъ-либо себѣ отказывать. Людямъ этимъ очень легко было найти оправданіе своей распушенности въ тѣхъ новыхъ освободительныхъ теоріяхъ нравственности, которыя стояли въ оппозиціи съ традиціонною, подавляющею природу человѣка моралью. Такимъ образомъ и возникъ сенсуализмъ, очень похожій на сенсуализмъ восемнадцатаго вѣка. Подобно тому какъ во Франціи въ эпоху регентства версальскіе щеголи, маркизы и виконты взапуски щеголяли другъ передъ другомъ новизной своихъ идей, зачитываясь Вольтеромъ и энциклопедистами и находя въ ихъ сочиненіяхъ полное оправданіе своего легкомысленнаго поведенія, ведшаго ихъ къ крайнему разоренію, а затѣмъ и подъ ножъ гильотинны—нѣчто подобное видимъ мы и у насъ въ шестидесятые годы, съ тою разницею, что Вольтера замѣняли Фейербахъ и Бюхнеръ, а энциклопедистовъ—Бокль, Льюисъ, Фохтъ, Молешоттъ и пр. Точно такъ-же масса барскихъ сынковъ, заявляя себя новыми людьми, все новаторство свое выказывали въ цитатахъ изъ любимыхъ авторовъ, эффектною отрицаніемъ такъ называемыхъ „авторитетовъ“, пренебреженіемъ къ свѣтскимъ обычаямъ и приличіямъ и въ полной разнузданности какихъ-бы то ни было похотей и прихотей. Пожилые люди, воспитанные въ духѣ старыхъ понятій и традицій, съ ужасомъ внимали мнимымъ новымъ людямъ и видѣли въ нихъ опасныхъ отрицателей, не замѣчая, что они—плоть отъ плоти и кость отъ кости ихъ, что они болѣе ничего, какъ лишь щеголяютъ своими смѣлыми рѣчами, но въ то-же время не только не имѣютъ равно никакихъ мало-мальски опредѣленныхъ и сознательныхъ политическихъ стремленій и общественныхъ цѣлей, а напротивъ того принципиально отрицаютъ всякое служеніе обществу и активное отношеніе къ его требованіямъ и нуждамъ, изолируя личность и замыкая ее въ самое себя, во имя безусловной свободы каждаго человѣка слѣдовать своимъ личнымъ стремленіямъ.

Вотъ на этой-то почвѣ и сложился новый идеалъ просвѣщеннаго реалиста, отъ котораго ничего не требовалось, кромѣ того чтобы онъ, свободно слѣдуя внушеніямъ своего разума и сердца, устранивалъ свою личную жизнь и счастье на основаніи самыхъ новѣйшихъ рациональныхъ данныхъ, послѣднихъ словъ науки, и увлекалъ другихъ слѣдовать его благому прихвѣру.

Въ литературѣ это теченіе выдвинуло цѣлый рядъ писателей крайне легкомысленныхъ, легковѣсныхъ и поверхностныхъ, отличавшихся хлесткостью эффект-

ныхъ фразъ и смѣлостью самыхъ рискованныхъ выводовъ и парадоксовъ, при полномъ отсутствіи мало-мальски серьезнаго и добросовѣстнаго отношенія къ дѣлу и глубокаго вдумыванія въ него.

Всѣ подобные писатели въ началѣ шестидесятыхъ годовъ сгруппировались вокругъ *Русскаго Слова*, самое возникновеніе котораго было крайне знаменательно и характерно. Основатель его, покойный графъ Кушелевъ-Безбородко, послѣдняя отрасль знаменитаго аристократическаго рода, вполнѣ олицетворялъ собою типъ просвѣщеннаго мецената въ родѣ увлеченныхъ философскимъ движеніемъ маркизовъ восемнадцатаго вѣка. Не имѣя никакого опредѣленнаго міровоззрѣнія, не примыкая ни къ какой партіи, онъ принималъ на свои рауты литераторовъ всѣхъ существовавшихъ въ то время лагерей и направленій: у него сходились такіе не имѣющіе ничего между собою общаго писатели, какъ А. Григорьевъ, Гр. Ев. Благосвѣтловъ, Вс. Костомаровъ, Вас. и Ник. Курочкины, Вс. Крестовскій и пр. Такой-же калейдоскопъ самыхъ разнородныхъ именъ представляло измышленное графомъ Кушелевымъ *Русское Слово* въ первый годъ его изданія, въ 1860 г. Это былъ не журналъ съ какимъ-либо опредѣленнымъ и строгимъ политико-литературнымъ направленіемъ, а періодически выходящій альбомъ самыхъ разнокалиберныхъ писателей. Лишь во второй годъ своего существованія, попавши въ руки Григорія Евлампіевича Благосвѣтлова, *Русское Слово* приобрѣло тотъ цвѣтъ и характеръ, которые придавъ журналу новый редакторъ, сгруппировавши вокругъ него юныхъ писателей именно того сенсуальнаго теченія, о которомъ идетъ у насъ рѣчь.

Наиболѣе яркимъ послѣдователемъ и полнымъ выразителемъ сенсуальнаго теченія былъ, какъ мы говорили уже выше, Дмитрій Ивановичъ Писаревъ, олицетворившій въ своей личности эпоху шестидесятыхъ годовъ такъ-же совершенно, какъ Добролюбовъ олицетворялъ эпоху второй половины пятидесятыхъ годовъ.

V.

Люди, которые воображаютъ Писарева чѣмъ-то вродѣ Марка Волохова, ломатымъ пигалистомъ съ бурсацкою неуклюжестью, съ заносчивыми, безцеремонно-грубыми и дерзкими сарказмами, глубоко заблуждаются. Это былъ джентльменъ съ головы до ногъ, съ изящными манерами, всегда безукоризненно, а иногда и щеголевато одѣтый, владѣющій въ совершенствѣ иностранными языками. Однимъ словомъ, въ любой великосвѣтской гостиной его приняли-бы за своего, какъ человека во всѣхъ отношеніяхъ *comme-il-faut*.

Утонченно вѣжливый по воспитанію, онъ и по натурѣ обладалъ мягкимъ, кроткимъ характеромъ, ибжнимъ и любвеобильнымъ сердцемъ, простотою, тактомъ и отсутствіемъ малѣйшей аффектаціи и рисовки въ своемъ обращеніи съ людьми. Въ то-же время при всей этой кажущейся сдержанности, которая была ничѣмъ инымъ, какъ свѣтскою выравкою, онъ обладалъ такою прозрачною искренностью,

что уже въ дѣтствѣ его прозвали хрустальной коробочкой, въ которой трудно угадать что-бы-то ни было. Однимъ словомъ, изъ двухъ героев знаменитаго романа Тургенева Писаревъ болѣе подходилъ къ типу Аркадія, чѣмъ Базарова; и единственно, что отличало его отъ Аркадія, это—тогъ гигантскій умственный аппаратъ, которымъ обладалъ Писаревъ, и главная сила котораго заключалась въ безошибочномъ анализѣ, съ какимъ относился онъ какъ ко всему окружающему, такъ и къ себѣ самому.

По обстоятельствамъ и складу своей жизни Дм. Ив. Писаревъ представлялъ полную противоположность сравнительно съ Добролюбовымъ и прочими писателями изъ разночинцевъ. Въ то время какъ тѣмъ каждый шагъ жизни давался не иначе какъ грудью, послѣ тяжелаго боя, и все, что окружало ихъ въ дѣтствѣ, ожесточало ихъ, дѣтство Писарева напротивъ того протекло тихо, мирно и радостно; все окружающее располагало къ безпретятственному и полному развитію всѣхъ его силъ.

Родился онъ въ 1841 году на границѣ орловской и воронежской губерній въ 30 отъ Ельца и въ 8 или 10 отъ Задонска, въ имѣніи Знаменскомъ, гдѣ и провелъ первыя пять лѣтъ своей жизни. Дальнѣйшіе-же годы дѣтства его протекли въ тульской губерніи, въ усадьбѣ Грунецъ, куда переселились родители его. Они принадлежали къ старому и зажиточному дворянскому роду. Семья была большая, состояла изъ множества дядей и тетокъ съ отцовской стороны. Дѣтей у Писаревыхъ было трое: сынъ Дмитрій и двѣ дочери, Вѣра и Екатерина. Домъ былъ какъ полная чаша; недостатка ни въ чемъ не было; гости не переводились, и жизнь въ домѣ Писаревыхъ текла такъ людно, шумно, весело и беззаботно, какъ и во всѣхъ зажиточныхъ помѣщичьихъ домахъ того времени. И въ свою очередь, какъ во всѣхъ подобныхъ домахъ, нравы семьи представляли удивительную смѣсь европеизма и азіатчины: на конюшняхъ шла расправа съ крѣпостными, въ дѣвичьихъ—хлопали пощечины, зато въ гостиницѣ царилъ безукоризненный лоскъ свѣтскаго тона и чопорной порядочности. Впрочемъ слѣдуетъ отдать справедливость, что Писаревы были люди мягкіе и добродушные, и какихъ-либо выходящихъ изъ уровня свѣдѣнныхъ звѣрствъ Дм. Ив. Писаревъ свидѣтелемъ не былъ. Воспитаніе шло подъ руководствомъ матери, Варвары Дмитриевны, женщины вполне образованной и начитанной, но слишкомъ ужъ офранцузившейся. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что въ домѣ царилъ французскій языкъ, преобладали французскія книги. Дѣти подъ руководствомъ маэтри и иностранныхъ боннъ и гувернантокъ разомъ заговорили на трехъ языкахъ—русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ, и до такой степени усвоили эти языки, что даже играя объяснялись другъ съ другомъ по-французски и по-нѣмецки.

Съ четырехъ лѣтъ Писаревъ уже читалъ на трехъ языкахъ; въ то-же время всѣ свободныя минуты, вродѣ прогулокъ или вечернихъ бесѣдъ, мать наполняла предметными объясненіями и вообще очень форсированно занималась умственнымъ развитіемъ дѣтей, такъ что будучи шестилѣтнимъ мальчикомъ Писаревъ разсуждалъ обо всемъ какъ взрослый и поражалъ своихъ резонерствомъ. Въ то-же время онъ не

выказывалъ ни малѣйшей склонности къ бѣганью, лазанью и вообще подвижнымъ играмъ, былъ неповоротливъ, вялъ, апатиченъ, по дѣлымъ часамъ сидѣлъ за книжкой или за раскрашиваньемъ картинокъ.

Какъ потому, что онъ былъ единственный сынъ въ семьѣ, такъ вслѣдствіе рано развернувшихся богатыхъ умственныхъ способностей, поражавшихъ всѣхъ окружающихъ, Писаревъ игралъ въ домѣ роль маленькаго божка: всѣ его желанія тотчасъ исполнялись, всѣ его ласкали, занимали и восхищались имъ, однимъ словомъ онъ былъ вполне балованнымъ ребенкомъ.

Въ первоначальномъ обученіи Писарева, кромѣ матери и гувернантокъ, принималъ еще участіе дядя его со стороны матери, гостившій въ усадьбѣ у родныхъ и обучавшій мальчика исторіи, географіи, ариметикѣ и русской грамматикѣ; сынъ приходскаго священника подготовлялъ его въ древнихъ языкахъ, а деревенскій писарь обучалъ его чистописанію и передалъ ему свой прекрасный почеркъ.

Память у мальчика была огромная, усваивалъ онъ все преподаваемое очень легко быстро и безъ малѣйшаго труда, и такимъ образомъ одиннадцати лѣтъ онъ былъ уже подготовленъ къ третьему классу гимназіи. Одинъ изъ его дядей, жившій въ Петербургѣ, человѣкъ съ большими средствами, связями и положеніемъ въ обществѣ, согласился не только взять его жить въ свое семейство, но и платить за него въ гимназію, и вотъ въ декабрѣ 1851 года мальчикъ былъ привезенъ въ Петербургъ, водворенъ въ домъ дяди и опредѣленъ въ третью гимназію, которая, какъ извѣстно, была единственною классическою въ то время въ Петербургѣ.

Въ гимназіи Писаревъ былъ постоянно однимъ изъ первыхъ учениковъ, кончилъ курсъ съ медалью и въ то-же время поражалъ товарищей своею изящною внѣшностью: всегда тщательно и безукоризненно чисто одѣтый, розовенькій, румяный, гладко причесанный и припомаженный, онъ производилъ впечатлѣніе вербнаго херувимчика или переодѣтой дѣвочки, и таковъ-же былъ во всѣхъ своихъ привычкахъ: кроткій, тихій, солидный, не принималъ онъ участія ни въ какихъ шалостяхъ, держался постоянно ото всѣхъ въ сторонѣ, учебники его содержались всегда въ незапятнанной чистотѣ, каждая тетрадка въ красивой радужной оберткѣ была непременно снабжена пунцовымъ клякс-паширомъ на розовой ленточкѣ. Онъ и самъ въ статьѣ своей *Наша университетская наука* о своихъ гимназическихъ годахъ говоритъ слѣдующее: „я приналежалъ въ гимназіи къ разряду овецъ, я не злился и не умичалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменахъ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно и въ награду за всѣ эти несомнѣнные достоинства былъ признанъ „преуспѣвающимъ“.

VI.

Гимназическій курсъ кончилъ Писаревъ въ 1856 году, когда ему не было еще и шестнадцати лѣтъ. О принятіи его въ университетъ былъ поднятъ въ министерствѣ вопросъ, такъ какъ года его не выходили еще для поступленія въ высшее учебное заведеніе, между тѣмъ странно было-бы не принять юношу, кончившаго курсъ съ медалью, и его приняли на филологическій факультетъ, какъ исключеніе изъ постановленнаго правила.

Въ первомъ курсѣ университета Писаревъ продолжалъ еще быть все тѣмъ-же ребенкомъ: также былъ одѣтъ, какъ съ иголки, припомаженъ, приглаженъ и лекціи записывалъ въ тѣхъ-же голубенькихъ или радужныхъ тетрадочкахъ съ класк-папирчиками. Въ то-же время онъ поражалъ своихъ товарищей основательнымъ знаніемъ древнихъ языковъ, такъ какъ и полатыни, и погречески переводилъ à livre ouvert безъ малѣйшихъ затрудненій.

Университетъ конечно не замедлил нарушить и переработать ту дѣвственную неприкосновенность и ребячество, какія обнаруживалъ Писаревъ въ первый годъ своего курса. Отчасти подѣ влияніемъ университетской науки, болѣе-же всего вслѣдствіе сближенія съ новыми товарищами и, въ третьихъ, увлекаемый какъ разъ въ то время начинавшимся общественнымъ движеніемъ, — Писаревъ черезъ какой-нибудь годъ сдѣлался неузнаваемъ. Онъ возмужалъ, развернулся; съ одной стороны окунулся въ университетскую науку и по указанію одного изъ профессоровъ филологическаго факультета началъ читать Штейнтала и Гайма съ цѣлью приготовить статью о Вильгельмѣ Гумбольдтѣ для *Студенческаго Сборника*. Въ то же время бушевалъ на студенческихъ сходкахъ и исторіяхъ, и принималъ горячее участіе какъ въ товарищескихъ спорахъ ночи напролетъ о самыхъ конечно важныхъ матеріяхъ, такъ и въ бѣшеныхъ молодыхъ попойкахъ.

Жить въ чопорномъ, великосвѣтскомъ домѣ своего дяди Писареву сдѣлалось тогда крайне стѣснительно, и онъ зимою въ 1857 году переселился къ своему другу Т., съ которымъ не задолго передъ тѣмъ сблизился. Но не легко дался Писареву тотъ полный умственный и нравственный переворотъ, который пришлось ему переживать во время студенческихъ лѣтъ, начиная съ 1857 года и по 1861-й. Трудность эта въ особенности обуславливалась тѣмъ обстоятельствомъ, что въ кружкѣ, въ который вошелъ Писаревъ, царилъ духъ ни мало не соотвѣтствовавшій естественнымъ влеченіямъ юности, сообразнымъ складу его характера. Проведя дѣтство среди живописной природы, въ полномъ довольствѣ и холѣ, онъ привыкъ свободно отдаваться каждому своему влеченію и чтобы каждое желаніе его тотчасъ-же удовлетворялось. И вдругъ нѣкоторые изъ самыхъ его завѣтныхъ желаній оказались неисполнимыми, онъ встрѣтилъ людей, которые далеко не относились къ нему съ тѣми поклоненіемъ и угожденіями, какими онъ постоянно былъ окруженъ въ родительскомъ домѣ; каждый поступокъ его подвергался строгой критикѣ. Такъ, онъ съ дѣтства уже былъ влюбленъ въ одну свою родственницу, Р. К., которая воспитывалась въ ихъ домѣ, и съ которою онъ вмѣстѣ выросъ; теперь эта страсть окончателно созрѣла въ немъ, но въ дѣвухкѣ онъ не нашелъ отвѣта, и она предложила ему въ отвѣтъ на его страстныя признанія одну холодную родственную дружбу. Нѣкоторые изъ его товарищей, наклонные къ аскетическому ригоризму, порицали его за то, что онъ увлекается суетными и пустыми удовольствіями вроде билліарда, картъ и т. п.

Не менѣе того донималъ Писарева старикъ Тр., въ домѣ котораго онъ поселился, отецъ его товарища Тр. Сильный духомъ старикъ, получившій въ жизни своей суровую спартанскую выправку, дослужившійся до адмиральскаго чина въ морской службѣ, исходившій когда-то пѣшкомъ всю Россію отъ Петербурга до Кавказа нарочно ради прогулки и любознательности, чуждавшійся свѣта и людей и съ презрѣ-

ніемъ смотрѣвшій на людскія слабости, онъ не могъ выносить того легкаго, свѣтскаго лоска, который Писаревъ вынесъ изъ своей прежней обстановки. Каждый шагъ Писарева казался старику легкомысленнымъ, каждое слово поверхностнымъ и необдуманнѣмъ, и Писареву приходилось выдерживать цѣлый градъ сарказмовъ старика, иногда очень мѣткихъ и злыхъ, потому что старикъ обладалъ недюжиннымъ умомъ.

Но болѣе всего доставалось Писареву отъ товаришей—сокурсниковъ его, строгихъ спеціалистовъ и адептовъ чистой науки. Это были черствые педанты, которыми былъ наполненъ филологическій факультетъ, мрачные затворники, не признававшіе ничего въ жизни, кромѣ своей науки, на все смотрѣвшіе свысока и съ презрѣніемъ относившіеся, какъ къ легкомысленному диллетантизму, ко всей современной журналистикѣ, публицистикѣ и беллетристикѣ.

Писаревъ не мало снискалъ ироническихъ порицаній и укоровъ уже тогда, когда онъ, желая сравниться со своими учеными товарищами, въ сокрушеніи, тщетно искалъ спеціальности и перебѣгалъ отъ одной филологической науки къ другой. Но эти порицанія обратились едва не въ проклятія, когда Писаревъ въ началѣ зимы 1858 года нашелъ литературную работу въ журналѣ для дѣвицъ, издававшемся Креминымъ и носившемъ заглавіе *Разсвѣтъ*. Писареву было поручено вести въ этомъ журналѣ бібліографическій отдѣлъ, причѣмъ статейки его оплачивались по 30 р. за листъ, что доставляло ему въ мѣсяцъ рублей до 70. Писаревъ съ жаромъ привился за эту работу и убѣдился вскорѣ, что въ ней—главное его призваніе.

„Я писалъ,—говоритъ онъ въ своей статьѣ *Наша унив. наука*,—свои жиденькія и невинныя статейки съ такимъ увлеченіемъ, съ какимъ мнѣ никогда не случалось работать надъ біографіею Гумбольдта. Мнѣ было пріятно всматриваться и вдумываться въ чтеніе книгъ и журнальныхъ статей, потому что я видѣлъ передъ собою близкую и вполне доступную цѣль этого всматриванья и вдумыванья. Мнѣ было пріятно развивать на бумагѣ мои мысли и взгляды, потому что они были дѣйствительно мои, и я вполнѣ понималъ, чтѣ я пишу; я всей душой сочувствовалъ тому, чтѣ я старался объяснить или доказать...“

Вмѣстѣ съ тѣмъ, ему пришлось для журнальной работы перечитать много разнообразныхъ книгъ и статей: Маколея, Прескотта, Моглея, нѣсколько педагогическихъ разсужденій, нѣсколько путешествій (напр., *Фрегатъ Паллада* Гончарова, по Америкѣ—Лакіера, по Африкѣ—Ливингстона), нѣсколько книгъ по естественнымъ наукамъ (напр., *Химія всенедельной жизни* Джонстона, *Исторія земной коры* Куторги, *Физическая географія* Гюйо, *Громъ и молнія* Араго).

И вотъ въ то время какъ товарищи цѣлый крестовый походъ подняли противъ Писарева, доказывая ему, что не слѣдуетъ увлекаться журнальной работой, которая отводитъ человѣка отъ науки и повергаетъ его въ пустословіе и въ пагубный диллетантизмъ, одинъ годъ журнальной работы по словамъ Писарева принесъ больше пользы его умственному развитію, чѣмъ два года усиленныхъ занятій въ университетѣ и бібліотекѣ. Лѣто 1859 года было для него временемъ умственного кризиса. Всѣ понятія, оставшіяся въ умѣ его съ дѣтства, всѣ готовые сужденія, всѣ гипотезы, нѣмнѣющія тираническое вліяніе на мысли и поступки людей,—все это заколыхалось и стало обнаруживать свою несостоятельность. Осенью 1859 года Писаревъ пріѣхалъ

съ канікулъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи. „Опрокинувъ,—говоритъ онъ,— въ умѣ своемъ всякіе Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себѣ какимъ-то Титаномъ, Прометеемъ, похитившимъ священный огонь; я ожидалъ, что совершу чудеса въ области мысли“.

Въ этомъ увлеченіи, „олимпийскомъ сіяніи“, какъ называли въ то время товарищи восторженное состояніе духа Писарева, онъ замыслилъ изслѣдовать мнѣ о древнегреческой *мойрѣ*, напередъ рѣшивъ, что греческая *судьба*, которой подчинены были высшіе олимпийскіе боги, по всей вѣроятности, — ничто иное, какъ неизвѣстная сила законовъ природы. Мѣсяца два онъ работалъ неутомимо; прочелъ восемь пѣсней Илиады въ подлинникѣ, сдѣлалъ массу выписокъ изъ нѣмецкихъ изслѣдованій, трактовавшихъ о мифологическихъ и теологическихъ понятіяхъ Гомера. Но за пароксизмомъ восторженной и кипучей дѣятельности послѣдовалъ пароксизмъ утомленія, апатія, разрѣшившейся полнымъ умственнымъ расстройствомъ, принявшимъ характеръ мани преслѣдованія. „Я дошелъ до послѣднихъ предѣловъ нелѣпности,—повѣствуетъ Писаревъ о своей болѣзни,—и сталъ воображать себѣ, что меня измучаютъ, убьютъ или живого заруютъ въ землю. Скептицизмъ мой вышелъ изъ границъ и началъ отрицать существованіе дня и ночи. Все, что мнѣ говорили, все, что я видѣлъ, даже все, что я ѣлъ, встрѣчало во мнѣ непобѣдимое недовѣріе. Я все считалъ искусственнымъ и приготовленнымъ нарочно для того, чтобы обмануть и погубить меня. Даже свѣтъ и темнота, луна и солнце на небѣ казались мнѣ декораціями и входили въ составъ общей громадной мистификаціи.“

Писарева помѣстили въ лечебницу доктора Штейна, гдѣ онъ и пробылъ четыре мѣсяца. По выздоровленіи, онъ провелъ лѣто 1860 года въ деревнѣ и, набравшись новыхъ силъ, воротился осенью въ столицу оканчивать университетскій курсъ. Въ этотъ годъ была задана студентамъ филологическаго факультета тема на соисканіе медалей *Объ Аполлоніи Тианскомъ*. Писаревъ задумалъ писать на эту тему. Мѣсяцъ былъ употребленъ имъ на чтеніе и выписки; въ ноябрѣ онъ началъ писать, а къ началу января кончилъ свой трудъ, разросшійся до пятнадцати печатныхъ листовъ и приведшій въ изумленіе профессора исторіи Касторскаго, когда тотъ узналъ, что диссертация писалась прямо набѣло, безъ малѣйшихъ поमारокъ.

Писареву была присуждена за его трудъ серебряная медаль. Не ограничившись этимъ, онъ помѣстилъ диссертацию свою въ *Русскомъ Словѣ* лѣтомъ 1861 года и получилъ за нее до шестисотъ рублей. Это былъ первый выходъ его въ толстомъ журналѣ. Съ этихъ поръ онъ оставилъ *Разсвѣтъ* Крепнина и сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ *Русскаго Слова*.

VII.

Уже на послѣднемъ курсѣ университета, вмѣстѣ съ довершеніемъ полного нравственнаго и умственнаго переворота, совершенно измѣнилась и внѣшняя жизнь Писарева. Со всѣми прежними товарищами онъ безповоротно разорвалъ. Онъ тогда уже началъ проповѣдывать свою излюбленную теорію эгоизма и доказывать, что человѣкъ долженъ свободно и безотчетно отдаваться всѣмъ своимъ естественнымъ влеченіямъ, и

весь ушелъ въ журнальную работу, находя въ ней одной все свое призваніе и цѣль жизни. Товарищи въ его теоріи эгоизма увидѣли оправданіе всякихъ злодѣяній и, убѣдившись, что онъ навсегда покинулъ святую науку, предали его окончательной анаемѣ и отвернулись отъ него.

Онъ жилъ теперь уже не у Тр., а въ одномъ студенческомъ вертепѣ, гдѣ несмолкаемо днемъ и ночью шелъ дымъ коромысломъ отъ безконечной оргіи, сопровождаемой хоровыми пѣснями, карточными спорами и пьяными скандалами. И вотъ среди этого шума и гама Писаревъ писалъ свои первыя статьи въ *Русскомъ Словѣ*, подтягивая въ то-же время поющимъ товарищамъ или урезонивая другихъ играть во семь въ червяхъ, а не семь. Дни и ночи не разгибая спины, сидѣлъ онъ такимъ образомъ за своими критическими работами: но эта кипучая дѣятельность, сопровождаемая столь-же кипучимъ разгуломъ, продолжалась недолго. Наступилъ 1862 годъ, мрачный для всѣхъ, роковой для многихъ, въ который и надъ Писаревымъ разразилась неожиданная катастрофа.

Нужно замѣтить, что передъ наступленіемъ этой катастрофы состояніе духа Писарева снова крайне омрачилось. Дѣвушка, которую онъ продолжалъ любить и которая передъ тѣмъ начала склоняться на его мольбы и подавать ему такія надежды, что онъ считался уже нарѣченнымъ женихомъ ея, вновь охладѣла къ нему и отказала ему въ своей рукѣ. Съ закрытіемъ *Русскаго Слова* вмѣстѣ съ *Современникомъ*, послѣдовавшимъ въ томъ-же году, Писаревъ остался безъ работы и безъ денегъ. Все это вмѣстѣ повергло его въ такое отчаянное настроеніе, въ которомъ человѣкъ ищетъ какихъ-либо сильныхъ ощущеній и бываетъ готовъ на все. Ни по складу своихъ убѣжденій, ни по своей мягкой и кроткой натурѣ, Писаревъ, эта хрустальная коробочка, неспособная ничего утаивать, никогда не былъ расположенъ къ конспиративной дѣятельности. Это былъ писатель до мозга костей, учившій общество, но не замыкавшійся отъ него и не объявлявшій ему войны. Онъ не разъ выражался о себѣ и подобныхъ ему писателяхъ одного съ нимъ лагеря: „Мы—безумные дровосѣки, которые подпиливаемъ тотъ сукъ, на которомъ сами-же сидимъ. Ну, и конечно, когда кончимъ свою работу, первые-же и полетимъ съ нимъ вмѣстѣ.“

Въ апрѣлѣ 1862 года вышла брошюра Шедо-Фероти, содержащая въ себѣ разборъ письма Герцена къ русскому лондонскому посланнику. Брошюра была крайне благонамѣренная, и потому допущена цензурою къ продажѣ. Писаревъ, въ качествѣ критика *Русскаго Слова*, написалъ рецензію на нее, но статья его не была пропущена цензурою и валялась у Писарева на письменномъ столѣ. Однажды къ нему пришелъ товарищъ по университету Баллодь, человѣкъ мало ему знакомый, и разговаривая съ нимъ, увидѣлъ эту статью и заинтересовался ею. Узнавъ-же, что статья не была допущена цензурою, Баллодь объявилъ Писареву, что у него имѣется тайная типографія, и очень было-бы желательно напечатать въ ней статью Писарева. Въ другое время Писаревъ можетъ быть и отклонилъ-бы подобное предложеніе мало знакомаго человѣка, не захотѣлъ-бы подвергаться риску изъ-за такихъ пустяковъ, какъ брошюра Шедо-Фероти. Но, какъ мы сказали уже, онъ былъ въ такомъ отчаянномъ настроеніи духа, въ которомъ не дорожилъ ни жизнью, ни настоящимъ, ни будущимъ и нуждался въ какомъ-нибудь сильномъ нервномъ потрясеніи.

И вотъ онъ общался Баллоду написать другой разборъ брошюры Шедо-Фероти, болѣе соотвѣтственный подпольной печати, чѣмъ онъ и исполнилъ. Разборъ былъ напечатанъ; но вскорѣ затѣмъ Баллодъ былъ арестованъ вмѣстѣ со своею типографіей, а 3-го іюля былъ арестованъ и Писаревъ.

Послѣдствія этого ареста извѣстны. Писаревъ былъ присужденъ къ пятилѣтнему заключенію въ крѣпости, но срокъ этотъ впоследствии былъ нѣсколько сокращенъ, и Писаревъ былъ освобожденъ въ 1866 году. Четыре года, проведенные имъ въ заключеніи, были въ то-же время годами большей части его литературной дѣятельности. До того времени онъ только-что успѣлъ выступить на литературное поприще и лишь расправлялъ свои крылья; послѣ заключенія, въ послѣдніе два года своей жизни онъ писалъ мало и не написалъ ничего замѣчательнаго; такъ что изъ Петропавловской крѣпости вышло все, чѣмъ Писаревъ прославился и въ чемъ выразилось его значеніе въ русской литературѣ.

По выходѣ изъ крѣпости Писаревъ вскорѣ разошелся съ Благосвѣтловымъ, принявшимъ послѣ закрытія *Русскаго Слова* журналъ *Дѣло*, — и началъ сотрудничать въ обновленныхъ Некрасовымъ *Отечественныхъ Запискахъ* съ 1868 года. Но дни его были уже сочтены. Лѣтомъ этого года онъ поселился вмѣстѣ со своею родственницею, Марьею Александровною Марковичъ (Марко Вовчокъ), на дачѣ въ Дубельнѣ, съ цѣлью укрѣпить нервы морскими купаньями. Но въ одинъ жаркій день, купааясь, онъ внезапно утонулъ отъ неизвѣстной причины, несмотря на то, что былъ отличнымъ пловцомъ. Трупъ его, привезенный въ Петербургъ, былъ похороненъ на Волковомъ кладбищѣ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I—Четыре стороны литературной дѣятельности Писарева. Эстетическіе взгляды Писарева. II—Отрицаніе Пушкина. III—Нравственный идеалъ Писарева въ образѣ Базаровскаго типа. IV—Признаніе естественныхъ наукъ панацеєю общественнаго прогресса и сведеніе всего къ этой точкѣ зрѣнія. V—Максимъ Алексѣевичъ Антоновичъ. VI—Николай Константиновичъ Михайловскій.

I.

Литературная дѣятельность Писарева не ограничивается однимъ какимъ-либо опредѣленнымъ и однороднымъ характеромъ. Она до такой степени разнородна, что ее слѣдуетъ разсматривать не иначе, какъ съ слѣдующихъ четырехъ сторонъ: во первыхъ Писаревъ является передъ нами выразителемъ тѣхъ рискованныхъ и парадоксальныхъ крайностей, до которыхъ послѣдовательно дошло движеніе шестидесятыхъ годовъ въ своихъ эстетическихъ взглядахъ, полемизируя съ метафизическими эстетиками и оппортунистами пятидесятыхъ годовъ. Во вторыхъ тотъ-же самый Писаревъ является проповѣдникомъ въ образѣ Базаровскаго типа именно того новаго идеала прогрессивныхъ реалистовъ, какой возникъ, какъ мы выше говорили, на почвѣ сенсуальнаго теченія. Въ третьихъ Писаревъ, какъ самъ олицетворяющій въ себѣ этотъ идеалъ, является блестящимъ популяризаторомъ по части естественныхъ наукъ и всякихъ реальныхъ знаній. И наконецъ въ четвертыхъ онъ отличается поразительно глубокимъ и безошадно-ѣдкимъ анализомъ какъ разбираемыхъ имъ произведеній, такъ въ особенности и изображаемой ими дѣятельности.

Что касается до эстетическихъ воззрѣній Писарева, то надо правду сказать крайности, въ которыхъ обвиняется онъ, нѣсколько преувеличены его врагами. Прежде всего, половина ответственности за нихъ слѣдуетъ снять съ него, принявши во вниманіе, что у предшествовавшихъ ему критиковъ, у Чернышевскаго и у Добролюбова, мы видѣли уже задатки отрицательнаго отношенія къ искусству. Критики эти, подъ непосредственнымъ вліяніемъ которыхъ развивался Писаревъ, не ограничивались требованіемъ, чтобы писатели проникались общественными интересами и въ своихъ произведеніяхъ проводили идеи вѣка; по ихъ мнѣнію, искусство, по самому существу своему, играетъ второстепенную, низшую, служебную роль вспомогательнаго

средства для памяти, имѣеть по отношенію къ публицистикѣ, психологіи или фило-софіи такое-же иллюстраціонное значеніе, какъ какіе-нибудь анатомическіе или гео-графическіе атласы.

Отъ такого воззрѣнія на искусство былъ одинъ шагъ до полнаго его отрицанія, что и совершилъ Писаревъ совершенно послѣдовательно и логически въ своей знаме-нитой статьѣ *Дѣтвы невиннаго юмора*, въ которой, какъ извѣстно, доказывая что Щедринъ—ничего болѣе какъ веселый и остроумный балагуръ и слѣдовательно поэтъ чистаго искусства, онъ совѣтуетъ ему заняться естествознаніемъ: „пусть молъ читаетъ, размышляетъ, переводитъ, компилируетъ, и тогда онъ будетъ дѣйствительно полезнымъ писателемъ. При его умѣньхъ владѣть русскимъ языкомъ и писать живо и весело, онъ можетъ быть очень хорошимъ популяризаторомъ, а Глузовъ давно пора бросить.“

«Не знаю, какъ другіе, говоритъ Писаревъ въ той-же статьѣ,—а я радуюсь увя-данію нашей беллетристики, и вижу въ ней очень хорошіе симптомы для будущей судьбы нашего умственнаго развитія. Поэзія въ смыслѣ стиходѣланія стала клониться къ упадку со времени Пушкина; при Гоголѣ романисты или вообще прозаики заняли въ литературѣ то высшее мѣсто, которое занимали поэты; съ этого времени стихо-творцы сдѣлались чѣмъ-то вродѣ литературныхъ башкибузуконъ, плохо вооружен-ныхъ, бессильныхъ и неспособныхъ оказать регулярному войску никакого серьезнаго содѣйствія; теперь стиходѣланіе находится при послѣднемъ издыханіи, и конечно этому слѣдуетъ радоваться, потому что есть надежда, что уже ни одинъ дѣйстви-тельно умный и даровитый человекъ нашего поколѣнія не истратитъ своей жизни на пронызываніе чувствительныхъ сердець убійственными ямбами и анапестами. А кто знаетъ, какое великое дѣло—экономія человѣческихъ силъ, тотъ пойметъ, какъ важно для благосостоянія всего общества, чтобы всѣ его умные люди сберегли себя въ цѣлости и пристроили всѣ свои прекрасныя способности къ полезной работѣ.— Но одержавши побѣду надъ стиходѣланіемъ, беллетристика сама начала утрачивать свое исключительное господство въ литературѣ; первый ударъ нанесъ этому господству Бѣлинскій; глядя на него, Русь православная начала понимать, что можно быть зна-менитымъ писателемъ, не сочинивши ни поэмъ, ни романа, ни драмы. Это было великимъ шагомъ впередъ, потому что добрые земляки наши выучились читать критическія статьи и понемногу приготовились такимъ образомъ понимать разсужденія по вопросамъ науки и общественной жизни. Когда эти разсужденія сдѣлались воз-можными, тогда Добролюбовъ и Чернышевскій стали продолжать дѣло Бѣлинскаго...

«Теперь отгѣсненіе на задній планъ беллетристики и искусства вообще произведено: въ послѣднее пятилѣтіе не было рѣшительно ни одного чисто литературнаго успѣха; чтобы не унасть, беллетристика принуждена была прислониться къ текущимъ инте-ресамъ дня, часа и минуты; всѣ беллетристическія произведенія, обращавшія на себя вниманіе общества, возбуждали говоръ единственно потому, что касались какихъ-нибудь интересныхъ вопросовъ дѣйствительной жизни. Вотъ вамъ примѣръ: *Подводный камень*, романъ,—стоящій по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имѣеть громкій успѣхъ, а *Дѣтство, отрочество и юность* графа Л. Толстого, вещь замѣчательно хорошая по тонкости и вѣрности психологическаго анализа, читается холодно и проходитъ почти не замѣченною. Теперь пора бы сдѣлать еще шагъ впе-редъ: недурно было-бы понять, что серьезное изслѣдованіе, написанное ясно и увле-кательно, освѣщаетъ всякій интересный вопросъ гораздо лучше и полнѣе, чѣмъ разсказъ, придуманный на эту тему и обставленный ненужными подробностями и неизбѣжными уклоненіями отъ главнаго сюжета. Впрочемъ, этотъ шагъ сдѣлается самъ собою и можетъ быть онъ уже наполовину сдѣланъ»....

Но подобное крайнее и рѣшительное отрицаніе искусства по существу у самого Писарева вы найдете лишь въ одной вышеозначенной статьѣ, да и въ ней не болѣе двухъ, трехъ мѣстъ отличающихся такою-же рѣзкостью. Эти мѣста представляютъ собою кульминаціонную точку отрицанія искусства не только въ литературѣ шестидесятихъ годовъ вообще, но и въ воззрѣніяхъ самого Писарева, и ему самому такъ трудно было удержаться въ этой точкѣ, на самомъ такъ сказать остріѣ шпиля, что въ той-же самой статьѣ уже онъ тотчасъ-же отступаетъ назадъ, скользнуть внизъ и дѣлаетъ уступку въ пользу искусства:

«Разумѣется,—говоритъ онъ,—здѣсь, какъ и вездѣ, не слѣдуетъ увлекаться педантическимъ ригоризмомъ: если въ самомъ дѣлѣ есть такіе человѣческіе организмы, для которыхъ легче и удобнѣе выразить свои мысли въ образахъ, если въ романѣ или въ поэмѣ они умѣютъ выразить новую идею, которую они не сдумали-бы развить съ надлежащею полнотою и ясностью въ теоретической статьѣ, тогда пусть дѣлаютъ такъ, какъ имъ удобнѣе; критика сдумаетъ отыскать, а общество сдумаетъ принять и оцѣнить плодотворную идею, въ какой-бы формѣ она ни была выражена. Если Некрасовъ можетъ высказываться только въ стихахъ, пусть пишетъ стихи; если Тургеневъ умѣетъ только изобразить, а не объяснить Базарова, пусть изображаетъ; если Чернышевскому удобно писать романъ, а не трактатъ по физиологіи общества, пусть пишетъ романъ; этимъ людямъ есть что высказать, и потому общество слушаетъ ихъ со вниманіемъ и не остается въ накладѣ. Это даже хорошо, если такіе люди излагаютъ свои идеи въ беллетристической формѣ, потому что окончательный шагъ все-таки еще не сдѣланъ, искусство для нѣкоторыхъ читателей и особенно читательницъ все еще сохраняетъ кое-какіе блѣдные лучи своего ложнаго ореола...»

Въ статьѣ-же своей *Нерешенный вопросъ* или *Реалисты* (какъ названа статья въ отдѣльномъ изданіи сочиненій Писарева) онъ дѣлаетъ еще шагъ назадъ и уже не условно, какъ въ только-что приведенной цитатѣ, а прямо отказывается отъ полнаго отрицанія искусства:

«Послѣдовательный реализмъ,—говоритъ онъ,—безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту: «шей сапоги» или историку: «пеки кулебяки», но мы требуемъ непременно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили, каждый въ своей спеціальности, *дѣйствительную* пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны человѣческой жизни, которая намъ необходимо знать для того, чтобы размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процвѣтанія и упадка отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширить предѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустою или дрянною книгою, не обращая вниманія на то, писана-ли она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда, съ искреннимъ доброжелательствомъ, готовы посоветовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки...»

И ниже въ той-же статьѣ мы встрѣчаемъ слѣдующее опредѣленіе, что такое истинный полезный поэтъ, уже не подлежащій тому безусловному отрицанію, какому подверглись въ статьѣ *Цвѣты невиннаго юмора* всѣ поэты безъ исключеній:

«Истинный полезный поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его вѣка и его народа. Понимая вполнѣ глубокий смыслъ каждой пульсаціи общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою ненавистью, составляетъ и непремѣнно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнѣйшій смыслъ всего его существованія и всей его дѣятельности. «Я пишу не чернилами, какъ другіе, говорить Берне; я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ». Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тому слѣдуетъ шить сапоги и печь кулебяки...»

Представляя далѣе характеристики Гёте и Гейне для того, чтобы показать, что такое истинные полезные поэты, Писаревъ затѣмъ весьма естественно чувствуетъ необходимость затушевать свое отступленіе и примирить эти опредѣленія съ прежнимъ безусловнымъ отрицаніемъ искусства, и вотъ какъ производитъ онъ это примиреніе:

«Литературные противники нашего реализма,—говоритъ онъ:—простодушно убѣждены въ томъ, что мы затвердили нѣсколько филантропическихъ фразъ и во имя этихъ афоризмовъ отрицаемъ все то, изъ чего нельзя изготовить обѣда, сшить платье или выстроить жилище голоднымъ и прозябшимъ людямъ. Понимая насъ такимъ образомъ, они конечно должны были ожидать, что мои размышленія о наукѣ и искусствѣ будутъ заключать въ себѣ безконечныя упреки Шекспиру, Гёте, Гейне и другимъ подобнымъ негодьямъ, за трату драгоценнаго времени на непроизводительныя занятія. Они ожидали вѣроятно что я такъ и пойду косить безъ разбору: Шекспиръ не Шекспиръ, Гёте не Гёте, чертъ мнѣ—не брать, всё дураки и знать никого не хочу. Такому направленію умозрѣній они были-бы несказанно рады, потому что разумѣется подобная премудрость не поколебала-бы въ умахъ читателей ни одной буквы изъ стараго эстетическаго кодекса. Теперь, когда они увидятъ, что я взялся за дѣло совсѣмъ не такимъ косолапымъ манеромъ,—имъ сдѣлается очень досадно и они начнутъ звонить въ своихъ журналахъ, что реалисты доврались до чертиковъ и теперь по неволѣ поворачиваютъ оглобли назадъ.

«И все это будетъ съ ихъ стороны голая выдумка. Всѣ мысли, высказанныя мною въ этой статьѣ, совершенно послѣдовательно вытекаютъ изъ того, что я говорилъ во всѣхъ моихъ предыдущихъ статьяхъ. Ни малѣйшаго поворота назадъ не случилось, и мнѣ не приходится раскаиваться ни въ одномъ словѣ, сказанномъ мною прежде. Я совѣтовалъ г. Щедрина заняться компиляціями по естественнымъ наукамъ и говорилъ по этому поводу, что меня радуетъ увиданіе нашей беллетристики, какъ символъ возростающей зрѣлости нашего ума. Я и теперь повторяю то-же самое и изъ этого сужденія о нашихъ домашнихъ дѣлахъ все-таки никакъ не вытекаетъ для меня обязанность ругать Шекспира, Гёте, Гейне и другихъ подобныхъ негодяевъ. Эти негодяи были прежде всего чрезвычайно умные люди, а я и теперь, и прежде, и всегда былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что мысль и только мысль можетъ передвѣлать и обновить весь строй человеческой жизни; все то безусловно полезно, что заставляетъ насъ задумываться и что помогаетъ намъ мыслить...»

II.

Мы нарочно напечатали курсивомъ послѣднія слова только-что приведенной цитаты, потому въ нихъ мы видимъ главный ключъ ко всѣмъ сужденіямъ Писарева о современныхъ и прежнихъ русскихъ писателяхъ, и ключъ этотъ, сколько вы можете судить по этимъ словамъ, заключается ни въ чемъ иномъ, какъ именно въ той существенной задачѣ, которою обуславливается различіе новаго періода нашей литературы отъ стараго. Мы неоднократно уже ставили на видъ, что задача эта въ томъ именно и заключалась, чтобы поставить русское искусство, въ томъ числѣ и поэзію, на одной высотѣ съ западнымъ не по одной только художественности, но и по идейному содержанію. Объ этомъ мечталъ Вѣлинскій, хлопоталъ Добролюбовъ и это-же самое выставляетъ на первый планъ Писаревъ, характеризуя, какъ истинныхъ полезныхъ поэтовъ Гёте и Гейне, писателей дѣйствительно наиболѣе всего богатыхъ идейнымъ содержаніемъ своихъ произведеній.

Изъ этого-же прямо и послѣдовательно проросъ и отрицательный взглядъ Писарева на Пушкина. Взглядъ этотъ лежалъ всецѣло въ духѣ вѣка, оиать таки въ тѣхъ-же требованіяхъ отъ искусства серьезнаго идейнаго содержанія, которымъ не могъ удовлетворить Пушкинъ, какъ представитель стараго періода русской литературы,—періода выработки формъ и чистой художественности. Задатки отрицательнаго отношенія къ Пушкину мы видимъ уже у Вѣлинскаго, этого перваго провозгласителя новаго періода русской литературы. Такъ, въ самомъ началѣ своихъ статей о Пушкинѣ онъ говоритъ:

«По мѣрѣ того, какъ зарождались въ обществѣ новыя потребности, какъ измѣнялся его характеръ и овладѣвали умомъ его новыя думы, а сердце волновали новыя печали и новыя надежды, порожденныя совокупностью всѣхъ фактовъ его движущейся жизни,— всѣ стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ настоящемъ и будущемъ своего значенія, какъ поэтъ великій, тѣмъ не менѣе былъ и поэтомъ своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха смѣнилась другою, у которой уже другія стремленія, думы и потребности. Вслѣдствіе этого Пушкинъ является передъ глазами наступающаго для него потомства уже въ двойственномъ видѣ: это уже не поэтъ, безусловно великій и для настоящаго, и для будущаго, какимъ онъ былъ и для прошедшаго, но поэтъ, въ которомъ есть достоинства безусловныя и достоинства временныя, который имѣетъ значеніе артистическое и значеніе историческое, словомъ поэтъ, только одною стороною принадлежащій настоящему и будущему, которая, болѣе или менѣе, удовлетворится и будетъ удовлетворяться имъ, а другою, болѣею и значительнѣйшею стороною вполне удовлетворившій своему настоящему, которое онъ вполне выразилъ и которое для насъ—уже прошедшее...»

Еще болѣе рѣзкое и опредѣленное сужденіе объ утратѣ Пушкинымъ значенія для опередившаго его времени въ виду новыхъ требованій отъ искусства вы встрѣтите въ пятой статьѣ Вѣлинскаго о Пушкинѣ въ слѣдующихъ словахъ:

«Какъ-бы то ни было, но по своему возрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая уже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое

стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлалось теперь жизнію всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго».

Очень можетъ быть, что и Писаревъ не пошелъ-бы далѣе подобныхъ относительныхъ взглядовъ на значеніе Пушкина, которые онъ кое-гдѣ и высказывалъ, соглашаясь съ Бѣлинскимъ, что Пушкинъ все-таки имѣлъ историческое значеніе, такъ какъ усовершенствовалъ русскій стихъ и осмѣлился заговорить въ стихахъ о *новой кружкѣ* и о *бобровомъ воротникѣ*, между тѣмъ какъ его предшественники говорили только о *фиалахъ* и *хламидахъ*. Но тутъ замѣшалось одно обстоятельство, которое именно и вывело Писарева далеко изъ этихъ предѣловъ историческаго безпристрастія. Обстоятельство это заключалось въ томъ, что оппортунисты пятидесятыхъ годовъ и теоретики чистаго искусства въ свою очередь были чужды мало-мальски объективно-спокойнаго и безпристрастнаго взгляда на значеніе поэзіи Пушкина. Они относились къ Пушкину не такъ какъ къ прочимъ поэтамъ прежняго времени, ставили его внѣ какой-бы то ни было исторической оцѣнки и предавали ему безусловное значеніе, какъ своего рода богу поэзіи. Ему молились и вмѣстѣ съ тѣмъ его выставляли какъ знамя партіи, — причѣмъ наиболѣе высоко ставились именно такія стороны поэзіи Пушкина, которыя были менѣе всего симпатичны и за которые именно и считалъ Пушкина отжившимъ уже Бѣлинскій. Стороны эти мало того что наиболѣе прославлялись, но ставились въ укоръ всѣмъ послѣдовавшимъ писателямъ новой натуральной школы.

Вотъ этотъ именно крайне пристрастный, вышедшій изъ всѣхъ границъ здраваго смысла культъ Пушкина и обращеніе великаго поэта въ какой-то боевой таранъ въ борьбѣ со всѣми новыми литературными вѣяніями и вызвали столь-же крайнюю и слѣпую оппозицію. Уже задолго до извѣстной статьи Писарева *Пушкинъ и Бѣлинскій*, произведшей такую сенсацію, замѣчалось во всей массѣ молодого поколѣнія сильное охлажденіе къ Пушкину, выражавшееся въ предпочтеніи ему Лермонтова. Писаревъ раздѣлялъ со своими сверстниками это охлажденіе и по своей увлекающейся натурѣ перелилъ въ своей статьѣ черезъ край. Главная ошибка статьи этой заключалась въ полномъ отсутствіи всякой исторической перспективы какъ при разборѣ различныхъ произведеній Пушкина, особенно Евгенія Онегина, такъ и при оцѣнкѣ общаго значенія поэзіи Пушкина. Произведенія великаго поэта разсматриваются въ ней такъ, какъ будто они вышли только-что вчера, и критика имѣла право предъявлять къ нимъ современныя требованія. Но еще разъ повторяемъ, ошибка эта зависѣла отъ того, что и противники въ свою очередь толковали о значеніи Пушкина не историческомъ, для его времени, а по отношенію къ ихъ современности, унижая и топчая въ грязь во имя Пушкина съ его пресловутою художественною объективностью и елейностью всю современную литературу.

И какъ ни велики крайности отрицаній Пушкина, до которыхъ дошелъ Писаревъ въ своей статьѣ, какъ ни коробятъ васъ въ ней разныя излишнія и грубыя рѣзкости, все-таки слѣдуетъ принять въ соображеніе, что Писаревъ не былъ одинокимъ, прознося все это. Его окриляло именно то охлажденіе къ Пушкину, которое раздѣляли

съ нимъ всё его сверстники. Замѣчательно въ этомъ отношеніи было чутье его, — чутье всѣхъ писателей, которые являются выразителями чувствъ и думъ, разлитыхъ въ массахъ: обрушивши всѣ свои критическіе громы на одного Пушкина, Писаревъ ни однимъ словомъ не обмолвился о Лермонтовѣ. Онъ какъ-бы чувствовалъ, что такое-же отрицательное отношеніе къ Лермонтову не встрѣтитъ равнаго сочувствія въ людяхъ его поколѣнія и не будетъ столь популярно, и чутье не обмануло его: дѣйствительно — попытки сотрудника Писарева по *Русскому Слову*, Зайцева, развѣнчать точно такъ-же Лермонтова не имѣла, какъ извѣстно, ни малѣйшаго успѣха.

III.

Въ качествѣ моралиста и проповѣдника новыхъ идеаловъ Писаревъ, какъ мы сказали уже, является представителемъ сенсуальнаго теченія шестидесятыхъ годовъ. Съ самыхъ первыхъ статей своихъ и до смерти онъ всегда оставался чистопробнымъ индивидуалистомъ, выставляя на первый планъ прогрессъ личности путемъ самосовершенствованія, причемъ прогрессъ этотъ онъ ставилъ въ зависимость отъ двухъ условій: во-первыхъ чтобы личность была безгранично свободна въ своихъ стремленіяхъ и страстяхъ, повинуваясь лишь влеченіямъ ума и сердца, и во-вторыхъ чтобы она развивала свой умъ въ духѣ реального мышленія путемъ изученія естественныхъ наукъ и пріобрѣтенія положительныхъ знаній.

Мы видѣли, что и Добролюбовъ, и Чернышевскій выводили нравственность изъ эгоизма и ратовали противъ насильственнаго подчиненія человѣка нравственному долгу. Но тѣмъ не менѣе высшимъ нравственнымъ идеаломъ все-таки они считали самопожертвованіе личности общей пользѣ, требуя лишь, чтобы это самопожертвованіе происходило изъ свободнаго стремленія къ нему человѣка, безъ всякихъ приневольваній.

У Писарева-же, какъ сенсуалиста, на первомъ планѣ стоитъ стремленіе къ наслажденію, къ тому, чтобы провести жизнь какъ можно пріятнѣе, въ чемъ онъ и полагаетъ свою теорію эгоизма. Такъ, въ одной изъ первыхъ статей своихъ *Стоячая вода* онъ такъ опредѣляетъ эгоизмъ:

«Эгоизмъ, т. е. любовь къ собственной личности ставитъ цѣлью жизни наслажденіе, но не ограничиваетъ выбора наслажденія тѣмъ или другимъ кругомъ предметовъ. Я наслаждаюсь тѣмъ, что мнѣ пріятно, а что пріятно—это уже подсказываютъ каждому его наклонность, его личный вкусъ. Стало быть внутри понятія эгоизма открывается необъятный просторъ личнымъ особенностямъ и стремленіямъ. Эгоистами могутъ быть и хорошіе, и дурные люди; эгоистъ—человѣкъ свободный въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, онъ дѣлаетъ только то, что ему пріятно; ему пріятно то, чего ему хочется, слѣдовательно онъ дѣлаетъ только то, чего ему хочется, или другими словами остается самимъ собою во всякую данную минуту и не насилуетъ себя ни изъ угожденія къ окружающему обществу, ни изъ благоговѣнія передъ призракомъ нравственнаго долга. Что ему пріятно, въ этомъ весь вопросъ, и тутъ начинается нескончаемое разнообразіе, и не одинъ человѣкъ не имѣетъ права подводить это естественное и живое разнообразіе подъ какую-нибудь придуманную имъ или наслѣдованную откуда-нибудь норму. Отсутствіе нравственнаго принужденія—вотъ единственный существенный признакъ эгоизма...».

Вѣсть съ освобожденіемъ отъ внутренняго насильственнаго подчиненія нравственному долгу, личность должна позаботиться освободиться и отъ всякихъ вѣшнихъ насилій со стороны общества. Гнетъ общества по мнѣнію Писарева надъ личностью такъ-же вреденъ, какъ гнетъ личности надъ обществомъ; если-бы всякій умѣлъ быть свободенъ, не стѣсяя свободы своихъ сосѣдей и членовъ своего семейства, тогда конечно были-бы устранены причины многихъ несчастій и страданій.

И Добролюбовъ, и Чернышевскій проповѣдывали освобожденіе личности изъ-подъ вѣшняго гнета, но гнетъ этотъ они видѣли въ дурныхъ общественныхъ условіяхъ, и освобожденіе личности полагали въ переработкѣ этихъ условій общими дружными усиліями. Писаревъ же подъ гнетомъ подразумѣвалъ различные предразсудки, устарѣлыя свѣтскіе обычаи и приличія; освобожденіе-же отъ нихъ возлагалъ исключительно на одну энергію и волю отдѣльной личности.

«Тѣ условія,—говоритъ онъ въ той-же статьѣ,—при которыхъ живетъ масса нашего общества,—такъ неестественны и нелѣпы, что человѣкъ, желающій прожить свою жизнь дѣльно и пріятно, долженъ совершенно оторваться отъ нихъ, не давать имъ надъ собою никакого вліянія, не дѣлать имъ ни малѣйшей уступки. Какъ вы попробуете на чемъ-нибудь помириться, такъ вы уже теряете вашу свободу; общество не удовлетворится уступками; оно вмѣшается въ ваши дѣла, въ вашу семейную жизнь, будетъ предписывать вамъ законы, будетъ налагать на васъ стѣсненія, пересуживать ваши поступки, отгадывать ваши мысли и побужденія. Каждый шагъ вашъ будетъ опредѣляться не вашею доброю волею, а разными общественными условіями и отношеніями; нарушеніе этихъ условій будетъ постоянно возбуждать толки, которые, доходя до васъ, будутъ досаждаютъ вамъ, какъ жужжаніе сотни мошекъ и комаровъ. Если-же вы однажды навсегда рѣшитесь махнуть рукою на пресловутое общественное мнѣніе, которое слагается у насъ изъ очень неблагоприятныхъ матеріаловъ, то васъ право скоро оставить въ покоѣ; сначала потолкуютъ, подвигаются или даже ужаснутся, но потомъ видя, что вы на это не обращаете вниманія, и что эксцентричности ваши идутъ себѣ чередомъ, публика перестанетъ вами заниматься, сочтетъ васъ за погибшаго человѣка и такъ или иначе оставитъ васъ въ покоѣ, перенеся на кого-нибудь другого свое милостивое вниманіе...»

Итакъ, вотъ основа нравственнаго идеала, выставяемаго Писаревымъ: это личность—самоосвободившаяся отъ всѣхъ нравственныхъ законовъ и принциповъ и свободно отдававшая своимъ страстямъ и похотямъ съ цѣлью извлечь изъ жизни такое количество разумныхъ наслажденій, какое только можетъ вмѣстить человѣческая природа. Именно этотъ самый идеалъ усматриваетъ Писаревъ въ тургеневскомъ Базаровѣ и прославляетъ его за это.

«Итакъ,—говоритъ онъ въ своей статьѣ *Базаровъ*—Базаровъ вездѣ и во всемъ поступаетъ только такъ, какъ ему хочется или какъ ему кажется [выгоднымъ и удобнымъ]. Имъ управляетъ только личная прихоть или личные расчеты. Ни надъ собой, ни вѣвъ себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа. Впереди—никакой высокой цѣли; въ умѣ—никакого высококачественнаго помысла, и при всемъ этомъ—силы огромныя.—Да вѣдь это безнравственный человѣкъ! Злодѣй, уродъ!—слышу я со всѣхъ сторонъ восклицанія негодующихъ читателей. Ну, хорошо, злодѣй, уродъ! браните больше, преслѣдуйте его сатирой и эпиграммой, негодующимъ лиризмомъ и возмущеннымъ общественнымъ мнѣніемъ, кострами инквизиціи и топорами палачей; и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его въ спиртъ на удивленіе почтенной публикѣ. Если базаровщина—болѣзнь, то

она бѣзнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровщинѣ какъ угодно—это ваше дѣло; а остановить—не остановите; это—та-же холера...»

Какъ истому сенсуалисту, одно только не нравится Писареву въ Базаровѣ: зачѣмъ онъ отрицаетъ обаяніе красотъ природы и тѣмъ уменьшаетъ количество наслажденій въ жизни человѣка. Писаревъ видитъ въ этомъ своего рода идеализмъ и аскетизмъ.

«Вооружась противъ идеализма,—говоритъ онъ,—и разбивая его воздушные замки, Базаровъ порою самъ дѣлается идеалистомъ, т. е. начинаетъ предписывать человѣку законы, какъ и чѣмъ ему наслаждаться и къ какой мѣрѣ приговяты свои личныя ощущенія. Сказать человѣку: не наслаждайся природою—все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Чѣмъ больше будетъ въ жизни безвредныхъ источниковъ наслажденія, тѣмъ легче будетъ жить на свѣтѣ, и вся задача нашего времени заключается именно въ томъ, чтобы уменьшить сумму страданій и увеличить силу и количество наслажденій.»

IV.

Но одною свободою отъ всѣхъ внутреннихъ и виѣшнихъ стѣсненій не исчерпывается еще идеаль Писарева. Вторымъ условіемъ личнаго самосовершенствованія Писаревъ ставитъ, какъ мы говорили выше, умственное развитіе въ духѣ реализма путемъ пріобрѣтенія естественнонаучныхъ, положительныхъ знаній. Въ этомъ отношеніи Писаревъ выказываетъ строгую послѣдовательность до конца, полагая единственное спасеніе міра въ распространеніи базаровскаго типа свободомыслящихъ и просвѣщенныхъ реалистовъ, и отрицая все и вся, чтó къ этому типу не подходитъ. Въ послѣдовательности этой онъ доходитъ до такой смѣлости, что не останавливается передъ отрицаніемъ даже какихъ бы то ни было нравственныхъ или умственныхъ достоинствъ того самаго народа, передъ которымъ въ то время преклонялись всѣ безъ исключеній:

«Реалистъ—мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ,—говоритъ онъ въ своей статьѣ *Реалисты*. Изъ этого опредѣленія читатель видитъ ясно, что реалистами могутъ быть въ настоящее время только представители умственного труда. При теперешнемъ устройствѣ матеріальнаго труда, при теперешнемъ положеніи чернорабочаго класса во всемъ образованномъ мірѣ, эти люди ничто иное какъ машины, отличающіяся отъ деревянныхъ и желѣзныхъ машинъ невыгодными способностями чувствовать утомленіе, голодъ и боль. Въ настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидятъ свой трудъ и совсѣмъ не занимаются размышленіями. Они составляютъ пассивный матеріаль, надъ которымъ друзьямъ человѣчества приходится много работать, но который самъ помогаетъ имъ очень мало и не принимаетъ до сихъ поръ никакой опредѣленной формы. Это—гуманное пятно, изъ котораго вырабатываются новые міры, но о которомъ до сихъ поръ рѣшительно нечего говорить. Заниматься съ любовью матеріальнымъ трудомъ—это въ настоящее время почти немислимо, а въ Россіи при нашихъ допотопныхъ приемахъ и орудіяхъ работы еще болѣе немислимо, чѣмъ во всякомъ другомъ цивилизованномъ обществѣ.

«Такимъ образомъ, самый реальный трудъ, приносящій самую осязательную и неоспоримую пользу, остается виѣ области реализма, виѣ области практическаго разума, въ тѣхъ подвалахъ общественнаго зданія, куда не проникаетъ ни одинъ лучъ обще-

человѣческой мысли. Что-жь намъ дѣлать съ этими подвалами? Покуда приходится оставить ихъ въ покоѣ и обратиться къ явленіямъ умственного труда, который только въ томъ случаѣ можетъ считаться позволительнымъ и полезнымъ, когда онъ прямо или косвенно клонится къ созиданію новыхъ міровъ изъ первобытнаго тумана, наполняющаго грязные подвалы.»

При такомъ презрительномъ, чисто барскомъ воззрѣніи на народъ, какъ бессмысленный агломератъ живыхъ машинъ, чуждыхъ всякой умственной и нравственной жизни, очень понятно, что Писаревъ не могъ иначе, какъ отрицательно, отнестись къ статьѣ Добролюбова *Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ*. Возвеличеніе Катерины Добролюбовымъ должно было показаться Писареву крайне дикимъ и неосновательнымъ. Какой-же лучъ свѣта въ темномъ царствѣ можно предполагать въ невѣжественной суевѣрной героинѣ *Грозы*, дрожавшей передъ каждымъ мало-мальски свободнымъ и самостоятельнымъ шагомъ и несумѣвшею найти никакого исхода изъ своей неволи, какъ лишь въ волнахъ Волги. — Развѣ таковы бывають настоящіе „лучи“?

«Умная и развитая личность, говоритъ Писаревъ, сама того не замѣчая, дѣйствуетъ на все, что къ ней прикасается; ея мысли, ея занятія, ея гуманное обращеніе, ея спокойная твердость,—все это шевелить вокругъ нея стоячую воду человѣческой рутины; кто уже не въ силахъ развиваться, тотъ по крайней мѣрѣ уважаетъ въ умной и развитой личности хорошаго человѣка,—а людямъ очень полезно уважать то, что дѣйствительно заслуживаетъ уваженія; но кто молодой, кто способенъ любить идею кто ищетъ возможности развернуть силы своего свѣжаго ума, тотъ, сблизившись съ умною и развитою личностью, можетъ быть начать новую жизнь, полную обаятельнаго труда и неистощимаго наслажденія. Если предполагаемая свѣтлая личность дастъ такимъ образомъ обществу двухъ-трехъ молодыхъ работниковъ, если они внушатъ двумъ-тремъ старикамъ невольное уваженіе къ тому, что они прежде осмѣивали и притѣсняли,—то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сдѣлала для облегченія перехода къ лучшимъ идеямъ и къ болѣе сноснымъ условіямъ жизни? Мнѣ кажется, что она сдѣлала въ малыхъ размѣрахъ то, что дѣлають въ большихъ размѣрахъ величайшія историческія личности. Разница между ними заключается только въ количествѣ ихъ, и потому оцѣнивать ихъ дѣятельность можно и должно посредствомъ одинаковыхъ пріемовъ. Такъ вотъ какіе должны быть «лучи свѣта» — не Катеринѣ чета».

Наконецъ мы замѣчаемъ у Писарева ту-же характеристическую черту, которая отличаетъ всѣхъ моралистовъ-индивидуалистовъ, а именно, ставя на первый планъ самосовершенствованіе личности, они затѣмъ и общественный прогрессъ выводятъ прямо изъ этого личнаго самосовершенствованія, такъ что общественный прогрессъ сводится у нихъ къ простому количественному размноженію носителей ихъ идеала. — Подобно тому, какъ Гоголь полагалъ, что крѣпостное право само собою парализуется по мѣрѣ того, какъ всѣ помѣщики проникнутся духомъ благочестія, какое онъ проповѣдывалъ, подобно тому, какъ гр. Л. Толстой мечтаетъ о воцареніи царства небеснаго на землѣ, какъ только каждый человѣкъ постигнетъ евангельскую истину, такъ и Писаревъ былъ убѣжденъ, что на землѣ не замедлитъ воцариться рай, какъ только все челоѣчество обратится въ трезвыхъ реалистовъ базаровскаго типа.

«Если естествознаніе обогатитъ наше общество мыслящими людьми,—говоритъ онъ въ заключеніе статьи *Цѣтты невиннаго юмора*, если наши агрономы, фабриканты и всякаго рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди вмѣстѣ съ тѣмъ выучатся понимать какъ свою собственную пользу, такъ и потребности того міра, который ихъ окружаетъ. Тогда они поймутъ, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою; поймутъ, что выгодиѣе и пріятнѣе увеличивать общее богатство страны, чѣмъ выманывать или выдавливать послѣдніе гроши изъ худыхъ кармановъ производителей и потребителей. Тогда капиталы наши не будутъ уходить за границу, не будутъ тратиться на безумную роскошь, не будутъ ухлопываться на бесполезныя сооруженія, а будутъ прилагаться именно къ тѣмъ отраслямъ народной промышленности, которыя нуждаются въ ихъ содѣйствіи. Это будетъ дѣлаться такъ потому, что капиталисты во-первыхъ будутъ правильно понимать свою выгоду, а во-вторыхъ будутъ находить наслажденіе въ полезной работѣ. Это предположеніе можетъ показаться идиллическимъ, но утверждать, что оно—неосуществимо, значитъ утверждать, что капиталистъ—не человѣкъ и даже никогда не можетъ сдѣлаться человѣкомъ. Что касается до меня, то я рѣшительно не вижу резона, почему сынъ капиталиста не могъ-бы сдѣлаться Базаровымъ или Лопуховымъ, точно такъ-же какъ сынъ богатаго помѣщика сдѣлался Рахметовымъ. Для того чтобы подобныя превращенія были возможны и даже обыкновенны, необходимо только чтобы въ нашемъ обществѣ постоянно поддерживалась та свѣжая струя живой мысли, которую вносить къ намъ зарождающееся естествознаніе. Если всѣ наши капиталы, если всѣ умственныя силы нашихъ образованныхъ людей обратятся на тѣ отрасли производства, которыя полезны для общаго дѣла, тогда разумѣется дѣятельность нашего народа усилится чрезвычайно, богатство его будетъ возрастать постоянно, и качество его мозга будетъ улучшаться съ каждымъ десятилѣтіемъ. А если народъ будетъ дѣятеленъ, богатъ и уменъ, то что можетъ помѣшать ему сдѣлаться счастливымъ во всѣхъ отношеніяхъ»...

Въ этихъ *идиллическихъ предположеніяхъ*, какъ выражается самъ Писаревъ, онъ не былъ одинокимъ, а представлялся выразителемъ тысячъ людей одного съ нимъ типа, которые лишь на видъ казались такими рѣшительными и страшными отрицателями, а на самомъ дѣлѣ ни къ чему не стремились, какъ лишь къ мирному прогрессу путемъ распространенія естественно-научныхъ знаній.

Увлекаясь естественными науками и видя въ распространеніи естественно-научныхъ знаній панацею ото всѣхъ общественныхъ золъ, Писаревъ весьма естественно изъ всѣхъ литературныхъ и журнальныхъ отраслей особенно высоко ставилъ популяризацию наукъ. Мы видѣли, что даже Щедрина онъ совѣтовалъ бросить писать сатиры и сдѣлаться популяризаторомъ. И смѣемъ думать, что это не была со стороны Писарева одна иронія и полемическая выходка. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ совершенно серьезно популяризацию естественно-научныхъ знаній ставилъ неизмѣримо выше какихъ-бы то ни было беллетристическихъ произведеній и покрепне вѣрилъ, что въ будущемъ искусство сдѣлается ничѣмъ инымъ, какъ именно популяризацией науки. Такъ, въ концѣ своей статьи *Реалисты*, распространяясь о великомъ значеніи популяризации, онъ прямо говоритъ:

«Популяризаторъ непременно долженъ быть художникомъ слова, и высшая, прекраснѣйшая, самая человѣческая задача искусства состоитъ именно въ томъ, чтобы слиться съ наукою и посредствомъ этого сліянія дать наукѣ такое практическое могущество, котораго она не могла-бы приобрести исключительно своими собственными

средствами. Наука даетъ матеріалъ художественному произведенію, въ которомъ все— правда и все— красота; самая смѣлая фантазія не можетъ ничего подобнаго придумать. Такія художественныя произведенія человѣкъ создастъ еще въ послѣдствіи, когда онъ много поумнѣетъ и еще очень многому выучится; но робкія попытки, превосходныя для нашего времени, существуютъ въ этомъ родѣ и теперь...

И далѣе затѣмъ онъ излагаетъ по пунктамъ правила, которыя долженъ соблюдать хорошей популяризаторъ, желающій принести своими популярными статьями истинную пользу. Правила эти— столь замѣчательны, что до сихъ поръ они должны служить руководствомъ для каждаго, кто занимается популяризацией какихъ-либо знаній.

Не ограничиваясь однимъ восхваленіемъ популяризации знаній и предписаніемъ правилъ для нея, Писаревъ какъ извѣстно и самъ усердно послужилъ этому дѣлу, и въ теченіе своей литературной дѣятельности представилъ цѣлый рядъ блестящихъ популярныхъ статей по естествознанію и исторіи, которыя и теперь еще читаются молодежью съ большимъ увлеченіемъ.

Но какъ мы сказали выше, всѣмъ этимъ не исчерпывается значеніе Писарева въ нашей литературѣ. Своими эстетическими отрицаніями, проповѣдью базаровскаго типа и популяризацией естественно-научныхъ знаній,— онъ выразилъ лишь тотъ историческій моментъ, въ который развернулась его литературная дѣятельность. Все это были одни лишь молодыя, преходящія увлеченія, и если-бы ими одними исчерпывалась вся дѣятельность Писарева, то сочиненія его кромѣ развѣ нѣсколькихъ популярныхъ— компилятивныхъ статей конечно давно были-бы забыты. Но въ его критическихъ статьяхъ вы найдете нѣчто стоящее неизмѣримо выше его молодыхъ увлеченій и что никогда не потеряетъ свою цѣну. Это именно— блестящій и чуткій критическій талантъ, вооруженный могучимъ, смѣлымъ и безпощаднымъ анализомъ. Этотъ анализъ стоитъ по нашему мнѣнію на одной высотѣ съ добролюбовскимъ и составляетъ главное достоинство критическихъ статей Писарева. Онъ будитъ молодой умъ, заставляетъ вглядываться вокругъ себя пытливымъ взоромъ, сразу раскрываетъ передъ неопытными глазами массу лжи, дѣланности и возмутительнаго зла въ такихъ явленіяхъ жизни, которыя примелькались, и не только не отвращаютъ отъ себя, но кажутся даже чѣмъ-то похвальнымъ и доблестнымъ, и, въ концѣ концовъ, вполне разрушаетъ всѣ дѣтскія радужныя иллюзіи. Таково дѣйствіе такихъ статей, какъ *Стоячая вода*, *Писемскій*, *Тургеневъ и Гончаровъ*, *Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго*, *Тургенева и Гончарова*, *Романъ кисейной барышни*, *Подростающая гуманность*, *Погибіи и пошибающіе*, *Борьба за жизнь*, *Старое барство* и пр. Статьи эти до сихъ поръ читаются съ большимъ увлеченіемъ и несомнѣнною пользою и долго еще не будутъ забыты.

V.

Подъ вліяніемъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева русская критика передового лагеря движенія до сихъ поръ сохраняетъ публицистическій характеръ разсмотрѣнія художественныхъ произведеній съ точки зрѣнія ихъ общественно-политическаго значенія и анализа воспроизводимыхъ ими фактовъ съ цѣлью рѣшенія тѣхъ или другихъ общественныхъ вопросовъ или проведенія какихъ-либо

политическихъ идей. Какъ на наиболѣ выдающихся по своей талантливости и занимавшихъ въ различное время первое мѣсто въ передовой журналистикѣ изъ всѣхъ послѣдовавшихъ по смерти Добролюбова и Писарева критиковъ мы считаемъ необходимымъ обратить вниманіе на двухъ: Максима Алексѣевича Антоновича и Николая Константиновича Михайловскаго.

М. Ал. Антоновичъ родился 27-го апрѣля 1835 г. въ Бѣлопольѣ, харьковской губерніи. Онъ былъ сынъ дьячка. Учился въ харьковской семинаріи, гдѣ кончилъ курсъ въ 1855 году и поступилъ въ петербургскую духовную академію, откуда вышелъ въ 1859 году кандидатомъ богословія. Изъ сообщенныхъ Антоновичемъ автобиографическихъ свѣдѣній, напечатанныхъ въ словарѣ С. А. Венгерова, мы видимъ, что „главнымъ образомъ духовная жизнь студентовъ слагалась подъ вліяніемъ текущей журналистики. Новыя вѣянія, широкою волною хлынувшія на все русское студенчество вообще, захватили и студенчество академическое. Будущіе богословы не только зачитывались *Современникомъ*, они пропикали тайкомъ въ Публичную Библіотеку и тамъ добывали Kraft und Stoff Бюхнера и даже *Жизнь Иисуса* Давида Штрауса. Выпускъ 1859 года, къ которому принадлежалъ Антоновичъ, не далъ ни одного монаха“.

Будучи на 4-мъ курсѣ, Антоновичъ отнесъ въ *Современникъ* статью, подобравши въ ней коллекцію современныхъ проповѣдей, въ которыхъ только и можно было найти, что „восплачтите, братія“, „плачьте, люди, день и ночь“, „рыдайте, грѣшники“ и т. д. Статья была сдана на просмотръ Добролюбову; онъ нашелъ сюжетъ мало-интереснымъ, но изложеніе ему понравилось, и онъ предложилъ Антоновичу написать что-нибудь хотя-бы тоже изъ знакомой ему церковной сферы, но вмѣстѣ съ тѣмъ любопытное и для всей публики. Результатомъ этого предложенія явилась неподписанная статья о книгѣ Щапова *Расколъ старообрядчества* (*Совр.* 1859 г., № 10), въ которой начало прилѣлано Добролюбовымъ. Съ тѣхъ поръ Антоновичъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ *Современника*; сначала писалъ статьи о книгахъ философскаго содержанія, со смертью-же Добролюбова въ 1861 г. перешелъ на критическій отдѣлъ, а съ 1863 г., послѣ ареста Чернышевскаго, ему было пред- ставлено редактированіе этого отдѣла.

Уже въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, при Добролюбовѣ и Чернышевскомъ, Антоновичъ обратилъ на себя вниманіе своими философскими статьями, каковы: *Современная философія* (по поводу философскаго лексикона Гогоцкаго), *Два типа современныхъ философовъ* (по поводу *Трехъ бесѣдъ о современномъ значеніи философіи* П. Л. Лаврова), *О Гегелевской философіи* (по поводу книги Тайна — Гегель и его время), *Современная физиологія и философія* (о Физиологіи обыденной жизни Льюиса), но наибольшее впечатлѣніе произвелъ онъ своею критикою *Отцовъ и дѣтей* Тургенева въ № 3 *Современника* за 1862 годъ, подъ заглавіемъ *Асмодей нашего времени*. Статья эта конечно далеко не удовлетворитъ насъ, если мы будемъ смотрѣть на нее съ точки зрѣнія идеала истинной художественной критики и искать въ ней всесторонняго разбора романа Тургенева. Она носитъ, какъ и большинство критикъ того времени прогрессивнаго лагеря, исключительно публицистическій характеръ, и сравненіе романа Тургенева съ *Асмодеемъ* Асоченскаго конечно сдѣлано не въ серьезъ,

а есть лишь рѣзкій полемическій приѣмъ, имѣющій цѣлью повалить врага однимъ ударомъ. Но статья Антоновича вѣдь и написана была не для изслѣдователей таланта Тургенева, учителей словесности и ихъ учениковъ и не для потомства; это была боевая статья, требуемая обстоятельствами времени, и она достигла своей цѣли. Нужно взять во вниманіе ту вредную разлагающую сенсацію, какую произвелъ романъ Тургенева въ русскомъ обществѣ, восторгъ реакціонеровъ, положительно поднявшихъ головы послѣ появленія романа, въ которомъ передовое молодое поколѣніе, жаждущее свѣта и блага, было изображено въ видѣ нигилистовъ, бессмысленно отрицающихъ все и вся, на каждомъ шагу сами себѣ противорѣчащихъ и попадающихъ въ глупые просаки. Обиднѣ всего было то, что значительная часть самого молодого поколѣнія не поняла той пощечины, какая ей была дана Тургеневымъ, и начала искать своего идеала въ образѣ Базарова, и въ числѣ такихъ не раскусившихъ оскорбленія было вдругъ свѣтло молодой критики въ лицѣ Писарева, начавшаго носиться со своимъ базаровскимъ типомъ. Статья Антоновича въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ была необходимымъ отпоромъ противъ восторженныхъ овацій оперявшейся реакціи; разобравши всѣ несообразности романа Тургенева и доказавши, что Базаровъ есть клевета на молодое поколѣніе, Антоновичъ умѣрил восторги противниковъ и открылъ глаза тѣмъ изъ своихъ единомышленниковъ, которые желали видѣть.

Вмѣстѣ со всѣмъ этимъ статья Антоновича впервые вполне ясно опредѣлила тотъ антагонизмъ, какой таился въ средѣ прогрессивнаго лагеря между фракціею народниковъ *Современника* и естественниковъ *Русскаго слова*. Между обоими журналами возникаетъ съ этого момента ожесточенная полемика, которая велась не изъ одной только вражды двухъ конкурирующихъ журналовъ и вовсе не была лишь личнымъ турниромъ Антоновича съ Писаревымъ и Зайцевымъ изъ-за того, кому занимать первое мѣсто въ критикѣ,—а именно борьбою двухъ фракцій: вся молодежь того времени раздѣлилась на два лагеря—на приверженцевъ *Современника* и *Русскаго Слова*. Полемическіе фельетоны Антоновича, подписанные *Постороннимъ сатирикомъ*, читались точно такъ-же нарасхватъ, какъ и отвѣты и отругиванья на нихъ сотрудниковъ *Русскаго Слова*. Въ ожесточеніи борьбы много было сказано излишняго съ обѣихъ сторонъ; противники доходили до такого самозабвенія, что принципиальную полемику замѣняли площадною руганью не совсѣмъ хорошаго тона; это роняло партію въ глазахъ противниковъ. Но приверженцы обѣихъ фракцій прощали своимъ друзьямъ всѣ излишества, отлично понимая, что не въ нихъ главная суть, и къ тому-же находясь съ своими вождями на одной степени грубости русской культуры.

Во всякомъ случаѣ борьба *Современника* съ *Русскимъ Словомъ* имѣетъ значеніе въ русской литературѣ вовсе не такое маловажное, какъ это кажется многимъ, и она ждетъ еще своей исторіи. Прекращеніе обѣихъ журналовъ—*Современника* и *Русскаго Слова* въ 1866 году положило конецъ этой борьбѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ оно положило конецъ и обаянію ея героевъ. Вообще 1866 годъ былъ кризисомъ въ передовомъ лагерѣ, послѣ котораго прежніе представители критики и полемики сходять со сцены, а на сцену выступаютъ новые. Писаревъ сразу какъ-то ступивался, войдя въ обновленные *Отечественныя записки*, и вскорѣ умеръ, а Анто-

новичъ, разорвавъ съ Некрасовымъ, въ свою очередь потерялъ свой прежній престижъ.

Разрывъ Антоновича съ Некрасовымъ—явленіе сложное, обусловливается разными причинами и не пришло еще время для всесторонняго и историческаго разсмотрѣнія его. Мы обратимъ лишь вниманіе вотъ на какое бросающееся въ глаза обстоятельство, составляющее по нашему мнѣнію внутреннюю философію этого факта. Замѣчательно здѣсь то странное противорѣчіе, что тотъ-же самый Антоновичъ, который нападалъ на „вислухихъ“ *Слова* преимущественно за ихъ политическій индифферентизмъ и преслѣдованіе однихъ индивидуально-нравственныхъ идеаловъ, самъ въ своей распрѣ съ Некрасовымъ всталъ на ту-же индивидуально-нравственную почву. Съ этой точки зрѣнія онъ былъ вполне правъ, такъ какъ дѣйствительно послѣ всего того, что онъ писалъ о Краевскомъ въ *Современникъ*, входить съ нимъ въ какія-бы ни было сдѣлки и тѣмъ болѣе сотрудничать въ издаваемомъ имъ журналѣ—могло нравственно претить Антоновичу, казаться ему и постыднымъ, и унижительнымъ. Правъ онъ былъ передъ своею совѣстью и въ томъ отношеніи, что разъ усвоивъ идеалъ кооперативнаго труда, онъ не соглашался вступать въ какой-либо журналъ иначе какъ на правахъ полномочнаго соиздателя. Но онъ не принялъ при этомъ во вниманіе политическихъ условій даннаго момента и не сообразилъ, что еслибы всѣ прочіе сотрудники *Современника* подобно ему заботились лишь о нравственной чистотѣ и вѣрности своимъ идеаламъ, партія его была-бы лишена всякой возможности имѣть свой органъ, и общество гораздо болѣе выиграло отъ перехода *Отечественныхъ Записокъ* къ Некрасову, чѣмъ если-бы среди него осталось нѣсколько талантливыхъ писателей безъ дѣла, и имъ только и оставалось-бы, что въ сознаніи своего нравственнаго совершенства вертѣть палецъ вокругъ пальца.

И замѣчательно, что разъ вступивъ на индивидуально-нравственную почву, Антоновичъ въ самой жизни своей не замедлилъ весьма послѣдовательно осуществить тотъ самый базаровскій типъ, который нѣкогда проповѣдывалъ Писаревъ и надъ которымъ онъ такъ беспощадно потѣшался:—онъ совершенно отрѣшился отъ литературнаго движенія и весь ушелъ въ занятія естественными науками, увлекшись геологіею, и изучивши эту науку до такой спеціальности, что въ 1871 г. ему удалось сдѣлать довольно важное открытіе Дѣвонской формаціи по берегамъ зап. Двины.

Участіе-же его въ различныхъ литературныхъ органахъ было послѣ 1866 года очень рѣдко, случайно и мимолетно.

VI.

Послѣ Антоновича, вмѣстѣ съ переходомъ *Отечественныхъ Записокъ* подъ редакцію Некрасова, первое мѣсто въ критикѣ занялъ Николай Константиновичъ Михайловскій.

Михайловскій родился 1842 году 15-го ноября въ г. Мещовскѣ, калужской губерніи, въ бѣдной дворянской семьѣ. Воспитывался онъ въ Горномъ корпусѣ, но не кончилъ тамъ полнаго курса. Литературное поприще свое онъ началъ въ 1862 году, въ

томъ-же *Разсвѣтъ* Крещина, гдѣ выступилъ впервые и Д. И. Писаревъ. — Затѣмъ статьи его встрѣчаются въ *Современномъ Обозрѣніи* Тиблена, въ альманахѣ *Невскій сборникъ*, изд. въ 1867 г. В. Курочкинымъ, въ *Недѣль* 1868 года. Въ *Отечественныя Записки* онъ былъ приглашенъ въ 1869 году и дебютировалъ статьями: *Что такое прогрессъ* (Герб. Спенсеръ, Собраніе сочиненій), въ №№ 2, 9 и 11 1869 г. *По поводу русскихъ уголовныхъ процессовъ* въ № 4 и 5 того-же года, *Аналогическій методъ въ общественной наукѣ* № 7 и пр. Изъ философо-публицистическихъ статей его позднѣйшаго времени упомянемъ какъ наиболѣе замѣчательныя — *Теорія Дарвина и общественная наука* (От. З. 1870 г., №№ 1, 3 и 1871 г., № 1), *Органъ, недѣлимое, общество* (1870, № 12), *Замѣтки о Дарвинизмѣ* (1871, № 12), *Что такое счастье* (1872, № 3, 4), *Борьба за индивидуальность, социологическіе очерки* (1875, № 10, 1876 г. №№ 1, 3, 6), *Волница и подвижники, историческія параллели* (1877, № 1), *Герои и толпа* (1882, № 1, 2, 5). Изъ литературно-критическихъ статей его наиболѣе выдаются *Суздальцы и Суздальская критика* (1870, № 4), *Десница и шуйца гр. Л. Толстого* (1875, №№ 5, 6, 9), *Жестокій талантъ* (о Ф. Достоевскомъ) (1882, № 10), *О Тургеневѣ* (1884, № 9), *О Глѣбѣ Успенскомъ* (1883, № 12 и передовая статья къ полному собранію сочиненій Гл. Успенскаго, изд. 2-е Ф. Павленкова), *О Щедринѣ* (въ *Русск. Вѣд.* 1889 г.), *Ник. Вас. Шелгуновъ* — вступительная статья къ собранію „Сочиненій Н. Шелгунова“ (изд. Ф. Павленкова 1890 г.) и пр. Сверхъ того рядъ критико-литературныхъ фельетоновъ въ *От. Запискахъ* и *Сѣв. Вѣстникѣ* подъ псевдонимами: Профанъ, Иванъ Непомнящій, Темкинь.

Чтобы понять значеніе Михайловскаго какъ философа, публициста и критика, нужно взять во вниманіе тотъ моментъ, въ который онъ выдвинулся, — конецъ шестидесятыхъ годовъ. — Это было время, въ которое мы вступали въ новую фазу современной эпохи. Реформы шестидесятыхъ годовъ были почти всѣ уже совершены, и въ общественной жизни наступилъ моментъ полного затишья. Бойцы, нѣкогда ожесточенно боровшіеся, хотя и продолжали смотрѣть другъ на друга враждебно, но ограничивались рѣдкою, вялою перестрѣлкою, считали убитыхъ и раненыхъ, отдавали отчетъ въ занятыхъ и потерянныхъ позиціяхъ и отдыхали. Въ большинствѣ общества чувствовалось тяжелое изнеможеніе; хотя всѣми ощущался смутный страхъ при видѣ надвигающейся реакціи, но самый этотъ страхъ былъ какой-то вялый и апатичный, да и самая реакція была въ какомъ-то неопредѣленномъ состояніи, пугливо оглядывалась назадъ въ нерѣшимости, дѣлать или не дѣлать новые шаги впередъ. Но при всеобщемъ затишьи общественной жизни эпоха тѣмъ не менѣе представляла сильное умственное броженіе, являвшееся результатомъ всего пережитаго. Все старое міросозерпаніе, начиная съ патриархальныхъ взглядовъ на міръ Божій нашихъ предковъ и кончая метафизическими умствованіями сороковыхъ годовъ, было окончательно расшатано, повержено, и приверженцы этого міросозерпанія отгрызались уже не какими-либо научными или логическими доводами, а лишь грязными инсинуаціями криминальнаго свойства: не въ силахъ будучи возражать, они только и дѣлали, что кричали караулъ, сваливая въ одну кучу вмѣстѣ съ молодыми, здоровыми и свѣжими отпрысками новыхъ идей всевозможныя заблужденія, возникавшія ежеминутно на почвѣ умственной не-

зрѣлости и нравственной распущенности нашего общества. И къ тому-же не они одни дѣлали это сваливаніе въ одну кучу всего, что не принадлежало къ ихъ завѣтнымъ преданіямъ: куча эта и безъ нихъ существовала во всемъ своемъ хаотическомъ безобразіи. Сами приверженцы новаго міросозерцанія безразлично сваливали въ одну грудку все, въ чемъ замѣчалась хотя тѣнь протеста противъ гнилого и отжившаго, будь этотъ протестъ самый неосмысленный и нелѣпый. Однимъ словомъ, это была эпоха полной умственной анархіи. Новыя реальныя идеи проповѣдывались и принимались по большей части въ видѣ прекрасныхъ, но тѣмъ не менѣе отрывочныхъ афоризмовъ безо всякой систематической связи и зрѣлой философской выработки. Сначала каждый такой афоризмъ принимался съ громкими рукоплесканіями съ одной стороны, и съ криками ужаса—съ другой, и чѣмъ круче и смѣлѣе онъ ставился, тѣмъ болѣе возбуждалъ шума, а подъ конецъ дѣло дошло до того, что въ хаотической кучѣ нельзя уже было ничего разобрать—истинно прогрессивнаго отъ ложнаго, пшеницы отъ плевелъ, и въ самомъ прогрессивномъ лагерѣ началось кулачное право, присущее каждой анархіи, въ которомъ, какъ это всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, своя своихъ не познаша и побиша. Полемика *Современника* съ *Русскимъ Словомъ*, Антоновича съ Писаревымъ, Зайцевымъ и Благосвѣтловымъ—была однимъ изъ яркихъ проявленій этого кулачнаго права. Конечно не обоюдными ругательствами, площадною бранью, не взаимными усиліями повергнуть другъ друга въ грязь можно было распутать всю эту путаницу взаимныхъ недоразумѣній. Здѣсь прежде всего былъ необходимъ свѣтъ знанія и философско-систематической мысли. Въ подобное—то смутное время какъ нельзя болѣе кстати было появленіе публициста, который обладалъ-бы сильнымъ, яснымъ, философски развитымъ и снабженнымъ богатою начитанностью умомъ,—публициста, который принялъ-бы на себя трудную и неблагодарную обязанность расчистить хаотическую кучу отъ всего накопившагося въ ней мусора, собрать все что было въ ней драгоцѣннаго и облечь его въ стройную философскую систему. Такимъ желаннымъ публицистомъ и явился Михайловскій.

На Михайловскаго часто сѣтовали за преобладаніе въ его статьяхъ философскаго элемента, за то что онъ дѣйствуетъ болѣе на развитіе ума, чѣмъ на возбужденіе сердца и воли, что онъ—человѣкъ кабинетной мысли, а не практическаго дѣла, философствуетъ и обсуждаетъ, вмѣсто того чтобы встать во главѣ движенія практическимъ руководителемъ и пр. и пр. Но всѣ подобныя сѣтованія совершенно излишни и обнаруживаютъ лишь непониманіе ни характера, ни потребностей времени, въ которое началась литературная дѣятельность Михайловскаго. Во главѣ какого практическаго движенія могъ встать Михайловскій въ такое время, когда не представлялось вокругъ ничего ни побуждающаго, ни допускающаго двигаться, а между тѣмъ въ виду была очень почтенная и необходимая работа систематизаціи новыхъ идей,—работа, отъ которой зависѣла вся будущность лагеря, къ которому Михайловскій принадлежалъ. И вотъ онъ принялся за эту работу, и въ первыхъ-же своихъ статьяхъ обнаружилъ въ себѣ человѣка, вполне способнаго совершить ее по всѣмъ своимъ какъ умственнымъ, такъ и нравственнымъ качествамъ.

Главная сила таланта Михайловскаго заключается именно въ глубокомъ, ясномъ, философски-воспитанномъ умѣ, обладающемъ при богатой эрудиціи непреоборимою

діалектикою, всеразлагающимъ анализомъ и своеобразнымъ остроуміемъ, отличающимся не мишурнымъ блескомъ какихъ-либо кунштюковъ и каламбурцевъ, основанныхъ на внѣшней игрѣ словъ, а на способности выставить различныя нелѣпности и безобразія во всемъ ихъ абсурдѣ чисто философскимъ путемъ. Убийственный огонь критическихъ и полемическихъ статей Михайловскаго вскорѣ-же послѣ появленія почтеннаго публициста на литературномъ поприщѣ сдѣлался страшнымъ не для однихъ записныхъ и завлѣтыхъ враговъ его лагеря, но и для многихъ мнимыхъ друзей, которые были въ глазахъ Михайловскаго вреднѣе самихъ враговъ въ томъ отношеніи, что портили дѣло, запутывая умы и безъ того не твердые въ мышленіи, тѣмъ что подъ знаменемъ прогрессивныхъ идей и передовыхъ западныхъ авторитетовъ подносили русской публикѣ всякое гнилье. Желая очистить лагерь отъ этихъ мнимыхъ друго-враговъ (какъ выразился въ одной своей статьѣ Михайловскій), онъ, не ограничиваясь ими, предалъ глубокому анализу и западные авторитеты, чтобы и въ нихъ очистить шеницу отъ плевелъ и научить русскую публику обращаться къ нимъ критически, не принимая каждое ихъ слово на вѣру. Его статьи о Спенсерѣ, о Дарвинѣ и вообще по социологій имѣютъ не одно только публицистическое значеніе, а представляютъ цѣнный вкладъ въ науку, и если-бы ихъ перевести на одинъ изъ иностранныхъ языковъ, онѣ не замедлили-бы доставить автору ихъ общеевропейскую извѣстность.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

I—Общая характеристика школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ; ея отношеніе къ вѣку и значеніе. II—Ив. Сер. Тургеневъ, какъ глава этой школы; происхожденіе Тургенева; его родители. III—Дѣтство; университетское образованіе; путешествіе за границу послѣ университета. IV—Первые шаги на литературномъ поприщѣ. Стихотворенія и первыя антиромантическія повѣсти. V—*Записки охотника*. Ссылка. Дальнѣйшіе факты жизни Тургенева до его смерти. VI—Характеристика самаго цвѣтущаго періода дѣятельности Тургенева. VII—Романъ *Отцы и дѣти* и характеристика четвертаго послѣдняго періода дѣятельности Тургенева. VIII—Общее значеніе Тургенева какъ художника. Его политическія и эстетическія воззрѣнія.

I.

Самымъ крупнымъ явленіемъ въ области изящной литературы въ разсматриваемую намъ эпоху является безъ сомнѣнія школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Школа эта, представляющая цѣлую плеяду могучихъ талантовъ, обогатившихъ русскую литературу несмѣтнымъ количествомъ первостепенныхъ произведеній, безспорно является замѣчательнѣйшимъ явленіемъ не только въ русской жизни, но и въ обще-европейской. Нѣтъ ничего удивительнаго, что Европа въ настоящее время взапуски переводитъ на всѣ свои языки произведенія этой школы, и чѣмъ болѣе ихъ переводитъ, тѣмъ болѣе удивляется ихъ совершенству, восхищается ихъ художественностью, проникается ихъ идейнымъ содержаніемъ, подражаетъ имъ, — и вообще ставитъ ихъ въ ряду высшихъ проявленій европейскаго искусства. Въ произведеніяхъ этихъ Европа увидѣла уже не одинъ младенческій лепетъ пробуждающагося генія, не одно только болѣе или менѣе талантливое отраженіе ея европейскихъ думъ, чувствъ и образовъ, а нѣчто зрѣлое, самостоятельно пережитое, органически произросшее на своей собственной почвѣ и къ тому-же глубоко проникнутое такими высокими и гуманными идеями, которыя представляются заветною святынею всего человѣчества.

Этими своими достоинствами школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ, какъ и все великое, обязана тому, что она представляетъ собою явленіе крайне сложное, — соединеніе въ одномъ всепоглощающемъ синтезѣ нѣсколькихъ теченій, которыя до того времени текли врозь и каждое само по себѣ страдало односторонностью.

Такъ прежде всего въ этой школѣ какъ нельзя болѣе органически и счастливо

соединились два течения того времени: съ одной стороны пушкинская объективность, художественная созерцательность всего, что было въ русской жизни поэтичнаго, съ другой отрицательно-сатирическая струя натуральной гоголевской школы, обращавшей главное вниманіе на несовершенства русской жизни. Нужно-ли и говорить о томъ, что каждое изъ этихъ теченій само по себѣ страдало крайнею односторонностью. Пушкинская художественная созерцательность, которой такъ восхищались наши оппортунисты, могла обогатить русскую литературу рядомъ произведеній въ духѣ чистаго искусства, художественныхъ и поэтичныхъ, но имъ не доставало-бы того живого общественнаго значенія, которое имѣютъ произведенія беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Въ свою очередь отрицательно-сатирическое теченіе натуральной школы лишило-бы произведенія беллетристовъ сороковыхъ годовъ ихъ чарующихъ художественныхъ красотъ, придадо-бы имъ тотъ слишкомъ сухой, черствый характеръ, какой имѣютъ отличительныя произведенія конца пятидесятихъ годовъ. Соединеніе-же обоихъ теченій въ произведеніяхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ повело за собою тотъ прекрасный результатъ, что русская жизнь въ этихъ произведеніяхъ рисуется всесторонне, какъ во всѣхъ ея мрачныхъ и отрицательныхъ явленіяхъ, такъ и въ прекрасныхъ и поэтичныхъ. При всемъ различіи въ индивидуальныхъ качествахъ и чертахъ тѣхъ или другихъ беллетристовъ этой школы произведенія ихъ имѣютъ много сходнаго между собою въ томъ отношеніи, что отъ большинства ихъ въ одинаковой степени пахнетъ деревней, благоуханіемъ широкихъ луговъ, пашень и тѣнистыхъ садовъ, окружавшихъ старинныя помѣщичьи усадьбы; во всѣхъ нихъ вы найдете массы ландшафтовъ сельской природы и цѣлую галлерею женскихъ типовъ,—одинъ другого плѣнительнѣе и граціознѣе; большинство ихъ преисполнено вмѣстѣ съ тѣмъ юмора, иногда саркастически горькаго, большею-же частью добродушно-веселаго, чисто народно-русскаго.

Но этимъ соединеніемъ двухъ теченій русской поэзіи не ограничилась школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Въ ней не замедлило отразиться и то социально-правственное движеніе, то броженіе идей, какое мы видѣли въ передовыхъ интеллигентныхъ слояхъ нашего общества въ сороковые и пятидесятие годы. Такъ какъ движеніе это совершалось подъ вліяніемъ французской литературы тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, въ послѣдней-же наиболѣе всего передовыя идеи вѣка выражались въ школѣ романтиковъ, въ главѣ которыхъ стояли Викторъ Гюго и Жоржъ-Зандъ, то эти два писателя наибольшее вліяніе оказали на беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Но необходимо поставить на видъ, что вліяніе это было чисто умственное и нравственное, а отнюдь не художественное; беллетристы сороковыхъ годовъ прониклись лишь тѣми гуманными и демократическими идеями, которыя проповѣдывали любимые ихъ беллетристы, но въ то-же время остались чужды того восторженнаго идеализма, которымъ проникнуты произведенія французскихъ романтиковъ, и избѣгли воплощеній новыхъ идеаловъ въ различные фантастическіе образы, какіе мы находимъ въ произведеніяхъ Виктора Гюго и Жоржъ-Зандъ. Здѣсь вліяли съ одной стороны врожденныя сѣвернымъ народамъ трезвость мысли и склонность къ натурализму; съ другой—то реальное направленіе, по которому безвозвратно пошла русская литература подъ вліяніемъ Пушкина и Гоголя.—При такихъ условіяхъ вліяніе фран-

пузскихъ романтиковъ на нашихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ выразилось въ томъ, что, проникшись ихъ идеалами, они на основаніи этихъ идеаловъ приступили къ анализу русской жизни, который и составляетъ главную силу и достоинство школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ.

Мы уже говорили выше, что анализъ всѣхъ основъ современныхъ обществъ, который составляетъ преобладающее явленіе XIX вѣка во всей Европѣ, по необходимости долженъ былъ въ нашей литературѣ принять наиболѣе рѣшительный, интенсивный характеръ, такъ какъ намъ нечего было жалѣть, сохранять, не передъ чѣмъ останавливаться; дѣйствительность была слишкомъ мрачна, такъ и бросалась въ глаза массою самыхъ безобразныхъ явленій. А тутъ еще присоединилась реакція пятидесятихъ годовъ, когда эти безобразныя явленія усилились и количественно, и качественно, а въ то-же время по всей Европѣ водворилась безпросвѣтная мгла, которой не видѣли исхода.

При такихъ условіяхъ анализъ отрицательныхъ сторонъ русской жизни принялъ въ произведеніяхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ еще болѣе мрачный и развѣдающій характеръ. Они утратили ту бодрость духа и жизнерадостность, которая отличаетъ многія первыя ихъ произведенія, писанныя до 1848 года, и напротивъ того исполнились скептическаго взгляда на жизнь и людей подъ-часъ вполне пессимистическаго характера. Привычка анализировать, разлагать явленія жизни и обращать главное вниманіе на отрицательныя ихъ стороны дошла до того, что подобно Гоголю беллетристы сороковыхъ годовъ утратили способность изображать идеальныя типы. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что всѣ попытки ихъ въ этомъ родѣ (Исаровъ, Штольцъ) отличаются одинаковой неудачей: идеальныя типы выходятъ у нихъ не живыми людьми, а отвлеченными фигурами, крайне натянутыми, безжизненными и неестественными. Это-же преобладаніе въ беллетристахъ сороковыхъ годовъ скептическаго анализа и отрицательнаго отношенія къ жизни повело къ тому, что въ шестидесятыя годы, когда наступила эпоха новыхъ людей, новыхъ идей и идеаловъ, когда восторженные послѣдователи этого движенія ожидали отъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, что они не замедлятъ встать во главѣ его, облечутъ въ величественныя и блестящія образы новыя идеалы, беллетристы обманули всеобщія ожиданія: они всѣ отнеслись и къ новому движенію и къ новымъ людямъ съ тѣмъ-же скептическимъ отрицаніемъ, съ какимъ привыкли относиться ко всѣмъ явленіямъ жизни.

Всѣ они были вслѣдствіе этого обвинены въ измѣнѣ, ренегатствѣ, но это совершенно неправильно и напрасно. На самомъ дѣлѣ измѣнилось время, измѣнились требованія, беллетристы-же сороковыхъ годовъ напротивъ того оттого именно и встали въ разладъ съ движеніемъ, что ни мало не измѣнились, а остались тѣми-же, чѣмъ были и прежде. Здѣсь произошло удивительное *qui-pro-quo* въ томъ отношеніи, что неисправимые скептики и отрицатели бросили обвиненіе въ отрицаніи и нигилизмѣ горячимъ энтузіастамъ, требовавшимъ положительнаго и восторженнаго отношенія къ ихъ идеямъ, стремленіямъ и дѣйствіямъ.

Беллетристы сороковыхъ годовъ въ этомъ отношеніи заслуживаютъ тѣмъ большаго снисхожденія, что ихъ скептически-отрицательное отношеніе къ жизни имѣло отнюдь не какой-либо отвлеченный и безцѣльный характеръ отрицанія ради отри-

цанія, а напротивъ того глубокой гражданскій, демократическій смыслъ. Главнымъ образомъ они обрушивались на тѣ пороки и слабости русской интеллигенціи, какіе развились на почвѣ крѣпостного права и даровой паразитной жизни на счетъ труда крестьянъ. При этомъ они преслѣдовали не одни только варварскія и звѣрскія злоупотребленія крѣпостнымъ правомъ, но осмѣивали постоянно нравственное растлѣніе въ видѣ безхарактерности, нервной развинченности, разлада словъ и дѣлъ, сластолюбія, тщеславія, рисовки, какое замѣчалось въ лучшихъ, передовыхъ и самыхъ гуманныхъ представителяхъ помѣщичьей среды. Въ этомъ отношеніи безошадный анализъ ихъ имѣетъ мало того что громадное значеніе во всемъ ходѣ общественнаго движенія шестидесятыхъ годовъ, онъ поражаетъ васъ глубокою и безпримѣрною въ исторіи искренностью самобичеванія. Можно сказать, что въ лицѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, какъ лучшихъ своихъ представителей, цѣлый слой общества, передовой и господствовавшей до того времени, всенародно покаялся во всѣхъ своихъ протческихъ грѣхахъ, во всѣхъ наслѣдственныхъ порокахъ и предалъ себя полному отрпцанію, и, повторяя мѣткое выраженіе Писарева, беллетристы сороковыхъ годовъ болѣе чѣмъ кто-либо изъ современныхъ имъ писателей уподоблялись дровосѣкамъ, безстрашно подпиливавшимъ тотъ самый сукъ, на которомъ сидѣли.

Этимъ своимъ подвигомъ они безспорно заслужили ту всемірную славу, какой нынѣ пользуются.

II.

Во главѣ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ по всѣмъ правамъ, — и по обширности таланта, и по высотѣ своего философскаго образованія, и по широтѣ захвата русской жизни, и по разнообразію содержанія своихъ произведеній, и по ихъ общественному значенію, и наконецъ по высотѣ ихъ чарующей художественности, — ставится Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Ив. Сер. Тургеневъ принадлежалъ къ древнему дворянскому роду, вышедшему изъ Золотой Орды и нерѣдко упоминаемому въ исторіи съ XVI-го вѣка. Отецъ Тургенева, Сергѣй Николаевичъ, служилъ въ елисаветградскомъ кирасирскомъ полку и женился въ Орлѣ на дочери богатаго помѣщика, Варварѣ Петровнѣ Лутовиновой. Первымъ плодомъ этого брака былъ старшій братъ Тургенева, Николай; вторымъ былъ Иванъ, родившійся черезъ два года послѣ старшаго, 28 октября 1818 года, въ Орлѣ, гдѣ стоялъ полкъ его отца.

Вскорѣ послѣ рожденія сына Ивана отецъ его вышелъ въ отставку съ чиномъ полковника и поселился въ имѣніи своей жены, селѣ Спасскомъ-Лутовиновѣ, въ десяти верстахъ отъ Мценска, орловской губерніи. Тамъ провелъ Тургеневъ первые годы своего дѣтства. Но мало свѣтлыхъ впечатлѣній вынесъ онъ изъ этихъ дѣтскихъ лѣтъ. Семейство Тургеневыхъ представляло собою весьма рѣзко выраженный типъ старинныхъ помѣщичьихъ нравовъ. Ни одна хоть сколько-нибудь нѣжная, сердечная черта не смягчала суровости этихъ нравовъ, всецѣло основанныхъ на строгомъ и безошадномъ деспотизмѣ, тяготѣвшемъ не только надъ крѣпостными слугами, но и надъ младшими членами семьи. Всѣ ежеминутно трепетали въ домѣ, и каждый день, каж-

дый часть ждали какой-нибудь жестокой расправы. Прибавьте къ этому, что и въ самыхъ нѣдрахъ семьи таилась непримиримый разладъ: отецъ Тургенева, типъ котораго изображенъ въ романѣ *Первая любовь*, не любилъ жены, будучи значительно моложе ея и женившись на ней по расчету. „Матушка моя, — повѣствуетъ Тургеневъ въ этомъ романѣ — вела печальную жизнь: безпрестанно волновалась, ревновала, сердилась, но не въ присутствіи отца; она очень его боялась, а онъ держался строго, холодно, отдаленно. Я не видалъ человѣка болѣе изысканно-спокойнаго, самоувѣреннаго и самовластнаго! Къ тому-же онъ отличался атлетическою фигурою и медвѣжьей силою.

Что касается матери Тургенева, то портретъ ея въ свою очередь изображенъ имъ въ повѣсти *Пунинъ и Бабуринъ*. Она была очень несчастна въ дѣтствѣ и юности. Сначала въ домѣ матери она терпѣла отъ отчима, который ненавидѣлъ ее, заставлялъ подчиняться своимъ капризамъ, билъ ее, унижалъ и срывалъ на ней свой буйный хмѣль. Когда-же ей минуло 16 лѣтъ, и онъ началъ преслѣдовать ее иначе, грозясь подвергнуть жестокому истязанію въ случаѣ неблагоклонности, во избѣжаніе позора Варвара Петровна должна была бѣжать изъ дома отчима и искать пріюта въ домѣ дяди. Но и здѣсь ей было не легче: дядя былъ человѣкъ суровый и скупой, держалъ ее въ ежовыхъ рукавицахъ, и она жила почти взаперти въ Спасскомъ. Послѣ смерти его она вышла за-мужъ, будучи уже за тридцать лѣтъ, и не нашла въ мужѣ ни любви, ни нѣжности; онъ внушалъ ей одинъ страхъ и мучительную ревность велѣдствіе частыхъ измѣнъ.

Зато когда онъ умеръ, и она осталась единственною наследницею огромнаго имущества, она, какъ это часто бываетъ съ натурами долго находившимися подъ гнетомъ, почувствовала жажду власти, начала проявлять ее на всемъ вольномъ просторѣ и обратилась въ неукротимую самодурку съ развинченными нервами, вѣчными капризами и фантастическими причудами. Всѣ ходили передъ нею на цыпочкахъ и трепетали. Стукъ ножей или ключей въ сосѣдней комнатѣ выводилъ ее изъ себя, и при малѣйшемъ возраженіи она впадала въ истерику. Самодурство ея доходило до того, что однажды она запретила своимъ домашнимъ праздновать пасху и не велѣла звонить въ церкви въ колокола. Нужно-ли и говорить о томъ, какъ терпѣли отъ нея слуги и крестьяне, когда даже сыновей своихъ она вооружала противъ себя своимъ деспотизмомъ. Только съ совершеннолѣтіемъ они эмансипировались изъ-подъ ея ига, встали на ноги и потребовали полного освобожденія изъ-подъ ея опеки не только нравственнаго, но и матеріальнаго. Но и тутъ, желая все-таки удержать колеблющуюся власть надъ ними, она прибѣгла къ грубому обману: подарила имъ по имѣнію и въ то-же время отдала тайный приказъ вывезти изъ этихъ имѣній весь хлѣбъ и тѣмъ обездѣнить ихъ. И дошло дѣло до того, что ея любимецъ, которымъ она наиболѣе гордилась, котораго баловала и души не чаяла, Иванъ Сергѣевичъ обратился къ ней со словами страшнаго приговора: — „Кого ты не мучаешь? Всѣхъ! — говорилъ онъ. — Кто возлѣ тебя свободно дышетъ? Кто возлѣ тебя счастливъ? Вспомни только Полякова, Агафью... всѣхъ, кого ты преслѣдовала, ссылала, всѣ они могли-бы любить тебя, всѣ-бы готовы были жизнь за тебя отдать, если-бы... а ты всѣхъ дѣлалаешь несчастными!..“

Вотъ какія вынесъ Тургеневъ изъ своего дѣтства впечатлѣннн, сдѣлавшнн его непримиримымъ врагомъ крѣпостного права. Рисуя въ *Запискахъ Охотника* различныя самодурства помѣщиковъ надъ своими безотвѣтными крѣпостными, Тургеневъ могъ писать прямо на основаннн собственныхъ воспоминаннн о людяхъ ему близкихъ; такъ въ повѣсти *Муму* разсказать эпизодъ, случившннся въ родительскомъ домѣ Тургенева.

III.

Воспитанн Тургенева шло по обычаю того времени подѣ присмотромъ безпрестанно мѣнявшихся гувернеровъ и учителей—швейцарцевъ и нѣмцевъ, дядекъ и мамокъ. Въ воспитанн главную роль играли языки, французскнн и нѣмецкнн, которыми Тургеневъ научился въ раннемъ дѣтствѣ. На русскнн языкъ обращали мало вниманнн. Учителемъ, который впервые заинтересовалъ мальчика произведеннмъ русской литературы, былъ крѣпостной камердинеръ его матери, читавшнн ему украдкой гдѣ-нибудь въ саду или въ дальней комнатѣ *Rossjady* Хераскова, подобно Пунину, повторяя каждый стихъ сначала „на-черно“ скороговоркою, а потомъ „на-бѣло“ громогласно, съ необыкновенною торжественностью.

Въ началѣ 1827 года Тургеневы, въ видахъ дальнѣйшаго воспитанн дѣтей, переселились въ Москву, гдѣ купили себѣ домъ на Самотекѣ. Тургеневъ былъ отданъ сначала въ частный пансионъ Вейденгамера, а потомъ жилъ одно время пансионеромъ-же у директора Лазаревского института, Краузе, который училъ его англннскому языку. Кромѣ того къ университетскому экзамену готовилъ Тургенева извѣстный поэтъ Ив. Петр. Ключниковъ, въ то время очень еще молодой студентъ.

Въ 1833 году, будучи всего 15 лѣтъ отъ роду, Тургеневъ поступилъ на словесный факультетъ московскаго университета. Но здѣсь онъ пробылъ всего одинъ годъ. Старшнн его братъ поступилъ на службу въ гвардейскую артиллерию въ Петербургъ; туда-же перѣѣхала и вся семья, такъ что и Тургеневу пришлось перейти въ петербургскнн университетъ въ 1834 году; въ томъ-же году скончался его отецъ.

Не много вынесъ Тургеневъ изъ петербургскаго университета, гдѣ лучшимъ профессоромъ въ то время былъ М. Ст. Куторга, а затѣмъ изъ наиболѣе выдающихся были: П. Ал. Плетневъ, А. В. Никитенко и А. А. Фишеръ. Живя въ Петербургѣ и посѣщающа университетскнн лекцнн, Тургеневъ вмѣстѣ съ тѣмъ бралъ и частные уроки по древнимъ языкамъ у преподавателя Петропавловской школы Вальтера, который впродолженн двухъ лѣтъ (1835—37) читалъ съ нимъ Горация, Тацита, Оукидида, Софокла и другихъ классиковъ. По свидѣтельству Вальтера, молодой Тургеневъ былъ необыкновенно прилежнымъ ученикомъ. Онъ ревностно писалъ задаваемые ему сочиненнн и работалъ съ усерднмъ настоящаго нѣмецкаго студента. Уроки давались съ необыкновенною аккуратностью; одно только могло прервать ихъ,—это охота, къ которой Тургеневъ съ молодости сильно пристрастился и которая впродолженн многихъ десятковъ лѣтъ была для него любимымъ развлеченнмъ.

Въ 1836 году Тургеневъ кончилъ университетскнн курсъ съ званнмъ дѣйстви- тельнаго студента (курсъ въ то время былъ трехлѣтнн), а въ слѣдующемъ 1837 г.

выдержалъ экзаменъ на степень кандидата. Уже на III курсѣ университета Тургеневъ началъ производить первые опыты по изящной словесности, конечно сначала стихами. Такъ онъ написалъ фантастическую драму пятистопными ямбами подъ заглавіемъ „Стенію“,—произведеніе, по отзыву самого Тургенева, „совершенно недѣльное, въ которомъ съ дѣтскою неумѣлостью выражалось рабское подражаніе Байроновскому Манфреду“. Тургеневъ представилъ свою піесу на разсмотрѣніе Плетневу, который отечески побранилъ студента за то, что онъ тратитъ время на такіе пустяки; но при этомъ все-таки замѣтилъ, что въ молодомъ авторѣ „что-то есть“, обласкалъ его и пригласилъ на свои литературныя вечера. Обрадованный юноша отдалъ Плетневу нѣсколько стихотвореній, изъ которыхъ тотъ выбралъ два и годъ спустя (1838) напечаталъ безъ подписи автора въ Пушкинскомъ *Современникѣ*. Въ первомъ изъ нихъ воспѣвался старый дубъ: „это — первая моя вещь, явившаяся въ печати“—говоритъ Тургеневъ въ *Воспоминаніяхъ*.

Окончивъ университетскій курсъ, Тургеневъ весною 1838 года отправился въ Берлинъ „доучиваться“. Онъ ѣхалъ, какъ всѣ ѣздили въ то время, моремъ въ Штетинъ на пароходѣ „Николай I“, который сгорѣлъ въ виду Травемюнде, причемъ жизнь Тургенева подверглась опасности. Вотъ что говоритъ онъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ* о пребываніи въ Берлинѣ.

«Окончивъ курсъ по филологическому факультету С.-Петербургскаго университета въ 1837 году, я весною 1838 г. отправился доучиваться въ Берлинъ. Мнѣ было всего 19 лѣтъ; объ этой поѣздкѣ я мечталъ давно. Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно только набраться нѣкоторыхъ пригтовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится за-границей. Изъ числа тогдашнихъ преподавателей С.-Петербургскаго университета не было ни одного, который-бы могъ поколебать во мнѣ это убѣжденіе; впрочемъ они сами были имъ проникнуты; его придерживалось и министерство, во главѣ котораго стоялъ графъ Уваровъ,—посылавшее на свой счетъ молодыхъ людей въ нѣмецкіе университеты. Въ Берлинѣ я прожилъ (въ два періода) около двухъ лѣтъ. Изъ числа русскихъ, слушавшихъ университетскія лекціи, назову: въ теченіе перваго года—Н. Станкевича, Грановскаго, Фролова; въ теченіе втораго—столь извѣстнаго впоследствии М. Бакунина. Я занимался философійю, древними языками, исторіей и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ Вердера. Въ доказательство того, какъ недостаточно было образованіе, полученное въ то время въ нашихъ высшихъ заведеніяхъ, приведу слѣдующій фактъ: я слушалъ въ Берлинѣ латинскія древности у Цулента, исторію греческой литературы у Бока, а на дому принужденъ былъ зубрить латинскую грамматику и греческую, которыя зналъ плохо. И я былъ не изъ худшихъ кандидатовъ.»

Къ этой эпохѣ относится выработка какъ міросозерцанія вообще, такъ и политическихъ убѣжденій Тургенева. Масса новыхъ живыхъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ поѣздки за-границу, нѣмецкая наука и сближеніе съ такими людьми, какъ Бакунинъ, Станкевичъ, Грановскій, не могли не содѣйствовать тому духовному перевороту, который изъ молодого барчука, преданнаго всѣмъ традиціямъ дѣтства, сдѣлалъ борца за свободу. Вотъ какъ характеризуетъ самъ Тургеневъ этотъ многозначительный переворотъ:

«Тотъ бытъ, та среда, и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ, полоса помѣщичья, крѣпостная, не представляли ничего

такого, что могло-бы удержать меня. Напротивъ почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, отвращенія наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надобно было либо покориться и смиренно побрести общей колесей по избитой дорогѣ, либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя «всѣхъ и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ... Я бросился внизъ головою въ «нѣмецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ,—я все-таки очутился «западникомъ» и остался имъ навсегда.

«Мнѣ и въ голову не можетъ придти осуждать тѣхъ изъ моихъ сверстниковъ, которые другимъ болѣе отрицательнымъ путемъ достигли той свободы, того сознанія, къ которымъ я стремился. Я хочу только заявить, что я другого пути передъ собою не видѣлъ. Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаясь рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня вѣроятно недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ—крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться. Это была моя аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда. Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить...».

IV.

Въ 1841 году, вернувшись изъ заграницы, Тургеневъ поѣхалъ въ Москву держать экзаменъ на магистра философіи, но это оказалось невозможнымъ, такъ какъ кафедры философіи въ Москвѣ не было. Не оставляя мыслей объ ученой карьерѣ, Тургеневъ поѣхалъ въ Петербургъ, но здѣсь ему пришлось неожиданно махнуть рукою на свои мечты и поступить (1842 г.) чиновникомъ особыхъ порученій въ канцелярію министра внутреннихъ дѣлъ Л. А. Перовскаго. Это произошло вслѣдствіе размолвки съ матерью, весьма ограничившей средства къ его существованію.

Въ канцеляріи Тургеневъ занимался не столько службою, сколько чтеніемъ романовъ Жоржъ Занда и писаніемъ стиховъ. Это былъ романтическій періодъ его жизни, въ который Тургеневъ, корча изъ себя байроновскаго героя и заслуживъ за это отъ Герцена прозвище „поэра“, удивлялъ петербургское общество самыми эксцентрическими выходками и необузданно-смѣлыми рѣчами. Въ это-же время въ *Отечественныхъ Запискахъ* стали являться мелкія стихотворенія его, а въ началѣ 1843 года Тургеневъ напечаталъ отдѣльною книжкою поэму *Параша*, подписавъ ее буквами Т. Л. (Тургеневъ-Лутовиновъ).

Параша обратила на себя вниманіе публики, и Вѣлискій посвятилъ ей обширную статью, въ которой призналъ въ Тургеневѣ необыкновенный поэтический талантъ, вѣрную наблюдательность, глубокую мысль, изящную и тонкую иронию, а что наиболѣе знаменательно—*призналъ сына нашего времени, носящаго въ груди своей всѣ скорби и вопросы его.*

И дѣйствительно, несмотря на всѣ увлеченія Тургенева въ это время романтическими идеалами, вась поражаетъ въ „Парашѣ“ реальное чутье русской жизни, и поэма является развѣнчаніемъ тѣхъ самыхъ романтическихъ идеаловъ, которымъ Тургеневъ поклонялся. Суда по поэтическому началу, *Параша*, особенно-же плѣвн-

тельному образу героини, о которой самъ авторъ говоритъ, что, какъ ему казалось, „ей суждено страданій въ жизни испытать не мало“, можно было думать, что авторъ изобразитъ цѣлый рядъ ужасныхъ романтическихъ страданій. Ожиданія эти еще болѣе подтверждались встрѣчею Параша съ героемъ при необыкновенныхъ романтическихъ обстоятельствахъ, и самимъ героемъ, въ которомъ читатель могъ вообразить себѣ нѣчто вродѣ Печорина или Евгенія Онегина. И вдругъ поэма кончается самымъ прозаическимъ сватовствомъ и помѣщичьимъ бракомъ, и когда авторъ встрѣтилъ своихъ героевъ четыре года спустя, онъ нашелъ, что романтическій герой „какъ-то странно потолстѣлъ“, а идеальная Параша въ свою очередь обратилась въ самую прозаическую Прасковью Николаевну, и жизнь ея катилась, „какъ ручеекъ извилистый и плавный“, и разочарованный авторъ иронически восклицаетъ:

Но—Боже! То-ли думалъ я, когда,
Исполненный нѣмого обожанья,
Ея душѣ я предрекалъ года
Святого, благодатнаго страданья!
Съ надеждами разставшись навсегда,
Свыклася я съ суровымъ отчужденемъ,
Но въ ней ласкалъ послѣднюю мечту
И на нее съ таинственнымъ волненемъ
Глядѣлъ, какъ на любимую звѣзду...
И что-жь? Я былъ обмануть такъ невинно,
Такъ просто, такъ естественно, такъ чинно,
Что въ истинѣ своихъ желаній я
Сталъ сомнѣваться, милые друзья...

Вотъ въ этой именно ироніи, въ этомъ сведеніи поэтически-романтическихъ образовъ къ пошлой прозѣ помѣщичьяго прозябанія и ожирѣнія на даровыхъ хлѣбахъ и заключалось то новое, что дѣлало Тургенева „сыномъ своего времени, носящимъ въ груди своей скорби и вопросы его“.

Такими-же новыми вѣяніями исполнены и всѣ прочія произведенія Тургенева этого времени. Такъ, въ поэмѣ *Разговоръ* (1845 г.) Тургеневъ изобразилъ свое молодое поколѣніе, людей сороковыхъ годовъ въ сопоставленіе съ людьми стараго поколѣнія, двадцатыхъ годовъ. Здѣсь мы видимъ уже то самое раздѣленіе людей на Донъ-Кихотовъ и Гамлетовъ, которое проходитъ черезъ всѣ произведенія Тургенева и впоследствии было сформулировано имъ въ публичной лекціи, читанной имъ въ Петербургѣ въ 1860 году. Поколѣніе двадцатыхъ годовъ съ его жаждой кипучей дѣятельности и непосредственной отдачею всѣмъ своимъ страстямъ и стремленіямъ представляется передъ вами въ полномъ контрастѣ съ людьми сороковыхъ годовъ, изъѣденными горькими рефлексіями, исполненными сомнѣній и холоднаго отчаянія.

Наконецъ, въ поэмѣ *Андрей* (1845 г.), лишь по стихотворной формѣ отличающейся отъ мелкихъ повѣстей Тургенева вродѣ хотя-бы *Фауста*, авторъ затрогиваетъ впервые ту тему отношенія свободной любви къ семейному долгу, къ которой такъ часто обращались беллетристы сороковыхъ годовъ.

Что касается мелкихъ стихотвореній, появившихся втеченіи сороковыхъ годовъ, то большинство ихъ представляютъ тѣ картины природы, которыми такъ славился

Тургеневъ въ продолженіи всей своей дѣятельности. Въ стихотворной формѣ эти картины получаютъ еще большую силу, прелесть и колоритность.

Вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ *Параши* Тургеневъ сошелся съ Бѣлинскимъ, поразивъ его оригинальностью и независимостью своихъ воззрѣній, и оказалъ ему большое содѣйствіе въ уясненіи философіи Гегеля; съ другой стороны вліяніе Бѣлинскаго, о которомъ Тургеневъ до самой смерти сохранялъ благоговѣйную память, окончательно опредѣлило дальнѣйшее направленіе дѣятельности Тургенева. Въ то-же время сошелся Тургеневъ и съ молодыми литераторами, группировавшимися вокругъ Бѣлинскаго, — К. Д. Кавелинымъ, Н. А. Некрасовымъ, И. А. Гончаровымъ, Д. В. Григоровичемъ, И. И. Панаевымъ, П. В. Анненковымъ и пр.

Первымъ появившимся въ свѣтъ прозаическимъ произведеніемъ Тургенева былъ драматическій очеркъ въ одномъ дѣйствіи изъ испанской жизни, подъ заглавіемъ *Неосторожность* (*От. Зап.* 1843 г. № 10). Въ слѣдующемъ году тамъ-же была напечатана первая повѣсть его *Андрей Колосовъ*. Въ *Петербургскомъ Сборникѣ*, изд. Некрасовымъ (1846), кромѣ юмористической поэмы въ стихахъ *Помѣщикъ*, была помѣщена повѣсть *Три портрета*; въ первой-же книжкѣ *От. Зап.* 1847 г. появилась повѣсть *Бретеръ*.

Въ повѣсти *Андрей Колосовъ* Тургеневъ значительно шагнулъ впередъ отъ своего вѣка, изобразивши въ своемъ „необыкновенномъ“ героѣ разночинца съ непосредственною и свободною отдачею страсти, скорѣе подлѣтъ шестидесятымъ годамъ, чѣмъ сороковымъ. Оттого можетъ быть повѣсть эта и прошла почти незамѣченною въ свое время.

Въ остальныхъ-же двухъ повѣстяхъ мы видимъ тоже стремленіе изъ-подъ мишурной оболочки романтическаго типа обнаружить печальную и убогую русскую дѣйствительность. Такъ напримѣръ, чѣмъ не герой въ байроновскомъ духѣ Лучиновъ, одаренный необыкновенною силою воли, страстный и разсчетливый, терпѣливый и смѣлый, скрытный до чрезвычайности и очаровательно, обаятельно любезный? Но при всѣхъ этихъ эффектныхъ качествахъ, вы видите вдругъ такой мелкій и черствый эгоизмъ и такую душевную низость, какія никакъ не пристали ни къ какимъ романтическимъ героямъ. Въ самомъ дѣлѣ, свойственно-ли такимъ героямъ воровство отцовскихъ денегъ или сваливаніе на другое лицо своего оболъщенія сироты и затѣмъ убійство на дуэли почти безоружнаго человѣка ради прикрытія семейнаго позора. Сквозь романтическую оболочку такъ и сквозитъ здѣсь низкій нравственный уровень русской дворянской среды XVIII-го вѣка.

О *Бретерѣ* и говорить нечего. Пролитвающій кровь ближнихъ изъ-за пустяковъ въ своихъ непрерывныхъ дуэляхъ, хищный герой этой повѣсти съ первой-же страницы и до послѣдней обнаруживаетъ мелко самолюбивую, грубо циническую и дрянную душонку армейскаго бурбона.

У.

Всѣ эти первые опыты, равно какъ и относительный успѣхъ ихъ въ публикѣ, далеко не удовлетворяли Тургенева, и онъ готовъ былъ бросить писательство и са-

ую Россію, какъ вдругъ общее вниманіе публики было привлечено небольшимъ рассказомъ *Хорь и Калинычъ*, напечатанномъ въ первой книжкѣ возобновленнаго Некрасовымъ *Современника* въ 1847 году, на очень скромномъ мѣстѣ въ отдѣлѣ *Смѣси*. Всѣ заговорили о талантливомъ, проникнутомъ глубокою симпатіею къ мужику, рассказѣ неизвѣстнаго автора; каждый старался узнать имя писателя, скрывавшагося подъ таинственными инициалами Т. Л.

Этотъ неожиданный успѣхъ возвратилъ Тургенева къ литературѣ и побудилъ его продолжать свои *Записки охотника*, и вотъ, начиная съ 1847 года по 1851 г., слѣдуетъ въ *Современникѣ* цѣлый рядъ рассказовъ, извѣстныхъ подъ этимъ заглавіемъ и вышедшихъ въ началѣ 1852 года отдѣльнымъ изданіемъ. Писаны *Записки охотника* за-границею, куда Тургеневъ уѣхалъ въ 1848 г., послѣ смерти Бѣлинскаго, чтобы никогда болѣе не возвращаться на родину, — такое мрачное впечатлѣніе производила на Тургенева тогдашняя русская дѣйствительность.

Въ *Запискахъ охотника* Тургеневъ повернулъ на совершенно новую дорогу и приступилъ къ исполненію своей аннибаловской клятвы. Не говоря уже о художественномъ значеніи *Записокъ охотника*, — онѣ представляютъ замѣчательный историческій памятникъ своего времени и въ смыслѣ протеста противъ крѣпостнаго права. Конечно нечего и искать въ *Запискахъ охотника* ни рѣзкаго и страстнаго политическаго памфлета, какимъ представляется *Путешествіе* Радищева, ни хотя-бы саркастическаго тона сатиры Щедрина. Это было-бы совершенно не въ характерѣ тургеневскаго творчества, въ которомъ всегда преобладали мягкіе, кроткіе и нѣжные тоны, да и къ тому-же мало-мальски рѣзкій и громкій протестъ былъ-бы немислимъ при той крайней строгости, до какой дошла русская цензура послѣ 1848 года. *Записки охотника* представляются какъ-бы продолженіемъ *Мертвыхъ душъ* Гоголя; это — эпопея, не имѣющая, повидимому, никакой иной предвзятой цѣли, какъ лишь развернуть передъ вами широкую картину русской провинціальной жизни, преимущественно помѣщиковъ и крестьянъ, съ одной стороны — въ массѣ мелкихъ, повседневныхъ, будничныхъ ея явленій, съ другой — въ поэтическихъ мотивахъ и образахъ. Тутъ вы найдете на каждомъ шагу тѣ очаровательныя описанія русской природы, какими всегда славился Тургеневъ, рядъ эпизодовъ, неимѣющихъ никакихъ отношеній къ крѣпостному праву, каковы напр. *Уездный лекарь*, *Мой сосѣдъ Радилонъ*, *Одноворонецъ Овсянниковъ*, *Татьяна Борисовна и ея племянникъ*, *Гамлетъ Щириковскаго уезда* и пр.

Тѣмъ не менѣе отъ *Записокъ охотника* повѣяло на читателей совершенно новымъ духомъ, которымъ проникнуты онѣ отъ первой страницы до послѣдней. — Это былъ духъ гуманности и искренней любви къ угнетенному мужику. Въ то время какъ у большинства помѣщиковъ, изображенныхъ въ *Запискахъ*, преобладаютъ отрицательныя черты; крестьяне напротивъ того представляютъ рядъ весьма симпатичныхъ типовъ. Вывода такія личности, какъ Хорь и Калинычъ, Ермолай и Мельничиха, Касьянъ съ Красивой мечи, Вирюкъ, Яковъ-турокъ въ *Пѣвцахъ*, наконецъ, хотя-бы и крестьянскія дѣти въ *Бѣжиномѣ луи* — авторъ тѣмъ уже протестовалъ противъ крѣпостнаго права, что, заглядывая въ душу всѣхъ этихъ дѣтей народа, находилъ въ ней тѣ-же радости и страданія, что и у всѣхъ прочихъ людей и, вмѣстѣ съ

тѣмъ, выводилъ ихъ не въ примѣръ симпатичнѣе и цѣльнѣе стоящихъ тутъ-же рядомъ съ ними помѣщиковъ. Въ этомъ отношеніи даже и *Блуждеиъ луго*, эта чисто-художественная картинка, изображающая ночную бесѣду деревенскихъ дѣтей въ табуиѣ лошадей, производила на читателей тоже впечатлѣніе отрицанія крѣпостного права: прочтя эту картинку, читатель всею душою привязывался къ изображеннымъ въ ней дѣтямъ и ему жутко становилось при мысли, что въ этихъ симпатичныхъ деревенскихъ ребятахъ растутъ будущіе рабы, вся жизнь которыхъ могла быть изломана по прихоти какаго-нибудь Пѣночкина. Однимъ словомъ, читая *Записки охотника*, русскіе читатели впервые видѣли въ мужикахъ не двуногое рабочее стадо, а живыхъ людей, братій своихъ по человечеству и пріучались любить этихъ братій и принимать горячее участіе въ ихъ участи.

Не даромъ выходъ *Записокъ* отдѣльнымъ изданіемъ возбудилъ сильное неудовольствіе въ официальныхъ сферахъ, которыя въ то время были проникнуты крѣпостничествомъ. Въ литературныхъ кружкахъ ходилъ въ то время слухъ, будто московскій цензоръ, кн. Львовъ, былъ отставленъ отъ должности именно за то, что пропустилъ отдѣльное изданіе *Записокъ охотника*. И до того времени начальство востыло на Тургенева за долговременное пребываніе за границей, особенно въ Парижѣ, и, къ тому же, въ 1848 году, а также иза его близкія отношенія къ лицамъ, которыя давно уже были на дурномъ счету. *Записки охотника* подлили масла въ огонь, и незначительный случай послужилъ камней, переполнившей гнѣвъ начальства. Въ мартѣ 1852 г. появилось въ *Московскихъ вѣдомостяхъ* письмо Тургенева по случаю смерти Гоголя, не пропущенное передъ тѣмъ петербургскою цензурою, и вотъ по жалобѣ Мусинъ-Пушкина Тургеневъ былъ посаженъ на мѣсяць „на съѣзжую“. Тургеневу угрожало очень печальное заточеніе, если-бы судьба не послала ему спасительницъ въ лицѣ двухъ дочерей надзираваго за нимъ пристава, оказавшихся почитательницами его таланта. Онѣ обрадовались случаю лично съ нимъ познакомиться и упросили своего отца дать ему пріютъ въ ихъ квартирѣ. Здѣсь Тургеневъ и провелъ время своего ареста, написавши на досугѣ *Муму*, — и такимъ образомъ повѣсть, по своему содержанию представляющая самый рѣзкій протестъ противъ крѣпостного права, оказалась написанною на „съѣзжей“.

По освобожденіи отъ ареста, Тургеневъ былъ высланъ административнымъ порядкомъ на жительство въ деревню Спасское, — „безъ права выѣзда“. Изъ наиболѣе замѣчательныхъ произведеній, написанныхъ имъ въ деревнѣ, были *Два пріятеля* и *Затишье*.

Въ концѣ 1854 года Тургеневъ былъ освобожденъ отъ своей ссылки при содѣйствіи А. К. Толстого и А. О. Смирновой, и въ 1855 г. уѣхалъ за-границу. Еще въ 1845 году онъ познакомился въ Петербургѣ съ знаменитой уже тогда артисткой Полиной Вярдо-Гарсія, и съ тѣхъ поръ до самой смерти оставался въ самыхъ близкихъ дружескихъ отношеніяхъ съ ея семействомъ. Послѣ временной разлуки вслѣдствіе ссылки онъ снова посѣщалъ къ нимъ. Выражаясь собственными его словами, онъ „прикрѣпился“ къ этимъ людямъ и, навсегда оставшись ходостякомъ, прожилъ съ ними половину своей жизни. Мы не будемъ далѣе подробно вдаваться во внѣшніи подробности жизни Тургенева, такъ какъ съ этой поры жизнь его вполне сложилась

въ определенное русло и не представляет какихъ-либо выдающихся фактовъ. Зиму проводилъ онъ обыкновенно въ Парижѣ, а лѣто частью въ орловской губерніи, въ своемъ имѣніи, частью въ Баденъ-Баденѣ, гдѣ въ Тиргартенталѣ находилась вилла Віардо, и гдѣ Тургеневъ въ 1865 году построилъ свою собственную виллу, и жилъ въ ней до половины 1870 года. Подъ конецъ-же своей жизни онъ проводилъ лѣто въ Буживалѣ близъ Парижа, на собственной дачѣ рядомъ съ дачею Віардо. Изъ его посѣщеній Россіи, подъ конецъ жизни очень рѣдкихъ, наиболѣе замѣчательнъ пріѣздъ его въ Россію въ концѣ февраля 1879 года съ цѣлью, какъ самъ шути говорилъ: „мириться съ русской публикой и молодежью“. Тургеневъ встрѣтилъ тогда рядъ восторженныхъ овацій въ Москвѣ и Петербургѣ со стороны публики на цѣломъ рядѣ публичныхъ чтеній, на которыхъ онъ участвовалъ, читая преимущественно *Записки охотника*. Второй замѣчательный его пріѣздъ былъ въ іюнѣ 1880 года на открытіе Пушкинскаго памятника въ Москвѣ. Здѣсь на долю Тургенева выпали такіа почести и оваціи, которыя далеко оставили за собою чествованіе его въ 1879 году. Московскій университетъ, въ торжественномъ засѣданіи въ день открытія памятника Пушкину, избралъ Тургенева въ число своихъ почетныхъ членовъ; въ собраніи общества любителей русской словесности и на литературныхъ чтеніяхъ Тургенева встрѣчали бурными долго неумолкаемыми рукоплесканіями. Такъ-же восторженно была встрѣчена и привѣтствована его рѣчь о Пушкинѣ на торжествѣ открытія памятника. Нѣтъ сомнѣнія, что эти дни были лучшими въ его жизни. Онъ и самъ сознавалъ это, выбирая для чтенія на литературномъ вечерѣ стихотворенія: *Опять на родинѣ* и *Постылая туча разсыпанной бури...*

Затѣмъ пріѣздъ Тургенева въ Россію въ 1881 г. былъ послѣднимъ въ его жизни. Уже съ этого года стали появляться первые симптомы той мучительной болѣзни, которая свела его въ могилу. Болѣзнь эта, какъ потомъ оказалось, была ракомъ въ позвоночномъ хребтѣ. Не поддаваясь діагнозу первыхъ знаменитостей парижскаго медицинскаго міра, она развивалась медленно, не непрерывно, и причиняла Тургеневу такіа страданія, которыя онъ могъ выносить только благодаря своему атлетическому сложенію и наркотическимъ средствамъ, которыя приходилось употреблять чаще и чаще. Нужно удивляться тому мужеству, съ какимъ Тургеневъ, пригвожденный къ своему смертному одру, не только выносилъ свои адскія страданія, но въ промежуткахъ минутныхъ облегченій не переставалъ писать свои послѣднія предсмертныя произведенія. Въ понедѣльникъ 22 августа, въ 2 часа пополудни, его не стало.

Черезъ два дня послѣ смерти тѣло Тургенева было перевезено изъ Буживала въ Парижъ, гдѣ 24 августа въ русской церкви происходило отпѣваніе, на которомъ присутствовало большинство бывшихъ въ то время русскихъ: посольскій кн. Н. В. Орловъ, члены посольства, литераторы, художники, какъ русскіе, такъ и иностранные и учащаяся въ Парижѣ молодежь. 19-го сентября тѣло Тургенева было отправлено въ Россію и прибыло въ Петербургъ 27-го, въ который день и происходила процессія перенесенія тѣла Тургенева на Волково кладбище и погребенія его тамъ на счетъ города,—процессія, по своей грандіозной торжественности, представлявшая нѣчто необычайное въ лѣтонисяхъ петербургской жизни.

VI.

Разсматривая литературную дѣятельность Тургенева, мы остановились на 1855 годѣ, когда онъ уѣхалъ послѣ ссылки за-границу. Съ этого года начинается, какъ извѣстно, возрожденіе русской жизни, эпоха реформъ и либеральнаго движенія. Съ этого-же года можно считать эпоху полнаго расцвѣта литературной дѣятельности Тургенева. Въ этотъ періодъ талантъ Тургенева достигъ до наибольшей высоты, и онъ создалъ все самое замѣчательное и болѣе всего его прославившее. Такъ, въ 1855 году появилась повѣсть его *Яковъ Пасынковъ*, въ 1856—*Рудинъ* и *Фаустъ*, въ 1858—*Ася*, въ 1859—*Дворянское гнѣздо*, въ 1860—*Наканунъ* и *Первая любовь*. Въ томъ-же 1860 г., въ 1-й книжкѣ *Современника* была напечатана знаменитая статья его *Гамлетъ и Донъ-Кихотъ*, бросающая яркій свѣтъ какъ на характеръ всѣхъ его типовъ, такъ и на внутреннія пружины фабулъ его повѣстей и романовъ. Наконецъ, въ началѣ 1862 года въ *Русскомъ Вѣстникѣ* былъ напечатанъ знаменитый романъ его *Отцы и дѣти*.

Перечисливши эти произведенія, мы обозначили все, чѣмъ болѣе увѣковѣчили Тургеневъ свою литературную дѣятельность. Однихъ только этихъ произведеній было-бы вполне достаточно для той славы, которою онъ пользовался при жизни, и для той высокой памяти, которую оставилъ по себѣ. Каждое изъ этихъ произведеній было откровеніемъ основъ тогдашней русской жизни. Различіе всѣхъ этихъ произведеній отъ произведеній перваго періода дѣятельности Тургенева (*Записокъ охотника*) заключалось въ томъ, что прежде онъ главное вниманіе обращалъ на народъ, относительно-же интеллигенціи ограничивался развѣнчаніемъ романтическихъ типовъ или-же отношеніями помѣщиковъ къ крѣпостнымъ; теперь же онъ занялся исключительно изображеніемъ нравственныхъ недуговъ интеллигенціи, произведенныхъ вліяніемъ крѣпостного права при отсутствіи какой-бы то ни было живой и увлекающей общественной дѣятельности. Ключъ къ пониманію внутреннихъ пружинъ всѣхъ этихъ произведеній кроется, какъ мы выше сказали, въ рѣчи Тургенева о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ. Въ этой рѣчи Тургеневъ прямо говоритъ, что „въ этихъ двухъ типахъ воплощены двѣ коренныя противоположныя особенности человѣческой природы—оба конца той оси, на которой она вертится, что „всѣ люди принадлежать болѣе или менѣе къ одному изъ этихъ двухъ типовъ, что почти каждый изъ насъ сбивается либо на Донъ-Кихота, либо на Гамлета“, „правда,—прибавляетъ къ этому Тургеневъ,— въ наше время Гамлетовъ стало гораздо болѣе, чѣмъ Донъ-Кихотовъ, но и Донъ-Кихоты не перевелись“.

Различіе-же этихъ двухъ типовъ, какъ явствуетъ изъ статьи, заключается въ томъ, что Донъ-Кихотъ выражаетъ собою вѣру, преданность идеалу, энтузіазмъ самопожертвованія, тогда какъ Гамлетъ — представитель анализа; анализъ-же, по мнѣнію Тургенева, прежде всего,—эгоизмъ, а потому безвѣріе; сомнѣваясь во всемъ, Гамлетъ не щадитъ и самого себя; сознаетъ свою слабость, но всякое самосознаніе есть сила—отсюда происходитъ его иронія, въ противоположность энтузіазму Донъ-

Кихота, — отсюда-же его слабохарактерность, нерѣшительность въ дѣйствіяхъ, неспособность беззавѣтно отдаваться своимъ влеченіямъ.

Нужно-ли говорить о томъ, что вѣкъ сороковыхъ годовъ — вѣкъ по преимуществу анализа, былъ по самому своему существу вѣкъ Гамлетовъ, не говоря уже о растлевающемъ вліаніи крѣпостного права. Не даромъ Тургеневъ сказалъ: что „въ наше время Гамлетовъ стало гораздо болѣе, чѣмъ Донъ-Кихотовъ“. И дѣйствительно передъ нами проходятъ въ произведеніяхъ Тургенева! въ видѣ героевъ своего времени и среды цѣлый рядъ Гамлетовъ, начиная съ юноши, олицетворяющаго собою сороковые годы въ поэмѣ *Разговоръ*, съ Гамлета *Щировскаго уѣзда* и Веретьева въ *Затмишь*, — этой талантливой природы, погубившей свою молодость и жизнь въ пьянствѣ и безпутномъ, праздномъ шатаньѣ. Таковъ Рудинъ, этотъ центральный типъ сороковыхъ годовъ, человекъ, котораго все призваніе заключается въ сѣяніи просвѣтительныхъ словъ, но оказывающій въ то-же время полную несостоятельность во всѣхъ своихъ попыткахъ осуществленія этихъ словъ на дѣлѣ и постыдное малодушіе передъ каждымъ мало-мальски рѣшительнымъ шагомъ, человекъ одной головы, не способный ничего сдѣлать самъ, потому что въ немъ природы, крови не было. — Таковъ Лаврецкій — этотъ, въ свою очередь, центральный типъ не только лучшаго человека помѣщичьей среды, но и вообще интеллигентнаго славянина, — человекъ въ высшей степени симпатичный, исполненный вротости, нѣжной гуманности и добродушія, но въ то-же время не вносящій въ жизнь ни малѣйшей активности, пассивно отдающійся обстоятельствамъ, какъ щепка, носимая бурнымъ потокомъ.

Таково и большинство послѣдующихъ героевъ Тургенева, начиная съ героя Аси и кончая Саниннымъ въ *Вешнихъ водахъ* и Литвиновымъ въ *Дымъ*. Не даромъ Тургеневъ въ *Наканунъ* заставляетъ воскликнуть Шубина: „нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели да палки барабанныя! А то вотъ еще какіе бываютъ: до позорной тонкости самихъ себя изучили, щупаютъ безпрестанно пульсъ каждому своему ощущенію и докладываютъ самимъ себѣ: вотъ что я молъ чувствую, вотъ что я думаю. Полезное, дѣльное занятіе!“

„Но и Донъ-Кихоты не перевелись“, — говорилъ Тургеневъ въ своей вышеозначенной рѣчи; встрѣчаете вы въ его произведеніяхъ и нѣсколько Донъ-кихотовъ, хотя очень рѣдко. — Тургеневскихъ Донъ-Кихотовъ можно раздѣлить на два разряда: одни изъ нихъ взяты непосредственно изъ русской жизни; — это такіе Донъ-Кихоты, какихъ только могла выработать русская жизнь, таковы: Андрей Колосовъ, Яковъ Пасынковъ, Пунинъ и нѣсколько типовъ непосредственно выросшихъ изъ русской почвы и тѣсно съ нею сливающихся, — „черноземныхъ силъ“, какъ называетъ ихъ Тургеневъ; таковы: Волинцевъ и Уваръ Ивановичъ (въ *Наканунъ*).

Къ другого рода Донъ-Кихотамъ принадлежатъ типы, сочиненные Тургеневымъ а priori, по соображеніямъ, съ предвзятою цѣлью изобразить Донъ-Кихотовъ въ противоположность Гамлетамъ, и подобные типы страдаютъ искусственностью, неестественностью, нѣкоторою даже отвлеченностью. Таковъ Инсаровъ въ *Наканунъ*, знакомясь съ которымъ читатель принужденъ лишь на слово вѣрить автору, что онъ — человекъ дѣла; между тѣмъ все геройство его въ романѣ проявляется лишь въ грубой траги-

комической сценѣ съ нѣмцемъ, хотя Тургеневъ въ своей автобіографіи увѣряетъ, что сюжетъ для *Наканунъ* онъ взялъ изъ жизни, приводитъ даже фактъ, какъ ему досталась тетрадка нѣкоего помѣщика Каратѣева, въ которой было изложено истинное происшествіе, совершенно подобное рассказанному въ *Наканунъ*, причемъ роль Инсарова игралъ болгаринъ Катрановъ, — лицо нѣкогда весьма извѣстное и до сихъ поръ не забытое на родинѣ; — но это все еще болѣе подтверждаетъ апріорное созданіе Тургеневымъ типа Инсарова, тѣмъ болѣе что и самъ онъ говоритъ, что въ тетрадкѣ лишь бѣглыми штрихами было намѣчено то, что составило потомъ содержаніе *Наканунъ*, и что исторія была въ ней передана искренно, хотя умѣло.

Въ такой-же мѣрѣ искусственъ и неестественъ и Соломинъ въ *Нови* съ его практической оппортунистической прогрессивностью.

VII.

Мы приблизились къ роковому кризису въ литературной дѣятельности Тургенева, ознаменовавшемуся появленіемъ его въ 1862 году романа *Отцы и дѣти*. Надо замѣтить, что уже въ 1860 году Тургеневъ разошелся съ Некрасовымъ и со всѣмъ кружкомъ литераторовъ, группировавшихся вокругъ *Современника*, находя взгляды ихъ слишкомъ крайними, а въ 6-й книжкѣ *Современника* 1860 года редакція сочла нужнымъ сдѣлать слѣдующее заявленіе: „Нашъ образъ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что онъ пересталъ одобрять его. Намъ стало казаться, что послѣднія повѣсти г. Тургенева не такъ близко соотвѣтствуютъ нашему взгляду на вещи, какъ прежде, когда и его направленіе не было такъ ясно для насъ, да и наши взгляды не были такъ ясны для него. Мы разошлись. Такъ-ли? — ссылаемся на самого г. Тургенева“.

Вслѣдствіе этого разрыва романъ *Наканунъ* былъ уже напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* и тамъ-же въ февральской книжкѣ 1862 году появился романъ *Отцы и дѣти*.

И въ своихъ воспоминаніяхъ, и въ своихъ письмахъ Тургеневъ стоитъ на томъ, что въ лицѣ Базарова онъ и не думалъ писать карикатуру на молодое поколѣніе и относиться къ нему отрицательно. Такъ въ письмѣ къ г. Случевскому 14-го апрѣля 1862 г. онъ прямо говоритъ:

«Базаровъ все таки подавляетъ всѣ остальные лица романа (Катковъ находилъ, что я въ немъ представилъ апофеозъ *Современника*). Приданныя ему качества — не случайныя. Я хотѣлъ сдѣлать изъ него лицо трагическое — тутъ было не до нѣжностей. Онъ честенъ, правдивъ и демократъ до моза костей. А вы не находите въ немъ хорошихъ сторонъ. *Stoff und Kraft* онъ рекомендуетъ именно какъ популярную, т. е. пустую книгу; дуэль съ П. П. именно введена для нагляднаго доказательства пустоты элегантно-дворянскаго рыцарства, выставленнаго почти преувеличенно-комически; а какъ-бы онъ отказался отъ нея: вѣдь П. П. его побилъ-бы. — Базаровъ по моему постоянно разбиваетъ П. П., а не наоборотъ, и если онъ называется нигилистомъ, то надо читать: революционеромъ. То, что сказано объ Аркадіи, о реабилитированіи отцовъ и т. д., показываетъ только — виноваты! — что меня не поняли. *Вся моя повесть направлена противъ дворянства, какъ передовою класса*. Вглядитесь въ лица Н. И., П. П. и Аркадія. Слабость и вялость, и ограниченность.

Эстетическое чувство заставило меня взять именно *хороших* представителей дворянства, чтобы тѣмъ вѣрнѣе доказать мою тему: если сливки плохи, что-же молоко?»

И дѣйствительно, нельзя отрицать въ Базаровѣ положительныхъ качествъ, которыми и увлекся Писаревъ, найдя въ Базаровѣ полное олицетвореніе молодого поколѣнія. Тѣмъ не менѣе все-таки отношеніе Тургенева къ Базарову далеко не такое, какого ожидали и требовали люди увлеченные движеніемъ 60-хъ годовъ; только выведя идеальную личность вродѣ Инсарова, Тургеневъ могъ удовлетворить этимъ требованіямъ; романъ-же во всѣхъ его деталяхъ и въ цѣломъ былъ преисполненъ той ироніи, того скептицизма, съ какими относился Тургеневъ и прежде ко всѣмъ выводимымъ имъ героямъ, начиная съ Рудина, и вотъ въ этомъ заключалась главная вина его передъ своимъ вѣкомъ, какъ онъ и самъ въ этомъ сознается въ своей статьѣ по поводу *Отцовъ и дѣтей*:

«Вся причина недоразумѣній,—говоритъ онъ,—вся, какъ говорится, «бѣда» состояла въ томъ, что воспроизведенный мною базаровскій типъ не успѣлъ пройти чрезъ постепенные фазисы, черезъ которые обыкновенно проходятъ литературные типы. На его долю не пришлось—какъ на долю Онегина или Печорина—эпохи идеализаціи, сочувственнаго вознесенія. Въ самый моментъ появленія *новаго* человѣка—Базарова—авторъ отнесся къ нему критически и объективно. Это многихъ сбilo съ толку—и кто знаетъ! въ этомъ была, быть можетъ, если не ошибка, то несправедливость. Базаровскій типъ имѣлъ по крайней мѣрѣ столько-же права на идеализацію, какъ предшествовавшіе ему типы».

Вмѣстѣ съ тѣмъ ошибка Тургенева заключалась и въ томъ еще, что онъ не признавалъ въ новыхъ людяхъ, изображенныхъ въ лицѣ Базарова, энтузіастовъ со всѣми достоинствами и недостатками людей этого сорта; а напротивъ того они показались ему скептиками, отрицателями, и онъ окрестилъ ихъ зловѣщимъ прозвищемъ *нигилистовъ*, изъ-за котораго и загорѣлся весь смръ-боръ, какъ онъ и говоритъ самъ объ этомъ въ той-же статьѣ:

«Выпущеннымъ мною словомъ «нигилистъ» воспользовались тогда многіе, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ. Не въ видѣ укоризны, не съ цѣлью оскорбленія было употреблено мною это слово; но какъ точное и умѣстное выраженіе проявившагося историческаго факта: оно было превращено въ орудіе доноса, безворотнаго осужденія—почти въ клеймо позора».

Главная-же причина всей этой роковой ошибки заключалась въ томъ, что, начиная съ 1855 года, Тургеневъ большею частью жилъ за-границею и бывалъ въ Россіи лишь урывками и на весьма непродолжительное время. Онъ слѣдилъ издали за движеніемъ шестидесятыхъ годовъ, но не переживалъ его непосредственно въ самомъ его руслѣ, и вотъ мало-по-малу онъ началъ утрачивать присущее ему чутье русской дѣйствительности. Всѣ лучшія произведенія его до романа *Наканунъ* изображаютъ дореформенную Русь сороковыхъ годовъ, которую онъ изучилъ еще въ молодости. Когда-же русское общество начало быстро преобразовываться подъ вліяніемъ реформъ шестидесятыхъ годовъ, и нравы начали совершенно измѣняться, Тургеневъ не имѣлъ возможности слѣдить внимательно за этимъ измѣненіемъ, живя за-границею, и вмѣсто того чтобы творить, непосредственно беря изъ дѣйствительности свои образы, ему при-

шлось руководствоваться зачастую отвлеченными соображеніями, догадками. Главный недостаток *Отцовъ и дѣтей* заключался въ томъ, что большинство молодежи не узнало себя въ Базаровѣ, исключая развѣ одного Писарева, да и тотъ, взявши тургеневскаго Базарова за исходную точку, создалъ своего собственнаго Базарова.

Это обстоятельство слѣдуетъ взять во вниманіе и при обзорѣи всей послѣдующей дѣятельности Тургенева, которая съ каждымъ годомъ послѣ того все болѣе и болѣе теряла ту живую и непосредственную связь съ теченіемъ русской жизни, какую она имѣла въ сороковые и пятидесятые годы. Такъ, подѣ живымъ впечатлѣніемъ того бѣасо, который потерялъ романъ его *Отцы и дѣти*, онъ написалъ *Долово* (1864), въ которомъ выразилъ вся обиду и горечь, причиненныя ему разладомъ съ русскимъ обществомъ изъ-за этого романа. Но не одинъ капризъ обиженнаго художника, рѣшившагося оставить свое поприще, слышится въ этомъ произведеніи. Оно преисполнено разочарованія жизнью въ общемъ ея смыслѣ, и въ немъ вы видите задатки того пессимистическаго настроенія, которое все болѣе и болѣе развивалось въ Тургеневѣ подѣ конецъ жизни.

Это пессимистическое настроеніе еще съ большею силою выразилось въ романѣ *Дымъ* (1867), въ которомъ Тургеневъ смотритъ, ваъ на дымъ и миражъ, на всю русскую жизнь, со всѣмъ ея движеніемъ, партіями, кружками; особенно-же достается въ этомъ романѣ русскимъ эмигрантамъ въ Лондонѣ, которыхъ Тургеневъ шаржируетъ до того открыто, что наприѣръ Огаревъ изображенъ подѣ весьма прозрачнымъ псевдонимомъ Губарева.

Далѣе затѣмъ въ этомъ послѣднемъ періодѣ дѣятельности Тургенева наиболѣе выдаются *Вешніе воды* (1871), повѣсть, въ которой Тургеневъ вновь воротился къ старой темѣ цвѣтущаго періода своей дѣятельности—къ изображенію безхарактернаго помѣщика, и романъ *Новь* (1876)—эта послѣдняя попытка встать au courant русской жизни, изобразивши движеніе семидесятыхъ годовъ, но попытка эта еще разъ показала всю невозможность изображать новые типы и явленія жизни, живя за-границею и не изучая этихъ типовъ и явленій непосредственными наблюденіями. Какъ великій художникъ Тургеневъ создалъ нѣчто весьма правдоподобное и живое, проведя въ то-же время въ романѣ свою излюбленную тенденцію гамлетства и донкихотства. Но молодые люди семидесятыхъ годовъ еще менѣе узнали себя въ выведенныхъ типахъ, чѣмъ поколѣніе шестидесятыхъ годовъ—въ Базаровѣ. Несуспѣхъ *Нови*, въ видѣ массы отрицательныхъ критическихъ отзывовъ, произвелъ на Тургенева снова весьма болѣзненное впечатлѣніе и еще болѣе омрачилъ духъ его.

Въ промежуткѣ между вышеупомянутыми произведеніями этого періода Тургеневъ написалъ массу мелкихъ разсказовъ—*Призраки* (1863), *Собака* (1866), *Исторія лейтенанта Ерзунова* (1866), *Бригадиръ* (1866), *Несчастная* (1868), *Странная исторія* (1869), *Степной король Лиръ* (1870), *Стукъ-стукъ-стукъ...* (1870), *Пелась* (1871), *Конецъ Чертопханова* (1872), *Пушкинъ и Бабушкинъ* (1874), *Живыя мощи* (1875), *Часы* (1875), *Стучать* (1875), *Сонъ* (1876), *Разсказъ отца Алексѣя* (1877). Наконецъ на смертномъ одрѣ онъ написалъ *Пѣнь торжествующей любви* (1881), *Клару Милмицъ* (1882), *Стихотворенія въ прозѣ* (1882) и *Пожаръ на морѣ* (1883). Всѣ эти произведенія, въ худо-

жественномъ отношеніи болѣе или менѣе совершенны, болѣе или менѣе напоминающія прежняго Тургенева, далеко конечно не имѣютъ того значенія, какъ произведенія первыхъ трехъ періодовъ его дѣятельности. Въ нихъ Тургеневъ жилъ такъ сказать прошлымъ, тѣмъ запасомъ впечатлѣній, какой онъ успѣлъ собрать въ лучшіе годы своей жизни.

УШ.

Въ качествѣ художника Тургеневъ представляетъ собою безспорно первую величину среди беллетристовъ сороковыхъ годовъ и является достойнымъ преемникомъ Пушкина, ученикомъ котораго онъ всегда себя считалъ. Но ученикъ при всемъ влияніи учителя сумѣлъ выработать свой самостоятельный тургеневскій стиль и въ свою очередь вызвалъ массу подражателей, оставивъ послѣ себя глубокой слѣдъ въ русской литературѣ. Тургеневъ можно сказать создалъ русскую художественную новеллу, доведи ее до крайняго совершенства по изяществу и стройности изложенія и расположенія частей, по безыскусственной простотѣ и полному реализму.

Своеобразность стиля Тургенева заключается въ необыкновенной мягкости и нѣжности тоновъ, при нѣкоторой туманности колорита, напоминающей воздухъ и небо средней полосы Россіи. Вы не найдете у Тургенева ни одной рѣзкой и крупной черты, ни одной яркой краски. Изображаемые предметы не вдругъ предстаютъ передъ вами во весь ихъ ростъ, а медленно вырисовываются въ массѣ мелкихъ деталей со всѣми тончайшими оттѣнками. Наиболѣе прославился Тургеневъ въ художественномъ отношеніи своими ландшафтами, разсѣянными по всѣмъ его произведеніямъ, изображающими преимущественно природу его родины — средней Россіи.

Рядомъ съ этимъ не меньшимъ мастерствомъ и художественною прелестью отличался всегда Тургеневъ при изображеніи и анализѣ разныхъ перипетій нѣжной страсти, и въ этомъ отношеніи онъ слылъ всегда знатокомъ женскаго сердца. Ему придавали нерѣдко специальный эпитетъ „цѣлца любви“. Наконецъ рядомъ съ мужскими типами, героями своего времени, произведенія Тургенева представляютъ цѣлую галерею русскихъ женщинъ сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ, изображенныхъ въ совершенствѣ поистинѣ гениальномъ. Такіе типы, какъ Наташа въ *Рудинѣ*, Лиза въ *Дворянскомъ знѣдѣ*, Елена въ *Наканунѣ*, Ася, сдѣлались нарицательными кличками въ одномъ ряду съ Татьяною и Ольгою Пушкина. Замѣчательно въ тоже время, что, какъ и у всѣхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, женщины въ произведеніяхъ Тургенева стоятъ неизмѣримо выше мужчинъ, и онѣ только одніе представляютъ собою вполне реальныя положительныя типы въ произведеніяхъ Тургенева. Очень часто онѣ словно нарочно для того и выводятся во всей своей нравственной высотѣ, чтобы оттѣнить собою ничтожество выводимыхъ рядомъ съ ними героевъ. Въ чемъ заключается загадочная причина подобнаго преимущества, какое оказывали беллетристы сороковыхъ годовъ женщинамъ передъ мужчинами, — мы не беремся объ этомъ судить, такъ какъ причина эта для насъ непонятна.

Но не въ одномъ художественномъ, — и въ умственномъ отношеніи Тургенева слѣдуетъ поставить во главѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Готовясь къ ученой кар-

рьерѣ, онъ умѣлъ встать во главѣ движенія въ качествѣ образованнѣйшаго человѣка сороковыхъ годовъ и начитаннѣйшаго человѣка того времени, усвоившаго вполнѣ обстоятельно гегелевскую философію, составлявшую тогда послѣднее слово европейскаго прогресса. И если онъ не успѣлъ вполнѣ усвоить новое, положительное міросозерданіе, то во всякомъ случаѣ всегда оставался свободнымъ мыслителемъ, отрѣшившимся отъ всѣхъ традиціонныхъ предрасудковъ грубаго невѣжества.

Подъ конецъ жизни, съ начала шестидесятыхъ годовъ, впервые начали проявляться въ его произведеніяхъ задатки пессимизма. Такъ уже въ *Наканунѣ* онъ поразилъ всѣхъ пессимистическою фразою вполнѣ шопенгаузерскаго характера, въ видѣ того, что имѣемъ-ли мы право на жизнь и не есть-ли уже то, что мы живемъ—преступленіе, за которое мы должны нести наказаніе въ нашей жизни? Этотъ пессимизмъ, какъ мы выше замѣтили, орончательно выразился въ произведеніяхъ *Довольно* и затѣмъ въ *Стихотвореніяхъ въ прозѣ*. Источникъ этого пессимизма слѣдуетъ искать во всемъ прошломъ Тургенева, начиная съ отроческихъ впечатлѣній дѣтства, съ растлевающего вліянія реакціи пятидесятыхъ годовъ и кончая всею массою жизненнаго опыта съ тѣми литературными неудачами, какія потерпѣлъ Тургеневъ во второй половинѣ своей жизни. Не надо при этомъ забывать, что самый тотъ духъ анализа и скептицизма, какой проникаетъ всю школу беллетристовъ сороковыхъ годовъ, прямо ведетъ къ пессимизму, какъ и всякій скептицизмъ.

По общественнымъ своимъ убѣжденіямъ Тургеневъ всегда былъ и оставался свободомыслящимъ приверженцемъ мирнаго прогресса съ демократическою тягой къ народу. Будучи западникомъ, онъ, подобно Герцену и многимъ другимъ людямъ сороковыхъ годовъ, проникался и нѣкоторыми идеями славянофильства, причѣмъ въ одинаковой степени постигалъ и отрицалъ недостатки и крайности какъ западниковъ такъ и славянофиловъ... „Я,—говоритъ Тургеневъ въ своей статьѣ о Базаровѣ,—коренной, неисправимый западникъ, и нѣсколько этого не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на это, съ особеннымъ удовольствіемъ зыведъ въ лицѣ Паншина (въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*) всѣ комическія и пошлыя стороны западничества и заставилъ славянофила Лаврецкаго „разбить его на всѣхъ пунктахъ“. И, наоборотъ, въ *Дымѣ* вы найдете рядъ не менѣ сильныхъ филиппикъ противъ славянофиловъ.

Въ качествѣ эстетика Тургеневъ всегда былъ строгимъ реалистомъ. Такъ, въ статьѣ по поводу *Отцовъ и дѣтей* онъ говоритъ: „Не однажды слышалъ я и читалъ въ критическихъ статьяхъ, что я въ моихъ произведеніяхъ „отправляюсь отъ идеи“ или „провожаю идею“, иные меня за это хвалили, другіе напротивъ порицали; со своей стороны я долженъ сознаться, что никогда не покушался „создавать образъ“, если не имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы. Не обладая большою долею свободной изобрѣтательности, я всегда нуждался въ данной почвѣ, по которой я-бы могъ твердо ступать ногами“... И ниже въ той-же статьѣ, обращаясь къ молодымъ писателямъ со своими старческими совѣтами, онъ говоритъ: „Нужно постоянное общеніе съ средою, которую беремся воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неутомимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій—и наконецъ, нужна образованность, нужно знаніе!..“

Этими эстетическими взглядами объясняется и тот фактъ, что Тургеневъ въ шестидесятыхъ годахъ очень не жаловалъ французскую литературу въ лицѣ В. Гюго, Дюма, Бальзака, но десять лѣтъ спустя онъ является въ Парижѣ уже другомъ Флобера, Ожье, Додэ и Гонкуровъ, покровителемъ Золя и Мопассана и ставитъ французскую беллетристику на первомъ мѣстѣ въ современныхъ западно-европейскихъ литературахъ. Онъ нашелъ даже время и охоту перевести въ 1877 г. двѣ повѣсти Флобера. Такой поворотъ во мнѣніяхъ Тургенева о французской литературѣ объясняется воцареніемъ въ ней съ конца шестидесятыхъ годовъ натуралистической школы, родственной Тургеневу по всѣмъ его русскимъ традиціямъ и распространенію которой во Франціи онъ много содѣйствовалъ и словомъ, и примѣромъ. Сами французскіе писатели новой школы признаютъ, что Тургеневъ имѣлъ на нихъ очень сильное вліяніе, и эстетическіе взгляды его были для нихъ своего рода откровеніемъ. Въ бесѣдахъ съ представителями новѣйшаго натурализма, онъ доказывалъ имъ необходимость отказаться отъ устарѣлыхъ романтическихъ формъ, отъ романовъ съ придуманными фантастическими и учеными комбинаціями и интригами и съ манекэнами вмѣсто живыхъ людей, и требовалъ, чтобы писатели воспроизводили жизнь, ничего кромѣ жизни. Романъ, говорилъ онъ, есть самая новѣйшая форма художественной литературы, и въ настоящее время, когда литературный вкусъ начинаетъ очищаться, слѣдуетъ отбросить всѣ пошлые приемы, упростить и возвысить это искусство, которое должно быть *исторіей жизни*. Ложь, лицемѣріе, сентиментальность и трескучая риторика имѣли въ немъ рѣшительнаго противника; но проповѣдуя натурализмъ, онъ никогда не переступалъ извѣстнаго предѣла, строго осуждая тѣ крайности, въ которыя впадаютъ французскіе натуралисты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

I.—Родители и воспитатели Ивана Александровича Гончарова и его дѣтство. II.—Воспитаніе школьное и университетское.—Служба.—Первые литературные опыты.—Знакомство съ литературными кружками.—Выходъ въ свѣтъ *Обыкновенной исторіи*. III.—Среда, вліявшая на умственное развитіе Гончарова и складъ его таланта.—Различіе качествъ этого таланта отъ тургеневскаго. IV.—Дальнѣйшіе факты его жизни.—Путешествіе кругомъ свѣта.—*Фрегатъ Паллада*. V.—*Обломовъ*. VI.—*Обрывъ* и остальные его сочиненія.

I.

Какъ ни были общи всѣмъ беллетристамъ сороковыхъ годовъ тѣ обозначенныя нами въ началѣ предыдущей главы характеристическія особенности, которыя связывали всѣхъ этихъ писателей въ одну школу, эта общность не мѣшала каждому изъ нихъ имѣть свою рѣзкую и опредѣленную индивидуальность, свое міросозерцаніе, идеалы, свой характеръ и приемы творчества, однимъ словомъ свою личную, авторскую фizioномію, не только не похожую на фizioномію сотоварищей, но представлявшую иногда въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ полную съ ними противоположность. Поэтому при изученіи беллетристовъ сороковыхъ годовъ большую пользу можетъ оказать сравненіе ихъ между собою, при которомъ съ особенною рельефностью должны выступить особенности каждаго изъ корифеевъ этой школы.

И въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна та почти полярная противоположность, какая замѣчается между Тургеневымъ и Гончаровымъ. Но прежде чѣмъ мы приступимъ къ характеристикѣ литературной дѣятельности Ивана Александровича Гончарова, считаемъ необходимымъ сообщить выдающіеся факты жизни его.

Отецъ Ив. Ал. Гончарова былъ однимъ изъ зажиточныхъ симбирскихъ купцовъ. Семейство его проживало въ Симбирскѣ въ большомъ каменномъ домѣ, выходившемъ на три улицы.

«Домъ у насъ былъ, говоритъ Гончаровъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что называется, полная чаша, какъ впрочемъ было почти у всѣхъ семейныхъ людей въ провинціи, имѣвшихъ поблизости деревни. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, птичникомъ и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки, все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго пшена и всяческой провизии для продовольствія нашего и обширной дворни. Словомъ, дѣлось имѣніе, деревня».

Вотъ среди этой благодати и родился Ив. Ал. Гончаровъ 6-го іюля 1812 года. Въ произведеніяхъ каждаго писателя, если вы и не найдете прямыхъ біографическихъ свѣдѣній, то во всякомъ случаѣ до извѣстной степени отражаются духъ, характеръ и многія черты среды и обстановки дѣтскихъ лѣтъ писателя. Такъ, нѣтъ сомнѣнія, что въ *Синѣ Обломова* изображена жизнь, похожая на ту, какую наблюдалъ Гончаровъ въ дѣтствѣ въ родительскомъ домѣ. Онъ впрочемъ и самъ говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ:

«По пріѣздѣ домой, по окончаніи университетскаго курса, меня обдало той-же «обломовщиной», *какую я наблюдалъ съ дѣтствъ*. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кромѣ картины сна и застоя. Тѣже большею частью деревянныя, посѣрѣвшіе отъ времени дома и домишки, съ мезонинами, съ садиками, иногда съ колонками, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, безконечныя заборы; тѣже деревянныя тротуары съ недостающими досками, таже пустота и безмолвіе на улицахъ, покрытыхъ густыми узорами пыли. Вся улица слышитъ, когда за версту ѣдетъ телѣга или стучитъ сапогами по мосткамъ прохожій. Такъ и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными сторами и жалюзи, на сонныя фізіономіи сидящихъ по домамъ или попадающихъ на улицѣ лица. «Намъ нечего дѣлать!»—зѣвая, думаетъ кажется всякое изъ этихъ лицъ, глядя лѣнливо на васъ: «мы не торопимся, живемъ—хлѣбъ жуемъ, да небо коптимъ».

Но конечно было-бы ошибочно предполагать, чтобы Гончаровъ свою Обломовку съ фотографическою точностью списалъ-бы со своего родительскаго дома. Было въ немъ кое-что и не совсѣмъ обломовское.

Дѣтей у Гончаровыхъ былъ четверо: двое сыновей и двѣ дочери. Отца Гончаровъ лишился рано, когда ему было три года, но ему вполне замѣнилъ родного отца крестный, отставной морякъ, поселившійся въ домѣ Гончаровыхъ и сжившійся съ ихъ семействомъ. Это былъ въ свое время передовой человѣкъ, масонъ, находившійся въ дружескихъ отношеніяхъ съ декабристами; уныный, образованный, живой, онъ былъ въ Сибирскѣ предметомъ всеобщей любви и уваженія, и около него собиралось лучшее сибирское общество.

«Якубовъ (какъ называетъ его въ своихъ воспоминаніяхъ Гончаровъ) былъ крестнымъ отцомъ насъ четверыхъ дѣтей. По смерти нашего отца, онъ болѣе и болѣе привыкалъ къ нашей семьѣ, потомъ принялъ участіе въ нашемъ воспитаніи. Это занимало его, наполняя его жизнь. Добрый морякъ окружилъ себя нами, принявъ насъ подъ свое крыло, а мы привязались къ нему дѣтскими сердцами, забыли о настоящемъ отцѣ. Онъ былъ лучшимъ свѣтникомъ нашей матери и руководителемъ нашего воспитанія. Якубовъ былъ вполне просвѣщенный человѣкъ. Образование его не ограничивалось техническими познаніями въ морскомъ дѣлѣ, приобретенными въ морскомъ корпусѣ. Онъ дополнял его непрестаннымъ чтеніемъ по всѣмъ отраслямъ знанія, не жадя денегъ на выписку изъ столицъ журналовъ, книгъ, брошюръ. Какъ бывало прочитаетъ въ газетѣ объявленіе о книгѣ, которая по заглавію покажется ему интересною, сейчасъ посылаетъ требованіе въ столицу. Романовъ, и вообще беллетристики, онъ не читалъ и зналъ всѣхъ тогдашнихъ крупныхъ представителей литературы больше понаслышкѣ. Выписывалъ онъ книги историческаго, политическаго содержанія и газеты.

«Мать наша, благодарная ему за трудную часть взятыхъ на себя заботъ о нашемъ воспитаніи, взяла на себя всѣ заботы о его житьѣ-бытьѣ, о хозяйствѣ. Его дворня,

повара, кучера слились съ нашей дворней подъ ея управленіемъ—и мы жили однимъ общимъ домою. Вся матеріальная часть пала на долю матери, отличной, опытной хозяйки. Интеллектуальныя заботы достались ему.

«Мать любила насъ не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается въ горячихъ ласкахъ, въ слабомъ потворствѣ и угодливости дѣтскимъ капризамъ и которая портитъ дѣтей. Она умно любила, слѣдя неослабно за каждымъ нашимъ шагомъ, и съ строгой справедливостію распредѣлила свою симпатію между всеми нами четырьмя дѣтьми. Она была взыскательна и не пропускала безъ наказанія или замѣчанія ни одной шалости, особенно если въ шалости крылись зерна будущаго порока. Она была неумолима. За-то Петръ Андреевичъ Якубовъ, заступившій намъ мѣсто отца, былъ отецъ-баловникъ.... Бывало напашалишь что-нибудь: влѣзешь на крышу, на дерево, увяжешься съ уличными мальчишками въ сосѣдній садъ, или съ братомъ заберешься на колокольню—она узнаетъ и пошлетъ челоуѣка привести шалуна къ себѣ. Вотъ тутъ-то и спасаешься въ благодѣтельный флигель, къ «крестному». Онъ уже знаетъ въ чемъ дѣло. Является челоуѣкъ или горничная съ зовомъ:—Пожалуйте къ маменькѣ! — «Пошелъ» или «пошла вонъ!» — лаконически командуетъ морякъ. Гнѣвъ матери между тѣмъ утихаетъ и дѣло ограничивается выговоромъ вмѣсто дражня ушей и стоянія на колѣняхъ, что было въ наше время весьма распространеннымъ средствомъ смирять и обращать шалуновъ на путь правый...

«По мѣрѣ того, какъ онъ старѣлся, а я приходилъ въ возрастъ, между мной и имъ установилась—съ его стороны передача, а съ моей—живая воспримчивость его серьезныхъ техническихъ познаній въ чистой и прикладной математикѣ. Особенно ясны и неоцѣненны были для меня его бесѣды о математической и физической географіи, астрономіи, вообще космогоніи, потомъ навигаціи. Онъ познакомилъ меня съ картою звѣзднаго неба, наглядно объяснял движеніе планетъ, вращеніе земли, все то, чего не умѣли или не хотѣли сдѣлать мои школьныя наставники. Я увидѣлъ ясно, что они были дѣти передъ нимъ въ этихъ техническихъ преподаваемыхъ мнѣ имъ урокахъ. У него были нѣкоторые морскіе инструменты: телескопъ, секстантъ, хронометръ. Между книгами у него оказались путешествія всѣхъ кругосвѣтныхъ плавателей съ Кука до послѣднихъ временъ.

«Я жадно поглощалъ его рассказы и зачитывался путешествіями. «Ахъ, если-бы ты сдѣлалъ хоть четыре морскія кампаніи (морскою кампаніею считается каждые полгода, проведенныя въ морѣ), то-то-бы порадовалъ меня!»—говаривалъ онъ часто въ заключеніе нашихъ бесѣдъ. Я задумывался въ отвѣтъ на это: меня тогда уже тянуло къ морю или по крайней мѣрѣ къ водѣ. Если-бы онъ предвидѣлъ, что со временемъ я сдѣлаю пять кампаній—да еще кругомъ свѣта!.. Поддаваясь мистичизму, можно пожалуй подумать, что не одинъ случай только далъ мнѣ такого наставника для будущаго моего дальняго странствованія. Впрочемъ помимо этого меня нерѣдко манили куда-то въ даль широкіе разливы Волги со множествомъ плавающихъ какъ лебеди бѣлыхъ парусовъ. Я цѣлыя часы мечтательно еще ребенкомъ вглядывался въ эту широкую пелену водъ.

«И по приѣздѣ въ Петербургъ во мнѣ уживалась страсть къ водѣ. Рассказы-ли крестнаго» вмѣстѣ съ прочитанными путешествіями, или широкое раздолье волжскихъ водъ, не знаю что, но только страстишка къ морю жила у меня въ душѣ. Гуляя по Васильевскому острову, я съ наслажденіемъ заглядывался на иностранныя суда и нюхалъ запахъ смолы и пеньковыхъ канатовъ. Я прежде всего поспѣшилъ по приѣздѣ въ Петербургъ посѣтить Кронштадтъ и осмотрѣть тамъ море и все морское.

Принимая во вниманіе это благотворное вліяніе просвѣщеннаго, гуманнаго и передоваго челоуѣка своего времени на горячо любимаго имъ крестника, слѣдуетъ замѣтить сверхъ того и то очень важное обстоятельство дѣтскихъ лѣтъ Гончарова, что въ

домъ родителей его если и господствовали патриархальные нравы со всею ихъ освященною вѣками рутинною, но они далеко не имѣли такого мрачнаго и жестокаго характера, какой мы видѣли въ семьѣ Тургенева.

Крестнаго своего Гончаровъ рисуетъ человѣкомъ вспыльчивымъ, но никогда не исполнившимъ тѣ угрозы, которыя вырывались у него при вспышкахъ минутнаго гнѣва.—Мать его, судя по всеѣмъ даннымъ, въ свою очередь при всей строгости своей была женщина мягкая и добродушная. Однимъ словомъ Гончаровъ не вынесъ изъ дѣтства такихъ тяжелыхъ, ожесточающихъ воспоминаній, какія вынесъ Тургеневъ, и это одно дѣлаетъ между ними очень важное и существенное различіе.

II.

Элементарное образованіе Гончаровъ получилъ въ различныхъ городскихъ частныхъ пансіонахъ, между прочимъ у одного священника, жившаго по сосѣдству въ имѣніи княгини Хованской и содержавшаго особенный пансіонъ для дѣтей мѣстныхъ дворянъ. Это былъ человѣкъ весьма образованный, окончившій курсъ въ казанской духовной академіи, обладавшій притомъ щеголеватю внѣшностью и хорошими манерами. Женато онъ былъ на француженкѣ, которая преподавала воспитанникамъ мужа свой отечественный языкъ. При этомъ оригинальномъ пансіонѣ Гончаровъ нашелъ и небольшую разрозненную бібліотеку, въ которой попались ему въ руки путешествія Кука и Крашенинникова, Мунго-Парка и Палласа, Карамзинъ и Голицевъ, Ролленъ и Милогъ, произведенія Нахичова и Расина, Ломоносова, Державина, Фонъ-Визина и Тасса; рядомъ съ дѣтскими нравоучительными разсказами Беркэна, Телемакомъ Фенелона,—мрачные романы Ратклифъ, „Саксонскій разбойникъ“ рядомъ съ томикомъ „Ключа къ тайнамъ природы“ Эккартсгаузена, Бова Королевичъ и Ерусланъ Лазаревичъ. Все это было поглощено воспримчивымъ умомъ ребенка огуломъ, и можно представить себѣ, какую путаницу все это водворило въ талантливой головкѣ мальчика.

Въ 1822 году, 10 лѣтъ отъ роду, его отвезли въ Москву для дальнѣйшаго образованія и помѣстили въ одно изъ среднихъ учебныхъ заведеній. Такимъ образомъ уже съ десятилѣтняго возраста началась для Гончарова жизнь внѣ семейнаго очага; домой съ этихъ поръ прѣвѣжалъ онъ лишь на лѣто, остальное-же время проводилъ въ столицѣ. Продолжая среди ученья читать чтó ни попало, онъ успѣлъ до университета еще познакомиться съ французскими беллетристами, перевелъ даже на русскій языкъ романъ Ев. Сю-*Артаноль*, отрывокъ котораго былъ помѣщенъ въ *Телескопъ* 1832 г.

Къ поступленію въ университетъ Гончаровъ былъ готовъ уже въ 1830 году, но такъ какъ въ этотъ годъ по случаю холеры университетъ былъ закрытъ, то ему пришлось держать вступительный экзаменъ въ 1831 году. По собственнымъ словамъ его онъ въ это время зналъ порядочно пофранцузски, понѣмецки, отчасти поанглійски и полатыни; переводилъ Корнеля Непота „à livre ouvert“. Не задолго до вступительнаго экзамена изъ министерства народнаго просвѣщенія получилось предписаніе требовать отъ вступающихъ въ словесное отдѣленіе знанія греческаго языка, чтó привело въ немалое смущеніе Гончарова. „Я и другіе, говоритъ онъ въ своихъ воспо-

минаніяхъ, кто поступалъ въ словесное отдѣленіе, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложивъ все прочее, напустились на грамматику и синтаксисъ, и съ этимъ скуднымъ, пріобрѣтённымъ съ грѣхомъ по-поламъ запасомъ, явились на экзамень. Много воды подлилъ этотъ греческой языкъ въ мои теплыя надежды. Но все обошлось благополучно...

Послѣ я услышалъ, что начальство не желало затруднить вступленіе въ университетъ изъ-за греческаго языка, и предоставило экзаменоватъ изъ послѣдняго снисходительно, такъ какъ его включили въ программу вступительнаго экзамена поздно*...

Въ университетѣ Гончаровъ пробылъ весь тогдашній трехъ-годичный курсъ, слѣдовательно до 1834 года, слушая Надеждина, Качеповскаго, Шевырева и пр. При общемъ составѣ профессоровъ филологическаго факультета въ московскомъ университетѣ того времени, не много могъ вынести Гончаровъ изъ пройденнаго курса, и къ тому-же къ сожалѣнію онъ не примкнулъ ни къ одному изъ студенческихъ кружковъ, бывшихъ въ московскомъ университетѣ какъ разъ въ это время, — ни къ кружку Станкевича, ни къ кружку Герцена. Тѣмъ не менѣе университетской курсъ все-таки прошелъ для Гончарова не безслѣдно, какъ онъ самъ объ этомъ замѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: „Университетскій officialный курсъ кончился, но вліяніе университета продолжалось. Потерявъ изъ виду своихъ товарищей словесниковъ, я не забывалъ профессоровъ и ихъ указаній. Въ Петербургѣ, тщательно изучая иностранныя литературы, я уже регулировалъ свои занятія по тому методу и по тѣмъ указаніямъ, которыя преподали намъ въ университетѣ наши вышеозначенные любимые профессора“...

Что касается до общаго міросозерцанія, то Гончаровъ во время окончанія университетскаго курса въ 1834-мъ году былъ конечно самымъ пламеннымъ и сентиментальнымъ романтикомъ. Это была именно эпоха наибольшаго развитія романтизма среди молодежи. Бѣлинскій какъ разъ въ этотъ самый годъ началъ свою литературную дѣятельность, и въ Москвѣ начали печататься первыя его статьи, исполненныя восторженнаго идеализма. Поклоненіе Пушкину дошло въ это время до своего апогея, и рядомъ съ этимъ молодежь носилась съ идеалами Шиллера, боготворила Гофмана, что не мѣшало ей зачитываться и Марлинскимъ.

По выходѣ изъ университета Гончаровъ поѣхалъ на родину, гдѣ сразу охватила его родная обломовщина. „Меня охватило, говоритъ онъ, какъ паромъ, домашнее баловство. Многіе изъ читателей конечно испытали сладость возвращенія послѣ долгой разлуки къ роднымъ и поймутъ, что я на первыхъ порахъ весь отдался сладкой нѣгѣ ухода, внимательности. Домашніе не даютъ пожелать чего нибудь: все давно готово, предусматрѣно. Кромѣ семи старые слуги съ нянькой во главѣ смотрятъ въ глаза, припоминаютъ мои вкусы, привычки, гдѣ стоялъ мой письменный столъ, на какомъ креслѣ я всегда сидѣлъ, какъ постлать мнѣ постель. Поваръ припоминаетъ мои любимыя блюда — и всѣ не наглядятся на меня“.

Цѣлый годъ прожилъ онъ на родинѣ на подножномъ корму, не совсѣмъ впрочемъ въ праздности, такъ какъ вскорѣ по пріѣздѣ онъ былъ завербованъ на мѣсто секретаря въ губернаторскую канцелярію, и такъ какъ черезъ годъ губернаторъ былъ

отозванъ въ Петербургъ, то и Гончаровъ поѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ туда (1835) со всею его канцелярією.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, Гончаровъ поступилъ на службу по министерству финансовъ сначала переводчикомъ, потомъ столоначальникомъ. Съ этихъ поръ начинается весьма важный періодъ его жизни окончательной формировки его нравственного и умственного міра и полного развитія таланта. Къ сожалѣнію мы ничего не можемъ сообщить объ этомъ періодѣ, какъ лишь такія скудныя свѣдѣнія, что въ свободные отъ службы часы Гончаровъ занимался переводами изъ Шиллера, Гёте (прозы), Винкельмана, а также англійскихъ романовъ. Писалъ-ли онъ что-либо оригинальное въ первые пять лѣтъ своего пребыванія въ Петербургѣ, хотя-бы лишь для себя, въ видахъ развитія таланта, мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній. Но въ началѣ сороковыхъ годовъ, по его собственнымъ словамъ (въ статьѣ *Лучше поздно чѣмъ никогда*), задумывался уже и писался романъ *Обыкновенная исторія*. По содержанию-же этого романа мы можемъ судить, что къ началу сороковыхъ годовъ Петербургъ успѣлъ уже сдѣлать съ Гончаровымъ тоже, что сдѣлалъ онъ около того же времени съ Бѣлинскимъ и героемъ романа Гончарова, Александромъ Адуевымъ, т. е. обломать крылья мечтательной фантазіи, и взбалмошнаго, сентиментальнаго провинціального романтика превратить въ реалиста черезчуръ уже, какъ увидимъ ниже, трезваго. Гончаровъ самъ въ статьѣ *Лучше поздно чѣмъ никогда* такими словами связываетъ первый романъ со своею личностью:

„Когда я писалъ *Обыкновенную исторію*, я конечно имѣлъ въ виду и себя и многихъ подобныхъ мнѣ, учившихся дома или въ университетѣ, жившихъ по затѣшьямъ, подъ крыломъ добрыхъ матерей, и притомъ отрывавшихся отъ нѣги, отъ домашняго очага, со слезами, съ проводами (какъ въ первыхъ главахъ *Обыкновенной исторіи*) и являвшихся на главную арену дѣятельности, въ Петербургѣ“.

Когда писалась *Обыкновенная исторія*, Гончаровъ вращался уже въ литературныхъ кружкахъ. Такъ онъ успѣлъ сблизиться съ семействомъ Майковыхъ и, по словамъ И. И. Панаева, много содѣйствовать въ развитіи таланта Ан. Майкова, будущаго поэта, тогда еще подававшего большія надежды подростка. Въ томъ-же семействѣ бывалъ и ѣкто Солоницынъ, богатый и прекрасно образованный человѣкъ, занимавшійся воспитаніемъ Майковыхъ по искренней дружбѣ, связывавшей его съ семействомъ. Солоницынъ былъ страстнымъ охотникомъ до всякихъ домашнихъ торжествъ, предпріятій и затѣй, и потому, желая вѣроятно поощрить своихъ юныхъ воспитанниковъ къ занятіямъ литературою, видя въ нихъ склонность къ этому, онъ задумалъ издавать въ домашнемъ кружкѣ Майковыхъ небольшой журналъ, принявъ на себя переплетеніе и переписываніе его номеровъ. Въ этомъ-то журнальцѣ появились и первые литературные опыты Гончарова въ видѣ двухъ небольшихъ тщательно отдѣланныхъ эпизодическихъ рассказовъ юмористическаго содержанія.

Въ 1846 году Гончаровъ познакомился съ Бѣлинскимъ и съ кружкомъ молодыхъ литераторовъ, группировавшихся вокругъ него и въ слѣдующемъ году составившихъ редакцію *Современника*. И вотъ, въ 1847 году, въ первыхъ книжкахъ возобновленнаго *Современника* была напечатана *Обыкновенная исторія*, сразу привлекая общее вниманіе и снискавшая автору громадный успѣхъ среди читающей публики.

Въ слѣдующемъ-же 1848 году тоже въ *Современникъ* былъ напечатанъ небольшой очеркъ изъ чиновничьяго быта *Иванъ Поджабринь*.

III.

Мы говорили уже выше, что Гончарову не удалось сойтись въ университетѣ ни съ однимъ изъ существовавшихъ въ то время кружковъ. Почти прямо со школьной скамьи пріѣхавши въ Петербургъ зеленымъ и прекраснодумнымъ романтикомъ вроде Адуева, онъ подобно герою своему сразу окунулся въ чиновничій міръ холодныхъ и черствыхъ практическихъ дѣльцовъ въ духѣ дядюшки Петра Ивановича Адуева. Это была та самая среда бюрократическаго оппортунизма, о которой мы не разъ уже говорили въ этой книгѣ, среда не чуждая либерализма въ самой умѣренной дозѣ, работавшая противъ крѣпостного права и стремившаяся къ европейскому прогрессу на буржуазной основѣ и съ англійскими порядками. Герою этой среды и ея воплощеніемъ является именно Петръ Ивановичъ Адуевъ, въ которомъ Гончаровъ видитъ „слабое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, нерутиннаго, а *живого дѣла* въ борьбѣ со всероссійскимъ застоємъ“. Это „живое дѣло“ заключается въ томъ, что достигши значительнаго положенія въ службѣ, Адуевъ, будучи директоромъ, тайнымъ совѣтникомъ, сдѣлался вдругъ заводчикомъ. „Тогда, замѣчаетъ Гончаровъ объ этомъ обстоятельствѣ, отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ это была смѣлая новизна, чуть не *униженіе* (я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ заводы и фабрики входили въ число родовыхъ имѣній, были оброчныя статьи и которыми они сами не занимались). Тайные совѣтники мало рѣшались на это. Чинъ не позволялъ, а званіе купца не было лестно“.

Итакъ, вотъ каковы были руководители Гончарова. Въ то время, какъ Тургеневъ, войдя въ кружокъ Вѣлинскаго, вмѣстѣ съ послѣднимъ отрѣшался отъ романтизма путемъ философскаго мышленія и усвоенія широкихъ общественныхъ идеаловъ, Гончаровъ тотъ-же самый процессъ совершалъ подъ вліяніемъ тайныхъ совѣтниковъ, державшихъ дѣлаться заводчиками.

Это не замедлило отразиться какъ на міросозерцаніи Гончарова, такъ и на характерѣ самаго его творчества. По міросозерцанію своему Гончаровъ рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, особенно отъ Тургенева, тѣмъ что у него вы и тѣни не увидите того скептическаго взгляда на жизнь и людей, тѣхъ философскихъ „рефлексій“, какими преисполнены всѣ прочіе беллетристы этой школы. Взгляды Гончарова напротивъ того отличаются средневѣковою непосредственностью, опредѣленностью и ясностью, и въ этомъ отношеніи онъ болѣе всего приближается по своему міросозерцанію къ Гоголю. Онъ не столько анализируетъ жизнь, старается заглянуть въ глубь ея, сколько созерцаетъ ее во всемъ ея наружномъ, ви́шнемъ разнообразіи. Эта-то непосредственность созерцанія при полномъ отсутствіи анализа и была причиною того опредѣленія таланта Гончарова, которое сдѣлалъ Вѣлинскій при появленіи *Обыкновенной исторіи*, что Гончаровъ „поэтъ, художникъ и больше ничего“, что „у него нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ

нравственных уроков ни имъ, ни читателю; онъ какъ будто думаетъ: „кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло сторона“, и что „изъ всѣхъ нынѣшнихъ писателей онъ одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всѣ другіе отошли отъ него на неизмѣримое пространство—и тѣмъ самымъ успѣваютъ“...

Изъ этого непосредственнаго созерцанія жизни при полномъ отсутствіи всякаго анализа пронтекаютъ два главныхъ свойства творчества Гончарова, наиболѣе рѣзко отличающія его отъ Тургенева. Тургеневъ рѣдко вдается въ подробныя описанія внѣшнихъ аксессуаровъ жизни. Даже при изображеніи героевъ разсказовъ своихъ, онъ ограничивается обыкновенно самыми главными, наиболѣе выдающимися чертами и старается поскорѣе проникнуть въ глубь жизни, опредѣлить философскій внутренній смыслъ изображаемаго предмета или личности. У Гончарова-же напротивъ того преобладаетъ въ изображеніяхъ внѣшняя пластика, стремленіе обрисовывать предметы во всѣхъ ихъ разнообразныхъ и мелкихъ подробностяхъ. Этимъ своимъ качествомъ онъ опять-таки наиболѣе подходитъ къ Гоголю, который славился именно своею страстью вдаваться въ „фламандской кухни пестрый соръ“ и въ тину мелочей и дразнь повседневной жизни.

Рядомъ съ этою особенностью мы видимъ другую совершенно повидимому противоположную, но которая въ свою очередь выходила изъ отсутствія анализа и которую Гончаровъ и на этотъ разъ раздѣлялъ вмѣстѣ съ Гоголемъ: именно страсть къ широкимъ обобщеніямъ.

Въ самомъ дѣлѣ, анализъ потому уже чуждъ бываетъ широкихъ обобщеній, что стремится разлагать жизнь на ея составные элементы. Поэтому образы Тургенева—крайне конкретны. Вы не можете указать ни на одинъ изъ созданныхъ имъ типовъ, чтобы типъ полнѣе и всесторонне обнималъ людей сороковыхъ годовъ. Для изученія этихъ людей вы должны взять цѣлый рядъ выведенныхъ имъ характеровъ въ повѣстяхъ и романахъ, писанныхъ въ различное время,—и Рудина, и Лаврецкаго, и Веретьева, и Литвинова,—и сами уже потрудитесь найти нѣчто общее между всѣми этими героями, порою мало похожими одинъ на другого. У Гончарова-же въ лицѣ Райскаго изображены люди сороковыхъ годовъ въ ихъ наиболѣе типическихъ и общихъ чертахъ, и Райскій вполне выражаетъ собою все поколѣніе Гончарова и Тургенева.

Въ *Обыкновенной исторіи* уже успѣли ярко выступить всѣ эти особенности творчества Гончарова. Здѣсь мы считаемъ лишнимъ прежде всего указать на вотъ какое обстоятельство, ускользавшее до сихъ поръ отъ вниманія всѣхъ писавшихъ объ этомъ романѣ Гончарова: именно—несмотря повидимому на вполне органическое появленіе этого романа изъ вѣяній чисто русской жизни, замѣчается тѣмъ не менѣе нѣкоторое отдаленное сходство между этимъ романомъ и *Орасомъ* Жоржъ-Зандъ. Примите при этомъ въ соображеніе то обстоятельство, что *Орасъ* появился въ свѣтъ въ 1841 г. и былъ новинкою какъ разъ въ то самое время, когда Гончаровъ задумалъ свою *Обыкновенную исторію*. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что задуманъ былъ этотъ романъ подъ сильнымъ впечатлѣніемъ *Ораса*, и это впечатлѣніе сказалось въ немъ до известной степени. Конечно между дѣйствіями Ораса и Адуева большая разница въ томъ отношеніи, что оба героя живутъ въ совершенно различной средѣ: одинъ въ сво-

бодной странѣ, въ которой кипѣла политическая жизнь, другой въ Россіи николаевской эпохи; одинъ вслѣдствіе этого могъ увлекаться политикою и биться на баррикадахъ, а другого только и занимали, что одни вещественные знаки невещественныхъ отношеній. Тѣмъ не менѣ между ними вы замѣчаете не мало родственныхъ чертъ. Романъ Жоржъ-Зандъ имѣлъ въ свое время совершенно такое-же значеніе во французской жизни, какое *Обыкновенная исторія* имѣла въ нашей. Онъ въ свою очередь въ доскъ положилъ тѣхъ золотушныхъ и малокровныхъ юношей дворянской и буржуазной среды, которые являлись изъ провинцій въ столицы для устройства карьеры съ самыми гордыми и высокими мечтами подѣ влияніемъ романтическихъ идеаловъ тридцатыхъ годовъ, облекались въ какой-нибудь чайльд-гарольдовскій плащъ и мнили себя избранниками, имѣвшими право презирать все, стоящее вокругъ нихъ, но въ концѣ концовъ выказывали полную несостоятельность въ самыхъ простыхъ и элементарныхъ отношеніяхъ къ людямъ и мирились съ самою пошленькою дѣйствительностью со всею ея грязью. Орасъ, сынъ небогатаго буржуазнаго семейства, подобно Александру Адуеву пріѣзжаетъ изъ провинціи учиться на послѣдніи деньги, сколоченныя родителями изъ ихъ скромныхъ избытковъ, поступаетъ конечно ужъ на юридическій факультетъ, мечтая сдѣлаться впоследствии политическимъ дѣятелемъ, но мало занимается науками и вообще книгами, чувствуя себя слишкомъ великимъ героемъ для того, чтобы снизойти до такихъ изысканностей какъ зубреніе законовъ и изученіе крючкотворства. Наконецъ послѣ длиннаго ряда пошлостей и глупостей, оказавшись плохимъ политикомъ, плохимъ товарищемъ и не менѣ плохимъ любовникомъ, онъ мирится на прозаической роли зауряднаго провинціального адвоката и средней руки публициста въ рядахъ оппозиціи.

Сдѣлавши эру во Франціи, романъ Ж.-Зандъ не могъ не подѣйствовать какъ своего рода пробуждающій и отрезвляющій ударъ грома и на нашего пламеннаго романтика въ лицѣ Ив. Ал. Гончарова. *Обыкновенная исторія* и явилась какъ выраженіе этого отрезвленія. — Уже въ этомъ романѣ вмѣстѣ со всѣми другими особенностями творчества Гончарова мы видимъ еще одну, которая неизмѣнно повторяется во всѣхъ послѣдующихъ романахъ его. Особенность эта въ свою очередь имѣетъ совершенно архаическій, средневѣковой характеръ. Подобно тому, какъ средневѣковой человѣкъ мыслить непременно контрастами, рядомъ съ раемъ въ его воображеніи рисовался адъ, рядомъ съ свѣтлымъ ликомъ ангела — мрачный образъ сатаны, и этотъ дуализмъ отражался различнымъ образомъ въ средне-вѣковомъ искусствѣ, такъ и у Гончарова въ каждомъ романѣ вы встрѣтите на главномъ планѣ параллель двухъ противоположныхъ типовъ: рядомъ съ типомъ отрицательнымъ типъ положительный, составляющій его противовѣсъ и оттѣняющій его. — Такъ и въ *Обыкновенной исторіи*, выведя на сцену въ лицѣ взбалмошнаго романтика Александра Адуева російскаго Ораса, Гончаровъ захотѣлъ непременно въ противовѣсъ ему поставить трезваго и разсудительнаго реалиста и при непосредственности своего міросозерцанія онъ не сталъ долго ломать голову надъ измышленіемъ положительнаго типа, какъ мучались надъ подобнымъ дѣломъ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ, а взялъ перваго попавшагося подѣ руку тайнаго совѣтника съ буржуазными наклоностями наживать капиталы коммерческими предпріятіями и состряпалъ изъ него положитель-

ный типъ „трезваго реалиста“. Вотъ что говорить самъ Гончаровъ о незатѣйливой философіи своего романа:

«Въ борьбѣ дяди съ племянникомъ отразилась и тогдашняя только что начинавшаяся ломка старыхъ понятій и нравовъ — сентиментальности, карикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзии, праздности, — семейная и домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ (напримѣръ, любви съ *желтыми цвѣтами* старой дѣвы тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостеприимство и т. д.

«Словомъ, вся праздная, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ, съ обычными порывами юности — къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждою высказать это въ трескучей прозѣ, всего болѣе въ стихахъ. Все это отживало, уходило: являлись слабыя проблески новой зари, чего-то трезваго, дѣловаго, нужнаго. Первое, т. е. старое исчерпалось въ фигурѣ племянника — и оттого онъ вышелъ рельефнѣе, яснѣе. Второе, т. е. трезвое сознаніе необходимости дѣла, труда, знанія, выразилось въ дядѣ — но это сознаніе только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полнаго развитія — и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-гдѣ, въ отдѣльныхъ лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блѣднѣе фигуры племянника...

«Адуевъ, читаемъ мы ниже, кончилъ какъ большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать въ службѣ, писалъ и въ журналахъ (но уже не стихами) и, переживъ эпоху юношескихъ волненій, достигъ положительныхъ благъ, какъ большинство, занялъ въ службѣ прочное положеніе и выгодно женился; словомъ, обдѣлалъ свои дѣла. Въ этомъ и заключается «обыкновенная исторія».

IV.

Воздавши первымъ своимъ романомъ дань своей юности и осмѣявши ея романтическія увлеченія въ образѣ Александра Адуева, Гончаровъ принялся за другой романъ, далеко уже не столь субъективный и въ которомъ творчество его проявилось во всей могучей силѣ и въ полномъ расцвѣтѣ. — Надо впрочемъ замѣтить, что два остальные романа Гончарова: *Обломовъ* и *Обрывъ*, вышедшіе въ свѣтъ десять лѣтъ спустя одинъ послѣ другого, были задуманы и даже писались почти разомъ. Такъ мы видимъ, что въ *Иллюстрированномъ Альбомѣ при Современникѣ* 1848—49 гг. былъ помѣщенъ уже *Сонъ Обломова*. Въ слѣдующемъ-же 1849 году задуманъ и *Обрывъ*, судя по словамъ самого Гончарова въ его воспоминаніяхъ.

«Романъ, говоритъ онъ, былъ задуманъ въ 1849 г., когда я, послѣ 14-ти-лѣтняго отсутствія пріѣхалъ повидаться съ родственниками на Волгу. Тутъ толпой хлынули ко мнѣ старыя знакомыя лица, я увидѣлъ еще не отжившій тогда патріархальный бытъ и вмѣстѣ новыя обѣги, смѣсь молодого со старымъ. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздухъ, воспоминанія дѣтства — все это залегло мнѣ въ голову и почти мѣшало кончить *Обломова*, котораго написана была первая часть, а остальные гнѣздились въ головѣ»...

Въ 1852 году Гончаровъ, при посредствѣ А. С. Норова, получилъ предложеніе отъ морскаго министерства отправиться въ кругосвѣтное плаваніе, въ качествѣ секретаря при адмиралѣ Путятинѣ для заключенія торговаго трактата съ Японіей. Гончаровъ

согласился на это предложеніе и отправился кругомъ свѣта на фрегатѣ Паллада. Результатомъ долгаго и труднаго плаванія, сначала по морямъ кругомъ свѣта, потомъ черезъ всю Сибирь, были сначала путевыя письма, печатавшіяся въ разныхъ журналахъ, а затѣмъ и полное описаніе всего путешествія, изданное Гончаровымъ въ 1856 и 1857 годахъ въ двухъ томахъ подъ заглавіемъ *Фрегатъ Паллада*.

Путевыя письма не мѣшали Гончарову заниматься и обоими романами, которые онъ возилъ вокругъ свѣта, какъ онъ выражается, „въ головѣ и въ программѣ, небрежно написанной на клочкахъ—и говорилъ, рассказывалъ, читалъ вслухъ всѣмъ, кому попало, радуясь своему запасу“.

По изданіи *Фрегата Паллады*, Гончаровъ отправился за-границу и тамъ на водахъ въ Маріенбадѣ кончилъ въ 1857 году своего *Обломова*, и „тогда-же, по его словамъ, „прямо изъ Маріенбада поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ засталъ двухъ-трехъ пріятелей изъ русскихъ литераторовъ, и прочелъ имъ только что написанныя въ уединеніи на водахъ три послѣднія части *Обломова*, за исключеніемъ послѣднихъ главъ, которыя дописалъ въ Петербургѣ, и опять прочелъ ихъ уже тамъ тѣмъ-же лицамъ. Послѣ того весь отдался *Обрыву*, который извѣстенъ былъ тогда въ кружкѣ нашемъ просто подъ именемъ *Художника*“.

Прежде всего скажемъ нѣсколько словъ о *Фрегатѣ Паллада*. Замѣтимъ здѣсь кстати, что при страсти, свойственной всѣмъ людямъ сороковыхъ годовъ ко всякаго рода художественнымъ описаніямъ, особенно ландшафтамъ и разнымъ бытовымъ картинамъ, никогда не процвѣтали у насъ въ такой степени путевые очерки, письма и впечатлѣнія, какъ въ сороковые и пятидесятые годы. Изъ особенно выдающихся такого рода литературныхъ памятниковъ упомянемъ: *Письма объ Испаніи* В. Боткина, *Путевыя письма изъ Италіи* П. Ковалевскаго, печатавшіяся въ концѣ пятидесятыхъ годовъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Но во главѣ всѣхъ этихъ произведеній по его художественному значенію слѣдуетъ поставить *Фрегатъ Паллада*. Здѣсь во всей своей силѣ проявилось самое лучшее качество таланта Гончарова, именно мастерство изобразительности, исполненной живой, осязательной пластичности и детальности.—Картинны тропической природы, африканскихъ и индѣйскихъ портовъ, гдѣ останавливался фрегатъ и передъ наблюдательными взорами художника развѣртывалась яркая пестрая жизнь, совершенно чуждая всему, къ чему привыкли его взоры, словно какъ-бы какого-то фантастически-сказочнаго характера,—все это представляетъ собою нѣчто единственное по своему совершенству и художественной высотѣ во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Но какія волшебныя картины ни раскрываются передъ вами въ книгѣ Гончарова, вы видите передъ собою писателя, горячо любящаго свою родину со всею бѣдностью и тусклостью ея сѣверной природы; ни на минуту не забываетъ онъ своей Россіи, и книга его полна всякаго рода остроумныхъ и мѣткихъ сравненій и сопоставленій картинъ или нравовъ чуждыхъ странъ съ родными.—Въ то-же время ни на минуту не покидаетъ Гончарова его добродушный, веселый юморъ беллетриста натуральной школы; чудеса тропическихъ странъ не мѣшаютъ ему наблюдать нравы окружающихъ его русскихъ моряковъ, раздѣлявшихъ съ нимъ его плаванье, начиная съ высшихъ чиновъ до приставленнаго къ нему деньщикомъ Фаддеева; каждое изображенное лицо здѣсь мало того что живетъ и ды-

шетъ передъ вами, но и является въ высшей степени типичнымъ, и повседневная жизнь фрегата рисуется передъ вами во всѣхъ ея деталяхъ.

Встрѣчаются въ книгѣ и такія страницы, которыя показываютъ, что при всѣхъ тѣхъ чудесахъ, какія представлялись глазамъ Гончарова во время его плаванія, голова его не переставала быть сильно занята путешествовавшимъ вмѣстѣ съ нимъ *Обломовымъ*. Такъ напримѣръ въ первой-же главѣ *Фрегата Паллады* вы видите замѣчательную въ художественномъ отношеніи параллель англичанина и русскаго барина, въ которой рядомъ съ машино-образнымъ энергичнымъ джонъ-булемъ съ поразительно рельефностью рисуется передъ вами типъ рыхлаго, лѣниваго, безпечнаго, не дорожащаго ни временемъ, ни деньгами русскаго помѣщика.

V.

Наконецъ въ 1858 году былъ напечатанъ въ *Отечественныхъ Запискахъ Обломовъ*. Нужно было жить въ то время, чтобы понять, какую сенсацію возбудилъ этотъ романъ въ публикѣ и какое потрясающее впечатлѣніе произвелъ онъ на все общество. Мало того, что онъ какъ бомба упалъ въ интеллигентную среду какъ разъ во время самаго сильнаго общественнаго возбужденія, за три года до освобожденія крестьянъ, когда во всей литературѣ проповѣдывался крестовый походъ противъ сна, инерціи и застоя, все общество приглашалось бодро и энергично стремиться впередъ по пути прогресса, и романъ всѣми своими образами вторилъ этому призыву, — въ немъ сразу прозрѣли нѣчто большее, чѣмъ одно служеніе злобѣ дня, нѣчто существенное и глубоко проникающее въ тайники русской жизни. Довольно сказать, что никто не могъ читать романъ, относясь къ типу Обломова вполне объективно, каждый непремѣнно тотчасъ-же примѣнялъ этотъ типъ къ себѣ и находилъ въ своей личности то тѣ, то другія обломовскія черты. Это происходило оттого, что въ романѣ этомъ даръ обобщеній дошелъ въ авторѣ до своего апогея. Обломовъ отнюдь не одинъ только разившійся на почвѣ крѣпостного права помѣщичій типъ, — это типъ племенной, захватывающей въ себѣ черты, свойственныя русскимъ людямъ безотносительно къ тому, къ какому они принадлежатъ сословію или званію. Добролюбовъ въ этомъ отношеніи былъ какъ нельзя болѣе правъ, когда въ своей знаменитой статьѣ по поводу романа Гончарова приравнялъ къ Обломову всѣхъ героевъ времени, начиная съ Онегина и Печорина и кончая Бельтовымъ и Руднымъ. Онъ могъ-бы еще и далѣе вести свою параллель и найти обломовскія черты во всѣхъ когда-либо выведенныхъ въ литературѣ характерахъ.

И въ самомъ дѣлѣ, рядомъ съ лѣнью, доходящею до того, что человѣкъ не въ силахъ не только дѣлать какое-либо дѣло, но даже и наслаждаться, рядомъ съ барскою изнѣженностью, болѣзненною трусливостью и неспособностью къ мало-мальски энергическому шагу — всѣми этими чертами, обуславливающимися рабовладѣльческимъ растленіемъ, вы видите въ Обломовѣ и такія качества, въ которыхъ не можете отказать всѣмъ русскимъ людямъ вообще, не исключая и такихъ, которые никогда крестьянами не владѣли. Таково напримѣръ полное отсутствіе какой-либо инициативы, готовность слѣпо, безпрекословно и пассивно подчиниться первому энергическому при-

звучу и натиску, голубиная кротость и мягкодушiе, исключаящiя всякiй мало-мальски энергическiй отпоръ противъ какихъ-либо покушенiй на личныя наши свободу, счастье и благосостоянiе. Кто изъ насъ не надѣялся на русское авось, не выказывалъ беззащитную безпечность передъ неминуемою бѣдою, не пропускалъ счастья мимо рта, играя въ какiя-нибудь бирюльки въ то время, какъ слѣдовало ковать желѣзо, пока оно было горячо. Въ этомъ отношенiи типъ Обломова, еще разъ повторю, далеко выходитъ изъ рамокъ барскихъ типовъ: это типъ племенной и можно даже сказать общечеловѣческой, одинъ изъ тѣхъ вѣковѣчныхъ типовъ, каковы напримѣръ Донъ-Кихоть, Донъ Жуанъ, Гамлетъ и т. п.

Но возвысившись безсознательно, одною стихiйною силою своего творчества до такой высоты, Гончаровъ въ то-же время въ качествѣ мыслителя остался все тѣмъ-же бюрократическимъ оппортунистомъ и средневѣковымъ дуалистомъ.—Ему непременно нужно было въ противовѣсъ Обломову поставить энергическаго и дѣятельнаго человѣка. Художественное чутье подсказывало ему въ то-же время (подобно тому, какъ и Тургеневу въ его *Наканунѣ*), что искать такого человѣка въ русской жизни было-бы напрасно, и къ тому-же разъ русскiй человѣкъ выведенъ въ романѣ въ видѣ Обломова, то какъ-же могъ онъ въ то-же самое время заключать въ себѣ черты, противоположныя обломовскимъ; это было-бы полное противорѣчiе, что сознавалъ и самъ Гончаровъ. Такъ въ своей статьѣ *Лучше поздно* онъ прямо говоритъ: „Изображая лѣнь и апатию во всей ея широтѣ и закоснѣлости какъ стихiйную русскую черту, и только одно это, я, выставивъ рядомъ русскаго-же, какъ образецъ энергiи, знанiя, труда, вообще всякой силы, впасть-бы въ нѣкоторое противорѣчiе съ самимъ собою, т. е. со своею задачею—изображать застой, сонъ, неподвижность. Я разбивалъ-бы цѣлость одной избранной мною для романа стороны русскаго характера“.

И вотъ онъ избралъ нѣнца, руководствуясь при этомъ слѣдующими соображенiями: „Я взялъ родившагося здѣсь и обрусѣвшаго нѣнца и нѣмецкую систему неизмѣннаго, бодрого и практическаго воспитанiя. Обрусѣвшiе нѣнцы (напримѣръ остзейцы) сливаются, хотя туго и медленно, съ русскою жизнью и, нѣтъ сомнѣнiя, сольются когда-нибудь совсѣмъ. Отрицать полезность этого притока посторонняго элемента къ русской жизни — и несправедливо, и нельзя. Они вносятъ во всѣ роды и виды дѣятельности прежде всего свое терпѣнiе, *réservé* своей расы, а затѣмъ и много другихъ качествъ, и гдѣ-бы ни было—въ армiи, во флотѣ, въ администраци, въ наукѣ, словесн, всюду—они служатъ съ Россiей и Россiи и большей частью становятся ея дѣтьми“.

Созданный такимъ образомъ путемъ не стихiйнаго творчества, подымавшаго всегда Гончарова на недосыгаемую высоту, а логическихъ соображенiй, Штольцъ и вышелъ крайне мертвеннымъ, дѣланнымъ, отвлеченнымъ, въ чемъ критика неоднократно упрекала Гончарова. Виновъ съ тѣмъ критика находила въ романѣ недостатокъ дѣйствiя и вслѣдствiе этого крайнюю растянутость. Дѣйствительно трудно и придумать было-бы болѣе энергическое дѣйствiе въ романѣ, въ которомъ главный герой только и дѣлаетъ, что лежитъ на диванѣ и мечтаетъ, а другому при всей энергичной натурѣ только и остается, что выжидать, когда героиня Ольга разочаруется въ Обломовѣ и обратится къ нему.

Но важнѣе этой вялости въ развитіи сюжета то обстоятельство, что онъ въ то же время представляется просто на-просто неестественнымъ. Дѣло въ томъ, что Обломовъ своею широкою и яркою типичностью совершенно выступаетъ изъ рамокъ романа и разрушаетъ всю иллюзію сюжета. Съ самой первой страницы онъ является передъ вами слишкомъ ужъ Обломовымъ, чтобы такая идеальная русская дѣвушка съ столь чуткою душою и страстными стремленіями къ дѣятельности какъ Ольга могла хоть на минуту увлечься имъ. Какъ она и Штольцъ могли такъ долго возиться съ нимъ и сразу не раскусить, что онъ безнадеженъ? Единственная героиня, вполнѣ подходящая къ Обломову, является во образѣ Агафіи Матвѣевны, и съ нею одной Обломовъ только и могъ сойтись во всей своей жизни. Въ такомъ случаѣ не было-бы романа? Но развѣ мыслимъ какой-бы то ни было романъ въ жизни Обломова? Подобно бессмертнымъ типамъ вроде Плюшкина, Собакевича или Ноздрева Обломову слѣдовало стоять передъ читателями во весь свой ростъ въ видѣ великаго и вѣковѣчнаго портрета.—Обломовъ-же въ качествѣ героя романа такой дѣвушки какъ Ольга является вопіющею натяжкой.

VI.

По возвращеніи изъ кругосвѣтскаго плаванія Гончаровъ снова поступилъ на государственную службу столоначальникомъ по министерству финансовъ, но вскорѣ, именно въ 1858 году, перешелъ въ министерство народнаго просвѣщенія въ цензурное вѣдомство. Въ 1862 году ему было поручено редактированіе официальной *Сѣверной Почты*. Въ 1873 году, дослужившись до полной пенсіи и генеральскаго чина, онъ вышелъ въ отставку и до сихъ поръ проживаетъ преимущественно въ Петербургѣ.

Въ 1868 году появился наконецъ на страницахъ *Вѣстника Европы* послѣдній романъ Гончарова *Обрывъ*. Судя по всему, это было самое любимое дѣтище Гончарова. Задуманный почти въ одно время съ *Обломовымъ*, романъ этотъ писался и обрабатывался вдвое дольше чѣмъ *Обломовъ*, т. е. почти двадцать лѣтъ, и въ своей статьѣ *Лучше поздно* авторъ посвящаетъ этому роману большее число страницъ.

Но съ *Обрывомъ* произошло то, что часто случается въ жизни: самое любимое и самое лелѣемое дѣтище не оказалось въ то-же время и лучшимъ, и романъ далеко не произвелъ на публику того потрясающаго впечатлѣнія, какъ *Обломовъ*; напротивъ того, публика встрѣтила его холодно, а въ нѣкоторыхъ кружкахъ отнеслась къ нему и прямо враждебно. Такъ какъ онъ былъ задуманъ двадцать лѣтъ тому назадъ и между его началомъ и концомъ протекла цѣлая эпоха, произведшая полный переворотъ во всѣхъ взглядахъ и нравахъ общества, то нѣтъ ничего мудренаго, что романъ явился какъ-бы анахронизмомъ, никого не трогавшимъ, не задѣвавшимъ за живое. Довольно сказать, что для того, чтобы ввести его хоть сколько нибудь въ струю современности, авторъ долженъ былъ совершенно измѣнить и переделывать одинъ изъ его типовъ, но этимъ онъ не только не достигъ того чего хотѣлъ, но еще болѣе испортилъ романъ. Безъ этой переделки передъ нами былъ-бы романъ въ духѣ сороковыхъ го-

довъ, лишь нѣсколько запоздалый своимъ появленіемъ; передѣлка-же окончательно искажала его содержаніе и всю фабулу.

Тѣмъ не менѣе въ романѣ вы все-таки найдете рядъ первостепенныхъ достоинствъ. Хотя въ немъ и нѣтъ ни одного такого колоссальнаго по своему захвату типа какъ Обломовъ, тѣмъ не менѣе даръ обобщеній все-таки не покинулъ автора, и въ романѣ встрѣчаются нѣсколько типовъ во всякомъ случаѣ замѣчательныхъ. Таковъ прежде всего типъ Райскаго, въ лицѣ котораго изображены люди сороковыхъ годовъ такъ полно, всесторонне и рельефно, какъ нигдѣ въ литературѣ. Авторъ чувствовалъ и сознавалъ значеніе этого типа въ своемъ произведеніи и потому болѣе всего распространился о немъ въ своей статьѣ *Лучше поздно*. Райскій, по его словамъ, „герой слѣдующей, т. е. переходной эпохи, это—проснувшійся Обломовъ“... натура артистическая: онъ воспримчивъ, впечатлителенъ, съ сильными задатками дарованій, но онъ все-таки сынъ Обломова:

«Райскій талантливъ—но приговорительная школа для таланта, трудная, требующая всего человѣка, для него, выросшаго еще въ періодъ обломовскаго сна, неодолима, и некогда ему было: новая эпоха застала его уже взрослымъ. Онъ бросается къ живописи, отъ живописи къ скульптурѣ, пишетъ романъ, неприготовленный техникой ни къ тому, ни къ другому изъ этихъ искусствъ. Новыя идеи кипятъ въ немъ: онъ предчувствуетъ грядущія реформы, сознаетъ правду новаго и порывается ратовать за всѣ тѣ большія и меньшія свободы, приближеніе которыхъ чуялось въ воздухѣ. Но только порывается... Онъ, если не спитъ пообломовски, то едва лишь *проснулся*—и хотя знаетъ, что дѣлать, *но не дѣлаетъ*»...

Не менѣе типична вышла у Гончарова бабушка. Правда, претензіи у автора при изображеніи этого типа были очень велики. Вотъ что говорить онъ объ этихъ претензіяхъ:

«Я писалъ съ русской старой хорошей женщины или съ русскихъ старыхъ женщинъ стараго добраго времени—коллективно, не думая ни о какой параллели, должно быть, но она инстинктивно гнѣздилась въ моей головѣ, и когда я уже закончилъ фигуру, оглядѣлъ ее,—у меня, въ концѣ книги, вырвались послѣднія слова, которыми я и кончилъ романъ. Вотъ они: «За нимъ (Райскимъ, когда онъ былъ въ Италіи) все стояли и горячо звали къ себѣ его три фигуры: его Вѣра, его Марейнька и бабушка, а за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла къ себѣ еще другая исполнская фигура, другая великая бабушка—Россія!»

«Вотъ что отразилось или, если я слабый художникъ и не одолѣлъ образа, то по крайней мѣрѣ вотъ что просилось отразиться въ моей старухѣ, какъ отражается солнце въ каплѣ воды: старая, консервативная русская жизнь!»

Такимъ образомъ, какъ видите, въ лицѣ бабушки авторъ мечталъ изобразить чуть-что не всю Россію или по крайней мѣрѣ „старую консервативную русскую жизнь“. Но такое широкое и всеобъемлющее обобщеніе автору не удалось, изъ бабушки его вышла все-таки не болѣе какъ бабушка; тѣмъ не менѣе типъ этотъ во всякомъ случаѣ замѣчательнъ, какъ олицетвореніе лучшей старой женщины, какая только могла произрости на почвѣ патріархальнаго быта. Она составляетъ въ этомъ отношеніи полную параллель съ дѣдушкой Вагровымъ въ *Семейной хроникѣ* С. Аксакова.

Далѣе затѣмъ не менѣе замѣчательны типы Вѣры и Марейньки, въ лицѣ которыхъ Гончаровъ, подражая Пушкину, изобразившему въ *Евгеніи Онегинѣ* два основ-

ные типа русскихъ женщинъ его времени, Татьяну и Ольгу, въ свою очередь вывелъ подобные-же два основные типа, возросшіе на почвѣ патріархальнаго помѣщичьяго быта, — Марюшкку съ ея пассивною натурою, слѣпо подчиняющуюся всѣмъ старымъ преданіямъ своей среды и живущую исключительно одною растительною жизнью, и Вѣру — натуру въ высшей степени активную, страстную, независимую, рвущуюся всѣми силами своей души изъ тенетъ стараго патріархальнаго гнета къ свѣту, на путь свободной и самостоятельной жизни.

Что касается до Софьи Вѣловодовой, то Гончаровъ самъ сознается въ ея несостоятельности.

„Здѣсь, говоритъ онъ въ той-же статьѣ *Лучше поздно*, я долженъ сознаться въ полной своей несостоятельности въ изображеніи фигуры Софьи Вѣловодовой. Я не зналъ тогда вовсе, и теперь мало знаю кругъ, гдѣ она жила, и тутъ критика вполне права. Это скучное начало, изъ котораго вовсе нехудожественно выглядываетъ замысль, — показало, какъ отразилось развитіе новыхъ идей на замкнутомъ кругѣ большого свѣта. И ничего кромѣ претензіи не вышло изъ этой затѣи“.

Но еще болѣе несостоятельнымъ представляется типъ Марка Волохова своею грубою каррикатурностью и сочиненностью. Гончаровъ самъ признается, что когда онъ задумывалъ романъ, въ его воображеніи вмѣсто Марка Волохова медлялъ другой образъ, вполне соответствовавшій тому времени.

«Еще я долженъ сказать, говоритъ онъ, что въ первоначальномъ планѣ *Обрыва*, набросанномъ въ 1848 и 1850 годахъ, на мѣсто этого рѣзкаго типа, тогда еще не существовавшаго, у меня былъ предположенъ сосланный по неблагонадежности подъ присмотръ полиціи выключенный изъ службы или изъ школы либераль за грубость, за неповиновеніе начальству, зато наконецъ, что споетъ какую-нибудь русскую марсельезу или проврется дерзко про власть. Такихъ бывало не мало лѣтъ тридцать тому назадъ».

Но какъ романъ развивался вмѣстѣ со временемъ и новыми явленіями, то лица конечно принимали въ себя черты и духъ времени и событий. Отъ этого и предположенный зародышъ *неблагонадежнаго* превратился къ концу романа уже въ рѣзкую фигуру Волохова, которая появлялась кое-гдѣ въ обществѣ. Въ 1862 году, когда я ѣздилъ вновь по Волгѣ, прожилъ лѣто на родинѣ, былъ въ Москвѣ, мнѣ уже ясно опредѣлилось это лицо...».

И ниже Гончаровъ выражаетъ свое крайнее изумленіе, какъ молодое поколѣніе могло принять Волохова на свой счетъ. „Волоховъ, восклицаетъ онъ, — будто-бы новое поколѣніе! То поколѣніе, которое бросилось навстрѣчу реформѣ — и туда уложило всѣ силы! Даровитые дѣятели въ крестьянской реформѣ, въ земскихъ дѣлахъ, въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гдѣ успѣли пріобрѣсти громкія имена: неужели это Волоховы!“ Новое поколѣніе, по мнѣнію Гончарова, олицетворяется въ его романѣ въ личности Тушина, Волоховъ-же представлялъ собою олицетвореніе „новой жи“.

«Волоховъ, говоритъ онъ, не социалистъ, не доктринеръ, не демократъ. Онъ радикаль и кандидатъ въ демагоги: онъ съ почвы празднои теоріи безусловнаго отрицанія готовъ перейти къ дѣйствию — и перешелъ-бы, если-бы у насъ могла демагогія выразиться ярче и перейти къ дѣйствию, т. е. если-бы у насъ была возможна широкая пропаганда коммунизма, интернаціональная подземная работа и т. п. Онъ и пошелъ-бы на это поле работать — искренне, потому что я взялъ не авантюриста,

бросающагося въ омутъ для выгоды ловить рыбу въ мутной водѣ, а—съ его точки зрѣнія—честнаго, т. е. искренняго человѣка, неглупаго, съ нѣкоторой силой характера. И въ этомъ—условіе успѣха. Не умыленная ложь, а его собственное искреннее заблужденіе только и могли вводить въ заблужденіе и Вѣру, и другихъ. Плута всѣ узнали-бы разомъ и отвернулись-бы отъ него...».

Но если допустить, что и въ самомъ дѣлѣ въ лицѣ Марка Волохова изображено не все молодое поколѣніе, а одни только, какъ выражается Гончаровъ, «демократы и демагоги», то и эти люди, какъ-бы они по мнѣнію автора ни заблуждались, какъ-бы ни ложны были ихъ ученія,—далеко въ дѣйствительности не представляли изъ себя такихъ каррикатурныхъ квазимодо какимъ пародируетъ въ романѣ Маркъ Волоховъ, и такимъ образомъ главный *corpus delicti* остается во всей своей силѣ: какъ могла влюбиться въ него Вѣра, гордая, тонкая, изящная?

Въ отвѣтъ на этотъ *corpus delicti* Гончаровъ говоритъ:

«Мнѣ дѣлали этотъ упрекъ именно въ то самое время, когда это явленіе, какъ холера, какъ тифозная горячка, выхватывало изъ нашихъ родныхъ или знакомыхъ семей жертву за жертвой и наводило почти панику на общество. Упрекаютъ за то, что я записалъ явленіе, явно совершавшееся, какъ будто небывальщину! Развѣ женщины пренебрегали сближеніемъ съ этими оторвавшимися отъ порядка, отъ общества, отъ семействъ, грубоватыми героями «новой силы», «новаго дѣла», идеала какого-то «громднаго будущаго?» Развѣ многія изящныя красавицы не пошли за ними на ихъ чердаки, въ ихъ подвалы, бросивъ одни родителей, другія—мужей и—еще хуже—дѣтей? Сколько было слуховъ о какихъ-то фаланстеріяхъ, куда уходили гнѣздиться разныя Вѣры? Какія это женщины?—скажутъ мнѣ. — Всякія!—отвѣчу я. Не однѣ падшія или готовыя къ паденію бросились въ омутъ—нѣтъ. Кто изъ насъ не назоветъ примѣра такихъ эмиграцій—изъ почтенныхъ семействъ, отъ образованнаго круга,—на поиски новаго труда, новаго счастья, съ принесеніемъ въ жертву лучшихъ женскихъ качествъ, полученныхъ отъ природы и воспитанія, побѣговъ отъ прямого скромнаго дѣла, отъ трудныхъ семейныхъ обязанностей?»

Все это прекрасно. Но какъ ни были грубоваты герои, въ дѣйствительности увлекавшіе разныхъ Вѣръ на свои чердаки, между грубоватостью Базарова и грубою каррикатурностью Марка Волохова большое разстояніе. А главное дѣло въ томъ, что по собственнымъ словамъ Гончарова дѣйствительные герои *увлекали разныхъ Вѣръ на свои чердаки*, и увлекали не одною только силою чувственности, а и своими ученіями, которыя какъ-бы ни казались ложными писателямъ сороковыхъ годовъ и въ томъ числѣ Гончарову, тѣмъ не менѣе обаятельно дѣйствовали на юныя сердца, и прежде чѣмъ Вѣра упала-бы въ объятія Марка Волохова, у нея должны были-бы радикально измѣниться всѣ ея взгляды и на жизнь, и на отношенія къ окружающимъ людямъ. Такъ именно всегда происходило въ дѣйствительности во всѣхъ тѣхъ явленіяхъ, о которыхъ говоритъ Гончаровъ. Между тѣмъ въ романѣ этого нѣтъ, и въ этомъ заключается величайшая ошибка со стороны автора. Маркъ Волоховъ по отношенію къ Вѣрѣ является только обольстителемъ, не думая увлекать ее на какіе-либо чердаки, и въ этомъ отношеніи онъ является вполнѣ вѣрнымъ первоначальному замыслу романа, когда на его мѣстѣ долженъ былъ пародировать «неблагонадежный» человѣкъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ конечно ужъ съ печоринскимъ пошибомъ, т. е. являвшійся донъ-жуаномъ, обольщавшимъ и бросавшимъ провинціальныхъ барышень,

не внося въ ихъ жизнь и понятія никакого новаго содержанія. Но таковы-ли были люди шестидесятыхъ годовъ даже хотя-бы и тѣ, которыхъ Гончаровъ именуеть „представителями новой лжи?“

Но и Тушинъ, олицетворяющій въ романѣ лучшую часть молодого поколѣнія и являющійся представителемъ новой правды, нельзя сказать чтобы былъ удаченъ. Онъ является такимъ-же дѣланнымъ, сочиненнымъ и слѣдовательно мертвеннымъ какъ и Штольцъ, такую-же и роль играетъ въ романѣ параллельнаго контраста.

Однимъ словомъ, какъ философія романа, такъ и всѣ выведенныя въ немъ новыя пореформенныя явленія русской жизни стоятъ ниже всякой критики. И единственно чѣмъ цѣненъ романъ Гончарова, — это картинами старой, дореформенной помѣщичьей жизни, въ которыхъ Гончаровъ является все тѣмъ-же крупнымъ художникомъ — съ одной стороны широкимъ обобщителемъ, съ другой — жанристомъ, исполненнымъ свойственнаго ему чисто русскаго, добродушнаго юмора.

Характеристику *Обрыва* мы можемъ покончить обзорѣніе литературной дѣятельности Гончарова. Все то немногое, что вышло въ свѣтъ, *Литературный вечеръ* (1877), *Милліонъ терзаній* (1871), *Замѣтки о личности Бѣлинскаго* (1874), *Лучше поздно, чѣмъ никогда*, *Воспоминанія*, *Слухи*, заключая въ себѣ большія или меньшія достоинства, свойственныя таланту Гончарова, въ то же время ничего не прибавили къ славѣ его, не играли какой-либо роли въ русской литературѣ и не оставили въ ней хотя сколько-нибудь рѣзкаго слѣда.

Значеніе Гончарова въ нашей литературѣ основывается лишь на трехъ его большихъ романахъ, а изъ этихъ романовъ наиболѣе возвеличилъ его второй, и Гончаровъ навсегда будетъ чтиться въ нашей литературѣ, главнымъ образомъ, какъ творецъ *Обломова*.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

I.—Графъ Левъ Николаевичъ Толстой въ отличіи его отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Дѣтскіе и юношескіе годы его до севастопольской кампаніи включительно.—II.—Характеристика его произведеній этого періода его жизни.—III.—Увлеченіе прогрессомъ конца пятидесятихъ годовъ и первыя сомнѣнія въ немъ и въ европейской цивилизаціи вообще. Произведенія петербургскаго періода его жизни.—IV.—Гр. Толстой въ деревнѣ. Его педагогическая дѣятельность; педагогическія статьи и начало полнаго отрицанія и скептицизма во всемъ окружающемъ.—V.—Пятнадцать лѣтъ жизни послѣ женитьбы. Раздвоеніе. Романъ *Война и миръ*.—VI.—Душевный переворотъ на пятидесятомъ году его жизни. Связь этого переворота съ прежнимъ теченіемъ мыслей гр. Толстого. Результаты переворота.—VII.—Романъ *Анна Каренина*. Теолого-мистическія сочиненія гр. Толстого и прочія произведенія послѣднихъ лѣтъ его жизни.

I.

Въ то время какъ въ Тургеневѣ мы видимъ западника и либерала съ нѣсколько краснымъ оттѣнкомъ, въ Гончаровѣ — представителя буржуазныхъ и оппортунистическихъ идеаловъ петербургскихъ дѣльцовъ и бюрократовъ, гр. Толстой рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ беллетристовъ одной съ нимъ школы тѣмъ, что въ произведеніяхъ его глубже и сильнѣе чѣмъ всѣхъ у нихъ выразился духъ времени какъ въ отрицательномъ, такъ и положительномъ отношеніяхъ, — въ отрицательномъ отношеніи, такъ какъ ни у одного изъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ анализъ и скептицизмъ, присущіе этой школѣ, не доходили до такой крайней степени по своей беспощадной послѣдовательности, глубинѣ и радикальности; въ положительномъ отношеніи — ни одинъ изъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ не приблизился въ такой степени къ демократическимъ и народнымъ идеаламъ, какъ превосходившій ихъ по своей аристократичности гр. Л. Толстой. Тургеневъ съ рѣдкимъ безпристрастіемъ и прозорливостью ставилъ гр. Толстого цѣлою головою выше всѣхъ прочихъ своихъ соотечественниковъ, называлъ его слономъ и великимъ писателемъ земли русской. И дѣйствительно вышеозначенными особенностями своими гр. Толстой обязанъ именно тому, что принадлежитъ къ числу тѣхъ гениальныхъ натуръ, въ душѣ которыхъ каждое впечатлѣніе жизни вызываетъ глубокой и неизгладимый слѣдъ. Малѣйшій диссонансъ и противорѣчіе, мимо которыхъ мы проходимъ равнодушно, отзываются въ

нихъ болѣзненною мукою. Пылливый и ни на минуту не успокаивающийся умъ ихъ постоянно стремится проникнуть въ сущность вещей. Вслѣдствіе этого въ глубинѣ ихъ души лежитъ постоянно тяжелая тоска, и вмѣстѣ съ тѣмъ мысль ихъ имѣетъ неуправляемую склонность погружаться въ какія-нибудь мистическія бездны. Они словно парочно бывають созданы для того, чтобы носить въ себѣ всѣ скорби своего вѣка и быть искупительными жертвами за своихъ современниковъ, хотя-бы въ томъ только отношеніи, что имъ приходится болѣть за нихъ своею вѣчно страждущею душою.

Но при всей гениальности гр. Толстой не могъ все-таки далеко уйти отъ своего вѣка, среды и сверстниковъ.— Большая послѣдовательность въ скептицизмъ и отрицаніи привела его лишь къ тому, что онъ не могъ ни съ чѣмъ помириться въ окружающей его жизни, ни на чемъ успокоиться, какъ мирились и успокоивались нѣкоторые изъ его современниковъ, но въ то-же время онъ не въ силахъ былъ дойти до той высоты развитія, на которой онъ могъ-бы предвидѣть обѣтованную землю вперед. И вогъ, будучи не въ состояніи долго оставаться въ торричеллиевой пустотѣ скептицизма и отрицанія, не предугадывая ничего вперед, онъ бросился назадъ—искать идеаловъ и успокоенія въ вѣроученіяхъ древняго Востока. Тамъ онъ весьма естественно ничего не могъ найти кромѣ однихъ личныхъ идеаловъ самосовершенствованія. Онъ не обратилъ вниманія, что человѣчество не даромъ прожило послѣ того около двухъ тысячъ лѣтъ и, хотя-бы въ лицѣ немногихъ передовыхъ людей, дошло до идей коллективизма, неизвѣстнаго мудрецамъ древняго Востока. Гр. Толстому тѣмъ естественнѣе было увлечься ветхими идеалами личнаго самосовершенствованія, что юность его протекла именно въ такую эпоху, когда идеалы личнаго самосовершенствованія стояли на первомъ планѣ и составляли всю суть русскаго прогресса. Въ этомъ и заключается та ахиллесова пята гр. Толстого, которая привела его ко всѣмъ заблужденіямъ послѣднихъ лѣтъ его литературной дѣятельности.

Гр. Л. Н. Толстой родился въ 1828 году 28 августа въ селѣ Ясная Поляна, крапивненскаго уѣзда тульской губерніи. Мать свою, урожденную княжну Марью Николаевну Волконскую, онъ потерялъ, когда ему не было еще и двухъ лѣтъ, и первыми его воспитательницами и наставницами были Т. А. Ергольская, дальняя родственница Толстыхъ и графиня А. Н. Остенъ-Сакенъ, тетка его по отцу. Въ 1837 году, когда Толстому было девять лѣтъ, вся семья переѣхала въ Москву, и вскорѣ затѣмъ умеръ отецъ его, Николай Ильичъ. Послѣ смерти отца Толстой съ братомъ Дмитріемъ и сестрой Марією снова переѣхали въ деревню, а братъ его Николай остался при графинѣ А. И. Остенъ-Сакенъ и посѣщалъ московскій университетъ. Черезъ три года, со смертью графини опека перешла къ теткѣ по отцу гр. Толстого, П. И. Юшковой, жившей въ Казани, куда переселился и гр. Толстой. Въ 1843 г. онъ поступилъ въ казанскій университетъ на филологическій факультетъ, но пробылъ на этомъ факультетѣ всего одинъ годъ, такъ какъ при переходѣ изъ перваго курса на второй былъ срѣзанъ профессоромъ русской исторіи, поссорившимся передъ тѣмъ съ его домашними, и сверхъ того получилъ единицу изъ нѣмецкаго, несмотря на то что зналъ нѣмецкій языкъ лучше всѣхъ однокурсниковъ. Тогда онъ принужденъ былъ перейти на юридическій факультетъ, гдѣ пробылъ два года и въ 1848 г. держалъ экзаменъ на кандидата въ с.-петербургскомъ университетѣ.

„Буквально ничего не зная, сообщает онъ въ свой статьѣ *Воспитаніе и образованіе* (см. сочин. гр. Л. Н. Т., т. 4, стр. 134), и буквально началъ готовиться за недѣлю до экзамена. Я не спалъ ночи и получилъ кандидатскіе баллы изъ гражданского и уголовного права, готовясь изъ каждаго предмета не болѣе недѣли“.

Сдавши кандидатскій экзамень, гр. Толстой переѣхалъ въ Ясную П поляну и здѣсь прожилъ до 1851 года. Въ этомъ году онъ поступилъ юнкеромъ въ 44-ю батарею 20-й артиллерійской бригады. Батарея эта стояла на Терекѣ въ станицѣ Старо-Медовской. Здѣсь гр. Толстой пребылъ четыре года до начала турецкой войны. Повсѣмъ этимъ даннымъ вы можете судить, что онъ былъ вполне деревенскимъ жителемъ. По крайней мѣрѣ изъ первыхъ 29 лѣтъ своей жизни онъ провелъ въ городахъ не болѣе пяти лѣтъ, да и тѣ неполныя. — А затѣмъ двадцати трехъ лѣтъ, поступивши на службу, онъ перешелъ на лоно еще болѣе роскошной кавказской природы, и ему пришлось переживать тревоги и всѣ сильныя впечатлѣнія военной, боевой жизни. Надо полагать, что кавказская природа и боевая жизнь, полная приключеній и разнообразныхъ столкновеній съ людьми, дѣйствуя на воображеніе молодого человѣка, не мало способствовали къ развитію его таланта. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что четыре года пребыванія его на Кавказѣ были годами пробужденія его творчества и первыхъ опытовъ, обратившихъ на него вниманіе и печати, и публики. Такъ въ это время были написаны имъ: *Дѣтство*, *Набѣгъ*, *Отрочество*, *Утро помѣщика*, *Казаки*.

Во время турецкой кампаніи гр. Толстой былъ прикомандированъ къ штабу князя М. Д. Горчакова при дунайской арміи. Въ 1855 году получилъ командованіе горной батареей, принималъ участіе въ сраженіи при Черной, 4 августа, былъ при штурмѣ Севастополя 27 августа; плоды этого участія въ севастопольской войнѣ и явились военные рассказы: *Севастополь въ декабрь 1854 года*, *Севастополь въ май 1855 года*, *Рубка лѣса* и *Севастополь въ августъ 1855 года*. Тогда-же были имъ созданы шуточные стихотворныя легенды Севастополя, которыя общій голосъ приписываетъ гр. Толстому.

II.

Уже въ этихъ первыхъ произведеніяхъ гр. Толстого вы видите задатки того развѣдающаго, глубокаго анализа, которымъ отличаются позднѣйшія его произведенія. Такъ напримѣръ возьмите вы хотя-бы первыя его произведенія *Дѣтство* и *Отрочество* (*Юность*, составляющая ихъ продолженіе, относится къ концу уже пятидесятихъ годовъ). Какую юношескую свѣжестью вѣетъ отъ нихъ; сколько обаятельной, чарующей поэзіи находите вы въ описаніи красоты природы, дѣтскихъ впечатлѣній, игръ, симпатій и антипатій ребенка. И тѣмъ не менѣе вдумайтесь внимательно во все изображенное въ его цѣломъ, и вы убѣдитесь, какая безпощадная пронія таятся въ этихъ произведеніяхъ. Читая ихъ, вы видите, какъ шагъ за шагомъ изъ ребенка, исполненнаго самыхъ прекрасныхъ задатковъ, вырабатывается пошлый, тщеславный фатъ и совершенно пустопорожній коптителъ неба. Васъ поражаетъ здѣсь полная изолированность ребенка отъ жизни взрослыхъ, совершенная отчужденность его отъ интересовъ семьи. Онъ не участвуетъ ни въ какихъ трудахъ

взрослых, радостяхъ и печаляхъ. Передъ нимъ мать истаяваетъ въ слезахъ при видѣ легкомыслия отца, губящаго семейство, и сходитъ въ могилу обманутая, униженная, оскорбленная, почти брошенная въ деревенскомъ захолустьѣ; все это остается совершенно незамѣченнымъ ребенкомъ, безъ малѣйшаго протеста или простого вопроса о томъ, что дѣлается вокругъ него.

Изолированный такимъ образомъ отъ жизни, ребенокъ является предоставленнымъ полной умственной и нравственной праздности. У него возникаютъ на каждомъ шагу очень живые вопросы по поводу всего окружающаго, но никто не заботится дать на нихъ отвѣты; вмѣсто этого мальчика забиваютъ рутинною школьною дрессировкою, ученіемъ французскихъ и нѣмецкихъ вокабулъ, рѣкъ, городовъ и историческихъ фактовъ съ докучною хронологіей. Не находя пищи и содержанія извнѣ, умъ юноши начинаетъ пожирать самого себя, углубляется въ рядъ отвлеченнѣйшихъ вопросовъ, и строить различныя гипотезы и теоріи въ духѣ стоицизма, эпикуреизма или-же путается въ безысходномъ скептицизмѣ. Въ нравственномъ мѣрѣ героя вы видите тоже отвлеченное, фантастическое содержаніе за недостаткомъ реального. Не приученный ни къ какому труду, успѣшное совершеніе котораго удовлетворяло-бы его самолюбію, юноша ищетъ этого удовлетворенія, воображая себя олицетвореніемъ разныхъ величественныхъ идеаловъ; но дѣйствительность на каждомъ шагу разрушаетъ подобныя иллюзіи, и мальчикъ вдругъ начинаетъ себя чувствовать самымъ ничтожнымъ и жалкимъ, стыдится за каждое свое самое простое слово и движеніе.

Результатомъ подобнаго противоестественнаго воспитанія, которому подвергается большинство юношей привилегированныхъ классовъ, и является полное отсутствіе всякаго внутренняго содержанія, неудержимое стремленіе къ внѣшнему блеску и вмѣсто какихъ-бы то ни было нравственныхъ основаній и правилъ соблюденіе одного свѣтскаго комъ-иль-фотства при напыщенномъ презрѣніи и ненависти ко всему не комъ-иль-фотному. Иронія гр. Толстого съ особенною силою обнаруживается, когда онъ показываетъ, что даже такой релігіозный актъ какъ говѣнье въ подобнаго рода герояхъ не можетъ ограничиться однимъ безхитростнымъ чувствомъ благоговѣнія и смиренія передъ божествомъ, а непременно соединяется съ рисовкою и любованіемъ собою, и здѣсь гр. Толстой впервые поражаетъ насъ въ сценѣ съ извозчикомъ тѣмъ сопоставленіемъ извращеннаго, и умственно, и нравственно, изломавшагося и изломавшагося барства съ простотою, цѣльностью и здравымъ смысломъ народа. Въ восклицаніи извозчика: „А что, баринъ, ваше дѣло господское!..“ — вы видите уже передъ собою того самаго гр. Толстого, величіе котораго и впоследствии заключалось главнымъ образомъ въ подобнаго рода сопоставленіяхъ.

Всѣ прочія произведенія гр. Толстого этого періода представляютъ собою изображеніе дальнѣйшей судьбы того самаго умственно и нравственно извращеннаго героя, воспитаніе котораго изображено въ *Дѣтствѣ*, *Отрочествѣ* и *Юности*. Такъ на первомъ планѣ мы видимъ повѣсть *Утро помѣщика*, представляющуюся отрывкомъ изъ неоконченнаго романа *Русскій помѣщикъ*. Въ этой повѣсти впервые проявлялось все различіе гр. Толстого отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Какъ Тургеневъ, такъ и Гончаровъ выставляли обыкновенно безхарактерность героевъ помѣщичьей среды главнымъ образомъ по отношенію къ любимымъ жен-

щинамъ, лишь вскользь и мимоходомъ упоминая о всѣхъ прочихъ фактахъ ихъ жизни. Въ то-же время они предполагали, что не всѣхъ поголовно развращаетъ среда, являются въ ней люди очень порядочные и полезные, вроде Волынцева, Лежнева, и даже возможны такіе идеальные герои, какъ Штольцъ и Тушинъ. Гр. Толстой въ своихъ первыхъ разказахъ совсѣмъ не вмѣетъ дѣла съ любовью и рисуетъ своихъ героев въ столкновеніи ихъ съ различными слоями общества, преимущественно-же съ народомъ, изображаетъ ихъ совершающими дѣло жизни. Въ то-же время онъ идетъ гораздо далѣе прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ въ томъ отношеніи, что изображаетъ не одни только пороки и недостатки, свойственные людямъ помѣщичьей среды, а обращаетъ вниманіе на ложность самаго общественного положенія ихъ и показываетъ, что и при всѣхъ моральныхъ совершенствахъ, при всемъ энергическомъ стремленіи къ добру и пользѣ, всѣ условія ихъ жизни и отношенія къ людямъ столь ненормальны, что самыя почтенныя и энергическія усилія или парализуются, или-же, что еще хуже, превращаются въ поправіе человѣческихъ правъ, и вмѣсто добра и пользы получается вредъ и зло.

Надо полагать, что и всѣ повѣсти этого времени: *Утро помѣщика*, *Казакъ*, равно и написанныя впоследствии — *Альбертъ и Люцернъ*, если не заключаютъ въ себѣ въ буквальномъ смыслѣ автобіографическихъ фактовъ, во всякомъ случаѣ навѣяны не одними объективными наблюденіями, а личными тяжкими опытами; авторъ ихъ пережилъ и перестрадалъ.

Невольно чувствуется вамъ самъ гр. Толстой въ князѣ Нехлюдовѣ, пріѣхавшемъ изъ университета въ деревню на лѣтнія вакаціи, и въ письмѣ къ теткѣ излагающемъ свои радужныя фантазіи о священныхъ обязанностяхъ заботиться о счастьи семисотъ человѣкъ, за которыхъ онъ долженъ будетъ отвѣчать Богу. Нужно было самому пережить все разочарованіе князя Нехлюдова, убѣдившагося, что онъ не только не способенъ оказать какую-либо пользу своимъ крестьянамъ, но всѣ его усилія обращаются въ ничто или приносятъ имъ одинъ вредъ, — чтобы изобразить подобное разочарованіе юнаго помѣщика въ такой ужасной правдѣ. Развѣ не слышите вы душевныхъ стоновъ самого автора, стоновъ, напоминающихъ вамъ послѣдующую много лѣтъ спустя *Исповѣдь*, въ слѣдующихъ размышленіяхъ Нехлюдова:

«Гдѣ-же мои мечты! вотъ ужъ больше года, что я ищу счастья на этой дорогѣ, и что-жъ я нашелъ? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольнымъ собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нѣтъ, я просто не доволенъ собой! Я недоволенъ потому, что я здѣсь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья. Я, не испытавъ наслажденій, уже отрѣзалъ отъ себя все то, что даетъ ихъ. Зачѣмъ? за что? Кому отъ этого стало легко? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чѣмъ дать его другимъ. Развѣ богаче стали мои мужики? Образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжелее. Если-бъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, если-бъ я видѣлъ благодарность... но нѣтъ, я вижу ложную рутину, порокъ, недовѣріе, беспомощность! Я даромъ трачу лучшіе годы жизни...»

Очень возможно, что самое отправление на Кавказъ и поступленіе тамъ на службу было прямымъ результатомъ подобнаго рода разочарованія самого автора. Но и здѣсь ждалъ его рядъ новыхъ разочарованій, изображенныхъ въ повѣсти *Казакъ*. Герой

этой повѣсти Оленинъ послѣ цѣлаго ряда безплодныхъ порывовъ—свѣтской жизни, службы, хозяйства, музыки, которымъ, по словамъ Толстого, онъ отдавался настолько лишь, насколько они не связывали его, и отъ которыхъ спѣшилъ поскорѣе отдѣлываться, какъ только начиналъ чують приближеніе труда и мелочной борьбы съ жизнью, расточивъ половину имущества и надѣлавъ долговъ, въ одинъ прекрасный день вдругъ пришелъ къ убѣжденію, что вся окружающая его жизнь и собственная его искусственна, нелѣпа, исполнена призрачности и лжи и что необходимо сразу разорвать съ нею и начать новую жизнь, простую, естественную, на лонѣ природѣ, въ средѣ ея дѣтей, непосредственно наивныхъ, цѣльныхъ и нерастленныхъ цивилизацію.—И вотъ онъ съ этою цѣлю опредѣлился юнкеромъ въ кавказскую армію.

«Уѣзжая изъ Москвы, читаемъ мы въ повѣсти, онъ находился въ томъ счастливомъ настроеніи духа, когда, сознавъ прежнія ошибки, юноша вдругъ скажетъ себѣ, что все это было не то, что все прежнее было случайно и незначительно, что онъ прежде не хотѣлъ жить *горошею*, но что теперь съ выѣздомъ его изъ Москвы начинается новая жизнь, въ которой уже не будетъ больше тѣхъ ошибокъ, не будетъ раскаянія, а навѣрное будетъ только одно счастье...

«Чѣмъ дальше, читаемъ мы ниже, уѣзжалъ Оленинъ отъ центра Россіи, тѣмъ дальше казались отъ него все его воспоминанія, и чѣмъ ближе подѣзжалъ къ Кавказу, тѣмъ отраднѣе становилось ему на душѣ. Уѣхать совсѣмъ и никогда не пріѣзжать назадъ, не показываться въ общество, приходило ему иногда въ голову. «А эти люди, которыхъ я здѣсь вижу,—не люди; никто изъ нихъ меня не знаетъ, и никто никогда не можетъ быть въ Москвѣ въ томъ обществѣ, гдѣ я былъ, и узнать о моемъ прошедшемъ». И совершенно новое для него чувство свободы отъ всего прошедшаго охватывало его между этими грубыми существами, которыхъ онъ встрѣчалъ по дорогѣ и которыхъ не признавалъ людьми наравнѣ со своими московскими знакомыми. Чѣмъ грубѣе былъ народъ, чѣмъ меньше было признаковъ цивилизаціи, тѣмъ свободнѣе онъ чувствовалъ себя...»

И вотъ Оленинъ окончательно отрѣзалъ себя отъ цивилизаціи и поселился на лонѣ роскошной, дѣвственной природы, въ казачьей станицѣ, среди народа въ одно и то же время и земледѣльческаго, и грубо воинственнаго, потомковъ раскольниковъ, бѣжавшихъ нѣкогда отъ преслѣдованій на берега Терека, сохранившихъ вѣру и языкъ предковъ, но въ своихъ нравахъ, понятіяхъ и обычаяхъ слившихся съ абреками, съ которыми постоянно дрался, что не мѣшало имъ въ тоже время скрещиваться съ врагами браками. Онъ проводилъ все дни въ охотѣ, въ бесѣдахъ съ старымъ казакомъ Ерошкою, и вдругъ на него нашло просіяніе весьма характерное, которое мы просимъ читателей внимательно прочесть отъ первой строки до послѣдней:

«И ему ясно стало, что онъ нисколько не русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, другъ и родня того-то и того-то, а просто такой-же комаръ или такой-же фазанъ или олень, какъ и тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него: — «Такъ-же какъ они, какъ дядя Ерошка, поживу, умру. И правду онъ говоритъ: только трава выростеть».

«Да что-же, что трава выростеть?—думалъ онъ дальше: все надо-жить, надо быть счастливымъ; потому что я только одного желаю—счастья. Все равно, что-бы я ни-былъ: такой-же звѣрь какъ и все, на которомъ трава выростеть, и больше ничего, или я рамка, въ которой вставилась часть единого Божества: все-таки надо жить наилучшимъ образомъ. Какъ-же надо жить, чтобы быть счастливымъ, и отчего я не былъ

счастливы прежде?» И онъ началъ вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Онъ самъ представилъ себѣ такимъ требовательнымъ эгоистомъ, тогда какъ въ сущности ему для себя ничего не было нужно. И все онъ смотрѣлъ вокругъ себя на просвѣчивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовалъ себя такимъ-же счастливымъ, какъ и прежде. «Отчего я счастливъ, и зачѣмъ я жилъ прежде?»—подумалъ онъ. «Какъ я былъ требователенъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдѣлалъ себѣ кромѣ стыда и горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастья!». И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. «Счастье—вотъ что!—сказалъ онъ самъ себѣ:—счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья; стало быть—она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія-же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!» Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскопчилъ, и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого-бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому-бы сдѣлать добро, кого-бы любить. «Вѣдь ничего для себя не нужно, все думалъ онъ отчего-же не жить для другихъ?»

Не правда-ли всѣ эти размышленія буквально тождественны съ тѣми „просіяніями“ и „озареніями новымъ свѣтомъ“, какія мы встрѣчаемъ въ сочиненіяхъ гр. Толстого послѣднихъ лѣтъ? Такимъ образомъ уже въ 1852 году бродили въ головѣ гр. Толстого тѣ самыя мысли, появленіе которыхъ впоследствии онъ приписывалъ гораздо позднѣйшему періоду своей жизни. Впрочемъ находимъ мы здѣсь и весьма существенную разницу. Въ 1852 году онъ не думалъ, что стѣбитъ только дойти до подобныхъ мыслей и проникнуться ими, чтобы и дѣйствительно возродиться къ новой жизни. Онъ понималъ еще тогда, что отъ прекрасныхъ мыслей и словъ до дѣла очень далеко, и что несостоятельность людей вроде Оленина зависѣла не отъ тѣхъ или другихъ взглядовъ на жизнь, а отъ самой ихъ природы, искаженной условіями жизни, и поэтому Оленинъ, несмотря на всѣ свои „просіянія“, остается все тѣмъ-же ветхимъ человѣкомъ, котораго носить въ себѣ, и приходитъ къ горькому опыту, что всѣ попытки его переродиться, слиться съ непосредственными дѣтьми народа, людьми труда и борьбы, и жить для другихъ—ничего не приносятъ этимъ людямъ, кромѣ вреда и горя, онъ совсѣмъ насуетъ передъ ними при своемъ обширномъ образованіи, и ему остается идти своей натуральной дорогой, т. е. опредѣлиться въ штабъ, что онъ и дѣлаетъ въ заключеніе повѣсти.

Такую-же мрачную и безнадежную параллель между привилегированными людьми и дѣтьми народа проводитъ гр. Толстой и въ своихъ военныхъ разказахъ. Здѣсь такъ-же, рядомъ съ напускною аффектаціею мишурнаго героизма, подъ внѣшнею оболочкою котораго скрывается часто самая негероическая трусость, рядомъ съ тщеславнымъ хвастовствомъ, съ какимъ мнимые герои рассказываютъ о своихъ небывалыхъ подвигахъ, васъ поражаетъ простое, непритворное, спокойное и въ то-же время степенно-серьезное отношеніе къ своему дѣлу нижнихъ чиновъ. Не напрашиваясь на героизмъ и не помышляя о немъ, они-то и являются истинными героями: отъ нихъ зависитъ исходъ cadaго сраженія. они всегда находятся ближе къ смерти, ихъ болѣе падаетъ, и въ то-же время они спокойнѣе самыхъ отчаянныхъ храбрецовъ встрѣчаютъ смерть и

вмѣстѣ съ тѣмъ имъ не приходитъ и въ голову хвастаться и тщеславиться своимъ мужествомъ.

Очерки севастопольской войны имѣютъ и другое важное достоинство: они представляютъ первое вполнѣ реальное отношеніе искусства къ военнымъ дѣйствіямъ; здѣсь впервые они изображаются во всей своей прозаичности такъ какъ они совершаются на самомъ дѣлѣ, разоблаченныя отъ того ореола бранныхъ ужасовъ и героическихъ аффектацій, въ какомъ эти дѣйствія представляются въ разсказахъ хвастливыхъ очевидцевъ и въ произведеніяхъ художниковъ романтическаго періода нашего литературы. Чтобы понять, какой громадный шагъ сдѣлало въ этомъ отношеніи искусство, слѣдуетъ рядомъ съ очерками гр. Толстого поставить хотя-бы описаніе *Полтавской битвы* Пушкина или *Бородино* Лермонтова. У Толстого вы не найдете и слѣда такихъ ужасающихъ батальныхъ картинъ, чтобы рука бойцовъ колотъ устала и ядрамъ пролетать мѣшала гора кровавыхъ тѣлъ. Въ этомъ отношеніи гр. Толстой имѣлъ полное право сказать въ концѣ первыхъ своихъ очерковъ севастопольской войны:

„Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны... Герой-же моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—правда“.

III.

Въ 1856 году, по окончаніи войны, гр. Толстой вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ Петербургъ. Въ Петербургѣ, какъ и во всей Россіи, въ этотъ годъ только что начиналось то пробужденіе и оживленіе общества, которое предшествовало эпохѣ реформъ и вызвало ихъ. Въ столицу въ это время съѣзжались со всѣхъ концовъ Россіи литераторы, словно разсѣянные предшествовавшими бурями птицы. Восторженные рѣчи, полныя свѣтлыхъ надеждъ, не смолкали. Въ этотъ хаосъ всеобщаго ликования вмѣшался и гр. Толстой. Онъ явился въ столицу въ двойномъ ореолѣ—и какъ восходящее литературное свѣтило, и какъ севастопольскій герой. Съ одной стороны онъ не замедлилъ познакомиться и подружиться съ передовыми и первостепенными литераторами того времени—Тургеневымъ, Гончаровымъ, Некрасовымъ, Островскимъ, Григоровичемъ, Дружининымъ и прочими. Они приняли его какъ своего, льстили, превозносили его произведенія. Въ то-же время, по его словамъ (въ романѣ *Декабристы*), онъ „на себѣ испыталъ, какъ Россія умѣетъ вознаграждать истинныя заслуги. Сильные міра сего всѣ искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обѣды, настоятельно приглашали его къ себѣ для того, чтобъ узнать отъ него подробности войны, разсказывали ему свои чувствованія“.

Подъ впечатлѣніемъ всеобщаго ликования и гр. Толстой не замедлилъ увлечься общимъ восторгомъ и радужными надеждами. Этотъ моментъ и разумѣетъ онъ въ своей *Исповѣди*, когда говоритъ:

«Мы всё тогда были убѣждены, что намъ нужно говорить и говорить, писать, печатать — какъ можно скорѣе, какъ можно больше, что все это нужно для блага человечества. И тысячи насъ, отрицая, ругая одинъ другого, всё печатали, писали, поучая другихъ. И не замѣчая того, что мы ничего не знаемъ, что на самый простой вопросъ жизни: что хорошо, что дурно, — мы не знаемъ, что отвѣтить, — мы всё, не слушая другъ друга всё вразъ говорили, иногда потакая другъ другу и восхваляя другъ друга съ тѣмъ, чтобы и мнѣ потакали и меня хвалили, иногда-же раздражаясь другъ противъ друга точно такъ, какъ въ сумасшедшемъ домѣ.

«Тысячи работниковъ дни и ночи изъ послѣднихъ силъ работали, набирали, печатали миллионы словъ, и почта развозила ихъ по всей Россіи, и мы все еще боѣе учили и никакъ не успѣвали всему научить, и все сердились, что насъ мало слушаютъ.

«Ужасно странно, но теперь мнѣ понятно. Настоящимъ задушевнымъ разсужденіемъ нашимъ было то, что мы хотимъ какъ можно больше получать денегъ и похвалъ. Для достиженія этой цѣли мы ничего другого не умѣли дѣлать, какъ только писать книжки и газеты. Мы это и дѣлали. Но для того, чтобы намъ дѣлать столь бесполезное дѣло и имѣть увѣренность, что мы — очень важные люди, намъ надо было еще разсужденіе, которое-бы оправдало нашу дѣятельность. И вотъ у насъ было придумано слѣдующее: все, что существуетъ, то разумно. Все-же, что существуетъ, все развивается. Развивается все посредствомъ просвѣщенія. Просвѣщеніе-же измѣряется распространеніемъ книгъ, газетъ. А намъ платять деньги и насъ уважають за то, что мы пишемъ книги и газеты, и потому мы — самые полезные и хорошіе люди».

Дѣйствительно литература находилась въ то время въ большомъ почетѣ, писателямъ вездѣ было первое мѣсто, ихъ чуть не носили на рукахъ, и вѣра въ просвѣщеніе, прогрессъ были безграничны; у всѣхъ и каждого эти слова безпрестанно были на устахъ. Выше же всего и ставилось, и цѣнилось художественное творчество, и на художниковъ дѣйствительно смотрѣли какъ на пророковъ, каждое вѣщее слово которыхъ подвергалось безчисленнымъ критическимъ комментаріямъ во всѣхъ журналахъ. Что гр. Толстой и самъ раздѣлялъ эту вѣру, объ этомъ можно судить по его вступительной рѣчи 4 февраля 1859 г. на засѣданіи *Общества любителей русскаго слова*, при принятіи его въ члены этого общества, — рѣчи, въ которой онъ защищалъ высоту, чистоту и неприкосновенность искусства отъ всѣхъ преходящихъ и суетныхъ злобъ дня и возбудилъ, какъ мы выше видѣли, громовый протестъ со стороны Хомякова.

Но надо полагать, что гр. Толстой жилъ въ это время какою-то раздвоенною жизнью. Увлекаясь вмѣстѣ со всѣмъ обществомъ вѣрою въ прогрессъ и литературнымъ движеніемъ, въ глубинѣ души онъ оставался все такимъ-же скептикомъ и песимистомъ. — Въ *Исповѣди* своей онъ говоритъ, что уже „на второй и въ особенности на третій годъ онъ сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости своей вѣры въ прогрессъ и сталъ ее изслѣдовать“. „Кромѣ того, говоритъ онъ ниже, усомнившись въ истинности самой вѣры писательской, я сталъ внимательнѣе наблюдать жрецовъ ея и убѣдился, что почти всѣ жрецы этой вѣры, писатели были люди безнравственные и въ большинствѣ люди плохіе, ничтожныя по характерамъ, — много ниже тѣхъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней разгульной и военной жизни, — но самоувѣренные и довольные собой, какъ только могутъ быть довольны люди совсѣмъ святые или такіе, которые и не знаютъ, что такое святость. Люди мнѣ опротивѣли, и самъ себѣ я опротивѣлъ, и я понялъ, что вѣра эта — обманъ“.

Въ сочиненіяхъ-же гр. Толстого этого періода мы и слѣда не находимъ этой самой вѣры. Такъ онъ продолжалъ казнить все того-же своего нравственно несостоятельнаго героя, князя Нехлюдова, и въ 1856 г. были написаны мрачныя *Записки Маркера*, гдѣ эта казнь является буквально смертною. Къ тому-же 1856 году относится и повѣсть *Два цсара*, не менѣе мрачная по своему содержанію, такъ какъ представляетъ параллель двухъ поколѣній графскаго рода, и вы видите то страшное нравственное вырожденіе въ дворянской средѣ, какое особенно сильно проявилось втеченіе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Въ слѣдующемъ 1857 году гр. Толстой поѣхалъ за-границу, и зрѣлище европейскаго прогресса не только не привело его въ восторгъ, а, напротивъ того, еще болѣе омрачило духъ его. Онъ не замедлилъ предать этотъ прогрессъ своему разлагающему анализу, и отъ его пытливыхъ глазъ не укрылись тѣ страшныя противорѣчія, какія таились въ нѣдрахъ европейской цивилизаціи и смущали всѣхъ мыслящихъ людей: при успѣхахъ знанія и промышленности, при ослѣпительномъ наружномъ блескѣ,—масса нищеты, невѣжества, варварства и грубаго безчеловѣчія. Впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ этой первой поѣздки за-границу, были выражены въ произведеніи, относящемся къ этому году *Изъ записокъ князя Д. Нехлюдова—Люцернъ*. Князя Нехлюдова глубоко поразили тотъ фактъ, что седьмого іюля 1857 года въ Люцернѣ, передъ отелемъ Швейцгергофомъ, въ которомъ останавливаются самые богатые люди, странствующій нищій пѣвецъ въ продолженіе получаса пѣлъ пѣсни и игралъ на гитарѣ. Около ста человѣкъ слушали его. Пѣвецъ три раза просилъ дать ему что-нибудь. Ни одинъ человѣкъ не далъ ему ничего и многіе смѣялись надъ нимъ.

«Вотъ событіе, восклицаетъ онъ, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событіе значительное и серьезное и имѣетъ глубочайшій смыслъ, чѣмъ факты, записываемые въ газетахъ и исторіяхъ. Что англичане убили еще тысячу китайцевъ за то, что китайцы ничего не покупаютъ на деньги, а ихъ край поглощаетъ звонкую монету; что французы убили еще тысячу кабилонъ за то, что хлѣбъ хорошо родится въ Африкѣ и что турецкій посланникъ въ Неаполѣ не можетъ быть жидъ и что императоръ Наполеонъ гуляетъ пѣшкомъ въ Plombières и печатно увѣряетъ народъ, что онъ царствуетъ только по волѣ своего народа,—это все слова, сокрывающія или показывающія давно извѣстное; но событіе, происшедшее въ Люцернѣ 7-го іюля, мнѣ кажется, совершенно ново, странно и относится не къ вѣчнымъ дурнымъ сторонамъ человѣческой природы, но къ извѣстной эпохѣ развитія общества. Это фактъ не для исторіи дѣяній людскихъ, но для исторіи прогресса и цивилизаціи.

«Отчего этотъ безчеловѣчный фактъ, невозможный ни въ какой деревнѣ нѣмецкой, французской или итальянской, возможенъ здѣсь, гдѣ цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени, гдѣ собираются путешествующіе, самые цивилизованные люди самыхъ цивилизованныхъ націй? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные въ общемъ на всякое честное гуманное дѣло, не имѣютъ человѣческаго сердечнаго чувства на личное доброе дѣло? Отчего эти люди, въ своихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ горько заботищеся о состояніи безбрачныхъ китайцевъ въ Индіи, о распространеніи христіанства и образованія въ Африкѣ, о составленіи обществъ исправленія всего человѣчества, не находятъ въ душѣ своей простого первобытнаго чувства человѣка къ человѣку? Неужели нѣтъ этого чувства, и мѣсто его заняли тщеславіе, честолюбіе и корысть, руководящія этихъ людей въ ихъ палатахъ, митингахъ и обществъ?»

вахъ? Неужели распространённое разумное себялюбивое ассоціаніе людей, которую называютъ цивилизаціей, уничтожаетъ и противорѣчитъ потребности инстинктивной и любовной ассоціанціи? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступленій? Неужели народы, какъ дѣти, могутъ быть счастливы однимъ звукомъ слова равенство?...»

Такимъ образомъ вотъ уже когда въ гр. Толстомъ вѣра въ прогрессъ, цивилизацію начала сильно колебаться, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ вопросѣ „отчего развитые, гуманные люди, способные въ общемъ на всякое честное гуманное дѣло, не имѣютъ человѣческаго сердечнаго чувства на личное доброе дѣло?“ — вы видите уже поворотъ на путь личнаго самосовершенствованія, на который впоследствии окончательно выступилъ гр. Толстой. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ это же время онъ разочаровался и во всемъ томъ шумномъ общественномъ движеніи, какимъ была преисполнена русская жизнь передъ реформами, уединился въ своей Ясной Полянѣ и занялся тамъ личнымъ самосовершенствованіемъ, легѣя идеаль проссвѣщеннаго и гуманнаго барина-хозяина, чуждающагося какъ свѣтской суеты, такъ и всѣхъ общественныхъ теченій, живущаго въ деревнѣ въ неуспынныхъ сельско-хозяйственныхъ трудахъ и заботахъ и въ тѣсномъ общеніи съ народомъ. Идеаль этотъ, вполне вытекавшій изъ его личнаго общественнаго положенія, равно какъ изъ всѣхъ его вкусовъ и наклонностей, онъ стремился осуществить въ продолженіи всего средняго періода своей жизни, воплощая его впоследствии неоднократно въ типахъ вроде Петра Безухова и Левина. Первое-же воплощеніе мы видимъ въ относящемся къ 1859 году романѣ *Семейное счастье*, въ героѣ этого романа Сергѣѣ Михайловичѣ, который, въ объясненіи своемъ въ любви своей героинѣ, категорически выражаетъ этотъ идеаль въ слѣдующихъ словахъ:

«Я прожилъ много, и мнѣ кажется, что нашелъ то, что нужно для счастья. Тихая, уединенная жизнь въ нашей деревенской глуши съ возможностью дѣлать добро людямъ, которымъ такъ легко дѣлать добро, къ которому они не привыкли; потомъ трудъ, трудъ, который кажется, что приноситъ пользу, потомъ отдыхъ, природа, книга, музыка, любовь къ ближнему человѣку—вотъ мое счастье, выше котораго я не мечталъ. А тутъ сверхъ всего этого другъ, семья можетъ быть, и все, что только можетъ желать человѣкъ».

Что касается до произведеній его, относящихся къ этому времени, то, кромѣ вышеозначенныхъ, мы можемъ упомянуть еще слѣдующія. Къ 1856 году относится маленькій рассказъ *Матерь*, въ 1857 году—*Альбертъ*. 1858 годъ почему-то не ознаменовался ни однимъ произведеніемъ гр. Толстого и представляетъ пробѣлъ въ его художественной дѣятельности. Зато 1859 годъ ознаменовался кромѣ рассказа *Три смерти*, романомъ *Семейное счастье*. Въ 1860 году была написана повѣсть изъ народнаго быта *Поликушка*, которою гр. Толстой заплатилъ дань какъ эмансипаціи, такъ и входившей въ то время въ моду беллетристикѣ изъ народнаго быта. Наконецъ къ 1861 году относится рассказъ *Холстомеръ*.

IV.

Вообще нужно замѣтить, что какъ ни отрицательно относился гр. Толстой къ движенію своего времени, какъ ни заперся отъ него въ деревенскую глушь, чуткая,

впечатлительная натура его никакъ не могла противостоять тѣмъ или другимъ вѣ-
 ниямъ времени, и на каждое онъ отзывался. Такъ, въ то время, какъ все вниманіе об-
 щества устремилось на народъ, изучать его, сближаться съ нимъ, учить его—сдѣла-
 лось кровною обязанностью всѣхъ и каждого, обратилось въ повальную эпидемію,
 всюду начали заводиться воскресныя и сельскія школы, и гр. Толстой въ свою оче-
 редь увлекся этимъ общественнымъ движеніемъ. Съѣздивъ даже еще разъ за границу
 съ цѣлью изучить школьное дѣло и, по возвращеніи въ Ясную Поляну, завелъ тамъ
 сельскую школу и началъ издавать педагогическій журналъ *Ясная Поляна*. Какъ ме-
 тоды преподаванія въ ясно-полянскомъ школѣ, такъ и всѣ школьные порядки отличались
 большою оригинальностью и совершенно выходили изъ обычной школьной рутинны, что
 возбуждало оживленную полемику въ педагогическихъ сферахъ того времени, которую
 гр. Толстой поддерживалъ въ своемъ ясно-полянскомъ журналѣ, развивая свои
 взгляды на обученіе дѣтей и народа въ цѣломъ рядѣ педагогическихъ статей, каковы:
*О народномъ образованіи, О методахъ обученія грамоты, Проектъ плана
 устройства народныхъ училищъ, Кому у кого учиться писать: крестьян-
 скимъ ребятамъ у насъ или намъ у крестьянскихъ ребятъ*. Во всѣхъ этихъ стать-
 яхъ, рядомъ съ мыслями парадоксальными, вы встрѣчаете рядъ идей, поражающихъ
 васъ своею глубиною, самобытностью и неоспоримую истинностью.

1862 годъ ознаменовался въ жизни Гр. Толстого женитьбою на дочери москов-
 ского доктора Берсъ, Софьѣ Андреевнѣ.

Между тѣмъ то раздвоенное состояніе духа, о которомъ мы выше говорили, не по-
 кидало гр. Толстого и въ ясно-полянскомъ уединеніи послѣ женитьбы. Съ одной
 стороны—мы видимъ самое живое отношеніе къ вѣнннямъ времени, сказавшееся и въ
 стремленіи сближаться съ народомъ, и въ ясно-полянскомъ школѣ, и въ статьѣ *Воспи-
 таніе и образованіе*, вызванной студенческими безпорядками 1861 года, въ которой
 гр. Толстой становится на самую радикальную точку зрѣнія въ своихъ педагогическихъ
 воззрѣніяхъ, отрицаетъ всецѣло нравственное воспитаніе, какъ насиліе одной личности
 надъ другою, и въ силу этого отрицаетъ всѣ существующія учебныя заведенія отъ
 низшихъ до высшихъ со всѣми ихъ программами и порядками, требуя полной свободы
 преподаванія въ видѣ школъ, въ которыхъ каждый, кому угодно, передавалъ-бы тѣ
 знанія, какія имѣеть, или въ видѣ публичныхъ лекцій.

«Говорятъ, читаемъ мы, наука носить въ себѣ воспитательный элементъ (Ergieh-
 ligen Element) — это справедливо и несправедливо, и въ этомъ положеніи лежитъ
 основная ошибка существующаго парадоксальнаго взгляда на воспитаніе. Наука есть
 наука, и ничего не носить въ себѣ. Воспитательный-же элементъ лежитъ въ препо-
 даваніи наукъ, въ любви учителя къ своей наукѣ и въ любовной передачѣ ея, въ
 отношеніи учителя къ ученику. Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку
 и знай ее, и ученики полюбятъ и тебя, и науку, и ты воспитаешь ихъ; но самъ не
 любишь ее, то сколько-бы ты ни заставлялъ учить, наука не произведетъ воспита-
 тельнаго вліянія. И тутъ опять одно мѣрло, одно спасеніе, опять та-же свобода
 учениковъ слушать или не слушать учителя, воспринимать или не воспринимать его
 воспитательное вліяніе, то-есть имъ однимъ рѣшить, знаетъ-ли онъ и любитъ-ли
 свою науку».

Проповѣдуя такимъ образомъ полный переворотъ всего учебнаго дѣла и не оставляя

въ немъ камня на камень, казалось, гр. Толстой уже этимъ самымъ становился впереди всѣхъ самыхъ рьяныхъ прогрессистовъ. И вдругъ одновременно тотъ-же самый гр. Толстой въ своей полемикѣ съ Евг. Марковымъ, въ статьѣ *Прогрессъ и опредѣленіе образованія* на страницахъ *Русскаго Вѣстника* (1864 г. № 5), доходитъ до полного отрицанія прогресса, далеко въ этомъ отношеніи оставляя позади тѣ идеи, которыя онъ высказывалъ въ *Люцернѣ*. Общаго закона движенія впередъ человѣчества, по его мнѣнію, нѣтъ, какъ то намъ доказываютъ неподвижные восточные народы; ⁹/₁₀ того-же самаго европейскаго народа, будто-бы находящагося въ процессѣ прогресса, сознательно ненавидятъ прогрессъ и всѣми средствами стараются противодѣйствовать ему. У насъ вѣрятъ въ прогрессъ образованное дворянство, образованное купечество и чиновничество—классы незанятые, по выраженію Бокля; не вѣрятъ въ прогрессъ и враги его—мастеровые, фабричные, крестьяне, земледѣльцы и промышленники, люди занятые прямою физическою работою—классы занятые.

Утверждая далѣе, что всѣ блага прогресса, созданныя наукою, какъ электричество и пр., приносятъ пользу лишь небольшой горсти людей привилегированныхъ, девяти десятымъ-же человѣчества не только никакой пользы не приносятъ, но и служатъ прямо ко вреду, онъ и литературу относитъ къ той-же категоріи.

«Литература, говоритъ онъ, такъ-же, какъ и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа. Есть *Сооруженникъ*, есть *Современное Слово*, есть *Современная Литотисъ*, есть *Русское Слово*, *Русскій Миръ*, *Русскій Вѣстникъ*, есть *Время*, есть *Наше Время*, есть *Орелъ*, *Звѣздочка Гирлянда*, есть *Грамотей*, *Народное Чтеніе* и *Чтеніе для народа*, есть извѣстные слова въ извѣстныхъ сочетаніяхъ и перемѣщеніяхъ, какъ заглавія журналовъ и газетъ, и всѣ эти журналы твердо вѣрятъ, что они *проводятъ* какія-то мысли и направленія. Есть сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти журналы и сочиненія, несмотря на давность существованія, неизвѣстны, ненужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды. Я говорилъ уже объ опытахъ, дѣлаемыхъ мною для привитія нашей общественной литературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе *Бориса Годунова* Пушкина или исторію Соловьева, надобно этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. Наша литература не прививается и не привьется народу, надѣюсь—люди, знающіе народъ и литературу, не усумнятся въ этомъ. Какое-же благо получаетъ народъ отъ литературы? Библии и святцевъ до сихъ поръ народъ не имѣетъ дешевыхъ. Другія-же книги, которыя западаютъ къ нему, только обличаютъ въ его глазахъ глупость и ничтожество ихъ составителей; деньги и работа его тратятся, а выгоды отъ книгопечатанія,— вотъ уже сколько времени прошло, — мы не видимъ ни малѣйшей для народа. Ни пахать, ни дѣлать квасъ, ни плести лапти, ни рубить срубы, ни пѣть пѣсни, ни даже молиться, не учится и не научился народъ изъ книгъ. Всякій добросовѣстный судья, неодолимый вѣрою прогресса, признается, что выгоды книгопечатанія для народа не было....» и т. д.

Въ этомъ констатированіи тщеты прогресса, что прогрессъ существуетъ для немногихъ во вредъ большинству, гр. Толстой сходится, повидимому, съ социалистами, но только повидимому. Существенная разница заключается въ томъ, что социалисты самого прогресса не отрицали, а напротивъ того, указывая на фактъ неравнаго его распре-

дѣленія, требовали, чтобы къ благамъ прогресса были допущены равномерно все классы общества. Гр. Толстой же вывелъ изъ того-же факта полное отрицаніе всякаго коллективнаго прогресса и допускаетъ одно личное самосовершенствованіе. „Общій вѣчный законъ, говоритъ онъ: написанъ въ душѣ всякаго человѣка. Законъ прогресса или совершенствованія написанъ въ душѣ каждаго человѣка и, только вслѣдствіе заблужденія, переносится въ исторію. Оставаясь личнымъ, этотъ законъ плодотворенъ и доступенъ каждому; перенесенный въ исторію, онъ дѣлается праздною, пустою болтовней, ведущей къ оправданію каждой бессмыслицы и фатализма“.

Такимъ образомъ, какъ видите, уже въ 1862 году въ отрицаніи своемъ гр. Толстой дошелъ до тѣхъ самыхъ геркулесовыхъ столбовъ, въ какихъ онъ пребываетъ и днесъ. Не доставало лишь положительныхъ идеаловъ въ духѣ древнихъ восточныхъ мудрецовъ.

V.

Спрашивается теперь, какъ-же могъ продолжать писать гр. Толстой, разъ онъ додумался не только до бесполезности, но даже и до вреда всей русской литературы? Это только и можно объяснить тою раздвоенностью, въ которой онъ въ то время находился и о которой онъ говоритъ въ своей исповѣди слѣдующее:

«Новыя условія счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, подмѣненное уже прежде стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу, теперь подмѣнилось уже прямо стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше. Такъ прошло еще пятнадцать лѣтъ. Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками впродолженіи этихъ пятнадцати лѣтъ, я все-таки продолжалъ писать. Я вкусилъ уже соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей».

Тѣмъ не менѣе, благодаря именно этой непослѣдовательности гр. Толстого, Россія была обязана ему созданіемъ въ эти пятнадцать лѣтъ наиболѣе совершенныхъ и лучшихъ произведеній.

Такъ вскорѣ послѣ женитьбы гр. Толстой задумалъ романъ *Декабристы*, главными дѣйствующими лицами котораго должны были быть люди двадцатыхъ годовъ, но онъ успѣлъ въ то время написать лишь три главы этого романа. Стараясь возсоздать время декабристовъ, онъ невольно переходилъ мысленно къ предыдущему времени, къ прошлому своихъ героевъ. Постепенно передъ авторомъ раскрывались все глубже и глубже источники тѣхъ явленій, которыя онъ задумывалъ описать; семья, воспитаніе, общественныя условія избранныхъ ими лицъ; наконецъ, онъ остановился на времени войны съ Наполеономъ, и изобразилъ его въ романѣ *Война и миръ*, въ концѣ котораго видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825 года.

Начатый въ 1864 году, романъ *Война и миръ* печатался въ *Русскомъ Вѣст-*

никъ съ 1865 года и въ 1869 году онъ явился уже въ свѣтъ въ полномъ своемъ составѣ. Это лучшее произведеніе гр. Толстого, въ которомъ художественное творчество его дошло до своего апогея, собственно говоря—не столько романъ, сколько колоссальная эпопея, обнимающая русскую жизнь начала нынѣшняго столѣтія въ ея сосредоточеніи въ то время въ великосвѣтскихъ слояхъ общества во всѣхъ ея проявленіяхъ, начиная съ такихъ крупныхъ историческихъ событій, какъ Лейпцигская битва и пожаръ Москвы, и кончая мелкими, повседневными фактами общественной, частной и семейной жизни. Къ сожалѣнію эта эпопея не имѣетъ такихъ строгихъ цѣлостности и стройности, которыя могли-бы поставить ее на одномъ ряду со всѣми высочайшими произведеніями искусства. Она распадается на три элемента, далеко не равнаго достоинства. Первый элементъ—самый высокій и безукоризненный,—это непосредственно-художественный. Вездѣ, гдѣ гр. Толстой въ своемъ безсмертномъ произведеніи только живописуетъ, не приводя никакихъ философскихъ или моральныхъ идей, онъ доходитъ порою до гениальнаго величія. Такія мѣста романа, какъ пожаръ Москвы, Бородино и всѣ батальныя картины, какъ смерть Андрея Болконскаго, катанье на тройкахъ зимою въ деревнѣ, дѣтскіе романы—производятъ потрясающее впечатлѣніе образовъ въ художественномъ отношеніи понятій великихъ, точно какъ будто передъ вами разстилаются безсмертныя полотна великихъ живописцевъ эпохи возрожденія, и глядятъ на васъ съ этихъ полотенъ изображенныя на нихъ вѣковѣчныя фигуры, блестя своею божественною красотою. Не менѣе поражаетъ васъ въ романѣ рядъ типовъ, исчерпывающихъ все содержаніе великосвѣтской среды изображаемой эпохи. Понятій, такіе характеры, какъ семейство Болконскихъ, Курагиныхъ, Ростовыхъ, Пьеръ Безухій, Долоховъ, Вилибинъ и пр. висколько не менѣе существенны, чѣмъ типы *Мертвыхъ душъ*, и могутъ служить такими-же кличками, какъ Чичиковъ, Маниловъ, Ноздревъ и пр. Типы эти изслѣдованы во всѣхъ основныхъ пружинахъ своей жизни и въ самыхъ мельчайшихъ психическихъ движеніяхъ. Всѣхъ ихъ можно раздѣлить на четыре разряда. Одинъ изъ нихъ, каковы Курагины, Долоховъ, представляютъ крайнюю степень разлѣнія; это римляне послѣдняго періода имперіи, приближаться къ которымъ опасно, потому что для нихъ ничего не стоитъ ради личныхъ выгодъ лишить васъ не только чести или обезпеченія, но даже самой жизни. Самые страшные изъ нихъ тѣ, которые при всей своей внутренней чудовищности сохраняютъ извѣстную долю сдержанности, такта, изворотливости, умѣютъ даже надѣвать на себя личины различныхъ добродѣтелей, каковы, напримѣръ князь Курагинъ. Не менѣе ужасенъ и Долоховъ со своею отчаянною дерзостью, стальными нервами и обаяніемъ недюжинныхъ силъ. Въ лицѣ Долохова гр. Толстой окончательно разлѣчиваетъ тотъ демоническій типъ, который въ тридцатые и сороковые годы былъ въ такомъ ореолѣ. Долоховъ—это почти тотъ-же Печоринъ, но вмѣсто удивленія возбуждающій подлиннымъ правдивымъ перомъ гр. Толстого одно отвращеніе. Большого снисхожденія заслуживаютъ типы вродѣ Анатоля Курагина и сестры его Елены Безухой въ томъ отношеніи, что животныя инстинкты до такой уже степени заглушаютъ въ нихъ и разсудокъ, и волю, что по большей части они дѣлаются жертвами своего разврата.

«И чѣмъ болѣе я вникалъ въ ихъ жизнь, говоритъ онъ, тѣмъ больше я любилъ ихъ и тѣмъ легче мнѣ самому становилось жить. Я жилъ такъ два года, и со мною

случился перевернуть, который давно готовился во мнѣ и зачатки котораго всегда во мнѣ были. Жизнь нашего круга не только стала противна мнѣ, но потеряла всякій смыслъ. Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, науки и искусство—все это представилось мнѣ однимъ балаболомъ. Я понялъ, что искать смысла жизни въ этомъ нельзя. Дѣйствія-же трудящагося народа, творящаго жизнь, представились мнѣ единымъ настоящимъ дѣломъ. И я понялъ, что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть истина, и принялъ его... Я понялъ, что для того, чтобы понять смыслъ жизни и увидѣть въ ней добро, надо прежде всего, чтобы твоя собственная жизнь была не безсмысленна и зла, а потому уже разумъ, чтобы назвать свое пониманіе словомъ. Если думаешь и говоришь о жизни человѣческой, то надо говорить о жизни всего человѣчества, а не о жизни нѣсколькихъ паразитовъ жизни. Возненавидѣть себя, забывать о себѣ, не думать о себѣ, любить другихъ,—это одно средство, «чтобы жить и понимать жизнь, любить ее и считать добромъ...»

Ко второй категоріи принадлежатъ карьеристы вроде Бориса Друбецкаго, Берга — выслуживающіеся и наживающіеся. Приглашенные, припомаженные, умѣренные въ своихъ страстяхъ и привычкахъ, сдержанные и почтительные, они имѣютъ видъ порядочныхъ людей, но въ сущности въ нихъ не болѣе человѣчности, чѣмъ и въ людяхъ первой категоріи. Они не сдѣлаютъ вамъ безъ нужды зла, но и добра отъ нихъ не ждите. Ихъ дружба и любовь опредѣляются личными интересами; въ то-же время въ своихъ служебныхъ видахъ они не любятъ бывать въ обществѣ людей, не только стоящихъ ниже ихъ, но и равныхъ, и предпочитаютъ забираться въ высшія сферы, гдѣ низкопоклонничая и услуживая, втираются въ довѣріе, незамѣтно становятся на равную ногу и лѣзутъ еще выше.

Къ третьей категоріи относятся Ростовы. Это люди, у которыхъ вы найдете много человѣчности: они способны безкорыстно любить и увлекаться, способны подъ вліяніемъ минуты на высокой подвигъ, но въ то-же время—это взрослые дѣти съ безмятежными дѣтскими вѣрованіями и воззрѣніями на міръ, слѣпо отдающіяся настоящей минутѣ, вѣчно жаждущія широкаго веселья, счастья. Если жизнь иногда и угостить ихъ горькою минутою, стоитъ погладить ихъ по головкѣ и поднести имъ новую игрушку, и они мигомъ утѣшаются и опять довольны и веселы. Если подвернутся обстоятельства, нарушающія неприкосновенность ихъ дѣтскихъ воззрѣній, они слѣпо гонятъ отъ себя прочь сомнѣнія и считаютъ какъ-бы преступленіемъ допустить въ себя малѣйшую самостоятельность мысли.

Къ четвертой категоріи относятся люди размышляющіе, анализирующіе, резонирующіе, разившіе въ себѣ высшія умственные и нравственные стремленія путемъ чтенія и размышленій. Таковы князья Болконскіе—отецъ, дочь Марія и сынъ Андрей, таковъ Шеръ Безухій. Но такъ какъ они продолжаютъ стоять въ тѣхъ-же ненормальныхъ условіяхъ жизни, то цѣли, которыя они себѣ ставятъ, не вытекаютъ естественно изъ ихъ жизни и натуры, а искусственно придумываются, чтобы хоть чѣмъ-нибудь наполнить пустоту жизни, и какъ такія цѣли ни прекрасны бываютъ въ теоріи, осуществленныя или обращаются въ ничто, или вмѣсто добра приносятъ неожиданное зло тѣмъ людямъ, къ которымъ относятся. Однимъ словомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ тою-же нехлюдовщиною.—И какъ это мы находимъ въ прочихъ произведеніяхъ г-на Толстого, здѣсь точно также для болѣе рельефнаго представленія нравственной

несостоятельности своей излюбленной нехлюдовщины гр. Толстой дѣлаетъ свои геніальныя сопоставленія героевъ съ людьми массъ, живущихъ непосредственною жизнью. Такъ мишурное геройство князя Андрея пасуетъ передъ истиннымъ и простымъ въ своемъ бессознательномъ величіи геройствомъ артиллериста Тушина, такъ всѣ отвлеченныя и мистическія философствованія Пьера Безухова представляются бессмысленными и дрянными бреднями передъ свѣтлымъ мировоззрѣніемъ и здравымъ народнымъ смысломъ Каратаева.

Вторымъ элементомъ романа *Война и миръ* представляется историческая философія его, первоначально вилетавшаяся въ самый текстъ романа и сильно отягощавшая его художественное содержаніе, а затѣмъ отдѣленная въ видѣ второй части произведенія.

Происхожденіе этого историко-философскаго трактата объясняется очень просто. Задумавши писать историческій романъ, изображающій жизнь дѣлой эпохи, полной къ тому-же важными историческими событіями, гр. Толстой необходимо приступилъ къ изученію ея по различнымъ памятникамъ, мемуарамъ, біографіямъ и сочиненіямъ европейскихъ и русскихъ историковъ. Такое изученіе раздвинуло умственный горизонтъ гр. Толстого, открывши ему новыя области жизни и мысли, и вотъ въ головѣ его начался умственный процессъ, поглотившій всѣ его силы. Путемъ этого процесса онъ додумался до такихъ историко-философскихъ истинъ, которыя давно уже были открыты до него, но онъ ихъ снова открылъ для самого себя и весьма естественно вообразилъ при этомъ, что истины эти должны быть новостью и для всего человѣчества.—Такова напимѣръ идея причинности историческихъ событій и съ другой стороны влияніе на нихъ массовыхъ движеній, увлекающихъ за собою отдѣльныя личности, которыя, какъ-бы ни казались геніальны и самостоятельны въ своей дѣятельности, слѣпо подчиняются коллективной волѣ народовъ.

Здѣсь, какъ и во всѣхъ отвлеченныхъ рассужденіяхъ гр. Толстого, излагаемыхъ тяжелымъ языкомъ съ безпрестанными повтореніями и распространеніями,—мы встрѣчаемъ ту же амальгаму глубокихъ и смѣлыхъ истинъ и рискованныхъ парадоксовъ, основанныхъ на произвольныхъ и спорныхъ категорическихъ афоризмахъ. Непривычка къ философскому мышленію ведетъ къ тому, что гр. Толстой не можетъ удержаться въ строго научныхъ и реальныхъ предѣлахъ, смѣшиваетъ причинность историческихъ событій съ дѣлесообразностью, и изъ всего изъ этого выходитъ у него теорія историческаго фатализма, причемъ онъ и самъ не замѣчаетъ, въ какое логическое противорѣчіе впадаетъ онъ: считая отжившимъ взглядъ древнихъ на историческія событія, основывающійся на произвольномъ управленіи народами и царями волею божествъ, онъ самъ проводитъ тотъ-же взглядъ, замѣняя лишь личную волю челоѣкообразныхъ божествъ древняго міра предопредѣленіями какихъ то таинственныхъ, безусловныхъ силъ, безличныхъ и между тѣмъ сознательно разумныхъ. „На вопросъ о томъ, что составляетъ причину историческихъ событій, говоритъ онъ, представляется другой отвѣтъ, заключающійся въ томъ, что ходъ мировыхъ событій предопредѣленъ свыше, зависитъ отъ совпаденія всѣхъ произволовъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ, и что влияніе Наполеоновъ на ходъ этихъ событій есть только вѣишее, фиктивное“.

Третій элементъ, еще болѣе портящій романъ, заключается въ той мистической экзальтаціи, которая окончательно обуяла гр. Толстого въ половинѣ семидесятыхъ годовъ, но начало которой мы видимъ уже во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ, когда онъ дописывалъ свой романъ *Война и миръ*. Экзальтація эта особенно ярко выразилась въ эпизодѣ вліянія на Пьера Безухова Каратаева.

Увлеченіе Пьера простыми людьми послѣ бородинскаго сраженія стоитъ совершенно на реальной почвѣ. Вполнѣ естественно, что запутавшійся въ омутъ свѣтской пустоты, разочарованный и нравственно надломленный Пьеръ могъ увлечься зрѣющимъ простыхъ и сильныхъ людей, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, безъ всякаго хвастовства и напускного геройства смотрѣвшихъ въ глаза смерти; понятно, что онъ долженъ былъ ясно почувствовать, въ сравненіи съ правдой, простотой и силой этихъ людей ощущеніе своей ничтожности и лживости и проникнуться стремленіемъ *войти въ эту общую жизнь всѣмъ существомъ, проникнуться тѣмъ, что дѣлаетъ ихъ такими...* Подобныя мысли и чувства мы видѣли уже и у другихъ героев Толстого, начиная съ Оленина въ *Казакахъ*.

Не менѣе естественно выведенъ и типъ Каратаева. Простой, гуманный, одаренный художественною натурою и теплымъ сердцемъ, много испытавшій въ жизни, — Каратаевъ самъ по себѣ являлся-бы весьма живою и удачно очерченною личностію въ романѣ, если-бы гр. Толстой не возвелъ его на пьедесталъ, представивъ въ немъ какого-то вдохновеннаго глашатая народной мудрости, исполненной неизреченныхъ глубинъ, чуть что не живое олицетвореніе божественной правды и благодати. Вліяніе его на Пьера было столь сильно по словамъ автора, что Пьеръ совершенно переродился: онъ самъ исполнился кроткой терпимости и благодущія, подъ обаяніемъ которыхъ во всемъ сталъ видѣть Бога, все ему показалось ведущимъ ко благу, всѣ люди сдѣлались его друзьями и незамѣтно для самихъ себя почувствовали потребность повѣрить ему всѣ свои сокровенныя тайны. „Нѣтъ, говорить Пьеръ, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотнаго чепуха-дурачка“.

И Оленинъ, какъ мы видѣли, получилъ подобное-же просіяніе и позналъ, въ чемъ заключается истинное счастье подъ вліяніемъ сближенія съ казаками, но онъ не могъ переродиться вълѣдствіе одного этого сознанія и остался прежнимъ Оленинымъ, въ чемъ и заключается преимущество *Казаковъ* сравнительно съ послѣднею частью *Войны и мира*, гдѣ авторъ утратилъ уже прежнее реальное чутье и былъ готовъ увѣровать, что человѣкъ способенъ возродиться и переродиться вълѣдствіе одного лишь измѣненія строя мыслей въ головѣ.

VI.

По окончаніи *Войны и мира* гр. Толстой снова занялся педагогіей. Въ 1870 году была имъ написана *Азбука* и нѣсколько книгъ для чтенія.

Въ 1873 году появилось въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* письмо о самарскомъ голодѣ. Въ 1874 году надѣлала не мало шума статья *О народномъ образованіи*, начатая въ *Отечественныхъ Запискахъ* и возбуждавшая горячую полемику

въ педагогическихъ сферахъ, особенно со стороны приверженцевъ нѣмецкой педагогикѣ, противъ которыхъ наиболее ратуетъ гр. Толстой въ своей статьѣ.

Около того-же времени, — въ 1873 году, гр. Толстой задумалъ романъ *Анну Каренину*, который печатался въ *Русскомъ Вѣстникѣ* съ 1874 по 1876 годъ.

Къ этому-же времени относитъ гр. Толстой въ своей *Исповѣди* и тотъ радикальный переворотъ въ своихъ мысляхъ, который обратилъ его изъ беллетриста въ автора богословскихъ трактатовъ. Но тутъ представляется намъ съ перваго взгляда совершенно непонятное и странное противорѣчье между *Исповѣдью* и свидѣтельствомъ, находимымъ нами на страницахъ всѣхъ предыдущихъ сочиненій гр. Толстаго.

Въ самомъ дѣлѣ въ *Исповѣди* гр. Толстой говоритъ, что хотя вѣра въ прогрессъ была поколеблена въ немъ уже до женитьбы, но и послѣ женитьбы, впродолженіи 15 лѣтъ, т. е. почти до конца семидесятыхъ годовъ, онъ продолжалъ жить прежнею безпечною жизнью. Вся жизнь его сосредоточилась въ это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ, въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Несмотря на то, что онъ считалъ писательство пустяками впродолженіи этихъ 15 лѣтъ, онъ все-таки продолжалъ писать. „Я вкусилъ уже, говоритъ онъ, соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукопесканій за ничтожный трудъ, и предался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей“.

И только по прошествіи пятнадцати лѣтъ начали вдругъ находить на него минуты недоумѣнія, остановокъ жизни, какъ будто онъ не зналъ, какъ ему жить, что дѣлать, началъ спрашивать — зачѣмъ это? къ чему? а потомъ? а мнѣ что за дѣло? терялся и впадалъ въ недоумѣніе. Минуты эти, учащааясь, обратились наконецъ въ одно сплошное отчаяніе; онъ почувствовалъ, что онъ не можетъ жить, началъ бояться жизни, у него возникло стремленіе избавиться отъ нея, и онъ едва удерживался отъ самоубійства.

Тогда онъ началъ искать смысла жизни въ наукахъ, въ философіи, въ вѣрованіяхъ окружающихъ его свѣтскихъ людей, но нигдѣ не находилъ отвѣта. Наконецъ онъ сталъ сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ, неученыхъ людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками и тутъ только онъ уразумѣлъ, что если онъ хочетъ жить и понимать смыслъ жизни, то искать этого смысла ему надо не у тѣхъ, которые его потеряли и хотятъ убить себя, а у тѣхъ миллиардовъ отжившихъ и живущихъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь.

Такова была сущность переворота, который произошелъ съ гр. Толстымъ, когда ему было около пятидесяти лѣтъ. Между тѣмъ что-же показываютъ намъ его сочиненія? Уже въ „*Казакахъ*“, повѣсти написанной въ 1852 году, когда гр. Толстому было всего 24 года, онъ высказалъ буквально тѣ-же самыя мысли и въ тѣхъ-же выраженіяхъ относительно того, въ чемъ заключается истинное счастье, и далѣе затѣмъ эти-же самыя идеи все болѣе и болѣе развивавшіяся и усложнявшіяся мы видимъ и въ *Люцернѣ*, и въ педагогическихъ статьяхъ его, а въ *Войнѣ и мирѣ* дѣло идетъ прямо уже о переворотѣ, пережитомъ Пьеромъ Безухимъ, совершенно аналогичномъ съ тѣмъ, который самъ гр. Толстой испыталъ десять лѣтъ спустя послѣ появленія *Войны и мира*. Правда, что въ *Исповѣди* гр. Толстой даетъ намъ

какъ-бы ключъ къ объясненію этой загадки, говоря что переворотъ давно уже готовился въ немъ и задатки его всегда въ немъ были. Но только онъ, какъ намъ кажется, слишкомъ умаляетъ значеніе этихъ задатковъ и слишкомъ раздуваетъ самый переворотъ. Не съ одними скромными задатками имѣли мы дѣло во всѣхъ вышеприведенныхъ цитатахъ изъ его сочиненій, а съ полнымъ выраженіемъ почти тѣмъ-же словами тѣхъ самыхъ идей, которыя гр. Толстого приписываетъ перевороту.

Судя по характеру этихъ идей, надо полагать, что онѣ были заронены въ него въ университетскіе еще годы тѣмъ броженіемъ социальныхъ идей, которымъ ознаменовалась вторая половина сороковыхъ годовъ. Затѣмъ идеи эти безсознательно для него самого зрѣли въ мозгу его вмѣстѣ съ вѣкомъ, найдя для своего развитія богатую почву въ гениальныхъ способностяхъ гр. Толстого и весьма благоприятныя условія въ движеніи шестидесятыхъ годовъ. Идеи эти, привели гр. Толстого къ полному отрицанію интеллигентной, паразитной жизни со всею европейскою цивилизаціею и прогрессомъ, и возбудили въ немъ стремленіе къ слитію съ народомъ. Но вѣдь таковъ именно и былъ результатъ всего движенія шестидесятыхъ годовъ. Къ нему склонились всѣ мало-мальски послѣдовательные и смѣлые умы. Обратите вниманіе, что гр. Толстой относитъ свой переворотъ какъ разъ къ половинѣ семидесятыхъ годовъ, именно къ той эпохѣ, когда во всемъ русскомъ обществѣ началось эпидемическое стремленіе идти въ народъ, такъ что и этимъ своимъ переворотомъ гр. Толстой заплатилъ дань вліянію времени.

Изъ всего изъ этого ясно слѣдуетъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло вовсе не съ какимъ-либо переворотомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Это былъ особеннаго рода умственный и нравственный кризисъ, заключавшійся въ томъ, что между тѣмъ какъ гр. Толстой на склонѣ лѣтъ пресытился своею обеспеченною и счастливою жизнью со всѣми ея благами, идеи, которыя бродили въ немъ, впродолженіе долгихъ лѣтъ, подъ вліяніемъ этого пресыщенія и вліянія времени вдругъ выяснились, обострились, получили новую, яркую окраску; началось подведеніе итоговъ всей прожитой жизни; явилось сознаніе полного противорѣчія этой жизни съ идеями. Выѣстъ съ тѣмъ гр. Толстой почувствовалъ страшную душевную пустоту при видѣ полного ниспроверженія всѣхъ тѣхъ боговъ, которымъ онъ прежде молился, въ видѣ цивилизаціи, прогресса, культа истины и красоты, боговъ, завѣщанныхъ ему въ свою очередь сороковыми годами. Необходимо было чѣмъ-нибудь наполнить эту пустоту, замѣнить старыхъ боговъ новыми.

Но заплативши дань вліянію вѣка, гр. Толстой сразу сейчасъ-же и разошелся съ нимъ, какъ только зашелъ вопросъ о новыхъ положительныхъ идеалахъ. Кажется-бы, въ *Исповѣди* своей онъ вполне ясно даетъ намъ разумѣть, что слиться съ народомъ и усвоить пониманіе его жизни и его вѣру въ жизнь можно только отрѣшившись отъ прежней паразитной жизни и начавши трудиться, какъ трудится народъ. Гр. Толстой не остановился на этомъ общемъ неоспоримомъ положеніи. Онъ пошелъ далѣе въ своемъ стремленіи слиться съ народомъ. Такъ какъ всѣ положительныя знанія развились на почвѣ паразитизма и не давали отвѣтовъ на вопросы о сущности жизни, то гр. Толстой началъ огуломъ отрицать всѣ ихъ поголовно, начиная съ астрономіи и кончая химіею и медициною. Такъ какъ народъ черпалъ всѣ свои познанія изъ единствен-

ныхъ источниковъ въ видѣ различныхъ ученій древнихъ восточныхъ мудрецовъ, то гр. Толстой въ свою очередь устремился къ изученію и толкованію этихъ самыхъ источниковъ, предполагая, что въ нихъ только и можно обрѣсти истинное познаніе смысла жизни. Наконецъ, — что всего прискорбнѣе, — въ немъ окончательно развились и утвердились тѣ задатки индивидуализма, какіе мы видѣли у него и прежде: отвергнувши всякій коллективный общественный прогрессъ, онъ пришелъ къ убѣжденію, что единственное развитіе и улучшеніе человѣческаго рода заключается въ личномъ нравственномъ самосовершенствованіи каждаго человѣка въ отдѣльности. Изъ этого положенія и вытекли послѣдовательно и идея непротивленія злу насиліемъ, и отрицаніе какъ всякихъ общественныхъ реформъ, такъ и выработанныхъ исторіею общественныхъ функций; наконецъ въ *Крейцеровой сонатѣ* мы видимъ отрицаніе послѣдняго общественнаго звена — семьи и проповѣдь безбрачія во что бы ни стало, хотя-бы осуществленіе подобнаго противоестественнаго идеала грозило уничтоженіемъ человѣческаго рода.

VI.

Въ романѣ *Анна Каренина*, писанномъ какъ разъ во время переворота, вы видите уже рѣзкое отраженіе его. На самой первой страницѣ поражаетъ васъ грозный эпитафій „Мнѣ отмщеніе — и Азъ воздамъ“, придающій всему роману какой-то нравоучительно-теологическій характеръ. Правда, что авторъ какъ-бы совсѣмъ забываетъ объ этомъ эпитафій, когда начинаетъ излагать романъ. Въ немъ воскресаетъ художникъ и беллетристъ сороковыхъ годовъ, и увлекаясь чисто художественными цѣлями, онъ рисуетъ великосвѣтскую жизнь нашего времени во всѣхъ ея деталяхъ, выводитъ массу характеровъ и типовъ, подобно какъ и въ *Войнѣ и мирѣ*, исчерпывающихъ представителей большого свѣта, что называется, до-гла. Правда и то, что въ самомъ развитіи сюжета авторъ совсѣмъ расходится съ своимъ эпитафіемъ, такъ какъ не говоря уже томъ, что эпитафій этотъ, прилагаемый къ обыденному и мелкому свѣтскому адюльтеру принимаетъ характеръ похода на муху съ обухомъ, авторъ опять таки какъ художникъ реалистъ представляетъ намъ такую естественную и фатальную неотвратимость въ развитіи страсти своихъ героевъ, что у васъ невольно рождается мысль, за что-же воздавать тутъ какое то отмщеніе?

Тѣмъ не менѣе романъ, стоящій на рубежѣ кризиса, отражаетъ въ себѣ какъ прежній, такъ и новый порядокъ мыслей гр. Толстого. Такъ мы видѣли уже выше, что послѣ удаленія въ деревню и женитьбы до самаго переворота гр. Толстой въ душѣ своей продолжалъ лелѣять выходящій изъ его личной жизни и положенія въ обществѣ идеалъ культурнаго барина-хозяина, живущаго въ деревнѣ въ полной изолированности отъ всѣхъ вѣяній общества. Сообразно этому идеалу культурно-московскаго абсентизма онъ дѣлитъ и всѣхъ героевъ своего романа на правыхъ и лѣвыхъ, считая ихъ настолько устойчивѣе, положительнѣе, насколько крѣпче они стоятъ на своей культурной почвѣ и менѣе увлекаются какими-нибудь суетными свѣтскими страстями и похотями или-же эфемерными вѣяніями дня. Такъ направо стоятъ — Константинъ Дмитриевичъ Левинъ, семья князей Щербацкихъ и дворянинъ Свѣжскій; на лѣво всѣ

прочія дѣйствующія лица. Здѣсь и Сергій Ивановичъ Козышевъ, со своимъ искусственнымъ увлеченіемъ славянскимъ вопросомъ, и Метровъ, мѣряющій русскую жизнь на аршинъ западно-европейскихъ экономическихъ теорій, и Алексій Александровичъ Каренинъ — бюрократическая машина съ бездѣльными оловянными глазами, свидѣтельствующими объ ограниченности умственныхъ способностей, и набожная графиня Лидія Ивановна, великовѣтская сектантка съ черствымъ сердцемъ; и княжна Бетси Тверская со своимъ свѣтскимъ кругомъ, державшимся одною рукою за дворъ, чтобы не спуститься до полусвѣта; и князь Степанъ Аркадьевичъ Облонскій — эпикуреецъ и сластолюбецъ съ ногъ до головы, разоряющій семейство мотовствомъ и оскорбляющій жену невѣрностью. Здѣсь и Николай Левинъ со своею безпутною жизнью сбившагося съ круга заблудыги, здѣсь наконецъ и преступный осквернитель чужого ложа графъ — Алексій Кириловичъ Вронскій съ сообщницей по прелюбодѣянью, Анисю Аркадьевною Карениною, которые, какъ наиболѣе сошедшіе съ культурной почвы и отдавшіея свѣтской суетѣ, и являются въ романѣ жертвами небеснаго отмщенія.

Но въ то время какъ весь романъ построенъ еще на сторонѣ идеалъ въ духѣ московскаго барскаго абсентизма, конецъ романа носитъ уже яркіе слѣды того переворота, который успѣлъ уже совершиться въ авторѣ къ этому времени. Здѣсь гр. Толстой заставляетъ своего героя Левина, не довольствуясь уже своими прежними идеалами, пережить тотъ самый переворотъ, который совершился только что въ немъ; и описанъ этотъ переворотъ гораздо обстоятельнѣе и подробнѣе, чѣмъ въ *Войнѣ и мирѣ* подобный-же переворотъ съ Пьеромъ Безухимъ.

Послѣ романа *Анна Каренина* гр. Толстой сдѣлалъ еще попытку продолжать свою чисто-художественную дѣятельность въ видѣ возвращенія къ своимъ прежде задуманнымъ *Декабристамъ*, но онъ ограничился однимъ новымъ варіантомъ первыхъ двухъ главъ. Вродившія въ немъ мистико-теологическія идеи влекли его на новый путь, и вотъ онъ принимается за критику богословія, за переводъ и толкованіе Евангелія. Въ 1883 году появляется въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* письмо о народной переписи. Далѣе слѣдуетъ: *Исповѣдь*, *Въ чемъ моя вѣра*, *Такъ что-жь намъ дѣлать*, *Въ чемъ счастье*, *Изъ воспоминаній о переписи* и пр.

Всѣ эти сочиненія, привлекишія гр. Толстому массу приверженцевъ и послѣдователей, образовавшихъ что-то вродѣ релігіозной секты, въ то-же время привели въ немалое педоумѣніе и уныніе здравомыслящихъ почитателей таланта гр. Толстого, усматривавшихъ во всѣхъ этихъ мистико-теологическихъ умствованіяхъ паденіе и утрату великаго таланта земли русской. Сравнивали даже участь гр. Толстого съ участью Гоголя, хотя такая аналогія далеко не выдерживаетъ критики, такъ какъ у гр. Толстого рядомъ съ мыслями, въ которыхъ онъ отдаетъ долгъ обскурантизму и мраковѣсію нашего времени, вы встрѣчаете свѣтлыя идеи, которыя далеко опереживаютъ нашъ вѣкъ своею смѣлою и послѣдовательною демократичностью.

Не ограничиваясь однимъ трактатами, излагающими его новыя идеи и новую вѣру, гр. Толстой въ послѣдніе годы, начиная съ 1881 г., написалъ цѣлый рядъ маленькихъ повѣстей для народа, напечатанныхъ крайне дешевыми брошюрками фирмы *Посредникъ*, общества для распространенія дешевыхъ народныхъ книгъ, учреж-

деннаго друзьями и приверженцами гр. Толстого. Таковы: *Чьмъ люди живы*, *Богъ правду любитъ, да не скоро скажетъ*, *Упустишь огонь не потушишь*, *Свѣчка*, *Два старика*, *Гдѣ любовь, тамъ и Богъ*, комедія *Винокуръ* и пр. Всѣ эти рассказы, при всей своей простотѣ и прекрасномъ языкѣ, производятъ на васъ непріятное впечатлѣніе обиліемъ въ нихъ чудснаго элемента, въ чемъ обнаруживается искусственная поддѣлка подъ народныя легенды и сказки. Предвзятость и тенденціозность сквозитъ въ нихъ изъ каждой строки.

Но словно потухающая лампа, художественный талантъ гр. Толстого два раза ярко вспыхивалъ и въ послѣднее десятилѣтіе его дѣятельности, т. е. втеченіе восьмидесятихъ годовъ. Такъ къ половинѣ восьмидесятихъ годовъ относится рассказъ его *Смерть Ивана Ильича*. Въ 1887 году была напечатана драма изъ народной жизни: *Власть тѣмъ или ноготокъ увязъ—всей птички пропасть*. Въ обоихъ этихъ произведеніяхъ, при всей ихъ тенденціозности въ духѣ новаго ученія гр. Толстого, дивный талантъ его ярко прорывается и очаровываетъ насъ такъ-же, какъ онъ очаровывалъ и въ прежнихъ, лучшихъ его твореніяхъ.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

I—Дѣтство и воспитаніе Фёдора Михайловича Достоевскаго. II—Жизнь до ссылки. III—Ссылка.—Женитьба.—Возвращеніе.—Изданіе журналовъ. IV—Остальная жизнь до смерти. V—Отличіе Достоевскаго отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ по міросозерцанію и характеру творчества. VI—Сложность сюжетовъ.—Психіатрической анализъ.—Жестокость.—Преобладающіе типы. VII—Два періода его литературной дѣятельности и характеръ cadaго періода.—Проблески свѣта среди реакціоннаго мрака.

I.

Если въ каждомъ изъ разсмотрѣнныхъ нами беллетристовъ сороковыхъ годовъ мы нашли много индивидуальныхъ особенностей, то Фёдоръ Михайловичъ Достоевскій, къ характеристикѣ котораго мы приступаемъ, еще рѣзче отличается отъ всѣхъ ихъ, почти совсѣмъ выходитъ изъ рамокъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ и занимаетъ свое особенное мѣсто въ литературѣ.

Главными причинами этого отличія во-первыхъ представляется то обстоятельство, что въ то время, какъ большинство беллетристовъ сороковыхъ годовъ, будучи выходцами изъ *деревень*, принадлежать къ рыхлому помѣщичьему типу, Достоевскій является представителемъ разночиннаго, служилаго класса общества, холерически-нервнымъ сыномъ *города*; а во-вторыхъ въ то время, какъ большинство ихъ были люди обезпеченные, Достоевскій одинъ среди нихъ принадлежалъ къ вновь возникшему классу интеллигентнаго пролетаріата.

Отецъ Достоевскаго, Михаилъ Александровичъ, былъ штабъ-лекаремъ, служившимъ въ московской Маріинской больницѣ, мать, Марья Фёдоровна, была дочь московскаго купца Нечаева. Семейство у Михаила Андреевича было большое, всего дѣтей было у него семеро, причемъ Ф. М. Достоевскій былъ второй сынъ по старшинству, родившійся послѣ перваго, Михаила, 30 октября 1821 года.—Казенная квартира при больницѣ, въ которой Достоевскій родился и провелъ дѣтство, состояла всего изъ двухъ комнатъ, передней и кухни, и въ этой-то маленькой квартиркѣ ютилась вся многочисленная семья. Нравы царили въ ней строго-религіозные и патриархальные, но смягченные высшимъ образованіемъ главы семьи. Дѣтей не сѣкли, не били, и единственное наказаніе заключалось въ томъ, что отецъ вспылитъ и броситъ съ ними заниматься.

Не обошлось правда дѣтство Достоевскаго и безъ деревни. Въ 1831 году родители его приобрѣли имѣніе въ тульской губерніи, въ каширскомъ уѣздѣ, въ 150 в. отъ Москвы. Въ эту-то деревню каждою раннею весною мать переселялась съ дѣтми на все лѣто. Деревня, по словамъ самого Достоевскаго, „оставила въ немъ глубокое и сильное впечатлѣніе на всю потомъ жизнь“ и все въ ней „было полно для него самыми дорогими воспоминаніями“. Тѣмъ не менѣе все-таки впечатлѣнія городской жизни наиболѣе, какъ увидимъ ниже, опредѣлили характеръ творчества Достоевскаго и его произведеній.

Первоначальнымъ обученіемъ дѣтей занималась мать. Затѣмъ въ домъ ходили два учителя: дьяконъ изъ Елизаветинскаго института преподавалъ Законъ Божій; преподаватель того-же института Н. Ив. Сушардъ давалъ уроки французскаго языка. У Сушарда была приготовительная школа для приходящихъ. Туда были отданы два старшіе сына для приготовленія къ среднему заведенію; латинскимъ-же языкомъ занимался съ ними самъ отецъ.

Въ 1834 году Достоевскій вмѣстѣ съ старшимъ братомъ былъ отданъ въ славившійся въ то время въ Москвѣ пансіонъ Л. Ив. Чермака. Это было закрытое заведеніе, изъ котораго дѣти отпускались лишь на праздники и каникулы. Оно отличалось рационально-гуманнымъ отношеніемъ къ дѣтямъ и подборомъ преподавателей. Въ высшемъ классѣ здѣсь преподавали даже профессора университета—Д. М. Перевозчиковъ по математикѣ, И. И. Давыдовъ по словесности и др.

У родителей Достоевскаго по вечерамъ часто устраивались семейныя чтенія, на которыхъ присутствовали и дѣти. Читались—*Исторія государства російскаго Карамзина, Письма русскаго путешественника и повѣсти, биографія Ломоносова Кс. Полевого, сочиненія Державина, Жуковскаго, романы Загоскина, Лажечникова, сказки казака Луганскаго* и пр.

Съ поступленіемъ въ пансіонъ кругъ чтенія Достоевскаго расширился: братья начали доставать тамъ массу книгъ. Достоевскій болѣе всего предпочиталъ путешествія. Въ то-же время читалъ онъ Вальтеръ-Скотта, знакомился съ Пушкинымъ, зачитывался и романами Нарѣжнаго и Вельтмана.

Въ началѣ 1837 г. Достоевскій потерялъ мать. Въ томъ-же году отецъ повезъ двухъ старшихъ сыновей въ Петербургъ для помѣщенія ихъ въ Инженерное училище. Достоевскому было тогда 15 лѣтъ. Вотъ какъ въ *Дневникъ писателя* (1876 г. № 1) описываетъ онъ эту поѣздку и свое душевное состояніе въ то время.

„Былъ май мѣсяць, было жарко. Мы ѣхали на долгихъ, почти шагомъ и стояли на станціяхъ часа по-два, по-три. Поиню, какъ надоѣло намъ наконецъ это путешествіе, продолжавшееся почти недѣлю. Мы съ братомъ стремились тогда въ новую жизнь, мечтали о чемъ-то ужасно, обо всемъ „прекрасномъ и высокомъ,“—тогда это словечко было еще свѣжо и выговаривалось безъ ироніи. И сколько тогда было и ходило такихъ прекрасныхъ словечекъ! Мы вѣрили чему-то страстно, и хотя мы оба отлично знали все, что требовалось къ экзамену изъ математики, но мечтали мы только о поэзіи и о поэтахъ. Братъ писалъ стихи, каждый день стихотворенія по-три, и даже дорогой, а я непрерывно въ умѣ сочинялъ романъ изъ венеціанской жизни. Тогда всего два мѣсяца передъ тѣмъ скончался Пушкинъ, и мы дорогой стоварива-

лись съ братомъ, прїѣхавъ въ Петербургъ, тотчасъ-же сходить на мѣсто поединка и пробраться въ бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидѣть ту комнату, въ которой онъ испустилъ духъ...

По прїѣздѣ въ Петербургъ дѣтей помѣстили въ приготовительный пансіонъ К. Ф. Костомарова, и съ начала учебнаго года Достоевскій былъ зачисленъ въ Инженерное училище, но лишь одинъ: братъ его Михаилъ не былъ принятъ по болѣзненности.

Поступленіе въ спеціальное училище, въ которомъ преобладали прикладныя науки, на общее-же образованіе и развитіе мало обращалось вниманія, оказало огромное вліяніе на всю жизнь Достоевскаго и на весь складъ его міросозерцанія. Безъ сомнѣнія этому обстоятельству болѣе всего былъ онъ обязанъ тѣмъ консерватизмомъ, съ которымъ упорно, впродолженіи всей жизни сохранялъ свои дѣтскія вѣрованія.

При литературныхъ наклонностяхъ, обнаружившихся уже въ Достоевскомъ, понятно, что не могъ онъ особенно усердно заниматься сухими предметами училища. Отбывая кое-какъ экзамены и въ 1838 г. засѣвши на второй годъ въ одномъ изъ курсовъ, Достоевскій, вѣчно замкнутый въ себя, задумчивый и угрюмый, мало сближавшійся съ товарищами, дни и ночи просиживалъ за книгами и первыми своими литературными опытами. Зато втеченіе курса онъ успѣлъ познакомиться сверхъ русскихъ классиковъ съ Гете, Шиллеромъ, Гофманомъ, В. Гюго, Ж. Зандъ, Бальзакомъ и пр. Подъ вліяніемъ Пушкина онъ принялся писать драму *Борисъ Годуновъ*. Въ то-же время сильное впечатлѣніе, произведенное на него нѣмецкою трагическою актрисой Лилла Лѣве въ драмѣ *Марія Стюартъ*, побудило Достоевскаго обработать эту трагическую тему по своему, для чего онъ тщательно принялся за приготовительное чтеніе и до 1842 г. ревностно занимался драмою, сдѣлавъ нѣсколько набросковъ ея.

Между тѣмъ отецъ Достоевскаго скончался въ 1839 г. Опекуномъ дѣтей сдѣлался мужъ сестры Достоевскаго, Карелинъ. Въ 1843 году Достоевскій кончилъ полный курсъ, выпущенъ на дѣйствительную службу и зачисленъ при с.-петербургской инженерной командѣ съ употребленіемъ при чертежной инженернаго департамента.

II.

По выходѣ изъ училища началась холостая, цыганская и полная лишений жизнь Достоевскаго. Нельзя сказать, чтобы онъ не былъ обезпеченъ. вмѣстѣ съ казеннымъ жалованьемъ и высылками денегъ опекуномъ изъ Москвы, Достоевскій могъ располагать 5000 р. асс. въ годъ. Но онъ былъ крайне непрактиченъ, деньги уходили у него сквозь пальцы съ неизвѣрною быстротою и онъ вѣчно сидѣлъ безъ гроша денегъ и кругомъ опутанный долгами. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ чертой его характера, проходящею сквозь всю его жизнь: вѣчно до гробовой доски онъ жаловался на безденежье, хлопоталъ о займахъ, авансахъ и никакъ не могъ свести концы съ концами. Вообще это былъ человѣкъ увлекающійся, съ сильными страстями, не любившій ни въ чемъ себѣ отказывать; въ молодости-же сверхъ того имѣлъ пристрастіе къ игрѣ, особенно на билліардѣ.

Матеріальное положеніе Достоевскаго сдѣлалось еще конечно хуже, когда въ 1844 году онъ вышелъ въ отставку, такъ какъ инженерная служба претила ему и

совершенно расходилась съ его литературными наклонностями. Приходилось замѣнить ее переводами Ж. Зандъ для издателей, съ платою по 25 р. асс. за листъ. По выходѣ въ отставку Достоевскій засѣлъ за свой первый романъ *Бѣдные люди*. — Въ маѣ 1845 года романъ былъ окончательно написанъ и Достоевскій черезъ своего школьнаго товарища Григоровича передалъ его Некрасову, который собирался въ то время издавать сборникъ. Въ *Дневникъ писателя* (1877 г. № 1) Достоевскій подробно вспоминаетъ о томъ восторгѣ, съ которымъ Некрасовъ и Григоровичъ, прочитавши романъ его, прибѣжали къ нему ночью, и какъ потомъ Некрасовъ передалъ романъ Вѣлинскому съ восклицаніемъ: „Новый Гоголь явился!“, на что Вѣлинскій строго замѣтилъ: „У васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ“, но когда прочиталъ самъ романъ, то въ волненіи воскликнулъ: „Приведите, приведите его скорѣе!..“

Романъ еще не выходилъ въ свѣтъ (онъ вышелъ въ началѣ 1846 года, будучи напечатанъ въ *Петербургскомъ сборникѣ* Некрасова), какъ Достоевскій успѣлъ уже приобрести лестную извѣстность въ литературныхъ кружкахъ. „Ну, братъ, пишетъ Достоевскій къ брату своему Михаилу 16 іюля 1845 г., — никогда, я думаю, слава моя не дойдетъ до такого апогея, какъ теперь. Всюду почтеніе неизмовѣрное, любопытство насчетъ меня страшное. Я познакомился съ бездною народа самаго порядочнаго. Князь Одоевскій проситъ меня осчастливить его своимъ посѣщеніемъ, а графъ Соллогубъ рветъ на себѣ волосы отъ отчаянія. Панаевъ объявилъ ему, что есть талантъ, который ихъ всѣхъ въ грязь втопчетъ. Соллогубъ обѣжалъ всѣхъ и, зашедши къ Краевскому, вдругъ спросилъ его: „Кто этотъ Достоевскій? *Гдѣ мнѣ достать Достоевскаго?* Краевскій, который никому въ усь не дуется и рѣжетъ всѣхъ на пропалую, отвѣчаетъ ему, что Достоевскій не захочетъ вамъ сдѣлать чести и осчастливить васъ своимъ посѣщеніемъ. Оно и дѣйствительно такъ: аристократичка теперь становится на ходули и думаетъ, что уничтожить меня величіемъ своей ласки. Всѣ меня принимаютъ, какъ чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всѣхъ углахъ не повторяли, что Достоевскій то-то сказалъ, Достоевскій то-то хочетъ дѣлать. Вѣлинскій любитъ меня какъ нельзя болѣе. На-дняхъ воротился изъ Парижа поэтъ Тургеневъ (ты вѣрно слыхалъ) и съ перваго раза привязался ко мнѣ такою привязанностью, такою дружбой, что Вѣлинскій объясняетъ ее тѣмъ, что Тургеневъ влюбился въ меня...“

Изъ хвастливаго тона этого письма можно судить, какъ вскружилась голова у молодого писателя отъ столь быстраго успѣха. Какъ человѣкъ крайне увлекающійся, Достоевскій не могъ скрыть и сдержать въ должныхъ границахъ разыгравшагося самолюбія, впасть въ заносчивость, вслѣдствіе чего отношенія его къ Вѣлинскому, Некрасову и всему кружку *Современника* сдѣлались натянутыми и окончательно испортились. И дѣйствительно мы видимъ, что послѣ *Бѣдныхъ людей* лишь *Романъ въ десяти письмахъ* былъ напечатанъ въ № 1 *Современника* за 1847 г. *Ползунокъ* въ *Иллюстрированномъ альманахѣ*, изд. Некрасовымъ и Панаевымъ въ 1848 г. Остальныя-же произведенія перваго періода дѣятельности Достоевскаго (до ссылки) всѣ появились на страницахъ *Отеч. Записокъ*: *Двойникъ* въ 44 т. 1846 г., *Господинъ Прохарчинъ* въ 48 т. 1846 г., *Хозяйка* въ т. т. 54 и 55—1847 г., *Слабое сердце* въ 56 т. 1848 г., *Чужая жена* въ 56 т. 1848 г., *Рев-*

ивый мужъ въ 61 т. 1848 г., *Елка и свадьба* въ 60 т. 1848 г., *Бѣлая ночь* въ 61 т. 1848 г., *Петочка Незванова* въ 62, 64 т. 1849 г. и наконецъ *Маленькій герой*, написанный въ 1849 г., былъ помѣщенъ въ тѣхъ-же *Отеч. Записк.* послѣ уже ссылки въ августѣ 1857 года.

Охлажденію къ кружку *Современника* не мало конечно способствовало и различіе въ убѣжденіяхъ, которое тогда уже начало обнаруживаться между Достоевскимъ и кружкомъ. Увлечшись вслѣдствіе своихъ бесѣдъ и споровъ съ Вѣлинскимъ политическими и социальными идеями, господствовавшими въ кружкѣ, Достоевскій въ то-же время упорно отстаивалъ свои религіозные взгляды, и вслѣдствіе этого члены кружка начали смотрѣть на него, какъ на человѣка отсталого. Этимъ разладомъ въ убѣжденіяхъ объясняется, что въ обзорѣнн русской литературы за 1847 годъ съ безпощадною рѣзкостью напавши на новую повѣсть Достоевскаго *Хозяйка*, найдя, что въ этой повѣсти Достоевскій пытается помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, Вѣлинскій, между прочимъ, весьма многозначительно смѣется надъ занятіемъ героя повѣсти, Ордынова, наукою. „Изъ словъ и дѣйствій Ордынова, говоритъ онъ, не видно, чтобы онъ занимался какою-нибудь наукою, но можно догадываться изъ нихъ, что онъ сильно занимался кабалистикой, чернокнижіемъ, — словомъ, чаромутіемъ. Но вѣдь это не наука, а сущій вздоръ; но тѣмъ не меньше она положила на Ордынова свою печать, т. е. сдѣлала его похожимъ на поврежденнаго и помѣшаннаго“.

Разойдѣсь съ кружкомъ *Современника*, Достоевскій сблизился съ Бекетовымъ и С. Д. Яновскимъ, и продолжая увлекаться социализмомъ, поселился вмѣстѣ съ друзьями на общую квартиру на началахъ ассоціаціи. „Наконецъ, пишетъ онъ брату, я предложилъ жить вмѣстѣ. Нанялась квартира большая и всѣ издержки по всѣмъ частямъ хозяйства, все не превышаетъ 1,200 р. ассигнаціями съ человѣка въ годъ... Такъ велики благодѣянія ассоціаціи“.

Вскорѣ онъ вошелъ въ дуровскій кружокъ фурьеристовъ, самый умѣренный изъ всѣхъ кружковъ петрашевцевъ. По утверженію Милюкова въ кружкѣ этомъ „не было никакихъ чисто революціонныхъ замысловъ“. Дуровцы возставали на строгость тогдашней цензуры, крѣпостное право, административныя злоупотребленія, но мало помышляли о переѣнѣ формы правленія, слѣдуя въ этомъ отношеніи ученію Фурье и его послѣдователей, не придававшихъ никакого значенія политическимъ переворотамъ.

Впрочемъ, когда однажды зашелъ споръ о средствахъ освобожденія крестьянъ и на замѣчаніе Достоевскаго, что „народъ нашъ не пойдетъ по стопамъ европейскихъ революціонеровъ“, кто-то возразилъ, „ну, а если-бы освободить крестьянъ оказалось невозможнымъ иначе, какъ черезъ возстаніе, то Достоевскій воскликнулъ: „такъ хотя-бы черезъ возстаніе!..“

Но это запальчивое восклицаніе было ничѣмъ болѣе, какъ лишь минутною экзальтаціей; въ обществѣ-же Достоевскій былъ весьма далекъ отъ какихъ-бы то ни было революціонныхъ замысловъ, восторженно декламировалъ стихи Пушкина о паденіи рабства „по мановенію царя“ и настаивалъ на томъ, что всѣ социалистическія теоріи не имѣютъ для насъ никакого значенія, что въ общинѣ, въ артели и круговой порукѣ давно уже существуютъ основы болѣе прочныя и нормальныя, чѣмъ всѣ мечтанія

Сень-Симона и его школы, и что жизнь въ Икарійской коммунѣ или фаланстерѣ представляется ему ужаснѣе и противнѣе всякой каторги.

Тѣмъ не менѣе 23-го апрѣля 1849 года Достоевскій былъ арестованъ вмѣстѣ со всѣми прочими петрашевцами, заключенъ въ крѣпость и подвергся военно-полевому суду по обвиненію въ томъ, что онъ „принималъ участіе въ разговорахъ о строгости цензуры и на одномъ собраніи въ мартѣ 1849 г. прочелъ полученное изъ Москвы отъ Плещеева письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, потомъ читалъ его на собраніяхъ у Дурова и отдалъ для списанія копию Момбелли. На собраніяхъ у Дурова слушалъ чтеніе статей, зналъ о предположеніи завести типографію и у Спѣшневъ слушалъ чтеніе „Солдатской бесѣды“.

Военно-полевой судъ, какъ извѣстно, приговорилъ всѣхъ петрашевцевъ, въ томъ числѣ и Достоевскаго, къ казни чрезъ разстрѣляніе, и этотъ ужасный приговоръ былъ прочтенъ осужденнымъ 22-го декабря 1849 г., заставивши ихъ двадцать минутъ прожить подъ несомнѣннымъ убѣжденіемъ, что чрезъ нѣсколько минутъ ихъ не станетъ. Но по Высочайшему повелѣнію смертная казнь была отмѣнена, и участь осужденныхъ была смягчена въ различныхъ степеняхъ. Такъ относительно Достоевскаго окончательная резолюція заключалась въ ссылкѣ на каторгу на четыре года, а потомъ въ рядовые.

Въ рождественскій сочельникъ Достоевскій былъ отправленъ въ Сибирь. *Маленькій герой* было послѣднимъ произведеніемъ этого періода жизни Достоевскаго, написаннымъ уже въ крѣпости, и затѣмъ литературная дѣятельность его прервалась на многіе годы.

III.

Снабженный Евангеліемъ, подареннымъ ему женами декабристовъ, которыя въ Тобольскѣ посѣтили въ острогѣ петрашевцевъ и напутствовали ихъ своимъ благословеніемъ на предстоящую имъ каторгу, Достоевскій былъ водворенъ въ острогъ, гдѣ онъ и отбылъ всѣ четыре года своего наказанія. Въ *Запискахъ изъ мертвцаго дома* Достоевскій подробно описываетъ свою жизнь въ омскомъ острогѣ и всѣ ея впечатлѣнія. Мы считаемъ излишнимъ передавать ихъ. Замѣтимъ только, что на міросозерцаніе и мышленіе Достоевскаго каторга произвела крайне подавляющее и неблагоприятное впечатлѣніе. Правда при постоянныхъ изо дня въ день сношеніяхъ со своими сотоварищами по каторгѣ, онъ имѣлъ возможность близко сойтись съ народомъ, изучить его, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вполне проникся и духомъ того мистицизма, который свойственъ темнымъ и безграмотнымъ людямъ. Его собственное міросозерцаніе, какъ мы говорили выше, стояло на степени дѣтскихъ вѣрованій. Каторга еще болѣе укрѣпила ихъ, пручаявъ его видѣть въ нихъ основу народнаго духа и русской жизни. Прибавьте ко всему этому полное отчужденіе отъ литературы; ни одной книжки не проникало въ острогъ. Виродолженіе трехъ лѣтъ онъ ничего неимѣлъ въ рукахъ, кромѣ одной библіи, и по его словамъ, „читая по необходимости одну библію, онъ яснѣе и глубже могъ познать смыслъ христіанства“.

Лишь въ послѣдній годъ, при новомъ плацъ-маіорѣ, положеніе Достоевскаго зна-

чительно улучшилось. „Въ городѣ, говоритъ онъ, между служащими военными у меня оказались знакомые и даже давнишніе школьные товарищи. Я возобновилъ съ ними сношенія. Черезъ нихъ я могъ имѣть больше денегъ, могъ писать на родину и даже имѣть книги. Трудно отдать отчетъ о томъ странномъ и вмѣстѣ волнующемъ впечатлѣніи, которое произвела во мнѣ первая прочитанная мною въ острогѣ книга. Это былъ номеръ одного журнала. Точно вѣсть съ того свѣта прилетѣла ко мнѣ... особенно бросался я на статью, подъ которой находилъ имя знакомаго, близкаго прежде человѣка... Но уже звучали и новыя имена... Я съ жадностью снѣдывалъ съ ними познакомиться и досадовалъ, что у меня такъ мало книгъ въ виду... Прежде-же, при прежнемъ плачь-маюрѣ, даже опасно было носить книги въ каторгу“...

Вмѣстѣ съ тѣмъ и здоровье Достоевскаго значительно пошатнулось во время каторги. Онъ съ дѣтства страдалъ нервными, и передъ арестомъ нервы его были настолько уже расшатаны, что въ 1846 году онъ былъ близокъ къ душевной болѣзни, и лишь попеченіямъ друзей своихъ, Бекетова и Яновскаго, онъ приписываетъ излеченіе отъ нея. Уже тогда по ночамъ находилъ на него тотъ *мистическій ужасъ*, который онъ подробно описалъ въ романѣ *Униженные и оскорбленные*, появлялись изрѣдка и припадки эпилексій. Въ Сибири болѣзнь его окончательно развилась и дошла до такой степени, что не было уже возможности и ему самому не убѣдиться въ ея настоящемъ характерѣ.

По окончаніи срока каторги, 2-го марта 1854 года, Достоевскій былъ зачисленъ рядовымъ въ сибирскій линейный № 7 батальонъ; 1-го-же октября 1855 г. былъ произведенъ въ прапорщики съ оставленіемъ при томъ-же батальонѣ. Положеніе его значительно улучшилось съ прекращеніемъ каторги. Онъ былъ на свободѣ, безъ цѣней, получилъ возможность имѣть уединеніе, отсутствіе котораго болѣе всего терзало его въ острогѣ; сталъ вести переписку съ родными и друзьями, принялся и за перо. Такъ будучи въ Сибири, онъ написалъ *Дядюшкин сонъ* и *Село Степанчиково* и тогда уже задумалъ *Записки изъ мертваго дома*. Въ то-же время ему пришлось пережить собственный романъ, очень измучившій его и нравственно, и физически, но кончившійся бракосочетаніемъ въ Кузнецкѣ 6-го марта 1856 г. съ вдовою Маріей Дмитриевной Исаевой.

Наконецъ послѣ большихъ и долговременныхъ хлопотъ и ходатайствъ Достоевскій получилъ разрѣшеніе выѣхать изъ Сибири въ Европейскую Россію и поселиться въ Твери. Билетъ на проѣздъ выданъ былъ ему 30-го іюля 1859 г., и передъ осенью онъ былъ уже въ Твери; зимою-же того-же года было ему разрѣшено жить въ столицахъ.

Получивши полную свободу, Достоевскій, увлекаемый общественнымъ движеніемъ, дошедшимъ въ то время до своего апогея, не могъ ограничиться одною беллетристикой, и въ слѣдующемъ-же году вмѣстѣ съ братомъ Михаиломъ замыслилъ журналъ *Время*, который и началъ выходить съ начала 1861 года.

Какъ направленіе *Времени*, такъ и составъ сотрудниковъ (Ал. Григорьевъ, Страховъ и пр.) свидѣтельствуютъ достаточно о томъ строгъ міросозерцанія, который въ это время сложился у Достоевскаго и затѣмъ послѣдовательно развивался въ продолженіе всей остальной жизни. Это было то полу-славянофильское, полу-западническое ученіе, адепты котораго носили названіе почвенниковъ, и которое, какъ мы ви-

дѣли уже въ III главѣ, впервые выразалось въ Москвитянинѣ, имѣя своимъ родоначальникомъ и первымъ представителемъ Ап. Григорьева. Теперь въ главѣ этой партіи всталъ Достоевскій, и ему-то именно и принадлежитъ кличка ея, такъ какъ выраженія мы *оторвемся отъ своей почвы*, намъ слѣдуетъ *искать своей почвы*, были любимыми оборотами Достоевскаго и встрѣчаются уже въ первой статьѣ его во *Времени*.

Насколько горячее и дѣятельное участіе принялъ Достоевскій въ повомъ журналѣ, видно изъ того, что съ первой-же книжки сталъ печататься романъ его *Униженные и оскорбленные*, и одновременно съ нимъ втеченіе 1861 и 62 гг. были напечатаны во *Времени* *Записки изъ мертвого дома*. Сверхъ того, Достоевскій взялъ на себя критическій отдѣлъ, который открылъ статью: *Рядъ статей о русской литературѣ, введеніе*. Кромѣ того, онъ принималъ участіе въ другихъ трудахъ по журналу, въ составленіи книжекъ, въ выборѣ и заказѣ статей, а въ первомъ номерѣ взялъ на себя и фельетонъ, который порученъ былъ Минаеву, но не понравился Достоевскому, и онъ наскоро написалъ свою статью подъ заглавіемъ *Сновидѣнія въ стихахъ и прозѣ*, вставивъ въ нее всѣ стихотворенія, которыми былъ пересыпанъ фельетонъ Минаева. Такого труда не выдержалъ расшатанный организмъ Достоевскаго, и на третій мѣсяцъ онъ заболѣлъ.

Зато журналъ имѣлъ значительный по тому времени успѣхъ. Въ первомъ-же 1861 г. у него было 2.300 подписчиковъ; на второй-же годъ болѣе 4.000. Этотъ успѣхъ доставилъ Достоевскому возможность въ 1862 г. сдѣлать первую свою поѣздку за-границу, результатомъ которой были *Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ*, напечатанныя въ № № 2 и 3 *Времени* за 1863 годъ.

Но дни *Времени* были сочтены. Журналъ, какъ извѣстно, сгубила статья Страхова *Роковой вопросъ* въ № 4 *Времени*, написанная по поводу польскаго возстанія такъ неловко, безвѣстно и темно, что администрація поняла ее совсѣмъ въ обратномъ смыслѣ, и журналъ былъ воспрещенъ тотчасъ-же по выходѣ № 4.

Этотъ погромъ не помѣшалъ Достоевскому лѣтомъ въ 1863 г. совершить вторичную поѣздку за-границу, далеко не столь удачную, какъ первая. Будучи отъ природы игрокомъ, онъ не могъ не соблазниться рулеткою въ одномъ изъ германскихъ городковъ; но въ то время какъ въ первую поѣздку онъ выигралъ 11,000 франковъ, во вторую напротивъ того проигрался до тла и остался безъ гроша, такъ что друзья принуждены были занимать для него деньги въ счетъ будущей его работы въ редакціи *Библиотеки для чтенія*. Результатомъ этого эпизода былъ написанъ имъ впоследствии, какъ увидимъ ниже, романъ *Идиотъ*.

Слѣдующій годъ былъ для Достоевскаго еще болѣе несчастнымъ: во первыхъ онъ потерялъ въ этомъ году двухъ самыхъ близкихъ ему людей: жену и брата Михаила, а во вторыхъ ему пришлось пережить прискорбную неудачу съ новымъ журналомъ, предпринятымъ вмѣсто *Времени*, *Эпохой*.

Журналу этому не повезло съ самаго начала. Разрѣшеніе его вышло такъ поздно, что объявленіе объ его изданіи могло появиться лишь 31-го января 1864 года. Достоевскій въ это время былъ въ Москвѣ у постели умиравшей жены и самъ больной, такъ что не успѣлъ ничего написать; всѣ сотрудники были въ разбродѣ. Братъ Достоевскаго Михаилъ дѣйствовалъ вяло, измученный предшествовавшими волненіями и уже

посившій въ себѣ ту болѣзнь, которая скоро должна была свести его въ могилу. И вотъ лишь къ началу апрѣля, когда подписка на періодическіе журналы давно кончилась, явилась на свѣтъ *Эпоха*, въ видѣ двойной книжки за разъ, январьской и февральской.

Такъ потянулась *Эпоха* и дальше: вяло, неопратно, запаздывая книжками. Сверхъ того, смерть Михаила Достоевскаго, 10-го іюня, принудила редакцію на два мѣсяца задержать изданіе до утвержденія цензурнымъ вѣдомствомъ новаго редактора въ лицѣ Ап. Ус. Порѣцкаго.

По смерти жены и брата, Достоевскій дѣятельно принялся за изданіе журнала, стараясь всячески вогнать книжки въ срокъ. Въ послѣдніе мѣсяцы 1864 года редакція выпускала по двѣ книжки въ мѣсяцъ, такъ что январь 1865 г. вышелъ уже 13 февраля, а февраль въ мартѣ. Несмотря на это, въ первый годъ журналъ успѣлъ уже такъ плохо рекомендовать себя, что на 1865 г. едва набралось 1,300 подписчиковъ, число, съ которымъ журналъ, обремененный сдѣланными затратами, выдержать не могъ. Послѣ февральской книжки въ редакціи не оказалось ни копѣйки денегъ, никакой возможности платить сотрудникамъ, за бумагу, въ типографію. Все разсыпалось и разлетѣлось; семейство Михаила Достоевскаго осталось безъ всякихъ средствъ, а Достоевскій остался съ огромнымъ долгомъ въ 15 тысячъ.

Этимъ фіаско съ *Эпохой* заканчивается цѣлая полоса въ жизни Достоевскаго, періодъ журнальной дѣятельности, и начинается новая полоса созданія большихъ романовъ.

IV.

Лѣтомъ 1865 въ концѣ іюня Достоевскій уѣхалъ за-границу, а осенью возвратился въ Петербургъ и оставался здѣсь весь 1866 годъ. Это было самое тяжелое время въ его жизни. Большой, одинокій, притѣсняемый кредиторами, обремененный заботами о семьѣ покойнаго брата, онъ долженъ былъ напрягать всѣ силы, чтобы вывернуться изъ тяжелаго финансоваго положенія, и очень можетъ быть, что плодомъ такихъ усилій и были романы такихъ большихъ размѣровъ, какихъ до того времени Достоевскій еще не создавалъ. Такъ втеченіе 1868 года онъ написалъ лучшей своей романъ *Преступленіе и наказаніе*, который началъ печататься въ *Русскомъ Вѣстникѣ* съ января 1866 г.

Въ томъ-же году, все съ тою-же цѣлью выпутаться изъ долговъ, Достоевскій за-продалъ Стелловскому право напечатать полное собраніе своихъ сочиненій за 3,000 рублей съ написаніемъ особаго ненапечатаннаго еще нигдѣ романа. Срокъ доставки этого романа былъ обозначенъ въ контрактѣ. Вотъ тогда Достоевскій и началъ писать задуманный еще въ 1863 году романъ *Идиотъ*. Но видя, что не поспѣетъ, если будетъ писать обыкновеннымъ порядкомъ, онъ пригласилъ къ себѣ стенографку. Къ нему явилась незнакомая дѣвушка, рекомендованная книгопродавцемъ П. М. Ольхинымъ, Анна Григорьевна Сниткина, которой суждено было стать его женою. Свадьба Достоевскаго съ нею состоялась 15-го февраля 1867 г. Отъ этого брака было четверо дѣтей, изъ которыхъ въ живыхъ послѣ Достоевскаго осталось лишь двое: дочь Любовь и сынъ Федоръ.

Вскорѣ послѣ свадьбы Достоевскій съ женой поѣхалъ за-границу, гдѣ они оставались до 1871 года, переѣзжая изъ страны въ страну, изъ города въ городъ, болѣе-же всего проживя въ Дрезденѣ. Въ эти четыре года были написаны Достоевскимъ романы: *Идиотъ*, напечатанный въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1868 г., *Вѣчный мужъ* въ *Зарѣ* 1870 г. и *Бѣсы*—въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1871—2 гг.

Не видя выхода изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, и въ то-же время чувствуя, что имъ стало совершенно невыносимо болѣе оставаться за-границею, Достоевскіе рѣшились наконецъ вернуться въ Петербургъ 8-го іюня 1871 г.

Последнее десятилѣтіе своей жизни Достоевскій провелъ въ Петербургѣ, отлучаясь изъ него лишь на лѣтніе мѣсяцы, которые онъ проводилъ съ семьей по большей части въ Старой Руссѣ; въ 1874—1875 же годахъ они прожили тамъ и зиму. Это была та зима, въ которую Достоевскій писалъ *Подростка*, романъ, напечатанный въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1875 г. Когда дѣла поправились, Достоевскій нашель удобнымъ даже купить себѣ въ Старой Руссѣ домъ, куда регулярно семья и переѣзжала въѣсто дачи. Самъ-же Достоевскій уѣзжалъ иногда на іюль и августъ въ Эмсъ для леченія.

Такимъ образомъ мы видимъ, что жизнь Достоевскаго принимала подъ конецъ полную правильность и опредѣленность, изъ скитальческой превратилась въ совершенно осѣдлую. Вообще характеръ этого періода—болѣе порядка и опредѣленности во всѣхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ, отсутствие всякихъ передригъ и переворотовъ, и все болѣе и болѣе улучшавшееся денежное положеніе. 1873-й годъ ознаменовался редактированіемъ *Гражданина*, по предложенію кн. Мещерскаго. Достоевскій получалъ за это 250 р. въ мѣс., сверхъ платы за статьи. Въ 1876 году Достоевскій началъ издавать *Дневникъ писателя*—нѣчто вродѣ ежемѣсячной газетки, наполненной сплошь его собственными статьями преимущественно политическаго содержанія, въ виду возникшей въ то время сербско-турецкой войны; но среди нихъ проскальзывали порою и беллетристическія вещи (*Кроткая*), а также статейки публицистическія и автобіографическія. *Дневникъ Писателя* имѣлъ большой успѣхъ. За 1876 годъ у него было 1,982 подписчика, и кромѣ того въ розничной продажѣ каждый номеръ расходился въ 2,000 до 2,500 экз. Нѣкоторые нумера потребовали 2-го и 3-го изданія. Въ 1877 году было около 3,000 подписчиковъ и столько-же расходилось въ розничной продажѣ. Одинъ номеръ, выпущенный въ 1880 г. въ августѣ и содержавшій въ себѣ рѣчь о Пушкинѣ, напечатанъ въ 4,000 экз. и разошелся въ нѣсколько дней. Было сдѣлано новое изданіе въ 2,000 экземпляровъ и разошлось безъ остатка. *Дневникъ* на 1881 г. печатался въ 8,000 экз. и имѣлъ въ январѣ, прежде выхода перваго нумера, 1,074 подписчика. Всѣ 8,000 были распроданы въ дни выноса и погребенія. Сдѣлано было второе изданіе въ 6,000 экз. и разошлось безъ остатка.

Последній годъ жизни Достоевскаго ознаменовался тѣми шумными и полными энтузіазма оваціями, которыми почтила его публика во время открытія пушкинскаго памятника, послѣ произнесенія имъ рѣчи на публичномъ засѣданіи общества любителей російской словесности, 8-го іюня 1880 г. Рѣчь эта снискала ему такую популярность, какою онъ не пользовался въ продолженіе всей своей жизни. Онъ былъ осажденъ письмами и визитами; со всѣхъ концовъ Петербурга и краевъ Россіи къ

нему безпрерывно приходили съ выраженіями поклоненія, съ просьбами о помощи, съ вопросами, съ жалобами на другихъ и съ возраженіями противъ него.

Во вторую половину 1880 г. онъ кончилъ *Братьевъ Карамазовыхъ* и составилъ *Дневникъ писателя*, единственный выпускъ за 1880 г., августъ. Въ этомъ выпускѣ онъ помѣстилъ рѣчь свою о Пушкинѣ, обставивъ ее поясненіями и отвѣтами на поднявшіяся противъ нея возраженія. Въ концѣ года было объявлено, что *Дневникъ* будетъ выходить на слѣдующій 1881 годъ. Январскій номеръ уже печатался и былъ почти уже готовъ въ выходу, но дни Достоевскаго уже были сочтены. Последнія девять лѣтъ своей жизни онъ страдалъ эмфиземой вслѣдствіе катарра дыхательныхъ путей. Смертельный исходъ этой болѣзни произошелъ отъ разрыва легочной артеріи, вслѣдствіе чего, начиная съ 25-го января, у Достоевскаго нѣсколько разъ повторилось кровотеченіе изъ горла, и 28-го января 1881 года въ 8^{1/2} часовъ вечера его не стало.

Похороны его, 1-го февраля, отличались большою торжественностью; за гробомъ при несмѣтномъ количествѣ народа шествовали 42 депутаціи съ вѣнками. Погребенъ былъ онъ 2-го февраля на кладбищѣ Александро-невской лавры.

V.

Мы уже говорили выше, что Достоевскій рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ какъ своимъ міросозерцаніемъ, такъ и характеромъ своего творчества. Что касается до міросозерцанія, то воспитанный подобно всѣмъ прочимъ писателямъ его школы на почвѣ соціальнаго движенія сороковыхъ годовъ, въ кружкахъ петрашевцевъ, впоследствии подъ влияніемъ ссылки и затѣмъ новыхъ литературныхъ связей онъ мало-по-малу втянулся въ кружокъ почвенниковъ, сталъ во главѣ ихъ и подъ конецъ жизни обратился въ истаго славянофила и мистика. Въ этомъ превращеніи, равно въ мистическихъ теоріяхъ, которыя Достоевскій проповѣдывалъ въ своемъ *Дневникѣ* и затѣмъ въ романахъ, начиная съ *Преступленія и наказанія*, находятъ нѣчто общее съ превращеніемъ и ученіями гр. Л. Толстого. На первый взглядъ какъ будто это и такъ. Оба писателя, вслѣдствіе глубокаго разочарованія въ европейскомъ прогрессѣ и признанія въ интеллигентномъ русскомъ обществѣ нравственной и умственной несостоятельности, пришли къ отчаянію, изъ котораго единственнымъ выходомъ для нихъ явилось проникновеніе живою вѣрою народныхъ массъ, и оба въ этой вѣрѣ увидѣли единственную возможность слиться съ народомъ. Оба писателя, проникаясь все болѣе и болѣе духомъ христіанскаго ученія, пришли къ отрицанію всякаго активнаго вмѣшательства въ общественную жизнь съ цѣлью матеріальнаго и нравственнаго улучшенія общаго благосостоянія, причемъ у гр. Толстого эта пассивность выразилась въ теоріи непротивленія злу насиліемъ, а у Достоевскаго—въ теоріи нравственнаго возвышенія и очищенія путемъ страданій, что въ сущности одно и тоже: въ чемъ-же и выражается непротивленіе злу, какъ не въ безропотномъ перенесеніи всѣхъ причиняемыхъ имъ страданій?

Тѣмъ не менѣе между гр. Л. Толстымъ и Достоевскимъ существуетъ глубокое различіе. Въ гр. Л. Толстомъ мы видимъ полное отсутствіе какого-бы то ни было

консерватизма и преданности традиціямъ. Онъ относится ко всѣмъ ученіямъ съ безусловною свободою мысли и, подвергая ихъ смѣлой критикѣ, выбираетъ изъ нихъ лишь то, что ему по душѣ и соответствуетъ внушеніямъ его разума. Онъ истый индивидуалистъ до мозга костей. Ему дѣла нѣтъ до общества, до отечества и его судьбы. Если-бы онъ усмотрѣлъ, что для самосовершенствованія личности необходимо полное распаденіе государства, онъ не постоялъ-бы и за этимъ; да отчасти онъ и предполагаетъ нѣчто подобное, ратуя противъ такихъ функцій, какъ суды, войско, безъ которыхъ немислимо существованіе государствъ. Подъ народными массами онъ подразумеваетъ не одинъ русскій народъ, а производительныхъ труженниковъ на всемъ земномъ шарѣ безъ различія національности, а подъ вѣрою, которую онъ ищетъ въ средѣ этихъ труженниковъ, онъ разумѣетъ не какія либо религіозныя вѣрованія, а вѣру въ разумность и цѣлесообразность жизни и всего сущаго, ставя эту вѣру въ зависимость отъ живого и здороваго труда.

Достоевскій-же является напротивъ того общественникомъ. Свобода и самосовершенствованіе личности мало его заботятъ. Личность по его ученію должна лишь смириться и безропотно принести себя въ жертву отечеству, ради исполненія той миссіи, какую предопредѣлено совершить Россіи, какъ народу богоизбранному. Миссія эта заключается въ осуществленіи на землѣ истиннаго христіанства въ православіи, которому остается вѣренъ и преданъ русскій народъ, и слиться съ народомъ можно только однимъ путемъ: подобно ему съ тою-же безпредѣльною преданностью и вѣрою исповѣдовать православіе, въ которомъ все спасеніе, какъ для всего міра въ его цѣломъ, такъ и для каждой личности.

Что-же касается до характера творчества Достоевскаго, то, какъ мы выше уже замѣтили, онъ вполне опредѣляется тѣми двумя обстоятельствами, что Достоевскій былъ сынъ города и интеллигентный пролетарій, и въ этомъ заключается все различіе его отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Различіе это сказывается въ самыхъ вышнихъ формахъ его произведеній. Мы не видимъ въ нихъ той изящной стройности, классической законченности, отдѣланности и отчеканенности, какія васъ поражаютъ въ произведеніяхъ Тургенева, Гончарова и гр. Л. Толстого. Напротивъ того, онѣ поражаютъ васъ своею неуклюжестью, растянутостью, отсутствіемъ маломальски строгой отдѣлки, требующей безграничнаго досуга. Видно что они писались съ поспѣшностью, къ сроку, человѣкомъ, который вѣчно нуждался, путаясь въ долгахъ и не въ силахъ будучи сводить концы съ концами. До отдѣлки ли было ему, когда подъ часъ онъ не имѣлъ времени хотя-бы перечитать написанное. Мы видѣли, что поспѣшность работы заставляла его иногда прибѣгать къ стенографіямъ и диктовать свои произведенія. Этимъ объясняется и превосходство Достоевскаго передъ прочими беллетристами одной съ нимъ школы относительно количества написаннаго. Дѣйствительно, никто изъ нихъ (кромѣ развѣ одного Писемскаго) не написалъ такъ много.

Въ то-же время поражаетъ васъ въ произведеніяхъ Достоевскаго полное отсутствіе тѣхъ художественныхъ элементовъ, какими такъ богаты прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ: не найдете вы въ нихъ ни очаровательныхъ описаній природы, ни захватывающихъ духъ сценъ любви, свиданій, поцѣлуевъ, ни кружащихъ го-

лову читателей обворожительныхъ женскихъ типовъ, чѣмъ такъ богатъ и славенъ Тургеневъ, а за нимъ Гончаровъ и гр. Толстой. Достоевскій принципиально отрицалъ всё подобныя художественныя картины, потѣшаясь въ *Бьсажъ* надъ Тургеневымъ въ лицѣ писателя Кармазинова съ его страстью изображать поцѣлуи не такъ, какъ они происходятъ у всего человѣчества, а чтобы кругомъ росъ дрокъ или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться въ ботаникѣ, при этомъ на небѣ непременно долженъ быть какой-то фіолетовый оттѣнокъ, котораго конечно никто никогда не примѣчалъ изъ смертныхъ, а дерево, подъ которымъ усѣлась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжеваго цвѣта и т. д.

Но не одни художественныя красоты отсутствуютъ въ произведеніяхъ Достоевскаго, а вообще они бѣдны пластичностью, детальностью. Достоевскій не любилъ вдаваться въ подробности и обрисовывать предметы со всѣхъ сторонъ, и описательный элементъ играетъ въ произведеніяхъ его послѣднюю роль. Знакомы съ дѣйствующими лицами и героями своихъ романовъ, Достоевскій хотя и перечисляетъ главные ихъ примѣты, но вы съ трудомъ по этимъ примѣтамъ составляете себѣ понятіе объ ихъ наружности. Въ то-же время герои его отличаются крайнимъ многословіемъ, говорятъ рѣчи подь-часъ страницы въ двѣ, въ три, но при этомъ всё подь-рядъ безъ всякаго различія выражаются языкомъ и слогомъ самого автора.

И вотъ уже въ этомъ пренебреженіи ко внѣшности, въ этомъ отсутствіи созерцательности, воспитываемой жизнью на лонѣ природы и однообразіемъ деревенскаго жителя-бытья, — мы видимъ перваго сына города.

VI.

Сюжеты произведеній Достоевскаго въ свою очередь представляютъ рѣзкое отличіе. Произведенія прочихъ беллетристовъ отличаются въ этомъ отношеніи крайнею простотою и односложностью; дѣйствующихъ лицъ выводится мало, иногда не болѣе двухъ, трехъ, четырехъ, и вся интрига заключается обыкновенно въ соперничествѣ двухъ любовниковъ и въ вопросѣ о томъ, котораго изъ нихъ героиня удостоитъ своей любви. Совсѣмъ не то видимъ мы у Достоевскаго. Сюжеты произведеній его отличаются сложностью и запутанностью; дѣйствующихъ лицъ выводится масса; читая эти произведенія, вы словно слышите гулъ толпы, и передъ вами развертывается городская жизнь со всею ея суетою и непрерывными сложными и непредвиденными столкновеніями и отношеніями между собою людей, скученныхъ въ тѣснотѣ и смрадѣ городскихъ стѣнъ. При этомъ Достоевскій не ограничивался однимъ великосвѣтскимъ салономъ или-же интеллигентными кружками среднихъ классовъ общества; онъ любилъ водить читателей въ городскія трущобы, въ вертепы нищеты и разврата, и какъ истый сынъ города, онъ мало того что отлично изучилъ эти трущобы и вертепы, но и проникся ихъ мрачною поэзіею. Не вдаваясь въ описанія красотъ природы, онъ очень часто развертываетъ передъ вами много рода ужасающія картины, отъ которыхъ у васъ мурашки ползутъ по спинѣ; это въ особенности Петербургу свойственныя картины городскихъ улицъ ночью, въ осеннее ненастье или зимнюю вьюгу, когда всё, у кого есть теплый кровъ, прислушиваются къ завываніямъ бури въ своихъ тепленькихъ уютло-

кахъ, и лишь безирютные, обиженные, сбившіяся со всякаго пути, полуодѣтыя въ жалкія рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемая мокрымъ снѣгомъ, пронизываемая вѣтромъ и погруженныя въ какія-нибудь полубезумныя грезы. Въ этомъ отношеніи романы Достоевскаго принадлежатъ не къ жоржъ-зандовскому типу, какъ у прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, а скорѣе къ типу романовъ Диккенса съ ихъ подобнаго-же рода мрачною поэзіею городскихъ вертеповъ, скрывающихъ во мракѣ ненастныхъ ночей невѣдомо какія страданія и преступленія.

Наконецъ мы подошли къ главному и наиболѣе существенному качеству творчества Достоевскаго, именно тому психіатрическому анализу, который въ большинствѣ его романовъ стоитъ на первомъ планѣ и представляетъ главную ихъ силу и достоинство.

Извѣстный психіатръ д-ръ Чижъ, разобравшій произведенія Достоевскаго съ точки зрѣнія своей науки, удивляется той научной вѣрности, съ какою Достоевскій изображаетъ душевно-больныхъ. По мнѣнію его, почти четверть дѣйствующихъ лицъ у Достоевскаго душевно-больные (въ *Братьяхъ Карамазовыхъ*—шесть, въ *Преступленіи и наказаніи*, *Бѣсахъ* — по четыре, въ *Идиотъ*, *Подростокъ* и *Хозяйкѣ* — по три, въ *Униженныхъ и оскорбленныхъ* — два и наконецъ почти во всѣхъ по одному). На основаніи наблюденій такихъ специалистовъ, какъ Пинель, Эскироль, Гюисленъ, Гривингеръ, Ламброзо и Крафтъ-Эбингъ, д-ръ Чижъ доказываетъ, что Достоевскій былъ великимъ психопатологомъ, что онъ художественнымъ прозрѣніемъ опередилъ даже точную науку и многое изъ него перейдетъ несомнѣнно въ учебники психіатріи. Къ числу такихъ замѣчательностей д-ръ Чижъ относитъ совершенно правильно и мастерски объясненныя и развитыя: эпилептическую ауру (Мышкинъ), старческое слабоуміе (старикъ Сокольскій и князь К.), нравственное помѣшательство (Раскольниковъ и Свидригайловъ, Смердяковъ и Иванъ Карамазовъ), противоположеніе страсти и аффекта (во многихъ лицахъ, напримѣръ въ Дмитрій Карамазовъ), галлюцинаціи (Иванъ Карамазовъ), противоположенія аффекта и настроенія (Сокольскій, Алексій Раскольниковъ), истерію, извращеніе прихотей, навязчивыя идеи (Лиза Хохлакова), связь религіозности и половыхъ влеченій, наследственность, значеніе пьянства и т. д.

Это преобладаніе психіатрическаго анализа и вѣрность изображенія душевно-больныхъ, обуславливаясь конечно прежде всего личною наклонностью Достоевскаго къ нервнымъ болѣзнямъ, въ то-же время въ свою очередь представляютъ характеристичнымъ качествомъ писателя, взлелѣяннаго городомъ и проведшаго большую часть жизни въ городскихъ стѣнахъ. Встрѣчаются психическія болѣзни и въ деревняхъ, но нужно-ли и говорить о томъ, что самымъ главнымъ вмѣстилищемъ и гнѣздомъ вырожденія и всякаго рода психическихъ заболѣваній представляются города и особенно тѣ вертепы нищеты, въ которые такъ любилъ заглядывать Достоевскій.

Отсутствіемъ примиряющаго и смягчающаго душу вліянія природы, преобладаніемъ напротивъ того раздражающихъ и безъ того уже болѣзненные нервы впечатлѣній городской суголоки можно объяснить и ту жестокость, какую обнаруживаетъ Достоевскій въ своемъ психическомъ анализѣ, и на которую очень мѣтко ука-

зываетъ Михайловскій въ своей статьѣ *Жестокій талантъ*. Дѣйствительно только крайне раздраженными и вѣчно натянутыми нервами и можно объяснить страсть Достоевскаго мучить читателя, мало того что изображая самыя тяжелыя и ужасныя въ психическомъ отношеніи положенія выводимыхъ лицъ, но и преувеличивая эти положенія, доводя ихъ до послѣдней крайности и безвыходности, подолгу останавливаясь на нихъ и медленною художественною пыткой словно съ какимъ-то сладострастіемъ жестокости вымучивая всѣ нервы читателей.

Въ заключеніе общей характеристики Достоевскаго слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что при всемъ обиліи выводимыхъ дѣйствующихъ лицъ и кажушемся ихъ разнообразіемъ, всѣ они сводятся къ весьма немногимъ типамъ, которые лишь съ небольшими вариациями повторялись во всѣхъ его произведеніяхъ.

Такъ вѣрный ученію почвенниковъ и особенно представителя ихъ Ап. Григорьева, Достоевскій въ основѣ большинства своихъ произведеній ставитъ одинъ изъ двухъ противоположныхъ типовъ: 1) типъ *кроткій* человѣка любвеобильнаго, полного самоотверженія, готоваго все простить, все оправдать, гуманно отнестись къ измѣнѣ любимой дѣвушки и продолжать любить ее, устраивая даже ея бракъ съ другимъ и т. п.; таковы напр. Ростаневъ въ романѣ *Село Степанчиково*, герой *Униженныхъ и оскорбленныхъ*, князь Мышкинъ въ *Идіотъ* и пр.; 2) типъ *хищный* — эгоиста, исполненнаго страстей, не знающаго удержа своимъ похотямъ и не останавливающаго ни передъ какими божескими и человѣческими законами; таковы Ставрогинъ въ *Бесахъ*, Дмитрій Карамазовъ и пр.

Въ свою очередь и женщины Достоевскаго раздѣляются на подобные-же два противоположныя типа: съ одной стороны *кроткій* — типъ женщинъ, обладающихъ нѣжными, любящимъ до самозабвенія женскимъ сердцемъ — таковы: Нелли и Наташа въ *Униженныхъ и оскорбленныхъ*, мать Раскольниковъ и Соня въ *Преступленіи и наказаніи*, Хроменькая въ *Бесахъ*, Нечочка Незванова, жена Макара Ивановича въ *Подросткѣ*; съ другой стороны рисуются передъ нами въ свою очередь *хищныя* типы своенравныхъ, обаятельныхъ и властныхъ до жестокости женщинъ, каковы: Полина въ *Ирокутѣ*, Настасья Филиповна въ *Идіотъ*, Грушенька и Катерина Ивановна въ *Братьяхъ Карамазовыхъ* и Варвара Петровна въ *Бесахъ*.

Часто повторяется также типъ развратнаго циника, для котораго законъ не писанъ и который не останавливается ни передъ чѣмъ для удовлетворенія своихъ самыхъ низменныхъ, иногда и противоестественныхъ страстей, таковы: князь-отецъ въ *Униженныхъ и оскорбленныхъ*, Свидригайловъ въ *Преступленіи и наказаніи*, Федоръ Петровичъ Карамазовъ.

Наконецъ не менѣе часто повторяется типъ бѣднаго чиновника, дошедшаго до послѣдней степени самоуниженія и обезличенія, но тѣмъ не менѣе сохраняющаго въ душѣ образъ Божій и чувство человѣческаго достоинства. Таковъ Дѣвушкинъ въ *Бѣдныхъ людяхъ*, Вася Шумиловъ въ *Слабомъ сердцѣ*, Мармеладовъ въ *Преступленіи и наказаніи* и пр.

VII.

По идейному содержанию литературная деятельность Достоевского разделяется на два периода подобно как у Тургенева и большинства некоторых других беллетристов сороковых годов: период прогрессивный до половины шестидесятых годов, а затѣм до конца жизни—агрессивный и реакціонный.

Въ произведеніяхъ перваго периода вы и тѣни еще не находите ни славянофилочувственныхъ ученій, ни мистицизма, ни того отрицательнаго взгляда на передовое общественное движеніе, какой Достоевскій усвоилъ впоследствии. Они имѣютъ совершенно такой-же характеръ и духъ, какими отличается и вся беллетристика сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ: тотъ-же натурализмъ подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя и тотъ-же скептическій анализъ русской жизни, исполненный отрицательнаго отношенія къ растроенному крѣпостнымъ правомъ барству и гуманнаго—къ низшей братіи, ко всѣмъ униженнымъ и оскорбленнымъ. Аскетически суровый въ своемъ служеніи проводимымъ идеямъ, страстно и всецѣло отдававшійся имъ и избѣгавшій отвлекаться отъ нихъ въ созерцательность какихъ-либо поэтическихъ красотъ жизни, Достоевскій въ произведеніяхъ перваго периода еще интенсивнѣе, чѣмъ всѣ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ, выражалъ идеи, которыя волновали въ то время передовые умы.

Макаръ Двухшинъ, скрывающій подъ смѣшиною наружностью и рубищами гоголевскаго Акакія Акакіевича столько любви, нѣжности и высокаго самоотверженія, раздвоившійся Голядкинъ, прозрѣвшій въ своемъ двойникѣ весь тотъ омутъ ошошленія и оподленія, которымъ угрожало ему засасывающее болото чиновничьей жизни, музыкантъ Ефимовъ—гений-самородокъ, искалѣченный крѣпостнымъ правомъ до безпрощнаго пьянства и сумашествія и пр. и пр., всѣ подобные типы производили потрясающее впечатлѣніе на общество и сливались въ одинъ гармоническій аккордъ съ стихотвореніями Некрасова, съ *Записками Охотника*, съ *Антономъ Горемыкой* Григоровича, съ *Любимомъ Торцовымъ* Островскаго.

Иногда Достоевскій отклонялся въ этотъ первый периодъ своей деятельности отъ существенныхъ свойствъ своего таланта, составлявшихъ главную силу его,—именно отъ серьезнаго и временами мучительнаго психическаго и психіатрическаго анализа и ударялся въ юморъ, очевидно подъ вліяніемъ Гоголя. Таковы его рассказы: *Чужая жена и мужъ подъ кроватью*, *Скверный анекдотъ*, *Крокодилъ*. Но произведенія эти показываютъ намъ, что юморъ не былъ свойственъ его таланту. По крайней мѣрѣ въ произведеніяхъ этихъ поражаетъ васъ съ одной стороны искусственная и затѣйливая водевилльность сюжетовъ, съ другой—крайняя напряженность и дѣланность смѣха, вслѣдствіе чего смѣхъ Достоевскаго не имѣетъ и слѣда той заразительности, какую обладаютъ истинные юмористы вроде Гоголя.

Прерванная ссылкой деятельность Достоевскаго расцвѣла съ новою силою послѣ освобожденія, во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ, и втеченіе десяти лѣтъ сохраняла еще все тотъ-же характеръ, какой имѣла и до ссылки, несмотря на то, что Достоевскій стоялъ уже въ это время во главѣ почвенниковъ и издавалъ съ братомъ *Время* и *Эпоху*. Талантъ Достоевскаго достигъ въ то время своего апогея,

и період этотъ, сверхъ романа *Униженные и оскорбленные*, ознаменовался лучшимъ изъ всѣхъ произведеній Достоевскаго *Записками изъ мертвого дома*.

Записки изъ мертвого дома и по содержанію, и по духу своему рѣзко отличаются отъ всѣхъ прочихъ произведеній Достоевскаго и стоятъ совершенно особнякомъ. Они одни были-бы способны увѣковѣчить память Достоевскаго, если-бы онъ ничего не написалъ болѣе, и напротивъ того значеніе его сразу наполовину-бы уменьшилось, если-бы онъ не написалъ *Записокъ изъ мертвого дома*. Здѣсь не найдете вы ничего такого, чѣмъ отличаются не всегда выгодно для себя прочія произведенія Достоевскаго: ни запутаннаго, сложнаго и искусственно придуманнаго сюжета, ни преобладанія психіатрическаго анализа, доходящаго до крайняго терзанія нервовъ читателей, ни излишней растянутости и неуклюжести. Все здѣсь дышетъ неподкрашенной правдой, простотой и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокимъ проникновеніемъ въ душу народа. Каждая подробность здѣсь у мѣста, каждый эпизодъ поражаетъ васъ какъ рядъ великихъ прозрѣній въ основы народной жизни. Все вмѣстѣ составляетъ стройную, законченную и величавую эпопею каторги, какую могъ создать лишь художникъ, самъ пережившій ее и на своихъ ногахъ вынесшій каторжные кандалы.

Въ то-же время вы не видите здѣсь и гѣни тѣхъ доктринъ, къ которымъ пришелъ Достоевскій впоследствии. Все произведеніе проникнуто одною лишь тою высокою гуманностью, въ духъ которой Достоевскій воспитался въ кружкахъ сороковыхъ годовъ. Такъ напримѣръ вмѣсто того нравственно оздоравливающаго вліянія, какое Достоевскій приписывалъ впоследствии каторгѣ, вы найдете здѣсь взглядъ на каторгу совершенно противоположный:

«Я сказалъ уже, читаемъ мы въ первой главѣ, что въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ я не видалъ между этими людьми ни малѣйшаго признака раскаянія, ни малѣйшей тягостной думы о своемъ преступленіи, и что большая часть изъ нихъ внутренно считаетъ себя совершенно правыми. Это фактъ. Конечно тѣснѣе, дурные примѣры, молодечество, ложный стыдъ во многомъ тому причиною. Съ другой стороны, кто можетъ сказать, что выслѣдилъ глубину этихъ погибшихъ сердецъ и прочелъ въ нихъ сокровенное отъ всего свѣта? Но вѣдь можно-же было во столько лѣтъ хоть что-нибудь замѣтить, поймать, уловить въ этихъ сердцахъ хоть какую-нибудь черту, которая-бы свидѣтельствовала о внутренней тоскѣ, о страданіи. Но этого не было, положительно не было. Да, преступленіе, кажется, не можетъ быть осмыслено съ данныхъ, готовыхъ точекъ зрѣнія, и философія его нѣсколько по труднѣе, чѣмъ полагаютъ. Конечно, остроги и система насильныхъ работъ не исправляютъ преступниковъ; они только его наказываютъ и обезпечиваютъ общество отъ дальнѣйшихъ покушеній злодѣя на его спокойствіе. Въ преступникъ-же остроги и самая усиленная каторжная работа развиваютъ только ненависть, жажду запрещенныхъ наслажденій и страшное лекомысліе. Но я твердо увѣренъ, что знаменитая келейная система достигаетъ только ложной, обманчивой наружной дѣли. Она высасываетъ жизненный сокъ изъ человѣка, энеквируетъ его душу, ослабляетъ ее, пугаетъ ее и потому нравственно изсохшую мумію, полусумашедшаго представляетъ какъ образецъ исправленія и раскаянія. Конечно преступникъ возставшій на общество ненавидитъ его и почти всегда считаетъ себя правымъ, а его виноватымъ. Къ тому-же онъ ужъ потерялъ отъ него наказаніе, а чрезъ это почти считаетъ себя очищеннымъ, сквитавшимся. Можно судить наконецъ съ такихъ точекъ зрѣнія, что чуть-ли не придется оправдать самаго преступника...».

Записки из мертвого дома писались въ то время, когда Достоевскій не былъ еще въ Петербургѣ и не подвергался вліянію кружка, въ который онъ попалъ. Но затѣмъ вліяніе это не замедлило обнаружиться во время издательства журналовъ сначала въ видѣ полемики *Времени* съ *Современникомъ*, въ которой Достоевскій принялъ дѣятельное участіе; такъ въ своей статьѣ:—*Г. — Божъ о вопросъ объ искусствѣ*, напечатанной въ журналѣ *Время* въ № 2 1861 г., Достоевскій, вооружаясь противъ Добролюбова, отстаивалъ доктрину чистаго искусства, несмотря на то, что его собственная литературная дѣятельность во всемъ ея составѣ рѣзко противорѣчила той доктринѣ. Въ то-же время въ № 1 *Времени* за тотъ-же годъ, въ своемъ *Введеніи* и *Пяти статьяхъ о русской литературѣ*, Достоевскій высказалъ впервые взгляды въ духѣ славянофильскаго ученія, причемъ Достоевскій оказался стоящимъ ближе къ чистымъ славянофиламъ, чѣмъ къ тѣмъ самымъ почвенникамъ, въ главѣ которыхъ онъ стоялъ и которые обязаны были ему своею кличкою.

«Да, мы вѣруемъ, говоритъ онъ въ этой статьѣ, что русская нація—необыкновенное явленіе въ исторіи всего человѣчества. Характеръ русскаго народа до того не похожъ на характеры всѣхъ современныхъ европейскихъ народовъ, что европейцы до сихъ поръ не понимаютъ его и понимаютъ въ немъ все обратно. Всѣ европейцы идутъ къ одной и той-же цѣли, къ одному и тому-же идеалу; это бесспорно такъ. Но всѣ они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны другъ къ другу до непримиримости, и все болѣе и болѣе расходятся по разнымъ путямъ, уклоняясь отъ общей дороги. Повидимому каждый изъ нихъ стремится отыскать общечеловѣчскій идеалъ у себя, своими собственными силами и потому всѣ вмѣстѣ вредятъ сами себѣ и всему дѣлу...

Съ нами согласятся, что въ русскомъ характерѣ замѣчается рѣзкое отличіе отъ европейскаго, рѣзкая особенность, что въ немъ по преимуществу выступаетъ способность высоко-синтетическая, способность всепримиримости, всечеловѣчности. Въ русскомъ человѣкѣ нѣтъ европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Онъ со всѣмъ уживается и во все вживается. Онъ сочувствуетъ всему человѣческому и нѣ различія національности, крови и почвы. Онъ находитъ и немедленно допускаетъ разумность во всемъ, въ чемъ хоть сколько-нибудь есть общечеловѣческаго интереса. У него инстинктъ общечеловѣчскій...»

Но подобныя идеи, высказанныя имъ внослѣдствіи въ рѣчи на пушкинскомъ празднествѣ, при всей своей метафизической гадательности и фантастичности не вліяли пока на содержаніе и характеръ дѣятельности Достоевскаго; къ тому-же они не заключали въ себѣ ничего реакціоннаго. Вполнѣ реакціонное направленіе обнаружилось въ Достоевскомъ лишь въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, т. е. почти одновременно съ Тургеневымъ и Гончаровымъ подъ вліяніемъ общей реакціи, наступившей съ 1863 года.

Къ сожалѣнію первое произведеніе, въ которомъ обнаружился реакціонный духъ, былъ романъ *Преступленіе и наказаніе*, лучший изъ всѣхъ его романовъ, второй шедевръ послѣ *Записокъ мертвого дома*. Талантъ Достоевскаго въ этомъ романѣ вновь достигъ своего апогея, блеснувъ яркимъ свѣтомъ.

По глубокому психіатрическому и психологическому анализу *Преступленіе и наказаніе* достойно было-бы стоять въ числѣ первыхъ и лучшихъ памятниковъ европейскаго искусства XIX вѣка. Но къ прискорбію на всѣхъ благомыслящихъ лю-

дей онъ произвелъ странное впечатлѣніе тѣмъ, что Достоевскій преступленіе своего героя Раскольникова обуславливаетъ вдругъ вліяніемъ новыхъ идей, якобы оправдывающихъ всевозможныя преступленія ради цѣлей, съ которыми они совершаются; не менѣе поражаетъ въ романѣ развязка его въ видѣ нравственнаго возрожденія Раскольникова подѣ вліяніемъ каторги...

Въ слѣдующемъ романѣ *Бѣсы* реакціонное направленіе сказалось еще рѣзче. Въ основѣ сюжета этого романа взять, какъ извѣстно, Нечаевскій процессъ, и въ романѣ выведенъ рядъ молодыхъ людей радикальнаго направленія въ видѣ такихъ нравственныхъ чудовищъ, что Достоевскій въ этомъ отношеніи далеко оставилъ за собою и Тургенева, и Гончарова, обнаружилъ еще болѣе поверхностное знаніе по наслышкѣ той среды, которую онъ взялся изобразить.

Тѣмъ не менѣе далеко нельзя сказать, чтобы реакціонное направленіе вполне овладѣло Достоевскимъ. Завскаса гуманнхъ идей сороковыхъ годовъ была такъ сильна въ немъ, что временами она давала себя знать, и во всѣхъ послѣднихъ произведеніяхъ Достоевскаго, равно какъ и въ *Дневникѣ писателя*, рядомъ съ славянофильскими и мистическими разглагольствованіями, словно оазисы въ степи, прорываются внезапно взгляды и образы, поражающіе васъ своею свѣтлостью и глубиною. Такъ напримѣръ реакціонное направленіе не мѣшало Достоевскому до самой смерти быть горячимъ приверженцемъ женскаго движенія. Въ майскомъ выпускѣ *Дневника* за 1876 годъ онъ восторженно заявляетъ, что въ русской женщинѣ заключена „одна наша огромная надежда, одинъ изъ залоговъ нашего обновленія“.

«Возрожденіе русской женщины, говоритъ онъ, въ послѣднія двадцать лѣтъ оказалось несомнѣннымъ. Подъемъ въ запросахъ ея былъ высокій, откровенный и безбоязненный. Онъ съ перваго раза внушилъ уваженіе, по крайней мѣрѣ заставилъ задуматься, не смотря на нѣсколько поразительныхъ неправильностей, обнаружившихся въ этомъ движеніи. Теперь однако уже можно свести счеты и сдѣлать безбоязненный выводъ. Русская женщина цѣломудренно пренебрегла препятствіями, насмѣшками. Она твердо объявила свое желаніе участвовать въ общемъ дѣлѣ и приступила къ нему не только безкорыстно, но и самоотверженно. Русскій человекъ въ эти послѣднія десятилѣтія страшно поддался разврату стужанія, цинизма, матеріализма; женщина-же осталась гораздо болѣе его вѣрна чистому поклоненію идеѣ, служенію идеѣ. Въ жаждѣ высшаго образованія она проявила серьезность, терпѣніе и представила примѣръ величайшаго мужества...».

Въ то-же время мы видимъ, что Достоевскій въ большей степени, чѣмъ всѣ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ, сознавалъ тотъ демократическій духъ, который составляетъ сущность всего движенія нашего времени. Такъ возвеличивая съ своихъ славянофильскихъ точекъ зрѣнія Россію надъ Европою, онъ основывалъ свои доводы не на одномъ только противоположеніи россійскаго православія и западнаго католицизма, а между прочимъ и на томъ, что въ то время какъ въ Европѣ демократизмъ развивается въ обездоленныхъ массахъ пролетаріевъ и нищихъ и, встрѣчая оппозицію въ правящихъ классахъ, подтачиваетъ западныя государства, у насъ наоборотъ: демократическими стремленіями все болѣе и болѣе проникаются интеллигентныя классы.

«Правда, говоритъ онъ въ томъ-же выпускѣ *Дневника*, много въ теперешнихъ

демократических заявленіяхъ и фальши, много и журнальнаго плутовства; много увлеченія, напримѣръ, въ преувеличеніи нападокъ на противниковъ демократизма, которыхъ къ слову сказать у насъ теперь очень мало. Тѣмъ не менѣе честность, безкорыстіе, прямота и откровенность демократизма въ большинствѣ русскаго общества не подвержены уже никакому сомнѣнію. Въ этомъ отношеніи мы можемъ-быть представить или начнемъ представлять собою явленіе еще не объявившееся въ Европѣ, гдѣ демократизмъ до сихъ поръ и повсемѣстно заявилъ себя еще только снизу, еще только воюеть, а побѣжденный (будто-бы) верхъ до сихъ поръ даетъ страшный отпоръ. Нашъ верхъ побѣжденъ не былъ, но верхъ самъ сталъ демократиченъ или вѣрнѣе народенъ, и кто-же можетъ отрицать это? А если такъ, то согласитесь сами, что нашъ демось ожидаетъ счастливая будущность. И если въ настоящемъ еще многое неприглядно, то по крайней мѣрѣ позволительно питать большую надежду, что временныя невзгоды демоса непремѣнно улучшатся подъ неустаннымъ и непрерывнымъ вліяніемъ впредь такихъ огромныхъ началъ (ибо иначе и назвать нельзя), какъ *всеобщее демократическое настроеніе и всеобщее согласіе* на то всѣхъ русскіхъ людей, начиная съ самаго верха. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ я и выразился, что нашъ демось доволенъ, и «чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будетъ удовлетворенъ». Что же, въ это трудно не вѣрить?»

Хотя-бы вы и не соглашались вполне съ подобными взглядами Достоевскаго относительно мнимаго превосходства Россіи передъ Европою по части демократизма, который мы усвоили отъ той-же Европы и притомъ вовсе не отъ обездоленныхъ низовъ, а изъ книгъ передовыхъ мыслителей, тѣмъ не менѣе Достоевскій остается тысячу разъ правъ въ томъ отношеніи, что дѣйствительно общее проникновеніе демократизмомъ всей русской интеллигенціи до самыхъ ея верховъ составляетъ существенное отличіе нашего времени, и въ сочувствіи Достоевскаго этому факту конечно никто не станетъ подозрѣвать что-либо реакціонное. Напротивъ того, мы видимъ, что въ минуты подобныхъ просвѣтленій Достоевскій становился въ полное противорѣчіе со всѣми своими реакціонными взглядами. Такъ и въ настоящемъ случаѣ онъ вѣрить, что нашъ демось ожидаетъ счастливая будущность и что временныя невзгоды его непремѣнно улучшатся совершенно вопреки своей теоріи, что страданія и невзгоды очищаютъ человѣка и возвышаютъ его нравственность и что чѣмъ болѣе кто пострадаетъ, тѣмъ вѣрнѣе спасется.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

I—Сергій Тимофѣевичъ Аксаковъ. II—Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ. III—Алексѣй Теофилактовичъ Писемскій. IV—Михаилъ Васильевичъ Авдѣевъ. V—Женщины-беллетристки: Надежда Дмитриевна Хвоцинская. Надежда Степановна Солтанская (Кохановская).

I.

Къ четыремъ разсмотрѣннымъ нами корифеямъ, представляющимъ звѣздами первой величины въ созвѣздіи беллетристовъ сороковыхъ годовъ, пользовавшимся горячимъ поклоненіемъ современной публики и оказавшимъ на нее самое сильное вліяніе, примыкаетъ нѣсколько писателей, бывшихъ въ свою очередь въ большей или меньшей степени популярными и уважаемыми, хотя и далеко не достигшими той обще-европейской славы, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Л. Толстой и Ф. Достоевскій.

Такъ большимъ успѣхомъ въ продолженіе сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ пользовался Сергій Тимофѣевичъ Аксаковъ, сочиненія котораго нѣкоторыми наиболѣе горячими поклонниками были превозносились до того, что авторъ ихъ ставился даже на одну степень съ Гомеромъ, Шекспиромъ и В. Скоттомъ. Но и менѣе увлеченные критики причисляли Аксакова къ числу первостепенныхъ и классическихъ русскихъ писателей.

Дѣятельность Аксакова распадается на два періода до такой степени различные между собою, что они не принадлежатъ даже къ двумъ смежнымъ эпохамъ. Аксаковъ представляетъ собою единственный и исключительный экземпляръ писателя, который прямо и непосредственно отъ ложнаго классицизма, минуя романтизмъ, перешагнулъ къ натурализму гоголевской школы.

По возрасту онъ былъ значительно старше не только всѣхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, но и самихъ основателей этой школы—Пушкина и Гоголя, принадлежа къ поколѣнію начала девятнадцатаго столѣтія. Родился онъ 20 сентября 1791 года въ Уфѣ и подобно всѣмъ людямъ того времени очень рано началъ и учиться, и жить. Въ 1801 году онъ былъ уже въ гимназіи, а въ 1805 году, т. е. 14 лѣтъ, — въ только-что открытомъ казанскомъ университетѣ. Мало вынесъ я научныхъ свѣдѣній изъ университета, говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ воспоминаній, не потому, что онъ (университетъ) былъ еще молодъ, не полонъ и не устроенъ, а потому,

что я былъ еще молодъ и дѣтски увлекался въ разные стороны страстностью моеѣ природы. Во всю жизнь чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній, и это много мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ, и въ литературныхъ занятіяхъ“.

Въ началѣ 1807 г., говоритъ Аксаковъ въ другомъ мѣстѣ, я оставилъ казанскій университетъ и получилъ аттестатъ съ прописаніемъ такихъ наукъ, какія я зналъ только понаслышкѣ и какихъ въ университетѣ еще не преподавали. Этого мало: въ аттестатѣ было сказано, что въ нѣкоторыхъ я „оказалъ значительные успѣхи“, а нѣкоторыми „занимался съ похвальнымъ прилежаніемъ“.

Кончивши такимъ образомъ 16-ти лѣтъ курсъ университета, въ 1808 г. Аксаковъ опредѣлился уже на службу переводчикомъ комиссіи составленія законовъ и находился на этомъ мѣстѣ до 1811 года. Въ эти три года пребыванія въ Петербургѣ онъ познакомился и сблизился съ Шишковымъ, такъ какъ уже на скамьѣ университета увлекался его націонализмомъ, не долюбливалъ Карамзина и восторгался *Разсужденіемъ о новомъ и старомъ словѣ* и *Прибавленіями* къ нему. „Эти книги совершенно свели меня съ ума, рассказываетъ онъ, я увѣровалъ въ каждое ихъ слово, какъ въ святыню. Русское мое направленіе и враждебность ко всему иностранному укрѣпились сознательно, а темное чувство національности выросло до исключительности“.

Затѣмъ съ 1811 года до 1826 г. Аксаковъ нигдѣ не служилъ, исключительно предавшись литературнымъ занятіямъ. Уже на школьной скамьѣ, въ гимназіи и университетѣ, Аксаковъ пописывалъ въ рукописныхъ журналахъ, издаваемыхъ имъ съ товарищами; но болѣе всего пристрастился онъ къ театру, увлеченный успѣхомъ на различныхъ домашнихъ спектакляхъ, а также и въ декламаторскомъ искусствѣ. Въ 1812 г. онъ перевелъ *Филактета* стихами для бенефиса Шушерина. Въ то-же время страсть къ театру сблизила его съ кружкомъ московскихъ театраловъ (Ѡ. Ѡ. Кокошкинъ, Шаховскій, Верстовскій, Загоскинъ, Писаревъ и др.), въ которомъ господствовали ложно-классическіе вкусы и поклоненіе Буало. Подъ этимъ влияніемъ Аксаковъ написалъ нѣсколько пѣсенъ, басенъ, эпиграммъ, посланій, переводилъ сатиры Буало, а также комедіи Мольера (*Школу мужей* въ 1819 г. и *Скупого* въ 1828 г.).

Въ 1816 году Аксаковъ женился на дочери генерала Заплатина. Въ 1820 г. за переводъ 10-ой сатиры Буало былъ удостоенъ избранія въ члены „Общества любителей россійской словесности“, а въ 1827 г. министръ народнаго просвѣщенія Шишковъ опредѣлилъ своего друга цензоромъ въ московскій цензурный комитетъ. На этомъ мѣстѣ Аксаковъ служилъ до 1834 года, омрачивши свое имя въ качествѣ цензора мало того что строгаго, но пристрастнаго и несправедливаго, такъ какъ онъ, мирволя своимъ, безпощадно въ то-же время преслѣдовалъ въ лицѣ Н. Ал. Полевого своего литературнаго врага, вымарывая въ *Московскомъ Телеграфѣ* не только вещи, которыя онъ считалъ нецензурными, но и неодобрительные отзывы о своихъ пріятеляхъ и литературныхъ партизанахъ.

Затѣмъ съ 1834 года по 1839 годъ Аксаковъ служилъ инспекторомъ, а затѣмъ директоромъ въ Константиновскомъ межевомъ институтѣ, а въ 1839 году вышла окончательно въ отставку.

Втеченіє тридцатыхъ годовъ въ умственной жизни Аксакова совершился радикальный переворотъ, которымъ онъ былъ обязанъ тому обстоятельству, что между тѣмъ какъ прежніе его друзья-театралы одни умирають, другіе разживаются, онъ сближается съ новыми людьми, — Павловымъ, Погодинымъ, Надеждинымъ, а затѣмъ подпадаетъ подъ вліяніе и своего сына Константина. Но самымъ главнымъ виновникомъ переворота, происшедшаго съ Аксаковымъ, было знакомство съ Гоголемъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда Аксакову было уже за сорокъ лѣтъ.

Вліяніе Гоголя сказалось уже въ очеркѣ *Буранъ*, написанномъ Аксаковымъ въ 1833 г. для альманаха Максимовича *Денница*. Въ этомъ очеркѣ Аксаковъ впервые сошелъ съ ложно-классическихъ ходуль и обратился къ живой, непосредственной дѣйствительности и личнымъ воспоминаніямъ. „Хотя прошло уже шесть лѣтъ, какъ я оставилъ оренбургскій край, рассказываетъ онъ, но картины лѣтней и зимней природы его были свѣжи въ моей памяти. Я вспомнилъ страшныя зимнія метели, отъ которыхъ и самъ бывалъ въ опасности и даже одинъ разъ ночевалъ въ стогѣ сѣна; вспомнилъ слышанный мною разговоръ о пострадавшемъ обозѣ и написалъ *Буранъ*.“

Но лишь съ выходомъ въ отставку, съ 1840 года Аксаковъ принялся серьезно за тотъ литературный трудъ, который увѣковѣчилъ его: онъ началъ набрасывать *Семейную хронику*, отрывки изъ которой были напечатаны въ *Московскомъ Сборникѣ* 1846 г. Въ 1847 г. появились его *Записки объ уженъ рыбы*; въ 1852 г. *Записки ружейнаго охотника оренбургской губерніи*; въ 1855 *Разказы и воспоминанія охотника*; въ 1856 году появилась въ полномъ видѣ *Семейная хроника*. Наконецъ въ 1858 г. *Дѣтскіе годы Баурова внука*.

Здоровье Аксакова начало страдать лѣтъ за двѣнадцать до кончины. Болѣзнь глазъ принудила его надолго запереться въ темной комнатѣ, и непріученный къ сидячей жизни, Аксаковъ разстроилъ свой организмъ, лишись притомъ одного глаза. Бодрость впрочемъ никогда не покидала его, даже въ послѣдніе годы жизни, когда болѣзнь его развивалась болѣе и болѣе и заставляла его почти постоянно сидѣть въ четырехъ стѣнахъ. Онъ былъ живъ и впечатлителенъ попрежнему; ясность духа его была невозмутима. Весною 1858 г. болѣзнь Аксакова приняла весьма опасный характеръ и стала причинять ему жесточайшія страданія; но онъ переносилъ ихъ съ чрезвычайною энергіею и терпѣніемъ. Послѣднее лѣто провелъ онъ на дачѣ близъ Москвы и, несмотря на ужасную болѣзнь, имѣлъ силу въ рѣдкія минуты облегченія наслаждаться природою и диктовать новыя свои произведенія, которыя ничѣмъ не напоминаютъ того, въ какія тяжелыя минуты они созданы. Сюда принадлежитъ *Собираніе бабочекъ*, вышедшее въ свѣтъ уже послѣ его смерти въ *Братчинѣ*, — сборникъ въ пользу бѣдныхъ казанскихъ студентовъ, которымъ онъ особенно интересовался. Осенью 1858 г. Аксаковъ переѣхалъ въ городъ и всю слѣдующую зиму провелъ въ ужасныхъ страданіяхъ. Ни помощь лучшихъ врачей, ни заботы семьи не могли спасти его жизни, однако онъ продолжалъ еще иногда заниматься и написалъ статью *Зимнее утро, Встрѣчу съ мартинистами*, послѣднее изъ напечатанныхъ при жизни его сочиненій, появившееся въ *Русской Бесѣдѣ* 1859 г. и повѣсть *Наташу*, которая напечатана въ томъ-же журналѣ. Весною не оставалось уже надежды, и онъ умеръ 30-го апрѣля 1859 года.

Произведенія Аксакова замѣчательны прежде всего тѣмъ, что здѣсь вы не найдете и слѣда того, что называется творческою фантазіею, вымысломъ.

Все изображаемое авторъ бралъ непосредственно изъ жизни или изъ своей замѣчательной памяти, и все искусство его заключалось въ поразительной вѣрности дѣйствительности и художественной изобразительности предметовъ со всѣми малѣйшими ихъ деталями и оттѣнками, что обличало въ Аксаковѣ наблюдательность, выходящую изъ ряда обыкновеннаго.

При такихъ качествахъ таланта Аксаковъ наиболѣе прославился въ трехъ отношеніяхъ: во-первыхъ онъ является первостепеннымъ пейзажистомъ своего времени. Если вообще школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ славилась изображеніями красотъ природы и преимущественно сельскихъ ландшафтовъ, то Аксакову безспорно принадлежитъ въ ней въ этомъ отношеніи первое мѣсто. При безмскусственной простотѣ и непосредственности, при полномъ отсутствіи всякой вычурности и предвзятаго желанія блеснуть какимъ-либо эффектомъ, ландшафты его поражаютъ васъ въ двухъ отношеніяхъ, — съ одной стороны своими мельчайшими деталями, а съ другой — тѣмъ величественнымъ ансамблемъ, въ какой художнику удается соединить эти детали. Очарованіе, производимое ландшафтами Аксакова, зависитъ конечно во многомъ и отъ того, что въ нихъ описывается по большей части оренбургскій край, столь богатый своею живописною природою и дарами ея.

Во-вторыхъ Аксаковъ замѣчателенъ, какъ создатель совершенно новаго и оригинальнаго животнаго эпоса, подобнаго которому не было еще ни въ одной литературѣ. Это не тотъ завѣщанный древностью животный эпосъ, въ которомъ звѣрямъ приписываются разныя человѣческія слабости и пороки, и подъ вѣдшимъ видомъ животныхъ въ поэмахъ и басняхъ пародируютъ тѣ-же люди, причѣмъ авторъ преслѣдуетъ непременно какую-нибудь нравоучительную или сатирическую цѣль. Животный эпосъ, созданный Аксаковымъ въ его запискахъ охотника и объ уженъѣ рыбы, замѣчателенъ именно тѣмъ, что звѣри, птицы и рыбы здѣсь изображаются совершенно объективно въ ихъ дѣйствительныхъ правахъ, привычкахъ, однимъ словомъ во всей ихъ звѣриной жизни безъ какихъ-бы то ни было дидактическихъ цѣлей, изъ единственнаго стремленія художественно изобразить и вѣрно передать массу разнообразныхъ впечатлѣній, вынесенныхъ страстнымъ охотникомъ изъ своихъ многолѣтнихъ наблюденій надъ жизнью и нравами звѣрей. Тутъ не знаешь, чему и дивиться: той-ли художественной полнотѣ, мѣткости и детальности, съ какими художникъ изображаетъ каждую породу встрѣчаемыхъ животныхъ, схватывая всѣ ея характеристическіе признаки, или поразительному богатству языка, владѣя которымъ авторъ сѣмѣлъ для каждой детали, для cadaго малѣйшаго оттѣнка прибрать особенное слово и выраженіе.

Въ третьихъ не менѣе замѣчателенъ Аксаковъ, какъ мемуаристъ и бытописатель въ свою очередь первостепенный и ни съ кѣмъ несравнимый. Въ его *Семейной хроникѣ* старая русская помѣщичья жизнь рисуется передъ вами во всѣхъ своихъ мелочныхъ подробностяхъ и со всѣми своими характеристическими особенностями, съ такою ясностью и поразительностью, какъ будто самъ авторъ переживалъ все то, что онъ "разсказываетъ о дѣдахъ и отцахъ. Рядомъ съ детальностью васъ пора-

жають здѣсь и умѣнье схватить, выставить на первый планъ и подчеркнуть наиболѣе характеристическія черты старой русской жизни.

Въ то-же время передъ вами рисуется цѣлая галерея портретовъ людей прошлаго столѣтія, которые мало того что поражаютъ васъ живостью художественнаго изображенія, но и своею типичностью, обличающею въ авторѣ умѣнье и здѣсь въ свою очередь обратить ваше вниманіе на черты наиболѣе характеристическія, существенныя и общія людямъ изображаемаго вѣка. Въ особенности выдаются типы дѣдушки Багрова и Куралесова. Недаромъ они сдѣлались нарицательными кличками наряду съ лучшими типами Гоголя.

II.

Въ свою очередь беллетристомъ съ преобладающею склонностью къ пейзажу и описательному жанру является Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ.

Григоровичъ родился 19 марта 1822 г. въ симбирской губерніи, въ деревнѣ на Волгѣ. Родители его были дворяне. Первые десять лѣтъ своей жизни онъ провелъ на родинѣ, на лонѣ природы. Затѣмъ былъ отданъ въ одинъ изъ частныхъ пансіоновъ въ Москвѣ, а оттуда поступилъ въ Инженерное училище и былъ товарищемъ и однокашникомъ съ Ѡ. Достоевскимъ. Здѣсь въ немъ развилась страсть къ живописи и до такой степени увлекла его, что въ послѣдній годъ пребыванія въ училищѣ онъ совсѣмъ не занимался науками.

Оставивъ училище въ 1840 году, Григоровичъ поселился на Васильевскомъ острову и втеченіе двухъ лѣтъ почти безвыходно пробылъ въ академіи художествъ, занимаясь въ рисовальномъ классѣ.

Но судьба не судила ему сдѣлаться художникомъ: вслѣдствіе крайней слабости зрѣнія, онъ принужденъ былъ оставить любимое занятіе, хотя потомъ всю жизнь принималъ горячее участіе въ судьбахъ русской живописи и много лѣтъ былъ даже секретаремъ общества поощренія художниковъ.

На литературу натолкнуло Григоровича случайное знакомство съ Плюшаромъ, который въ то время издавалъ сборникъ *Переводчикъ* или *Сто одна повѣсть и сорокъ сороковъ анекдотовъ*. — Въ этомъ сборникѣ было помѣщено нѣсколько переводовъ съ французскаго Григоровича. Это было въ 1843 году, и лишь въ слѣдующемъ 1844 году появились первые оригинальные рассказы Григоровича въ *Литературной газетѣ* — *Театральная карета* и *Собачка*, и тамъ-же помѣстилъ онъ *Обзоръ выставки въ академіи художествъ*.

Съ Некрасовымъ Григоровичъ познакомился уже въ 1841 году. Въ 1845-же въ *Физиологій Петербурга*, сборникѣ изданномъ Некрасовымъ, были напечатаны два рассказа Григоровича — *Петербургскіе шарманчики* и *Лотерейный билетъ*. Всѣ эти рассказы были вполнѣ въ духѣ жанра натуральной школы; съ одной стороны вы встрѣтите въ нихъ отрицательное отношеніе къ великосвѣтскимъ и бюрократическимъ правамъ столицы съ претензіею на юморъ, съ другой-же — сочувственное и исполненное гуманности отношеніе къ всему загнанному и обездоленному, ютящемуся въ столичныхъ углахъ и трущобахъ. Не лишеныя талантливости, эти повѣсти въ то-же

время далеко не заключали въ себѣ той яркости, оригинальности и силы, чтобы привлечь къ себѣ вниманіе публики и сразу поставить писателя на высоту. Григоровичъ былъ замѣченъ, но мало выдѣлялся изъ массы повѣствователей того времени въ духѣ натуральной школы.

Болѣе громкая извѣстность и популярность Григоровича началась съ 1847 года, послѣ того какъ въ декабрьской книжкѣ *Отеч. записокъ* была напечатана повѣсть его *Деревня*, а въ *Современникѣ* 1847 г. *Антонъ Горемыка*. Этими рассказами Григоровичъ попалъ, что называется, въ самый живой нервъ того времени, когда общій интересъ былъ возбужденъ народнымъ и преимущественно крестьянскимъ бытомъ, и само правительство подымало вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Обѣ повѣсти Григоровича, особенно послѣ восторженного отзыва о нихъ Бѣлинскаго, были причислены къ самымъ выдающимся литературнымъ явленіямъ своего времени и читались нарасхватъ.

Этотъ успѣхъ поощрилъ Григоровича писать изъ народнаго быта и кромѣ многихъ небольшихъ рассказовъ — *Пахарь*, *Свѣтлое Христово воскресеніе*, *Въ ожиданіи романа*, *Смедовская дамна*, онъ написалъ два большіе романа изъ крестьянской жизни — *Переселенцы* и *Рыбаки*. Здѣсь мы прежде всего должны по возможности если не разрушить со всѣмъ, то во всякомъ случаѣ значительно ограничить тотъ предрасудокъ, укоренившійся относительно рассказовъ изъ народнаго быта Григоровича съ легкой руки Добролюбова, будто Григоровичъ совсѣмъ не зналъ народа; увлекшись-же рассказами изъ крестьянской жизни Ж. Занда изображалъ, по образцу этихъ рассказовъ, русскихъ крестьянъ болѣе похожими на французскихъ пейзажъ, чѣмъ на русскихъ мужиковъ.

Предрасудокъ этотъ укоренился подъ впечатлѣніемъ позднѣйшихъ крупныхъ романовъ Григоровича изъ народнаго быта: *Рыбаковъ* и *Переселенцевъ*. Въ романахъ этихъ вы дѣйствительно видите много искусственнаго, дѣланнаго, сочиненнаго. Такъ напримѣру автору, чтобы написать объемистый романъ, необходимо было составить сложный сюжетъ съ любовной интригой, ревностями, разочарованіями, препятствіями и всѣми перипетіями нѣжныхъ страстей. Но какъ-ни много наблюдалъ Григоровичъ народъ, онъ все таки зналъ его не настолько, чтобы изображать любовныя исторіи среди крестьянъ въ ихъ натуральномъ видѣ и психической правдѣ, тѣмъ болѣе, что наблюдать мужиковъ ему приходилось преимущественно въ ихъ общественной жизни, какъ они проявляютъ себя въ кабакахъ, на базарахъ, на сходкахъ, на деревенскихъ праздникахъ, въ объясненіяхъ съ господами или бурмистрами, но конечно ему никогда не приходилось видѣть, какъ любятъ парни и дѣвки, какъ они при этомъ цѣлуются и что говорятъ на тайныхъ свиданіяхъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ заставилъ выводимую въ романѣ молодежь изъясняться въ любви, томиться, страдать, ревновать и великодушничать совершенно такъ-же, какъ это все дѣлалось въ то время въ помѣщичьихъ усадьбахъ подъ вліяніемъ чтенія французскихъ романовъ. Такимъ образомъ любящіеся парни и дѣвки и вышли у него вродѣ пейзажъ романовъ Ж. Зандъ. — Но и въ большихъ романахъ Григоровича встрѣтите массу второстепенныхъ лицъ, стариковъ, не занимающихся любовными интригами, которые изображены какъ нельзя болѣе реально и являясь передъ вами чисто-

кровными русскими мужиками, нисколько на французских пейзажах не похожи. Что же касается до мелких рассказов Григоровича, то к ним вышеозначенный предсудок никакого отношения иметь не может. Въ рассказахъ этихъ все до послѣдней степени натурально, просто и непосредственно взято изъ жизни, начиная съ сюжетовъ и кончая дѣйствующими лицами и массою деревенскихъ сценъ, наполняющихъ рассказы. Что можетъ быть неестественнаго и похожаго на французское пейзажное, напримѣръ, хотя-бы въ личности захудалого мужичонка Антона горемыки, который принужденъ ради уплаты оброка продавать на ярмаркѣ послѣднюю лошаденку, да и ту у него уводить конокрады, или въ изображеніи сиротки скотницы Абулины, которую баринъ насильно выдалъ замужъ въ богатую семью, думая сдѣлать ей этимъ благодѣяніе, а ее тамъ заклевали до смерти. Здѣсь все до послѣдней черточки какъ нельзя болѣе правдиво, во всемъ передъ вами здѣсь „Русь живетъ и Русью пахнетъ“. Однимъ словомъ не даромъ Вѣлинскій былъ въ восхищеніи отъ этихъ рассказовъ, и конечно этотъ въ высшей степени чуткій къ малѣйшей фальши критикъ не могъ-бы не замѣтить ея и въ рассказахъ Григоровича, если-бы въ нихъ дѣйствительно русскіе мужики были похожи на французскихъ пейзажановъ.

Въ гораздо большей степени обращаетъ на себя вниманіе въ деревенскихъ рассказахъ Григоровича вотъ какое обстоятельство: какія-бы ни изображалъ авторъ мрачныя и несчастныя приключенія съ его горемычными героями, повидимому желая возбудить въ читателяхъ сочувствіе и участіе къ униженному и угнетенному народу и протестуя противъ крѣпостнаго права, вы чувствуете, что авторъ въ этомъ отношеніи лишь платитъ дань своему времени, на самоѣ-же дѣлѣ совѣмъ не это болѣе всего занимаетъ и увлекаетъ. Онъ является передъ вами вовсе не публицистомъ и не психологомъ, а прежде всего художникомъ, живописцемъ. На первомъ планѣ всюду у него описаніе, картина, ландшафтъ: то изображеніе внутренности какой-нибудь убогой избенки, то покривившагося плетня, то сцены у кабака въ духѣ деревенскаго жанра, то явленій природы, грозы, осенней непогоды, распутицы и т. п. Сюжеты рассказовъ являются при этомъ словно будто не болѣе какъ лишь рамками, въ которыхъ авторъ развертываетъ передъ вами цѣлую вереницу ландшафтовъ и картинъ деревенскаго жанра. И надо отдать справедливость Григоровичу, какъ пейзажистъ и изобразитель *внѣшней* дѣйствительности Григоровичъ является первостепеннымъ мастеромъ. Всѣ описанія его отличаются ясностью, отчетливостью, яркимъ, сочнымъ кслоритомъ. Читая нѣкоторыя изъ нихъ, вамъ кажется, что ничего не стоило-бы сейчасъ-же воскресить ихъ на полотнѣ. Однимъ словомъ, не даромъ Григоровичъ началъ свое служеніе искусству съ живописи. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ призванъ быть болѣе живописцемъ, чѣмъ поэтомъ, и какъ пейзажистъ занимаетъ первое мѣсто послѣ С. Аксакова.

Совѣмъ другое приходится сказать относительно юмора, которому Григоровичъ въ свою очередь старался всегда заплатить обильную дань подобно большинству беллетристовъ сороковыхъ годовъ, подъ влияніемъ Гоголя. Юморъ очевидно не принадлежитъ къ числу врожденныхъ качествъ таланта Григоровича и потому вездѣ, гдѣ онъ является въ его произведеніяхъ, производитъ на васъ непріятное впечатлѣніе чего-то напряженнаго, дѣланнаго, неестественнаго. Особенно грѣшитъ въ этомъ отношеніи

обширный романъ Григоровича *Проселочная дорога*, (1852 г.), въ которомъ изображается старый помѣщичій бытъ. Григоровичъ построилъ этотъ романъ совсѣмъ безъ интриги, на одномъ чистомъ юморѣ, а потому онъ принадлежитъ къ числу самыхъ неудачныхъ произведеній Григоровича; дочитать его до конца — дѣло большого труда, и рѣдко кто на это покушается.

Очень возможно, что именно преобладаніе описательнаго, живописнаго элемента въ талантѣ Григоровича и недостатокъ глубокаго проникновенія въ явленія жизни и были причиною, что послѣ десяти лѣтъ литературной дѣятельности, періода крайне плодотворнаго, въ который Григоровичъ успѣлъ написать большую часть имъ созданнаго, онъ вдругъ прекратилъ свою дѣятельность и словно ступенчался, когда настали горячіе годы реформъ, и отъ писателей начали требовать серьезнаго, идейнаго содержанія. Когда-же волна общественнаго движенія упала, и настала эпоха новой реакціи, подобной пятидесятымъ годамъ, Григоровичъ вновь вынырнулъ въ послѣднее время съ своими повѣстями *Акробаты благотворительности*, *Гутанерчевый мальчикъ*. Но все-таки надо отдать справедливость Григоровичу, онъ до сихъ поръ остается однимъ изъ немногихъ людей сороковыхъ годовъ, не выровнившихъ изъ рукъ знамени, которое держали въ своей юности, не поспѣвшихъ встать въ открытую вражду съ движеніемъ шестидесятыхъ годовъ и людьми младшаго поколѣнія и не обратившихся изъ вождей прогресса въ поборниковъ мрака и застоя. Онъ остался чистымъ и незапятнаннымъ, и это одно зачтется ему въ большую заслугу!

III.

Но увь, нельзя сказать того-же самаго объ Алексѣѣ Теофилактовичѣ Писемскомѣ, начавшемъ свое литературное поприще очень громко и блестяще, а кончившемъ весьма печально.

Родители Писемскаго были небогатые дворяне костромской губерніи, чухломскаго уѣзда.

«Прослуживъ лѣтъ тридцать въ дѣйствующей арміи, рассказываетъ Писемскій въ своей автобіографіи, отецъ мой уже въ чинѣ маіора нашелъ возможность побывать на родинѣ, т. е. въ костромской губерніи, которая отстояла отъ Кавказа на двѣ тысячи почти версты; но онъ тѣмъ не менѣе большую часть пути совершилъ въ сопровожденіи четырехъ денщиковъ верхомъ, находя ѣзду въ экипажѣ совершенно для себя несприятною и очень безпокойною. На родинѣ ему пришлось жениться на моей матери, изъ довольно достаточнаго семейства Шиловыхъ. Отцу моему въ это время было лѣтъ сорокъ пять, а матери тридцать семь. Плодомъ этого брака между прочими дѣтьми былъ и я, родившійся въ 1820 году, 10-го марта, въ усадьбѣ Раменье. Четверо дѣтей, бывшихъ передо мною, померли, а равно померли и бывшіе послѣ меня пять человекъ. Если позволительно дѣтямъ произносить судъ надъ родителями, то я могу такимъ образомъ опредѣлить моего отца и мою мать. Отецъ мой въ полномъ смыслѣ былъ военный служака того времени, строгій исполнитель долга, умѣренный въ своихъ привычкахъ до пуризма, человекъ неподкупной честности въ смыслѣ денежномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сурово-строгій къ подчиненнымъ, — наши крупноестные люди его трепетали, но только дураки и лѣтныи, а умныхъ и дѣльныхъ онъ даже баловалъ ивогда....

«Мать моя была совершенно иныхъ свойствъ: нервная, мечтательная, тонко-умная

и при всей недостаточности воспитанія прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собою она за исключеніемъ весьма умныхъ глазъ была нехороша, и по поводу ея наружности покойный отецъ мой, когда я былъ еще студентомъ, имѣлъ со мной такого рода бесѣду:—«Скажи мнѣ, Алексѣй, отчего это мать твоя, чѣмъ дольше живетъ, тѣмъ красивѣе становится?»—«Оттого, папенька, что у мамашеньки много душевной красоты, которая съ годами все больше и больше выступаетъ».—Отецъ согласился со мной».

Первые десять лѣтъ Писемскій провелъ въ Ветлугѣ, куда отецъ его былъ опредѣленъ отъ комитета о раненыхъ городничимъ. Затѣмъ онъ жилъ въ деревнѣ, куда переселились его родители. Особенно рѣзвъ и шаловливъ онъ не былъ, но всегда любилъ устраивать игры въ полы, въ лошадки, пахалъ грядки, сидѣлъ на лабазѣ, подстерегая медвѣдя. Умственное развитіе Писемскаго совершалось незатѣйливо.

«Учиться, повѣтствуетъ онъ, меня особенно не нудили, да я и самъ не очень любилъ учиться; на зато читать и читать особенно романы любилъ до страсти; до четырнадцатилѣтняго возраста я уже прочелъ, въ переводѣ разумѣется, большую часть романовъ В. Скотта, Донъ-Кихота, Фоблаза, Жильблаза, Хромого бѣса, Серапионовыхъ-братьевъ Гофмана, персидскій романъ Хаджи-Баба; дѣтскихъ-же книгъ и всегда терпѣть не могъ и, сколько припоминаю теперь, всегда ихъ находилъ очень глупыми.

«Наставники у меня были очень плохи, и все русскіе. Въ дѣтствѣ я кромѣ латинскаго языка никакому новому языку не учился, что мнѣ впоследствии приносило большой вредъ. Тщетно я въ гимназій и университетѣ старался ознакомиться съ французскимъ и нѣмецкимъ языками, которымъ впрочемъ въ нѣкоторой степени и выучивался, но только не надолго: не проходило года, какъ я забывалъ языкъ. Вообще, кажется, у меня очень слаба способность къ языкамъ, къ исторіи и къ естественнымъ наукамъ; тогда какъ къ наукамъ философскимъ, къ математикѣ, къ метафизикѣ, къ логикѣ, эстетикѣ, этикѣ я весьма склоненъ».

Въ 1834 году, т. е. когда Писемскому было четырнадцать лѣтъ, его отдали въ костромскую гимназію, во второй классъ. „Учиться тамъ я началъ, говорить онъ, понятливо и довольно прилежно, но гораздо большую стяжалъ себѣ славу на автерскомъ поприщѣ“. Страсть къ театру, которую сохранилъ онъ на всю жизнь, пробудилась въ немъ подъ влияніемъ гимназиста Стайновскаго, старшаго его годами и представленнаго къ нему чѣмъ-то вродѣ тьютора. Стайновскій затѣялъ поставить *Казака стихотворца*, и въ немъ-то Писемскій весьма удачно сыгралъ комическую роль Прудіса.

Въ пятомъ классѣ Писемскій былъ признанъ учителемъ словесности прекраснымъ стилистомъ, въ шестомъ—написалъ уже повѣсть *Черкешенку*, а въ седьмомъ еще большую повѣсть *Чугунное колесо*. Повѣсть эта была написана во вкусъ Марлинскаго. Писемскій посылалъ ее въ столичныя редакціи, которыя однако-же не приняли ея.

Въ 1840 году Писемскій кончилъ курсъ гимназій и опредѣлился въ московскій университетъ на математической факультетъ. Но здѣсь онъ весьма мало занимался науками, большую часть времени посвящалъ чтенію, упражненію въ декламаторскомъ искусствѣ, въ которомъ Писемскій всегда былъ большимъ мастеромъ, и любительскимъ спектаклямъ.—Слава о немъ какъ о превосходномъ чтецѣ Гоголя и объ исполненіи

имъ роли Подколесина, не уступающемъ Щенкину, разнеслась по всей Москвѣ, и избранное московское общество стекалось на любительскіе спектакли и чтенія по-смотреть и послушать Писемскаго. Что касается до математическихъ наукъ, то все вліяніе ихъ на Писемскаго заключалось въ томъ, по его словамъ, что „будучи фразеромъ, я въ этомъ случаѣ благодарю Бога, что избралъ математическій факультетъ, который сразу-же отрезвлялъ меня и сталъ приучать говорить только то, что самъ ясно понимаешь“.

„Научныхъ свѣдѣній, говоритъ онъ далѣе: изъ моего собственнаго факультета я приобрѣлъ немного, но зато познакомился съ Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гете, Корнелемъ, Расиномъ, Ж. Ж. Руссо, Вольтеромъ, В. Гюго и Ж. Зандомъ сознательно и оцѣнилъ русскую литературу“.

Надо полагать, что знакомство Писемскаго съ Вольтеромъ и Руссо было очень поверхностное, такъ какъ мы замѣчаемъ, что онъ раздѣляетъ одну участь съ Ѳ. Достоевскимъ: тотъ-же крайній недостатокъ философскаго образованія и вслѣдствіе этого полную нетронутость мышленія. До самой смерти Писемскій продолжалъ косить въ традиціонныхъ вѣрованіяхъ и міросозерцаніи мало отличавшемся отъ міросозерцанія людей, стоявшихъ на самомъ низкомъ уровнѣ развитія. Оттуда и происходили въ Писемскомъ, подобно тому какъ и въ Достоевскомъ, расположеніе къ квасному патриотизму, склонность видѣть гибель въ каждомъ мало-мальски самостоятельномъ движеніи мысл.

Въ 1844 г. Писемскій кончилъ курсъ со степенью дѣйствительнаго студента и поѣхалъ въ провинцію на службу.

«На моемъ успѣхѣ въ 1844 г. въ роли Подколесина, говоритъ онъ въ своей автобіографіи, кончилась моя научная и эстетическая жизнь. Впереді мнѣ предстояли горе и необходимость служить: отецъ мой уже померъ, мать пораженная его смертью была разбита параличемъ и лишилась языка, средства къ существованію были весьма небольшія. Все это понимая, я вшалъ по пріѣздѣ моемъ въ деревню въ меланхолію и ипохондію, изъ какой спасла меня любовь. Еще ранѣ того, во время моего гимназическаго и университетскаго воспитанія, я влюблялся идеально въ моихъ кузень, изъ которыхъ первая описана въ лицѣ Софи, въ *Взбаломученномъ морѣ*, а вторая въ лицѣ Мари въ *Людахъ сороковыхъ годовъ*; но вышесказанная любовь была уже реальная и поглотила всего меня. Любовь эта мною выражена во-первыхъ въ романѣ моемъ *Боярщина*, въ отношеніяхъ Эльчанинова къ Аннѣ Павловнѣ, и потомъ второй разъ въ *Людахъ сороковыхъ годовъ*, въ отношеніяхъ Вихрова къ Фатѣевой. Но жизнь и родные не удовлетворились этимъ моимъ блаженствомъ, какъ неудовлетворялась имъ моя собственная совѣсть, тѣмъ болѣе что написанный мною тогда романъ *Боярщина*, какъ протестъ противъ брака, былъ прямо прихлонутъ цензурой, значитъ надежда на авторство могла тогда показаться сумашествіемъ, и потому я рѣшился во-первыхъ посвятить себя службѣ, а потомъ жениться, избравъ для этого дѣвушку совершенно ужъ не кокетку, изъ семьи хорошей, но небогатой. Свадьба наша совершилась 11 октября 1848 года. Жена моя отчасти обрисована мною въ *Взбаломученномъ морѣ* въ лицѣ Евпраксини, которой сверхъ того приданъ въ романѣ названіе ледешка».

Въ лицѣ жены своей, Екатерины Павловны, Писемскій сдѣлалъ необыкновенно удачный выборъ. Всѣ знающіе ее въ одинъ голосъ отзываются о ней, какъ о женщинѣ самыхъ рѣдкихъ достоинствъ. „Эта примѣрная женщина, рассказываетъ Анненковъ,

умѣла успокаивать болѣзненную мнительность Писемскаго и освободила не только его отъ заботъ по хозяйству и воспитанію дѣтей, но что важнѣе—освободила его и отъ своего вмѣшательства въ его личную интимную жизнь, тоже исполненную капризовъ и порывовъ; она-же и переписала на своемъ вѣку по крайней мѣрѣ двѣ трети всѣхъ его сочиненій съ черновыхъ оригиналовъ, представлявшихъ всегда страшно запачканную макулатуру изъ кривыхъ строчекъ, куриныхъ каракуль и чернильныхъ пятенъ“.

Первое мѣсто служенія Писемскаго была костромская палата государственныхъ имуществъ, а потомъ втеченіе двухъ лѣтъ онъ служилъ въ московской палатѣ того-же вѣдомства. Затѣмъ онъ поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ костромскому губернатору (князю Суворову). Въ 1849 году Писемскій былъ назначенъ ассесоромъ костромскаго губернскаго правленія и прослужилъ въ этой должности до 1853 года. Съ этого года и до 1859 года онъ служилъ въ Петербургѣ по министерству удѣловъ. Затѣмъ, послѣ семилѣтней отставки, въ 1866 году онъ опять поступилъ на службу совѣтникомъ въ московское правленіе, гдѣ дослужился до старшаго совѣтника. Наконецъ въ 1874 году окончательно вышелъ въ отставку въ чинѣ надворнаго совѣтника.

Первое произведеніе Писемскаго, романъ *Боярщина*, принятый въ *Отечественныя Записки*, былъ, какъ мы уже видѣли изъ словъ самого Писемскаго, прихлопнутъ цензурой въ 1847 году, увидѣвшей въ немъ протестъ противъ брака. Писемскій и самъ, не противорѣча этому приговору цензуры, какъ-бы соглашается съ нимъ. Очень возможно, что находясь подъ вліяніемъ Ж. Зандъ, подобно всѣмъ своимъ современникамъ, Писемскій мечталъ провести подобную тенденцію въ своемъ романѣ, но на самомъ дѣлѣ никакой тенденціи не провелъ, такъ какъ въ первомъ-же романѣ, несмотря на всѣ постороннія вліянія, явился вполне самобытнымъ писателемъ, и художественное творчество помимо воли его повело его совсѣмъ въ другую сторону: онъ оказался слишкомъ безнадежнымъ пессимистомъ для того, чтобы провести какую-бы-то ни было тенденцію. Въ самомъ дѣлѣ, какую-же тенденцію можно вывести изъ романа, сюжетъ котораго заключается въ томъ, что героиня сначала вышла замужъ поневолѣ за необразованнаго, грубаго и дикаго бурбона, не могла съ нимъ ужиться, бросила его, сойдясь съ молодымъ человѣкомъ высшаго образованія, но и въ немъ пришлось ей горько разочароваться, такъ какъ онъ оказался никуда негодною трапкою, и ей оставалось только умереть въ чахоткѣ.

Неудача съ *Боярщиною* не охладила Писемскаго къ литературнымъ трудамъ, и въ 1848 году былъ напечатанъ въ *Сынѣ Отечества* маленькій рассказъ его *Нина*. Затѣмъ приглашенный въ *Москвитянина*, онъ примкнулъ къ почвенникамъ и съ ними перешелъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ въ *Библиотеку для Чтенія*, гдѣ онъ былъ утвержденъ редакторомъ послѣ Дружинина. Начиная съ 1850 года, слѣдуетъ непрерывный рядъ его произведеній въ *Москвитянинѣ* и другихъ журналахъ: *Тюфякъ*, *Бракъ по страсти*, *Комикъ*, *Инокондрикъ*, *Богатый женихъ*, *Литершикъ*, М.-г. *Батмановъ*, *Раздѣлъ*, *Лышій*, *Фонфаронъ* и пр. Въякомъ-же творческой дѣятельности является обширный романъ *Тысяча душъ*, напечатанный въ *Библиотеку для Чтенія* въ 1858 году. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ Писемскій является не-

измѣнно тѣмъ-же самымъ, какъ и въ первомъ своемъ романѣ, безъ малѣйшихъ измѣненій и какихъ-либо шаговъ впередъ или назадъ. Его опредѣляли обыкновенно, какъ трезваго реалиста, чуждаго какой-бы то ни было идеализаціи, говорили при этомъ, что рисуя дѣйствительность во всей ея грязи и пошлости, онъ доходитъ порою до цинизма въ своихъ изображеніяхъ, при этомъ упрекали его въ отсутствіи идеала и вѣры въ прогрессъ.

Первымъ и самымъ главнымъ качествомъ Писемскаго является безнадежный пессимизмъ, но совершенно не тотъ философскій пессимизмъ, который присущъ и Тургеневу, и гр. Л. Толстому, и нѣкоторымъ другимъ беллетристамъ сороковыхъ годовъ; послѣдніе, сомнѣваясь въ окружающей дѣйствительности и современныхъ людяхъ, видѣли все-таки возможность иной дѣйствительности и иныхъ людей. Отнимите у пессимизма его *Weltschmerz* и всѣ романтическіе порывы къ лучшему, и вы получите тотъ циническій пессимизмъ практическаго буржуа, который столько навидѣлся въ своей жизни всевозможныхъ мерзостей, что утратилъ всякую вѣру въ человѣка, въ возможность какихъ-либо безкорыстныхъ высокихъ влеченій, за которыми не скрывалась-бы кака-нибудь грязь и пошлость, и ему остается лишь разоблачать всѣ эти явленія, кажущіяся свѣтлыми и отрадными, раскрывая всю ихъ низменность.

Пишущій эти строки самъ своими ушами слышалъ отъ Писемскаго одинъ весьма непечатный афоризмъ, смыслъ котораго заключается въ томъ, что какъ земля вокругъ своей оси, весь міръ вращается вокругъ половыхъ влеченій, все отъ нихъ происходитъ, все къ нимъ сводится, и что-бы ни творилось на землѣ высокаго и благороднаго, все это совершается ради нихъ. Въ этомъ афоризмѣ выражается вся философія Писемскаго и внутреннее содержаніе всѣхъ его произведеній, если только мы его неможно расширимъ въ томъ отношеніи, что единственно, что движетъ человечествомъ и составляетъ внутренній нервъ всей исторіи, это стремленіе всячески нѣжить и холить свое бренное тѣло, и всѣ высокіе подвиги сводятся въ концѣ концовъ къ тому-же плотоугодію.

Если мы къ этому присоединимъ конкретность изображеній Писемскаго, обиліе выводимой грязи и подь-часъ циническую смѣлость въ ея изображеніи, то намъ невольно бросится въ глаза, что Писемскій имѣетъ много общаго съ современными французскими натуралистами: онъ предупредилъ и предсказалъ ихъ своими произведеніями.

Подобно большинству беллетристовъ сороковыхъ годовъ Писемскій не преминулъ написать нѣсколько произведеній изъ народнаго быта, таковы: *Питерцикъ*, *Львій*, *Плотничья артель*, *Горькая судьбина*, *Батка*. Знаніе народнаго быта Писемскій обнаружилъ замѣчательное; языкъ дѣйствующихъ лицъ поражаетъ васъ своею живостью и вѣрностью народному говору. Но въ то-же время и здѣсь Писемскій остался неизмѣненъ: онъ не льститъ народу, не идеализируетъ его и вмѣстѣ съ тѣмъ не выставляетъ его несчастнымъ для возбужденія къ нему участія читателей, а изображаетъ всѣ его пороки съ тѣмъ-же откровеннымъ протоколизмомъ, какой вы найдете у Золя въ его „*La terre*“ или-же во *Власти тьмы* гр. Л. Толстого. Замѣчательно, что драма *Горькая судьбина*, при всемъ своемъ колоссальномъ успѣхѣ, раздѣляла одну участь съ *Власти тьмы* въ томъ отношеніи, что многіе были недовольны слишкомъ реальнымъ изображеніемъ убійства ребенка почти на самой сценѣ.

Но какъ ни велики были слава и популярность Писемскаго, уже въ концѣ пятидесятихъ годовъ литературная репутація его начала колебаться, и въ литературныхъ кружкахъ начали носиться смутные слухи о томъ, что Писемскій съ пѣною у рта говорить о всемъ движеніи шестидесятихъ годовъ и готовится писать романъ съ цѣлью положить въ немъ въ лоскъ молодое поколѣніе. Безъ сомнѣнія эти слухи и были причиною той холодности, съ которою были встрѣчены въ *Современникѣ* и романъ *Тысяча душъ*, неудостовѣившійся даже критическаго отзыва, и драма *Горькая судьбина*. Писемскій дѣйствительно находился въ то время въ крайне озлобленномъ настроеніи. Если такіе философски-образованные люди какъ Тургеневъ не могли ясно и вѣрно осмыслить массу новыхъ народившихся явленій, то что-же удивительнаго, что человѣкъ, опиравшійся въ своемъ мышленіи на одинъ только темный и неопредѣленный здравый смыслъ народа и ничего не видѣвшій вокругъ себя кромѣ агломерата пошлости и грязи, потерялся въ томъ вихрѣ всевозможныхъ противорѣчій, какой представляло собою движеніе шестидесятихъ годовъ.

Въ концѣ 1861 года Писемскій открыто заявилъ себя противникомъ движенія, начавши писать фельетоны въ *Библиотекѣ для Чтенія* подъ псевдонимомъ Никиты Безрылова, въ которыхъ между прочимъ насмѣшливо отозвался противъ процвѣтавшихъ въ то время литературныхъ чтеній и воскресныхъ школъ. Фельетоны эти возбуждали противъ себя цѣлую бурю въ либеральномъ лагерѣ, и особенно обрушились на нихъ въ *Искрѣ*. Писемскій былъ потрясенъ до глубины души этими нападками на него и отвѣчалъ на нихъ въ *Библиотекѣ для Чтенія* столь оскорбительно, что издатели *Искры*—Курочкинъ и Степановъ, вызвали Писемскаго на дуэль, которая впрочемъ не состоялась.

Это еще болѣе раздражило и озлобило Писемскаго, и вотъ въ 1863 году появился романъ его *Взбаломученное море*, возбуждвшій противъ себя всеобщее негодованіе и ожесточеніе во всѣхъ либеральныхъ слояхъ общества.

Нельзя сказать, чтобы въ романѣ Писемскаго была проведена реакціонная тенденція вродѣ позднѣйшихъ романовъ въ этомъ родѣ В. Крестовскаго и В. Маркевича. Нельзя также сказать, чтобы Писемскій искажалъ дѣйствительность, представляя ее въ карикатурномъ видѣ умышленно или вслѣдствіе плохого ея изученія, какъ это мы видимъ напримѣръ у Гончарова въ его Маркѣ Волоховѣ. Писемскій остался какъ нельзя болѣе вѣренъ себѣ въ томъ отношеніи, что собралъ всю ту грязь, которую видѣлъ вокругъ себя, и все движеніе шестидесятихъ годовъ изобразилъ исключительно только съ этой грязной стороны, ничего не признавая въ немъ, кромѣ одной мнютной мути взбаломученнаго моря русской жизни, какъ и самъ говоритъ онъ въ послѣсловіи къ своему роману:

«Не мы виноваты, что въ быту нашемъ много грубости и чувственности, что такъ называемая образованная толпа привыкла говорить фразы, привыкла или ничего не дѣлать, или дѣла ть задоръ, что, не цѣня и не прислушиваясь къ нашей главной народной силѣ, *здравому смыслу*, она кидается на первый-же фосфорическій свѣтъ, гдѣ-бы и откуда ни мелькнулъ онъ, и дѣтски вѣрять, что въ немъ вся сила и спасеніе!

«Въ началѣ нашего труда, при раздававшемся около насъ со всѣхъ сторонъ говорѣ, шумѣ, трескѣ, ясное предчувствіе говорило намъ, что это не буря, а только раба и

пузыри, отчасти надутые извнѣ, и отчасти появившіеся отъ поднявшейся снизу разной дряни. Событія какъ нельзя лучше оправдали наши ожиданія.

Нужно-ли и говорить о томъ, что при реальности и вѣрности дѣйствительности, хотя вѣрности крайне односторонней,—въ политическомъ отношеніи романъ Писемскаго былъ въ неизмѣримой степени вреднѣе для всѣхъ друзей русскаго прогресса, чѣмъ если-бы Писемскій нагаль въ немъ въ три короба. Ложь не замедлили-бы опровергнуть и оклеветанная правда восторжествовала-бы съ новою силою; но романъ тѣмъ и ужасенъ, что онъ глубоко правдивъ, обнаруживая всѣ тѣ язвы, какія коренились въ движеніи того времени, но къ сожалѣнію однѣ только язвы, какъ будто весь организмъ его родины былъ сплошь изъѣденъ безысходной гангреной. Вредъ такого крайняго пессимизма усугубляется тѣмъ еще, что въ художественномъ отношеніи это самое сильное произведеніе изъ всего написаннаго Писемскимъ, и по жизненности и вѣрности типовъ, и по сложности сюжета съ самымъ широкимъ захватомъ всей русской жизни, и по тому животрепещущему интересу, съ которымъ онъ читается, и по силѣ производимаго впечатлѣнія. Видно, что Писемскій положилъ въ него всю свою душу, сконцентрировалъ весь тотъ опытъ, какой вынесъ изъ своей жизни.

Это было послѣднее властное и вліятельное слово, какое сказалъ Писемскій, и этимъ словомъ литературная дѣятельность его сразу вся исчерпалась. Послѣ того онъ многое еще написалъ; такъ напримѣръ, четыре объемистые романа—*Люди сороковыхъ годовъ* (1869), *Въ водоворотѣ* (1871), *Мыщане* (1877) и *Массоны* (1878), массу драматическихъ пьесъ—каковы: *Подкопы*, *Вааль*, *Просвѣщенное время*, *Финансовый геній*, *Самоуправцы*, *Бывше соколы*, *Поручикъ Гладковъ*. Но всѣ эти произведенія представляютъ собою лишь блѣдную тѣнь прежняго Писемскаго; они охотно читались, раскупались, имѣли минутный сценическій успѣхъ, но проходили безслѣдно, не производя никакого вліянія, никакихъ критическихъ обсужденій или разговоровъ.

Послѣдніе годы своей жизни Писемскій провелъ въ Москвѣ. Онъ былъ обезпеченъ, жилъ въ своемъ собственномъ домѣ на Поварскомъ; но состояніе его духа было очень печально. Онъ отъ природы былъ расположенъ къ ипохондріи и крайней мнительности. Подъ старость-же лѣтъ подъ вліяніемъ того погрома, который онъ пережилъ по выходѣ *Взбаломученнаго моря*, горькаго сознанія увиданія своего творчества и общественнаго невниманія, хандра его принимала съ каждымъ годомъ все большіе и большіе размѣры, и вмѣстѣ съ тѣмъ усиливались его старанія заглушить тоску виномъ. Особенно сильно запыль онъ послѣ внезапной смерти нѣжно любимого сына Николая, застрѣлившагося отъ неизвѣстной причины. Къ нравственнымъ недугамъ со временемъ присоединились и тѣлесныя. Смерть второго сына, Павла, профессора московскаго университета, окончательно доканала Писемскаго; онъ умеръ 21-го января 1881 г.

IV.

Михаилъ Васильевичъ Авдѣевъ родился въ 1821 г. въ Оренбургѣ. Отецъ его уральскій казакъ, человекъ зажиточный и занимавшій видныя мѣста въ лицкомъ

войскѣ, вышелъ изъ него, недовольный новыми порядками, и поступилъ въ гражданскую службу. Однимъ изъ первыхъ учителей Авдѣева былъ сосланный въ Оренбургъ извѣстный польскій писатель Тома Занъ, другъ Мицкевича и основатель виленскаго патріотическаго общества *Филаретовъ*. Затѣмъ Авдѣевъ учился въ гимназiи въ Уфѣ, а окончилъ образованіе въ корпусѣ путей сообщенія, откуда онъ былъ выпущенъ поручикомъ въ 1842 г., и отправился на службу въ Нижній-Новгородъ, а въ 1852 году въ чинѣ капитана вышелъ въ отставку. Во время крымской войны онъ былъ выбранъ начальникомъ дружины оренбургскаго ополченія, а въ шестидесятыхъ годахъ былъ членомъ крестьянскаго по дѣламъ присутствія.

Послѣ выхода въ отставку Авдѣевъ поселился въ доставшейся ему отъ отца деревнѣ, въ весьма живописной гористой мѣстности стерлитамакскаго уѣзда; здѣсь онъ проживалъ большую часть года, прїѣзжая въ столицы лишь на зимніе мѣсяцы. Въ 1862 г. онъ былъ сосланъ въ Пензу; по черезъ годъ ему дозволено было уѣхать за-границу, гдѣ онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ, близко сойдясь съ Тургеневымъ, съ талантомъ котораго онъ чувствовалъ въ себѣ наиболѣе средства. Умеръ Авдѣевъ въ Петербургѣ 1-го февраля 1876 г.

Талантъ Авдѣева былъ очень небольшой, произведенія его не блестятъ яркими художественными достоинствами или оригинальностью. Онъ бралъ либеральною гуманностью своихъ чувствъ и симпатій и ловкимъ умѣньемъ попадать въ самый фарватеръ общественнаго теченія. Разъ чувствуя себя въ этомъ фарватерѣ, онъ смѣло отдавался теченію, сочинялъ романъ или повѣсть по соответствующему шаблону, выводя нѣсколько героевъ, повидимому самыхъ современныхъ, но въ сущности стереотипныхъ и сочиненныхъ, какъ и въ цѣломъ каждое произведеніе его оказывалось всегда сочиненнымъ и надуманнымъ. Тѣмъ не менѣе романы его производили въ свое время очень живое впечатлѣніе, благодаря животрепещущимъ темамъ, мастерству разсказа и развитія сюжета, приправленнаго умными и резонными разсужденіями. Два-же раза въ своей литературной дѣятельности ему удалось затронуть самыя чувствительныя нервы общественнаго настроенія, что и выдвинуло его впередъ.

Въ первый разъ большую сенсацію произвели три повѣсти его, напечатанныя въ *Современникѣ* 1849, 51 и 52 гг. — *Варинька*, *Записки Тамирина* и *Ивановъ*, изданныя потомъ имъ отдѣльно въ 1852 г. подъ общимъ названіемъ *Тамиринъ*. Это было какъ разъ такое время, когда и въ жизни, и въ литературѣ окончательно развѣчивались всѣ романтическіе идеалы и въ томъ числѣ печоринскій типъ, когда Тургеневъ въ цѣломъ рядѣ произведеній показывалъ всю нравственную несостоятельность и ничтожество различнаго рода провинціальныхъ Гамлетовъ и Донъ-Жуановъ, а Гончаровъ сѣялся надъ порывами Александра Адуева; въ это самое время Авдѣевъ выступилъ со своимъ *Тамириномъ* какъ нельзя болѣе кстати и сразу приобрѣлъ извѣстность столь лестную, что имя Тамирина сдѣлалось кличкою для всѣхъ выдохшихся провинціальныхъ Печоринныхъ того времени и очень часто встрѣчалось на страницахъ журналовъ въ критическихъ статьяхъ и обзорѣніяхъ.

Второй разъ Авдѣеву удалось попасть въ самую жилку эпохи девять лѣтъ спустя, когда въ *Современникѣ* 1860 года былъ напечатанъ романъ его *Подводный камень*. Это было какъ разъ въ такой моментъ, когда только что былъ под-

нять женскій и семейный вопросы, когда у всѣхъ на устахъ были горячія разсужденія о вредѣ и гнусности семейнаго деспотизма, о необходимости полной свободы чувствъ и объ избавленіи женщины отъ ея вѣковаго рабства. Романъ Авдѣева, изображающій свободную измѣну жены по добровольному согласію великодушнаго мужа, пришлось обществу какъ нельзя болѣе по душѣ и возбудилъ сенсацію, несмотря на то, что казалось-бы тема романа вовсе не блистала особенною новизною: она была сколкомъ съ извѣстнаго романа Ж. Занда „Jasque“ и не разъ уже разрабатывалась въ нашей литературѣ, такъ напримѣръ и въ *Кто виноватъ?* Искандера, и въ *Полныя Саксъ* Дружинина. Но въ романѣ Авдѣева публику подкупило именно ловкое умѣнье автора подать старое кушанье подъ самымъ современнымъ и свѣжимъ соусомъ.

Но только два раза и удалось Авдѣеву сдѣлаться героемъ дня. Третья попытка его въ этомъ родѣ потерпѣла полное фиаско. Это было въ концѣ уже шестидесятыхъ годовъ, когда женскій вопросъ съ почвы свободы чувствъ успѣлъ перейти на почву труда, когда всѣ реформы были уже совершены и земство только что открыло свою дѣятельность. Въ это время Авдѣевъ выступилъ съ новымъ большимъ романомъ *Между двухъ огней*, напечатаннымъ въ *Совр. Обзор.* 1868 г.

Здѣсь выставленъ былъ новый герой, дѣятельный земецъ Камышинцевъ, сходящійся послѣ разныхъ перипетій съ новою женщиною, занимающейся самостоятельнымъ трудомъ въ качествѣ сельской учительницы, Анной Барсуковой. Но романъ этотъ не произвелъ никакого впечатлѣнія на публику и не имѣлъ успѣха.

Новый человекъ оказался очень старымъ, все тѣмъ-же бонвиваномъ и донъ-жуаномъ сороковыхъ годовъ съ благородными порывами при полномъ неумѣньи осуществлять и доводить ихъ до конца и при отсутствіи всякой стойкости; настоящіе-же новые люди, если и не оказались осмѣяны благодушнымъ авторомъ съ тою злобою, съ какою въ то время относились къ нимъ сверстники его, во всякомъ случаѣ остались не поняты имъ и поставлены въ тѣни и полномъ пренебреженіи.

Поставивъ своего обветшалого героя, представляющаго какую-то неопредѣленную амальгаму Лаврецкаго и Калиновича, между двухъ огней, т. е. между реакціонерами и радикалами, Авдѣевъ не замедлил и самъ встать между тѣхъ-же двухъ огней съ своимъ романомъ, такъ какъ въ то время какъ критики лѣваго лагеря негодовали на Авдѣева за то, что онъ возвелъ въ героя такого пошляка какъ Камышинцевъ, критики праваго лагеря—изъявляли недовольство за слишкомъ мягкое отношеніе къ „нигилистамъ“ со стороны Камышинцева и самого автора.

Провалившись такимъ образомъ на служеніи новымъ зlobамъ дня, оказавшимся и для Авдѣева такою-же terra incognita, какъ и для всѣхъ его сверстниковъ, Авдѣевъ вновь вернулся къ старой темѣ, снискавшей ему наиболѣе лавровъ, именно свободной любви, и написалъ нѣсколько повѣстей въ этомъ родѣ—*Мадалина* (*Дѣло*, 1869 г., № 1), *Сухая любовь* (*Дѣло*, 1870 г., № 10), *Пестренкиная жизнь* (*Отеч. Зап.*, 1870 г., № 1), но эпоха увлеченія вопросомъ о свободной любви давно прошла, и Авдѣевъ снискалъ лишь этими своими произведеніями эпитетъ „спеціалиста по бракоразводнымъ дѣламъ“.

Послѣдняя крупная вещь его—романъ *Въ сороковыхъ годахъ* былъ напечатанъ

въ *Вѣстникъ Европы* за 1876 годъ уже послѣ его смерти. Очень слабый въ художественномъ отношеніи и не задѣвающій уже никакихъ злобъ дня, какъ это явствуетъ и изъ его заглавія, романъ этотъ любопытенъ лишь въ историческомъ отношеніи, такъ какъ въ немъ между прочимъ изображенъ кружокъ Бѣлинскаго и особенно Герценъ.

V.

Такъ какъ романы беллетристовъ сороковыхъ годовъ особенно неотразимое и сильное вліяніе оказали на русскихъ женщинъ, воспитавши цѣлое поколѣніе поборницъ женской эмансипаціи и піонерокъ на пути женской самостоятельности, то нѣтъ ничего мудренаго, что въ русской литературѣ, начиная съ конца сороковыхъ годовъ и до нашего времени, возникъ цѣлы йрядъ женщинъ-писательницъ въ духѣ этой школы. Такъ, въ пятидесятые годы пользовалась извѣстностью романистка, писавшая подъ псевдонимомъ Станицкая, — урожденная Авдотья Яковлевна Брянская (дочь извѣстнаго актера Яв. Брянскаго), а по мужьямъ Панаева и Головачева, обратившая на себя вниманіе романомъ *Семейство Тамниковыхъ*, напечатанномъ въ *Иллюстрированномъ Альманахѣ*, приложенномъ при *Современникѣ* 1848 года, при жизни еще Бѣлинскаго, а затѣмъ написавшая въ сотрудничествѣ съ Некрасовымъ два обширные романа *Три страны свѣта* и *Мертвое озеро*. Позже, въ 60-хъ и 70-хъ годахъ печатались въ разныхъ журналахъ романы Марка Вовчка (Марья Александровна Марковичъ, урожденной Виленской, о которой будетъ рѣчь въ слѣдующей главѣ), Смирновой, Лѣтневой, и пр. Всѣ произведенія этихъ писательницъ представляютъ одинъ и тотъ-же характеръ подражанія тургеневскому жанру, т. е. содержаніе ихъ главнымъ образомъ основано на анализѣ любви, на почвѣ помѣщичьихъ нравовъ.

Изъ всѣхъ-же беллетристокъ послѣднихъ сорока лѣтъ большую самостоятельность выказала, а посему большимъ пользуется почетомъ и наибольшаго заслуживаетъ вниманія Надежда Дмитріевна Хвоцинская, на которой мы и остановимся.

Надежда Дмитріевна Хвоцинская, по мужу Заіончковская, а по псевдониму В. Крестовскій, родилась въ 1825 году 20 мая въ Рязани, гдѣ служилъ ея отецъ сначала по вѣдомству коннозаводства, а затѣмъ окружнымъ начальникомъ по министерству госуд. имущ. Хвоцинская воспитывалась дома, рано обнаружила любовь къ литературѣ и начала писать стихи. Въ *Литературной газетѣ* за 1847 годъ, въ № 38, были помѣщены впервые ея шесть стихотвореній съ надписью полного имени. Затѣмъ стихотворенія ея начали появляться въ *Пантеонѣ*, *Репертуарѣ*, *Отечественныхъ Запискахъ*, а въ 1853 г. въ *Пантеонѣ* (№ 1—3) была напечатана повѣсть ея въ стихахъ *Деревенскій случай*, вышедшая потомъ отдѣльной книгой.

Первое прозаическое сочиненіе Хвоцинской была повѣсть *Анна Михайловна*, напечатанная въ № 6 *Отечественныхъ Записокъ* за 1850 г. и впервые подписанная уже не собственнымъ именемъ Хвоцинская, какъ предыдущія вещи, а псевдонимомъ В. Крестовскій. Подъ обаяніемъ успѣха Хвоцинская въ 1852 г. отправилась въ Петербургъ, и это былъ ея первый выѣздъ изъ Рязани и первое посѣщеніе столицы, гдѣ она встрѣтила самый радушный пріемъ. Вслѣдъ затѣмъ началась непрерывная дѣятельность Хвоцинской. Произведеніе за произведеніемъ печатались преимущественно въ *Отечествен-*

ныхъ *Запискахъ*, иногда и въ другихъ журналахъ: *Пантеонъ*, *Русскомъ Вѣстникъ*, *Вѣстникъ Европы* и пр. Упомянемъ главныя и наиболѣе выдающіяся изъ ея повѣстей и романы: *Сельскій учитель* (1850), *Искушеніе* (1852), *Кто жъ остался доволенъ* (1853), *Испытаніе* (1854), *Послѣднее дѣйствіе комедіи* (1856), *Свободное время* (1856), *Баритонъ* (1861), *Въ ожиданіи лучшаго* (1861) *Два памятныхъ дня* (1868), *Первая борьба* (1869), *Большая медвѣдица* (1870—71), *На вечеръ* (1876), *Альбомъ, группы и портреты* (1874—77) и пр.

Скромная, робкая и застѣнчивая, она до самой смерти сохраняла типъ провинціалки; не любила большого общества, толпы, предпочитая уединеніе и тѣсный кружокъ друзей. Почти всю жизнь прожила она въ Рязани въ небольшомъ домикѣ, доставшемся ей отъ родителей, кормя своими трудами старушку мать и убогую сестру. Когда онѣ померли и Хвоцинская осталась одна, она переѣхала въ Петербургъ, гдѣ и прожила послѣдніе годы своей жизни въ сообществѣ съ г-жою М-ой, съ которою находилась въ тѣсной дружбѣ. Петербургскій климатъ пришелся ей не поутру; она схватила воспаленіе въ легкихъ, которое приняло хроническую форму, но у нея не было средствъ даже и для переѣзда на дачу и послѣдніе два, три года прожила она безвыѣздно въ городѣ, медленно угасая и борясь въ то-же время съ удручающею нуждой. Лишь весной 1889 года она переѣхала на дачу въ Старый Петергофъ, но уже для того только, чтобы помереть—8-го іюня ея не стало; 10-го іюня она была похоронена на старо-петергофскомъ Троицкомъ кладбищѣ.

Литературную дѣятельность Хвоцинской можно раздѣлить на два періода. Первый періодъ обнимаетъ первое десятилѣтіе ея дѣятельности съ 1850 года по 1861 годъ. На всѣхъ произведеніяхъ этого періода отражается съ одной стороны реакція пятидесятыхъ годовъ, съ другой—замкнутая провинціальная жизнь писательницы. Не говоря уже о томъ, что въ нихъ изображаются исключительно одни нравы провинціального бомонда, дѣйствіе не выходитъ изъ семейной сферы и въ то-же время вась поражаетъ узость міросозерцанія автора. Это романы губернскихъ баловъ, пикировъ и усадебныхъ развлеченій. Преобладающими типами являются здѣсь мать семейства въ видѣ коварной интриганки, съ молодую кокетка, а подъ старость суровая ханжа и нервная тиранка, держащая весь домъ въ ежовыхъ рукавицахъ, производящая ежедневно чувствительныя нервныя сцены съ истериками и выдающая дочерей за первыхъ попавшихся соискателей ради поправленія разстроенныхъ финансовъ; добрякъ отецъ, ни во что не входящій, съ молода украшавшійся рогами, а подъ старость выдерживающій ежедневно истерики своей супруги, покоряющійся безусловно ея непоколебимой волѣ и оплакивающій судьбу дочерей, вылавляемыхъ за негодаевъ; типъ изнѣженнаго, избалованнаго селадона съ высокими фразами о чувствахъ, объ обязанностяхъ и воплію несостоятельнаго на дѣлѣ, оказывающагося и коварнымъ другомъ, и безхарактернымъ любовникомъ; типъ сына, обезличеннаго и доведеннаго до послѣдней степени идіотизма подъ гнетомъ материнскаго деспотизма, соединеннаго съ баловствомъ,—словомъ Митрофанушки нашего времени; рядъ молодыхъ дѣвушекъ простыхъ, добрыхъ, способныхъ глубоко и беззавѣтно полюбить, но совершенно обезличенныхъ и доведенныхъ до пассивнаго повиновенія; наконецъ рядъ старыхъ дѣвъ, обездоленныхъ, терпящихъ вѣчныя попреки и поношенія, тщетно ищущихъ любви и участія въ людяхъ.

Главное достоинство всѣхъ этихъ произведеній—задушевная теплота тона и гуманное участіе ко всѣмъ угнетеннымъ и обиженнымъ. Живо и глубоко чувствуя всѣми своими нервами одуряющую ложь пошлой жизни свѣтскаго досуга, постигнувъ всю грязь провинціальныхъ сплетенъ, тщеславія, зависти и мелкой злости, весь давящій и обезличивающій гнетъ семейнаго деспотизма, Хвоцинская изображаетъ эту печальную дѣйствительность во всей ея безобразной наготѣ, не жалѣя красокъ, не жалѣя анализа крайне утонченнаго, подчасъ вполне микроскопическаго. Каждый ея романъ это потрясающая драма, въ концѣ которой у васъ разрывается сердце при видѣ какой-нибудь безответной жертвы этой ужасающей среды, или въ видѣ молодой дѣвушки, судьбою которой родители распоряжаются какъ имъ угодно, тщетно рыдающей у ногъ ихъ въ мольбахъ о счастья; или старой дѣвы, представляющей мишенью для плоскихъ насмѣшекъ высокоумѣрныхъ благодѣтелей, пріотившихъ ее изъ жалости, и праздныхъ селадоновъ, приходящихъ къ нимъ въ гости; или молодой дамы, вдовы, которую какой-нибудь пошлый свѣтскій хлыщъ и волокита позволяетъ себѣ компрометировать безнаказанно въ глазахъ свѣта, и она не знаетъ, куда дѣться ей подъ гнетомъ гнусныхъ клеветъ и сплетенъ, обрушивающихся на нее со всѣхъ сторонъ въ праздномъ, пустомъ обществѣ.

Но при всѣхъ этихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ романовъ Хвоцинской, величайшій недостатокъ ихъ заключается въ томъ, что писательница, не останавливаясь на одномъ отрицаніи, слѣдуетъ успокоить читателей, выводя рядъ свѣтлыхъ явленій, положительныхъ типовъ, но тутъ-то именно и сказывается узость нравственнаго кругозора писательницы. Идеальность положительныхъ типовъ Хвоцинской заключается обыкновенно въ томъ, что писательница надѣляетъ ихъ добродѣтелями въ духѣ прописной морали вродѣ постоянства въ любви и дружбѣ, гуманности къ низшимъ, чести въ денежныхъ расчетахъ. Но изъ-подъ всѣхъ этихъ качествъ такъ и проглядываютъ филистерство, узкая ограниченность мѣщанской посредственности, а подчасъ и жалкая тряпичность. Особенно любила часто Хвоцинская отгнать свѣтскую среду людьми несвѣтскаго покроя, бѣдняками, труженниками. Но всѣ эти бѣдные труженники являются у Хвоцинской въ свою очередь подъ личиною идеальныхъ совершенствъ жалкими пошляками, которые терпятъ тысячу всевозможныхъ оскорбленій со стороны свѣтскихъ хлыщевъ, и не только хлыщамъ проходить все это безнаказанно, но идеальныхъ бѣдняковъ какой-то магнитъ такъ и тянетъ непременно въ ту самую свѣтскую среду, гдѣ имъ нѣтъ мѣста.

Романъ *Большая медведица* стоитъ на рубежѣ второго періода дѣятельности Хвоцинской. Содержаніе этого романа построено уже не на исключительно семейной, а на общественной почвѣ движенія шестидесятыхъ годовъ; является попытка изобразить новую женщину, стремящуюся на путь труда и общественнаго блага. Но тѣмъ не менѣе встрѣчаете вы въ романѣ не мало дореформенной закваски въ видѣ хотябы идеализаціи безкорыстнаго провинціальнаго чиновника, старика Багрянскаго съ его домостроевскою моралью.

Въ дальнѣйшихъ-же своихъ произведеніяхъ Хвоцинская вполне уже встала на новый путь, почти совсѣмъ отрѣшившись отъ всѣхъ своихъ прежнихъ недостатковъ.

Къ наиболѣ выдающимся произведеніямъ этого второго періода ея дѣятельности относятся: *Первая борьба* и *Альбомъ, группы и портреты*.

Главное содержаніе всѣхъ этихъ произведеній заключается въ мрачной картинѣ того паденія нравовъ и общаго опошленія, какія замѣчаются въ русскомъ обществѣ семидесятыхъ годовъ послѣ подъема его въ шестидесятые годы. Преобладающими типами являются здѣсь люди павшіе, не выдержавшіе борьбы за правду, соблазнившіеся матеріальными благами жизни и измѣнившіе горячимъ убѣжденіямъ и порывамъ своей юности. Особенное мастерство проявляетъ при этомъ Хвощинская въ изображеніи двуличныхъ лицемѣровъ, повидимому такихъ безкорыстно честныхъ, гуманныхъ и во всѣхъ отношеніяхъ порядочныхъ при первомъ поверхностномъ знакомствѣ съ ними, а при ближайшемъ съ ними столкновеніи оказывающихся малодушными, подлыми и безсердечно низкими эгоистами.

Надежда Степановна Соханская, извѣстная въ публикѣ подъ псевдонимомъ Кохановской, родилась 17 февраля 1825 г.; умерла въ 1884 г. Она замѣчательна тѣмъ, что это единственная русская писательница, которая была глубоко, до мозга костей, проникнута славянофильскими тенденціями съ примѣсью узкаго фанатичнаго консерватизма въ духѣ допетровскихъ традицій и домостроевской морали. Это сгубило ея талантъ, во всякомъ случаѣ замѣчательный и сильный. Какую-бы повѣсть ея вы ни начали читать (лучшія изъ нихъ *Посль обѣда въ гостяхъ*, *Гайка*), въ каждой васъ поразитъ рядомъ съ глубокимъ знаніемъ народной жизни, воіющія натяжки и искаженія дѣйствительности ради того, чтобы во чтобы ни стало подогнать сюжетъ къ прославленію священной старины и пропитать его запахомъ деревяннаго масла. И чѣмъ болѣе писала она, тѣмъ болѣе и болѣе подливала деревяннаго масла въ свои повѣсти, пока не дописалась наконецъ до *Недавной встрѣчи*, въ которой нѣтъ ни образовъ, ни лицъ, а вы найдете лишь цѣлый потокъ мистическихъ разглагольствованій о суетѣ міра сего въ духѣ *Переписки съ друзьями* Гоголя. Впрочемъ литературная дѣятельность ея длилась не болѣе десяти лѣтъ, въ продолженіе шестидесятыхъ годовъ. Въ теченіи-же семидесятыхъ и восьмидесятыхъ она не являлась въ печати и имя ея было почти забыто.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

I—Преобладаніе беллетристики изъ народнаго быта. Идеалистически-сентиментальное возрѣніе на народъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Марко-Вовчекъ. II—Смѣхотворно-отрицательное отношеніе къ народу. Николай Васильевичъ Успенскій и Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ. III.—Оффиціальное изученіе народнаго быта. Сергѣй Васильевичъ Максимовъ. Григорій Петровичъ Данилевскій. IV—Павель Ивановичъ Мельниковъ. V—Начало объективнаго изученія народнаго быта. Павель Ивановичъ Якушкинъ.

I.

Прямымъ и непосредственнымъ результатомъ демократизаціи русской мысли и тяги къ народу было образованіе втеченіе разсматриваемаго нами періода отдѣльной, самостоятельной отрасли беллетристики изъ народнаго быта, по обширности и своеобразности которой вы не найдете ничего подобнаго въ западныхъ литературахъ. Если появлялись на Западѣ романы и повѣсти изъ народнаго быта, то они или представлялись дѣломъ случая и преслѣдовали тѣ психологическія и художественныя цѣли, какія господствовали въ современной имъ литературѣ, каковы напр. были романы изъ сельской жизни Ж. Зандъ и Дж. Эллиотъ. Если вы и найдете тамъ писателей, спеціально посвятившихъ свою дѣятельность изображенію народнаго быта, каковы напримѣръ Ауэрбахъ и Эркманъ Шатрианъ, то и подобные писатели вовсе не являются объективными и безпристрастными изслѣдователями народнаго быта, а преслѣдуютъ свои особенныя политическія цѣли и сообразно имъ изображаютъ народъ въ томъ видѣ, въ какомъ имъ требуется, то идеализируя его, то напротивъ того изображая въ самыхъ мрачныхъ и грязныхъ краскахъ (напр. „La terre“ Золя).

Совсѣмъ не то мы видимъ у насъ въ Россіи въ послѣднія сорокъ лѣтъ. Не одинъ, не два, а десятки появляются писателей, посвятившихъ свою дѣятельность изображенію народнаго быта, изъ которыхъ многіе представляются чисто сподвижниками: отправляются въ народъ спеціально для изученія его, по цѣлымъ годамъ странствуютъ изъ села въ село, собирая былины, пѣсни, сказки, изучая обряды, весь бытъ народа, стараясь проникнуть въ его экономическія и социальныя основы и постигнуть народную душу и народныя идеалы, подвергаясь при этомъ всякаго рода преслѣдованіямъ и опасностямъ и буквально жертвуя жизнью своимъ.

Вслѣдствіе этого стремленія къ изученію народнаго быта, увлекшаго можно сказать всю интеллигенцію, беллетристика этого рода втеченіе сорока лѣтъ своего существованія успѣла пережить цѣлую исторію, вмѣщающую въ себѣ нѣсколько фазъ развитія. Такъ первая фаза относится къ концу сороковыхъ годовъ и началу пятидесятыхъ, и представителями ея являются тѣ самые беллетристы сороковыхъ годовъ, дѣятельность которыхъ мы разсматривали въ предыдущихъ главахъ. Мы видѣли, что всѣ они заплатили свою ленту разсказамъ изъ народнаго быта. Во главѣ ихъ слѣдуетъ поставить Тургенева съ его *Записками охотника*. За нимъ слѣдуетъ Григоровичъ, дѣятельность котораго только что была разсмотрѣна нами въ предыдущей главѣ. Гр. Л. Толстой, не говоря уже о крестьянахъ, мѣщанахъ и прочихъ лицахъ изъ низшихъ слоевъ общества, которыхъ вы найдете во всѣхъ его произведеніяхъ, особенно въ *Севастопольскихъ разсказахъ*, *Казакахъ* и *Войнѣ и мирѣ*, написалъ два произведенія специально изъ народнаго быта—*Полкушка* и *Власть тѣмы*. У Достоевскаго масса типовъ изъ народной среды выведена въ самомъ лучшемъ и здоровомъ произведеніи его *Запискахъ изъ мертваго дома*. Гончаровъ, никогда не касавшійся крестьянскаго быта, такъ какъ не имѣлъ возможности изучить его, тѣмъ не менѣе въ своихъ произведеніяхъ изобразилъ нѣсколько типовъ дворовыхъ слугъ, а во *Фрегатѣ Паллада*—матросовъ.

Первый починъ въ изученіи народнаго быта принадлежалъ такимъ образомъ писателямъ изъ помѣщичьяго класса, и это было какъ нельзя болѣе естественно. Въ интеллигенціи сороковыхъ годовъ, главнымъ образомъ сосредоточивавшейся въ дворянскомъ классѣ, помѣщики ближе всего стояли къ народу. Но близость эта была чисто внѣшняя и къ тому-же рабовладѣльческая; помѣщики не имѣли возможности войти во внутреннія условія народнаго быта, проникнуть въ душу народа и его идеалы. Ихъ отдѣляла отъ народа цѣлая бездна того недовѣрія и затаенной вражды, которую питали крестьяне къ барамъ, не исключая и самыхъ гуманнѣйшихъ изъ нихъ.

Это отразилось и въ большинствѣ произведеній изъ народнаго быта беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Характеры, типы и эпизоды, выводимые въ этихъ произведеніяхъ, носятъ слишкомъ конкретный характеръ; все это имѣетъ видъ случайно подмѣченнаго и схваченнаго изъ жизни. *Касьянъ изъ Красивой Мечи*, *Хоръ*, *Калинничъ*, *Яковъ рядчикъ* и пр., и пр. стоятъ одиноко передъ вами, вовсе не составляя какихъ-либо собирательныхъ типовъ, въ которыхъ мы видѣли-бы представителей народныхъ массъ. Изображаются подобныя конкретныя характеры преимущественно съ ихъ психологической стороны и въ ихъ личной жизни. До такой степени беллетристы сороковыхъ годовъ были мало еще знакомы съ внутренними условіями народной жизни, что въ произведеніяхъ ихъ вы не видите и слѣда той мірской, общинной жизни, какую живетъ нашъ народъ. Главное общественное значеніе этихъ произведеній заключалось или въ изображеніи тѣхъ страданій и невзгодъ, какія выносить народъ подъ гнетомъ крѣпостнаго права не только отъ дурныхъ, но и отъ хорошихъ помѣщиковъ, или-же въ выведеніи симпатичныхъ и положительныхъ типовъ крестьянъ съ цѣлью убѣдить читателей, что мужики представляютъ собою вовсе не двуногія вьючныя скоты, почти что не имѣющія образа и подобія человѣческаго, а—такіе-же люди, какъ и мы, также чувствуютъ, мыслятъ, страдаютъ отъ обидъ и лишеній и стремятся къ лучшему, а

встрѣчаются между ними и такіа идеальныя личности, подобныхъ которымъ вы не встрѣтите въ интеллигентныхъ классахъ.

Къ беллетристамъ сороковыхъ годовъ по характеру рассказовъ изъ народнаго быта примыкаетъ и Марко-Вовчокъ (М. А. Марковичъ), о которой мы упоминали въ предыдущей главѣ. Рассказы ея появились впервые въ 1859 году на малороссійскомъ языкѣ и тотчасъ-же были переведены самимъ авторомъ на русскій языкъ и напечатаны въ лучшихъ и наиболѣе распространенныхъ тогдашнихъ журналахъ. Въ томъ-же 1859 году другая коллекція украинскихъ рассказовъ М. Вовчка была переведена И. С. Тургеневымъ, издана отдѣльною книжкою и удостоилась весьма лестнаго отзыва Добролюбова, который посвятилъ въ *Современникъ* этимъ рассказамъ цѣлую статью.

Рассказы М. Вовчка наиболѣе подкупили и критику, и публику тѣмъ, что явились въ такое время, когда всѣ умы были увлечены предстоящей крестьянской реформой, они вполне удовлетворяли злобѣ дня, такъ какъ содержаніе большинства ихъ было посвящено изображеніямъ страданій крѣпостныхъ подъ гнетомъ помѣщиковъ. Къ тому-же, пользуясь свободой тогдашней цензуры, М. Вовчокъ не пожалѣла самыхъ мрачныхъ красокъ для угнетателей и самыхъ яркихъ для угнетенныхъ и по силѣ и рѣзкости протеста превзошла все, что до того времени появлялось въ этомъ родѣ. Многіе видѣли въ ней русскую Бичеръ-Стоу, и сочиненія ея выдержали втеченіе шестидесятихъ годовъ три изданія.

Но слава М. Вовчка закатилась съ такою-же быстротою, съ какою и разгорѣлась. Если въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ смотрѣли сквозь пальцы на слабыя стороны ея рассказовъ благодаря отчасти ихъ политическому содержанию, отчасти тому, что народный бытъ былъ еще въ то время мало извѣстенъ, то десять, пятнадцать лѣтъ спустя, они утратили всякое обаяніе, и тогда выступили наружу существенныя ихъ недостатки: самое поверхностное знаніе народнаго быта, при полномъ отсутствіи живыхъ, реальныхъ красокъ въ изображеніяхъ его, довольство одними общими, стереотипными чертами, какія только можно узнать изъ чтенія народныхъ пѣсенъ и сказокъ, и выходящая изъ всѣхъ предѣловъ плаксивая сентиментальность. Нельзя отказать Марко Вовчку въ талантѣ, но это талантъ крайне субъективный, болѣе лирическій, чѣмъ эпическій, обнаруживающій подчасъ способность къ очень тонкому психическому анализу, но стоящій въ то-же время всецѣло на романтической почвѣ вымысла. Поэтому самыми лучшими, и теперь еще неутраченными своего значенія, являются сказки Марко Вовчка, — таковы: *Сказка о девяти братьяхъ разбойникахъ и о десятой сестрицѣ Галь, Невольница, Медведь, Кармелюкъ, Маруся* и т. п. Благодаря тому, что это сказки, — вы не требуете отъ нихъ живого и реального изображенія народнаго быта и миритесь съ ихъ сентиментальностью, подобно тому какъ не ставите вы въ вину тѣхъ-же качествъ *Ундинѣ* Жуковскаго. Въ то-же время вы не можете не признать неотъемлемаго ихъ достоинства: того гуманнаго и демократическаго духа, которымъ онѣ проникнуты.

М. Вовчокъ впрочемъ и сама повидимому со временемъ сознала, что изображеніе народнаго быта вовсе не ея дѣло. Втеченіе шестидесятихъ и семидесятихъ годовъ она написала нѣсколько повѣстей и романовъ изъ интеллигентныхъ слоевъ общества, но

произведенія эти, нынѣ почти забытыя, ничѣмъ не выдѣляются изъ уровня посредственности. Самыя лучшія изъ нихъ являются *Записки причетника*, поразившія публику такимъ значіемъ быта сельскаго духовенства, какого трудно было ожидать отъ женщины дворянскаго класса, равно какъ и такую объективностью, какой въ прежнихъ ея разсказахъ не замѣчалось.

II.

Въ противовѣсъ идеалистически-сентиментальному воззрѣнію на народъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, во второй половинѣ пятидесятихъ годовъ явились беллетристы, выразившіе совершенно противоположное отношеніе къ нему, которое мы назовемъ смѣхотворно-отрицательнымъ. Мы не можемъ иначе объяснить это страшное отношеніе къ мужику въ такую эпоху, когда тяга къ народу и сочувствіе ему были всеобщими, какъ послѣднюю отрыжкою вѣками укоренившася въ помѣщичьемъ кругу высокоумно-презрительнаго взгляда на народъ, совершенно аналогичнаго воззрѣнію на крестьянъ польскихъ пановъ, какъ на *исовое быдло*.

Въ то время какъ на сценѣ Александринскаго театра представителемъ такого отношенія къ народу выступилъ Иванъ Федоровичъ Горбуновъ, потѣшавшій публику своими смѣхотворными разсказами изъ народнаго быта, въ литературѣ мы видимъ двухъ беллетристовъ, подвизавшихся на томъ-же поприщѣ: Николая Васильевича Успенскаго и Василія Алексѣевича Слѣпцова.

Николай Васильевичъ Успенскій родился въ 1837 году въ тульской губерніи, въ ефремовскомъ уѣздѣ. У его дѣда, сельскаго дьячка чернскаго уѣзда, было три сына, изъ которыхъ у сына Василія Яковлевича, священника въ ефремовскомъ уѣздѣ, родился Николай, о которомъ идетъ у насъ рѣчь, а у сына Ивана, секретаря палаты государственныхъ имуществъ, родился Глѣбъ, сдѣлавшійся впоследствии еще болѣе знаменитымъ изобразителемъ народнаго быта.

Н. Успенскій воспитывался въ тульской семинаріи и затѣмъ въ концѣ пятидесятихъ годовъ былъ въ медико-хирургической академіи, откуда перешелъ въ с.-петербургскій университетъ, но курса тамъ не кончилъ. Этимъ Н. Успенскій былъ обязанъ конечно тому литературному успѣху, какой онъ приобрѣлъ, будучи еще въ академіи. Втеченіе 1857—58 гг. была напечатана въ *Современникѣ* цѣлая серія его разсказовъ: *Поросянокъ*, *Хорошее житье*, *Сцена изъ сельскаго праздника*, *Грушка*, *Змѣй*, и популярность его столь быстро возросла, что когда въ 1861 г. были изданы Некрасовымъ 24 его разсказа отдѣльнымъ изданіемъ въ 2-хъ томахъ, Чернышевскій написалъ въ *Современникѣ* весьма лестную для автора статью—*Не начало-ли перемѣны*, въ которой указалъ на ту особенность разсказовъ Н. Успенскаго, что между тѣмъ какъ до того времени народъ изображался въ идеализованномъ видѣ ради возбужденія сочувствія къ нему, Н. Успенскій первый началъ писать о народѣ правду безъ всякихъ прикрасъ.

Но это было заблужденіе, не замедлившее въ скоромъ времени обнаружиться. *Изображеніе безъ прикрасъ* подъ перомъ Н. Успенскаго оказалось изображеніями, жлобо того что весьма поверхностными и случайными, но къ тому-же и пересоленными

въ противоположную сторону. Однимъ словомъ вся философія этихъ разсказовъ выразилась въ слѣдующихъ словахъ *Деревенскихъ писемъ* его.

«Бѣдность и невѣжество русскаго крестьянина привели его къ тому, что онъ очень часто не цѣнитъ своего собственнаго труда, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не цѣнитъ и чужого труда; онъ не имѣетъ понятія ни о правахъ собственныхъ, ни о правахъ другой личности. Для него условій и законовъ гражданской жизни не существуетъ».

Въ силу этого возрѣнія въ разсказахъ Н. Успенскаго народъ представляется въ невообразимо безобразномъ видѣ; каждый мужикъ непремѣнно или воръ, или пьяница, или такой дуракъ, какихъ и свѣтъ не производилъ; каждая баба такая идиотка, это ума помраченіе. Вообще очерки Н. Успенскаго это случайно схваченныя изъ жизни сценки и анекдотики въ видѣ какого-нибудь разговора на постояломъ дворѣ, разсказа проѣзжаго мужика, купца или бабы. Словомъ все, что удавалось Н. Успенскому мелькомъ увидѣть или услышать, все это онъ такъ и передавалъ, въ томъ сыромъ и конкретномъ видѣ, въ какомъ оно представлялось глазамъ его, съ единственною цѣлью показать, какъ русскій мужикъ невѣжественъ, дикъ, смѣшонъ, какъ онъ загнанъ и забитъ, какъ тонетъ въ грязи невѣжества, суевѣрій, пошлости. Забитость, тупоуміе, отсутствіе всякаго человѣческаго образа и подобія въ герояхъ Н. Успенскаго одурачиваютъ васъ, когда вы читаете его очерки. Вы видите передъ собою людей, которые въ жизни своей ничѣмъ болѣе не руководствуются, какъ только грубою, скотскою чувственностью, ни къ чему не стремятся, какъ лишь нажать копѣйку или спустить ее въ кабакъ; да и въ этихъ стремленіяхъ что шагъ ступать, то сдѣлаютъ какую-нибудь невообразимую глупость.

При такомъ характерѣ разсказовъ понятно, что популярность Н. Успенскаго не могла быть продолжительна. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ онъ былъ совсѣмъ уже забытъ. И затѣмъ въ продолженіе по крайней мѣрѣ двадцати лѣтъ велъ ужасающую жизнь крайней нищеты и безиробуднаго пьянства. Случалось ему зачастую почевать въ ночлежныхъ домахъ Москвы и Петербурга, случалось собирать подаваніе, играя на гармоникѣ и забавляя разсказами народныхъ сценъ публику въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ. Въ его бездомныхъ скитаніяхъ сопутствовала ему дочь, десятилѣтняя дѣвочка, которую онъ переодѣвалъ иногда въ костюмъ мальчика и заставлялъ плясать подъ звуки гармоники. Наконецъ въ 1889 г. 26 октября онъ зарѣзался въ Москвѣ, не въ силахъ будучи выносить долѣе подобную жизнь.

III.

Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ принадлежалъ къ древнему дворянскому роду. Отецъ его, Алексѣй Васильевичъ, былъ помѣщикъ и владѣлъ 1,500 десятинами земли и 250 душъ саратовской губ., сердобскаго уѣзда. Онъ служилъ въ харьковскомъ уланскомъ полку, дѣлалъ турецкую и польскую кампаніи. Въ бытность свою въ гродненской губерніи женился на дочери древней польской фамиліи, Жозефинѣ Адамовнѣ Вельбутовичъ-Поклонской. Впослѣдствіи онъ перешелъ въ новороссійскій драгунскій полкъ въ Воронежѣ, гдѣ и родился первенецъ Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ, въ

1836 г. 17 июля. Спустя годъ по его рожденіи, отецъ его вышелъ въ отставку и уѣхалъ къ родителямъ со своимъ семействомъ въ Москву, гдѣ былъ зачисленъ въ московскую комиссаріатскую комиссію.

Слѣпцовъ былъ любимцемъ всей семьи, особенно матери, для которой оставался кумиромъ до смерти. Съ ранята дѣтства выказывалъ онъ большія умственные способности. Нрава всегда былъ кроткаго и тихаго, сердца мягкаго, такъ что не могъ выносить, когда его сверстники мучили животныхъ или мухъ.

Всегда съ дѣтства онъ былъ красивъ; постоянно занятъ былъ разнаго рода издѣліями, и впоследствии, бывши уже писателемъ, изучалъ столярное и слесарное ремесла. Самъ выучился пяти лѣтъ читать; былъ набоженъ въ дѣтствѣ и семи лѣтъ собирался въ монастырь, надъ чѣмъ впоследствии смѣялся. Когда ему минуло 8 лѣтъ, родители въ Москвѣ взяли къ себѣ гимназиста 5-го класса готовить его въ гимназію. Но гимназистъ не умѣлъ пріохотить мальчика къ наукамъ, особенно къ латыни, такъ что тотъ плакалъ, заучивая латинскую грамматику. Родители перемѣнили учителя и взяли студента Апурина, который такъ хорошо преподавалъ, что латынь стала любимымъ занятіемъ Слѣпцова. Французскимъ языкомъ занималась съ нимъ мать, а нѣмецкимъ бабка по матери. Десяти лѣтъ Слѣпцовъ поступилъ во 1-й классъ 1-й московской гимназіи. Спустя 1½ года, отецъ Слѣпцова получилъ въ наслѣдство имѣніе въ саратовской губ. въ сердобскомъ уѣздѣ, деревню Александровку или Дубовку, и семейство переѣхало туда, взявши съ собою и Василія Алексѣевича. Затѣмъ его помѣстили въ дворянскій институтъ въ Пензѣ, по окончаніи курса въ которомъ отвезли юношу въ Москву. Въ это время была крымская кампанія, и родные посоветовали помѣстить Слѣпцова въ одинъ изъ полковъ дѣйствующей арміи. Василій Алексѣевичъ было согласился, купилъ программу и началъ готовиться въ полкъ, но попалъ въ общество студентовъ, перемѣнилъ свое намѣреніе и сталъ готовиться въ московскій университетъ, гдѣ и выдержалъ экзаменъ на медицинскій факультетъ.

Но скорѣе знакомство съ профессорами Китарой и Далемъ отвлекло его далеко отъ медицины. Ему было предложено отъ этнографическаго отдѣла Императорскаго географическаго общества пойти путешествовать съ котомкой во Владимірѣ на Клязьмѣ для описанія тамошнихъ фабрикъ и строящейся въ то время французами желѣзной дороги. Слѣпцовъ съ удовольствіемъ принялъ предложеніе профессоровъ и отправился. Это и положило начало его ознакомленію съ народнымъ бытомъ.

Писать онъ началъ рано, еще въ пензенскомъ пансіонѣ, сначала конечно ужъ стихами. Затѣмъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ онъ сотрудничалъ въ *Русской Ръчи* у графини Е. В. Салліасъ, потомъ въ *Сверстой пчелѣ* и *Атенелѣ*. Въ это время онъ женился въ Москвѣ на Языковой, имѣлъ отъ нея сына, который умеръ, и дочь Валентину. Но онъ не сошелся характеромъ съ женою и разстался съ нею. Въ то-же время онъ получилъ наслѣдство послѣ отца, но такъ какъ никогда не любилъ деревенскаго хозяйства, то и продалъ имѣніе своему брату, а самъ уѣхалъ въ Петербургъ.

По пріѣздѣ въ Петербургъ начался полный расцвѣтъ его литературной дѣятельности. Онъ сошелся съ кружкомъ *Современника*, куда былъ приглашенъ въ постоянные сотрудники съ обязательствомъ писать исключительно въ этомъ журналѣ, а послѣ ареста Чернышевскаго съ 1864 года до закрытія *Современника* въ 1866 году

раздѣлялъ соизданіе и соредакторство *Современника* съ Н. А. Некрасовымъ, Г. З. Елисеѣвымъ, М. А. Антоновичемъ, А. И. Пыпинымъ и Ю. Г. Жуковскимъ. Популярность его въ передовыхъ кружкахъ шестидесятыхъ годовъ во все это время была очень велика, и особенно много поклонницъ имѣлъ онъ среди женщинъ. Этимъ былъ обязанъ Василій Алексѣевичъ прежде всего, конечно, своей весьма счастливой наружности. „Наружность Слѣпцова, говоритъ г-жа Головачева въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ, была очень эффектная и отличалась изяществомъ; у него были великолѣпные черные волосы, небольшая борода, тонкія и правильныя черты лица; когда онъ улыбался, то видны были необыкновенной бѣлизны зубы. Цвѣтъ лица былъ матово-блѣдный. Онъ былъ высокъ, строенъ и одѣвался скромно, но тщательно“. Всѣ оставшіеся послѣ него портреты не передаютъ и въ сотой долѣ его красоты, замѣчательной всѣмъ ансамблемъ стройно-изящной, гибкой фигуры его, непередаваемо игрою души въ тонкихъ чертахъ его лица, остроуміемъ, гениальнымъ умѣньемъ во время насмѣшки, во время заставить заплакать, незамѣтно вкрасться въ душу собесѣдницы и сразу покорить сердце ея задушевнѣйшимъ тономъ рѣчи.“

Ко всему этому онъ былъ до мозга костей артистъ, и эта артистическая жилка проявлялась въ немъ во всѣхъ мелочахъ его жизни: и въ одеждѣ, и въ томъ комфортѣ, которымъ онъ себя окружалъ, и въ страсти ко всевозможнымъ изящнымъ вещичкамъ. Случалось, что, идя мимо Милютинныхъ завокъ, онъ вдругъ увлекался какии-нибудь необыкновенно изящнымъ яблочкомъ и покупалъ его, но не для того чтобы тотчасъ съѣсть, а положить на письменный столъ и любоваться его красотой.

«Надо замѣтить, говоритъ г-жа Головачева, что и въ мелочахъ онъ способенъ былъ увлекаться. Онъ придумалъ заказать токарю для своего письменнаго стола березовые подсвѣчники, покрытые лакомъ, носился съ своимъ изобрѣтеніемъ, показывая короткимъ знакомымъ эти подсвѣчники, и былъ очень доволенъ, если кто-нибудь просилъ его заказать такіе-же подсвѣчники или канделябры. Слѣпцовъ самъ давалъ токарю рисунки и слѣдилъ за его работой, а когда токаръ взялся въ лѣтнемъ помѣщеніи приказничьяго клуба украсить танцевальное зало люстрами изъ березы, то Слѣпцовъ до такой степени былъ озабоченъ, какъ будто самъ взялъ этотъ заказъ. Каждый день онъ бѣгалъ къ токарю, наблюдать за его работой, давалъ совѣты, дѣлалъ рисунки».

Будучи артистомъ на всѣ руки, онъ былъ и хорошимъ актеромъ, и режиссеромъ, и великолѣпно пѣлъ народныя пѣсни подъ аккомпаниментъ балалайки. Страсть собирать народныя пѣсни и наблюдать народныя нравы соединялась въ немъ съ умѣньемъ сближаться съ народомъ.

«Гдѣ-бы Слѣпцовъ ни поселялся въ меблированной квартирѣ, говоритъ г-жа Головачева, прислуга чувствовала къ нему особенное расположеніе и всѣми силами старалась угодить ему. Вообще у Слѣпцова въ голосѣ было что-то ласкающее, такъ-что люди изъ простаго класса изъ самыхъ мрачныхъ и молчаливыхъ дѣлались съ нимъ разговорчивыми до откровенности. Я очень любила слушать, когда Слѣпцовъ бесѣдовалъ съ кѣмъ-нибудь изъ этого класса людей; съ каждымъ изъ нихъ у него былъ особенный слогъ, который совпадалъ съ языкомъ какого-нибудь мастерового, мужика-рабочаго или торговки-бабы. Онъ такъ умѣлъ шутить съ ними, что они отъ души смѣялись».

Вотъ эти то всѣ качества и привлекали къ Слѣпцову толпы женщинъ. Молва о

немъ, какъ о писателѣ, стоявшемъ во главѣ женскаго вопроса, покровителѣ женщинъ, принимавшемъ горячее участіе въ пріисканіи имъ работы и помогающемъ устраиваться, — далеко распространилась по всѣмъ провинціямъ, и къ Слѣпцову являлись постоянно массы искательницъ новыхъ путей, но многія изъ нихъ, познакомившись съ нимъ, безумно влюблялись въ него. Такимъ образомъ сердечные романы его не прекращались.

«Всѣ они, по словамъ г-жи Головачевой, были кратковременные и оканчивались всегда неприятнымъ для него образомъ.—Онъ не могъ выносить ревности, а ему попадались именно женщины очень ревнивыя. Слѣпцовъ не хотѣлъ притворяться и обманывать и выводилъ женщинъ изъ себя тѣмъ, что сохранялъ полное хладнокровіе въ бурныхъ сценахъ ревности. Онъ былъ такъ набалованъ побѣдами, что едва успѣвалъ покончить романъ съ одной женщиной, какъ являлись другія въ него влюбленныя. Слѣпцовъ не придавалъ большого значенія скоровоспалительной любви въ женщинахъ и имѣлъ неосторожность всегда это высказывать, чѣмъ конечно женщины оскорблялись и считали его за самаго сухого эгоиста».

Трудно рѣшить, любилъ-ли онъ хотя одну изъ тѣхъ многочисленныхъ женщинъ, которыя добивались его благосклонности, но при всемъ томъ далеко нельзя было назвать его сухимъ эгоистомъ, какъ это дѣлалось въ понятномъ раздраженіи отвергнутой имъ любовницы. Онъ искренно и беззавѣтно увлекался женскимъ вопросомъ, и это тѣмъ болѣе увеличивало его привлекательность и популярность среди женщинъ. Самъ не зная, куда преклонить голову, ютясь по меблированнымъ комнаткамъ и не имѣя гроша за душою, онъ вѣчно хлопоталъ объ устройствѣ нуждающихся женщинъ и о доставленіи имъ работы. Знаменитая знаменская коммуна была одною изъ попытокъ въ этомъ родѣ, имѣвшей цѣлью устроить дешевое общежитіе. Не ограничиваясь этимъ, Слѣпцовъ устраивалъ въ пользу женщинъ музыкально-литературные вечера, спектакли, публичныя лекціи и т. под. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ втеченіе двухъ лѣтъ онъ занимался устройствомъ любительскихъ спектаклей въ художественномъ клубѣ. Но въ началѣ семидесятыхъ годовъ здоровье его было такъ уже разстроено и силы надорваны, что онъ принужденъ былъ совсѣмъ оставить литературную дѣятельность, и уѣхалъ лечиться на Кавказъ; послѣдніе годы жизни онъ проживалъ то на Кавказѣ, то на родинѣ близъ Сердобска, тщетно борясь съ болѣзью и медленно угасая. Въ 1878 году 23 марта онъ покончилъ со своею жизнью въ Сердобскѣ, на рукахъ у нѣжно любимой матери. Похоронили его въ Сердобскѣ-же на городскомъ кладбищѣ.

Какъ писатель талантливый, Слѣпцовъ далекъ отъ высказыванья такихъ пошлостей, до какихъ додумывался порою Н. Успенскій. Отношеніе его къ народу гуманнѣе по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что въ очеркахъ его на первомъ планѣ стоитъ не безцѣльное обличеніе пресловутаго „невѣжества мужика“, какъ у Н. Успенскаго, а стремленіе показать, въ какихъ отношеніяхъ стоитъ къ крестьянину нашему администрація, совершенно чуждая его быту. Но въ очеркахъ Слѣпцова вы видите тоже отсутствіе типовъ и психическаго анализа, какъ и у Н. Успенскаго, тоже ограниченіе случайными сценами, мелькомъ схваченными на большой дорогѣ. Отношеніе администраціи къ быту крестьянина — это громадный вопросъ, требующій глубокаго изученія народнаго быта; не забудьте, что этимъ отношеніемъ обуславливается не одно ко-

мическое, но и глубоко трагическое въ жизни крестьянина. Слѣпцовъ ограничился одною комическою стороною; да и для нея онъ выбиралъ постоянно такіе рѣдкіе, случайные факты, которые имѣютъ почти анекдотическій характеръ: то онъ выставилъ мужика, который заплатилъ деньги писарю, чтобы его поскорѣе высѣкли (см. рассказъ *Почлегъ*); то изображалъ, въ какой просакъ попались крестьяне при встрѣчѣ высокой особы вслѣдствіе того, что свиньи испугали лошадей этой особы (рассказъ *Свиньи*); то, какъ крестьяне пьянаго приняли за мертваго и что изъ этого вышло. Все это преисполнено комизма; вы хохочете, читая повѣсти Слѣпцова; при мастерскомъ чтеніи на литературныхъ вечерахъ Слѣпцовъ производилъ фуроръ не сколько не менѣ Горбунова, но кромѣ смѣха ничего изъ этихъ рассказовъ вы не выносите. Факты, выставляемые Слѣпцовымъ, слишкомъ мелочны и случайны, чтобы заставить васъ серьезно задуматься надъ ними, тѣмъ болѣе, что гоняясь за комизмомъ, Слѣпцовъ впадаетъ на каждомъ шагу въ утрировку и шаржъ, вслѣдствіе чего очерки его еще болѣе теряютъ значеніе истинныхъ фактовъ народной жизни. Такую утрировку видите вы напримѣръ въ рассказѣ *Свиньи*, гдѣ Слѣпцовъ заставляетъ крестьянъ вѣрить, что будутъ ѣздить на людяхъ, и рассказываетъ, какъ подъ влияніемъ этихъ слуховъ бабы начали бить горшки и всякую посуду. Столь-же утрирована въ *Мертвоиъ тѣлѣ* сцена, гдѣ мужики въ первый разъ увидѣли мнимаго мертвеца воскресшимъ и явившимся къ нимъ среди дороги и не рѣшаются подойти къ нему.

Главное зло смѣхотворно-отрицательныхъ очерковъ изъ народнаго быта заключалось въ томъ, что они представляли собою обоюдоострое оружіе, появляясь въ самую роковую минуту освобожденія крестьянъ. Они имѣли цѣлью внушить читателямъ, до какого печальнаго положенія былъ доведенъ мужикъ крѣпостнымъ правомъ. Но факты, выставляемые ими, могли служить въ то-же время и отличными доказательствами необходимости того-же самаго крѣпостнаго права. Приверженцы крѣпостничества на такіе именно факты и опирались въ своихъ доводахъ въ пользу крѣпостнаго права, и смѣхотворно-отрицательные очерки доставляли отличный матеріалъ для нихъ. Читая эти очерки, они еще болѣе убѣждались, что предоставленные самимъ себѣ крестьяне погибнуть отъ своей глупости, чуть не съѣдятъ другъ друга. „О какомъ-же тутъ народномъ самоуправленіи толкуете вы, имѣли полное право они возразить, прочитавши рассказъ Н. Успенскаго *Хорошее житье*, коли вы сами ничего не видите въ мірской сходкѣ, кромѣ взаимнаго разоренія крестьянъ посредствомъ оптіи другъ друга?“

Нѣтъ ничего мудренаго, что при всеобщемъ все болѣе и болѣе возраставшемъ стремленіи къ народу подобное чисто барское отношеніе къ нему свысока не могло имѣть прочнаго успѣха, и смѣхотворно-отрицательные очерки лишь мелькнули въ литературѣ нашей, быстро смѣнившись рассказами изъ народнаго быта, болѣе серьезными и правдиво-безпристрастными.

Въ то время, какъ Н. Успенскій, какъ мы говорили, быстро утратилъ свою популярность и сошелъ съ литературнаго поприща, почти всѣми забытый, Слѣпцовъ-же обратился къ болѣе свойственному его таланту изображенію интеллигентнаго быта и написалъ повѣсть *Трудное время* (1865), которая представляется его шедевромъ и

въ свое время надѣлала не мало шума. Въ повѣсти этой превосходно изображенъ въ лицѣ героя ея Щегинина новый народившійся типъ пореформеннаго помѣщика-пріобрѣтателя буржуазнаго склада; съ большою глубиною и захватывающимъ самыя живыя современныя струны интересомъ развитъ романъ героини повѣсти Марьи Николаевны; наконецъ съ блестящимъ юморомъ изложены сцены земскаго собранія, этого въ то время еще новаго и едва народившагося явленія нашей жизни. Вообще эта повѣсть составляетъ весьма цѣнный вкладъ въ сокровищницу нашей литературы и заставляетъ сожалѣть о преждевременной уtratѣ весьма недюжиннаго таланта въ лицѣ В. А. Слѣцова.

III.

Въ сторонѣ отъ этихъ двухъ взаимно противоположныхъ и уничтожающихъ другъ друга отношеній къ народу — сентиментально-идеалистическаго и смѣхотворно-отрицательнаго, на той-же дворянской почвѣ мы видимъ особенное отношеніе — административно-бюрократическое. Нужно-ли говорить о томъ, что правительство всегда было заинтересовано въ наиболѣе точномъ и всестороннемъ изученіи народныхъ массъ, подлежащихъ его управленію, и эта потребность особенно сдѣлалась существенною въ пятидесятые и шестидесятые годы, когда массы эти начали давать чувствовать себя и когда возникъ и назрѣлъ цѣлый рядъ вопросовъ, касающихся ихъ благосостоянія. Не наше дѣло говорить о всѣхъ тѣхъ официальныхъ и неофициальныхъ обществахъ, комиссияхъ, экспедиціяхъ и командировкахъ, какія возникали въ различныя времена, существуютъ и нынѣ съ цѣлью изученія народа съ разныхъ его сторонъ, интересующихъ администрацію въ тѣхъ или другихъ правительственныхъ видахъ. Мы упомянемъ лишь о тѣхъ фактахъ этого рода, которые отразились такъ или иначе въ литературѣ. Наибольшую энергію въ собираніи этнографическихъ свѣдѣній оказало послѣ крымской кампаніи морское министерство, пригласившее къ содѣйствию ему въ этомъ отношеніи нѣсколько извѣстныхъ въ то время литераторовъ и устроившее нѣсколько командировокъ на окраины Россіи. Такъ въ то время какъ Гончаровъ былъ отправленъ въ кругосвѣтное плаваніе на фрегатѣ Паллада, Писемскій былъ посланъ въ Астрахань на побережье Каспійскаго моря и результатомъ этого путешествія были *Путевыя очерки* его, — въ неизмѣримой степени плодотворнѣе были командировки извѣстнаго беллетриста и этнографа Сергія Васильевича Максимова и Григорія Петровича Данилевскаго.

Сергій Васильевичъ Максимовъ родился въ 1831-году, въ посадѣ Парфентьевѣ костромской губерніи, вологровскаго уѣзда. Отецъ его былъ почтмейстеромъ. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ мѣстномъ народномъ училищѣ; изъ высшихъ заведеній былъ въ московскомъ университетѣ и медико-хирургической академіи. Первые его этнографическіе очерки обратили на себя вниманіе въ литературныхъ сферахъ, и ободренный этимъ успѣхомъ Максимовъ отправился для собиранія матеріала странствовать пѣшкомъ по владимірской и вятской губерніямъ, и результатомъ этихъ странствій былъ рядъ очерковъ, напечатанныхъ въ *Библіотекѣ для чтенія*, въ 1871-мъ-же году изданныхъ отдѣльно, подъ общимъ заглавіемъ *Льсная глушь*. Послѣ крымской кампаніи онъ былъ командированъ морскимъ министерствомъ на сѣверъ

Европейской Россіи, и результатомъ этого путешествія была извѣстная книга его *Годъ на сѣверъ*, заключающая массу драгоценныхъ свѣдѣній о народной жизни прибрежій Вѣлаго моря и Печорскаго края, — не только этнографическихъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, но социальна-политическихъ и психологическихъ. Полученная, полубеллетристическая книга эта представляется весьма почтеннымъ вкладомъ въ дѣло изученія народной жизни, и у каждаго интересующагося этимъ предметомъ она должна занимать первое мѣсто. Географическое общество удостоило этотъ трудъ малой золотой медали. Вслѣдъ затѣмъ онъ исполнилъ еще двѣ командировки отъ морского министерства; 1) въ Сибирь и на Амуръ, результатомъ чего были сочиненія его *На востокъ и Сибирь и каторга* и 2) въ 1862 году по Уралу и берегамъ Каспійскаго моря. Съ 1868 года онъ объѣхалъ по порученію географическаго общества семь губерній: псковскую, смоленскую, моголевскую, витебскую, виленскую, гродненскую и минскую, результатомъ чего была извѣстная книга его *Бродячая Русь*. Изъ позднѣйшихъ работъ его заслуживаютъ вниманія множество очерковъ и описаній, помѣщенныхъ въ *Животисной Россіи*, изданіи Вольфа, статья *Наше двупуріе* въ шестомъ томѣ *Нови* и пр.

Григорій Петровичъ Данилевскій родился 14 апрѣля 1829 года въ имѣніи своей тетки по отцу Анны Ивановны Антоновой, въ селѣ Даниловкѣ изюмскаго уѣзда харьковской губерніи. Дѣтскіе годы онъ провелъ частью въ змѣевскомъ имѣніи дѣда, селѣ Припидѣ близъ Донца, частью въ смежномъ отцовскомъ имѣніи, селѣ Петровскомъ.

Отецъ Данилевскаго Петръ Ивановичъ, бывшій уланъ и затѣмъ помѣщикъ погруженный въ сельское хозяйство, умеръ рано, 36 лѣтъ, когда сыну пошелъ десятый годъ. Мать — Екатерина Григорьевна, урожденная Купчинова, была весьма симпатичнаго, общительнаго и мягкаго характера. Страстно любя литературу и музыку, она съ тридцатыхъ годовъ выписывала лучшіе русскіе журналы, давши первую умственную пищу старшему сыну Григорію. Первоначальное образованіе Данилевскій получилъ дома, подъ руководствомъ домашней учительницы Евг. И. Пчелкиной и пѣкаго Пеша. Затѣмъ кончилъ курсъ сперва въ московскомъ дворянскомъ институтѣ (бывшемъ университетскомъ пансіонѣ), а затѣмъ въ с.-петербургскомъ университетѣ, отсюда въ 1850 году вышелъ кандидатомъ юридическаго факультета по камеральному отдѣленію. Будучи студентомъ, въ 1848 году онъ получилъ серебряную медаль за сочиненіе на конкурсѣ отъ философскаго факультета о Пушкинѣ и Крыловѣ. Съ 1850 по 1856 годъ Данилевскій служилъ по министерству народнаго просвѣщенія чиновникомъ особыхъ порученій при А. С. Норовѣ и П. А. Вяземскомъ. Въ это время онъ посѣтилъ Финляндію, Крымъ, работалъ по порученію министра Норова въ архивахъ монастырей харьковской, курской и полтавской губерній, и командированный отъ археологической комиссіи по плану историка Устрялова, описалъ на мѣстѣ урочища, гдѣ происходилъ полтавскій бой.

Въ 1856 году Данилевскій былъ командированъ морскимъ министерствомъ на югъ Россіи, съ цѣлью описанія прибрежьевъ Азовскаго моря, Дибра и Дона. Выйдя въ 1857 году въ отставку, онъ женился на дочери изюмскаго помѣщика Юліи Егоровнѣ Замятниной, и двадцать лѣтъ жилъ въ харьковской губерніи, частью въ родовомъ имѣніи отца с. Петровскомъ, частью въ имѣніи жены — Екатериновкѣ, изрѣдка путешествуя то за границей, то по Россіи.

Въ 1858 и 1859 гг. Данилевскій служилъ по выборамъ депутатомъ харьковскаго комитета по улучшенію быта помѣщичьихъ крестьянъ. Въ 1863 году въ качествѣ частнаго лица по порученію министра народнаго просвѣщенія Головинна онъ посѣтилъ и описалъ около двухсотъ народныхъ школъ харьковской губерніи. Въ первое трехлѣтіе существованія земства съ 1865 по 1869 г. Данилевскій прошелъ службу по выборамъ члена змѣвскаго училищнаго совѣта, гласнаго харьковскаго губернскаго земскаго собранія и члена харьковской земской управы, гдѣ втеченіе этихъ лѣтъ завѣдывалъ попечительнымъ отдѣломъ управы, народными школами губерніи, ея больницами, пріютами и проч. Въ 1867 и 1870 гг. онъ былъ избранъ почетнымъ мировымъ судьей змѣвскаго уѣзда.

По выходѣ изъ службы по земству Данилевскій предполагалъ заняться адвокатурой и въ 1868 году былъ указомъ сената утвержденъ присяжнымъ повѣреннымъ харьковскаго судебного округа. Но въ это время въ Петербургѣ возникла мысль объ изданіи *Правительственнаго Вѣстника*. Данилевскій по приглашенію Л. С. Макова получилъ въ этой газетѣ въ январѣ 1869 года мѣсто помощника главнаго редактора, которое онъ занималъ 13 лѣтъ, по августъ 1881 года, когда онъ былъ назначенъ главнымъ редакторомъ *Правительственнаго Вѣстника*. Это мѣсто онъ занималъ до своей смерти (6-го декабря 1890 г.), состоя также членомъ совѣта главнаго управленія по дѣламъ печати съ 1882 года.

На литературное поприще Данилевскій вступилъ въ 1846 году стихотвореніемъ *Славянская вина*, которое было напечатано въ *Иллюстраціи* 1846 года. Первые опыты его заключались въ рядѣ стихотворныхъ переводовъ изъ Вайрона, Шиллера, Лонгфелло, Новалиса, Мицкевича и Шекспира. Между прочимъ онъ перевелъ драмы *Ричардъ III* и *Цимбелинъ* (*Библ. для Чт.* 1850 и 1851 гг.). Затѣмъ онъ издалъ рядъ стихотворныхъ украинскихъ сказокъ. Наибольшую-же популярность приобрѣлъ романами *Бѣлые въ Новороссіи*, *Бѣлые воротились*, *Воля*, которые появились подъ псевдонимомъ Скаврнскаго во *Времени* и въ *Эпохѣ* 1862 и 1863 гг. Явившись подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ освобожденія крестьянъ, романы эти правились публикѣ не однимъ только сказочнымъ интересомъ замысловатыхъ и запутанныхъ сюжетовъ, но и гуманнымъ отношеніемъ къ народу, чуждымъ какъ излишней идеализаціи, такъ и того казенно-официальнаго взгляда, какой господствуетъ въ бюрократическихъ сферахъ, и какими проникнуты напиримѣръ романы Мельникова. Въстѣ съ тѣмъ бытовые романы Данилевскаго переполнены массою интересныхъ этнографическихъ свѣдѣній, собранныхъ авторомъ какъ во время своихъ странствій по Россіи, такъ и на земской службѣ. Такъ, читая романъ *Бѣлые въ Новороссіи*, вы знакомитесь съ тою важною ролью, какую играли новороссійскія степи въ эпоху крѣпостного права, какъ постоянное убѣжище для крестьянъ, толпами бѣжавшихъ отъ помѣщичьяго гнета и вслѣдствіе своей безправности въ качествѣ бѣглыхъ подпадавшихъ здѣсь подъ новое ярмо эксплуататоровъ, ловко пользовавшихся этою безправностью и закабалявшихъ ихъ въ еще болѣе тяжкое рабство, доходившее порою до права на жизнь и смерть. Въ нестрыхъ нравахъ обитателей южныхъ степей и въ ихъ бытѣ, исполненномъ потрясающаго, порою даже и кроваваго драматизма, авторъ видитъ нѣчто подобное нравамъ восточныхъ штатовъ Сѣверной Америки; но если и дѣйствительно южныя степи имѣли для

Россіи въ свое время такое же эмиграціонное значеніе, какъ Америка для Европы, то надо признаться все-таки, что въ романахъ Данилевскаго открывається передъ нами Америка совершенно своеобразная, болѣе въ азиатскомъ, чѣмъ въ американскомъ духѣ.

Заплативши дань изображенію народнаго быта своими первыми романами, Данилевскій на долгое время замолчалъ, и послѣ одиннадцатилѣтняго перерыва выступилъ съ романомъ *Девятый валъ* (въ *В. Евр* 1874 г.), исполненнымъ своеобразнаго этнографическаго интереса, но совсѣмъ уже въ другомъ родѣ: романъ этотъ любопытенъ изображеніемъ быта женскихъ монастырей во всей его подноготной. А затѣмъ черезъ пять лѣтъ Данилевскій выступилъ на поприще исторической беллетристики; но объ этомъ родѣ дѣятельности почтеннаго беллетриста намъ придется говорить отдѣльно въ своемъ мѣстѣ.

IV.

Въ одномъ ряду съ вышеозначенными представителями официальнаго изученія народнаго быта свое мѣсто занимаетъ Павелъ Ивановичъ Мельниковъ. П. И. Мельниковъ происходилъ изъ стараго дворянскаго рода, вышедшаго съ Дона. Отецъ его Иванъ Ивановичъ былъ начальникомъ нижегородской жандармской команды. Въ 1818 г. онъ женился на дочери нижегородскаго исправника П. П. Сергѣева, Аннѣ Павловнѣ, и 22 октября 1819 года родился у нихъ первенецъ, котораго они въ честь дѣда назвали Павломъ. Такимъ образомъ Мельникова по отцу и по матери можно считать полицейскаго происхожденія. Дѣтство Мельниковъ провелъ по большей части въ городѣ Семеновѣ, гдѣ послѣдніе годы своей жизни служилъ его отецъ. Мельниковъ былъ крайне впечатлительный мальчикъ, чутко прислушивавшійся ко всему окружающему его. Онъ лежалъ въ ноябрѣ 1825 года въ горячкѣ, наѣвшись ледяныхъ сосулекъ, когда пришла вѣсть о кончинѣ императора Александра. Въ домѣ поднялся плачь, вопль. Плакала даже вся прислуга. Весь этотъ переполохъ усилилъ болѣзнь выродившаго мальчика, и докторъ выговаривалъ его родителямъ, что они не уберегли эту впечатлительную натуру отъ горестной для всѣхъ вѣсти. Докторъ этотъ былъ никто иной, какъ Карлъ Ивановичъ Ректоръ, врачъ наполеоновской арміи, плѣненный въ 1819 году подъ Краснымъ и присланный на житье въ Нижній Новгородъ, гдѣ принялъ русское подданство и получилъ дипломъ на званіе штаб-лекаря въ семеновскомъ уѣздѣ. Онъ лечилъ въ домѣ родителей Мельникова и сверхъ того обучалъ послѣдняго французскому языку, и ему былъ обязанъ Мельниковъ знаніемъ этого языка.

Вообще, несмотря на небольшіе недостатки, родители Мельникова не жалѣли средствъ для образованія своихъ дѣтей. Болѣе-же всего былъ обязанъ Мельниковъ первоначальнымъ образованіемъ матери, которая любила литературу и исторію, сама много читала и сына пріучила къ чтенію. У десятилѣтняго Мельникова были уже толстыя тетради, въ которыхъ по линейкамъ переписывалъ онъ Пушкина, Жуковскаго, Баратынскаго, Дельвига. Въ 1829 году Мельниковъ поступилъ въ нижегородскую гимназію, пребываніе въ которой Мельникова ознаменовалось лишь однимъ значительнымъ эпизодомъ его жизни. Въ Нижнемъ былъ въ то время театръ, заведенный еще

при Екатеринѣ княземъ Шаховскимъ. Наглядѣвшись на представленія, дававшіяся въ немъ, гимназисты вздумали устроить свой театръ. Въ пустой башнѣ нижегородскаго кремля они устроили театръ, раздѣтается безъ декораций и костюмовъ.

«Это было не безъ пользы для насъ, рассказываетъ Мельниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ: многіе изъ насъ наузуть выучили Эдипа въ Афинахъ, Фингала, Дмитрія Донскаго, и хотя у насъ не было руководителя, однако мы сдѣлали немалые успѣхи въ декламации... Но только одно лѣто разыгрывали мы трагедіи Озерова. Башня понадобилась гарнизонному начальству подъ цейгаузъ, и баталіонный командиръ, придя ее осматривать, засталъ насъ во время представленія *Поликсены*. Драматическую труппу, подъ присмотромъ солдатъ, отправили къ директору, а башню заперли. Съ нами расправились, по тогдашнему обычаю, довольно круто. Изъ ребяческой нашей шалости сдумѣли раздуть страшную исторію. Въ городѣ рассказывали вѣщи не содѣянныя, будто мы, одиннадцати и двѣнадцатилѣтніе мальчики, составили опасный заговоръ для ниспроверженія существующаго порядка. Одна нижегородская барыня К. поѣхала въ это время въ Казань и тамъ стала рассказывать о нашемъ злумышленіи. Изъ учебнаго округа предписано было разобрать дѣло какъ можно строже, и съ нами въ другой разъ распорядились круто. Всего замѣчательнѣе то, что раздувать эту исторію учитель словесности Св., по понятіямъ котораго мы должны были въ первомъ классѣ, десяти-одиннадцати лѣтъ, выучить логику Кизеветтера, а потомъ по Кошанскому изучить всѣ тропы и безчисленные фигуры; все-же остальное въ глазахъ его было или вздоръ да пустяки или вольнодумство.

«Двукратная расправа не истребила въ насъ страсти къ драматическимъ представленіямъ. Мы перенесли сцену изъ запертой башни въ домъ одного товарища Крупенина, искренняго вѣрнаго друга моего дѣтства и юности. Домъ отца Саши былъ на Петропавловской и Кладбищенской улицѣ, съ маленькимъ садомъ, густо засаженнымъ грушами, яблонями, вишнями, въ которомъ я провелъ такъ много часовъ золотой юности... Тамъ-то въ мезонинѣ стали мы разыгрывать трагедіи, сначала Озерова, а потомъ и собственнаго издѣлія. Большой успѣхъ имѣлъ *Мухамедъ II*, трагедія, сочиненная Крупенинымъ, въ которой я игралъ византійскую царевну Ирину, а десятилѣтній братъ мой Феодоръ пажа греческаго. Я тоже написалъ трагедію въ пяти дѣйствіяхъ *Вильгельмъ Оранскій*, но она не имѣла успѣха.

Кончивши гимназическій курсъ въ 1834 году, 15-ти лѣтъ, Мельниковъ поступилъ на филологическій факультетъ въ казанскій университетъ, гдѣ кончилъ курсъ со степенью кандидата въ 1837 году. Мать Мельникова не дожила до окончанія сыномъ университета, скончавшись въ 1835 г., а отецъ умеръ въ 1837 г., такъ что по выходѣ изъ университета Мельниковъ предоставленъ былъ самому себѣ.

Какъ казеннокоштный студентъ, онъ обязанъ былъ отслужить опредѣленное число лѣтъ по учебному вѣдомству, но какъ окончившій съ отличіемъ курсъ, онъ по выдержаніи экзаменовъ, послѣ акта 18-го іюня 1837 г., оставленъ былъ жить въ университетѣ и готовился къ поѣздкѣ за границу. По словамъ его ученика, профессора К. И. Вестужева-Рюмина, министерство прочло Мельникова на кафедрѣ славянскихъ партій. Но неожиданная катастрофа измѣнила всѣ обстоятельства жизни магистранта. На одной изъ студенческихъ попоекъ Мельниковъ до того увлекся, что казанскій попечитель М. Н. Мусинъ-Пушкинъ призвалъ его къ себѣ, и въ наказаніе назначилъ уѣзднымъ учителемъ въ Шадринскъ (пермской губерніи), куда онъ тотчасъ-же былъ отправленъ подъ конвоемъ солдатъ. Но въ Перми онъ узналъ, что гнѣвъ положили на яимость и оставили его въ этомъ городѣ, опредѣливши на службу

въ тамошнюю гимназію старшимъ учителемъ исторіи и статистики. Въ февралѣ-же 1839 г. ему была поручена должность учителя французскаго языка въ высшихъ классахъ гимназіи; но въ томъ-же году къ новому учебному семестру онъ былъ переведенъ въ Нижній учителемъ исторіи и статистики и былъ въ этой должности до 21 мая 1846 года.

Артистическая натура Мельникова не была создана для педагогическаго поприща и искала исхода въ болѣе широкой дѣятельности. Будучи въ Перми, онъ успѣлъ уже объѣхать нѣкоторые заводы пріуральскаго края, собиралъ свѣдѣнія о немъ, знакомился съ бытомъ русскаго народа, „лежа у мужика на полатахъ“, какъ говаривалъ онъ, и положилъ первые задатки къ полному его изученію. Всѣ эти поѣздки дали ему возможность начать рядъ статей для народившагося въ 1839 году новаго журнала *Отечественныя Записки*. Мельникову только что исполнилось 20 лѣтъ, когда въ ноябрьской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* былъ напечатанъ первый трудъ его *Дорожныя записки*. Переходъ въ Нижній-Новгородъ, сближеніе тамъ съ мѣстнымъ архіепископомъ Іаковомъ, знатокомъ исторіи и раскола, надѣлявшимъ Мельникова рѣдкими рукописями и матеріалами, указывавшимъ на тѣ мѣстные архивы, гдѣ ими можно пользоваться, наконецъ съ 1840 года знакомство съ гр. Д. Н. Толстымъ, а потомъ съ М. Погодинымъ и В. Далемъ, — увлекли окончательно Мельникова со скромнаго поприща гимназическаго учителя на широкій путь литературной дѣятельности.

Въ 1841 г. Мельниковъ женился на небогатой помѣщицѣ Лидіи Николаевнѣ Бѣлокопытовой, и въ томъ-же году 8 апрѣля былъ утвержденъ въ званіи корреспондента археологической комиссіи.

«До 1847 г., говоритъ Мельниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ, живя въ Нижнемъ-Новгородѣ и занимая русскою исторіей, я сталъ изучать расколъ и раскольниковъ. Моимъ занятіямъ способствовали два обстоятельства: поѣздки по нижегородскому Заволжью, наполненному раскольниками, и знакомство съ книжниками на нижегородской ярмаркѣ.

«Въ Заволжѣ, именно въ семеновскомъ уѣздѣ, было у меня маленькое доставшееся послѣ матери имѣніе; крестьяне, жившіе въ немъ, были всѣ до одинаго раскольники поповщинской секты. Они были раскольники *«записные»*, т. е. значившіеся изстари по книгамъ земскаго суда раскольниками; дѣды ихъ платили двойные оклады. Поэтому они были избавлены отъ притѣсеній полиціи и поповъ... Въ Казанцовѣ я прежде всего ознакомился съ раскольничьимъ бытомъ; неподалеку отъ деревни (верстахъ въ трехъ) былъ раскольничій скитъ Кошелевскій (поповщинскій). Здѣсь я ознакомился съ скитскими жителями. Старшина моего селенія, Иванъ Петровъ, умный, грамотный и довольно развитой человекъ, большой начетчикъ и сынъ начетчика, пользовался уваженіемъ отъ своихъ и чужихъ крестьянъ-раскольниковъ. Съ нимъ много мы толковали о расколѣ. Бывало, когда пріѣдетъ Иванъ Петровъ въ Нижній, цѣлые вечера проводили мы съ нимъ, говоря о расколѣ.

«Съ 1840 г. директоромъ на нижегородской ярмаркѣ былъ гр. Д. Н. Толстой, бывшій впоследствии губернаторомъ калужскимъ, воронежскимъ и директоромъ департамента исполнительной полиціи (въ шестидесятыхъ годахъ). Мы съ нимъ находились въ дружескихъ отношеніяхъ. Онъ занимался исторіею русской церкви, хорошо зналъ церковный уставъ и изучалъ расколъ. Черезъ него я ознакомился съ Дем. Вас. Пискаревымъ, съ Большаковымъ, съ Морозовымъ и другими раскольниками, торговавшими на ярмаркѣ старопечатными и старописьменными книгами и иконами. У

нихъ бывало много раскольниковыхъ рукописей; они скушали ихъ у приносившихъ и продавали въ Москвѣ раскольникамъ и М. П. Погодину. Покупать рукописи было не по моимъ средствамъ, но торговцы давали мнѣ ихъ на прочетъ. Я много читалъ, дѣлалъ выписки. Въ 1841 году пріѣхалъ въ Нижній-Новгородъ Погодинъ и познакомился со мной. Мы съ нимъ осматривали нижегородскія древности, ярмарку; онъ накупилъ книгъ для своего древле-хранилища и просилъ меня, какъ постоянного нижегородскаго жителя, присматривать для него на ярмаркѣ и въ городѣ у Головастикова, тоже торговца старыми книгами и иконами, «рѣдкостныя вещи». Года четыре я занимался этимъ дѣломъ и еще болѣе познакомился съ раскольническою литературою».

Вскорѣ его знанія по расколу обратили на себя вниманіе начальства, особенно когда онъ предложилъ двѣ ужасныя мѣры для искорененія раскола: 1) повсюду, гдѣ раскольники живутъ вѣстѣ съ православными, отдавать въ рекруты послѣднихъ и 2) отдавать въ кантонисты дѣтей, рожденныхъ отъ браковъ, совершенныхъ бѣглыми попами, наставниками безпоповщинскихъ сектъ или по родительскому благословенію. Эти предложенія такъ понравились въ тогдашнихъ административныхъ сферахъ, что въ 1847 г. онъ былъ приглашенъ на службу княземъ Мих. Ал. Урусовымъ, тогдашнимъ нижегородскимъ губернаторомъ и получилъ 8-го апрѣля этого года мѣсто чиновника особыхъ порученій.

Мы не имѣемъ нужды останавливаться подробно на продолжительной служебной дѣятельности Мельникова при пяти министрахъ. Скажемъ только въ общихъ чертахъ, что наиболѣе всего эта дѣятельность заключалась въ исполненіи предписаній начальства и командировокъ съ цѣлью преслѣдованія раскольниковъ. Кромѣ того въ 1863 году Мельниковъ исполнялъ должность редактора по внутреннему отдѣлу въ органѣ министерства — *Сѣверной почтѣ*.

Въ общемъ служебная дѣятельность Мельникова, нельзя сказать, чтобы оставила по себѣ вполнѣ свѣтлыя воспоминанія. Какъ исполнитель воли пославшихъ, онъ выказывалъ въ преслѣдованіи раскольниковъ болѣе жестокаго усердія, чѣмъ гуманности или хотя-бы законнаго безпристрастія. Такъ мы видимъ, что даже біографъ его Усовъ, при всемъ панегирическомъ характерѣ отношенія къ Мельникову, не могъ вполнѣ оправдать дѣйствій его по отношенію къ знакомому его нижегородскому книгопродавцу Головастикову, магазинъ котораго онъ посѣщалъ и пользовался собранными тамъ рѣдкостями и драгоценными остатками нашей старины. Обыскъ въ домѣ и лавкѣ Головастикова былъ произведенъ Мельниковымъ съ такою энергіею, что Головастикова обратилась съ жалобою министру, а затѣмъ сенату на „причиненіе ей убытка въ капиталѣ, на осрамленіе въ народной публикѣ ея дома и семейства, на ущербъ здоровья ея и ея дочери, на тяжкую себѣ обиду“, и просила возвратить ей отобранное чиновниками у нея имущество и поступить съ ними „по точной силѣ уложенія о наказаніяхъ“.

Но просьбы Головастиковой остались неудовлетворенными. „Въ эту эпоху преслѣдованія раскола, замѣчаетъ при этомъ біографъ, усиленныхъ розысковъ епископовъ и священниковъ австрійскаго наставленія, Мельниковъ даже въ своемъ излишнемъ усердіи при обыскѣ у Головастиковой оказался вѣроятно правымъ и передъ своимъ начальствомъ, и передъ правительствующимъ сенатомъ“.

Впервые на поприще беллетристики Мельниковъ выступилъ въ 1840 году, когда въ № 52 *Литературной газеты* появился рассказъ его: *О томъ, кто такой былъ Эллидифоргъ Перфильевичъ и какія приоткрытїя дѣлались въ Черноградѣ къ его именинамъ*; подписано П. М.-п.-к.-въ. Въ № 80 было помѣщено продолженіе этой повѣсти уже за подписью П. И. Мельниковъ. Написанная въ духѣ натуральной школы съ претензіею на юморъ и подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя, повѣсть эта была столь слаба, что авторъ самъ былъ ею очень недоволенъ и въ письмѣ къ брату писалъ: „Никогда не прощу себѣ, что я напечаталъ такую гадость; если-бы можно, я собралъ-бы всѣ листки *Литературной газеты* не только на Кубани, но и по всей Великой, Малой и Вѣлой Россіи и всѣ-бы ихъ въ печку. Я еще мало знаю людей, чтобы писать повѣсти, и даю тебѣ и себѣ честное слово не писать ни стиховъ, ни прозы до тѣхъ поръ, пока не узнаю жизнь лучше“.

Мельниковъ сдержалъ это слово: двѣнадцать лѣтъ не принимался за беллетристику, и лишь въ 1852 году въ № 8 *Москвитянина* появилась повѣсть его *Красильниковы*, впервые за подписью Андрей Печерскій. Повѣсть имѣла большой успѣхъ, и всѣ журналы отозвались о ней съ похвалою. Затѣмъ послѣ новаго перерыва въ пять лѣтъ, въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1857 года появился рассказъ его *Старые годы*, и затѣмъ втеченіе 1857 и 1858 годовъ послѣдовалъ цѣлый рядъ рассказовъ—*Поярковъ*, *Дѣдушка Помкартъ*, *Медвѣжьей угодъ*, *Непремѣнный*, *Бабушкины рассказы*. Всѣ эти произведенія упрочили извѣстность Мельникова, какъ одного изъ лучшихъ писателей въ числѣ второстепенныхъ. Самыми-же главными его шедеврами были два объемистые романа, печатавшіеся въ *Русскомъ Вѣстникѣ* и вышедшіе потомъ отдѣльными изданіями—*Въ тѣсахъ* въ 1872—73 годахъ и *На югахъ* въ 1875 и 1880 гг.

Въ романахъ этихъ нечего конечно и искать какихъ-либо художественныхъ достоинствъ, равно какъ и внутренней, психологической правды. Быть поволжскихъ раскольниковъ, составляющій содержаніе этихъ романовъ, изображается въ нихъ съ одной виѣшней, этнографической стороны, причемъ какъ фабула романовъ, такъ и все развитіе ихъ сюжетовъ отличаются тою придуманностью, мѣстами мелодраматичностью, какую вы найдете во всѣхъ романахъ, написанныхъ не съ художественными цѣлями, а ради нагляднаго сообщенія какихъ-либо историческихъ или этнографическихъ фактовъ. Къ тому-же официально чиновничья точка зрѣнія на раскольниковъ отразилась во многихъ мѣстахъ этихъ романовъ. Тѣмъ не менѣе по массѣ крайне интересныхъ и живыхъ свѣдѣній о жизни раскольниковъ, являющихся результатомъ многолѣтнихъ трудовъ и наблюденій автора и взятыхъ не изъ книгъ, а изъ самой дѣйствительности, романы эти представляются драгоценными пособиями для изученія народнаго быта и до сихъ поръ читаются съ большою пользою и интересомъ.

Романомъ *На югахъ* завершилась литературная дѣятельность Мельникова. Последнія главы этого романа Мельниковъ, разбитый параличемъ, не могъ уже самъ дописать, а принужденъ былъ диктовать. Умеръ онъ 1 февраля 1883 года въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ домѣ своемъ на Петропавловской улицѣ.

V.

Наибольшій-же интересъ къ изученію народнаго быта и міросозерцанія въ дворянскихъ слояхъ общества обнаружился въ славянофильскихъ кружкахъ. Здѣсь впервые началось систематическое и всестороннее изученіе народа безъ какихъ-бы то ни было административныхъ цѣлей, безъ прелвятой идеализаціи его съ одной стороны, и безъ высокоумнаго глумленія съ другой, — изученіе въ истинномъ смыслѣ научное, такъ какъ къ народу начали здѣсь относиться, какъ къ предмету неизвѣстному, подлежащему изслѣдованію и о которомъ слѣдуетъ воздерживаться высказывать какія-бы то ни было преждевременныя сужденія, прежде чѣмъ не будетъ собрана масса фактовъ. — Начались эти изученія съ собранія былинъ, пѣсенъ, сказокъ, пословицъ и т. п., причѣмъ одинъ изъ старшихъ славянофиловъ, П. Кирѣевскій, приобрѣлъ извѣстность наиболѣе всего своими сборниками народной поэзіи. По его слѣдамъ пошли столь-же извѣстные собиратели Рыбниковъ и Безсоновъ.

Но не только глубокое проникновеніе въ народную душу, но даже и собраніе пѣсенъ или изученіе обычаевъ и обрядовъ оказалось по весьма понятнымъ причинамъ неудобно совершать изъ ученыхъ кабинетовъ и помѣщичьихъ усадебъ. Необходимо было идти въ народъ, вращаться среди него, да мало еще этого: счумѣть заслужить его довѣріе въ такой мѣрѣ, чтобы онъ не только какую-нибудь пѣсенку пропѣлъ, но распоясался и открылъ свою душу. Естественно, что изъ славянофильскихъ кружковъ, особенно изъ того кружка молодыхъ литераторовъ, который группировался въ пятидесятые годы вокругъ *Москвитянина*, вышли первые ходоки въ народъ и были совершены первые опыты опрощенія ради приобрѣтенія довѣрія народа и слитія съ нимъ.

Первымъ такимъ ходокомъ въ народъ и пионеромъ опрощенія является Павелъ Ивановичъ Якушкинъ, личность въ высшей степени замѣчательная какъ своими сочиненіями, такъ и яркою типичностью и цѣльностью своего характера.

П. И. Якушкинъ родился въ 1820 году въ усадьбѣ Сабуровъ, Малоархангельскаго уѣзда, орловской губерніи, въ дворянской семьѣ, съ достаточными матеріальными средствами. Отецъ его, Иванъ Андреевичъ, служилъ въ гвардіи, вышелъ въ отставку поручикомъ и жилъ постоянно въ деревнѣ. Хотя семья Якушкиныхъ успѣла лишиться отца далеко до времени совершеннолѣтія самаго старшаго брата Александра, тѣмъ не менѣе она осталась на рукахъ матери, которая пользовалась общимъ, глубокимъ уваженіемъ, внушаемымъ ей безконечной добротой, свѣтлымъ умомъ и сердечностью. Она владѣла въ то-же время тактомъ опытной хозяйки, и имѣнье, оставшееся послѣ мужа, не только не разстроилось, но было приведено въ наилучшее состояніе. Благодаря этому, Прасковья Фадеевна имѣла возможность воспитать шестерыхъ сыновей въ орловской гимназіи и затѣмъ тремъ изъ нихъ (Александрю, Павлу и Виктору) открыть дорогу къ высшему образованію.

Уже въ гимназіи Якушкинъ обращалъ на себя вниманіе своею мужиковатостью, небрежностью въ костюмѣ и полнымъ неумѣньемъ соблюдать интеллигентную, благопристойную и сообразную съ его дворянскимъ званіемъ виѣшность. Особенно своими

непослушными вихрами „убиваль онъ господина директора“, и какъ ни стригли эти вихры, они постоянно торчали во всѣ стороны къ ужасу начальства. Къ тому-же начальству неприятно было возиться съ волосами Якушкина и потому еще, что каждый разъ при постриженіи его онъ „грубо оправдывался такими мужицкими словами, что во всѣхъ классахъ помирали со смѣху“.

Такимъ образомъ страсть къ простонародности формировалась у Якушкина еще въ школѣ, и учитель нѣмецкаго языка Функендорфъ не иначе называлъ его, какъ *мужицка чучелка!*

Въ 1840 году Якушкинъ поступилъ въ московскій университетъ на математическій факультетъ, слушалъ его довольно успѣшно и былъ уже на четвертомъ курсѣ, когда знакомство съ М. П. Погодинымъ и П. В. Кирѣевскимъ совершенно измѣнило всю его судьбу. Узнавъ, что Кирѣевскій собираетъ народныя пѣсни, Якушкинъ записалъ одну и отправилъ къ нему съ товарищемъ, нарядившимся лакеемъ. Кирѣевскій выдалъ за эту пѣсню 15 р. асс. Якушкинъ повторилъ еще два раза этотъ опытъ, и получилъ отъ Кирѣевского приглашеніе познакомиться. Пѣсни были неподдѣльно народныя. Чуткій къ способностямъ Якушкина, Кирѣевскій задалъ ему такую работу, которая пришлась ему столь по душѣ, что заставила его бросить почти оконченный курсъ: именно отправилъ его для изслѣдованія въ сѣверныя поволжскія губерніи, — разомъ на ту дорогу, на которой Якушкинъ получилъ свою литературную извѣстность. Якушкинъ взвалилъ на плечи лубочный коробъ, набитый офенскимъ товаромъ на крестьянскую руку, цѣнностью не больше десяти рублей, взялъ въ руки аршинъ и пошелъ подъ этимъ видомъ торговца-сумочника на изслѣдованіе народности и для изученія и записыванія пѣсень.

И съ самыхъ тѣхъ поръ всю жизнь пространствовала Якушкинъ, признавъ способъ пѣшаго хожденія самымъ удобнымъ и обязательнымъ для себя. Образъ странника былъ любезенъ и дорогъ ему сколько по привычкѣ, столько-же и по исключительности положенія въ средѣ народа, гдѣ страннику, захожему человѣку великъ почетъ и уваженіе. Съ особенною любовью вспоминалъ онъ и рассказывалъ о тѣхъ случаяхъ, когда его покормили молочкомъ, яичницу сдѣлали, какъ около Новгорода попалъ онъ на рыбныя тони, гдѣ отобрали ему ловцы самой лучшей крупной рыбы на уху или въ другомъ мѣстѣ старушка дала страннику копѣечку на дорогу, какъ случилось нападать ему на большія угощенія, гдѣ иной разъ сажали даже на почетныя мѣста въ переднемъ углу, но нигдѣ денегъ не брали.

Въ одно изъ такихъ странствій Якушкинъ заразился натуральной оспой, заболѣлъ и свалился въ первомъ попавшемся деревенскомъ углу; здоровая натура его выдержала болѣзнь, несмотря на всѣ неблагоприятныя условія, отсутствіе врача и всякой разумной и цѣлесообразной помощи. Зато лицо его было сильно изуродовано болѣзью. Опущенное длинной бородой, при длинныхъ волосахъ, оно иногда пугало женщинъ и дѣтей при уединенныхъ встрѣчахъ и возбуждало подозрительность въ полицейскихъ.

Присоедините къ этому необыкновенный костюмъ Якушкина: полукрестьянскій, полудѣщанскій, причемъ параднымъ платьемъ на выходъ была черная суконная поддевка и высокіе сапоги съ напускомъ безъ галошъ; въ дорогу сверху надѣвался полшубокъ, по-
скавическій.

даренный какой-нибудь добрымъ пріятелемъ. Сначала водилась сумка, потомъ завелся какой-то чемоданчикъ, но былъ потерянъ и смѣнился разъ навсегда узелкомъ изъ подручнаго платка. Въ узелкѣ этомъ между бѣльемъ хранилось нѣсколько листиковъ исписанной бумаги, нечитанная книжка, карандашикъ отъ случайно подвернувшагося человѣка; на случай частное письмо редакціи *Русской бѣсѣды*, предложеніе географическаго общества, котораго онъ былъ членомъ—корреспондентомъ (удостоился серебряной медали). Паспортъ былъ давно потерянъ; потеряно было и удостовѣреніе мѣстнаго станового объ этой потерѣ. Одинъ изъ братьевъ выхлопоталъ ему копію съ этого удостовѣренія, Якушкинъ и ее потерялъ; взята была копія съ копіи. Вотъ этотъ-то документъ и служилъ для удостовѣренія его личности. Въ этомъ заключался главный источникъ всѣхъ недоразумѣній, встрѣчавшихся съ Якушкинымъ во время странствій, неприятностей, осмотровъ, задержекъ, арестовъ и высылковъ. Однимъ изъ самыхъ крупныхъ подобнаго рода приключеній былъ надѣлавшій не малаго шума арестъ Якушкина псковскою полиціею въ 1859 году, и цѣлая литературная полемика, завязавшаяся потомъ между нимъ и псковскимъ полиціймейстеромъ, Гемпелемъ, по этому поводу. Въ тѣ горячіе годы всякаго рода протестовъ и обличеній вся литература приняла рьяное участіе въ этой полемикѣ, и публика съ пожирающимъ интересомъ слѣдила за нею.

Находчивый, остроумный, независимый Якушкинъ не стѣснялся ни передъ кѣмъ рѣзать правду въ глаза, не боясь наживать враговъ на каждомъ шагу и не унимался послѣ самыхъ строгихъ взысканій. Ему нечѣмъ было дорожить, нечего терять, безсребренничество его доходило до полного отсутствія всякой собственности кромѣ вышеозначеннаго узелка съ двумя-тремя перемѣнами бѣлья и того, что на немъ было. О денежныхъ вознагражденіяхъ за печатный трудъ онъ не условливался; довольствовался тѣмъ, что дадутъ, никогда не жаловался и не стовалъ. О деньгахъ вспоминалъ лишь тогда, когда были крѣпко нужны: сквозили сапоги и промокали ноги, сползала съ головы шапка, слѣзала съ плечъ свитка, да и объ этомъ надо было ему напомнить и кому-нибудь похлопотать. Хорошо вознаграждаемый изрѣдка литературнымъ гонораромъ, онъ, любя угощаться, любилъ угощать, владѣлъ замѣчательною способностью терять деньги, а уцѣлѣвшія раздавать, кто въ нихъ нуждался. Умеръ онъ безъ гроша въ карманѣ и умирая имѣлъ полное право выговорить пользовавшему его врачу: „Припоминая все мое прошлое, я ни въ чемъ не могу упрекнуть себя“.

Къ обидамъ и огорченіямъ онъ былъ мало чувствителенъ, и когда его обижали, говорилъ про обидчика:

— Стало быть такъ надо. Видно онъ лучше меня про то знаетъ, если говоритъ мнѣ прямо въ глаза.

Столь-же хладнокровно встрѣчалъ онъ неудачи, невзгоды и промахи. Когда ему старались внушить, что онъ самъ въ чемъ-нибудь виноватъ, и спрашивали, зачѣмъ онъ это сдѣлалъ, онъ добродушно отвѣчалъ обыкновенно на это: „Чтобы смѣшнѣе было“. Всегда хладнокровенъ, всегда беззаботенъ, счастливъ и доволенъ собой, всегда не отъ міра сего, онъ, по весьма мѣткому замѣчанію С. В. Максимова, „былъ безнеченъ до того, какъ будто надѣялся жить вѣчно, а жить торопился такъ, какъ будто предстояло ему умереть завтра“.

Къ друзьямъ онъ смѣло и увѣренно приходилъ во всякое время, не справляясь съ часами дня и ночи, но приди на почлегъ ни за что не ложился на предлагаемую кровать или кушетку, а располагался на полу, гдѣ-нибудь въ уголку, подложивши подъ голову полѣно.

Политика мало занимала Якушкина. Ко всѣмъ литературнымъ направленіямъ онъ относился съ полнымъ индифферентизмомъ, и во всѣ редакціи входилъ съ одинаковымъ добродушіемъ, не обращая вниманія на ихъ взаимную вражду. Смѣна и назначеніе новыхъ должностныхъ лицъ въ Россіи его не радовали и не печалили: онъ махалъ рукою и говорилъ „это все едино“. Формы правленія для него были всѣ безразличны — „какъ народъ похочетъ, такъ и устроится“, говаривалъ онъ. Въ то-же время всѣ симпатіи Якушкина были на сторонѣ рабочихъ людей, — особенно батраковъ, фабричныхъ, и вообще голытьбы, которую по его словамъ, „хозяева заморить готовы, и могутъ заморить, если тѣ сами въ свой разумъ не придутъ и не узнаютъ, какъ они нужны“. Идеаломъ общественнаго устройства была въ его воображеніи всеобщая, гигантская артель, вмѣщающая въ себѣ всю Россію.

При такомъ образѣ мыслей онъ не могъ ни въ какомъ случаѣ быть политически опаснымъ, тѣмъ не менѣ эксцентрическая внѣшность и невольная невздержанность на языкъ сгубили его. Въ 1865 году на макарьевской ярмаркѣ въ Нижнемъ Новгородѣ былъ случайный съѣздъ нѣсколькихъ литераторовъ (П. И. Мельникова, В. П. Безобразова, И. А. Арсеньева, П. Д. Боборыкина и пр.), и по этому случаю тогдашній ярмарочный голова А. П. Шиповъ, человѣкъ образованный, извѣстный своею разностороннею общественною дѣятельностью и глубокими симпатіями къ литературѣ и экономическимъ наукамъ и самъ авторъ многихъ ученыхъ трактатовъ, устроилъ большой обѣдъ по подпискѣ, въ которомъ приняли участіе всѣ именитые купцы и пріѣзжіе на обѣдъ литераторы. Въ числѣ обѣдающихъ былъ и Якушкинъ. Подививши, онъ сдѣлалъ во время рѣчи В. П. Безобразова рѣзкое замѣчаніе мѣшавшему рѣчи стукомъ ложки И. А. Арсеньеву. Затѣмъ онъ оборвалъ въ буфетѣ адъютанта, мѣстнаго жандармскаго штабъ-офицера Перфильева, — тотъ пожаловался тогдашнему ярмарочному генераль-губернатору Огареву, представивъ Якушкина въ видѣ опаснаго смущающаго народъ агитатора. Его арестовали и отправили въ Петербургъ; а оттуда выслали въ Орелъ къ матери. Тамъ онъ пробылъ недолго и взмолился друзьямъ своимъ: „Избавте мать отъ меня. Сколько я могу понимать, хотѣли высылкой сюда наказать меня, но наказали мать. Войдите-же въ положеніе ни въ чемъ неповинной, честной и доброй старушки, обязанной видѣть передъ собою ежедневно потеряннаго сына“.

Прошеніе его, поданное начальству объ этомъ предметѣ, было уважено: онъ былъ переведенъ изъ орловской губерніи въ астраханскую. Здѣсь онъ проживалъ подъ административнымъ надзоромъ въ Краснонъ Ярѣ и Енотаевскѣ. Здоровье его было крайне разстроено и полною всякихъ невзгодъ и потрясеній странническою, безпріютною жизнью, и излишнимъ пристрастіемъ къ чарочкѣ. Относительно послѣдняго обстоятельства онъ могъ смѣло заявить, что спонлъ его никто иной, какъ самъ народъ, въ безчисленныхъ кабакахъ Россійской имперіи, гдѣ онъ записывалъ пѣсни, которыя трудно бывало выудить у русскаго человѣка безъ чарочки водки, но нельзя было также только донтъ, а не пить самому, становясь съ мужиками на равную ногу.

Смерть застигла его въ Самарѣ, въ городской больницѣ, на рукахъ извѣстнаго писателя-публициста и врача Португалова въ 1872 году. Умеръ онъ съ тою-же добродушною безпечностью, съ какою прожилъ всю забубенную жизнь свою, съ любимую пѣсенкою на устахъ:

Мы и пѣть будемъ, и играть будемъ,
А смерть придетъ, умирать будемъ!

Похоронила его съ большимъ почетомъ и теплыми надгробными словами та небольшая горсть интеллигенціи, каковая въ то время случилась въ Самарѣ.

Дѣятельность Якушкина распадается на два періода. Въ первомъ періодѣ онъ является лишь собирателемъ народныхъ пѣсенъ. Пѣсни эти печатались первоначально въ *Дѣтонисяхъ Русской литературы и древности* (1859 года), въ сборникѣ *Утро* (1859 года) и *Отечественныхъ Запискахъ* (1860 года). Отдѣльно они были изданы: 1) въ 1860 году подъ заглавіемъ *Русскія тѣсни, собранныя П. И. Якушкинымъ* и 2) въ 1865 году подъ заглавіемъ *Народныя тѣсни изъ собранія П. Якушкина*. Сборники эти въ свое время были привѣтствованы всею литературою и оцѣнены по достоинству. Когда Якушкинъ напечаталъ свое собраніе пѣсенъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*,—собраніе это сдѣлалось предметомъ цѣлой литературы. О немъ явились обстоятельные и очень лестные отзывы въ *Извѣстіяхъ академіи наукъ*, въ *Журналъ министерства народнаго просвѣщенія* и пр.

Самостоятельная-же беллетристическая дѣятельность Якушкина началась лишь въ концѣ пятидесятихъ годовъ рядомъ путевыхъ писемъ изъ новгородской и псковской губ., изъ устюжскаго уѣзда, изъ орловской, черниговской, курской, астраханской г., печатаемыхъ въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ, начиная съ 1859 года и въ 1861 годъ, (лишь путевыя письма изъ астраханской были напечатаны въ *Отечественныхъ Запискахъ* значительно позднѣе, именно въ 1868 и 1870 гг.). Въ 1863 г. былъ напечатанъ въ *Современникѣ* рассказъ *Великъ Богъ земли русской*; затѣмъ появились *Бунты на Руси*—очеркъ I въ *Современникѣ* 1866 г., очеркъ II въ *Новомъ Времени* 1880 г., *Чисти зубы, а не то мужикомъ назовутъ*, въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1868 г., *Небывальщина* въ *Современникѣ* 1865 г. и въ *Искрѣ* за 1864—1865 гг., *Прежняя рекрутчина и солдатская жизнь* въ приобщеніи къ *Русскому Инвалиду* 1864 г., *Мужичицкій годъ* въ *Искрѣ* 1865 г., *Изъ рассказовъ о крымской войнѣ* въ *Современникѣ* 1864 г.

Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ П. И. Якушкина конечно вы не видите и слѣда художественнаго творчества. Они представляютъ рядъ фотографій, цѣликомъ снятыхъ съ дѣйствительности во время многочисленныхъ странствій Якушкина по лицу земли русской, носить поэтому характеръ случайныхъ наблюденій, наскоро записанныхъ въ памятную книжку и затѣмъ получившихъ кое-какую спѣшную литературную обработку. Тѣмъ не менѣе они драгоцѣнны тѣмъ, что представляютъ совершенно иное отношеніе къ народу, чѣмъ какое было до ихъ появленія. Здѣсь вы видите уже не идеализацію народа и не глумленіе надъ нимъ, а совершенно объективное и безпристрастное отношеніе наблюдателя, глубоко постигшаго и народную жизнь, и народное міросозерцаніе, его живую душу. При всей случайности наблюденій изображаемые факты

поражаютъ васъ своею характерностью и типичностью, и въ одномъ этомъ умѣннѣ схватывать и передавать существенное обнаруживается передъ вами знатокъ народной жизни. Вы не найдете здѣсь какихъ либо замѣчательныхъ характеровъ и оригинальныхъ мужицкихъ типовъ; зато отлично рисуется здѣсь то, что тщетно вы будете искать въ беллетристикѣ изъ народнаго быта сороковыхъ годовъ—именно собирательный голосъ народа, сливающийся въ общемъ хорѣ крестьянскаго міра. Нечего и говорить о томъ, что языкъ выводимыхъ Якушкинымъ мужиковъ идеально безукоризненъ. Вы не найдете въ немъ и слѣда какой-либо утрировки или-же выраженной слишкомъ интеллигентно-литературныхъ для мужика. Однимъ словомъ съ Якушкина беллетристика изъ народнаго быта выступаетъ на совершенно новую почву, и онъ стоитъ во главѣ этого поворота, если не представителемъ его, то во всякомъ случаѣ первымъ пионеромъ.

Что касается содержанія разсказовъ Якушкина, то они все носятъ исключительно общественный характеръ, соотвѣтственный тѣмъ горячимъ злобамъ дня и великимъ событіямъ, во время которыхъ они появлялись. Такъ въ разсказѣ *Великъ Богъ земли русской*—собраны факты народной жизни, слухи и разговоры, предшествовавшіе крестьянской реформѣ и возбужденные ея ожиданіемъ; въ разсказѣ *Крестьянскіе бунты* изображаются все тѣ недоразумѣнія и смуты, какія послѣдовали послѣ эмансипаціи; въ разсказѣ *Чисти зубы, а не то мужикомъ назовутъ* изображено вліяніе на крестьянъ тѣхъ бюрократо-полицейскихъ порядковъ, въ какіе облечено данное имъ послѣ освобожденія самоуправленіе и т. д.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

I—Беллетристы-народники изъ разночинцевъ и внесеніе ими новаго духа въ изображеніе изъ народнаго быта. Федоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ и его дѣтство. II—Юность Рѣшетникова до приѣзда въ Петербургъ. III—Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни. *Подлинницы* и прочія его сочиненія. IV—Александръ Ивановичъ Левитовъ. Факты и обстоятельства его жизни. V—Сравненіе Левитова съ Рѣшетниковымъ. *Стенные очерки* Левитова. VI—Характеръ и содержаніе послѣдующихъ его произведеній.—VII—Николай Ивановичъ Наумовъ. Его жизнь и сочиненія.

I.

По мѣрѣ того какъ образованіе распространялось въ массахъ общества и центръ умственнаго движенія перешелъ изъ дворянской среды въ разночинскую, въ литературныя сферы къ концу пятидесятихъ годовъ, какъ мы говорили уже, произошелъ большой наплывъ новыхъ силъ изъ разночинцевъ. Эти новыя силы, подчиняясь духу времени, еще съ большею энергіею, чѣмъ всѣ писатели старшаго поколѣнія, принялись за изученіе народа, вмѣстѣ съ тѣмъ внесли совершенно новый духъ въ беллетристику изъ народнаго быта и обусловили своимъ появленіемъ новый періодъ ея развитія.

Правда что со стороны художественныхъ формъ, техники, произведенія беллетристовъ-разночинцевъ представляютъ шагъ назадъ по сравненію съ произведеніями беллетристовъ сороковыхъ годовъ, значительно уступая имъ въ стройности, завершенности, въ умѣньи заинтересовать читателя и приковать его вниманіе и т.п. Они представляются по большей части неконченными, необработанными, неуклюжими очерками, эскизами, набросками, иногда безъ всякаго сюжета и фабулы, одними хаотическими нагроможденіями сырыхъ матеріаловъ.

Этотъ регрессъ въ техническомъ отношеніи обусловливался многими причинами. Несомнѣнно вліяло здѣсь отчасти то пренебреженіе, съ какимъ въ шестидесятые годы смотрѣли на художественность, но болѣе всего дѣйствовало то обстоятельство, что большинство разночинцевъ, учившихся на мѣдныя деньги и являвшихся на литературное поприще самоучками, не получившими правильнаго и систематическаго литературнаго образованія, едва грамотными, въ то-же время не имѣли и въ послѣдствіи возможности прилагать тщательныя условія къ развитію своихъ талантовъ и къ выработкѣ изящ-

ныхъ формъ. Всѣмъ имъ приходилось вѣчно бороться съ нищетою и потому слѣзистыя работою, не имѣя времени не только художественно отдѣлывать написанное, но и перечитывать его. Едва написавши двѣ-три первыя главы разсказа, авторъ несъ ихъ уже въ редакцію журнала, чтобы заручиться авансомъ, а тамъ вдругъ работа прерывалась то болѣзною, то цензурными условіями, и произведеніе оставалось неконченнымъ, забываясь для новыхъ столь-же неудачныхъ поштокъ.

Тѣмъ не менѣе отъ произведеній молодыхъ беллетристовъ-разночинцевъ повѣяло совсѣмъ инымъ духомъ, и въ нихъ мы видимъ отношеніе къ народу, до того времени небывалое. Вы не найдете уже здѣсь ни излишней идеализаціи народа, ни напротивъ того глумленія надъ нимъ, ни этнографо-бюрократической сухости изученія народа со стороны, ни плаксивой сентиментальности. Прежде всего въ произведеніяхъ разночинцевъ поражаетъ васъ трезвая, неприкрашенная правда, соединенная съ глубокимъ знаніемъ внутреннихъ основъ народной жизни какъ въ ея частномъ, семейномъ бытѣ, такъ и общественномъ, мірскомъ. Видно, что авторы близко стояли къ народу, и не только наблюдали его жизнь, но во многихъ отношеніяхъ и сами ее переживали.

Беллетристика этого рода представляетъ въ свою очередь два періода. Въ первомъ періодѣ, втеченіе шестидесятыхъ годовъ, жизнь народа разсматривалась преимущественно по отношенію ея къ жизни другихъ слоевъ общества, причемъ главное вниманіе обращалось на политико-экономическія и соціальныя условія народнаго быта, на необеспеченность народныхъ массъ, безправность ихъ и эксплуатацію со стороны кулаковъ, кулаковъ и всякаго рода проходивцевъ, наживающихся на его счетъ. Во второмъ-же періодѣ, втеченіе семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, главное вниманіе начали обращать на внутреннія основы крестьянскаго быта, на его вѣковѣчные устои въ видѣ общины и на идеалы, составлявшіе существенное отличіе деревенскаго человѣка отъ городскаго.

Въ первомъ періодѣ изъ всѣхъ беллетристовъ народниковъ наиболѣе выдаются три писателя: Ѳеодоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ, Александръ Ивановичъ Левитовъ и Николай Ивановичъ Наумовъ. Ими-то мы и займемся въ настоящей главѣ.

Ѳ. М. Рѣшетниковъ родился въ Екатеринбургѣ, пермской губерніи, 5-го сентября 1841 года. Отецъ его сначала былъ дьячкомъ, затѣмъ, женившись на дочери дьякона, поступилъ въ почтальоны, но жилъ съ женою плохо, испивая горькую чашу, такъ что когда братъ его переѣхалъ въ Пермь съ семействомъ, мать Рѣшетникова вскорѣ ушла къ нимъ. Въ Пермь она пришла во время страшнаго пожара и такъ была этимъ испугана, что заболѣла и умерла; 9-ти мѣсячный мальчикъ ея остался на попеченіи дяди и тетки; отца-же своего Рѣшетниковъ въ первый разъ увидѣлъ уже десяти лѣтъ отъ роду.

Родственники, на рукахъ которыхъ остался сирота, были люди крайне бѣдные, утиетенные ярмомъ каторжной службы по почтовому вѣдомству, и нравы царили у нихъ грубые и звѣрскіе. Рѣшетниковъ-же съ первыхъ дней дѣтства оказался мальчикомъ бойкимъ, веселымъ, рѣзвымъ, впечатлительнымъ. И вотъ, желая ему добра, родственники начали немедленно-же выбивать изъ него эту рѣзвость. Въ автобіографической повѣсти *Между людьми* Рѣшетниковъ подробно и обстоятельно рисуетъ

картины своего дѣтства, и мы видимъ, что его били положительно за все, и притомъ всѣ, кто хотѣлъ и считалъ нужнымъ. Дядя принесъ лубочную картинку и сталъ разсматривать; мальчикъ потянулъ ее къ себѣ и разорвалъ пополамъ. „За это дядя меня такъ ударилъ, что я ударился головой объ полъ, изо рта пошла кровь“. Каждый разъ, когда онъ брался за „Священную исторію“, картинки которой привлекали его, онъ непремѣнно получалъ ударъ этой-же книжкой въ голову. Чтобы отдѣлаться отъ нея, онъ засунулъ ее въ печку; книгу вытащили, „но за это, говоритъ Рѣшетниковъ, дядя долго дралъ меня ремнемъ“. Вздумаетъ онъ чистить сапоги дядѣ и старается до тѣхъ поръ, пока тетка не выхватитъ изъ рукъ его щетки и не ударитъ ею по головѣ... „Песь“, „ножевое востріе“, „балбесъ“, „безрогая скотина“, — такъ и сыпались на него со всѣхъ сторонъ, и иначе его не называли. Такое обхожденіе развило неукротимую злость въ богатой натурѣ мальчика, и онъ началъ мстить своимъ гонителямъ въ выдумываніи удивительнѣйшихъ мерзостей: то засунетъ въ квашню или кадку съ водою дохлую кошку, то измажетъ въ грязи развѣшенное сушиться бѣлье, вытащитъ кранъ изъ самовара, заброситъ его черезъ заборъ и самоваръ распаяется и т. п. Онъ сдѣлался божескимъ наказаніемъ цѣлому двору, всеобщимъ врагомъ, и ему не было другого имени, какъ „воръ“, „поганая рожа“; его вихры, уши и щеки сдѣлались всеобщимъ достояніемъ; били и ругали его всѣ, и онъ ругалъ всѣхъ, запуская каменьями, кусался, билъ враговъ „по лицу“ и не уставалъ изобрѣтать имъ новыя пытки.

Въ 1851 году, десяти лѣтъ, Рѣшетникова отдали въ бурсу, и къ битью воспитателей и сосѣдей прибавилось битие школьное. Переносить все это стало невозможнымъ, и мальчикъ рѣшился бѣжать. Онъ ушелъ на колокольню и просидѣлъ на ней весь день, и на ночь убѣжалъ на рѣку и тамъ ночевалъ. „Поутру, говоритъ Рѣшетниковъ, я ходилъ какъ помѣшанный отъ голоду“. Въ какомъ-то рыбацьемъ шалаши нашелъ онъ пол-ковриги хлѣба, взялъ его себѣ, а въ лодкѣ провертѣлъ дыру, распласталъ неводъ, обрѣзалъ нѣсколько удочекъ. Затѣмъ сѣлъ въ чью-то чужую лодку и сталъ грести вверхъ, но силы были слабы, лодку несло внизъ и прибило къ берегу. Тутъ его настигла погоня: велѣдъ за ищаниномъ, набросившимся на него и начавшимъ его тузить по чему попало, явилась цѣлая флотилія бурсаковъ, его связали и безжалостно поволокли въ бурсу, награждая палочными ударами. По возвращеніи-же въ бурсу бѣглецу была задана такая бани, послѣ которой онъ пролежалъ два мѣсяца въ лазаретѣ.

Тѣмъ не менѣе, какъ только вышелъ изъ лазарета, Рѣшетниковъ опять бѣжалъ. На этотъ разъ онъ отправился на Мотовиловку, — заводъ, отстоящій отъ Перми версты за три. Бурсацкій сюртукъ свой онъ бросилъ въ воду, чтобы не узнали, вымазалъ лицо, рубашку, панталоны и пошелъ по заводскимъ кабакамъ и домамъ просить Христа-ради. Долго онъ шатался между рабочими, которые давали ему кровъ и кормили его. „Много, говоритъ онъ, увидѣлъ я здѣсь хорошаго. Мнѣ такъ понравилась простота ихняя, что я хотѣлъ на всю жизнь остаться у нихъ“. Но какъ человекъ бродящій, безъ пристанища, попалъ онъ къ нищимъ, которые насильно таскали его съ собою, заставляли плясать, поили водкой. Бывали минуты, когда онъ кричалъ и просилъ встрѣчныхъ, чтобы кто-нибудь спасъ его отъ нихъ, но никто не давалъ помощи. „И Богъ знаетъ, что было-бы со мною, вспоминаетъ онъ, если-бы не спасла меня одна

женщина“. Женщина эта, часто бывавшая у дяди въ городѣ, узнала бѣглеца и привела домой. „Дѣло извѣстное, что было послѣ этого“, заканчиваетъ Рѣшетниковъ исторію этого послѣдняго побѣга, намекая на неизбежное дранье.

Послѣ этого онъ болѣе не покушался уже на побѣги. На него напала полная апатія, равнодушіе ко всему и къ наукѣ, и къ поркѣ. Онъ словно окаменѣлъ, и теперь, когда приходила пора порки, заботился лишь отдѣлаться тѣмъ, что старался стать въ концѣ шеренги предназначенной къ сѣченью, потому что къ концу ея сторожъ уставалъ, или-же давалъ сторожу гривенникъ, который зарабатывалъ, занимаясь въ почтовой конторѣ составленіемъ крестьянскихъ писемъ, что тоже не мало помогло ему узнать народный бытъ. Отъ учителей онъ отдѣлывался тоже своего рода взятками: отправлялъ даромъ благодаря дядѣ письма, доставлялъ письма на домъ, а главное таскалъ для нихъ тайкомъ съ почты газеты, но за это обстоятельство очень дорого пришлось ему поплатиться. Таская газеты и конверты, онъ по прочтеніи ихъ учителями имѣлъ обыкновеніе забрасывать ихъ черезъ сосѣдній заборъ въ снѣгъ; бывали случаи, что онъ со страху забрасывалъ туда пакеты, не разсматривая и не читая ихъ и въ числѣ такихъ-то нечитанныхъ пакетовъ забросилъ одинъ весьма важный манифестъ 1855 года. Дѣло было нешуточное, виновника розыскали, предали формальному суду. Дѣло тянулось два года и кончилось тѣмъ, что Рѣшетникова сослали въ Соликамскій монастырь на покаяніе.

II.

Трехмѣсячное пребываніе Рѣшетникова въ монастырѣ очень печально отразилось въ жизни его. Онъ быстро сошелся съ монахами и подружился съ ними тѣмъ скорѣе и тѣснѣе, что они не били его, не оскорбляли за прошлое, относились къ нему, какъ къ равному, и даже смотрѣли, какъ на человѣка болѣе развитого, чѣмъ они. Но нравы въ монастырѣ были весьма распущенные. „Въ Соликамскѣ, говоритъ Рѣшетниковъ, я въ одну недѣлю позналъ нечестіе монаховъ, какъ они пьютъ вино, ругаются, ѣдятъ говядину, ходятъ по ночамъ, ломаютъ ворота“. Подъ конецъ пребыванія въ монастырѣ Рѣшетниковъ съ каждымъ днемъ все болѣе привязывался къ своимъ новымъ знакомымъ. „И такъ я чудно и весело проводилъ время съ монахами, говоритъ онъ; они меня поили пивомъ, и я часто приходилъ домой пьянымъ. Да и всѣ меня любили сердечно, и я тоже питалъ свою любовь къ нимъ. Иногда обѣдалъ и спалъ въ кельяхъ. Словомъ очень весело я проводилъ время съ доброю братією и въ особенности тогда, какъ пили пиво“. По словамъ-же Рѣшетникова пиво это обыкновенно настаивалось на табакѣ. И къ такому чисто адскому наптку привыкалъ шестнадцати лѣтній мальчикъ. Такимъ образомъ вотъ когда уже положено было начало той болѣзни, которая свела Рѣшетникова въ преждевременную могилу.

Курьезнѣе всего, что рядомъ съ пристрастіемъ къ вину Рѣшетниковъ вынесъ изъ монастыря аскетизмъ и мистицизмъ весьма мрачнаго свойства и долго находился подъ его вліяніемъ; доходило дѣло до того, что онъ мечталъ даже покончить жизнь въ монастырѣ. Такъ когда дядя въ шутку сказалъ ему, что женить его на одной дѣвушкѣ, которая ему нравилась, Рѣшетниковъ писалъ въ своихъ замѣткахъ по этому

поводу: „я не могу взять за примѣръ женщинъ, и не могу соблазниться примѣромъ ихъ. Богъ знаетъ, что я имѣю усердіе къ Его великой церкви и въ вѣкъ буду стремиться къ Его церкви, и будетъ время, когда я уйду въ монастырь въ уединеніе и тамъ буду молиться Небесной Невѣстѣ, Пресвятой Богородицѣ и Приснодѣвѣ Маріи“.

Вообще втеченіе 1857 и 1858 годовъ онъ только и дѣлалъ, что читалъ книги духовнаго содержанія и предавался благочестивымъ размышленіямъ какъ въ письмахъ къ друзьямъ, такъ и въ своихъ замѣткахъ. Жилъ онъ между тѣмъ слова въ домѣ дяди. Отдали его опять въ то-же училище и снова въ первый классъ; его уже не били, но и нельзя сказать, чтобы обращались съ нимъ ласково. Въ 1859 году воспитатели его переѣхали въ Екатеринбургъ, гдѣ дядя получилъ мѣсто помощника почтмейстера. Рѣшетниковъ помѣстился на частной квартирѣ. Оставшись на свободѣ, онъ какъ будто ожилъ; вмѣсто разсужденій о непостижимомъ въ запискахъ идутъ живые очерки лицъ, съ которыми ему пришлось жить, описанія городскихъ происшествій, пожаровъ (во время пожаровъ въ Перми въ 1859 году онъ нанимался по ночамъ караулить дома, за что получалъ 20 коп., и нажилъ отъ этой работы рубль двадцать копѣекъ). На досугѣ-же онъ ѣздилъ рыбачить за Каму, гдѣ съ простымъ народомъ проводилъ цѣлыя ночи. „Часто въ это время, говоритъ Рѣшетниковъ, случалось, что я, сидя въ лодкѣ, глядѣлъ куда-нибудь въ даль; глаза останавливались, въ головѣ чувствовалась тяжесть и вертѣлись слова: какъ-же это? отчего это? И въ отвѣтъ—ни одного слова. Очнешься—и плюнешь въ воду. Начнешь удить и думаешь: ахъ, если-бы я былъ богатъ, я-бы накупилъ книгъ много, много... Я-бы все выучилъ“.

25 іюля того-же года Рѣшетниковъ кончилъ курсъ уѣзднаго училища и „получилъ аттестатъ съ отличными, хорошими, и изъ арифметики и геометріи достаточными успѣхами“, послѣ чего онъ отправился къ дядѣ въ Екатеринбургъ и опредѣлился въ уѣздный судъ (29 іюня 1859 года) съ жалованьемъ по 3 р. въ мѣсяцъ. Продолжая жить въ домѣ дяди, Рѣшетниковъ въ свободныя минуты началъ пописывать, и первыми произведеніями его были стихотворная поэма *Приозоръ* въ трехъ частяхъ и драма въ шести дѣйствіяхъ то же стихами *Палачъ*. Оба эти первые произведенія, конечно до послѣдней степени слабыя, носятъ еще сильныя задатки мистицизма.

Въ 1860 г. Рѣшетниковъ получилъ мѣсто въ томъ-же уѣздномъ судѣ помощникомъ столоначальника чернорабочаго стола. Это обстоятельство сдѣлало его болѣе самостоятельнымъ, и въ то-же время онъ созналъ сразу всю свою отвѣтственность. „Мнѣ страшно казалось, рассказываетъ онъ, рѣшать участь человѣка, и я сталъ читать бумаги и дѣла, заглядывать въ разныя мѣста, читалъ разныя копии, реестры и все то, что ни попадалось на глаза. Когда я бывалъ дежурнымъ, то рылся вездѣ, гдѣ не заперто, узнавалъ дѣлы многое“.

Такимъ образомъ Рѣшетниковъ пополнилъ свое знакомство съ народомъ, узнавъ изъ канцелярскихъ бумагъ всю подневольность простого человѣка и зависимость его отъ мелкаго начальства, и у него тогда уже возникло стремленіе приносить этому народу пользу посредствомъ литературнаго труда. Сильное вліяніе на Рѣшетникова въ этомъ отношеніи оказалъ одинъ мастеровой екатеринбургскаго монетнаго двора. Онъ очень любилъ Рѣшетникова, знакомилъ его съ бытомъ рабочаго человѣка, совѣтовалъ ему жить честно, не якшаться съ пьянчужками и взяточниками. Освободившись подѣ

этими вліяніями совсѣмъ отъ своего мистицизма, Рѣшетниковъ началъ писать произведенія обличительнаго характера, — каковы были — *Черное озеро*, *Дыловыя люди* и пр., въ бумагахъ его не сохранившіяся.

По мѣрѣ того какъ въ Рѣшетниковѣ укрѣплялось сознаніе, что съ помощью своихъ писаній онъ можетъ сдѣлать полезное, уѣздный судъ и Екатеринбургъ стали ему надобъ, и у него явилось неодолимое стремленіе уѣхать въ Пермь и тамъ служить: тамъ можно читать книги, тамъ у него школьные товарищи, тамъ наконецъ проживала та самая дѣвушка, которую онъ два года назадъ „не хотѣлъ соблазнить“, а теперь избавившись отъ аскетизма, снова любилъ такъ, какъ любилъ еще ребенкомъ. — Но не малаго труда стоило ему какъ переѣхать въ Пермь, такъ и устроиться тамъ; пришлось выдержать тяжелую и долгую борьбу съ дядей; затѣмъ въ Перми долго не давали ему мѣста, чему сильно препятствовали съ одной стороны то, что онъ былъ нѣкогда подъ судомъ, а съ другой его обличительныя сочиненія, слухъ о которыхъ распространился по Перми, такъ какъ *Черное озеро* онъ посылалъ въ *Пермскія губернскія вѣдомости*.

Лишь въ іюнѣ 1861 года онъ наконецъ добился мѣста канцелярскаго служителя казенной палаты. „Меня посадили, пишетъ Рѣшетниковъ, въ регистратуру. Вся моя работа не умственная, а машинная, состоитъ въ записываніи входящихъ бумагъ, надпискахъ на конвертахъ, отправляемыхъ изъ палаты и печатаніи ихъ. Эта работа обременительна одному и при полученіи пяти или шести рублей жалованья кажется вдвое обременительной. Для ума-же никакой пищи“.

Какую нищету терпѣлъ онъ во все время пребыванія въ Перми, мы можемъ судить по слѣдующему относящемуся къ тому времени бюджету его: „за квартиру 1 р. 50 к. На говядину, 30 ф. по 3 к. за фунтъ — 90 коп. Хлѣба на 60 коп. и молока на 60“.— „Буду жить, замѣчаетъ онъ, какъ Богъ велѣлъ“. Терпя такую нужду, Рѣшетниковъ переживалъ въ то-же время свою первую любовь къ той дѣвушкѣ, о которой мы выше говорили. Любовь эта конечно была несчастна. Дѣвушка нашла жениха, болѣе обеспеченнаго, и Рѣшетникову только и осталось, что потрузиться всецѣло въ литературный трудъ, что онъ и не замедлилъ сдѣлать. Въ Перми у него нашлось нѣсколько судей его литературныхъ трудовъ и совѣтчиковъ; какой-то сослуживецъ Т. и редакторъ губернскихъ вѣдомостей П., которые все болѣе и болѣе направляли его на тотъ путь, на который онъ выступилъ въ своихъ *Подмитовцахъ*. Такъ въ это время онъ написалъ рассказъ изъ заводской жизни, подъ заглавіемъ *Скрипачъ*, и драму *Раскольникъ*. Правда, драма эта была написана еще стихами и въ ней являлись еще слѣды монастырскаго мистицизма, но здѣсь вы встрѣчаете массу недовольныхъ типовъ изъ простонародья и рабочаго класса; заводскіе нравы, которымъ отдано въ драмѣ двѣ трети мѣста, изображены ярко, правдиво. Въ побужденіяхъ, руководящихъ этимъ народомъ въ побѣгахъ съ завода въ лѣсъ къ раскольнику, — все реально, просто, безъ малѣйшей примѣси чего-нибудь изъ области сверхъ-естественнаго, однимъ словомъ Рѣшетниковъ впервые является здѣсь тѣмъ, что онъ есть.

Послѣ неудачи въ любви пусто и одиноко стало Рѣшетникову въ Перми, и онъ началъ помышлять о Петербургѣ. Въ переселеніи въ столицу сильное содѣйствіе оказалъ ему пріѣхавшій въ Пермь ревизоръ, у котораго онъ занимался на дому

перепискою бумагъ. Ревизоръ полюбилъ его, и цѣня, какъ хорошаго писца и способнаго чиновника, обѣщаль перевести его въ Петербургъ, что и исполнилъ въ слѣдующемъ году. Весною 1863 года Рѣшетниковъ получилъ письмо отъ своего благодѣтеля съ разрѣшеніемъ ѣхать и обѣщаніемъ мѣста, и въ началѣ августа 1863 года онъ былъ уже въ Петербургѣ.

III.

Въ Петербургѣ въ свою очередь Рѣшетникову долго пришлось мыкать горе. Хотя по протекціи ревизора онъ и получилъ занятія въ одномъ изъ департаментовъ министерства финансовъ, но жалованья ему пришлось получать всего 9 рублей. Жилъ онъ поэтому въ коморкѣ рядомъ съ кабакомъ и чтобы какъ-нибудь сводить концы съ концами, сталъ писать небольшіе очерки въ *Сѣверную пчелу*. Платили ему за нихъ мало и неаккуратно. Одинъ изъ сослуживцевъ, братъ литератора и потому нѣсколько знакомый съ литературнымъ дѣломъ, надоумилъ его снести только что написанныхъ *Подлиповцевъ* въ редакцію *Современника*. Рѣшетниковъ такъ и сдѣлалъ, присоединивъ къ рукописи письмо къ Некрасову, въ которомъ между прочимъ писалъ:

«Такихъ людей, какъ подлиповцы, въ настоящее время еще очень много не только въ чердынскомъ уѣздѣ пермской губ., мѣстности самой глухой и дикой, но и въ смежной съ нею—вятской, вологодской и архангельской. Зная хорошо жизнь этихъ бѣдняковъ, потому что я 20 лѣтъ провелъ на берегу рѣки Камы, по которой весной мимо Перми плывутъ тысячи барокъ и десятки тысячъ бурлаковъ, — я задумалъ написать бурлацкую жизнь, съ цѣлью хотъ сколько-нибудь помочь этимъ бѣднымъ труженникамъ. Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь въ этомъ очеркѣ невозможное для пропуска. По моему написать все это иначе—значитъ говорить противъ совѣсти, написать ложь... Наша литература должна говорить правду... Вы не повѣрите, я даже плакалъ, когда передо мной очерчивался образъ Пилы во время его мученій».

Какъ бы то ни было, но напечатанные въ № 3 и 4 *Современника* за 1864 годъ *Подлиповцы* сразу обратили на себя вниманіе публики и открыли молодому писателю доступъ во всѣ редакціи. Читатели *Современника* съ пожирающимъ интересомъ прочитали этотъ неуклюжій, тяжелый по формѣ рассказъ, написанный дубовымъ, топорнымъ языкомъ, состоящимъ сплошь изъ коротенькихъ, обрывистыхъ фразъ. Ужасомъ преисполнились сердца всѣхъ народолюбцевъ при видѣ поразительныхъ картинъ нищеты подлиповцевъ, ихъ упорной борьбы съ голодною смертію и невыносимыхъ страданій. Никто не воображалъ, что въ пѣдрахъ богоспасаемой Россіи могли существовать дикари, подобно неграмъ сѣверо-американскихъ штатовъ обращенные въ вьючный скотъ. Между тѣмъ рассказъ подкупалъ своею несомнѣнною правдивостію. Передъ читателями былъ не опытный, хитроумный художникъ, которому ничего не стояло и присочинить ради эффекта, а безыскусственный самоучка, едва справляющійся съ литературными формами и языкомъ, пишущій лишь для того, чтобы объявить всенародно какъ страдаютъ подлиповцы и помочь имъ этимъ ключемъ. И дѣйствительно вышло нѣчто въ русской литературѣ небывалое: не повѣсть, не рассказъ, къ какимъ публика привыкла, а именно докладъ, въ полномъ смыслѣ протоколъ; хотя и слышались въ каждой строкѣ тѣ самыя затаенныя слезы, о которыхъ писалъ Рѣшетниковъ Некрасову, тѣмъ не

менѣ авторъ ни малѣйшаго усилія не обнаружилъ, чтобы разжалобить читателей этими слезами. До послѣдней строки онъ остался все такъ-же невозмутимо спокоенъ, сухъ и лакониченъ, какъ будто рассказывалъ о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ, ни мало не трагическихъ.

Далѣе затѣмъ Рѣшетниковъ написалъ цѣлыхъ два толстыхъ тома, содержащихъ 124 листа компактной печати. И всѣ эти рассказы отличаются однимъ и тѣмъ-же характеромъ: такъ-же они неуклюжи, страшно растянуты, исполнены мелкихъ, иногда совершенно ненужныхъ деталей и потому довольно тяжелы въ чтеніи, и всѣ они заключаютъ въ себѣ неизмѣнно одно и то-же содержаніе: именно — какъ голодаютъ, холодаютъ, терпятъ всевозможныя мытарства, обиды и оскорбленія бѣдные люди, пробивая себѣ дорогу хоть къ самому маленькому обезпеченію. Наиболѣе выдающимися изъ всѣхъ этихъ произведеній являются: *Ставленникъ*, *Между людьми*, *Глумова*, *Гдѣ лучше? Свой хлѣбъ*. — Повѣсть *Между людьми* носитъ характеръ, какъ мы уже говорили, автобіографическій; здѣсь авторъ почти изо дня въ день рассказалъ всю свою жизнь и особенно дѣтскіе годы со всѣми ихъ обстоятельствами. Въ романѣ *Свой хлѣбъ* въ свою очередь рассказана, по словамъ самого Рѣшетникова, жизнь одного очень близкаго ему лица. Принимая во вниманіе это непосредственное списываніе съ дѣйствительности со всѣми подробностями и безъ малѣйшихъ ухищреній, можно смѣло сказать, что Рѣшетниковъ былъ истиннымъ протоколистомъ въ гораздо большей степени, чѣмъ эту кличку присвоиваютъ себѣ французскіе натуралисты. Это былъ грубый и необработанный самородокъ, непосредственно цѣльный, какъ въ своихъ произведеніяхъ, такъ и въ самой жизни. Тяжкія обстоятельства жизни положили на него неизгладимую печать, съ которою онъ сошелъ и въ могилу.

«Онъ былъ угрюмъ, говоритъ его біографъ Гл. Ив. Успенскій, неразговорчивъ, не общителенъ, порою грубъ... Отъ всѣхъ онъ сторонился, смотрѣлъ волкомъ, ко всему и всѣмъ былъ подозрителенъ; рѣдко-рѣдко добродушная улыбка освѣтитъ это угрюмое лицо... Никакихъ блестящихъ фразъ онъ не говорилъ, а если принимался рассказывать что-нибудь, то рѣчь его касалась всегда предметовъ наиобыденнѣйшихъ, была длинна, расплывалась въ мелочахъ и утомляла тѣмъ болѣе, что Рѣшетниковъ говорилъ монотонно, «себѣ подъ носъ», не выпуская изъ зубъ коротенькой трубочки, отчего каждое слово отдѣлялось паузой. Наблюдатель уходилъ ни съ чѣмъ, чтобы потомъ, при появленіи новаго произведенія О. М., удивляться по прежнему — смѣшенію въ этомъ «совершенно обыкновенномъ человѣкѣ» великаго и малаго»..

Подобно тому какъ въ своихъ сочиненіяхъ Рѣшетниковъ былъ не художникомъ, а словно добровольнымъ ходакомъ по народнымъ дѣламъ, такъ и въ самую жизнь онъ старался вносить тоже участіе къ народу и заботы объ оказаніи ему всяческой помощи:

«Въ бумагахъ О. М., говоритъ біографъ его, мы нашли много подлинныхъ доказательствъ этой истинной любви къ человѣку. Вотъ записки о какомъ-то пропавшемъ мальчикѣ съ обозначеніемъ примѣтъ, выписанныхъ изъ газеты на случай, не удастся ли найти его; вотъ ненапечатанная статья о дурной пищѣ черноработныхъ, старающаяся кого-то убѣдить, что простому народу нуженъ свѣжій воздухъ и т. д. Между этими бумагами особенно интересно прошеніе, адресованное О. М. — чѣмъ къ слѣб. оберъ-полиціймейстеру. Въ прошеніи этомъ Рѣшетниковъ рассказываетъ слѣдующее: вздумалось ему пойти однажды въ концертъ; прочитавши афишу и не замѣтивъ, что она

вчерашня, старая, онъ отправился въ дворянское собраніе, гдѣ, вѣроятно, въ это время происходило уже что-нибудь другое. Городовой не пустилъ Ѳ. М. въ подъѣздъ; онъ пошелъ въ другой—и тамъ не пустили, «прогнали прочь», по собственному его выраженію. Ѳ. М. разсердился и отвѣтилъ, на него прикрикнули:—Куда ты лѣзешь? кто ты такой?—«Мастеровой!» отвѣчалъ Ѳ. М. Результатомъ такого отвѣта было то, что Рѣшетниковъ ночевалъ въ части, откуда вышелъ весь избитый, безъ денегъ и кольца. «Довожу объ этомъ до свѣдѣнія вашего п-ства, писалъ онъ въ прошеніи. Я ничего не ищу. Я только объ одномъ осмѣливаюсь утруждать васъ, чтобы пристава, квартальные, ихъ подчаски и городовые не били народъ... Этому «народу» и такъ придется много получить всякой всячины...»

Жизнь его значительно улучшилась послѣ пріобрѣтенія литературной извѣстности. Онъ вскорѣ женился на одной своей землячкѣ, такъ-же какъ и онъ круглой сиротѣ, бывшей въ Петербургѣ на *свой хлѣбъ*. Онъ имѣлъ теперь и средства, и досугъ для пополненія своего крайне недостаточнаго образованія. Изъ оставшихся послѣ смерти его бумагъ и записокъ видно, что ни на одну минуту не покидало его желаніе научиться, развить себя. Онъ читалъ книги, дѣлалъ изъ нихъ извлеченія. Но часы его недолгой жизни были уже сосчитаны. Губительный порокъ, пріобрѣтенный имъ въ монастырѣ, ежедневно подтачивалъ его силы и тщетно боролся онъ съ нимъ: съ каждымъ днемъ онъ все болѣе и болѣе захватывалъ несчастнаго въ свои когти. 9 марта 1871 г. онъ умеръ на тридцатомъ году жизни, отъ отека легкихъ, оставивъ послѣ себя жену и двоихъ дѣтей.

IV.

Александръ Ивановичъ Левитовъ былъ родомъ тамбовецъ. Отецъ его былъ бѣдный сельскій священникъ. Родился Левитовъ въ 1842 году, и дѣтство его прошло въ самой бѣдной и убогой обстановкѣ, ничѣмъ не отличавшейся отъ обстановки любого крестьянина средняго достатка. Изъ массы воспоминаній, о дѣтскихъ годахъ, разбѣянныхъ въ разныхъ сочиненіяхъ Левитова, мы видимъ, что дѣтство его протекло такъ тоскливо, монотонно и однообразно, какъ только могло оно протечь въ степной деревенской глуши, въ домѣ сельскаго попа. Только и было отраднаго въ этой жизни, что обаяніе южной степной природы, положившей глубокой, неизгладимый слѣдъ на всю жизнь и дѣятельность Левитова. „Дѣти раздольныхъ полей, вспоминаетъ Левитовъ свое дѣтство въ одномъ изъ своихъ очерковъ, мы всегда убѣгали отъ грустныхъ матерей нашихъ въ поля или на улицы, гдѣ обыкновенно забывали и про обѣдъ, и про колотушки, которыми такъ тщетно заставляли насъ забывать про эти обѣды“. Изъ всѣхъ сосѣднихъ сельскихъ ребятшекъ особенно подружился Левитовъ съ одной дѣвочкой, которая такъ къ нему привязалась, что они жить не могли другъ безъ друга и поклялись даже вступить въ законный бракъ, когда вырастутъ большіе.

«Отецъ принялся между прочимъ учить меня грамотѣ, рассказывалъ Левитовъ, которая особенно потому мнѣ не нравилась, что на цѣлые дни разлучала меня съ дѣвочкой. Я бесполезно проводилъ мучительно длинныя и жаркіе лѣтніе дни, сидя надъ азбукой и тоскуя о знакомомъ огородѣ. Его веселье, его трава и плетень, раскаленное солнцемъ небо покрывавшее его, представлялись мнѣ гораздо виднѣе, чѣмъ всѣ эти азбучныя азы и титлы; а черномазая дѣвочка съ своими длинными волосами, съ яс-

ными, всегда такъ нѣжно смотрѣвшими глазами, бѣгавшая по этому огороду, окончательно затемняла глаза мои, такъ что они очень плохо знакомились съ раскрашенными яркою краскою картинами въ священной исторіи, которыми отецъ хотѣлъ приохотить меня къ грамотѣ».

Послѣ цѣлаго ряда руготни и истязаній отецъ мальчика, вида, что безъ дѣвочки ученье не идетъ въ голову сына, рѣшился учить вмѣстѣ съ нимъ его подругу. Съ дѣвочкой ученье пошло быстро, такъ что очень скоро они, по собственному сознанию отца, и писать и читать стали не въ примѣръ лучше его. Отъ Ста четырехъ священныхъ исторій съ картинами они перешли къ Четыи Минеи.

«Цѣлый годъ, повѣствуетъ Левитовъ, кажется, у насъ не было другого разговора, какъ только о приобрѣтеніи мученическаго вѣнца. Различные примѣры мучениковъ и мученицъ закаляли наши головы страстнымъ истомляющимъ желаніемъ идти куда-нибудь и прославить святое имя Христово по всѣмъ широкимъ концамъ земнымъ. Сонныя видѣнія наши были ни что иное, какъ отрывки изъ святыхъ поэмъ Четыи-Минеи. Но Четыи-Минея была скоро прочитана. Еще намъ откуда-то досталъ отецъ божественныхъ книгъ. Однажды услышалъ наши разговоры дяконскій сынъ, семинаристъ... Какъ теперь помню, первая книга, которую онъ далъ намъ читать, была *Графъ-Монтекристо*. Послѣ Монтекристо мы перечитали всѣ историческія сказки Дюма, а потомъ семинаристъ, пріѣхавъ черезъ годъ уже на лѣтнія вакаціи, началъ читать вмѣстѣ съ нами Галахова «Христоматію». Онъ терпѣливо и охотно вселялъ все лѣто въ наши мозги настоящее дѣло. Горько плакали мы въ это время надъ *Басурманомъ*, весело смѣялись съ Киршей, а потомъ, когда пришла пора, семинаристъ объяснилъ намъ мучительную предѣсть Пушкина и мрачно-величавое уныніе Лермонтова».

Всѣ факты дѣтства Левитова представляютъ его въ видѣ крайне болѣзненного и нервно-впечатлительнаго ребенка, съ богатымъ воображеніемъ, развитымъ подъ обаяніемъ южной природы и возбужденнымъ фантастическими грезами подъ вліяніемъ чтенія Четей - Минеи и слуханія сказокъ, легендъ и повѣрій, которыми въ обиліи была пренеполнена среда, окружавшая мальчика. Въ играхъ съ сверстниками онъ конечно не былъ зацѣвлой и предводителемъ. Отсутствие физическихъ силъ вмѣстѣ съ пламенной экзальтаціею и грезами о всевозможныхъ мученическихъ вѣнцахъ дѣлали его въ глазахъ здоровыхъ, сильныхъ и реально мыслящихъ степныхъ мальчугановъ какимъ-то особеннымъ существомъ, не то блаженненькимъ, не то баричемъ. Его осыпали градомъ колотушекъ и насмѣшекъ, прозывали не иначе, какъ дворянчикомъ, и все это въ дѣтскихъ годахъ будущаго поэта положило уже сѣмена того мрачнаго ожесточенія противъ людской неправды, безчеловѣчной ко всему слабому и немощному, — составлявшаго главную сущность поэзіи Левитова. Уѣздная бурса и губернская семинарія еще болѣе развили это ожесточеніе.

Какъ уѣздное духовное училище, такъ и семинарія оставили въ Левитовѣ тѣмъ болѣе мрачное воспоминаніе, что онъ постоянно былъ впродолженіи ученія между двухъ огней: товарищи колотили его за то, что онъ былъ тщедушень, слабъ, не былъ въ состояніи давать сдачи, а также изъ зависти къ необыкновеннымъ его успѣхамъ; наставники-же ненавидѣли его за то, что „были лишены всякой возможности представить вниманію гг. ревизоровъ болѣе представительнаго и красиваго премьеръ“. — Лишь по прошествіи двухъ лѣтъ пребыванія его въ семинаріи горизонтъ жизни Ле-

витова прояснѣлъ, когда онъ подружился съ однимъ своимъ товарищемъ. „Мы, повѣствуетъ Левитовъ, состроили себѣ изъ двухъ нашихъ маленькихъ физическихъ силъ одну, о которую разбивались всѣ остальные, а нравственные силы къ намъ обомъ сами пришли“.

Друзья начали зачитываться Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Гоголемъ, Диккенсомъ, Теккереемъ. Это общее чтеніе имѣло тѣ послѣдствія, что на семнадцатомъ году Левитовъ покинулъ семинарію, будучи на философскомъ отдѣленіи, и рѣшился отправиться въ Москву, въ университетъ. За неимѣніемъ средствъ ему пришлось совершить это путешествіе въ пятьсотъ верстъ пѣшкомъ. Придя въ Москву, онъ началъ слушать лекціи въ университетѣ и готовится къ вступительному экзамену. Эта была повидимому лучшая эпоха его жизни. Онъ попалъ въ Москву и въ университетъ въ самое горячее время общественнаго оживленія передъ реформами. Послѣ страшной семинарской каторги началась для него полная надеждъ и мечтаній, горячихъ споровъ и разумнаго чтенія жизнь въ студенческомъ кружкѣ (въ которомъ вмѣстѣ съ Левитовымъ былъ Кельсіевъ). Выдержавши вступительный экзаменъ, Левитовъ не остался въ московскомъ университетѣ, а переехалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ въ медико-хирургическую академію. Здѣсь жизнь его потекла также дѣятельно, разумно и оживленно, какъ и въ Москвѣ; рядомъ съ студенческими занятіями онъ отдавалъ весь досугъ свой чтенію и изученію какъ русскихъ такъ и иностранныхъ поэтовъ и беллетристовъ. Но печальны й случай измѣнилъ все; Левитовъ былъ запутанъ въ какія-то исторіи, исключень изъ академіи и очутился на далекомъ сѣверѣ—въ Шенкурскѣ, потомъ въ Вологдѣ.

Шенкурская и вологодская эпохи тяжело отразились на всей жизни Левитова. Вдали отъ интеллигентныхъ центровъ, въ борьбѣ съ нищетою, среди уѣзднаго общества тоущаго въ матеріализмѣ, Левитовъ окончательно ожесточился, одичалъ и сжился съ тѣми низкими слоями общества, изображателемъ жизни которыхъ онъ является. Въ то-же время скука, праздность, лишенія и уныніе вмѣстѣ съ заразительнымъ примѣромъ окружавшей его среды развили и ожесточили въ немъ тотъ порокъ (пьянство), задатки котораго были положены уже во время семинарской жизни.

Если можно добромъ помянуть этотъ періодъ его жизни, то развѣ за то, что въ это время онъ серьезно приступилъ къ литературнымъ трудамъ, и уже въ Шенкурскѣ были начаты имъ *Степные очерки*, а съ переездомъ въ Вологду онъ въ состояніи былъ окончить нѣкоторыя изъ начатыхъ работъ и послать въ Москву въ редакцію одного журнала. Въ 1861 году Левитовъ возвратился въ Москву по обыкновенію пѣшкомъ, безъ гроша денегъ. Чтобы не умереть съ голоду и продолжать дальнѣйшее путешествіе, онъ принужденъ былъ останавливаться въ селеніяхъ, нанимался писать въ волостныхъ правленіяхъ и получалъ за свой трудъ по полтиннику въ недѣлю. Такъ онъ и дошелъ до Москвы.

Съ 1861 года начинается дѣятельное участіе его въ литературѣ. Онъ помѣщаетъ свои очерки сначала въ журналахъ: *Зритель*, *Развлеченіи*, *Русской тѣчи*, потомъ во *Времени*, *Современникѣ*, *Библиотекѣ для чтенія*, *Искрѣ*, *Недѣль* и др. Къ этому-же времени относится и знакомство его съ разными литературными дѣятелями того времени, напримѣръ съ Ап. Григорьевымъ, который привѣтствовалъ его появленіе на литературное поприще и поощрялъ начинавшій талантъ.

Дальнѣйшая жизнь Левитова носитъ все тотъ-же скитальческій характеръ. Это была не жизнь въ истинномъ смыслѣ этого слова, а какое-то непрестанное маяніе и постепенное угасаніе. Литературный трудъ плохо обезпечивалъ бѣднягу, къ тому-же онъ спѣшилъ обзавестись семьею, чѣмъ еще болѣе отягчилъ и безъ того нерадостную жизнь свою. Можно положительно сказать, что человѣкъ этотъ никогда не зналъ, что значить имѣть свой домашній очагъ, мебель, обстановку, хотя-бы самую убогую. Онъ былъ вѣчнымъ безпріютнымъ странникомъ, вмѣщавшимъ все свое добро въ маленькій чемоданчикъ, и съ этимъ чемоданчикомъ скитался по мебелированнымъ комнатамъ, по столичнымъ чердакамъ и подваламъ. Къ тому-же онъ не могъ не только примкнуть къ одному какому-либо изданію и сдѣлаться постояннымъ его сотрудникомъ, но и укорениться въ одной изъ столицъ: поживетъ въ Москвѣ годикъ, другой, а то и нѣсколько мѣсяцевъ, и начинаетъ тяготиться московскою жизнью: „здѣсь все начинается плѣсневѣть, говоритъ онъ раздраженно своимъ близкимъ, — тутъ сдѣлаешься или пошлякомъ, или соньешьюсь...“ Ѣдетъ въ Петербургъ: тамъ въ сущности то-же самое: подвалчики, чердачки, борьба съ нищетою, да еще къ тому и убійственный климатъ, подъ влияніемъ котораго у Левитова ожесточается кашель, начинается кровохарканье, грудныя боли; онъ Ѣдетъ опять въ Москву—поправиться съ силами, отдохнуть, повидаться съ знакомыми. А въ Москвѣ ждетъ его все та-же убогая, сырая, холодная комнатка гдѣ-нибудь въ захолустѣ и тоскливое одиночество вмѣстѣ съ проклятіями смрадной, удушливой физической и нравственной атмосферѣ столичной жизни и тщетными порываніями стеньяка въ родной край, на широкій и вольный просторъ благоухающихъ степей. Такъ жестоко страдалъ, томился и вянулъ степной цвѣтокъ, оторванный отъ родной почвы и непригнѣтый въ суетѣ столичной жизни. Тоска по родинѣ и тщетныя порыванья въ родной край „на наследственную полосу“ проходятъ по всѣмъ сочиненіямъ Левитова.

— Я усталъ, говорилъ онъ однажды собрату своему по перу, Нефедову:—мнѣ необходимъ отдыхъ. Здѣсь, въ Москвѣ или въ Петербургѣ, объ этомъ нечего и думать... Довольно будетъ ужъ съ меня *столицій*-то: слава Богу, въ загривокъ-то достаточно таки онѣ наклали мнѣ... Ахъ, братъ, на родину какъ тянетъ, если-бы ты зналъ!... Стариковъ моихъ вживѣ ужъ нѣтъ—не хватило у нихъ силъ, мочи перенести горе; мой Шенкурскъ убилъ и отца, и мать. Такъ и не привелось видѣться со стариками... Теперь остались только сестра и братъ. Хоть-бы на нихъ взглянуть!“

И вотъ не въ силахъ будучи за неизмѣнимъ средствъ попасть на родину и желая быть къ ней хоть поближе, онъ началъ хлопотать о мѣстѣ уѣзднаго учителя въ Рязскѣ. „Рязскъ, говорилъ онъ, вѣдь это уже почти что моя родина: отъ Рязска до Козлова по желѣзной дорогѣ, а тамъ рукой подать—мое село“. Съ большими мытарствами и трудомъ досталъ себѣ это мѣсто Левитовъ, но не долго пробылъ на немъ: въ августѣ 1866 г. уѣхалъ изъ Москвы, а въ декабрѣ писалъ уже Нефедову: „много ошибокъ и безтактныхъ вещей дѣлалъ я на своемъ вѣку, но говоря по совѣсти, они положительно блѣднѣютъ передъ такой великой глупостію, какъ мое поступленіе учителемъ въ Рязскъ“. На рождественскихъ праздникахъ Левитовъ снова былъ уже въ Москвѣ. Также неудачна была попытка его посѣтить родину и въ 1870 г. Въ іюнѣ этого года онъ писалъ Нефедову: „Ѣду на родину. Наконецъ-то сбылись мои давниш-

нія мечты и желанія: я увижу родину!⁴ Но прїѣхавъ въ Москву, онъ засѣлъ въ ней, и вмѣсто родины ему пришлось поселиться близъ Ваганьковскаго кладбища, въ коморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и лилъ сквозъ крышу дождь, и опять пошла жизнь полная страданій и лишеній.

Посѣтивъ въ послѣдній разъ Петербургъ въ 1871 году, Левитовъ затѣмъ безвыѣздно провелъ послѣдніе годы въ Москвѣ. Зимой онъ проживалъ гдѣ-нибудь у Драгомиловскаго моста въ подвалѣ или у Ваганьковскаго кладбища; лѣтомъ переселялся въ какую-нибудь подгородную деревню и Петровское-Разумовское. Здоровье его медленно, но замѣтно уходило; кашель сталъ повторяться чаще и чаще. Литературныя его работы шли тихо; лучшая вещь, написанная имъ за послѣдній періодъ, помѣщена въ журналѣ *Грамотей* и носитъ заглавіе *Аховскій посадъ*. Главнымъ если не единственнымъ средствомъ къ жизни служило ему въ эти годы изданіе его сочиненій. Съ начала 1875 года онъ началъ быстро худѣть; зловѣщій кашель мучилъ его, и онъ часто жаловался на боль въ груди.

И умереть (въ ночь со 2-го на 3-е января 1877 г.) пришлось ему, какъ умирають бездомные и безпріютные странники, закинутые въ чужедальнюю сторону: въ казенно-черствой обстановкѣ университетской клиники.

V.

Приступая теперь къ характеристикѣ произведеній Левитова, мы можемъ употребить тотъ-же сравнительный методъ, которымъ руководствовались при опредѣленіи беллетристовъ сороковыхъ годовъ, тѣмъ болѣе, что въ настоящемъ случаѣ методъ этотъ самъ какъ-бы напрашивается намъ, обѣщая привести насъ къ богатымъ результатамъ. Въ самомъ дѣлѣ: трудно представить себѣ двухъ писателей, которые будучи однородными по предмету своихъ произведеній, — изображенію народа, — въ то-же время представляли-бы такую полную противоположность относительно характера своихъ талантовъ, какъ Рѣшетниковъ и Левитовъ. Рѣшетниковъ является передъ нами типомъ сѣвернаго писателя: холодный, сдержанный, лаконичный, онъ не скупится на внѣшнія детали изображаемой дѣйствительности, порою совершенно тонетъ въ нихъ, забывая о сути дѣла, но въ то-же время идеально объективенъ; даже въ автобиографическихъ своихъ произведеніяхъ онъ сужѣлъ объективировать самого себя и рассказывать самыя потрясающія и ужасныя событія своей жизни съ невозмутимою флегмою обрусѣлаго финна. Слогъ его сухъ и сжатъ; ни малѣйшаго художественнаго аксессуара, яркаго эпитета или смѣлаго сравненія не найдете вы у него, ни малѣйшаго лирическаго одушевленія или подъема, ни одной картины природы или изображенія женской красоты.

Левитовъ наоборотъ представляетъ собою типъ южнаго беллетриста по яркости колорита во всѣхъ его изображеніяхъ, по преобладанію живой, пламенной, прихотливой фантазіи, по страстности, лиричности и крайней субъективности. Слогъ его своею музыкальностью, пѣвучестью, принимающею въ лирическихъ и патетическихъ мѣстахъ почти стихотворные размѣры, напоминаетъ слогъ Гоголя: такіе-же безконечно-длинные и закрученные періоды, оснащенные массою картинныхъ и затѣйливыхъ

эпитетовъ, метафоръ и уподобленій. Въ тоже время одною изъ самыхъ рѣзкихъ, бросающихся въ глаза особенностей Левитова представляется страсть къ олицетвореніямъ мертвой природы: ни одного очерка не обходится у Левитова безъ того, чтобы у него не переговаривались между собою или даже съ героями стулья, столы, диваны, самовары и пр. Такъ, въ одномъ очеркѣ, онъ олицетворяетъ старое бревно, лежавшее у кабака въ одномъ степномъ селѣ, въ образѣ провиншагося, обнищалаго старичонки и заставляетъ это бревно произносить цѣлые монологи о кабачныхъ поспѣтеляхъ, садившихся на немъ калыкать между собою, а подъ конецъ бревно это, возмущившись сценами, происходившими возлѣ кабака, „приподнялось съ земли, гнѣвно за сверкало впалыми глазами и заговорило столь грозно, что дорожная пыль отъ говора того яростно кружившимися столбами къ небу взвилась и всего его затуманила“. Въ другомъ-же мѣстѣ (*Вѣрное средство отъ разоренія*) онъ заставляетъ разговаривать между собою мраморныя статуи на лѣстницѣ одного купеческаго дома въ Москвѣ, и статуи произносятъ цѣлые сатирическіе монологи о грубости и дикости купеческихъ нравовъ.

Самая форма его произведеній не представляетъ собою и тѣни чего-либо строго обдуманнаго, правильно расположеннаго, стройнаго. Она не подходитъ ни къ одному извѣстному виду беллетристики; это какія-то безформенныя лиро-эпическія импровизаціи. Каждая такая импровизація, носящая названіе повѣсти, разсказа, очерка, представляетъ разноцвѣтный калейдоскопъ образовъ, воспоминаній, мыслей и волея наболѣвшей души. Все это въ пестромъ хаосѣ тѣнится, словно снѣга и едва поспѣвая другъ за другомъ и смѣнясь съ такою-же капризною произвольностью, какъ смѣняются сны или грезы въ горячечной головѣ. Съ большими обиняками добирается обыкновенно авторъ до главнаго предмета своего повѣствованія, и много ему нужно сначала выпустить переполняющихъ голову образовъ и впечатлѣній, чтобы наконецъ добраться. И всѣ эти обиняки дѣлаются безъ всякой предвзятой цѣли, съ тою-же произвольностью, съ какою въ головѣ каждаго человѣка одни представленія смѣняются другими, занося его иногда не вѣсть въ какую область. Левитову напримѣръ хочется изобразить горе сапожника или отставнаго солдата, но начинается онъ рѣчь не иначе, какъ съ самого себя, изображая свою особу въ видѣ бездомнаго горемыки Ивана Сизого, (обычный его псевдонимъ), и вотъ онъ рассказываетъ, какъ этотъ Иванъ Сизой идетъ поздно ночью по улицамъ московскаго захолустья, тонетъ въ сугробахъ и разговариваетъ въ хмѣльномъ чаду съ едва мигающими фонарями. Передъ вами развертывается картина этого хмѣльного чада, проносятся образы одни другихъ мрачнѣе, цѣлый рядъ развѣдающихъ думъ, сѣтованій, и вдругъ среди этой страшной мглы словно блеснетъ яркій лучъ солнца и развернется въ видѣ воспоминаній дѣтскихъ лѣтъ степная картина, блестящая яркими красками и отраднымъ, теплымъ колоритомъ, а далѣе опять мракъ, свѣжныя сугробы, свинцовыя грезы бѣлой горячки, а на слѣдующей-же страницѣ передъ вами внезапно раздается молодой, бойкій, раскатистый хохотъ надъ какимъ-нибудь смѣшнымъ движеніемъ или выраженіемъ героя, и вся страница обливается мѣткимъ, сильнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ простодушно веселымъ юморомъ. Однимъ словомъ видно, что авторъ никогда не заботился ни о строгомъ планѣ, ни о размѣрахъ и соответствіи частей своего про-

изведенія, а отдавался всецѣло на волю своей прихотливой фантазіи, не зная заранѣе, куда она его занесетъ.

Что касается до содержанія произведеній Левитова, то понятно, что человѣкъ, прожившій жизнь такъ безотрадно какъ онъ, вынесшій изъ нея такъ много горя и слезъ, долженъ былъ наибольшее вниманіе обращать на мрачныя стороны жизни и особенно близко принимать къ сердцу всяческое горе ближнихъ, чутко отзываться на каждый стонъ людскихъ страданій. И дѣйствительно это мы и видимъ въ произведеніяхъ Левитова. Онъ вполне справедливо озаглавилъ одно изъ изданій своихъ очерковъ *Горе сель, деревень и городовъ*. Въ самомъ дѣлѣ въ лицѣ Левитова мы видимъ пѣвца народнаго горя во всѣхъ его многообразныхъ видахъ: горя нищеты, семейнаго раздора, горя невѣжества, грубости нравовъ и суевѣрій, горя обманутыхъ ожиданій и неудавшейся жизни, безпомощнаго сиротства и безчеловѣчнаго надруганья грубой силы надъ слабостью и пр., и пр. Словомъ это то самое горе-злосчастье, которое народъ воспѣваетъ въ своихъ пѣсняхъ, олицетворяя его въ видѣ чудовища, преслѣдующаго людей отъ колыбели до могилы и отъ котораго некуда схорониться добрему молодцу: ни въ пескахъ сыпучихъ, ни въ лѣсахъ дремучихъ.

Подобно тому какъ Гоголь, пріѣхавши изъ Малороссіи, во время первыхъ лѣтъ своего скитальчества по Петербургу и труднаго пробыванія дороги въ грусти по роднѣ писалъ свои *Вечера на хуторѣ*, такъ и Левитовъ первыя свои произведенія посвятилъ изображенію жизни роднаго края, о которомъ вспоминалъ въ пенкурской глуши, и результатомъ этихъ воспоминаній были *Степные очерки*. Эти лучшія произведенія Левитова блещутъ особенно яркимъ, поэтическимъ колоритомъ: они изобилуютъ описаніями красотъ степной природы, всѣхъ малѣйшихъ подробностей жизни обитателей степей, всѣхъ ихъ заботъ, хлопотъ, обычаевъ, повѣрій и суевѣрій. Массы личныхъ воспоминаній дѣтства разсыяны по всѣмъ очеркамъ. Рѣдкій обходится безъ изображенія дѣтей, играющихъ по степнымъ лугамъ и лѣсамъ и живущихъ одною жизнью съ окружающею природою. И въ то-же время каждая мелкая черточка выведена съ горячею, нѣжною любовью и блещетъ слезами надрывающей тоски бобыля, заброшеннаго въ чужедальнюю сторону.

Но при всемъ этомъ общее впечатлѣніе, какое вы выносите изъ *Степныхъ очерковъ*, сводится все къ тому-же всеобщему горю, которое одно только и видитъ Левитовъ во всей его окружающей жизни. Повсюду передъ вами льются слезы непокрытой нищеты и горькаго покинутаго сиротства, повсюду какая-нибудь безжалостная сила ломается надъ беззащитной слабостью, и на каждомъ шагу гибнетъ чья-нибудь молодая, только что расцвѣтающая жизнь. Передъ вами проходитъ рядъ возмутительныхъ, иногда кровавыхъ драмъ, и болѣе всего ужасаетъ и леденитъ ваше сердце то обстоятельство, что всѣ эти драмы вовсе не имѣютъ въ основѣ своей какую-бы то ни было роковую, систематическую борьбу: передъ вами развертывается картина дикаго, чисто средневѣковаго неурядиства, въ которомъ главную роль играютъ то слѣпой и бессмысленный случай, то такіе невѣняемые факторы, какъ суевѣрія, грубость нравовъ и культуры и т. п. Вы видите, что въ этой средѣ ни чья жизнь, ни чье благосостояніе не обезпечены; никто не можетъ поручиться, что завтра-же не грянетъ гроза, если не со стороны злыхъ враговъ въ образѣ людей, то со стороны звѣрей, въ

родѣ волка, который съѣсть ребенка, и всего ужаснѣе, что гроза эта разражается неожиданно—негаданно изъ-за самыхъ повидимому пустыхъ и ничтожныхъ поводовъ.

VI.

Заплативши дань своей родинѣ *Степными очерками*, Левитовъ выразилъ всѣ дальнѣйшія впечатлѣнія своей скитальческой жизни по мебелированнымъ комнатамъ, чердакамъ и подваламъ обѣихъ столицъ въ рядѣ очерковъ, собранныхъ имъ въ изданіи 1874 г. подъ названіемъ *Горе селъ, дорогъ и городовъ* (выдающіеся очерки этого изданія: *Безтепальный народъ*, *Петербургскій случай*, *Фигуры и тропы о московской жизни*, *Московскія уличныя картины*, *Шоссейный день* и пр.) и въ изданіи 1875 г. подъ заглавіемъ *Горе селъ, дорогъ и городовъ*.

Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ другою категорію сочиненій Левитова, рѣзко отличающеюся отъ категоріи степныхъ разсказовъ и не имѣющею съ нею ничего общаго. Какъ ни много мрачныхъ красокъ собрано въ *Степныхъ очеркахъ*, но они все-таки смягчаются нѣсколько обаяніемъ степной природы и присутствіемъ цѣльныхъ, сильныхъ и положительныхъ характеровъ, на которыхъ отдыхаетъ сердце ваше. Порою авторъ какъ-бы на время совершенно забываетъ о народномъ горѣ, увлекаясь какими-нибудь воспоминаніями дѣтства, бытовыми подробностями или юмористическими сценами. Когда-же вы приметесь читать *Жизнь московскихъ закоулковъ*, вы должны припомнить извѣстную надпись на вратахъ Дантова ада: „оставь за собою всякую надежду“.

Начать съ того, что вмѣсто юноши исполненнаго нѣжной тоски по родинѣ изъ-за каждой страницы выглядываетъ на васъ съ злобной саркастической улыбкой и съ непрерывными проклятiями на устахъ ожесточенный голякъ, утратившій всякія надежды въ своей неудавшейся жизни. Онъ словно на зло вамъ съ зубовнымъ скрежетомъ спѣшитъ набрасывать картины одна другой мрачнѣе, чудовищнѣе и безнадежнѣе и въ то-же время какъ будто тщеславится передъ вами своею одинокою безучастною ницетою, своими отрешеніями и безпробуднымъ пьянствомъ. Рѣдкій очеркъ этой категоріи обходится безъ того, чтобы авторъ на первомъ-же планѣ не выставилъ самого себя голоднымъ, безпріютнымъ, шагающимъ по московскимъ и петербургскимъ улицамъ въ холодъ и непогоду въ рваномъ пальтишкѣ и непрѣнно изъ кабака въ кабакъ.

Здѣсь мы имѣемъ дѣло тоже съ народнымъ горемъ, но это не то горе *Степныхъ очерковъ*, которое идетъ размыкаться въ лѣсъ дремучій и тамъ успокаивается на лонѣ ласкающей природы, разливаясь въ звучной гнѣснѣ на все село или находитъ исходъ въ кельѣ Божьей невѣсты, послушницы. Это—горе, безвыходно и безучастно задыхающееся въ смрадѣ столичныхъ заднихъ дворовъ и сырыхъ подваловъ, стоны и вопли котораго безслѣдно исчезаютъ въ шумѣ и гамѣ столичной суеты, горе, находящее себѣ единственный исходъ въ рядѣ безобразныхъ оргій, сопровождаемыхъ неистовыми взвизгиваніями и бѣшеною пляскою трепака и общею кровавою потасовкою въ мутномъ чаду похмѣлья. Поэтому очерки этой категоріи представляютъ нескончаемый рядъ мрачныхъ картинъ кабачныхъ пооекъ и потасовокъ и являются

какъ-бы специально посвященными изображенію народнаго пьянства. Созерцаніе этого пьянства вмѣстѣ съ личнымъ участіемъ въ немъ словно сдѣлалось главнымъ содержаніемъ жизни и поэзіи Левитова. „Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизмъ, говоритъ онъ въ очеркѣ *Крымъ*:—ежели вамъ это понравится; но вѣдь я зачѣмъ пришелъ въ Крымъ? Я пришелъ въ Крымъ съ тою цѣлью, чтобы смотрѣть цѣлую ночь много-различные виды нашего русскаго горя; чтобы, смотря на эти виды, провести всю ночь въ болѣзненномъ нытьѣ сердца, не могущаго не сочувствовать сценамъ людскаго паденія, чтобы скоротать эту ночь, молчаливо бѣснуясь больною душой, которая видитъ, что и она такъ-же гибнетъ, какъ гибнетъ здѣсь столько народа“.

Въ личностяхъ, выводимыхъ въ этихъ очеркахъ, вы не найдете уже тѣхъ непосредственно цѣльныхъ, народно-типическихъ характеровъ, какіе проходятъ передъ вами въ *Степныхъ очеркахъ*. Это все люди надломленные, перемолотые и стертые до полной безличности въ мытарствахъ столичной жизни, искаженные иногда до потери всякаго человѣческаго образа, опустившіеся до чудовищнаго разврата. Про Левитова нельзя въ этомъ отношеніи сказать, чтобы онъ льстилъ народу, идеализировалъ его: онъ изображалъ народъ непосредственно въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представлялся ему, глубоко сочувствуя ему и скорбя за него въ его вынужденномъ обстоятельствомъ паденія.

Какъ на особенно замѣчательные очерки по изображенію наиболѣе страшныхъ трущобныхъ типовъ и самыхъ сокровенныхъ подонковъ столичныхъ омутовъ слѣдуетъ указать на очерки *Крымъ*, *Грачевка*, *Безмечальный народъ*, *Не спятъ*—*не жнутъ*, *Шоссейный день*. Всѣ эти очерки обличаютъ въ Левитовѣ знатока народной жизни въ такихъ ея непроницаемыхъ столичныхъ трущобахъ, куда кромѣ него не приходилось заглянуть ни одному еще наблюдателю народныхъ нравовъ. Ничего подобнаго этимъ очеркамъ вы не найдете въ нашей литературѣ. Будь они болѣе тщательно обработаны въ техническомъ отношеніи и не столь растянуты, ихъ можно было-бы причислить къ числу первостепенныхъ произведеній русской литературы, хотя и въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся, они представляются вполне своеобразными и въ высшей степени замѣчательными явленіями ея.

Субъективный элементъ въ очеркахъ этой категоріи присутствуетъ въ большихъ размѣрахъ, чѣмъ въ *Степныхъ очеркахъ*. Встрѣчаются очерки, въ которыхъ элементъ этотъ преобладаетъ вполне и стоитъ на первомъ планѣ. Изъ этихъ вполне субъективныхъ очерковъ особенно замѣчательны тѣ, въ которыхъ авторъ не ограничивается однимъ изображеніемъ народнаго горя, а дѣлаетъ различныя сопоставленія нравовъ и понятій, господствующихъ въ народной средѣ, съ гуманными высокими идеалами, выработанными въ авторѣ высшимъ образованіемъ. Подобныя сопоставленія отличаются крайне болѣзненнымъ настроеніемъ, переходящимъ въ мрачное отчаяніе при видѣ того, какъ идеалы автора разбиваются о грубую и грязную дѣйствительность, полную мрака, невѣжества. Таковы *Фигура и тропь о московской жизни* или *Счастливые люди*. Въ этихъ очеркахъ въ образѣ самого автора рельефно выступаетъ передъ вами типъ тѣхъ беллетристовъ-народниковъ шестидесятыхъ годовъ, представителемъ которыхъ является Левитовъ. Вышедши изъ народа, вынеся на своихъ плечахъ его страданія и живя до конца дней своихъ непосредственно его

жизнью, беллетристы эти не идеализировали народъ, не возводили его на пьедесталъ, не искали въ немъ особенныхъ, невѣдомыхъ міру идеаловъ и считали „неотразимымъ вздоромъ“ туманныя фантазіи народниковъ-славянофиловъ вроде Ап. Григорьева, олицетворенныхъ Левитовымъ въ типѣ учителя въ очеркѣ *Счастливые люди*. Это сознание „неотразимаго вздора“ происходило конечно изъ того реальнаго опыта, который открылъ имъ всѣ вѣковыя язвы, всю вѣковую грязь, которая въѣлась въ народъ подѣ влияніемъ тяжелыхъ условій его жизни втеченіе многихъ столѣтій!.. Но дорого стоило имъ это трезвое сознание: увидя народъ не такимъ, какимъ-бы имъ хотѣлось его видѣть и какимъ представляли его предшественники ихъ, они исполнились глубокою, безысходною скорбію о всѣхъ его язвахъ и страданіяхъ, и въ то-же время дѣйствительность представившаяся имъ совершенно ошеломила ихъ и обезкуражила. Въ уныніи и отчаяніи опустили они руки, тоскливо восклицая: во чтѣ-же послѣ этого вѣрить?... Къ кому идти? Куда преклонить голову? Что дѣлать?... И они окончательно спивались, находя единственное утѣшеніе въ забвеніи вина и смерти.

VII.

Николай Ивановичъ Наумовъ родился 16 мая 1838 года въ Тобольскѣ. Отецъ его былъ сынъ дьякона изъ села Самарова Березовскаго округа; служилъ сначала въ городѣ Омскѣ прокуроромъ, а потомъ въ Томскѣ совѣтникомъ губернскаго правленія. Чтѣ было большою рѣдкостью въ тѣ времена, да еще въ Сибири,—человѣкъ онъ былъ безукоризненной честности, чему былъ обязанъ благотворному влиянію на него декабристовъ, въ кружокъ которыхъ онъ попалъ въ молодости. Вслѣдствіи этой честности главы семья всегда жила въ страшной бѣдности. Матери Наумовъ лишился семи лѣтъ, и послѣ смерти ея росъ одинокимъ, заброшеннымъ ребенкомъ, не имѣя товарищей, не зная дѣтскихъ игръ. Любимое его времяпрепровожденіе было уходить вечеромъ въ какую-нибудь темную комнату и, забившись въ уголокъ, слушать вой зимней вьюги. Читать мальчика научила еще мать съ пяти лѣтъ. Вся бібліотека его въ это время заключалась въ басняхъ Крылова, которыя мальчикъ читалъ съ утра до ночи, пока не выучилъ наизусть. Первою книгою послѣ басенъ, которую онъ прочелъ, былъ Юрій Милославскій Загоскина, который увлекъ его до такой степени, что былъ прочитанъ пять разъ, и благодаря блестящей памяти, многія мѣста онъ выучилъ наизусть. Затѣмъ, пристрастясь къ чтенію, онъ началъ читать все, чтѣ ни попадалось подѣ руки: и *Ерусалана Даваревича*, и *Гуака*, и Четип-Минен, и Библию, и Исторію Карамзина. Восьми лѣтъ онъ уже зналъ наизусть чуть не всего Пушкина. Но это пристрастіе къ чтенію не обошлось мальчику дешево: отъ неподвижной жизни и сидѣнія за книгою съ утра до ночи у него испортилось пищевареніе и разлилась желчь. Позванъ былъ врачъ и мальчику было безусловно запрещено чтеніе. Тогда онъ прибѣгъ къ хитрости: наворовавъ у старухи няньки огарковъ отъ сальныхъ свѣчей, онъ уходилъ будто-бы спать, а самъ, когда въ дождь все засыпало, принимался за свое любимое занятіе.

Но самую лучшую школою мальчика, обратившею все вниманіе его на страданія народа, была сама жизнь.

«Судьбѣ угодно было, рассказываетъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ о дѣтствѣ, любезно сообщенныхъ имъ намъ специально для этой книги, чтобы съ самаго ранняго дѣтства и видѣлъ онѣ только печальныя картины человѣческихъ страданій. Домъ нашъ въ г. Омскѣ выходилъ окнами на площадь передъ крѣпостнымъ валомъ. Лѣтомъ обыкновенно съ 11 часовъ утра на этой площади производили ученіе солдатамъ, и тутъ-же ихъ сбѣли и розгами, и палками и шомполами отъ ружей. Далеко разносились крики терзаемыхъ жертвъ. На этой-же площади гоняли сквозъ строй и солдатъ, и преступниковъ. Я и теперь безъ содраганія не могу вспомнить этихъ сценъ. Я плакалъ, забивался въ подушки, чтобы не слышать барабаннаго боя и раздражающихъ душу криковъ. По ночамъ со мною часто дѣлался послѣ подобныхъ картинъ жаръ и бредъ, и меня укладывали иногда на нѣсколько дней въ постель. Когда меня отдали въ ученіе къ учителю Ксенофону Трифоновичу (фамилія его не помню),—онъ былъ унтеръ-офицеръ и учитель полубатальона кантонистовъ,—здѣсь я опять видѣлъ тѣ-же картины страданій этихъ несчастныхъ дѣтей кантонистовъ, которыхъ сбѣли безчеловѣчно за самыя ничтожныя поступки, напримѣръ за оторвавшуюся у куртки пуговицу, морили голодомъ и т. п.

«Въ эти ранніе годы я хотя безсознательно сталъ уже ненавидѣть всякое насиліе. Много мнѣ способствовало къ развитію этой ненависти жившій у насъ въ кучерахъ сосланный въ Сибирь по волѣ помѣщика старикъ Памфилъ. Это былъ добрый, умный и честный крестьянинъ тамбовской губерніи. Онъ былъ крѣпостной человѣкъ Тютчева, былъ избранъ въ своемъ селѣ въ старосты. Миръ уполномочилъ его идти къ барину въ Питеръ съ жалобой на злоупотребленія и притѣсненія управляющаго, и за это былъ наказанъ 500 ударами розогъ и сосланъ въ Сибирь. Онъ жилъ у насъ около 20 лѣтъ. Памфилъ былъ мастерской разсказчикъ. Рѣчь его была плавная, образная, пересыпаемая пословицами, остротами, прибаутками. Я заслушивался его разсказами о житѣ-бытѣ крестьянъ, о нагомъ насиліи и произволѣ какіе совершаютъ надъ ними помѣщики, обирая у крестьянъ послѣднее для того, чтобы проживать и проигрывать въ карты. Сцены изъ его разсказовъ, какъ отрывали дѣтей у отца и матери, продавая ихъ другому помѣщику или проигрывая ихъ въ карты, производили на меня потрясающее впечатлѣніе.

Наумову шелъ 9-й годъ, когда отца его перевели на службу въ Томскъ. По приѣздѣ туда мальчика отдали въ гимназію. Онъ вошелъ въ гимназію весьма развитымъ ребенкомъ сравнительно съ сверстниками и съ первыхъ-же дней приобрѣлъ не только любовь товарищей, но и неограниченную власть надъ ними. Онъ увлекалъ ихъ, разсказывая имъ все прочитанное. Когда какой-нибудь учитель не приходилъ въ классъ, дверь въ классъ запиралась, ученики садились по мѣстамъ; Наумова торжественно садили на учительское кресло и просили разсказать что-нибудь. Въ классѣ водворялась мертвая тишина, и Наумовъ принимался разсказывать или какой-нибудь эпизодъ изъ прочитаннаго имъ разсказа, или изъ исторіи, и нужно было видѣть, какъ эти шалуны, постоянно наказываемые учителями за невниманіе и шалость во время уроковъ, жадно слушали все, что говорилось имъ. Это подтверждается еще съ большою обстоятельностью г. Ядринцевымъ въ его «Воспоминаніяхъ о томской гимназіи» (см. *Сиб. Сборн.* 1888 г., вып. I).

«У насъ, говоритъ онъ, былъ любимецъ товарищъ, Николай Ивановичъ Наумовъ, впоследствии замѣчательный беллетристъ и писатель. Будучи развитѣ другихъ, онъ много читалъ и обладалъ даромъ разсказывать,—*Королева Марго, Монсаръ, Три Мушкетера* составляли канву его разсказовъ, но также увлекательно онъ разсказывалъ иногда и историческія событія изъ прочитаннаго имъ аббата Милота. Когда

надоѣдало «давить масло», мы садили его на столъ и цѣлымъ классомъ его слушали. Тогда среди буйной толпы слышно было, какъ пролетитъ муха. Мнѣ приходилось жалѣть впоследствии, что наши наставники не обладали этимъ секретомъ сосредоточивать вниманіе».

Но немного вынесъ Наумовъ изъ гимназіи при крайне плохомъ составѣ и началствѣ ея, и учителей. Къ тому-же онъ не пошелъ далѣе младшихъ классовъ. Онъ былъ въ третьемъ классѣ, когда отецъ его вышелъ въ отставку съ 20 рублями въ карманѣ. Онъ рассчитывалъ скоро получить пенсію, но выдача ея затянулась на три года, и три года семья принуждена была терпѣть самую ужасающую нищету. Часто, приходя изъ гимназіи голодный, мальчикъ не имѣлъ чего поѣсть. Въ домѣ порою не было сальной свѣчи, и ложились спать засвѣтло; по нѣскольку дней зимою сидѣли въ неотапливаемой комнатѣ. Мальчикъ бѣгалъ въ гимназію зимой въ одной холодной шинелишкѣ, безъ калошъ, вмѣсто чулковъ обматывая ноги писчей бумагою, и надѣвая на нихъ сапоги иногда съ отпавшими подошвами. Наконецъ онъ совсѣмъ обносился, и послѣ оскорбительно грубаго замѣчанія инспектора насчетъ его одежды отецъ принужденъ былъ взять его изъ гимназіи. Вскорѣ затѣмъ, не желая быть въ тягость семьѣ, Наумовъ поступилъ въ военную службу юнкеромъ. Жизнь съ солдатами много способствовала ему къ изученію ихъ быта. Онъ писалъ имъ письма къ роднымъ и читалъ получаемыя ими письма. Во время службы онъ сошелся съ однимъ офицеромъ А. А. Зерчаниновымъ. Это былъ человекъ умный, развитой, много читавшій. Наступила уже эпоха реформъ и чаяній. Юноша читалъ первые статьи Добролюбова и Чернышевскаго, *Губернскіе очерки* Щедрина. Бѣлинскій былъ изученъ имъ почти наизусть. Чувствуя скудость своихъ знаній и тяготясь этимъ, Наумовъ кончилъ тѣмъ, что вышелъ въ отставку и поѣхалъ въ Петербургъ въ университетъ. Это было въ 1860 году. Наумовъ началъ посѣщать лекціи, надѣясь постепенно подготовиться и сдать гимназическій экзаменъ. Но въ 1861 году университетъ былъ закрытъ. Наумовъ не избѣгъ ареста въ числѣ прочихъ студентовъ того времени, участвовавшихъ въ демонстраціяхъ. Затѣмъ нечего было и думать о продолженіи ученія. Надо было добывать насущный хлѣбъ, и Наумовъ устремился на литературное поприще.

Первый рассказъ его изъ солдатскаго быта подъ названіемъ *Случай изъ солдатской жизни* Наумовъ написалъ будучи еще юнкеромъ и послалъ его изъ Томска въ *Военный Сборникъ*, гдѣ онъ былъ напечатанъ въ июльской книжкѣ 1858 г. подъ псевдонимомъ Карзунова.

Въ 1862 году въ журналѣ Погосскаго *Народная бесѣда* былъ помѣщенъ рассказъ изъ солдатскаго быта *Письмо* и въ *Искрѣ*—юмористическія сцены *Горе обличителю* и нѣсколько мелкихъ статей юмористическаго-же содержанія.

Затѣмъ литературная дѣятельность его почти не прерывалась до 1884 года, когда тяжкая нужда заставила литературнаго пролетарія, уже обремененнаго семействомъ, бросивъ перо, искать обезпеченія на службѣ, и онъ отправился на родину въ Маринскъ на должность непремѣннаго члена по крестьянскимъ дѣламъ.

Лучшія изъ его произведеній изданы въ различное время въ трехъ сборникахъ подъ слѣдующими заглавіями: 1) *Сила солому ломитъ*, 2) *Въ тигромъ омутъ* и

3) *Въ забытомъ краю.* Всѣ рассказы Наумова по типу своему вполне принадлежать къ беллетристикѣ изъ народнаго быта шестидесятыхъ годовъ, т. е. представляютъ рядъ мрачныхъ картинъ народныхъ бѣдствій, притѣсненій, наглыхъ обираний со стороны властей и капиталистовъ и полнаго безправія. Особенность рассказовъ Наумова заключается въ томъ, что онъ имѣетъ дѣло съ сибирскими крестьянами. Сибирскіе крестьяне отличаются отъ европейскихъ тѣмъ, что они значительно развитѣе, отважнѣе и предприимчивѣе. Не надо забывать, что Сибирь не знала крѣпостнаго права. Но зато здѣсь гораздо ранѣе, чѣмъ въ Европейской Россіи развились такіе экономическіе порядки, которые у насъ назрѣваютъ лишь нынѣ, на нашихъ глазахъ, въ началѣ-же шестидесятыхъ годовъ, тотчасъ послѣ освобожденія крестьянъ, были еще почти совсѣмъ незамѣтны. Такова новая сельская буржуазія въ видѣ кулаковъ, всякаго рода промышленниковъ и скупщиковъ, опутывающихъ народъ сѣтью наглаго ростовщичества и закабальныхъ его подъ иго новаго крѣпостнаго права, еще болѣе ужаснаго вслѣдствіе своей экономической неодолимости. Въ Сибири подобные пауки, сосущіе народную кровь, уже издавна успѣли всюду растянуть свои хитроумныя паутинны и являются въ видѣ крупныхъ капиталистовъ миллионеровъ, пользующихся въ своемъ краѣ тѣмъ болѣе безграничнымъ могуществомъ, что такая далекая окраина, какъ Сибирь, до которой едва касались реформы шестидесятыхъ годовъ и въ которой до сихъ поръ сохраняются старые суды, всегда представляла широкій просторъ для всякаго рода административнаго произвола и вопіющихъ злоупотребленій. Вслѣдствіе всего этого картины народнаго безправія и безпомощности подъ гнетомъ безсердечной эксплуатаціи денежной мощны въ рассказахъ Наумова имѣютъ особенную выпуклость и драматичность, далеко превышающія подобныя качества рассказовъ прочихъ беллетристовъ шестидесятыхъ годовъ изъ народнаго быта Европейской Россіи. Этимъ и объясняется то сильное, потрясающее впечатлѣніе, какое въ свое время они производили. Прибавьте къ этому вѣрность народнаго быта и говора, обличающую въ Наумовѣ большого знатока народной жизни, и свойственную таланту его теплую, хватающую за сердце задушевность, — таковы качества, дѣлающія Наумова и до сихъ поръ однимъ изъ выдающихся писателей въ ряду беллетристовъ-народниковъ. Какъ на лучшіе его рассказы укажемъ на слѣдующіе: *У Перевоза* (*Совр.* 1863 г., № 11). *Деревенскій аукціонъ* (*Искра* 1866 г.), *Деревенскій торгашъ* и *Юродивая* (*Дѣло* 1871 г.), *Тишь да гладь* (*От. Зап.* 1873 г.). *Умалитенный*, *Куда не кинь—все клинъ*, *Паутина* (въ *Дѣлѣ* 1878 г.) и проч.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

I—Глѣбъ Ивановичъ Успенскій и Николай Николаевичъ Златовратскій какъ представители новой и послѣдней фазы беллетристики изъ народнаго быта. Дѣтство и юность Гл. Ив. Успенскаго и неблагоприятныя условія первыхъ десяти лѣтъ его творчества. II—Общій характеръ творчества Гл. Успенскаго и характеристика перваго, разночиннаго, періода его дѣятельности. III—Переходное состояніе и вступленіе во второй періодъ дѣятельности, мужицкій. IV—Гл. Успенскій въ качествѣ разрушителя иллюзій въ возрѣніяхъ интеллигенціи на народъ. V—Гл. Успенскій у источника. *Власть земли* и значеніе очерковъ, группирующихся вокругъ этого произведенія. VI—Биографическія свѣдѣнія о Златовратскомъ. VII—Характеристика сочиненій Златовратскаго и выводимыхъ имъ типовъ.

I.

Выше мы уже говорили, что въ семидесятые годы беллетристика народнаго быта вступила въ новую фазу своего развитія, болѣе тщательнаго, основательнаго и глубокаго изученія народа, когда перестали уже довольствоваться съ одной стороны апіорною идеализаціею народа на основаніи нѣсколькихъ демократическихъ идей, и съ другой стороны—поверхностною правдою конкретныхъ фактовъ, выводимыхъ съ цѣлью возбудить въ обществѣ участіе къ народнымъ страданіямъ и негодованіе къ тяготѣющимъ надъ нимъ неправдамъ. вмѣсто этого явилось стремленіе къ постиженію основныхъ началъ народной жизни, къ такимъ выводамъ и обобщеніямъ, которые давали-бы ключъ къ пониманію жизни народа въ ея сущности, во всей ея сложности, въ ея такъ сказать массовыхъ проявленіяхъ, являющихся историческимъ продуктомъ, дѣломъ вѣковъ. Во главѣ этой новой фазы народной беллетристики стоятъ два писателя: Глѣбъ Ивановичъ Успенскій и Николай Николаевичъ Златовратскій.

Съ тѣхъ поръ какъ Гл. Успенскій и Н. Златовратскій обратили на себя всеобщее вниманіе, какъ двѣ крупнѣйшія силы современной литературы, между ними постоянно усматривался взаимный антагонизмъ, какъ-бы два противоположные полюса возрѣній на народъ,—отрицательный и пессимистическій со стороны Гл. Успенскаго и положительный, оптимистическій со стороны Н. Златовратскаго. Во многихъ мѣстахъ произведеній этихъ писателей находили даже тайную, замаскированную полемику, которую они вели между собою, не имѣя возможности выступить другъ противъ друга открыто, такъ какъ печатались въ одномъ журналѣ. Даже и молодые читатели ихъ раздѣлялись на

два лагеря: поклонниковъ Гл. Успенскаго и Н. Златовратскаго, причемъ первые обвиняли Златовратскаго въ идеализаціи народа и сентиментальности, а вторые заподозрѣвали Гл. Успенскаго въ чемъ-то вродѣ скрытаго крѣпостничества. На самомъ-же дѣлѣ оба эти писателя при всемъ своемъ антагонизмѣ, зависящемъ отъ особенностей ихъ талантовъ, различными путями пришли къ одной и той-же цѣли. Въ то время какъ Гл. Успенскій своимъ разлагающимъ, чисто прудоновскимъ анализомъ, вооруженнымъ безпощаднымъ юморомъ разрушилъ всѣ накопившіяся съ сороковыхъ годовъ апіорныя иллюзіи, которыя мѣшали видѣть народъ въ его истинномъ свѣтѣ и во всей нелицепріятной правдѣ, Н. Златовратскій на развалинахъ этихъ иллюзіи возвелъ новое зданіе, показавши намъ уже не воображаемыя, а дѣйствительныя, подлинныя положительныя начала народной жизни, о которыхъ до тѣхъ поръ никому и не снилось.

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій родился 14-го ноября 1840 года въ Тулѣ, и какъ мы уже видѣли (см. гл. XIII), былъ сынъ секретаря казенной палаты и двоюродный братъ Николая Успенскаго. Тамъ-же въ Тулѣ учился онъ до 1856 года въ мѣстной гимназіи, а курсъ кончилъ въ Черниговской гимназіи въ 1861 г. Послѣ того поступилъ въ с.-петербургскій университетъ, затѣмъ перешелъ въ московскій, но вышелъ некончивши курса. Воспоминанія о дѣтскихъ и юношескихъ годахъ вынесъ онъ самыя мрачныя.

«Вся моя личная жизнь, говоритъ онъ въ одной весьма краткой автобіографіи своей, вся обстановка моей личной жизни до 20-ти лѣтъ, обрекала меня на полное затмѣніе ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятій, неразвитость и вообще отдѣляла отъ жизни бѣлаго свѣта на неизмѣримое разстояніе. Я помню, что я плакалъ безпрестанно, но не зналъ, отчего это происходитъ. Не помню, чтобы до 20 лѣтъ сердце у меня было когда-нибудь на мѣстѣ. Вотъ почему, когда настала 61 годъ, взять съ собою «въ дальнюю дорогу» что-нибудь *изъ моего прошлаго* было рѣшительно невозможно—ровно нечего, ни капельки; напротивъ, для того чтобы *жить* хоть какъ-нибудь, надобно было непременно до послѣдней капли *забыть все* это прошлое, истребить въ себѣ всѣ внѣдренныя имъ качества. Нужно было еще перетерпѣть все то разореніе невольной неправды, среди которой пришлось жить мнѣ годы дѣтскіе и юношескіе, надо было потратить годы на эти непрестанныя похороны людей, среди которыхъ я выросъ, которые исчезали со свѣта безропотно, какъ погибающіе среди моря, зная, что никто не можетъ имъ помочь и спасти, что «не тѣ времена». Самая безроптность погибавшихъ людей, явное сознаніе, что все, что въ нихъ есть и чѣмъ они жили—неправда и ложь, и беспомощность ихъ, уже одно это прямо убѣждало людей моего возраста и обстановки жизни, что *изъ прошлаго* нельзя и не надо, и не возможно оставить въ себѣ даже самонадѣйнаго воспоминанія; ничѣмъ отъ этого прошлаго нельзя было и думать руководиться въ томъ новомъ, которое «будетъ», но которое рѣшительно еще неизвѣстно. Слѣдовательно начало моей жизни началось только *послѣ забвенія моей собственной біографіи*, а затѣмъ и личная жизнь, и жизнь литературная стали созидаться во мнѣ одновременно *собственными средствами*...»

Литературную дѣятельность Гл. Успенскій началъ въ 1866 году рядомъ очерковъ, извѣстныхъ подъ общимъ заглавіемъ *Нравы Растеряевой улицы* и помѣщавшихся на страницахъ *Современника*, но съ самаго начала ея ему пришлось подвергнуться всѣмъ тѣмъ враждебнымъ условіямъ, о которыхъ было говорено въ предыдущей главѣ и которыя мѣшали беллетристамъ-разночинцамъ тщательно обрывать и доканчивать свои произведенія.

«Времена, пережитыя русскою журналистикою за послѣднiя 20 лѣтъ, говоритъ Гл. Успенскiй въ предисловіи къ изданію сочиненій его 1883 г., были преисполнены всевозможныхъ случайностей, безпрестанно разстраивавшихъ правильное ея теченіе и развитіе. Мои очерки много пострадали отъ этихъ невзгодъ журнальнаго дѣла, чисто во внѣшнемъ отношеніи. Правда, аргументъ нечего было въ нихъ искоренять: цензурныя бѣды обрушивались не на такого рода литературныя явленія. Но въ общемъ водоворотѣ ничто не можетъ оставаться нетронутымъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что эти очерки вышли-бы рельефнѣе, полнѣе и осмысленнѣе, если-бы журнальная жизнь была устойчивѣе и представители печати могли чувствовать себя спокойнѣе.

«Укажу на одинъ примѣръ. *Права Растеряевой улицы*, задуманные мною въ 1866 г., только что начали печататься въ *Современникѣ* (№№ 2-й и 3-й 1866 г.), какъ журналъ этотъ былъ закрытъ. Продолженіе этихъ очерковъ, приготовленное для *Современника*, должно было явиться въ Сборникѣ *Луча*, изданномъ редакціей *Русскаго Слова*, которое также было прекращено, причемъ все, что имѣло связь съ очерками, напечатанными въ *Современникѣ*, надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть,—для того, чтобы «продолженіе» имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующія лица были переименованы въ другихъ, имъ «сдѣлана» иная обстановка, и самое названіе измѣнено. Затѣмъ дальнѣйшее продолженіе той-же серіи рассказовъ печаталось въ журналѣ *Женскій Вѣстникъ*, такъ какъ тогда (66 г.) почти совершенно не было другихъ литературныхъ журналовъ. Судите поэтому, что должна была претерпѣть *Растеряева улица*, со своими пьяницами «сапожниками и мастеровицой», появляясь въ журналѣ, посвященномъ *женскому развитію, женскому вопросу*. При всемъ моемъ глубокомъ желаніи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличнѣй, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что-жь было дѣлать? Я ихъ умылъ и приодѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше...

«Сплоченныхъ литературныхъ кружковъ, къ которымъ могли-бы пристать начинающіе писатели,—ничего тогда на-лицо не было. Все удручало васъ и дѣлало одинокимъ. А между тѣмъ общество, вступившее въ совершенно новый періодъ жизни,—требовало отъ литературы, — и имѣло на это право, — многосложной и внимательной работы.

«Такимъ образомъ какъ отсутствіе «школы», такъ и глубокое внутреннее сознаніе, что «теперь» обновляющаяся жизнь требуетъ большихъ дарованій и задаетъ имъ огромныя задачи,—дѣлали то, что незначительная способность написать «рассказъ» или «очеркъ» ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ ненужности этого дѣла. «Все это не то!» думалось тогда, и вслѣдствіе этого матеріалъ обрабатывался плохо, «кой-какъ», появляясь въ видѣ «отрывковъ» безъ начала и конца...»

Такія-же жалобы на одиночество встрѣчаемъ мы и въ его вышеупомянутой автобіографіи:

«Одиночество, говоритъ онъ, было полное. Съ крупными писателями я не имѣлъ никакихъ связей, а мои товарищи—люди старшіе меня лѣтъ на десять—почти всѣ безъ исключенія погибли на моихъ глазахъ, такъ какъ пьянство было почти чѣмъ-то неизбежнымъ для тогдашняго талантливаго человѣка. Всѣ эти подверженныя сивушной гибели люди были уже извѣстны въ литературѣ, и живи они въ наше время, когда можно на полной свободѣ «плѣнять своимъ искусствомъ свѣтъ»—они бы написали много изящныхъ произведеній; но захватила ихъ новая жизнь такая, что завтрашній день не могъ быть даже и предвидѣнъ—и талантливые люди почувствовали, что имъ не угнаться за толпой, начинающей жить безъ всякихъ литературныхъ традицій, должны были чувствовать въ этой отживавшей толпѣ свое полное одиночество. Сколько ни проявляй искусства въ поэмѣ, романѣ—«они» даже и

не почувствуютъ... Спивавшихся съ кругу талантливѣйшихъ людей было множество, начиная съ такой потрясающей въ этомъ отношеніи фигуры, какъ П. И. Якушкинъ. Въ такомъ видѣ въ пору были «похмѣлиться», «очухаться», очувствоваться и какая ужь тутъ «литературная школа!» Похвалы въ пьяномъ видѣ было много; посуловъ еще больше, анекдотовъ—видимо-невидимо, а такъ чтобы ото всего этого повеселѣть—нѣтъ, этого не скажу. Даже малѣйшихъ опредѣленныхъ взглядовъ на общество, на народъ, на цѣли русской интеллигенціи ни у кого рѣшительно не было. Немудрено, что ясно сознаваемое горе заливалось сивухой самыми талантливыми людьми.

«Несомнѣнно народъ этотъ былъ душевный, добрый и глубоко талантливый; но питейная драка, питейная болѣзнь, похмѣлье и вообще разслабленное состояніе, извѣстное подъ названіемъ «послѣ вчерашняго», занимало въ ихъ жизни слишкомъ большое мѣсто. Не было у нихъ читателя, они писали неизвѣстно для кого и хвалили только другъ друга. Одиночество талантливыхъ людей вело ихъ къ трактирному оживленію и шуму. Ко всему этому надо прибавить, что въ годы 1863—1868 все въ журнальномъ мірѣ падало, разрушалось, валилось. *Современникъ* сталъ тусклъ и упалъ во мнѣніи живыхъ людей, отводя по полкнигѣ на бесплодные литературныя распри, а потомъ и былъ закрытъ. Закрыто и *Русское Слово*, и вообще всѣ мало-мальски видные дѣятели разбрелись, *исчезли*. Начали появляться какія-то темныя изданія съ темными издателями... Одинъ изъ нихъ напримѣръ, когда пришли описывать его за долги, сталъ на глазахъ пристава ѣсть овесъ, прикинувшись помѣшаннымъ (Артабалева). Когда наконецъ въ 1868 г. основались новыя *Отечественныя записки*, первые годы въ нихъ тоже было мало уюта... Все, что собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока наконецъ дѣло не стало на широкую дорогу. Пока оно складывалось, жить въ неустановившемся и неуютномъ обществѣ большей частью до послѣдней степени изломанныхъ писателей (съ новыми я едва встрѣчался еще), не было никакой возможности, и я уѣхалъ за-границу...»

II.

Вотъ подъ вліяніемъ какихъ мрачныхъ и неблагоприятныхъ условій развивался талантъ Гл. Успенскаго. Условія эти отразились не только на формѣ его произведеній, на отрывочности ихъ и отсутствіи художественной обработки, но и на самомъ содержаніи. Первое, что васъ поражаетъ въ нихъ, это полное отсутствіе спокойной художественной созерцательности, стремленія нарисовать что-бы ни было изъ одного артистическаго увлеченія, однимъ словомъ того, что называется «чистымъ искусствомъ». Не найдете вы въ этихъ очеркахъ ни одного ландшафта, ни одного изображенія женской красоты, ни въ какомъ-бы то нибыло отношеніи поразительнаго сюжета. Строгий чисто подвижническій аскетизмъ въ этомъ отношеніи проникаетъ всѣ произведенія Гл. Успенскаго, побуждая его до такой степени сторониться отъ малѣйшаго художественнаго аксессуара, что въ послѣднемъ изданіи своихъ произведеній (1889) онъ нашелъ нужнымъ еще болѣе сжаться. По крайней мѣрѣ г. Михайловскій въ своей статьѣ объ Успенскомъ, приложенной къ изданію, говоритъ, что просматривая сочиненія Гл. Успенскаго, онъ не находилъ въ нихъ то отдѣльной фразы или яркаго слова, которое онъ хорошо помнитъ, а то и цѣлой картинки, и что вычеркнуты главнымъ образомъ «сиѣшныя» вещи...

Подобный художественный аскетизмъ происходитъ вовсе не изъ какой-либо предвзятой эстетической теоріи, а лежитъ въ самой природѣ г. Гл. Успенскаго. Ключъ

къ этому аскетизму заключается въ тѣхъ словахъ автобіографіи писателя, гдѣ онъ говоритъ, что до 20 лѣтъ онъ плакалъ безпрестанно, не зная отчего это происходитъ, и что до 20 лѣтъ сердце у него никогда не было на мѣстѣ. Такимъ образомъ — эта была слишкомъ потрясенная и встревоженная душа, которой было вовсе не до какихъ-либо художественныхъ красотъ. И притомъ не до двадцати только лѣтъ душа Гл. Успенскаго оставалась въ такомъ положеніи: она и потомъ въ продолженіе всей послѣдующей жизни продолжала быть не на мѣстѣ въ вѣчныхъ порывахъ къ свѣту, къ источнику, какъ выразился Гл. Успенскій, въ вѣчныхъ поискахъ правды, живой души, цѣлостности человѣческой природы, въ вѣчной скорби о больной совѣсти интеллигентнаго русскаго человѣка. Не принадлежа къ числу такихъ ультра-субъективныхъ художниковъ, которые вѣчно возятся съ своею личностью и спѣшатъ возвѣщать міру о каждомъ своемъ минулетномъ ощущеніи, тѣмъ не менѣе Гл. Успенскій не принадлежитъ и къ числу тѣхъ объективнѣйшихъ писателей, которые подолгу выносятъ свои художественные образы, являющіеся плодами ихъ спокойныхъ наблюденій надъ окружающею ихъ внѣшнею жизнью и не имѣющіе никакого кровнаго сродства съ жизнью ихъ собственнаго сердца. Гл. Успенскій всегда въ продолженіе все своей дѣятельности глубоко страдалъ своими художественными образами; онъ постоянно волновался, кипятился всѣмъ тѣмъ, что представлялось его глазамъ; все это тотчасъ-же всецѣло овладѣвало его душою, дѣлалось жизнью его собственнаго сердца и все это онъ спѣшилъ излить въ образахъ повидимому вполне объективныхъ, но въ то-же время имѣвшихъ въ его глазахъ непосредственное, кровное сродство съ жизнью его души, такъ какъ въ нихъ-то именно эта жизнь и заключалась, какъ онъ и самъ свидѣтельствуютъ о томъ въ концѣ своей автобіографіи, говоря:

«Все-же, что накоплено мною «собственными средствами» въ опустошенную забвеніемъ прошлаго совѣсть,—все это пересказано въ моихъ книгахъ, пересказано поспѣшно, какъ пришлось, но пересказано все, чѣмъ я жилъ лично. — Такимъ образомъ *вся моя новая біографія послѣ забвенія старой пересказана почти изо дня въ день въ моихъ книгахъ. Больше у меня ничего въ жизни личной не было и нѣтъ...*»

Ужъ одно это достаточно свидѣтельствуетъ о томъ, что въ лицѣ Гл. Успенскаго отнюдь не является исключительно беллетристъ - народникъ, который ѣздитъ лѣтомъ по деревнямъ и записываетъ смѣшныя сцены и разговоры, которыя потомъ и изображаетъ въ своихъ очеркахъ, какъ представляютъ себѣ Гл. Успенскаго люди, мало знакомые съ его произведеніями. Напротивъ того, мы видимъ, что въ первые десять лѣтъ своей дѣятельности онъ вовсе не является изобразителемъ народнаго быта въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Проведя дѣтство и юность въ городахъ и продолжая вращаться въ нихъ, онъ не зналъ еще деревенской жизни и мужика; въ произведеніяхъ этого перваго періода его дѣятельности, простирающагося съ 1866 года до второй половины семидесятыхъ годовъ, изображаются жители русскихъ городовъ, передъ вами развертывается «картина нравовъ русской провинціальной разночинной толпы», какъ онъ выражается въ предисловіи къ изданію его сочиненій въ 1883 году.

И дѣйствительно по всей справедливости онъ можетъ быть названъ въ произведеніяхъ этого періода пѣвцомъ разночинцевъ въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Начинаетъ Гл. Успенскій въ *Правахъ Растеряевой улицы* съ мелкихъ

провинціальных мѣщанъ, ютящихся въ ветхихъ домишкахъ по окраинамъ уѣздныхъ городишекъ, борящихся съ холодомъ, съ голодомъ, съ *пужливкою*, тонящихся въ водкѣ неприглядную тьму и тоскливую монотонность провинціального прозябанія и проявляющихъ при всемъ внѣшнемъ комизмѣ ихъ фигуръ крайне нравственное паденіе и погрѣшеніе всего человѣческаго въ остервененіи борьбы за существованіе (личность Прохора Порфирыча), или-же напротивъ того энергической протестъ души, проснувшейся подъ обаяніемъ новыхъ вліяній и устремившейся къ свѣту и правдѣ (Михаилъ Ивановичъ въ *Разореніи*); затѣмъ онъ переходитъ къ разночинной интеллигенціи, въ лицѣ семейства Птициныхъ и Павла Ивановича Шапкина изображаетъ мрачную, полную потрясающаго трагизма картину разоренія и безпомощной гибели той самой *невольной неправды*, о которой онъ говоритъ въ своей автобіографіи, что ему пришлось жить среди нея дѣтскіе и юношескіе годы и тратить ихъ „на непрестанныя похороны людей, которые исчезали со свѣта безропотно, какъ погибающіе среди моря, зная, что никто не можетъ имъ помочь и спасти, что „не тѣ времена“... Сравнивши по этимъ людямъ поминки въ своемъ *Разореніи*, Гл. Успенскій перешелъ наконецъ къ типамъ передовой разночинной интеллигенціи, захваченной новыми вѣяніями и тщетно ищущей приложенія своихъ молодыхъ силъ, въ горячихъ стремленіяхъ къ народному благу разбивающихся о всевозможные подводные камни провинціальной пучины... Таковы *Наблюденія одною мысля*, *Тише воды, ниже травы* и проч.

III.

Въ 1871 году Гл. Успенскій, какъ выше мы видѣли, уѣхалъ за-границу. „За-границей, пишетъ онъ въ своей біографіи, я былъ два раза; въ 1871 г., послѣ коммуны, причѣмъ видѣлъ избитый и прусскими и коммунарскими бомбами и пулями городъ, видѣлъ какъ приговариваютъ къ смерти сапожниковъ и башмачниковъ; въ другой разъ я прожилъ тамъ подъ-рядъ два года, по временамъ только пріѣзжая въ Россію. Въ это время я былъ въ Лондонѣ. Я мало писалъ объ этомъ, но многому поучился, много записалъ добраго въ мою душевную родословную книгу навсегда... Затѣмъ прямо изъ Парижа (1876 г.) я поѣхалъ въ Сербію и въ Пештѣ встрѣтилъ нашихъ. И объ этомъ я *мало* писалъ, но много передумалъ и навѣки много опять-таки, взялъ въ свою душевную родословную“...

Это было переходное время (1871—1877), въ которое Гл. Успенскій писалъ дѣйствительно мало, и хотя все, что писалъ онъ въ эти годы, отличается его обычнымъ юморомъ и умѣньемъ проникать въ суть каждаго изображаемаго явленія жизни и мѣтко нѣсколькими штрихами очерчивать его во всѣхъ его наиболѣе характеристическихъ особенностяхъ (таковы относящіеся къ этому времени *Письма изъ Сербіи*), но наиболѣе плодотворная и сенсаціонная дѣятельность ждала его впереди. Она началась съ того момента, когда отъ разночинца онъ перешелъ къ мужику. — Это произошло тотчасъ-же послѣ сербской войны. „Затѣмъ, говоритъ онъ въ своей автобіографіи, подлинная правда жизни повлекла меня къ *источнику*, т. е. къ мужику. По несчастью я попалъ въ такіе мѣста, гдѣ *источника* видно не было... Деньга

привалила въ эти мѣста, и я видѣлъ только, до чего можетъ дойти бездушный мужикъ при деньгахъ. Я здѣсь втеченіе полутора года не зналъ ни дня, ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народъ. Я писалъ о томъ, какая онъ свинья, потому что онъ дѣйствительно творилъ преподлѣйшія вещи“...

Надо замѣтить, что мѣсто, о которомъ говоритъ здѣсь Гл. Успенскій, былъ одинъ изъ уѣздовъ самарской губерніи, гдѣ Гл. Успенскій по рекомендаціи одного очень богатого помѣщика взялъ на себя обязанность завѣдывать крестьянскою ссудо-сберегательною кассою, и такимъ образомъ имѣлъ возможность, не ограничиваясь одними наблюдениями посторонняго человѣка, войти въ непосредственныя сношенія съ крестьянскимъ міромъ, и хотя Гл. Успенскій видитъ несчастье въ томъ, что онъ попалъ въ такой край, гдѣ вмѣсто искомага *источника* ему пришлось наблюдать, какія способности преподлѣйшія вещи творить мужикъ, но въ сущности это было величайшее счастье для всей послѣдующей дѣятельности Гл. Успенскаго. Это обстоятельство прямо повело къ тому, что прежде чѣмъ Гл. Успенскій добрался до *источника*, т. е. до настоящаго мужика, являющагося неискалѣченнымъ глетворными условіями жизни непосредственнымъ произведеніемъ природы, онъ долженъ былъ освободиться отъ тѣхъ иллюзій, которыми жили его современники, начиная съ сороковыхъ годовъ, иллюзій, которыя Левитовъ успѣлъ уже окрестить *неотразимымъ вздоромъ*. Этотъ самый неотразимый вздоръ въ видѣ апіорнаго представленія мужика то въ видѣ вмѣстителя всѣхъ добродѣтелей, то наоборотъ—въ видѣ безсмысленнаго чудовища—глубоко оставался вѣдреннымъ въ головахъ людей семидесятыхъ годовъ. И вотъ какъ разъ въ то время, когда эти люди, ослѣпленные вышеозначенными иллюзіями, очерта голову ринулись въ народъ, Гл. Успенскій словно холодной водой окатилъ русское общество рядомъ очерковъ, въ которыхъ, отважно ринувшись противъ общаго теченія, началъ разоблачать русскаго мужика во всей его неподкрашенной правдѣ.

Какъ глубоко иллюзіи эти врослись въ самого Гл. Успенскаго и какъ дорого пришлось ему разставаться съ ними, объ этомъ мы можемъ судить по его очерку *Черная работа*, помѣщенному въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1879 г., въ № 5, и въ которомъ Гл. Успенскій впервые рѣшительно и рѣзко выступилъ на свое новое поприще. Въ очеркѣ этомъ, произведемъ въ свое время громкую сенсацию, несмотря даже на то, что онъ былъ помѣщенъ въ майской книжкѣ, опредѣленно и ясно высказываются тѣ мотивы, которые побудили автора идти по новой дорогѣ. Начинается онъ тѣмъ, что авторъ представляетъ себя измученнымъ „тоскою, доходящею до физической боли“. Эта тоска заставила его бѣжать изъ деревни „если не навсегда, то на нѣкоторое время“, а въ послѣдній день „эта жажда не думать о деревнѣ, освободиться хотя на время отъ этой бесплодной муки достигла такой степени, что онъ вмѣсто трехъ часовъ ночи, какъ-бы слѣдовало, уѣхалъ на станцію въ одиннадцать часовъ вечера, рѣшаясь сидѣть болѣе шести часовъ безъ всякаго дѣла въ ожиданіи поѣзда“, и несмотря на страшный бурянь, который ему пришлось вынести дорогою. Что-же причинило эту тоску до физической боли и заставило автора такъ поспѣшно бѣжать изъ деревни? Оказывается, что именно разладъ между иллюзіями или, какъ называетъ ихъ авторъ, азбучными истинами, съ которыми онъ пріѣхалъ въ деревню, и тѣми конкретными фактами, которые обступили его въ деревенской жизни.

«Адское душевное состояніе, говоритъ онъ, долженъ пережить всякій, кто только повинуюсь даже инстинктивному влеченію къ деревнѣ, только чувствуя, что между нимъ и ею существуетъ какая-то трудно опредѣлимая, но несомнѣнно кровная связь, попробуетъ... ну, просто хоть только пожить въ деревнѣ... Слагается оно, во-первыхъ, изъ такого рода ежедневно предъявляемыхъ деревнею фактовъ, въ которыхъ, по нашему мнѣнію (мнѣнію человѣка, выросшаго въ другой средѣ), непостижимымъ для васъ образомъ оказываются нарушенными самыя непоколебимыя, самыя истинныя истины. Что можетъ быть неизбѣжныѣ тѣхъ цифирныхъ истинъ, какимъ учить васъ таблица умноженія? Два, умноженное на два, развѣ можетъ дать въ результатѣ что-нибудь кромѣ четырехъ? Ежедневный деревенскій опытъ доказываетъ вамъ, что не только можетъ, но постоянно, аккуратно, изо дня въ день даетъ нѣчто такое, чего даже нѣтъ возможности ни понять, ни объяснить, къ объясненію чего нѣтъ ни дороги, ни пути, ни самамалѣйшей нити. Ниже читатель, напригмръ, увидитъ эти изумительные результаты деревенской таблицы умноженія, теперь-же я только прошу его представить себѣ положеніе человѣка, который по сту разъ въ день надѣется, что вотъ-вотъ получатся четыре, и по сту разъ въ день видитъ во-очію, что получается то стариновая свѣчка, то свиная морда, словомъ, нѣчто неожиданное и невозможное и онъ до нѣкоторой степени только пойметъ, что за безнадежно-отупляющее состояніе долженъ переживать всякій, кто смотритъ на деревню такъ, «какъ должно» по его мнѣнію, смотрѣть на нее»...

III.

И вотъ передъ нами является рядъ очерковъ, въ которыхъ изображаются именно такого рода вопіющіе факты деревенской жизни, которые рушатъ всѣ тѣ иллюзіи, какія авторъ называетъ табличкою умноженія. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте только, какое ошеломляющее впечатлѣніе долженъ былъ произвести очеркъ *Черная работа*, въ которомъ изображены три сосѣднія деревни, одна—господская, а двѣ остальные казенныя, и вдругъ вопреки всѣмъ теоретическимъ ожиданіямъ оказалось, что крестьяне господской деревни, наиболѣе угнѣтенные крѣпостнымъ правомъ являются не въ примѣръ и трудолюбивѣе, и нравственнѣе крестьянъ искони жившихъ на полной свободѣ. Далѣе затѣмъ послѣдовалъ очеркъ *Мамья ребята*, въ которомъ интеллигентный человѣкъ нарочно поселяется въ деревню съ педагогическою цѣлью подвергнуть дѣтей оздоровляющему ея вліанію и съ ужасомъ бѣжить изъ нея, когда въ результатѣ педагогическаго опыта дѣти его узнали, что они не мужики, а господа, и имѣютъ поэтому право карать, прощать и не прощать, получали нѣкоторую крѣпость нервовъ, приучившихся быть нечувствительными во многихъ весьма драматическихъ случаяхъ; затѣмъ получили какую-то сыпь, требующую серьезнаго леченія, и наконецъ приобрѣли самое обстоятельное, всестороннее знакомство съ чортомъ.

Еще болѣе долженъ былъ смутить и ужаснуть читателей очеркъ *Не въ привычку дѣло* (въ изданіи онъ озаглавленъ *Чудакъ - баринъ*), въ которомъ изображается интеллигентный человѣкъ, Михаилъ Михайловичъ, который отправился въ деревенскую глушь трудиться наравнѣ со всѣми, какъ равный въ правахъ и обязанностяхъ, спать вмѣстѣ съ другими на соломѣ, ѣсть изъ одного котла, а деньги, какъ нажитыя общимъ трудомъ, должны быть достояніемъ той кучки людей, которая должна была образоваться какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ искренно разорвавшихся съ прошлымъ интеллигентныхъ людей“.

Но крестьяне, не понявши всёх его высоких цѣлей, отнеслись къ нему какъ къ чудачу-барину, начали, поддакивая его словамъ и потворствуя его барскимъ инстинктамъ, обирать его со всёхъ сторонъ и кончилось дѣло тѣмъ, что Михаилъ Михайловичъ убилъ всё свои капиталы и въ концѣ-концовъ впалъ въ полное разочарованіе, уныніе и спился. Онъ является такимъ образомъ передъ читателемъ однимъ изъ тѣхъ первыхъ піонеровъ-неудачниковъ, которые стремились слиться съ народомъ, не только не зная его, но и сами неподготовленные къ тому дѣлу, за которое принимались, не умѣвшие вполнѣ отрѣшиться отъ того наслѣдственного праха, который накопился на ихъ существѣ вѣками. Поэтому здѣсь схваченъ авторомъ вопросъ гораздо глубже: тутъ дѣло идетъ не объ однихъ иллюзіяхъ, а о тѣхъ существенныхъ, вѣковыхъ складахъ жизни, которые отдѣляютъ глубокою пропастью отъ народа даже и такихъ благомыслящихъ господъ, какъ герой этого очерка.

Далѣе затѣмъ въ рядѣ очерковъ мы встрѣчаемъ микроскопическій анализъ, развѣртывающей передъ нами весьма мрачную картину деревенской жизни. Такъ мы видимъ, что восхваляемые общинные порядки допускаютъ непризнанныхъ стариковъ, вдовъ и воспитываютъ изъ нихъ деревенскихъ злодѣевъ, обращающихся въ конокрадовъ и поджигателей, на которыхъ сельскій міръ, допустившій на свою голову развитіе такихъ чудовищъ, обрушается съ безпощаднымъ самосудомъ. Крестьянское самоуправленіе въ свою очередь оказывается мirageмъ. Никакой общественной силы въ немъ нѣтъ и проявить и практиковать ее не на чемъ. Какіе-бы вопросы или проекты „оздоровленія“, „образованія“, „поднятія народной нравственности“—ни подымались въ обществѣ,—въ деревнѣ изъ нихъ образуются другія уже грустные слова: „по гривеннику“, „по двугривенному“, „по полтинѣ“, и вся умственная дѣятельность крестьянина занята такимъ образомъ почти только одной заботой: достать денегъ.

«Обеда, говоритъ Гл. Успенскій въ очеркѣ *Люди и нравы современной деревни*, вокругъ Москвы кругъ, радіусомъ верстъ въ четыреста, мы получимъ мѣстность, въ которой положеніе крестьянина и направленіе его мысли, въ общихъ чертахъ, опредѣлится именно этимъ стремленіемъ — «добыть денегъ», только денегъ, больше ничего. Къ этому направленію крестьянской мысли начало присоединяться, къ крайнему огорченію людей, идеализирующихъ прочностъ деревенской общины, плохо опредѣляемое, но сильно чувствуемое крестьяниномъ желаніе—уйти куда нибудь, желаніе какъ-нибудь полегче добывать то, что теперь добывается съ такимъ трудомъ, и это стремленіе уйти изъ сухихъ и жесткихъ условій крестьянской среды объясняется все тою-же необходимостью добывать все больше и больше денегъ».

Но страшнѣе всего какъ для настоящаго, такъ и въ видахъ будущаго то, что въ то время какъ дѣйствительная интеллигентная сила, которая могла-бы оживить и раздвинуть умственный кругозоръ деревни, отвергается ею въ лицѣ Михайловъ Михайловичей, отчасти вслѣдствіе слѣпного вѣкового недоумія, отчасти отъ неумѣлости самихъ Михайловъ Михайловичей подойти къ народу и заставить слушать себя, и послѣдніе обращаются въ глазахъ крестьянъ въ какихъ-то гороховыхъ шутовъ и дойныхъ коровъ, а иногда во что-нибудь и похуже,—въ это время единственнымъ умственнымъ руководителемъ народа является кулакъ.

«Мы охотно вѣримъ, говоритъ Гл. Успенскій въ очеркѣ *Деревенская неурядица*, въ дурное вліяніе на деревню массы пришлыхъ элементовъ, но никакимъ образомъ не можемъ ими объяснить деревенскаго кулачества, то есть выдѣленія среди деревенской массы личностей эксплуатирующихъ массу. Бѣда именно въ томъ и состоитъ, что кулачество—явленіе не наносное, а внутреннее, что это не пятно, которое можно стереть, а язва, органической недугъ. Но самая горькая и обидная черта этого явленія заключается не собственно въ хищничествѣ, а въ томъ, что ничего другого хотя мало-мальски равнозначущаго по разработкѣ и техникѣ деревенская жизнь за послѣднее время не представляетъ. Есть-ли что-либо хотя приблизительно такъ прочно успѣвшее и усовершенствованное въ отношеніи положимъ самопомощи, какъ усовершенствовано кулачество? Существуетъ-ли словомъ какое нибудь явленіе прямо противоположное и имѣющее какое-нибудь значеніе, пользующееся какимъ-нибудь успѣхомъ? Говоря безпристрастно и не боясь нападокъ, мы должны сказать, что ничего подобнаго нѣтъ; напротивъ, что всего ужаснѣе, такъ это то, что въ кулачествѣ вы видите несомнѣнное присутствіе ума, дарованія, таланта. Посмотрите, сколько человѣку вылившемуся въ кулака надо передумать, сколько ему надо внимательности къ себѣ, къ другимъ, чтобы съ успѣхомъ дѣлать свое дѣло, какъ надо много знанія людей, характеровъ, вообще жизни. Подумавши объ этомъ серьезно, вы убѣдитесь, что для кулачества необходимо быть очень умнымъ и очень талантливымъ человѣкомъ. Иногда блещутъ въ дѣятельности кулаковъ подлинно гениальныя способности, и въ то-же время вы не можете не убѣдиться, что равносильнаго таланта, ума, наблюдательности, вообще даровитости ни въ чемъ другомъ, ни въ мірскихъ общинныхъ дѣлахъ, ни въ семейныхъ отношеніяхъ—не выразилось. Что же значить это явленіе? Отчего умъ и талантъ на первыхъ порахъ (что будетъ дальше, мы не предсказываемъ, такъ какъ говоримъ только о настоящей минутѣ деревенской жизни) пошли такимъ недобрымъ, непривѣтливомъ и разорительнымъ для самого народа путемъ?

«Замѣчательна, говоритъ авторъ ниже въ томъ-же очеркѣ: въ биографіи всякаго такого человѣка еще слѣдующая небезынтересная черта. Человѣкъ, какъ видите, вышелъ изъ ненавистничества какъ къ барину, такъ и къ мужику. Кажется, и тому, и другому прямой расчетъ сокрушить этого ненавистника, но на дѣлѣ-же выходитъ иное. Баринъ, обитатель господской усадьбы, не сокрушаетъ его по тѣмъ соображеніямъ, по которымъ онъ не безъ злорадства иной разъ говоритъ себѣ: «По-о-смотримъ! Какъ-то вы на водѣ-то поживаете! Какъ заберетъ въ руки какая-нибудь кулацкая морда—узнаете барина, да поздно будетъ!» Иной даже радуется, что такой-то нажалъ мужиковъ: «Такъ ихъ и надо! Отлично! Право, молодецъ!» И невольно чувствуетъ симпатію, конечно все-таки считая нагрѣвателя канальею. Канальей его считаютъ и мужики, но развѣ они могутъ не поставить ему въ заслугу ловкости, съ которою онъ напряміръ ожегъ чемадуровскаго и балабаевского барина?... «Ужъ и развѣзня-же только башка у шельмы!» Такимъ образомъ, при кличкахъ нарицательныхъ: «шельма», «плуть», «спроидоха», «каналья» и т. д., тому-же человѣку сопутствуютъ—и ничуть не въ меньшемъ количествѣ—и похвалы: «ловко!» «отлично!» «гениально оплелъ!» «молодчина!» и т. д.—похвалы, основанныя, какъ видите, уже на уваженіи къ уму, таланту, дарованію. Это-то послѣднее уваженіе и есть кулацкая сила, въ ней-то и заключается гибельность кулацкаго вліянія: онъ держится настолько же хищничествомъ, насколько и нравственнымъ вліяніемъ на общественное сознаніе, которое по множеству причинъ не можетъ не считать его правымъ, умнымъ, а пожалуй и почтеннымъ... Какая другая дорога для деревенскаго умнаго, энергическаго человѣка теперь? спрошу я и подожду отвѣта. Именно во имя сочувствія и даже пожалуй невозможности несочувствія кулацкой морали (имѣющей, какъ мы твердо вѣримъ, въ недалекомъ будущемъ пропитать рѣшительно всѣ сферы общества), сила кулака велика и у мужиковъ, и у баръ, и у начальства. Онъ всѣхъ знаетъ»

онъ понимаетъ всѣ деревенскія отношенія, онъ можетъ отвѣчать всѣмъ и обо всемъ. Онъ поэтому и столбъ, и совѣтникъ. Ему-же принадлежитъ первенствующая роль и въ деревенской дѣйствительности. Дѣянiя кулака—самыя крупныя и замѣтныя на деревенской улицѣ. Самая видная, самая понятная, самая новая мораль, выглядывающая изъ явленiй современной деревенской улицы—мораль кулацкая. А такъ какъ подроставшее деревенское поколѣнiе, какъ и то, которое отживаетъ, учится жить и думать такъ, какъ учить дѣйствительность, улица, и такъ какъ противъ кулацкой морали ни откуда на деревенскую улицу не проникаетъ ничего противодействующаго ей, то мы, положа руку на сердце, рѣшительно не можемъ не сказать, что это поколѣнiе воспитывается главнымъ образомъ только кулацкою моралью. Чистая дѣтская душа деревенскаго ребенка въ изобилiи принимаетъ впечатлѣнiя даваемые кулацкою дѣйствительностью и невольно, безъ протеста подчиняется ей морали».

Вотъ въ какомъ мракѣ кромѣшномъ рисовалъ Гл. Успенскiй деревню подѣ впечатлѣнiемъ вынесеннымъ имъ изъ самарской губернiи.

V.

Но онъ не въ силахъ былъ остановиться на однои отрицательномъ отношенiи къ народу и побѣхалъ въ другiе мѣста искать болѣе свѣтлыхъ и отрадныхъ впечатлѣнiй. „Мнѣ нужно было знать, говоритъ онъ въ своей автобиографiи, источникъ всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не могъ доискаться никакого простаго слова и нигдѣ. И вотъ изъ шумной, полупьяной, развратной деревни забрался въ лѣсъ новгородской губернiи, въ усадьбу, гдѣ жила только одна крестьянская семья. На моихъ глазахъ дикое мѣсто стало оживать подѣ сохой пахаря, и вотъ я тогда въ первый разъ въ жизни увидѣлъ дѣйствительно одну подлинную важную черту въ основахъ жизни русскаго народа — именно власть земли...“

Это житье въ лѣсу новгородской губернiи происходило лѣтомъ 1881 года, и результатомъ его и былъ знаменитый очеркъ его, представляющiй высшую точку его творчества — *Власть земли*, появившiйся въ № 1 *Отечественныхъ Записокъ* 1882 года. Выставивъ въ этотъ очеркъ крестьянина Ивана Петрова, который, получивши хорошее и вполне обезпечивающее его мѣсто на желѣзной дорогѣ, излѣивается, спивается и доходитъ до крайней деморализацiи, и вновь исправляется и дѣлается приямнымъ мужикомъ, едва только возвращается въ деревню, авторъ говорить:

«Такимъ образомъ оказывается, что воля, свобода, легкое житье, обилiе денегъ, т. е. все то, что необходимо человѣку для того, чтобы устроиться, причиняетъ ему напротивъ крайнее разстройство, до того, что онъ дѣлается вродѣ свиньи.

„Подобную несообразность со всѣми табличками умноженiй“ авторъ и объясняетъ тѣмъ, что онъ называетъ „властью земли“.

«Тайна эта, говоритъ онъ: — по-истинѣ огромная, и думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ терпѣлива и могуча въ несчастiяхъ, до тѣхъ поръ молода душою, мужественно сильна и дѣтски кротка, словомъ народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за исцѣленiемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ поръ сохраняеть свой могучiй и кроткiй типъ, покуда надѣ нимъ царитъ власть земли».

покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ невозможность послушанія ея повелѣннй, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ его существованіе. У актера, который играетъ Мефистофеля или Демона, до тѣхъ поръ лицо будетъ казаться огненнымъ, покуда будетъ освѣщено огненнымъ свѣтомъ; нашъ народъ до тѣхъ поръ будетъ казаться такимъ, каковъ онъ есть, до тѣхъ поръ будетъ обладать тѣми драгоцѣнными качествами ума и сердца, словомъ до тѣхъ поръ будетъ имѣть тотъ типъ и даже видъ, какой имѣеть, пока онъ весь съ головы до ногъ и съ наружи до самаго нутра проникнутъ и освѣщенъ тепломъ и свѣтомъ, вѣющими на него отъ матери сырой земли. Погасите красный фонарь—и лицо Демона перестало быть краснымъ. Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ крестьянина, добейтесь, чтобъ онъ забылъ «крестьянство»—и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустого человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь... «Иди, куда хошь»..

« У земледѣльца, говорить ниже Гл. Успенскій, нѣтъ шага, нѣтъ поступка, нѣтъ совѣсти, которые-бы принадлежали не землѣ. Онъ весь въ кабалѣ у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону изъ-подъ этого ига власти, что когда ему говорятъ: «Чего ты хочешь—тюрьмы или розогъ?», то онъ всегда предпочитаетъ быть высѣченнымъ, предпочитаетъ перенести физическую муку, чтобъ только сейчасъ-же быть свободнымъ, потому что хозяинъ его, земля, не дожидается: нужно косить, сѣно нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вотъ въ этой-то ежеминутной зависимости, въ этой-то массѣ тяготы, подъ которой человѣкъ самъ по себѣ не можетъ и пошевелиться,—тутъ-то и лежитъ та необыкновенная *лжность* существованія, благодаря которой Селяниновичъ могъ сказать: «меня любить мать сыра земля». И точно любить: она забрала его въ руки безъ остатка, всего цѣликомъ, но зато *онг и не отвѣчаетъ* ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ *велитъ* его хозяйка-земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человѣка, который увелъ у него лошадь—и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступать къ землѣ; у него перемерли всѣ дѣти—онъ опять невиноватъ: не родила земля, нечѣмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену—невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, черезъ нее стало дѣло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, не ждетъ. Словомъ, если только онъ слушаетъ того, что велитъ ему земля, онъ ни въ чемъ невиновенъ, а главное, какое счастье не выдумывать себѣ жизни, не разыскивать себѣ интересовъ и ощущений, когда они сами приходятъ къ тебѣ каждый день, едва только открылъ глаза! Дождь на дворѣ—долженъ сидѣть дома, ведро—долженъ идти носить, жать и т. д. Ни за что не *отвѣчалъ*, ничего не *придумывая*, человѣкъ живетъ только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушаніе, превращенное въ ежеминутный трудъ, и образуетъ *жизнь*, не имѣющую повидимому никакого результата (что выработаютъ, то и съѣдятъ), но имѣющую результатъ именно въ самой себѣ. Для чего растеть этотъ дубъ? какая ему польза сто дѣтъ тянуть изъ земли соки? Что ему за интересъ каждый годъ покрываться листьями, потомъ терять ихъ и въ концѣ концовъ кормить желудами свиней? Вся польза и интересъ жизни этого дуба именно въ томъ и заключается, что онъ *просто растеть*, просто зеленѣеть, такъ, самъ не зная зачѣмъ То-же самое и жизнь крестьянина-земледѣльца: вѣковѣчный трудъ—это и есть жизнь, интересъ жизни, а результатъ—нуль».

Но не только крестьянинъ въ своей личной семейной жизни приравнивается Гл. Успенскимъ къ типу чисто растительной жизни, но и общественная жизнь его оказывается созданною не имъ самимъ а тою-же властію земли.

«Если вы поймаете галку, говорить Пигасовъ въ разсказѣ *Безъ своей воли*, — разсмотрите всю ея организацію, то вы поразитесь, какъ она удивительно умно устроена, какъ много ума положено въ ея организацію, какъ все соразмѣрено, пригнано одно къ одному, нѣтъ нигдѣ ни лишняго пера, ни угла, ни линіи ненужной, негармоничной и не строго обдуманной. Но чей тутъ дѣйствовалъ умъ? Чья воля? Неужели вы все это припишите галкѣ? Вѣдь тогда любая галка — гениальнѣйшее существо, необъятный умъ? Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта приписываютъ народному уму, и тогда онъ кажется необъятнымъ... А между тѣмъ эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человѣкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ... Непосвѣдимыми путями предугазано, чтобы кобыленка по веснѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходить и махаетъ, потомъ ее начинаютъ «пучить», и въ концѣ-концовъ получается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ милліоны разъ умнѣе и лучше, и талантливѣе выдуманнаго человѣкомъ локомотива, но появляется безъ собственной воли, устраивается и принимаетъ формы и строеніе безъ собственнаго ума, а такъ... И народная жизнь въ огромномъ большинствѣ самыхъ величественнѣйшихъ явленій удивительна, гармонична, красива, *просто такъ*.

Общественные порядки, поражающіе изслѣдователей въ крестьянскомъ бытѣ, Гл. Успенскій усматриваетъ и въ рыбьемъ царствѣ:

«Даже у стерлядей, говорить онъ во *Власти земли*, по свидѣтельству рыболововъ, существуютъ «десятки», которые посылаются стерлядному обществу искать мѣста для метанія икры. Волжская рыба — сазанъ, тоже живущая своими сельскими обществами, имѣетъ выборныхъ, и ходоковъ, и депутатовъ; они обыкновенно идутъ впереди «общества» и, подойдя къ заколу, которые ставятъ рыбки поперекъ рѣкъ, начинаютъ пробовать крѣпость его носомъ, потомъ налетаютъ бокомъ, потомъ пробуютъ перепрыгнуть; когда все это не удается, то депутаты возвращаются и докладываютъ обществу; мирской сазаній сходъ съ страшной стремительностью устремляется на заколь и ударяетъ въ него всѣмъ своимъ коллективнымъ рыломъ. Многіе погибаютъ на смерть, а другіе проскальзываютъ въ брешь и спасаются.

Однимъ словомъ и въ общественномъ отношеніи крестьянскій міръ, то, что называется *община*, представляетъ собою чисто зоологическій типъ, нѣчто вродѣ пчелинаго улья или муравейника.

Вотъ къ какимъ богатымъ и важнымъ результатамъ привело Гл. Успенскаго изученіе народнаго быта. Нужно только припомнить буколическихъ крестьянъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ или-же звѣроподобныхъ мужиковъ Н. Успенскаго, чтобы судить о томъ, какой колоссальный шагъ былъ сдѣланъ Гл. Успенскимъ въ знаніи народа. Образы и идеи, проведенные имъ въ очеркахъ, написанныхъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, вполне стоятъ на высотѣ послѣднихъ словъ науки. Въ самомъ дѣлѣ, что такое представляетъ собою наша крестьянская община? Это вѣдь ничто иное, какъ именно тотъ типъ первобытнаго общества, которымъ по свидѣтельству науки вачинали всѣ народы. вмѣстѣ съ тѣмъ наука свидѣтельствуетъ намъ, что у всѣхъ народовъ, въ началѣ ихъ исторіи, традиціонный умъ, подобный пчелиному инстинкту, преобладаетъ надъ личнымъ. Не даромъ у всѣхъ народовъ сохраняются мны о золотомъ вѣкѣ, когда человѣкъ былъ чистъ и невиненъ душою, ни о чемъ не заботился, а только слѣпо и кротко повиновался завѣтамъ отцовъ и дѣдовъ; не было

тогда на землѣ ни ссоръ, ни кровопролитій; всѣ люди соединялись въ общемъ союзѣ мира, любви и гармоническаго согласія. Замѣчательно, что рядомъ съ такими преданіями существуютъ другія, совершенно противоположныя, которыя рисуютъ намъ этихъ самыхъ ангеловъ золотого вѣка хищными, звѣроподобными, кровожадными титанами, окруженными легендарными чудовищами и въ свою очередь похожими на этихъ чудовищъ. При всей своей противоположности подобные миры одинаково справедливы, основываясь на памяти народовъ о тѣхъ временахъ, когда люди, слѣпо повинуваясь велѣніямъ природы и традиціямъ, подобно крестьянамъ Гл. Успенскаго, совершали въ одно и то-же время и высокіе подвиги любви и братства, и безчеловѣчныя злодѣйства, были и ангелами золотого вѣка, и звѣрами эпохи титановъ.

Освобожденіе личнаго ума изъ-подъ ига традиціи, появленіе на сцену героя и своеговольнаго человѣка,—и есть то, что въ мифахъ представляется въ видѣ паденія золотого вѣка. Какъ только дерзкій умъ человѣка возмутился противъ завѣтовъ старины, первобытная гармонія золотого вѣка рушилась, начались смуты, кровопролитія, порабощенія. Однимъ словомъ началась *исторія*, но вмѣстѣ съ тѣмъ началось и смягченіе нравовъ—*цивилизация*; люди перестали быть ангелами золотого вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ перестали быть и звѣрами.

Нужно-ли и говорить о томъ, что все сказанное нами о Гл. Успенскомъ далеко не обнимаетъ всей его плодотворной и разносторонней литературной дѣятельности. Мы обозначили лишь общій ея ходъ и намѣтили наиболѣе выдающіеся и бросающіеся въ глаза пункты ея, а за всѣмъ тѣмъ остается многое, что не вошло въ наше обозрѣніе, потому что, являясь навѣянными случайными и временными впечатлѣніями жизни, представляетъ собою единичныя проявленія творчества писателя, стоящія внѣ главнаго теченія его дѣятельности; таковы наприимѣръ: *Вольные казаки*, *Скучающая публика*, *Письма съ дороги*, *Живыя цифры*, *Мимолетомъ* и пр. Какъ писатель крайне впечатлительный и живой, Гл. Успенскій не упускаетъ изъ виду ни одного явленія мало-мальски поразительнаго въ какомъ-бы то ни было отношеніи, чтобы тотчасъ-же не воспроизвести его и въ то-же время не обсудить со всѣхъ сторонъ. Поэтому произведенія его, особенно послѣднихъ лѣтъ, и представляютъ въ себѣ такъ много публицистическаго элемента, далеко выходящаго изъ художественной области.

VI.

Николай Николаевичъ Златовратскій какъ со стороны отца, такъ и со стороны матери былъ духовнаго происхожденія: всѣ прадѣды его, а также и многіе близкіе родственники принадлежали къ низшему сельскому духовенству, отчего въ семьѣ его никогда не прерывалась связь съ селомъ. Дѣдъ его по отцу служилъ дьякономъ въ церкви при Золотыхъ Воротахъ (во Владимірѣ губернскомъ), откуда произошла и фамилія *Златовратскаго*; мать его была дочь священника въ г. Вазникахъ, Чернышева. Но отецъ не пошелъ по духовной части, а по окончаніи курса въ мѣстной семинаріи сдѣлался письмоводителемъ при дворянскомъ собраніи.

Родился Златовратскій во Владимірѣ въ 1845 году 4 декабря. Воспитателями его съ самаго ранняго дѣтства были семинаристы, дядья по отцу и по матери, и другіе на-

хлѣбники изъ бѣдныхъ деревенскихъ родственниковъ, постоянно жившіе въ ихъ домѣ. Десяти лѣтъ онъ былъ отданъ въ мѣстную гимназію, гдѣ развитіе его шло очень неправильно, порывами и скачками: въ нѣкоторыхъ классахъ онъ оставался по нѣскольکو лѣтъ. Но къ концу курса сталъ болѣе сознательно относиться къ ученью. На это имѣли вліяніе слѣдующія обстоятельства: во-первыхъ, прежніе воспитатели, дядя Златовратскаго, окончивъ семинарскій курсъ, поступили одинъ въ московскій университетъ, другой—въ с.-петербургскій педагогическій институтъ. Возвращаясь на каникулы домой, они привозили съ собой въ провинціальную глушь много оживляющихъ впечатлѣній. А во-вторыхъ наступило горячее и живое время реформъ.

Отецъ Златовратскаго въ качествѣ писмоводителя при губернскомъ предводителѣ дворянства усиленно работалъ при губернскомъ комитетѣ по разработкѣ вопросовъ и матеріаловъ, относившихся къ экономическому положенію народа. Оживленіе, внесенное этимъ періодомъ въ жизнь провинціи, не могло не вліять на настроеніе всей интеллигенціи,—и вотъ при содѣйствіи и участіи наиболѣе развитыхъ дворянъ Златовратскій отецъ открылъ публичную бібліотеку, подъ которую отвели ему помѣщеніе въ зданіи дворянскаго собранія.

Живой и воспріимчивый мальчикъ не замедлил конечно вѣдриться въ эту бібліотеку и началъ проводить въ ней все свободное время, помогая отцу въ выдачѣ книгъ для чтенія, въ составленіи каталоговъ, а между дѣломъ проглатывая и самъ книгу за книгою. Увлеченіе отца Златовратскаго развитіемъ просвѣщенія на родинѣ не ограничилось этимъ. Ободренный успѣхомъ бібліотеки и общимъ оживленіемъ онъ началъ мечтать объ открытіи во Владимірѣ первой частной типографіи и объ изданіи мѣстнаго органа *Владимірскаго вѣстника*. Въ развитіи этихъ плановъ особенно содѣйствовали ему дядя Златовратскаго, окончившіе къ тому времени курсъ. Въ изданіи, между прочимъ, предполагалось участіе Н. А. Добролюбова, бывшаго близкимъ другомъ одного изъ дядей (только что поступившаго учителемъ словесности въ Рязань), съ которымъ онъ вмѣстѣ учился въ педагогическомъ институтѣ. Добролюбовъ иногда навѣщалъ прѣздомъ въ Нижній на родину домъ Златовратскихъ.

Но не суждено было сбыться не только этимъ мечтамъ, но и все что было начато быстро рушилось съ выборомъ новаго предводителя дворянства, съ которымъ отецъ Златовратскаго не сошелся. Ему было отказано отъ мѣста, бібліотека была изгнана изъ дароваго помѣщенія и должна была закрыться. Семья, къ тому времени уже многочисленная, очутилась въ безвыходномъ положеніи. Для нея настало тяжкое время, доведшее ее до полного разоренія, тѣмъ болѣе что одинъ изъ дадей умеръ вскорѣ вслѣдъ за Н. А. Добролюбовымъ, а черезъ нѣсколько времени умеръ и другой.

Въ это время Златовратскій кончалъ курсъ. Склонность къ писательству проявилась въ немъ еще въ гимназіи: онъ писалъ стихи, издавалъ рукописный журналъ, увлекался театромъ и даже написалъ цѣлую драму изъ народнаго быта и посвятилъ ее одной актрисѣ, поразившей его игрою Катерины въ *Грозы*;—однимъ словомъ продѣлалъ все то, что продѣлываютъ всѣ даровитые юноши въ гимназическіе годы.

Но особенно сильный слѣдъ изъ всѣхъ юношескихъ впечатлѣній оставили въ Златовратскомъ лѣтнія поѣздки по деревнямъ. Сначала онъ ѣздилъ съ матерью или отцомъ къ родственникамъ; затѣмъ въ качествѣ ученика землемѣро-таксаторскихъ

классовъ при гимназiи на землемѣрные работы по введенiю уставныхъ грамотъ и наконецъ въ качествѣ репетитора на кондицiи къ помѣщикамъ (изъ которыхъ многiе были мировыми посредниками). На этихъ кондицiяхъ Златовратскiй рассчитывалъ заработать хоть сколько-нибудь денегъ для поѣздки въ Москву и Петербургъ.

Отчаявшись поступить студентомъ въ московскiй университетъ, гдѣ онъ пробылъ годъ вольнослушателемъ, Златовратскiй вынужденъ былъ поступить въ с.-петербургскiй технологическiй институтъ. Съ этихъ поръ началась для него самостоятельная борьба съ жизнью за кусокъ хлѣба, за ученье, въ поискахъ за призванiемъ, — борьба, оказавшаяся, по собственнымъ словамъ его, выше его силъ.

Однажды въ поискахъ за работой онъ сдѣлался случайнымъ корректоромъ въ газетѣ *Смыслъ Отечества*. Это было вѣншиимъ толчкомъ, заставившимъ Златовратскаго попробовать свои силы въ печатной литературѣ. Въ 1866 году онъ снесъ въ *Искру* къ В. С. Курочкину свой первый небольшой очеркъ изъ народнаго быта *Надежда скота*. Онъ былъ напечатанъ и послужилъ началомъ цѣлаго ряда такихъ очерковъ, исключительно посвященныхъ народному быту, главнымъ образомъ изъ времени освобожденiя. Печатались они въ *Искру* и *Будильникъ* (подъ редакцiей Н. Степанова) преимущественно, также въ *Недѣлю* и другихъ изданiяхъ болѣею частью подъ псевдонимами (наиболѣе извѣстный псевдонимъ *Маленькiй Щедринъ*).

Но какъ развитiе, такъ и писательство Златовратскаго шло очень неровно, порывами, иногда прекращаясь на цѣлые годы, причеиъ, по собственнымъ словамъ его, онъ часто отчаявался въ своемъ призванiи, впадалъ въ унынiе, а жизнь голаго пролетарiя рѣдко дарилъ ему минуты духовнаго просвѣтлѣнiя. Однимъ словомъ жизнь его носила вполне тотъ-же самый характеръ, какой мы видимъ у всѣхъ прочихъ народниковъ-разночинцевъ. Въ концѣ концовъ, по словамъ его, такое его положенiе грозило ему окончательной гибелью, самымъ разрушительнымъ образомъ сказавшись на его здоровьи. Возвращаться въ семью онъ не рѣшался, такъ какъ она и безъ того была удручена нуждою, — и только когда хроническая болѣзнь окончательно свалила его, онъ рѣшился уѣхать въ провинцiю, гдѣ отецъ его въ то время служилъ мелкимъ чиновникомъ въ окружномъ судѣ.

Несмотря на быстро развивавшуюся болѣзнь, пребыванiе въ домѣ отца благотворно подѣйствовало на нравственное состоянiе Златовратскаго. Здѣсь въ тиши провинцiи онъ могъ отдохнуть физически и нравственно, пополняя собственное образованiе, занимаясь воспитанiемъ сестеръ, сходясь съ окружающею молодежью и простымъ народомъ, уѣзжая по лѣтамъ въ деревню къ бѣднымъ родственникамъ. Въ это время была имъ задумана и написана первая большая работа *Крестьяне-присяжные*. Помѣщенiе этой повѣсти въ *Отечественныхъ Запискахъ* (1874 года № 12) окончательно опредѣлило дальнѣйшую судьбу Златовратскаго. Оно выдвинуло его впередъ и поставило въ первомъ ряду молодыхъ беллетристовъ сверстниковъ его.

VII.

Мы уже говорили выше, что между Златовратскимъ и Успенскимъ всегда усматривался антагонизмъ, обусловливавшийся тѣмъ, что писатели эти представляютъ

полярную противоположность относительно другъ друга. И дѣйствительно, въ то время какъ преобладающею силою таланта Гл. Успенскаго является юморъ, смѣхъ, беспощадно разбивающій всѣ ваши иллюзіи, Златовратскій хоть-бы разъ улыбнулся: скорбѣть или радуется,—онъ постоянно находится въ одномъ и томъ-же нѣсколько восторженномъ настроеніи, которое порою доходитъ у него до эпического навоеса, такъ что даже и слогъ его принимаетъ стихотворный размѣръ, что-то вродѣ гекзаметра. Между тѣмъ какъ у Успенскаго тщетно вы будете искать какихъ-либо ландшафтовъ и художественныхъ аксессуаровъ, онъ является въ этомъ отношеніи самымъ строгимъ ригористомъ, какіе когда-либо бывали въ беллетристикѣ; у Златовратскаго напротивъ того художественный элементъ далеко не находится въ пренебреженіи: онъ рѣдко вдается въ разсужденія, говоритъ и доказываетъ преимущественно образами, любитъ изображать деревенскую природу и въ своихъ ландшафтахъ отличается немалымъ мастерствомъ. Наконецъ не пренебрегаетъ онъ и внѣшнею отдѣлкою произведеній, которыя вовсе не имѣютъ того отрывочнаго, клочковатаго вида какъ у всѣхъ предыдущихъ рассмотрѣнныхъ нами беллетристовъ-народниковъ: каждое отличается законченностью и стройностью.

Однимъ словомъ между Златовратскимъ и Успенскимъ то-же самое различіе, какъ между Шиллеромъ и Гете, Пушкинымъ и Гоголемъ, вообще между тѣми вѣковѣчными двумя типами творчества, изъ которыхъ одинъ имѣетъ болѣе склонности созерцать положительныя стороны человѣческой жизни, а другой — отрицательныя. Въ то время какъ Успенскій всюду усматриваетъ противорѣчія, отступленія отъ идеаловъ и нормъ и вѣчно имѣетъ дѣло съ какою-нибудь больною совѣстью, Златовратскій напротивъ того ищетъ тѣ общественные и нравственные устои, на которыхъ могло-бы успокоиться его тревожное сердце, вѣчно жаждущее осуществленія правды.

Эти общественные и нравственные устои по мнѣнію Златовратскаго заключаются въ двухъ вѣкахъ созданныхъ народомъ формахъ общенія: общинѣ и артели, съ ихъ индивидуально-нравственными идеалами единенія въ духѣ мира, любви и братской солидарности какъ въ трудахъ, такъ и въ пользованіи ихъ продуктами. Въ этихъ формахъ все спасеніе и единственная возможность осуществленія нравственныхъ идеаловъ, обрѣтенія душевнаго равновѣсія и счастья; внѣ-же ихъ если не опошленіе, то вѣчное томленіе, неудовлетворенность жизнью, угрызненія и въ результатѣ гибель.

Изъ такого міросозерцанія прямо проистекаетъ тотъ отрицательный, пессимистическій взглядъ, съ какимъ смотритъ Златовратскій на всю русскую интеллигенцію, не исключая и самыхъ лучшихъ ея представителей, взглядъ, который вы найдете во всѣхъ его произведеніяхъ, изображающихъ привилегированные классы, таковы *Золотыя сердца*, *Скиталецъ*, *Семья Кремлевыхъ*, *Господа Каравазы*, *Гетманъ* и пр. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ интеллигентные люди изображаются въ видѣ какихъ-то отбившихся отъ стада и заблудшихъ овецъ и единственное живое, что авторъ усматриваетъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, самыхъ лучшихъ, — это тщетныя усилія слиться съ народомъ и такимъ образомъ какъ-бы вернуть потерянный рай.

Этотъ потерянныи интеллигентными людьми, но сохраняемый народомъ при всѣхъ его внѣшнихъ невзгодахъ рай и изображается Златовратскимъ во всѣхъ его разсказахъ изъ народнаго быта, которые группируются главнымъ образомъ подъ двумя заглавіями

Деревенскія будни (отд. изд. въ 1882 г.), и *Устои, исторія одной деревни, повесть въ четырехъ частяхъ* (изд. въ 1884 г.).

Мы уже говорили выше, что идя двумя совершенно различными путями, Гл. Успенскій и Златовратскій пришли къ однимъ и тѣмъ-же выводамъ и въ концѣ концовъ начали говорить почти одно и то-же, употребляя лишь различные термины. Гл. Успенскій, какъ мы видѣли, вывелъ такое общее заключеніе о жизни мужика, что находясь подъ властью земля, мужикъ преданъ общиннымъ началамъ деревенской жизни совершенно инстинктивно, безсознательно, какъ пчела порядкамъ своего улья, и какъ только выдѣляется изъ-подъ власти земли и общины и начинаетъ жить своимъ умомъ, выказываетъ полкую нравственную несостоятельность. Златовратскій, хотя и ничего не говоритъ о власти земли, но точно также полагаетъ нравственные устои въ беззавѣтномъ подчиненіи мужика вѣками созданнымъ общиннымъ порядкамъ, причѣмъ и у Златовратскаго оказывается, что мужикъ до тѣхъ поръ и сохраняетъ свою нравственную цѣльность и безмятежность, пока пребываетъ въ предѣлахъ умственной непосредственности; а какъ только въ немъ пробуждается умъ-разумъ, онъ начинаетъ критически относиться къ окружающей его жизни, разсуждать, однимъ словомъ дѣлается *умственнымъ* мужикомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ у него является стремленіе обособиться, начать жить своею личною жизнью, — тутъ-то и слѣдуетъ лишеніе рая, утрата прежней нравственной цѣлостности, паденіе.

Въ то время какъ Гл. Успенскій представилъ это явленіе въ рѣзкомъ конкретномъ фактѣ снѣгѣ мужика, отбившагося отъ земледѣлія и получившаго возможность легко зарабатывать деньги на желѣзной дорогѣ, Златовратскій въ своихъ *Устояхъ* изобразилъ нѣсколько общихъ и существенныхъ типовъ выдѣленія личнаго начала, игравшихъ большую роль въ русской исторіи. Таковъ на примѣръ типъ Сысоя Строгаго. Онъ былъ одиночка и женился на дочери богатаго мужика. Когда тестъ умеръ, къ нему перешла мельница. Они были бездѣтны, для полевыхъ работъ по лѣтамъ держали работника или работницу. Мельница давала имъ такое обезпеченіе, что они не чувствовали необходимости „тануть изъ себя жилы“, работали сколько требовалось, и такимъ образомъ Строгій имѣлъ много досуга, освободившаго его изъ-подъ непосредственной власти земли и дававшего ему возможность раскинуть умомъ. Результатомъ этого раскидыванія умомъ была умственная „блажь“, „меланхолія“. Строгій неожиданно пришелъ къ выводу: „надо быть справедливымъ, потому—все виноваты. А всему причиной вино: и тотъ виноватъ, кто пьетъ, и тотъ, кто пить даетъ“. И вотъ, когда пришли къ Строгому о Рождествѣ и причтъ, и писарь, и учитель, то водки имъ къ изумленію гостей онъ не подалъ, а сталъ говорить о возвышенныхъ предметахъ. Затѣмъ, послѣдовательно развивая свою „меланхолію“, онъ вдругъ пересталъ ходить въ церковь: когда начиналась служба, онъ надѣвалъ свой новый синій кафтанъ, выходилъ на задъ своей избы, становился на холмъ, и здѣсь, молясь на сверкавшій на солнцѣ крестъ колокольни, выстоявалъ всю обѣдню.

Затѣмъ началъ Строгій отрѣшаться и отъ мірскихъ дѣлъ и пересталъ участвовать въ „мірскихъ чаяхъ“, въ „мірскихъ четвертяхъ и полуведрахъ“. „Не товарищъ, говорилъ онъ, пуцай безъ меня спиваютъ народъ-то, съ вами здѣсь не споешься, а соньешься“ и т. п. Тогда родные начали совѣтовать ему уходить въ городъ или мо-

настырь; онъ и самъ началъ подумывать объ отъѣздѣ въ городъ. „Меланхолія“ его развилась въ какой-то тупой индифферентизмъ ко всему. Чѣмъ больше бѣдствовали дергачи, тѣмъ Строгий все больше и больше уходилъ отъ „міра“.

„Замежуется и не размежуется во вѣки вѣковъ“, говорилъ онъ и бросилъ обрывать свой надѣлъ, передалъ его въ аренду своему сосѣду, чтобы окончательно отойти отъ міра. Мужики на это совѣтъ осердились и стали Строгаго донимать систематически, начали навязывать ему различныя общественныя должности. Тогда онъ совѣтъ рѣшилъ уѣхать въ городъ и записаться тамъ въ мѣщане.

Рядомъ съ типомъ Строгаго стоитъ передъ нами другой типъ отрѣшенія отъ міра въ видѣ сына Пимана Бориса. Еще при крѣпостномъ правѣ, когда Борисъ былъ мальчикомъ, отцу Пиману какимъ-то образомъ удалось научить своего сына грамотѣ. и вотъ онъ билъ челомъ барину, желая избавить сына отъ очереди и чтобъ баринъ взялъ Бориса въ контору. Баринъ согласился, парень ему понравился, а чрезъ нѣсколько лѣтъ вся Вальковщина была въ рукахъ Бориса и стала приносить барину неслыханные доходы; онъ всю ее вдругъ поднялъ на ноги; цѣлыми сотнями, не разбирая богатыхъ и бѣдныхъ, гонялъ на работы, страстно любя смотрѣть, какъ эти толпы, покорныя одному его слову, поднимали невѣроятные труды и въ одинъ, два дня совершали такія дѣла, какихъ хватило-бы на цѣлые десятки лѣтъ. Онъ чувствовалъ одно: что отдавая въ его руки тысячедушная масса сама выносила его на какую-то высоту, гдѣ закруживалась голова. Онъ самъ весь захлебывался этой массовой поэзіей. Но въ то время вся Вальковщина все больше и больше начинала ощущать одно — ужасъ, страхъ непонятный, гнетущій передъ какой-то силой, перепутавшей всѣ вѣками установленныя, опредѣленныя отношенія. Наконецъ Вальковщина рѣшилась бить барину челомъ: „Убери, ваша милость, убери его отъ насъ!.. Боимся мы его... Жить не стало отъ страха!..“ взмолились всѣ въ одинъ голосъ.

— Чѣмъ-же мы виноваты?.. Коли боятся, значить есть за что, проговорилъ на спросъ барина Борисъ и улыбнулся.

Баринъ внимательно взглянулъ ему въ лицо. — А! Теперь я знаю... Въ чемъ ты виноватъ! сказалъ онъ, и къ изумленію всей Вальковщины и даже сосѣднихъ помѣщиковъ и крестьянъ, добрый баринъ, ратовавшій за освобожденіе, высѣкъ своего собственнаго бурмистра... Говорили, что баринъ на другой-же день раскаялся за невольный порывъ гнѣва и думалъ было наградить Бориса, но Бориса уже не было въ Дергачахъ; онъ бѣжалъ изъ нихъ съ женою и дѣтьми.

«Спустя лѣтъ пять или шесть, когда уже не было въ живыхъ ни стараго барина, ни прежнихъ порядковъ, Борисъ вернулся въ Дергачи въ красной рубахѣ, въ плисовой поддевиѣ и штанахъ, сдѣлавшійся старше, серьезнѣе. Отдѣлился отъ родныхъ, выстроилъ избу на удивленіе всей Вальковщины, но крестьянскаго хозяйства не заводилъ, а къ Рождеству неожиданно забилъ окна избы тесинами,—и снова исчезъ изъ Дергачей съ женою и съ сыномъ. Съ тѣхъ поръ, втеченіе десяти лѣтъ, онъ разъ пять по прежнему неожиданно являлся въ свою заплѣсневшую избу,—то съ женою и сыномъ, то съ однимъ сыномъ,—расколочивалъ окна,—и вотъ вся изба вдругъ наполнялась шумомъ, весельемъ и гамомъ. Отецъ и сынъ въ плисовыхъ шароварахъ, казакинахъ и кумачевыхъ рубахахъ ходили по деревенскимъ улицамъ, грызая орѣхи, угощаясь и угощая народъ по кабакамъ и у себя въ избѣ; если дѣло

было зимой, они закупали статнаго жеребца со всей сбруей и санями, рыскали по всей Вальковщинѣ, изумляя ея мирныхъ обывателей, и пускали, что называется, пыль въ глаза всей дергачовской знати. Послѣ мѣсячнаго кутежа лошади и сбруя спускались опять за безцѣнокъ,—и странная семья исчезала года на два. Много конечно ходило о Борисѣ разказовъ по Вальковщинѣ, иногда невѣроятныхъ; болѣе правдоподобны были тѣ, которые повѣствовали о томъ, что встрѣчали Бориса то въ Астрахани откупавшимъ огромные рыбныя участки, собиравшаго артель до 200—300 человекъ рыбаковъ, то видѣли его подъ Самарой, вытаскивавшаго потонувшій пароходъ; то сплавившаго цѣлые «караваны» съ хлѣбомъ, и все это непремѣнно во главѣ огромной массы рабочаго народа, который опять сгоняли въ лапы отца съ сыномъ словно какія-то невидимыя силы... А отецъ съ сыномъ ухорски и беззавѣтно царили надъ нею... Часто послѣ одной изъ такихъ «операцій» въ ихъ рукахъ скопидались огромныя суммы денегъ. Тогда Борисъ распускалъ эти массы, пропоявъ на нихъ чуть не половину денегъ и возвращаясь доканчивать съ другою половиною въ родные Дергачи.

Оба эти типа, какъ Строгій, такъ и Борисъ, не представляютъ въ сущности ничего новаго собою; это — два вида первоначальнаго, элементарнаго, такъ сказать, выдѣленія личнаго начала, и вы можете встрѣтить ихъ во всѣ времена русской исторіи. Строгіе населили русскіе города и были родоначальники всѣхъ купеческихъ родовъ, какіе только существуютъ на Руси; Борисы породили массу удалыхъ головъ, начиная съ новгородскихъ ушкуйниковъ и понизовой вольницы и кончая атаманами разбойничьихъ шаекъ и героями *Мертваго Дома* Достоевскаго.

Совершенно въ иномъ видѣ представляется третій типъ выдѣленія личнаго начала, главный герой *Устоевъ* Петръ Вонифатьевичъ Волкъ. Это типъ совершенно уже новый, небывалый доселѣ въ деревенской жизни. Петръ не отрѣшается отъ міра, не отчуждается, а стремится встать во главѣ односельчанъ, внести въ жизнь ихъ новыя начала *умственности*, сознание своего человѣческаго достоинства. Это въ своемъ родѣ герой времени, которымъ земляки гордятся, ждуть отъ него спасенія, а онъ сознаетъ свое призваніе спасти своихъ односельчанъ.

Умственностью своею Петръ былъ обязанъ тому обстоятельству, что крестный отецъ его Строгій, когда ему было 16 лѣтъ, отвезъ его въ Москву и пристроилъ подручнымъ при фирмѣ торговаго дома Башмаковыхъ и К°. Здѣсь онъ попалъ въ интеллигентный кружокъ, въ нравственной состоятельности котораго горько разочаровался; тѣмъ не менѣе изъ всѣхъ своихъ столичныхъ мытарствъ вынесъ новыя идеалы, заключавшіеся во-первыхъ въ противопоставленіи *умственности* пассивному разгильдяйству и темнотѣ людей традиціонной рутинѣ, и во-вторыхъ въ сознаніи личнаго достоинства въ противность смиренія и приниженія. На каждомъ шагу у него такъ и срывались съ языка фразы, вродѣ: „*Умному чловотку вездѣ хорошо, а дуракамъ и въ столицѣ плохо! Умному чловотку вездѣ ходъ!*“... Въ то-же время на слова тетушки Ульяны, которой онъ привезъ въ подарокъ шаль, что *куда намъ, старикамъ, эти форсы*, онъ отвѣчалъ:

— Я такъ полагаю, тетенька, что пора бросать смиренство—то да приниженье... Тоже и мы люди! Чѣмъ мы хуже другихъ? Нужно тоже и свою гордость имѣть!..

Но при всемъ томъ непривлекательномъ видѣ, въ какомъ рисуется фигура этого новаго чловѣка деревни, тѣмъ не менѣе Петръ является однимъ изъ героев, кото-

рых можно встрѣтить не мало въ европейской исторіи. Постоянно, когда въ темныхъ массахъ являлось стремленіе къ освобожденію личности изъ-подъ ига традиціи и пробуждалось чувство человѣческаго достоинства, являлись на сцену подобныя мрачныя, надменные герои, равно озлобленные и противъ возвысившейся культуры, и противъ приниженныхъ массъ, во имя идеала „умственности“ готовые отрицать и своихъ, и чужихъ. Но хуже всего было въ этихъ герояхъ то, что одностороннее стремленіе освободить личность и даровать ей безграничный просторъ приводило ихъ къ отрицанію въ старыхъ порядкахъ не только отжившаго и гнилого, но и живого, здороваго, составлявшаго корни самаго существованія. Этимъ именно людямъ Европа обязана тѣмъ, что въ продолженіе послѣднихъ 200 лѣтъ во имя царства разума и освобожденія личности отъ средневѣковыхъ традицій были искоренены послѣдніе остатки общиннаго быта въ земледѣльческихъ классахъ.

Такимъ-же прямолинейнымъ, одностороннимъ и слѣпымъ отрицателемъ является и Петръ по отношенію къ своей деревнѣ. Несмотря на то, что вѣрные хранители дѣдовскихъ устоевъ отшатнулись отъ Петра, слава и популярность его все болѣе и болѣе росли въ дергаческомъ мірѣ. Послѣ-же того, какъ онъ приобрѣлъ заброшенную барскую усадьбу, обзавелся хозяйствомъ, сошелся съ „хозяйственными“ мужиками и женился на дочери Пимана Аннушкѣ, онъ забралъ такую силу, что тестя его Пимана избрали волостнымъ старшиною; но настоящимъ заправителемъ волости сдѣлался Петръ въ качествѣ волостного писаря. И тутъ онъ далъ разгуляться своей „умственности“ на полной волюшкѣ. Во имя своего прямолинейнаго идеала онъ оказался необузданнымъ и безжалостнымъ деспотомъ, какого не видали мужики со времени барства. Несчастнымъ свихнувшимся бѣднякамъ, запынствовавшимъ и разорившимся не было отъ него никакой пощады; по слухамъ, онъ даже съѣлъ ихъ. Онъ дошелъ до такой дерзости, что землю, которую онъ „высудилъ“ для міра при помощи непремѣннаго члена Валентина Петровича, онъ не далъ дѣлить по прежнему и дѣлать равненіе, а захотѣлъ разбить ее на участки и давать во временное пользованіе только „настоящимъ“ хозяйственнымъ мужикамъ. Тогда въ Вальковщинѣ поднялось волненіе: противъ Петра встала чернота и бѣднота подъ предводительствомъ Бориса. Къ чернотѣ присоединились всѣ старинные люди общинники. Прежніе кулаки-грабители, сначала было сробѣвшіе, теперь подняли голову и черезъ Бориса вошли въ союзъ съ чернотою, начали поить ее водкою. Строгость Петра перешла тогда всѣ границы. Возмущенный „продажной“, какъ онъ называлъ, чернотою, вошедшей въ союзъ съ грабителями, Петръ присталъ къ Пиману съ требованіемъ, чтобы тотъ выхлопоталъ мірской приговоръ о ссылкѣ сына его Бориса въ Сибирь. Собравшійся волостной сходъ вызвалъ на объясненіе Пимана и Петра. Пимана обругали „старымъ дуракомъ“, но ничего отъ него не добились. Петръ-же, когда ему передали вызовъ на мірской судъ, сказалъ, что еще не было видано, чтобы судъ дураковъ умныхъ людей судилъ. Сходъ жаловался въ уѣздное присутствіе; услыжавъ объ этомъ, Петръ обозвалъ весь міръ „дураками“, и пораженный поднявшейся общей безтолочью, въ которой онъ не понималъ какъ разобратъся, отказался отъ дѣлъ и самовольно уѣхалъ въ Москву...

Изъ всего этого можно судить, что Златовратскій вовсе не идеализируетъ дере-

венскую жизнь и мужика, въ чемъ его нѣкоторые заподозривали. Подобно Гл. Успенскому онъ ставитъ на видъ, что нравственные устои деревни покоятся на инстинктивной и неразсуждающей вѣрности традиціямъ и совершенно чужды того сознательно-разумнаго отношенія къ нимъ, при которыхъ только и возможно ихъ развитіе. „Умственность“ - же, т. е. начало сознанія и критики вело до сихъ поръ не къ усовершенствованію и развитію самихъ устоевъ, а къ стремленію выдѣлиться изъ нихъ на почву эгоистическаго индивидуализма городской жизни.

Разсмотрѣнными нами въ трехъ послѣднихъ главахъ писателями далеко не исчерпывается вся беллетристика народнаго быта. Мы намѣтили лишь главные фазы въ ея развитіи и разсмотрѣли дѣятельность такихъ писателей, которые или спеціально посвятили себя этому предмету, или проявили себя какъ-нибудь особенно ярко и самобытно въ этой отрасли беллетристики. А затѣмъ намъ остается поставить на видъ, что рѣдкій изъ писателей послѣднихъ тридцати лѣтъ не касался народнаго быта хоть мелькомъ и мимоходомъ. Такъ напр. найдете вы рассказы изъ народнаго быта у Салтыкова въ его *Губернскихъ очеркахъ* (*Отставной солдатъ Пименовъ, Пахомовна, Аринушка, Старецъ*). Ал. Потѣхинъ писалъ не только мелкіе рассказы, но и обширные романы: *Около денег* (*Вѣстн. Евр.* 1877 г.). П. Засодимскій помѣстилъ въ *Отеч. Зап.* 1874 г. въ свою очередь большой романъ *Хроника села Смурина*. Изъ новѣйшихъ писателей не мало касаются народнаго быта В. Короленко, А. Эртель, Мачтетъ, Каронинъ, Дмитріева. Но обо всемъ этомъ будетъ сказано при разсмотрѣніи дѣятельности упомянутыхъ писателей въ своемъ мѣстѣ.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

I—Беллетристы-публицисты. Ихъ дѣленіе по партіямъ. Михайлъ Евграфовичъ Салтыковъ, какъ представитель демократической партіи. Дѣтскіе годы его и воспитаніе.— II—Ссылка, возвращеніе, служба, женитьба и редакторская дѣятельность. III—Черты его характера. Послѣдующіе годы и смерть. IV—Первый дореформенный характеръ его литературной дѣятельности. Губернскіе очерки. V—Второй періодъ современный реформамъ. Помпадуры и помпадурши. Исторія одного города. VI—Третій періодъ—пореформенный—шестидесятые и семидесятые годы. Ташкентцы, Дневникъ провинціала, Головлевы. VII—Трагическій элементъ въ позднѣйшихъ сатирахъ Салтыкова. VIII—Четвертый періодъ восьмидесятыхъ годовъ. Мелочи жизни. Сказки. Ношеонская старина.

I.

Сильный подъемъ духа въ эпоху реформъ и всеобщее увлеченіе вопросами политическими и социальными не замедлил отразиться въ литературѣ созданіемъ совершенно особенной отрасли беллетристики, которая называлась обыкновенно тенденціонной; правильнѣе-же назвать ее слѣдуетъ публицистической, такъ какъ слова тенденція, тенденціозный слишкомъ уже опошлены, и къ тому-же подъ ними подразумѣвается нѣчто искусственное, предвзятое, надуманное, между тѣмъ какъ въ беллетристикѣ, о которой теперь идетъ у насъ рѣчь, мы встрѣчаемъ много такого, что вовсе этого обвиненія не заслуживаетъ, такъ какъ является вполне естественно и органически вытекшимъ изъ духа времени безъ какихъ-бы то ни было преднамѣренностей со стороны авторовъ. Названіе-же публицистической болѣе подходитъ къ этого рода беллетристикѣ, такъ какъ, созданная общественнымъ движеніемъ своего времени, она вполне выражаетъ собою современный духъ и борьбу различныхъ партій и проводитъ тѣ идеи и взгляды на жизнь и на различныя современныя явленія, какіе соответствуютъ партіи, къ которой принадлежитъ тотъ или другой писатель.

Отдѣляя публицистическую беллетристику отъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ, я вовсе не хочу этимъ сказать, чтобы между двумя отраслями не было ничего общаго, никакихъ точекъ соприкосновенія, или чтобы беллетристы сороковыхъ годовъ не преслѣдовали никакихъ общественныхъ цѣлей. II у беллетристовъ сороковыхъ годовъ мы видѣли не мало произведеній, глубоко проникнутыхъ общественными

скавическій.

интересами. Но беллетристы сороковых годовъ далеко не столь всецѣло отдавались этимъ интересамъ, какъ беллетристы-публицисты шестидесятыхъ годовъ: ихъ занималъ вмѣстѣ съ тѣмъ и психологическій анализъ, и чистая художественность въ пушкинскомъ духѣ. Въ тоже время въ міросозерпаніи большинства ихъ мы видѣли тотъ пессимистическій скептицизмъ, который составляетъ главную ихъ особенность. Наконецъ при всемъ увлеченіи общественными интересами, беллетристы сороковыхъ годовъ были чужды строгой опредѣленности и выдержанности въ партіонномъ отношеніи. Они или совсѣмъ не принадлежали ни къ какой партіи, какъ напримѣръ Гончаровъ или Л. Толстой, или-же колебались, переходя отъ одной партіи къ другой, порою-же стараясь совмѣщать самыя противоположныя и непримиримыя теченія, каковы Тургеневъ, Писемскій, Достоевскій. Беллетристы-же публицисты всецѣло отдаются общественнымъ вопросамъ, и вопросы эти ставятся въ ихъ произведеніяхъ на первый планъ. Любовь и психическій анализъ напротивъ того занимаютъ самое скромное и второстепенное мѣсто; ландшафты природы въ свою очередь играютъ чисто декоративную роль. Порою-же дѣло обходится и безъ любви, и безъ психического анализа, и безъ ландшафтовъ, и отъ первой страницы до послѣдней все произведение занято одною политикою. Въ тоже время каждый романнстъ является приверженцемъ одной какой-либо партіи и въ неуклонномъ служеніи своей партіи и пропагандированіи ея принциповъ видитъ главное значеніе и достоинство своей литературной дѣятельности. Сообразно этому и публицистическую беллетристику можно раздѣлять на три рода: демократическую, умѣренно-либеральную и консервативную.

Во главѣ демократической беллетристики стоитъ великій писатель, составляющій главную гордость и честь нашей эпохи и наиболѣе глубоко и полно ее выражающій— Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ. Сверстникъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ и начавшій свою дѣятельность въ одно время съ ними, онъ значительно опередилъ ихъ, вставши во главѣ движенія шестидесятыхъ годовъ и такимъ образомъ выѣстивъ въ своей личности двѣ эпохи, сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ, соединивъ скептической анализъ предшествующей эпохи съ духомъ отважнаго протеста послѣдующей.

Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ родился 15-го января 1826 года въ селѣ Спасъ-Уголь, калязинскаго уѣзда, тверской губерніи. Родители его были довольно богатые мѣстные помѣщики, о древности рода которыхъ нечего распространяться, такъ какъ самая фамилія Салтыковыхъ — одна изъ самыхъ распространенныхъ, общеизвѣстныхъ и непрестанно повторяющихся въ исторіи чуть не со временъ Іоанна Грознаго, — достаточно свидѣтельствуетъ о родовитости нашего безсмертнаго сатирика, а вмѣстѣ съ тѣмъ о татарскомъ происхожденіи его предковъ.

Проведя первые годы своей жизни въ сельскомъ уединеніи, на полномъ барскомъ привольѣ, среди простора полей, Салтыковъ семи лѣтъ, въ самый день рожденія, 15-го января 1833 года былъ посаженъ за азбуку, причемъ первымъ наставникомъ его по обычаю того времени былъ свой-же крѣпостной человѣкъ, живописецъ Павелъ. По у этого перваго наставника „изъ народа“ мальчикъ занимался не болѣе года, а затѣмъ поступилъ подъ руководство своей старшей сестры Надежды Евграфовны, вышедшей изъ московскаго Екатерининскаго института въ 1834 году, и ея подруги по институту Авдотѣ Петровнѣ Василевской, поступившей въ домъ Салтыковыхъ въ

качества гувернантки. Кроме этих двух дѣвицъ священникъ села Заозерья Иванъ Васильевичъ преподавалъ мальчику сверхъ закона Божія латинскій языкъ по грамматикѣ Кошанскаго и студентъ Троицкой духовной академіи Матвій Петровичъ Салминъ два года сряду проживалъ въ имѣніи Салтыковыхъ на дѣтнихъ вакаціяхъ, подготавливая его къ экзамену. Подготовленіе это было настолько успѣшно, что въ августѣ 1836 года, когда Салтыкову было уже 10 лѣтъ, онъ могъ быть принятъ въ третій классъ шестикласснаго московскаго дворянскаго института, только что преобразованнаго въ то время изъ университетскаго пансіона.

Московскій дворянскій институтъ имѣлъ привилегію отправлять каждые полтора года своихъ отличнѣйшихъ учениковъ въ царскосельскій лицей, гдѣ они поступали на казенное содержаніе. Привилегіи этой удостоился и Салтыковъ, и, пробывъ два года въ московскомъ дворянскомъ институтѣ, онъ былъ въ 1838 году переведенъ въ лицей, въ то время находившійся еще въ Царскомъ Селѣ.

Судя по всему, порядки въ лицей въ то время были очень строгіе и начальство всѣ усилія употребляло, чтобы вывѣтрить изъ лицей традиціонный духъ Куницина и Пушкина. Но бороться съ этимъ духомъ было чрезвычайно трудно, особенно въ виду свѣжей еще могилы Пушкина, умершаго всего годъ назадъ такою трагическою и обаятельною для юношества смертью. Какъ ни преслѣдовало начальство стихотворство, но рѣдкій мальчикъ мало-мальски талантливый и воспримчивый не мечталъ о славѣ Пушкина и не дѣбался поэтому съ перваго-же класса лицей. Это обстоятельство и было причиною съ одной стороны ранняго пробужденія страсти къ литературной дѣятельности въ Салтыковѣ, съ десятилѣтняго возраста, т. е. съ перваго-же класса лицей, а съ другой — столь-же ранняго предубѣжденія противъ него начальства. Такъ мы видимъ, что не мало доставалось ему за стихотворство и чтеніе книгъ не только со стороны администраціи училища, начиная съ гувернеровъ, но и со стороны учителя русскаго языка Гроздова. Эти преслѣдованія оправдывались и обострялись тѣмъ, что стихи Салтыкова не всегда конечно были невиннаго и сентиментальнаго характера, и тщетно пряталъ ихъ мальчикъ въ рукава куртки и даже за голенища; запретные стихи находились, — и слѣдовала кара вмѣстѣ со сбавкою балла изъ поведенія. Достаточно сказать, что въ продолженіе всего пребыванія въ лицей онъ при 12-ти балльной системѣ никогда не получалъ изъ поведенія больше 9-ти, не исключая и послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ передъ выпускомъ, когда всѣмъ силою ставился полный баллъ. Поэтому въ аттестатѣ, полученномъ Салтыковымъ, значится „при довольно хорошемъ поведеніи“, а это показываетъ, что средній баллъ въ поведеніи за послѣдніе два года былъ ниже восьми. Правда что здѣсь участвовали не одни стихи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и такъ называемыя „грубости и шалости“: то пуговица оказывалась разстегнутою или совсѣмъ потерянною, то треуголка надѣта съ бока, а не по формѣ (что было необыкновенно трудно и составляло цѣлую науку), то юноша былъ пойманъ съ папирской во рту и т. п.

Но во 2-мъ классѣ не было уже такихъ строгостей относительно чтенія и стихотворства. Воспитанникамъ дозволялось даже выписывать на свой счетъ журналы, и они подписывались на *Отечественныя Записки*, *Библіотеку для чтенія*, *Сынъ Отечества*, *Маякъ* и *Revue Etrangère*. Что-же касается до стихотворства, то въ

каждомъ курсѣ предполагался продолжатель Пушкина; такъ въ XI-мъ — Пушкинымъ былъ В. Р. Зотовъ, который печаталъ свои стихи въ *Маякѣ*, и издатель Бурачокъ не въ шутку провозгласилъ его вторымъ Пушкинымъ; въ XII—Пушкинымъ былъ Н. П. Семеновъ; въ XIII—М. Е. Салтыковъ; въ XIV—В. П. Гаевскій и т. д. Журналы читались воспитанниками съ жадностью, особенно конечно *Отечественныя Записки*, а въ нихъ наибольшее вліяніе оказывали на юношей критическія статьи Бѣлинскаго.

Первое стихотвореніе Салтыкова *Лира* появилось въ *Библиотекѣ для чтенія*, въ 1841 году, за подписью С—въ. Въ слѣдующемъ, 1842 году, появилась въ томъ-же журналѣ другая его піеса: *Дѣнь жизни*, помѣченная только первой буквой его фамиліи. Ко времени пребыванія въ лицей относятся и всѣ остальные стихотворенія Салтыкова, хотя они появились въ *Современникѣ* уже послѣ выпуска его изъ лицея, въ 1844 и 1845 гг. Но это были послѣднія его стихотворенія; съ выходомъ изъ лицея онъ оставилъ свои мечты сдѣлаться вторымъ Пушкинымъ. Въслѣдствіе-же онъ даже и не любилъ, когда кто-либо напоминалъ ему о стихотворныхъ грѣхахъ его молодости, краснѣя, хмурясь при этомъ случаѣ и стараясь всячески замѣть разговоръ. Однажды онъ высказалъ даже о поэтахъ парадоксъ, что всѣ они по его мнѣнію сумасшедшіе люди.

— Пожилуйте, — объяснялъ онъ, — развѣ это не сумасшествіе — по цѣлымъ часамъ ломать голову, чтобы живую, естественную человѣческую рѣчь втискивать во что-бы то ни стало въ разбѣренныя рѣмованныя строчки? Это все равно, что кто-нибудь вздумалъ-бы вдругъ ходить не иначе какъ по разостланной веревочкѣ, да непремѣнно еще на каждомъ шагу присѣдая.

Конечно это была не болѣе какъ одна изъ сатирическихъ гиперболъ великаго юмориста, потому что на самомъ дѣлѣ онъ былъ тонкій знатокъ и цѣнитель хорошихъ стиховъ, и Некрасовъ постоянно ему одному изъ первыхъ читалъ свои новыя стихотворенія.

II.

Въ 1844 году Салтыковъ кончилъ курсъ лицея, уже переименованнаго въ Александровскій и переведеннаго въ Петербургъ на Каменноостровскій проспектъ. Вышелъ онъ съ чиномъ X класса, т. е. въ черной половинѣ своего курса, составлявшаго меньшинство, такъ какъ въ курсѣ, состоявшемъ изъ 23 воспитанниковъ, 15 выпущено девятимъ классомъ и лишь 8 десятимъ. По окончаніи курса Салтыковъ поступилъ на службу въ канцелярію военнаго министерства при графѣ Чернышевѣ.

Подобно Пушкину первые три года по выходѣ изъ лицея Салтыковъ очень бурно и разбѣнно справлялъ „праздникъ жизни, молодости годы“. По своей страсти все представлять въ комическомъ видѣ, не щадя и самого себя. Салтыковъ рассказывалъ о себѣ нѣсколько анекдотовъ изъ этого періода своей жизни, которые по своей крайней курьезности вполне совпадаютъ съ жанромъ его сатиры.

Но этотъ праздникъ молодости продолжался недолго и кончился не менѣе печально, чѣмъ и у Пушкина. Въ 1847 году Салтыковъ опять выступилъ на литера-

турное поприще въ новомъ уже видѣ, въ качествѣ не стихотворца, а прозаика. Первые его опыты въ этомъ родѣ были помѣщены въ *Отечественныхъ Запискахъ*, именно—въ ноябрѣ 1847 г. *Противорѣчія* и въ мартѣ 1848 г. *Запутанное дѣло*. Въ произведеніяхъ этихъ вы видите очень еще бѣдные зачатки той сатирической соли, какая развилась въ послѣдующихъ произведеніяхъ Салтыкова. Во-первыхъ въ тѣ мрачныя времена было не до сатиры, а во-вторыхъ Салтыковъ находился, очевидно, подъ вліяніемъ тѣхъ социальныхъ идей, какія бродили въ то время въ кружкахъ петербургской интеллигенціи, и въ вышеозначенныхъ произведеніяхъ его преобладаютъ рефлексія въ духъ этихъ идей. Строгая цензура того времени пропустила безпрепятственно оба рассказа, несмотря на то что второй, *Запутанное дѣло*, появился въ мартѣ 1848 года, когда въ правительственныхъ сферахъ начиналась уже паника подъ первымъ впечатлѣніемъ только-что разразившейся февральской революціи. Въ публикѣ первые рассказы Салтыкова, надо полагать, не произвели ни малѣйшей сенсаци, и критика ихъ почти не замѣтила.

Между тѣмъ въ продолженіе 1848 г., подъ впечатлѣніемъ французской революціи, обратившейся въ общеевропейскую, обнаружился рѣшительный поворотъ въ нашихъ внутреннихъ дѣлахъ въ сторону крайней реакціи. Возникло дѣло Петрашевскаго, былъ учрежденъ Бутурлинскій комитетъ, какъ высшее цензурное вѣдомство, наблюдавшее не только надъ общественною прессою, но и надъ казенною, и имѣвшее право дѣлать замѣчанія и выговоры отъ Высочайшаго имени даже министрамъ. И надо было случиться, чтобы однимъ изъ первыхъ распоряженій Бутурлинскаго комитета было строгое замѣчаніе, данное министру гр. Чернышеву за цензурныя неисправности въ *Русскомъ Инвалидѣ*, находившемся подъ редакцію барона Корфа. Надо полагать, что это обстоятельство, вооруживъ гр. Чернышева противъ литераторовъ, повліяло на то суровое отношеніе, какое встрѣтилъ Салтыковъ, когда обратился къ начальству съ просьбою объ отпускѣ для поѣздки на праздники къ родителямъ. Въмѣсто полного разрѣшенія отпуска министръ, до котораго вѣроятно дошли слухи о литературныхъ омытахъ его подчиненнаго, потребовалъ, чтобы онъ представилъ свои сочиненія. Салтыковъ представилъ свои два рассказа, напечатанные въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Министръ поручилъ Н. Кукольнику, служившему въ свою очередь въ военномъ министерствѣ, написать о нихъ ему докладъ. Заклятой врагъ натуральной школы и *Отечественныхъ записокъ*, Н. Кукольникъ представилъ докладъ министру въ такомъ видѣ, что гр. Чернышевъ только ужаснулся, что столь опасный человекъ, какъ Салтыковъ, служить въ его министерствѣ, и тотчасъ же препроводилъ докладъ Кукольника въ Бутурлинскій комитетъ. Оттуда докладъ былъ переданъ въ III отдѣленіе, и вотъ въ одинъ прекрасный день передъ квартирою Салтыкова остановилась яская тройка съ жандармомъ и ему объявлено было повелѣніе тотчасъ-же ѣхать въ Вятку. Здѣсь встрѣчается нѣкоторое противорѣчіе въ тѣхъ свѣдѣніяхъ, какія мы имѣемъ объ этомъ фактѣ со словъ самого Салтыкова. Принимая во вниманіе, что рассказъ *Запутанное дѣло* появился въ мартовской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* и что Салтыковъ значится переведеннымъ въ вятское губернское правленіе 19-го мая 1848 года, надо полагать, что высылка его произошла не позже апрѣля. Между тѣмъ Салтыковъ многимъ лицамъ, въ томъ числѣ и пишущему эти строки, неодно-

кратно разсказывалъ, что увезли его изъ Петербурга столь поспѣшно, что онъ едва успѣлъ сложить въ чемоданъ свои пожитки и долженъ былъ сѣсть на тройку въ легкой шубенкѣ, едва достаточной для петербургскаго сбихода, а между тѣмъ, какъ нарочно, въ то время онъ былъ болѣнъ болѣзною, требовавшей, чтобы онъ сидѣлъ въ жарко-натопленной комнатѣ и особенно остерегался холода. Лишь по снисходительности жандарма брату Салтыкова было дозволено, пріобрѣти на скорую руку шубу вполне годную для далекаго путешествія на перекладныхъ, нагнать путешественника уже за шлассельбургской заставой и избавить его отъ опасности замерзнуть дорогою.

Болѣе семи лѣтъ, до ноября 1855 г., пробылъ Салтыковъ въ Вяткѣ, служа сначала въ палатѣ губернскаго правленія, потомъ чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ, и наконецъ совѣтникомъ губернскаго правленія. Въ 1855 году Салтыковъ былъ переведенъ на службу въ Петербургъ, а въ слѣдующемъ 1856 году женился на Елизаветѣ Аполлоновнѣ Болтиной, отъ которой послѣ смерти его осталось двое дѣтей, сынъ Константинъ и дочь Елизавета. Государственную службу онъ продолжалъ до 1868 года, когда окончательно вышелъ въ отставку съ мѣста вице-губернатора въ Рязани.

Съ 1856 года начинается и литературная популярность Салтыкова, которую онъ сразу пріобрѣлъ послѣ первыхъ-же своихъ *Губернскихъ очерковъ*, помѣщенныхъ имъ во вновь возникшемъ и въ то время весьма либеральномъ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Въ журналѣ этомъ онъ сотрудничалъ до 1860 года, когда перешелъ въ *Современникъ*, гдѣ вскорѣ сдѣлался соиздателемъ Некрасова, вмѣстѣ съ тремя другими близкими сотрудниками *Современника*. Сотрудничество его въ *Современникѣ* продолжалось до закрытія этого журнала въ 1866 году. Затѣмъ въ 1868 году онъ вступилъ въ *Отечественныя Записки* вслѣдъ за переходомъ этого журнала въ аренду къ Некрасову. Здѣсь онъ, будучи уже въ отставкѣ, неустанно работалъ вплоть до закрытія *Отечественныхъ Записокъ* въ 1884 году, причеиъ съ 1878 года, т. е. со смертію Некрасова, былъ утвержденъ отвѣтственнымъ редакторомъ этого журнала.

III.

Среди людей, мало знавшихъ М. Евгр. Салтыкова, ходили въ обществѣ баснословныя слухи о его мнимыхъ суровости, жесткости и даже бранчивости, съ какими онъ, будто-бы, обращался съ людьми не только близкими, но и совершенно незнакомыми, которыхъ въ первый разъ видѣлъ. Вслѣдствіе этихъ слуховъ начинающіе авторы, впервые являвшіеся въ редакціи журналовъ, въ которыхъ онъ участвовалъ, со своими скромными начинаніями, сильно иотруживали и робѣли. Но эти слухи крайне преувеличены. Дѣйствительно, его лицо носило по бѣльшей части суровое и нѣсколько даже мрачное выраженіе, а въ первомъ голосѣ очень часто слышались ноты болѣзненной раздражительности, что могло пугать каждаго непривычнаго человѣка. Но все это не мѣшало ему быть человѣкомъ въ сущности крайне добрымъ, съ мягкимъ и даже нѣжнымъ сердцемъ, неспособнымъ отказывать въ чемъ-либо людямъ и оставаться безучастнымъ къ ихъ нуждамъ. Случалось часто, что обращались къ нему за авансомъ сотрудники, забравшіе не мало уже денегъ и потерявшіе повидимому

всякое право на новые авансы. Салтыковъ выходилъ изъ себя въ такихъ случаяхъ. Грозный голосъ его начиналъ раздаваться по всѣмъ комнатамъ редакціи: „Это невозможно!—кричалъ онъ—это чортъ знаетъ, что такое!. Мы и безъ того роздали безвозвратно до 30 тысячъ! Что-же съ нами будетъ наконецъ, чѣмъ-же это кончится?“ и т. д. И кончалось всегда тѣмъ, что, накричавшись вдоволь, онъ бралъ листъ бумаги и писалъ ордеръ въ контору о выдачѣ сотруднику суммы, которую тотъ просилъ. Пишущему эти строки случалось слышать отъ провинціальныхъ чиновниковъ, служившихъ подъ его начальствомъ, что начальникъ онъ былъ рѣдкій; какъ ни робѣли перою отъ его повидимому грозныхъ окриковъ, но никто его не боялся, а напротивъ того всѣ очень любили его за то, что онъ входилъ въ нужды каждаго мелкаго чиновника и былъ крайне снисходителенъ ко всѣмъ ихъ слабостямъ и недостаткамъ, которые не приносили прямого вреда службѣ. Точно также и въ редакціяхъ мелкіе служители вродѣ конторщиковъ и метранпажей прямо говорили: „Что намъ Мих. Евграфовичъ! Онъ только такъ, кричить, а мы его несколько не боимся!“ Да еще бы и бояться имъ было его, когда разъ при пишущемъ эти строки былъ такой случай, что онъ съ ужаснымъ гнѣвомъ набросился на метранпажа за то, что тотъ слишкомъ скоро набралъ весь отданный въ типографію матеріалъ книжки и явился просить новаго матеріала. „Чего вы торопитесь?—кричалъ Салтыковъ:—ѣдите вы что-ли рукописи? Ему не успѣешь дать рукопись, ужъ у него и готово! Да что вы въ недѣлю хотите набрать всю книжку, что-ли? Родить миѣ прикажете для васъ рукописи? Набрали, такъ и ждите теперь, а отъ меня вы больше ничего раньше недѣли не получите, ничего!... Убирайтесь!..“ Повятно, что слушая такіа рѣчи, метранпажъ едва удерживался отъ смѣха.

Страхъ, который внушалъ Салтыковъ робкимъ людямъ, происходилъ главнымъ образомъ отъ двухъ его достоинствъ: отъ крайняго прамодушія и нервнаго отвращенія ко всему пошлomu, фальшивому и неискреннему. Какъ только онъ видѣлъ что-либо подобное, его тотчасъ-же начинало коробить, онъ не могъ не высказать человѣку въ глаза того впечатлѣнія, которое тотъ на него производитъ, и высказать со всѣмъ тѣмъ саркастическимъ остроуміемъ, которымъ онъ славился. Не гнѣвъ его былъ страшенъ, а скорѣе именно тѣ шуточки, которыми онъ способенъ былъ уничтожить собеседника. Поэтому очень было опасно посылать его о чемъ-либо ходатайствовать въ высшія инстанціи. Всегда могло кончиться тѣмъ, что вмѣсто того, чтобы распутать какое-нибудь пустое недоразумѣніе, Салтыковъ не вытерпитъ и наговоритъ чего-нибудь такого, что наживетъ себѣ новыхъ враговъ и еще болѣе запутаеъ дѣло.

Но зато, если Салтыковъ усматривалъ въ человѣкѣ природный умъ, честность и искренность, онъ дѣлался съ такимъ человѣкомъ крайне мягокъ, деликатенъ, любезенъ и вполне откровененъ. Въ обществѣ-же Салтыковъ былъ блестящимъ собеседникомъ. Довольно сказать, что онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ писателей, которые говорятъ, какъ пишутъ, и когда вамъ приходилось его слушать, разговоръ его производилъ на васъ буквально такое-же впечатлѣніе, какое вы выносили изъ его произведеній, съ тою къ тому-же разницею, что въ разговорной рѣчи онъ не стѣснялся никакими цензурными и иными условіями, и это былъ уже не эзоповскій языкъ нѣкоторыхъ его сатиръ. Особенно блисталъ онъ искусствомъ однимъ, двумя

словами, часто по одному какому-нибудь чисто внѣшнему признаку очертить какую-нибудь личность въ самомъ комическомъ видѣ, въ то-же время чрезвычайно вѣрно. Такъ напримѣръ объ одномъ случайномъ посѣтителѣ редакціи, котораго онъ не долюбивалъ, онъ сдѣлалъ однажды такое замѣчаніе: — „Ну, что такое ММ! На немъ и штаны-то сидятъ, какъ на покойникѣ!“ И этимъ однимъ словомъ онъ опредѣлилъ не только покрой брюкъ, но и всѣ умственные и нравственные качества писателя.

Какъ редакторъ беллетристическаго отдѣла, Салтыковъ представлялъ изъ себя нѣчто незамѣнимое. Довольно сказать, что онъ не ограничивался однимъ только правильнымъ выборомъ для журнала изъ всего доставляемаго въ редакцію матеріала: онъ самъ создавалъ беллетристику. Одни лишь произведенія весьма крупныхъ талантовъ оставались имъ нетронутыми. Съ произведеніями второстепенныхъ и посредственныхъ беллетристовъ онъ не церемонился и, подвергая ихъ самой тщательной обработкѣ, дѣлалъ порою неузнаваемыми. Люди, не знавшіе о тѣхъ операціяхъ, какія производилъ Салтыковъ надъ разсказами второстепенныхъ беллетристовъ, особенно-же такъ называемыми „лѣтними“, приходили въ удивленіе порою, отчего это тѣ самые писатели, которые подъ редакцію Салтыкова помышляютъ весьма недурные разсказы, въ другія изданія приносятъ вещи, оказывающіяся ниже всякой критики и совершенно неудобныя для печатанія. Мало-мальски умные беллетристы не обижались при видѣ, какъ патріархально-отеческая рука редактора сглаживаетъ и сравниваетъ всѣ шероховатости и недостатки ихъ юныхъ твореній, и выносили изъ его редакторской работы богатые уроки для себя. Но конечно встрѣчались и самолюбивые недотроги, требовавшіе, чтобы ни одного слова не было измѣнено или выкинуто изъ ихъ великихъ твореній и вставали на дыбы. Я никогда не забуду, какъ одна сентиментальная романистка прибѣжала къ сотруднику Салтыкова съ горькими жалобами на него и разразилась самыми отчаянными рыданіями. Дѣло оказалось въ томъ, что она желала окончить романъ своей смертью героини отъ чахотки, а Салтыковъ взялъ вдругъ да и сочеталъ героиню съ героемъ законнымъ бракомъ.

Жилъ Салтыковъ особенно подъ конецъ жизни весьма замкнутою жизнью въ тѣсномъ кругу нѣсколькихъ друзей, чуждаясь въ то-же время литературныхъ знакомствъ. Лѣто онъ проводилъ то въ своемъ Монперозѣ, въ окрестностяхъ Ораніенбаума, пока не продасть его, то гдѣ-нибудь на дачѣ, изрѣдка уѣзжалъ за границу, куда-нибудь на воды по совѣту врачей, но онъ терпѣть не могъ заграничныхъ путешествій и всегда съ большою неохотою приготовлялся къ нимъ. За-границею нѣ овлаждвала смертельная скука и тоска по родинѣ, и онъ возвращался изъ своей поѣздки гораздо раньше, чѣмъ предполагалъ уѣзжая.

Здоровье его впервые пошатнулось въ 1875 г. Онъ заболѣлъ тогда такими сильными припадками ревматизма, что лишился ногъ, и тогда-же доктора признали въ немъ органической порокъ сердца.

Уѣхалъ онъ за границу лѣтомъ въ 1875 г. почти въ безнадежномъ состояніи, и всѣ думали, что его вскорѣ не станеть, но опытные доктора, въ томъ числѣ г. Бѣлоголовый, утверждали, что онъ можетъ прожить еще лѣтъ десять со своею болѣзнію. И дѣйствительно, возвратился онъ изъ заграницы въ слѣдующемъ году почти совсѣмъ

здоровымъ, бодрымъ и на ногахъ, и лишь непрестанный кашель и одышка свидѣтельствовали о болѣзни сердца, подтачивавшей его жизнь.

Особенный ударъ былъ нанесенъ ему закрытіемъ *Отечественныхъ Записокъ* въ апрѣлѣ 1884 года. Сбитый со своей боевой позиціи, глубоко оскорбленный въ своихъ гражданскихъ чувствахъ и всѣхъ лучшихъ человѣческихъ инстинктахъ, Салтыковъ послѣ того быстро началъ клониться къ могилѣ. До того времени онъ былъ настолько еще силенъ и бодръ, что выходилъ изъ дома и дѣятельно велъ редакторское дѣло. Послѣ-же 1884 года онъ настолько ослабѣлъ, сдѣлался немощенъ и хилъ, что не только не выходилъ никуда изъ своей квартиры, но и по комнатѣ еле-еле двигался. При такомъ крайнемъ разстройствѣ всего организма ему пришлось еще перенести крупозное воспаленіе легкихъ осенью въ 1866 году, и эта болѣзнь, едва не уложившая его въ могилу, окончательно сломила его силы.

И тѣмъ не менѣе онъ работалъ, можно поистинѣ сказать, до послѣдняго вздоха, и было нѣчто въ высшей степени трогательное и величественное въ образѣ этого изможденнаго, окруженнаго лекарствами старца, который не выпускалъ пера изъ дрожащихъ и костенбьющихъ рукъ, и продолжая выпускать произведеніе за произведеніемъ, умиралъ въ полномъ смыслѣ этого слова воинно на полѣ битвы. Такъ за нѣсколько дней до смерти онъ показывалъ посѣтителямъ полуисписанный листъ, съ отчаяніемъ заявляя, что рука его отказывается болѣе работать, и онъ не въ силахъ продолжать начатой работы. Это были тѣ самыя *Забутыя слова*, о которыхъ онъ собирался напомнить своимъ соотечественникамъ. Передъ самою смертью онъ успѣлъ составить планъ изданія полнаго собранія своихъ сочиненій и энергически хлопоталъ объ изданіи его. Въ этихъ хлопотахъ онъ и скончался 30-го апрѣля 1889 года.

Вотъ, начиная съ 1856 и по 1889 годъ, какія сочиненія были имъ изданы отдѣльно, предварительно конечно напечатанныя въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ:

- 1) *Губернскіе очерки*, 2 тома; 2) *Сатиры въ прозѣ* 1 т.; 3) *Невинные рассказы* 1 т.; 4) *Исторія одного города* 1 т.; 5) *Признаки времени и Письма о провинціи* 1 т.; 6) *Господа ташкентцы* 1 т.; 7) *Дневникъ провинціала въ Петербургѣ* 1 т.; 8) *Помпадуры и Помпадуриши* 1 т.; 9) *Благодѣтельные ррчи* 2 т.; 10) *Въ средѣ умѣренности и аккуратности*, 1 т.; 11) *Сказки и рассказы* 1 т.; 12) *Убѣжище Монрепо* 1 т.; 13) *Господа Головлевы* 1 т.; 14) *Письма къ тетенькѣ* 1 т.; 15) *За рубежомъ* 1 т.; 16) *Современная идиллія* 1 т.; 17) *Недоконченныя бесѣды*; 18) *Пошехонскіе рассказы* 1 т.; 19) *Пестряя письма* 1 т.; 20) *Мелочи жизни* 1 т.; 21) *Двадцать три сказки* 1 т.; 22) *Пошехонская старина* 1 т.

IV.

Мы уже неоднократно говорили, что вѣкъ Салтыкова былъ вѣкомъ, когда литературу овладѣли высокіе идеалы демократизма, осуществленію которыхъ мы обязаны реформами шестидесятихъ годовъ, когда всѣ писатели поголовно ратовали противъ паразитизма, праздности и нравственной распущенности, какія развились на почвѣ

крѣпостного права, и проповѣдывали активное отношеніе къ общественной жизни, неусынный трудъ на общую пользу и сначала лишь гуманное отношеніе къ низшей братіи, а затѣмъ и слитіе съ народомъ, проникновеніе его идеалами.

Могъ-ли Салтыковъ, писатель отличавшійся всегда тонкою чуткостью къ каждому вновь возникавшему вѣянію времени, остаться въ сторонѣ отъ движенія и не увлечься имъ?

И дѣйствительно, уже первыя произведенія его *Противорѣчія* и *Запутанное дѣло* являются глубоко проникнутыми именно тѣми самыми идеями, которыя бродили въ передовыхъ кружкахъ сороковыхъ годовъ и которыми увлекались въ то время всѣ молодые литераторы подъ сильнымъ вліяніемъ статей Бѣлинскаго. Читая эти произведенія, особенно-же *Запутанное дѣло*, въ которомъ въ первый разъ талантъ Салтыкова обнаружился во всеоружіи своего безпощаднаго смѣха, вы такъ и видите на каждой страницѣ вѣянія того времени,—эпохи натуральной школы, „литературы угловъ и подваловъ“. Вѣяніе это сказалось и въ лицѣ главнаго героя *Запутаннаго дѣла* Ивана Самойловича Мичулина, сына мелкопомѣстнаго дворянина, пріѣхавшаго въ столицу искать счастья и очутившагося голоднымъ пролетаріемъ, тщетно стучавшимся во всѣ двери... „Всѣ, рѣшительно всѣ оказывались съ хлѣбомъ, всѣ при мѣстѣ, всѣ увѣрены въ своемъ завтра, одинъ онъ былъ будто лишній на свѣтѣ; никто его не хочетъ, никто въ немъ не нуждается...“ „Россія—государство обширное,—смѣется авторъ надъ своимъ героемъ,—обильное и богатое,—да человекъ-то глупъ, преть себѣ съ голоду въ обильномъ государствѣ!“

И вотъ мы встрѣчаемъ въ разсказѣ много такого, чтó можно было встрѣтить у каждаго молодого писателя того времени: развѣ не напоминаютъ напримѣръ стихотворенія Некрасова *Иду-ли ночью по улицѣ темной* тѣ страницы въ *Запутанномъ дѣлѣ*, гдѣ описываются думы героя о томъ, чтó было-бы съ нимъ, если-бы онъ женился на Надѣ? А его скитанія по Петербургу, его горячечныя грезы и безвременная смерть развѣ не имѣютъ ничего общаго съ тѣмъ, чтó въ то время писалъ О. Достоевскій?

Но на самомъ главномъ планѣ стоитъ здѣсь конечно смѣхъ, и въ этомъ отношеніи Салтыковъ въ первомъ-же своемъ произведеніи явился тѣмъ *l'enfant terrible*, какимъ онъ впоследствии неоднократно являлся, осмѣивая тѣ самые передовые кружки, среди которыхъ вращался. Тутъ случились своего рода запутанное дѣло и прискорбное недоразумѣніе: Салтыковъ былъ высланъ по подозрѣнію въ соприкосновенности къ петрашевцамъ за такія свои произведенія, въ которыхъ именно эти самые петрашевцы и были весьма зло осмѣяны. Въ самомъ дѣлѣ, кто-же какъ не петрашевцы были осмѣяны въ лицѣ кандидата философіи Вольфганга Антоныча Беобахтера и недоросля изъ дворянъ поэта Алексіса Звонскаго съ ихъ безконечными словопреніями о томъ, довольно-ли одной любви, или-же любовь потомъ, а прежде всего должно послѣдовать разрушеніе, и что эстетическое чувство есть то чувство, которымъ въ высшей степени обладаетъ художникъ, а художникъ есть тотъ смертный, который въ высшей степени обладаетъ эстетическимъ чувствомъ.

Во имя чего-же обличалъ Салтыковъ кружки, къ которымъ самъ принадлежалъ, и такимъ образомъ побилъ своихъ? Вдумываясь въ смыслъ разсказа, мы видимъ,

что передовые кружки осмѣяны здѣсь на основаніи тѣхъ самыхъ идей, которыя этими же кружками и проводились, во имя идеаловъ, къ которымъ стремилась такъ повидному горячо молодежь того времени. Салтыкова поразило то обстоятельство, что все это движеніе совершалось на вполнѣ отвлеченной, теоретической почвѣ, ограничиваясь одними философскими преніями и бравурными восклицаніями; что все это были избѣженные баричи, готовые на словахъ заключить въ объятія все человѣчество, а на дѣлѣ ни одинъ изъ нихъ не протянулъ руку братской помощи умирающему съ голоду человѣку, когда онъ обратился съ мольбою о спасеніи.

Ссылка оказала великую услугу Салтыкову въ томъ отношеніи, что познакомила съ внутреннею жизнью Россіи и съ народомъ. Ему пришлось прожить въ провинціи какъ разъ тѣ семь лѣтъ реакціи, когда дореформенная жизнь дошла до крайняго разложенія, почти до полной анархіи и когда внутренніи язвы, развѣдавшія государство, вскрылись и обнаружались во всей ужасающей мерзости. Плодомъ этого долготѣνια пребыванія въ провинціи и получились *Губернскіе очерки*, которымъ Салтыковъ былъ обязанъ началомъ своей популярности и которые послѣ севастьяпольской кампаніи встали во главѣ обличительной литературы, возникшей въ эпоху реформъ и заполнившей всю прессу.

Но между этою обличительною литературою и *Губернскими очерками* лежитъ цѣлая пропасть. Здѣсь дѣло заключается не въ личностяхъ, злоупотреблявшихъ властію, и не въ одномъ смѣхѣ надъ всякаго рода взяточниками и казнокрадами. Передъ вами раскрывается мрачная картина всеобщаго безправія и грабежа, которые невыносимымъ гнетомъ ложились на народъ. И вотъ именно присутствіе народа и его невыносимыхъ страданій, которыя вы чувствуете въ каждомъ разсказѣ, даже и тамъ, гдѣ о народѣ ничего не говорится, придаетъ *Губернскимъ очеркамъ* глубокое общественное значеніе.

И къ тому-же не одни только злоупотребленія и возмутительныя злодѣяства Порфиріевъ Петровнчей, Фейеровъ, Томилныхъ, Ижбурдяныхъ, Пересѣчкиныхъ et tutti quanti возмущаютъ автора *Губернскихъ очерковъ*. Его приводитъ въ ужасъ растлѣвающее вліяніе провинціальной жизни во всей ея сложности на самыхъ лучшихъ людей, повидному весьма далекихъ отъ всякой мысли о залѣзаніи въ карманъ ближняго.

«О провинція!—восклицаетъ онъ,—ты растлѣваешь людей, ты истребляешь всякую самостоятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, самую способность желать! Ибо можно-ли назвать желаніями тѣ мелкія вождѣнія, исключительно направленные къ матеріальной сторонѣ жизни, къ доставленію крошечныхъ удобствъ, которыя имѣютъ то нецѣнное достоинство, что устраняютъ всякій поводъ для тревогъ души и сердца? Какая возможность развиваться, когда горизонтъ мышленія такъ обидно суживается? Какая возможность мыслить, когда кругомъ нѣтъ ничего вызывающаго на мысль? Когда вмѣстѣ съ тѣмъ все вокругъ него свидѣтельствуетъ о благахъ жизни, все призываетъ къ ней, тогда нѣтъ возможности не пробуждаться даже самой сонной натурѣ. Воображеніе работаетъ, самолюбіе страдаетъ, зависть кипитъ въ сердцахъ, и вотъ совершаются тѣ великіе подвиги ума и воли человѣческой, которымъ такъ искренно дивится покорная генію толпа. Что нужды, что приготовительныя работы къ нимъ смочены слезами и кровавымъ потомъ; что нужды, что не одно быть можетъ проклятіе сорвалось съ устъ труженника, что горьки были его

исканія, горьки нужды, горьки обманутыя надежды: онъ жилъ въ это время, онъ ощущалъ себя человѣкомъ, хотя и страдалъ...

«Да, жалко, по-истинѣ жалко положеніе молодого человѣка, заброшеннаго въ провинцію! Незамѣтно, мало по малу, погружается онъ въ тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имѣетъ ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, самъ безсознательно дѣлается молчаливымъ поборникомъ ея. А тамъ подкрадывается матушка-лѣнь и такъ крѣпко сомнѣетъ въ своихъ объятіяхъ новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругомъ: вѣдь живутъ-же добрые люди, и живутъ весело,—ну и самъ станешь жить весело.

«О, вы, которые живете другою, широкою жизнью, вы, которыхъ заставляютъ жить, и которые заставляютъ жить другихъ,—завидую вамъ! И если когда-нибудь придется вамъ горько и усомнитесь въ вашемъ счастьи, вспомните, что есть иной міръ, міръ зловоній и болотныхъ испареній, міръ сплетенъ и жирныхъ кулебякъ—и горе вамъ, если вы тотчасъ не поспѣшите подчинить удовольствіе вѣчному истцу вашей жизни—обществу!»

Но наиболѣе ярко и опредѣленно выразились въ *Губернскихъ очеркахъ* идеалы Салтыкова въ томъ глубокомъ сочувствіи народу, которымъ проникнуты всѣ посвященные ему строки. Здѣсь смолкаетъ всякій смѣхъ и начинается область скорби и преклоненія передъ великостью и святостью души простого человѣка.

«Я вообще чрезвычайно люблю нашъ прекрасный народъ,—говоритъ онъ въ своемъ разсказѣ *Богомолцы, странники и проказіе*, — и съ уваженіемъ смотрю на свѣжіе и благодушные типы, которыми кишитъ народная толпа. Конечно, мы съ вами, мсье Буеракинъ, или съ вами, мсье Озорникъ, слишкомъ хорошо образованы, чтобы приходить въ непосредственное соприкосновеніе съ этими мужиками, отъ которыхъ пахнетъ печенымъ хлѣбомъ или кислыми овчинами, но издали поглядѣть на этихъ загорѣлыхъ, коренастыхъ чудаковъ мы готовы съ удовольствіемъ. Я даже съ гордостью сознаюсь, что когда на театрѣ авторъ выводитъ на первый планъ русскаго мужичка и рекомендуетъ ему отхватать въ присядку, или-же собравъ на сцену достаточное число опротно одѣтыхъ дѣвицъ въ тѣлогрѣяхъ, заставляя ихъ оглашать воздухъ звуками русской пѣсни, я чувствую, что въ сердцѣ моемъ дѣлается внезапный приливъ, а глаза застилаются туманомъ, хотя конечно въ камаринской ничего нѣтъ унылаго.

«Grands dieux!»—говорю я себѣ, выходя изъ театра. Какъ мы однако-жь выросли, какъ возмужали: давно-ли русскій мужичекъ, *set ours mal léché*, являлся на театральномъ помостѣ затѣмъ только, чтобы прокричать завѣтную фразу вродѣ: «идемъ!», «объжмъ!» или-же отплясать гдѣ-то у воды полуспанскій танецъ—и вотъ теперь онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, семенить ногами и кувыркается на самой авансценѣ и оглашаетъ воздухъ неистовыми криками своей пѣсни! «Grands dieux! Какъ мы выросли!...»

Но эта тирада полна еще ироніи, направленной противъ чуждавшейся еще въ то время народа интеллигенціи, а вотъ другая, въ которой мы видимъ вполне уже серьезно сочувственное отношеніе къ народу со всеми его вѣрованіями. Такъ, описывая какой-то церковный праздникъ, Салтыковъ говоритъ:

«И вся эта толпа пришла сюда съ чистымъ сердцемъ, храня во всей ея непорочности душевную лепту, которую она обѣщала повергнуть къ пречестному и достохвальному образу Божьяго угодника. Прислушаваясь къ ея говору, я самъ начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимаго стремленія къ душевному подвигу, которое такъ просто и такъ естественно объясняется всеми жизненными обстоятельствами, одблѣняющими незатѣйливое существованіе простого человѣка. На

меня вѣтъ невѣдомою свѣжестью и благоуханіемъ, когда до моего слуха долетаетъ все тоже тоскливое голошеніе убогихъ нищихъ:

Придетъ мать—весна красна,
Лузья, болота разольются;
Древа листьями одѣнутся,
И запоютъ птицы райски
Архангельскими голосами;
А ты изъ пустыни вонъ изыдешь,
Меня мать прекрасную покинешь!

— Нѣтъ, не покину!—готовъ я воскликнуть вмѣстѣ съ Осафѣемъ царевичемъ:

Разгуляюсь я во пустынѣ, во зеленой во дубравѣ,
Насмотрюсь я во пустынѣ на различные цвѣты.

И вотъ результатами этого сочувствія народу, уваженія къ его благодушнымъ типамъ и глубокой скорби при видѣ его многострадальческой жизни и явились такіе рассказы, какъ *Аринушка*, *Старецъ*, *Миша* и *Ваня*, *Развеселое житье*, въ которыхъ благоговѣнно смолкалъ смѣхъ Салтыкова и душа его смирялась и умиралась.

V.

Салтыковъ отнюдь не принадлежитъ къ числу такихъ писателей, которые сразу опредѣляются и впродолженіе всей своей многолѣтней литературной дѣятельности носятъ одинъ и тотъ-же неизмѣнный характеръ, какъ относительно формъ, такъ и содержанія ихъ произведеній. Талантъ крайне чуткій къ малѣйшему измѣненію общественныхъ настроеній и вѣяній, Салтыковъ не упускалъ изъ вида ни одного изъ такихъ измѣненій; до самой смерти онъ не переставалъ жить вмѣстѣ со своимъ вѣкомъ и впереди своихъ современниковъ. Поэтому сатиры его сообразно различнымъ поворотамъ русской жизни совершенно измѣнялись и по тону, и по содержанію, и ихъ нельзя иначе разсматривать, какъ въ связи со всѣми этими поворотами, дѣля на періоды, соответствующіе имъ.

Такъ *Губернскими очерками* вполне исчерпывается періодъ дореформенный; въ очеркахъ этихъ Салтыковъ заплатилъ обильную дань тому общественному разложенію, какое предшествовало крымской войнѣ. Дальнѣйшія сатиры, слѣдующія за *Губернскими очерками*, носятъ совершенно уже иной характеръ. Въ нихъ въ свою очередь сатирикъ столь-же ярко отразилъ эпоху „возрожденія“, слѣдующую послѣ крымской войны со всею ея безтолковою суматохою и фразистостью. Вся соль этихъ сатиръ заключается въ томъ, что какъ ни много было шуму и гаму въ то время, какъ ни кричали о прогрессѣ, неустанномъ движеніи впередъ, необходимости существенныхъ измѣненій, всѣ эти призывные крики не мѣшали людямъ топтаться на одномъ мѣстѣ, и всѣ измѣненія были чисто призрачными, а старо-русская жизнь неизмѣнно оставалась тою-же самою.

Эта старо-русская жизнь олицетворена Салтыковымъ въ городѣ Глуховѣ, въ котормъ во всякое время, когда угодно, тишина и благораствореніе воздухонъ, и даже

среди бѣла дня, когда, какъ извѣстно, въ Вавилонѣ происходило столпотвореніе, Глуповъ откликнулся на зовъ жизни только тѣмъ, что собаки, снавшіи доселѣ у воротъ, свернувшись калачикомъ, стали потягиваться и повилывать хвостами. Таково врожденное свойство обитателей Глупова, ихъ грѣхъ первородный: не могутъ они шевелиться, отяжелѣли. Начальствующіе отдыхаютъ въ объятіяхъ секретарей, помощники—въ объятіяхъ крѣпостного права, купцы—въ объятіяхъ единоторжіа и надувательства. И можете себѣ представить, что должно было сдѣлаться съ Глуповымъ, когда мирное и блаженное существованіе его, заключающееся въ вѣчномъ снѣ и пищевареніи, внезапно нарушилось слухами о „возрожденіи“. Эти слухи внесли страшную смуту въ среду „хорошихъ людей“ Глупова и произвели всеобщій переполохъ; каждый началъ стонать за свою шкуру и видѣть въ грядущемъ чуть-что не свѣтопреставленіе.

Глуповъ еще загодя блѣднѣлъ и трясся при словѣ *возрожденіе* и все про себя шепталъ: „Господи! ахъ, кабы да мимо!“ Еще загодя, при малѣйшемъ шорохѣ онъ махалъ онучами и шугалъ, какъ шугаетъ баба птичница, завидѣвъ въ небѣ коршуна, кружащагося надъ всполошившимся стадомъ ввѣренныхъ ей цыплятъ. „Чѣмъ наша жизнь не красна!“ говоритъ онъ потихоньку: „или пуховики у насъ не толсты? или ватрушки наши не сдобны?“

При такихъ условіяхъ развѣ могъ возродиться и исполниться новой жизни Глуповъ? Всѣ измѣненія, какія произошли въ его сонномъ существованіи, заключались лишь въ томъ, что онъ выставилъ цѣлый сонмъ клеветниковъ. Пораженные неожиданными для нихъ явленіями, глуповцы прежде всего искали объяснить ихъ себѣ чисто виѣшнимъ образомъ. Имъ все казалось, что тутъ дѣйствуютъ какіе-то зачинщики и подстрекатели, безъ тайныхъ козней которыхъ все шло-бы какъ по маслу. Такъ напримѣръ господинъ Сидоровъ утверждалъ, что начало всей смуты положилъ Егорка Лысый, а госпожа Антонова божилась и клалась, что перемѣна въ характерѣ сновидѣній ключницы Матрены произошла именно съ тѣхъ поръ, какъ эта подлая тварь снюхалась съ подлецомъ Юнкой. Ударъ Ерыгинъ пошелъ въ этомъ случаѣ еще дальше. Когда до его свѣдѣній дошелъ слухъ о подобной смутѣ, онъ даже не далъ себѣ труда разобрать, въ чемъ было дѣло, но просто на просто приказалъ отодрать пятокъ или десятокъ зачинщиковъ.

„Помни, говоритъ при этомъ сатирикъ, что Глуповъ не можетъ не клеветать, потому что онъ возрождается. Возрожденіе вызвало въ немъ новыя страсти и новыя понятія, но прежде всего вызвало ненависть къ самому возрожденію. Хоть это повидимому противорѣчіе, но оно разрѣшается очень просто. Еще не остылъ въ Глуповѣ потъ прежней, горшечной еще жизни; еще не перегорѣлъ внутри его старый хламъ накопленный тамъ вѣкамъ; онъ все еще прежній, ветхій Глуповъ, который такъ забавлялъ тебя своимъ оригинальнымъ міросозерцаніемъ... Страшно было-бы, если-бы онъ покончилъ со своимъ прошлымъ, не поговоривъ немного, несневѣжничавъ хоть ради очищенія совѣсти!“

Но не одинъ старый Глуповъ возсталъ противъ реформъ. Самые приверженцы ихъ и піонеры возрождались лишь на словахъ, только и дѣлая что разсыпаясь въ праздныхъ словоизверженіяхъ. Въ сатиряхъ *Скрежетъ зубовой*, и *Новый Нарциссъ*

или влюбленный въ себя, Салтыковъ осмѣялъ современныхъ витій, расплывавшихся потокомъ либеральныхъ разглагольствований. Все содержаніе нашего краснорѣчія, — до его словамъ, — это во первыхъ стараніе не войти въ слишкомъ явное противорѣчіе съ грамматикой и синтаксисомъ; во вторыхъ желаніе убѣдить всѣхъ и каждаго, что ничто человѣческое намъ не чуждо; и въ третьихъ — стремленіе, хоть какъ-нибудь, хоть бокомъ, приобщиться къ общему современному направленію идей. Словомъ, чтобы опредѣлить характеръ нашего витійства однимъ терминомъ, можно назвать его размазисто — стыдливо — пустопорожнимъ. Съ такимъ мало разнообразнымъ сбродомъ мы могли съ грѣхомъ пополамъ составлять только вступленія или предисловія, но зато въ искусствѣ предисловія въ самое короткое время сдѣлали столько успѣховъ, что едва-ли не обогнали на этомъ поприщѣ всѣ народы земного шара.

Такимъ образомъ Глуповъ не умеръ, но и не возродился, а только переѣхалъ форму, внѣшность, и въ сущности остался все тѣмъ-же Глуповымъ. Въмѣсто староглуповцевъ народились новоглуповцы, но они отличаются отъ прежнихъ лишь наружностью: прежній „хорошій“ человѣкъ былъ неряшливъ и неумытъ, частенько даже несло отъ него словно морскими травами; новоглуповецъ напротивъ того безукоризненъ и чистъ, какъ кристалъ. Прежній былъ невѣжественъ и грубъ, новый утонченъ и образованъ, въ карты-же ни-ни, исторій съ рылами, микитками и подсазками удаляется, *buons* употребляетъ лишь благороднымъ манеромъ, т. е. душитъ шампанское и презираетъ очищенную, и только къ *aimons* обнаруживаетъ прежнее ехидное пристрастіе. За то прямъ какъ аршинъ, поджаръ какъ собака, высокоумѣренъ какъ семинаристъ, дерзокъ какъ губернаторскій камердинеръ и загадоченъ, какъ тотъ хвойный лѣсъ, который отъ истоковъ Камы и Вятки тянется вплоть до Ледовитаго океана.

«Въ сущности, и старый, и новый глуповецъ, говоритъ Салтыковъ, руководится однимъ и тѣмъ-же правиломъ: «травы не мять, цвѣтотвъ не рвать и птицъ не пугать», но на практикѣ, но въ способѣ проведенія этого правила въ жизни между ними замѣчается оцутительная разница. Старый глуповецъ видѣлъ эти слова написанными на доскѣ и выполнялъ ихъ, не разсуждая. Новый глуповецъ не только выполняетъ, но и резонируетъ, не только резонируетъ, но и любитъ самимъ собою. Онъ возводитъ исполненіе правила въ принципъ, и въ этомъ принципѣ находитъ достаточно содержанія для наполненія всей своей жизни. И горе тому, кто затронетъ ново-глуповца въ этомъ послѣднемъ убѣжищѣ; горе тому, кто отнесется легко къ этой послѣдней святынѣ его сердца; онъ въ одну минуту налетаетъ столько, сколько не успѣли налетать его достославные предки впродолженія многихъ столѣтій; онъ загрызетъ, онъ докажетъ цѣлому міру, что и въ Глуповѣ могутъ зародиться своего рода Робеспьеры, что и глуповская почва способна производить сорванцовъ исполнителей...»

«Глуповское міросозерцаніе, глуповская закваска жизни находится въ агоніи — это несомнѣнно. Но агонія всегда сопровождается предсмертными корчами, въ которыхъ заключена страшная конвульсивная сила. Представителями этой силы, этихъ ужасныхъ попытокъ древне-глуповскаго міросозерцанія удержаться на старой почвѣ служатъ ново-глуповцы. Въ лицѣ ихъ она празднуетъ свою послѣднюю, бессмысленную вакханалію, въ лицѣ ихъ она исчерпываетъ послѣднее свое содержаніе; въ лицѣ ихъ она торжественно и окончательно заявляетъ міру о своей несостоятельности.»

Таковы основные мотивы тѣхъ публицистическихъ сатиръ, какія писалъ Салты-

ковъ во все время совершавшихся реформъ. Это была беспощадная критика общественнаго движенія эпохи, проникавшая въ самую суть исторически-сложившихся основъ русской жизни, производившая самое отрезвляющее вліяніе на молодые умы, разгоряченные совершавшимися великими событіями и воображавшіе, что русскій прогрессъ безпредѣленъ.

Не ограничиваясь характеристикой современныхъ нравовъ Глухова, Салтыковъ обращается къ исторіи въ намѣреніи прослѣдить развитіе этихъ нравовъ генетически, и въ концѣ сатиры разсматриваемаго нами періода является *Исторія одного города*. Но прежде, чѣмъ мы обратимся къ этому произведенію, намъ необходимо обратить вниманіе на одно весьма существенное свойство таланта Салтыкова, именно на его страсть къ широчайшимъ обобщеніямъ.

Салтыкова неоднократно обвиняли въ памфлетизмъ, и рѣдкое произведеніе его обходилось безъ того, чтобы не искали въ немъ изображеній тѣхъ или другихъ общезвѣстныхъ дѣятелей. Но категорически заявляемъ, что обвиненіе это лишено всякаго основанія. Салтыковъ самъ постоянно отказывался, чтобы въ его сатирахъ были выведены тѣ или другія лица, на которыя ему указывали, и дѣлалъ это не публично и не передъ людьми, съ которыми не желалъ быть откровеннымъ, а въ самыхъ интимныхъ, искреннихъ бесѣдахъ. И дѣйствительно, разсматривая его произведенія, мы видимъ, что очень часто творческій процессъ его начинался отъ одной личности, ею возбуждался и приводился въ движеніе; но никогда онъ на этой конкретной личности не останавливался, а непремѣнно приходилъ къ какимъ-нибудь самымъ широкимъ обобщеніямъ, причѣмъ порою обобщенія эти доходили до такой широты, что не въ силахъ были вмѣститься въ одинъ художественный образъ. Тогда творчество Салтыкова, какъ вздувшійся отъ чрезмѣрныхъ дождей потокъ, выходило изъ береговъ художественности, и сатирикъ начиналъ выставлять отвлеченныя, безплотныя категоріи, подводя подъ нихъ явленія самыя разнородныя. Мы видѣли уже подобныя безплотныя обобщенія въ такихъ категоріяхъ, какъ староглуховцы и новоглуховцы. Другой поразительный подобнаго-же рода примѣръ представляется намъ въ сатирахъ, извѣстныхъ подъ общимъ наименованіемъ *Въ средѣ умѣренности и аккуратности*. Первою рубрикою этихъ сатиръ служатъ шесть главъ, носящихъ названіе *Господа Молчалины*. По одному этому заглавію вы можете судить, что Салтыковъ отправляется здѣсь отъ извѣстнаго грибоѣдовскаго типа. Но онъ не останавливается на немъ. У Грибоѣдова Молчалинъ является опредѣленнымъ типомъ пресыщающагося чиновника карьериста, и вы не смѣшаете его ни съ Фамусовымъ, ни со Скалозубомъ, ни тѣмъ болѣе—съ Чацкимъ. Салтыковъ-же усматриваетъ молчалинскія черты въ большинствѣ общества. Цѣлыя массы подобно Молчалину только и помышляютъ объ устройствѣ семейной обстановочки, жертвуя совѣстью и честью, подвергая себя добровольному мученичеству въ видѣ надругательства надъ ними какого-нибудь самодура. Массы говорятъ: „моя хата съ краю, — ничего не знаю“ и пусть кровь льется потоками и человѣчество грязнеть въ пучинѣ духовной нищеты,—ни до чего имъ нѣтъ дѣла. Умывая руки въ крови, они утѣшаютъ себя тѣмъ, что они лишь исполнители, творятъ волю пославшихъ ихъ. Такимъ образомъ въ массахъ вы видите вѣчное раздвоеніе семейной и общественной нравственности, при чемъ главы семей всѣ усиленнѣе

употребляютъ, какъ-бы дѣти не узнали, какою цѣною покупается ихъ благосостояніе, боясь увидѣть въ нихъ грозныхъ судей.

«Молчалины, — говоритъ Салтыковъ, — отнюдь не составляютъ исключительной особенности чиновничества. Они кишатъ вездѣ, гдѣ существуетъ забитость, приниженность, вездѣ, гдѣ чувствуется невозможность скоротать жизнь безъ содѣйствія «обстановки». Русскія матери (да и никакія въ цѣломъ мірѣ) не обязываются рождалъ героевъ, а потому масса сыновъ человѣческихъ невольнымъ образомъ придерживается въ жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: «лбомъ стѣны не прошибешь». И такъ какъ пословица эта сверхъ того въ практической жизни подтверждается восклицаніемъ: «въ бараній рогъ согну!», пригнѣніе котораго сопряжено съ очень солидною болью, то понятно, что въ извѣстные историческіе моменты Молчалины должны во всѣхъ профессіяхъ составлять не очень яркій, но тѣмъ не менѣ несомнѣнно преобладающій элементъ».

Вотъ эту страсть къ широкимъ обобщеніямъ не слѣдуетъ опускать изъ виду, читая и *Исторію одного города*. Въ произведеніи этомъ болѣе чѣмъ гдѣ-бы то ни было ищутъ и находятъ изображенія различныхъ историческихъ личностей. Но это такое-же заблужденіе, какъ и исканіе портретовъ во всѣхъ прочихъ сатирахъ Салтыкова. Здѣсь даже болѣе чѣмъ гдѣ либо мы имѣемъ дѣло съ самыми широкими обобщеніями, олицетворяющими въ одномъ образѣ порою цѣлыя эпохи.

Стѣить лишьобразить, что исторія не есть одна лишь галлерей историческихъ дѣятелей. За ними стоитъ общество, толпа, народъ, которые хотя и не принимаютъ столь замѣтнаго участія въ исторіи, какъ историческіе герои, тѣмъ не менѣ каждый индивидуумъ кладетъ свою лепту, а изъ этихъ лептъ нарастаютъ горы. Мы видимъ по крайней мѣрѣ, что каждая эпоха имѣетъ свой характеръ, присущій не однимъ выдающимся дѣятелямъ, но и массамъ. То, что совершалось въ данный историческій моментъ въ Петербургѣ, находило подражателей въ любомъ Глуновѣ. Поэтому въ исторіи Глунова слѣдуетъ видѣть не одно замаскированіе русской исторіи, а ея такъ сказать микрокосмъ. Если-бы можно было написать исторію любого изъ русскихъ городовъ—Ярославля, Костромы, Кашина или Калязина со всеми мелкими подробностями повседневной жизни, навѣрное въ каждомъ городѣ отразилась-бы всеароссійская исторія. Такимъ образомъ, хотя Беневоленскій и напоминаетъ Сперанскаго, а Угрюмъ Вурчеевъ даже по созвучію—Аракчеева, но въ вѣкъ Сперанскаго и Аракчеева каждый городничій походилъ либо на Сперанскаго, либо на Аракчеева, и не изъ одного подражанія, а потому, что каждая эпоха имѣетъ свои преобладающіе типы, и если художнику удастся схватить одинъ изъ нихъ, то выдающаяся историческая личность будетъ въ такой-же мѣрѣ походить на него, какъ и масса современныхъ ей людей.

И тѣмъ болѣе слѣдуетъ принимать все это во вниманіе, что въ *Исторіи одного города*, какъ и въ сатирахъ Щедрина, извѣстныхъ подъ заглавіемъ *Помпадуръ и помпадурши*, главная соль сатиры Щедрина обращается вовсе не на выводимыхъ градоначальниковъ и помпадуровъ съ ихъ помпадуршами. Вовсе не для того выставляются ихъ сатирикъ такими уродливыми, безобразными и каррикатурными, чтобы въ нихъ онъ полагалъ альфу и омегу всѣхъ бѣдъ и золъ русской жизни. Болѣе всего бичуетъ онъ толпу обывателей, забитыхъ, униженныхъ, пресмыкающихся глуловцевъ,

чуждыхъ всякой инициативы и самостоятельности и вѣчно являющихся одними и тѣми-же безсловесными, подловато-угодливыми Молчаливыми. Вотъ противъ этой-то чисто азіатской инертности и направлены болѣе всего бичи щедринской сатиры.

VI.

Но вотъ прошли шестидесятые годы со всей ихъ суматохою; совершились всѣ главные реформы; опустились волны общественнаго движенія; началось всеобщее изнеможеніе, разочарованіе, затишье. Но подъ наружнымъ пепломъ наступившей реакціи тлѣлъ жгучій огонь, и невидимо, неслышно совершался весьма важный экономическій переворотъ, явившійся прямымъ результатомъ совершенныхъ реформъ и особенно освобожденія крестьянъ. Такъ мы видимъ, что наиболѣе сильное вліяніе эта реформа имѣла на дворянскій классъ, быть котораго былъ потрясенъ до самыхъ своихъ основаній. Всѣ прежніе ресурсы безпечальнаго житія исчезли безвозвратно. Приходилось мало того что устраниваться по новому, но придумывать новыя теоріи для оправданія смысла самаго существованія дворянъ, какъ особеннаго класса. Какъ писатель крайне чуткій къ уловленію существеннаго нерва каждой эпохи, Салтыковъ сейчасъ-же понялъ, въ чемъ заключается главный вопросъ времени, и этому вопросу посвятилъ всѣ свои силы. Онъ оставилъ теперь въ сторонѣ и самодурствующихъ помпадуровъ, и непробудно спящихъ глуповцевъ, и всѣ свои перуны устремилъ на сбитыхъ съ панталыку культурныхъ людей, стремившихся устроиться по новому, по возможности сытно, весело и безъ труда, и съ какимъ-нибудь вновь придуманнымъ апломбомъ, который оправдывалъ-бы эти новыя срыванія цвѣтовъ удовольствія.

И дѣйствительно мы видимъ, что всѣ произведенія этого третьяго періода его литературной дѣятельности семидесятыхъ годовъ, и *Господа Ташкентцы*, и *Дневникъ провинціала въ Петербургъ*, и *Убѣжище Монрепо*, и *Благонамѣренныя рѣчи*, главнымъ образомъ изображаютъ культурныхъ людей въ ихъ отыскиваніи новыхъ путей паразитства. Такъ однимъ изъ самыхъ модныхъ и заурядныхъ въ семидесятые годы путей къ поправленію финансовыхъ обстоятельствъ была тяга въ Ташкентъ, гдѣ мерещились культурнымъ людямъ золотыя горы. Отъ взоровъ Салтыкова не укрылась эта тяга, и онъ мало того, что заклеилъ россійскихъ пионеровъ насажденія въ Азіи европейской цивилизаціи позорнымъ именемъ ташкентцы, но по своему обыкновенію обобщилъ это прозвище, пригнѣвивъ его ко всѣмъ культурнымъ людямъ, ничего не имѣющимъ за душою кромѣ одного ненасытнаго аппетита, — такимъ образомъ и появилась серія сатиръ подъ заглавіемъ *Господа Ташкентцы*, причемъ въ введеніи въ эти очерки Салтыковъ говоритъ:

«Нравы создаютъ Ташкентъ на всякомъ мѣстѣ; бывають въ жизни обществъ минуты, когда Ташкентъ насильно стучится въ каждую дверь и становится на неизбѣжную очередь для всякаго существованія. Это въ особенности чувствуется въ эпохи, которыя условлено называть переходными. Можетъ быть именно чувствуется потому, что въ подобныя минуты рядомъ съ Ташкентомъ уже зарождается нѣчто похожее на гражданственность, нѣчто напоминающее человѣку возможность распознать своими движеніями... Потихоньку, милостивые государи, потихоньку! Можетъ

быть это «нѣчто зарождающееся», «нѣчто намекающее» и дѣлаетъ особенно нестерпимую боль, при видѣ все-таки прямо стоящаго Ташкента? Дѣйствительно, все это очень возможно; но что-же кому за дѣло до этого? Развѣ объясненія утѣшаютъ кого-нибудь? Развѣ они умаляютъ хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, хотя-бы въ самыя глухія, печальныя историческія эпохи, нельзя себѣ представить такого количества людей отчаявшихся, людей махнувшихъ рукою, сколько ихъ водится въ эпохи переходныя. И рядомъ съ этими отчаявшимися—сколько людей все позабывшихъ, все въ себѣ умертвившихъ... все, кромѣ безконечнаго аппетита!..

«Я конечно былъ-бы очень радъ, если-бы могъ, начиная этотъ рядъ характеристикъ, сказать: читатель! смотри—вотъ издыхающій Ташкентъ! Но, увя! я не лимбю въ запасъ даже этого утѣшенія! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ, но въ то-же время знаю, что есть и Ташкентъ, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентовъ по истинѣ пугаетъ меня. Вездѣ шаткость, всюду сюрпризъ! Я вижу людей, работающихъ въ пользу идей несомнѣнно скверныхъ и пошлыхъ и сопровождающихъ свою работу возгласомъ: «поди! задавлю!» и вижу людей, работающихъ въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, но тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: «поди! задавлю!» Я не вижу рамокъ, тѣхъ драгоцѣнныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло-бы упрямиться дурное безъ зашпены, безъ возгласовъ, обѣщающихъ задавить. Мнѣ скажутъ на это: всему причиной Ташкентъ древній, Ташкентъ установившійся, окрѣпшій. Пожалуй, я и на это согласенъ. Что Ташкентъ порождаетъ Ташкентъ, въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, но вѣдь это только доказываетъ, что пессимисты, усматривающіе въ будущемъ достаточно длинный рядъ Ташкентовъ, тоже не совсѣмъ не правы въ своей безнадежности. Утѣшительнаго въ этомъ объясненіи немного.

Но типы ташкентцевъ далеко не исчерпываютъ собою всѣхъ сбившихся съ пути культурныхъ людей. Ташкентцы, готовые ради снисканія куска пирога совершать какія угодно злодѣяства—люди энергическіе и хищные, а такихъ всегда бывало меньшинство. Большинство-же культурныхъ людей втеченіе семидесятыхъ годовъ принадлежало къ мягкому и рыхлому типу помѣщиковъ, которые, не думая о завтрашнемъ днѣ, проѣдали послѣднія выкупныя свидѣтельства и, спуская свои наслѣдственныя усадьбы Деруновымъ, безслѣдно исчезали во мракъ нищеты и разоренія. Собирательнымъ типомъ подобныхъ прожигателей жизни является герой *Дневника провинціала* Прокопъ, этотъ російскій Фальстафъ, необузданный обжора, пьяница и сластолюбецъ, являющійся въ Петербургъ изъ провинціи „прожигать жизнь“ и вѣстѣ съ тѣмъ изыскивать средства для этого прожиганія.

Во второй главѣ *Дневника провинціала* Щедринъ проводитъ весьма знаменательную параллель между жизнерадостностью дѣдушки Матвѣя Ивановича и тщетными усилиями „прожигать жизнь“ его жалкихъ потомковъ, ни къ чему не приводящими ихъ кромѣ пресыщенія и разочарованія.

Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Ивановича, читаемъ мы, опѣшили и убѣдились, что у насъ отъ *нашего* права не осталось ни капельки. Собранія наши малолюдны; мы не пикируемъ, потому что и пикироваться на манеръ французовъ не имѣемъ повода, а какимъ образомъ пикироваться на новый манеръ, еще не придумали. Съ другой стороны, мы не срываемъ скатертей съ сервированныхъ столовъ и не услаждаемся потрясеніями доморощенныхъ Палашекъ, потому что это слишкомъ дорого; чтобы понять хотя призракъ тѣхъ удовольствій, которыми пользовались наши француры

мы должны ѣхать въ Петербургъ и тамъ въ складчину по два рубля съ рыла облизываться на Шнейдершу, qui se gratte les jambes et les hanches. По вѣдь Шнейдерша—достояніе общее, а при общедоступности доставляемаго ею удовольствія, кто же изъ насъ можетъ сказать: это моя Шнейдерша! какъ бывало говаривалъ Матвій Ивановичъ: «это моя Палашка!» Дѣдушкѣ Матвію Ивановичу было надъ чѣмъ повластвовать, и онъ понималъ себя въ этомъ отношеніи не пятымъ колесомъ въ колесницѣ и не отставнымъ козы барабанщикомъ. Смотрить онъ напримѣръ на дѣвку Палашку, какъ она кувyraется, и въ то-же время если не формулируетъ, то всеѣмъ существомъ сознаетъ: «я съ этой Палашкой, что хочу, то и сдѣлаю, хочу—кошу обстригу, захочу—за Антишку пастуха замужъ выдамъ...

«Мы, потомки дѣдушки Матвія Ивановича, лишены такого сорта оживляющихъ эпизодовъ.—Мы куриць не можемъ сдѣлать зла! ша parole! говорилъ мнѣ на-дняхъ мой другъ Сеня Бирюковъ:—объясни-же мнѣ, ради Христа, какого рода роль мы играемъ въ природѣ?»

Таковы темы большинства сатиръ семидесятыхъ годовъ. Въ каждой изъ нихъ выставляется пореформенный помѣщикъ въ разныхъ отношеніяхъ къ новой жизни, заставшей его врасплохъ и увлекающей его своимъ роковымъ теченіемъ. Здѣсь вы не видите уже той желчи и негодованія, какія преобладали въ сатирахъ первыхъ двухъ періодовъ. Господствующимъ чувствомъ является здѣсь ѣдкая горечь, хандра. Скопби автора носить здѣсь субъективный характеръ. Сидясь сквозь слезы надъ своими героями въ ихъ тяжелой борьбѣ съ новыми условіями жизни, авторъ оплакиваетъ и свою собственную участь, которую раздѣляетъ съ героями, принадлежа къ одной съ ними средѣ. Такія сатиры какъ *Убѣжище Монрепо* имѣютъ автобіографическій характеръ, являясь плодами не однихъ наблюденій, а личныхъ опытовъ, выстраданныхъ самимъ авторомъ.

Шедевромъ этого третьяго періода литературной дѣятельности Салтыкова являются *Господа Головлевы*. Многіе ставятъ это произведеніе на равнѣ съ *Мертвыми душами* по изображенію существенныхъ и самобытныхъ чертъ русской жизни и по типичности выставляемыхъ личностей. Другіе утверждаютъ, что если-бы забылись всѣ прочія произведенія Салтыкова, потерявши обаяніе современности и вдохновившихъ ихъ злобъ дня, *Господа Головлевы* одни останутся незабвенными, такъ какъ въ нихъ Салтыковъ возвысился надъ всеѣми окружающими его преходящими явленіями и дошелъ до высшаго творческаго экстаза общечеловѣческихъ обобщеній. По крайней мѣрѣ типъ Иудушки смѣло можно поставить рядомъ съ лучшими типами европейскихъ литературъ, каковы Тартюфъ, Донъ-Кихотъ, Гамлетъ, Лиръ и т. п. Даже самые ожесточенные враги Салтыкова, и тѣ преклоняются передъ этимъ произведеніемъ, объясняя высоту его именно отсутствіемъ въ немъ тенденціозности.

Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ *Господа Головлевы* были всецѣло навѣяны тѣми-же злобами дня. Они волюнѣ входятъ въ тотъ хоръ, какіиъ являются всѣ сатиры Салтыкова семидесятыхъ годовъ. Они были вызваны ничѣмъ инымъ, какъ тщетными попытками осмыслить праздно существованіе сбитыхъ со всѣхъ прежнихъ путей героевъ его навязываніемъ имъ совершенно несвойственной имъ роли охранителей и распространителей сложившейся яко-бы вѣками въ ихъ средѣ своеобразной русской культуры. Отсюда вытекло и прозвище „культурные люди“, явившееся какъ разъ въ

это время въ московскихъ литературныхъ кружкахъ. Посмѣявшись вдосталь и надъ этимъ прозвищемъ и надъ тою ролью, какая навязывалась ташкентцамъ и Прокопамъ, Салтыковъ въ концѣ-концовъ вознамѣрился показать, какова была пресловутая вѣковая „культура“, охранить и насаждать которую призывались ташкентцы и Прокопы. Результатомъ такого замысла и явились *Господа Головлевы*, произведеніе, въ которомъ вы находите изображеніе старинной, дореформенной помѣщичьей семьи во всемъ ужасающемъ безобразіи нравственной раслуценности, отсутствія всякихъ духовныхъ интересовъ и полного разложенія подъ личиною цинически-наглаго лицемерія. Вотъ какую культуру васъ призываютъ охранять и насаждать, сказалъ Салтыковъ этимъ своимъ лучшимъ безсмертнымъ сочиненіемъ.— Однимъ словомъ *Господа Головлевы* играютъ по отношенію ко всемъ прочимъ сатирамъ третьяго періода дѣятельности Салтыкова такую-же роль заключительнаго слова и вѣнца, какую занимаетъ *Исторія одного города* по отношенію къ двумъ первымъ періодамъ, къ произведеніямъ пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ.

VII.

Здѣсь мы считаемъ какъ нельзя болѣе умістнымъ обратить вниманіе на такой элементъ таланта Салтыкова, котораго мы до сихъ поръ не касались еще и который, представляясь не менѣ существеннымъ, чѣмъ сатирико-комическій, до сихъ поръ остается мало оцѣненнымъ. Именно—элементъ трагическій.—И дѣйствительно, элементъ этотъ былъ упущенъ изъ виду не только критиками враждебнаго лагеря; но и критики дружественнаго направленія долгое время не замѣчали тѣхъ горькихъ слезъ, какія прорывались порою сквозь смѣхъ Щедрина. Стоитъ вспомнить Писарева съ его *„Цѣттами невиннаго юмора“*.

Это зависѣло конечно отъ того, что въ первые два періода дѣятельности Салтыкова смѣхъ значительно преобладалъ въ его сатирахъ надъ слезами. Съ одной стороны само время, крайне оживленное, располагало болѣе къ смѣху, чѣмъ къ плачу. Съ другой стороны и самъ сатирикъ былъ моложе. Понятно, что чѣмъ болѣе живетъ человѣкъ, глубже всматривается въ жизнь и болѣе выноситъ изъ нея горькихъ опытовъ, тѣмъ болѣе является у него склонности къ трагизму. Поэтому и у Салтыкова въ позднѣйшихъ сатирахъ, относящихся къ семидесятымъ и восьмидесятымъ годамъ, мы видимъ болѣе трагическаго элемента, чѣмъ въ *Губернскихъ очеркахъ* или *Дневникъ провинціала*.

Этому соотвѣтствовалъ и характеръ семидесятихъ и восьмидесятихъ годовъ. Можно было осмѣивать Прокоповъ, пока они обжирались и проѣдали послѣднія выкушныя свидѣтельства, ташкентцевъ, пока они были болѣе смѣшны, чѣмъ страшны, и Молчалиныхъ, пока разладъ словъ и дѣлъ, будирующія фразы на языкѣ и молчалинское смиренномудріе на дѣлѣ вели лишь къ смѣшному искаженію образа и подобія Божія. Но съ семидесятыи годы стало уже не до смѣху: мрачные тоны жизни сгустились. Передъ Прокопами, успѣвшими все проѣсть, разверзлись грозныя пропасти. Ташкентцы начали возбуждать не одинъ смѣхъ, но и ужасъ. Молчалины-же познали грозныхъ и нелицеприятныхъ судей въ лицѣ своихъ подростшихъ дѣтей. И вотъ изъ-подъ

пера Салтыкова начали выступать безутѣшныя слезы, появился рядъ очеіковъ, въ которыхъ черная какъ ночь хандра доходить мѣстами до безнадежнаго отчаянія. Это не байроновское разочарованіе, не тотъ скептическій пессимизмъ, какой вы встрѣтите въ современной французской беллетристикѣ. Салтыковъ никогда не доходилъ до потери вѣры въ человѣческую природу вообще; онъ лишь оплакивалъ печальную судьбу своихъ современниковъ, влчашихъ жалкое существованіе, ничѣмъ не отличающееся отъ одиночнаго заключенія въ сыромъ, вонючемъ подвалѣ, и которые, куда ни обертывались, всюду находили подъ ногами разверзшіяся бездны, грозившія безславною и позорною гибелью. Такимъ образомъ это отнюдь не трагизмъ высокихъ, титаническихъ страстей и экстраординарныхъ сдѣлений враждебныхъ обстоятельствъ; не тотъ однимъ словомъ трагизмъ, который читатели созерцаютъ съ спокойнымъ духомъ, радуясь за свою участь и соображая, что мало-ли чего не бываетъ на свѣтѣ, но они въ своей скромной и незамѣтной жизни, со своею умѣренностью и аккуратностью, конечно застрахованы отъ подобныхъ ужасовъ. Ничуть не бывало! Салтыковъ раскрываетъ намъ трагическое въ самой празнической жизни, сплошь сотканой изъ мелочей и дразгъ, и читатель съ ужасомъ убѣждается, что никто отъ этого трагическаго не застрахованъ, и самъ онъ является главнымъ героемъ и жертвою совершающейся въ его жизни трагедіи.

Такъ напримѣръ возьмите вы хотя-бы такую сатиру, какъ *Похороны*, въ которой раскрывается передъ нами трагизмъ жизни современнаго русскаго писателя. Мало того, что все это хватающее васъ за сердце описаніе литературныхъ похоронъ въ цѣломъ исполнено мрачнаго трагизма, но въ рѣдкой фразѣ, взятой въ отдѣльности, не таится особенная трагедія, не раскрываются передъ вами надрывающіе душу, исполненные горькой правды факты, примелькавшіеся намъ въ жизни. Возьмите для примѣра хотя-бы такой фактъ, что хоронили Коршунова *„на счетъ семидесяти пяти рублей, которые ассигновалъ литературный фондъ, предварительно впрочемъ удостовѣрившись, что покойный пилъ водку только передъ обѣдомъ и „не предавался“*. Обратите вниманіе на это хмурое октябрьское небо, на горсть провожавшихъ сотрудниковъ, которымъ *всѣмъ было не по себѣ, всѣ шли понуривши голову, какъ-будто каждый думалъ: „вотъ скоро надорвусь и я... да и надъ чѣмъ надорвусь!“*

«Чувство безконечной отчужденности и наготы, читаемъ мы, овладѣвало всякимъ при взглядѣ на эту бѣдную обстановку. Думалось, что везуть какого-то отщепенца, до котораго никому изъ «публики» дѣла нѣтъ (а онъ именно для «публики» то и жилъ, и ради «публики» безвременно зачахъ и сошелъ въ могилу). Да и своихъ-то не особенно поражала эта потеря, потому что «свои» ужъ давно освоились съ могилами. Даже больше чѣмъ просто «отщепенство» тутъ видѣлось: казался, что только по ошибочному неизреченному благосердію допущена эта бѣдная церемонія, предметомъ которой служила совершенно особенная и притомъ не вполнѣ безопасная человѣческая разновидность, именуемая русскимъ писателемъ!»

А далѣе затѣмъ сколько надрывающаго душу заключается въ мартирологъ Коршунова, въ которомъ каждый средней руки писатель увидитъ свою собственную жизнь и вслѣдъ съ безсмертнымъ старикомъ воскликнетъ въ горькомъ отчаяніи: «Читатель, русскій читатель! Защити!..»

Не менѣе трагиченъ разсказъ *Дворянская хандра*, въ которомъ мы имѣемъ дѣло съ трагедіей современнаго интеллигентнаго культурнаго человѣка. Всю жизнь онъ питался надеждами и всюду „свалса“.

«Къ чему я не примазывался! говорить онъ:—въ какомъ «хорошемъ» дѣлѣ не предлагалъ своихъ услугъ! Все тогдашніе вопросы были моими личными кровными вопросами!.. Наконецъ однако мы надѣли. Года два сряду мы любовались другъ другомъ, на третій—любоваться было уже нечѣмъ. Мы весь свой багажъ разбросали разомъ и ничего не сумѣли подобрать, такъ что очутились совсѣмъ съ пустыми руками. Все измѣнилось кругомъ насъ: спросъ на наши услуги вдругъ повисился до минимума, снисходительныя улыбки превратились въ откровенно-кисло-сладкія; одни мы не измѣнились и продолжали высказывать назойливѣйшую готовность идти въ огонь и въ воду. Тогда, чтобы отдѣлаться отъ насъ, потребовалось употребить насилие... Что было потомъ, лучше не вспоминать... замѣна вчерашняго лихорадочнаго «сованія» сегодняшнимъ оцѣпенѣніемъ, это—болѣе нежели неожиданности: это полный переворотъ. Нить жизни порвана, привычки нарушены, всѣ планы, всѣ стремленія, все, чѣмъ жилъ человѣкъ—все разомъ упразднено. Сколько могучаго презрѣнія долженъ почувствовать человѣкъ къ самому себѣ въ минуту совершенія этого переворота! Вѣдь онъ все тотъ-же: дѣятельный, преданный, одушевленный и вдругъ... За что?.. за что? поймите, какая масса безпомощности, самоуниженія, напрасныхъ укоровъ, безсильнаго ропота слышится въ одномъ этомъ вопросѣ!..»

И вотъ культурному человѣку осталось лишь возвратиться въ дѣдовскую усадьбу и поселиться въ ней навсегда, но не затѣмъ, чтобы просвѣщать, распространять здравыя понятія о платежѣ недоимокъ или хозяйничать,—просто чувствовалось потребность за-живо имѣть гробъ. И современная усадьба своимъ разрушеніемъ, заброшенностью и безжизненнымъ уединеніемъ вполнѣ соответствовала понятію о гробѣ.

Вотъ подобное-то вполнѣ трагическое замуровываніе себя за-живо въ гробъ интеллигентнымъ культурнымъ человѣкомъ, познавшимъ свою ненужность въ жизни, и составляетъ все содержаніе этого поистинѣ гробоваго разсказа. Всего ужаснѣе здѣсь та пропасть, которая отдѣляетъ подобнаго живого мертвеца отъ крестьянъ, окружающихъ гробъ его.

«Я изнываю отъ тоски, говорить онъ, отъ неудовлетворенной жажды поступковъ, наконецъ отъ стыда, а мужикъ думаетъ: «вотъ оно хорошее-то житье!» и думаетъ правильно, потому что его то собственное житье ужъ таково, что даже суздальскимъ богомазамъ,—этимъ присяжнымъ изобразительнымъ адскаимъ мученіямъ,—и тѣмъ не найти красокъ, чтобы достойнымъ образомъ воспроизвести это житье! Собственно говоря, только это вѣчно-присущее сравненіе между его гробомъ и могию и напоминаетъ ему обо мнѣ. Во всемъ остальномъ—ему до меня дѣла нѣтъ. Ни совѣтовъ ему моихъ не нужно, ни сочувствія. Въ томъ дѣлѣ, которое сопровождаетъ его жизненную агонію, я никакихъ поученій дать ему не могу, да и онъ самъ эти поученія встрѣтить съ вѣтерпѣніемъ, скажетъ: «уйди! не мѣшай!» Что-же касается до сочувствія, то и тутъ послѣдуетъ тотъ-же отвѣтъ: «уйди! не мѣшай!» Онъ не приметъ его за иронию только потому, что вообще ничего непрямого, инсказательнаго не разумѣетъ, а просто-на-просто подумаетъ, что мое сочувствіе есть обыкновенное интеллигентное «сованіе», только на этотъ разъ ужъ совсѣмъ неумѣстно-примѣненное. «И безъ тебя тошно—а ты лѣзешь!» Да, лучше уже не «совать» и сидѣть смиренно въ своемъ собственномъ гробу и потихоньку умирать!»

Развѣ это не самая ужасная трагедія, присущая массѣ интеллигентныхъ, куль-

турныхъ людей? *Длинные люди*—это вѣчная болячка русской жизни. Наконецъ, вотъ вамъ и чиновничья трагедія въ разсказѣ *Больное мѣсто*. Старикъ Разумовъ, чиновникъ средней руки, всю жизнь теръ трудовую лямку; наконецъ вышелъ въ отставку съ хорошей пенсіей и чиномъ тайнаго совѣтника, но не совсѣмъ по своей охотѣ: его скосырнулъ съ мѣста новый начальникъ Губошлеповъ безъ всякаго повода, а просто такъ, чтобы показать, что онъ человѣкъ „системы“. Разумовъ вернулся на родину, купилъ домикъ на Прохожей улицѣ, устроилъ, ухитрилъ себѣ гнѣздо на славу и думалъ: „Вотъ теперь-то начнется настоящей покой!“ И дѣйствительно, „спокой“ начался, но не совсѣмъ тотъ, на который рассчитывалъ Разумовъ. Начался „спокой“ одиночнаго заключенія, подавляющей, преисполненной безразсвѣтной мглы, тотъ „спокой“, который, однажды захвативъ человѣка, окружаетъ его непроницаемой стѣной, безъ дверей, безъ оконъ. Сидитъ человѣкъ за этой стѣной и ни о чемъ другомъ не мыслитъ, какъ лишь о томъ, что и въ немъ самомъ, и внѣ его все кончилось...

Но не въ этомъ заключается главная трагедія въ жизни Разумова, а въ сынѣ Степанѣ, котораго онъ любилъ, лелѣялъ и тщательно воспитывалъ, потому что въ немъ видѣлъ единственную радость и счастье своей жизни. И вдругъ въ этомъ сынѣ ему пришлось найти грознаго судю всего его служебнаго поприща. Онъ былъ вполнѣ увѣренъ, что онъ „мухи не обидѣлъ“ впродолженіе всей своей службы и всегда дѣлалъ „дѣло“ по „сущей совѣсти“. Но въ массѣ „клочковъ“, которые ежедневно перебиралъ Разумовъ, было достаточно такихъ, которые для однихъ оканчивались нравственной обидой, для другихъ—матеріальными ущербами. Конечно, эти ущербы и обиды въ мнѣніи Разумова прикрывались представленіемъ о „высшемъ интересѣ“ („такъ быть должно“), но бѣда состояла въ томъ, что онъ принималъ это представленіе на вѣру и даже не пытался анализировать его составныя части. Бдвали впрочемъ слова эти значили что-нибудь больше простого „приказанія“.

Это раздвоеніе оффиціального и частнаго человѣка не обошлось даромъ Разумову. Оно привело сына его Степу къ тому, что въ одинъ прекрасный день передъ юношей встала слѣдующая диллема: прервать или съ своими кровными убѣжденіями, или съ отцомъ. Но любовь отца, ласки его, которыя онъ всю жизнь разсыпалъ передъ нимъ, его отеческія заботы и попеченія о единственномъ дѣтищѣ,—все это дѣлало разрывъ слишкомъ жестокимъ и невозможнымъ. И чтобы вырваться изъ этого лабиринта, Степѣ открылась одна дорога: самоубійство.

Такимъ образомъ, здѣсь мы видимъ уже не такую безкровную трагедію, какъ предыдущія, а настоящую—кровавую. Здѣсь передъ нами раскрывается одно изъ тѣхъ многочисленныхъ юныхъ самоубійствъ, которыя впродолженіе послѣднихъ 20 лѣтъ составляли самое заурядное явленіе жизни, и когда читаете вы эту трагедію, въ свою очередь вамъ конечно не до смѣха.

Мы указали лишь на три наиболѣе рѣзкіе образца трагическаго элемента въ сатирахъ Салтыкова. Но ими не исчерпываются проявленія этого элемента, и читатель самъ безъ труда въ обиліи найдетъ ихъ въ произведеніяхъ двадцати послѣднихъ лѣтъ Салтыкова.

VIII.

Сатиры Салтыкова, написанныя в течение восьмидесятих годовъ, составляютъ четвертый и послѣдній періодъ его литературной дѣятельности. Характеръ этихъ произведеній въ свою очередь значительно отличается отъ прежнихъ, что обуславливается опять-таки духомъ времени и возрастомъ автора. Восьмидесятые годы были временемъ полного общественнаго затишья, когда жизнь начала однообразно и монотонно течь день за днемъ, бѣдная выдающимися событіями. Ничто уже болѣе въ такой степени не волновало, не увлекало, не выводило изъ себя, какъ это было прежде. Понятно, что и характеръ, и тонъ сатиръ Салтыкова значительно измѣнились: на мѣсто саркастичнаго, желчнаго смѣха прежнихъ произведеній, является теперь величаво-зническое, степенное созерцаніе, то исполненное глубокой скорби, то возвышающееся до восторженнаго пафоса. Однимъ словомъ передъ вами уже не юноша и не человѣкъ въ цвѣтъ лѣтъ, котораго все волнуетъ и возмущаетъ и который къ тому-же живетъ въ такую горячую эпоху, когда событія быстро снѣшались одно за другимъ, и онъ едва успѣваетъ отзывать на нихъ въ сатирѣ, фельетонахъ, ловящихъ настоящій моментъ. Бывали годы, когда написанная въ мартѣ мѣсяцѣ сатира Щедрина въ сентябрѣ теряла уже обаяніе современности и являлась чѣмъ-то опоздавшимъ. Совсѣмъ не то мы видимъ теперь: не снѣшила общественная жизнь, не для чего было снѣшить и умудренному опытомъ старцу.

Ужъ одно то обстоятельство, что вниманіе его, вмѣсто того чтобы поглощаться новыми фактами, привлекалось повторяющимися изо дня въ день, привычными, придавало сатирамъ его 80-хъ годовъ еще болѣе обобщающій характеръ. Сатирикъ еще болѣе чѣмъ прежде началъ постигать значеніе въ жизни мелочей, трагическое вліяніе ихъ на судьбу человѣка, въ большей степени фатально-неизбѣжное, чѣмъ крупныя катастрофы и титаническая борьба.

«Ахъ, эти мелочи! — восклицаетъ теперь сатирикъ, — какъ чесоточный зудень вшиваются они въ организмъ человѣка и точатъ и жгутъ его. Сколько всевозможныхъ «союзовъ» опутало человѣка со всѣхъ сторонъ... Сколько каждый индивидуумъ ухитряется придумать лично для себя всякихъ стѣсненій! И всему этому, и пришедшему извнѣ, и придуманному ради удовлетворенія личной мнительности, онъ обязывается послужить, т. е. отдать всю свою жизнь. Нѣтъ мѣста для работы здоровой мысли, нѣтъ свободной минуты для плодотворнаго труда... Мелочи, мелочи, мелочи — заполнили всю жизнь!»

И вотъ Салтыковъ пишетъ рядъ скорбныхъ разсказовъ подъ общимъ заглавіемъ *Мелочи жизни*, въ которыхъ показываетъ на людяхъ самыхъ разнородныхъ слоевъ общества, начиная съ великосвѣтскихъ питомцевъ привилегированныхъ заведеній и кончая мужикомъ и городскимъ пролетаріемъ, трагическое значеніе въ жизни мелочей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ творческая фантазія Салтыкова, неотвлекемая конкретными фактами разныхъ злобъ дня, начинаетъ созерцать жизнь въ ея общихъ и существенныхъ элементахъ, присущихъ не одной русской жизни, а вполне общечеловѣческихъ. Результатомъ такихъ созерцаній и являются «Сказки», въ которыхъ Салтыковъ

выступает сатирикомъ не одной только русской современной жизни, а человѣческой жизни вообще въ ея вѣковомъ укладѣ и теченіи, и обнаруживаетъ такое глубокое знаніе человѣческаго сердца, которое ставитъ его на одномъ ряду съ самыми великими писателями Европы.

Сказки Салтыкова можно раздѣлить на три разряда. Однѣ изъ нихъ заключаютъ фабулы, взятая прямо изъ русской дѣйствительности безъ всякихъ иносказаній. Таковы: *Обманщикъ-газетчикъ и легковѣрный читатель*, *Пирושечнаго дѣла модницы*, *Недреманное око*, *Дуракъ*, *Сосѣди*, *Деревенскій пожаръ*, *Повесть о томъ, какъ одинъ мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ*. Другія носятъ характеръ животнаго эпоса, басней; наконецъ двѣ сказки, — *Христова ночь* и *Рождественская сказка*, — преисполнены религіознаго пафоса и представляютъ своего рода profession de foi автора. Эти двѣ сказки заслуживаютъ тѣмъ большаго вниманія, что составляютъ противоположный, полярный полюсъ относительно всѣхъ остальныхъ. Если-бы онѣ не были написаны, остальные сказки давали-бы поводъ предполагать, что Салтыковъ подъ конецъ жизни сдѣлался безнадежнымъ скептикомъ и пессимистомъ, утративъ всякую вѣру въ людей и въ возможность торжества правды когда-бы то ни было, и въ основѣ всей жизни поставилъ неумолимо жестокой законъ борьбы за существованіе, признавши его фатальную и жестокою неизбежность. Такъ напримѣръ возьмите вы хотя-бы такіа соображенія въ сказкѣ *Бѣдный волкъ*:

«Однако-жъ не по своей волѣ волкъ такъ жестокъ, а потому что комплекція у него каверзная; ничего онъ кромѣ мясного ѣсть не можетъ. А чтобы достать мясную пищу, онъ не можетъ иначе поступать, какъ живое существо жизни лишитъ. Однимъ словомъ, *обязывается* учинить злодѣйство, разбой.

«Нелегко ему пропитаніе его достается. Смерть-то вѣдь никому не сладка, а онъ именно только со смертью ко всякому лѣзетъ. Поэтому, кто посильнѣе, самъ отъ него обороняется, а иного, который самъ защищаться не можетъ, другіе обороняютъ. Частенько-таки волкъ голодный ходитъ, да еще съ помятыми боками вдобавокъ. Сядетъ онъ въ ту пору, подниметъ рыло кверху и такъ прозвительно воетъ, что на версту кругомъ у всякой живой твари отъ страха да отъ тоски душа въ пятки уходитъ. А волчица его еще тоскливѣе подвываетъ, потому что у нея волчата, а накормитъ ихъ нечѣмъ.

«Нѣтъ того звѣря на свѣтѣ, который не ненавидѣлъ-бы волка, не проклиналъ-бы его. Стономъ стонетъ весь лѣсъ при его появленіи: «Проклятый волкъ! убійца! душегубъ!» И бѣжитъ онъ впередъ да впередъ, голову повернуть не смѣетъ, а въ догонку ему: «разбойникъ, живорѣзъ!» Уволокъ волкъ съ мѣсяцъ тому назадъ у бабы овцу—баба-то и о сю пору слезъ не осушила: «проклятый волкъ! душегубъ!» А у него съ тѣхъ поръ маковой росинки въ пасти не было: овцу-то сожралъ, а другую зарѣзать не пришлось... И баба воетъ, и онъ воетъ... Какъ тутъ разберешь?

«Говорятъ, что волкъ мужика обездоливаетъ; да вѣдь и мужикъ тоже обозлится, куда лютъ бываетъ! И дубьемъ-то онъ его бьетъ, и изъ ружья въ него палитъ, и волчи ямы роетъ, и кашканы ставитъ, и облавы на него устраиваетъ. «Душегубъ, разбойникъ!» только и раздается про волка въ деревняхъ: «последнюю корову зарѣзавъ, остатную овцу уволокъ!» А тѣмъ онъ виноватъ, коли иначе ему прожить на свѣтѣ нельзя?

«И убьешь-то его, такъ проку отъ него нѣтъ. Мясо—негодное, шкура—жесткая, не грѣетъ. Только и корысти-то, что вдоволь надъ нимъ, проклятымъ, потѣшишься да на вилы живьемъ подынешь: «пускай, гадина, капля по каплѣ кровью исходитъ!»

«Не можетъ волкъ, не лишая живота, на свѣтѣ прожить—вотъ въ чемъ бѣда! Но вѣдь онъ того не понимаетъ. Если его злодѣемъ зовутъ, такъ вѣдь и онъ зоветъ злодѣями тѣхъ, которые его преслѣдуютъ, увѣчатъ, убиваютъ. Развѣ онъ понимаетъ, что своею жизнью другимъ жизнямъ вредъ наноситъ? Онъ думаетъ, что живетъ—только и всего. Лошадь тяжести возитъ, корова даетъ молоко, овца—волну, а онъ—разбойничаетъ, убиваетъ. И лошадь, и корова, и овца, и волкъ—всѣ живутъ, каждый по своему.»

Та-же философія фатальности всеобщаго взаимнаго пожиранія еще болѣе ярко выставляется въ сказкѣ *Карась-идеалистъ*, который жестоко посрамляется со своими мечтами о томъ, что справедливость восторжествуетъ, сильные не будутъ тѣснить слабыхъ, богатые—бѣдныхъ, объявится такое общее дѣло, въ которомъ всѣ рыбы свой интересъ будутъ имѣть и каждая свое дѣло будетъ дѣлать, и онъ такія слова знаетъ, что любая щука отъ нихъ въ одну минуту въ караса превратится. Въ отвѣтъ на всѣ его мечты ершъ окачиваетъ его холодной водой, развивая ту-же философію, какую мы видимъ въ *Вьдномъ волкѣ*.

— Слушай, дурья порода! говорить онъ: ѣдятъ-то развѣ «за что»? Развѣ потому ѣдятъ, что казнить хотятъ? ѣдятъ потому, что ѣсть хочется, только и всего. И ты, чай, ѣшь: не по-пусту носомъ-то въ илѣ роешься, а ракушекъ вылавливаешь. Имъ, ракушкамъ, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамонъ съ утра до вечера набиваешь. Сказывай, какую такую онѣ вину передъ тобой сдѣлали, что ты ихъ ежеминутно казнишь? Помнишь, какъ ты наемднись говорилъ: «Вотъ кабы всѣ рыбы между собою согласились!» А что, если-бы ракушки между собой согласились—сладколи бы тебѣ, простофиля, тогда было?

«Вопросъ былъ такъ прямо и такъ непріятно поставленъ, что карась сконфузился и слегка покраснѣлъ.»

— Но ракушки вѣдь это... пробормоталъ онъ смущенно.

— Ракушки—ракушки, а караси—караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями—щуки. И ракушки ни въ чемъ неповинны, и караси виноваты, а и тѣ, и другіе должны отвѣтъ держать. Хоть сто лѣтъ объ этомъ думай, а ничего другого не выдумаешь...»

И какъ-бы въ доказательство этой жестокой правды, карась былъ проглоченъ щукой, едва лишь произнесъ свое завѣтное слово: „Знаешь-ли ты, что такое добродѣтель?“

Совершенно противоположную философію содержатъ *Христова ночь* и *Рождественская сказка*. Здѣсь на-смѣну жестокой правды борьбы за существованіе и взаимной вражды является вѣковѣчная правда божественной любви, и авторъ проникается ею до глубины души. Такъ въ сказкѣ *Христова ночь* представляется насхальная ночь. Послѣ тоскливаго сѣвернаго ландшафта, въ которомъ авторъ обращаетъ вниманіе на печать сиротливости, заброшенности и убожества, лежащую и на застывшей равнинѣ, и на безмолвующемъ проселкѣ, обращаетъ вниманіе и на то, какъ все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой, онъ повѣствуетъ, какъ внезапно ожила окрестность при звонѣ колоколовъ и безчисленныхъ огней, озарившихъ шпили церквей. По дорогѣ потянулись вереницы деревенскаго люда: впереди шли люди сѣрые, замученные жизнью и нищетой; за ними подаль слѣдовали въ праздничныхъ одеждахъ деревенскіе богачи, кулаки и прочіе властелины деревни. Но вскорѣ толпы утонули въ глубинѣ проселка, замеръ въ воздухѣ косяд-

ній ударъ призывнаго благовѣста, и все опять торжественно смолкло. Глубокая тайна почувалась въ этомъ внезапномъ перерывѣ начавшагося движенія, какъ будто за наступившимъ молчаніемъ надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрожденіе. И точно: не успѣлъ еще заалѣть востокъ, какъ желаемое чудо совершилось. Воскресъ поруганный и распятый Богъ! воскресъ Богъ, къ Которому искони огорченныя и негодующія сердца вопіютъ: „Господи! Поспѣшай!“

Воскресшій Богъ сначала благословилъ землю и воды, звѣрей и птицъ и сказалъ имъ, что онъ принесъ весну, тепло и свѣтъ, что онъ напитаетъ и напоитъ птицъ и звѣрей и наполнитъ природу ликованіемъ... „Вы не судимы, обратился онъ къ тварямъ, ибо выполняете лишь то, что вамъ дано отъ начала вѣка...“

Благословивши природу, Воскресшій обратился къ людямъ. Первыми вышли навстрѣчу къ Нему люди плачущіе, согбенные подъ игомъ работы и загубленные нуждою. И когда Онъ сказалъ имъ: „миръ вамъ!“ — то они наполнили воздухъ рыданіями и пали ницъ, молчаливо прося объ избавленіи. И вотъ Онъ привѣтствовалъ ихъ за то, что они чистыми сердцами беззавѣтно увѣровали въ Него потому только, что проповѣдь Его заключаетъ въ себѣ правду, безъ которой вселенная представляетъ собою вмѣстѣлице погубленія, адъ кремъный. Люби Бога и люби ближняго, какъ самого себя—вотъ эта правда во всей ея ясности и простотѣ, и она наиболѣе доступна не богословамъ и начетчвикамъ, а именно имъ, простымъ и удрученнымъ сердцамъ. Они вѣруютъ въ эту правду и ждутъ ея пришествія. И вотъ Спаситель возвѣстилъ имъ, что хотя никто не предвидитъ впередъ, когда пробьетъ ихъ часъ, но Онъ уже приближается. Пробьетъ этотъ желанный часъ, и явится свѣтъ, котораго не побѣдитъ тьма. И они свергнутъ съ себя иго тоски, горя и нужды, которое удручаетъ ихъ.

Затѣмъ, увидѣвши толпу богатѣевъ, мироѣдовъ, жестокихъ правителей, татей и т. п., Спаситель остановился и передъ ними, и порицая ихъ за то, что зло наполнило все содержаніе ихъ жизни, Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ возвѣстилъ, что и передъ ними онъ открылъ путь ко спасенію. Этотъ путь—судъ ихъ собственной совѣсти. Она раскроетъ передъ ними прошлое ихъ во всей его наготѣ; оно вызоветъ тѣни погубленныхъ ими и поставитъ ихъ на стражѣ у изголовья ихъ. Скрежетъ зубовъ наполнитъ дома ихъ, жены не признаютъ мужей, дѣти—отцовъ. Но когда сердца ихъ засохнутъ отъ скорби и тоски, когда ихъ совѣсть переполнится, какъ чаша, не могущая вмѣстить переполняющей ее горечи—тогда тѣни погубленныхъ примирятся съ ними и откроютъ имъ путь ко спасенію. Не будетъ тогда ни татей, ни душегубцевъ, ни издоимцевъ, ни ханжей, ни неправедныхъ властителей, и всѣ одинаково возвеселятся за общюю трапезою обителя Его.

Наконецъ, Спаситель, увидя повѣсившагося въ отчаяніи предателя, повелѣлъ ему сойти съ дерева и, предавши проклятію, обрекъ его на вѣчное странствіе. И ходитъ онъ доднесь по землѣ, разсѣвая смуту, измѣну и рознь.

Такою-же философіею проникнута и *Рождественская сказка*. Философія эта, обнаруживая сокровенные идеалы Салтыкова, въ то-же время служитъ прекраснымъ противовѣсомъ тому ложному пониманію евангельскаго ученія, какое обнаруживали въ послѣднее десятилѣтіе нѣкоторые наши писатели. Здѣсь мы видимъ не проповѣдь мертваго застоя, рабскаго униженія и оправданія пассивнаго отношенія съ господ-

ствующему злу тою противоестественною теорією, будто страданіе очищаетъ нашу душу и посему каждый смертный безропотно долженъ переносить иго его. Напротивъ того, великое ученіе представляется здѣсь именно въ такомъ видѣ, какъ понимаетъ его народъ, а народъ понимаетъ его конечно лучше, чѣмъ всѣ наши суемудрые умники. И въ этой солидарности съ народомъ въ пониманіи ученія Христова заключается, между прочимъ, значеніе Салтыкова, какъ писателя поистинѣ народнаго.

Пошехонскою стариною заканчивается дѣятельность Салтыкова, и это было довершеніе вполне достойное этой великой дѣятельности. Въ этомъ предсмертномъ произведеніи Салтыковъ словно будто очистился, отрѣшился отъ всѣхъ преходящихъ злобъ дня и суетъ, и углубившись въ давно прошедшіе годы, въ величаво-спокойной, исполненной высоко-христіанской любви и гуманности эпопей воспроизвелъ помѣщичій бытъ эпохи крѣпостного права, какъ до сихъ поръ никто еще его не воспроизводилъ. Эта полу-автобіографическая, полу-художественная хроника находитъ себѣ блѣдное подобіе развѣ что въ семейной хроникѣ С. Аксакова, но конечно у благодушнаго С. Аксакова вы не встрѣтите и тѣни ни того глубокаго проникновенія въ основы изображаемаго быта, ни того знанія человѣческаго сердца, ни той горькой и неліцепріятной правды.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

I—Николай Герасимовичъ Помяловскій. Его дѣтство, воспитаніе и семинарскіе годы. II—Остальные годы его жизни. III—Характеристика его сочиненій: *Очерки бурсы*, *Мѣщанское счастье*, *Молотовъ*, *Братъ и сестра*, *Портчане*. IV— Возникновеніе идеалистической школы беллетристики *Русская слова*, причины ея развитія и особенности ея. Алексѣй Константиновичъ Шеллеръ. Главные факты его жизни. V— Характеристика его произведеній. VI—Прочіе представители этой школы: Павелъ Владиміровичъ Засодимскій. Николай Федотовичъ Бажинъ. Игнатій Васильевичъ Федоровъ Омудевскій). VII—Константинъ Михайловичъ Станюковичъ. Дмитрій Константиновичъ Гирсъ.

I.

Изъ молодыхъ беллетристовъ-публицистовъ демократическаго лагеря первое мѣсто безспорно занимаетъ Николай Герасимовичъ Помяловскій. Онъ былъ петербуржецъ. Отецъ его, дьяконъ мало-охтенской кладбищенской церкви, былъ человѣкъ кроткій и гуманный, такъ что въ родительскомъ домѣ Помяловскій не испыталъ и тѣни деспотизма, и тѣмъ тяжеле было переносить ему иго бурсы. Родился онъ въ 1835 г. Первыми товарищами дѣтства его были охтяне, съ которыми онъ участвовалъ на разныхъ сходкахъ и играхъ. Близость рѣки и рыболовный промыселъ охтянъ рано развили въ Помяловскомъ любовь къ рыбной ловлѣ, которую онъ сохранилъ до смерти. Цѣлыми днями проводилъ онъ или на гонкахъ съ удочкой въ рукахъ, или на тонахъ, толкуя съ пріятелями-рыболовами. Съ сверстниками онъ сходилъ мало и больше придерживался взрослыхъ. Мальчикъ онъ былъ здоровый, бойкій и смысленный. Не мало вліяли на него кладбище, гробы, покойники, погребальныя шествія, цѣніе панихидъ, и конечно этимъ впечатлѣніямъ онъ былъ обязанъ своимъ мрачно-скептическимъ гамлетизмъ, который онъ подъ кличкою „кладбищенство“ изобразилъ въ одномъ изъ героевъ своихъ, Череванинѣ.

Грамотѣ выучилъ Помяловскаго самъ отецъ. Потомъ онъ былъ отданъ въ какую-то дешевую школу на Охтѣ, но пробылъ въ ней не болѣе четырехъ мѣсяцевъ. Когда же мальчику минуло восемь лѣтъ, отецъ отдалъ его въ александровское духовное училище, и начались для него долгіе годы той каторги, какую онъ изобразилъ потомъ въ своихъ *Очеркахъ бурсы*. Особенное автобіографическое значеніе имѣетъ четвертый очеркъ *Блугны и спасенные*, гдѣ подъ именемъ Караса авторъ изобразилъ

самого себя. По этому очерку можно судить, сколько мученій долженъ былъ перенести новичекъ въ первые дни своего пребыванія въ бурсѣ, когда товарищи старались обколотить его, запугать и превратить въ бурсака. Плохо пришлось-бы ребенку, если-бы за него не вступился и не принялъ его подъ свое покровительство нѣкій Силычъ, находившійся въ дружбѣ со старшимъ братомъ Помяловскаго. Подъ этой защитой Помяловскій могъ встать на ноги, оглядѣться и мало-по-малу самъ превратился въ бурсака. Крайне впечатлительный по природѣ, подъ гнетомъ этого вѣчнаго мордобитія и всеобщаго безначалія, онъ сдѣлался осмотрителемъ, недовѣрчивъ и на каждого глядѣлъ, какъ на разбойника, могущаго придушить его. Учиться сталъ онъ плохо, и въ слѣдующемъ классѣ просидѣлъ вмѣсто двухъ четыре года. Учителя сперва жестоко сѣкли его, а потомъ и сѣчь перестали. Всего Помяловскаго высѣкли въ бурсѣ, по его словамъ, четыреста разъ, такъ что впослѣдствіи онъ частенько задавалъ вопросъ: „пересѣченъ я или недосѣченъ?“ Кромѣ того ему чуть не каждый день приходилось стоять на колѣняхъ, быть безъ обѣда и пр. Но онъ мужественно выносилъ всё эти мученія, а учиться все-таки не сталъ. Съ поркой онъ потомъ свыкъся, колѣнъ не жалѣлъ: „на этихъ мѣстахъ, говаривалъ онъ, у меня слононая кожа выросла, потѣшайся, сколько хочешь, мнѣ все равно“, но одного наказанія выносить онъ не могъ — неувольненія въ городъ, съ нетерпѣніемъ ждалъ онъ всегда субботняго дня, и начальство пользовалось этимъ средствомъ, чтобы заставить его учиться.

Восемь лѣтъ пробылъ Помяловскій въ училищѣ, и въ 1851 году перешелъ въ александроневскую семинарію. Здѣсь онъ имѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ лучшую обстановку: и болѣе сносную одежду и столъ, и розги лишь въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ. Семинарская схоластика не особенно увлекала живого мальчика, зато тѣмъ болѣе пристрасился онъ къ чтенію, читая все, что ни попадалось подъ руки, начиная съ сонника и пѣсенника до романовъ Воскресенскаго включительно. Въ старшемъ классѣ былъ затѣянъ наиболѣе дѣльными товарищами рукописный журналъ, который назывался *Семинарскимъ Листкомъ* и выходилъ разъ въ недѣлю тетрадами отъ 3-хъ до 5-ти листовъ мелкаго письма. Большая часть статей въ *Листкѣ* принадлежала конечно Помяловскому, который помѣщалъ ихъ подъ псевдонимомъ „Тамбовскій Семинаристъ“. И уже тогда обнаружилась у него склонность къ широкимъ и всеобъемлющимъ планамъ. Такъ онъ рассчитывалъ, что *Листокъ* черезъ весь курсъ пройдетъ, что общими силами издатели выяснятъ идеалъ семинариста, узнаютъ свои силы, заведутъ корреспондентовъ во всѣхъ другихъ семинаріяхъ. Эти мечты оправдывались тѣмъ общимъ оживленіемъ, какое охватило весь классъ: товарищи выписали въ складчину газету, чтобы слѣдить за политикой; по ночамъ устраивались домашніе театры, танцы, музыка и попойки. Но это продолжалось недолго. Произошла какая-то исторія, вслѣдствіе которой было исключено восемь человекъ лучшихъ и наиболѣе воспримчивыхъ товарищей. Прочіе упали духомъ; на всѣхъ нашла апатія. *Листокъ* тоже началъ падать и на 7-мъ выпускѣ прекратился. Въ этомъ выпускѣ Помяловскій помѣстилъ начало своего разсказа *Махиловъ*, который произвелъ огромное впечатлѣніе на классъ и обнаружилъ впервые въ авторѣ проблески весьма недюжиннаго таланта.

Въ 1857 году Помяловскій кончилъ курсъ семинаріи, ничего не вынеся изъ

своего четырнадцатилѣтняго ученія кромѣ множества текстовъ, безсвязныхъ отрывковъ разныхъ наукъ, блужданія въ схоластически-мистическихъ умствованіяхъ, мрачнаго озлобленія и ожесточенія послѣ всѣхъ перенесенныхъ истязаній и несправедливостей и гибельной привычки къ вину. По окончаніи курса онъ поселился у матери и принялся за обученіе своего маленькаго брата. „Самъ погибъ“, говорилъ онъ, „но брату погибнуть не дамъ и въ бурсу не пущу! Я расскажу ему все, до чего додумался: человѣкомъ можетъ быть сдѣлаю!“ Съ жаромъ ухватился онъ за эту мысль, сталъ читать педагогическія сочиненія, ломая голову надъ разными теоріями воспитанія; пересматривая критически разные учебники и не видя въ нихъ настоящаго смысла, онъ дошелъ до того, что началъ самъ писать учебникъ географіи, и написалъ по этому предмету до десяти листовъ. Въ свободное время онъ поглощалъ всевозможные книги и журналы, занимался частными уроками, участвовалъ въ хорѣ любителей въ Синеоновской церкви, ѣздилъ съ причтомъ о рождествѣ и о пасхѣ славить Христа, читалъ съ дьячками по покойникамъ и проч.

Между прочимъ написалъ онъ въ то-же время и нѣсколько педагогическихъ статейъ и беллетристическихъ очерковъ. Одинъ изъ такихъ очерковъ *Вуколы* онъ снесъ въ редакцію *Журнала для воспитанія* Чумикова. Очеркъ былъ не только напечатанъ подъ псевдонимомъ Герасимова, но Чумиковъ пригласилъ Помяловскаго быть сотрудникомъ журвала. Поощренный успѣхомъ, Помяловскій вскорѣ напечаталъ и другой свой очеркъ *Долбня*, но онъ не жаловалъ этого очерка, считалъ его неудавшимся.

II.

Такъ прошло два года съ окончанія курса, а Помяловскій все еще оставался безъ мѣста. Родственники, не придававшіе значенія его литературнымъ занятіямъ, уговаривали его пристроиться хоть на дьяковское мѣсто, чтобы имѣть возможность поддерживать семейство. Помяловскій не выразилъ особенно энергическаго протеста, и родные отыскали ему невѣсту съ дьяконскимъ мѣстомъ, но невѣста, прослыхавъ, что женихъ иногда поливаетъ, отказала ему. Ему отыскали другую невѣсту въ Царскомъ Селѣ и уговорили отправиться на смотрины. Жениха снарядили въ дорогу, одѣли его во фракъ и отправили къ царкосельскому вокзалу, но съ половины дороги онъ сбѣжалъ. Невѣста подождала его нѣсколько времени, и дала слово другому. Послѣ этого его болѣе не тревожили. Да и самъ онъ съ каждымъ днемъ чувствовалъ менше и менше призванія къ духовному званію. И къ тому-же умственное развитіе его дѣлало большіе и большіе успѣхи, направляя его совсѣмъ въ другую сторону. Проводя дни и ночи за книгами, съ особеннымъ вниманіемъ читалъ онъ *Современникъ*, каждой книжки ожидая какъ праздника. Статьи Чернышевскаго и Добролюбова онъ перечитывалъ по нѣскольку разъ, вдумываясь въ каждую фразу, но особенно сильнымъ толчкомъ въ своемъ развитіи онъ былъ обязанъ университету. Это было именно такое время, когда весь Петербургъ лопился въ двери университета и наполнялъ его аудиторіи. Общимъ теченіемъ былъ увлеченъ и Помяловскій и пошелъ въ университетъ послушать. Попалъ онъ на лекцію Стасюлевича, когда тотъ читалъ о значеніи биб-

лейскихъ пророковъ въ исторіи развитія человѣчества. Какъ шальной вернулся онъ съ лекціи. Наплывъ новыхъ свѣдѣній, новыя мысли, свѣжій свободный говоръ университетской молодежи, все это глубоко потрясло чуткую натуру Помяловскаго, и онъ сдѣлался ревностнымъ посѣтителемъ университета. Въ эти дни онъ ходилъ, какъ полуоумшанный, не ѣлъ, не спалъ, — борьба въ головѣ началась страшная. Отъ этой борьбы онъ исхудалъ, ослабѣлъ, его никто не могъ узнать. Съ большимъ рвеніемъ принялся онъ поглощать книги, съ цѣлью разрѣшить во что-бы то ни стало проклятыя сомнѣнія, но нелегко было отдѣлаться ему отъ мистицизма, глубоко видѣдрившагося въ немъ долгими годами семинарскаго воспитанія. Приходилось разбивать пунктъ за пунктомъ каждую сторону этой мистики, и каждая мысль отрывалась съ болью послѣ жестокой, усиленной борьбы. Зато, когда борьба совершилась и новыя идеи одолѣли, съ жаромъ кинулся Помяловскій въ водоворотъ общественнаго движенія, которое было въ то время въ самомъ разгарѣ. Въ октябрѣ 1860 года съ компаніей студентовъ-пріятелей поступилъ онъ преподавателемъ въ воскресную школу на Шлиссельбургской дорогѣ, причемъ по своей увлекающейся натурѣ не замедлилъ весь уйти въ это дѣло, и подобно тому, какъ при изданіи семинарскаго *Листка*, и теперь началъ онъ строить самыя широкіе планы. Онъ мечталъ, что всѣ воскресныя школы соединятся между собою, заведутъ отдѣльный листокъ, гдѣ будутъ печататься болѣе замѣчательныя факты, приемы преподаванія, статистическія и этнографическія свѣдѣнія; наконецъ будутъ издаваться отдѣльныя брошюры, разныя практическія компіляціи изъ болѣе полезныхъ и интересныхъ для народа книгъ, изъ которыхъ составитя потомъ народная бібліотека и проч.

Оригинальный методъ преподаванія Помяловскаго обратилъ на себя вниманіе Тимаева, наблюдавшаго за преподаваніемъ въ школѣ по порученію попечителя учебнаго округа. Тимаевъ познакомилъ его съ инспекторомъ Смольнаго института Ушинскимъ, и тотъ предложилъ ему уроки въ институтѣ. Назначена была пробная лекція. Помяловскій прочелъ ее удачно, причемъ требовалъ, чтобы воспитанницы не имѣли при себѣ экземпляровъ *Дѣтскаго Мира*, а разсказывали прочитанное изъ этой книги со словъ учителя. Но прийдя на слѣдующій урокъ, онъ увидѣлъ, что книги розданы воспитанницамъ на руки, и они вызубрили урокъ слово въ слово. Помяловскій повторилъ свое распоряженіе; на третьей лекціи — опять то-же самое. Говорилъ онъ объ этомъ Ушинскому, — не помогло, и Помяловскій больше на лекцію не пошелъ, несмотря на то, что плата за урокъ ему обѣцана была хорошая, а онъ нуждался въ то время до того, что приходилось зарабатывать деньги перепискою.

Это бѣдственное матеріальное положеніе прекратилось лишь съ появленіемъ въ февральской книжкѣ *Современника* 1861 года *Мѣщанскаго счастья*. Произведеніе это, обративъ на себя вниманіе публики и критики въ лицѣ Д. И. Писарева, посвятившаго ему одну изъ самыхъ блестящихъ своихъ статей *Романъ кисейной барышни*, сразу выдвинуло Помяловскаго въ рядъ лучшихъ беллетристовъ своего времени. Онъ познакомился съ Чернышевскимъ и прочими членами редакціи, приобрѣлъ много и другихъ постороннихъ литературныхъ знакомствъ, его хвалили, льстили ему въ глаза. Къ сожалѣнію, получивши за повѣсть такія деньги, какихъ у него до того времени никогда не было въ рукахъ, Помяловскій съ толпою пріятелей съ радости закутилъ до бѣлой скабичевскій.

горячки и долженъ былъ поступить въ Обуховскую больницу, гдѣ, пролежавъ около мѣсяца, началъ писать повѣсть *Молотовъ*, которая была напечатана въ октябрьской книжкѣ *Современника* за 1861 годъ. Повѣсть эта довершила извѣстность и репутацію автора. Онъ завелъ обширный кругъ знакомства; всѣ редакціи наперерывъ приглашали его къ себѣ; ему пришлось даже побывать въ нѣкоторыхъ великосвѣтскихъ гостинныхъ, отъ которыхъ впрочемъ онъ скоро отшатнулся по своей слишкомъ несвѣтской и мрачной бурсацкой натурѣ.

Матеріальное положеніе его въ свою очередь значительно улучшилось. Онъ сталъ получать опредѣленное денежное обезпеченіе отъ редакціи *Современника*; впрочемъ это не избавило его отъ нужды: онъ мало дорожилъ деньгами и не зналъ имъ цѣны. Получивъ гонораръ, онъ торопился скорѣе истратить его; давалъ нищимъ по пяти рублей, извозчикамъ по три; подвернется пріятель, — хоть все бери, а потомъ самъ идетъ доставать рублишко въ долгъ. Сойдясъ болѣе или менѣе близко съ массою пишущей братіи, онъ и здѣсь не замедлилъ проявить свою организаторскую жилку, неоднократно сказывавшуюся въ немъ въ созиданіи широкихъ замысловъ. Такъ онъ проповѣдывалъ идею общиннаго литературнаго труда, мечталъ организовать общество писателей для изслѣдованія разныхъ сторонъ общественнаго быта. „Я, говорилъ онъ, напримѣръ возьму на свою долю всѣхъ петербургскихъ нищихъ, буду изучать ихъ бытъ, привычки, языкъ, побужденія къ ремеслу и все это описывать въ точныхъ картинахъ; другой возьметъ мелочныя лавочки для такихъ-же изученій, третій — пожарную команду и т. д. Всѣ добытыя свѣдѣнія будемъ помѣщать въ особомъ, реальномъ журналѣ, устроенномъ на общихъ началахъ, и изъ этихъ свѣдѣній, взятыхъ цѣликомъ изъ жизни, впоследствии явится довольно полная картина нашего петербургскаго быта“. Сочувствіе къ этому проекту Помяловскій встрѣтилъ во многихъ, но далѣе этого сочувствія дѣло не пошло.

Вообще въ послѣдніе два года своей жизни, какъ-бы предчувствуя свою близкую смерть, онъ обнаруживалъ необычайную энергію въ самой разнородной дѣятельности: онъ брался за все, посѣщалъ публичныя лекціи, участвовалъ въ литературныхъ чтеніяхъ, ѣздилъ по прежнему въ воскресную школу, гдѣ одно время былъ даже распорядителемъ по педагогической части, спорилъ въ комитетѣ воскресныхъ школъ, принималъ участіе въ составленіи букваря для этихъ школъ и пр. Онъ даже пробовалъ быть критикомъ, и по смерти Добролюбова принялся было по предложенію редакціи *Современника* за разборъ романа Ахшарумова *Чужое имя*, но не кончилъ этого разбора.

Въ то-же время не съ меньшей энергіею занимался онъ своими беллетристическими работами, обезсмертившими его имя. Такъ втеченіе тѣхъ-же двухъ лѣтъ онъ написалъ всѣ свои знаменитыя *Очерки бурсы*, *Портчана*, обдумывалъ и набросалъ нѣсколько сценъ большого романа *Братъ и Сестра*. Пережитый имъ въ жизни романъ натолкнулъ его на планъ новаго романа *Каникулы* или *Гражданскій бракъ*, въ которомъ онъ намѣревался изобразить невинную, нѣсколько экзальтированную дѣвушку, попавшую въ общество людей вродѣ Ситниковыхъ и Кукшинныхъ. Эти люди отуманили ее напыщенными фразами, не давъ никакого положительнаго понятія о жизни и соблазнили ее вступить въ такъ называемый гражданскій бракъ. Помяловскій былъ намѣренъ

показать тотъ грязный цинизмъ, какой прикрывали эти мнимые прогрессисты своими громкими фразами.

— „На насъ клеветуютъ, говорилъ онъ, и наша честь требуетъ, чтобы съ молодого могольбнн сняли то пятно, которое кладутъ на него эти лица. Всякая сила вызываетъ непремѣнно множество бездарныхъ подражателей, однако по этимъ бездарностямъ общество судить объ оригиналахъ и приобретаетъ недовѣрчивость къ нимъ. Надо доказать имъ, что они не—наши, что наши стремленія—не тѣ. Трудна эта задача, но я возьмусь за нее, потому что она—дѣло чести нашей“.

Но и этимъ всемъ не ограничивались литературные замыслы Помяловскаго. Такъ по дѣльнымъ недѣлямъ пропадалъ онъ отъ родныхъ и знакомыхъ, проживая гдѣ-то на Свнной, въ самомъ центрѣ петербургскихъ трущобъ, въ какихъ-то отвратительныхъ катакомбахъ, съ нищими, при одномъ рассказѣ о которыхъ ужасъ бралъ его пріятелей. Онъ знакомился и кутилъ съ этими лицами, изучалъ ихъ съ психологической точки зрѣнія, выпытывалъ ихъ прошлое, понадалъ вмѣстѣ съ пріятелями даже на стѣзжую.

— Зато, говорилъ онъ, такими пейзажиками я до того укрѣпилъ свои нервы, что могу спокойно смотрѣть на самый отвратительный цинизмъ и анализировать его. Это, братъ, очень поучительно. Вотъ уже я выставлю эти картинки на показъ нашему обществу, — пусть полюбуются.

И онъ задумывалъ написать романъ, въ которомъ предполагалъ изобразить свои наблюденія надъ подонками петербургскаго населенія.

Но дни его были сочтены. Удивительно, какъ онъ могъ обнаруживать такую энергическую дѣятельность среди почти безпробуднаго запоя. Надо замѣтить при этомъ, что пьянство его носило самый мрачный характеръ. Вино нисколько не веселило его и не разсѣвало той гнетущей тоски, которою былъ преисполненъ этотъ надломленный и ожесточенный человѣкъ. „Желчными, глубоко рвущими сердце страданіями, по словамъ біографа его Н. А. Благовѣщенскаго, выражалось его опьяненіе, такъ что, глядя на эти муки, и жалко, и страшно становилось за него. Бывало начнетъ онъ будто нарочно представлять передъ собою непріятныя для него личности и припоминаетъ все зло, какое нанесли они ему. Съ дьявольскимъ наслажденіемъ онъ разбиралъ эти призраки, призывалъ на нихъ всевозможныя проклятія, силился вѣрить, что они рано или поздно будутъ отомщены...“

— Проклятые! шепчетъ онъ бывало, задыхаясь отъ злости. Какъ я васъ ненавижу! о, какъ страшно я васъ ненавижу! Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшія мои надежды! — И не плачетъ онъ: выраженіе лица сдержанное, тяжело спокойное, а у самого слезы такъ и льются... Въ эти минуты съ трудомъ можно было удержать его отъ скандала; онъ готовъ былъ сейчасъ-же бѣжать и мстить... Тяжело было глядѣть на эти страданія, на эти холодныя, нелегко выдавливаемые слезы...“

При такой жизни, представлявшейся горящею въ двухъ концовъ свѣчкой, силы Помяловскаго были настолько надломлены, что достаточно было ничтожнаго повода для смертнаго исхода. Такъ въ сентябрѣ 1863 г. послѣ сильнаго припадка *delirium tremens*, продолжавшагося нѣсколько дней, у него открылась какая-то опухоль и

затѣмъ образовался нарывъ, по вскрытіи котораго въ клиникѣ медико-хирургической академіи, обнаружилась гангрена, и 5-го октября 1863 года его не стало.

III.

Преждевременная смерть Помяловскаго была по-истинѣ невознаградиomoю потерю въ русской литературѣ, такъ какъ, не боясь впасть въ преувеличеніе, мы можемъ смѣло сказать, что она измѣнила дальнѣйшее развитіе беллетристики изъ интеллигентнаго быта. Въ лицѣ Помяловскаго литература наша потеряла крупный талантъ, который не замедлилъ-бы наложить печать могучаго вліянія на эту отрасль беллетристики и дать ей направленіе болѣе правильное, чѣмъ то, какое она вскорѣ послѣ его смерти приняла.

Когда говорятъ о Помяловскомъ, то на первый планъ ставятъ его *Очерки бурсы*, и было время, когда его иначе и не называли, какъ авторомъ *Очерковъ бурсы*. Но считать эти очерки шедевромъ Помяловскаго и полагать въ нихъ главное его литературное достоинство неправильно. Это заблужденіе произошло отъ того, что очерки произвели на общество такое потрясающее впечатлѣніе крупнаго скандала, что отодвинули на второй планъ всѣ прочія произведенія Помяловскаго. И дѣйствительно, чтобы понять сенсацію ихъ, нужно только взять въ соображеніе, что они явились въ самый разгаръ общественнаго движенія, когда рядомъ со всѣми прочими вопросами на первый планъ былъ поставленъ вопросъ педагогическій, когда рушилась вся цѣлкомъ старая система воспитанія, основанная на отупляющей долбнѣ и деморализующихъ тѣлесныхъ истязаніяхъ, когда вмѣстѣ съ гимназіями преобразовывались и корпуса, и институты. И вдругъ молодой беллетристъ, самъ прошедшій всю каторгу семинарскаго курса, въ рядѣ картинъ, при всей сжатости исполненныхъ яркихъ, поразительныхъ красокъ и неотразимаго реализма, раскрылъ передъ обществомъ ту горькую истину, что сословіе, которое по самому своему призванію должно было подавать примѣръ христіанскаго смиренія, кротости и любви по отношенію къ малымъ, ихъ-же царствіе небесное, напротивъ того далеко превзошло въ безчеловѣчной жестокости и черствости всѣхъ гражданскихъ педагоговъ дореформенной эпохи. И къ тому-же дѣло шло здѣсь не о какой-нибудь провинціальной глуши, а объ учебныхъ заведеніяхъ, находящихся у всѣхъ на виду въ столицѣ. Понятно, что очерки произвели впечатлѣніе бомбы, внезапно упавшей среди смятенной толпы. Тѣмъ не менѣе главное литературное значеніе Помяловскаго заключается все-таки не въ нихъ, а въ прочихъ произведеніяхъ его.

Таковы повѣсти *Мѣщанское счастье* и *Молотовъ*. Въ этихъ повѣстяхъ впервые выступилъ передъ нами тотъ новый, только что народившійся герой времени, который явился на смѣну всѣмъ прежнимъ героямъ и отличался отъ нихъ тѣмъ, что въ то время, какъ прежніе—Онгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Вельтовъ и прочіе,—носили въ себѣ черты барскаго происхожденія, новый герой олицетворялъ въ себѣ ту мѣщанскую, разночинскую среду, изъ которой онъ вышелъ. Такимъ и является передъ нами *Молотовъ* въ обоихъ названныхъ романахъ. Но этого мало однако, что герой этотъ впервые появился въ повѣстяхъ Помяловскаго, за два года до Базарова и тиновъ

романа *Что дала*, но никогда потомъ не изображался онъ съ такимъ живымъ чутьемъ его сущности, съ такимъ глубокимъ пониманіемъ, съ такою трезвою и нелицеприятною правдою. Впослѣдствіи беллетристика наша раздвоилась въ пониманіи этого типа, и въ то время какъ писатели одного лагеря начали топтать его въ грязь, другіе напротивъ того идеализировали и расписывали самыми радужными красками. Даже Тургеневу своего Базарова удалось какъ-то сразу и возвысить, и унижить паче мѣры.

Молотовъ является единственнымъ воплѣ реальнымъ и ни въ какую сторону не утрированнымъ мыслящимъ пролетаріемъ-разночинцемъ шестидесятыхъ годовъ. Авторъ не скрылъ его истинныхъ достоинствъ въ видѣ выносливости въ борьбѣ съ нищетою и всякими невзгодами жизни и несокрушимой энергіи и стойкости въ стремленіи выбиться въ люди и завоевать хоть сколько-нибудь прочное и независимое положеніе. Но не скрылъ онъ и недостатковъ новаго героя, являющихся результатами вліянія среды и общественнаго положенія его, каковы — щепетильная плебейская гордость, обнаруживающаяся то въ видѣ застычивости, замкнутости и недовѣрія къ людямъ, то напускной развязности и чрезмѣрной грубости; преждевременная разсудочность, расколаживающая молодые горячіе порывы и придающая юношѣ видъ резонирующаго старца, что въ особенности обнаружилось въ Молотовѣ въ той черствости, съ какою онъ отнесся къ любви кисейной барышни; наконецъ, какъ результатъ усталости послѣ длиннаго ряда годовъ, исполненныхъ тяжелой борьбы, мы видимъ въ Молотовѣ стремленіе отдохнуть подъ мирнымъ кровомъ мѣщанскаго счастья, признавши въ себѣ единственное призваніе *честно наслаждаться жизнью*, — результатъ, заставившій Помяловскаго воскликнуть въ концѣ повѣсти: „Эхъ, господа, что-то скучно!...“

Рядомъ съ Молотовымъ парадируетъ Череванинъ, и въ этомъ типѣ авторъ вывелъ тотъ второй элементъ разночинства, который онъ носилъ въ себѣ рядомъ съ молотовскимъ. Писатели наши, выведившіе героевъ времени, обыкновенно какъ-бы раздваивались въ своихъ произведеніяхъ, олицетворяя свою среду и время въ двухъ противоположныхъ типахъ, элементы которыхъ лежали въ самой натурѣ творцовъ. Такъ Ленскій стоитъ рядомъ съ Онѣгинимъ, Круциферскій съ Бельтовымъ, Грушницкій съ Печоринимъ, Обломовъ съ Штольцемъ. Также относится и Череванинъ къ Молотову. Въ противоположность активной жизнерадостности послѣдняго Череванинъ съ его мрачнымъ кладбищенствомъ представляетъ олицетвореніемъ пассивнаго галлетизма. Это тотъ самый бѣсъ развѣдающаго анализа, который мѣшалъ Помяловскому отдаться подобно Молотову непосредственно влеченіямъ жизни и подтачивалъ его силы, заставляя въ винѣ топить мучительную тоску, навѣваемую его кладбищенскими внушеніями.

Если примемъ во вниманіе тѣ отрывки изъ задуманнаго романа *Братъ и сестра*, какіе дошли до насъ, исполненные такой-же трезвой правды и столь-же глубокаго анализа, то намъ станетъ совершенно понятенъ тотъ незамѣнимый пробѣлъ, какой образовался въ нашей литературѣ вслѣдствіе преждевременной смерти Помяловскаго. Это былъ единственный въ то время талантъ, который обладалъ всѣми свойствами для того, чтобы изобразить рядъ современныхъ новыхъ типовъ въ истинномъ ихъ свѣтѣ

и въ безпристрастной, трезвой правдѣ, и нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ увлекъ-бы за собою на этотъ путь всѣхъ молодыхъ беллетристовъ. Съ утратой этой силы беллетристика не была въ состояніи удержаться на этомъ пути, и какъ мы уже сказали, ударила съ одной стороны въ идеализацію, съ другой — въ каррикатурность, и за исключеніемъ одного только Рязанова въ *Трудномъ времени* А. Слѣпцова, люди шестидесятыхъ годовъ остались безъ такихъ современныхъ имъ портретовъ, которые были-бы вполне на нихъ похожи.

Многознаменателенъ въ этомъ отношеніи и тотъ планъ романа *Гражданскій бракъ*, который былъ созданъ Помяловскимъ передъ смертью. Мысль отдѣлить пшеницу отъ плевелъ и рядомъ съ истинными поборниками прогресса разоблачить пустозвонныхъ фразеровъ и растленныхъ баричей, прикрывавшихъ глубокую деморализацію подъ блестящею виѣшностью передовыхъ идей, — была бесспорно блестящая мысль, исполненіе которой представляло насущную потребность того момента, и конечно не въ примѣръ было-бы плодотворитѣ, если-бы за олицетвореніе этой мысли принялся писатель прогрессивнаго лагеря и къ тому-же обладавшій талантомъ, преисполненнымъ такого трезваго реализма, какъ Помяловскій. Но смерть помѣшала ему исполнить это важное дѣло, и за него принялись писатели враждебныхъ лагерей, смѣшавшихъ пшеницу съ пшеницею безразлично въ одну кашу и начавшихъ забрасывать грязью всѣхъ передовыхъ людей безразлично.

Въ заключеніе слѣдуетъ обратить вниманіе еще на одинъ рассказъ, правда, не-конченный, но въ свою очередь свидѣтельствующій о весьма крупномъ талантѣ Помяловскаго — именно *Портчане*, изображающій бытъ и нравы охтянъ. Помяловскій, какъ мы видѣли изъ его біографіи, никогда не былъ въ деревнѣ и народа не изучалъ; тѣмъ не менѣе такой это былъ могучій талантъ, что и въ пригородныхъ охтянахъ онъ съумѣлъ прозрѣть тѣ чисто народныя черты и тотъ духъ, какой присущъ всѣмъ русскимъ людямъ безъ исключенія, и рассказъ Помяловскаго производитъ на васъ такое впечатлѣніе, какъ будто вы читаете какую-то былинку. Такимъ образомъ, нѣтъ сомнѣнія, что и беллетристика народнаго быта утратила въ лицѣ Помяловскаго одного изъ своихъ крупнѣйшихъ представителей.

IV.

Главная причина того, что публицистическая беллетристика демократическаго лагеря въ началѣ шестидесятыхъ годовъ сошла съ реальнаго пути и ударила въ идеализацію, заключалась въ томъ индивидуальномъ-правственномъ характерѣ, который какъ мы уже неоднократно говорили, приняло общественное движеніе тотчасъ же по совершеніи главныхъ реформъ, когда вниманіе общества перестало исключительно поглощаться политическими и реформаціонными вопросами.

Вмѣсто того, чтобы заниматься главнымъ образомъ изслѣдованіемъ существовавшихъ общихъ условий и порядковъ жизни, на первый планъ начали ставить личное поведеніе отдѣльнаго индивидуума, умственное и нравственное содержаніе его, сообразно которому интеллигентные люди раздѣлились на два чисто философо-моральные лагеря, — стараго и молодого поколѣнія. Подъ новыми людьми начали подразумѣвать

не просто только приверженцевъ новыхъ идей, а осуществителей въ личной жизни новыхъ нравственныхъ идеаловъ, и въ то время Чернышевскій представилъ образцы этихъ новыхъ идеаловъ въ герояхъ своего романа *Что дѣлать*, Писаревъ же въ свою очередь началъ пропагандировать своихъ трезвыхъ реалистовъ въ образѣ Базарова.

Вотъ подъ влияніемъ этого индивидуально-нравственнаго броженія, и преимущественно статей Писарева, и образовалась группа молодыхъ беллетристовъ - идеалистовъ, подвизавшаяся преимущественно на страницахъ сначала *Русскаго Слова*, потомъ *Дѣла*. Во всѣхъ ихъ произведеніяхъ, романахъ, повѣстяхъ, этюдахъ и очеркахъ вы найдете одно и то-же мировоззрѣніе: населеніе всего земного шара раздѣляется у нихъ рѣзкою демаркаціонною линіею на двѣ половины: съ одной стороны рисуется передъ вами тонущій въ глубокомъ и грубомъ невѣжествѣ задавленный и ограбленный народъ, съ другой — парадируетъ эксплуатирующее народъ всякаго рода филистерство, начиная съ рабленнаго барства и кончая буржуазіею и кулачествомъ. Въ сторонѣ отъ этихъ двухъ враждебныхъ элементовъ стоятъ доблестные носители новыхъ идей, воплощенные идеалы, призванные или спасти народъ изъ когтей филистеровъ, или погибнуть. При этомъ одни изъ беллетристовъ, согласно съ Писаревымъ, полагали, что воплощенные идеалы образуются исключительно путемъ умственнаго развитія и изученія естественныхъ наукъ; другіе-же считали ихъ избранными натурами, отъ самаго рожденія какъ-бы предопредѣленными быть носителями новыхъ идей, а потому съ самыхъ первыхъ шаговъ рѣзко выдѣлявшимися отъ всѣхъ окружавшихъ ихъ обыкновенныхъ смертныхъ. Одни, вполне вѣрные романтическимъ традиціямъ, думали, что пользоваться благосостояніемъ и наслаждаться счастіемъ могутъ одни филистеры, избранныя-же натуры и носители идеаловъ непремѣнно должны терпѣть, страдать и гибнуть въ неравной борьбѣ, и это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока просвѣщеніе не разольется въ массахъ и избранныя натуры не будутъ такимъ рѣдкимъ изолированнымъ явленіемъ, какъ нынѣ, а сдѣлаются сплоченною силою. Другіе-же, опять-таки согласно отчасти съ Писаревымъ, отчасти съ Чернышевскимъ, думали напротивъ того, что и избранные люди имѣютъ право наслаждаться жизнью; они только должны смѣло прервать со всѣми предразсудками, сплотиться въ дружный союзъ, изолироваться отъ непросвѣщенныхъ филистеровъ и преподать пошлой толпѣ внушительные пригѣры истиннаго и разумнаго счастья.

Наиболѣе и выдающимся по своему таланту, и плодовитымъ представителемъ этой беллетристической школы является Александръ Константиновичъ Шеллеръ, болѣе извѣстный публикѣ подъ псевдонимомъ А. Михайлова.

А. К. Шеллеръ родился 30-го іюня 1838 года въ С.-Петербургѣ. Отецъ его былъ эстонецъ изъ Аренсбурга; съ дѣтства попавшій въ столицу, онъ воспитывался въ театральномъ училищѣ и былъ камеръ-музыкантомъ при Императорскихъ театрахъ. Самъ будучи человѣкомъ образованнымъ, онъ позаботился и сыну дать основательное образованіе. А. К. Шеллеръ воспитывался сначала дома, подъ надзоромъ нѣжно-любимой матери, потомъ кончилъ курсъ въ Анненской школѣ, и въ 1857 году поступилъ вольнослушателемъ въ с.-петербургскій университетъ, гдѣ и оставался до осени 1861 года, т. е. до закрытія университета. Во время университетскаго курса Шел-

дерь около года провель заграницею въ качествѣ домашняго секретаря графа Ө. М. Апраксина, и этимъ временемъ онъ воспользовался для пополненія и усовершенствованія своего образованія.

По выходѣ изъ университета Шеллеръ заплатилъ дань всеобщему увлеченію того времени педагогіей и основалъ замѣчательную по своему устройству школу для бѣдныхъ дѣтей, въ которой дѣти учились за ничтожную плату,—90 копѣекъ въ мѣсяць. Учениковъ набралось до сотни, и школа успѣшно существовала до конца 1863 года, когда вмѣстѣ съ наступившимъ поворотомъ въ правительственныхъ сферахъ, ознаменовавшимся прежде всего закрытіемъ воскресныхъ школъ, учебное начальство отнеслось недобѣрчиво и къ школѣ Шеллера,—она должна была видоизмѣниться и утратила свой первоначальный строй.

1863—64 гг. Шеллеръ провель за-границей, тщательно заботясь о пополненіи своего образованія и занимаясь изученіемъ тѣхъ сціальныхъ вопросовъ, которые въ то время занимали всѣ передовые умы. Писать онъ началъ очень рано. Первые стихи были имъ написаны еще отрокомъ. Въ печати-же появился онъ впервые въ 1863 году, когда въ октябрьской книжкѣ *Современника* были напечатаны четыре его стихотворенія. Затѣмъ въ *Современникѣ-же* въ 1864 г. былъ напечатанъ первый романъ его *Гниль болота*, обратившій на себя общее вниманіе и доставившій ему извѣстность. Въ 1865 году появился въ *Современникѣ* второй романъ *Жизнь Шупова*, и хотя романъ этотъ менѣе понравился публикѣ и обнаружилъ вполнѣ тѣ недостатки, какіе свойственны всѣмъ произведеніямъ Шеллера, тѣмъ не менѣе извѣстность его была окончательно упрочена. Онъ былъ приглашенъ къ участию въ *Русскомъ Словѣ* въ качествѣ редактора по иностранному отдѣлу; а послѣ закрытія *Русскаго Слова* принялъ на себя общую редакцію *Дня* и посвятилъ этому журналу лучшіе годы своей жизни до октября 1877 года. Въ этотъ-же самый періодъ Шеллеръ временно принималъ участіе въ редактированіи *Недѣли*, послѣ того какъ этотъ журналъ перешелъ отъ кружка *Отечественныхъ Записокъ* въ руки г-жи Конрадъ. Здѣсь между прочимъ были помѣщены его очерки подъ общимъ названіемъ: *Пролетаріатъ во Франціи*, изданные вполѣдствіи отдѣльной книгой. Съ 1877 года Шеллеръ принялъ на себя редактированіе *Живописнаго Обзорнія*, чѣмъ онъ занимается и понынѣ.

Эти редакторскія работы не мѣшали ему выпускать одинъ романъ за другимъ. Таковы были: *Въ разбродѣ*, *Господа Обносковы*, *Старья иньзда*, *Хлѣба и зрѣлища*, *Безпечальное житіе*, *Льсы рубятъ—щепки летятъ*, *Чужіе црѣси*, *Надъ обрывомъ*, *И молотомъ, и золотомъ*, *Пророкъ*, *На разныхъ берегахъ*, *Мужъ и жена*, *Первая любовь*, *Голь*, *Лычкины* и т. д.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Шеллеръ не переставалъ заниматься вопросами социальными и педагогическими, и результатами этихъ занятій былъ цѣлый рядъ публицистическихъ и историческихъ статей, каковы: *Ассоціаціи во Франціи, Германіи и Англии*, *Образованіе въ Европѣ и Америкѣ*, *Наши дѣти*, (всѣ эти статьи помѣщены были въ *Днѣ*), *Смутное время анабаптизма (Русская Мысль 1886)* и *Секты въ Америкѣ (Живописное Обзорніе 1885 г.)*. Неоконченнымъ по независимымъ отъ автора причинамъ остался трудъ его *Народное образованіе въ Россіи*, дове-

денный до 1812 года. Но главнымъ трудомъ, которому Шеллеръ и теперь еще постоянно посвящаетъ всѣ свои досуги, слѣдуетъ считать *Исторію коммунизма*, надъ которою онъ работаетъ уже много лѣтъ сряду, предполагая издать его въ трехъ объемахъ въ трехъ томахъ.

Наконецъ никогда не оставлялъ онъ и стихотворныхъ работъ, причеъ хотя онъ и не обнаружилъ особенно сильнаго и оригинальнаго таланта, во всякомъ случаѣ многія изъ его произведеній не лишены поэтичности и общественнаго смысла. Особенно полезенъ онъ, какъ хорошій переводчикъ западныхъ поэтовъ, причеъ любимѣйшимъ поэтомъ его, изъ котораго онъ болѣе всего переводилъ, былъ венгерскій поэтъ Петефи.

У.

Романы Шеллера, при всемъ честномъ и безкорыстномъ увлеченіи автора передовыми идеями своего вѣка и безукоризненно прогрессивномъ содержаніи, носятъ одинъ существенный недостатокъ, свойственный всей школѣ беллетристовъ-публицистовъ, воспитанныхъ критикою Писарева и развившихъ свои таланты на страницахъ *Русскаго Слова* и *Дрѣла*:—они страдаютъ крайнею книжностью. Въ нихъ не замѣтно ни тяжкихъ опытовъ, выносимыхъ писателями лично изъ жизни, ни непосредственныхъ наблюденій надъ живою дѣйствительностью. Все это труды кабинетныя, искусственно надуманныя, сочиненныя болѣе или менѣе мастерски по готовымъ шаблонамъ, созданнымъ западною и русскою беллетристикою. Такъ напримѣръ, въ Шеллерѣ замѣтно увлеченіе англійскими романистами, особенно Диккенсомъ, и вы найдете въ его романахъ какъ дѣйствующія лица, скомпонованныя по образцу персонажей романовъ Диккенса, такъ и цѣлыя сцены и драматическія положенія. Вообще же въ большинствѣ его романовъ вы встрѣтите неизмѣнно однѣ и тѣ-же стереотипныя личности, до послѣдней степени истрепанныя беллетристикою. Таковы напримѣръ—злой романъ высокій, смуглый, съ оловянными, ледяными глазами, помѣщикъ-крѣпостникъ и деспотъ, отъ котораго въ ужасѣ разбѣгаются всѣ домашніе, какъ только онъ входитъ въ комнату; онъ разлучаетъ влюбленныхъ другъ въ друга дворовыхъ, вгоняетъ въ гробъ жену и чуть не засѣкаетъ розгами идеальнаго героя романа. Злой романъ является въ видѣ бабушки или тетушки, съ княжескимъ гербомъ на каретѣ, занятая вѣчно своей родословной, бредящая свѣтскими приличіями и презирающая чернь. Она своимъ тлетворнымъ влияніемъ готова погубить героя, сдѣлать изъ него свѣтскаго шалопая, но когда герой вопреки всѣмъ этимъ усліямъ озаряется свѣтомъ прогресса, бабушка, разорившаяся и всѣми забытая, умираетъ на рукахъ тѣхъ, которыхъ она прежде презирала. Далѣе слѣдуютъ комиссаріатскій чиновникъ—взятчикъ и низкопоклонникъ, пресмыкающійся передъ высшими, надменный съ низшими, помышляющій лишь о чинахъ, наградахъ и взяткахъ, и кончающій обыкновенно тѣмъ, что попадаетъ подъ судъ послѣ крымской кампаніи, лишается всего благосостоянія и начинаетъ злобно шипѣть противъ молодого поколѣнія и всѣхъ новыхъ порядковъ; петербургская кумушка—мѣщанка или чиновница низшаго сорта, подобострастная ко всему имѣющему вѣсь и деньги, жадная ко всякаго рода подар-

кавъ, готовая ограбить наследниковъ умершаго богатаго родственника, безчеловѣчная къ дочери или невѣсткѣ и склонная въ каждомъ движеніи и шагѣ молодого челоука или дѣвушки подозрѣвать какія-нибудь грязныя побужденія; свѣтскій шалопай, паркетный шаркунъ, любитель пикниковъ и рысаковъ, кончающій разореніемъ отца, воровствомъ, тюрьмою или самоубійствомъ. Къ этимъ главнымъ слѣдуетъ присоединить нѣсколько второстепенныхъ типовъ, столь-же однообразныхъ и стереотипныхъ; таковы напримѣръ пошлые учителя стараго времени, неизмѣнно въ каждомъ романѣ таскающіе за волосы учениковъ, изрыгающіе ругательства въ родѣ „ослы“, „сволочь“, и пьющіе горькую; учителя новаго пошиба, исполненные либеральнаго духа и устремляющіе героевъ на путь прогресса; нѣмцы, являющіеся постоянно сухими, бездушными формалистами и проч., и проч. Таковы отрицательные типы романовъ Шеллера. Что-же касается положительныхъ типовъ, то они являются въ романахъ Шеллера конечно уже безусловно идеальными людьми, подающими челоучеству образцы вполне рациональной жизни; причеиъ Шеллеръ ухитрился изображать ихъ въ одно и тоже время и какъ-бы отъ самаго рожденія предопредѣленными быть выразителями идеаловъ и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-бы дѣлающимися идеальными людьми лишь впоследствии путемъ развитія. Такъ напримѣръ Шуповъ на *десятомъ году* поднялъ цѣлую бурю противъ родителей по поводу собиранія ими съ крестьянъ оброка, сопоставивъ мягкое обращеніе умершей матери съ слугами и подаваніе ею милостыни нищимъ съ фактомъ собиранія оброка, и до такой степени разошелся мальчикъ: — „не хочу брать оброка, мамаша сама давала нищимъ, я — наследникъ!“ что былъ высѣченъ отцомъ до полусмерти. Послѣ порки *десятилтній мальчикъ* былъ согласенъ на другую такую-же порку, лишь-бы не принуждали его просить прощенія у дяди, котораго онъ возненавидѣлъ и оскорбилъ за то, что тотъ не заступился за крестьянъ, и кончилась эта исторія тѣмъ, что тотъ-же *десятилтній мальчикъ* послѣ всего этого погрома воспылалъ страстью — учиться, развиваться.

Такъ-же точно былъ выпоротъ своимъ отчимомъ Вубновымъ герой романа *Въ разбродѣ*, Теплицинъ, и въ свою очередь послѣ порки на *десятомъ году* загорѣлся страстью учиться, развиваться. У него былъ дядя, капитанъ Хлопко, морякъ, передѣланный съ англійскихъ нравовъ на русскіе; онъ рассказывалъ мальчику эпизоды изъ исторіи и изъ своихъ кругосвѣтныхъ путешествій, и хотя безспорно подобныя рассказы имѣли свое развивательное вліяніе, но во всякомъ случаѣ трудно себѣ представить, чтобы у десятилтняго мальчика могло быть психическое настроеніе, которое у обыкновенныхъ смертныхъ является не ранѣе восемнадцатилѣтняго возраста:

«Невеселая наша жизнь: притѣсненія, постоянное одиночество или бесѣды съ такимъ идеалистомъ, какъ дядя, навели меня на мысль, что и меня ждутъ впереди страданія, что я долженъ приготовиться къ нимъ, и я, экзальтированный до крайности, сталъ развивать въ себѣ физическія силы и пробовать свою выносливость. Меня радовало, если мнѣ удавалось поднять что-нибудь тяжелое или справиться въ борьбѣ съ Гаврюшкой. Помню, что я однажды въ эту зиму взялъ горячій уголь въ руки и держалъ его до тѣхъ поръ, пока онъ остылъ. Изъ моихъ глазъ градомъ катились слезы, моя ладонь болѣла очень долго, но я былъ радъ и торжествовалъ въ душѣ, вспоминая о Іоаннѣ Гусѣ. Меня стали особенно привлекать такіа зрѣлища, какъ рваніе куръ, и хотя мнѣ было очень жалко бѣдныхъ хохлашекъ, но я не убѣгалъ и

смотрѣлъ до конца на ихъ казнь, помня, что дядя рассказывалъ о многихъ людяхъ, падающихъ въ обморокъ при видѣ крови».

Въ романѣ *Жизнь Шупова* есть герой плебейскаго происхожденія, Колька, который, въ свою очередь, поражаетъ васъ въ десятилѣтнемъ возрастѣ глубокомыслиемъ социальныхъ взглядовъ. Такъ, онъ создаетъ цѣлую теорію о томъ, какъ жить безъ воровства: „по его соображеніямъ слѣдовало работать, цѣлый день работать, бумаги писать въ должности, сапоги или платье шить дома,—все работать и на заработанные деньги нанимать маленькую, самую маленькую комнатку и жить одному, не имѣя дѣтей, одѣваться просто, ну, совсѣмъ просто, вотъ какъ мужики одѣваются“...

Такииъ образомъ, вотъ уже въ какомъ возрастѣ являются въ современныхъ намъ трезвыхъ реалистахъ ихъ идеалы честнаго труженничества и чуждой малѣйшей роскоши, спартацкой жизни! Въ томъ-же самомъ возрастѣ они начинаютъ уже и протестовать противъ истязаній не только людей, но и животныхъ:

— Одного я не понимаю, серьезно и задумчиво говорилъ онъ мнѣ однажды: — за что это собакъ и лошадей мучаютъ?

— Да вѣдь и людей мучаютъ, Колька, отвѣчалъ я.—Ты самъ-же мнѣ говорилъ...

— Людей! Такъ люди души свои за это за самое спасутъ. Вотъ и я теперь, если-бы умеръ, такъ святымъ-бы сталъ, съ нѣжной улыбкой промолвилъ онъ полусути. — А у собакъ и лошадей души нѣтъ».

Въ силу всего этого, читая романъ Шеллера, вы невольно заинтересовываетесь судьбою героя, соображая, что если герой съ такихъ малыхъ лѣтъ проявляетъ уже столь необыкновенные задатки и такъ неудержимо стремится на путь прогресса, то что-же съ нимъ будетъ потомъ?

Но читаете вы дальше и съ каждой страницей убѣждаетесь, что гора рождаетъ мышь. Въ половинѣ романа уже Шеллеръ, какъ-бы совсѣмъ забывая, какихъ онъ намѣревался представить намъ великановъ, начинаетъ насъ убѣждать, что герои его—обыкновеннѣйшіе смертные, какъ мы съ вами; что они вовсе и не думали питать въ себѣ идеалы съ самаго рожденія, а должны до нихъ достигнуть путемъ долгаго искуса, соединеннаго съ цѣлымъ рядомъ испытаній и страданій, опасностей сбиться съ прямого пути и дѣйствительныхъ заблужденій. И въ этихъ заблужденіяхъ герои наши оказываются такими иногда тряпичными, что какая-нибудь полоумная тетушка способна бываетъ направить ихъ на дорогу шалопаинства, и если они не свертываютъ окончательно на эту дорогу, то благодаря вовсе не ихъ стойкому нравственному сопротивленію, а чисто внѣшнимъ случайнымъ обстоятельствамъ вродѣ того, что тетушка разоряется, уѣзжаетъ или умираетъ. Но какъ-бы то ни было, въ концѣ романа герои наконецъ просвѣтляются-таки новыми идеалами въ духѣ честнаго труженничества и трезваго реализма, въ осуществленіи этихъ идеаловъ находятъ мирную пристань отъ всѣхъ жизненныхъ бурь и невзгодъ и начинаютъ блаженствовать во вседовольствѣ и совершенствѣ.

Но начинаете вы всматриваться въ этихъ вседовольныхъ и всесовершенныхъ героевъ, и съ удивленіемъ видите, что и Прохоровы, и Теплицины, и Шуповы и пр. являются фотографическими снимками съ Мологова Помяловскаго, съ тою только раз-

ницею, что Помяловскій нисколько не скрываетъ рядо́мъ съ достоинствами недостатковъ своего героя; Шеллеръ-же самые эти недостатки идеализируетъ, смотря какъ на нѣчто весьма похвальное, какъ на своего рода змѣнную мудрость на то обстоятельство, что герои его не лѣзутъ въ настоящіе герои, а вкраткѣ сходятъ со сцены для того, чтобы „начать мирную, быть можетъ, буржуазную жизнь съ трудомъ изъ-за куска хлѣба“.

VI.

На одномъ ряду съ Шеллеромъ стоятъ три писателя одной съ нимъ школы, хотя въ меньшей степени талантливые и не столь плодотворные, но въ то-же время чуждые той буржуазности и мѣщанства, какія обнаруживаетъ Шеллеръ въ своихъ произведеніяхъ. Это — чистокровные идеалисты до мозга костей; неподкупно-честныя, чистыя, прозрачно-искреннія цѣльныя натуры, вполне сливающіяся съ своими произведеніями и въ нѣкоторой степени оправдывающія свою идеализацію безукоризненною вѣрностью принципамъ продолженіе всей жизни, исполненной тяжкаго труда и безысходной борьбы съ нищетою. Таковы: Павелъ Владиміровичъ Засодимскій, Николай Федотовичъ Бажинъ и Инокентій Васильевичъ Федоровъ (Омулевскій).

Павелъ Владиміровичъ Засодимскій родился въ 1843 году 1-го ноября въ Великомъ Устюгѣ вологодской губерніи въ небогатой дворянской семьѣ. Дѣтство онъ провелъ въ деревнѣ и въ уѣздномъ городѣ Никольскѣ, похожемъ на деревню. У его отца была большая библіотека, и не помня себя неграмотнымъ, Засодимскій съ шести лѣтъ читалъ все, что попадалось въ руки: Пушкина, Державина, Жуковского, Де-Фое, Плутарха, переводные романы съ разныхъ языковъ. Десяти лѣтъ онъ владѣлъ языками французскимъ, нѣмецкимъ и польскимъ. Въ 1856 г. поступилъ въ вологодскую гимназію своекоштнымъ пансіонеромъ. По окончаніи курса въ ней въ 1863 году, онъ поступилъ вольнослушателемъ на юридическій факультетъ с.-петербургскаго университета. Но за неимѣніемъ средствъ былъ принужденъ въ 1865 году оставить университетъ, и съ тѣхъ поръ и до настоящаго дня онъ ведетъ полную труда и тяжелыхъ лишений жизнь интеллигентнаго пролетарія. Сначала онъ пробавлялся уроками: такъ въ 1865 г. ѣздилъ на кондичіи въ пензенскую губернію, а въ 1872 году ему было поручено устроить и вести сельскую школу въ новгородской губерніи, боровичскаго уѣзда. Онъ устроилъ и велъ школу втеченіе трехъ мѣсяцевъ, но вынужденъ былъ оставить дѣло по независящимъ отъ него обстоятельствамъ, и съ тѣхъ поръ ничѣмъ болѣе, кромя литературныхъ трудовъ, не занимался.

Печататься Засодимскій началъ въ 1867 году, пославши въ редакцію *Голоса* воззваніе къ русскому обществу въ защиту болгаръ, написанное подъ впечатлѣніемъ корреспонденцій о турецкихъ звѣрствахъ при подавленіи возстанія. Въ этомъ-же году было напечатано въ *Иллюстрированной газетѣ* нѣсколько его стихотвореній. Затѣмъ въ 1868 году были напечатаны въ *Дрѣль* повѣсти его *Грѣшница*, *Волчица*, въ 1870 году *А ей весело—она смѣется*, *Темныя силы* и пр. Наибольшее вниманіе со стороны публики и критики заслужилъ большой романъ его изъ народной жизни *Хроника села Смурина*, напечатанный въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1874 г.

подъ псевдонимомъ Вологодина. Затѣмъ изъ наиболѣе крупныхъ его произведеній замѣчательны романъ *Степная тайна*, печатавшійся въ *Русскомъ Богатствѣ* 1880 года и *По градамъ и весямъ*, появившійся въ *Наблюдателѣ* за 1885 г.

Несмотря на то, что и у Засодимскаго главные герои его произведеній нѣсколько идеализированы и шаблонны, въ романахъ и повѣстяхъ во всякомъ случаѣ замѣчается болѣе жизни и наблюдательности, чѣмъ у Шеллера; даже и *Хроникъ села Смурина* нельзя отказать въ нѣкоторомъ знаніи народной жизни, хотя и здѣсь главный герой, кузнецъ Кражевъ, основатель производительной артели въ родной деревнѣ, нѣсколько смахивая на Пьера Гюгенена Жоржъ-Занда, является проблематичнымъ: мы можемъ только сказать, что подобныя крестьяне въ русской деревнѣ возможны; въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ они можетъ быть и часто будутъ встрѣчаться, нынѣ-же они крайне сомнительны.

Наибольшаго-же уваженія П. Вл. Засодимскій заслуживаетъ въ качествѣ усерднаго сотрудника дѣтскихъ журналовъ, каковы *Дѣтское чтеніе*, *Игрушечка*, *Родникъ*. Здѣсь идеализація, соединяясь съ врожденной ему задушевностью, какъ нельзя болѣе умѣстна, и его дѣтскіе рассказы, собранные впоследствии въ два отдѣльных изданія: *Задумешные рассказы*, 2 тома, изданіе Павленкова, и *Бывальщина и сказки*, изданія Девриена, представляютъ собою лучшее, что только существуетъ въ нашей дѣтской литературѣ по беллетристикѣ.

Николай Федотовичъ Важинъ родился въ Вяткѣ 23-го іюня 1843 г. Отецъ его былъ военный, вслѣдствіе чего и сынъ учился въ воронежскомъ кадетскомъ корпусѣ, изъ котораго вышелъ въ 1862 г. Писать началъ девяти лѣтъ и во время крымской войны, будучи въ младшемъ классѣ корпуса, сочинялъ патриотическіе стихи. Печататься началъ въ 1864 г., когда въ *Русскомъ Словѣ* была помѣщена повѣсть его *Степанъ Рулевъ*, за подписью Холодовъ. Затѣмъ послѣдовали *Чужіе между своими*, *Житейская школа*, *Скорбная элмейя* и *Три семьи*—все эти повѣсти были напечатаны въ *Русскомъ Словѣ* за 1865 г., занявши 8 книжекъ журнала.—Затѣмъ Важинъ перешелъ въ *Дѣло*, гдѣ продолжалъ печатать романы и повѣсти (*Изъ оня да въ поляма* 1867 г., *Исторія одного товарищества* 1869 г. и пр.). Кромѣ того въ 1879 году онъ велъ въ *Дѣлѣ* библиографическій отдѣлъ и писалъ *Очерки современной журналистики* за подписью—инъ, а съ 1880 г. по 1887 г. былъ редакторомъ беллетристическаго отдѣла въ этомъ журналѣ.

Кромѣ своихъ героевъ по образцу писаревского Базарова, идеализируя ихъ и восторгаясь ими не менѣе всѣхъ прочихъ беллетристовъ этой школы, Важинъ внесъ въ свои произведенія еще одинъ элементъ, чуждый его товарищамъ, именно—плаксивую, чисто карамзинскую сентиментальность, чѣмъ въ особенности отличаются позднѣйшія его повѣсти, помѣщенные въ *Дѣло*. Въ этихъ своихъ рассказахъ, описывая различныя злосчастія своихъ скорбныхъ героевъ, которые не могутъ шага сдѣлать въ жизни безъ того, чтобы съ ними не приключилось какихъ-нибудь самыхъ ужасныхъ неприятностей, авторъ такъ и заливадается слезами отъ первой страницы до послѣдней.

Инокентій Васильевичъ Федоровъ, болѣе извѣстный въ литературѣ подѣ псевдо-

нимомъ Омудевскій, какъ мы и будемъ его называть, прежде всего замѣчательнѣе тѣмъ, что это былъ единственный писатель въ Россіи, родившійся въ Камчаткѣ, въ Петровскомъ портѣ. Отецъ его служилъ исправникомъ. Родился онъ въ 1836 г. Мальчику было семь лѣтъ, когда отецъ въ 1842 г. переѣхалъ съ семействомъ въ Иркутскъ. Онъ былъ человѣкъ зажиточный, купилъ въ Иркутскѣ доходный домъ на Большой улицѣ и сверхъ того получалъ порядочную пенсію отъ своей камчатской службы. Въ свое время мальчикъ былъ отданъ въ иркутскую гимназію, но курса не кончилъ и, вышедши изъ шестого класса, опредѣлился на службу. Но недолго пришлось ему и служить. Началась эпоха возрожденія, и шумъ движенія, дойдя и до мѣстъ столь отдаленныхъ, какъ Иркутскъ, увлекъ юношу въ Петербургъ, гдѣ въ концѣ пятидесятихъ годовъ опредѣлился онъ въ с.-петербургскій университетъ вольнослушателемъ по юридическому факультету. Но лекціи въ университетѣ Омудевскій слушалъ не болѣе одного или двухъ лѣтъ, и въ 1860 году онъ является уже сотрудникомъ *Искры* и другихъ сатирическихъ листковъ. Началась для него кочующая и бездомная жизнь литературнаго божества. Онъ скитался по Россіи, служилъ даже нѣкоторое время чиновникомъ особыхъ порученій въ Вяткѣ при губернаторѣ. Отецъ сначала поддерживалъ его существованіе небольшими высылками денегъ, но видя, что сынъ бросилъ университетъ и совсѣмъ закружился, прекратилъ субсидіи и началъ принимать мѣры черезъ знакомыхъ, чтобы вытребовать сына обратно въ Иркутскъ, что и удалось ему сдѣлать въ 1863 г. Проживя два года вновь подъ родительскимъ кровомъ, Омудевскій написалъ нѣсколько незначительныхъ очерковъ, которые были напечатаны въ сборникѣ Н. С. Шукіна подъ заглавіемъ *Сибирскіе рассказы*, участвовалъ даже въ какой-то мѣстной газеткѣ *Амуръ*. Въ началѣ 1865 года Омудевскій снова уѣхалъ въ Петербургъ, и этотъ годъ былъ разсвѣтомъ его литературной дѣятельности. Въ *Русскомъ Словѣ* въ то время печатался его романъ *Шагъ за шагомъ* (изданный потомъ отдѣльно въ 1870 году подъ заглавіемъ *Светловъ*), а затѣмъ начался печататься новый романъ *Попытка не пытка*, но не суждено было автору кончить его, какъ въ жизни его произошелъ переломъ, сразу оборвавшій только что разгорѣвшуюся дѣятельность. Привлеченный къ отвѣтственности за какія-то неосторожныя выраженія, Омудевскій долго содержался въ крѣпости, а потомъ по рѣшенію суда—въ Литовскомъ замкѣ. Не успѣлъ онъ оправиться отъ долгаго заключенія, какъ въ 1874 году его постигла сильная глазная болѣзнь, и онъ едва не ослѣпъ. Всѣ эти передраги повергли его въ крайнюю нищету, доходившую нерѣдко до полного голода. Къ тому же и родители его въ это время обнищали. Домъ, составлявшій главный ресурсъ ихъ доходовъ, сгорѣлъ въ 1868 году, и они переселились въ маленькій домикъ, который купили гдѣ-то на окраинѣ города.

Въ 1879 году, вскорѣ послѣ женитьбы, Омудевскій отправился на родину, узнавъ о смерти отца, но дома предстало ему страшное зрѣлище: онъ вѣхалъ въ Иркутскъ какъ разъ въ тотъ моментъ, когда весь городъ былъ объятъ пламенемъ. Отъ родительскаго домика не осталось и слѣда; едва отыскалъ онъ мать свою, но вскорѣ разошелся съ нею и нанялъ за 10 рублей крошечную комнатку съ тоненькою перегородкою, за которою вѣчно бранились хозяева. Здѣсь съ беременною женою, а затѣмъ съ ребенкомъ онъ проживалъ безъ всякихъ средствъ. Потрясенный всѣми этими невзгодами,

въ отчаяніи онъ запылъ и дошелъ до такого болѣзненнаго состоянія, что попалъ въ Кузнецовскую больницу. Затѣмъ оправившись кое-какъ, онъ продалъ мѣсто, гдѣ стоялъ сторѣвшій домикъ его родителей, и уѣхалъ навсегда съ родины въ Петербургъ. Здѣсь, тщетно борясь со своимъ недугомъ и съ безысходною нищетою, онъ умеръ 26 декабря 1883 года.

Сибиряки чтятъ въ лицѣ Омудевскаго наиболѣе всего единственнаго своего сибирскаго поэта. Но стихотворенія его, изданныя передъ самой смертью автора, въ концѣ 1883 года, подъ заглавіемъ *Пѣсни жизни*, при всей поэтичности нѣкоторыхъ, изъ нихъ, лишены всякой оригинальности и не представляютъ ничего выдающагося, и для русской публики въ широкомъ смыслѣ этого слова Омудевскій все-таки памятенъ лишь какъ авторъ романа *Свѣтловъ*. Романъ этотъ наполовину автобиографическій, въ которомъ авторъ подъ видомъ дѣтства своего главнаго героя „изобразилъ свои собственныя воспоминанія первыхъ лѣтъ жизни до выхода изъ гимназій, въ свое время произвелъ большую сенсацію, и молодежь зачитывалась имъ впродолженіе шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ.—Критикѣ нечего было дѣлать съ романомъ Омудевскаго, такъ какъ онъ не заключалъ въ себѣ никакихъ художественныхъ достоинствъ и не говорилъ никакого новаго слова.—Но герои романа, Свѣтловъ и всѣ его пріатели и пріятельницы, при всей идеализаціи и скроенности по обычному шаблону того времени, подкупали юныхъ читателей такимъ подмывающимъ энтузіазмомъ, какого не находили въ произведеніяхъ прочихъ романистовъ этой школы. Это была особенность Омудевскаго. Чѣмъ-то бодрящимъ, зовущимъ впередъ, сулящимъ въ будущемъ нѣчто радужно-свѣтлое, вѣетъ на васъ отъ каждой страницы романа.—Какъ-то не вѣрится, чтобы такой романъ могъ написать человѣкъ, прожившій столь несчастную жизнь. Принявши это во вниманіе, понятно становится то обаяніе, какое имѣлъ этотъ романъ въ свое время.

VII.

Константинь Михайловичъ Станюковичъ родился въ Севастополѣ въ 1844 году, въ дворянскомъ семействѣ. Отецъ его былъ адмиралъ. Образование Станюковичъ получилъ сначала въ пажескомъ корпусѣ, потомъ въ морскомъ. Въ 1860 году онъ былъ посланъ въ кругосвѣтное плаваніе, и пробылъ въ плаваніи три года. Въ 1863 году начальникъ эскадры Тихаго океана послалъ его изъ Сингапура въ С.-Петербургъ къ генералъ-адмиралу и морскому министру курьеромъ съ бумагами, и вернулся такимъ образомъ изъ кругосвѣтнаго плаванія Станюковичъ черезъ Китай и Сибирь.

Черезъ годъ по возвращеніи изъ плаванія молодой мичманъ, желая всецѣло посвятить себя литературѣ, подалъ въ отставку. Его не выпускали безъ согласія отца; между тѣмъ старый адмиралъ, мечтавшій, что сынъ сдѣлаетъ такую-же карьеру, какъ и отецъ, не соглашался, и только послѣ рѣшительной телеграммы сына отвѣчалъ лаконической телеграммой: „Противъ теченія плыть не могу. Согласенъ“. Тогда только Станюковича уволили съ чиномъ лейтенанта.

Съ 1865 по 1866 годъ Станюковичъ былъ сельскимъ учителемъ во владимірской

губерніи, въ салѣ Чаадаевѣ, мурожскаго уѣзда. Отправился онъ туда, желая ближе ознакомиться съ народнымъ бытомъ. Въ 1867 году онъ женился.

Литературную дѣятельность Станюковичъ началъ въ 1863 году *Очерками морскаго быта*, помѣщенными въ *Морскомъ Сборникѣ*. Затѣмъ онъ началъ помѣщать рассказы и очерки въ другихъ журналахъ, — въ *Эпохѣ*, *Искрѣ*, *Будильникѣ* и писалъ фельетоны общественной жизни въ *Женскомъ Вѣстникѣ* и газетѣ *Гласность*.

Въ 1871 г. написалъ комедію *На то szuka въ морѣ, чтобы карась не дремалъ*. Пропущенная цензурою, одобренная и взятая актеромъ Зубровымъ для бенефиса, пьеса эта была запрещена по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ наканунѣ самаго представленія 27 октября 1871 г. вслѣдствіе того, что въ ней усмотрѣны памфлетъ противъ желѣзнодорожниковъ, и носились слухи, что запрещеніе состоялось вслѣдствіе особенныхъ стараній разныхъ желѣзнодорожныхъ дѣльцовъ. Два раза потомъ возобновлялись просьбы о допущеніи пьесы на сцену, но оба раза напрасно. Пьеса была напечатана въ 1872 г. въ *Дѣлѣ*.

Тамъ-же были напечатаны романы Станюковича — *Безъ исхода* (1873 г.), *Два брата* (1880 г.), *Омутъ* (1881 г.) и пьеса *Родственники* (1878 г.). Съ 1876 г. по 1884 г. Станюковичъ былъ постояннымъ сотрудникомъ *Дѣла*, гдѣ писалъ фельетоны подъ названіемъ *Картинки общественной жизни* и *Письма знатныхъ иностранцевъ* подъ псевдонимомъ *Откровеннаго писателя*. Съ 1877 по 1878 г. помѣщалъ фельетоны въ газетѣ *Новости* подъ псевдонимомъ *Пименъ*. Затѣмъ перешелъ въ газету *Молва* (1879 г.) и *Порядокъ* (1880—1881 гг.); въ *Молву* между прочимъ напечатанъ былъ романъ его *Наши Нравы*.

Съ 1881 года онъ былъ соредакторомъ въ журналѣ *Дѣло*; въ слѣдующемъ году взялъ журналъ въ аренду, а въ 1883 г. приобрѣлъ его въ собственность. Но въ 1885 г. былъ отправленъ въ томскую губернію.

Въ томской губ. Станюковичъ не прерывалъ своей литературной дѣятельности. Такъ въ *Вѣстникѣ Европы*, *Сѣверномъ Вѣстникѣ* и *Русской Мысли* были напечатаны его *Морскіе рассказы*. Въ то-же время онъ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ *Сибирской газеты*, гдѣ между прочимъ былъ напечатанъ романъ его *Не столь отдаленный мѣста*. Въ 1888 году онъ вернулся изъ ссылки.

Что касается до характера его произведеній, то лишь первыя изъ нихъ (*Безъ исхода*, *Два брата*) можно причислить къ школѣ тенденціозной беллетристики *Русскаго Слова*. Впослѣдствіи онъ освободился отъ вліянія этой школы и вступилъ на путь вполне реальной беллетристики, чуждой всякой идеализаціи и подгонки фактовъ дѣйствительности подъ какія-либо излюбленныя тенденціи. Особенное достоинство имѣютъ въ этомъ отношеніи его *Морскіе рассказы*, исполненные живого бытового интереса и рельефно, мастерски очерченныхъ типовъ русскихъ моряковъ.

То-же слѣдуетъ сказать и о Дмитріѣ Константиновичѣ Гирѣ (р. въ 1836 году, воспитывался въ 1-мъ Кадетскомъ корпусѣ, состоялъ въ военной службѣ; въ 1878 и 1879 годахъ издавалъ газету *Русская Правда*, умеръ въ 1886 году декабря 2-го). Литературную извѣстность онъ получилъ съ 1868 года, когда въ *Отечественныхъ Запискахъ* началъ печататься романъ его *Старая и юная Россія*, ко-

торый сразу выдвинулъ его, произведя большую сенсацию. Но Гирсъ не могъ кончить своего очень широко задуманнаго романа, многіе годы тщетно трудясь надъ нимъ и возбуждая разныя недѣльные толки своею неудачею. Произошло-же это по той простой причинѣ, что когда Гирсъ началъ своей романъ, онъ находился еще подъ сильнымъ вліяніемъ критики Писарева и задумалъ свой романъ въ духѣ все той-же тенденціозной школы *Русскаго Слова*.

Но онъ былъ слишкомъ художникъ, чтобы быть въ состояніи исполнѣ подчинить свое творчество проводимымъ тенденціямъ, и уже въ *Старой и юной Россіи*, рядомъ съ ходульною тенденціозностью (вродѣ напримѣръ героя романа, строго располагающаго по часамъ всѣ свои занятія и отправленія и вообще изображающаго собою новаго человѣка въ духѣ писаревского Базарова) вы встрѣтите нѣсколько живыхъ бытовыхъ чертъ русской жизни. Но по мѣрѣ того, какъ онъ продолжалъ свой романъ, онъ все болѣе и болѣе отрѣшался отъ вліянія школы, и наконецъ ему стало просто претить подчинять свое творчество подъ заранѣе придуманный планъ романа. Вся работа неминуема должна ему была опостылѣть и рухнуть. Онъ пережилъ ее.

Тогда Гирсъ снова принялся за безхитростные бытовые рассказы въ родѣ тѣхъ *Записокъ военнаго*, которыми онъ началъ свое литературное поприще на страницахъ *Русскаго вѣстника*. Таковы были *Калифорнскій рудникъ*, *Подъ дамокловымъ мечемъ* и пр. Въ рассказахъ этихъ обнаруживается весьма недюжинный талантъ, и они въ свое время читались публикою съ большимъ интересомъ.



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

I Общая характеристика тенденціозной беллетристики либеральнаго лагеря. Петръ-Дмитріевичъ Боборыкинъ. Факты его жизни и характеристика его литературной дѣятельности. — II Евгений Львовичъ Марковъ; его жизнь и романы. — III Василій Ивановичъ Немировичъ-Данченко, какъ путешественникъ, романистъ и поэтъ. — IV Сергій Николаевичъ Терпигоревъ. — И. Саловъ. — V Николай Дмитріевичъ Ахшарумовъ. Николай Александровичъ Лейкинъ.

I.

Тенденціозные беллетристы либеральнаго лагеря не могли составить особенной беллетристической школы; по крайней мѣрѣ мы видимъ, что среди нихъ не явилось ни одного столь крупнаго таланта, который выдѣлялся-бы своею оригинальностью и увлекъ-бы за собою всѣхъ прочихъ писателей одного съ нимъ лагеря. Къ тому-же въ этомъ не было и надобности, такъ какъ умѣренно-либеральная беллетристика была уже создана школою беллетристовъ сороковыхъ годовъ, большинство которыхъ были именно умѣренные либералы, и послѣдующимъ писателямъ либеральнаго лагеря, явившимся на литературное поприще втеченіе шестидесятыхъ годовъ, оставалось только поддерживать традиціи беллетристовъ сороковыхъ годовъ, приурочивъ ихъ къ потребностямъ новаго времени и строго согласовавъ съ либеральными принципами.

Такъ и поступили либеральные беллетристы шестидесятыхъ годовъ. — Произведенія ихъ и по своимъ формамъ, и по развитію сюжетовъ, и по преобладающимъ типамъ остаются вѣрны школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ и въ особенности слѣдуютъ по стопамъ Тургенева: таже склонность къ сельскимъ пейзажамъ; тотъ-же психическій анализъ, то-же стремленіе въ фокусъ романа поставить болѣе или менѣе увлекательный женскій типъ и сюжетъ произведенія развить въ видѣ турнира нѣсколькихъ соискателей руки и сердца идеальной красавицы. Но въ то-же время у либеральныхъ беллетристовъ шестидесятыхъ годовъ вы не встрѣтите уже того разлагающаго скептицизма, ведущаго то къ томной меланхоліи, то къ безнадежному пессимизму, какой мы видѣли у беллетристовъ сороковыхъ годовъ; не найдете вы и той реакціонной нетерпимости къ новымъ вѣяніямъ, въ какую впади всѣ подрядъ беллетристы сороковыхъ годовъ, разойдясь съ движеніемъ шестидесятыхъ годовъ. — Вѣра въ торжество своихъ принциповъ, либеральные беллетристы шестидесятыхъ

годовъ свѣтло смотрятъ вокругъ себя и на будущее, и произведенія ихъ поэтому исполнены жизнерадостности. Относясь отрицательно ко всему отжившему и реакціонному, они въ тоже время съ соболѣзнованіемъ смотрятъ на всѣ противоположныя крайности, и далеки отъ того, чтобы набрасываться на эти крайности съ такимъ ожесточеніемъ, какъ ихъ предшественники; они относятся къ нимъ снисходительно или какъ къ увлеченіямъ незрѣлой юности, или какъ къ печальнымъ результатамъ вѣками накопившагося ожесточенія.—Героями ихъ являются уже не безхарактерные и изнѣженные баричи, Рудины и Обломы, а просвѣщенные питомцы высшихъ учебныхъ заведеній, обладающие сверхъ того лоскомъ свѣтскаго воспитанія, энергическіе административные, земскіе или сельско-хозяйственные дѣятели, вся мудрость которыхъ заключается въ томъ, что вѣрные своимъ либеральнымъ принципамъ, они ловко умѣютъ пройти между сциллою и харибдою двухъ крайнихъ лагерей и въ концѣ романа въ равной степени восторжествовать и надъ правыми, и надъ лѣвыми. Нужно ли и говорить о томъ, что героиня романа, изображаемая со всѣми обольстительными атрибутами тургеневскихъ женщинъ, отдаетъ имъ вмѣстѣ съ пальмою первенства и руку, и сердце, и всѣ свои помыслы.

Однимъ изъ самыхъ талантливыхъ и наиболее плодовитыхъ беллетристовъ этого лагеря является Пётръ Дмитріевичъ Боборыкинъ. Онъ родился въ Нижнемъ-Новгородѣ 15 августа 1836 года въ богатой дворянской семьѣ и получилъ поэтому, живя при матери въ домѣ дѣда, вполне дворянское воспитаніе, т. е. съ дѣтскихъ лѣтъ онъ зналъ уже иностранные языки и упражнялся въ музыкѣ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что вслѣдствіе этого, поступивъ въ нижегородскую гимназію, при своихъ блестящихъ способностяхъ онъ все время былъ однимъ изъ первыхъ учениковъ, причемъ уже во время гимназическаго курса обнаружился въ немъ беллетристическій талантъ, и одинъ изъ его рассказовъ обратилъ на даровитаго юношу вниманіе гимназическаго начальства, какъ на обѣщающее въ будущемъ нѣчто недоужинное.

По окончаніи гимназическаго курса въ 1853 году, Боборыкинъ поступилъ въ казанскій университетъ на камеральный отдѣлъ юридическаго факультета. Здѣсь онъ увлекся естественными науками, особенно химіей, и со второго курса началъ работать въ химической лабораторіи подъ руководствомъ А. М. Бутлерова. Въ то-же время онъ перевелъ извѣстный нѣмецкій учебникъ химіи Лемана, изданный года три спустя М. О. Вольфомъ. Увлеченіе химіей побудило Боборыкина перейти въ дерптскій университетъ, гдѣ втеченіе пяти лѣтъ онъ прослушалъ полный курсъ медицинскаго факультета, кромѣ того успѣлъ составить учебникъ къ физиологической химіи и перевести вмѣстѣ со своимъ товарищемъ Вакстомъ руководство физиологін Дондерса.

Боборыкину оставалось лишь сдать экзаменъ на степень доктора, что онъ не замедлилъ-бы сдѣлать, но одно обстоятельство сразу измѣнило всю судьбу его жизни. Надо замѣтить, что творческіе инстинкты не могли вполне заглушиться учеными занятіями молодого студента, и среди нихъ онъ успѣлъ написать три драмы—*Фантазеръ*, *Ребенокъ* и *Одновдорецъ*. Последняя была напечатана въ 1860 году въ *Библиотекѣ для чтенія*. Это было первое появленіе въ свѣтъ нарождающагося таланта, и этотъ литературный успѣхъ такъ вскружилъ голову двадцати четырехъ лѣтняго

юноши, что онъ совѣтъ бросилъ медицину и университетъ, и въ декаб. 1860 г. пріѣхалъ въ Петербургъ, рѣшившись посвятить всѣ силы литературѣ. Здѣсь первымъ дѣломъ онъ записался вольнослушателемъ въ с.-петербургскій университетъ и въ нѣсколько мѣсяцевъ приготовился къ экзамену на получение степени кандидата административныхъ наукъ. Вскорѣ затѣмъ Боборыкинъ получилъ въ наслѣдство имѣніе въ нижегородской губерніи, и это наслѣдство доставило ему возможность пріобрѣсти въ 1863 году въ собственность журналъ *Библиотеку для чтенія*. Это былъ крайне рискованный и легкомысленный шагъ, вполне извиняемый молодостью Боборыкина (ему было въ это время 27 лѣтъ), тѣмъ не менѣе тяжело отозвавшійся въ послѣдующей жизни его. *Библиотека для чтенія* въ это время была журналомъ совѣтъ умирающимъ, съ самымъ ограниченнымъ числомъ подписчиковъ, переходившихъ отъ одной редакціи къ другой, потерявшимъ всякій *raison d'être*. Если тщетныя усилія такого опытнаго журналиста, какъ Дружининъ, и такого громкаго имени, какъ Писемскій, не были въ состояніи поднять журналъ, то что-же могъ сдѣлать молодой писатель, въ то время мало еще извѣстный, мало опытный въ журнальномъ дѣлѣ, не являвшійся представителемъ какого-либо опредѣленнаго и вліятельнаго литературнаго кружка, и къ тому-же въ такое время, когда *Современникъ* подавлялъ всю журналистику того времени и съ нимъ не въ состояніи была выдержать борьбу даже такая прочно-установившаяся фирма, какъ *Отечественныя Записки* подъ редакцію Дудышкина. Нѣтъ ничего удивительнаго, что при такихъ условіяхъ Боборыкину пришлось не болѣе трехъ лѣтъ издавать и редактировать *Библиотеку для чтенія*, и затѣмъ на-вѣки похоронить журналъ Сенковского. Единственную пользу изъ всего этого дѣла извлекъ для себя Боборыкинъ развѣ ту, что его литературная репутація окончательно упрочилась, да и этимъ онъ былъ обязанъ не столько самому издательству, сколько помѣщенію на страницахъ *Библиотеки* двухъ своихъ романовъ — *Въ путь-дорогу* и *Земскія силы*, причемъ послѣдній романъ былъ не оконченъ вслѣдствіе прекращенія журнала. Но зато вся тяжесть журнальнаго банкротства легла на Боборыкина, и продолженіе десяти лѣтъ пришлось ему раздѣляться съ долгами путемъ тяжелыхъ литературныхъ трудовъ, и лишь полученное въ 1873 году послѣ смерти отца новое наслѣдство освободило его окончательно отъ послѣдствій крушенія *Библиотеки для чтенія*.

Вызванная этою невзгодою жизни необходимость писать какъ можно болѣе и посему какъ можно скорѣе, обратилась впослѣдствіи въ привычку, и Боборыкинъ поражаетъ своихъ современниковъ и количествомъ, и разносторонностью своихъ литературныхъ трудовъ; такъ онъ является не только въ качествѣ беллетриста творцомъ объемистыхъ романовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и драматургомъ, и театральнымъ критикомъ, и корреспондентомъ, и публицистомъ. Страсть къ театру побудила его, не ограничиваясь писаніемъ пьесъ и рецензій, выступать неоднократно лекторомъ по декламации, и въ 1872 году онъ издалъ цѣлый трактатъ о театральномъ искусствѣ. Замѣчательно въ то-же время, что было-бы совершенно ошибочно, принимая во вниманіе столь обильную и разнородную производительность Боборыкина, предполагать, чтобы это былъ ослѣдлый и усидчивый кабинетный труженикъ, дни и ночи проводящій надъ работой. Напротивъ того, обладая впечатлительнымъ и живымъ

темпераментомъ, Боборыкинъ отличается крайнею подвижностью: онъ рѣдко проживаетъ въ одномъ городѣ болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, всю жизнь проводитъ въ вѣчныхъ разъѣздахъ и путешествіяхъ, горячо интересуясь и увлекаясь всякою новизною и модою. Однимъ словомъ, это типъ газетнаго фельетониста и корреспондента.

Эти свойства характера и условія жизни Боборыкина отражаются и въ его произведеніяхъ. И въ нихъ въ свою очередь Боборыкинъ является не художникомъ-творцомъ, строго обдумывающимъ свои произведенія и тщательно ихъ отдѣлывающимъ и отчеканивающимъ, а именно фельетонистомъ, вѣчно торопящимся написать къ извѣстному сроку столько-то листовъ или строкъ. Поэтому вы не найдете у него ни серьезно обдуманнхъ и строго исполненныхъ и законченныхъ сюжетовъ, ни широкихъ типовъ и обобщеній. Читая романы Боборыкина, вы вѣчно путаетесь въ массѣ вставныхъ эпизодовъ среди несмѣтной толпы выведенныхъ на сцену лицъ, изъ которыхъ половина представляются для развитія сюжета совершенно ни къ чему ненужными, и въ заключеніе всего дѣйствіе романа обрывается порою вслѣдствіе совершенно неожиданныхъ случайностей, производя такое впечатлѣніе, какъ будто авторъ не звалъ, какъ ему свести концы съ концами и отдѣлаться отъ читателей и прибѣгнуть къ первой пришедшей въ голову развязкѣ. Въ то-же время дѣйствующія лица произведеній Боборыкина являются фотографическими снимками съ живыхъ лицъ, причемъ авторъ безъ церемоніи выводитъ своихъ знакомыхъ и лицъ общеизвѣстныхъ со всею обстановкою ихъ жизни, такъ что въ каждомъ романѣ его кто-нибудь узнается и являются двѣ-три личности, сильно скандализованныя и недовольныя тѣмъ, что авторъ, изобразивъ ихъ съ такою вѣрностью, что всѣ ихъ узнали въ романѣ, заставилъ ихъ въ то-же время продѣлывать такіе романы, а порою и неблагоприятные поступки, въ которыхъ въ дѣйствительности они вовсе не грѣшны.

Но при этой фельетонности и фотографичности романовъ Боборыкина, надо отдать ему справедливость, никто изъ современныхъ русскихъ писателей не способенъ въ такой степени схватить настоящій моментъ жизни, именно тотъ самый живой нервъ, который играетъ и бьется сегодня, и это опять-таки обусловливается тѣмъ, что Боборыкинъ по самой природѣ своей созданъ быть фельетонистомъ. Въ каждомъ романѣ его изображается обыкновенно то, чѣмъ живетъ общество наше сегодня, и рядъ произведеній его можетъ служить художественною лѣтописью всѣхъ тѣхъ вѣдній, которыя пережило наше общество въ концѣ пятидесятихъ годовъ, изображенныхъ въ романѣ *Въ путь-дорогу*, и до сегодня.

Мы не имѣемъ возможности перечислить здѣсь всѣхъ его произведеній, такъ какъ въ такомъ случаѣ намъ пришлось-бы помѣстить цѣлый каталогъ весьма почтенныхъ размѣровъ. Мы упомянемъ лишь о нѣкоторыхъ романахъ его, наиболѣе выдающихся и въ свое время понравившихся публикѣ. Таковы: *Жертва вечерняя*, *Солідныя добродѣтели*, *Дьяволы*, *Докторъ Цибулька*, *Въ усадьбѣ и на порядкѣ*, *Китайскій городъ*, *Изъ новыхъ*, *На ущербѣ* и проч.

Дѣятельность Боборыкина можно раздѣлить на два періода. Въ первомъ періодѣ, втеченіе шестидесятихъ и семидесятихъ годовъ, Боборыкинъ слѣдовалъ традиціи беллетристовъ сороковыхъ годовъ и принадлежалъ къ тургеневской школѣ. Не внося никакого-либо новаго элемента или слова въ отечественную литературу и не въ силахъ

будучи выйти на какой-либо самобытный путь, тѣмъ не менѣе онъ неуклонно держался тѣхъ путей, которые были проложены въ русской литературѣ его наиболѣе талантливыми предшественниками.

Но втеченіе восьмидесятыхъ годовъ Боборыкинъ нѣсколько свернулъ съ этой проторенной дороги и къ сожалѣнію въ ущербъ самому себѣ. Частое пребываніе въ Парижѣ, въ то-же время тотъ шумъ, какой подняли въ послѣднее десятилѣтіе французскіе натуралисты, и въ особенности Золя, не могли не увлечь слишкомъ впечатлительную и поддающуюся чужимъ вліяніямъ натуру Боборыкина. И вотъ въ немъ развилась крайняя парижеманія, вродѣ той, какую болѣли наши предки, петиметры восемнадцатаго столѣтія, и виѣсть съ тѣмъ онъ ударился въ подражаніе французскимъ натуралистамъ, ихъ манерамъ письма, протокольной детальности виѣшнихъ мелочей жизни, отправленія анализа съ исключительно одной фізіологической точки зрѣнія, страсти къ черезчуръ смѣлымъ описаніямъ альковныхъ тайнъ и т. п.

И дѣйствительно всѣ его произведенія послѣднихъ лѣтъ, начиная съ романа *Китай-городъ*, появившагося въ *Вѣстникѣ Европы* въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, поражаютъ васъ своею микроскопическою детальностью, фізіологичностью и мѣстами скабрзностью. — Прежде героемъ произведеній Боборыкина былъ просвѣщенный и либеральный дворянинъ съ великосвѣтскими манерами, во всѣхъ отношеніяхъ комилфотный, но при всемъ своемъ европейскимъ лоскъ не перестающій быть русскимъ баринкомъ, вѣрнымъ во всѣхъ своихъ привычкахъ старо-русскимъ культурнымъ традиціямъ. Теперь-же онъ онъ началъ выводить порою кривлякъ, вся цѣль жизни которыхъ заключается въ томъ, чтобы осуществить въ своей особѣ живое подобіе парижскихъ хлыщей, и въ силу этого они только и дѣлаютъ на страницахъ романовъ Боборыкина, что шикуютъ самыми модными костюмами и только что изобрѣтенными парижскимъ бомондомъ словечками, и вѣчно фыркаютъ, сравнивая парижскую культуру съ русскимъ варварствомъ. Весьма желательно, чтобы талантливый беллетристъ, освободившись отъ этого увлеченія, вновь воротился на свой прежній путь, на которомъ онъ подвизался съ такимъ успѣхомъ.

II.

Менѣе талантливымъ и плодовитымъ, но не менѣе типичнымъ представителемъ либерально-тенденціозной беллетристики является Евгений Львовичъ Марковъ. Онъ родился въ 1835 г. въ щигровскомъ уѣздѣ курской губерніи, и въ свою очередь принадлежитъ къ старинному дворянскому роду. Отецъ его былъ воспитанникомъ известной муравьевской „школы колонновожатыхъ“, послужившей началомъ военной академіи, служилъ въ свитѣ Александра I, былъ товарищемъ Пестеля, Муравьева, Бобринцевыхъ-Пушкиныхъ и друг. декабристовъ; мать—дочь суворовскаго генерала Фонъ-Гана. Марковъ воспитывался въ харьковской, а потомъ въ курской гимназіи. Кончивъ затѣмъ курсъ въ харьковскомъ университетѣ въ 1857 году, втеченіе двухъ лѣтъ онъ путешествовалъ за-границею, слушая лекціи въ различныхъ заграничныхъ и русскихъ университетахъ. Затѣмъ онъ занялся педагогической дѣятельностью: втеченіе полуторыхъ лѣтъ онъ былъ учителемъ, а затѣмъ 4 1/2 года занималъ мѣсто инспек-

тора въ тульской гимназіи; съ 1865-же и по 1870 г.,—директора симферопольской гимназіи. Проведя затѣмъ годъ за-границей, онъ посвятилъ себя земской дѣятельности, поселившись въ деревнѣ и разнообразя свою деревенскую жизнь лишь ежегодными путешествіями по Россіи, за-границей и въ болѣе отдаленныя страны: такъ въ послѣднее время онъ путешествовалъ по Египту, Сиріи и Америкѣ.

Въ качествѣ земскаго дѣятеля, онъ былъ избираемъ и губернскимъ, и уѣзднымъ гласнымъ, былъ предсѣдателемъ земской управы въ своемъ уѣздѣ и непремѣннымъ членомъ по крестьянскому управленію. Между прочимъ онъ является однимъ изъ главныхъ основателей въ Курскѣ земской учительской школы и реального училища. Въ 1881 и 82 годахъ онъ былъ приглашенъ правительствомъ къ участию въ „комиссіяхъ свѣдущихъ людей“ по вопросамъ питейному и переселенческому, и по окончаніи работъ комиссій былъ назначенъ въ числѣ шести человекъ защищать проектъ комиссій передъ государственнымъ совѣтомъ. Въ послѣднее время онъ занимаетъ мѣсто управляющаго дворянскимъ и крестьянскимъ банкомъ въ Воронежѣ.

Литературный талантъ пробудился въ Марковѣ очень рано, и уже десяти лѣтъ онъ писалъ стихи. Печататься-же началъ съ 1858 года, когда въ *Русскомъ Вѣстникѣ* появился маленькій рассказъ его *Ушанъ* и полемическая статья противъ профессора Ешевскаго. Литературная дѣятельность его, хотя и далеко не столь плодотворная какъ Боборыкина, въ свою очередь разносторонняя: такъ, не ограничиваясь одною беллетристикой, онъ писалъ и критическія, и публицистическія статьи, и очерки своихъ путешествій (каковы *Очерки Крыма*, *Очерки Кавказа*, а также очерки путешествій по Швеціи, Италіи, Востоку и пр.). Изъ большихъ критическихъ этюдовъ извѣстны—о Тургеневѣ, гр. Л. Толстомъ, Некрасовѣ, Островскомъ, Достоевскомъ, Добролюбовѣ, Эм. Золя, Додэ, Гейне, Ауэрбахѣ и пр. Съ 1876 по 1880 г. Евг. Марковъ принималъ дѣятельное участіе въ *Голосѣ* въ качествѣ критика и публициста, а съ 1879 по 1881 г. велъ критическій отдѣлъ въ *Русской рѣчѣ*.

Въ качествѣ критика онъ не представлялъ чего-либо выдающагося и оригинальнаго и, не отличаясь особенною широтою воззрѣній, оставался вѣрнымъ старымъ эстетическимъ теоріямъ чистаго искусства, причемъ, врагъ всякихъ крайностей, тѣмъ не менѣе онъ столь фанатично исповѣдывалъ свои эстетическія теоріи, что дошелъ до полнаго отрицанія Некрасова, природное дарованіе котораго и чутье народнаго духа были по его мнѣнію заглушены вредными вліяніями тѣхъ политическихъ кружковъ, въ которыхъ онъ вращался.

Въ качествѣ романиста онъ болѣе всего извѣстенъ своимъ романомъ *Черноземная поля*, напечатанномъ въ *Дѣлѣ* въ теченіе 1876 и 1877 годовъ. Позже были написаны имъ менѣе обратившіе на себя вниманіе—*Берегъ моря* и *Барчуки*. Въ совершенную противоположность Боборыкину, который, какъ мы видѣли, является въ своихъ романахъ рыцаремъ западникомъ, смотрящимъ на русскую жизнь съ точки зрѣнія парижской культуры, Евг. Марковъ въ своихъ романахъ смотритъ съ народнической точки зрѣнія: онъ до извѣстной степени почвенникъ, проводящій ту мысль, что городская жизнь портитъ людей, нравственно калѣчитъ ихъ и растлѣваетъ, и лишь возвращеніе въ деревню или въ родную усадьбу, въ среду народа и на лоно природы, можетъ спасти человѣка, возстановивъ равновѣсіе его силъ и давъ имъ благотвор-

ный исходъ. Мысль эта является основою всѣхъ беллетристическихъ произведеній Евг. Маркова. Такъ въ *Черноземныхъ поляхъ* героемъ въ лицѣ Суровцева является именно одинъ изъ тѣхъ прекраснодушныхъ гуманныхъ и либерально-энергическихъ помѣщиковъ, какіе, какъ мы выше уже говорили, парадируютъ во всѣхъ беллетристическихъ произведеніяхъ этого лагеря. Нѣтъ сомнѣнія, что и по своему характеру, и по обстоятельствамъ жизни Суровцевъ напоминаетъ нѣсколько самого автора; подобно автору романа онъ проходитъ сквозь строй ученой и затѣмъ общественной дѣятельности; сначала читаетъ лекціи, потомъ служить по земству, выводитъ осу изъ уѣзда, чуть не сторааетъ во время пожара; наконецъ терпитъ фіаско въ своей земской дѣятельности и благодушно успокаивается на скромномъ сельско-хозяйственномъ трудѣ, оказываніи посильной помощи окружающему сельскому люду, идиллическихъ наслажденій природою и любовныхъ объятіяхъ избранницы сердца, Наденьки, которая въ свою очередь отличается тѣмъ, что возросла и воспиталась на родной почвѣ, въ деревнѣ, въ спасительныхъ традиціяхъ старо-русской жизни, въ сферѣ практическаго добра и дѣятельной любви къ окружающимъ людямъ; однимъ словомъ—это роскошный самородокъ, благоухающій сельскій цвѣтокъ, исполненный богатыхъ силъ и жизни, свободно расцвѣтшій на чистомъ деревенскомъ воздухѣ, подъ горячимъ лучами солнца, въ отличіе отъ тѣхъ махровыхъ, но хилыхъ и тщедушныхъ оранжерейныхъ растений, какія произрастаютъ въ городскихъ теплицахъ. Такова философія *Черноземныхъ полей*, этого шедевра Маркова, проводимая и въ прочихъ произведеніяхъ его. Главный же недостатокъ всѣхъ его произведеній заключается въ чрезмѣрной растянутости всѣхъ сценъ и описаній при крайней бѣдности сюжета и отсутствіи быстроты и живости въ его развитіи. Большой любитель сельской природы, Марковъ черезчуръ уже злоупотребляетъ обиліемъ пейзажей, къ тому-же при своемъ прекраснодушіи часто вдается въ приторную сентиментальность, и тогда начинаетъ напоминать Карамзина не только чувствительно торжественнымъ тономъ, но и самымъ риторико-напыщеннымъ языкомъ.

III.

Василій Ивановичъ Немировичъ-Данченко родился на Кавказѣ, въ Тифлисѣ, въ 1848 году. Дѣтство провелъ онъ, слѣдуя за отцомъ въ его военныхъ походахъ, въ горахъ Дагестана, гдѣ тогда кипѣла война, и въ Грузіи, гдѣ находился полкъ его отца. Затѣмъ въ самомъ юномъ возрастѣ судьба кинула его изъ жаркаго юга на самый отдаленный сѣверъ, на Сѣверный океанъ, Мурманъ, Норвегію, Лапландію, Вѣлое море. И всю дальнѣйшую жизнь ему пришлось проводить въ непрестанныхъ страстіяхъ. Такъ въ 1875 году онъ объѣхалъ Волгу и Каспійское море, а на возвратномъ пути поднялся по Камѣ въ пермскую губернію, гдѣ по рѣкѣ Косвѣ, Чусовой и другимъ вѣслѣдовалъ самыя глухія захолустья Урала. Въ 1876 году онъ посѣтилъ нѣсколько монастырей и описалъ ихъ своеобразный бытъ. Въ слѣдующемъ году Немировичъ-Данченко отправился на театръ военныхъ дѣйствій корреспондентомъ и оставался тамъ до конца военныхъ дѣйствій, принявши участіе въ дѣлахъ при Параналѣ, въ бомбардированіи Журжева, въ переходѣ черезъ Дунай у Зимницы, въ

дѣлахъ 9-го, 10-го и 11-го августа на Шибкѣ, 30-го августа подъ Плевной, 12-го октября подъ Кадывіосемъ, въ дѣлахъ на Зеленыхъ горахъ въ отрядѣ Скобелева, въ зимнемъ переходѣ черезъ Балканы, въ сраженіи подъ Шибкою 28-го декабря, въ занятіи Адрианополя и т. д, до Савъ-Стефано и заключенія предварительнаго мира. Во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ онъ оказалъ большую храбрость, за что сверхъ другихъ отличій получилъ солдатскій георгіевскій крестъ. Послѣ войны, вернувшись въ Петербургъ, онъ не долго усидѣлъ на мѣстѣ и отправился сначала въ Крымъ и на Кавказъ, потомъ въ Грецію и Европейскую Турцію, причеиъ вторично объѣхалъ Болгарію и Сербію, на нѣсколько мѣсяцевъ поселился въ Венгрію, на обратномъ пути еще разъ объѣхалъ Румынію. Въ 1881 году Немировичъ-Данченко посѣтилъ Египетъ, въ 1882 году Адриатическое поморье. Вслѣдъ затѣмъ онъ путешествовалъ по Испаніи и Марокко, Италіи и Алжиру, по Голландіи и Германіи и пр. И по сей день ведетъ онъ все ту-же кочевую жизнь, разъѣзжая по бѣлу свѣту и рѣдко останавливаясь гдѣ-бы то ни было на одинъ, на два мѣсяца.

Вниманіе публики впервые привлекъ онъ именно какъ путешественникъ своими статьями въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1874 года подъ заглавіемъ *За Сѣвернымъ полярнымъ кругомъ, очерки Мурманскаго берега*. Вслѣдъ затѣмъ въ томъ-же году въ *Вѣстникъ Европы* появились его *Соловки*, описаніе нравовъ и быта иноковъ Соловецкаго монастыря; эти въ высшей степени интересные очерки, въ которыхъ Соловецкій монастырь представляется въ видѣ своеобразной религіозно-промышленной общины совершенно въ народномъ духѣ, окончательно упрочили извѣстность Немировича-Данченко. Вслѣдъ затѣмъ появились его путевые очерки *Ланландія и ланландцы, Страна холода, По Волгѣ*. Но наиболѣе прославили его и были его шедевромъ военныя корреспонденціи, помѣщаемыя во время войны въ разныхъ газетахъ и затѣмъ изданныя отдѣльно подъ заглавіемъ *Годъ войны*. Переведенная на всѣ европейскіе языки, книга эта пользуется европейской извѣстностью. Изъ позднѣйшихъ его путевыхъ очерковъ извѣстны *Даль* (поѣздка по Югу), *Въ гостяхъ* (поѣздка по Кавказу), *Послѣ войны* (поѣздка по Болгаріи), *Святые горы, Крестьянское царство*.

Во всѣхъ этихъ путевыхъ очеркахъ Немировичъ-Данченко является передъ нами не только увлекательнымъ рассказчикомъ, умѣющимъ подмѣчать и подчеркивать все существенное и завлекать читателей разнообразіемъ содержанія, но и художникомъ, владѣющимъ и горячимъ воображеніемъ, и прекраснымъ языкомъ. Особеннымъ мастерствомъ отличаются всѣ его пейзажи, блестящіе живыми, яркими красками, вполне воскрешающіе передъ вами изображаемую природу во всѣхъ ея особенностяхъ, какъ роскошнаго, пламеннаго юга, такъ и холоднаго, безжизненнаго сѣвера.

Сверхъ путевыхъ очерковъ Немировичъ-Данченко написалъ рядъ романовъ, повѣстей и мелкихъ рассказовъ для дѣтей, для народа, святочныхъ и т. п. Таковы романы его *Гроза, Плевна и Шибка, Впередъ, Цари биржи, Кулиси, Въ ежовыхъ рукавицахъ, Монахъ, Исповѣдь женщины, Семья богатырей* и пр.

Романы Немировича-Данченко стоятъ ниже его путевыхъ очерковъ и хотя читаются съ большимъ интересомъ и не лишены художественныхъ достоинствъ, но имъ сильно вредитъ излишняя пылкость воображенія автора, приводящая его къ

различнаго рода преувеличеніямъ, пересаливаніямъ, заставляющая очень часто впадать въ эффектный, но выходящій изъ реальныхъ рамокъ мелодраматизмъ.

Гораздо выше и въ художественномъ, и въ идейномъ отношеніи его мелкіе рассказы изъ народнаго и военнаго быта, изданные въ 1889 году подъ заглавіемъ *Незамѣтные герои*, а также изъ *Святочныѣхъ рассказовъ* его, изданныхъ въ 1890 г., такія вещи, какъ *Забитый рудникъ*, *Махмудкины дѣти*, *Богданъ Шибкинъ*. Своею захватывающею за сердце задушевностью, гуманностью и реальною правдою, исполненною глубокаго смысла, рассказы эти безспорно составляютъ украшеніе нашей литературы.

Наконецъ замѣчательнъ Немировичъ-Данченко и какъ поэтъ. Стихотворенія его, появившіяся въ продолженіе всей его литературной дѣятельности въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ и изданныя потомъ отдѣльно, если и не представляютъ какой-либо оригинальности, во всякомъ случаѣ при неоспоримой поэтичности замѣчательны тѣмъ, что Немировичъ-Данченко—одинъ изъ тѣхъ немногихъ поэтовъ, среди появившихся втеченіе семидесятихъ и восьмидесятихъ годовъ, которые остались вѣрны лучшимъ традиціямъ шестидесятихъ годовъ. Большинство стихотвореній Немировича-Данченко исполнено серьезнаго идейнаго содержанія и въ то-же время чуждо какъ безцѣльной созерцательности, такъ и малодушнаго пессимизма.

IV.

Сергій Николаевичъ Терпигоревъ, болѣе извѣстный публикѣ подъ псевдонимомъ Сергій Атава, родился 12 мая 1841 г. въ селѣ Никольскомъ, тамбовской губ., усманскаго уѣзда. Родители его были дворяне. Уже въ гимназіи началъ онъ пописывать; въ печати-же появился въ 1861 году, когда въ журналѣ *Русскій міръ* былъ помѣщенъ рассказъ его *Черствая доля*. Восемь лѣтъ спустя, въ 1869 г., была напечатана въ *Отеч. Зап.* комедія его *Сліяніе*. Постоянная-же литературная дѣятельность его началась съ 1880 года, когда въ *Отечественныхъ Запискахъ* начался печататься рядъ очерковъ его, изданныхъ въ 1881 году отдѣльно подъ общимъ заглавіемъ *Оскуднѣніе*. Очерки эти имѣли такой успѣхъ, что несмотря на появленіе отдѣльнаго изданія тотчасъ-же послѣ печатанія въ столь распространенномъ журналѣ, какъ *Отечественныя Записки*, въ одинъ годъ оно было распродано, и въ слѣдующемъ 1882 году явилось новое изданіе, разошедшееся съ неменьшею быстротою. Причина такого успѣха очерковъ Терпигорева заключалась въ томъ, что они какъ нельзя болѣе соответствовали назрѣвшей злобѣ дня. Въ то время только что успѣлъ вполнѣ выясниться и завладѣть всѣми умами тревожный вопросъ о всеобщемъ дворянскомъ обѣдненіи, являвшемся роковымъ послѣдствіемъ отиѣны крѣпостнаго права. Мы видѣли, что и Салтыковъ, втеченіе всѣхъ семидесятихъ годовъ, посвящалъ свои произведенія главнымъ образомъ тому-же вопросу. И вотъ тѣ самые печальные факты борьбы за существованіе цѣлаго сословія, которые у Салтыкова выразились въ широкихъ, часто совершенно отвлеченныхъ обобщеніяхъ, подхватилъ остроумный талантливый рассказчикъ и началъ иллюстрировать обобщенія Салтыкова въ рядѣ конкретныхъ, фотографическихъ очерковъ. Достоинство этихъ очерковъ заключается въ ихъ несомнѣнной

правдивости и прозрачной искренности. Хотя у автора никогда не было недвижимого имѣнія, тѣмъ не менѣе очерки его производятъ на васъ такое впечатлѣніе, какъ будто вы бесѣдуете съ кающимся дворяниномъ, который, не щадя живота, ни своего, ни присныхъ, съ полною откровенностью исповѣдуются передъ вами во грѣхахъ, унаслѣдованныхъ имъ отъ отцовъ и дѣдовъ, и за которые ему приходится терпѣть наказаніе, отвѣтствуя какъ за себя, такъ и за всѣхъ своихъ предковъ. Въ изображеніяхъ различныхъ способовъ и попытокъ приспособиться къ новымъ условіямъ жизни и открыты новые источники беззаботнаго и привольнаго существованія безъ всякаго труда, читатели видѣли цѣлый рядъ фактовъ и болѣе или менѣе крупныхъ скандаловъ, которые у всѣхъ были на глазахъ и въ свѣжей памяти, что еще болѣе увеличивало интересъ очерковъ и обусловливало ихъ успѣхъ.

Подъ впечатлѣніемъ успѣха *Оскуднѣнія* Терпигоревъ былъ приглашенъ М. М. Стасюлевичемъ писать воскресные фельетоны въ только что начавшей издаваться имъ новой газетѣ *Порядокъ*; но недолго оставаясь сотрудникомъ этой газеты, Терпигоревъ перешелъ въ *Новое Время*, и вотъ въ продолженіи десяти лѣтъ онъ каждое воскресенье пишетъ небольшіе фельетоны въ этой газетѣ, и эти фельетоны, равно отдѣльныя статьи, появляющіяся въ *Нови*, въ *Историческомъ Вѣстникѣ* и пр., представляютъ по большей части все ту-же скандалезную хронику дворянскаго легкомыслія. Фельетоны свои Терпигоревъ время отъ времени собираетъ въ отдѣльныя изданія: такъ въ 1885 году вышла *Желтая книга—сказаніе о новыхъ князьяхъ и старыхъ князьяхъ*, позже *Пестрядь*, *Потрешенныя тѣни* и проч.

Съ 1877 года начали появляться въ *Отечественныхъ Запискахъ* повѣсти И. Салова. Таковы были *Мельница кутца Чесалкина*, *Грызунья*, *Астидь*, *Арендаторъ*, *Ольшанскій баринъ*; позже въ *Русской мысли* и другихъ періодическихъ изданіяхъ: *Иванъ Огородниковъ*, *Четыре времени года*, *Двѣщичи грезы* и пр. Это одинъ изъ самыхъ талантливыхъ беллетристовъ нашего времени, наиболѣе вѣрный традиціямъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ и усвоившій характеръ тургеневскихъ произведеній. Такъ напримѣръ однимъ изъ обычныхъ приемовъ въ развитіи сюжетовъ въ очень многихъ его повѣстяхъ являются походы охотника, подвѣргающагося во время своихъ скитаній всевозможнымъ неожиданнымъ встрѣчамъ и приключеніямъ. Вы не найдете у него никакихъ претензій на высшее, обобщающее и проникающее въ глубокіе тайники жизни художественное творчество. Это безпретенціозный рассказчикъ-фотографъ, изображающій все то, что бросается ему въ глаза и поражаетъ его въ окружающей его деревенской жизни. Рисуя деревенскую жизнь во всея обаяніи ея, какое производятъ красоты природы въ соединеніи съ прелестями лѣтняго деревенскаго far niente въ видѣ различныхъ рыбныхъ ловлей, охоты и т. п., въ контрастѣ съ этою мирною идиллическою стороною И. Саловъ раскрываетъ передъ нами всю ту одуряющую, возмутительную неурядицу людскихъ отношеній, характеризующую наше безотрадное время. Передъ вами безконечною вереницею тянутся современные герои деревенской безтолочи въ видѣ всякаго рода міроѣдовъ, проходивцевъ, безсердечныхъ пауковъ, разставляющихъ повсюду сѣти черствой наживы, и вы только и слышите одни жалобные стоны несчастныхъ мухъ, попадающихъ въ эти сѣти. Обиженная, ободранная, голодающая деревня; обветшавшая барская усадьба съ зако-

лоченными окнами; поруганная женщина; разбитая и стертая съ лица земли чья-нибудь молодая жизнь, и надъ всѣмъ этимъ плотоядный, дикій и наглый хохотъ разжирѣвшаго Колупаева—вотъ обычные, преобладающіе мотивы разсказовъ И. Салова.

Мрачное, безотрадное впечатлѣніе, производимое разсказами И. Салова, еще болѣе усугубляется фотографичностью его таланта. Вы видите рядъ снимковъ съ конкретной дѣйствительности, несомнѣнно вѣрныхъ и живыхъ; они возмущаютъ васъ до послѣдней крайности, но тщетно ждете вы, чтобы авторъ освѣтилъ ихъ какимъ-нибудь философскимъ анализомъ, чтобы вы могли видѣть какъ причины раскрывающихся передъ вами явленій, такъ и исходъ изъ нихъ,—какой-бы ни было, но непременно исходъ, и вы чувствуете безконечное томленіе, точно ходите по больничной палатѣ, смотрите, какъ вокругъ васъ люди корчатся и стонутъ въ ужасныхъ мученіяхъ, и между тѣмъ вы не знаете, будетъ-ли конецъ этимъ мукамъ и какой именно,—выздоровленіе или смерть?

Къ довершенію всего у Салова есть еще одна особенная манера, которую онъ усугубляетъ мученія своихъ читателей: въ самый такой моментъ повѣсти, когда разыгрывается трагедія и читатель весь поглощенъ жалостью и ужасомъ,—тутъ-то Саловъ и пускается обыкновенно въ изображеніе идиллическихъ сторонъ деревенской жизни. Тамъ гдѣ-нибудь за горою человѣкъ душатъ и онъ бьется въ предсмертныхъ судорогахъ, а авторъ ведетъ вдругъ читателя на рыбную ловлю и показываетъ, какъ кротко луна смотрится въ тихое, зеркальное озеро, какъ купаются въ немъ плакучія вербы, застывшія въ безмолвномъ снѣ, какъ радостно сверкаетъ разведенный костеръ, а возлѣ костра ожидаетъ рыболововъ неизмѣнная водочка съ разнообразными закусочками, и при этомъ разумѣется ужъ ведутся безконечные разговоры съ анекдотами о всякаго рода необыкновенныхъ происшествіяхъ. Саловъ въ этомъ отношеніи въ своемъ родѣ жестокой талантъ.

V.

Николай Дмитріевичъ Ахшарумовъ родился въ Петербургѣ 3-го декабря 1819 г., воспитывался въ царскосельскомъ лицѣ, гдѣ кончилъ курсъ въ 1839 г. и поступилъ на службу въ канцелярію военнаго министерства. Въ 1845 году вышелъ въ отставку и посѣщалъ сначала университетъ, затѣмъ рисовальные классы академіи художествъ. Литературную дѣятельность свою Ахшарумовъ началъ подъ псевдонимомъ Чернова повѣстью *Двойникъ*, напечатанною въ № 1. *Отеч. Зап.* 1850 года. Изъ дальнѣйшихъ произведеній его наиболѣе выдаются: *Чужое имя*, романъ (*P. V.* 1861 г.), *Мудреное дѣло* (*Эпоха* 1864 г.), *Натурищица* (*От. Зап.* 1866 г.), *Граждане мѣся* (*Вс. Тр.* 1867 г.), *Конецъ въ воду* (*От. Зап.* 1872 г.) и пр.

Являясь сверстникомъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, Ахшарумовъ значительно отличается отъ нихъ по характеру и строю своихъ произведеній. Такъ вы не найдете у него ни той простоты сюжетовъ, ни той художественности, какими отличаются большинство произведеній беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Сюжеты романовъ и повѣстей Ахшарумова всегда бываютъ крайне затѣйливы, запутаны, мелодраматичны; иногда въ основѣ ихъ лежитъ уголовный процессъ (*Конецъ въ воду*); иногда-же авторъ вдается въ крайнюю фантастичность (*Двойникъ*, *Натурищица*). Журналы съ охотою помѣ-

щаютъ произведенія Ахшарумова, такъ какъ и до сихъ поръ еще существуетъ масса читателей, любящихъ въ романѣ болѣе всего сказочную занимательность сюжета; но особеннаго значенія романы Ахшарумова никогда не имѣли и никакого яркаго слѣда въ литературѣ они послѣ себя не оставляютъ.

Сверхъ своихъ романовъ Ахшарумовъ написалъ массу критическихъ статей и замѣчательно при этомъ, что въ то время, какъ въ своихъ произведеніяхъ онъ не обнаруживалъ никакихъ особенныхъ художественныхъ достоинствъ, всю жизнь онъ ратовалъ за чистое искусство, начиная съ первой своей критической статьи *Поработеніе эстетики*, въ которой онъ вооружился надъ воцарившимся въ то время утилитаризмомъ въ искусствѣ и кончая безцвѣтными и валыми статьями во *Всемирномъ трудѣ*, въ которыхъ онъ продолжалъ отстаивать все то же свое крайне обветшалое эстетическое знамя.

Николай Александровичъ Лейкинъ вышелъ изъ купеческой среды. Его родъ состоитъ въ петербургскомъ купечествѣ съ 1781 года и ведетъ свое начало изъ любовского уѣзда, ярославской губ. Отецъ Лейкина, Александръ Ивановичъ, торговалъ шелковыми товарами въ Гостиномъ дворѣ; мать—Любовь Ивановна Иванова, происходила изъ крестьянскаго сословія, и оба они были довольно образованные люди. Отецъ цитировалъ даже строфы изъ *Евгенія Онегина* и *Горя отъ Ума*, мать очень любила романы Диккенса. Лейкинъ родился въ Петербургѣ 8 декабря 1841 года, и воспитаніе получилъ въ реформатскомъ училищѣ, курсъ котораго кончилъ въ 1858 году съ прекраснымъ знаніемъ нѣмецкаго языка и съ любовью къ естественно-научнымъ занятіямъ. Нѣмецкимъ языкомъ онъ владѣлъ настолько, что въ училищѣ сочинялъ цѣлыя пьески по-нѣмецки (также и на русскомъ), которыя и разыгрывались въ ученическихъ спектакляхъ. По выходѣ изъ училища, Лейкинъ помогалъ отцу въ торговлѣ, служилъ приказчикомъ и въ кладовой иностранныхъ товаровъ Бонеплюста, а затѣмъ въ петербургскомъ страховомъ обществѣ лѣтъ пять. Послѣ этого онъ предался литературѣ, которую любилъ съ дѣтства. Первымъ печатнымъ произведеніемъ Лейкина было стихотвореніе *Кольцо*, появившееся въ *Русскомъ Мирѣ* Пироглифова, а затѣмъ появился первый его рассказъ *Гробовщикъ* въ *Петербургскомъ Вѣстникѣ* за 1861 г. Затѣмъ Лейкинъ началъ сотрудничать въ *Искрѣ*. Это сблизило его съ Курочкиными, Василиемъ и Николаемъ, и Курочкины, въ особенности-же Николай, имѣли самое благотворное вліяніе на развитіе таланта Лейкина. По крайней мѣрѣ конечно этому вліянію былъ обязанъ Лейкинъ тѣмъ, что на всю жизнь онъ остался безукоризненно честнымъ писателемъ, направлялъ свой юморъ лишь на обличенія темныхъ сторонъ русской жизни, невѣжества и самодурства, и ни разу не обмолвился ни однимъ фальшивымъ звукомъ.

Кромѣ *Искры* Лейкинъ печатался и въ прочихъ періодическихъ журналахъ того времени, какъ-то: въ *Библиотекѣ для Чтенія* Боборыкина, въ *Современникѣ* Некрасова и въ *Отечественныхъ Запискахъ* Краевского. Къ этому періоду относятся два крупныя его произведенія—*Апраксинцы* и *Биржевые артельщики*. Въ 1869 году Лейкинъ сотрудничалъ въ *Петербургскомъ Листкѣ*, гдѣ помѣстилъ повѣсть *Кусокъ глаба*, а въ 1871 г. въ журналѣ *Библиотека* появился одинъ изъ лучшихъ его романовъ *Христова невѣста*. Вскорѣ послѣ того онъ перешелъ въ

Петербургскую Газету, гдѣ помимо сценъ, фельетоновъ и маленькихъ разсказовъ Лейкинъ печаталъ рядъ историческихъ изслѣдованій о народныхъ праздникахъ. *Петербургскую Газету* Лейкинъ одно время покинулъ было, перейдя въ *Петербургскій Листокъ*, но затѣмъ снова возвратился черезъ шесть мѣсяцевъ, и съ тѣхъ поръ не покидаетъ этой газеты. Сверхъ упомянутыхъ уже нами наибольшаго вниманія заслуживаютъ слѣдующія произведенія: *Наши забавники*, юмористическіе разсказы, *Шуты юрховые*, картинки съ натуры, *Неунывающие россияне*, разсказы и картинки съ натуры, *Стукинъ и Хрустальниковъ*, романъ изъ жизни биржевыхъ дѣятелей, *Сатиры* и *Нимфа*, тоже романъ и пр.

Кромѣ Курочкиныхъ, безъ сомнѣнія не малою влияніе на развитіе таланта Лейкина имѣли комедіи Островскаго, и подъ ихъ впечатлѣніемъ Лейкинъ выступилъ обличителемъ гостинодворскаго и апраксинскаго темнаго царства въ pendant замоскворѣцкому. Но конечно у Лейкина вы не найдете и тѣни того глубокаго проникновенія въ изображаемый бытъ, какъ у Островскаго: драматической стороны этого быта для Лейкина не существуетъ. Это талантъ по преимуществу комическій. Лейкинъ изображаетъ одни смѣшныя стороны купеческихъ нравовъ, обращая главное вниманіе на вышнюю ихъ грубость и некультурно ть. Къ тому-же главный недостатокъ Лейкина заключается въ отсутствіи чувства художественной мѣры, вслѣдствіе чего онъ слишкомъ злоупотребляетъ врожденнымъ своимъ остроуміемъ и коллизмомъ, утрируя, пересаливая, впадая въ балаганный шаржъ и грубую каррикатурность. Очень часто выѣзжаетъ онъ исключительно на одномъ коверканіи иностранныхъ словъ и названій предметовъ высшаго образованія его невѣжественными героями.

Не мало мѣшаетъ правильному развитію и проявленію таланта Лейкина необычайная плодовитость его. Не считая десяти пьесъ, которыя съ успѣхомъ шли на Императорскихъ и частныхъ театрахъ, число его произведеній превышаетъ уже семь тысячъ. Эта по истинѣ чудовищная производительность не мѣшала Лейкину въ одно время съ успѣхомъ подвизаться на сценѣ въ качествѣ актера подъ псевдонимомъ Водянова. Сверхъ того онъ издаетъ и редактируетъ сатирическій журналъ *Осколки*, и состоитъ гласнымъ въ думѣ, принимаетъ участіе въ различныхъ комиссіяхъ. Понятно, что ему не достаетъ времени ни обдумывать, ни обрабатывать свои произведенія, а остается, что называется, валить съ плеча, до дна исчерпывая одинъ и тотъ-же источникъ — нравы купечества Гостинаго и Апраксина дворовъ. Понятно, что изо дня въ день, изъ года въ годъ вы находите у Лейкина неизмѣнно одни и тѣ-же лица самодуровъ тятенекъ, ихъ полоумныхъ и забытыхъ половинокъ, придурковатыхъ сынковъ, кутиль и развратниковъ исподтишка, и купеческихъ дочекъ, вѣчно сидящихъ у косячатаго окошечка и дѣлающихъ глазки проѣзжающимъ мимо офицерамъ. Все отличіе одного разсказа отъ другого заключается въ томъ, что тѣже неизмѣнныя личности изображаются, смотря по временамъ года и злобамъ дня, то на гуляньѣ, то на крестинахъ, то на свадьбѣ, то на масленицѣ на блинахъ, то на художественной выставкѣ, то въ заграничномъ путешествіи и т. п. Тѣмъ не менѣе нельзя отказать Лейкину въ талантѣ вполне самобытномъ и оригинальномъ. Онъ создалъ свой собственный комическій юморъ, который конечно умретъ вмѣстѣ съ нимъ и тѣми правами, изображенію которыхъ онъ посвятилъ свою дѣятельную жизнь.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

I — Общая характеристика реакціонной беллетристики и ея шаблонъ. II — Викторъ Петровичъ Ключниковъ. III — Николай Семеновичъ Лѣсковъ. IV — Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій. V — Болеславъ Михайловичъ Маркевичъ. — Василій Григорьевичъ Авсеенко. — Константинъ Федоровичъ Головинъ. — Василій Петровичъ Авенарфусъ.

I.

Начало консервативной беллетристики относится къ 1862 году, то-есть возникла эта беллетристика какъ разъ вмѣстѣ съ первыми симптомами реакціи, обнаружившимися послѣ студенческихъ исторій 1861 года, пожаровъ 1862 года и вмѣстѣ съ польскимъ возстаніемъ. Первыми образцами этой беллетристики русская литература была обязана все той-же плеядѣ сороковыхъ годовъ, отъ которой ведетъ свое начало и либеральная беллетристика. Починъ принадлежитъ Тургеневу съ его *Отцами и дѣтьми*; вслѣдъ за тѣмъ выступилъ Писемскій со своимъ *Взбаломученнымъ моремъ*; затѣмъ Достоевскій провелъ консервативно-реакціонныя идеи въ своихъ романахъ *Преступленіе и наказаніе* и *Бѣсы*; наконецъ Гончаровъ провелъ тѣ-же идеи въ своемъ романѣ *Обрывъ*.

Отчасти подъ вліяніемъ этихъ литературныхъ корифеевъ, отчасти подъ давленіемъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе усиливавшейся реакціи, мало-по-малу образовалась цѣлая школа реакціонной беллетристики, не замедлившая выработать для своихъ романовъ опредѣленный шаблонъ, вполне соответствовавшій проводимымъ этою школою идеямъ. — При этомъ беллетристы реакціоннаго лагеря, подвизавшіеся по большей части на страницахъ *Русскаго Вѣстника*, до такой степени всѣ подрядъ пѣли постоянно въ одинъ голосъ и оставались неизмѣнно вѣрными своему шаблону, что нѣтъ ничего легче начертать стереотипный планъ реакціоннаго романа, и можно быть увѣреннымъ, что большинство подобнаго рода романовъ, вышедшихъ въ послѣдніи 10 лѣтъ, какъ разъ подходитъ подъ этотъ шаблонъ.

Такъ въ то время, какъ въ беллетристикѣ радикальнаго лагеря аристократическіе и вообще дворянскіе классы представлялись обыкновенно въ умственномъ отношеніи отсталыми, а въ нравственномъ — изнѣженными, растленными, вмѣстилищами всевозможныхъ пороковъ и золь, идеальными-же представителями прогресса и спасите-

лами отечества — рисовались бѣдные разночинцы, выходцы если не прямо изъ народа, то изъ близъ него находящихся слоевъ, — въ романахъ реакціоннаго лагеря мы видимъ какъ разъ наоборотъ: аристократическіе и дворянскіе классы рисуются въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ; въ нихъ однихъ полагается залогъ спасенія расшатаннаго общества, поскольку они остаются вѣрными исконнымъ, старорусскимъ культурнымъ традиціямъ; представители-же движенія, всѣ увлекшіеся новыми идеями шестидесятыхъ годовъ, изображаются въ видѣ безшабашныхъ отрицателей нигилистовъ, отвергающихъ религію, семью, собственность, государство, нагло смѣющихся надо всѣмъ святымъ и заветнымъ и посему готовыхъ на всякое преступленіе ради матеріальныхъ выгодъ, которыя у нихъ скрываются подъ либеральными и прогрессивными фразами.

Въ силу подобной тенденціи, неизмѣнно проводимой въ каждомъ реакціонномъ романѣ, на первомъ планѣ рисуется обыкновенно герой охранитель — красивый, статный, съ изысканно-свѣтскими манерами. Если онъ не князь и не графъ, то во всякомъ случаѣ принадлежитъ къ очень древнему дворянскому роду и рѣдкій романъ обходится безъ хотя одной главы, посвященной характеристикѣ предковъ и разбору по листочкамъ генеалогическаго древа героя. Характера герой долженъ быть гордаго, непреклонно-твердаго, храбро отважнаго, немного, пожалуй, вспыльчиваго. Убѣжденіями проникнуть онъ конечно ужъ самыми благоразумными и спасительно-консервативными, и всѣ силы души его стремятся къ борьбѣ съ неправдою и зломъ на охраненіе коренныхъ основъ религіи, нравственности, семьи, собственности, въ особенности-же охранитъ Россійской имперіи.

Еще до своего служебнаго поприща онъ начинаетъ уже спасать отечество въ какой-нибудь либеральной гостиниой губернскаго города, разразившись тирадой о паденіи современныхъ нравовъ, о томъ, что лягушки никогда не могутъ замѣнить того божественнаго упоенія, какое возбуждается сонатой Бетховена, сыгранною прекрасными пальчиками, и что наши предки тоже были скенциками, но скенцицизмъ не мѣшалъ имъ пѣнить все изящное и любить родину паче жизни. Подобная рѣчь возбуждаетъ всеобщій смѣхъ въ легкомысленныхъ либералахъ, но чьи-нибудь глубокія синія очи затуманиваются томною задумчивостью подъ обаяніемъ рѣчи героя и загораются живымъ участіемъ, когда герою мимоходомъ среди споровъ удастся сбить съ толку отрицающаго гимназиста или до такой степени ошѣпить и сконфузить хвастливаго пана Бзексержанскаго, что панъ, схвативши свой конфедератку, быстро улетѣваетъ, кляня злобою и обѣщаясь мстить герою до смерти.

Затѣмъ обыкновенно герой опредѣляется на государственную или земскую службу въ качествѣ мирового посредника, судебнаго слѣдователя или чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ, и здѣсь начинается уже серьезная борьба героя со зломъ, угрожающимъ основамъ и окраинамъ. Зло это представляется въ двоякомъ конечно видѣ: 1) въ видѣ коварной польской интриги, осуществленной во образѣ пана Бзексержанскаго, который подъ предлогомъ служенія своей отчизнѣ на самомъ дѣлѣ только о томъ и помышляетъ, какъ-бы ему ехидно отомстить герою романа за понесенную въ присутствіи синеокой дѣвы обиду; 2) въ видѣ многоглавой гидры нигилизма, который изображается въ романахъ не иначе какъ нанурговымъ стадомъ саврасовъ безъ узды, возмущающихъ крестьянъ, подсовывающихъ въ карманы героя возмутительныя про-

кламація, посягающихъ наконецъ на самую жизнь героя,—и все это не по собственному побужденію, а подъ влияніемъ все той-же польской интриги. Въ борьбѣ со всѣми этими исчадіями ада герой бываетъ оклеветанъ и попадаетъ подъ судъ; его отравляютъ; нѣсколько разъ истекаетъ онъ кровью отъ нанесенныхъ ранъ, но въ концѣ концовъ все-таки выходитъ сухимъ изъ воды, побѣда и посрама вокругъ себя все и вся: и польскую интригу, и панургово стадо нигилизма. Вариации составляютъ тѣ современные событія, которыя стоятъ на первомъ планѣ. Если авторъ главное вниманіе обращаетъ на польскую интригу, онъ посылаетъ героя въ западный край, и тотъ тамъ геройствуетъ на славу; если-же романистъ напираетъ на панургово стадо, то герой ѣдетъ въ Петербургъ въ самый разгаръ движенія шестидесятыхъ годовъ и вращается здѣсь въ различныхъ студенческихъ, нигилистическихъ или литературныхъ кружкахъ; или-же отправляется за-границу, сталкивается тамъ съ русскими эмигрантами и на возвратномъ пути спасаетъ отъ гибели какого-нибудь юнца, выбросивши за бортъ парохода пукъ прокламацій, которыя юный спутникъ везъ неблагоразумно въ отечество.

Въ перемежку между всѣми этими общественными подвигами идутъ любовныя приключенія героя. Въстѣ со всѣми героическими качествами онъ конечно уже обладаетъ и даромъ покорять женскія сердца. Женщины взапуски влюбляются въ него съ первой встрѣчи, и у героя обыкновенно въ большинствѣ романовъ проходятъ три вида любви: одна любовь имѣетъ игривый и скабресный характеръ; предметомъ ея является или роскошная губернаторша въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, опутывающая героя чарами кокетства, или супруга закадычнаго друга, съ которой герой, не любящій осквернять чужихъ супружескихъ ложей, вовсе не думалъ близко сходитьсѣ, но совершенно случайно ему пришлось ночевать съ нею въ двухъ смежныхъ комнатахъ, и онъ сдѣлался нечаянно жертвою ея страстности. Другая любовь, вспыхивающая внезапно, какъ ураганъ, доводящая героя до высшаго экстаза страстности и повергающая его въ крайнее изнеможеніе и нравственное ослѣпленіе, это—любовь къ какой-нибудь юной полькѣ, вродѣ сестры пана Бзексержинскаго, а не то къ россиянкѣ, жаждущей широкаго простора жизни, уносящейся въ волны нигилизма и гибнущей какой-нибудь кровавой смертью, положимъ хоть на баррикадѣ во время осады Парижа. Наконецъ третья любовь, постепенно развивающаяся, неслышная, незамѣтная сначала, но зато впоследствии самая глубокая, истинная и безконечная, это—любовь къ той синеской дѣвѣ, которая, въ pendant герою, представляетъ собою типъ коренной русской женщины, стремящейся къ семейному очагу, свято охраняющей основы и неспособной къ какимъ-либо мишурнымъ увлеченіямъ и легкомысленнымъ отрицаніямъ. Съ этой во всѣхъ отношеніяхъ идеальной своей суженой герой почиваетъ отъ всѣхъ своихъ трудовъ и, оставши охранять отечество собственной грудью, посвящаетъ остатокъ дней воспитанію въ деревенской тиши новыхъ будущихъ охранителей.

Къ этому ко всему слѣдуетъ присоединить неудержимую, чисто какую-то лакейскую страсть изображать въ обольстительномъ свѣтѣ великосвѣтскіе нравы, балы, рауты, придворные выходы и приемы, парадные обѣды, пирушки золотой молодежи и пр., пр.,—страсть, побудившая Достоевскаго обозвать писателей этого рода „коленкоровыхъ манишекъ безпопадными Ювеналами“.

II.

Но прежде чѣмъ выработался подобнаго рода шаблонъ, и реакціонный романъ окончательно застылъ въ немъ, онъ пережилъ переходный періодъ въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, составляющій мостъ отъ реакціонныхъ романовъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ къ беллетристикѣ *Русскаго Вѣстника* семидесятыхъ годовъ. Дѣло въ томъ, что прогрессивныя идеи шестидесятыхъ годовъ не сразу уступили свое господство противоположнымъ имъ реакціоннымъ принципамъ. Было время, когда люди, рѣшительно склонившіеся на путь реакціи, все еще оставались до извѣстной степени вѣрны идеямъ шестидесятыхъ годовъ и ратовали противъ партіи движенія во имя именно этихъ самыхъ идей, отрицая не самое движеніе, а тѣ безобразныя формы, какія оно пріяло вслѣдствіе того, что люди съ одной стороны не понимали тѣхъ идей, за которыя ратовали, не доразвили еще до нихъ, а съ другой — были слишкомъ искалѣченными дурными условиями прежнихъ порядковъ.

Такимъ первымъ обличителемъ демократовъ съ ихъ-же точки зрѣнія явился Викторъ Петровичъ Ключниковъ. Родомъ изъ дворянъ, онъ родился 10-го марта 1841 года въ смоленской губерніи, въ гжатскомъ уѣздѣ. Дѣтство провелъ въ Москвѣ. Воспитывался первоначально въ частномъ пансіонѣ; затѣмъ въ 1851 году поступилъ въ 4-ю московскую гимназію, преобразованную въ это время изъ бывшаго дворянскаго института. Втеченіе гимназическаго курса пользовался руководствомъ нѣкоторыхъ членовъ кружка Станкевича, напримѣръ поэта Красова, преподававшаго русскую словесность, и др. Кончивши гимназическій курсъ съ золотою медалью, Ключниковъ въ 1857 году поступилъ въ московскій университетъ по естественному отдѣленію физико-математическаго факультета. По окончаніи курса въ 1861 году со степенью кандидата, Ключниковъ уѣхалъ въ свое имѣніе харьковской губерніи, сумскаго уѣзда, гдѣ провелъ лѣто и осень вмѣстѣ съ своимъ дядей, поэтомъ сороковыхъ годовъ, И. П. Ключниковымъ, имѣвшимъ сильное вліяніе на ходъ его развитія. Въ 1862 году, вернувшись въ Москву, онъ поступилъ на службу въ 8-й департаментъ правительствующаго сената. Прослуживъ здѣсь около года помощникомъ секретаря, Ключниковъ занялся педагогическою дѣятельностью, а затѣмъ вскорѣ совсѣмъ оставилъ службу и всецѣло посвятилъ себя литературѣ. Въ 1864 году былъ напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* первый романъ его *Марево*, обратившій на себя вниманіе публики и доставившій автору извѣстность. Послѣ того Ключниковъ занялся при редакціи *Русскаго Вѣстника* переводами, преимущественно съ англійскаго языка (такъ большая часть романа Диккенса *Нашъ общій другъ* переведена имъ). Въ 1866 году напечатанъ былъ имъ въ *Литературной библіотекѣ*, второй романъ *Большіе корабли* не имѣвшій уже успѣха и мало обратившій на себя вниманія.

Въ концѣ 1868 года Ключниковъ пріѣхалъ въ Петербургъ по приглашенію покойнаго издателя *Зари* В. В. Кашперова, и состоялъ постояннымъ сотрудникомъ этого журнала до 1870 года, когда былъ утвержденъ редакторомъ только-что основаннаго журнала *Нива*. Съ этого времени Ключниковъ окончательно отдался редакторской дѣятельности: до 1876 года въ журналѣ *Нива*, а затѣмъ по составленію

шешуся подъ его редакцію *Всенаучному* (эциклопедическому) словарю. Въ 1880 г. Ключниковъ вернулся въ Москву и былъ сотрудникомъ *Московскихъ Вѣдомостей*. Съ 1883 по 1886 годъ завѣдывалъ *Русскимъ Вѣстникомъ*, а съ 1887 года снова сталъ редакторомъ *Нивы*. Сверхъ вышеупомянутыхъ романовъ, кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ разсказовъ и статей, преимущественно по искусству, Ключниковъ написалъ двѣ повѣсти для дѣтей: *Другая жизнь* (1865 г.) и *Государь-отрокъ* (1880 г.)

Воспитаніе въ идеалистическомъ духѣ людьми сороковыхъ годовъ не замедлило сказаться въ произведеніяхъ Ключникова. Вѣрный демократическимъ идеямъ этой эпохи, онъ тѣмъ не менѣе не могъ оцѣнить прямо изъ сороковыхъ годовъ вышедшее движеніе шестидесятыхъ годовъ, такъ какъ въ движеніи этомъ искалъ не одного осуществленія завѣтныхъ стремленій своихъ отцовъ и дальнѣйшаго развитія ихъ идей, а идеальныхъ людей, у которыхъ дѣло ни на одну іоту не расходилось-бы съ словомъ и въ каждомъ своемъ поступкѣ они неизмѣнно осуществляли-бы свои идеалы и принципы. Отсутствіе такихъ воплощенныхъ идеаловъ въ жизни и привело Ключникова къ полному отрицанію всего движенія шестидесятыхъ годовъ. Такъ въ романѣ *Марево* героиня Нина является дочерью одного изъ передовыхъ людей сороковыхъ годовъ, вокругъ котораго, по словамъ автора, какъ вокругъ центра, группировалось одно время все мыслящее въ Россіи. Непонятый своимъ вѣкомъ, не найдя никакого исхода своимъ стремленіямъ, онъ зачахъ и умеръ на рукахъ дочери, въ которую вложилъ весь пылъ своихъ неудовлетворенныхъ, осмѣянныхъ стремленій: „Если ты пойдешь по пути, завѣщенному тебѣ отцомъ, ты будешь его мстителемъ, потому что въ тебя вложены великія силы... Если ты пойдешь противъ отца, я не осужу тебя; свобода прежде всего; но неужели моя Нина пойдетъ противъ отца...“

И вотъ Нина вступаетъ въ вихрь современнаго движенія и въ толпу приверженцевъ этого движенія не изъ одного увлеченія модными идеями, а ради исполненія завѣщанія отца, какъ мстительница за его погубленную жизнь; но рядъ тяжелыхъ опытовъ приводитъ ее къ горькому разочарованію и убѣжденію, что все движеніе представляется ничѣмъ инымъ, какъ маревомъ, миражемъ, а поборники его—рядъ вопіющихъ противорѣчій высокіхъ идей съ дрянными или низкими поступками.

«Всѣ формы жизни, говоритъ она, прошли передо мною; всѣ направленія дѣятельности сталкивались вокругъ меня, ломая и уничтожая другъ друга; я увлекалась то тѣмъ, то другимъ, но приступить не могла ни къ одному. Какъ только я осматривалась въ новомъ положеніи настолько, что затаенная ложь, не чуждая ни одной партіи, начинала мнѣ сквозить черезъ декоративную внѣшность, я чувствовала себя разбитою, уничтоженною, замирала на время для жизни, замыкалась въ самой себѣ. Я не проклинала прежнихъ товарищей, я молча удалялась отъ нихъ; они честили меня измѣниницей святому дѣлу и прочими кличками, къ которымъ только теперь я совершенно равнодушна,—только теперь, когда всѣ стремленія мои разбиты дѣйствительностью, когда я разочаровалась въ себѣ и во всемъ, за что жертвовала собою. Годъ тому назадъ я сошлась съ людьми, которые казались мнѣ поборниками правды, добра, свободы, всего не потерявшаго для меня и до сихъ поръ своего истиннаго смысла. Теперь я вижу насквозь эту горсть честолюбцевъ, жадно рвущихъ другъ у друга власть, какъ стая коршуновъ тащить другъ у друга изъ клюва требуху дохлой скотины. Я видѣла эту знаменитую борьбу, въ которой свобода народовъ—звучный предлогъ для возвышенія однихъ тирановъ на счетъ другихъ; я знаю всѣ ихъ средства къ

достиженію цѣли самой низкой, прикрытой маской національности. Я стояла лицомъ къ лицу съ тѣмъ самымъ народомъ, съ которымъ они загрывали до поры до времени. Это было послѣднею гирею на колеблющіеся вѣсы... Нѣтъ словъ выразить презрѣнія, нѣтъ мѣрки для ненависти, которыя почувствовала я къ нимъ. Я съ ужасомъ отвернулась назадъ... Тамъ, за мною осталась Вѣрочка, сперва творившая себѣ потѣху изъ науки, а потомъ заигравшая въ революцію; тамъ былъ Ваня, сразу принявшійся за разрушеніе троновъ; тамъ наконецъ накопилась мелюзга, уже въ сравненіи съ которою эти дѣти казались гигантами... Я осталась одна на своей призрачной высотѣ, изломанная, искалѣченная, безъ всякой охоты къ жизни, безъ всякой вѣры въ будущность...>

Отвергнувши такимъ образомъ все современное движеніе вслѣдствіе нравственной несостоятельности приверженцевъ его, Ключниковъ подобно Писемскому почилъ на исконныхъ народныхъ началахъ въ духѣ квасного патріотизма и домостроя, олицетвореніемъ вѣрности которымъ и является герой романа Русановъ, скроенный вполнѣ по вышеозначенному шаблону всѣхъ консервативныхъ романовъ.

III.

Рядомъ съ Ключниковымъ такимъ-же обличителемъ новыхъ людей во имя ихъ-же идей является передъ нами *Николай Семеновичъ Лѣсковъ*, долгое время бывший болѣе извѣстнымъ публикѣ подъ псевдонимомъ *М. Стебницкаго*. Онъ происходитъ изъ дворянской семьи; родился 4-го февраля 1831 въ селѣ Гороховѣ, орловской губерніи и уѣзда; дѣтскіе-же годы провелъ въ другомъ селеніи той-же губерніи, пронскаго уѣзда, с. Панинѣ. Воспитаніе получилъ онъ въ орловской гимназіи. Осиротѣвъ шестнадцатилѣтнимъ юношей, рано принужденъ онъ былъ содержать себя тяжкимъ трудомъ, терпя нужду и всякія невзгоды, такъ какъ все имущество, оставшееся послѣ отца, сгорѣло въ эпоху большихъ орловскихъ пожаровъ сороковыхъ годовъ. Сперва онъ служилъ недолго на государственной службѣ, потомъ на частной, требовавшей частыхъ разъѣздовъ. Эти разъѣзды дали ему возможность близко познакомиться съ бытомъ всѣхъ сословій, вынести массу самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній. Обогащенный такимъ образомъ знаніемъ жизни и владѣвшій отъ природы недюжиннымъ талантомъ, Лѣсковъ, выступивъ на литературное поприще въ 1860 году, быстро приобрѣлъ литературную извѣстность. Исполняя разнообразныя литературныя работы, онъ вращался въ самыхъ передовыхъ и либеральныхъ кружкахъ, и никто не подозрѣвалъ въ немъ будущаго гонителя того самаго движенія, приверженцемъ котораго онъ въ то время являлся. До сихъ поръ сохранилась еще фотографическая карточка, на которой Лѣсковъ является снятымъ вмѣстѣ съ Д. Д. Минаевымъ. Но нѣсколько неосторожныхъ словъ по случаю петербургскихъ пожаровъ 62-го года, оброненныхъ въ фельетонѣ въ *Сѣверной пчелѣ*, словъ самихъ по себѣ совершенно невинныхъ, но не совсѣмъ тактичныхъ, подняли страшную бурю въ то горячее и тревожное время. Вся крайняя пресса накинулась на Лѣскова, какъ на подстрекателя полиціи и толпы противъ учащейся молодежи, какъ на отступника, перекинувшагося въ противный лагерь. Началась положительная травля; имя Стебницкаго сдѣлалось чуть не браннымъ словомъ. Этотъ неожиданный инцидентъ такъ потрясъ Лѣскова и въ концѣ

концовъ ожесточилъ, что онъ и въ самомъ дѣлѣ сдѣлался перебѣжчикомъ, и первымъ результатомъ озлобленія былъ романъ *Некуда*, появившійся въ 1865 году.

Самое заглавіе романа показываетъ, что онъ носитъ тотъ-же общій характеръ разочарованія движеніемъ, какъ *Взбаломученное море* Писемскаго, какъ *Марево* Ключникова и *Дымъ* Тургенева. Если движеніе это ни что иное, какъ мыльные пузыри, марево, дымъ, то, конечно, лучшимъ людямъ дѣться *некуда*—російская земля сошлась для нихъ клиномъ: все старое никуда не годится, новое несостоятельно,—остается ложиться въ холодныя могилы. Лѣсковъ употребилъ буквально тѣ-же приемы, что и Ключниковъ: на первый планъ выдвинуты имъ два положительныя типа: идеальный социалистъ Райнеръ и столь-же идеальная социалистка Лиза Бахарева. Подобно Иннѣ, Райнеръ воодушевленъ смертью своего отца, разстрѣяннаго швейцарскаго революціонера. Разочаровавшись въ европейской жизни, Райнеръ ѣдетъ въ Россію, предполагая найти въ ней самородный социализмъ, коренящійся на чисто-народной почвѣ, но находитъ толпу растленныхъ нигилистовъ. Въ отчаяніи кидается онъ въ польское возстаніе, предполагая тамъ обрѣсти искомый социализмъ; но и тамъ не находитъ, и кончаетъ жизнь плѣномъ и разстрѣліемъ. Съ своей стороны Лиза Бахарева, непонятая и угнетенная въ семейной жизни, ждетъ выхода изъ нея въ современномъ движеніи, бросается въ толпу тѣхъ-же коварныхъ нигилистовъ; но разочаровавшись въ нихъ, не знаетъ, куда преклонить голову, находитъ, что дѣться *некуда*, и томится жаждою труда, не зная за что приняться, пока зрѣлище смерти Райнера не потрясаетъ всей ея природы, и тогда, поверженная на смертный одръ, она умираетъ въ кругу благонамѣренныхъ друзей своихъ, оплакавшихъ въ ней несчастную жертву современнаго движенія.

Подобно герою романа Ключникова Русанову благонамѣренныя друзья Лизы совѣщались въ себѣ съ здравымъ смысломъ всевозможныя доблести патриотическія и семейныя. Такъ напримѣръ, описывая свадьбу Жени Главацкой, Лѣсковъ не преминулъ упомянуть, какъ сообразно съ праотеческими обычаями къ дѣвственной кровати Жени была смѣло и твердо приставлена другая кровать, какъ монахиня Теокиста, показывая по спальнѣ, то оправляла оборки подушекъ, то осматривала кофту, то передвигала мужскія и женскія туфли новобрачныхъ; какъ затѣмъ молодая жарко молилась съ монахиней о ниспосланіи брака честна и соблюденіи ложа нескверна, и затѣмъ авторъ объявляетъ, что мы не имѣемъ права далѣе оставаться въ этой комнатѣ, и тѣмъ заканчиваетъ картину благонамѣреннаго и благочестиваго брака. Но этимъ только и ограничивается сходство романовъ Стебницкаго и Ключникова.

Далѣе мы видимъ радикальное ихъ различіе въ томъ отношеніи, что Ключниковъ въ своемъ романѣ остается въ предѣлахъ художественнаго творчества: онъ изобразилъ одни общіе типы. Лѣсковъ-же вывелъ въ своемъ романѣ рядъ портретовъ живыхъ людей, по большей части общезвѣстныхъ, участвовавшихъ въ движеніи того времени и лично ему знакомыхъ. Такъ многіе узнали въ романѣ возбуждавшую въ то время большую сенсацію *знаменскую коммуну*, Слѣпцова и пр. Сами герои *Некуда* Лиза Бахарева и Райнеръ (извѣстный въ то время врачавшійся среди кружковъ Артуръ Бенц),— въ свою очередь портреты живыхъ людей. Но изображенныя лица увидѣли себя въ крайне каррикатурномъ видѣ. Масса дикихъ слуховъ и безобразныхъ

слетены, ходившихъ въ то время въ взволнованномъ обществѣ, воспроизведены Лѣсковымъ въ его романѣ, какъ несомнѣнныя истины. Все это низводитъ романъ на степень желчнаго и злобнаго политическаго памфлета, и нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ встрѣтилъ въ литературѣ и въ мало-мальски мыслящихъ кругахъ общества дружное негодованіе. Послѣ выхода въ свѣтъ романа Лѣсковъ подвергся новымъ порицаніямъ и нападеніямъ со стороны всей либеральной прессы. Это еще болѣе озлобило его. Онъ разразился массою всякаго рода и беллетристическихъ, и публицистическихъ статей, очерковъ, повѣстей, воспоминаній, характеристикъ самаго памфлетически-желчнаго, необузданно-злобнаго характера. Наконецъ онъ дописался до романа *На ножжахъ*, появившагося въ половинѣ семидесятыхъ годовъ. Въ романѣ этомъ озлобленіе автора доходитъ положительно до бѣшенства, до галлюцинацій. Нигилисты рисуются здѣсь экстрактами всѣхъ семи смертныхъ грѣховъ. Это чудовища, помышляющія лишь о наживѣ, и ради нея готовы на самыя ужасныя злодѣянія. Самыя заглавія частей показываютъ вамъ, какія нестыовыя ужасы изображаются въ романѣ: 1) *Боль врача ищетъ*, 2) *Бездна призываетъ бездну*, 3) *Кровь*, 4) *Мертвый узелокъ*, 5) *Темныя силы*, 6) *Черезъ край*.

По счастью одними политическими памфлетами не ограничивается литературная дѣятельность Лѣскова. Онъ написалъ массу повѣстей и разсказовъ, чуждыхъ политическихъ тенденцій, и въ этихъ разсказахъ обнаружилъ весьма недюжинный талантъ и разностороннее знаніе русской жизни. Особенно въ этомъ отношеніи славится романъ его *Соборяне*, знакомящій насъ весьма обстоятельно съ бытомъ сельскаго духовенства. Большую сенсацію возбудили вышедшія въ свѣтъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ *Архіерейскія мелочи*, рядъ бытовыхъ картинъ, обличающихъ нѣкоторыя весьма темныя стороны быта нашей высшей духовной іерархіи.

Очерки эти возбудили такую-же бурю въ консервативномъ лагерѣ, какую романъ *Некуда* произвелъ въ либеральномъ. Авторъ и въ правительственныхъ сферахъ впалъ въ немилость. Въ послѣднее время онъ пишетъ произведенія, чуждыя какихъ-либо опредѣленныхъ политическихъ тенденцій, и остается на нейтральной почвѣ то исторической, то бытовой беллетристики. Между прочимъ онъ пристрастился къ Прологамъ и очень часто почерпаетъ изъ нихъ сюжеты, которые обрабатываетъ въ археологическомъ стилѣ, стараясь подражать языку и манерѣ этой повѣствовательной литературы первыхъ вѣковъ христіанства.

IV.

Далѣе слѣдуютъ писатели, отличающіеся полнымъ отрицаніемъ всего движенія шестидесятыхъ годовъ, причемъ одни изъ нихъ отрицаніе свое основываютъ на началахъ officialнаго патріотизма, другіе-же проповѣдуютъ аристократическія тенденціи въ московскомъ духѣ.

Изъ числа первыхъ самымъ выдающимся является Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій. Онъ родился 11 февраля 1840 г. въ кievской губерніи, таращанскаго уѣзда, въ имѣніи своей бабушки, селѣ Малая Березайка. Здѣсь-же протекло его дѣтство и онъ получилъ первоначальное образованіе. Въ 1850 году онъ былъ отвезенъ

въ Петербургъ и опредѣленъ въ 1-ю гимназію, по окончаніи курса въ которой въ 1856 году, поступилъ въ петербургскій университетъ на филологическій факультетъ, но пробылъ въ университетѣ не болѣе двухъ лѣтъ и вышелъ изъ второго курса, увлеченный первыми литературными успѣхами.

До 1868 года Вс. Крестовскій занимался и существовалъ исключительно литературными трудами; въ началѣ-же этого года внезапно поступилъ юнкеромъ въ 14-й уланскій полкъ, черезъ два года былъ произведенъ въ корнеты, а въ 1871 году—командированъ въ Петербургъ для составленія *Исторіи Ямбургскаго полка*, гдѣ вскорѣ произведенъ въ поручики. Затѣмъ въ самомъ началѣ 1874 г., когда *Исторія Ямбургскаго уланскаго полка* была написана и отпечатана, составивши большой томъ въ 54 листа, онъ былъ представленъ Государю Императору и Августѣйшему Шефу полка Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Маріи Александровнѣ, незадолго до ея бракосочетанія. Въ награду за этотъ трудъ онъ былъ переведенъ въ лейбъ-гвардію уланскій Его Величества полкъ тѣмъ-же чиномъ, въ который онъ былъ произведенъ 20-го января 1874, а въ 1877 году, состоя при штабѣ главнокомандующаго въ качествѣ исторіографа войны, онъ сдѣлалъ весь послѣдній турецкій походъ, причѣмъ переходилъ Балканы и былъ въ Адрианополѣ. Въ настоящее время Крестовскій состоитъ при штабѣ гвардейскаго корпуса и проживаетъ въ Петербургѣ.

Писать Крестовскій началъ съ четвертаго класса гимназіи, причѣмъ небольшое сочиненіе его на заданную тему—*Вечеръ послѣ грозы*—обратило на себя вниманіе гимназическаго начальства и въ томъ числѣ учителя словестности В. И. Водовозова, который не замедлилъ приблизить къ себѣ талантливаго мальчика, и безъ сомнѣнія благотворному вліянію этого опытнаго педагога былъ обязанъ Крестовскій первыми шагами развитія своего таланта. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что втеченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ пребыванія въ гимназіи Крестовскій конечно подъ руководствомъ своего наставника перевелъ почти половину *Оды* и всю книгу *Эподъ* Горация, четыре первыя пѣсни *Энеиды* и цѣлый рядъ стихотвореній Гейне, изъ которыхъ многія впослѣдствіи явились на страницахъ разныхъ журналовъ,—и это были годы наиболѣе почтенной и плодотворной литературной дѣятельности В. Крестовскаго, въ неизмѣримой степени полезнѣйшей, чѣмъ вся остальная его дѣятельность въ періодъ зрѣлости.

Первыми печатными произведеніями Крестовскаго были переводъ оды Горация къ *Хлоръ*, помѣщенный въ *Общезанимательномъ Вѣстникѣ* на 1857 годъ и напечатанный тамъ-же стихотворный рассказъ *Безъ дочери*. Первый прозаическій рассказъ Крестовскаго былъ помѣщенъ въ *Иллюстраціи* за 1858 годъ. Затѣмъ въ *Русскомъ Мирѣ* и *Библиотекѣ для чтенія* на 1859 годъ были напечатаны двѣ повѣсти его: *Любовь дворовыхъ* и *Не первый и не послѣдній*, въ *Свѣточѣ* 1860 г.—повѣсть *Бьсенокъ*, во *Времени* 1861 г.—рассказъ *Пошибшее, но милое созданіе*, въ 1860 г.—повѣсти *Пчельникъ* и *Сфинксъ*—въ *Русскомъ Словѣ* и пр. Одновременно во всѣхъ почти періодическихъ изданіяхъ выходила масса его стихотвореній, оригинальныхъ и переводныхъ.

Всѣ эти произведенія Вс. Крестовскаго не остались незамѣченными публикою и до-стали автору извѣстность, какъ писателя несомнѣнно талантливаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ

всѣ они подѣрядъ отличаются поверхностностью и легкомысліемъ. Очевидно было, что плывя по теченію, В. Крестовскій не врѣзывался въ него глубоко, а скользилъ по поверхности. Обо всѣхъ тревожившихъ въ то время общество вопросахъ онъ судилъ скандачка, придавая имъ видъ беззавѣтной пошлости, такъ напримѣръ въ женскомъ вопросѣ онъ ничего не видѣлъ кромѣ одной эмансипаціи чувственности, и вслѣдствіи этого въ началѣ шестидесятыхъ годовъ наиболѣе прославился восгиваніемъ и въ стихахъ, и въ прозѣ разнаго рода погибшихъ, но милыхъ созданій, начиная съ древнегреческихъ гетеръ и кончая современными гризетками. Такую-же легковѣсность обнаружилъ В. Крестовскій и въ первомъ своемъ большомъ произведеніи—*Петербуржскихъ трущобахъ*, романѣ, печатавшемся въ *Отечественныхъ Запискахъ* съ 1864-го по 1867 годъ, и изданномъ потомъ отдѣльно въ 1867 г. подѣ заглавіемъ *Петербургскія трущобы, книга о сытыхъ и голодныхъ, романъ въ шести частяхъ, четыре тома*. Нужно-ли и говорить о томъ, что тема романа, которую, какъ мы видѣли выше, наибѣчалъ уже Помяловскій, оказалась совершенно и не по таланту, и не по средствамъ автора. Онъ и не думалъ предпосылать ему то основательное и глубокое изученіе петербургской жизни во всѣхъ ея слояхъ, какого требовала подобная тема; собравши налету кое-какія свѣдѣнія и факты, В. Крестовскій написалъ романъ совершенно въ духѣ французскихъ бульварныхъ романовъ съ запутанною интригою и разными мелодраматическими ужасами.

То насмѣшливое и нѣсколько презрительное отношеніе, какое встрѣтили произведенія В. Крестовскаго въ либеральныхъ кружкахъ, раздражили его самолюбіе, озлобили его. Онъ отшатнулся отъ этихъ кружковъ, и съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе сближался съ людьми реакціоннаго образа мыслей. Съ поступленіемъ-же въ военную службу В. Крестовскій окончательно вступилъ въ ряды реакціонеровъ, и вотъ въ 1869 г. въ *Русскомъ Вѣстникѣ* появился романъ его въ трехъ частяхъ *Панурово стадо*, а въ 1874 году тамъ-же былъ напечатанъ романъ *Дѣт сими*, составляющій продолженіе *Панурова стада*. Оба романа вышли отдѣльнымъ изданіемъ въ 1875 г. подѣ общимъ заглавіемъ *Кровавый пугъ*.

Нужно-ли и говорить, что и эти романы отличаются тою-же поверхностностью и легковѣсностью, какъ и прочія произведенія В. Крестовскаго. Самое заглавіе перваго романа показываетъ, какъ смотрѣлъ В. Крестовскій на все движеніе шестидесятыхъ годовъ: онъ отрицалъ въ немъ всякую самостоятельность и самобытность, всякую органическую связь съ процессомъ развитія русской мысли и считалъ всецѣло искусственнымъ вліяніемъ польской интриги. И въ свою очередь, какъ и въ *Петербуржскихъ трущобахъ*, вы ничего не найдете въ политическихъ романахъ Крестовскаго, кромѣ нагроможденія мелодраматическихъ ужасовъ.

У.

Болеславъ Михайловичъ Маркевичъ родился въ С.-Петербургѣ въ 1822 году. Образованіе получилъ въ Одессѣ въ рিশельевскомъ лицей, въ 1842 году поступилъ на службу въ с.-петербургскую палату государственныхъ имуществъ. Мы не будемъ перечислять всѣхъ его служебныхъ постовъ, какіе онъ занималъ въ своей многолѣтней

службѣ до 1874 года, когда въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и въ званіи камергера онъ былъ въ 24 часа уволенъ со службы при министерствѣ народнаго просвѣщенія, заподозрѣнный въ любостязаніи, обнаруженномъ имъ въ содѣйствіи Ѳ. П. Баймакову при покупкѣ *С. - Петербургскихъ Видомостей*. Умеръ онъ 18 ноября 1884 года отъ аневризма. Въ романахъ своихъ, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны *Четверть вѣка назадъ*, *Переломъ* и *Бездна* (послѣдній романъ остался неконченнымъ за смертью автора), В. Маркевичъ въ большей степени, чѣмъ всѣ прочіе беллетристы этой школы, обнаруживалъ холопскія благоговѣніе и млѣніе передъ всѣмъ великосвѣтскимъ, надъ чѣмъ такъ зло посиѣялся Ѳ. Достоевскій въ своемъ *Дневникѣ*. На первомъ планѣ во всѣхъ этихъ романахъ парадруютъ князья и графы, рисуясь конечно ужъ самыми доблестными хранителями культурныхъ традицій.

Впрочемъ это охраненіе не мѣшаетъ сіятельнымъ героямъ В. Маркевича очень усердно заниматься по части клубнички, и авторъ съ немалымъ вождедвіемъ изображаетъ амурныя и адюльтерныя шалости ихъ, что придаетъ романамъ В. Маркевича характеръ какого-то слюняваго селадонства. Къ этому слѣдуетъ еще присоединить бюрократическую казенную точку зрѣнія на всѣ явленія русской жизни, оцѣнивающую людей по табели о рангахъ, а дѣла ихъ по уголовному кодексу, — и вы составите полное кончатіе объ этой особеннаго рода беллетристикѣ, прямо и всецѣло вышедшей изъ сферы канцелярій и бюрократическихъ салоновъ.

Василій Григорьевичъ Авсеенко родился 5-го января 1842 г. въ московской губ. въ дворянской семьѣ. Въ 1852 г. поступилъ въ 1-ю петербургскую гимназію, гдѣ подъ вліяніемъ В. И. Водовозова и соревнуя товарищамъ Вс. Крестовскому и Ап. Кускову, рано началъ пописывать стихи, изъ которыхъ одно впоследствии появилось безъ его вѣдома въ *Модномъ магазинѣ* Софьи Мей подъ псевдонимомъ В. Порошилова. Но кончить гимназическій курсъ пришлось ему въ 1-й кievской гимназіи, такъ какъ отецъ его переселился вслѣдствіе болѣзни въ Кіевъ. Въ 1859 году Авсеенко поступилъ на филологическій факультетъ кievскаго университета и въ 1862 году, кончивъ курсъ со степенью кандидата, имѣлъ намѣреніе посвятить себя профессорской дѣятельности по кафедрѣ всеобщей исторіи. Защитивъ pro venia legendi рѣсужденіе *Итальянскій походъ Карла VIII и его послѣдствія для Франціи*, съ осени 1863 г. онъ началъ читать лекціи новой исторіи въ качествѣ приватъ-доцента. Но, какъ объясняетъ Авсеенко въ своихъ воспоминаніяхъ, непріятныя отношенія факультета и обусловленное этимъ незначительное количество слушателей уже черезъ полгода заставили его отказаться отъ профессорской дороги, и онъ всецѣло посвятилъ себя литературной дѣятельности, которую началъ, будучи еще студентомъ, съ 1860 года, и въ 1863 году былъ уже помѣщенъ рядъ большихъ историческихъ статей его въ *Русскомъ Вѣстникѣ* и *Отечественныхъ Запискахъ*. Съ 1864-го по 1866 годъ Авсеенко былъ ближайшимъ помощникомъ В. Я. Шульгина по веденію только-что основаннаго тогда *Кievлянина*, а временами и главнымъ руководителемъ этой газеты, производившей въ то время почти такую-же сенсацію, какъ и *Московскія Видомости*, причѣмъ авторъ многихъ передовыхъ статей, громившихъ разные измы, былъ имено Авсеенко.

Въ 1865 году Авсеенко подъ псевдонимомъ В. Порошилова напечаталъ въ *Рус-*

скомъ *Вѣстникъ* свою первую повѣсть *Бура*, за которою послѣдовалъ небольшой рассказъ *Тронутые*, въ фельетонахъ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей* 1866 года.

Въ 1869 г. Авсѣенко сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ возникшей тогда *Зари* Кашширева, гдѣ помѣстилъ рядъ повѣстей, романовъ и критическихъ статей. Съ прекращеніемъ *Зари* онъ перешелъ съ 1871 г. въ *Русскій Миръ*, гдѣ велъ критическій фельетонъ подъ инициалами А. О. и напечаталъ нѣкоторые рассказы.

Въ то-же время втеченіе семидесятихъ годовъ появился рядъ критическихъ статей его въ *Русскомъ Вѣстникѣ* подъ инициаломъ А. Кроме того Авсѣенко принималъ также участіе въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, *Гражданинѣ*, *Круизортѣ* и *Всемирной Иллюстраціи*, а въ 1883 г. взялъ на аренду *С.-Петербургскія Вѣдомости*, во главѣ которыхъ стоитъ и понынѣ.

Въ критическихъ статьяхъ своихъ Авсѣенко наиболѣе прославился своимъ самымъ рьянымъ мракобѣсіемъ. Онъ доходилъ до полнаго отрицанія всей современной русской литературы кромѣ небольшой горсти беллетристовъ *Русскаго Вѣстника*, не останавливаясь при этомъ даже и на такихъ именахъ, какъ Некрасовъ и Салтыковъ. Съ особеннымъ ожесточеніемъ нападалъ онъ на беллетристовъ-народниковъ, Рѣшетникова, Левитова и Гл. Успенскаго за то, что черезъ нихъ вся русская литература провоняла мужикомъ и отрѣшилась отъ пушкинскихъ традицій художественныхъ изображеній утонченныхъ нравовъ культурныхъ классовъ.

Замѣчательно при этомъ, что въ качествѣ беллетриста Авсѣенко постоянно стоялъ въ полномъ противорѣчій со своими критическими воззрѣніями. Правда, въ своихъ романахъ, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны *Млечный путь* (*Русскій Вѣстникъ* 1875 — 1876 годъ) и *Скрежетъ зубовой* (*Русскій Вѣстникъ* 1878 годъ), (онъ изображалъ исключительно одни культурные классы, но вовсе не въ томъ поэтическомъ ореолѣ, какъ этого требовалъ отъ беллетристовъ въ качествѣ критика и даже безъ того молитвеннаго млѣнія передъ великосвѣтскостью, какое обнаруживалъ Б. Маркевичъ. Напротивъ того и великосвѣтскіе, и бюрократическіе нравы рисуются въ его романахъ самыми мрачными красками, представляютъ картину полнаго разложенія.

Въ этомъ отношеніи Авсѣенко представляетъ замѣчательный въ своемъ родѣ примѣръ того разлада, который часто обнаруживаютъ писатели, обладающіе несомнѣнными талантами, когда они отдаются своимъ художественнымъ инстинктамъ, и творчество неудержимо ведетъ ихъ къ созданію образовъ, зависящихъ отъ впечатлѣній жизни, а не отъ тѣхъ или другихъ исповѣдуемыхъ доктринъ.

Такой-же разладъ обнаруживаетъ и Константинъ Оедоровичъ Головинъ, пишущій подъ псевдонимомъ Орловскаго. Онъ выступилъ на литературное поприще повѣстью *Серьезные люди*, напечатанною въ № 2 *Русскаго Вѣстника* за 1878 г., и затѣмъ втеченіе десяти послѣднихъ лѣтъ кромѣ всего прочаго ознаменовалъ свою литературную дѣятельность двумя большими романами *Внѣ колеи* и *Молодежь*. Въ обоихъ этихъ романахъ вы видите ту же двойственность, какъ и въ произведеніяхъ Авсѣенки: теоретически авторъ повидимому остается вполне вѣренъ реакціоннымъ стремленіямъ своего лагеря, между тѣмъ какъ изображаемые факты сами по себѣ говорятъ вамъ

нѣчто совершенно противоположное и приводить къ выводамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ возрѣніями автора.

Какъ на менѣ замѣчательныя по талантливости автора, но тѣмъ не менѣ произведшія въ свое время нѣкоторую сенсацію, укажемъ на повѣсти Василя Петровича Авенаріуса, появившіяся въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ — *Современная идиллія* и *Повѣтріе*, изданныя подъ общимъ заглавіемъ *Бродячія силы* (родился Авенаріусъ въ 1839 г. въ Царскомъ селѣ, воспитывался въ 5-й петербургской гимназіи, кончивши курсъ которой въ 1857 г., въ 1861 г. получилъ въ СПб. университетѣ степень кандидата естественныхъ наукъ. Нынѣ состоитъ на службѣ въ Собств. Его Имп. Велич. Канц. по учрежденіямъ Императ. Маріи). Вышеозначенныя повѣсти замѣчательны тѣмъ, что авторъ все движеніе шестидесятыхъ годовъ свелъ въ нихъ исключительно на одну сенсуальную почву, т. е. предположилъ, что все оно исчерпывается одною разнузданною эмансипаціею чувственности, и вслѣдствіе этого повѣсти Авенаріуса, и особенно *Повѣтріе*, исполнены такой грубой скабрзности, какая не бывала еще въ нашей литературѣ со временъ Баркова. Довольно сказать, что авторъ самъ устыдился грязныхъ порывовъ своего очевидно разстроеннаго воображенія и въ отдѣльномъ изданіи своихъ произведеній сократилъ нѣкоторыя слишкомъ ужъ откровенныя подробности.

Вслѣдствіи Авенаріусъ обратился на путь дѣтской беллетристики, и на этомъ поприщѣ дѣятельность его имѣла болѣе солидный и почтенный характеръ. Такъ онъ составилъ сводныя былины и издалъ ихъ подъ заглавіемъ *Книга о кievскихъ богатыряхъ*; издавалъ дѣтскія сказки свои и чужія, написалъ повѣсть, напечатанную въ *Родникѣ* 1885 г. *Отроческіе годы Пушкина* и пр.



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

I—Два періода историческаго романа въ Россіи. Характеристика перваго періода. Движеніе исторіографіи въ шестидесятые годы, подготовившее второй періодъ. II—Историческія повѣсти и романы Николая Ивановича Костомарова. III—*Князь Серебряный* Алексѣя Константиновича Толстого. *Война и миръ* Л. Н. Толстого. *Два портрета* И. С. Тургенева. *Старые годы* П. И. Мельникова. Историческіе романы Г. П. Данилевскаго, Данила Лукича Мордовцева и Евгенія Петровича Карновича. IV—Романы Е. Ан. Салиаса-де-Турнемира. Характеристика лубочнаго историческаго романа и представитель его Всеволодъ Сергѣевичъ Соловьевъ.

I.

Возникшая въ тридцатыхъ годахъ подъ вліяніемъ романтическаго движенія на Западъ и особенно подъ сильнымъ впечатлѣніемъ романовъ Вальтеръ-Скотта историческая беллетристика такъ привилась въ нашей литературѣ, что въ продолженіе пятидесяти лѣтъ успѣла пережить два періода своего процвѣтанія, рѣзко отличающіеся одинъ отъ другого.

Первый періодъ—эпоха романовъ Загоскина, Лажечникова, Н. Кукольника, Р. Зотова и пр. вполне соответствуетъ характеру и духу того времени, въ которое жили эти романисты.

Русская исторіографія въ то время только что возникла, и русскіе писатели, не исключая Пушкина, находились еще подъ сильнымъ вліяніемъ Карамзина, глядѣли на всѣ историческія событія нашего отечества съ его исключительно государственной точки зрѣнія. Правда, и въ то время были немаловажныя попытки выйти изъ рабскаго подчиненія взглядамъ Карамзина и приступить къ историческимъ изслѣдованіямъ съ болѣе широкимъ и сильнымъ кругозоромъ. Но одни изъ этихъ попытокъ, каковы напри- мѣръ историческіе труды професоровъ Каченовскаго и Погодина, ограничиваясь кропотливою критикою разныхъ специально-научныхъ вопросовъ, не шли далѣе аудиторій и не имѣли большого вліянія на публику и на ея литературныхъ представителей. Не могли освободить ее отъ рабскаго подчиненія взглядамъ Карамзина и Н. Ал. Полевой своей *Исторіей русскаго народа*, такъ какъ онъ въ свою очередь слишкомъ подчинялся идеямъ и доктринамъ западныхъ историковъ и не представилъ какихъ-либо новыхъ взглядовъ, которые свидѣтельствовали бы о самостоятельныхъ историческихъ изслѣдованіяхъ съ его стороны. Славянофильская школа находилась еще въ заро-

дышѣ и не успѣла ни вполнѣ развить, ни тѣмъ болѣе высказать свои оригинальныя идеи. Ко всему этому надо взять во вниманіе суровость цензурныхъ условій тридцатыхъ годовъ. Кругъ историческихъ изслѣдованій въ то время былъ еще крайне ограниченъ. Доступъ въ различные государственныя архивы очень затруднителенъ. Обо многихъ историческихъ фактахъ только и можно было имѣть свѣдѣнія изъ однихъ сомнительныхъ иностранныхъ источниковъ, но и подобныя свѣдѣнія приходилось держать про себя, потому что обо всѣхъ мало-мальски щекотливыхъ историческихъ фактахъ безусловно запрещалось даже и упоминать. Русская исторія кончалась въ то время царствованіемъ Петра I. Дозволялось кое-что сообщать о владычествѣ князя Меншикова и его внезапномъ низверженіи, о царствованіи Анны Іоанновны и о регентствѣ Вирона, но съ большою осторожностью. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что романъ Лажечникова *Ледяной домъ* хотя и былъ пропущенъ первымъ изданіемъ, но дальнѣйшія изданія были уже невозможны, и онъ долгое время считался книгою запрещенною. Наконецъ даже и тѣ событія, рѣчь о которыхъ допускалась въ печати, нельзя было обсуждать съ мало-мальски самостоятельной точки зрѣнія, которая хоть сколько-нибудь расходилась съ тѣмъ казеннымъ патріотизмомъ, который вѣнчался въ священную обязанность каждому русскому писателю.

При такихъ условіяхъ возникшія въ тридцатые годы русскія историческія романы не могъ представить почти ничего хоть сколько-нибудь классически-замѣчательнаго. Только такимъ гениальнымъ талантамъ, какъ Пушкинъ и Гоголь, удалось подарить русскую литературу двумя-тремя образцами исторической беллетристики высокаго достоинства, стоящими совершенно особнякомъ. Въ общемъ-же историческія романы тридцатыхъ годовъ, со всѣхъ сторонъ стѣсненный, обрѣзанный и подведенный подъ ранжиръ трехъ пресловутыхъ девизовъ того времени, представляетъ изъ себя нѣчто весьма жалкое. Онъ изображалъ лишь нѣкоторыя дозволенные эпохи болѣе или менѣе отдаленнаго времени, напримѣръ эпоху крещенія Руси (*Асколдова могила* Загоскина), Іоанна III (*Басурманъ* Лажечникова), Самозванцевъ (*Юрій Милославскій* Загоскина), войну Петра I со Шведами (*Послѣдній новикъ* Лажечникова) и пр. Объ историческихъ событіяхъ упоминалось лишь вскользь, или-же они рассказывались по Карамзину, высокимъ слоюзомъ съ дѣланымъ патріотическимъ одушевленіемъ. Нравы и всѣ аксессуары прошлой жизни при недостаткѣ у авторовъ археологическихъ свѣдѣній изображались въ самыхъ общихъ чертахъ и очень часто совершенно невѣрно.

Большая-же часть страницъ подобныхъ романовъ наполнялась обыкновенно исторіею сентиментальной любви двухъ, трехъ стереотипно добродѣтельныхъ героевъ, которые подвергались всевозможнымъ ужаснымъ приключеніямъ, нѣсколько разъ умирали и вновь воскресали, чтобы къ концу романа сочетаться законнымъ бракомъ. При такомъ развитіи сюжетовъ историческія романы тридцатыхъ годовъ пріобрѣтали вполнѣ романтически-сказочный характеръ. Публика зачитывалась ими, но истинные знатоки литературы и критики ставили ихъ весьма невысоко, и очень понятно, что съ развитіемъ и утвержденіемъ въ нашей литературѣ реализма, и подъ вліяніемъ критики Вѣдлинскаго подобный историческія романы должны были пасть, что и не замедлило съ нимъ случиться. Втеченіе пятидесятихъ годовъ онъ совсѣмъ исчезъ съ лите-

ратурной арены, гѣмъ болѣе, что при острой реакціи первой половины пятидесятихъ годовъ онъ не мыслимъ былъ даже и въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ представлялся въ тридцатые и сороковые годы.

Но не смотря на то, что втеченіе пятидесятихъ годовъ повидимому взоры всей интеллигенціи были слишкомъ прикованы къ настоящему, чтобы интересоваться прошлымъ, такъ какъ въ первой половинѣ пятидесятихъ годовъ общее вниманіе было поглощено страшною эпохою крымской войны, а затѣмъ наступила эпоха возрожденія, вопросовъ и реформъ, — казалось-бы совсѣмъ въ это время было не до исторіи; несмотря на все это пятидесятие годы, вмѣстѣ со всѣми возрожденіями, представляютъ собою и возрожденіе русской исторіографіи. Одни труды С. М. Соловьева и затѣмъ Н. И. Костомарова ознаменовали цѣлый переворотъ въ этой области. Не говоря уже о томъ, что центръ тяжести, если только можно такъ выразиться, историческихъ изслѣдованій совершенно измѣняется, и теперь на самомъ дѣлѣ главнымъ предметомъ изученія дѣлается не одно государство, а народъ со всѣми его вѣрованіями, понятіями, правами, стремленіями, симпатіями и антипатіями, вмѣстѣ съ тѣмъ не замедлили значительно раздвинуться самыя рамки исторіи: получилась возможность говорить о такихъ событіяхъ и фактахъ, о которыхъ прежде нельзя было и заикнуться. Особенно сильно подвинулось впередъ изученіе близкаго къ намъ XVIII вѣка. Кромѣ того, что государственные архивы сдѣлались доступнѣе, и самое изданіе историческихъ памятниковъ начало встрѣчать менѣе затрудненій и препятствій. Съ шестидесятихъ годовъ начали издаваться періодическія изданія, специально посвященныя печатанію историческихъ матеріаловъ, каковы *Русскій Архивъ* съ 1863 г., *Русская Старина* съ 1870 г., *Историческій Вѣстникъ*, съ 1880 г., *Кіевская Старина* съ 1882 г. и пр. Въ изданіяхъ этихъ начали печататься массы записокъ, воспоминаній, автобіографій, писемъ историческихъ лицъ и т. п. До какой степени въ самомъ обществѣ былъ возбужденъ живой интересъ къ историческому прошлому Россіи, можно судить по тому, какъ весь интеллигентный Петербургъ сошелся на диспутъ Костомарова съ Погодинымъ въ мартѣ 1860 г. по такому спеціальному вопросу, какъ происхожденіе Руси, по тому, какая толпа лицъ всѣхъ званій, половъ и возрастовъ стекалась на лекціи Костомарова въ с.-петербургскомъ университетѣ, наконецъ и по тому, что несмотря на конкуренцію разомъ четырехъ историческихъ журналовъ, всѣ они существуютъ, имѣя тысячи подписчиковъ и принося издателямъ немалый доходъ.

Понятно, что вслѣдствіе такого сильнаго движенія исторіографіи и общаго интереса къ русской старинѣ историческій романъ возродился къ новой жизни и впродолженіе семидесятихъ и восьмидесятихъ годовъ составилъ обширную отрасль беллетристики, въ количественномъ отношеніи значительно превышающую всѣ прочія.

II.

Но если въ количественномъ отношеніи современный историческій романъ представляетъ собою нѣчто монструозное и положительно заполоняетъ русскую литературу, нельзя сказать, чтобы онъ въ такой-же степени процвѣталъ и въ качественномъ

отношеніи. Если новый историческій романъ превышаетъ въ чемъ-либо старый (тридцатыхъ годовъ), то развѣ лишь въ большемъ разнообразіи относительно выбора темъ, въ болѣе свободѣ въ изображеніи историческихъ картинъ и эпизодовъ и въ проведеніи тѣхъ или другихъ взглядовъ, наконецъ въ лучшемъ знаніи археологіи, нравовъ и быта различныхъ эпохъ. Но, какъ сейчасъ увидимъ, новый романъ недалеко ушелъ отъ стараго относительно крайне легкомысленнаго отношенія къ историческимъ фактамъ, отсутствія строгаго разграниченія исторической достовѣрности отъ поэтическаго вымысла, а главное дѣло въ наклонности къ поверхностности, скороспѣлости и въ концѣ концовъ къ спекулятивной лубочности. И что всего грустнѣе, Николай Ивановичъ Костомаровъ, стоящій во главѣ новаго періода исторіографіи и главный виновникъ переворота въ ея развитіи, первый подалъ примѣръ легкомысленнаго отношенія къ исторіи въ области беллетристики.

Обладая отъ природы нервнымъ темпераментомъ и богатою фантазіею, доводившею его до галлюцинацій, страстный любитель музыки и всѣхъ искусствъ, Н. И. Костомаровъ постоянно обнаруживалъ наклонность къ художественному творчеству. Каждое изученіе тѣхъ или другихъ историческихъ эпохъ приводило его къ попыткамъ воспроизвести изучаемыя эпохи въ художественныхъ формахъ. Такъ еще на университетской скамьѣ, прочтя повѣсти Квитки, *Вечера на хуторѣ близъ Диканки* и *Тараса Бумбу* Гоголя, думы и пѣсни, изданныя Максимовичемъ, онъ увлекся малороссійскою стариною и уже въ 1838 году издалъ драматическое произведеніе въ 5 дѣйствіяхъ *Савва Шамый*. Печальный эпизодъ своей жизни въ видѣ внезапнаго ареста передъ самою свадьбою, заключенія и наконецъ ссылки въ Саратовъ Костомаровъ ознаменовалъ драмою изъ древней римской жизни *Кремуцій Кордъ* (напечатанною въ 1862 г.). Не отличаясь художественными достоинствами, драма эта любопытна по тѣмъ автобіографическимъ намекамъ, какія въ ней встрѣчаются. Прежде всего мы находимъ здѣсь посвященіе „забвенной А. Л. К. на память 14-го мая 1847 года“. Это, очевидно, намекъ на случайное свиданіе Костомарова съ своей невѣстой во время пребыванія въ крѣпости. Главнымъ героемъ является римскій историкъ Кремуцій Кордъ, котораго обвиняютъ въ восхваленіи въ своей исторіи *Брута* и *Кассія*. Любимецъ Тиверія Сеянъ, въ лицѣ котораго авторъ подразумеваетъ Дуббельта, заставляетъ историка признаться въ небываломъ преступленіи: въ томъ, что онъ имѣлъ въ виду взволновать умы своимъ сочиненіемъ, и обращается къ нему съ такою рѣчью: „Послушай, мой добрый другъ, прями мой искренній совѣтъ. Увертки твои ни къ чему не послужатъ, увѣрю тебя. Лучше всего смиренно признайся своему государю, что ты виноватъ и жалѣешь о томъ, что написалъ. Можешь сказать, что это случилось невольно, отъ увлеченія, а вовсе не отъ злонамѣренности. Увѣрю тебя, что все это тебѣ простится: цезарь милосердъ съ тѣми, кто искренно повергаетъ къ стопамъ его свои заблужденія“. Въ одномъ монологѣ Кремуцій Кордъ говоритъ: „Погибнуть въ двѣтъ лѣтъ, не успѣвъ даже и отвѣдать наслажденій жизни, погибнуть тогда, когда впереди улыбалась мнѣ слава, ожидала любовь!“ Тутъ очевидно опять намекъ на личную жизнь автора. Въ засѣданіи сената по дѣлу Кремуція Корда одинъ изъ сенаторовъ говоритъ: „Сенатъ вправѣ осудить сочиненіе Кремуція Корда на публичное сожженіе, какъ въ высшей степени безправственное и возбуждающее къ безначалію и не-

довольству, вмѣнить эдипамъ въ непрѣмънную обязанность *отобрать экземпляры этой книги у частныхъ лицъ и въ лавкахъ* и предупредить всѣхъ гражданъ, что скрывшіе у себя это сочиненіе подвергнутся наказанію; самого-же автора представить волѣ императора, прося однако его величество, чтобы Кремуцій Кордъ *былъ лишенъ средствъ вредить общественному спокойствію зловредными сочиненіями на будущее время*⁴. Тиверій одобряетъ это мнѣніе. Сенатъ признаетъ оправдательную рѣчь Кремуція Корда недостаточною; осуждаетъ сочиненіе на сожженіе, а автора предаетъ волѣ императора, прося его принять мѣры къ тому, чтобы у него была отнята возможность вредить обществу распространеніемъ подобныхъ мыслей какъ письменно, такъ и *словесно*. Очевидно, тутъ цѣлый рядъ намековъ на исторію съ диссертацией Костомарова и на кару, постигшую его за основаніе Кирилло-меоодіевскаго братства.

Далѣе затѣмъ изученіе бунта Стеньки Разина привело Костомарова къ созданію повѣсти *Сынъ*, рисующей нравы и бытъ русскаго общества въ XVII вѣкѣ, а изученіе эпохи и личности Іоанна Грознаго ознаменовалось романомъ *Кудеяръ*, напечатанномъ въ *Вѣстникѣ Европы* 1875 года. Въ повѣсти *Сынъ* Костомаровъ строго держится въ предѣлахъ исторической достовѣрности, и здѣсь ученый элементъ преобладаетъ надъ художественнымъ, вслѣдствіе чего повѣсть эта нѣсколько суховата. Вообще нужно сказать, что хотя Костомаровъ и не былъ лишенъ художественности, но его все-таки нельзя назвать художникомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова: онъ былъ имъ лишь настолько, насколько это нужно историкъ, чтобы характеристики его были картинны и воспроизводили историческія личности и событія въ ихъ истинномъ свѣтѣ и колоритѣ. Къ тому-же замѣчательную особенность представляетъ художественный талантъ Костомарова въ томъ отношеніи, что онъ проявлялся гораздо полнѣе и живѣе въ устномъ изложеніи, чѣмъ въ письменномъ. Кто слышалъ лекціи Костомарова, которыя онъ читалъ въ с.-петербургскомъ университетѣ въ 1859—1861 годахъ, согласится съ этимъ. Художественности его лекцій много помогала дикція, а главное дѣло—неподражаемое умѣнье читать историческіе памятники, выражая самымъ тономъ голоса духъ ихъ. Въ устахъ Костомарова архангелскій, мертвый языкъ памятниковъ словно какъ-бы воскресалъ и дѣлался живою, выразительною, иногда и художественно-живописною разговорною рѣчью. Когда эти самыя лекціи приходилось потомъ читать въ письменномъ изложеніи, онѣ теряли по крайней мѣрѣ половину своего обаянія. Эта живописность чтеній Костомарова и привлекала на лекціи его несмѣтную толпу слушателей, заставляя современниковъ ставить имя его наряду съ именами Прескотта, Маколея и Тьерри.

Вотъ эту-то способностью обнаруживать историческую художественность болѣе въ устномъ изложеніи, чѣмъ въ письменности и обуславливается сухость и тяжеловѣсность повѣстей Костомарова. Но въ то время, какъ повѣсть *Сынъ* своею научною строгостью представляетъ во всякомъ случаѣ интересъ исторической иллюстраціи, нельзя того-же самаго сказать о *Кудеярѣ*. Лишь преклоннымъ возрастомъ автора (ему было 58 лѣтъ) можно объяснить тотъ грѣхъ, что онъ слишкомъ дозволилъ разгуляться своей богатой фантазія и выступилъ за предѣлы вѣрности историческимъ фактамъ. Правда, въ романѣ очень живо и картинно рисуется передъ нами эпоха Іоанна Грознаго въ моментъ перелома въ его царствованіи, передъ смертью царицы

Анастасіи. Наибольше ярко очерчены Іоаннъ Грозный, Анастасія, Курбскій и князь Дмитрій Ивановичъ Вишневецкій. Адашевъ и Сильвестръ довольно блѣдны и туманны. Но главнымъ пятномъ романа является герой его Кудеяръ, въ изображеніи котораго Костомаровъ совершилъ буквально такое-же преступленіе передъ исторіею, какимъ отличился Рафаилъ Зотовъ въ своемъ романѣ *Таинственный монахъ*. Совершенно подобно тому, какъ этотъ самый таинственный монахъ Іона, оказывающійся потомъ гетманомъ Дорошенкою, мало того что является гениемъ романтической интриги и держитъ въ своихъ рукахъ всѣ нити сюжета, но оказывается, что и всѣ историческія событія первой половины царствованія Петра, начиная со стрѣльчихихъ бунтовъ и кончая измѣною Мазепы, совершились по инициативѣ этого самаго Іоны, имъ были измышлены и направлены. — Таковую же роль присвоиваетъ Костомаровъ своему герою Кудеяру. Это — загадочная личность, не помнящая ни рода, ни племени; онъ былъ найденъ казаками ребенкомъ въ татарскомъ аулѣ, съ крестомъ на шеѣ, показывавшемъ что ребенокъ — христіанинъ. Татаринъ, у котораго нашли ребенка, объявилъ, что его взяли татары изъ московской земли. Онъ выросъ потомъ среди казаковъ, женился на дочери казака Тишенко, Настѣ, и прибылъ въ Москву въ войскѣ Вишневецкаго.

Когда вы читаете первые главы романа, передъ вами въ лицѣ Кудеяра рисуется безобразная груда мяса, обладающая непомерною силою при полномъ отсутствіи чего-либо человѣческаго: это грубый атлетъ, одаренный лишь способностью ломать подковы и вывертывать столбы и въ то-же время исполненный непомерной тупостью, которою отличаются всѣ подобнаго рода атлеты. Таковъ Кудеяръ не только въ сценѣ убійства сына, прижитаго Настею во время плѣна, но и въ Александровской слободѣ онъ является столь-же слѣпымъ и бессмысленнымъ орудіемъ казни Іоанна, который въ концѣ концовъ кругомъ одурачилъ его и насмѣялся надъ нимъ со всею своею сатанинскою ироніею. И вдругъ этотъ неотесанный чурбанъ, болѣе похожій на стѣнобитное орудіе, чѣмъ на живого человѣка, является передъ вами гениемъ удалой, всепокоряющей хитрости, двигаетъ царствами и войсками, возбуждаетъ такое удивленіе въ разбойникахъ, что тѣ считаютъ его колдуномъ и безусловно покоряются его волѣ. Мало этого: оказывается, что всѣ событія эпохи Грознаго исходятъ отъ Кудеяра. Царь пошелъ въ походъ на Девлетъ-Гирея, потому что Кудеяръ нашелъ свою Настю, и въ этомъ событіи Іоаннъ предвидѣлъ повелѣніе свыше. Девлетъ-Гирей пошелъ на Москву и сжегъ ее — опять таки потому, что этого хотѣлъ Кудеяръ въ отмщеніе Іоанну за смерть своей жены. Въ заключеніе романа Костомаровъ прямо говоритъ: „Москва, отстроившись послѣ сожженія, *причиненнаго ей злобой Кудеяра*, не разъ послѣ того испытывала и пожары, и нашествія иноземцевъ“. Іоаннъ казнилъ князя Владиміра Андреевича со всею семьей опять — таки не почему иному, какъ потому, что Кудеяръ мучилъ народъ именемъ князя. Даже новгородцевъ топить въ Волховѣ Іоаннъ пошелъ не почему иному, какъ для того, чтобы на нихъ выместить свой гнѣвъ на Кудеяра. Но и этого всего мало: въ концѣ концовъ всемогущій Кудеяръ является никѣмъ инымъ какъ сыномъ Василя III, рожденнымъ отъ Соломоніи вскорѣ по заключеніи ея въ монастырь!..

Такимъ образомъ въ своемъ *Кудеярѣ* Костомаровъ воскресилъ то безцеремонное искаженіе исторіи и произвольную игру съ историческими фактами, которыя были скабичевскіи.

простительны въ эпоху Рафаила Зотова, но представляются положительно необъяснимыми при томъ громадномъ шагѣ, какой сдѣлала историческая наука въ эпоху шестидесятихъ годовъ, да и къ тому-же подъ перомъ виновника этого шага. А между тѣмъ авторитетъ Костомарова освящалъ подобный способъ отношенія къ исторіи, и историческіе беллетристы, въ особенности-же третьестепенные мастера лубочныхъ издѣлій взапуски пустились сочинять свою собственную исторію, заставляя вымышленныхъ героевъ потрясать царствами и судьбами Европы и Россіи.

III.

Въ 1861 году былъ напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* романъ Алексѣя Константиновича Толстого (біографическія свѣдѣнія о немъ смотри ниже—въ отдѣлѣ поэтовъ) — *Князь Серебряный*, изъ эпохи Юанна Грознаго. — Романъ этотъ имѣлъ большой успѣхъ и разошелся въ нѣсколькихъ изданіяхъ, тѣмъ болѣе что втеченіе шестидесятихъ годовъ онъ былъ почти единственнымъ представителемъ исторической беллетристики. По правдѣ сказать, романъ этотъ принадлежитъ къ числу весьма немногихъ произведеній этого рода, отличающихся какъ художественностью, такъ и добросовѣстностью изученія исторической эпохи. Авторъ отъ первой страницы до послѣдней остается вѣренъ историческимъ фактамъ, не проводитъ никакихъ предвзятыхъ тенденцій, не дѣлаетъ никакого ложнаго освѣщенія. Однимъ словомъ это одинъ изъ немногихъ историческихъ романовъ, который можетъ быть прочтенъ съ интересомъ и безъ вреда.

Въ 1867 году появился въ томъ-же *Русскомъ Вѣстникѣ* знаменитый романъ Л. Н. Толстого *Война и миръ*, представляющій шедевръ его. Мы подробно говорили объ этомъ романѣ при обзорѣ дѣятельности его автора, и теперь намъ остается сказать нѣсколько словъ о его значеніи спеціально какъ историческаго романа.

Представляя рядъ гениальныхъ картинъ нравовъ и быта русскихъ дворянъ и великосвѣтскаго общества начала XIX вѣка, а также отдѣльныхъ историческихъ эпизодовъ войны двѣнадцатаго года, въ цѣломъ романъ въ историческомъ отношеніи имѣетъ много слабыхъ сторонъ. Во-первыхъ сильно вредитъ ему та мистико-фаталистическая теорія, съ точки зрѣнія которой авторъ смотритъ на изображаемые имъ историческіе факты. Въмѣстѣ съ тѣмъ портреты нѣкоторыхъ историческихъ личностей, напримѣръ Наполеона, Кутузова, Сперанскаго, изображены съ предвзятою тенденціозностью, и потому односторонне и невѣрно. Тѣмъ не менѣе романъ Л. Толстого произвелъ такое всевластное вліяніе на всю разсматриваемую нами отрасль беллетристики, что ни одинъ изъ историческихъ беллетристовъ не былъ въ силахъ избавиться отъ этого вліянія въ бытовыхъ и батальныхъ картинахъ, въ изображеніяхъ портретовъ дѣйствующихъ лицъ былого времени, и даже въ развитіи сюжетовъ.

Не преминулъ заплатитъ свою лепту исторической беллетриктъ И. С. Тургеневъ повѣстью *Два портрета*, въ которой, не вдаваясь въ изображеніе какихъ-либо историческихъ фактовъ, тѣмъ не менѣе очень живо и рельефно представилъ эпизодъ изъ усадебныхъ нравовъ XVIII вѣка.

Рядомъ съ этою повѣстью Тургенева мы можемъ поставить рассказъ П. И. Мельни-

кова *Старые годы*, какъ еще болѣе вопіющую картину дикаго варварства, господствовавшаго въ XVIII вѣкѣ среди помѣщичьихъ нравовъ подѣ виѣшнимъ покровомъ европейской цивилизаціи.

Гр. Данилевскій послѣ своихъ этнографическихъ романовъ посвятилъ свою литературную дѣятельность также историческому роману. Какъ наиболѣе выдающіяся его произведенія этого рода извѣстны романы: *Мировичъ* (1879 г.), *Сожженная Москва* (1885—1886 гг.) и *Черный годъ* (1888 г.). Въ романѣ *Мировичъ* изображается извѣстный эпизодъ изъ царствованія Екатерины, — попытка Мировича совершить *coup d'état*, возведя на престолъ злосчастнаго шлиссельбургскаго узника, Іоанна VI. Романъ этотъ имѣлъ большой успѣхъ; онъ не лишенъ художественности, но въ немъ одинъ существенный недостатокъ, свойственный, еще разъ повторяемъ, многимъ русскимъ историческимъ романамъ — безцеремонное отношеніе къ историческимъ фактамъ. Такъ мы видимъ, что Данилевскій допускаетъ такіа сближенія между собою современныхъ историческихъ личностей, которыя очень сомнительны и очевидно представляютъ плодъ его поэтического вымысла. Мировичъ напримѣръ оказывается мало того что знакомымъ съ Ломоносовымъ, но Ломоносовъ является первымъ подстрекателемъ Мировича къ его роковой попыткѣ, стоившей ему головы. Второю подстрекательницею является отставная придворная дѣвица Поликсена Пчелкина, въ которую былъ влюбленъ Мировичъ и которая по отношенію къ нему разыгрываетъ роль злого духа честолюбія вродѣ Марины Мнишекъ. Оказывается, что по ея-же анонимному письму Петръ III задумалъ свое посѣщеніе заключеннаго принца. Мировичу самому ничего-бы и въ голову не пришло подобнаго, если-бы не Ломоносовъ и не Поликсена. Онъ былъ правда очень честолюбивый юноша, но шелъ своимъ рутиннымъ путемъ и былъ не болѣе какъ гулякою и страстнымъ игрокомъ и такимъ счастливымъ, что съ кѣмъ-бы онъ ни садился играть, обыгрывалъ впухъ и прахъ, до ниточки, золото такъ и лилось въ его карманъ. Такъ, будучи еще кадетомъ, онъ обыгралъ корпуснаго начальника князя Езупова, за что былъ исключенъ изъ корпуса и отосланъ солдатомъ въ пѣхоту, въ заграничную армію и выслужился тамъ во время семилѣтней войны. Потомъ въ австеріи у Дрезденши, тогдашнемъ притонѣ кутащей золотой молодежи, онъ обыгралъ братьевъ Орловыхъ. Однимъ словомъ Данилевскому ничего не стоило сближать между собою историческія личности и ставить ихъ въ такіа отношенія, въ какія только ему было угодно. А подѣ конецъ романа творческая фантазія его разгуливается до того, что онъ рассказываетъ, какія впечатлѣнія воспринимала голова Мировича послѣ уже того, какъ была отдѣлена отъ туловища.

Романъ *Сожженная Москва* былъ написанъ подѣ сильнымъ вліяніемъ *Войны и мира* Л. Толстого, что наиболѣе сказалось въ главныхъ моментахъ романа (пожаръ Москвы, плѣнъ героя, приговоръ къ расстрѣліянію, путешествіе русскихъ плѣнныхъ съ отступавшими французскими войсками и опасность быть подстрѣленнымъ въ дорогѣ и пр.). Но при всемъ этомъ неотразимомъ вліяніи романа Л. Толстого, въ *Сожженной Москвѣ* вы найдете нѣчто такое, чего въ *Войнѣ и мирѣ* нѣтъ и что составляетъ какъ-бы добавленіе къ великой эпопеей графа Толстого.

Дѣло въ томъ, что гр. Л. Толстой въ своихъ романахъ изображалъ русскихъ жен-

щинъ исключительно въ предѣлахъ ихъ женской спеціальности. Русская женщина является передъ нами подъ перомъ гр. Л. Толстого лишь какъ самоотверженная жена, хлопотливо оберегающая свой домашній очагъ, готовая ради его сохраненія великодушно простить и прикрыть всѣ грѣхи своего невѣрнаго мужа, или какъ любящая мать, проливающая сладкія или горькія слезы надъ колыбелью своего младенца, или какъ сестра милосердія, дни и ночи до послѣдняго истощенія силъ проводящая надъ постелью тяжело раненаго и умирающаго. Однимъ словомъ, гр. Л. Толстой показалъ намъ русскую женщину во всѣхъ ея національныхъ преимуществахъ, безгранично любящую, самоотверженною, мечтательно стремящеюся къ высокимъ и широкимъ идеаламъ, цѣломудренно-стыдливою даже въ моменты своихъ грѣшныхъ паденій и самую чувственность постоянно стремящеюся освятить какимъ-нибудь нравственнымъ долгомъ. Но по миролюбивой, незлобивой натурѣ своей, онъ просмотрѣлъ одну изъ замѣчательныхъ сторонъ русской женщины: именно способность въ рѣдкія минуты сильныхъ нравственныхъ подъемовъ духа, — въ эпохи общественныхъ погромовъ или частныхъ семейныхъ трагедій, смѣло выходить изъ узкаго круга женской доли, проникаться воинственнымъ духомъ совершенно мужского характера и посрамлять мужчинъ отважнымъ героизмомъ. Мы видимъ по крайней мѣрѣ, что въ народныхъ былинахъ, сказкахъ, въ исторіи проходитъ передъ нами цѣлая вереница воинственныхъ женщинъ, начиная съ тѣхъ удалыхъ наѣздницъ, которыя дрались въ чистомъ полѣ съ могучими богатырями, со св. Ольги, съ ея безпощадною местию за смерть своего мужа, и кончая тѣми героинями 1812 года, вроде дѣвицы Александры Дуровой, которыя принимали храброе участіе въ отечественной войнѣ въ рядахъ нашихъ войскъ.

Героиня романа Данилевскаго, Аврора Крамалина, является передъ нами именно одною изъ подобныхъ героинь войны 1812 года, безъ изображенія которыхъ эта эпоха является неполною, какъ-бы она ни была хорошо обрисована.

Романъ *Черный годъ* принадлежитъ къ числу самыхъ слабыхъ произведеній Данилевскаго. Изображая пугачевскій бунтъ, романъ этотъ ничего не прибавляетъ ко всѣмъ прочимъ изображеніямъ этого событія, въ неизмѣримой степени талантливѣйшимъ. Личность Пугачева представлена крайне невѣрно, съ чисто административно-казенной точки зрѣнія въ видѣ мелкаго и ничтожнаго бродяги-душегубца, возвысившагося лишь благодаря поднявшему его на высоту народному движенію и немедленно упавшему съ этой высоты, какъ только это движеніе утомилось. Дѣйствующія лица очень часто говорятъ изысканно книжнымъ языкомъ нашего времени, употребляя выраженія, въ XVIII вѣкѣ немыслимыя; въ общемъ романъ крайне растянутъ и скученъ.

Изъ писателей старшаго поколѣнія однимъ изъ самыхъ плодovitыхъ поставщиковъ историческихъ романовъ является Даниилъ Лукичъ Мордовцевъ. Онъ родился въ слободѣ Даниловкѣ, въ землѣ войска Донскаго, 7 декабря 1830 года, кончилъ курсъ въ с.-петербургскомъ университетѣ въ 1854 году. Прежде чѣмъ выступить на поприще историческаго романа, Д. Л. Мордовцевъ пріобрѣлъ почетную извѣстность въ шестидесятыхъ годахъ своими изслѣдованіями по исторіи Малороссіи, Польши и пугачевщины. Изъ числа сочиненій этого періода дѣятельности особенно выдаются *Самозванецъ Іоаннъ* (Р. В. 1860), *Выдержка изъ исторіи Польши 1770—1772 гг.* (Р. В. 1863), *Паденіе Польши* (Р. В. 1862), *Обличительная литература*

тура въ первыхъ русскихъ журналахъ и стѣсненіе гласности (1769—1775), *О русскихъ школьныхъ книгахъ XVI в.*, *Самозванцы*, *Малороссійскій литературный сборникъ*, *Гайдамачина* и др. Историческіе романы и повѣсти началъ онъ писать во второй половинѣ своей литературной дѣятельности, на склонѣ уже лѣтъ. Перечислить всѣ его труды по этой части нѣтъ никакой возможности, такъ ихъ много. Наиболѣе выдается изъ нихъ романъ *Идеалисты и реалисты*, изображающій довольно живо эпоху Петра и проливающій на нее весьма свѣтлый взглядъ. Вообще нельзя отказать Мордовцеву въ талантѣ, въ основательномъ знаніи исторіи и въ добросовѣстномъ отношеніи къ историческимъ фактамъ, но къ сожалѣнію плодовитость сильно вредитъ качественности его произведеній. Они не создаются, не пишутся, а пекутся какъ блины, и при этой скороспѣлости производятъ впечатлѣніе крайней небрежности. Къ тому-же большой недостатокъ автора составляетъ манерность, отсутствіе простоты и естественности, страсть оригинальничать, балагурить, и какъ результатъ этого—неудержимая болтливость, выходящая порою изъ всѣхъ предѣловъ.

Въ *Отечественныхъ Запискахъ* семидесятыхъ годовъ и прочихъ изданіяхъ обращали на себя вниманіе также обширныя историческія хроники Евгенія Петровича Карновича, преимущественно изъ исторіи XVIII в. Е. П. Карновичъ родился въ 1822 г., воспитывался въ педагогическомъ институтѣ, курсъ котораго кончилъ въ 1844 году. Нѣсколько лѣтъ занимался педагогіей въ качествѣ учителя греческаго языка въ кадужской гимназій. Затѣмъ перешелъ на административную службу при виденскомъ генераль-губернаторѣ Вибиковѣ, который сдѣлалъ его правителемъ канцеляріи. Въ 1859 году онъ женился въ Вильнѣ, и вышедши по семейнымъ обстоятельствамъ въ отставку, переѣхалъ въ Петербургъ и посвятилъ себя литературѣ.

Въ 1860 году въ *Современникѣ* начали печататься его рассказы изъ польской старины, а затѣмъ стали появляться его работы и въ прочихъ журналахъ: въ *Русской Старинѣ*, *Историческомъ Вѣстникѣ*, *Отечественныхъ Запискахъ*, въ *Русской Мысли*, *Нови* и пр. Съ основанія *Голоса* Карновичъ сдѣлался постояннымъ его сотрудникомъ по внутренней политикѣ. Въ 1875 году былъ редакторомъ *Биржевыхъ Вѣдомостей*. Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ издавалъ даже свой собственный журналъ *Отголоски*, но безъ успѣха. Умеръ онъ 25 октября 1885 года въ Петербургѣ отъ удара. Смерть застала его за работой.

Историческія хроники Карновича — *Малтійскій орденъ*, *Замѣчательныя и жадочныя личности XVIII в.*, *Замѣчательныя богатства въ Россіи* и пр. не имѣютъ ни малѣйшей претензіи на какую-бы то ни было художественность; это вовсе не романы и повѣсти. Вы не найдете здѣсь никакихъ сюжетовъ, интригъ и вымышленныхъ героевъ, а одинъ только безхитростный пересказъ историческихъ фактовъ въ повѣствовательной формѣ. Единственное достоинство этихъ работъ — безукоризненная добросовѣстность и вѣрная, довольно живая передача событій.

IV.

Изъ историческихъ беллетристовъ, принадлежащихъ къ болѣе молодому поколѣнію, наибольшимъ талантомъ отличается графъ Евгеній Андреевичъ Саліась-де-Турнемиръ.

Онъ былъ сынъ известной писательницы сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ Е. В. Салиасъ (Евгеніи Туръ). Родился въ 1841 г. и получилъ блестящее образованіе; чуть не съ пеленокъ пришлось ему вращаться въ литературномъ и артистическомъ кругу, такъ какъ въ домѣ матери его сходились всѣ корифеи сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, какъ литературные, такъ и по всѣмъ прочимъ искусствамъ. Кромѣ тщательнаго домашняго образованія подъ руководствомъ и надзоромъ матери, онъ уже въ дѣтствѣ совершалъ продолжительныя путешествія за-границею. Въ январьской книжкѣ *Библиотеки для чтенія* 1863 г, слѣдовательно, когда ему было 22 года, появилась первая его повѣсть *Ксаня чудная*, посвященная матери и подписанная Вадимъ. Вслѣдъ затѣмъ въ различныхъ журналахъ появились повѣсти *Тьма*, *Манжажа* и *Еврейка*. Всѣ эти повѣсти были написаны вполне въ духѣ чистаго искусства, причемъ авторъ находился подъ сильнымъ вліяніемъ Тургенева и старался подражать ему въ описаніяхъ природы и женскихъ типовъ. Талантъ его былъ замѣченъ; особенно понравились его *Путевые очерки Испаніи*. Смолкнувши затѣмъ на долгое время, онъ появился вновь въ литературѣ уже въ началѣ семидесятихъ годовъ съ романомъ *Пугачевыи*, отрывки котораго подъ заглавіемъ *Бытныи* и *Земли и нѣмцыи* были первоначально напечатаны въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, а затѣмъ въ 1874 году появился въ полномъ видѣ, въ отдѣльномъ изданіи и подъ собственнымъ именемъ гр. Салиаса. Автору пришлось не мало поработать надъ произведеніемъ своимъ, порыться по архивамъ, побѣздить по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ происходилъ пугачевскій бунтъ. Романъ произвелъ сенсацию, очень понравился публикѣ и доставилъ автору всеобщую известность. И дѣйствительно, нельзя отказать ему въ талантливости. Вы найдете въ немъ отдѣльныя мѣста, написанныя съ большимъ мастерствомъ; такова напр. картина казанскаго общества предъ возстаніемъ, броженіе въ народѣ и начало смуты, взятіе Казани, портреты Бибикова, Рейнсдорпа, Суворова, Фреймана. Но въ цѣломъ романъ представляетъ существенныя недостатки. Нечего и говорить о томъ, что гр. Салиасъ не могъ избѣгнуть подчиненія вліянію гр. Л. Толстого, и оно сказывается во многихъ типахъ и сценахъ романа. Напр. въ pendant пари Долохова съ англичаниномъ, что онъ сидя на подоконникѣ выпьетъ бутылку рома, у Салиаса Ахлатскій бьется объ закладъ съ Туровскимъ, что взѣдетъ на конѣ по лѣсамъ строящейся колокольни до самаго креста. Въ pendant съ описаніемъ Л. Толстого болѣзни князя Андрея съ горячечнымъ бредомъ и мистическими размышленіями, у Салиаса въ такомъ-же родѣ бредитъ и размышляетъ Иванъ Хвалынский, раненный подъ Оренбургомъ. Подобно Пьеру Иванъ Хвалынский по выздоровленіи почувствовалъ въ себѣ возрожденіе, новыя мысли и взгляды на все окружающее. Въ романѣ Толстого Пьеръ замышляетъ убить Наполеона, у Салиаса—Параня мечтаетъ убить Пугачева. У Толстого разстрѣливаютъ поджигателей, и Пьеръ съ ужасомъ ждетъ такой-же участи; у Салиаса разстрѣливаютъ захваченныхъ пугачевцевъ и въ свою очередь съ ужасомъ смотритъ на это Иванъ Хвалынский, ожидая, что и его разстрѣляютъ и т. п. Главный-же существенный недостатокъ романа гр. Салиаса заключается въ томъ, что авторъ вполне подчинился московской беллетристической школѣ и произведеніе его написано совершенно по тому выше-означенному шаблону, по которому писалось большинство романовъ этой школы.

Такъ на первомъ планѣ рисуется передъ нами все тотъ-же герой *Русскаго Вѣст-*

ника, гордый, непреклонно-твердый, храбро-отважный охранитель князь Данило Радивоныч Хвалынский, генеалогическому древу котораго гр. Салиась посвящает три страницы, приче́мъ мы подробно узнае́мъ весь родъ Хвалынскихъ, начиная съ татарина Хаванъ-Атр-Мира, плѣннаго Иоанномъ Грознымъ въ Казани, переведеннаго въ Москву и положившаго начало славному роду князей Хвалынскихъ. Послѣ участія въ турецкомъ походѣ, князь Данило, на пути въ отцовскую усадьбу Азгарь, заѣзжаетъ къ одному отцовскому знакомому, богатому помѣщику, опальному московскому боярину Артемию Никитичу Соколь-Уздальскому, съ генеалогическимъ древомъ котораго гр. Салиась въ свою очередь знакомитъ насъ еще съ большими подробностями.

Соколь-Уздальскій играетъ въ романѣ роль нигилиста XVIII вѣка, участвуетъ въ разныхъ тайныхъ обществахъ, распространяетъ прокламаціи и сѣетъ смуту, подготавливая пугачевскій бунтъ. Князь Данило, какъ только прѣзжаетъ къ нему, сейчасъ-же и начинаетъ свое донъ-кихотское поприще въ духѣ московскихъ тенденцій, сѣбялаясь съ этимъ коварнымъ крамольникомъ своего времени. Простившись затѣмъ съ Уздальскимъ, на пути въ Азгарь онъ случайно сталкивается съ клеветомъ Уздальскаго, мѣщаниномъ Долгополовымъ, возмимъ на Волгу пачки прокламацій, и арестуетъ его съ полицнымъ. Затѣмъ проѣздомъ черезъ Казань князь попадаетъ на губернаторскій балъ и въ ужасѣ видитъ, что зала наполнена плѣнными конфедератами и танцуютъ, о ужасъ, мазурку! Къ довершенію ужаса князь встрѣтилъ въ лицѣ Яна Бжезинскаго того самаго поляка, который при штурмѣ краковской цитадели едва не убилъ его, ранивъ ударомъ сабли въ плечо. Князь конечно не замедлилъ поссориться съ своимъ прежнимъ врагомъ, воспользовавшись тѣмъ предлогомъ, что Янъ Бжезинскій, приглашая даму на танецъ, нечаянно поставилъ локоть недалеко отъ лица князя. Ихъ сейчасъ-же розняли, но князь вымолвилъ, смѣясь сухо и отходя: — Добро, завтра я соберу моихъ лихачей и его какъ жиды выпорю нагайками на дому!*

Не обходится такимъ образомъ романъ и безъ коварной польской интриги. Оказывается въ концѣ концовъ, что пугачевскій бунтъ всецѣло былъ созданъ ею. Самозванцемъ явился не прямо Пугачевъ, а нѣкій Вячеславъ, внукъ мятежнаго Соколь-Уздальскаго, рожденный отъ племянника его Алексѣя и польки Людвиги, креатура польской интриги. Пугачевъ-же сдѣлался самозванцемъ лишь впоследствии, когда казаки, будучи недовольны гуманностью Вячеслава и его отвращеніемъ отъ кровожадности, рѣшились отдѣлаться отъ него; этимъ и воспользовался Пугачевъ: при помощи казака Чики, ночью въ степи онъ убилъ Вячеслава, бросилъ трупъ его въ рѣку и объявилъ себя Петромъ III.

Положивши начало пугачевского бунта, коварная польская интрига не дремала и во все его продолженіе: такъ Янъ Бжезинскій отправился въ войско Пугачева, сдѣлался главнымъ подручникомъ, устроилъ ему артиллерию на санкахъ, а братъ его Казиміръ, хитрый иезуитъ, держалъ въ рукахъ нити настоящей польской интриги, вель огромную переписку съ разными европейскими дворами, съ Турціей и польскими иезуитами и въ концѣ концовъ собственноручно отравилъ Вибкова, когда тотъ началъ одолѣвать мятежниковъ.

Такое-же тенденціозное измышленіе фактовъ обнаружилъ гр. Салиась и во всѣхъ

прочих своих многочисленных исторических романах, каковы: *Петербургское дѣйство*, *Поэтъ Державинъ*, *Братья Орловы*, *Моргъ*, *Принцесса Володимирская*, *Бригадирская внучка*, *Аракчеевскій сынокъ* и пр. пр. Разница только та, что романъ *Пушечницы* былъ во всякомъ случаѣ плодомъ многолѣтняго труда, и въ немъ авторъ явился во всей силѣ своего таланта. Прочіе-же романы представляютъ легкомысленную и поверхностную скороспѣлую страшню, въ которой вы найдете все, что угодно, кромѣ исторической правды.

Вообще съ легкой руки Салиаса историческій романъ подъ конецъ семидесятыхъ годовъ вступилъ въ новую фазу своего существованія, въ которой пребываетъ и до сего дня. Именно—съ одной стороны онъ принялъ характеръ реакціонной тенденціозности и узко-національнаго самохвальства, съ другой—сдѣлался продуктомъ не художественнаго творчества, а шарлатанской спекуляціи скороспѣлаго борзописанья, благодаря легковѣрью толпы, не вникающей глубоко въ историческую достовѣрность и довольствующейся лишь сказочными сюжетами. При такихъ условіяхъ историческій романъ совершенно вышелъ изъ области изящной словесности, потерялъ всякое литературное значеніе и обратился въ стереотипно-лубочныя издѣлія, украшающія иллюстрированныя изданія вродѣ *Нивы* и *Всемирной Иллюстраціи* на ряду съ политическими, шарадами и шахматными партіями. Мало-по-малу выработался даже для него свой шаблонъ, по которому ничего не стоитъ стряпать историческіе романы, какъ пироги, цѣлыми сотнями: во главѣ романа непременно благонамѣренный герой, преисполненный патріотизма и посрамляющій русскою доблестью всѣ азыцы, а также и отечественныхъ крамольниковъ, затѣмъ нѣсколько боевыхъ сценъ въ жанрѣ гр. Л. Толстого, рутинная любовь, проходящая черезъ всѣ части, а если у автора хватаетъ фантазіи, то читатель долженъ быть приведенъ въ удивленіе, узнавши изъ романа, что главными виновниками крупнѣйшихъ событій всемірной исторіи являются вовсе не тѣ историческія личности, о которыхъ повѣствуютъ Гервинусъ или Шлоссеръ, а невѣдомый никому Сергій Горбатовъ.

Представителемъ этого лубочнаго историческаго романа является старшій сынъ знаменитаго историка С. М. Соловьева, Всеволодъ Сергѣевичъ Соловьевъ. Онъ родился въ Москвѣ 1-го января 1849 г. и получилъ высшее образованіе въ московскомъ университетѣ, кончивъ курсъ юридическаго факультета въ 1870 году со степенью кандидата правъ. Затѣмъ онъ переселился въ Петербургъ и поступилъ на службу во II отдѣленіе Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи.

Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ начали появляться въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ—*Русскомъ Вѣстникѣ*, *Зарѣ*, *В. Европы* и пр. его стихи и повѣсти. Между прочимъ въ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ* и *Русскомъ Мирѣ* онъ помѣстилъ рядъ критическихъ статей въ духѣ искусства для искусства. Первая историческая повѣсть его появилась въ *Нивѣ* 1878 г.—*Княжна Острожская*. Затѣмъ последовали романы—*Юный Императоръ* (*Нива* 1877), *Капитанъ гренадерской роты* (*Истор. библ.* 1878), *Царь-Дѣвица* (*Нива* 1878), *Касимовская невеста* (*Нива* 1879), *Навожденіе* (*Русскій Вѣстникъ* 1870) *Сергій Горбатовъ* (*Нива* 1881), *Волтеріанецъ* (*Нива* 1882) и пр.

Значеніе и достоинство всѣхъ этихъ произведеній считаемъ вполне опредѣленными тою характеристикою шаблоннаго историческаго романа, какая была нами только-что представлена. Находимъ въ то-же время совершенно излишнимъ перечислять всѣхъ безчисленныхъ сподвижниковъ Соловьева, такихъ-же какъ и онъ лубочныхъ историографовъ мелкой прессы, ежедневно вновь появляющихся и безслѣдно исчезающихъ.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

I—Новая беллетристическая школа, вызванная реакціею семидесятыхъ годовъ, и ея особенности. II—Андрей Осиповичъ Новодворскій. III—Биографическія свѣдѣнія о жизни Всеволода Михайловича Гаршина. IV—Характеристика его произведеній.

I.

Движеніе шестидесятыхъ годовъ кончилось, какъ извѣстно, мрачною реакціею, обнаружившеюся не въ однихъ правительственныхъ сферахъ, но и во всемъ обществѣ и наиболѣе разившейся во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ. вмѣсто прежнихъ ликованій и порываній впередъ явились всеобщая апатія, уныніе, разочарованіе. Глухое недовольство и раздраженіе господствовали во всѣхъ классахъ общества и во всѣхъ партіяхъ. Въ то время, какъ одни были недовольны совершившимися реформами, находя ихъ слишкомъ превысившими требованія жизни, преждевременными и даже гибельными, другіе напротивъ того находили ихъ недостаточными, урѣзанными, лишь вполнину удовлетворявшими потребностямъ края и только раздражившими общественные аппетиты. И между тѣмъ, какъ первые, если не въ силахъ были отменить реформы, то болѣе или менѣе успѣшно предприняли всевозможныя мѣры къ урѣзанію и парализованію ихъ, другіе ничѣмъ не въ силахъ были противодействовать этому, кромѣ бесплодныхъ попытокъ, приводившихъ къ новымъ репрессаліямъ, которыя порождали еще большее уныніе и отчаяніе.

Уменьшеніе пульса общественной жизни сказывалось во всемъ: и во всеобщемъ равнодушіи, съ какимъ принимались самыя возмутительныя и постыдныя новости дня, которыя въ прежнее время навѣрное встрѣтили-бы общій взрывъ негодованія и протеста, и въ полномъ отсутствіи какихъ-бы то ни было высокихъ порывовъ и подъемовъ духа, а если что и встрѣчалось подобное, то или подымалось на смѣхъ, или-же отъ него отстранялись, какъ отъ чего-то нарушавшаго общій покой и апатію, а потому и несоснаго.

Вмѣстѣ съ тѣмъ явился и новый герой времени, совершенно непохожій на всѣхъ прежнихъ. Окончательно сошли со сцены и отважный Инсаровъ, и гордый и лякующій своимъ отрицаніемъ Вазаровъ, и практической Соломинъ; мѣсто ихъ всѣхъ занялъ „кающійся дворянинъ“, но собственно говоря, это было не столько „кающійся“, сколько „обнищавшій“ дворянинъ. Изъ полуразрушенныхъ усадебъ, изъ голодныхъ

дворянскихъ семей, проѣвшихъ всѣ выкульныя свидѣтельства, вышло новое поколѣніе, худосочное, тщедушное, словно несущее на своихъ плечахъ всѣ грѣхи отцовъ и дѣдовъ и обреченное расплачиваться за нихъ. Трагичность лучшихъ представителей этого поколѣнія заключалась не въ однихъ неодолимыхъ вѣншихъ препятствіяхъ къ осуществленію поставленныхъ вѣкомъ идеаловъ, но и въ внутреннихъ, коренящихся въ нихъ самихъ, въ видѣ унаслѣдованныхъ отъ предковъ пороковъ и слабостей, развившихся на почвѣ крѣпостного права. Въ то время какъ общественныя стремленія и нужды призывали этихъ людей къ упорной борьбѣ и совершенію высокихъ подвиговъ, имъ очень часто приходилось сознавать, что они неспособны даже къ самому заурядному труду ради снисканія насущнаго хлѣба для себя и для своихъ голодающихъ семей. И вотъ мы видимъ, что одни изъ нихъ ударились въ мрачный пессимизмъ чисто гамлетическаго характера, доводившій ихъ до безнадежнаго отчаянія и самоубійствъ, которыя особенно сдѣлались часты въ этотъ періодъ, когда сплошь и рядомъ лишали себя жизни не только взрослые юноши, но и гимназисты, мотивируя свой роковой шагъ то отвращеніемъ отъ жизни, то сознаниемъ своего безсилія бороться съ обстоятельствами; другіе-же махали рукой на всѣ идеалы и высокія стремленія, предавались теченію, и старались забыться и утопить свою совѣсть въ угарѣ чувственныхъ наслажденій, что было имъ тѣмъ легче, что они отъ отцовъ и дѣдовъ наслѣдовали наклонность ко всяческимъ чревоугодіямъ. Однимъ словомъ—гамлетическій пессимизмъ и сенсуализмъ, являющіеся неизмѣнными спутниками всѣхъ реакціонныхъ, сумерочныхъ эпохъ, не замедлили проявиться во всей своей силѣ въ концѣ семидесятыхъ годовъ.

Всѣ эти условія создали особеннаго рода беллетристическую школу, возникшую во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ и вполнѣ развившуюся втеченіе восьмидесятыхъ годовъ. Первое, что васъ поражаетъ въ писателяхъ этой школы,—это возрожденіе художественности, страсть къ красотѣ образовъ и формъ, тщательной, щеголеватой отдѣлкѣ произведеній въ техническомъ отношеніи. Никто изъ авторитетныхъ и вліятельныхъ критиковъ не проповѣдывалъ культа чистаго искусства, тѣмъ не менѣе мы видимъ, что даже Гаршинъ, который менѣе чѣмъ кто-либо могъ быть заподозрѣнъ въ этомъ культѣ, тщательно отдѣлывалъ свои произведенія, и по изяществу формъ, по языку они представляютъ безукоризненное совершенство. Эта реставрація художественности, поэзіи, красоты стоитъ навѣрное въ тѣсномъ отношеніи съ паденіемъ волны общественнаго движенія, которая до того времени уносила въ свой водоворотъ писателей и не давала имъ ни времени, ни охоты приглаживать и прихорашивать свои произведенія и кокетничать красотой формъ.

Суть-же этой беллетристической школы заключается въ томъ, что выводимые ею герои постоянно выражаютъ собою одинъ изъ двухъ вышеозначенныхъ элементовъ: они—или сомнѣвающіеся въ себѣ самихъ мрачныя гамлеты-пессимисты съ развитыми нервами, или-же махнувшіе на все рукой сенсуалисты. Духъ этихъ двухъ элементовъ проникаетъ и самыя произведенія ихъ авторовъ. Конечно не у каждаго беллетриста мы видимъ разомъ преобладаніе обоихъ элементовъ. Такъ напримѣръ у чистаго сердца и цѣломудреннаго Гаршина вы конечно и тѣни не найдете чего-либо сенсуальнаго, но у всѣхъ прочихъ писателей этой школы вы встрѣтите въ бѣльшей или меньшей степени наклонность къ сладострастнымъ

сценамъ, и въ особенности въ этомъ отношеніи отличается, какъ мы ниже увидимъ, Гер. Гер. Ясинскій (Максимъ Бѣлинскій). Наклонность къ сладострастнымъ, а иногда даже и прямо скабреснымъ сценамъ побудила даже критику предполагать вліяніе на всѣхъ этихъ беллетристовъ французской натуралистической школы, и преимущественно Золя. Но очень возможно, что русскіе молодые писатели вполне самостоятельно пришли къ тому-же результату, какъ и французскіе натуралисты, подъ вліяніемъ одного и тогоже духа времени.

II.

Первый, обратившій на себя вниманіе и выдвинувшійся изъ этой группы молодыхъ беллетристовъ, былъ Андрей Осиповичъ Новодворскій, произведенія котораго печатались подъ псевдонимомъ А. Осиповичъ. Онъ родился въ 1853 году въ Кіевской губерніи, липовецкаго уѣзда. Отецъ его былъ мелкій дворянинъ, захудалый шляхтичъ, безъ всякихъ средствъ къ существованію кромѣ службы, дававшей ему 200 р. въ годъ на мѣстѣ смотрителя провіантскаго магазива. У него было много дѣтей, такъ что жалованья на содержаніе семьи не хватало, и Новодворскій въ раннемъ дѣтствѣ позналъ, что такое нужда. Когда во время ревизіи залежавшаяся мука браковалась, и смотритель обязанъ былъ на свой счетъ замѣнять ее новой, своей, въ домѣ всѣ плакали, а отецъ, слишкомъ честный, чтобы подобно другимъ смотрителямъ спекулировать казенной мукой, впалъ въ мрачное уныніе и съ тоскою смотрѣлъ на подрастающихъ дѣтей. Дѣла Новодворскихъ нѣсколько поправились лишь тогда, когда мать получила въ наслѣдство домъ, а отцу пришла идея заняться хозяйствомъ и удалось взростить и выгодно продать нѣсколько быковъ. Это обстоятельство помогло Новодворскому поступить въ Немировскую гимназію.

Гимназія дала Новодворскому очень немного. Онъ съ горечью вспоминалъ о порядкахъ, какіе были заведены начальствомъ для обрусенія края, и неохотно говорилъ объ учителяхъ, коверкавшихъ молодое поколѣніе, поощрявшихъ шпионство и этимъ путемъ насаждавшихъ патріотизмъ. Какъ и весьма многіе изъ нашихъ даровитыхъ людей, Новодворскій былъ обязанъ своему развитію собственнымъ усиліямъ, а главнымъ образомъ чтенію. Лѣтъ 15 — 16 онъ былъ уже очень вліятельнымъ юношей; товарищи не только относились къ нему съ уваженіемъ, но и видѣли въ немъ чуть не идеалъ.

Гимназическій курсъ Новодворскій окончилъ въ 1870 году, семнадцати лѣтъ. Отецъ его умеръ, когда онъ былъ еще въ низшихъ классахъ, и дѣла его родныхъ пришли въ такое разстройство, что мать и сестры нерѣдко голодали. Съ 13 лѣтъ пришлось мальчугану заботиться о поддержаніи семьи учительствомъ. Въ Немировѣ онъ считался первымъ репетиторомъ и зарабатывалъ иногда до 50 руб. въ мѣсяць, — но это рѣдко. По большей-же части юношѣ приходилось класть массу каторжнаго труда для пріобрѣтенія самаго мизернаго гонорара. Были предприниматели, которые брали къ себѣ учениковъ и приглашали заниматься съ ними Новодворскаго, платя ему гроши, а сами получали изрядныя суммы. Объ одномъ изъ такихъ барышниковъ онъ всю жизнь вспоминалъ съ особеннымъ отвращеніемъ. Какую страшную нужду

терпѣлъ Новодворскій впродолженіе всей своей жизни, объ этомъ можно судить по слѣдующей выдержкѣ изъ его дневника:

«Голодъ! Когда ты оставишь меня? Вѣчный физическій или душевный голодъ.. Да будь хоть семь пядей во лбу, и если тебя бросить въ бездонное болото, ты такъ-же прекрасно потонешь, какъ самый слабый смертный! Вши такъ-же преспокойно могутъ заѣсть нищаго рабочаго, какъ заѣли-бы Гете, если-бы у него не было бѣлья, платья и жратвы... Грязь! «Это злѣйшій врагъ моей жизни!» Это моя фраза, но она произнесена въ другое время; она вырвалась у меня, какъ стонъ больной души, а потому я поставилъ ее въ ковычки, какъ изреченіе. Это было шесть лѣтъ тому назадъ. Я путешествовалъ изъ Москвы; не ѣлъ двое сутокъ, и въ такомъ видѣ прѣѣхалъ въ Винницу. До дому оставалось 45 в., которыя надлежало пройти пѣшкомъ. Дѣло было въ октябрѣ. Дождь, грязь, слякоть. Со мною не было вещей, но зато, можно сказать, и штановъ не было, потому что тѣ тончайшія лѣтнія панталоны, что были на мнѣ, въ смыслѣ удобства можно было признать равными нулю; кромѣ того ботинки (тоненькія, помню, ботинки), шинелишка и башлыкъ. Безъ отдыха по этой дорогѣ я прошелъ тридцать верстъ, и зато потомъ чуть не падалъ на каждой верстѣ».

Тяжеле всего, какъ видно изъ его дневника, пришлось ему въ бытность домашнимъ учителемъ и гувернеромъ у какихъ то графовъ. Въ головѣ его начинала даже мелькать мысль о самоубійствѣ. Обстановка была несносная, тонкія и политичныя отношенія и радъ мелкихъ оскорбленій, облеченныхъ въ весьма вѣжливую форму. „Мечтаешь о подвигахъ, а тутъ приходится вести такую мелочную борьбу, что просто безгливость возбуждаетъ“, пишетъ Новодворскій. Комнату ему дали возлѣ птичника, а затѣмъ перевели въ сырую квартиру. „Всю осень и зиму въ этой комнатѣ ни разу не топили. Я изображаю такимъ образомъ просто приборъ для осушки негоднаго помѣщенія своимъ дыханіемъ и уничтоженія миазмовъ своими бѣдными легкими“... Въ гимназій Новодворскій былъ здоровъ и силенъ, какъ атлетъ, и его студенческую палку не всякій могъ поднять, но въ то время здоровье его уже сильно разстроилось. Тогда ему было 23 года, а онъ уже выглядѣлъ 35-ти лѣтнимъ.

Такая сокрушающая нужда не помѣшала однако-же ему слушать лекціи на математическомъ факультетѣ въ Кіевѣ, а въ 1876 г. онъ пробрался въ Петербургъ и въ 1877 году дебютировалъ своею первою повѣстью Эпизодъ изъ жизни *ни павы, ни вороны*, напечатанною въ іюньской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ*. Повѣсть эта обратила на себя всеобщее вниманіе, провинція зачитывалась ею. Литературный трудъ нѣсколько улучшилъ его матеріальное положеніе. Жилье онъ въ послѣднее время по его собственнымъ словамъ „роскошно“. Эта роскошь заключалась въ томъ, что весь учительскій заработокъ въ количествѣ 30, 40 р. онъ могъ тратить на себя, а литературный гонораръ отсылалъ роднымъ, и жилъ въ крошечныхъ комнаткахъ, платя за нихъ отъ 10 до 15 рублей въ мѣсяцъ, а обѣдалъ въ кухинистерскихъ за 40 копѣекъ.

Вотъ какъ характеризуетъ его авторъ его некролога І. І. Ясинскій:

«Конечно, надломленный жизнью, онъ сурово относился къ счастливымъ, которымъ судьба не была мачихой, и поэтому многіе находили его сухимъ, черствымъ человѣкомъ. Одна барыня-сибиритка заговорила съ нимъ о любви, какъ съ литераторомъ, который долженъ только понимать страданія нѣжныхъ сердецъ. Онъ сказалъ ей въ отвѣтъ: «сударыня, вы съ жиру бѣситесь». Всякое внѣшнее проявленіе сентиментальности, восторгъ передъ картиной или вообще художественнымъ произве-

деніемъ онъ обрывалъ съ такой-же грубостью. Это не потому, чтобы онъ былъ чуждъ такихъ восторговъ — онъ напримѣръ любилъ картины и даже самъ хорошо рисовалъ — а потому что ему казалось уродливымъ явленіемъ расходовать нравственную эмоцію на то, что можно назвать низшимъ родомъ нравственнаго наслажденія и въ то-же время игнорировать высшій родъ «этихъ наслажденій». «Ничто не можетъ быть выше нравственной красоты, говорилъ онъ: — и мы живемъ въ такое время, когда красота эта достигаетъ идеала. Восторгъ передъ этой красотой поглощаетъ всѣ другіе восторги».

«Но если онъ былъ грубоватъ и сухъ съ людьми, которыхъ не считалъ своими и которыхъ художническая прозорливость позволяла ему видѣть насквозь со всѣми ихъ мелкими, себялюбивыми побужденіями, зато онъ былъ нѣженъ и деликатенъ съ друзьями, которыхъ впрочемъ у него было немного. Горячее сердце его было открыто для нихъ, какъ и его убогой кошелекъ. Я никогда не зналъ болѣе обязательнаго и теплаго человѣка, какъ покойный Андрей Осиповичъ. Искренній и прямой, онъ никогда не лукавилъ съ людьми, былъ безукоризненно чистъ и умѣлъ беззавѣтно привязывать къ себѣ.

«Въ его манерѣ говорить, ходить, одѣваться, кланяться чувствовался южанинъ, нѣсколько застѣнчивый, но полный юмора, потому что тонкая наблюдательность и умѣнье схватывать смѣшныя стороны даннаго положенія никогда не покидали его, и даже когда онъ молчалъ, по его свѣтлымъ глазамъ можно было видѣть игру этого органическаго юмора, отъ котораго онъ не могъ отдѣлаться. На югѣ, на правомъ и на лѣвомъ берегу Днѣпра, можно нерѣдко встрѣтить людей весьма похожихъ на Андрея Осиповича, у которыхъ внутреннія терзанія и цѣлыя душевныя драмы прикрываются юморомъ, даже каламбуромъ. Это ужъ особенность расы. Нѣкоторые, читая рассказы Андрея Осиповича, полагали, что ему стоила большихъ трудовъ его манера писать. Но я зналъ хорошо этого человѣка и утверждаю, что напротивъ ему стоило большихъ трудовъ не писать въ этой манерѣ, когда ему совѣтывали сохранить юморъ, придающій такой блескъ его произведеніямъ, воздержаться отъ каламбурничанья, ибо каламбуръ всегда антихудожественъ.

«Обладая большой начитанностью и широкимъ умомъ, Андрей Осиповичъ при томъ талантѣ, который несомнѣнно отличаетъ его произведенія, могъ-бы выработать изъ себя съ теченіемъ времени крупную литературную силу. Но жестокая борьба за жизнь черезчуръ рано погасила этотъ благородный талантъ».

1878—1880 гг. были особенно губительны для здоровья Новодворскаго. Онъ перенесъ два тифа и сталъ кашлять. Зловѣщіе признаки чахотки, которую онъ считалъ «легонькимъ бронхитомъ», появились въ серединѣ лѣта 1881 года, когда онъ пожилъ на дачѣ въ крошечной комнаткѣ съ сквознымъ вѣтромъ и течью. Онъ поѣхалъ на югъ, въ Винницу, но тамъ дождь (фигурирующій въ предсмертномъ рассказѣ его *Исторія*) промочилъ его до костей и онъ уже серьезно простудился, такъ что, снова появившись въ августѣ въ Петербургѣ, испугалъ друзей своимъ чахоточнымъ видомъ. Въ ноябрѣ онъ уѣхалъ за-границу, съ тѣмъ чтобы не возвращаться на родину: 2 апрѣля 1882 года онъ умеръ въ Ниццѣ на двадцать девятомъ году, въ крайней нищетѣ въ казенной больницѣ и въ полномъ одиночествѣ.

Мы уже говорили выше, что первый-же рассказъ Новодворскаго — *Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны* обратилъ на себя общее вниманіе и заставилъ видѣть въ авторѣ блестящую надежду. И дѣйствительно, отъ него сразу повѣяло на всѣхъ чѣмъ-то молодымъ, свѣжимъ и главное дѣло — совершенно новымъ. Самая форма произведенія этого поражала своею оригинальностью и какъ-бы полнымъ разрывомъ съ завѣщан-

ными традиціями. Она совершенно отступала отъ прилизанной, прикрашенной и припомаженной беллетристической формы, созданной сороковыми годами. Бездна южно-русскаго юмора, смѣлое введеніе въ разсказъ не только классическихъ литературныхъ типовъ (Печорина, Рудина, Вазарова и пр.), но и самого Тургенева, котораго авторъ заставилъ разговаривать съ героемъ его *Нови*, Соломинимъ, безпрестаннаго то лирическаго, то юмористическаго отступленія и прихотливое изложеніе, слѣдующее болѣе полету фантазіи и игрѣ сдѣляющихся мыслей, чѣмъ вышнему развитію сюжета, все это напоминаетъ гейневскую прозу, и читатель отдыхалъ отъ монотонной рутинныя пріѣвшагося ему стараго беллетристическаго изложенія, расположеннаго по разъ установленному рутинному порядку.

Но главное значеніе разсказовъ Новодворскаго заключается въ томъ, что здѣсь юное поколѣніе устами лучшаго своего представителя открыло намъ всѣ свои муки и сомнѣнія, чѣмъ оно живетъ и къ чему оно стремится. Особенно въ этомъ отношеніи замѣчательны два первые разсказа: *Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни воронны и Карьера*. Въ обоихъ разсказахъ рисуется передъ вами одинъ и тотъ-же герой, отъ лица котораго ведется рѣчь; но надо замѣтить, что во второмъ разсказѣ герой этотъ изображенъ гораздо рельефнѣе и освѣщенъ правильнѣе и сознательнѣе. Когда Новодворскій писалъ *Эпизодъ*, онъ хотя и вѣрно представлялъ себѣ типъ своего героя, какъ художникъ, но, какъ мыслитель, очевидно не успѣлъ вполне осмыслить его и сознать его мѣсто въ жизни. Вслѣдствіе этой смутности сознанія онъ создалъ цѣлую теорію „ни павства ни воронства“, подъ которую подвелъ всѣхъ и вся: и своего героя, и самого себя, и другого героя изъ народа, Печерицу, и даже самого Бѣлинскаго!

„Ни павство ни воронство“ всѣхъ этихъ личностей по мнѣнію Новодворскаго заключалось въ томъ, что они отъ одного берега отстали, а къ другому не пристали. Но если это и можетъ быть примѣнимо къ героямъ Новодворскаго, то совсѣмъ въ обратномъ смыслѣ чѣмъ къ Бѣлинскому,—именно въ томъ, что въ то время какъ жизнь внушала имъ новые идеалы и поставила ихъ въ новыя экономическія условія, натура ихъ оставалась старая, не только не соотвѣтствующая новымъ идеаламъ и условіямъ, но совершенно имъ противоположная.

Вся бѣда для нихъ заключалась въ томъ, что въ то время какъ они по завѣту отцовъ и дѣдовъ были воспитаны для дворянскаго благодушія, всѣ условія, необходимыя для этого благодушія, были отъ нихъ отняты. Крестьянъ отобрали; послѣднія выкупныя свидѣтельства были прожиты; поля начали заростать бѣлоусомъ, усадьбы ветшать, службы разваливаться; сады превратились въ непролазныя чащи; наконецъ всѣмъ этимъ завладѣлъ Деруновъ,—и семья героевъ нашихъ быстро дошла до послѣдней степени нищеты.

«Мы, повѣствуетъ герой *Карьеры*, прожили послѣднія крохи, оставшіяся послѣ отца, и быстро скатились по наклонной плоскости разоренія. Новая квартира обходилась намъ по рублю въ мѣсяцъ. Это была половина избы какого-то отставнаго унтера, представлявшая двѣ крошечныя горницы, соединенныя не дверью, а промежутокъ между кухонною печью и выступомъ противоположной стѣны. Первая отъ входа поступила въ мое владѣніе, вторую заняли мать съ сестрами. У меня было оконце, и у нихъ оконце...»

И это была нищета гораздо ужаснѣе той, какую терпятъ обыкновенно люди низшихъ слоевъ общества. Тѣ хоть что-нибудь умѣютъ дѣлать и для нихъ больше представляется возможности найти хоть самый скудный кусокъ хлѣба. Здѣсь-же вы видите полную растерянность, неумѣнье ни за что взяться, ни въ чемъ найтись, и въ концѣ концовъ безвыходное отчаянье. Люди простого класса способны съ собою-то распорядиться самимъ, обшить себя, обмыть и т. п., а здѣсь при-выкли, чтобы за нихъ все дѣлали другіе, и потому теперь по шею тонуть въ грязь. Но зато попадаетъ имъ случайно въ руки лишній грошъ въ видѣ какой-нибудь подачки или заложенной у еврея фамильной брошки, сейчасъ-же этотъ послѣдній грошъ ставится ребромъ, и въ то время какъ забываютъ о необходимости заштопать безобразную и бросающуюся въ глаза прорѣху, на столѣ являются конфеты и всякія финтифлюшки.

А что-же дѣлаютъ въ это время молодые представители рода, наши герои? Они занимаются благороднымъ дѣломъ: лежать на диванѣ и мечтаютъ о широкой дѣятельности. При этомъ, несмотря на то, что малые кончили уже курсъ гимназій, они не чувствуютъ ни малѣйшаго призванія къ какому-нибудь дѣлу; для нихъ рѣшительно все равно, за что-бы ни принятыя, и въ ихъ мечтахъ о дѣлѣ ихъ занимаетъ не самое дѣло, а ихъ собственная фигура, блистающая на героическомъ пьедесталѣ. Это одинъ изъ существенныхъ міазмовъ, какіе бродятъ въ крови героевъ по завѣщанію отцовъ и дѣдовъ. Они никакъ не могутъ вообразить такого порядка вещей и такого дѣла, чтобы собрались люди изъ любви къ самому дѣлу, а не къ пьедесталу, чтобы они уважали и любили другъ въ другѣ товарищей, братьевъ, а не пресмыкающихся передъ нами рабовъ, чтобы дѣйствовали любовно, сообща, по взаимному совѣту, настолько-же подчиняя своей волѣ товарища брата, насколько сами подчиняясь ему. Для нихъ необходимо, чтобы они гордо возвышались надъ толпою и тысячи народа повиновались ихъ голосу, а на нихъ съ восторгомъ любовались-бы женскія очи.

Но одною этою гангреною не ограничивается дѣло. Отцы и дѣды завѣщали своимъ потомкамъ еще одинъ міазмъ, преобладающій въ ихъ организмѣ и сѣвдающій ихъ, а именно: необузданное сластолюбіе и чревоугодіе. Есть люди, у которыхъ главнымъ стимуломъ всѣхъ мыслей и дѣлъ является юбка. Куда-бы ни забросила ихъ судьба, они тотчасъ-же первымъ дѣломъ оглядываются вокругъ себя, нѣтъ-ли гдѣ вблизи подходящаго сюжета для романа, а если возможно, то и для нѣсколькихъ. Что-бы они ни предприняли, въ концѣ концовъ оказывается, что это или дѣлается спеціально ради побѣды надъ непреклоннымъ женскимъ сердцемъ, или-же роковымъ путемъ сводится все къ той-же неизмѣнной любовной интрижкѣ. Надо замѣтить при этомъ, что любовь принимаетъ въ глазахъ подобныхъ героевъ характеръ какого-то мало сказать возвышеннаго дѣла, — священнодѣйствія. Благородная героиня никогда не спустится до того, чтобы признаться, что она жаждетъ одной любви; нѣтъ, она жаждетъ дѣла, жертвы. А у героя помысленія нѣтъ о томъ, чтобы срывать цвѣты удовольствія: о нѣтъ, о нѣтъ подвиговъ, мученичества жаждетъ! И подъ всею этой напыщенной риторикой высокихъ стремленій у этихъ господъ скрывается самая низменная чувственность. До какой степени развращено и изгажено обыкновенно бываетъ ихъ воображеніе, объ этомъ мы можемъ судить по герою *Карьеры*. Случайно на улицѣ въ

Петербургъ онъ познакомился съ дѣвушкой, которая подобно ему пріѣхала учиться, голодала и тщетно искала уроковъ. Бѣдняжка нѣсколько дней уже не ѣла и находилась въ такомъ изнеможеніи, что герой съ трудомъ дотащилъ ее до своей коморки и уложилъ на свою постель. Она начала метаться, бредить, и у нея очевидно начался голодный тифъ. И вотъ мы читаемъ:

«Она забормотала какую-то безсмыслицу, стала метаться на постели и рвать платье. Я растегнулъ ей юбку, снялъ башмаки, чулки, сильно заштопанные на носкахъ и съ влажными желтыми пятнами на подошвахъ, вытеръ досуха худыя, почти дѣтскія ноги и прикрылъ ихъ одѣяломъ».

Однимъ словомъ, герой сдѣлалъ то, что былъ обязанъ сдѣлать каждый порядочный и не зачерствѣлый человѣкъ. Но онъ и тутъ, у постели умирающей, не забылъ своихъ клубничныхъ грезъ и къ вышеприведенной тирадѣ прибавилъ слѣдующія слова: „т. е. продѣлалъ все то, что при другихъ обстоятельствахъ могло-бы составить весьма пикантную страницу романа“.

Рядомъ съ такою кощунственною фразою сопоставьте разсужденіе героя *Этиода* о преимуществѣ бѣлыхъ женскихъ чулковъ передъ цвѣтными для возбужденія въ мужчинѣ страсти, — и вы поймете, чѣмъ наполнены головы героевъ Новодворскаго.

И вотъ эти-то герои, иснакощенные всяческими и физическими, и нравственными миазмами, завѣщанными предками, рѣшаются наконецъ, повинуваясь духу времени, съехать за собою корабли, свергнуть съ себя ветхаго человѣка и отъ риторики перейти къ самому дѣлу, и даже не къ какому-нибудь головоломно-хитрому или высокому дѣлу, а лишь къ азбукѣ дѣла: дерзаютъ впрячься въ трудовую лямку рабочаго человѣка. Но тутъ комедія превращается въ трагедію. Здѣсь подводится роковой, окончательный итогъ всей жизни героевъ. Какъ герои они не могутъ избрать какую-нибудь сообразную ихъ истощеннымъ силамъ работу, а сразу рѣшаются на что-нибудь вроде тасканія десятипудовыхъ кулей или бревенъ, — ну и конечно дѣло кончается самымъ постыднымъ *fiasco*, какимъ ознаменовалъ свое подвижничество герой *Карьеры*, и затѣмъ начинаются муки отчаянія и помышленія о самоубійствѣ.

Вотъ передъ вами разгадка столь многихъ уединенныхъ выстрѣловъ, раздававшихся такъ часто втеченіе восьмидесятыхъ годовъ. Они являются прямымъ результатомъ отрезвленія отъ самообольщенія пьедесталами героевъ Новодворскаго, отчаяннаго сознанія полной несостоятельности. Герои успѣли постыдно убѣжать отъ всего, что призывало ихъ: убѣжали отъ родныхъ, взывавшихъ къ нимъ о помощи, убѣжали отъ женщинъ, которыя полюбили ихъ, убѣжали отъ ученья, убѣжали отъ дѣла, оказавшагося имъ не по силамъ, — и чтоже оставалось имъ дѣлать, какъ не бѣжать отъ самой жизни?

Но въ послѣдніе годы своей недолгой литературной дѣятельности были у Новодворскаго попытки изображать типы молодого поколѣнія иного рода, болѣе положительныя, цѣльныя и отрадные, вышедшіе изъ иной среды, не столь растленной. Уже въ *Карьерѣ* вывелъ онъ героя совсѣмъ иного закала въ видѣ Стремиліна, съ его характерною кличкою злочки, являющагося мстителемъ за поруганную честь любимой дѣвушки. Въ разсказѣ *Романъ* подобный-же типъ въ лицѣ Алешки очерченъ болѣе полно; въ то время, какъ Стремиліинъ представленъ въ одномъ отрицательномъ видѣ сказивчевскій.

мстителя, здѣсь тотъ-же герой является передъ вами и съ положительной стороны, въ качествѣ спасителя молодой и неопытной дѣвушки отъ гибельнаго увлеченія пошлякомъ. Но и здѣсь этотъ типъ лишь отмѣченъ и далеко не является передъ вами во весь ростъ, въ полномъ и всестороннемъ изображеніи, подобно тому какъ рисуются типы несостоятельныхъ героевъ.

Въ послѣднихъ-же повѣстяхъ Новодворскаго *Мечтатели* и *Исторія* хотя и изображаются въ свою очередь положительные герои, но герои эти рисуются въ еще большемъ туманѣ, вслѣдствіе того что авторъ дѣлалъ неосуществимыя по цензурнымъ условіямъ попытки изображать своихъ героевъ въ самыхъ ихъ дѣйствіяхъ. Но дѣйствій-то этихъ онъ и не могъ представить. Герои мало того что совершаютъ свои главные поступки гдѣ-то за кулисами, и авторъ словечка не молвить о томъ, что они такое тамъ дѣлаютъ, но иногда они и совсѣмъ не выходятъ на сцену, какъ напр. въ *Мечтателяхъ* невѣдомый, но тѣмъ не менѣе самый главный герой—Псевдонимовъ.

III.

Одновременно съ Новодворскимъ выступилъ на литературное поприще Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ, столь-же преждевременно окончившій свою жизнь, но еще болѣе талантливый и оставившій послѣ себя еще болѣе яркій слѣдъ въ нашей литературѣ.

Гаршинъ родился 2-го февраля 1855 года въ екатеринославской губерніи, въ бахмутскомъ уѣздѣ, въ имѣніи его бабки А. С. Акимовой. Отецъ его былъ мелкій помещикъ на военной службѣ. Вслѣдствіе этого Гаршину съ самаго нѣжнаго дѣтства пришлось много постранствовать, перебивать въ самыхъ разнообразныхъ мѣстностяхъ Россіи. Деревни екатеринославской губерніи, Харьковъ, Старобѣльскъ, Петербургъ, Петрозаводскъ, — вотъ какія разнообразныя воспоминанія оставило дѣтство Гаршину. Уже съ первыхъ лѣтъ жизни онъ обнаруживалъ многія качества, характеризовавшія его и въ зрѣломъ возрастѣ: былъ такъ-же добръ, мягокъ, кротокъ, всѣми любимъ, проявлялъ ту-же способность увлекаться. Наслушавшись въ домѣ отца рассказовъ о походахъ и войнахъ, онъ четырехъ лѣтъ рѣшился идти на войну, принялся за сборы, прощался съ родными, горько плача, и большого труда стоило отвлечь его отъ этой идеи. Вообще-же внѣшнія условія дѣтской жизни Гаршина были далеко не изъ благопріятныхъ: ребенкомъ еще пришлось ему перенести многое такое, что выпадаетъ на долю лишь немногихъ. Это имѣло большое вліяніе на складъ его характера, многія особенности котораго онъ самъ объяснялъ именно этими печальными фактами своего дѣтства. Грамотѣ научился онъ на пятомъ году и принялся за чтеніе всѣхъ книгъ, какія попадались ему подъ руки, не исключая нумеровъ *Современника*, гдѣ, будучи восьми лѣтъ, онъ читалъ романъ *Что дѣлать* Чернышевскаго. Когда ему минуло девять лѣтъ, въ 1864 году, онъ былъ привезенъ матерью въ Петербургъ и опредѣленъ въ первый классъ с.-петерб. 7-й гимназіи (нынѣ 1-е реальное училище). Учился онъ хорошо и оставилъ самыя пріятныя воспоминанія въ своихъ учителяхъ и воспитателяхъ. Товарищи въ свою очередь души въ немъ не чаяли, и онъ среди нихъ пріобрѣлъ много дру-

зей, съ которыми до смерти поддерживалъ самыя задушевные отношенія. Впродолженіи гимназическаго курса Гаршинъ обнаруживалъ большую страсть къ естествознанію. Особенно лѣтомъ въ деревнѣ онъ весь отдавался своей любви къ природѣ, вѣчно возилъ съ лягушками, ящерицами и жуками, собиралъ гербаріи и т. п.

Вѣншія условія жизни Гаршина и въ гимназическіе годы оставались мало благоприятными. Дѣло доходило до того, что наиримѣрь въ 1868 году Гаршинъ, тогда тринадцати-лѣтній еще мальчикъ, долженъ былъ одинъ, безъ провожатыхъ отправиться изъ Старобѣльска въ Петербургъ къ началу занятій въ гимназіи. Впрочемъ съ этого времени условія жизни его улучшились, такъ какъ онъ устроился въ симпатичной семьѣ одного изъ своихъ товарищей, В. Н. Афанасьева. Скоро, благодаря другому товарищу В. М. Латкину, онъ нашелъ доступъ въ семью А. Я. Герда, которому, какъ онъ самъ выражался, онъ былъ обязанъ болѣе чѣмъ кому-либо другому въ дѣлѣ своего умственного и нравственнаго развитія. По переходѣ въ шестой классъ Гаршинъ былъ принятъ въ пансіонъ на казенный счетъ.

Въ старшихъ классахъ гимназіи Гаршинъ все болѣе и болѣе уходилъ въ книги. Онъ составилъ даже вѣстѣ съ нѣсколькими товарищами что-то вродѣ общества образованія бібліотеки: на членскіе взносы и добровольныя пожертвованія пріобрѣтались всевозможныя книги самыми экономическими способами, и друзья сами переплетали ихъ. Въ то-же время Гаршинъ началъ уже и пописывать, участвуя въ гимназическихъ рукописныхъ журналахъ, издававшихся его товарищами.

Въ концѣ 1872 года, когда Гаршинъ былъ уже въ седьмомъ классѣ, его впервые постигъ сведшій его послѣдствіи въ могилу душевный недугъ, возросшій до такой степени, что родные должны были помѣстить его въ больницу св. Николая. Болѣзнь шла crescendo и въ началѣ 1873 года онъ былъ уже настолько боленъ, что къ нему не пускали навѣщавшихъ его. Иногда на него находили минуты просвѣтлѣнія и онъ вспоминалъ все, что дѣлалъ въ періоды безумія. Но мало-по-малу здоровье его оправдилось. Когда онъ былъ взятъ изъ больницы, у него оставались лишь нервныя припадки по ночамъ. Помѣщенный въ лечебницу д-ра Фрея, онъ окончательно выздоровѣлъ лѣтомъ 1873 года.

Окончивши затѣмъ курсъ гимназіи въ 1874 году, Гаршинъ поступилъ въ горный институтъ. Къ этому времени относится знакомство его съ кружкомъ художниковъ (И. Е. Рѣпнымъ, Н. А. Ярошенко, М. Е. Малышевымъ и проч.), дружбу съ которыми онъ сохранилъ до смерти. Это знакомство много содѣйствовало развитію въ Гаршинѣ художественнаго вкуса и пониманія живописи, которые онъ обнаружилъ въ нѣсколькихъ статьяхъ своихъ о художественныхъ выставкахъ. Курсовыми предметами онъ занимался лишь настолько, насколько это требовалось, и всецѣло отдавался мысли сдѣлаться писателемъ. Онъ писалъ много, но истреблялъ все написанное, будучи недоволенъ своими работами. Но въ 1876 году онъ рѣшился таки выступить въ печати, и напечаталъ маленькій рассказъ, которому впрочемъ не придавалъ значенія, равно и статьямъ о художественныхъ выставкахъ, появившихся вскорѣ за тѣмъ въ *Новостяхъ*, и считалъ начало своей литературной дѣятельности съ 1877 года.

Но вотъ разразились грозныя событія на Балканскомъ полуостровѣ, началась сербская война; наше общество было сильно возбуждено, начались сборы пожертвованій

всякаго рода, потянулись со всѣхъ концовъ добровольцы. Юноша отъ природы крайне впечатлительный и съ чрезвычайно чуткою совѣстью, постоянно высказывавшій кровное убѣжденіе свое объ обязанности для каждаго принять на себя долю общаго бѣдствія, представляемаго войной, Гаршинъ едва могъ воздержаться отъ участія въ сербской войнѣ, благодаря лишь тому, что былъ на очереди по всеобщей воинской повинности. Зато, когда появился манифестъ о войнѣ съ Турціею, онъ не могъ долѣе терпѣть: бросилъ переходные экзамены со второго на третій курсъ и отправился въ дѣйствующую армію съ товарищемъ своимъ В. Н. Афанасьевымъ. Въ Кишиневѣ онъ поступилъ рядовымъ въ 138-й болховской пѣхотный полкъ и черезъ день выступилъ въ походъ.

Гаршину пришлось принять участіе въ двухъ дѣлахъ съ турками. Первое было небольшою стычкою, послѣ которой были посланы войска для уборки и погребенія труповъ. И здѣсь-то былъ найденъ среди труповъ живымъ солдатъ того-же болховскаго полка, который четыре дня оставался на полѣ сраженія съ перебитыми ногами, безъ пищи и воды. Этотъ случай и послужилъ темой для перваго разсказа Гаршина *Четыре дня*, который онъ началъ сочинять уже во время похода, сильно потрясенный имъ. Вторымъ дѣломъ, въ которомъ участвовалъ Гаршинъ, было сраженіе при Аясларѣ, описанное имъ въ *Новостяхъ*. Въ реляціи объ этомъ сраженіи сказано, что „рядовой изъ вольноопредѣляющихся В. Гаршинъ примѣромъ личной храбрости увлекъ впередъ товарищей въ атаку, во время чего и раненъ въ ногу“.

Препровожденный съ другими ранеными въ Баку, Гаршинъ затѣмъ 4-го сентября былъ доставленъ въ Харьковъ, гдѣ и провелъ время выздоровленія, до конца декабря, въ домѣ матери. Въ первые-же дни по пріѣздѣ въ Харьковъ онъ принялся за обработку разсказа *Четыре дня*, начатаго еще въ Болгаріи. Разсказъ былъ посланъ въ *Отечественныя Записки* и появился въ № 10 этого журнала за 1877 годъ, произведя всеобщую сенсацію, благодаря какъ своему содержанию изъ военныхъ событій, которыя въ то время всецѣло поглощали вниманіе общества и волновали его, такъ и блестящему таланту автора, который былъ сразу признанъ и одѣненъ и публичкой, и критикой.

Окриленный этимъ успѣхомъ и пріѣхавши въ Петербургъ, Гаршинъ съ жаромъ принялся какъ за пополненіе своего образованія (чтеніемъ и университетскими лекціями, которыя онъ слушалъ втеченіе полугода), такъ и за новыя литературныя работы. Такъ втеченіе послѣдующихъ двухъ лѣтъ, съ 1878 по 1880 годы, имъ написаны были *Очень маленькій романъ*, *Происшествіе*, *Трусъ*, *Встрѣча*, *Художники*, *Attalea princeps*, *Ночь*. Впродолженія всего этого времени здоровье его было относительно цвѣтуще, исключая лѣтнихъ мѣсяцевъ, когда его посѣщали признаки мучительной меланхоліи. Но посѣтившіе его признаки въ 1879 году уже не прекращались какъ обыкновенно зимою, и къ веснѣ 1880 года разразился кризисомъ возврата его душевной болѣзни. Болѣзнь эта обнаружилась тѣмъ, что вслѣдъ за покушеніемъ на представителя верховной распорядительной комиссіи гр. Лорисъ-Меликова, Гаршинъ явился ночью къ послѣднему, чтобы убѣдить его въ необходимости „примиренія“ и „всепрошенія“. Вудучи допущенъ къ графу, онъ долго бесѣдовалъ съ нимъ. Графъ отнесся къ нему какъ къ больному и отпустилъ его. Затѣмъ Гаршинъ уѣхалъ изъ Петербурга въ Москву, и начались безцѣльныя скитанія его то вѣшкомъ, то верхомъ.

изъ одной губерніи въ другую, причѣмъ онъ неизвѣстно зачѣмъ посѣщалъ гр. Л. Толстого въ Ясной полянѣ, родителей критика Писарева. Все это онъ совершалъ въ полномъ помѣшателствѣ, пока увѣдомленные обо всемъ этомъ родственники не настигли его, не увезли въ Харьковъ и не препроводили въ больницу умалишенныхъ на Сабуровой дачѣ. Пробывши здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, Гаршинъ былъ перевезенъ въ Петербургъ въ лечебницу д-ра Фрея. Здѣсь онъ оправился отъ помѣшателства, но все-таки представлялъ собою человѣка совершенно разбитаго и физически, и нравственно. Въ такомъ видѣ его привезли къ роднымъ въ Харьковъ, а отсюда взялъ его дядя В. С. Акимовъ въ свое имѣніе, д. Ефимовку въ херсонской губерніи, возлѣ Днѣпровско-Бугскаго лимана.

Въ деревнѣ этой Гаршинъ прожилъ съ конца 1880 г. до весны 1882 года. Мѣсто это крайне уединенное вполне подходило къ состоянію больного по отсутствію всякихъ рѣзкихъ впечатлѣній, полному спокойствію и степному раздолью. Къ тому-же родственники, у которыхъ жилъ Гаршинъ, были крайне добры къ нему, и онъ всегда вспоминалъ съ удовольствіемъ о своемъ житіи въ этой прекрасной семьѣ. Онъ велъ самый регулярный образъ жизни, правильно питался, ходилъ и ѣздилъ по окрестностямъ, катался зимою на конькахъ по лиману. При такихъ условіяхъ весною въ началѣ 1882 г. онъ былъ уже настолько здоровъ, что могъ написать свою прелестную сказочку *То, чего не было*, для дѣтей А. Я. Герда, задумавшихъ издавать рукописный дѣтскій журналъ *Маленькій корабль*.

Проживъ затѣмъ лѣто 1882 года въ имѣніи Тургенева Спасское-Лутовиново въ обществѣ семейства Я. П. Полонскаго, осенью Гаршинъ снова былъ въ Петербургѣ. Не рассчитывая жить литературными заработками, онъ сталъ искать постороннихъ занятій, сначала поступилъ въ помощники управляющаго торговою частью Анноловской писчебумажной фабрики, и въ слѣдующемъ году получилъ мѣсто секретаря съѣзда представителей желѣзныхъ дорогъ. Въ слѣдующемъ-же 1883 году 11 февраля онъ женился на слушательницѣ женскихъ врачебныхъ курсовъ Надеждѣ Михайловнѣ Золотиловой.

Съ этого времени жизнь его повидимому вполне входитъ въ норму и устривается. Въ семейномъ отношеніи Гаршинъ чувствуетъ себя такимъ счастливецомъ, что даже удивляется своему счастью, находя его исключеніемъ изъ матримоніальныхъ порядковъ. Кромѣ взаимной любви и соответствія характеровъ, большое значеніе имѣло для Гаршина то обстоятельство, что жена его была женщина-врачъ. Больной, онъ нуждался не только въ заботливомъ уходѣ, но и въ разумномъ медицинскомъ присмотрѣ. Матеріальныя заботы были сняты съ Гаршина, благодаря мѣсту, которое вознаграждая его въ размѣрахъ вполне достаточныхъ для покрытія скромныхъ его потребностей, отнимало у него весьма немного времени. Онъ могъ писать теперь, когда хотѣлъ. Съ жаромъ принялся онъ за работу. Къ этому времени относятся его рассказы *Записки рядового Иванова*, *Красный цвѣтокъ*. Въ то-же время онъ задумалъ писать историческій романъ изъ эпохи Петра I и до самой смерти занимался приготовленіемъ матеріаловъ и историческими чтеніями для этой работы.

Но счастье его было непродолжительно. Только одинъ годъ послѣ болѣзни удалось ему прожить безъ возврата. Но уже съ 1884 года снова начала посѣщать его прежняя

меланхолія, ежегодно являвшаяся съ весною и проходившая лишь осенью, приче́мъ припадкн ея дѣлались съ кажды́мъ разомъ продолжительнѣе и сильнѣе. При такихъ условіяхъ работать ему удавалось лишь въ зимніе мѣсяцы, да и то съ большимъ трудомъ. Въ послѣдніе четыре года своей жизни онъ только и успѣлъ написать повѣсть *Надежда Николаевна* и два разсказа: *Синалъ* и *Гордый Аней*. Въ 1887 году болѣзнь посѣтила Гаршина довольно поздно, среди уже лѣта, но зато не проходила болѣе; весною-же 1888 года обнаружились нѣкоторые признаки возврата погѣшательства. И вотъ во время сборовъ на Кавказъ, въ припадкѣ глубокой меланхоліи, Гаршинъ бросился въ пролетъ лѣстницы дома, въ которомъ онъ жилъ, и 24 марта его не стало.

IV.

Въ одномъ изъ писемъ къ своимъ друзьямъ, 1-го мая 1885 г., слѣдовательно за три года до смерти, когда большинство его произведеній было уже написано, Гаршинъ, сѣтуя на неудачу своей повѣсти *Надежда Николаевна*, между прочимъ такъ опредѣляетъ свой талантъ: „для меня прошло время страшныхъ отрывочныхъ воплей, какихъ-то „стиховъ въ прозѣ“, какими я до сихъ поръ занимался: матеріалу у меня довольно и нужно изобразить не свое я, а большой внѣшній міръ“.

Судя по этимъ словамъ, можно думать, что всѣ произведенія Гаршина отличаются крайнею субъективностью. Но это не совсѣмъ вѣрно. Если у Гаршина и найдется не мало произведеній, въ которыхъ онъ имѣетъ дѣло очевидно съ своею собственною личностью, съ своими думами, сомнѣніями и рефлексіями, каковы: *Четыре дня*, *Трусъ*, *Ночь*, *Красный цыптокъ*, *Attalea princeps* и *То, чего не было*; зато наберется не менѣе и такихъ, въ которыхъ онъ является вполне отрѣшившимся отъ себя. Очевидно ничего общаго съ его личностью не имѣютъ произведенія: *Встрѣча*, *Происшествіе*, *Деньщикъ и офицеръ*, *Записки рядового Иванова*, *Медвѣди*, *Надежда Николаевна* и *Гордый Аней*. Гораздо точнѣе мы опредѣлимъ отличіе Гаршина отъ прочихъ беллетристовъ его школы, если скажемъ, что во всѣхъ его произведеніяхъ какъ крайне субъективныхъ, такъ и вполне объективныхъ мы видимъ бѣдность эпического элемента. Гаршинъ дѣйствительно имѣлъ очень мало дѣла съ внѣшнимъ міромъ, но не въ томъ смыслѣ, чтобы онъ вѣчно возился съ самиямъ собою, а въ томъ, что всегда пренебрегалъ внѣшнею обрисовкою лицъ и предметовъ, детальностью, и вмѣстѣ съ тѣмъ типичностью выводимыхъ лицъ, а больше всего обращалъ вниманіе на внутренній міръ своихъ героевъ, на то, что они передумывали, перечувствовали, переживали въ своей душѣ.

Это вѣчное копаніе во внутреннемъ мірѣ героевъ обусловливается съ одной стороны душевною болѣзнию Гаршина; съ другой же — вполне соответствующю духу времени, въ которое писались всѣ его произведенія, эпохи тоскующихъ, раздвоенныхъ людей съ большою совѣстью, усомнившихся и въ себя самихъ, и во всемъ окружающемъ, путающихся въ непримиримыхъ противорѣчіяхъ.

Обратите вниманіе, что въ разсказахъ Гаршина люди цѣльные, способные беззаветно отдаваться страсти и наслаждаться жизнью, являются въ тоже время вполне

пошляками. Таковы напримѣръ благодушствующій инженеръ въ разсказѣ *Встрѣча*, Дѣдовъ въ разсказѣ *Художники*. Герои-же мало-мальски симпатичные, къ которымъ лежитъ сердце автора и которые высказываютъ его собственные думы, являются постоянно раздвоенными и рефлектирующими Гамлетами. Это совершенно согласуется съ дѣленіемъ людей на два разряда, какое дѣлаетъ Гаршинъ въ своемъ письмѣ къ Латкину 9 декабря 1883 г., высказывая здѣсь очевидно заветный свой взглядъ и на людей вообще и на самого себя:

«Всѣ люди, говоритъ онъ, которыхъ я знаю, раздѣляются (между прочими дѣленіями, которыхъ конечно множество: умные и дураки, Гамлеты и Донъ-Кихоты, лѣнтяи и дѣятельные и проч.) на два разряда, или вѣрнѣе распредѣляются между двумя крайностями: одни обладаютъ хорошимъ, такъ сказать, самочувствіемъ, а другіе—сквернымъ. Одинъ живетъ и наслаждается всякими ощущеніями: ѣсть—онъ радуется, на небо смотреть—радуется. Даже низшія физиологическія отправления совершаетъ съ видимымъ удовольствіемъ. Придетъ изъ ватерклозета и говоритъ: «ну, братъ, да и хорошо-же я и пр.». Это я не разъ слыжалъ, да навѣрно и вы тоже. Словомъ, для такого человѣка самый процессъ жизни—удовольствіе, самое сознаніе жизни—счастіе. Вотъ какъ Платоша Каратаевъ. Такъ ужъ онъ устроенъ, и я не вѣрю ни Толстому, ни кому иному, что такое свойство Платоши зависитъ отъ міросозерпанія, а не отъ устройства. Другіе-же совсѣмъ напротивъ: озолоти его, онъ все брюжитъ; все ему скверно; успѣхъ въ жизни не доставляетъ никакого удовольствія, даже если онъ вполнѣ на-лицо. Просто человѣкъ неспособенъ чувствовать удовольствія,—неспособенъ да и все тутъ...»

Тожѣ самое слѣдуетъ сказать и о всѣхъ лучшихъ герояхъ Гаршина. Они въ свою оче редь оказываются неспособны чувствовать удовольствія. Все это подрядъ раздвоенные, рефлектирующіе Гамлеты. Такимъ Гамлетомъ является даже герой *Четырехъ дней*, повидному менѣе всѣхъ другихъ подходящій къ этому типу. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что онъ шелъ на войну, какъ истый Лаэртъ, сознательно и добровольно, увлеченный идеею. Онъ не понималъ даже, въ силу чего окружающіе смѣялись надъ его военнымъ задоромъ и называли его юродивымъ. Но и онъ обратился въ Гамлета, испытавъ, что такое война на самомъ дѣлѣ. Вотъ онъ лежитъ въ кустахъ, раненый, забытый, рядомъ съ трупомъ турка, котораго передъ тѣмъ убилъ, и тутъ, среди мукъ нестерпимой боли отъ ранъ, пожирающей жажды и отчаянья, его начинаетъ преслѣдовать цѣлый рядъ скептическихъ рефлексій и о жестокой бессмысленности войны вообще, и тѣмъ большей бессмысленности его собственнаго убійства.

Еще въ большей степени Гамлетомъ является передъ нами герой *Труса*. Извѣстія съ поля войны производятъ на него потрясающее впечатлѣніе.

«Первы, спрашиваетъ онъ себя, что-ли у меня такъ устроены, только военныя телеграммы, съ обозначеніемъ числа убитыхъ и раненыхъ, производятъ на меня дѣйствіе, гораздо болѣе сильное, чѣмъ на окружающихъ. Другой спокойно читаетъ: «постери наши незначительны, ранены такіе-то офицеры, нижнихъ чиновъ убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало; а у меня при чтеніи такого извѣстія тотчасъ появляется передъ глазами цѣлая кровавая картина. Пятьдесятъ мертвыхъ, сто изувѣченныхъ—это незначительная вещь! Отчего-же мы такъ возмущаемся, когда газеты приносятъ извѣстіе о какомъ-нибудь убійствѣ, когда жертвами являются нѣсколько человѣкъ? Отчего видъ провисанныхъ пулями труповъ, лежащихъ на полѣ битвы, не поражаетъ насъ такимъ ужасомъ, какъ видъ внутренности дома, разграб-

ленного убійцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нѣсколькимъ десяткамъ челоуѣкъ, заставила кричать о себѣ всю Россію, а на аванпостныхъ дѣла съ «незначительными» потерями, тоже въ нѣсколько десятковъ челоуѣкъ, никто не обращаетъ вниманія?»

Отъ подобныхъ общихъ соображеній онъ переходитъ къ своей личности:

«Куда-же дѣнется твое «я»? спрашиваетъ онъ: мы всѣмъ существомъ протестуемъ противъ войны, а все-таки война заставитъ тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нѣтъ, это невозможно! Я, смиренный, добродушный молодой челоуѣкъ, знавшій до сихъ поръ только свои книги да аудиторіи, да семью и еще нѣсколько близкихъ людей, думавшій черезъ годъ-два начать новую работу, трудъ любви и правды; я наконецъ, привыкшій смотрѣть на міръ объективно, привыкшій ставить его передъ собою, думавшій, что всюду я понимаю въ немъ зло и тѣмъ самымъ избѣгаю этого зла—я вижу все мое зданіе, спокойствіе разрушеннымъ, а самого себя напяливающимъ на плечи то самое рубище, дыры и нитки котораго я сейчасъ только-что разсматривалъ. И никакое развитіе, никакое познаніе себя и міра, никакая духовная свобода не дадутъ мнѣ никакой физической свободы располагать своимъ тѣломъ».

Далѣе затѣмъ приходятъ ему вдругъ въ голову сомнѣнія въ своей храбрости:

«Быть можетъ, думаетъ онъ: всѣ мои возмущенія противъ того, что всѣ считаютъ великимъ дѣломъ, исходятъ изъ страха за собственную кожу? Стоитъ-ли дѣйствительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни, въ виду великаго дѣла! И въ силахъ-ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дѣла?»

Но герой началъ припомянать всю свою жизнь, всѣ тѣ случаи—правда немногіе—въ которыхъ ему приходилось стоять лицомъ къ лицу съ опасностью, и не могъ обвинить себя въ трусости.

«Тогда, говоритъ онъ, я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало-быть, не смерть пугаетъ меня».

Но уклониться отъ предстоящей участи, воспользовавшись кое-какими вліятельными знакомствами, и остаться въ Петербургѣ, состоя въ то-же время на службѣ, герой не былъ въ состояніи; его претило прибѣгать къ подобнымъ средствамъ, а во-вторыхъ что-то неподчиняющееся опредѣленію сидѣло у него внутри, обсуждало его положеніе и запрещало ему уклониться отъ войны. «Не хорошо» — говорилъ ему внутренній голосъ.

Этотъ внутренній голосъ потомъ ясно сформировался передъ нимъ устами одной знакомой барышни Марья Петровна:

«Они (т. е. другіе), сказала она, тоже не пошли-бы, если-бы могли, но они не могутъ, а вы можете... Они идутъ воевать, а вы останетесь въ Петербургѣ, живой, здоровый, счастливый, только потому, что у васъ есть знакомые, которые пожалѣютъ послать знакомаго челоуѣка на войну. Я не беру на себя рѣшить: можетъ быть, это и извинительно, но мнѣ не нравится, нѣтъ!»

И онъ пошелъ, своего рода «невольникъ чести», умирать подъ непріятельскими пулами безъ малѣйшаго энтузіазма и съ полнымъ отвращеніемъ къ дѣлу ненавистной ему войны.

Съ поля войны Гаршинъ ведетъ насъ въ художественныя студіи, въ своемъ разсказѣ *Художники*, но и здѣсь мы находимъ такое-же развитіе гамлетизма, отвле-

кающаго самыхъ талантливыхъ художниковъ отъ искусства совершенно подобно тому, какъ вполне мужественные люди получаютъ отвращеніе отъ войны. Дѣдовъ и Рябининъ—это тѣ-же Лазръ и Гамлетъ. Дѣдовъ въ своемъ родѣ цѣльный человѣкъ; онъ весь до мозга костей преданъ своему искусству, и кромѣ того въ самомъ искусствѣ—пейзажной живописи; вѣ этого конька ничего для него не существуетъ. Онъ понять не въ силахъ, какъ это можно сомнѣваться и задавать себѣ какіе-бы то ни было вопросы относительно значенія и цѣлей искусства. Для него искусство само въ себѣ и по себѣ составляетъ цѣлый міръ, въ которомъ заключены свои начало и конецъ, исходъ и цѣль.

Рябининъ-же весь изъѣденъ рефлексіями. Для него мало искусства въ самомъ себѣ; онъ безпрестанно спрашиваетъ себя, какое значеніе имѣетъ оно въ жизни и имѣетъ-ли какое-нибудь значеніе. Это происходитъ отъ той причины, что истинные художественные таланты вродѣ Рябинина—люди съ крайне чуткими, впечатлительными нервами, и какъ-бы они ни старались устраниваться отъ жизни,—жизнь со всѣми ужасами, гадостями и грязью непрестанно волнуетъ ихъ, бѣситъ, терзаетъ, вызываетъ на страшный бой. Нужно имѣть нервы Дѣдова, чтобы смотрѣть и не видѣть, слышать и не содрагаться, и при видѣ возмущающихъ зрѣлищъ ни о чемъ не думать, какъ лишь о красотѣ тоновъ неба, раскинушагося надъ людскими безобразіями. Рябининъ этого не можетъ, и вотъ въ немъ происходитъ мучительное раздвоеніе: жизнь тянетъ его въ одну сторону, искусство—въ другую. Онъ пытается помирить этотъ взглядъ, посвятивши искусство жизни, пишетъ картину, на которой изображаетъ весь испытанный имъ ужасъ при видѣ адской каторги рабочаго-котельщика, собственною грудью выдерживающаго на днѣ котла страшные удары молотомъ при утвержденіи заклепокъ. Картина выходитъ поразительная по своему страшному впечатлѣнію. Но ожидаемаго примиренія все-таки она художнику не приноситъ. Онъ представляетъ себѣ свою картину на выставкѣ, воображаетъ равнодушныя лица публики и пошлыя фразы на ея устахъ. А затѣмъ, какое-бы вопіющее содержаніе ни заключала въ себѣ картина, все равно неизбѣжная участь ея затеряться въ покояхъ какого-нибудь Саламатова или Угробина, гдѣ она будетъ играть такую-же роль украшеній роскоши, какъ стоящіе возлѣ нея канделябры. Чтобы выйти изъ этого ада сомнѣній, Рябинину остается одно: бѣжать отъ искусства, несмотря на всю свою любовь къ нему и могущественный талантъ, и онъ кончаетъ тѣмъ, что отдается непосредственному дѣлу борьбы съ безобразіями жизни.

Затѣмъ обратимъ еще вниманіе на рассказъ *Ночь*, любопытный для насъ въ томъ отношеніи, что здѣсь изображается совершенно такой-же герой, какихъ мы видѣли въ рассказахъ Новодворскаго. Подобный герой рисуется здѣсь въ послѣдней фазѣ своей жизни, когда судьба успѣла уже поднести ему цѣлый рядъ горькихъ опытовъ и разочарованій, вслѣдствіе которыхъ онъ отрезвѣлъ отъ всѣхъ своихъ самообольщеній и, вмѣсто величественнаго полубога, созналъ въ себѣ ничтожнѣйшаго пресмыкающагося червя и къ тому-же обманщика, шулера.

«Въ прошломъ имѣть опоры, говоритъ онъ себѣ, потому что все ложь, обманъ. И гдаль, обманывалъ я самъ и самого себя, не оглядываясь... Такъ обманываетъ другихъ мошенникъ, притворяющійся богачемъ, рассказывающій о своихъ богатствахъ,

которыя гдѣ-то «тамъ» «не получены», но которыя есть, и занимающій деньги на-право и налѣво. Я всю жизнь долженъ самому себѣ. Теперь насталъ срокъ расчета— и я банкротъ, злостный, завѣдомый...»

Но само по себѣ это сознание не излечиваетъ еще героя отъ недуга самообожанія. У него все-таки не хватаетъ еще настолько мужества, чтобы честно сознавшись въ своей несостоятельности, смириться и подавить въ себѣ всякую гордыню, и даже сознавая себя ничтожнѣйшимъ изъ ничтожнѣйшихъ, онъ продолжаетъ красоваться передъ собою въ гордомъ величїи, изъ своего самоуничженія устранивая пышную мантію, въ которую драпнуется. Даже падая съ пьедестала, онъ и не помышляетъ о томъ, что ударить въ грязь лицомъ. Правда, онъ банкротъ, но отъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ хуже другихъ; это показываетъ только, что и всѣ банкроты, а онъ во всякомъ случаѣ цѣлою головою выше человѣческаго рода, потому что люди, будучи банкротами, не сознаютъ этого и продолжаютъ пресмыкаться, а онъ созналъ и желаетъ честно отдѣлаться отъ жизни. И вотъ на прощанье съ жалкимъ человѣческимъ родомъ онъ пишетъ письмо, въ которомъ излагаетъ, «что умираетъ спокойно, потому что жалѣть нечего: жизнь есть сплошная ложь; что люди, которыхъ онъ любилъ — если только онъ дѣйствительно любилъ кого-нибудь, а не притворялся передъ самимъ собою, что любить, — не въ состоянїи удержать его жизнь, потому что „выдохлись“. Да и не выдохлись, „нечему было выдохаться“, а просто потеряли для него интересъ, разъ онъ понялъ ихъ; что онъ понялъ и себя, понялъ, что и въ немъ, кромѣ лжи, ничего нѣтъ и не было; что если онъ сдѣлалъ что-нибудь въ своей жизни, то не изъ желанія добра, а изъ тщеславія; что онъ не дѣлалъ злыхъ и нечестныхъ поступковъ не по неизбѣжному злымъ качествъ, а изъ малодушнаго страха передъ людьми. Что тѣмъ не менѣе онъ не считаетъ себя хуже „остающихся лгать до конца дней своихъ“. и не просить у нихъ прощенія, а умираетъ съ презрѣніемъ къ людямъ, не меньшимъ, чѣмъ къ самому себѣ. И жестокая, бессмысленная фраза сорвалась въ концѣ письма: — Прощайте, люди! прощайте кровожадныхъ, кривляющіяся обезьяны!»

Но пустить себѣ пулю въ лобъ ему не удалось. Давно всѣмъ извѣстно, что подобнымъ людямъ, хотя и свойственно приходитъ къ мысли о самоубійствѣ, но приводить ее въ дѣйствіе бываетъ очень трудно. Онъ и не замѣтилъ, какъ просидѣлъ въ своей комнатѣ, въ креслѣ, собираясь раздѣлаться съ жизнью, всю ночь до разсвѣта. Наконецъ начали звонить къ завтрашнему. Звукъ колокола пробудили его отъ мрачнаго раздумья.

«Колоколь, говоритъ авторъ, сдѣлалъ свое дѣло: онъ напомнилъ запутавшемуся человѣку, что есть еще что-то, кромѣ своего собственнаго, узкаго мірка, который его измучилъ и довелъ до самоубійства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминанія, отрывочныя, безсвязныя, и всѣ какъ будто совершенно новыя для него. Въ эту ночь онъ многое уже передумалъ и многое вспомнилъ, и воображалъ, что ясно видѣлъ самого себя. Теперь-же почувствовалъ, что въ немъ есть и другая сторона, та самая, о которой говорилъ ему робкій голосъ его души».

Однимъ словомъ воспоминанія дѣтства воскресили въ немъ совершенно иной строй души, простой, безхитростный, чуждый развѣдающихъ рефлексій, но чуждый и узкаго эгоизма, когда „онъ думалъ именно то, что думалъ, любилъ отца и зналъ, что любить“.

«Вѣдь есть-же міръ, воскликнулъ онъ подѣ обаяніемъ всѣхъ тѣхъ воспоминаній, колоколь напомнилъ мнѣ про него. Когда онъ прозвучалъ, я вспомнилъ церковь, вспомнилъ огромную человѣческую массу, вспомнилъ настоящую жизнь. Вотъ куда нужно уйти отъ себя и вотъ гдѣ нужно любить, и такъ любить, какъ любить дѣти.. Обратиться и сдѣлаться какъ дитя!.. Это значить, не ставить во всемъ на первое мѣсто себя! Вырвать изъ сердца этого сквернаго божка, уродна съ огромнымъ брюхомъ, это отвратительное *И*, которое какъ глисть сосетъ душу и требуетъ себѣ все новой и новой пищи».

Это были однимъ словомъ тѣ старыя, но вѣчно новыя народныя демократическія идеалы, которые были чужды ему до сей поры, но которые теперъ наполнили сердце его невѣдомымъ восторгомъ.

«Онъ почувствовалъ, что не все еще пожрано идоломъ, которому онъ столько лѣтъ поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотверженіе, что стоитъ жить для того, чтобы излить этотъ остатокъ. Куда, на какое дѣло — онъ не зналъ, да въ эту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Онъ вспомнилъ горе и страданіе, какое довелось ему видѣть въ жизни, настоящее, житейское горе, передъ которымъ всѣ его мученія въ одиночку ничего не значили, и понялъ, что ему нужно идти туда, въ это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда въ душѣ его настанетъ миръ».

Но къ сожалѣнію, это великое сознаніе явилось къ нему слишкомъ поздно. Не говоря о томъ, что запасъ нравственныхъ силъ его былъ уже истощенъ, но и физическія силы до такой степени были надломлены, что гдѣ-же было думать ему о страданіяхъ за другихъ, когда онъ не въ состояніи былъ вынести и того восторга, которымъ преисполнился; новое вино не удержалось въ старыхъ мѣхахъ; съ героемъ произошло нѣчто вроде разрыва сердца, и онъ тутъ-же и умеръ, не доживя до утра.

Въ заключеніе укажемъ еще на одну особенность, замѣчающуюся въ большинствѣ произведеній Вс. Гаршина; именно на страсть его къ кровавымъ катастрофамъ. Не говоря уже о *Четырехъ дняхъ*, гдѣ онъ заставляетъ своего героя четыре дня томиться жаждою и мучительною болью раны и въ то же время созерцать быстрое разложеніе трупа убитаго имъ-же врага, вспомните только концы *Труса*, *Происшествія*, *Краснаго цѣпка*, *Сигнала*, *Надежды Николаевны*. Однимъ словомъ трагическое лежало въ крови Гаршина, и быть можетъ эта страсть къ ужасному была предчувствіемъ его собственной трагической смерти.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

I — Иеронимъ Иеронимовичъ Ясинскій. II — Михаилъ Ниловичъ Альбовъ. III — Казимиръ Станиславовичъ Баранцевичъ. IV — Николай Елпидифоровичъ Петропавловскій (Каронинъ). Александръ Ивановичъ Эртель. Григорій Александровичъ Мачтетъ. V — Владиміръ Галактіоновичъ Короленко. VI — Игнатій Николаевичъ Потапенко. VII — Д. Н. Маминъ (Сибирякъ). Д. Голицинъ (Муравлинъ). Антонъ Павловичъ Чеховъ. Валентина Ювовна Дмитріева. Александра Александровна Виницкая. Ольга Шапиръ. Марія Всеволодовна Крестовская.

I.

Иеронимъ Иеронимовичъ Ясинскій родился въ Харьковѣ 18 апрѣля 1850 года. Отецъ его, въ свое время не безызвѣстный на Югѣ адвокатъ, происходилъ изъ польской семьи, предки которой были однако русскіе. Мать, Ольга Максимовна Бѣлинская, была малороссианка, дочь полковника, одного изъ героевъ Бородинской битвы. Грамотѣ Ясинскій научился четырехъ лѣтъ отъ роду, и когда ему было 6 лѣтъ, прочелъ множество книгъ изъ библіотеки отца, главнымъ образомъ медицинскихъ. Мать заставляла его читать религіозныя книги, но вмѣстѣ съ тѣмъ, любя поэзію и зная наизусть Лермонтова, она и сыну внушила свою страсть, и съ десяти лѣтъ мальчикъ началъ писать стихи. Учился онъ въ черниговской гимназій, а затѣмъ въ университетѣ св. Владиміра въ Кіевѣ на естественномъ факультетѣ. Обстоятельства помѣшали ему добиться кандидатскаго диплома, и онъ, выйдя изъ университета, поступилъ на государственную службу, занявъ мѣсто помощника секретаря въ черниговскомъ губернскомъ акцизномъ управленіи. Послѣ этого онъ былъ секретаремъ черниговской губернской земской управы, причѣмъ редактировалъ *Земскій сборникъ*. Оставивъ скоро и эту службу, онъ всецѣло посвятилъ себя литературѣ.

Умственное развитіе Ясинскаго шло, судя по его воспоминаніямъ, крайне неправильно и односторонне. Гимназія, а затѣмъ университетъ заглушили тѣ художественныя инстинкты, какіе были въ немъ пробуждены въ раннемъ дѣтствѣ вліяніемъ матери и часто посѣщавшаго дома ихъ украинскаго поэта Борозды. Къ тому-же юность Ясинскаго протекла во второй половинѣ шестидесятихъ годовъ, какъ разъ въ такое время, когда идеи Писарева всецѣло господствовали въ кружкахъ молодежи.

«Была полоса въ жизни молодой интеллигенціи, говорить Ясинскій въ № 163 *Зари* 1884 г., когда искусство отрицалось, красоту считали пустякомъ и отвѣты на «проклятые вопросы» искали въ курсахъ политической экономіи. И я стоялъ въ этой полосѣ, мнѣ казалось, что время будетъ безвозвратно потеряно, если я возьму романъ и прочитаю его. Я почти не зналъ Тургенева, не зналъ Гончарова, не зналъ Льва Толстого, не говоря уже о заграничныхъ романистахъ и поэтахъ. Но я зналъ, т. е. читалъ Милля, Бокля, Спенсера, Дарвина, Маркса и множество другихъ умныхъ книжекъ. Долженъ сказать, что жизнь казалась мнѣ ужасно скучной. Это потому, что я самъ скучалъ, задыхаясь въ пыльной атмосферѣ кабинетной учености. И не я одинъ. У меня былъ товарищъ, который былъ еще болѣе ревностнымъ отрицателемъ, чѣмъ я. Онъ ничего не признавалъ, кромѣ физиологіи. Но какъ разъ наканунѣ экзамена онъ увлекся *Погожденіями Рокамболя*, и торжественно провалился, получивъ изъ физиологіи двойку! Слава Богу, мнѣ тоже не удалась карьера ученаго — благодаря Льву Толстому.

«Я до-сихъ-поръ не могу забыть ошеломляющаго впечатлѣнія, которое произвела на меня *Анна Каренина*. Точно волшебная панорама, развернувшись передо мною жизнь цѣлаго общественнаго слоя, трепещущая избыткомъ крови, мяса, залитая яркимъ свѣтомъ, полная изумительныхъ художественныхъ подробностей,—жизнь, передъ которою все курсы политической экономіи, физиологіи, психологіи не стоятъ по моему выѣденнаго яйца. Вотъ гдѣ истинная наука, подумалъ я, проникнутый благоговѣніемъ къ имени художника».

Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ, выступивъ на литературное поприще уже въ 1870 г. въ *Кіевскомъ Вѣстникѣ*, *Кіевскомъ Телеграфѣ* и другихъ провинціальныхъ изданіяхъ, Ясинскій въ первое десятилѣтіе своей литературной дѣятельности является по преимуществу авторомъ серьезныхъ статей по естественнымъ наукамъ. Такимъ мы видимъ его и въ *Кіевскомъ Телеграфѣ*, который редактировалъ въ 1876 году, и позже въ *Газетѣ Гатцука*, которую тоже редактировалъ онъ по переѣздѣ въ Москву, въ журналѣ *Природа и Охота*, гдѣ велъ научныя обзорѣнія, и въ *Словѣ*, гдѣ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ также по научному отдѣлу. Въ качествѣ беллетриста онъ обратилъ на себя вниманіе лишь въ концѣ семидесятыхъ годовъ, когда началъ писать подъ псевдонимомъ Максима Бѣлинскаго сначала мелкіе рассказы, а впоследствии и романы въ *Словѣ*, *Пчелѣ*, *Кружозорѣ*, *Будильникѣ*, *Развлеченіи* и наконецъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*.

Прежде всего произведенія Ясинскаго, особенно мелкіе рассказы его перваго періода, поражаютъ васъ тщательною техническою отдѣлкою; все они словно отчеканены. Въ то-же время они носятъ рѣзкій характеръ южно-русскаго типа: не говоря уже о томъ, что въ большинствѣ произведеній Ясинскаго рисуется передъ вами южно-русская провинціальная жизнь, и даже въ столицахъ изображаются по большей части южане,—произведенія Ясинскаго отличаются тѣмъ яркимъ солнечнымъ колоритомъ и цвѣтистымъ языкомъ, изобилующимъ подчасъ весьма рискованными эпитетами и метафорами, чѣмъ отличаются произведенія всѣхъ южно-русскихъ писателей, начиная съ Гоголя. Въ произведеніяхъ-же позднѣйшихъ начала проявляться еще одна южно-русская особенность—обиліе лиризма.

Въ то-же время, несмотря на то, что Ясинскій обладаетъ страстью къ живописи и занимается ею на досугѣ, въ литературныхъ произведеніяхъ своихъ онъ не отличается опредѣленностью и рельефностью рисунка, изображенія его рисуются въ во-

ображеніи читателя тускло и расплывчато. Выводимыя лица крайне эскизны и конкретны. Вы положительно не встрѣтите у него ни одного характера, который вѣзался-бы въ вашу память, какъ обобщающій типъ. При такой крайней фотографичности и самые сюжеты повѣстей и романовъ Ясинскаго случайны и эпизодичны.

При такихъ качествахъ таланта вы не встрѣтите у Ясинскаго какого-либо героя времени, какъ у Новодворскаго или Гаршина, а дѣльный рядъ мелкихъ и ничтожныхъ провинціальныхъ фатовъ и пошляковъ, и на нихъ-то авторъ и показываетъ разладъ словъ и дѣлъ и нравственную несостоятельность, составлявшіе, какъ мы выше видѣли, печальный удѣлъ эпохи, въ которую развернулась дѣятельность нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Рѣдкій рассказъ Ясинскаго обходится безъ такого рода фатовъ, мнящихъ себя героями прогресса, но превращающихся въ пошлыхъ чиновниковъ, говорящихъ одно, а дѣлающихъ нѣчто совсѣмъ противоположное. Мы уже говорили, что преобладающимъ элементомъ Ясинскаго является сенсуализмъ, какъ относительно содержанія его произведеній, то есть анализа этого печальнаго явленія нашей современной эпохи, такъ и относительно самаго духа произведеній его, то есть авторъ не могъ отнестись къ изображаемымъ явленіямъ съ полною объективностью и безучастіемъ: онъ самъ въ нѣкоторыхъ своихъ произведеніяхъ невольно проникся до известной степени тѣмъ сенсуализмомъ, съ какимъ имѣетъ дѣло, изображаетъ его слишкомъ реально, смакуя совершенно такъ-же, какъ это дѣлаютъ французскіе натуралисты. Этому преобладанію сенсуального элемента въ произведеніяхъ Ясинскаго объясняется и то, что онъ болѣе всѣхъ другихъ молодыхъ беллетристовъ былъ одно время подчиненъ вліянію Золя и вообще французскихъ натуралистовъ.

Сенсуализмъ рассказовъ Ясинскаго заключается въ томъ, что желая показать разладъ словъ и дѣлъ въ своихъ герояхъ, авторъ постоянно прибѣгаетъ къ одному и тому-же сюжету, — именно къ адюльтеру въ различныхъ его варіаціяхъ: то герой его обольщаетъ невинную дѣвушку и затѣмъ бросаетъ на произволъ судьбы, то наоборотъ онъ не обольщаетъ дѣвушки, когда она сама падаетъ въ его объятія, а малодушно предоставляетъ ее въ жены нелюбимаго ею существа, то отецъ семейства бросается изъ семейнаго ада въ объятія первой встрѣченной на дорогѣ юривой нищенки и малодушно игнорируетъ ее, приживши съ ней ребенка, то обольстительная хуторанка въ видѣ новой Далилы силою чаръ своей красоты и нѣжныхъ объятій склоняетъ героя отъ революціоннаго пути на дорогу мирнаго семейнаго счастья подъ сѣнью вишенъ и черешенъ, — то герой предпочитаетъ дебелую губернаторшу юной Фаничкѣ и дѣлается презрѣннымъ альфонсомъ и пр., и пр.

Въ то-же время натуралистическій протоколизмъ въ духѣ Золя и фотографичность произвели то, что въ нѣкоторыхъ романахъ Ясинскаго были признаны портреты живыхъ лицъ, и такія произведенія невольно приняли характеръ пасквильныхъ. Эта пасквильность тѣмъ болѣе бросается въ глаза въ подобнаго рода произведеніяхъ, что при всемъ своемъ пристрастіи къ протоколизму и при всѣхъ ратованіяхъ за чистое искусство у Ясинскаго вы встрѣтите часто тенденціозность, да не одну простую, а сугубую. Одна изъ нихъ принадлежитъ не самому автору, а лежитъ въ изображаемыхъ явленіяхъ жизни, другую-же авторъ искусственно вноситъ въ свои произведенія и портитъ ихъ, освѣщая свои образы совершенно фальшиво.

Этот искусственно вносимую тенденцию Ясинский обязан той реакцией, которая произошла в нем после увлечения писаревскими тенденциями и естественными науками. Когда эти увлечения поутихли и Ясинский весь отдался своему природному влечению, он не ограничился тем, чтобы отвергнувши писаревское отрицание искусства, осмыслить отношение реального мышления к вопросу об искусстве, как это сделали другие его сверстники, а кинулся из одной крайности в другую, и как прежде он отрицал искусство, так теперь во имя искусства он начал отрицать и реализм, и позитивизм, и науку. Да мало еще того, что в глазах его физиология, политическая экономия не стоят и выведенного яйца перед искусством, но он предполагал, что и в нравственном отношении не только реальное мышление, но и всякая наука к добру не ведут. В силу этого в произведениях Ясинского по большей части если выводится художник, то непременно рисуется в идеальном свете; ученый же выходит всегда отъявленным негодяем и пошляком. Особенно не жалует Ясинский медиков, и эта ненависть доходит у него до того, что в повести *Впрочка* он заставляет героя ни с того, ни с сего травить ни в чем не повинного акушера собакой.

Пока непродолжительную еще, всего десятилетнюю деятельность Ясинского можно разделить на три периода. — Первый период представляет начало его художественной деятельности с 1879 по 1882 год. Здесь мы видим массу мелких рассказов, легких эскизов и очерков, представляющих как бы пробу пера. Читая их, вы видите оригинальный талант, но не успевший еще ни установиться, ни определиться. Тем не менее эти первые рассказы дышат свежестью и самообычностью; в них нет еще и тени эгоизма; нет и той чрезмерности сенсуализма, которая у Ясинского явилась впоследствии. Одним словом, талант здесь хотя и находится еще в зачаточном состоянии, но является самим собою, без каких бы то ни было чуждых и наносных влияний.

Второй период, начиная с 1882 г. простирается до 1885 г. Здесь Ясинский начинает создавать уже более обширные и сложные эпопеи, таковы: *Молодые восток*, *Болотный цветок*, *Спящая красавица* и пр. Талант его заметно развивается, растет; но вместе с тем в этот период замечаются наибольшее подчинение Золя и развитие сенсуализма, заставлявшего Ясинского безпрестанно вдаваться в грязный скабрёзности.

Наконец с 1885 г. Ясинский заметно вступает на новый путь. Влияние Золя становится в каждом году слабее, и Ясинский мало того что делается опять самим собою, но у него являются новые, не замечавшиеся прежде элементы, например лиризм, бывший прежде очевидно под гнетом напускного протоколизма, яркая художественность и поэтичность некоторых его образов и описаний. В то же время Ясинский делается значительно сдержаннее и скромнее по части сенсуализма и скабрёзностей. — Как на наиболее выдающиеся произведения, относящиеся к этому времени, укажем на *Петербургскую повесть*, *Город мертвых*, *Добрая фея*, *Путеводная звезда*, *Иринарх Плутархов*, *Пророк*, *Трашки*, *Антикварий*, *Свет погас* и пр.

II.

Михаилъ Ниловичъ Альбовъ родился въ Петербургѣ 8-го ноября 1851 года. Отецъ его былъ діаконъ церкви почтоваго департамента, мать — полудворянскаго рода. Альбовъ лишился ея, когда ему было полтора года, тѣмъ не менѣ художественный талантъ онъ получилъ безъ сомнѣнія наследственно отъ нея, такъ какъ, по рассказамъ, она писала стихи и хорошо рисовала. Грамотѣ Альбовъ научился довольно рано, чему былъ обязанъ теткѣ, Т. М. Башмаковой. Первая прочитанная имъ книга была *Робинзонъ*, въ котораго мальчикъ былъ влюбленъ безъ памяти, буквально имъ бредилъ. Затѣмъ мѣсто его занялъ *Давидъ Конперфильдъ*, котораго онъ перечитывалъ безконечное число разъ. Третьею любимою книжкой его были *Мертвыя души* Гоголя, причемъ Чичиковъ имѣлъ для мальчика обаяніе со стороны кочеванія, и ему очень хотѣлось имѣть его „брѣчку“, чтобы развѣзжать, куда вздумается. Въ перемежку онъ читалъ все, что попадалось подъ руки, и жилъ постоянно въ мірѣ, наполненномъ лицами прочитанныхъ книгъ, въ чаду мечтательныхъ грезъ, чему способствовало полное одиночество, въ которомъ онъ росъ.

Десяти лѣтъ отдалъ Альбова во 2-ю петербургскую гимназію, гдѣ со второго уже класса мальчикъ началъ пописывать. Первая попытка его была начало „юмористической“ повѣсти *Расстрепалкинъ*, навѣянной похождениями Чичикова; была даже тамъ и знаменитая брѣчка. За нею послѣдовало множество повѣстей, гдѣ фигурировали испанцы и итальянцы. Такъ между прочимъ онъ написалъ романъ *Англійскій матросъ*, сколокъ съ *Монтекристо* и *Лондонскихъ тайнъ*, причемъ дѣйствіе происходило одновременно въ Англии, Испаніи, Америкѣ, и была даже изображена испанская инквизиція. Когда-же ему было 13 лѣтъ, онъ написалъ разсказецъ въ формѣ дневника, подъ заглавіемъ *Записки подвального жилища* и послалъ ее по почтѣ въ *Петербургскій листокъ* Ильи Арсеньева. Разсказъ былъ напечатанъ, авторъ былъ конечно на седьмомъ небѣ, цѣлый день ходилъ какъ въ чаду, но этотъ быстрый и преждевременный успѣхъ имѣлъ очень дурныя послѣдствія; произошло то, что обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: мальчикъ совсѣмъ бросилъ заниматься ученіемъ, началъ получать единицы и двойки, застрѣвалъ въ каждомъ классѣ по два года, а въ четвертомъ остался даже на третій годъ и вслѣдствіе этого долженъ былъ оставить гимназію.

Первое время онъ весь былъ подавленъ своею бѣдою, сознаниемъ своей негодности. Но мало-по-малу успокоился и снова принялся за свои литературные труды. Тогда-же (1866) онъ написалъ большую часть своей первой большой повѣсти *На новую дорогу*, напечатанную позднѣе у того-же Ильи Арсеньева. Въ 1867 году Альбовъ поступилъ въ четвертый классъ пятой гимназіи, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1873 году. Съ 1873 по 1879 годъ онъ находился на юридическомъ факультетѣ петербургскаго университета, причемъ съ лѣта 1877 по весну 1878 г. находился въ дунайской арміи въ качествѣ брата милосердія, причемъ необходимыя для этого фельдшерскія познанія онъ прибрѣлъ на открывшихся весной 1877 года курсахъ первой помощи

раненымъ. По выходѣ изъ университета Альбовъ всецѣло посвятилъ себя литературной дѣятельности.

Первымъ произведеніемъ, замѣченнымъ публикою и критикою и выдвинувшимъ автора, была повѣсть *День итога*, напечатанная въ *Словѣ* 1879 г. № 1 и 2. Повѣсть эта написана очевидно подъ сильнымъ вліяніемъ Ф. Достоевскаго. Вы найдете здѣсь цѣлыя страницы, отъ которыхъ на васъ такъ и вѣетъ романомъ *Преступленіе и наказаніе*: таковы сны на яву и галлюцинаціи героя Глазкова, его полоумныя скитанія по городу, связь съ нѣжною сердцемъ и привязчивою швейкою Катюю Ершовой и высокобѣрное обращеніе съ нею; сама — эта Катя Ершова напоминаетъ Союю Мармеладову.

Но нельзя отказать Альбову и въ нѣкоторой оригинальности относительно обрисовки героя; онъ въ этомъ отношеніи всталъ на вполнѣ самостоятельную почву. Герой Достоевскаго Раскольниковъ гягантъ въ сравненіи съ мизернымъ Глазковымъ. Раскольниковъ является передъ нами вполнѣ человѣкомъ шестидесятихъ годовъ и на немъ лежитъ печать своего вѣка. Человѣкъ начитанный, увлекающійся разными широкими теоріями, онъ обладаетъ въ то-же время могучею волею, стремящеюся осуществитъ какъ можно скорѣе его увлеченія. Раскольниковъ совершилъ свое ужасное преступленіе не съ какою иною цѣлью, какъ лишь чтобы однимъ рискованнымъ шагомъ завоевать счастье, и притомъ не одно личное, но и счастье своихъ близкихъ. При этомъ природа его была настолько могуча, что превозмогла весь тотъ маразмъ, который ему пришлось пережить послѣ совершенія преступленія и полученнаго за него наказанія; не къ самоуниженію привели его обрушившіяся надъ нимъ нравственныя и юридическія кары, а къ возрожденію къ новой жизни честнаго труда на благо родины.

Совсѣмъ инымъ является передъ вами Глазковъ. Это все тотъ-же страдающій дворянскими недугами разнузданнаго самолюбія, развинченныхъ нервовъ и нравственнаго безсилія герой реакціонной эпохи, какихъ мы видѣли и у Новодворскаго, и у Гаршина. Ни энергіи въ стремленіи къ разъ намѣченной цѣли жизни, ни упорства въ борьбѣ съ препятствіями — мы не замѣчаемъ у него и слѣда. Первый толчекъ въ жизни въ видѣ нераздѣленной любви — приводитъ Глазкова въ полное отчаяніе: узнавъ, что милая его предпочла ему другого и выходитъ замужъ, онъ летитъ тотчасъ-же домой и сжигаетъ въ печкѣ всѣ свои тетради, студенческія записки, диссертацию на медаль, и затѣмъ, читаемъ мы, онъ „ни о чемъ болѣе не думалъ, ни о чемъ не жалѣлъ и ничего не хотѣлъ; все въ немъ умерло, точно камнемъ придавилось!“... И начались безсмысленныя скитанія по городу или лежанье на диванѣ по цѣлымъ днямъ, галлюцинаціи, сны на яву, мечты о Nirvanѣ и самоуничтоженіи... Но въ состояніи подобнаго маразма онъ далеко былъ отъ чувства угнетенія и самоуничиженія, какими терзался подобный ему неудачникъ въ любви тургеневскій Чулкатуринъ. Напротивъ того, Глазковъ не переставалъ красоваться на гордомъ пьедесталѣ, и съ презрѣніемъ взиралъ съ него на жалкихъ смертныхъ, находящихъ счастье въ возвышеніи на какой-нибудь вершочекъ, проповѣдывавъ имъ *блаженство поклониться себѣ*. Это блаженство самоклоненія герой нашелъ въ скачкѣ съ Николаевского моста въ Неву, — единственномъ смѣломъ поступкѣ въ своей жизни, хотя и на этотъ рѣшительный шагъ онъ отважился послѣ долгихъ колебаній.

Вообще нужно замѣтить, что гамлетическій, рефлексивный элементъ играетъ большую роль въ произведеніяхъ Альбова. Онъ встрѣчается и въ самомъ обширномъ, но не законченномъ его романѣ *До пристани*, и въ *Рясѣ*, и въ *Главлѣ изъ недописанной новеллы*, и въ рассказѣ *Какъ горѣли дрова*, въ которомъ вновь выступаетъ передъ вами во весь ростъ такой-же герой, какъ и Глазковъ, съ тою только разницею, что онъ вовсе не является такимъ-же неудачникомъ, какъ послѣдній. Напротивъ того, онъ не имѣетъ повидимому никакихъ поводовъ быть недовольнымъ жизнью: обезпеченъ настолько, что можетъ каждый день обѣдать въ порядочномъ ресторанѣ, каждый вечеръ зимою проводить въ любомъ театрѣ или клубѣ, а лѣтомъ — въ какомъ-нибудь загородномъ кафе-шантанѣ. Его томить, правда, тоска одиночества холостой жизни, но и тутъ, повидимому, судьба его не обидѣла: онъ былъ знакомъ съ семействомъ одного южанина съ студенческихъ еще временъ, проведя однажды лѣто въ этомъ семействѣ на лѣтнихъ кондичіяхъ. Потомъ онъ снова встрѣтилъ въ Петербургѣ отца и дочь, которая выросла и сдѣлалась красавицею. Герой почувствовалъ нѣчто вроде влеченія къ дѣвушкамъ; она тоже нельзя сказать, чтобы была къ нему вполне равнодушна. Отецъ ея съ своей стороны уговаривалъ его бросить постылый Петербургъ и ѣхать къ нимъ на югъ, въ деревню. Однимъ словомъ, все шло, какъ по маслу. И вдругъ на пути къ несомнѣнному счастью, версть за 15 до цѣли, герой, сойдя съ поѣзда желѣзной дороги, остановился на постояломъ дворѣ, разложилъ передъ собою ворохъ невѣдомо какихъ-то писемъ, думалъ надъ ними, думалъ, затѣмъ сжегъ ихъ дотла, пришелъ внезапно къ убѣжденію, что онъ окончательно уже искалѣченъ городской жизнью и неспособенъ къ семейному счастью съ людьми простыми, здоровыми и чуждыми всего того, чѣмъ себя мучаютъ и калѣчатъ въ каменныхъ стѣнахъ — и застрѣлся.

Рядомъ съ этимъ субъективно-рефлексивнымъ элементомъ, лежащимъ въ основѣ таланта Альбова, составляющимъ, такъ сказать, святая святыхъ его души, мы встрѣчаемъ въ его произведеніяхъ въ обиліи и элементъ чисто объективный. Онъ обнаруживаетъ немалое мастерство и въ изображеніи внѣшнихъ явленій жизни, причеиъ въ рисункахъ его преобладаютъ мелкія детали и нюансы; въ этомъ отношеніи Альбовъ принялъ манеру протоколизма французскихъ натуралистовъ, подъ вліяніемъ которыхъ отчасти находится. Самыми лучшими его произведеніями объективнаго характера считаются: *До пристани*, *Невѣдомая улица*, *Конецъ невѣдомой улицы*, *Ряса*, *Тоска*. Къ сожалѣнію, кругъ его внѣшнихъ наблюденій очень узокъ. Онъ ограничивается одною петербургскою жизнью, но и въ ней знаетъ лишь бытъ мѣщанства и духовенства. Попытки изображать великосвѣтскихъ людей, обнаруженныхъ имъ въ романѣ *До пристани*, вышли крайне неудачны; всѣ такія изображенія страдаютъ стереотипностью.

Этою узостью круга наблюденій русской жизни и бѣдностью матеріаловъ можно объяснить тотъ фактъ, что Альбовъ въ большей степени чѣмъ всѣ его сверстники подчиняется вліянію французскихъ натуралистовъ. Во всѣхъ произведеніяхъ его, кромѣ развѣ *Дней итога*, нѣтъ нѣтъ да и пахнетъ на васъ то Золя, то Флоберомъ, то Поль-Алексисомъ, то Гюи-де-Мопассаномъ. Даже отъ *Конца невѣдомой улицы*, произведенія, которое считается шедевромъ Альбова по глубинѣ и силѣ психическаго анализа, пахнетъ „Ассонуаромъ“ Золя и тѣми картинами преобразованія стараго Парижа въ

новый съ широкими бульварами и прямыми роскошными улицами, — картинами, которыми встрѣтите вы во многихъ произведеніяхъ Золя.

III.

Казиміръ Станиславовичъ Баранцевичъ, какъ мы видимъ въ его автобіографической запискѣ, напечатанной въ критико-біографическомъ словарѣ С. А. Венгерова, родился 22-го мая 1851 г. въ Петербургѣ, отъ отца-поляка и матери-француженки. Родъ его (герба Лелива, отъ котораго между прочимъ происходятъ графы Ржевускіе) дворянскій, очень древній. Дѣдъ его, принимавшій участіе въ польскомъ возстаніи 31 года, былъ повѣшенъ въ присутствіи жены и двухъ малолѣтнихъ сыновей. Несмотря на это, отецъ Баранцевича служилъ чиновникомъ въ комиссіи погашенія государственныхъ долговъ и за время пребыванія въ Петербургѣ почти совершенно обрусѣлъ, охотно заводилъ знакомства среди русскихъ и пристрастился къ чтенію русскихъ книгъ почти до потери зрѣнія. Страсть къ чтенію перешла и къ сыну. Читать научился мальчикъ самъ, безъ азбуки, по клочкамъ печатной бумаги, приносимой въ лавочки, не болѣе пяти или шести лѣтъ. Семи или восьми лѣтъ онъ зачитывался *Сыномъ Отечества* и затѣмъ Пушкинымъ, надъ которымъ просиживалъ дни и ночи, и подъ вліяніемъ этого чтенія девяти лѣтъ написалъ героическую поэму *Понятовскій*. Одновременно съ этимъ развилась у мальчика страсть къ рисованію и музыкѣ. Вслѣдъ за Пушкинымъ онъ читалъ все, что попадалось подъ руку — Жоржъ-Зандъ, Врамбеуса, Купера, Майнъ-Рида, В.-Скотта, Диккенса, Теккерея, Шекспира и пр. Всѣ тогдашніе журналы въ свою очередь прочитывались имъ обязательно.

Въ 1862 году Баранцевичъ поступилъ въ 1-й классъ второй гимназій и первые два года учился недурно, получалъ даже похвальные листы, но съ переходомъ въ третій классъ сталъ учиться хуже и хуже, зато читалъ до одуренія. Пользуясь черезъ отца бібліотекою министерства финансовъ, онъ не довольствовался одною беллетристикой и читалъ книги самаго разнообразнаго содержанія, не исключая и медицинскихъ. Въ то-же время не переставалъ писать стихами и прозою. Такъ между прочимъ онъ написалъ поэму въ некрасовскомъ жанрѣ *Забытая деревня*. Подружившись съ товарищемъ Альбовымъ, они урывками, между уроками, писали *Путешествіе на луну*; кромѣ того Баранцевичъ началъ писать двѣ повѣсти: одну шведскую, другую африканскую. Затѣмъ у обоихъ возникла мысль издавать журналъ *Съверный закатъ*, но почему-то дѣло не уладилось, и въ то время, какъ Альбовъ сталъ издавать *Зарницу*, Баранцевичъ приступилъ къ изданію *Волны*, но на десятомъ номерѣ *Волна* попала въ руки учителя латинскаго языка и прекратилась. Дальше 4-го класса Баранцевичъ не пошелъ. „Противна мнѣ была, рассказываетъ онъ, гимназическая наука, въ головѣ бродили другіе планы“. Побывавши нѣсколько разъ у тетки въ деревнѣ, въ псковской губерніи, Баранцевичъ, подъ вліяніемъ тогдашняго броженія, журнальныхъ статей и толковъ о народѣ, въ свою очередь принялся народничать: бродить по деревнямъ, сливаться съ мужиками, крестить у нихъ ребятъ, пить съ ними водку, ходить на покосъ; щеголялъ при этомъ въ высокихъ сапогахъ и красной рубахѣ, завелъ даже полушубокъ, въ которомъ потомъ разгуливалъ по Петербургу. Передъ родными онъ въ то-же время дѣлалъ видъ, будто готовится въ университетъ въ вольнослушатели.

Между тѣмъ семейство Баранцевичей сильно обѣднѣло, такъ какъ мать по случаю болѣзни должна была закрыть мастерскую, которая обеспечивала семью. Пришлось всѣмъ бѣдствовать, поселившись въ маленькой квартиркѣ, въ пятомъ этажѣ. Когда-же зимою 1870 г. умеръ отецъ, положеніе семьи сдѣлалось безвыходнымъ. Баранцевичъ принужденъ былъ искать мѣста. Два года бѣгалъ онъ по Петербургу, хлопоталъ, подавалъ прошенія, кланялся, прѣсилъ. Наконецъ поступилъ въ контору какого-то подрядчика, который обращался съ нимъ чрезвычайно скверно, грубо, платя въ мѣсяцъ 35 р. и страшно обременяя работой.

Занимаясь его дѣлами, Баранцевичъ какъ-то удосужился урывками передѣлать романъ А. Толстого *Князь Серебряный* въ драму бѣлыми стихами, подъ названіемъ *Опричина*. Драма эта въ октябрѣ 1873 г. была поставлена на Александринскомъ театрѣ въ бенефисъ актера Виноградова, шла 5 или 6 разъ и дала автору около 600 рублей.

Около этого времени Баранцевичъ сошелся съ крестьянской дѣвушкой, Дарьей Николаевной Алексѣевой, полюбилъ ее, но видаться приходилось ему рѣдко, тѣмъ болѣе что мать и слышать не хотѣла о намѣреніи его жениться, и онъ могъ исполнить это намѣреніе лишь послѣ смерти матери въ 1873 г. Онъ жилъ въ это время на Лиговкѣ у какого-то кондуктора, въ мерзѣйшей конурѣ, гдѣ подъ непрестанную руготню пьянство и потасовки хозяевъ написалъ свою первую вещь, которая называлась: *Одинъ изъ нашихъ старыхъ знакомыхъ*, но онъ не рѣшился отправить ее ни въ одинъ изъ толстыхъ журналовъ, и послѣ многихъ мытарствъ по разнымъ мелкимъ изданіямъ, повѣсть нашла наконецъ пріютъ въ какомъ-то мелкомъ сборникѣ приложеній къ *Гражданину* кн. Мещерскаго. Это было въ томъ-же 1873 году.

Послѣ женитьбы матеріальное положеніе Баранцевича конечно не улучшилось, а еще болѣе ухудшилось: пошли дѣти, между тѣмъ ему пришлось длинный рядъ годовъ сидѣть на 40 р. жалованья, которыя онъ получалъ въ качествѣ конторщика „Русскаго строительнаго общества“, а между тѣмъ литературный трудъ плохо вознаграждалъ его, тѣмъ болѣе, что и писать ему было некогда. Лишь въ концѣ семидесятыхъ годовъ, когда появилась въ *Словѣ* повѣсть его *Порванные струны* въ 1878 году, онъ былъ замѣченъ, и произведенія его начали появляться въ крупныхъ періодическихъ изданіяхъ. Но и въ настоящее время, будучи отцомъ шестерыхъ дѣтей, онъ не можетъ отказаться отъ мѣста въ 1-мъ товариществѣ петербургскихъ конножелезныхъ дорогъ, гдѣ служба его начинается въ шесть часовъ утра и заключается въ раздачѣ кондукторамъ катушекъ съ билетами, не можетъ отказаться и отъ газетной работы, размѣняющей его талантъ на мелочи и не дающей ему ни времени, ни силъ сосредоточиться на болѣе серьезныхъ и крупныхъ предпріятіяхъ.

Не даромъ Баранцевичъ и родился въ одномъ городѣ съ Альбовымъ, и воспитывался въ одной гимназій, и съ дѣтства ихъ связали тѣсныя узы товарищества и дружбы: въ ихъ талантахъ мы видимъ много общаго. Баранцевичъ не даромъ въ своемъ разсказѣ *Муть* заставляетъ одного изъ своихъ героевъ, художника, говорить о проклятой петербургской мути, которая лежитъ гнетомъ на творческой фантазій и мѣшаетъ развитію таланта. *Мутное небо и мутные люди*, — этими словами вполне опредѣляются и содержаніе, и колоритъ обоихъ писателей; и Баранцевичъ не уступаетъ Альбову въ мрачности своихъ разсказовъ. Рѣдкій разсказъ его обходится безъ

больныхъ, умирающихъ, безъ гробовъ, кладбищъ, могилъ, монотоннаго шума дождя и воя осенняго вѣтра, задувающаго и безъ того едва мерцающіе фонари на утопающихъ въ грязи улицахъ петербургскихъ окраинъ и т. п.

Изображаются г. Баранцевичемъ по большей части люди, изнемогающіе подъ бременемъ жизни, недугующіе душевно и тѣлесно, умирающіе, и конечно ужъ преждевременно. Въ одномъ разсказѣ мужъ съ уныніемъ и ужасомъ наблюдаетъ, какъ постепенно таетъ и разрушается подъ гнетомъ нужды нѣжно любимая имъ жена, въ другомъ — мать хоронитъ блуднаго, но все-таки любимаго сына; въ третьемъ товарищъ везетъ въ больницу своего сожителя, внезапно захворавшаго тифомъ, и затѣмъ хоронитъ его. Картины всякаго рода смертей отличаются въ разсказахъ Баранцевича большимъ мастерствомъ, самую тщательной отдѣланностью и ужасающими, леденящими душу подробностями. Авторъ, словно какой-то злой духъ, своего рода Мефистофель, паритъ надъ головами своихъ читателей и не даетъ имъ ни на одну минуту забыться свѣтлыми иллюзіями. Онъ мало того что не вѣритъ въ возможность хоть сколько-нибудь прочнаго счастья, но оно въ его глазахъ по самому своему существу представляется чѣмъ-то въ высшей степени преступнымъ; оно, по его мнѣнію, немисливо безъ забвенія святыхъ завѣтовъ юности, безъ узкаго и черстваго эгоизма, безъ отступничества, и эта преступность его искупается лишь тѣмъ, что оно недолговѣчно.

Походитъ на Альбова Баранцевичъ и крайнею бѣдностью и узостью сферы наблюдений. Мало сказать, что сфера эта ограничивается одною столицею, но и въ ней онъ по большей части изображаетъ одинъ только сѣренскій, разночинный и мѣщанскій слой столичнаго населенія, который гнѣздится въ дешевенькихъ меблированныхъ комнатахъ, увеселяется въ грязненькихъ извозничьихъ трактирчикахъ капорскимъ чайкомъ, прокисшимъ пивомъ и раздражительными, свистящими, шипящими и трещащими звуками трактирнаго органа. Иногда онъ покушается, правда, проникать и въ болѣе высшіе слои общества, но съ одной стороны, подобныя изображенія составляютъ исключеніе, а съ другой онъ является въ нихъ писателемъ далеко не столь компетентнымъ и стоящимъ на твердой почвѣ, какъ въ изображеніяхъ мѣщанъ и всякаго рода разночинцевъ.

Но у Баранцевича найдете вы и кое-какія особенности относительно Альбова. Такъ Альбовъ болѣе натуралистиченъ, чѣмъ Баранцевичъ; онъ не покушается на созданія какихъ-либо идеальныхъ образовъ и ограничивается микроскопическимъ анализомъ обыденной, относительной дѣйствительности. Баранцевичъ-же остается въ душѣ неисправимымъ романтикомъ; у него часто вы встрѣтите попытки изображать не только идеальное, но и фантастическое, каковы напр. разсказы: *Дебютъ*, *Прахъ*, *Горсточка родной земли*, *Воспоминанія* и проч.

Вместѣ съ тѣмъ, если у Баранцевича вы не найдете того микроскопическаго и мѣстами паталогическаго анализа, какимъ отличается Альбовъ, за то у Альбова нѣтъ ни того юмора, ни того лиризма, какіе въ свою очередь составляютъ лучшія качества таланта Баранцевича.

Наиболѣе крупными произведеніями Баранцевича являются *Чужахъ*, романъ, напечатанный въ *Устолахъ* въ 1882 году, въ которомъ въ лицѣ героя Радунцева авторъ заплатилъ дань своей школѣ, изобразивъ все того-же нравственно несостоятельнаго

героя; затѣмъ — *Раба*, романъ напечатанный въ *Дьяль* 1887 г. и изданный отдѣльно въ 1888 г. Затѣмъ слѣдуетъ масса мелкихъ разсказовъ и очерковъ, печатаемыхъ въ различныхъ періодическихъ органахъ и потомъ издающихся отдѣльно въ видѣ небольшихъ сборниковъ; нося какое-нибудь общее заглавіе. Таковы сборники *Подъ игомъ*, Спб. 1885 г., *Порванные струны*, Спб. 1886 г., *Маленькіе разказы*, Спб. 1887, *Новые разказы*, Спб. 1889 г., *Старое и новое*, Спб. 1890 г.

IV.

Всѣ рассмотрѣнные нами беллетристы-пессимисты не идутъ далѣе сознанія несостоятельности ихъ собственной личности; ихъ отрицаніе поэтому носитъ характеръ вполне субъективный. Но реакціонный пессимизмъ не замедлилъ пойти дальше: съ субъективной почвы онъ перешелъ на объективную, обобщилъ свое отрицаніе въ томъ смыслѣ, что началъ отрицать не одно только нравственное ничтожество обѣдѣвшаго барина, но огуломъ всю интеллигенцію. Такимъ образомъ въ концѣ семидесятыхъ и началѣ восьмидесятыхъ годовъ образовалась особенная доктрина псевдо-народниковъ, прямолинейное ученіе, отдѣлявшее непроходимую пропасть городъ отъ деревни, полагавшее въ интеллигентномъ человѣкѣ непоправимое нравственное банкротство, скопище самыхъ ужасныхъ пороковъ, а въ мужикѣ напротивъ того сокровищницу всякихъ всевозможныхъ добродѣтелей. Въ слѣпотѣ своей прямолинейности псевдо-народники нерѣдко возвеличивали въ идеалъ даже такіе остатки патріархальныхъ и крѣпостныхъ нравственныхъ принциповъ, какіе если и господствуютъ до сихъ поръ въ крестьянской средѣ, то очевидно, какъ нѣчто отжившее, подлежащее отпаденію или полной переработкѣ, чѣмъ и сами крестьяне видимо тяготятся и только не могутъ сразу отрѣшиться. Ученіе гр. Л. Толстого съ его пессимистическими взглядами на общеевропейскій прогрессъ и признаніемъ единственнаго спасенія человѣчества въ оздоравливающихъ душу и тѣло сельскихъ трудахъ еще болѣе раздуло эту доктрину.

Явилось и нѣсколько беллетристовъ, подчинившихся этой доктринѣ и выражающихъ ее въ своихъ произведеніяхъ. Таковъ Петропавловскій, извѣстный публикѣ подъ псевдонимомъ Каронина. Онъ выступилъ на литературное поприще въ концѣ семидесятыхъ годовъ массою небольшихъ разсказовъ на страницахъ *Отечественныхъ Записокъ*, и первоначально былъ не болѣе, какъ скромный и безпретенціозный фотографъ народнаго быта, изображавшій деревенскіе нравы вполне безхитростно, не претендуя ни на какія обобщенія, выводы, философію. Правда, онъ былъ нѣсколько одностороненъ въ своихъ изображеніяхъ, такъ какъ изображалъ исключительно одни захудалыя деревушки и мужиковъ, дошедшихъ до послѣдней степени нищеты и разоренія. Но онъ былъ въ полномъ правѣ въ этой своей односторонности, такъ какъ во-первыхъ никто не можетъ воспрепятствовать художнику изображать такіе факты, которые болѣе всего вдохновляютъ его, а во вторыхъ очень можетъ быть, что это такіе именно факты, которые преобладаютъ въ настоящее время въ народной жизни, стоятъ на первомъ планѣ и прежде всего просятся подѣ перо.

Но Каронинъ не остановился на этой объективной почвѣ. Къ концу восьмидесятыхъ годовъ онъ оставилъ скромное поприще безхитростной фотографіи и, увлекшись псевдо-

народническою доктриною, началъ подгонять подъ нее дѣйствительность, изображая нравственно растлѣнныхъ и разочарованныхъ героевъ интеллигентной среды, приходящихъ въ различныя соприкосновенія съ деревенскимъ людемъ, посрамляющихся имъ и впадающихъ въ полное отчаяніе. Таковы повѣсти г. Корвинна послѣдняго времени— *Мой мѣръ* (*Русская Мысль*, 1888 г.), *На границахъ челоука* (*Русская Мысль*, 1889 г.), *Борская колонія* (*Русская Мысль*, 1890 г.).

На тотъ-же путь псевдонародничества склонился въ послѣднее время и Александръ Ивановичъ Эртель, который въ свою очередь началъ съ очерковъ изъ народнаго быта вполне объективныхъ, печатавшихся въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ на страницахъ *Вѣстника Европы* и впоследствии изданныхъ отдѣльно подъ общимъ заглавіемъ *Записки степняка*. Какъ въ этихъ *Запискахъ степняка*, такъ и въ нѣкоторыхъ послѣдующихъ произведеніяхъ, напримѣръ *Волхонская барышня*, Эртель преслѣдовалъ одиѣ художественно-психологическія цѣли, подражая отчасти Тургеневу, и не выражалъ никакой опредѣленной тенденціи. Но съ 1887 года и онъ въ свою очередь началъ проводить въ своихъ произведеніяхъ нѣчто среднее между псевдонародничествомъ и ученіемъ Л. Толстого. Такова его повѣсть *Дѣнь пары* (*Русская Мысль*, 1887 г.), въ которой проводится параллель интеллигентнаго челоука и мужика по отношенію къ вопросу о свободѣ любовной страсти; и еще болѣе тенденціями гр. Л. Толстого проникнуть обширный романъ его *Гарденины, ихъ дворянъ, приверженцы и враги*, печатавшійся въ *Русской Мысли* 1889 года. Здѣсь вы находите изображеніе судьбы двухъ молодыхъ людей, героевъ романа, изъ которыхъ одинъ, Ефремъ, несмотря на то, что происходитъ изъ народа, войдя въ колею обычнаго развитія учащейся молодежи, отдѣлился отъ родной среды, разорвалъ съ нею всякую связь и когда вернулся на родину, то оказался совсѣмъ чужимъ челоукомъ и погибъ жертвой своей революціонной гордыни; другой-же герой Николай нигдѣ не учился, нигуда изъ деревни не уѣзжалъ и поэтому остался прикрѣпленъ къ почвѣ, сохранивъ живую связь съ народомъ. Правда, что и онъ каждый разъ какъ подвергался вліянію прогрессивныхъ идей, терялъ подъ ногами эту почву, дѣлалъ ложные шаги, заблуждался и былъ близокъ къ гибели, отъ которой спасало его лишь вліяніе такихъ непосредственныхъ и любвеобильныхъ людей, какъ столяръ Иванъ Фодотычъ, играющій въ романѣ по отношенію къ Николаю буквально такую-же роль нравственнаго возродителя, какую Каратаевъ играетъ по отношенію къ Пьеру Безухому.

Хотя и родственное съ этими двумя писателями, но въ то-же время и нѣчто особенное представляетъ собою Григорій Александровичъ Мачтетъ. Онъ обратилъ на себя вниманіе нѣсколькими прелестными очерками изъ сибирской жизни, каковы: *Вторая правда*, *Мы побѣдили*, *Мірское дѣло*. Очерки эти полны глубокой правды и художественности и оставляютъ послѣ себя глубокое впечатлѣніе. Не представляется никакого сомнѣнія, что авторъ въ этихъ очеркахъ ничего не сочиняетъ, а безхитростно изображаетъ то, что самъ видалъ и слышалъ. Но и Мачтетъ въ свою очередь не могъ удержаться на этой объективной почвѣ безпристрастнаго изученія народнаго быта. Онъ тоже раздѣлялъ родъ челоуческой непреходимую пропасть на двѣ стороны, но съ тою только разницею, что для своего дѣленія онъ взялъ не различіе интеллигенціи и народа,

а иной критерій: онъ составилъ себѣ такое-же прямолинейное понятіе о человѣческой жизни, какое мы видѣли въ беллетристикѣ 60-хъ годовъ писаревской школы, т. е. что жизнь во всѣхъ слояхъ и углахъ земного шара исчерпывается безъисходною борьбою честныхъ людей и безпардонныхъ подлецовъ. Весь родъ человѣческой жизни такимъ образомъ дѣлится у Мачтета на волковъ и козлищъ, между которыми ничего нѣтъ общаго, ни малѣйшихъ точекъ соприкосновенія, кромѣ одного необузданнаго желанія волковъ пожрать невинныхъ и беззащитныхъ овечекъ. Никто не будетъ конечно оспаривать, что жизнь представляетъ борьбу различныхъ враждебныхъ элементовъ; но большая разница, — элементы и люди, и было бы въ высшей степени ошибочно предполагать, чтобы каждый человѣкъ совмѣщалъ въ себѣ одинъ какой-либо простой элементъ. Но Мачтетъ элементы отождествляетъ съ людьми, и весь родъ человѣческой жизни представляетъ въ его глазахъ безъисходную борьбу лакействующихъ подлецовъ, наживающихся путемъ ползанья и пресмыканья передъ высшими, и угнетенными рыцарями неподкупной честности. Особенно рѣзко выражена Мачтетомъ подобная тенденція въ романѣ его *Изъ недавняго прошлаго*, напечатаннаго въ № 4 и 5 *Съвернаго Вѣстника* за 1886 г. и затѣмъ вышедшаго отдѣльно въ собраніи его сочиненій подъ заглавіемъ *И одинъ въ полѣ воинъ*. Дѣйствіе этого романа происходитъ въ юго-западномъ краѣ въ послѣдніе годы крѣпостного права. Герой романа, отъ лица котораго ведется разсказъ, является представителемъ лакействующихъ подлецовъ и рисуется въ самыхъ черныхъ краскахъ мелодраматическимъ извергомъ. Будучи ребенкомъ, онъ шага не могъ ступить безъ того, чтобы на кого-нибудь не донести, не оклеветать человѣка и не погубить его. Такъ вокругъ него и валились жертвы его паскудства. Панъ, которому онъ принадлежалъ, былъ самый свирѣпый панъ, но герой своими доносами сѣумѣлъ вкрасться въ его довѣренность. Сначала онъ донесъ на своего двоюроднаго брата, Остапа, который явился въ деревню дезертиромъ изъ арміи, потомъ донесъ на жену пана, шепнувъ ему о ночномъ свиданіи ея въ саду съ любовникомъ, далѣе разстроилъ бракъ своей сестры Гали, чуть не довелъ ее до самоубійства, а потомъ сосваталъ за ненавистнаго ей старика, старосту Кондрата, а шлага ея Федю довелъ до того, что его какъ поджигателя отдали не взычетъ въ солдаты. Наконецъ, панъ сдѣлалъ его главнымъ управляющимъ всѣхъ своихъ имѣній, а онъ въ благодарность за это сдѣлался любовникомъ его жены, той самой пани, на которую прежде донесъ своему господину. Однимъ словомъ, — передъ вами злодѣй съ головы до ногъ, и къ довершенію всего такой отчаянный лицецѣрь, что всѣ свои злодѣянія расписываетъ въ самыхъ обольстительныхъ краскахъ, какъ подвиги необыкновенныхъ добродѣтелей. Всѣ окружающіе ненавидятъ его, задаютъ ему жестокія потасовки, на которыя онъ смотритъ, какъ на страданіе за правду.

Вотъ въ какомъ грубо лубочномъ видѣ рисуется въ романѣ Мачтета происхожденіе кулака, причемъ авторъ совсѣмъ упускаетъ изъ виду, что если-бы кулаки были дѣйствительно такими страшными, считаться съ ними было бы гораздо легче, чѣмъ это бываетъ на самомъ дѣлѣ, при обаятельномъ вліяніи ихъ на односельчанъ, которые при всей ихъ эксплуатаціи готовы оказываются при случаѣ поголовно встать и идти за ними, куда имъ угодно.

V.

Но конечно далеко не всё молодые беллетристы поголовно ударились въ субъективный пессимизмъ или-же прониклись псевдонародническими тенденціями и идеями гр. Л. Толстого. Нѣсколько болѣе или менѣ сильныхъ талантовъ осталось въ сторонѣ отъ этого общаго теченія, и идутъ своимъ собственнымъ вполне самостоятельнымъ путемъ. Таковъ прежде всего Владиміръ Галактіоновичъ Короленко, писатель, котораго смѣло можно поставить во главѣ современной беллетристики, какъ по силѣ таланта, такъ и по богатству художественнаго матеріала, по широтѣ сферы наблюдательности, наконецъ по самому міросозерцанію, обнаруживающему человѣка, стоящаго вполне въ уровнѣ вѣка по своему образованію. Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ никакихъ біографическихъ свѣдѣній о его личности. Но судя по его произведеніямъ, можно навѣрное опредѣлить, что передъ нами писатель, который возросъ не въ городской атмосферѣ, а на лонѣ природы, и притомъ подъ горячимъ солнцемъ юга. Всѣ образы его такъ ярки и сочны, юморъ такъ веселъ и задухновенъ. Короленко любитъ рисовать сельскіе ландшафты, и они представляются не какими-нибудь искусственно-вклеенными заплатками, не декалькоманическими виньетками, какъ это мы видимъ у нѣкоторыхъ беллетристовъ, а тѣсно сливаются съ рассказомъ, составляя неотъемлемую его принадлежность, дышать одною жизнью съ выводимыми людьми.

Въ то-же время мы видимъ въ Короленкѣ человѣка, очевидно бывалаго, извѣдывшаго Россію вдоль и поперекъ, и поэтому богатаго опытами и наблюденіями жизни, проявляющимися въ роскошномъ, поражающемъ васъ разнообразіи его картинъ. Гдѣ только не пребываете вы вмѣстѣ съ авторомъ и кого только не встрѣтите, читая его произведенія: передъ вами раскроются и жизнь мелкаго городка Юго-Западнаго края, и дремучіе боры Полѣсья, и сибирская тайга съ ея 40-градусными морозами, и сахалинскія дебри, и нищія, пріютившіеся въ развалинахъ стараго кладбища въ Князь-Городѣ, и полу-русскіе, полу-якутскіе обитатели тайги, и бѣглецы каторжники Сахалина, и завсегдатая сибирскихъ тюремъ въ видѣ разныхъ сектантовъ съ ихъ фантазмагорическими ученіями, непомянціе родства бродяга и разбойничьи притоны подъ видомъ заимокъ. Вы не встрѣтите у Короленка ни одного повторенія, ничего, что-бы вамъ хоть одною чертою напоминало нѣчто, читанное вами въ предшествовавшихъ произведеніяхъ того-же автора. Каждое произведеніе его представляетъ свой особенный міръ, вполне этимъ произведеніемъ исчерпывающійся. Въ то-же время Короленко не ограничивается одними блѣдными и едва намѣченными эскизами, чѣмъ отличаются весьма многіе изъ молодыхъ писателей: каждое выведенное имъ лицо представляетъ собою рельефоочерченный характеръ, каждая картина дорисована до конца и не требуетъ ни малѣйшей лишней черточки. Художественная полнота, законченность и гармоничность, составляющія рѣдкое въ наше время и дорогое качество, являются неотъемлемою принадлежностью всѣхъ рассказовъ Короленка.

Первое произведеніе Короленка, обратившее вниманіе публики и критики на автора, былъ *Сонъ Макара*, напечатанное въ № 3 *Русской мысли* 1885 года. Общій голосъ по прочтеніи этого произведенія былъ тотъ, что послѣ *Подлиповцевъ* Рѣшетни-

кова ничего не появлялось въ этомъ родѣ въ литературѣ вашей до такой степени сильнаго и поразительнаго. Рассказъ подкупаетъ не однимъ содержаніемъ своимъ, не одною силою объективности, съ которою автору удалось изобразить дикаря-якута во всѣхъ мелочахъ его внѣшняго быта и внутренняго психическаго міра, не внеся туда ни капли своей авторской субъективности, но также и внѣшнею формою, весьма рѣдкою въ наше время по выдержанности, отсутствію какихъ-либо излишнихъ подробностей и растянутостей, наконецъ по тому сильному лиризму, который въ концѣ разсказа совершенно неожиданно сразу захватываетъ васъ и освѣщаетъ передъ вами всѣ подробности разсказа свѣтомъ глубокой идеи, которая лежитъ въ произведеніи. Оригиналенъ и самый сюжетъ повѣсти, заключающійся въ путешествіи на „тотъ свѣтъ“ полу-якута, полу-русскаго дикаря, который, напившись пьянъ наканунѣ Рождества, заснулъ у себя дома, и ему пригрезилось, что онъ замерзъ въ тайгѣ, и затѣмъ давно умершій попикъ Иванъ ведетъ его вродѣ Виргилія по загробнымъ мытарствамъ на судъ великаго Тойона. Въ этомъ путешествіи и затѣмъ судѣ Тойона и заключается вся суть разсказа, полная, еще разъ повторяемъ, глубокой бытовой и философской правды. Затѣмъ послѣдовали *Очерки сибирскаго туриста* въ первыхъ номерахъ *Сѣвернаго Вѣстника* за 1885 г., въ которыхъ авторъ знакомитъ насъ съ нѣсколькими весьма любопытными типами сибирской жизни, по крайней мѣрѣ, на цѣлое столѣтіе отставшей отъ жизни Европейской Россіи. Читаете вы эти очерки, словно старый историческій романъ 30-хъ годовъ, съ разбойничьими притонами въ дремучихъ лѣсахъ, ночными нападеніями на трепещущихъ отъ ужаса путешественниковъ и всяческими необыкновенными, неожиданными и захватывающими духъ приключеніями на большихъ дорогахъ. Особенно мастерски обрисованъ типъ ямщика *убивцы*, съ его богатырскою физическою силою, пытливымъ умомъ и нѣжно-гуманнымъ сердцемъ. При всѣхъ этихъ качествахъ понятно то мистическое обаяніе, какое производитъ онъ на разбойниковъ, внушая имъ суевѣрный ужасъ, такъ что они, убѣжденные, что никакая пуля его не возьметъ и ножъ сломается объ него, не смѣли нападать на проѣзжихъ, когда онъ правилъ тройкой. Его полная кровавыхъ приключеній жизнь и трагическая смерть и составляютъ главное содержаніе *Очерковъ*.

Въ томъ же 1885 году въ № 10 *Русской Мысли* появилась повѣсть Короленка *Въ дурномъ обществѣ*, еще болѣе упрочившая извѣстность автора, какъ наиболѣе выдающійся талантъ изъ всѣхъ молодыхъ беллетристовъ. Фабула разсказа Короленка крайне проста и незамысловата, что не мѣшаетъ ей быть въ высшей степени поэтической. Героюмъ является мальчикъ, сынъ мѣстнаго судьи въ небольшомъ городкѣ Юго-Западнаго края. Мать у него недавно умерла, а отецъ до такой степени предался горю, что совсѣмъ упустилъ изъ виду дѣтей, младшую дочку Соню, бывшую еще на рукахъ у няньки, и мальчика семи лѣтъ, который былъ предоставленъ вполнѣ самому себѣ и скитался по городку безъ всякаго призора.

Маленькій городокъ имѣлъ свои историческія преданія. Въ немъ были развалины замка, въ которомъ обитали нѣкогда владѣльцы городка, польскіе графы, бывшіе когда-то богатыми, нынѣ захудалые. Потомки ихъ давно уже оставили жилище предковъ. Большая часть дукатовъ и всякихъ сокровищъ перешла за мостъ въ еврейскія лачуги и послѣдніе представители славнаго рода выстроили себѣ прозаическое бѣлое зданіе на

горѣ, подальше отъ города. Замокъ-же сдѣлался прибрѣжищемъ бездомнаго бродячаго населенія. „Живеть въ замкѣ“, — эта фраза стала формулой для выраженія крайней степени нищеты и паденія. Когда нѣкій графскій официалистъ Янушъ, выхлопотавшій себѣ пѣчю вродѣ владѣтельной хартіи, при помощи полиціи изгналъ бездомныхъ обитателей замка, они переселились въ полуразрушенную уніатскую часовню, находившуюся неподалеку отъ замка, и въ подземные склепы заброшеннаго кладбища.

Авторъ изображаетъ нѣсколько типовъ этихъ обитателей жилищъ мертвецовъ — одинъ другого оригинальнѣе; и наиболѣе ярко рисуется передъ вами вождь босой команды Тыбурціи Дроба. У пана Тыбурція было двое дѣтей: сынъ Ванекъ, мальчикъ высокій, тонкій, черноволосый, угрюмо шатавшійся по городу, заложивъ руки въ карманы и кидая по сторонамъ взгляды, свущавшіе сердца калачницъ, и дѣвочка Маруся, хиленькій рахитическій ребенокъ, увядавшій во мракѣ подземнаго жилища. Герой разсказа, шатаясь по городу безъ призора, вздумалъ однажды изъ дѣтскаго любопытства вмѣстѣ съ двумя уличными мальчишками-товарищами осмотрѣть внутренность уніатской часовни и тамъ совершенно неожиданно нашелъ дѣтей Тыбурція и познакомился съ ними. Описаніе внутренности заброшенной часовни, экскурсіи дѣтей въ эти мрачныя развалины, ихъ суевѣрнаго страха и паническаго ужаса, — верхъ художественности и представляется однимъ изъ лучшихъ мѣстъ въ разсказѣ Короленко. Мальчикъ подружился съ дѣтьми нищаго бродяги. Они были голодны материально, мальчикъ-же, не пригрѣтый любовью и лаской ни одного близкаго человѣка и совершенно заброшенный, мучился духовнымъ голодомъ, и въ то время какъ онъ носилъ друзьямъ яблоки и всякую снѣдь, они платили ему дружескою привязанностью. Затѣмъ мальчикъ сошелся со всѣми обитателями склепа. Дружба эта составляла конечно тайну его отъ родныхъ. Когда-же родные проникли въ эту тайну, послѣдовала домашняя буря. Отецъ набросился на сына, требуя полнаго признанія. Мальчикъ геройски молчалъ. Трудно и предположить, что послѣдовало-бы далѣе, если-бы не явился Тыбурціи и не разъяснилъ пану судьѣ, въ чемъ дѣло.

Не менѣе поразила небольшая повѣсть *Лесъ шумитъ*, напечатанная въ № 1 *Русской Мысли* 1876 года, своимъ мрачнымъ содержаніемъ. Сюжетъ этой повѣсти относится къ эпохѣ крѣпостнаго права; дѣйствіе происходитъ въ Южной Россіи. Героями являются лѣсничій Романъ и добѣзачій Опанасъ Швидкій. Панъ, которому они оба принадлежали, насильно выдалъ замужъ крестьянку Оксану за Романа, въ то время, какъ ее любилъ Опанасъ, и затѣмъ самъ началъ ухаживать за нею. Тогда Опанасъ и Романъ сговорились и убили пана. Опанасъ затѣмъ, принявъ всю вину на себя, сдѣлался разбойникомъ, Романъ-же остался жить въ своей лѣсной хатѣ вмѣстѣ съ Оксаною въ полномъ согласіи, какъ ни въ чемъ ни бывало. Опанасъ изрѣдка заходилъ къ нимъ, чаще всего, когда Романа не бывало дома, — придетъ, посидитъ и пѣсню споетъ, и на бандурѣ сыграетъ. Случалось приходиться ему и съ товарищами, когда Романъ былъ дома, и послѣдній всегда принималъ его радушно, несмотря на то, что изъ двухъ дѣтей его одинъ былъ похожъ на него, а другой былъ вылитый Опанасъ. Но верхомъ совершенства, лучшимъ, что только было до сихъ поръ написано Короленкомъ, является *Слѣпой музыкантъ*, напечатанный въ № 6 *Русской Мысли* за 1886 годъ. Трудно представить себѣ сюжетъ болѣе простой и незатѣли-

вый. Все содержаніе разсказа заключается въ томъ, что въ помѣщичьемъ семействѣ средняго состоянія въ Юго-Западномъ краѣ родился слѣпой мальчикъ; въ послѣдствіи изъ него образовался музыкантъ, и онъ женился безъ малѣйшихъ препятствій на подругѣ своего дѣтства. Все дѣйствіе разсказа совершается внутри героя и представляетъ собою картину его умственнаго и музыкальнаго развитія при условіи отсутствія чувства зрѣнія. Такимъ образомъ передъ вами чисто психологическій этюдъ, по самой своей отвлеченности рискующій быть сухимъ и скучнымъ. А между тѣмъ, едва начнете читать его, не оторветесь, пока не дочитаете до конца. Съ первой-же страницы въ вашу душу вторгается могучій потокъ поэзіи безыскусственной, простой, но сильной, свѣжей, бьющей ключемъ и благоухающей такою гуманностью и нравственною чистотою, что, прочтя разсказъ, вы чувствуете себя словно обновленнымъ; точно какъ будто въ вашу комнату влетѣлъ лучезарный призракъ, исполненный мира и любви, и открылъ вамъ такой глубокой смыслъ жизни, что она исполнилась въ вашихъ глазахъ новымъ, невѣдомымъ вамъ очарованіемъ, возвысилась въ своей цѣнѣ и между тѣмъ все грязное и дрянное, накопившееся въ нѣдрахъ вашей души, исчезло и разсыпалось, какъ дымъ. Вы встрѣчаете въ разсказѣ мѣста, которыя производятъ на васъ такое потрясающее впечатлѣніе, что вы едва удерживаетесь отъ рыданій, а между тѣмъ ничего особенно чувствительнаго нѣтъ въ этихъ мѣстахъ: описывается что-нибудь вроде того, какое впечатлѣніе произвела на слѣпца впервые услышанная народная пѣсня „Ой тамъ на гори, тай женці жнуть“.

Сверхъ этихъ наиболѣе выдающихся произведеній Короленка были напечатаны въ разныя времена слѣдующія, имѣвшіе меньшій успѣхъ, хотя и отмѣченныя все тѣмъ-же высокими талантомъ: *Въ ночь подъ Святлай Праздникъ, Старый звонарь, Прохоръ и студентъ, Съ двухъ сторонъ, Павловскіе очерки.*

VI.

Игнатій Николаевичъ Потапенко родился въ декабрѣ 1856 года въ селѣ Федоровкѣ херсонской губерніи. Отецъ его былъ въ то время офицеромъ уланскаго полка, мать происходила изъ крестьянъ-малороссовъ. Въ послѣдствіи отецъ перешелъ въ духовное званіе и сдѣлался священникомъ. Первоначальной грамотѣ Потапенко научился дома; восьмью лѣтъ былъ отданъ въ духовное училище въ Херсонъ, гдѣ засталъ бурсу стараго фасона, благами которой наслаждался втеченіе двухъ лѣтъ, былъ съчетомъ и всячески битъ и пр. Кончивъ духовную семинарію въ Одессѣ (общеобразовательный курсъ безъ двухъ богословскихъ классовъ), поступилъ въ новороссійскій университетъ, откуда перешелъ въ петербургскій на филологическій факультетъ. Но обладая хорошимъ голосомъ и увлекаясь музыкой, онъ оставилъ университетъ и поступилъ въ петербургскую консерваторію, которую и кончилъ по пѣнію, занимаясь также спеціальной теоріей.

Литературное поприще свое Потапенко началъ въ 1881 году, когда въ № 1 *Вѣстника Европы* былъ помѣщенъ первый очеркъ его *Феденька*, подписанный И. П. До 1886 года онъ помѣщалъ въ *Дни* и *Вѣстникъ Европы* небольшіе разсказы, изъ которыхъ наиболѣе выдается повѣсть *Святное искусство*, изображающая нравы

петербургской литературной богемы, напечатанная въ № 8 *Вѣстника Европы* за 1885 годъ. Повѣсть эта положила начало извѣстности Потапенка. Затѣмъ съ 1886 и по 1890 годъ Потапенко работалъ въ одесскихъ газетахъ и жилъ въ Одессѣ. Въ 1890 году онъ вернулся въ Петербургъ и упрочилъ свою извѣстность двумя большими произведеніями, о которыхъ много говорили и писали—*На дѣйствительной службѣ* повѣсть, помѣщенная въ №№ 7 и 8 *Вѣстника Европы*, и *Здравья понятія*—романъ, появившійся въ №№ 8, 9 и 10 *Сѣвернаго Вѣстника*. Въ томъ-же году появилась въ *Вѣстникъ Европы*, въ № 9, повѣсть его *Секретарь ея превосходительства*, а въ *Артистѣ*—разсказъ *Проклятая Слава*. Въ томъ-же 1890 году вышло первое собраніе его сочиненій, изданное Ф. Ф. Павленковымъ.

Главная особенность таланта Потапенка, рѣзко отличающая его отъ всѣхъ прочихъ молодыхъ беллетристовъ,—чрезвычайно ясный и бодрый взглядъ на жизнь и людей, исполненный добродушно-незлобиваго оптимизма, совершенное отсутствіе того мрачно-унылаго, развѣдающаго скептицизма, какимъ преисполнена современная беллетристика; вмѣстѣ съ тѣмъ отсутствіе и трагическихъ тоновъ, всего, что, омрачая духъ читателя, вызывало-бы въ немъ чувство тоски, недовольства жизнью. Чтобы ни изображалось въ произведеніи Потапенка, хотя-бы самыя ужасныя вещи, читатель выноситъ бодрящее чувство отрады, на душѣ у него становится свѣтло, и онъ готовъ бываетъ даже воскликнуть: а какъ-бы то ни было, все-таки хорошо на бѣломъ свѣтѣ!

Этого благодушнаго настроенія читателя Потапенко достигаетъ вовсе не тѣмъ, чтобы онъ изображалъ жизнь въ одиѣхъ розовыхъ краскахъ. Вы найдете у него тѣ-же общественныя язвы и непорядки, тѣ-же драматическіе и трагическіе мотивы, тѣ-же злыхъ и дрянныхъ людей, тѣ-же хищныхъ науковъ, поѣдающихъ оплошныхъ и слабыхъ мухъ, какъ и во всей современной беллетристикѣ. Но только тамъ, гдѣ писатель съ преобладающею наклонностью къ трагизму, съ мрачными взглядами на жизнь и людей, нарочно сгуститъ черныя краски, подчеркнетъ то, что наиболѣе возмутительнаго въ изображаемомъ явленіи, чтобы у читателя застонало на душѣ, Потапенко-же не прилагаетъ ни малѣйшихъ усилій, чтобы то или другое драматическое положеніе потрясло читателя; напротивъ того, у него всегда являются такіе вводные элементы, которые совершенно нейтрализуютъ драматизмъ: то въ злодѣѣ драмы онъ вселяетъ такія почтенныя качества, что читатель невольно мирится съ нимъ, тѣмъ болѣе что въ то-же время добродѣтельные и страдающіе люди выходятъ въ высшей степени комичны и тѣмъ какъ-бы заслуживаютъ свои страданія (такое впечатлѣніе мы выносимъ изъ романа *Здравья понятія*); то добродѣтель настолько торжествуетъ въ заключеніе, а зло такъ безощадно наказуется, что на радостяхъ при видѣ такого исхода читатель великодушно готовъ простить людямъ всѣ дрязги, предшествовавшія столь вождѣленному концу.

Въ виду всего этого можно было-бы ожидать, что читатель долженъ выносить изъ произведеній Потапенка чувство неудовлетворенности, такъ какъ и чутье, и собственный опытъ должны подсказать читателю, что въ дѣйствительности далеко не все такъ благополучно кончается, и дурные люди гораздо отвратительнѣе, чѣмъ какъ они изображаются Потапенкомъ. Между тѣмъ читатель съ большимъ удовольствіемъ читаетъ

произведенія Потапенка, и не удовлетворяясь въ одномъ отношеніи, въ другомъ—напротивъ того—выносить чувство полнаго удовлетворенія и больше эстетическое удовольствіе. Это зависитъ оттого, что въ произведеніяхъ Потапенка есть еще одинъ элементъ, самый существенный въ его творчествѣ, преобладающій надъ всѣми другими,—это смѣхъ, юморъ.

И дѣйствительно, тѣ страницы произведеній Потапенка читаются съ наибольшимъ удовольствіемъ и наиболее врѣзываются въ вашу память, въ которыхъ авторъ осмѣиваетъ своихъ героевъ. Самое главное свойство крайне добродушнаго, но тѣмъ не менѣе очень мѣткаго и безошаднаго юмора Потапенка заключается въ томъ, чтобы, уловивши смѣшныя и глупыя стороны изображаемыхъ лицъ, въ то-же время обнаружить передъ вами всю нелѣпную внутреннюю противорѣчій, какія скрываются въ нихъ.

Нечего я говорить о такихъ произведеніяхъ, какъ *Святое искусство*, *Потышная исторія*, *Рѣдкій праздникъ*, *Секретарь его превосходительства*, въ которыхъ юморъ, комизмъ царятъ безгранично, но даже и въ столь крупныхъ вещахъ, какъ *Здравыя понятія* и *На дѣйствительной службѣ*, задуманныхъ вовсе не ради одного смѣха, самыми прекрасными страницами являются опять-таки тѣ, гдѣ разыгрывается юморъ автора; что за прелесть напримѣръ такіе комическіе типы современной молодежи, какъ Кремчатовъ, Вѣтвицкій, Оленинъ, Мишуринъ; всѣ они какъ живые стоятъ передъ вами во всей своей несообразности и со всѣми своими умственными и нравственными противорѣчійми. А когда вы читаете повѣсть *На дѣйствительной службѣ*, изображающую молодого академика, промѣнявшаго блестящую карьеру на скромный постъ сельскаго пастыря, мечтающаго осуществить высшій идеалъ своего призванія,—васъ болѣе занимаетъ не столько самый фактъ подвижничества отца Кирилла, сколько весь тотъ комическій переполохъ, который произвело это подвижничество въ озадаченномъ и сбитомъ съ толку причтѣ. Здѣсь въ свою очередь на каждой страницѣ вы натываетесь на массу типовъ и сценъ, которыя заставляютъ васъ хохотать отъ души, въ которыхъ юморъ автора такъ и прыщетъ изъ каждой строки.

VII.

Сверхъ всѣхъ вышеупомянутыхъ молодыхъ беллетристовъ не лишнимъ считаемъ указать на Мамина, подписывающагося также псевдонимомъ Сибиряка, беллетриста въ свою очередь стоящаго на вполне самостоятельной почвѣ. Это беллетристъ совершенно чуждый какихъ-либо опредѣленныхъ тенденцій, равно и художественныхъ претензій. Онъ стоитъ на почвѣ этнографіи, причѣмъ исключительная специальность его заключается въ изображеніи быта уральской западно-сибирской горной промышленности. Литературная плодовитость его неимоверна. Ежегодно во всѣхъ почти ежемѣсячныхъ журналахъ является по нѣскольку его романовъ, повѣстей, очерковъ и пр. Самымъ выдающимся произведеніемъ его считается романъ *Горное шъздо*, напечатанный въ первыхъ трехъ книжкахъ *Отечественныхъ Записокъ* за 1884 годъ и вышедшій затѣмъ отдѣльно.

Заслуживаетъ между прочимъ также вниманія князь Д. Голицынъ, появившійся въ 1884 году съ отдѣльнымъ изданіемъ эскизовъ и очерковъ подъ заглавіемъ *Убоіе*

и *нарядные*; а въ началѣ 1885 года вышелъ тоже отдѣльнымъ изданіемъ романъ *Теноръ*. Оба изданія были подписаны псевдонимомъ Муравлинъ, и сразу обратили на себя вниманіе публики и критики. Кн. Голицынъ явился въ своихъ произведеніяхъ въ своемъ родѣ специалистомъ, изображая исключительно нравы высшаго петербургскаго общества, и притомъ съ такихъ сторонъ, которыя не были еще въ достаточной степени затронуты литературою; именно со стороны физическаго и нравственнаго вырожденія аристократическихъ родовъ, сказывающагося въ разнаго рода психическихъ болѣзняхъ, наклонности къ самоубійству и всевозможныхъ нравственныхъ извращеніяхъ и порокахъ. Особенное мастерство при этомъ обнаружилъ онъ въ психическомъ анализѣ внутренняго міра слабоумныхъ и безвольныхъ князьковъ и психопатокъ съ ихъ фантастическою влюбчивостію въ заѣзжихъ артистовъ и т. п. Къ сожалѣнію творческаго матеріала хватило у кн. Голицына только лишь на два упомянутыя изданія. Всѣ дальнѣйшія его произведенія—романы—*Баба, Мракъ, Хворь, Около любви, Князя* представляютъ лишь варіаціи на одни и тѣ-же темы, и авторъ въ каждомъ своемъ новомъ романѣ началъ тянуть одну и ту-же пѣсню, лишь повторяя ее на разные лады. Къ тому-же крайняя скороспѣлость всѣхъ этихъ произведеній, писанье съ плеча при полномъ отсутствіи сколько-нибудь тщательной обработки, производятъ непріятное впечатлѣніе небрежнаго отношенія къ дѣлу и ставятъ произведенія кн. Голицына вѣ кругъ истинно изящныхъ художественныхъ произведеній.

Ежедневныя газеты, равно какъ и иллюстрированныя еженедѣльные изданія выработали мало-по-малу особеннаго рода литературный жанръ мелкихъ рассказовъ, эскизовъ, очерковъ, словно нарочно по своей миниатюрности приуроченныхъ къ размѣрамъ газетныхъ столбцовъ, тяготящихся обширными произведеніями, которыя тянулись-бы въ десяткахъ номеровъ. Содержаніе такихъ рассказовъ калейдоскопически разнообразное: на трехъ-четырёхъ столбцахъ вы можете встрѣтить здѣсь то мелкую житейскую сценку, эпизодъ, анекдотъ, то трагедію, которой хватило-бы на большой романъ. Главное условіе подобнаго рода беллетристики—необыкновенная сжатость и краткость; все искусство и вся трудность заключаются въ томъ, чтобы выставить существенное и дать читателю возможность догадаться объ остальномъ. Самымъ главнымъ мастеромъ и, можно даже сказать, создателемъ такого жанра является Антонъ Павловичъ Чеховъ, начавшій свое литературное поприще во второй половинѣ восьмидесятыхъ годовъ на страницахъ *Осколковъ, Петербургской Газеты* и *Новаго Времени*, и затѣмъ перешедшій на страницы *Сѣвернаго Вѣстника*, гдѣ появились болѣе обширныя его произведенія: *Стень, Огни, Скучная исторія*. Средній успѣхъ имѣла также его комедія *Ивановъ*. Безчисленные рассказы, помещаемые въ разныхъ газетахъ, выходятъ время отъ времени отдѣльными сборниками, каковы *Юмористическіе рассказы* (Спб., 1887 г.), *Въ сумеркахъ* (Спб., 1887 г.), *Хмурые люди* (1890 г.).

Произведенія Чехова, при всей ихъ фельетонной скороспѣлости обнаруживаютъ очень сильный талантъ, блестятъ художественностью и юморомъ. Но въ нихъ одинъ существенный недостатокъ— полное отсутствіе какого-бы то ни было объединяющаго идейнаго начала. Авторъ весь отдается мимолетнымъ впечатлѣніямъ, снѣша поскорѣе выразить ихъ въ нѣсколькихъ стахъ газетныхъ строчекъ

Вслѣдствіе этого и выходитъ, что рядомъ съ потрясающею драмою, которою случается Чехову обмолвиться мимоходомъ, вы встрѣчаете у него рядъ анекдотовъ водевильнаго характера, не имѣющихъ иной цѣли какъ лишь посмѣшить читателей газеты. Большія его произведенія — *Стетъ* и *Огни*, въ свою очередь, отличаются тою-же калейдоскопичностью и отсутствіемъ идейнаго содержанія; это не цѣльные произведенія, а рядъ безсвязныхъ очерковъ, навязанныхъ на живую нитку фабулы разсказа. Трудно сказать, газетная-ли скороспѣлая работа, не давая Чехову ни надѣчѣмъ серьезно задуматься, выработала подобнаго рода поверхностность и безцѣльность его творчества, или же такой ужъ у него талантъ, который наиболѣе пригоденъ именно къ такого рода эфемернымъ работамъ.

Въ послѣднее десятилѣтіе появилось нѣсколько новыхъ женщинъ на поприщѣ беллетристики. Наибольшаго вниманія заслуживаетъ Валентина Ювовна Дмитріева, не говоря о ея выдающемся талантѣ, уже тѣмъ однимъ, что это первая писательница на Руси, вышедшая прямо изъ народа. Отецъ ея былъ крѣпостной крестьянинъ Нарышкина. Она родилась въ 1859 году въ селѣ Воронинѣ балашовскаго уѣзда, саратовской губерніи; дѣтство провела въ деревнѣ, потомъ поступила въ 4-й классъ тамбовской женской гимназій. По окончаніи курса служила въ сельскихъ учительницахъ и тутъ въ первый разъ начала писать корреспонденціи и небольшіе разсказы въ *Саратовскомъ справочномъ листкѣ* и *Саратовскомъ дневникѣ*. Въ 1878 г. пріѣхала въ Петербургъ и поступила на врачебные курсы, гдѣ и окончила свое образованіе въ 1885 году. За это время были написаны ею слѣдующіе разсказы: *По душѣ да не по разуму* (*Мысль*, 80 г., IV), *Ахметкина жена* (*Рус. Бог.* 81 г., I), *Отъ совѣсти* (*Русск. М.* 82 г., III), *Въ тихомъ омутѣ* (*Дѣло*, 82 г., VI), *Въ разныя стороны* (*Русск. М.* 83 г., III и IV), *Злая воля* (*Дѣло*, 83, IV—VIII), *Тюрьма* (*В. Евр.*, 87, VIII—X), *Своимъ судомъ* (*Свѣ. В.*, 88, I), *Доброволецъ* (*В. Евр.*, 89, IX—X).

Нужно ли и говорить о томъ, что происхожденіе изъ народа сказывается во всѣхъ произведеніяхъ Дмитріевой: всѣ они отличаются основательнымъ знаніемъ крестьянской жизни, мастерскимъ психическимъ анализомъ и глубокимъ общественнымъ смысломъ. Въ то-же время въ разсказахъ Дмитріевой поражаетъ васъ чисто мужское перо: полное отсутствіе всякой сентиментальности и той страсти вдаваться въ подробности разныхъ перипетій страсти нѣжной, чѣмъ такъ грѣшитъ большинство женщинъ.

Обращаетъ на себя вниманіе также Александра Александровича Винницкая, произведенія которой, появившіяся втеченіе восьмидесятихъ годовъ, вышли отдѣльнымъ изданіемъ въ 1886 г. У Винницкой талантикъ небольшой, но симпатичный, къ сожалѣнію только весьма неровный. Когда вы читаете ея произведенія, на васъ изрѣдка словно солнце изъ-за тучъ блеснетъ страница, другая, исполненная искренней, неподдѣльной, порою даже довольно яркой художественности, но затѣмъ снова все померкнетъ передъ вами во мглѣ аффектаціи, экзальтаціи и фальши. Однимъ словомъ, читая произведенія Винницкой, вы встрѣчаете словно двухъ писательницъ, не имѣющихъ ничего общаго между собою: одна изображаетъ жизнь такъ, какъ она есть, наглядно, просто, правдиво, вѣстами очень художественно; другая-же непременно во чтобы ни стало старается встать передъ вами на величественныя, трагическія ходули и начинаетъ напирать, словно поддѣльный жемчугъ на нитку, ложь на ложь, фальшь на фальшь.

чтобы доказать вамъ, какъ люди злы и пошлы. Первой писательницей принадлежатъ такіе прекрасные рассказы, какъ *Наша Наташа*, *Старые знакомые*; второй— *Судьба*, *Улиткино дѣло*, *Ни дна, ни покрывки* и пр.

Любимѣйшею писательницею современной публики представляется также Ольга Андреевна Шапиръ (урожденная Кислякѣва), наиболѣе крупными произведеніями которой являются романы— *Безъ любви* и *Мишура*, и затѣмъ масса повѣстей— *Кандидатъ Куратовъ*, *Изъ семейной прозы*, *Дорогой цѣной*, *Бабѣ мѣто*, *На пороги жизни*,—напечатанныхъ въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ, затѣмъ изданныхъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1888 году. Въ произведеніяхъ О. А. Шапиръ мы видимъ какъ-бы возвращеніе женской беллетристики къ сороковымъ и пятидесятымъ годамъ, по крайней ихъ специальности, такъ какъ они имѣютъ дѣло исключительно съ одними вопросами сердечными и семейными. Очертивши себѣ эту маленькую сферу жизни, въ которой писательница чувствуетъ себя вполне компетентною, она затѣмъ игнорируетъ все остальное, не смотритъ ни направо, ни налево. Такъ мы видимъ, что всѣ герои Шапиръ что-то дѣлаютъ на общественномъ поприщѣ: или служатъ въ какой-нибудь канцеляріи, или хозяйничаютъ въ качествѣ помѣщиковъ, но хорошо-ли или дурно они это дѣлаютъ довольны или недовольны своею дѣятельностью, успѣшно или безуспѣшно совершаютъ свое призваніе, объ этомъ въ произведеніяхъ Шапиръ и не упоминается. Зато въ своей спеціальной сферѣ Шапиръ безукоризненна, и ея повѣсти и романы отличаются весьма тонкими и мастерскими анализомъ женской любви и разныхъ семейныхъ отношеній.

Такою-же спеціальностью отличается и молодая, недавно выступившая на литературное поприще беллетристка Марья Всеволодовна Крестовская. Первое произведеніе ея, романъ *Раннія грозы* появился въ 1887 году на страницахъ *Русскаго Вѣстника* и молодая писательница сразу обратила на себя общее вниманіе, какъ новый талантъ, обещающій въ будущемъ многое. Вниманіе это обуславливалось кромѣ достоинствъ перваго труда и нѣкоторыми побочными обстоятельствами: во первыхъ тутъ дѣйствовало совпаденіе имени Крестовской съ псевдонимомъ Хвощинской, а во вторыхъ она—дочь извѣстнаго писателя В. Крестовскаго и представляетъ рѣдкое явленіе наследственной передачи беллетристическаго таланта. Вслѣдъ затѣмъ въ 1889 году появилось отдѣльное изданіе ея сочиненій, гдѣ кромѣ *Раннихъ грозъ*, были напечатаны повѣсти: *Испытаніе*, *Вѣнь жизни*, *Уголки театральнаго міра* и пр.

М. В. Крестовская раздѣляетъ участь, общую весьма многимъ писательницамъ и зависящую отъ особенностей женской жизни: крайнюю бѣдность наблюденій внѣшней жизни и преобладаніе психическаго анализа любовныхъ страстей и семейныхъ отношеній. Вслѣдствіе этого въ произведеніяхъ М. В. Крестовской вы видите полное отсутствіе внѣшней обрисовки предметовъ. Дѣйствующія лица являются у нея не тщательно и рельефно вырисованными типами со всѣми ихъ индивидуальными особенностями, а неопредѣленными, стереотипными фигурами, причѣмъ все вниманіе писательницы обращено на внутреннія психическія особенности характеровъ. Но зато психическій анализъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Въ этомъ отношеніи произведенія М. В. Крестовской безукоризненны, и кромѣ того неотъемлемымъ достоинствомъ ея таланта представляется обиліе чувства, особенно сильно проявляющагося въ наиболѣе драматическаго и психическаго.

ских мѣстахъ ея произведеній, читая которыя вы едва удерживаетесь отъ слезъ. Къ числу достоинствъ М. В. Крестовской относится также и отсутствіе чопорной искусственно-мертвой послѣдовательности въ расположеніи частей романа, что придаетъ ея произведеніямъ большую живость. Такъ, она знакомитъ васъ съ обстоятельствами жизни и прошлаго своихъ героевъ при удобномъ случаѣ, когда ей вздумается, не дѣлая изъ этого особенныхъ главъ.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

I — Александръ Николаевичъ Островскій, какъ создатель русской сцены. Дѣтство и юность его. II — Начало литературной дѣятельности и первый періодъ ея до эпохи реформъ. III — Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни; недостатокъ матеріальныхъ средствъ и несправедливости. Улучшеніе его положенія въ послѣдніе годы жизни. IV — Общая характеристика пьесъ Островскаго: ихъ образцовая реальность, классическая простота и жизнерадостность. V — Разносторонность точекъ зрѣнія Островскаго на жизнь и сложность изображаемыхъ явленій. Отсутствіе односторонняго увлеченія какой-либо доктриной и слабость славянофильскаго вліянія въ пятидесятые годы. VI — Глубокое проникновеніе демократическимъ духомъ времени и отраженіе этого духа въ пьесахъ перваго періода: *Не въ свои сани не садись*, *Бѣдность не порокъ*. Драма *Не такъ живи, какъ хочешь*, какъ апогей славянофильскихъ вліяній.

I.

То обновленіе, которое мы видимъ во всѣхъ отрасляхъ нашей литературы, не могло не отразиться и на судьбахъ русской сцены, и мы видимъ, что здѣсь оно выразилось еще ярче чѣмъ гдѣ-бы то ни было, такъ какъ пятидесятые и шестидесятые годы ознаменовались въ исторіи нашего театра великимъ событіемъ созданія русской самобытной сцены.

Русская комедія существовала со временъ Сумарокова, и до сихъ поръ рядомъ съ Островскимъ постоянно ставятся, какъ великіе создатели русской комедіи, такія имена, какъ Фонъ-Визинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь. Но какъ ни высоки сценическія творенія этихъ писателей, какія крупныя дани ни задала имъ русскому театру, они все-таки не могутъ быть названы вполнѣ правильно создателями его, потому что пьесы ихъ являются какими-то оазисами, раздѣленными значительными промежутками времени и несоздавшими никакихъ прочныхъ школъ. Что касается до Фонъ-Визина, то онъ подарилъ русскому театру всего три комедіи, въ которыхъ хотя и прорывается не мало самобытнаго и оригинальнаго, но все-таки комедіи эти являются скроенными по образцамъ французской сцены, и вліяніе Мольера сильно сказывается въ нихъ на каждомъ шагу.

Горе отъ ума славится въ русской литературѣ скорѣе какъ гениальная общественная сатира, чѣмъ какъ образцовая комедія, и по своему типу она въ свою очередь носитъ характеръ французской сцены.

Что касается комедій Гоголя, то при всей ихъ гениальности, они не оставили послѣ себя ни одного послѣдователя и остались безъ подражателей. Въ тридцатые и сороковые годы обыденный репертуаръ русскаго театра составлялся изъ пьесъ, не имѣющихъ ничего общаго ни съ *Горемъ отъ ума*, ни съ *Ревизоромъ* или *Женитьбою*; послѣднія давались лишь изрѣдка и имѣли столь-же мало общаго съ большинствомъ пьесъ, ежедневно ставившихся на сценѣ, какъ мало общаго между душистымъ ананасомъ и селедкой, подающимся за однимъ и тѣмъ-же обѣдомъ. Щеголяя этими классическими пьесами, сцена пробавлялась ежедневно или переводами раздражительныхъ французскихъ мелодрамъ съ картонными злодѣями, убійствами, слезами и рыданіями, или-же патриотическими трагедіями съ оглушительными рычаніями трехъ-аршинныхъ трагиковъ, вроде Каратыгина I. Вполнѣ понятною становится та скорбь, которою былъ преисполненъ Гоголь при постановкѣ своего *Ревизора*, не найдя на сценѣ Александринскаго театра почти ни одного актера, который вполнѣ удовлетворительно сыгралъ-бы роль Хлестакова. Изъ этого вовсе не слѣдовало, чтобы на этой сценѣ не было ни одного талантливаго артиста. Но всѣ эти артисты были воспитаны совсѣмъ въ иномъ духѣ, для иныхъ пьесъ.

Нужно было, чтобы появился спеціальныи талантъ, который впродолженіи сорока лѣтъ успѣлъ-бы поставить до пятидесяти пьесъ, т. е. болѣе, чѣмъ по одной пьесѣ въ годъ, для того чтобы, наполнивъ сцену своими произведеніями, произвести въ ней крайній переворотъ, совершенно преобразовать вкусы публики и создать новыхъ актеровъ, не имѣющихъ ничего общаго съ прежними.

И это совершилъ Александръ Николаевичъ Островскій.

А. Н. Островскій родился въ 1823 году въ Москвѣ. Отецъ его былъ одинъ изъ тѣхъ бѣдныхъ подъячихъ, занимающихся ходатайствами по дѣламъ замоскворѣцкаго кулечества, типы которыхъ такъ часто встрѣчаются въ комедіяхъ Островскаго. Такимъ образомъ въ дѣтствѣ уже пришлось Островскому не только наблюдать, но и на своихъ близкихъ испытывать всю тяготу нравовъ Замоскворѣчья. Но не одно Замоскворѣчье давало пищу чуткой наблюдательности ребенка и затѣмъ юноши. Нужно замѣтить, что несмотря на то, что Островскій былъ исключительно городской писатель, всю жизнь съ небольшими лишь перерывами прожившій въ Москвѣ, онъ былъ именно какъ москвичъ поставленъ въ весьма выгодныя условія для наблюденій русской жизни въ самыхъ разнообразныхъ ея слояхъ и историческихъ пластахъ. Москва тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ была по-истинѣ фокусомъ Россіи, вмѣщавшимъ въ своихъ стѣнахъ всѣ ея историческія и современныя особенности. Здѣсь сосредоточивалось въ эту эпоху высшее умственное движеніе интеллигентнаго общества, издавались лучшіе журналы: *Московский Телеграфъ*—Полевого, *Телескопъ*—Надеждина, позже *Московский Наблюдатель*, *Молва*. Здѣсь развивались кружки шеллигистовъ,—Станкевича, Герцена, шли оживленные споры о судьбахъ Европы и Россіи на основаніи послѣднихъ словъ европейской философіи и науки. Тутъ-же, рядомъ съ этими интеллигентными верхами, жили въ своихъ дворцахъ бары во всей деревенской и степной простотѣ, окруженные многочисленными дворянами крѣпостныхъ и своими собаками, и беззащитно производили жестокія расправы на конюшняхъ почти всенародно. Далѣе рядомъ съ чиновниками-бюрократами петербургскаго снуда, ще-

голями и карьеристами, здѣсь гнѣздились чиновничьи типы и нрава московскихъ подьячихъ допетровской старины. Еще ниже, въ купеческихъ семьяхъ, тронутыхъ цивилизаціей, можно было наблюдать тотъ самый первоначальный процессъ вѣшняго объевропейванья, какой въ дворянскихъ слояхъ совершался при Петрѣ. Наконецъ на самомъ низу сохранялся въ полной неприкосновенности тотъ самый домо-строевскій порядокъ, какой имѣлъ мѣсто въ самые отдаленные вѣка допетровской Руси. Такимъ образомъ, проживая въ Москвѣ, Островскій видѣлъ Русь во всемъ ея историческомъ и современномъ разнообразіи.

Въ началѣ тридцатыхъ годовъ Островскій былъ отданъ въ 1-ю московскую гимназію, и изъ воспоминаній *Θ. А. Бурдина* (*В. Евр.* 1886, № 12) мы видимъ, что въ 1840 году, когда Островскій былъ семнадцати лѣтъ, на выпускѣ, онъ успѣлъ уже пристраститься къ театру. И это очень понятно, если взять во вниманіе то высокое мѣсто, какое занималъ въ то время московскій театръ. Это была лучшая сцена въ Россіи со всею своею труппою, среди которой славились такіе крупныя таланты какъ Мочаловъ и Щепкинъ. Вся московская молодежь тогда бредила театромъ, дѣлилась на партіи, спорила и шумѣла изъ-за тѣхъ или другихъ сценическихъ любимцевъ и любимицъ. Вспомните восторженный дионирамбъ театру, пропѣтый Бѣлинскимъ въ первой своей статьѣ, равно и прочія статьи его о московскихъ и петербургскихъ знаменитостяхъ.

Слѣдуя примѣру сверстниковъ, Островскій въ старшихъ классахъ гимназій любилъ театръ и часто посѣщалъ его, и товарищи, по словамъ *Θ. А. Бурдина*, съ великимъ удовольствіемъ и интересомъ слушали его мастерскіе рассказы объ игрѣ Мочалова, Щепкина, Львовой-Синецкой и пр. Интересно было-бы знать, читалъ-ли Островскій въ то время статьи о театрѣ Бѣлинскаго. Во всякомъ случаѣ, если не въ то время, то позднѣе навѣрное запечатлѣлись въ памяти его мысли Бѣлинскаго объ отношеніи актера къ автору, заключающіяся въ томъ, что сценическое искусство онъ почитаетъ творчествомъ, а актера самобытнымъ творцомъ, а не рабомъ автора, что актеръ дополняетъ свою игрою идею автора, и въ этомъ дополненіи состоитъ его творчество, и что особенно въ комедіи актеръ иногда можетъ придать персонажу такія черты, о которыхъ авторъ и не думалъ, пересоздать роль, вдохнуть живую душу даже въ совершенно мертвыя и плохія созданія.

Что подобныя идеи руководили Островскаго въ его творчествѣ, мы можемъ судить потому, что начиная съ первой пьесы его и до послѣдней, онъ постоянно избѣгалъ вырисовывать характеры и лица настолько, чтобы они были отчеканены до послѣдней черточки и актеру оставалось-бы быть лишь слѣпымъ исполнителемъ; напротивъ того, онъ оставлялъ на долю актера значительную степень довершенія роли и предоставлялъ полную свободу проявленію сценическаго творчества и выраженію индивидуальности. Въ этомъ отношеніи комедіи Островскаго представляютъ незамѣнимую школу и пробу для каждаго истиннаго сценическаго дарованія.

II.

Кончивши гимназическій курсъ въ началѣ сороковыхъ годовъ, Островскій посту-

пидъ въ московскій университетъ на юридическій факультетъ, но курса не кончилъ по какимъ-то неприятностямъ, которыя у него вышли съ однимъ профессоромъ. По выходѣ изъ университета въ 1843 году Островскій поступилъ на службу въ коммерческой судъ и здѣсь имѣлъ возможность еще болѣе расширить кругъ своихъ наблюдений надъ жизнью замоскворѣцкихъ купцовъ. И вотъ черезъ четыре года мы видимъ уже первый дебютъ его на литературномъ поприщѣ: въ 1847 г., когда ему было около 25 лѣтъ, появилось первое произведеніе его *Картины семейнаго счастья въ Московскомъ Листкѣ*, издававшемся В. Н. Драшусовымъ. Эта картинка изъ купеческой жизни сразу обратила на себя вниманіе всей Москвы; о ней заговорили во всѣхъ литературныхъ кружкахъ, и на автора ея обратили вниманіе. Вскорѣ затѣмъ въ томъ-же *Листкѣ* было напечатано нѣсколько сценъ изъ комедіи *Свои люди сочтемся*, и это еще болѣе упрочило славу молодого драматурга. Онъ тогда-же оставилъ службу и весь предался литературѣ, сблизившись съ редакціей *Москвитянина* и найдя тамъ постоянныя занятія въ видѣ корректуры, составленія мелкихъ статейкъ и переписки. Каждый день приходилось ему тогда ходить пѣшкомъ отъ Николая Воробина, у Яузскаго моста, на Дѣвичье поле, — пространство около шести верстъ, причемъ зарабатывалъ онъ не болѣе 15 р. въ мѣсяцъ, на которые и кормился, пользуясь отъ отца одною квартирой. „Это было тяжелое время, — вспоминалъ впоследствии Островскій, — но въ молодости нужда легко переносится“.

Въ *Москвитянинѣ* въ 1847 г. была напечатана въ цѣломъ видѣ комедія его, носившая, какъ извѣстно, первоначально заглавіе *Банкротъ*, и лишь по цензурнымъ соображеніямъ переименованная въ *Свои люди — сочтемся*. Когда Островскій прочелъ у Погодина эту піесу, Шевыревъ, обратясь къ слушателямъ, сказалъ: „Поздравляю васъ, господа, съ новымъ драматическимъ свѣтиломъ въ русской литературѣ“. — „Я не помню, какъ я пришелъ домой, — говорилъ Островскій, — я былъ въ какомъ-то туманѣ и, не ложась спать, проходилъ всю ночь по комнатамъ, — такими сказочными словами мнѣ показался отзывъ Шевырева.“

Тѣмъ не менѣе новое драматическое свѣтило получило такую малость отъ Погодина за свою піесу, что потомъ Островскій стыдился и говорить о томъ, какъ ничтоженъ былъ гонораръ.

Піеса надѣлала много шума въ Москвѣ. Садовскій почти ежедневно читалъ ее въ обществѣ, и всѣ наперерывъ стремились послушать ее въ чтеніи знаменитаго артиста. По словамъ Садовскаго, извѣстный генералъ А. П. Ермоловъ, выслушавъ піесу, сказалъ: „она не написана, она сама родилась!“

Но московскіе купцы сильно оскорбились піесой, пожаловались Закревскому, который призналъ ее вредной и оскорбительной для цѣлага сословія, донесъ куда слѣдуетъ, и автора взяли подъ надзоръ полиціи, а о комедіи запретили говорить въ журналахъ.

Эта опала произвела повидимому на Островскаго весьма угнетающее впечатлѣніе. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что съ 1847 г. по 1859 г. онъ произвелъ всего на всего одну небольшую піеску *Утро молодою человека*, а лишь въ 1852 г. появилась его *Видная невѣста*, а въ 1853 г. — *Не въ свои сани не садись*.

Комедія *Не въ свои сани не садись* была первою піесой Островскаго, поставлен-

ною на сцену въ Москвѣ, въ бенефисъ Косицкой, а такъ какъ бенефисныя пьесы по авторскому положенію того времени поступали въ полную собственность дирекціи, то Островскій ни гроша не получилъ за свою пьесу, несмотря на то, что она имѣла громадный успѣхъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ, выдержавши сотни представленій. Не обошлась къ тому-же и эта пьеса безъ цензурныхъ гоненій. Когда она была поставлена въ Петербургѣ, въ администраціи возбужденъ былъ вопросъ, не слѣдуетъ-ли снять ее со сцены, такъ какъ въ ней опозоривается дворянство насчетъ купечества, и театральное чиновничество сильно перетрусило, когда на первое представленіе явился самъ Императоръ со Своими Семействомъ. Но Императоръ Николай Павловичъ спасъ пьесу; она такъ ему понравилась, что онъ выразился о ней: „Очень мало пьесъ, которыя доставили-бы мнѣ такое удовольствіе, — *ce n'est pas une piéce, c'est une leçon*“.

Вслѣдъ за тѣмъ была поставлена комедія *Бѣдная невѣста*, за которую авторъ впервые получилъ отъ дирекціи единовременную плату въ 700 р.

Наконецъ въ 1854 г. появилась на сценѣ *Бѣдность не порокъ* и окончательно утвердила за Островскимъ славу первостепеннаго писателя: это была первая пьеса, за которую онъ получилъ перспективную плату въ размѣрѣ двадцатой части отъ ²/₃ сбора.

Пьесой *Не такъ живи, какъ хочется*, написанной тоже въ 1854 году, завершается первый, дореформенный періодъ дѣятельности Островскаго. Періодъ этотъ распадается на двѣ серіи: въ двухъ первыхъ своихъ пьесахъ: *Семейной картинѣ* и *Банкротъ* Островскій является еще послѣдователемъ чисто натуральной гоголевской школы, и всѣ образы его носятъ исключительно отрицательный характеръ, безъ малѣйшаго просвѣта. Совсѣмъ не то мы видимъ въ послѣдующихъ пьесахъ его, особенно въ комедіяхъ *Не въ свои сани не садись*, *Бѣдность не порокъ*, *Не такъ живи, какъ хочется*. Здѣсь видно до извѣстной степени подчиненіе вліянію московскаго славянофильства въ томъ отношеніи, что во всѣхъ этихъ пьесахъ вѣрность исконнымъ началамъ русской жизни торжествуетъ надъ различными отклоненіями отъ нея и выставляется, какъ нѣчто положительное, желанное, иногда даже и въ поэтическомъ ореолѣ. Очевидно, что близость къ редакціи *Москвитянина* и то славянофильское движеніе, которое особенно сильно было въ Москвѣ въ пятидесятые годы, не остались безъ своего воздѣйствія на творчество Островскаго, и не даромъ критики того времени по отношенію къ Островскому раздѣлились на два враждебные лагеря, и въ то время, какъ московскіе критики, съ Ап. Григорьевымъ во главѣ, восхваляли Островскаго не только прозою, но и стихами за новое слово, которое онъ произнесъ въ русской литературѣ въ видѣ созданія чисто народнаго театра и вѣрности исконнымъ народнымъ началамъ, петербургскіе критики, считавшіе себя западниками, отвергали всякое значеніе его пьесъ, несмотря на тотъ громадный успѣхъ, который онѣ имѣли.

Замѣчательно, что и московская сцена была гораздо болѣе расположена къ Островскому, чѣмъ петербургская. Несмотря на то, что начальникъ репертуарной части въ Москвѣ, А. Н. Верстовскій, ворчалъ, что русская сцена „провоняла отъ полшубковъ Островскаго“, пьесы его не сходили со сцены и исполнялись съ тѣмъ высокимъ совершенствомъ и блестящимъ ансамблемъ, какимъ въ то время славился московскій театръ. Между тѣмъ въ Петербургѣ процвѣталъ въ то время Кукольникъ, мело-

драма и водеvilный репертуаръ; ставилась такая дребедень, какъ *Дѣтскій докторъ*, *Донъ-Сезарь-де-Базанъ*; артисты, за исключеніемъ Мартынова и нѣсколькихъ человѣкъ молодежи, относились къ Островскому холодно, и начальство неохотно ставило его пьесы, несмотря на большіе сборы, какіе онѣ давали.

III.

Съ наступленіемъ эпохи реформъ, послѣ крымской кампаніи, мы видимъ новую струю въ творчествѣ Островскаго. Наступившее движеніе не замедлило оказать свое вліяніе на него, и вотъ въ драмѣ *Въ чужомъ пиру похмѣлье*, относящейся къ 1856 году, является совершенно уже другая постановка, чѣмъ во всѣхъ предъидущихъ; отрицательныя явленія жизни являются здѣсь въ видѣ самодурства (въ этой драмѣ впервые употреблено слово самодуръ), обусловливаемого неограниченною властью капитала, и этимъ отрицательнымъ явленіемъ противопоставляется уже не чистота русской самобытности, а интеллигентный человѣкъ съ его неподкупною честностью и непоколебимымъ сознаніемъ своего человѣческаго достоинства. Далѣе слѣдуютъ такія драмы, какъ *Доходное мѣсто* (1856 г.), *Воспитанница* (1859 г.), очевидно прямо навѣяныя тѣмъ броженіемъ, которое предшествовало крестьянской реформѣ. До какой степени сильное впечатлѣніе производили эти драмы въ чисто политическомъ отношеніи, можно судить по тому, что, несмотря на всю мягкость цензуры того времени, обѣ онѣ показались администраціи крайне опасными. *Доходное мѣсто* было запрещено наканунѣ перваго представленія и лишь впоследствии вновь дозволено, *Воспитанница* въ свою очередь не была одобрена къ представленію, и когда Бурдинъ, хлопоча о ея дозволеніи, спросилъ у шефа жандармовъ Потапова, въ чемъ же вредное направленіе ея, Потаповъ отвѣчалъ:

— Въ насмѣшкѣ и издѣвательствѣ надъ дворянствомъ. Дворяне дѣйствуютъ патристически, приносятъ огромныя жертвы, освобождаютъ крестьянъ, и за это-же погнѣшаются надъ ними.

Вослѣдствіи эта пьеса была дозволена лишь благодаря счастливому случаю. Временно былъ назначенъ исправляющимъ должность шефа жандармовъ генераль Анненковъ, братъ П. В. Анненкова. Послѣдній, какъ другъ Тургенева, началъ хлопотать у брата о разрѣшеніи бывшей подъ запрещеніемъ пьесы Тургенева *Нахлѣбникъ*.

— Съ удовольствіемъ,—отвѣчалъ генераль Анненковъ, и не только эту, а всѣ тѣ, которыя ты признаешь нужными; только присылай поскорѣе, потому что я на этомъ мѣстѣ останусь не долго.

Въ 1859 году Островскій впервые нашелъ въ русской критикѣ достойную его произведеній обстоятельную оцѣнку въ извѣстныхъ статьяхъ Добролюбова *Темное царство*, и, надо полагать, что какъ вообще возбудившему творческія силы духу времени, такъ между прочимъ и статьямъ Добролюбова былъ обязанъ Островскій такою необычайною плодovitостью, какую онъ обнаружилъ въ 1860 году, который вполнѣ можетъ быть названъ зенитомъ его литературной дѣятельности. Къ этому году относятся три пьесы его: *Старый другъ лучше новыхъ двухъ*, *Тяжелые дни* и главное дѣло—*Гроза*, это chef d'oeuvre творчества Островскаго, пьеса, которая одна могла-бы доставить неувядаемую славу драматургу.

Такая плодовитость обуславливается между прочимъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что незадолго до того Островскій обзавелся семьею, пошли дѣти, и нужды стали возрастать въ грозной пропорціи. Онъ работалъ безъ устали: по цѣлымъ днямъ не разгибая спины. Расходы были такъ велики, что, едва кончивъ одну пьесу, онъ уже принимался за другую. Въ то-же время отношенія дирекціи къ нему становились все холоднѣе; явилось какое-то недоброжелательство, которое, по словамъ *Θ. А. Вурдина*, происходило вслѣдствіе отчужденности Островскаго отъ театральнаго начальства и нежеланія угождать. Пьесы его, дававшія полные сборы, снимались съ репертуара и замѣнялись переводными мелодрамами, на постановку которыхъ тратили большія деньги, а на постановку пьесы Островскаго не давали ничего.

Находясь въ подобныхъ условіяхъ, работая черезъ силу, оскорбленный нравственно, Островскій тогда уже утратилъ свое здоровье: и безъ того слабый организмъ его не вынесъ непосильной борьбы, и нервная система его была потрясена до основанія; началось сердцебіеніе, безотчетная пугливость, постоянное тревожное состояніе, отсутствіе сна и аппетита, а вслѣдствіе этого безсиліе работать. Конечно въ связи со всѣмъ этимъ пьесы Островскаго шестидесятыхъ годовъ, начиная съ *Грозы*, носятъ преимущественно мрачный, трагическій характеръ; таковы: *Грѣхъ да беда на кого не живетъ*, *Шутники*, *Пучина*, *На бойкомъ мѣстѣ*, *На всякаго мудреца довольно простоты*.

Волѣзненность Островскаго дошла до того, что онъ рѣшился отказаться отъ театра. Вотъ что писалъ онъ Вурдину 27 сент. 1866 г.:

«Объявляю тебѣ по секрету, что я совсѣмъ оставилъ театральное поприще. Причины вотъ какіе: выгодъ отъ театра я почти не имѣю, хотя всѣ театры въ Россіи живутъ моимъ репертуаромъ. Начальство театральное ко мнѣ не благоволитъ, а мнѣ ужъ пора видѣть не только благоволеніе, но и нѣкоторое уваженіе; безъ хлопотъ и поклонновъ съ моей стороны ничего для меня не дѣлается, а ты самъ знаешь, способенъ-ли я къ низкопоклонству; при моемъ положеніи въ литературѣ играть роль вѣчно кланяющагося просителя тяжело и унижительно. Я замѣтно старѣю и постоянно нездоровъ, а потому ѣздить въ Петербургъ, ходить по высокимъ лѣстницамъ мнѣ ужъ нельзя. Повѣрь, что я буду имѣть гораздо больше уваженія, которое я заслужилъ и котораго стою, если развжусь съ театромъ».

«Давши театру 25 оригинальныхъ пьесъ, я не добился, чтобы меня хоть мало отличили отъ какого-нибудь плохого переводчика. По крайней мѣрѣ, я приобрѣту себѣ спокойствіе и независимость, вмѣсто хлопотъ и униженія. Современныхъ пьесъ больше писать не стану; я уже давно занимаюсь русской исторіей и хочу посвятить себя исключительно ей; буду писать хроники, но не для театра. На вопросъ: отчего я не ставлю своихъ пьесъ, я буду отвѣчать, что онѣ неудобны. Я беру форму *Бориса Годунова*,—такимъ образомъ постепенно и незамѣтно я отстану отъ театра».

И дѣйствительно, къ этому самому времени относится наибольшее увлеченіе Островскаго исторіей, выразившееся въ цѣломъ рядѣ историческихъ хроникъ: *Козьма Захарычъ Мининъ-Суворукъ* (1862 г.), *Воевода* (1865 г.), *Дмитрій Самозванецъ* и *Василій Шуйскій* (1867 г.), *Тушино* (1867 г.), *Василиса Мелентьева* (1868 г.).

Къ концу шестидесятыхъ годовъ появился у Островскаго новый опасный конкурентъ въ видѣ оперетокъ, которыя зацолонили наши сцены. Пьесы Островскаго стали

даваться еще рѣже; матеріальное положеніе его еще болѣе ухудшилось. „Изъ его письма, — говоритъ Бурдинъ, — я видѣлъ, что настроеніе его духа стало еще мрачнѣе; тревога за семью и непосильный трудъ все болѣе и болѣе разстраивали его здоровье. Это было самое тяжелое время его жизни — время нужды и неоплатныхъ долговъ“.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ вступилъ Островскій въ семидесятые годы XIX столѣтія. Здѣсь ко всѣмъ невгодамъ присоединился ропотъ критиковъ на то, что онъ исписался, повторяется, что новыя комедіи его далеко не имѣютъ прежней силы. Но если въ этомъ и была доля правды, и Островскому не суждено уже было написать ни одной столь сильной пьесы какъ *Свои люди* или *Гроза*, то все-таки сѣтованія рецензентовъ объ исписаніи были преувеличены. Напротивъ того, до конца дней Островскій чутко присматривался ко всему, что его окружало, и представилъ рядъ ужасающихъ картинъ того растлѣнія нравовъ, которое обусловливалось помѣщичьимъ разореніемъ и жаждою легкой наживы. Картины эти безспорно имѣютъ свое значеніе. Они составляютъ преобладающую струю въ послѣднемъ періодѣ дѣятельности Островскаго.

Подъ конецъ жизни матеріальное положеніе Островскаго значительно улучшилось съ того времени, какъ было утверждено общество русскихъ драматическихъ писателей, и Островскій былъ избранъ предсѣдателемъ его. Не было театра въ Россіи, гдѣ не давались-бы его пьесы, и, получая за нихъ хотя и небольшую плату, онъ все-таки съ частныхъ театровъ имѣлъ больше, чѣмъ съ казенныхъ.

Въ самое послѣднее время была образована коммисія для пересмотра старыхъ театральныхъ постановленій. Приглашенный въ эту коммисію, съ юношескимъ жаромъ принялся Островскій за работу для пользы страстно любимаго дѣла, цѣлые дни проводилъ за составленіемъ записокъ, историческихъ докладовъ, пресектовъ, но самую заветную мечтою его было устройство школы для драматическаго искусства. „Если я доживу до тѣхъ поръ, — говорилъ онъ, — то исполнится мечта всей моей жизни, и я спокойно скажу: нынѣ отпускаешь раба твоего съ миромъ“.

И мечты его повидимому осуществились въ послѣдній годъ его жизни: ему довѣренъ былъ московскій театръ и устройство театральной школы на предполагаемыхъ имъ основаніяхъ. Онъ сдѣлался наконецъ хозяиномъ русскаго театра, любимое дѣло было въ его собственныхъ рукахъ; ничто не мѣшало ему поставить его на надлежащую высоту: онъ устроитъ разсадникъ юныхъ талантовъ, очиститъ русскую сцену отъ плевелъ и подниметъ вкусъ публики!.. Сколько свѣтлыхъ надеждъ, какое ликованье между артистами. Поставленные имъ пьесы: *Воевода* и *Марія Стюартъ* — возбудили восторгъ въ публикѣ, и на эти спектакли съ трудомъ доставали билеты. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали обновленія русской сцены.

Но дни Островскаго были уже сочтены. Переходъ отъ тихой кабинетной дѣятельности къ кичучей, гдѣ онъ ни минуты не имѣлъ отдыха и покоя, былъ не подъ силу изнеможенному организму. По словамъ пользовавшаго его доктора, А. А. Остроумова, онъ не успѣвалъ остывать и приходитъ въ нормальное положеніе, и это — при болѣзняхъ сердца, удушья, ревматизмѣ.

„Посѣщая его почти каждый день, говорилъ О. А. Бурдинъ, — я видѣлъ, въ какомъ состояніи онъ возвращался со службы. Усталый, измученный, съ потухшимъ взглядомъ, онъ опускался въ кресло и впродолженіи нѣкотораго времени не могъ вы-

молвить слова“. „Дай мнѣ опомниться, прийти въ себя,—начиналъ онъ,—я сегодня чуть не умеръ; мнѣ не хватало воздуха, нечѣмъ было дышать... ревматизмъ не позволялъ отъ боли пошевелить руками... народу, съ которымъ надо было объясниться, пропасть... потомъ доклады, я сегодня подписалъ шестьдесятъ бумагъ, — и вотъ видишь, въ какомъ состояніи воротился домой...“

„Едва отдохнувъ, — продолжаетъ Бурдинъ, — онъ отправлялся въ театры, бѣльшей частью посѣщая тотъ и другой; волновался тамъ, видя какія-нибудь неисправности, и дома засыпалъ безпокойнымъ, тревожнымъ сномъ. Такова была его жизнь въ послѣднее время. Съ грустью каждый день я убѣждался, что онъ не только не работникъ, но и не жилецъ на бѣломъ свѣтѣ. Къ довершенію несчастія передъ самымъ отъѣздомъ въ деревню онъ простудился, ревматическія боли усилились въ крайней степени; по цѣлымъ часамъ онъ не могъ пошевелиться, переносилъ ужасныя страданія. Докторъ объявилъ, что нѣтъ болѣе никакой надежды, и черезъ три дня по пріѣздѣ въ деревню, 2-го іюня 1886 г. его не стало.“

IV.

Какъ и всѣ писатели сороковыхъ годовъ, Островскій ведетъ свое начало отъ Гоголя, но, подобно имъ, прямое происхожденіе отъ Гоголя нисколько не помѣшало ему создать свою особенную школу, и съ первыхъ-же своихъ піесъ онъ становится на совершенно самостоятельную почву. Піесы его, если и имѣютъ что-либо общее съ гоголевскими комедіями, то развѣ только то, что содержаніе ихъ точно также берется изъ обыденной, сѣренькой русской жизни, изъ среды мелкаго люда. Но далѣе между ними ничего нѣтъ общаго. Піесы Гоголя представляются комедіями въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ и героемъ является въ нихъ смѣхъ автора, отъ начала до конца одинъ чистый смѣхъ, даже безъ тѣхъ незримыхъ слезъ, присутствіе которыхъ чувствуется во всѣхъ прочихъ произведеніяхъ Гоголя. Сюжеты гоголевскихъ комедій имѣютъ вполнѣ анекдотическій характеръ; вся цѣль ихъ — въ достаточной мѣрѣ осмѣять дѣйствующія лица, наиболѣе рельефно выставить всѣ пошлыя стороны ихъ характера, а развѣ эта цѣль достигается, герои сходятъ со сцены безъ малѣйшихъ измѣненій въ ихъ судьбѣ.

Совершенно не то мы видимъ у Островскаго. Въ большинствѣ его піесъ развиваются передъ вами тѣ или другія существенныя измѣненія въ судьбѣ героевъ, причеиъ авторъ не только не смѣется надъ ними, а совсѣмъ отсутствуетъ въ своихъ піесахъ и дѣйствующія лица говорятъ и дѣйствуютъ словно помимо его воли, какъ-бы они говорили и дѣйствовали въ самой жизни.

Про Островскаго говорятъ, что онъ создалъ русскій театръ; но онъ сдѣлалъ неизмѣримо большее: онъ произвелъ всемірное явленіе, доведя реальную сцену до идеальнаго совершенства, показавши намъ, чѣмъ должна она быть, чтобы вполнѣ заслуживать названія реальной. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что тутъ нѣтъ особенной заслуги со стороны Островскаго. Развѣ всѣ искусства встали на реальную почву и на всѣхъ европейскихъ сценахъ преобладаютъ піесы, изображающія обыденную современную жизнь, — что же мудренаго, что Островскій пошелъ по общему теченію? Но

дѣло въ томъ, что возьмите самыя реальнѣйшія піесы, какія только существуютъ въ Европѣ, и вы увидите, какъ и въ нихъ, при всемъ ихъ реализмѣ, сильны еще старыя традиціи. Дѣйствующія лица, ихъ реплики, дѣйствія взяты непосредственно изъ жизни; но въ цѣломъ вы найдете болѣе или менѣе хитросилетенныя интриги, построенныя совершенно искусственно, въ видахъ проводимыхъ тенденцій, сценическихъ эффектовъ, занимательности и т. п. Ничего подобнаго не найдете вы у Островскаго. Сюжеты большинства его піесъ отличаются простотою поистинѣ классическою. Иногда вамъ кажется, что въ иной піесѣ совсѣмъ нѣтъ никакого дѣйствія. Сцена идетъ за сценою, все такія обыденныя, будничныя, сѣренькія, и вдругъ совершенно незамѣтно развертывается передъ вами потрясающая драма. Можно положительно сказать, что передъ вами не дѣйствіе піесы разыгрывается, а сама жизнь течетъ по сценѣ своею медленною, незамѣтною струею. Точно какъ будто авторъ только всего и сдѣлалъ, что сломалъ стѣну передъ чужою квартирою и предоставилъ вамъ смотрѣть, что въ этой квартирѣ дѣлается.

При этомъ стремленіи къ изображенію жизни во всей ея неподкрашенной, трезвой правдѣ доходить у Островскаго до такого пуризма, что онъ скромно избѣгаетъ эффекта даже тамъ, гдѣ эффектъ самъ напрашивается подъ перо автора. Забудьте, что въ большинствѣ піесъ Островскаго завѣсь надетъ не въ самый роковой и потрясающій моментъ піесы, какъ это обыкновенно дѣлаютъ драматурги, а немного спустя, во время самой обыденной сцены, чуть-что ни на полусловѣ какого-нибудь второстепеннаго дѣйствующаго лица. Чтò стоило-бы наприѣмъ Островскому закончить комедію *Свои люди* прощаніемъ Вольшова съ дѣтьми и словами: „не забудь насъ, бѣдныхъ заключенныхъ“, послѣ которыхъ онъ уходитъ съ Аграфеною Кондратьевною. Слушатели въ этотъ моментъ всѣ охвачены драматичностью этой сильной сцены: нигдѣ черствость такихъ героевъ, какъ Подхалюзинъ и Олимпіада Самсоновна, и безпомощное отчаяніе стараго плута, который, вырвыши яму ближнимъ, самъ въ нее попалъ, не выступаютъ столь рельефно, какъ въ этой сценѣ, бросающей яркій свѣтъ на всю драму и являющейся ея послѣднимъ исходомъ. Но Островскій повелъ піесу далѣе и закончилъ ее комическою, правда, но ня мало не эффектною сценою Подхалюзина съ Ризположенскимъ и самымъ будничнымъ обращеніемъ Подхалюзина къ публикѣ: — „А вотъ мы магазинчикъ открываемъ: милости просимъ! Малаго ребенка пришлите— въ луковичѣ не обочтемъ“.

Или наприѣмъ въ *Бѣдной невестѣ*—отчего-бы піесѣ не кончиться потрясающимъ финаломъ четвертаго дѣйствія. Пятое дѣйствіе, заключающее въ себѣ картину сговора, ничего не прибавляетъ къ піесѣ; заканчивается-же драма незатѣйливымъ разговоромъ глязѣющихъ на свадьбу бабъ. И вездѣ вы найдете подобные-же блѣдныя, скромныя финалы. Піесы Островскаго словно не оканчиваются, а прерываются, и авторъ какъ будто сознательно старается внушить вамъ, что въ жизни нѣтъ ни начала, ни конца, и не найдете вы въ ней ни одного момента, послѣ котораго смѣло можно было-бы поставить точку, такъ какъ далѣе слѣдовала-бы полная пустота.

Вторая не менѣе существенная особенность піесъ Островскаго заключается въ томъ, что они не подходятъ ни подъ одну извѣстную намъ сценическую рубрику. Правда, по старымъ традиціямъ Островскій называлъ свои піесы то драмами, то комедіями, но

въ сущности эти названія ни мало не соотвѣтствуютъ характеру пьесъ Островскаго. Добролюбовъ очень мѣтко называлъ ихъ *пѣсами жизни*, и это названіе могло-бы по всей справедливости утвердиться за ними, если-бы не было нѣсколько тяжеловато. Еще правильнѣе можно было-бы назвать пьесы Островскаго вульгарнымъ словомъ *представленія*. Дѣйствительно онѣ ничего болѣе, какъ объективно-безпристрастныя представленія жизни безъ малѣйшаго побужденія что-либо осмѣять или оплакать, и въ свою очередь въ этомъ заключается ихъ идеальная реальность. Въ жизни вѣдь вы нигдѣ не найдете ни исключительно комическаго, ни исключительно трагическаго, не встрѣтите ни одного человѣка, который только и дѣлалъ-бы, что смѣшилъ васъ или заставлялъ ужасаться. Люди существуютъ изо дня въ день, опутанные разными мелочами и дразгами, причѣмъ высокое и низкое, великое и смѣшное перемѣшано бываетъ въ самомъ пестромъ хаосѣ. Пѣль истинно реальной сцены заключается не въ томъ, чтобы непроходимую стѣною отдѣлать различные контрасты жизни, какъ это дѣлала старинная сцена, а чтобы показывать намъ радужную игру жизни во всѣхъ прихотливыхъ комбинаціяхъ ея безконечно сложныхъ элементовъ. Это именно мы и видимъ въ пѣсахъ Островскаго.

Нѣтъ никакой возможности подвести эти пѣсы подъ одно какое-нибудь начало. вродѣ напримѣръ борьбы чувства съ долгомъ, коллизіи страстей, ведущихъ за собою фатальныя возмездія, антагонизма добра и зла, прогресса и невѣжества и пр. Это— пѣсы самыхъ разнообразныхъ жизненныхъ отношеній. Люди становятся въ нихъ, какъ и въ жизни, другъ къ другу въ различныхъ обязательныхъ условіяхъ, созданныхъ ихъ прошлымъ, или случайно сходятся на жизненномъ пути, а такъ какъ и характеры ихъ, и интересы антагонизируютъ, то между ними возникаютъ враждебныя столкновения, исходъ которыхъ случаенъ и непредвидимъ, завися отъ самыхъ разнообразныхъ обстоятельствъ: въ однихъ случаяхъ естественно побѣждаетъ наиболѣе сильная сторона иногда къ общему благополучію, иногда къ общему несчастію и гибели. Но развѣ мы не видимъ въ жизни, что въ подобныхъ случаяхъ вдругъ вторгается иногда какой-нибудь новый и посторонній элементъ и рѣшаетъ дѣло совершенно иначе. Ничтожная случайность, произведя самую ничтожную перемѣну въ расположеніи духа героевъ драмы, можетъ повести за собою совершенно неожиданныя послѣдствія.

И дѣйствительно въ пѣсахъ Островскаго, какъ и въ жизни, вы не предвидите, чѣмъ кончится дѣло, свадьбою или смертію. Такъ напримѣръ въ комедіи *Бѣдность не порокъ*, не явись Любимъ Торповъ, непрощенный, негаданный, не разсерди Коршунова и не растрогалъ сердца своего брата, и быть-бы Любови Гордѣевнѣ замужемъ за ненавистнымъ Коршуновымъ. Драма *Не въ свои саки* могла-бы и совсѣмъ не состояться, не подвернись Вихоревъ съ его исканьемъ богатой невѣсты, и вышла-бы Авдотья Михайловна спокойно за Бородинку, къ которому ранѣе уже была неравнодушна. Въ драмѣ *Воспитанница* автору ничего не стоило-бы устроить сцену утопленія Нади въ прудѣ, и зрители были-бы потрясены трагическимъ финаломъ, но и здѣсь онъ ограничился по своему обыкновенію прозаическимъ финаломъ слѣдующаго рода:

Надя (съ отчаяніемъ). Ни помощниковъ, ни заступниковъ мнѣ не надо! не надо! не хватить моего терпѣнія, такъ прудъ-то у насъ не далеко.

Леонидъ (робко). Ну, я, пожалуй, уѣду... только что она говоритъ! вы, пожалуйста, смотрите за ней. Прощайте (*идеть къ дверямъ*).

Надя (вслѣдъ ему громко). Прощайте! (*Леонидъ уходитъ*).

Лиза. Видно, правда пословица-то: кошкѣ—игрушки, а мышкѣ—слезки.

Такимъ образомъ авторъ является настолько добросовѣстнымъ передъ правдою, что простодушно отказывается рѣшить, какъ кончится драма, хватить или не хватить герцогиня у Нади. И дѣйствительно подобнаго рода драмы, развивавшіяся на почвѣ крѣпостного права, рѣшались разнообразно: дворовыя дѣвушки, обольщенные барчатами и выданныя насильно замужъ за пьянаго лакея, когда и въ воду бросались, когда и покорялись своей участи. Могло-бы случиться и такъ, что Уланбекова, потрясенная всѣмъ происшедшимъ, умерла-бы, а Надя могла-бы занять ея мѣсто полновластной хозяйки, сдѣлавшись фавориткою Володи.

При такомъ взглядѣ на случайность возникновенія и исхода драмы, казалось-бы не можетъ имѣть и мѣста идея фатума, тяготящаго надъ судьбою героевъ. Тѣмъ не менѣе въ пьесахъ Островскаго вы найдете своего рода фатумъ, еще въ большей степени дѣлающій героевъ неотвѣтственными, чѣмъ фатумъ древней трагедіи. Фатумъ этотъ заключается въ томъ, что разъ извѣстная среда и масса условій создали тотъ или другой характеръ или типъ, человѣкъ фатально дѣйствуетъ въ рамкахъ этого типа, не можетъ дѣйствовать иначе и сознаетъ себя въ полномъ правѣ въ этомъ отношеніи. Обратите вниманіе, что у Островскаго чувствуютъ угрызения совѣсти одни безхарактерные герои вроде Кисельникова въ *Пучинѣ*. Настоящіе-же трагическіе злодѣи вроде Безсуднаго, Уланбековой, Кабановой считаютъ себя правыми передъ судомъ своей совѣсти послѣ самыхъ ужасныхъ поступковъ. Кабанова оказывается способна даже глумиться надъ трупомъ Катерины, убитой ея безчеловѣчнымъ деспотизмомъ, говоря сыну: „о ней и плакать-то грѣхъ“.

Этотъ глубоко-философскій взглядъ на невѣжественность людей, чисто евангельское „не вѣдать-бо, что творять“, ведетъ Островскаго къ истинно олимпійскому высокому безпристрастію. Подобно Пимену Пушкина, Островскій „спокойно зреть на правыхъ и виновныхъ, не вѣдая ни жалости, ни гнѣва“. Въ этомъ сознаніи безотвѣтственности лицъ лежитъ глубоко-примиряющее начало, проникающее всѣ произведенія Островскаго. Не изъ одной пьесы, какъ-бы она мрачно ни кончилась, не выносите вы безусловно мрачнаго и безотраднаго чувства, вроде того, что правда всегда страдаетъ, а зло торжествуетъ, и что жизнь есть грязный агломератъ пошлостей и гадостей; напротивъ того, всѣ дѣла человѣческія, со всею ихъ суетою, страстями, пороками, пошлостями и мерзостями являются ничтожными частностями, сливающимися и ступневывающимися въ красотѣ и гармоніи Божьяго міра, взятаго въ его цѣломъ. Такъ на замѣчаніе Аюня, въ драмѣ *Грѣхъ да быда на кого не живетъ*, что ему все надоѣло и ничего не мило, слѣпой Архипъ отвѣчаетъ:

«Оттого тебѣ и не мило, что ты сердцемъ не покоенъ. А ты гляди чаще да больше на Божій міръ, а на людей-то меньше смотри; вотъ тебѣ на сердцѣ и легче станетъ. И noci будешь спать, и сны тебѣ хорошіе будутъ сниться... Красенъ, Аюня, красенъ Божій міръ! Вотъ теперь роса будетъ падать, отъ великаго цвѣта духъ пойдетъ; а тамъ звѣздочки зажгутся, а надъ звѣздочками, Аюня, нашъ Творецъ мило-серднѣй. Кабы мы получше помнили, что Онъ милосердъ, сами были-бы милосердиѣ».

Прямой выводъ изъ такой философіи—свѣтлая жизнерадостность, не-смотря на всѣ невзгоды, гадости и ужасы, какіе творятся въ жизни, и этою жизнерадостностью проникнуты всѣ піесы Островскаго. Замѣчательно при этомъ, что словно для большаго убѣдительности Островскій заставляетъ проповѣдывать свою жизнерадостность такихъ убогихъ людей, отъ которыхъ менѣе всего можно было-бы ожидать этого. Такъ мы видѣли, что о красотѣ Божьяго міра ратуетъ слѣпой Архипъ. Въ драмѣ-же *Трудовой слѣбѣ* нищій пропоница и неудачникъ Корнѣловъ послѣ того, какъ потерялъ единственную радость и утѣшеніе свое въ лицѣ Наташи, которая, выйдя замужъ, сдѣлалась уже чужая ему, и ничего ему болѣе не остается, какъ шататься изъ города въ городъ, прося подаванія, вдругъ разражается цѣлымъ гимномъ во славу жизни хотя-бы самой что ни на есть нищенской:

— Да развѣ жизнь-то мила только деньгами, развѣ только и радости, что въ деньгахъ? А птичка-то поетъ, чему она рада, деньгамъ, что-ли? Нѣтъ, тому она рада, что на свѣтѣ живеть. Сама жизнь-то есть радость, всякая жизнь и бѣдная, и горькая,—все радость. Озябъ, да согрѣлся,—вотъ и радости! Голоденъ, да накормили,—вотъ и радость. Вотъ я теперь бѣдную племянницу замужъ отдаю, на бѣдной свадьбѣ пировать буду, развѣ это не радость! Потомъ пойду по бѣлу свѣту бродить, отъ города до города, по курнымъ избамъ ночевать (*поетъ и плачетъ*):

Пойду-ли по городу гулять,
Пойду-ли по Бѣжецкому,
Куплю-ли я покупку себѣ...

Это міровоззрѣніе жизнерадостное, всепрощающее и примиряющее васъ со всѣми частными преходящими злами и напастями, во имя вѣры въ вѣковѣчную премудрость, ведущую міръ ко всеобщему благу, составляетъ глубоко народную черту произведеній Островскаго, и одно это ставитъ его на недосыгаемую высоту.

V.

Мы уже говорили, что у Островскаго въ различные періоды его жизни замѣтно подчиненіе тѣмъ или другимъ литературнымъ направленіямъ. Но это слѣдуетъ принимать крайне условно. Направленія и вѣянія времени, которымъ подчинялся Островскій, отражались въ піесахъ его лишь до нѣкоторой степени, и ни одному не отдавался онъ всецѣло, а шелъ своей самостоятельной дорогою, оставаясь непреклонно вѣренъ самому себѣ и повинуюсь лишь призывамъ своего творчества, подобно магнитной стрѣлкѣ, которая какъ-бы ни отклонялась вправо или влево, никогда не забываетъ своего завѣтнаго полюса.

Этимъ завѣтнымъ полюсомъ для Островскаго была жизнь, представляющая рядъ явленій крайне относительныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сложныхъ. Островскій всегда помнилъ, что явленія эти нельзя подводить подъ одну какую-нибудь мѣрку, что ничего не найдете вы въ жизни ни безусловно совершеннаго, ни безнадежно дурного, и то, что заслуживаетъ полнаго отрицанія подъ однимъ угломъ зрѣнія, можетъ представиться совсѣмъ инымъ, если мы взглянемъ на это-же самое съ другой точки зрѣнія и при иныхъ сопоставленіяхъ. Такъ напримѣръ та-же замоскворѣцкая жизнь съ точки зрѣнія просвѣщеннаго европеизма можетъ представиться силовнымъ агломератомъ

непреходимаго невѣжества, дикой грубости нравовъ, возмутительнаго самодурства, наглаго надувательства и отсутствія малѣйшихъ понятій о чести, совѣсти, чувствѣ чело-вѣческаго достоинства. Но при всемъ этомъ могутъ быть приняты во вниманіе и многія иныя стороны того-же быта; напримѣръ, что сквозь всю грубую, закорюзлую кору его пробиваются здѣсь часто живые, горячіе ключи славянскаго добродушія, мягкости и любвеобилія, что наконецъ, если поставить эту среду рядомъ съ помѣщичьей средою той-же эпохи, первая, пожалуй, выиграла бы и по чистотѣ нравовъ, и по цѣльности характеровъ, и по богатству жизненной энергій.

Вслѣдствіе стремленія Островскаго не упустить изъ вида тѣхъ разнородныхъ элементовъ, какіе входили въ изображаемыя имъ явленія жизни, и происходило то странное явленіе, что многія піесы его производили неопредѣленное впечатлѣніе, смущавшее рецензентовъ, не знавшихъ, къ какому лагерю отнести писателя. Славянофиламъ не правилось, что Островскій ко многимъ явленіямъ относится также отрицательно, какъ относилась къ нимъ вся натуральная школа; западники подозрѣвали въ тѣхъ-же самыхъ піесахъ славянофильскія тенденціи. На самомъ-же дѣлѣ въ нихъ была одна только правда жизни въ тѣхъ сложныхъ комбинаціяхъ, въ какихъ эта правда существуетъ въ самой дѣйствительности.

И замѣчательно, что, по мѣрѣ того какъ Островскій жилъ и развивался, въ слѣдующихъ одна за другою піесахъ его вы встрѣчаете все большія и большія осложненія. Ни одного новаго направленія и вѣянія не опускалъ онъ изъ виду, и, какъ пчела, изъ каждаго вновь расцвѣтающаго цвѣтка высасывалъ для себя одинъ медъ; бралъ изъ направленія лишь то, что было въ немъ наиболѣе жизненнаго, оставляя на долю другихъ пользоваться односторонностями и крайностями того или другого ученія.

Такъ въ первыхъ двухъ своихъ піесахъ *Семейная картина* и *Свои люди сочтемся* Островскій держался еще исключительно на почвѣ натуральной школы гоголевскихъ традицій. Отношеніе его къ изображеннымъ въ этихъ піесахъ московскимъ купеческимъ правамъ является волюнтарно отрицательнымъ; ни одного контраста, ни одного сопоставленія, оттѣнка, мало-мальски отрадной черточки, просвѣта, чего-либо примиряющаго вы не найдете еще здѣсь и слѣда. Нѣтъ ничего мудренаго, что піеса *Свои люди сочтемся* произвела самое безотрадное впечатлѣніе на современниковъ, что купечество было обижено, а начальство не допустило піесу на сцену.

Но послѣ 1847 года, когда появилась піеса *Свои люди* и до 1853 года—времени появленія *Не въ свои сани не садись*, утекло не мало воды, и въ эти годы Островскій успѣлъ проникнуться всеми новыми вѣяніями, какія лежали въ духѣ того времени, и явился совсѣмъ инымъ, чѣмъ былъ въ первыхъ піесахъ. Правда, среди этихъ вѣяній не послѣднюю роль играло славянофильство, которому молодой драматургъ не могъ не подчиниться, особенно при близкихъ сношеніяхъ его съ московскимъ славянофильскимъ кружкомъ, группировавшимся вокругъ *Москвитинина*, но вліяніе это сказалось лишь въ томъ, что въ комедіи *Не въ свои сани не садись* наибольшую симпатію возбуждаютъ люди, нетронутые западною цивилизаціею и остающіеся вѣрными старымъ, самобытнымъ укладамъ русской жизни; каковы: Русаковъ, Авдотья Максимовна, Бородинъ. Противъ нихъ стоятъ Вихоревъ, Броничевскій и Анна Федотовна, какъ представители западныхъ вліяній, и вносятъ въ семью Руса-

кова разладъ и растленіе. Русаковъ отзывается даже о своей дочери: „она будетъ любить всякаго мужа, надо найти ей такого, чтобы ее-то любить, да могъ-бы понять, что это за душа... *душа у ней русская*“. Конечно, эта „русская душа“ должна была приводить въ восторгъ всѣхъ славянофиловъ того времени.

Точно также и въ комедіи *Бѣдность не порокъ* вы можете видѣть подобное-же сопоставленіе людей, пребывающихъ самобытно русскими, каковы Пелагея Егоровна, Любовь Гордѣевна, Митя, Яша, Гуслинъ, а съ другой стороны Гордѣй Торцовъ съ его погоней за ви́шнюю образованностью и модами подъ влияніемъ обвѣропеевшагося фабриканта Коршунова. Славянофильскія сердца въ свою очередь должны радоваться, внимая въ первомъ дѣйствіи слѣдующему разговору Размоляева съ Гуслинымъ о заморскомъ инструментѣ, въ то время не успѣвшемъ еще войти въ обще-народное употребленіе:

Гуслинъ. Эко, дуракъ! На что это гармонію-то купилъ?

Размоляевъ. Извѣстно на что—играть. Вотъ какъ... (*играетъ*).

Гуслинъ. Ну, ужъ, важная музыка... нечего сказать! Брось, говорить тебѣ.

А еще въ большій восторгъ должны были славянофилы приходиться при зрѣлищѣ во второмъ дѣйствіи справленія святокъ съ гаданьями, ряжеными, пѣніемъ подблюдныхъ пѣсней и слѣдующимъ разговоромъ Пелагеи Федоровны со своими гостями:

Пелагея Егоровна. Я, матушка, люблю по-старому, по-старому, по-старому... да по нашему, по русскому. Вотъ мужъ у меня не любить, что дѣлать, характеромъ такой вышелъ. А я люблю, я веселая... да... чтобы подчивать, да чтобы мнѣ пѣсни пѣли... я въ родню свою: у насъ весь родъ веселый... пѣсельники.

1-ая гостья. Какъ, я посмотрю, матушка Пелагея Егоровна, нѣтъ того веселья, какъ прежде, какъ мы-то были молоды.

2-ая гостья. Нѣту, нѣту.

Пелагея Егоровна. Я молодая-то была первая затѣйница и попѣть и поплясать—ужь меня взять... да что пѣсней знала! Ужъ теперь такихъ не поють.

1-ая гостья. Нѣтъ, не поють, все новыя пошли.

2-ая гостья. Да, да, вспомняешь старину-то.

Но какъ ни радовались славянофилы, читая подобныя сочувственныя имъ мѣста, все-таки они не могли быть вполне довольными Островскимъ: они чувствовали, что не такъ сталъ-бы проводить ихъ тенденціи писатель, глубоко ими проникнутый и принадлежащій къ ихъ лагерю. Островскій не только не думалъ, чего они ждали, въ самомъ идеальномъ свѣгѣ изображать людей, вѣрныхъ старо-русскимъ самобытнымъ традиціямъ, но не упустилъ дурныхъ сторонъ и самыхъ этихъ традицій. Изъ этого и вытекло то сѣтованіе, которое было высказано на страницахъ *Русской Бесѣды* однимъ славянофильскимъ критикомъ, что у Островскаго „иногда недостаетъ рѣшительности и смѣлости въ исполненіи задуманнаго; ему какъ-будто мѣшаетъ *ложный стыдъ и робкія привычки, воспитанныя въ немъ натуральнымъ направленіемъ*. Оттого нерѣдко онъ затѣетъ что-нибудь возвышенное и широкое, а память о натуральной мѣркѣ испугаетъ его замысль; ему-бы слѣдовало дать волю счастливому внушенію, а онъ какъ будто испугается высоты полета, и образъ выходитъ какой-то недодѣланный“...

VI.

Это отсутствіе односторонняго увлеченія какою-либо доктриною не мѣшало Островскому глубоко проникаться духомъ своего времени и принимать живое и горячее участіе въ демократическомъ движеніи шестидесятыхъ годовъ. И въ самомъ дѣлѣ, плебей по происхожденію и по натурѣ, могъ-ли Островскій не увлечься этимъ могучимъ духомъ и не сдѣлаться приверженцемъ новыхъ идеаловъ, вполне соотвѣтствующихъ всѣмъ инстинктамъ его природы, всѣмъ симпатіямъ и антипатіямъ, въ духѣ которыхъ онъ былъ воспитанъ. Эти самые идеалы проникаютъ и пьесы его, составляютъ главный внутренній нервъ въ развитіи всѣхъ ихъ коллизій.

Но при этомъ, какъ истинно реальный писатель, никогда не упускавшій изъ вида жизни во всей ея сложности и относительности, Островскій не спѣшилъ воплощать эти идеалы въ безплогные образы просвѣщеннѣйшихъ демократовъ, обладающихъ всѣми возможными совершенствами. Напротивъ того, очень часто подъ радужною личною высокоихъ чувствъ и громкихъ фразъ онъ разоблачалъ весьма неказистыя качества героевъ, рисовавшихся передовыми свѣтилами прогресса. Въ то-же время онъ не упускалъ изъ вида свѣтлыхъ проблесковъ своихъ идеаловъ, откуда-бы они не исходили, изъ-подъ зипуна-ли на первый взглядъ грубаго и неотесаннаго купчины или изъ-подъ рубища бездомнаго бродяги-пропойцы.

Если мы примемъ во вниманіе эти идеалы Островскаго, то такія драмы, какъ *Не въ свои сани не садись* и *Бѣдность не порокъ*, въ которыхъ предполагается наибольшее подчиненіе славянофильскимъ тенденціямъ, сразу получаютъ въ глазахъ нашихъ совсѣмъ иной и особенный смыслъ. Такъ въ драмѣ *Не въ свои сани не садись* является передъ нами борьба не столько старорусскихъ началъ съ западно-европейскими, сколько двухъ общественныхъ слоевъ, находящихся въ антагонизмѣ. Островскій какъ будто нарочно въ видахъ наибольшаго контраста выставилъ двухъ лучшихъ представителей россійской буржуазно-купеческой среды. Пусть Русаковъ ничего болѣе, какъ торгашъ-тысячникъ, а Бородинъ—самый заурядный виноторговецъ,—во всякомъ случаѣ мы видимъ въ нихъ два качества, дѣлающихъ ихъ симпатичными во всѣхъ глазахъ: во-первыхъ на губахъ ихъ не обсохло то деревенское молоко, которымъ питались ихъ дѣды и отцы, и они сохранили еще гуманность, незлобивость, простоту и чистоту нравовъ, которыя характеризуютъ лучшихъ людей деревни. Въ то-же время—это люди энергическаго труда; всѣмъ своимъ благосостояніемъ они обязаны самимъ себѣ; они сознаютъ это и гордятся:

«Какъ остался я послѣ родителя семнадцати лѣтъ, говоритъ Бородинъ, всякое притѣсненіе терпѣлъ отъ родныхъ, и теперича, который капиталъ отъ тытеньки остался, я даже могъ рѣшиться всего капитала; все это я перенесъ равнодушно, и когда я пришелъ въ возрастъ, какъ должно,—не токма, чтобы я промоталъ или тамъ какъ прожилъ, а сами знаете, имѣю, можетъ быть, вдвое-съ, живу самъ по себѣ, своимъ умомъ, и никому уважать не намѣренъ».

И вотъ въ среду этихъ людей, гордыхъ тѣмъ, что они живутъ сами по себѣ, своимъ умомъ и никому уважать не намѣрены, вторгается челоуѣкъ иной среды, иныхъ

правиль и принциповъ, — среды, въ которой искони главнымъ содержаніемъ жизни считался не трудъ, а наслажденіе, на всякій-же трудъ смотрѣли, какъ на нѣчто крайне унижительное и презрѣнное. Въ то время, какъ писалась эта пьеса, не было еще и вопроса о дворянскомъ разореніи; но Островскій предвидѣлъ уже это явленіе, живя въ замоскворѣцкой средѣ, въ которую тогда уже вторгались первые пионеры дворянскаго разоренія поправлять разстроенное состояніе женитьбою на богатыхъ купеческихъ дочкахъ. Такимъ пионеромъ является Вихоревъ, обрисовывающійся съ головы до ногъ въ первой-же сценѣ пьесы, въ разговорѣ слуги его съ половымъ. Но какъ ни велико нравственное ничтожество подобнаго рода людей, они обладаютъ обыкновенно такую блестящую внѣшностью, выхоленной поколѣніями тунеядства, — что нужна вся опытность Русакова и закалъ Бородинки, чтобы не быть ослѣвленными и сразу познать имъ цѣну. Для такихъ-же неопытныхъ дѣвушекъ, какъ Авдотья Максимовна, воспитанныхъ въ старинныхъ домостроевскихъ началахъ, подобные копители неба постоянно являются демонами-обольстителями и сердцедами, которымъ ничего не стоитъ придти, увидѣть и побѣдить. Ослѣвленіе Авдотьи Максимовны Вихоревымъ было однимъ изъ весьма часто встрѣчающихся въ русской жизни женскихъ увлеченій новымъ, блестящимъ и загадочнымъ героемъ, совсѣмъ не похожимъ на все прискучившее окружающее. А тутъ еще Арина Фодотовна, помѣшанная на благородствѣ и внѣшнемъ лоскѣ дворянской образованности. И вотъ завязалась одна изъ тѣхъ драмъ, которыя кончаются подчасъ весьма трагически.

Самую существенную сценою въ драмѣ, въ которой особенно рельефно выражается весь ея внутренній смыслъ, является разговоръ Вихорева съ Русаковымъ, въ которомъ Вихоревъ проситъ руки его дочери. Здѣсь раскрывается вся та непроходимая пропасть, какая раздѣляетъ этихъ людей. Обратите вниманіе на ту презрительную и язвительную иронию, которую проникнуто каждое слово Русакова. Это именно та самая иронія, которую каждый простой человѣкъ, чуждый тщеславія и гордый сознаніемъ, что онъ всѣмъ обязанъ самому себѣ, долженъ выказывать по отношенію къ промотавшемуся барину, только о томъ и помысляющему, какъ-бы поживиться на счетъ богатаго простака. Что-же касается Вихорева, то даже въ той сценѣ, гдѣ онъ гонитъ отъ себя Авдотью Максимовну, онъ не столь противенъ, какъ въ своемъ объясненіи съ Русаковымъ. Тамъ онъ играетъ въ открытую; здѣсь-же старается подольститься къ старику, и сквозь всѣ льстивыя рѣчи его вы чувствуете бездну неисправимаго высокомерія. Онъ даже стаканъ чая не можетъ принять безъ рисовки и безтактнѣйшихъ фразъ вродѣ нижеслѣдующей: „впрочемъ, сколько я замѣтилъ, ужъ такой обычай у русскаго народа — подчивать. Я, знаете-ли, самъ человѣкъ русскій и, признаться сказать, люблю и уважаю все русское, особенно мнѣ нравится это гостепріимство, радудіе“. Что-же мудренаго, если подобными пошлостями Вихоревъ достигаетъ совершенно противоположнаго: выводитъ Русакова изъ себя, и тотъ его выпроваживаетъ со словами: „Прійдетъ незванный, непрощенный, да еще и наругается надъ тобой! Провались ты совсѣмъ!“

Послѣ всего этого воплію естественъ поступокъ Бородинки, рѣшающагося жениться на Авдотьѣ Максимовнѣ, несмотря на ея измѣну и позоръ, достигшій ее послѣ бѣгства съ Вихоревымъ, и совершенно напрасно Добролюбовъ видитъ здѣсь натяжку, такъ какъ во всей пьесѣ „Бородинкиъ выставляется благороднымъ и добрымъ по-ста-

ринному; послѣдній-же его поступокъ вовсе не въ духѣ того разряда людей, которыхъ представителемъ служить Бородинъ, и что авторъ хотѣлъ приписать этому лицу всевозможныя добрыя качества, и въ числѣ ихъ приписалъ даже такое, отъ котораго настояще Бородинъ, вѣроятно, отреклись-бы съ ужасомъ“.

Во-первыхъ ни изъ какихъ мѣстъ пьесы нельзя заключить, чтобы Бородинъ былъ благороденъ и добръ какъ-то „по-старинному“, а не „по-новому“. Онъ благороденъ и добръ простиго потому, что такая ужъ натура у него честная, глубокая и любвеобильная; такія натуры можно встрѣтить въ самыхъ разнородныхъ слояхъ общества, независимо отъ степени образованности и новизны идей, но конечно въ средѣ Вихоревыхъ рѣже всего онѣ встрѣчаются.

А во-вторыхъ, что-же тутъ несообразнаго, что человекъ съ натурою Бородинъ принялъ подъ свою защиту страстно любимую дѣвушку? Неужели-же подобный великодушный поступокъ только и свойственъ высокообразованной средѣ, а среди людей простыхъ и темныхъ онъ немислимъ? Но предполагать это, не значить-ли держаться взглядовъ Вихорева, который находилъ, что „есть-ли какая возможность говорить съ этимъ народомъ, ломить свое—ни малѣйшей деликатности!“ Но Островскій повидимому нарочно выставилъ контрастъ великодушія Бородинъ и грубаго, наглаго эгоизма Вихорева, чтобы показать, гдѣ слѣдуетъ искать истинной деликатности чувствъ, и это былъ первый рѣшительный и смѣлый выходъ его на путь народныхъ, демократическихъ идеаловъ.

Въ комедіи *Бѣдность не порокъ* мы не видимъ столь рѣзкаго столкновенія двухъ слоевъ общества. Дѣйствіе сосредоточивается здѣсь исключительно въ купеческой средѣ. Но и здѣсь въ основѣ лежитъ та-же чисто демократическая идея. Сюжетъ комедіи напоминаетъ массу народныхъ легендъ о двухъ братьяхъ: богатомъ и бѣдномъ. Раздѣлили братья поровну оставшееся послѣ отца имущество; но пошли разными путями: одинъ былъ жидовать и загребывать, отцовское наслѣдіе приумножилъ вдвое и четверо и сдѣлался первымъ богачемъ въ городѣ; а другой былъ хотя и добръ, и торовать, но легкомысленъ; онъ вдался въ веселую и распутную жизнь, увлекся вышнимъ блескомъ и мишурою и все отцовское наслѣдство растратилъ. Казалось-бы, первый заслуживаетъ полной похвалы, а послѣдній порицанія, а между тѣмъ въ результатѣ вышло нѣчто совершенно противоположное: разжившійся братъ загордился, сдѣлался лютымъ тираномъ въ своей семьѣ и, высоко возмнявши о себѣ, окружилъ себя глетворною роскошью, мечтая встать на дворянскую ногу. Разорившійся братъ, дойдя до послѣдней степени нищеты и униженія, обратившись въ базарнаго шута, питавшагося купеческими подачками за свое гаерство, раскаялся въ прежней безпутной жизни, и тѣ горькія испытанія, какія онъ перенесъ, довели его до свѣтлаго сознанія, что не богатство, не роскошь, не блескъ, а честный трудъ возвышаетъ человека.

«Свели меня добрые люди въ больницу, говоритъ онъ, какъ сталъ я выздоравливать да въ рассудокъ входить, хмѣли-то нѣтъ въ головѣ—страхъ на меня напалъ, ужасъ на меня напалъ!. Какъ я жилъ? Что я дѣлалъ? Сталъ я тосковать, да такъ тосковать, что кажется, умереть лучше. Такъ ужъ рѣшился, какъ совѣтъ выздоровѣю, такъ сходить Богу помолиться, да идти къ брату, пусть возьметъ хоть въ дворянина. Такъ и сдѣлалъ. Бухъ ему въ ноги!. Будь, говорю, вмѣсто отца: жилъ-такъ и такъ, теперъ хочу за умъ вѣздаться.»

Но совершенно согласно всѣмъ народнымъ легендамъ въ этомъ родѣ, богатый и возгордившійся братъ гонить отъ себя бѣднаго, раскаявшагося родственника:

«А ты знаешь, говорить бѣдный братъ, какъ братъ меня принялъ? Ему, видишь стыдно, что у него братъ такой. А ты поддержи меня, говорю ему, оправь, облаской я человекъ буду. Такъ нѣтъ, говорить, куда я тебя дѣну. Ко мнѣ гости хорошіе ѣздятъ, купцы богатые, дворяне; ты, говорить, съ меня голову снимешь. По моимъ чувствамъ и понятіямъ мнѣ-бы совсѣмъ, говорить, не въ этомъ роду родиться. Я, видишь, говорить, какъ живу: кто можетъ замѣтить, что у насъ тятенька мужикъ былъ? Съ меня, говорить, и этого стыда довольно, а то еще тебя на шею навязать. Сразилъ ты меня, какъ громомъ!..»

На такой-же глубоко человѣчной морали народныхъ легендъ построена комедія и въ дальнѣйшемъ развитіи. Высокомѣрная гордыня богатаго брата, Гордѣя Торцова, доводитъ его до того, что онъ готовъ погубить свою единственную дочь, выдавши ее насильно замужъ за злого старика Коршунова, вколотившаго уже въ гробъ двухъ женъ; онъ и самъ близокъ къ гибели подъ тлетворнымъ вліяніемъ этого самаго Коршунова, который, разжигая въ немъ суетныя страсти, въ концѣ-концовъ оборалъ-бы его подобно тому, какъ онъ оборалъ уже и Любима Торцова. Спасителемъ его является тотъ самый нищій, оборванный и запивающій братъ, котораго онъ прогналъ изъ своего дома съ такою черствою безчеловѣчностью. Любимъ Торцовъ останавливаетъ его на краю пропасти и пробуждаетъ въ немъ совѣсть патетическою тирадою, которую безъ преувеличенія можно назвать гимномъ труда и бѣдности:

«Человѣкъ ты или звѣрь? Пожалѣй ты и Любима Торцова! (становится на колѣни). Братъ, отдай Любашу за Мишу—онъ мнѣ уголь дастъ. Назаябся ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; хоть подъ старость-то, да честно пожить. Вѣдь я народъ обманывалъ, просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ работишку дадутъ; у меня будетъ свой горшокъ щей. Тогда-то я Бога возблагодарю. Братъ! и моя слеза до неба дойдетъ. Что онъ бѣденъ-то! Эхъ, кабы я бѣденъ былъ, я-бы человекъ былъ. Бѣдность—не порокъ».

Въ этой тирадѣ сосредоточена вся философія комедіи этой,—противопоставленіе честной, трудовой бѣдности противъ суетнаго и высокомѣрнаго тщеславія мишурнымъ богатствомъ.

Послѣ комедіи *Бѣдность не порокъ*, въ 1854 г., Островскій написалъ народную драму изъ жизни XVIII столѣтія *Не такъ живи, какъ хочется*, и въ этой драмѣ болѣе, чѣмъ во всѣхъ прочемъ онъ оказывается подчиненнымъ славянофильскимъ тенденціямъ. Этою драмою Островскій словно заплатилъ послѣдній долгъ тѣмъ доктринамъ, которыя вліяли на него въ молодые годы, чтобы окончательно освободиться отъ нихъ. Замѣчательно въ то-же время, что эта единственная драма Островскаго, которую можно назвать реакціонною, была написана какъ разъ въ послѣдній моментъ реакціи передъ самымъ разсвѣтомъ, когда вмѣстѣ со всѣмъ обществомъ и самъ драматургъ готовился воскреснуть къ новой и болѣе широкой дѣятельности.

Въ самомъ дѣлѣ, въ драмѣ этой представляется торжество именно тѣхъ самыхъ мистико-аскетическихъ и домостроевскихъ идеаловъ, противъ которыхъ готова была возстать русская мысль. Вся драма переполнена тирадами въ самомъ мрачномъ духѣ семейнаго деспотизма вродѣ того, что „своевольщина-то и все такъ живеть: на-

дѣлать дѣла, не спросясь у добрыхъ людей, а спросясь только у *воли своей дурацкой*, да потомъ и плачутся... известно, по своей волѣ легче жить, чѣмъ по закону; *да своя-то воля въ пропасть ведетъ*“. Тирады эти вкладываются въ уста такихъ людей, какъ Илья, Агафонъ, Степанида, играющихъ въ драмѣ роль хранителей спасительныхъ традицій. Противъ этихъ вряжей стоятъ молодые, своевольные люди, вздумавшіе нарушить эти традиціи: такъ молодой купчикъ Петръ, вмѣсто того, чтобы честнымъ обычаемъ жениться на Дашѣ, съ благословенія родительскаго, увозить ее тайкомъ; затѣмъ охладѣваетъ къ ней, начинаетъ ухаживать за Грушей, дочерью содержательницы постоялаго двора; жена его, узнавъ объ измѣнѣ мужа, бросаетъ его и бѣжитъ къ родителямъ. Но старыя традиціи не терпѣли, чтобы жена при какихъ-бы то ни было обстоятельствахъ могла разойтись съ мужемъ, и отецъ Даши, Агафонъ, оплакивая судьбу своей дочери, тѣмъ не менѣе вновь водворяетъ ее въ домъ мужа, говоря: „ты одно пойми, дочка моя милая, Богъ соединилъ, человекъ не разлучаетъ. Отцы наши такъ жили, не жаловались, не роптали. Ужели мы умнѣ ихъ? Пойдемъ къ мужу!“...

Конецъ драмы вполне оправдываетъ спасительность старыхъ традицій. Отвергнутый любовницей, узнавшей, что онъ женатый уже человекъ, доведенный гульбой почти до гибели, Петръ очнулся на краю проруби, съ раскаяніемъ возвратился къ своимъ пенатамъ и повалился въ ноги родителямъ Даши со словами: „вотъ до чего гульба доводитъ!“; а Агафонъ на это правоучительно замѣтилъ своей дочери: „что, дочка, говорилъ я тебѣ?“

Это приторное примиреніе при звонѣ великопостнаго колокола съ произнесеніемъ сентенцій прописной морали производитъ на зрителей впечатлѣніе рѣзкаго диссонанса. Они никакъ не могутъ повѣрить, чтобы Петръ могъ сразу раскаяться и, бросившись въ объятія жены, сдѣлаться примѣрнымъ семьяниномъ тѣмъ болѣе, что совершенно иначе кончаются подобныя драмы въ жизни. Не даромъ и пословица сложена: повадился кувшинъ по воду ходить, тутъ ему и голову сложить. Поэтому драма является какъ-бы неоконченною; это одинъ лишь изъ ея эпизодовъ; отъ Петра можно ожидать новыхъ загуловъ, какъ это всегда бываетъ съ подобными натурами—и мы вполне оправдываемъ Стрѣва, который, избравъ для своей оперы сюжетъ этой драмы, настоялъ на томъ, чтобы конецъ ея былъ измѣненъ въ либретто: чтобы драма завершилась убійствомъ Даши и имѣла такимъ образомъ законченность.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I—Переломъ въ творчествѣ Островскаго съ наступленіемъ эпохи реформъ и увлеченіе прогрессивными идеями. Значеніе пьесъ *Въ чужомъ пиру похмѣлье* и *Не все коту ма-сляница*, какъ похоронъ самодурства. Драма *Гроза* и противобѣсъ ея съ драмою *Не такъ живи, какъ хочется*. II—Общее резюме всего вышесказаннаго. Положительные типы Островскаго. III—Отрицательные типы. Универсальность изображенія русской жизни. Богатство языка. IV—Драматическая дѣятельность И. С. Тургенева и Писемскаго. Трилогія А. К. Толстого. Александръ Ивановичъ Пальмъ. V—Алексѣй Антиповичъ Потѣхинъ. VI—И. Е. Чернышевъ. Николай Яковлевичъ Соловьевъ. Викторъ Александровичъ Крыловъ. Дмитрій Васильевичъ Аверкѣевъ.

I.

Послѣ драмы *Не такъ живи, какъ хочется*, вмѣстѣ съ наступленіемъ новаго періода общественной жизни, Островскій вышелъ на новую дорогу. Въ слѣдующей-же пьесѣ *Въ чужомъ пиру похмѣлье*, относящейся къ 1856 году, является совершенно иной духъ, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ пьесахъ. Здѣсь снова мы видимъ противоположеніе двухъ слоевъ общества, но уже не положительныя стороны купеческой среды противопоставляются отрицательнымъ среды дворянской, какъ это было въ драмѣ *Не съ свои сами не садись*. Напротивъ того, купеческая среда изображена здѣсь въ наиболѣе рѣзкихъ и яркихъ недостаткахъ въ видѣ Тита Титыча Брускова, этого сложнаго типа, соединяющаго въ себѣ семейнаго деспота въ домостроевскомъ духѣ, необузданнаго самодура, сознающаго силу своего капитала и привыкшаго, чтобы передъ этой силой все преклонялось и падало ницъ и къ тому-же неотесаннаго дикаря, никогда и не слыхавшаго, что могутъ существовать такія вещи, какъ безкорыстіе, честность, чувство собственнаго достоинства и т. п. И вотъ противъ этого чудовища противопоставляется въ драмѣ среда интеллигентнаго пролетаріата, того самаго просвѣщеннаго разночинства, какое въ то время становилось во главѣ умственнаго движенія.

Вся иллюзія комедіи, какъ извѣстно, заключается именно въ столкновеніи нравственной и просвѣтительной силы въ лицѣ Ивана Ксенофонтовича Иванова съ грубой, матеріальной и темной силой Брускова. Нравственно-просвѣтительная сила въ концѣ концовъ побѣждаетъ. Поступокъ Иванова производитъ на Брускова впечатлѣніе ослабительнаго луча свѣта, внезапно ворвавшагося въ ту мглу, которая окружала старика

съ колыбели. Онъ ошеломленъ этимъ свѣтомъ, потрясенъ, сбитъ со всѣхъ своихъ позицій. И еще-бы: въ первый разъ впродолженіи всей жизни онъ встрѣчаетъ человѣка бѣднаго, живущаго честнымъ трудомъ, котораго ему ничего не стоитъ раздавить, и вдругъ этотъ ничтожный червякъ не преклоняется передъ его могуществомъ, отказывается отъ денегъ и честь считаетъ выше всякихъ своекорыстныхъ исканій. Онъ долго не вѣритъ возможности существованія подобнаго рода необычнаго явленія, смѣется надъ нимъ, какъ надъ миражемъ, подозрѣваетъ здѣсь какой-нибудь подвохъ, но когда всѣ сомнѣнія разсѣиваются, онъ долго сидитъ въ глубокой задумчивости, совершенно потрясенный всѣмъ, что раскрылось передъ нимъ, и впервые яркій лучъ сознанія врывается въ него: „Деньги и все это — глѣнь, металлъ звенящій! Помремъ — все останется“. Въ этихъ словахъ выразилось то полное самоотрицаніе, на которое способенъ бываетъ русскій человѣкъ всякихъ положеній и степеней умственнаго развитія. Конечно, въ слѣдующей, заключительной сценѣ комедіи Брусковъ остается тѣмъ-же самодуромъ съ его восклицаніями: „не смѣйте со мной разговаривать“ и „я приказываю“, — но это показываетъ только, что мысли человѣка мѣняются гораздо скорѣе, чѣмъ привычки, привитыя ему воспитаніемъ. Довольно и того нравственнаго перелома, который застаиваетъ Брускова отдѣлать сына и требовать, чтобы тотъ шелъ къ Иванову и кланялся ему въ ноги, прося руки его дочери. Это уже одно примиряетъ съ Брусковымъ, и зрители выносятъ изъ пьесы нравственное удовлетвореніе и даже особеннаго рода побѣдное ликованіе, вполне соответствующее той свѣтлой и бодрой эпохѣ, въ которую была написана эта драма.

Замѣчательно, что 15 лѣтъ спустя, въ 1871 году, Островскій вновь возвратился къ той-же темѣ — посрамленію самодурства: въ пьесѣ *Не все коту масленица*, — но мы видимъ большую разницу между этою пьесою и предыдущею. Видно, что не даромъ прошли 15 лѣтъ, и во многомъ измѣнились и эпоха, и точки зрѣнія автора на тотъ-же предметъ. Тотъ-же Брусковъ въ образѣ Ахова представленъ здѣсь уже не только патріархальнымъ самодуромъ въ нѣдрахъ семейства, а захваченъ гораздо шире, являясь нагляднымъ эксплуататоромъ рабочаго труда на экономической почвѣ: въ своемъ столкновеніи съ племянникомъ Иполитомъ онъ бьетъ уже не домостроившимъ кулакомъ, а рублемъ. Онъ по-прежнему величается, говоря, что „не одни, даже сотни людей въ нашихъ рукахъ, такъ какъ намъ собой не возноситься?“ и что „для нашего брата, ежели что захотѣлось, дорогого нѣтъ, а у вашей нищей братьи ничего завѣтнаго нѣтъ; все продажное“. Но во всякомъ случаѣ это величіе ошцпанное. Аховъ уже не ждетъ, чтобы нищая братья шла къ нему, а самъ снисходитъ къ ней и идетъ въ ея бѣдную хижину.

Въ тоже время побѣда надъ самодурствомъ производится уже не нравственною силою вродѣ безкорыстія Иванова. Видно, что въ 15 лѣтъ была утрачена уже та свѣтлая вѣра во всепобѣждаемость нравственныхъ силъ, какою было преисполнено наше общество въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ. Если наивнаго дикаря Брускова можно было потрясти зрѣлищемъ человѣка, для котораго честь дороже денегъ, то смѣшно было-бы предполагать малѣйшую возможность нравственнаго пробужденія въ Аховѣ, который при видѣ племянника, готоваго зарѣзаться, заботится лишь о томъ, что „съ двора-то его сбить-бы, а тамъ рѣжься сколько душѣ угодно“.

Поэтому и орудіями борьбы являются уже не высшаго порядка добродѣтели Ивана, а чисто боевыя силы, умъ и отвага, и Агнія возбуждаетъ своего жениха противъ Ахова, болѣе всего смѣясь надъ его трусостью. Возбуждаемый этими внушеніями, Ипполитъ, рѣшаясь на рискованную сцену самоубійства передъ Аховымъ, самъ считаетъ ее ничѣмъ инымъ, какъ „игрою ума“. Вынудивъ этого „игрою ума“ у Ахова заработанныя имъ 15,000, онъ въ тоже время не возбуждаетъ въ дядѣ никакой нравственной реакціи: Аховъ остается Аховымъ, и лишь, чувствуя себя побѣжденнымъ, видя, что его перестали и уважать, и бояться, какъ утопающій хватается за соломенку, старается удержать въ рукахъ хотя-бы внѣшнія прерогативы падшаго величія. Тѣ двѣ сцены, гдѣ Аховъ умоляетъ Ипполита почтить его старика и породственному поклониться ему въ ноги, а затѣмъ другая, гдѣ онъ предлагаетъ своимъ побѣдителямъ за большія деньги подвергнуться добровольному позору, чтобы хоть этимъ вознаградить себя за падшее величіе, — принадлежать къ величайшимъ откровеніямъ драматическаго творчества. Не менѣе глубокимъ смысломъ исполненъ послѣдній монологъ Ахова, въ которомъ самодурство поетъ свою лебединую пѣсню и хоронитъ само себя:

«Какъ жить? Какъ жить! Родства народъ не уважаетъ, богатству грубить смѣетъ! Дядя говоритъ: поклонись по рождественному! Не могу. Ну, поклонись ты, нищій, хоть за деньги! — Не хочу. Умереть ужъ лучше поскорѣй, загодя. Все равно, вѣдь развѣ свѣтъ-то на такихъ порядкахъ долго простоять? А какъ отцы-то жили? Куда они дѣлись тѣ порядки старые, крѣпкіе? Развратъ что-ли въ мѣрѣ пошелъ? Такъ его и прежде, пожалуй, еще больше было! Бѣсъ что-ли промежду людей ходитъ, да смущаетъ ихъ? Отчего вы не дежите въ ногахъ у меня по старому, а я-же стою передъ вами весь обруганный безъ всякой моей вины.»

Однимъ словомъ Аховъ — не Брусковъ, котораго можно было пронять зрѣльцемъ нравственной доблести и довести до сознанія, что деньги — тлѣнъ, металлъ звенящій; это — представитель закоренѣлаго самодурства, не способнаго ни на одну іоту поступиться своимъ ореоломъ, и ему остается лишь величественно удалиться со сцены, сѣтуя на всеобщее развращеніе, предрекая всеобщую гибель и проклиная всѣхъ окружающихъ, переставшихъ преклоняться и трепетать передъ нимъ.

Похоронивши самодурство, Островскій не замедлилъ въ лучшей своей драмѣ *Гроза* обрушиться на домостроевскіе идеалы и въ ихъ принципиальномъ смыслѣ. Драма *Гроза* представляетъ полный контрастъ сравнительно съ драмою *Не такъ живи, какъ хочешь*. Въ то время, какъ тамъ людей губитъ отступленіе отъ домостроевскихъ принциповъ, ведетъ въ пропасть своя воля дурацкая, здѣсь наоборотъ раскрывается вся гибельность самихъ этихъ принциповъ: люди погибаютъ здѣсь именно оттого, что ихъ воля скована тяжкими оковами семейнаго деспотизма, и ихъ дунитъ вѣчная опека надъ ихъ нравственностью и каждымъ шагомъ.

Кабанова является въ этой драмѣ такою-же представительницею домостроевскихъ принциповъ, какъ Илья или Агафонъ въ драмѣ *Не такъ живи, какъ хочешь*. Ее отнюдь нельзя ставить въ одну категорію съ Дикимъ или Брусковымъ. У тѣхъ все ихъ самодурство исходитъ изъ мѣшка съ деньгами, не имѣя никакихъ нравственныхъ оснований и выражается бессмысленнымъ афоризмомъ вродѣ: „я такъ

хочу, кто я? и моему здраву не препятствуй!..* По существу-же они люди совершенно безхарактерные, способные поддаваться самымъ разнороднымъ впечатлѣніямъ, не исключая порою и самыхъ великодушныхъ, и къ довершенію всего они трусы и тотчасъ-же дѣлаются тише воды, ниже травы, едва встрѣчаютъ мужественный отпоръ или призракъ опасности.

Совершенно не такова Кабанова. У нея постоянно на устахъ нравственныя сентенціи. Всѣ ея сужденія исполнены строгой логики, сбить съ которой ее нѣтъ возможности. Она не развратничаетъ, не самодурствуетъ, а строго блюдетъ долгъ свой и держитъ домочадцевъ въ страхѣ, потому что такъ подобаешь по стародавнимъ праотеческимъ завѣтамъ. Она фанатично вѣрнѣ въ этотъ страхъ не ради самоуслажденія имъ, а потому что по ея невыблему убоженію безъ этого страха всѣ сейчасъ-же совратятся съ пути и все развалится, и когда сынъ замѣчаетъ ей, что зачѣмъ-же Катеринѣ бояться его, довольно, что она его любитъ, Кабановой кажется, что сынъ ея совсѣмъ съ ума спятилъ.

«Какъ зачѣмъ бояться? говоритъ она, какъ зачѣмъ бояться? Да ты рехнулся, что-ли? Тебя не станетъ бояться, меня и подавно. Какой-же это порядокъ-то въ домѣ будетъ? Вѣдь ты, чай, съ ней въ законѣ живешь. Али по вашему законъ ничего не значитъ? Да ужъ коли ты такія дурацкія мысли въ головѣ держишь, ты-бы при ней-то по крайней мѣрѣ не болталъ, да при сестрѣ при дѣвкѣ; ей тоже замужъ идти: этакъ она твоей болтовни послушается, такъ послѣ мужъ-то намъ спасибо скажетъ за науку. Видишь ты, какой еще умъ-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить».

И до конца драмы Кабанова осталась вѣрна своей безошибочной логикѣ, не только ни на минуту не поколебалась, не раскаялась, осталась вполнѣ права въ своихъ собственныхъ глазахъ, а всѣ развернувшіяся событія еще болѣе утвердили ее въ ея убѣжденіяхъ. И въ самомъ дѣлѣ: развѣ невѣстка своей измѣной мужу не осрамила ея дома и не оправдала ея ненависти къ ней?— „Что сынокъ,—обратилась она къ Кабанову: куда воля-то ведетъ! Говорила я тебѣ, такъ ты слушать не хотѣлъ. Вотъ и дождался!* Развѣ не тѣми-же глазами смотрѣли-бы на поступокъ Катерины и Илья, и Агафонъ, и не тѣми-же ли словами осудили-бы ее?

Но въ тоже время какая пропасть раздѣляетъ драмы *Не такъ живи и Грозу*. Въ первой—Илья и Агафонъ являются положительными тишамъ, нравственными устоями, устраивающими счастье своихъ дѣтей силою тѣхъ самыхъ принциповъ, во имя которыхъ Кабанова губитъ своихъ домочадцевъ. Въ *Грозѣ* положительными началами, противопологающимися мрачнымъ, домостроевскимъ является семья Катерины, воспитавшая дѣвушку въ духѣ любви, гуманности и полной свободы.

«Такая-ли я была! вспоминаетъ Катерина: я жила, ни о чемъ не тужила, точно птичка на волѣ. Маменька во мнѣ души не чаяла, наряжала какъ куклу, работать не принуждала, что хочу бывало, то и дѣлаю. Знаешь, какъ я жила въ дѣвушкахъ? Вотъ я тебѣ сейчасъ расскажу. Встану я бывало рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключокъ, умоюсь, принесу съ собою водицы и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полью. У меня цвѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маменькой въ церковь, всѣ и странички, у насъ половъ домъ былъ страничекъ да богомолокъ. А придемъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работу, больше по бархату золотомъ, а странички

станутъ разсказывать: гдѣ они были, что видѣли, житія разныя, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснуть могутъ, а я по саду гуляю. Потомъ къ вечерни, а вечеромъ опять разказы да пѣніе. Таково хорошо было..

Съ другой стороны, не менѣе положительнымъ началомъ драмы является самоучка-часовщикъ Кулигинъ, опять-таки разночинецъ съ его порывами къ знанію, свѣту, съ его кроткимъ, гуманнымъ, свободолюбивымъ и любвеобильнымъ сердцемъ. Онъ играетъ въ драмѣ роль хора древнихъ трагедій, выражая и общественное мнѣніе, и взгляды самого автора на представляемые явленія жизни. Это одинъ изъ немногихъ случаевъ въ дѣятельности Островскаго, что онъ самъ является на сцену, произнося устами Кулигина свой собственный судъ надъ дѣйствующими лицами драмы.

II.

Резюмируя все, что мы сказали относительно содержанія пьесъ Островскаго, того міросозерцанія, которое проникаетъ ихъ и составляетъ внутренній нервъ всѣхъ сюжетовъ, мы видимъ, что въ основѣ всѣхъ пьесъ Островскаго лежатъ демократическіе идеалы, принимая слово это не въ политическомъ смыслѣ приверженности къ общественнымъ формамъ, свойственнымъ демократическимъ принципамъ, а въ смыслѣ индивидуально-правственномъ, бытовомъ. Вездѣ противопоставляется простота, незлобивость, честность, правдивость, отвага въ борьбѣ со зломъ и неусынное трудолюбіе—лѣни, распушенности, сластолюбію, безхарактерности, внѣшнему блеску при внутренней пустотѣ, рисовкѣ, наконецъ необузданному своеволю и самодурству, какія гнѣздятся въ тѣхъ слояхъ общества, гдѣ основой жизни являются не трудъ, а „бѣшенныя деньги“, какъ мѣтко окрестилъ Островскій всѣ тѣ готовые ресурсы, которые словно съ неба сваливаются счастливымъ міра въ видѣ то наслѣдства, то даровыхъ наживъ всякаго рода.

Передъ нами проходитъ рядъ личностей глубоко симпатичныхъ, заставляющихъ васъ отдыхать душою и мириться съ жизнью. Но это отнюдь не воплощенные идеалы и не представители одной какой-либо излюбленной авторомъ среды,—не тѣ словомъ „новые люди“, которые изображались тенденціозною бедлетристикой то спасителями отечества, то напротивъ того влекущіе Россію въ бездну. Эти люди самыхъ разнородныхъ слоевъ общества, далекіе отъ безусловнаго совершенства, иногда крайне смѣшныя и неуклюжіе. Тутъ встрѣтите вы не одиѣ только сильныя духомъ и волею личности, въ которыхъ жажда добра и свѣта преобладаетъ надо всѣмъ и которыя каждую минуту готовы пожертвовать жизнью за ближнихъ,—каковы напримѣръ—Марья Андреевна Незабудкина (*Бѣдная невеста*), Анна Павловна Оброшенова (*Шутники*), Агнія Круглова (*Не все кому масленица*), Параша Курслѣнова (*Горячее сердце*), Геннадій Несчастливцевъ (*Дѣсь*) и пр. Сюда-же относятся и такіе загнанныя, забытыя, ничтожныя и въ высшей степени комическія личности, какъ Иванъ Ксенофоновичъ Ивановъ (*Въ чужомъ тиру похмѣлье*), Павелъ Прохоровичъ Оброшеновъ (*Шутники*), этотъ московскій Трибюле, подобно герою В. Гюго скрывающій подъ личною униженнаго шутства массу гордости, чувства человѣческаго достоинства и нѣжное, любвеобильное сердце; наконецъ, Іосифъ Наумычъ Корифѣловъ съ

своимъ оптимизмомъ нищеты и Любимъ Торцовъ, просвѣтленный горькимъ опытомъ безпутной жизни. Всѣ эти герои, требующіе отъ актера тщательнаго грима, чтобы при одномъ появленіи ихъ на сцену публика расхохоталась-бы или ахнула отъ ужаса и состраданія при видѣ ихъ убожества, — въ концѣ концовъ глубоко трогаютъ зрителей своимъ душевнымъ величіемъ и посрамляютъ имъ тѣхъ сильныхъ міра, которые глумятся надъ ними и величаются въ своемъ гордомъ высокомеріи и закорузлой черствости своего сердца.

Островскій не останавливается и на этихъ смѣшныхъ но въ тоже время въ высшей степени трогательныхъ личностяхъ, а идетъ еще далѣе, доходитъ до такой поразительной смѣлости въ своемъ безпристрастномъ реализмѣ, взвѣшивающемъ явленія жизни не въ ихъ безусловномъ совершенствѣ, а, такъ сказать, удѣльнымъ вѣсомъ по отношенію другъ къ другу, что для него достаточно бываетъ иногда одного какого-нибудь положительнаго качества, вродѣ крупницы здраваго смысла или-же энергіи и стойкости для того, чтобы личность, сама по себѣ вовсе не симпатичная, составляла противовѣсъ цѣлому ряду отрицательныхъ явленій, изображаемыхъ въ пьесѣ.

Таковъ напр. Ник. Борисовичъ Неуѣденовъ (*Праздничный сонъ до обѣда*). Передъ вами сидитъ грубый, неотесанный купчина въ простой русской рубахѣ и грызетъ орѣхи, разбивая ихъ булыжникомъ, который ему принесли со двора; говоритъ онъ всѣмъ напрямки, что про кого думаетъ, такъ и сылетъ грубостями направо и налево. Въ своей семьѣ онъ навѣрное самый крутой самодуръ, вродѣ Кита Китыча Брускова. Но это не мѣшаетъ ему въ пьесѣ разыгрывать роль Правдина, и устами его говоритъ самъ авторъ, когда Неуѣденовъ резонируетъ по поводу тѣхъ прожившихся дворянчиковъ и всякаго рода стрекулистовъ, которые мечтаютъ поправить свое состояніе женитьбою на богатыхъ купчихахъ. Рѣчи его, полныя глубокой и мѣткой правды, заслоняютъ въ вашихъ глазахъ всѣ его антипатичныя стороны и дѣлаютъ его самымъ привлекательнымъ лицомъ пьесы.

Еще болѣе рѣзкій примѣръ представляетъ собою Савва Геннадіевичъ Васильковъ въ комедіи *Внешняя жизнь*. Типъ совершенно новый въ нашей жизни, онъ самъ по себѣ еще болѣе антипатиченъ, чѣмъ всѣ самодуры пьесъ Островскаго, вмѣстѣ взятые. Съ самодурами васъ могла мирить до нѣкоторой степени широта русской природы и способность въ роковой моментъ вдругъ очнуться отъ всѣхъ мерзостей, просвѣтлѣть и блестять поступкомъ, полнымъ великодушія и гуманности. Васильковъ-же — закаленный буржуа вполне уже въ европейскомъ духѣ; у него каждый шагъ рассчитанъ въ видахъ и цѣляхъ важныя; никакое чувство не заставитъ его выйти изъ бюджета. Онъ и влюбляется въ Лидію не иначе, какъ рассчитывая въ тоже время, что у него особаго рода дѣла и ему нужно именно такую жену, блестящую и съ хорошимъ тономъ; въ тоже время въ самомъ разгарѣ увлеченія онъ рассуждаетъ: „хорошо еще, что у меня воля твердая, и я, какъ-бы ни увлекался, изъ бюджета не выйду. Ну, Боже мой! Эта строгая подчиненность бюджету не разъ спасала меня въ жизни“. Несмотря на то, что Лидія прямо объявляетъ ему, что не любитъ его, онъ все-таки женится на ней, все въ тѣхъ-же практическихъ расчетахъ, и наконецъ покоряетъ ее своей власти, пользуясь тою крайностью раззоренія, до какой доводитъ ее безпутное мотовство, дѣлаетъ ее своею рабой, заставляя ее измѣнить совершенно образъ жизни и служить его финансовымъ

цѣлямъ, ради которыхъ онъ женился на ней. Страшное впечатлѣніе производитъ на васъ этотъ представитель нарождающейся силы, съ которой придется мѣряться не одиѣмъ Лидіямъ; но въ тоже время такое отвратительное зрѣлище представляютъ всѣ эти Телятевы, Кучумовы, Глузовы, Чебоксаровы и прочіе герои среды, дошедшей до крайняго разложенія нравовъ, что Васильковъ кажется вамъ доблестнымъ героемъ среды всѣхъ этихъ личностей, — своего рода солью земли.

III.

Мы говорили уже выше, что всѣ изображаемые Островскимъ пороки онъ полагаетъ въ той порчѣ нравовъ, какая является на почвѣ даровыхъ хлѣбовъ. Какъ стремленіе захватить въ свои руки помимо труда „бѣшенныя деньги“, такъ и долгое пользованіе этими „бѣшенными деньгами“, влекутъ за собой въ равной степени самыя разнообразныя искаженія человѣческой природы. Купеческое самодурство является однимъ изъ наиболѣе грубыхъ, элементарныхъ, примитивныхъ видовъ нравственной порчи; это — первый шагъ на скользкомъ пути только-что усиѣвшаго разбогатѣть простаго русскаго деревенскаго человѣка. Самодуръ — это дикарь, невзыскательный въ своихъ привычкахъ и требованіяхъ, у котораго все тщеславіе богатствомъ заключается въ томъ, что онъ не столько пользуется своими деньгами, сколько бросаетъ ихъ зря направо и налѣво.

Совсѣмъ въ иномъ видѣ рисуются въ цѣсахъ Островскаго культурные люди, въ которыхъ нравственная порча является глубоко внѣдрившеюся до мозга костей, хотя она и скрывается тщательно подъ блестящею внѣшностью поверхностной образованности, утонченныхъ вкусовъ и изящныхъ манеръ. Здѣсь кишатъ несмѣтныя гнѣды самыхъ отвратительныхъ пороковъ, передъ которыми всѣ купеческія безобразія кажутся лишь глупыми шалостями дурновоспитанныхъ дѣтей. Поэтому и отношеніе Островскаго къ отрицательнымъ типамъ культурной среды представляется не въ примѣръ безпощадиѣ. Не говоря уже о благодушномъ Русаковѣ, даже и такіе безобразники, какъ Большовъ или Прусаковъ могутъ казаться невинными ангелами сравнительно съ Уланбековой, съ ея жаднымъ и безпощаднымъ тиранствомъ подъ личиною лицемѣрнаго цуризма, или Мурзаведкой, готовой во имя Господня святъ съ ближняго послѣднюю рубашку; или Надеждой Антоновной Чебоксаровой, ради снисканія благъ земныхъ открыто и беззащѣнно торгующей честью своей дочери; или наконецъ Всеволодомъ Вячеславичемъ Гяввышевымъ, которому ничего не стоитъ, несмотря на свои почтенныя сѣдины и высокое положеніе въ обществѣ, обезчестить сироту, и къ тому-же опекаемую имъ родственницу и обратить ее въ содержанку. Здѣсь даже люди повидимому совершенно чистые, безкорыстные и исполненные высокихъ стремленій въ концѣ концовъ оказываются никуда не годными тряпками по своему крайнему слабодушію, безхарактерности, нервной развинченности. Таковъ Жадовъ, въ лицѣ котораго Островскій предсказалъ грядущую судьбу всѣхъ тѣхъ молодыхъ тогда еще прогрессистовъ, которые въ 1856 году, — когда была нацисана комедія *Доходное мѣсто*, — выступали впередъ съ рьяными обличеніями взяточничества и казнокрадства, съ громкими криками о наступленіи новой эры въ общественной жизни, о возрожденіи, пробужденіи и

т. п. Островскій своею комедією словно напутствовалъ ихъ, говоря: „Потише, друзья, не бѣснуйтесь, не храбритесь и не геройствуйте; все это вѣдь однѣ громкія фразы, отъ которыхъ до дѣла очень еще далеко. Чтобы быть истинными героями, необходимъ такой нравственный закалъ, котораго вы не имѣете; необходимо быть готову отказаться отъ всѣхъ земныхъ благъ, а вы если не честолюбивы и не сластолюбивы, то навѣрно же-нолюбивы; у васъ нѣжное сердце, готовое растаять при видѣ перваго смазливенькаго личика и вы способны беззавѣтно увлечься этимъ личикомъ, не входя въ тщательный анализъ, что заключается подъ нимъ, и есть-ли тамъ какое-нибудь содержаніе. И вотъ, если вы по своей собственной инициативѣ не уступили-бы ни-на-іоту Юсовымъ и Бѣлогубовымъ, то подъ влияніемъ предмета своей страсти не замедлите войти въ цѣлый рядъ сдѣлокъ съ совѣстью, — и Вишневскіе, Юсовы и Бѣлогубовы скоро убѣдятся, что вы вовсе не такъ страшны, какъ кажется, что вы—ихъ-же поля ягода“.

Такъ случилась и въ комедіи Островскаго. Жадовъ не выдержалъ того испытанія, съ какииъ соединяется честный и правый путь и пришелъ съ повинной головою къ дядюшкѣ Вишневскому просить доходнаго мѣста. И вотъ послѣдовалъ страшный хохотъ Вишневскаго, рокового и вѣщаго значенія котораго никто не понялъ въ пятидесятыя годы, когда появилась пьеса. За все про все отвѣчалъ тогда одинъ Жадовъ, и люди утѣшали себя, что не всѣ-же Жадовы. Но время показало, что не къ одному Жадову, а къ цѣлому слою общества и поколѣнію относились слѣдующія слова Вишневскаго:

— Ха-ха-ха!.. Юсовъ! Вотъ они, герои-то! Молодой человѣкъ, который кричалъ на всѣхъ перекресткахъ про взяточниковъ, говорилъ о какомъ-то новомъ поколѣніи, идетъ къ намъ-же просить доходнаго мѣста, чтобы брать взятки! Хорошо новое поколѣніе! Ха-ха-ха!.. Вотъ, Юсовъ, помнишь, какой тонъ былъ! Какая увѣренность въ самомъ себѣ! Какое негодованіе къ пороку! (*Жадову, больше и больше разорчалась*): Не ты-ли говорилъ, что ростиетъ какое-то новое поколѣніе образованныхъ, чистыхъ людей, мучениковъ правды, которые обличать насъ, закидаютъ насъ грязью? Не ты-ли? Признаюсь тебѣ, я вѣрилъ. Я васъ глубоко ненавиждѣлъ... я васъ боялся. Да, не шутя. И что-жъ оказывается! Вы честны до тѣхъ поръ, пока не выдохлись уроки, которые вамъ вдолбили въ голову; честны только до первой встрѣчи съ нуждой! Ну, обрадовалъ ты меня, нечего сказать!.. Нѣтъ, вы не стоите ненависти — я васъ презираю!..

Такъ безошадно отнесся Островскій къ лучшимъ людямъ культурной среды въ лицѣ своего героя Жадова.

Что касается вѣшняго содержанія пьесъ Островскаго, разнообразія изображаемыхъ явленій русской жизни, то когда мы будемъ перечитывать ихъ подъ-рядъ, насъ поразитъ необъятная широта захвата Островскимъ русской жизни, какъ въ ея настоящемъ, такъ и прошломъ, такая универсальность его въ этомъ отношеніи, до какой не доходилъ еще ни одинъ изъ нашихъ писателей, кромѣ развѣ Пушкина и графа Л. Толстого. Захотите вы отрѣшиться отъ настоящаго времени въ глубь прошлаго, — и вотъ передъ вами встаетъ древняя Русь, начиная съ до историческихъ мѣстныхъ временъ (*Ситтурочка*) и кончая смутною эпохою междоусерствія; проходитъ передъ вами и грозная личность Іоанна съ его свирѣпыми казнями и жеполюбіемъ; и безпечный легкомысленный Дмитрій; и хитрый, злонамятный Шуйскій; передъ вами развертываются интрига и казни бояръ и мятежные крики разсвирѣпѣвшей московской черни,

и взрывъ народнаго энтузіазма, возбужденнаго великимъ нижегородскимъ мясникомъ, и то всеобщее шатаніе и разложеніе нравовъ, какое предшествовало петровской реформѣ (*Воевода*).

Обратитесь вы къ современной жизни,—и здѣсь поразятъ васъ еще большія пестрота и разнообразіе образовъ: какихъ только людей, характеровъ, нравовъ не встрѣтите вы въ этихъ десяти томахъ: тутъ и дворяне наживающіеся, и дворяне раззоряющіеся и проматывающіе послѣдніе крохи; и помѣщицы тиранки на почвѣ крѣпостнаго права; и хозяйки въ духѣ матери Митрофаніи, хищныя любостыжательницы подъ личиною ханжества; и куницы самодуры, наливающіеся до чертиковъ; и благодушные или суровые хранители домостроевскихъ завѣтовъ; и безсердечные, черствые столичные бюрократы, одѣтые съ иголочки и тщеславящіеся своею строгою порядочностью; и грязные подъячіе, играющіе роль купеческихъ шутовъ; дѣльцы, прожигатели жизни, столичные и провинціальныя, скряги, моты, странствующіе актеры, нищіе мѣщане, едва не умирающіе съ голоду—однимъ словомъ, передъ вами вся наша современная жизнь во всемъ ея пестромъ разнообразіи и безобразіи. Единственно, чего недостаетъ въ пьесахъ Островскаго,—крестьянъ въ ихъ сельскомъ бытѣ. Это обуславливается конечно тѣмъ, что Островскій прожилъ большую часть жизни въ городѣ, мало былъ знакомъ съ деревенскою жизнью и въ то-же время это былъ до такой степени непосредственный и строгій реалистъ, что онъ изображалъ лишь-то, что ему удавалось хорошо изучить.

Наконецъ, не менѣе всего прочаго поражаетъ въ пьесахъ Островскаго и самый языкъ, какимъ говорятъ дѣйствующія лица. Мало сказать, что это языкъ вполне естественный и всегда соответствующій выводимымъ личностямъ: по своей народности, образности, мѣткому, неподражаемому юмору и соли—языкъ Островскаго представляетъ богатѣйшую сокровищницу русской рѣчи. Мы можемъ въ этомъ отношеніи поставить въ одинъ рядъ лишь трехъ писателей: Крылова, Пушкина и Островскаго. Глубокую истину сказалъ Пушкинъ, что русскому языку слѣдуетъ учиться у московскихъ просвиренъ. Островскій на своемъ примѣрѣ какъ нельзя болѣе подтвердилъ это изреченіе, потому что у кого-же именно выучился онъ неподражаемому языку своихъ пьесъ, какъ не у московскихъ просвиренъ.

IV.

Къ величайшему сожалѣнію тѣ неблагопріятныя и стѣснительныя условія, въ какія была поставлена русская сцена вирожденіи всего рассматриваемаго нами періода и которыя, какъ мы видѣли выше, угнетающимъ образомъ вліяли на самого Островскаго, были главною причиною, что сцена не могла удержаться на той высотѣ, на которую пытался вознести ее покойный драматургъ своею плодотворною дѣятельностью. Лучшія литературныя силы не привлекались, а отвлекались отъ работы для театра, и вслѣдствіи этого весьма немного появилось втеченіи послѣднихъ пятидесяти лѣтъ на подмосткахъ нашихъ театровъ такихъ пьесъ, которыя хоть сколько нибудь могли-бы соперничать съ произведеніями Островскаго, и это немногое принадлежитъ перу писателей, дѣятельность которыхъ была посвящена инымъ отраслямъ литературы, и они лишь мимоходомъ заплатили свою ленту театру.

Такъ изъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ наиболѣе потрудился для сцены И. С. Тургеневъ, пьесы котораго составляютъ цѣлый томъ въ собраніи его сочиненій. И хотя онѣ далеко не представляются лучшими его произведеніями и въ дѣятельности его занимаютъ самое скромное мѣсто, это не мѣшаетъ многимъ изъ нихъ стоять въ первомъ ряду послѣ пьесъ Островскаго въ современномъ репертуарѣ. Такія пьесы, какъ *Нахлебникъ* (1848 г.), *Завтракъ у предводителя* (1849 г.), *Холостякъ* (1849 г.), *Мыслятъ въ деревнѣ* (1850 г.) *Провинціалка* (1851 г.) до сихъ поръ не сходятъ со сцены, доставляя актерамъ самыя благодарныя роли для выставленія своихъ талантовъ, а публикѣ—по тонкой художественности, сценичности и занимательности — самыя пріятныя и привлекательныя зрѣлища.

Писемскій въ свою очередь доставилъ русской сценѣ такую классическую пьесу, какъ *Горькая судьбина*, эта первая и до сихъ поръ пока еще единственная пьеса на русской сценѣ изъ крестьянскаго быта, въ которой русскій мужикъ вышелъ на сцену въ своемъ вполнѣ натуральномъ видѣ, безъ малѣйшей идеализаціи и какихъ-либо подкрашиваній. Послѣдній періодъ дѣятельности Писемскаго былъ ознаменованъ, какъ мы видѣли, нѣсколькими комедіями, въ которыхъ Писемскій казнилъ современныхъ дѣльцовъ и всякаго рода промышленниковъ по части легкой наживы; но эти пьесы, обнаруживши въ дѣятельности автора *Тысячи душъ* оскуденіе таланта, не долго удерживались на сценѣ.

Далѣе затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе извѣстная трилогія А. К. Толстого: *Смерть Иоанна Грознаго*, навечатанная въ № 1 *Отеч. Зап.* за 1866 годъ; *Царь Федоръ Иоанновичъ* (*В. Евр.* № 5, 1868 г.) и *Царь Борисъ* (*В. Евр.* № 3, 1870 г.). Изъ этихъ трехъ трагедій была поставлена на сцену лишь первая—*Смерть Иоанна Грознаго* въ 1876 году и въ продолженіи всѣхъ семидесятихъ годовъ не сходила со сцены. Пьесы А. К. Толстого, обнаруживая глубокое изученіе изображаемой въ нихъ эпохи и ту вѣднѣе живолисную художественность, какою славится А. К. Толстой во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ страдаютъ и тѣми недостатками, какіе мы можемъ замѣтить во всѣхъ русскихъ историческихъ драмахъ, не исключая *Бориса Годунова* Пушкина и хроникъ Островскаго: эническая сторона преобладаетъ въ нихъ надъ драматическою; вмѣсто какихъ-либо потрясающихъ драматическихъ коллизій и захватывающаго вниманіе зрителей быстро развивающагося дѣйствія, передъ вами проходитъ рядъ бытовыхъ сценъ съ длинными разговорами. Вслѣдствіе этого отъ всѣхъ отъ нихъ вѣдетъ археологическимъ и этнографическимъ холодомъ; ихъ пріятнѣе читать, чѣмъ видѣть на сценѣ, гдѣ они тяжеловаты, а мѣстами и скучноваты.

Однимъ изъ лучшихъ драматурговъ является Александръ Ивановичъ Пальмъ, примыкающій къ беллетристамъ сороковыхъ годовъ. Онъ родился въ 1823 году и въ концѣ сороковыхъ годовъ выступилъ на литературное поприще небольшими разсказами и стихотвореніями въ духѣ только что возникшей въ то время натуральной школы. Замѣшанный въ дѣло петрашевцевъ, Пальмъ былъ заключенъ въ крѣпость, и хотя судъ констатировалъ, что онъ участія въ разговорахъ не принималъ, тѣмъ не менѣе послѣ продолжительнаго содержанія въ казематѣ, Пальмъ, былъ переведенъ тѣмъ-же чиномъ изъ гвардіи въ армію безъ выслуги, и кара эта была снята съ него

лишь въ концѣ пятидесятихъ годовъ по ходатайству одного высокопоставленнаго лица.

Къ прерванной въ юности литературной дѣятельности А. И. Пальмъ возвратился лишь въ началѣ семидесятихъ годовъ и затѣмъ уже непрерывно продолжалъ ее до самой смерти 10 ноября 1885 года. Къ наиболѣе выдающимся произведеніямъ его принадлежитъ по беллетристикѣ романъ *Слободинъ*, напечатанный въ *Вѣстникѣ Европы*, очень живо изображающій петербургскіе литературно-политическіе кружки сороковыхъ годовъ; изъ комедій-же наибольшимъ успѣхомъ пользовались пьесы *Старый баринъ* и *Нашъ другъ Неклюжевъ*; менѣе извѣстны—*Вольные люди*, *Гражданка*, *Петербургская саранча*. Какъ въ своихъ беллетристическихкихъ произведеніяхъ, такъ и въ комедіяхъ Пальмъ оставался вѣрнымъ всемъ традиціямъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ, и являясь знатокомъ старинной, дореформенной помѣщичьей жизни, не безъ мастерства выводилъ тѣ-же рыхлые и извѣженные барскіе типы, изображеніемъ которыхъ занималась и вся та школа, къ которой онъ принадлежалъ.

Первымъ прямымъ послѣдователемъ Островскаго является Алексѣй Антиповичъ Потѣхинъ. Онъ родился въ Кинешмѣ костромской губерніи 1-го іюля 1829 года. Литературная дѣятельность его началась въ 1851 году статьею *О бенифистѣ актера московскаго театра Шумскаго*. Первая журнальная статья появилась въ *Современникѣ* 1852 года—*Забавы и удовольствія въ городкѣ*. Затѣмъ онъ началъ печататься во всѣхъ тогдашнихъ журналахъ—*Современникъ*, *Отечественныхъ Запискахъ*, *Библіотекѣ для чтенія*, *Москвитяинѣ*, *Русскомъ Вѣстникѣ*, *Русскомъ Словѣ*, *Современномъ Обзорѣннѣ*, *Вѣкѣ*, *Русскомъ Мирѣ*. Изъ беллетристическихкихъ произведеній его извѣстны — *Казанская крестьянка*, *Братъ и сестра*, *Бурмистръ*, романы—*Крушинскій*, *Бѣдные дворяне* и *Около денегъ*.

Романъ *Бѣдные дворяне*, мастерски изображающій старинный помѣщичій бытъ и положеніе приживальщиковъ и шутовъ въ помѣщичьихъ усадьбахъ, представляется лучшимъ изъ всего написаннаго Потѣхинымъ. По своей объективности и глубокой реальной правдѣ онъ ни мало не уступаетъ *Проселочнымъ дорогамъ* Григоровича, съ которыми много имѣетъ общаго по содержанію. Менѣе удачны романы Потѣхина изъ народнаго быта по причинамъ, о которыхъ будетъ рѣчь ниже.

Участіе Потѣхина въ экспедиціи литераторовъ къ окраинамъ, предпринятой морскимъ министерствомъ въ 1856 году, о которой намъ неоднократно уже приходилось говорить, имѣло результатомъ нѣсколько этнографическихкихъ статей, каковы: *Рыба Керженецъ*, *Ловля красной рыбы въ саратовской губерніи* и пр.

Первое драматическое сочиненіе А. А. Потѣхина была драма *Судъ людской—не Божій*, поставленная на петербургской сценѣ 29-го апрѣля 1854 года. Слѣдующая затѣмъ драма *Шуба овечья—душа человѣчья*, передѣланная изъ повѣсти *Братъ и сестра*, напечатанная въ 1854 году, была дозволена для представленія на сценѣ черезъ 12 или 13 лѣтъ, въ 1866 или 1867 году. Комедія *Мишура*, напечатанная въ 1858 году, находилась подъ запрещеніемъ для постановки на сценѣ четыре года. Комедія *Отрѣзанный ломоть* была дозволена для представленія на сценѣ въ 1865 году и послѣ тринадцати представленій запрещена. Комедія *Вакантное мѣсто*, напечатанная въ 1870 году, вовсе не была допущена на сцену. Комедія *Въ скавичковскій*.

мутной воды была дозволена къ представленію лишь подъ условіемъ многихъ выпусковъ и измѣненія иѣмецкихъ именъ и фамилій дѣйствующихъ лицъ на русскія.

По количеству написаннаго А. А. Потѣхинымъ изъ народнаго быта какъ въ беллетристической, такъ и въ драматической формахъ его можно было-бы считать народникомъ. Къ сожалѣнію, знаніе его народной жизни имѣетъ поверхностный характеръ: онъ отличный знатокъ всѣхъ внѣшнихъ подробностей народнаго быта: характеры, изображаемые имъ, вѣрны дѣйствительности, выпуклы и чужды стереотипности, рѣчи дѣйствующихъ лицъ совершенно натуральны относительно вѣрности народному говору. Но въ тоже время вы не найдете у Потѣхина и тѣни мало-мальски глубокаго проникновенія во внутреннія основы народной жизни. Напротивъ того, васъ поражаетъ странная двойственность въ этомъ отношеніи во всѣхъ его произведеніяхъ. Съ одной стороны въ нихъ невидимому преобладаютъ тенденціи демократическія, вполне въ духѣ времени. Образованные слои общества обрисовываются съ тѣхъ отрицательныхъ сторонъ, съ какихъ изображала ихъ вся беллетристика разсматриваемаго нами періода. Положительные типы, высокіе нравственные идеалы онъ ищетъ преимущественно въ народѣ. Но взгляните пристальнѣе и вдумайтесь, какого рода нравственные идеалы навязываетъ Потѣхинъ народу, и вы увидите, что идеалы эти мало того, что въ духѣ прописной морали и молчалинскаго смиренномудрія, но зачастую даже въ узкословномъ духѣ, т. е. Потѣхинъ представляетъ себѣ идеальныхъ крестьянъ въ такомъ видѣ, въ какомъ было-бы желательно, чтобы они были съ помѣщичьей точки зрѣнія. Для доказательства этого расскажемъ содержаніе какихъ-нибудь на выдержку двухъ комедій Потѣхина изъ народнаго быта.

Такъ напримѣръ въ комедіи *Чужое добро въ прокъ не идетъ* изображена старинная домостроевская патриархальная семья, вродѣ тѣхъ, какія вы встрѣчаете въ комедіяхъ Островскаго. Старикъ крестьянинъ, содержатель постоялаго двора и ямской станціи на большой дорогѣ, человѣкъ зажиточный, разсчетливый скопидомъ, держитъ всю семью въ ежовыхъ рукавицахъ и требуетъ, чтобы домочадцы безпрекословно исполняли его волю и работали на него какъ рабы. Между тѣмъ у него двое уже взрослыхъ сыновей, изъ которыхъ одинъ, Михайло, человѣкъ уже женатый и въ свою очередь отецъ семейства, а младшій, Алексѣй, еще холостой. Михайло и Алексѣй—это тѣ-же Карлъ и Францъ Моръ шиллеровской драмы: идеально добродѣтельный Алексѣй является *plus royaliste que le roi* и доводитъ свою педантическую легальность до того, что отдаетъ отцу каждый гривенникъ полученный на водку, хотя отецъ вовсе этого не требуетъ; Михайло-же человѣкъ живой, страстный, увлекающійся, тяготится гнетомъ отцовскаго деспотизма, постоянно мечтаетъ о раздѣлѣ; его тяготитъ жена, навязанная ему ковечно насильно, ему хочется разгуляться по бѣлу свѣту, всего посмотреть и испытать! „Эхъ, говоритъ онъ:—кажись, кабы деньги, всего-бы этого насмотрѣлся, всякое-бы себѣ удовольствіе получалъ, да такихъ-бы лошадей себѣ накупилъ, что земля-бы подо мною дрожала... Просто, неси, вихорь-атаманъ разнеси ты мои косточки!“... Правда, грубы и матеріальны его мечты, но что-же дѣлать, если такова ужъ была обстановка, что не могла внушить ему болѣе высокихъ и разумныхъ стремленій? И въ такомъ видѣ, въ какомъ является передъ нами Михайло, онъ способенъ неизмѣримо болѣе возбудить въ насъ симпатію, чѣмъ Алексѣй,—этотъ истуканъ, доведшій

обезличеніе до отсутствія всякаго живого стремленія, ничего не желающій, не слѣбующій и смотрящій, какъ на великій грѣхъ, на каждый самостоятельный шагъ помимо отцовской воли. Тѣмъ не менѣе авторъ становится на сторону Алексѣя и выводитъ его добродѣтельнымъ героемъ драмы, положительнымъ, идеальнымъ типомъ, отбѣняющимъ собою отрицательный типъ развратнаго Михайлы. Къ тому-же, вмѣсто того чтобы вывести дѣйствіе вполнѣ естественно изъ самаго драматическаго положенія лицъ, авторъ сочинилъ искусственную развязку въ видѣ внезапно свалившихся съ неба 30,000, оброненныхъ проѣзжимъ кушомъ. Михайло нашелъ деньги, но отецъ по праву родительской власти отнял ихъ у сына. Въ то время, какъ добродѣтельный Алексѣй постоянно твердилъ, что чужія деньги слѣдуетъ возвратить по принадлежности, отецъ его не очень-то желалъ идти по стезѣ добродѣтели и припряталъ деньги, а чтобы смирить и заставить молчать Михайлу, началъ выдавать ему по мелочамъ на кутежи. Дѣло кончилось тѣмъ, что Михайло, ставнувшись съ развратнымъ чиновничешкой рѣшился по наущенію послѣдняго силою отнять у отца деньги, а въ случаѣ сопротивленія пожалуй и убить его. Но добродѣтельный Алексѣй все это подслушалъ и донесъ отцу. Драма кончается умиленно: отецъ по просьбѣ все того-же добродѣтельнаго Алексѣя прощаетъ своего преступнаго сына, который обѣщаетъ исправиться и пребывать впредь въ полномъ повиновеніи родителю, и въ то-же время старикъ слѣдуетъ отвезти по принадлежности деньги, надѣлавшія столько бѣды, убѣдившись, что чужое добро въ прокъ не идетъ.

Такую сентенцію въ духѣ прописной морали мы видимъ и въ драмѣ *Судь людской, не Божій*. Довольно сказать, что вся драма основана на роковомъ дѣйствіи родительскаго проклятія. Крестьянская дѣвушка слюбилась съ парнемъ; парень посватался къ ней, но отецъ, крестьянинъ зажиточный и гордый, не согласился на бракъ дочери съ бѣднякомъ, а узнавши, что она уже слюбилась съ нимъ, изрекъ свое родительское проклятіе, которое такъ подѣйствовало на дѣвушку, что она упала въ обморокъ и помѣшалась. Отецъ спохватился, но поздно. Въ отчаяніи и сокрушеніи отправился онъ съ возлюбленнымъ дочери въ Кіевъ на богомолье. На возвратномъ пути онъ встрѣтилъ на постояломъ дворѣ полупомѣшанную дѣвушку. Слѣдуетъ умиленная сцена: дѣвушка приходитъ въ себя, отецъ прощаетъ ее, милый предлагаетъ ей руку, но она отказываетъ ему на томъ основаніи, что во время сумасшествія ей снились всѣ адскія муки, и она дала обѣтъ никогда съ милымъ не сходиться, а всю жизнь посвятить Богу и отцу.

Въ отчаяніи милый идетъ въ солдаты, а присутствующій при этомъ помѣщикъ Скрипунювъ, утирая слезы, восклицаетъ: „Трогательная исторія! Именно наши крестьяне (*дѣлаютъ въ воздухѣ неопредѣленное движеніе*) — удивительный народъ! Съ душой!..“

Такого рода маниловская сентиментальность въ духѣ прописной морали проникаетъ всѣ произведенія А. А. Потѣхина изъ народнаго быта.

ляясь на русских сценахъ, столь-же быстро исчезаютъ безъ слѣда, считаемъ не лишнимъ указать лишь на двухъ драматурговъ, заслуживающихъ вниманія. Таковъ во-первыхъ писатель и вмѣстѣ съ тѣмъ б. артистъ императорскихъ петербургскихъ театровъ И. В. Чернышовъ, выступившій на литературное поприще въ 1858 году, когда на казенной сценѣ была поставлена первая пьеса его *Женихъ изъ домового отдѣленія*, имѣвшая крупный успѣхъ, благодаря какъ собственнымъ достоинствамъ, такъ и превосходной игрѣ Мартынова въ роли Ладыжкина. Не меньшимъ успѣхомъ пользовались дальнѣйшія пьесы его—*Не въ деньгахъ счастье*, поставленная на сценѣ Александринскаго театра въ 1859 году, и *Испорченная жизнь*, произведшая не малую сенсацию въ публикѣ во время 1861—62 годовъ, такъ какъ въ ней былъ затронутъ самый жгучій вопросъ того времени, именно женскій.

Но начатая столь блистательно литературная дѣятельность, полававшая благія надежды, прекратилась въ самомъ началѣ. Въ слѣдующемъ-же 1863 году 16 ноября Чернышева не стало; онъ умеръ всего лишь 30 лѣтъ. Написанная имъ передъ смертью пьеса *Чернышкіе и Блѣнкіе* поставлена была много позже по смерти автора. Кромѣ указанныхъ пьесъ Чернышевымъ были написаны также пьесы: *Комедія изъ-за драмы*, *Отецъ семейства* (поставленная въ Александринскомъ театрѣ въ 1860 году въ бенефисъ Мартынова) и комедія *Зачастую*.

Не меньшаго вниманія заслуживаетъ Николай Яковлевичъ Соловьевъ. Онъ родился въ 1845 году въ Казани. Отецъ его, архитекторъ, умеръ, когда мальчику было 7 лѣтъ. Въ 1861 году онъ кончилъ курсъ въ казанской гимназій и началъ слушать лекціи въ московскомъ университетѣ, но за неимѣніемъ средствъ долженъ былъ прекратить. Борясь съ горькою нуждою, единственную отраду онъ находилъ въ томъ, чтобы изрѣдка попасть въ театръ, гдѣ знаменитые актеры того времени—Садовскій, Шуйскій и Самаринъ—производили на юношу такое потрясающее впечатлѣніе, что тогда уже онъ началъ слагать въ своемъ воображеніи пьесы, кое-что уже и писать, но нужда продолжала преслѣдовать его, и онъ былъ принужденъ взять мѣсто учителя въ калужской губерніи, и впродолженіи шести лѣтъ пришлось ему тянуть учительскую лямку. Онъ такъ и заглохъ-бы въ глуши, если-бы не встрѣтился съ К. Н. Леонтьевымъ, который принялъ въ немъ участіе. Въ это время у Соловьева была уже написана вчернѣ комедія *Женитьба Бялушина*. Комедія эта понравилась Леонтьеву, и онъ передалъ ее Островскому, который въ свою очередь пришелъ отъ нея въ восхищеніе, и значительно передѣлавъ ее, содѣйствовалъ къ постановкѣ ея на сцену. Соловьевъ пріѣхалъ въ Москву, и сближеніе его съ Островскимъ было настолько тѣсно, что онъ удостоился рѣдкой, исключительной чести: написать нѣсколько пьесъ совместно съ Островскимъ. Таковы были кромѣ *Женитьбы Бялушина* пьесы *Счастливый день*, *Дикарка*, *Свѣтитъ да не грѣетъ*. И сверхъ того вполне самостоятельно были написаны Соловьевымъ: *На порогъ къ дѣлу*, *Прославилась* и *Медовый мѣсяцъ*. Вѣрныя школы Островскаго, изображающія по большей части провинціальный бытъ средняго дворянства, комедіи Соловьева не имѣютъ какого-либо выдающагося литературнаго значенія, но не лишены сценичности и смотрятся съ удовольствіемъ.

Совершенно особенное, самостоятельное значеніе въ современномъ репертуарѣ имѣетъ Викторъ Александровичъ Крыловъ, болѣе извѣстный публикѣ подъ псевдонимъ-

момъ В. Александрова. Писатель обладающій несомнѣннымъ талантомъ, онъ выступилъ на литературное поприще въ 1862 году, въ самый разгаръ движенія, нѣсколькими пьесами, исполненными широкаго захвата и общественнаго значенія, потерпѣлъ даже административную кару за безошадную рѣзкость обличеній нѣкоторыхъ провинціальныхъ тузовъ. Такія произведенія его, какъ *Столбы*, *Земца* и *Не ко двору*, доставили ему очень почтенную репутацію, и конечно они навсегда сохраняютъ свое значеніе въ исторіи нашей литературы, какъ лучшіе памятники того обличительнаго жара, какимъ въ пятидесятые и шестидесятые годы отличалась наша только что возникшая гласность. Кромѣ этихъ пьесъ, Крыловъ подарилъ нашей литературѣ прекрасный переводъ *Натана Мудраго* Лессинга, весьма добросовѣстно и съ научной обстоятельностью изданный съ подробными комментаріями и библиографическими указаніями.

Къ сожалѣнію В. А. Крыловъ не удержался на той высотѣ, на которую поставили его первыя пьесы, и выступилъ на скользкій путь театральнаго ремесленничества, начавши уже не создавать, а просто-на-просто стряпать пьесы, поставляя на сцену по три по-четыре пьесы ежегодно, такъ что втеченіи около 30 лѣтъ количество пьесъ его, подвизающихся на театральныхъ подмосткахъ, превышаетъ сотню. При такомъ скороспѣломъ, чисто фабричномъ производствѣ пьесъ нечего конечно и ожидать отъ нихъ какихъ-либо серьезныхъ литературныхъ достоинствъ. Въ большинствѣ ихъ В. Ал. Крыловъ является даже не сочинителемъ, а просто-на-просто передѣльвателемъ французскихъ пьесъ на русскіе нравы, воскресивши такимъ образомъ времена Загоскина и кн. Шаховского. Иныя-же пьесы, если не заимствованы съ иностранныхъ сценъ, то страдаютъ другимъ недостаткомъ: онѣ составляютъ продуктъ не свободнаго, возбуждаемаго самой жизнью творчества, а пишутся спеціально для тѣхъ или другихъ любимыхъ публикою актеровъ, причемъ умышленно сочиняются такъ, чтобы въ нихъ были роли, благодарныя для этихъ сценическихъ корифеевъ, и вслѣдствіе этого пьесы долѣе удержались-бы на сценѣ. Изъ всѣхъ подобныхъ ремесленныхъ произведеній наиболѣе выдаются по своей сценичности и успѣху — такія пьесы, какъ *Въ духъ времени*, *Въ осадномъ положеніи*, *На хлѣбахъ изъ милости*, *Къ мировому*, *По духовному завѣщанію* и проч.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ упомянуть еще объ одномъ драматическомъ писателѣ, нѣкоторыя пьесы котораго хотя и не отличаются особенно высокими литературными достоинствами, тѣмъ не менѣе при низменности вкусовъ нашей публики имѣли успѣхъ. Это именно Дмитрій Васильевичъ Аверкіевъ. Онъ родился 30-го сентября 1836 г. въ Екатеринодарѣ въ купеческомъ семействѣ и дѣтство провелъ до 9 лѣтъ въ домѣ одного дѣда въ Екатеринодарѣ, а потомъ у другого дѣда въ Петербургѣ. Учился Аверкіевъ въ петербургскомъ коммерческомъ училищѣ, по окончаніи курса котораго въ 1854 г. поступилъ въ с.-петербургскій университетъ, на естественно-научный факультетъ, откуда вышелъ въ 1859 г. со степенью кандидата. Уже съ дѣтства Аверкіевъ возимѣлъ страсть къ театру, подъ вліяніемъ дѣда, который отпуская даже даромъ лѣсъ на постройку екатеринодарскаго театра. Затѣмъ уже въ университетѣ онъ писалъ комедіи, драмы и стихи; въ печати-же появился впервые въ началѣ 1860 г. въ качествѣ фельетониста подъ псевдонимомъ Ръанова — въ *Рус-*

скомъ *Инвалиды*, затѣмъ въ *Сѣверной Пчелѣ*, писалъ театральныя рецензіи и о журналахъ. Первое драматическое произведеніе его, *Мамаево Побойще*, появилось въ *Эпохѣ* 1864 г. Къ тому-же времени относится его либретто оперы *Сѣрова Романда*, ознаменовавшееся, какъ извѣстно, въ 1868 г. скандальнымъ процессомъ, такъ какъ Аверкіевъ требовалъ, чтобы Сѣровъ дѣлилъ съ нимъ поспектакльную плату.

Въ 1867 и 1868 годахъ появились пьесы—трагедія *Слобода Неволя*, комедія въ стихахъ *Лышій* и другая тоже стихотворная комедія—*Герентій мужъ Данильевичъ*. Въ томъ-же 1868 году въ бенефисъ Самойлова была поставлена его комедія *Фролъ Скобтёвъ*. Но болѣе всего успѣха имѣла драма *Каширская Старина*: поставленная въ 1872 году на московской и петербургской сценахъ, драма эта обошла всѣ провинціальныя театры и до сихъ поръ дается понѣскольку разъ въ зиму.

Принадлежа къ реакціонному лагерю, Аверкіевъ отличается крайнимъ фанатизмомъ и нетерпимостью, доходившими порою въ нѣкоторыхъ его публицистическихъ фельетонахъ до цинической готовности принести себя въ жертву на алтарь отечества, принявъ на себя обязанность палача. Слѣпая, ожесточенная ненависть ко всему, на чемъ лежитъ хотя малѣйшій отпечатокъ европейской образованности и прогресса, унаслѣдованная по всей вѣроятности отъ семьи, вышедшей изъ раскольниковъ среды, соединяется въ немъ съ узкимъ патриотизмомъ официальнаго характера и благоговѣніемъ передъ такъ называемою „священною стариною“. Онъ считаетъ себя въ своемъ родѣ народникомъ, но въ этомъ народничествѣ народомъ конечно и не пахнетъ, а заключается оно въ чисто археологической страсти къ до-петровскому быту, къ народнымъ пѣснямъ и обрядамъ и всему, что носитъ печать такъ называемой „самобытности“.

Драмы его подкупаютъ грубыя вкусы толпы мелодраматическими трескучими эффектами, народными пѣснями и цѣлыми хороводами, но въ чтеніи онѣ не только лишены всякой художественности и сюжетности, а мѣстами положительно курьезны, вслѣдствіе того что авторъ, увлекаясь археологическими дѣлами, заставляетъ своихъ героевъ говорить невообразимо исковерканнымъ языкомъ, которымъ яко-бы говорили наши предки. Вообще всѣ произведенія Аверкіева являются отнюдь не плодами свободнаго, естественнаго творчества, а представляютъ собою нѣчто дѣланное, сочиненное; отъ нихъ пахнетъ потомъ усиленнаго труда, и вмѣстѣ съ тѣмъ отзываетъ чѣмъ-то вродѣ юродства блаженной памяти Тредьяковскаго.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

I. Дѣтство и юность Николая Алексѣевича Некрасова. II. Последующіе факты его жизни. III. Два элемента творчества Некрасова. Характеръ рефлексивнаго элемента. IV. Характеръ разночинно - народнаго элемента. V. Присутствіе обоихъ элементовъ въ стихотвореніяхъ изъ народнаго быта. Общій выводъ.

I.

Стихотворная поэзія разсматриваемаго нами періода, хотя и не имѣла такихъ геніальныхъ представителей, какъ гиганты предшествовавшей эпохи, Пушкинъ и Лермонтовъ, за то въ количественномъ отношеніи она представляетъ значительное обиліе болѣе или менѣе крупныхъ и сильныхъ талантовъ самаго разнороднаго характера. Всѣ направленія, лагеря и вѣянія времени не замедлили отразиться въ поэзіи послѣднихъ сорока лѣтъ и выставить своихъ пѣвцовъ и выразителей. Такъ мы видимъ, что прежде всего всѣ поэты этой эпохи раздѣляются на двѣ обширныя группы, сообразно тѣмъ двумъ эстетическимъ доктринамъ, которыя были завѣщаны сороковыми годами: на группу пѣвцовъ жизни, „гражданскихъ мотивовъ“, какъ выражались въ концѣ пятидесятихъ годовъ и на служителей чистаго искусства.

Во главѣ пѣвцовъ жизни первое мѣсто, какъ властитель думъ и чувствъ всей современной эпохи, безспорно занимаетъ Николай Алексѣевичъ Некрасовъ, съ котораго мы и начнемъ разсмотрѣніе современной поэзіи.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ принадлежитъ къ помѣщичьему роду Ярославской губерніи, нѣкогда очень богатому, но потомъ обѣднѣвшему. Отецъ поэта Алексѣй Сергѣевичъ, служилъ въ арміи и не отличался повидному особеннымъ образованіемъ. Большую часть службы онъ состоялъ въ адъютантскихъ должностяхъ, постоянно разъѣзжая по имперіи и бывая часто то въ Кіевѣ, то въ Одессѣ, то въ Варшавѣ. Во время этихъ разъѣздовъ онъ случайно познакомился съ семействомъ богатаго польскаго магната Андрея Закревскаго и женился на старшей дочери его Александрѣ противъ воли родителей. Жизнь извѣженной въ роскоши польской панны потянулась среди лишений и дрязгъ походной жизни. Пространствовавъ еще нѣсколько лѣтъ съ полкомъ, дослужившись до чина капитана, Алексѣй Сергѣевичъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ имѣніи Ярославской губерніи и уѣзда, въ селѣ Грешневѣ, на почтовомъ трактѣ по Владимірской дорогѣ.

Н. Ал. Некрасовъ родился въ 1821 г. 22 ноября, въ подольской губерніи, въ Винницкомъ уѣздѣ, въ какомъ-то еврейскомъ мѣстѣчкѣ. Онъ очень рано началъ помнить себя. Но не веселыя картины дѣтства сохранились въ рано пробудившейся памяти его. Въ нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ, каковы напр. *Родина* и поэма *Несчастные*, поэтъ даетъ намъ ясное представленіе о грустныхъ картинахъ, вынесенныхъ имъ изъ родительскаго дома.

Началомъ умственнаго развитія Некрасовъ былъ обязанъ матери. Съ семилѣтнаго возраста началъ онъ писать стихи. Отъ матери онъ перешелъ къ учителямъ-семинаристамъ, а въ 1832 году былъ опредѣленъ въ ярославскую гимназію. Изъ подъ суроваго гнета родительскаго дома одиннадцатилѣтній мальчикъ попалъ на безграничную свободу почти вполне самостоятельнаго жизни. Ученье шло разумѣется незавидно. Особенно не удавались Некрасову древніе языки. Въ теченіи шести лѣтъ съ трудомъ достигъ онъ до пятаго класса, а тутъ еще примѣшались натапнутыя отношенія къ начальству. Продолжая писать стихи, Некрасовъ написалъ нѣсколько сатиръ на товарищей и гимназическое начальство. Онѣ дошли до послѣдняго, и оставаться долѣе въ гимназій было немисленно.

Тогда отецъ рѣшился послать сына (въ 1839 году) доканчивать ученіе въ Петербургъ, въ дворянскій полкъ (одинъ изъ тогдашнихъ корпусовъ). По прибытіи въ столицу Некрасовъ явился къ начальнику III корпуса жандармовъ, генералу Полозову съ рекомендательнымъ письмомъ отъ пріятеля отца, ярославскаго прокурора, Полозова-же; имъ былъ онъ представленъ Я. И. Ростовцеву, и дѣло было почти рѣшено. Но случайно онъ встрѣтился съ ярославскимъ товарищемъ, студентомъ Андреемъ Глушицкимъ, и тотъ вмѣстѣ съ двумя другими студентами, Ильенковымъ и Косовымъ, отговорили Некрасова отъ поступленія въ корпусъ и увлекли его поступить въ университетъ. Остановка была за вступительными экзаменами, такъ какъ Некрасовъ былъ слабъ въ древнихъ языкахъ и въ математикѣ; но Глушицкій познакомилъ его съ профессоромъ духовной семинаріи Д. И. Успенскимъ, и они вдвоемъ взялись приготовить Некрасова въ университетъ. Когда объ этомъ узналъ отецъ Некрасова, онъ воспыалъ сильнымъ гнѣвомъ и отписалъ ему, что если онъ не отложитъ намѣренія идти въ университетъ, пусть впередъ не рассчитываетъ ни на одну копѣйку родительской помощи.

И вотъ шестнадцатилѣтній мальчикъ очутился безъ всякихъ средствъ и положенія, съ 150 рублями въ карманѣ и съ паспортомъ „недоросля изъ дворянъ“, по которому Некрасовъ жилъ до конца дней. Онъ поселился съ какимъ-то неизвѣстнымъ товарищемъ на Малой Охтѣ; довольствоваться имъ приходилось не болѣе какъ 15 коп. въ сутки на брата, беря обѣдъ изъ какой-то ужасающей кухмистерской, о которой Некрасовъ съ ужасомъ вспоминалъ всю жизнь. Затѣмъ онъ переселился къ проф. Успенскому. Пріемнаго экзамена въ университетъ онъ не выдержалъ, срѣзавшись изъ географіи, и былъ принужденъ поступить въ университетъ на филологическій факультетъ вольнослушателемъ.

Университетская жизнь Некрасова продолжалась съ 1839 по 1841 годъ. Матеріальное положеніе его во все это время было самое отчаянное: приходилось перебиваться кое-какъ грошовыми уроками и случайными журнальными работами. „Ровно

три года,—говорилъ Некрасовъ,—я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Приходилось ѣсть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я отпраивался въ одинъ ресторанъ въ Морской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя-бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь бывало для виду газету, а самъ пододвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь*... Силы Некрасова постоянно надрывались и наконецъ онъ сильно заболѣлъ. Докторъ, объясняя его болѣзнь голоданіемъ, приговорилъ его уже къ смерти. Но молодой организмъ вынесъ болѣзнь, оставившую все таки свои слѣды на всю жизнь.

Матеріальное положеніе Некрасова еще болѣе было подорвано этой болѣзнію. Приходилось пользоваться милостью квартирныхъ хозяевъ, оставшаго унтеръ-офицера съ женою, у которыхъ онъ нанималъ квартиру по Разъѣзжей. Задолжалъ имъ Некрасовъ во время болѣзни рублей сорокъ.

«Хозяинъ, рассказываетъ онъ, еще ничего, но хозяйка сильно беспокоилась, что я умру и деньги пропадутъ. За перегородкою постоянно слышались разговоры по этому поводу. Наконецъ въ одинъ прекрасный день ко мнѣ явился хозяинъ, объяснилъ свои опасенія съ полною откровенностью и просилъ меня написать ему росписку въ томъ, что я оставляю ему за долгъ свой чемоданъ, книги и остальные вещицы. Я написалъ. Думаю: чего добраго, не стануть и хоронить, да и люди они были дѣйствительно бѣдные. Черезъ нѣсколько времени мнѣ стало однако лучше, и я вскорѣ настолько уже оправился, что рѣшился пойти съ Разъѣзжей на Выборгскую сторону къ одному знакомому студенту-медику. Добравшись кое-какъ до него, я тамъ засидѣлся до поздняго вечера. Возвращаясь ночью домой, сильно прозябъ, такъ какъ на мнѣ было холодное пальтишко, а дѣло было осенью—въ октябрѣ или ноябрѣ. Прихожу къ дверямъ, звоню разъ, другой... Не пускають,—говорять, что въ моей комнатѣ поселился уже другой жилецъ. Что-же касается до моего долга, то хозяева считаютъ себя вполне удовлетворенными моимъ имуществомъ, которое я имъ оставилъ за долгъ, въ чемъ и выдалъ росписку. Скверно стало мнѣ. Я остался одинъ на улицѣ, остался безъ ничего, въ плохомъ пальтишкѣ въ осеннюю холодную ночь. Побрелъ я, куда глаза глядятъ, не сознавая куда и зачѣмъ, пробрался на Невскій и сѣлъ тамъ на скамеечку, какія выставляются у ресторановъ для посѣтителей. Прозябъ. Чувствовалъ сильную усталость и упадокъ силъ. Наконецъ уснулъ. Разбудилъ меня какой-то старикъ, оказавшійся нищимъ, который, проходя мимо, жалился надо мною и пригласилъ меня съ собою куда-то ночевать. Я пошелъ. Пришли на Васильевскій островъ, въ 15-ю линію. Тамъ, въ самомъ концѣ улицы, стоялъ деревянный полуразвалившійся домикъ, въ который мы и вошли. Въ домѣ оказалось много народу. Все это были нищѣ, которые собирались здѣсь ночевать. Не помню я всѣхъ разговоровъ, которые велись здѣсь, помню только, что я написалъ кому-то прошеніе и получилъ за это 15 коп.»

Рядомъ съ такой страшною нищетою и труппными сдѣлами Некрасовъ видѣлъ картины сытой роскоши, и самъ порою участвовалъ въ ея утонченныхъ прѣлахъ.

«Въ тѣ времена,—читаемъ мы въ біографіи Некрасова, помѣщенной въ VII т. *Русской Библіотеки* Стасюлевича,—преимущественно въ университетѣ сосредоточивалась молодежь изъ знати, и университетскіе товарищескіе кружки смѣливали въ себѣ всѣ состоянія и званія. Бѣдный молодой человѣкъ, съ бюджетомъ чуть не въ нѣсколько копѣекъ въ день, легко сблизался съ юношами вышнихъ и богатыхъ классовъ,—и не только сблизался, но благодаря своимъ личнымъ талантамъ, способностямъ и веселому характеру, могъ даже первенствовать между ними; на студен-

ческих собраніяхъ и ширюшкахъ, устраняемыхъ въ то время на подобіе нѣмецкихъ кнейповъ и коммершей, предводительствовали не тотъ, кто знатнѣе всѣхъ, но кто лучше дрался на эскадронахъ и раниръ, кто былъ мужественнѣе и физически ловчѣе. Въ такихъ-то веселыхъ и разгульныхъ товарищескихъ кружкахъ внезапно очутился провинціальный юноша, возросшій въ деревнѣ, и тутъ-то ознакомился впервые съ обыденною жизнію и нравами другихъ общественныхъ классовъ, которые безъ университетской жизни остались-бы ему извѣстными только по слухамъ. Эта новая обстановка, какъ и прежняя деревенская, не осталась безъ вліянія въ будущемъ на поэзію Некрасова и на самый его характеръ, а также на условія дальнѣйшей жизни: завязанныя имъ тогда связи сохранились и впоследствии; недостатки и слабыя стороны жизни высшихъ общественныхъ слоевъ стали ему знакомы изъ первыхъ рукъ — и хорошо знакомы.

При столь тяжелой борьбѣ за существованіе Некрасову нечего было и думать о правильномъ развитіи таланта. Почти сразу по пріѣздѣ въ Петербургъ, пятнадцати лѣтъ долженъ онъ былъ приняться за черный литературный трудъ въ видѣ случайныхъ мелкихъ срочныхъ статей въ *Литературныхъ прибавленіяхъ къ Инвалиду* и *Литературной Газетѣ* А. Краевскаго, *Сынъ Отечества* П. Л. Полевого, въ *Пантеонѣ*, *Отечественныхъ Запискахъ*; писалъ водевили для александринскаго театра, былъ поставщикомъ у книгопродавца Полякова азбукъ и сказокъ (таковы, наиримѣръ, сказка *Баба-Яга*, лѣтъ черезъ тридцать вновь изданная по какому-то праву Печаткинымъ съ громкимъ именемъ автора). По собственнымъ словамъ онъ нанисалъ въ своей жизни до трехсотъ печатныхъ листовъ прозы.

Особенно помогъ ему встать на ноги и избавиться отъ нищеты Григорій Францовичъ Венецкій, наставникъ-наблюдатель въ пажескомъ корпусѣ и преподаватель въ дворянскомъ полку. Онъ содержалъ приготовительный пансіонъ для поступающихъ въ корпуса, и, познакомившись гдѣ-то съ Некрасовымъ, предоставилъ ему занятія при своемъ пансіонѣ по всѣмъ русскимъ предметамъ. Это избавило юношу отъ прелестей ночлеговъ подъ открытымъ небомъ. Венецкому-же былъ обязанъ Некрасовъ появленіемъ изданія своихъ дѣтскихъ стихотвореній подъ заглавіемъ *Мечты и звуки*. Матеріальное положеніе его въ 1840 году настолько улучшилось, что онъ могъ даже скопить нѣсколько деньжонокъ на это изданіе. Къ тому-же Венецкій склонилъ его приступить къ нему, обязавшись продать по билетамъ заравѣе рублей на пятьсотъ. Некрасовъ все-таки колебался, но было уже поздно отказываться отъ дѣла: Венецкій успѣлъ продать до сотни билетовъ, и деньги были прожиты. Некрасовъ обратился за совѣтомъ къ Жуковскому, который не совѣтовалъ ему выпускать изданіе, говоря, что онъ потомъ будетъ жалѣть объ этомъ; но такъ какъ было поздно, то Жуковскій посоветовалъ ему по крайней мѣрѣ снять съ книги имя. Некрасовъ такъ и сдѣлалъ, и книга вышла лишь съ заглавными буквами его имени—Н. Н.

Изданіе Некрасова встрѣтило безпощадный отзывъ Вѣлинскаго въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Это былъ одинъ изъ тѣхъ краткихъ отзывовъ, какіе можно встрѣтить въ каждой книжкѣ тогдашнихъ журналовъ по поводу безпрестанно появлявшихся начинаній юныхъ поэтовъ, претендовавшихъ на славу Пушкина. Вѣлинскій въ своей рецензіи не входилъ вовсе и въ разборъ стиховъ Некрасова, а ограничивался нѣсколькими бѣглыми мыслями о томъ, какой промахъ дѣлаютъ люди не одаренные

поэтическимъ талантомъ, выступая на литературное поприще со стихами; проза для нихъ благодарнѣе стиховъ. Впрочемъ въ *Сѣверной Пчелѣ*, *Библиотекѣ для Чтенія* и *Современникѣ* Плетнева Некрасовъ прочелъ болѣе лестныя для себя рецензїи, находившія въ его стихахъ проблески таланта и возлагавшія на него надежды. Книга, розданаая на комиссію въ разные магазины, не пошла, и вполнѣдствїи Некрасовъ самъ ее скупалъ и истреблялъ подобно Гоголю, поступавшему такимъ образомъ со своимъ *Гансомъ-Кюхельмартеномъ*.

II.

Съ 1841 по 1845 годъ слѣдуетъ важнѣйшїй періодъ во всей жизни Некрасова, потому что впродолженїи его окончательно сформировались всѣ его умственныя и нравственныя силы, и онъ является подъ конецъ его такимъ, какимъ оставался во всю послѣдующую жизнь. Къ сожалѣнію періодъ этотъ—самый темный въ біографическомъ отношенїи. Намъ извѣстно лишь, что продолжая жить литературнымъ трудомъ, онъ вращался въ самыхъ разнообразныхъ кружкахъ, великосвѣтскихъ, чиновныхъ, литературныхъ, театральныхъ, студенческихъ и пр. Къ этому-же времени относится и знакомство его съ кружкомъ Бѣлинскаго, который конечно и былъ главнымъ двигателемъ умственнаго развитїя Некрасова, опредѣлившїи всю его дальнѣйшую литературную дѣятельность.

«Въ началѣ сороковыхъ годовъ, говоритъ объ этомъ И. Панаевъ въ своихъ воспоминанїяхъ, къ числу сотрудниковъ *Отечественныхъ Записокъ* присоединился Некрасовъ; нѣкоторыя его рецензїи обратили на него вниманїе Бѣлинскаго, и онъ познакомился съ нимъ.

«Литературная дѣятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особеннаго. Бѣлинскїй понялъ, что Некрасовъ навсегда останется не болѣе, какъ полезнымъ журнальнымъ сотрудникомъ; но когда онъ прочелъ ему свое стихотворенїе *На дорогѣ*, у Бѣлинскаго засверкали глаза, онъ бросился къ Некрасову, обнялъ его и сказалъ чуть не со слезами на глазахъ:

— Да знаете-ли вы, что вы поэтъ—и поэтъ истинный?

«Съ этой минуты Некрасовъ еще болѣе возвысился въ глазахъ его... Его стихотворенїе *Къ родитѣ* привело Бѣлинскаго въ восторгъ. Онъ выучилъ его наизусть и послалъ его въ Москву къ своимъ прїятелямъ... У Бѣлинскаго были эпохи, какъ я уже говорилъ, когда онъ особенно увлекался кѣмъ-нибудь изъ друзей своихъ... Въ эту эпоху онъ былъ увлеченъ Некрасовымъ и только и говорилъ о немъ. Некрасовъ съ этихъ поръ сдѣлался постояннымъ членомъ нашего кружка».

Къ этому времени относится изданїе различныхъ литературныхъ сборниковъ, которые представляются какъ-бы подготовленїемъ Некрасова къ его издательско-журнальной дѣятельности. Таковы были *Статейки въ стихахъ безъ картинокъ*, изд. 1843 году, *Физиологія Петербурга*, изд. въ 1845 году, *Первое апрѣля*, изд. 1846 году и *Петербургскїй Сборникъ* тоже въ 1846 году. Наконецъ въ 1848 году Некрасовъ въ компанїи съ Панаевымъ купилъ у Никитенко Пушкинскїй *Современникъ*, который и началъ издаваться съ 1-го января 1847 года подъ его редакцію.

Журнальную дѣятельность Некрасова можно раздѣлить на три періода: первый

періодъ — отъ 1847 по 1855 годъ — представляется самой тяжелой эпохой, какъ въ журнальной дѣятельности его, такъ и въ самой жизни. Бѣлинскій умеръ въ 1848 г. Наступили годы реакціи. Ко всему этому присоединилась тяжкая болѣзнь, которая была слѣдствіемъ частью ненормальной жизни въ молодости, частью — неустанной, изнурительной работы, такъ какъ въ это время весь журналъ лежалъ на его плечахъ. Лучшіе доктора, русскіе и иностранные, опредѣлили горловую чахотку и присудили его къ неизбежной смерти. Но все это оказалось лишь ложною тревогою. Профессоръ медико-хирургической академіи Шпаулинскій объяснилъ болѣзнь совсѣмъ иначе и предписалъ сообразно своему діагнозу леченіе, шедшее въ полный разрѣзъ съ мнѣніями знаменитостей, и выздоровленіе Некрасова, тщетно проведеннаго передъ тѣмъ зиму въ Римѣ и заблудшаго тамъ нещепотерянно въ холодныхъ отеляхъ, пошло такъ быстро, что отъ мнимои чахотки не осталось и слѣда, кромѣ нѣкоторой слабости голоса. А затѣмъ кончилась крымская война, началась эпоха либерализма и реформъ. *Современникъ* ожилъ: къ нему начали приливать новыя могучія литературныя силы, и количество подписчиковъ съ каждымъ годомъ начало возрастать тысячами.

Второй періодъ журнальной дѣятельности, съ 1856 по 1866 г. — былъ періодомъ наибольшаго развитія силъ и дѣятельности Некрасова. Умственный и нравственный горизонты поэта значительно раздвинулись подъ вліяніемъ того сильнаго движенія, какое началось въ обществѣ, и тѣхъ людей, которые окружали его.

Прежніе идеалы оттѣсняются новыми, и подобно тому, какъ Бѣлинскій не любилъ, когда ему напоминали о *Бородинской годовщинѣ* или *Менцель*, такъ и Некрасовъ неохотно вспоминалъ о грѣхахъ юности, вродѣ романа *Три страны свѣта*. Это просвѣтленіе отразилось и въ творчествѣ поэта. Отъ горячаго, но крайне неопредѣленнаго протеста противъ пошлости, насилія и рабства онъ обращается теперь къ народному горю въ широкомъ и глубокомъ смыслѣ. Все лучшее и наиболѣе сильное написано имъ въ этотъ второй періодъ его журнальной дѣятельности: *Размышленіе у параднаго подъѣзда*, *Морозъ - Красный носъ*, *Коробейники*, *Жельзная дорога*, *Крестыанскія дѣти* и пр. Въ тоже время не перестаетъ онъ принимать дѣятельное участіе и въ изданіи журнала: и своимъ руководствомъ, и своими практическими совѣтами, и связями, и наконецъ личными трудами. Такъ между прочимъ ему принадлежитъ мысль о приложеніи *Свистка* къ *Современнику*. Мысль эта явилась у него еще во время пребыванія въ Римѣ въ 1856 году. Ему тамъ часто попадалась въ руки одна изъ мѣстныхъ сатирическихъ газетъ и подъ впечатлѣніемъ ея онъ вознамѣрился завести *Свистокъ* при *Современникѣ*. Въ *Свисткѣ* этомъ было помѣщено не мало его сатирическихъ куплетовъ, въ томъ числѣ *Дружеская переписка Москва съ Петербургомъ*, приписанная Добролюбову, которому принадлежать лишь примѣчанія къ этимъ куплетамъ. Въ тоже время и матеріальное благосостояніе Некрасова окончательно упрочилось лишь въ этотъ второй періодъ его жизни. Кромѣ успѣха *Современника* Некрасовъ не мало былъ обязанъ этимъ и изданію своихъ стихотвореній, которое было разрѣшено ему въ 1860 году, по ходатайству графа А. В. Адлерберга.

Прекращеніемъ *Современника* въ 1866 году кончается второй періодъ журнальной дѣятельности Некрасова, и затѣмъ слѣдуютъ два года переходнаго состоянія,

весьма тяжелаго. Съ 1868 года начинается третій періодъ, въ которомъ Некрасовъ является уже во главѣ *Отечественныхъ Записокъ*, и періодъ этотъ длится до его смерти.

Въ эти послѣднія десять лѣтъ своей жизни Некрасовъ былъ все также дѣятеленъ и бодръ духомъ, талантъ его стоялъ на той-же высотѣ и творчество его ознаменовалось рядомъ произведеній не уступающихъ прежнимъ—каковы: *Русскія женщины*, *Кому на Руси жить хорошо* и пр.; но въ тоже время физическія силы начали измѣнять ему съ каждымъ годомъ, онъ замѣтно старѣлъ, хилѣлъ, а въ послѣднія пять лѣтъ часто началъ и прихварывать.

Жизнь въ послѣдніе годы велъ онъ довольно однообразную. Зимы проводилъ въ своей городской квартирѣ на Литейной въ домѣ Краевского, въ которой онъ прожилъ лѣтъ двадцать. Зимой писалъ онъ весьма мало. Лѣтомъ уѣзжалъ или къ брату, въ Ярославское имѣніе послѣдняго, или въ Чудово, гдѣ онъ имѣлъ охотничью дачу. Тутъ-то обыкновенно среди сельской обстановки и природы и возбуждалось въ немъ поэтическое творчество, и рѣдкая осень обходилась безъ того, чтобы по возвращеніи въ городъ, онъ не привозилъ чего-нибудь новаго, что читалъ обыкновенно друзьямъ и обрабатывалъ для печати, пока столичная жизнь не втягивала его въ свое колесо. Большое вліяніе на его творчество имѣла врожденная и унаслѣдованная отъ отца страсть къ охотѣ.

Первые признаки болѣзни, сведшей Некрасова въ могилу, появились уже въ началѣ 1875 года, но Некрасовъ все перемогался больше году, продолжая вести прежнюю жизнь и не обращая особеннаго вниманія на болѣзнь, которую приписывалъ геморoidalнымъ припадкамъ, и былъ увѣренъ, что они не представляютъ никакой серьезной опасности. Но къ веснѣ 1876 г. болѣзнь начала заявлять себя такъ сильно и мучительно, что потребовала уже серьезнаго леченія. Лѣто провелъ Некрасовъ въ Гатчинѣ, въ упорной борьбѣ со своею болѣзнію, а осенью долженъ былъ ѣхать въ Крымъ, сильно уже ослабѣвшій и изнемогшій. Воротился онъ изъ Крыма, гдѣ пользовалъ его докторъ Воткинъ, зимою въ Петербургъ и уже почти не вставалъ съ постели, изрѣдка только прогуливаясь по комнатамъ. Жестокія нервныя боли, увеличиваясь день ото дня, къ веснѣ 1877 г. дошли до нестерпимыхъ, чисто адскихъ мукъ. Въ рѣдкія минуты успокоенія Некрасовъ не переставалъ слѣдить за литературою и жизнью, читалъ газеты, корректуры, писалъ свои послѣднія пѣсни. Единственнымъ отраднымъ утѣшеніемъ для него въ это время было скорбное участіе въ его болѣзни всего русскаго общества. Со всѣхъ концовъ Россіи, изъ самыхъ дальнихъ ея участковъ, стекались къ нему письма, стихотворенія, телеграммы, выражавшія глубокое, искреннее сочувствіе къ нему какъ къ поэту народной скорби вмѣстѣ съ пожеланіями избавленія отъ болѣзни и долгодѣтельной жизни.

Около 20-го ноября стали появляться признаки изнурительной лихорадки, результатомъ которыхъ было то, что исхуданіе и слабость еще болѣе увеличились, и 14-го декабря онъ сталъ уже несвязно говорить, лишился употребленія правой руки и ноги; 27-го же началась агонія, и вечеромъ въ тотъ-же день, 8-го часовъ 40 минутъ, его не стало.

Похороны происходили 30-го декабря въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. День былъ

ясный, но чрезвычайно морозный, и это конечно было главною причиною, что толпа шедшая за гробомъ, не превышала четырехъ тысячъ человекъ. Тѣмъ не менѣе похороны Некрасова все-таки представляли собою видъ торжественной и трогательной оваціи въ память почившаго поэта. Послѣ отпѣванія въ церкви Новодѣвичьяго монастыря было произнесено протоіереемъ Горчаковымъ надгробное слово съ глубокимъ чувствомъ и умомъ. Когда гробъ былъ опущенъ въ могилу и зарытъ, было произнесено еще нѣсколько теплыхъ словъ надъ могилою поэта, и затѣмъ толпа тихо разошлась, унося въ сердцахъ глубокую скорбь и вѣчную память о своемъ дорогомъ poetѣ.

III.

Ни объ одной писателѣ не составилось столько одностороннихъ, предразсудочныхъ взглядовъ, какъ о Некрасовѣ. Брала какой-нибудь одинъ изъ элементовъ его поэзіи, и по немъ судили обо всей его дѣятельности. Такъ наиримѣрь, въ массѣ его произведеній вы конечно найдете нѣсколько такихъ, которыя написаны съ предвзятыми тенденціозными цѣлями: таковы хотя - бы разные сатирическіе куплеты, напечатанные въ *Свисткѣ* и другихъ изданіяхъ; но эти куплеты составляютъ такое незначительное меньшинство сравнительно со всѣмъ прочимъ написаннымъ Некрасовымъ, что было-бы въ высшей степени несправедливо по этимъ пьесамъ судить обо всей дѣятельности поэта. А между тѣмъ до сихъ поръ въ значительной массѣ публики сохраняется о Некрасовѣ мнѣніе, какъ о чемъ-то вродѣ русскаго Ювенала. Нѣтъ основанія отрицать совсѣмъ сатирическій элементъ поэзіи Некрасова. Въ значительной дозѣ входитъ онъ въ массу произведеній, но все-таки это больше ничего, какъ элементъ и вполнину не исчерпывающій всей поэзіи Некрасова.

Если-жевы, откинувъ всѣ эти предвзятыя сужденія, начнете перебирать подъ-рядъ всѣ стихотворенія Некрасова, — вы болѣе и болѣе будете убѣждаться, что передъ вами поэтъ-лирикъ въ истинномъ и буквальномъ смыслѣ этого слова, который въ большинствѣ случаевъ пѣлъ вполне безхитростно, повинувъшись лишь своей творческой фантазіи или накопившему чувству, мало заботясь о строгой выдержкѣ и систематичности своихъ произведеній или о томъ, въ какой степени они выйдутъ содержательны и какое произведутъ впечатлѣніе. Сегодня его поразили размышленія у параднаго подъѣзда, — онъ пишетъ сатиру, исполненную гражданской скорби, а завтра онъ способенъ тѣмъ-же перомъ рассказывать вамъ о томъ, какъ „*долго не сдавалась Любушка сосѣдка*“. Сегодня подъ гнетомъ столичной суеты онъ вамъ передастъ свои скорбныя впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ ненастнаго, осенняго дня, а завтра подъ обаяніемъ сельскаго приволья подаритъ вамъ трогательною буколическою идилліею, въ которой расскажетъ о крестьянскихъ дѣтяхъ, о дядѣ Мазаѣ съ зайцами или о своихъ впечатлѣніяхъ, навѣянныхъ ветхою, полуразрушенною сельскою церковью. Если большинство произведеній Некрасова однообразны по мрачному, тоскливому тону, зато по формѣ и содержанію они представляютъ самое пестрое разнообразіе. Подвести ихъ подъ какія-нибудь рубрики нѣтъ никакой возможности безъ крайнихъ натяжекъ. Нѣкоторыя стихотворенія до того разнородны по содержанію и по стилю,

что можно приписать их разным поэтамъ. Такъ напримѣръ статочное-ли дѣло, чтобы одному и тому-же писателю могли принадлежать поэма *Русскія женщины* и дука *Сторона наша убогая*, эlegantныя элегіи въ пушкинскомъ стилѣ, вроде *Да, наша жизнь текла мятенно*, и рядомъ съ нимъ пѣсня вроде *У людей-то въ дому—чистота, мнота*. Можно положительно сказать, что вся русская жизнь отразилась въ стихотвореніяхъ Некрасова въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, начиная великовѣтскими салонами и клубами и кончая чердакомъ труженника, интеллигентнаго пролетарія или подваломъ мастерового, начиная барскою усадьбою и кончая полуразвалившеюся хатой тетушки Ненилы. При такомъ разнородномъ всеобъемлющемъ содержаніи своихъ произведеній Некрасовъ является отнюдь не пѣвцемъ какого-либо сословія, партіи, кружка, а однимъ изъ тѣхъ собирательныхъ лириковъ, которые отражаютъ въ своихъ произведеніяхъ думы дѣлаго вѣка своей родной земли, которые выплакиваютъ въ своихъ звукахъ слезы всѣхъ своихъ современниковъ и соплеменниковъ. Въ этомъ заключается причина популярности Некрасова не только среди людей одного съ нимъ лагеря, но и въ массѣ грамотнаго люда, чуждаго какихъ-либо партійныхъ увлеченій.

Но этого мало, что Некрасовъ въ своихъ произведеніяхъ воспѣлъ всѣ слои общества, — широкое и всестороннее значеніе музы его заключается также и въ томъ, что онъ отразилъ въ своихъ стихотвореніяхъ всѣ тѣ элементы, броженіе которыхъ составляютъ суть разсматриваемаго нами періода. Какъ поэтъ переходной эпохи, отразившій въ своихъ стихахъ самые разнохарактерные мотивы своего времени, Некрасовъ далеко не представляетъ той дѣльности и одноформенности, какія мы замѣчаемъ въ поэтахъ, выразителяхъ духа и мотивовъ того тѣснаго интеллигентнаго слоя, къ которому они принадлежатъ, или съ другой стороны чѣмъ могъ-бы отличаться поэтъ, вышедшій прямо изъ народа и мало соприкасающійся съ высшими слоями общества, вроде Кольцова или Шевченко. Въ лирикѣ Некрасова вы постоянно замѣчаете присутствіе двухъ чловѣкъ, которые при всемъ своемъ тѣсномъ соприкосновеніи другъ съ другомъ однакоже представляютъ значительную разнородность, порою даже и полное противорѣчіе. Такъ мы видимъ, что съ одной стороны лирика Некрасова, повинная духу времени, выражаетъ собою то пробужденіе совѣсти въ интеллигентномъ чловѣкѣ, которое послѣдовало въ концѣ сороковыхъ и началѣ пятидесятихъ годовъ, тѣ отрицанія обветшалыхъ формъ жизни во имя новыхъ идеаловъ, горячіе порывы къ этимъ новымъ идеаламъ, протесты во имя ихъ, при горькомъ сознаніи надломленности, дряблости и безсилія сдѣлать хотя одинъ шагъ къ ихъ осуществленію.

Но поэзія Некрасова не исчерпывается одними рефлексивными мотивами сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ. Взлелѣявши въ нѣдрахъ помѣщичьей среды, судьба словно преднамѣренно выкинула его потомъ изъ нея и заставила его протянуть ляжку разночинца въ самомъ тяжеломъ ея видѣ — борьбѣ съ голодомъ изъ-за черстватаго куска хлѣба, — и изъ его лиры полились совершенно особенные, невѣдомые звуки, съ которыми ничего общаго не имѣетъ рефлексивная лирика сороковыхъ годовъ. Эти-то звуки и довершили значеніе Некрасова, какъ всеобъемлющаго пѣвца своего народа и вѣка.

По порядку элементовъ, обратимъ сначала вниманіе на тѣ мотивы лирики Некрасова, въ которыхъ выражается рефлексивный духъ сороковыхъ годовъ. Здѣсь мы ви-

димъ въ лицѣ Некрасова мрачнаго пессимиста, и муза его вполне соответствуетъ тѣмъ эпитетамъ, которые онъ самъ къ ней приложилъ: является дѣйствительно музою мести и печали. Безпощадно бичуя всевозможные общественные пороки, гнѣздящаяся на почвѣ старыхъ порядковъ, поэтъ ни въ чемъ не находитъ утѣшенія и не видитъ никакого выхода изъ мрачнаго положенія вещей. Печально глядитъ онъ на свое поколѣнiе и, замѣчая въ немъ полный разладъ словъ и дѣлъ, одиѣ радужныя мечты при полномъ безсплннѣ къ осуществленiю ихъ, восклицаетъ:

Покорись — о ничтожное племя,
 Невзбѣжной и горькой судьбѣ!
 Захватило насъ трудное время
 Неготовыми къ трудной борьбѣ:
 Вы еще не въ могилѣ, вы живы,
 Но для дѣла вы мертвы давно.
 Суждены вамъ благіе порывы,
 Но свершить ничего не дано.

Подобный мотивъ часто мелькаетъ во многихъ его стихотворенiяхъ. Въ поэмѣ *Саша* онъ развивается въ цѣлый типъ вродѣ Рудина, и въ этой поэмѣ болѣе всего карается авторомъ именно все таже раздвоенность его поколѣнiя, заключающаяся въ томъ, что

Все, что высоко, разумно, свободно,
 Сердцу его и доступно, и сродно,
 Только дающая силу и власть
 Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсти!
 Любить онъ сильно, сильнѣй ненавидитъ,
 А доведись — комара не обидитъ!
 Да говорятъ, что ему и любовь
 Голову больше волнуеть — не кровь!

Эти качества своего поколѣнiя поэтъ примѣняетъ нерѣдко и къ себѣ, говоря:

Я зато глубоко презираю себя,
 Что живу, день за днемъ бесполезно губя;
 Что я, силы своей не пытая ни на чемъ,
 Осудилъ самъ себя безпощаднымъ судомъ,
 И лѣниво твердя: я ничтоженъ и слабъ!
 Добровольно всю жизнь пресмыкался, какъ рабъ;
 Что, доживши кой-какъ до тридцатой весны,
 Не скопилъ я себѣ хоть богатой казны,
 Чтобъ глушцы у моихъ пресмыкалися ногъ,
 Да и умникъ подъ-часъ позавидовать могъ!
 Я зато глубоко презираю себя,
 Что потратилъ свой вѣкъ, никого не любя,
 Что любить я хочу, что люблю я весь міръ,
 А брожу дикаремъ — безпріютенъ и сирь,
 И что злоба во мнѣ и сильна, и дика,
 А до дѣла дойдетъ — замираеть рука!

Подобныя качества поэтъ прямо приписываетъ наслѣдственности и влиянію среды:

И прежде, чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,
 Ребенокъ, могъ я что-нибудь,

Проникъ уже порокъ дыханьемъ ядовитымъ
Въ мою младенческую грудь...

Или въ другомъ мѣстѣ:

Но все, что жизнь мою окутавъ съ первыхъ лѣтъ,
Проклятемъ на меня легко неотразимымъ,
Всею начало здѣсь, въ краю моемъ родимомъ!..

Съ такою-же скептической проницею относится Некрасовъ и къ своей музѣ. Сначала по его словамъ куда ретивъ былъ его Пегасъ:

Безъ отвращенья, безъ боязни
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни,
Въ суды, въ больницы я входилъ...

Но недолго продолжалась эта смѣлость:

И что-жь?.. мой послышавъ звуки,
Сочли ихъ черной клеветой;
Пришлось сложить смиренно руки
Иль поплатиться головой;

а поэту было тогда всего двадцать лѣтъ:

Лукаво жизнь впередъ манила,
Какъ моря вольныя струи
И ласково любовь судила
Мнѣ блага лучшія свои —
Душа пугливо отступала...

Съ тѣхъ поръ, по словамъ поэта, не часты были его встрѣчи съ музой:

Украдкой бѣдная придетъ,
И шепчетъ пламенныя рѣчи,
И пѣсни гордыя поетъ,
Зоветь то въ города, то въ стени
Завѣтнымъ умысломъ полна;
Но загремятъ внезапно дѣши,—
И мигомъ скроется она...
Не вовсе я ея чуждался,
Но какъ боялся, какъ боялся!
Когда мой ближній утопалъ
Въ волнахъ существеннаго горя,—
То громъ небесъ, то ярость моря
Я благодушно воспѣвалъ.
Бичуя маленькихъ ворюшекъ,
Для удовольствія большихъ,
Дивилъ я дерзостью мальчишекъ
И похвалой гордился ихъ.
Подъ игромъ лѣтъ душа погнузась,
Остыла ко всему она,
И муза вовсе отвернузась,
Презрѣнья гордаго полна!

Это рефлективно-скептическое отношеніе къ жизни доходитъ порою до такихъ
ска вичевскій.

предѣловъ, что та благодушно простая, страстная любовь къ народу и вѣра въ его силы, которая проникаетъ многія стихотворенія Некрасова, словно покидаетъ его, и онъ восклицаетъ въ сокрушеніи:

Но и крестьяне съ унылыми лицами
Не услаждаютъ очей.
Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрное
Только досаду родить...
Что-же ты любишь, дитя маловѣрнсе,
Гдѣ-же твой идолъ сокрытъ?

Остается одна природа, и лишь на ея лонѣ ищетъ отдыха и утѣшенія измученное истерзанное сердце поэта:

Мать природа! Иду къ тебѣ снова
Со всегдашнимъ желаньемъ моимъ —
Заглуши эту музыку злобы!
Чтобъ душа ощущала покой,
И прозрѣвшее око могло-бы
Насладиться твоей красотой!..

Но особенное преимущество отдавалъ поэтъ природѣ своей родины. Она производила на него наиболѣе исцѣляющее и умиротворяющее вліяніе, и во многихъ стихотвореніяхъ онъ относится къ ней съ страстной любовью и нѣжностью. Такъ въ стихотвореніи *Тишина* онъ прямо выражаетъ свое пристрастіе къ родной природѣ передъ иноземной. Припомнимъ также начало поэмы *Сама*, гдѣ отношеніе поэта къ родной природѣ выражается въ еще болѣе страстномъ порывѣ, исполненномъ любви и сокрушенія. Всѣ вышеприведенные мотивы виолнѣ приравниваютъ Некрасова къ его сверстникамъ, поэтамъ и беллетристамъ сороковыхъ годовъ: та-же раздвоенность, тотъ-же безотрадный пессимизмъ, наконецъ и та-же любовь къ сельской природѣ, русскому ландшафту.

IV.

Но одними мотивами сороковыхъ годовъ не исчерпывается поэзія Некрасова. Рядомъ съ ними вы найдете въ ней массу звуковъ, дѣлающихъ его поэзію особенно дорогою для людей младшихъ поколѣній. Въ этихъ звукахъ и слѣда нѣтъ того унылаго пессимизма, о которомъ мы только что говорили. Здѣсь напротивъ того Некрасовъ является горячимъ энтузіастомъ, исполненнымъ ободряющей вѣры въ могучія силы народа и въ неизбежность побѣды свѣта надъ тьмою и правды надъ кривою. Въ порывѣ подобнаго энтузіазма онъ восклицаетъ въ стихотвореніи *Школьникъ*:

Не бездарна та природа,
Не погибъ еще тотъ край,
Что выводитъ изъ народа
Столько славныхъ — то и знай —
Столько добрыхъ, благородныхъ,
Сильныхъ любящей душой,
Посреди тупыхъ, холодныхъ
И вапыщенныхъ собой.

Припомните также въ *Пьесы Еремушки* хотя-бы слѣдующіе стихи, проникнутые не менѣ искреннимъ и горячимъ энтузіазмомъ:

Будь счастливѣй! Силу новую
Благородныхъ юныхъ дней,
Въ форму старую, готовую,
Необдуманно не лей!
Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ
Душу вольную отдай,
Человѣческимъ стремленіямъ
Въ ней проснуться не мѣшай.
Съ ними ты рожденъ природою,
Воцлелѣй ихъ, сохрани!
Братствомъ, истиной, свободою
Называются они!
Волюби ихъ: на служеніе
Имъ отдайся до конца!
Нѣтъ прекраснѣй назначенія,
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца!

Подобныхъ мотивовъ вы не встрѣтите въ рефлексивной поэзіи сороковыхъ годовъ. Это—мотивы новаго, выступившаго на сцену человѣка во образѣ разночинца, и въ вышеприведенныхъ стихахъ выражается вся святая святыхъ этого новаго человѣка, все его отношенія къ окружающей жизни и заветныя упованія.

Конечно одними бравурными мотивами необузданной вражды къ лютой подлости и жажды грянуть божьей грозой надъ лукавой неправдой во имя безкорыстнаго труда не исчерпывается еще все, чѣмъ живетъ новый человѣкъ. Въ жизни его вы найдете сравнительно съ людьми сороковыхъ годовъ еще болѣе горя, а подѣ-часъ и отчаянья. Но это горе носитъ совершенно иной характеръ и обуславливается другими причинами. Тамъ вы видите тяжкіе укоры проснувшейся совѣсти при горькомъ сознаніи безсилія возстать духомъ и загладить вины отцовъ и свои собственные. Здѣсь напротивъ того зло лежитъ не внутри человѣка, а внѣ его, въ гнетущихъ обстоятельствахъ, борьбу съ которыми не выдерживаютъ подѣ-часъ самыя могучія силы. Человѣкъ сороковыхъ годовъ со своею проснувшейся совѣстью при всѣхъ своихъ гамлетовскихъ рефлексіяхъ оставался изгнаннымъ и празднымъ баринномъ, продолжая пользоваться всеми благами жизни. Разночинецъ-же подѣ гнетомъ борьбы съ ничтою обыкновенно запирается. Онъ опускается въ это время повидимому до послѣдней степени самоуничиженія:

Запуганный, задавленный,
Съ поникшей головой,
Идешь, какъ обезсавленный,
Глушаешь самъ собой...
Сгораешь злобой тайною...
На скудный твой нарядъ
Съ насмѣшкой неслучайною
Все, кажется, глядятъ.

Но при всемъ этомъ самоуниженіи, внушаемомъ столь жалкимъ видомъ, онъ все-

таки далекъ отъ гамлетовскихъ самобичеваній и того растлѣвающего пессимизма, который, внушая, что не стоить ни за что приниматься, такъ какъ ничто ни къ чему не приведетъ, оправдываетъ и узаконяетъ этимъ привычную лѣнь и апатію. Напротивъ того, на самой послѣдней точкѣ паденія не перестаютъ въ немъ кипѣть силы, жаждущія благой дѣятельности; едва протрезвляется онъ,

И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.

Онъ сознаетъ въ то-же время, что если онъ не въ силахъ достигнуть ни того, ни другого, то виною этого не собственная дряньность, а безвыходное вѣншее положеніе, нищета, заставляющая его гнуть спину надъ каторжнымъ, забвующимъ трудомъ, не давая ему возможности выбиться и приняться за любимое дѣло:

Ахъ! еслибъ часть ничтожную!
Старушку полечить,
Сестрамъ-бы нероскошную
Обновку подарить!
Страхнуть ярмо тяжелого,
Гнетущаго труда,
Быть можетъ, буйну голову
Сносилъ-бы я тогда.
Покинувъ путь губительный,
Нашелъ-бы путь иной,
И въ трудъ иной — свѣжительный —
Поникъ-бы всей душой.

Такимъ образомъ на самой послѣдней ступени безвыходнаго отчаянья въ немъ продолжаетъ жить тотъ-же разночинецъ съ его энтузіазмомъ святого, свѣжительнаго труда на общую пользу. Замѣйте въ то-же время глубоко и вѣрно подмѣченную черту новаго человѣка: онъ идущій какъ обезславленный, гнушаясь самъ себя при видѣ скуднаго наряда, на который, какъ ему кажется, всѣ пальцами показываютъ, онъ при мечтѣ о ничтожной части, прежде всего заботится не о себѣ, а о своей старушкѣ, какъ-бы хорошо было полечить ее, о сестрахъ, которыхъ слѣдовало-бы приодѣть, а потомъ уже о себѣ.

Къ числу подобныхъ-же стихотвореній разночиннаго типа относится *Буря, Застѣнчивость, Бду-ли ночью по умилъ темной*.

Буря и *Застѣнчивость* представляютъ два противоположные полюса въ жизни разночинца. Въ первомъ стихотвореніи вы видите пѣсль торжествующей любви, но страсть носить здѣсь совсѣмъ иной характеръ, чѣмъ мы привыкли встрѣчать въ любовныхъ элегіяхъ предшествовавшей эпохи и даже въ некрасовскихъ элегіяхъ пушкинскаго стиля. Тамъ въ самомъ разгарѣ страсти не перестаетъ преобладать разлагающій анализъ, унылая рефлексія, исполненная ѣдкой горечи то взаимныхъ попрековъ, то предчувствій непрочности счастья и т. п.

Здѣсь-же напротивъ того вы видите полную и беззаѣтную отдачу страсти безъ всякихъ колебаній и заботъ о завтрашнемъ днѣ. Единственнымъ препятствующимъ

элементомъ является опять-таки чисто-внѣшнее обстоятельство, представляющееся въ видѣ бури, которая грозитъ помѣшать свиданію; но и буря оказывается ни по чѣмъ, потому что Любушка-сосѣдка въ свою очередь не отступить передъ препятствіями въ виду счастья любви и вопреки подозрѣніямъ счастливаго любовника вовсе не такая пугливая нѣженка, чтобы въ бурю за ворота было ей выйти за-диво. Вообще по своеобразности и бравурному страстному тону стихотвореніе это напоминаетъ собою многія пѣсни Кольцова, выражающія такую-же безавѣтную удачу страсти здороваго и неискалѣченнаго русскаго простаго человѣка.

Совершенно противоположный характеръ носить стихотвореніе *Застѣнчивость*. Здѣсь воспѣвается одна изъ самыхъ общераспространенныхъ и роковыхъ слабостей разночинца. Здѣсь вы не видите уже удали торжествующей страсти, а напротивъ того—унылое отчаянье вслѣдствіе невозможности избавиться отъ проклятой застѣнчивости. Но и здѣсь несчастливца не покидаетъ сознание, что въ сущности онъ вовсе не такой жалкій и ничтожный, каковымъ представляется въ обществѣ, что въ душѣ его не мало таится могучихъ силъ, что въ божьихъ дарахъ ему не отказано и лицомъ онъ не хуже людей, что свободно и молодо въ сердцѣ его волнуется кровь и что подъ маской наружнаго холода безконечная скрыта любовь. И здѣсь наконецъ источникъ зла таится не внутри, а во внѣшнихъ обстоятельствахъ.

Придавила меня бѣдность грозная,
Запугала меня съ дѣтства оець,
Безталанная долюшка сзѣзная
Извела, доканала въ конецъ!..

Что касается стихотворенія *Бду-ли ночью*, то оно представляетъ собою ту крайнюю степень мрачнаго, трагическаго пафоса, до котораго доводитъ бѣдняковъ-разночинцевъ безысходная борьба съ нищетою.

Ничему иному, какъ тому-же разночинному духу слѣдуетъ приписать особенное свойство некрасовской лирики, на которое мало обращала вниманіе критика при жизни поэта. Оказывается, что ни одинъ изъ русскихъ современныхъ поэтовъ не любилъ такъ часто обращать вниманіе на свѣтлыя стороны нашей жизни, ни одинъ не избразилъ такъ много положительныхъ, идеальныхъ, доблестныхъ типовъ, съ такимъ горячимъ, чисто шиллеровскимъ энтузіазмомъ, какъ именно этотъ самый поэтъ, котораго привыкли считать мрачнымъ пессимистомъ и желчнымъ отрицателемъ. И что всего замѣчательнѣе, — положительные типы Некрасова отнюдь не носятъ фантастически-отвлеченнаго характера, — ни въ всякихъ предѣлахъ времени и пространства, и тѣмъ менѣе рисуются въ какомъ-нибудь субъективномъ образѣ, повторяющемся въ различныхъ вариантахъ, какъ это мы видимъ напримѣръ у Байрона и его послѣдователей. Какъ у истаго реалиста, идеальные типы Некрасова облечены въ плоть и кровь своего времени и среды. Они исполнены разнообразіемъ контрастныхъ особенностей; ни одинъ не похожъ на другого. Некрасовъ искалъ и находилъ ихъ всюду, во всѣхъ слояхъ общества.

Такъ на самомъ верху общественной іерархіи, въ великосвѣтской средѣ, рисуются княгини Т—ая и В—ская, съ ихъ мужьями-страдальцами. Въ этихъ доблестныхъ фигурахъ, исполненныхъ граціозно-нѣжной любви и гордаго непоколебимаго самоот-

верженія, открывается передъ нами словно античный классическій міръ величаваго героя. А между тѣмъ въ каждомъ ихъ душевномъ движеніи и помысленіи, въ каждомъ шагѣ, словѣ, позѣ вы видите русскую жизнь, русскую природу, русскихъ велико-свѣтскихъ барынь, мирно и безопасно нѣкогда порхавшихъ по баламъ и маскарадамъ, и вдругъ силою обстоятельствъ превратившихся словно въ римскихъ матронъ эпохи Коріолана и Тарквинія Гордаго. Въ этомъ контрастѣ простыхъ и незатѣйливыхъ типичныхъ чертъ русской жизни съ античною величавостью доблестныхъ русскихъ женщинъ заключается главная иллюзія поэмъ Некрасова. Въ то-же время, чтобы представить своихъ героинь во всемъ ихъ идеальномъ свѣтѣ и показать мѣру ихъ самопожертвованія, поэтъ съ гениальнымъ художественнымъ мастерствомъ въ особенно обольстительномъ свѣтѣ умѣлъ представить ихъ прошлую жизнь: всѣ эти волшебныя воспоминанія, среди суровыхъ и безбрежныхъ сибирскихъ снѣговъ при наводящемъ уныніи и ужасъ завываніи вьюги, о минувшихъ годахъ любви и счастья, роскоши и нѣги повергаютъ читателя въ тотъ невольный трепетъ, какой способны производить лишь величайшія созданія искусства. Припомните также сцену борьбы съ родительскою властью и съ администраціей въ лицѣ губернатора, — это пробужденіе въ суровомъ администраторѣ чловѣка, эти невольныя слезы его, — художественнѣе, глубже, выше всѣхъ этихъ сценъ, можно положительно сказать, ничего еще не было въ русской литературѣ.

Идя затѣмъ по нисходящей линіи общественной іерархіи, мы видимъ рядъ тихихъ и скромныхъ тружениковъ русской мысли, мужественно и неустанно борющихся въ тиши невѣжества и сходившихъ въ преждевременныя, безвременныя могилы, оплакиваемыхъ небольшою горстью друзей, которые одни лишь понимали, чего лишается Россія въ этихъ сподвижникахъ и мученикахъ нашего времени. Таковы были Бѣлинскій, Вл. Милютинъ, Добролюбовъ, Писаревъ, и всѣхъ ихъ воспѣлъ Некрасовъ въ восторженныхъ гимнахъ. Наибольшая доля этихъ гимновъ пришла естественно на долю Бѣлинскаго, передъ которымъ Некрасовъ въ продолженіи всей своей жизни не переставалъ благоговѣть не только какъ передъ великимъ чловѣкомъ своей родины, но и какъ передъ своимъ учителемъ, которому былъ обязанъ своею славою.

Но наиболѣе свѣтлые и положительные типы находилъ Некрасовъ въ народной средѣ, и вотъ передъ нами проходитъ рядъ образовъ благодушныхъ, любвеобильныхъ, исполненныхъ могучей удали, но чуждыхъ всякой гордой кичливости чь сознаніи своихъ богатыхъ силъ, добродушно смиренныхъ въ рѣдкихъ удачахъ и терпѣливо кроткихъ въ своемъ неисходномъ горѣ.

V.

Въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ народу, мы видимъ тѣ-же два разнородные элемента. Одни изъ нихъ въ свою очередь исполнены рефлексивнаго духа сороковыхъ годовъ. Отношеніе Некрасова къ народу въ нихъ вполне гуманно, исполнено горячаго участія къ народнымъ бѣдствіямъ подъ влияніемъ освободительныхъ идей, но въ то-же время — пессимистически-отрицательное. Поэтъ смотритъ на народъ здѣсь съ интеллигентнаго высока, представляя его подавленнымъ, забытымъ, обнищавшимъ и въ то-же время полудикимъ, исполненнымъ суевѣрій, бредущимъ по житейской дорогѣ

Въ безразсвѣтной глубокой ночи,
Безъ понятія о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи...

Вы жалѣете видѣть съ поэтомъ этотъ народъ, оплакиваете его во всѣхъ этихъ жалкихъ и убогихъ тетушкахъ Ненилахъ, Ванькахъ, топящихся въ винѣ свои буйныя страсти и горе, ямщикахъ, насильно ожененныхъ на барышняхъ-крестьянкахъ и бьющихъ ихъ подъ пьяную руку, но тщетно стали-бы вы искать чего-нибудь свѣтлаго, положительнаго, отраднаго, что возбудило-бы въ васъ не одно состраданіе, но и глубокое сочувствіе. Многія изъ такихъ стихотвореній проникнуты страстнымъ лиризмомъ; но лиризмъ этотъ является выраженіемъ не столько тѣхъ чувствъ, которыя переживаютъ изображаемыя личности изъ народа, сколько личного скорбнаго чувства самого поэта, который стоитъ передъ вами на первомъ планѣ со своею проснувшюся совѣстью и душевнымъ разладомъ интеллигентнаго человѣка сороковыхъ годовъ. Таковы стихотворенія: *Въ дорозь, Тройка, Извозчикъ, На улицѣ (Воръ, Провода, Гробокъ, Ванька), Вино, Такъ служба, Забытая деревня, Деревенскія новости, На полъ* и др.

Но рядомъ со всѣми подобными стихотвореніями вы найдете другія, въ которыхъ поэтъ совершенно отрѣшается отъ себя, личность его исчезаетъ, сливается съ выводимыми на сцену личностями, словно самъ народъ устами поэта выражаетъ свои заветныя думы и чувства. Самый стихъ поэта, не теряя своеобразности, принимаетъ характеръ народныхъ пѣсней, и языкъ его пріобрѣтаетъ такую богатую пластичность, образность, игривость и мѣткость, какія свойственны нашей народной рѣчи. Таковы изъ крупныхъ вещей: *Морозъ Красный носъ, Коробейники, Кому на Руси жить хорошо*; изъ мелкихъ—*Сторона наша убогая, Пахарь, Съ работы, Пѣсни* и пр. Въ подобныхъ вещахъ вы не найдете и тѣни чего-либо отрицательнаго, обличительнаго, пессимистическаго. Напротивъ того: народъ рисуется здѣсь въ своихъ положительныхъ чертахъ, какъ могучій богатырь, который самымъ своимъ непреклоннымъ терпѣніемъ въ многолѣтнихъ страданіяхъ возбуждаетъ въ поэтѣ восторженное обаяніе и ободряющую вѣру въ его великое будущее.

Чтобы понять вполне наглядно все діаметральное различіе этихъ двухъ типовъ народныхъ стихотвореній Некрасова, сравнимъ стихотвореніе *Тройка* съ поэмою *Морозъ Красный носъ*. Въ обоихъ произведеніяхъ содержаніе аналогично: и тамъ, и здѣсь оплакивается слезная доля русской крестьянки. А между тѣмъ между обоими лежитъ непроходимая пропасть. Въ стихотвореніи *Тройка*, представивши плѣнительный образъ деревенской дѣвушки, бѣгущей за тройкою съ проѣзжимъ корнемъ, авторъ обращается къ ней съ слѣдующими сѣтованіями:

Поживешь и попразднуешь въ волю,
Будетъ жизнь и полна, и легка...
Да не то тебѣ пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.
Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетянешь уродливо грудь;
Будетъ бить тебя мужъ привередникъ
И свекровь въ три погибели гнуть;

Отъ работы и черной, и трудной
 Отдѣлешь, не успѣя расцвѣсть,
 Погрузишься ты въ сонъ непробудный,
 Будешь нявчить, работать и ѣсть.
 И въ лицѣ твоёмъ, полною движенья,
 Полною жизни — появится вдругъ
 Выраженье тупого терпѣнья
 И бессмысленный вѣчный испугъ;
 И схоронять въ сырую могилу,
 Какъ пройдешь ты свой жизненный путь,
 Безполезно угасшую силу,
 И ничѣмъ не согрѣтую грудь.

Вы видите здѣсь, правда, глубокое сочувствіе къ судьбѣ крестьянки, но оно не имѣетъ ничего общаго съ народными взглядами на жизнь и его трезвыми идеалами. Совершенно не такъ-бы сталъ въ этомъ случаѣ сочувствовать самъ народъ. На первомъ планѣ стоитъ здѣсь передъ вами эстетикъ сороковыхъ годовъ, болѣе всего оплакивающій потерю крестьянкой внѣшней красоты, которая скоро пропадетъ отъ тяжелаго труда. Ему досадно, зачѣмъ не проживетъ она въ праздной лѣтѣ, при которой красота конечно сохранилась-бы долго, зачѣмъ выйдетъ замужъ за грязнаго мужика, который окажется непремѣнно злымъ привередникомъ и только и будетъ, что колотить ее взапуски съ своею матерью, а главное дѣло, зачѣмъ она только и будетъ, что нявчить, работать и, можете себѣ представить—ѣсть! Но этого всего мало: всю-то жизнь проработавши, она окажется безполезно угасшею силою, и неволью наvertsывается у васъ вопросъ: ну, а какииъ-же способомъ она могла-бы оказаться не безполезною силою? Неужели въ такомъ случаѣ, если-бы удалось ей догнать тройку съ пробѣжимъ корнетомъ и съ нимъ „попраздновать въ волю?“

Совсѣмъ не то видимъ мы въ поэмѣ *Морозъ-Красный носъ*. На первомъ планѣ рисуется здѣсь величавый типъ славянки, который, по словамъ поэта, и до сихъ поръ не успѣлъ еще измелъчатъ и часто встрѣчается въ русскихъ селеніяхъ:

Есть женщины въ русскихъ селеняхъ,
 Съ спокойною важностью лицъ,
 Съ красивою силой въ движеніяхъ,
 Съ походкой, со взглядомъ царицъ —
 Ихъ развѣ слѣпой не замѣтить,
 А зрячій о нихъ говорить:
 «Пройдетъ — словно солнце освѣтитъ!
 Посмотритъ — рублемъ подаритъ.»

Этотъ богатырскій образъ Дарьи своею величавостію придалъ высокій трагическій паеосъ всѣмъ ея горькимъ страданіямъ по случаю смерти мужа. Передъ вами не робкія слезы жалкаго безсилія, подавленности, загнанности, а могучіе стоны словно какой-то эпической героини, до послѣднихъ своихъ титаническихъ силъ борящейся съ злою судьбою. Въ себѣ она — не бессмысленный манекенъ, о который всѣ пробуютъ силу, а равноправный членъ, несущій свою скорбную долю:

Лѣтомъ онъ жилъ работаючи,
 Зиму не видѣлъ дѣтей,

Ночи о немъ помышляючи,
 Я не смыкала очей.
 Ёдетъ онъ, зябнеть... а я-то, печальная,
 Изъ волокнистаго льну,
 Словно дорога его чужедальная,
 Долгую нитку тяну.
 Веретено мое прыгаетъ, вертится,
 Въ полъ ударяется...
 Проклушка пѣшь идетъ, въ рытвинѣ крестится
 Къ возу на горочкѣ самъ припрыгается.
 Лѣто за лѣто, зима за зимой —
 Эдакъ-то мы раздобылись казной!
 Милостивъ буди къ крестьянину бѣдному,
 Господи! все отдаемъ,
 Что по копѣйкѣ, по грошику мѣдному
 Мы сколотили трудомъ!

Въ этихъ стихахъ передъ вами обрисовывается вся доля крестьянской семьи, правда горькая, слезная, но исполненная высокой нравственной красоты, и въ особенности эпически-величаво рисуется здѣсь эта женщина, которая, какъ вѣрная Пенелопа, ожидаетъ со своимъ веретенемъ возвращенія мужа изъ дальнихъ и трудовыхъ странствій и въ тоже время словно Парка прядетъ свою нитку, такую-же длинную, какъ дорога ея милаго. Сколько здѣсь глубокой, своеобразной, потрясающей поэзіи! Таковую-же остается героиня и до конца поэмы, когда по смерти мужа ей приходится исполнять мужичье дѣло, рубить дрова для своихъ горькихъ сиротокъ, и въ страшной истожѣ, въ приливѣ неутѣшнаго горя, она величественно замерзаетъ среди грознаго лѣснаго уединенія. Поэма вполнину потеряла-бы свое чарующее, хватающее за душу, потрясающее обаяніе, если-бы поэтъ не сумѣлъ представить свою героиню въ томъ величаво-идеальномъ свѣтѣ, въ какомъ она рисуется, если-бы она хоть чуточку вышла-бы пошлѣе, зауряднѣе, — словомъ — одною изъ тѣхъ полумныхъ крестьянокъ „съ выраженіемъ тупого терпѣнья и бессмысленнаго вѣчнаго испуга,“ каковая рисуется въ *Тройкѣ*. Но въ чемъ-же заключаются идеальныя черты Дарьи? Въ какихъ особенныхъ подвигахъ, которые выдѣлили-бы ее изъ всѣхъ ее окружающихъ? Въ томъ и дѣло, что ничего экстраординарнаго въ ней не видите: совершенно согласно съ народными идеалами та самая работа и нянчанье дѣтей, къ которымъ поэтъ въ *Тройкѣ* относится съ такою эстетическою безразличностью, здѣсь напротивъ того представлены во всемъ своемъ поэтическомъ апоэозѣ; они-то и дѣлаютъ Дарью героинею, обнаруживая въ ней могучую силу трудовой женщины, чарующей васъ не только на верху безпечнаго счастья, но и въ трагической гибели подъ ударами лихой судьбы.

При этомъ мы должны сдѣлать оговорку, что говоря о двухъ элементахъ творчества Некрасова и обозначая различныя стихотворенія, въ которыхъ преобладаетъ тотъ или другой элементъ, мы въ тоже время далеки отъ дѣленія всѣхъ стихотвореній Некрасова на двѣ рубрики. Слово элементы мы употребляемъ въ истинномъ и точномъ значеніи этого слова. Оба они одновременно присутствовали въ творчествѣ поэта и оказывали свое вліяніе. Поэтому въ томъ или другомъ стихотвореніи можно

видѣть лишь преобладаніе одного изъ элементовъ, а не исключительное господство. Если вы и найдете произведенія, въ которыхъ господствуетъ одинъ изъ элементовъ, напр. *Дума (Сторона наша убогая)*, *Рыцарь на часъ*, то такихъ очень мало. Въ большинствѣ-же оба элемента находятся въ смѣшанномъ состояніи при преобладаніи одного. Такъ въ поэмѣ *Морозъ Красный носъ* преобладаетъ народный элементъ, но въ началѣ вы найдете слѣды и рефлексивнаго. Въ *Тройкѣ* наоборотъ: вся первая половина стихотворенія, представляющая плѣнительный образъ крестьянской дѣвушки, подходитъ болѣе къ народному элементу. Принимая-же въ соображеніе всю массу произведеній Некрасова, можно сказать, что рефлексивный элементъ преобладалъ въ первой половинѣ дѣятельности Некрасова, что соответствуетъ господству этого элемента въ самомъ обществѣ въ сороковые и пятидесятые годы. По мѣрѣ-же того, какъ разночинно-народный элементъ началъ вытѣснять въ общественной жизни рефлексивный, и въ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Некрасова мы видимъ преобладаніе перваго.

Этотъ фактъ идетъ совершенно въ разрѣзъ съ тѣми приговорами, которымъ подвергался неоднократно Некрасовъ со стороны критиковъ противнаго лагеря, утверждавшихъ, что, подвергнувшись вліянію критики шестидесятыхъ годовъ, Некрасовъ подчинился требованіямъ ея отрицательно-тенденціознаго отношенія къ жизни и народу и началъ ломать свой талантъ во исполненіе этихъ требованій. На дѣлѣ-же мы видимъ нѣчто совсѣмъ обратное. Именно подъ вліяніемъ рефлексивнаго духа сороковыхъ годовъ въ немъ преобладало отрицательное, пессимистическое отношеніе ко всему окружающему, въ томъ числѣ и къ народу. Разночинцы-же шестидесятыхъ годовъ вліяли на него совершенно обратно: они возбуждали въ немъ любовь къ народу, вѣру въ его могучія силы, скопленные неустаннымъ трудомъ и не сложенными вѣковыми страданіями, раскрывали ему положительныя, идеальныя стороны народа, не имѣющія ничего общаго съ прежними его идеалами. И вотъ мы видимъ, что взгляды Некрасова на народъ значительно просвѣтлѣли и расширились: въ стихотвореніяхъ его начали встрѣчаться не одиѣ убогія тетушки Ненилы и няные Ваньки, а Прокобы, дѣдушки Савелья, Мазаи, Яковы, Дарьи, Катерины и пр. Однимъ словомъ изъ скорбнаго поэта интеллигентнаго меньшинства рефлексивнаго періода онъ обратился въ общенароднаго пѣвца въ самомъ обширномъ и глубокомъ смыслѣ этого слова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

I—Биографическія свѣдѣнія о жизни Тараса Григорьевича Шевченко. II—Характеристика его произведеній. III—Иванъ Савичъ Никитинъ. Иванъ Захаровичъ Суриковъ. Спиридонъ Дмитріевичъ Дрожжинъ. IV—Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ. V—Развитіе и процвѣтаніе въ шестидесятые годы сатирической поэзіи. Кузьма Прутковъ и Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ. Василій Степановичъ Курочкинъ и его *Искра*. Дмитрій Дмитріевичъ Минаевъ.

I.

Движеніе сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ выдвинуло нѣсколькихъ поэтовъ непосредственно изъ народа. Такъ на рубежѣ двухъ эпохъ стоитъ передъ нами такой гигантъ южно-русской поэзіи, какъ Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, который хотя и является болѣе современникомъ Кольцова и Вѣлинскаго, чѣмъ Некрасова и Добролюбова, тѣмъ не менѣе по содержанію и духу своихъ произведеній можетъ быть названъ вполне представителемъ разсматриваемаго нами періода.

Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, по уличному прозвищу Грушевскій, сынъ крупнаго крестьянина помѣщика Энгельгардта, родился 25-го февраля 1814 года, въ селѣ Моринцахъ, звенигородскаго уѣзда, кievской губерніи; дѣтство-же съ трехлѣтняго возраста провелъ въ селѣ Кирилковѣ. До восьми лѣтъ жизнь его текла тихо и мирно подъ родительской кровлей. Но въ 1823 году умерла его мать, оставивъ пятерыхъ дѣтей, а отецъ женился на другой. Отъ нея пошли дѣти, которымъ она давала предпочтеніе передъ пасынками. „Не проходило часа, пишетъ Шевченко въ своихъ произведеніяхъ, безъ слезъ и драки между нами—дѣтьми, не проходило часа безъ ссоры и брани между отцомъ и мачихой“. Много вынесъ Шевченко побоевъ совершенно безвинно. Со смерти отца въ 1825 году началась скитальческая жизнь Шевченко. Сначала онъ былъ взятъ въ науку кириловскимъ дячкомъ Петромъ Богорскимъ; втеченіи двухъ лѣтъ прошелъ онъ азбуку, часословъ и псалтырь, учился нѣсколько времени письму у священника Григорія Коница. Убѣжавши отъ Богорскаго, обходящагося съ учениками крайне жестоко, Шевченко, чувствуя страсть къ рисованію, такъ какъ съ первыхъ годовъ дѣтства исчерчивалъ углемъ всѣ стѣны хаты и заборы, пытался поступить въ ученые къ разнымъ мѣстнымъ малярамъ-богомазамъ, но это ему не удалось; приходилось ему въ это время заниматься и пастушествомъ, а старшій

братъ Никита тщетно старался приучить его къ хозяйству. Въ 1827 году онъ былъ взятъ въ штатъ господской прислуги, а въ 1829 году отправленъ къ помѣщику Энгельгардту въ Вильну, причѣмъ на первыхъ порахъ попалъ въ поваренки, но по испытаніи отмѣченъ былъ „годнымъ на комнатнаго живописца“. Тѣмъ не менѣе въ Вильнѣ онъ занималъ сначала при баринѣ мѣсто комнатнаго казачка и подавалъ ему огонь для закуриванія трубки, и лишь когда баринъ засталъ его однажды ночью за копированьемъ казака Платова, онъ хотя и выдралъ его за ухо, надавалъ пощечинъ и велѣлъ его высѣчь, но въ тоже время убѣдился, что изъ мальчика можетъ выйти домашній маляръ. Шевченко сталъ учиться у маляра въ Вильнѣ, а черезъ полгода, по совѣту учителя, признавшаго въ мальчикѣ талантъ, помѣщикъ отдалъ Шевченка къ портретисту Лампи въ Варшавѣ. Тутъ шестнадцатилѣтній Шевченко любилъ дѣвушку-польку, швею, которой былъ обязанъ первымъ сознаніемъ ненормальности своего крѣпостнаго положенія и знаніемъ польскаго языка, которому она его выучила.

Въ 1831 году Шевченко препровожденъ былъ въ Петербургъ къ своему барину по етапу пѣшкомъ, почти безъ сапогъ и до 1833 года исправлялъ при немъ снова лакейскую должность. Наконецъ баринъ внялъ неотступной его просьбѣ и контрактывалъ его на четыре года разныхъ-живописныхъ дѣлъ мастеру Ширяеву. Учасъ у него живописи, Шевченко познакомился съ извѣстнымъ художникомъ Иваномъ Максимовичемъ Сошенко, а черезъ него съ извѣстнымъ писателемъ Е. Гребенкою. Гребенка близко принялъ къ сердцу жалкое положеніе юноши, сталъ часто приглашать его къ себѣ, давая ему для чтенія книги, сообщалъ разныя полезныя свѣдѣнія, помогалъ деньгами. Такимъ образомъ при помощи Гребенки Шевченко познакомился съ русскими и западными классиками, съ исторіей и пр. Въ то время, какъ Сошенко представилъ его конференцъ-секретарю академіи художествъ, Григоровичу, съ убѣдительною просьбою оказать свое содѣйствіе къ освобожденію его отъ невыносимаго гнета маляра Ширяева, Гребенка познакомилъ его съ Венеціановымъ, а послѣдній представилъ его поэту Жуковскому, принявшему горячее участіе въ талантливомъ юношѣ. Вскорѣ начались хлопоты объ освобожденіи Шевченка отъ крѣпостной зависимости. Ближайшимъ толчкомъ къ этимъ хлопотамъ послужило слѣдующее обстоятельство. Какой-то генералъ заказалъ Шевченку портретъ за пятьдесятъ рублей. Генералу портретъ не понравился и онъ отказался принять его. Обиженный живописецъ, намыливши генералу на портретѣ бороду мыломъ, продалъ его за безцѣнокъ цирюльнику, къ которому генералъ ходилъ бриться. Замѣтивъ на вывѣскѣ свой портретъ, генералъ пришелъ въ бѣшенство и тотчасъ-же перекупилъ его для себя, а чтобы отомстить дерзкому маляру, обратился къ помѣщику Энгельгардту съ просьбою продать ему крѣпостнаго художника, предлагая ему за него большія деньги. Энгельгардтъ чуть-было не согласился на выгодную сдѣлку. Пока они торговались, Шевченко, предвидя, какой ужасъ его ожидаетъ, бросился къ художнику Брюлову, умоляя спасти его. Брюловъ сообщилъ объ этомъ Жуковскому, а тотъ императрицѣ Александрѣ Теодоровнѣ. Энгельгардту дано было знать, чтобы онъ приостановился съ продажей Шевченка. Въ исполненіе ходатайства за Шевченка императрица потребовала, чтобы Брюловъ кончилъ портретъ Жуковскаго, обещанный ей, и даже начатый, но брошенный Брюловымъ. Портретъ былъ вскорѣ конченъ и разыгранъ въ лотерею между

лицами императорской фамилии, въ сумму десять тысячъ рублей ассигнаціями—равную платѣ, предложенной генераломъ за Шевченка. Шевченко получилъ свободу 22-го апрѣля 1838 г.; съ того-же дня началъ посѣщать классы академіи художествъ и вскорѣ сдѣлался однимъ изъ любимѣйшихъ учениковъ-товарищей Брюлова. Въ 1843 году онъ получилъ степень свободного художника.

Вѣда во все это время разсѣянную и довольно разгульную жизнь среди товарищей-художниковъ и занимаясь живописью, Шевченко находилъ время удѣлять и поэзии, и въ 1840 году былъ изданъ имъ *Кобзарь*, произведшій впечатлѣніе на малорусскую читающую публику и познакомившій Шевченка съ украинскими писателями: Квиткой, Я. Кухаренко и др. Въ *Маякѣ* за 1842 годъ помѣщенъ былъ отрывокъ изъ его драмы *Никита Гайдай*, на русскомъ языкѣ, стихами и прозой пополамъ. Въ томъ-же 1842 году Шевченко приступилъ къ печатанію знаменитой своей поэмы *Гайдамаки*.

Съ половины 1843 года до своего ареста въ 1847 году Шевченко проживалъ большую часть въ Малороссіи. Это было временемъ самаго пышнаго расцвѣта его таланта и появленія лучшихъ его произведеній: *Тризна*, *Наймичка*, *Сонъ*, *Невольникъ*, *Иванъ Гусь*, *Холодный яръ* и пр. Литературная слава его достигла своего апогея и доставила ему знакомство съ лучшими интеллигентными силами южной Россіи; въ то-же время и матеріальное положеніе его было обезпечено. При помощи княжны Рѣпиной, двоюродной сестры министра народнаго просвѣщенія, графа Уварова, Шевченко получилъ мѣсто учителя рисованія при кіевскомъ университетѣ. Онъ проектировалъ путешествіе за-границу, когда внезапно надъ нимъ обрушилась постигшая его бѣда: 25-го декабря 1846 года происходила въ квартирѣ Н. И. Гулака извѣстная бесѣда членовъ кирило-меоодіевскаго кружка, подслушанная и искаженная доносчиками и имѣвшая роковое значеніе для Шевченка и его пріятелей,—Н. И. Костомарова, Кулиша, Гулака, Вѣлозерскаго и другихъ. 31-го марта 1847 года онъ былъ арестованъ въ числѣ другихъ своихъ сотоварищей, препровожденъ въ Петербургъ, а 30-го мая отправленъ въ оренбургскіе линейные батальоны рядовымъ съ воспрещеніемъ писать и рисовать.

Ссылка Шевченка продолжалась десять лѣтъ, до 21-го іюня 1857 года, когда онъ получилъ прощеніе и 2 августа 1857 года выѣхалъ изъ Новопетровскаго укрѣпленія, а 27 марта 1858 года, получивъ право жить въ столицахъ, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и поселился въ академіи художествъ, гдѣ ему дали мастерскую, какъ художнику академіи.

Десятилѣтняя военная служба солдатомъ, прекращеніе всякаго сношенія съ міромъ, съ обществомъ, особенно-же недостатокъ духовной пищи не могли не оставить сводкъ послѣдствій и не повліять на духъ поэта:

«Собственно поэтической элементъ въ немъ проявлялся рѣдко, вспоминаеть о немъ И. С. Тургеневъ, Шевченко производилъ скорѣе впечатлѣніе грубоватаго, закаленного и обтерпѣвшагося чловѣка, съ запасомъ горечи на днѣ души, трудно доступной чужому глазу, съ непродолжительными просвѣтами добродушія и вспышками веселости. Теперь чаще въ немъ начали проявляться призывы чудачества и кутежа. Въ послѣдніе годы своей жизни, вращаясь въ избранномъ кружкѣ литераторовъ, читая русскіе журналы и употребляя все успія, чтобы вознаградить потерянное время, онъ успѣлъ встать въ уровень съ новыми идеями; но пробѣловъ въ его образованіи оставалось все-таки очень много. Притомъ-же талантъ его великаго творчества теперь

видимо началъ ослабѣвать. Тарасъ чувствовалъ это, хотя отъ страха передъ отвергающею пропастью хотѣлъ отвернуться и увѣрить самого себя, что нѣтъ того, что ему угрожало. Читанныя имъ въ Петербургѣ въ послѣдніе годы его стихотворенія были слабѣе тѣхъ огненныхъ произведеній, которыя нѣкогда читалъ онъ въ Кіевѣ. Во время своего пребыванія въ Петербургѣ онъ додумался до того, что непути стать носиться съ мыслью создать нѣчто новое, небывалое, ему одному возможное, а именно поэму на такомъ языкѣ, который былъ-бы одинаково понятенъ русскому и малороссу: онъ даже принялся за эту поэму и читалъ мнѣ ея начало. Нечего говорить, что попытка Шевченко не удалась, и именно эти стихи его вышли самые слабыя и вялые изъ всѣхъ написанныхъ имъ: безцвѣтное подражаніе Пушкину.»

Послѣдніе три года жизни Шевченко былъ занятъ рядомъ съ тщетными поисками невѣсты заботами объ освобожденіи своихъ родныхъ отъ крѣпостной зависимости и о приобрѣтеніи на югѣ Россіи земли и мѣста для своей хаты. Въ ожиданіи общаго освобожденія крестьянъ, онъ хотѣлъ ускорить облегченіе участи родныхъ, и жертвовалъ для этого послѣднимъ достояніемъ. Наконецъ при содѣйствіи уполномоченнаго отъ общества пособія литераторамъ*, г. Новицкаго, между помѣщикомъ и братьями Шевченками было заключено формальное условіе, напечатанное въ пятой книжкѣ *Народнаго чтенія* за 1860 годъ. Родные Шевченка получили свободу по этому условію за нѣсколько мѣсяцевъ до обнародованія манифеста 19-го февраля, и поэтъ спокойно закрылъ глаза, исполнивъ свой долгъ. Найдена была подходящая мѣстность и для хаты Шевченка: на крутомъ берегу Днѣпра, на горѣ, у подошвы которой ютились рыбацкія хаты, а за горою стлалась широкая, вольная степь. Обрадованный поэтъ выслалъ уже и деньги за землю, да не суждено было ему умереть на родинѣ.

Уже въ концѣ 1860 года ему было очень худо: водяная быстро развивалась. Въ январѣ 1861 года онъ писалъ мрачныя письма къ друзьямъ, а въ февралѣ болѣзнь сильно развилась, водяная бросилась въ легкія, и 26-го числа, въ 5 часовъ утра, поэта не стало. Похороны его совершились 28-го февраля, причемъ произнесено было надъ его гробомъ не мало задушевныхъ рѣчей. Весною того-же года тѣло его перенесено было изъ Петербурга въ Украину и согласно его поэтическому завѣщанію, написанному въ 1846 году, похоронено на высококомъ берегу Днѣпра вблизи г. Канева.

II.

Главное отличіе Шевченка не только отъ Некрасова съ его дворянскою хандрою но и отъ Кольцова и прочихъ великорусскихъ поэтовъ, вышедшихъ изъ народа, заключается въ томъ, что это единственный русскій писатель въ нынѣшнемъ столѣтіи, сохранившій живую и непосредственную связь съ народомъ, изъ среды котораго вышелъ, связь какъ по своему міросозерцанію, идеаламъ, такъ и по характеру и формамъ своей поэзіи. Въ поэзіи Шевченка вы и слѣда не найдете ни той оторванности отъ народа, которая составляетъ печальный удѣлъ всѣхъ русскихъ интеллигентныхъ людей, ни той рефлексивной раздвоенности, которою страдали всѣ современники Шевченка. Изучая поэзію его, вы имѣете возможность съ поразительною наглядностью прослѣдить великій и таинственный актъ перехода народно-сбирательнаго творчества въ личное. И характеръ лирическаго одушевленія, этой тихой, надрывающей сердце грусти, проникающій всю

поэзію Шевченка, и образы, и мотивы остаются вполне народными, такими-же, какія вы найдете въ любой малороссійской думѣ. Въ то-же время сюжеты большинства поэмъ не выдуманы, а взяты всецѣло изъ народныхъ легендъ и преданій. Личность писателя словно какъ-бы исчезаетъ въ этомъ морѣ чисто народной поэзіи; онъ ничего не создаетъ своего, что составляло- бы рѣзкую индивидуальную особенность его. Но въ то-же время отнюдь не является рабскимъ подражателемъ народной поэзіи: все, что онъ черпалъ изъ нея, онъ переработывалъ, возводя въ перлъ художественнаго созданія безискусственно-младенческой лепетъ народа и освящая зрѣлымъ сознаниемъ передовыхъ идей своего вѣка темные инстинкты народныхъ стремленій, симпатій и антипатій. Самый языкъ его произведеній не даромъ поражаетъ всѣхъ знакомящихся съ его поэзією своею простотою и общедоступностью не только для кровныхъ малороссовъ, но и для людей совершенно не знакомыхъ съ южно-русскимъ нарѣчіемъ: читать Шевченка имъ не въ примѣръ легче, чѣмъ всѣхъ прочихъ малороссійскихъ писателей. Это происходитъ оттого, что послѣдніе писали и пишутъ на языкѣ искусственномъ, исполненномъ полонизмовъ и всякаго рода новыхъ словъ и выраженій, созданныхъ въ интеллигентныхъ слояхъ малороссійскаго общества. Для простого неученаго хохла этотъ вычурный языкъ такъ-же мало понятенъ, какъ и для великоросса. Между тѣмъ Шевченко писалъ на томъ живомъ языкѣ, на какомъ говоритъ и поетъ самъ народъ въ Украинѣ; народъ-же украинскій говоритъ вовсе не на томъ тарбарскомъ малороссійскомъ нарѣчій, на какомъ пишутъ его бары; великорусь безъ малѣйшаго труда понимаетъ рѣчь хохла слово въ слово, за исключеніемъ развѣ что нѣкоторыхъ мѣстныхъ особенностей говора, такихъ, которыя вы можете встрѣтить въ любой деревнѣ и въ Великороссіи, и въ Малороссіи. Такимъ образомъ поэзія Шевченка является общимъ достояніемъ всего русскаго народа; произведенія его нѣтъ надобности переводить на нашъ литературный языкъ: ими могутъ въ равной степени наслаждаться и малороссы, и великороссы, и образованные, и неграмотные люди.

По содержанию своему произведенія Шевченка можно раздѣлить на четыре разряда. Къ первому относятся баллады и пѣсни сентиментально-романтическаго характера, чуждыя соціально политическимъ тенденціямъ. Таковы въ особенности первые его баллады *Причинна*, *Утоплена*, *Русалка*, *Тополя*, которыя онъ писалъ еще въ Петербургѣ, урывками, на клочкахъ бумаги въ Лѣтнемъ саду, подъ вліяніемъ поэзіи Жуковскаго и Козлова.

Но это вліяніе ничуть не мѣшало быть упомянутымъ произведеніямъ вполне народными. Въ то время какъ Жуковскій и прочіе романтики его времени пересаживали на русскую почву нѣмецкій романтизмъ, Шевченко нашелъ богатые романтическіе мотивы въ нескрѣпаемомъ родникѣ народной поэзіи. Во всѣхъ этихъ балладахъ воспѣвается несчастная судьба малороссійскихъ дѣвушекъ, то покинутыхъ милымъ казакомъ, отправлявшимся на войну и не возвратившимся, то тѣснимыхъ злою мачихою. Самымъ лучшимъ и высокимъ произведеніемъ его въ этомъ родѣ является повѣсть *Наймичка*, изображающая обманутую женщину, которая принуждена была чужимъ людямъ подбросить своего ребенка и затѣмъ нанявшись къ нимъ батрачкою, воспитала его въ ихъ семействѣ и лишь передъ смертью созналась ему, что она его мать. Высокое самоотверженіе несчастной матери и вообще все содержаніе

этого безхитростнаго разсказа, исполнены классически-величавой простоты и производят потрясающее впечатлѣніе.

Ко второму разряду относятся произведенія, гдѣ воспѣвается народное горе, причѣмъ конечно ужъ первое мѣсто занимаютъ страданія, которыя терпѣлъ народъ отъ крѣпостнаго права. Воспѣвая свою родную страстно-любимую Украину краше раз земнаго, Шевченко оговаривается лишь, что въ этомъ раѣ *) снимаютъ съ калѣки залатанную свитку для того, чтобы одѣть недорослыхъ княжичей; тамъ распинаютъ вдову за подати, берутъ въ войско единаго сына, единую подпору; тамъ подъ плетнемъ умираетъ съ голоду опухшій ребенокъ, тогда какъ мать жнетъ на барщинѣ ишеницу; а тамъ опозоренная дѣвушка, шатаясь, идетъ съ незаконнымъ ребенкомъ: отецъ и мать отреклись отъ нея, чужіе не принимаютъ ее, нищіе даже отворачиваются отъ нея... а барчукъ... онъ не знаетъ ничего, онъ съ двадцатю по счету пропиваетъ души*. Произволь и самодурство пановъ доходили до того, что по словамъ Шевченка

. . . Якъ-бы разсказать
Про какого небудь одного магната
Исторію-правду, то перелякати
Саме-бъ пекло можно; и Данта старею
Полупанкомъ нашимъ можно здывувати.

Но болѣе всего страдали отъ распущенности помѣщичьихъ нравовъ и панскаго произвола женщины, и гуманный страдалецъ о скорбной женской долѣ, Шевченко большую часть своихъ произведеній этого рода посвятилъ оплакиванію опозоренныхъ жертвъ барской прихоти, такъ называемыхъ „покрытокъ“. Самыя лучшія, наиболѣе развитыя и драматичныя по своему содержанію произведеніемъ этого рода является поэма *Катерина*, посвященная поэту Жуковскому на память 29-го апр. 1838 г. (т. е. дня избавленія поэта отъ крѣпостной зависимости). Въ лицѣ Катерины изображается здѣсь несчастная судьба „покрытки“, которая полюбила паныча москаля, была имъ брошена съ ребенкомъ на рукахъ, потерпѣла страшный позоръ, была прогнана родителями изъ родимой хаты и отправилась розыскивать милаго, наконецъ встрѣтила его гдѣ-то на пути во главѣ коннаго отряда, но онъ не призналъ ея, закричалъ: „возьмите прочь безумную“ и она утопилась въ отчаяніи, а сына ея прирѣзъ слѣпой кобзарь, и сдѣлался онъ его поводыремъ.

Къ третьему разряду относится рядъ его произведеній историческаго содержанія, воспѣвающихъ времена казацкой вольности, защитниковъ народной свободы и мстителей за ея поруганіе. Таковы двѣ большія поэмы его *Гайдамаки* и *Гамалія* и нѣсколько мелкихъ рапсодій: *Никита Гайдай*, *Иванъ Підкова*, *Тарасова нічъ*, *Невольникъ*, *Выборгъ гетмана*, *Чернецъ*, *Разсказъ покойника*, *Швачка*, *Сдача Дорошенка*, *Якъ-бо то ты*, *Богдане пьяный* и др.

Въ поэмахъ этихъ наиболѣе высказываются политическіе и соціальныя взгляды и убѣжденія поэта. Они особенно высоко цѣнятся и читаются его земляками; но надо замѣтить, что при всей страстной любви къ родной Украинѣ, столь свойственной каждому малороссу и при всей скорби о славномъ прошломъ Малороссіи, о незабвенной

*) См. *Очерки укр. лит. XIX ст.* Н. И. Петрова, стр. 337.

эпохѣ ея независимости и казацкихъ вольностяхъ, Шевченко былъ далекъ отъ узкой хохломаніи. И въ своихъ историческихъ пѣсняхъ онъ является истиннымъ сыномъ народа, не столько воспѣвавшимъ казацкую славу, сколько оплакивавшимъ всѣ тѣ тяжкія невзгоды, какія перенесъ его народъ. Онъ клеймитъ притѣснителей народа не только въ лицѣ исконныхъ враговъ его, ляховъ и жидовъ, но и своихъ пановъ и гетмановъ, выставляя настоящей причиной политическихъ бѣдствій ихъ края ту „казацкую старшину“, которая погналась за личными выгодами, забывши объ интересахъ народа. Возвышаясь такимъ образомъ надъ узкою идеею національной личности, онъ въ наиболѣе зрѣлыхъ въ политическомъ отношеніи своихъ произведенійхъ (каковы *Кавказъ*, *Невольникъ*, *Сонъ*, *Завѣщаніе*, *Холодный Яръ*, *Читринъ*, *Суботовъ*, *Посланіе до живыхъ и мертвыхъ и непорожденныхъ землякивъ моихъ* и поэма *Иванъ Гусъ*) высказываетъ идею общеславянской федераціи въ духѣ полной равноправности внутренней и внѣшней, братства и единенія.

Щобъ уси славяне стали
Добрыми братамы,
И сынами сонця правды
И еретьками —
Оттакымы, якъ Констанський
Еретькъ великый!

Вотъ это именно стремленіе возвыситься изъ сферы узкаго націонализма до все-славянской общности и сдѣлаться поэтомъ не только украинскимъ, но и всеславянскимъ и возбудило въ Шевченкѣ мысль написать поэму на такомъ языкѣ, который былъ-бы понятенъ для всѣхъ славянъ. Попытка эта, какъ мы видѣли выше, была безуспѣшна по той простой причинѣ, что созданіе общепонятнаго языка есть дѣло вѣковъ и цѣлыхъ поколѣній, и для нея слишкомъ слабы силы одного человѣка, какъ-бы ни былъ великъ его геній. Это-же самое стремленіе склонило Шевченко въ концѣ жизни и къ писанію прозаическихъ разсказовъ на великорусскомъ языкѣ. Разказы эти, составляющіе четвертый разрядъ его произведеній, написаны имъ по большей части во время ссылки. Таковы: *Близнецы*, *Музыкантъ*, *Художникъ*, *Несчастный*, *Мотросъ*, *Поэтъ о бѣдномъ Петрусь*, *Катитанія* и пр. Во многихъ этихъ повѣстяхъ мы видимъ тоже содержаніе, что и въ его стихотворныхъ поэмѣхъ предыдущаго времени; въ нихъ точно также изображается по большей части ненормальность крѣпостного права и печальныя явленія, имѣющія мѣсто на его почвѣ. Всѣ эти разказы не лишены литературныхъ достоинствъ; сами по себѣ они могли доставить автору почетную извѣстность. Но конечно они далеко отступаютъ отъ его стихотворныхъ поэмъ и пѣсней, писанныхъ на родномъ нарѣчьи, и Шевченко все-таки останется навсегда въ глазахъ и современниковъ, и потомства великимъ украинскимъ народнымъ поэтомъ.

III.

Меньшимъ талантомъ обладалъ и меньшее значеніе имѣлъ въ литературѣ, хотя все-таки оставилъ послѣ себя довольно яркій слѣдъ, Иванъ Савичъ Никитинъ.
Славичевскій.

Онъ родился въ Воронежѣ 21-го сентября 1824 г. Отецъ его былъ изъ духовнаго званія; но выйдя изъ него, записался въ мѣщане, занялся торговлею и имѣлъ свѣчной заводъ и лавку подъ Смоленскимъ соборомъ, на самомъ бойкомъ торговомъ мѣстѣ. Одинокимъ росъ въ домѣ родителей Никитинъ, имѣя единственную подругу дѣтскихъ игръ въ лицѣ двоюродной сестры Аннушки, съ которой часто ссорился, будучи крайне живымъ и рѣзвымъ ребенкомъ. Первымъ учителемъ Никитина былъ сапожникъ, научившій его грамотѣ, когда ему было шесть лѣтъ. Первыми прочтенными книгами были: *Мальчикъ у ручья* Коцебу и *Луиза или Подземелье Лионскаго замка* Радклифъ. Въ 1832 году, когда мальчику было восемь лѣтъ, отецъ отдалъ его въ духовное училище, по окончаніи котораго Никитинъ поступилъ въ 1841 году въ воронежскую семинарію. Давая сыну систематическое образованіе, отецъ готовилъ его къ университету, надѣясь видѣть въ немъ со временемъ лекаря. Учился Никитинъ въ семинаріи такъ-же хорошо, какъ и въ духовномъ училищѣ; но особенно блестящіе успѣхи оказалъ онъ въ словесности, въ составленіи не только мелкихъ классныхъ сочиненій, но и болѣе серьезныхъ пьесъ. Въ семинаріи-же онъ написалъ первое свое стихотвореніе и показалъ его профессору словесности Чехову, который похвалилъ и совѣтовалъ продолжать.

Но не пришлось юношѣ доканчивать свое образованіе въ университетѣ. Вскорѣ отецъ разорился и запылъ; мать умерла. Когда въ 1843 году Никитинъ перешелъ въ философскій классъ семинаріи, пришлось выйти изъ училища, возиться съ вѣчно пьянымъ отцомъ и дворничать на постояломъ дворѣ, который представлялъ собою единственный остатокъ отъ прежняго благосостоянія, скудными доходами котораго едва могли прокармливатьсѣ отецъ и сынъ.

Уединенная жизнь съ вѣчно-хмѣльнымъ отцомъ на концѣ города, въ совершенномъ отчужденіи отъ образованнаго общества, развила въ Никитинѣ страсть къ загороднымъ прогулкамъ и охотѣ, во время которыхъ онъ иногда зачитывался по цѣлымъ часамъ, или, улѣгшись подъ деревомъ, сочинялъ стихи, которые пряталъ отъ всѣхъ, боясь насмѣшекъ окружавшихъ его невѣжественныхъ людей и дѣлалъ своими бесѣдами съ жужой лишь съ своимъ сверстникомъ-другомъ, Ив. Ив. Дураковымъ, нижедѣвицкимъ мѣщаниномъ.

Не безъ вліянія и одобренія Дуракова Никитинъ послалъ нѣкоторыя свои стихотворенія въ редакціи тогдашнихъ журналовъ; но ихъ постигла печальная участь стиховъ неизвѣстныхъ авторовъ—въ видѣ полнаго невниманія, и лишь въ 1853 году удалось Никитину напечатать свое стихотвореніе *Русь въ Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ*, благодаря патріотическому содержанію стихотворенія, пришедшемуся кстати при только-что разгоравшейся крымской войнѣ. Вотъ что писалъ Никитинъ редактору *Воронежскихъ Вѣдомостей*, посылая ему свое стихотвореніе:

«Я—здѣшній мѣщанинъ. Не знаю, какая непостижимая сила влечетъ меня къ искусству, въ которомъ можетъ-быть я ничтожный ремесленникъ! Какая непонятная власть заставляетъ меня слагать задумчивую пѣсню въ то время, когда горькая дѣйствительность окружаетъ жалкою прозою мое одинокое, незавидное существованіе! Скажите, у кого мнѣ просить совѣта и въ комъ искать теплаго участія? Кругъ моихъ знакомыхъ слишкомъ ограниченъ и составляетъ со мною рѣшительный контрастъ во взглядахъ на предметы, въ понятіяхъ и желаніяхъ. Быть можетъ, моя любовь къ

поэзии и мои грустные пѣсни вы назовете плодомъ раздраженнаго воображенія и смѣшною претензiею выйти изъ той сферы, въ которую я поставленъ судьбою. Рѣшенiе этого вопроса я предоставляю вамъ, и скажу откровенно, буду ожидать этого рѣшенiя не совсѣмъ равнодушно: оно покажетъ мнѣ или мое значенiе, или мою ничтожность, мое нравственное — быть или не быть?»

Появленiе въ печати стихотворенiй Никитина сблизило его съ воронежскимъ интеллигентнымъ кружкомъ: гг. Второвымъ, Де-Пуле, Александровымъ-Дольникомъ и др., которые до самой смерти поэта принимали въ немъ самое горячее и дружеское участiе и не переставали помогать ему и совѣтами, и хлопотами по устройству его матеріальнаго положенiя. Особенно-же возросла популярностъ Никитина послѣ написаннаго имъ стихотворенiя *Моленiе о чаинъ*: о немъ заговорили во всѣхъ даже едва грамотныхъ слояхъ общества; стихотворенiе переписывалось во множествѣ экземпляровъ и распространилось далеко за предѣлами Воронежа и даже губерни.

Въ тоже время нѣкоторыя газеты не замедлили перепечатать изъ *Воронежскихъ Вѣдомостей* стихотворенiе *Русь и Войну за вѣру*. Затѣмъ гр. Д. Н. Толстой принялъ живое участiе въ новомъ дарованiи и напечаталъ въ *Москвитянинѣ* нѣсколько его стихотворенiй съ письмомъ Де-Пуле, содержащимъ свѣдѣнiя о поэтѣ, и тогда-же предложилъ издать на свой счетъ собранiе его стихотворенiй.

Эта рекомендацiя публикѣ Никитина въ качествѣ якобы новаго Кольцова въ *Москвитянинѣ* была причиною, что вся петербургская журналистика изъ партiйной вражды къ кружку *Москвитянина* долго не признавала Никитина и, когда въ 1856 году вышло въ свѣтъ изданiе его стихотворенiй, отнеслась къ нему пренебрежительно, несмотря на то, что изданiе имѣло въ публикѣ успѣхъ, и черезъ три года, въ 1859 году, потребовалось новое изданiе. Впрочемъ когда въ 1858 году Никитинъ издалъ въ Москвѣ поэму *Кулакъ*, журналы отозвались о Никитинѣ гораздо благосклоннѣе, а *Атеней* призналъ даже поэму его за одно изъ „лучшихъ литературныхъ явленiй послѣдняго времени“.

Въ послѣднiе годы жизни, благодаря литературнымъ успѣхамъ, Никитину удалось настолько улучшить свои матеріальныя дѣла, что у него скопился маленькiй капиталчикъ до двухъ тысячъ рублей, и на эти деньги при содѣйствiи друзей онъ открылъ въ Воронежѣ книжный магазинъ, положивъ въ это дѣло всю свою душу. Но дни его были уже сочтены: предшествовавшiя лишенiя и невзгоды такъ расшатали его здоровье, что 16-го октября 1861 года онъ умеръ на 37-мъ году отъ рожденiя. Тѣло его было погребено на городскомъ кладбищѣ недалеко отъ могилы Кольцова.

При всемъ своемъ сильномъ талантѣ Никитинъ не былъ какимъ-либо новаторомъ и не отличался такою оригинальностiю, которая рѣзко выдѣляла-бы его изъ всѣхъ прочихъ поэтовъ его времени. Въ его произведенiяхъ постоянно слышались мотивы музъ то Кольцова, то Некрасова, то Тютчева, то Фета и пр. Но это не мѣшало ему быть не рабскимъ подражателемъ упомянутыхъ поэтовъ, но въ свою очередь истиннымъ и самороднымъ поэтомъ, и нѣкоторыя произведенiя его возвышаются до классическаго совершенства и не даромъ помѣщаются въ хрестоматiяхъ, наряду съ самыми высокими образцами русской поэзи.

Стихотворенiя его можно раздѣлить на два разряда: въ однихъ онъ подчинялся

господствовавшей въ его время поэзіи пушкинской школы, поэтамъ чистаго искусства. Въ стихотвореніяхъ подобнаго рода наиболѣе проявлялась одна изъ существенныхъ особенностей его таланта: страсть изображать пейзажи изъ природы его роднаго края.

Надо отдать справедливость: по яркости колорита, по теплотѣ и поэтичности рисунка, по детальности, его пейзажи отличаются первостепеннымъ мастерствомъ и производятъ чарующее впечатлѣніе. Такія вещи, какъ *Утро, Гнѣздо ласточки, Встрѣча зимы, Зимняя ночь въ деревнѣ, 19 Октября, Разсыпались звѣзды* и пр. конечно извѣстны всѣмъ и каждому наряду со всѣмъ, что только есть лучшаго въ нашей поэзіи въ этомъ родѣ.

Ко второму разряду слѣдуетъ причислить стихотворенія его изъ народнаго быта въ кольцовскомъ стилѣ. Въ стихотвореніяхъ подобнаго рода вы не встрѣтите, правда, ни той страстности, ни того широкаго размаха, какими отличается муза Кольцова; они полны тихой меланхоліи, переходящей порою въ надрывающую грусть. Но зато въ нихъ болѣе политическаго зрѣлости и сознательнаго отношенія къ условіямъ народной жизни, чѣмъ у великаго предшественника и земляка Никитина. Эпоха въ этомъ отношеніи успѣла наложить свою печать на поэта. Онъ является въ стихотвореніяхъ этого рода преимущественно пѣвцомъ народнаго горя, защитникомъ всего обездоленнаго, страдающаго и гибнущаго подъ гнетомъ нужды, невѣжества и самодурства. Лучшими произведеніями его въ этомъ родѣ являются—*Пахарь, Соха, Жена ямщика, Ночлежъ извозчиковъ, Пѣсня бобыля, Наслѣдство* и пр. Самою же крупною вещью его въ этомъ родѣ является поэма *Кулакъ*—мрачная драма изъ жизни воронежскихъ мѣщанъ, основанная на вѣчномъ руссiйскомъ сюжетѣ семейнаго самодурства—выдачи замужъ за стараго и немилаго изъ-за своекорыстныхъ разсчетовъ. Самыми лучшими мѣстами въ поэміи этой является опять-таки масса ландшафтовъ и вообще вся описательная часть. Въ цѣломъ-же поэма страдаетъ растянутостью и неуклюжестью. Какъ поэтъ-самоучка, Никитинъ раздѣлялъ печальную участь всѣхъ беллетристовъ и стихотворцевъ, вышедшихъ изъ разночинной среды: отсутствіе выработанной техники и неумѣнье справиться съ формами своихъ произведеній.

Изъ поэтовъ, вышедшихъ изъ народа, заслуживаютъ также вниманія Иванъ Захаровичъ Суриковъ и Спиридонъ Дмитріевичъ Дрожжинъ. Оба эти поэта имѣютъ много сходства между собою и по обстоятельствамъ жизни, и по характеру своихъ стихотвореній. Суриковъ родился въ 1840 году 25 марта въ деревнѣ Новоселово углицкаго уѣзда. Дрожжинъ родился 6 декабря 1848 года въ деревнѣ Низовкѣ, на Волгѣ, тверской губерніи и уѣзда. Оба они, будучи крестьянскими дѣтьми, рано оставили родныя села и мыкались по столицамъ, по разнымъ скуднымъ заработкамъ, терпя нужду и горе: Суриковъ торговалъ угольями, Дрожжинъ состоялъ то половымъ въ трактирѣ, то приказчикомъ у табачныхъ торговцевъ, то просто лакеемъ въ барскихъ домахъ. Оба они выучились писать урывками между дѣломъ и писали въ одномъ и томъ-же стилѣ оплакиванія тяжелой народной доли, подражая то Кольцову, то Некрасову, то Никитину. Суриковъ умеръ 1880 года 25 апрѣля отъ чахотки. Дрожжинъ живетъ и здравствуетъ доселѣ. Къ чести его онъ остался тѣмъ-же крестьяниномъ, какииъ и былъ, и по зимамъ, уѣзжая въ столицы заниматься литературнымъ трудомъ,

въ видѣ отхожаго промысла, лѣтомъ онъ не перестаетъ трудиться надъ своею землею. Односельчане не игнорируютъ его литературныхъ занятій, а напротивъ того заучиваютъ и распѣваютъ его пѣсни.

IV.

Изъ писателей интеллигентной среды, принадлежащихъ къ одному лагерю съ Некрасовымъ, наибольшаго вниманія заслуживаетъ Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ. Онъ родился 22-го ноября 1825 года въ Костромѣ, въ семьѣ стариннаго дворянскаго рода. Когда ему было два года, отецъ его поселился въ Нижнемъ-Новгородѣ, найдя здѣсь служебное мѣсто; здѣсь и провелъ поэтъ все дѣтство. Въ 1838 году онъ былъ отправленъ въ Петербургъ, въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ, откуда вскорѣ вышелъ, вступилъ въ с.-петербургскій университетъ, но и здѣсь курса не кончилъ.

Рано появилась у Плещеева наклонность къ литературной дѣятельности. Восемнадцати лѣтъ онъ уже выступилъ въ свѣтъ съ переводомъ стихотворенія Рюккерта *Пѣсня странника*, напечатанномъ въ XXXI томѣ *Современника* Плетнева за 1843 годъ. До половины 1845 года продолжалъ Плещеевъ печатать свои стихотворенія въ *Современникѣ*, затѣмъ началъ появляться и въ другихъ журналахъ—въ *Иллюстраціи* Кукольника, въ *Репертуарѣ* и *Пантеонѣ* Межвинца, а въ 1846 г. вышло въ свѣтъ первое изданіе его стихотвореній. Плещеевъ въ это время вращался въ самыхъ передовыхъ кружкахъ своего времени и принималъ горячее и живое участіе въ движеніи петрашевцевъ. Это отражается и въ его стихотвореніяхъ того времени. Видно, что молодой поэтъ въ то время былъ еще преисполненъ самыхъ свѣтлыхъ и радужныхъ надеждъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ все окружающее настраивало его на воинственный ладъ. И вотъ, завидя вмѣстѣ со всѣмъ обществомъ „зарю святого искупленія“, онъ звалъ друзей своихъ взяться за руки и смѣло двинуться „впередъ безъ страха и сомнѣнья на подвигъ доблестный“, чтобы подъ знаменемъ науки союзъ ихъ крѣпнулъ и росъ, и гордо, смѣло предрекалъ имъ:

Жрецовъ грѣха и лжи мы будемъ
Глаголомъ истины карать,
И спящихъ мы отъ сна разбудимъ
И поведемъ на битву рать...

Муза, явившаяся поэту во снѣ, когда онъ спалъ на берегу моря, предрекла ему самую блестящую участь:

Страданьемъ и тоской твоя изрыта грудь,
А предъ тобой лежитъ еще далекій путь.
Скажу я, что тебя въ твоей отчизнѣ ждетъ:
Подыметъ на тебя камень твой народъ,
За то, что обличилъ могучимъ словомъ ты
Рабовъ грѣха, рабовъ постыдной суеты!
За то, что возвѣстишь ты мщенія грозный часъ
Тому, кто въ тинѣ зла и праздности погрязъ!
Чье сердце не смущалъ гонимыхъ братьевъ стонъ,
Кому закономъ былъ — отцовъ его законъ!
Но не страшися ихъ! И знай, что я съ тобой,

И камни пролетать надъ гордой головой!
 Въ цѣпяхъ-ли будешь ты, ве—унывай, и вѣрь,
 Я отопру сама темницы смрадной дверь,
 И снова ты пойдешь, избранный мой левить,
 И въ міръ голосъ твой не даромъ прозвучить.
 Зерно любви въ сердца глубоко западетъ;
 Придетъ пора и дастъ оно роскошный плодъ.
 И человѣку той поры не долго ждать,
 Недолго будетъ онъ томиться и страдать.
 Воскреснетъ къ жизни міръ... Смотри, ужъ правды лучъ
 Прозрѣвшимъ пламенемъ сверкаетъ изъ-за тучъ!
 Иди-же вѣры полнѣ... И на груди моей
 Ты скоро отдохнешь отъ муки и скорбей...

Вѣрный этому призванію, поэтъ рѣшительно объявляетъ своимъ друзьямъ, что онъ будетъ овершено лишній на ихъ пирахъ, что „не веселитъ его разгульное похмѣлье и не кипитъ отвагой прежней кровь“, что онъ только и могъ безпечно пировать и пошлять о счастіи, пока „въ ужасной наготѣ еще не предстали ему бѣдствія страны его родной, и муки братьевъ духъ еще не волновали“. Въ свою очередь и на любовь поэтъ, несмотря на свои 20 лѣтъ, высказывалъ такой-же строгій взглядъ, подчиняя ее тѣмъ-же призывамъ своей скорбной музыки. Такъ онъ рѣшительно отвергаетъ любовь дѣвушки, не раздѣляющей его убѣжденій, говоря, что

Не въ силахъ я лгать предъ тобою,
 А правда страшна для тебя...
 Къ чему-же безплодной борьбою
 Всечасно терзать намъ себя?
 Въ кумирахъ мнѣ Бога не видѣть,
 Передъ ними чела не склонить!
 Мнѣ все суждено ненавидѣть,
 Что рабски привыкла ты чтить!..

Но и въ такихъ случаяхъ, гдѣ поэтъ не встрѣчаетъ подобной чуждости душъ и гдѣ никакой разладъ не мѣшаетъ ему любить, онъ все-таки смотритъ на любовь, лишь какъ на минутный отдыхъ на своемъ тернистомъ пути, и говоритъ своей возлюбленной:

Мнѣ не дано въ удѣлъ безпечно наслаждаться,
 Передо мной лежить тернистый, долгій путь;
 И я спѣшу, дитя, тобой налюбоваться,
 Хотя на мигъ душой отъ скорби отдохнуть!

Но недолго продолжался воинственно-восторженный подъемъ духа молодого поэта. Въ началѣ 1849 года Плещеевъ, въ бытность свою въ Москвѣ, куда онъ ѣздилъ по домашнимъ дѣламъ, былъ арестованъ по прикосновенности къ дѣлу Петрашевскаго и посаженъ въ Петропавловскую крѣпость. По рѣшенію военного суда Плещеевъ былъ приговоренъ вмѣстѣ съ другими двадцатью тремя лицами къ расстрѣліанію; но Высочайшею конфирмаціею приговоръ былъ смягченъ, и Плещеевъ назначенъ былъ рядовымъ въ оренбургскіе линейные батальоны съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія. Послѣ дватидесятидневнаго заключенія въ крѣпости, онъ былъ 24 декабря 1849 г. отправленъ въ

Оренбургскій край, гдѣ и оставался до 1858 года. Первое время Плещеевъ служилъ въ Уральскѣ, потомъ принималъ участіе въ экспедиціи, предпринятой генераль-адъютантомъ Перовскимъ для взятія коканской крѣпости Акмечеть, нынѣ—Перовскъ, и принималъ участіе въ штурмѣ этой крѣпости, за что произведенъ былъ въ унтеръ-офицеры, а въ 1856 году—въ прапорщики. Затѣмъ, послуживъ еще годъ во фронтѣ, Плещеевъ перешелъ въ гражданскую службу, въ оренбургскую пограничную комиссію, въ которой прослужилъ до выхода въ отставку въ 1858 году. 17 апрѣля 1857 года ему возвращены были права потомственного дворянства, а годъ спустя онъ получилъ разрѣшеніе жить въ столицѣ. Это обстоятельство позволило Плещееву исполнить давнишнее желаніе—поселиться въ Москвѣ, что ему и удалось осуществить въ половинѣ 1859 года. Проживъ здѣсь слишкомъ одиннадцать лѣтъ, Плещеевъ въ январѣ 1872 г. переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ вошелъ въ составъ редакціи *Отечественныхъ Записокъ*, и до самаго закрытія этого журнала въ 1884 году завѣдывалъ въ немъ стихотворнымъ отдѣломъ. Въ послѣдніе годы завѣдывалъ въ свою очередь стихотворнымъ и беллетристическимъ отдѣлами въ *Сѣверномъ Вѣстникѣ*.

По возвращеніи изъ ссылки Плещеевъ получилъ возможность возобновить свою литературную дѣятельность „съ робостью новичка“, по выраженію Добролюбова, печатая свои стихотворенія подъ фамилією А—П—ва. Многіе читатели узнали знакомый голосъ и радушно приняли „старыя пѣсни на новый ладъ“, какъ назвалъ самъ Плещеевъ свои стихи, печатая ихъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*.

Но въ новыхъ пѣсняхъ поэтa не было уже тѣхъ сильныхъ юношескихъ порывовъ и радужныхъ мечтаній, какіе мы видѣли въ первыхъ его стихотвореніяхъ. Годы изгнанія и тяжелой неволи надломилъ юныя силы и положили на музу поэтa яркую печать разочарованія, тоски и унынія. Естественно, что первую пѣсню послѣ столь долгаго молчанія поэтъ посвятилъ тѣмъ самымъ друзьямъ своей юности, которыхъ онъ призывалъ нѣкогда идти впередъ подѣ знаменемъ науки, и вотъ что теперь онъ возглашаетъ друзьямъ своей юности:

Домчатся-ль къ вамъ знакомыхъ пѣсенъ звуки,
Друзья моихъ погибшихъ юныхъ лѣтъ?
И братскій вашъ услышу-ли привѣтъ?
Все тѣ-же-ль вы, что были до разлуки?
Быть можетъ, мнѣ иныхъ не досчитаться!
А тѣ—въ чужой, далекой сторонѣ,
Уже давно забыли обо мнѣ...
И некому на пѣсни отозваться!..
Но я—среди бурь, въ дни горя и печали,
Былъ вѣренъ вамъ, весны моей друзья,
И снова къ вамъ несется пѣснь моя,
Когда, какъ сонъ, невзгоды миновали...

Но если миновали невзгоды, то съ другой стороны оказались невозвратными и безвременно погибшіе дни юности съ ихъ жизнерадостностью и отвагою, и осталось одно лишь скорбное раздумье о безотрадности и тщетѣ всей жизни:

Дни скорби и тревогъ, дни горькаго сомнѣнья,
Тоски болѣзненной и безотрадныхъ думъ

Когда-жъ минуютъ? возрожденья,
 Такъ страстно сердце ждетъ, такъ сильно жаждетъ умъ?
 Не вижу я вокругъ отраднaго разсвѣта!
 Повсюду ночь да ночь, куда не бросишь взоръ.
 Исчезли безъ слѣда мои младыя лѣта—
 Какъ въ зимнихъ небесахъ сверкнувшій метеоръ.
 Какъ мало радости они мнѣ подарили,
 Какъ скоро свѣтлыя разсѣялись мечты,
 Морозы ранніе безжалостно побили
 Безпечной юности любимыя цвѣты.
 И чистыхъ помысловъ, и жаркихъ упованій
 На жизненномъ пути разстратилъ много я;
 Но средь неравныхъ битвъ, средь тяжкихъ испытаній,
 Что-жъ обрѣла взаимѣнъ всѣхъ грезъ душа моя?
 Увы! лишь тяжкое въ себѣ разувѣренье,
 Да убѣжденія въ бесплодности борьбы,
 Да мысль, что ни одно правдивое стремленье
 Ждать не должно себѣ пощады отъ судьбы.
 И даже ты моимъ призывамъ измѣнила,
 Друзей свободная и шумная семья!
 Привѣта братскаго живительная сила
 Мнѣ не врачуешь духъ въ тревогахъ бытія...

Даже освобожденіе изъ неволи не принесло поэту живой радости, и разставаясь съ страной изгнанья, поэтъ какъ-бы жалѣеть [о ней и неохотно удаляется на просторъ свободной жизни:

Такъ скоро, можетъ быть, покинуть долженъ я,
 О степь унылая, просторъ твой необъятный;
 Но, вмѣсто радости, зачѣмъ душа моя
 Полна какою-то тревогой непонятной?
 Жалѣю-ль я чего? Или въ краю иномъ
 Грядущее сулить мнѣ мало утѣшенья?
 И побреду я вновь знакомымъ мнѣ путемъ,
 Путемъ заботъ, печалей и лишенья?.. и т. д.

Сознаніе бесплодности жизни, мучительныхъ укоровъ совѣсти при видѣ своей слабости, малодушія и отсутствія дѣятельнаго добра еще рельефнѣе выражается въ слѣдующемъ стихотвореніи Плещеева:

О, если-бъ знали вы, друзья моей весны,
 Прекрасныхъ грезъ моихъ, порывовъ благородныхъ, —
 Какой мучительной тоской отравлены,
 Проходить дни мои въ сомнѣніяхъ бесплодныхъ!
 Былое предо мной какъ призракъ возстаетъ,
 И тайный голосъ мнѣ твердитъ укоръ правдивый:
 Чего не могъ убить суровый жизни гнетъ,
 Зарылъ я въ землю самъ! Зарылъ, какъ рабъ лѣнивый!
 Душѣ была дана любовь отъ Бога въ даръ,
 И отличать дано добро отъ зла умѣнье;
 На что-же тратилъ я священный сердца жаръ?
 Упорно-ль къ цѣли шелъ во имя убѣжденія?

Я заключалъ не разъ со зломъ постыдный миръ,
Я пренебрегъ труда спасительной дорогой.
Не простиралъ руки тому, кто нагъ и сирь,
И оставался глухъ къ призывамъ правды строгой.
О больно, больно мнѣ... Скорбитъ душа моя,
Казнить меня палачъ неуголимый — совѣсть,
И въ книгѣ прошлаго съ стыдомъ читаю я
Погибшей безъ слѣда, безплодной жизни повѣсть.

Таковы были мотивы новыхъ пѣсенъ Плещеева, которыя онъ началъ пѣть по возвращеніи изъ своей ссылки. Онъ много переводилъ и продолжалъ всей своей литературной дѣятельности и прекрасно переводилъ (лучшіе его переводы — *Вильямъ Радклифъ* Гейне, *Работница* Шевченки (1860), рядъ переводовъ изъ Ленау, Гервега, Роберта Прутца и др. нѣмецкихъ поэтовъ (1861), *Мадамина*, драма Гиббеля въ четырехъ дѣйствіяхъ (1861), *Струензе*, трагедія Михаила Бэра въ пяти дѣйствіяхъ (1876) и пр.); вторилъ порою некрасовской музѣ и пытался пробуждать въ русской публикѣ сочувствіе и состраданіе къ горю русскаго народа и къ скорбной участи униженныхъ и оскорбленныхъ, но не въ этомъ во всемъ главное значеніе и наибольшая сила его музыки, а все въ тѣхъ-же субъективно-лирическихъ мотивахъ, въ которыхъ вылилось личное горе его скорбной жизни, начиная съ пѣсенъ 1858 года, затѣмъ въ сборникахъ 1861 и 1863 г. и наконецъ въ послѣднемъ изданіи его стихотвореній 1887 года. Онъ имѣетъ въ этомъ отношеніи нѣкоторое подобіе съ Полежаевымъ, главное значеніе котораго въ свою очередь заключается въ оплакиваніи своей печальной доли. Но горе Полежаева слишкомъ эксцентрично и узко, стихотворенія его крайне односторонни, монотонны, блѣдны красками. Плещеевъ никогда не доходилъ до такихъ печальныхъ крайностей, до какихъ дошелъ Полежаевъ. Это—натура въ высшей степени гармоничная, гуманная, кроткая и поэтичная. А главное дѣло, — Плещеевъ во сто разъ образованнѣе Полежаева. Вслѣдствіе этого ему удалось встать на такую высоту, о какой не могло и сниться Полежаеву: именно въ то время, какъ мотивы поэзіи Полежаева остались исключительно личными, субъективными, Плещеевъ обобщилъ мотивы своего горя, сдѣлалъ ихъ мотивами общаго горя всѣхъ интеллигентныхъ людей его времени.

Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ насъ хоть въ десятой долѣ не прочувствовалъ всего, что выразилъ Плещеевъ въ своихъ звучныхъ стихотвореніяхъ? Передъ кѣмъ не раскрывалось двухъ дорогъ, которыя описываетъ поэтъ въ стихотвореніи, посвященномъ И. С. Аксакову (изд. 1887 г., стр. 96)? Кто въ юности не исполнился вопиюще-восторженныхъ мечтаній, не призывалъ друзей въ тѣсный союзъ подъ знаменемъ науки и впоследствии не оплакивалъ этихъ мечтаній и не взывалъ къ разсѣяннмъ друзьямъ: „откликнитесь, гдѣ вы?“ Кто не оплакивалъ своего безсилія, малодушія, не опускалъ рукъ, не чувствовалъ мученій совѣсти при сознаніи, что онъ не простиралъ руки къ тому, кто нагъ и сирь и остался глухъ къ призывамъ правды строгой? Наконецъ кто-же изъ современныхъ интеллигентныхъ людей, измученныхъ всѣми этими развѣдающими рефлексіями, тщетными порываніями, исканіями, сомнѣніями, уныніями и терзаніями совѣсти, не обращается въ концѣ концовъ къ природѣ и не восклицаетъ вмѣстѣ съ любимымъ поэтомъ:

Природа мать, къ тебѣ иду
 Съ своей глубокою тоскою,
 Къ тебѣ усталой головою
 На лоно съ плачемъ припаду и т. д.

Но у Плещеева есть стихотворенія, въ которыхъ онъ не только вторитъ общему настроенію всѣхъ своихъ современниковъ, но высоко паритъ надъ ними, возбуждая въ нихъ священныя чувства любви, гуманности, братства, составляющія высшіе идеалы человѣческаго совершенства и залогъ будущаго земного счастья, — идеалы, въ которыхъ заключалась нѣкогда вся суть молодыхъ упованій поэта...

V.

Если сатирико-эпиграматичная, шуточная, пасквильная поэзія всегда имѣла видное мѣсто въ нашей литературѣ, то никогда она не доходила до такого широкаго развитія, никогда такъ не наводняла прессу, какъ именно въ рассматриваемый нами періодъ пробужденія гласности, всяческихъ обличеній и ожесточеній полемики, періодъ, который не даромъ разные недоброжелатели называли „эпохою свистопляски“. Уже Некрасовъ, въ половинѣ со роковыхъ годовъ, положилъ начало обличительно-сатирическому жанру своими куплетами въ тѣхъ сборникахъ, какіе онъ издавалъ въ то время, за что за нимъ и утвердилась кличка сатирика, далеко не соответствующая истинному значенію его поэзіи. Въ пятидесятыхъ годахъ прославился въ этомъ родѣ поэтъ Кузьма Прутковъ, досуги котораго были печатаемы въ особенномъ приложеніи къ *Современнику* съ 1854 года — *Литературномъ Ералашѣ*, заведенномъ именно въ полемико-сатирическихъ цѣляхъ. Подъ вымышленнымъ именемъ Кузьмы Пруткова скрывались три поэта: Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ, братъ его Владиміръ Михайловичъ и А. К. Толстой. Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ, главный и наиболѣе энергичный поставщикъ шуточныхъ стиховъ подъ этимъ псевдонимомъ, авторъ комедій въ стихахъ *Страшная ночь* (1850 г.) и *Сумашествіе* (1852 г.), сынъ сенатора М. Н. Жемчужникова, родился въ 1822 году. Получивъ первоначальное воспитаніе въ домѣ отца, онъ былъ отданъ на двѣнадцатомъ году въ училище правовѣдѣнія, въ которомъ и окончилъ курсъ въ 1841 году. Затѣмъ служилъ долго въ сенатѣ, а въ послѣднее время занималъ мѣсто помощника статсъ-секретаря въ Государственномъ Совѣтѣ. Въ настоящее время онъ въ отставкѣ и проживаетъ за-границей. Мы уже говорили выше, что стихотворенія Кузьмы Пруткова, появившіяся въ эпоху самой крутой реакціи, когда было не до сатиры, отличаются самымъ невиннымъ юморомъ, чуждымъ какому-бы то ни было политическаго характера, и вся соль ихъ заключается главнымъ образомъ въ рядѣ остроумныхъ пародій на господствовавшія въ то время стихотворенія въ духѣ чистаго искусства, вѣчно воспѣвавшія то нравы древнихъ грековъ и римлянъ, то Испанію съ ея серенадами и костаньетами.

Но особенно начала процвѣтать и развиваться сатирическая поэзія послѣ 1856 г., когда во всѣхъ журналахъ вслѣдъ за *Свисткомъ тогдашняго Современника* появились полемическіе фельетоны, когда возникъ цѣлый рой специально-сатирическихъ листовъ съ *Искрой* во главѣ и явились писатели, всю свою дѣятель-

ность посвятившіе обличительной поэзіи. Впереди этихъ сатириковъ пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ первое мѣсто безспорно занимаетъ основатель русской сатирической прессы Василій Степановичъ Курочкинъ.

В. С. Курочкинъ родился 28 іюля 1831 г. въ Петербургѣ. Призваніе къ литературѣ почувствовалъ въ раннемъ дѣтствѣ. На седьмомъ году онъ самъ, безъ учителя, выучился читать, съ восьми проводилъ цѣлые дни за чтеніемъ, а десяти лѣтъ уже сочинялъ комедіи въ стихахъ, подражая всему, что онъ читалъ въ этомъ родѣ въ *Библиотецкѣ для Чтенія* Сенковского, въ *Репертуарѣ*, *Пантеонѣ* и пр. Въ 1841 г. Курочкинъ былъ опредѣленъ въ 1-й кадетскій корпусъ; въ 1846 году былъ переведенъ въ дворянскій полкъ, откуда въ 1848 г. былъ выпущенъ прапорщикомъ въ Гренадерскій полкъ. Не чувствуя расположенія къ службѣ, онъ однако промыкался въ ней около трехъ лѣтъ, проведя изъ нихъ съ годъ на гауптвахтѣ, куда попалъ по суду за самовольное оставленіе взвода, возвращавшагося съ парада, что было замѣчено Императоромъ Николаемъ.

Къ этому времени относится сочиненіе Курочкинымъ первой его сатиры *Путешествіе хромого бѣса въ Старую Руссу*, оставшейся ненапечатанною. Затѣмъ по приговору полевого суда онъ былъ посаженъ на мѣсяцъ въ крѣпость, послѣ чего попытка было вступить въ военную академію, но это ему не удалось, и онъ вышелъ въ отставку изъ военной службы. Не имѣя средствъ къ жизни, Курочкинъ опредѣлился въ вѣдомство путей сообщенія на жалованье чуть-ли не 14 р. въ мѣсяцъ, которымъ и довольствовался втеченіи почти двухъ лѣтъ до полученія пятидесятирублевого мѣста.

Начиная съ половины 1854 года стихотворенія Курочкина стали появляться въ нѣкоторыхъ мало распространенныхъ петербургскихъ журналахъ и газетахъ, но извѣстностью онъ не пользовался и лишь съ первыхъ переводовъ его изъ Беранже онъ былъ замѣченъ, и изъ всѣхъ редакцій посыпались приглашенія о сотрудничествѣ. Этотъ успѣхъ былъ вполне понятенъ. Въ переводахъ изъ Беранже впервые талантъ Курочкина проявится во всей своей величинѣ. По средству-ли своего характера и духа съ знаменитымъ французскимъ поэтомъ, или-же просто по чуткости и богатству своего таланта, но только Курочкинъ, такъ сказать, самъ воплотился въ Беранже, пережилъ каждую изъ переведенныхъ имъ его пѣсень всѣмъ своимъ существомъ и сумѣлъ перевести Беранже такъ, что сдѣлалъ его какъ-бы русскимъ народнымъ поэтомъ. Словомъ, онъ переводилъ Беранже такъ-же, какъ Крыловъ переводилъ Лафонтена; и подобно тому, какъ читая басню Крылова, вы забываете Лафонтена и видите передъ собою только Крылова, такъ и читая пѣсни Беранже въ переводѣ Курочкина — вы забываете о Беранже и видите передъ собою В. С. Курочкина. Нѣтъ ничего удивительнаго, что изданіе переводовъ Беранже В. С. Курочкина выдержало втеченіи пяти-шести лѣтъ пять изданій, одно изъ которыхъ — именно пятое — появилось въ 1864 г. съ приложеніемъ двѣнадцати гравюръ, сдѣланныхъ по рисункамъ Бойе.

Вообще нужно сказать, что В. С. Курочкинъ былъ вполне произведеніемъ, дѣтищемъ шестидесятихъ годовъ и однимъ изъ самыхъ типическихъ представителей своей эпохи. Шестидесятые годы отличаются своими безкорыстно-честными, высокими увлеченіями при полномъ отсутствіи практичности, тактичной выдержки, строго обдуманыхъ или-

новъ въ дѣйствіяхъ и цѣляхъ. Таковъ былъ и В. С. Курочкинъ во всемъ складѣ своего характера. Обладая сангвиническимъ, веселымъ темпераментомъ, художественнымъ, тонко-развитымъ вкусомъ, блестящимъ остроуміемъ и нѣжнымъ, любящимъ сердцемъ, онъ былъ въ тоже время горячимъ энтузіастомъ во всѣхъ передовыхъ идеяхъ своего времени. Авторитеты Бѣлинскаго, Добролюбова и прочихъ дѣятелей предыдущей и современной эпохъ онъ чтить до конца дней своихъ и съ неподкупнымъ рыцарствомъ весь отдавался служенію идеямъ, которымъ слѣдовалъ. Для него не существовало другихъ интересовъ кромѣ литературно-общественныхъ, но въ то-же время въ практической жизни это было дитя, блуждающее въ лѣсу; не говоря уже о какихъ-либо своекорыстныхъ заботахъ и расчетахъ, онъ и въ дѣлѣ своего общественнаго служенія не помышлялъ о завтрашнемъ днѣ, и какъ истинный сынъ вѣка, жилъ увлеченіемъ сегодняшняго протеста. Это была чистая, прозрачная душа, чуждая какой-бы то ни было раздвоенности или затаенности; можно положительно сказать, что у Курочкина не могло быть ничего на душѣ, чего не было-бы на языкѣ. Если онъ бывалъ кѣмъ-либо недоволенъ, онъ объявлялъ объ этомъ громко, всеуслышаніе, не стѣсняясь выражениями. Особенно въ этомъ отношеніи строгъ онъ былъ къ людямъ близкимъ или которыхъ считалъ стоящими въ одномъ съ нимъ лагерѣ. Малѣйшее подозрѣніе этихъ людей въ измѣнѣ знамени онъ принималъ весьма близко къ сердцу, скорѣлъ, какъ мать о больномъ ребенкѣ, и болѣзненно выходилъ изъ себя, если подозрѣнія его оправдывались. Понятно, что черезъ это онъ нажилъ много враговъ, которые злословили его и жстали ему всю жизнь.

И вотъ этого безкорыстнаго энтузіаста прогрессивныхъ идей и ребенка въ практикѣ жизни волна движенія шестидесятыхъ годовъ подняла вверхъ въ качествѣ создателя сатирической прессы. Изданіе *Искры* было задумано имъ уже въ 1856 году; 1-й номеръ долженъ выйти былъ еще въ 1857 году, а вышелъ лишь 1-го января 1859 г., подъ редакцію Курочкина и Н. С. Степанова, извѣстнаго каррикатуриста.

Не прошло двухъ-трехъ лѣтъ послѣ начала изданія, какъ *Искра* была въ числѣ первыхъ и передовыхъ органовъ прессы въ Россіи. Она расходилась по всѣмъ городамъ Россіи; число подписчиковъ въ самые счастливые годы у *Искры* насчитывалось болѣе 10,000; кромѣ того при каждомъ обличеніи провинціального скандала массы экземпляровъ выписывались тѣмъ городомъ, въ которомъ происходилъ скандалъ. *Искра* сдѣлалась грозою для всѣхъ, у кого была не чиста въ какомъ-либо отношеніи совесть,—и попасть въ *Искру*, унечь въ *Искру* были самыми обиденными выражениями въ жизни шестидесятыхъ годовъ. Не было ни одного крупнаго или мелкаго безобразія общественной или литературной жизни, которое не имѣло-бы мѣста на страницахъ *Искры*, или въ игривыхъ, полныхъ необузданнаго остроумія куплетахъ, пародіяхъ или въ прозѣ, исполненной убійственныхъ сарказмовъ; не бывой такой пошлости, которая не была-бы представлена во всемъ безобразіи и не было такого подлеца, который не увидѣлъ-бы въ одинъ прекрасный день своей физиономіи въ ряду каррикатуръ *Искры* съ полною подписью всѣхъ своихъ нравственныхъ качествъ. И самые талантливыя, самыя остроумныя и безпощадно злыя строки въ изданіи принадлежали самому издателю, который трудился неутомимо, писалъ куплеты, пародіи, передовыя и обличительныя статьи, изобрѣталъ каррикатуры для исполненія художниками,—это была

дѣятельность изумительная по своей плодovitости. Довольно сказать, что изъ 700 слишкомъ нумеровъ, составляющихъ полное изданіе *Искры* за все время ея существованія, едва-ли найдется нумеръ, въ которомъ не было-бы помѣщено его переводной или обличительной статьи, оригинальнаго или переводнаго стихотворенія.

Въ началѣ 1864 года изданіе и редакція *Искры* перешли въ исключительное завѣдываніе Курочкина, такъ какъ Степановъ съ этого года началъ издавать свой особенный сатирической журналъ *Будильникъ*, перенесенный имъ впоследствии въ Москву.

Но не могло долго просуществовать изданіе, подымавшее на смѣхъ всѣхъ и каждаго и никому не дававшее покоя. Нѣтъ ничего удивительнаго, что едва начался отливъ движенія шестидесятыхъ годовъ и волны его покатались вспять, понесли они по своему обратному теченію и злосчастную *Искру*.

Уже среди шестидесятыхъ годовъ она начала слабѣть, хилѣть, блѣднѣть, но виною этого было не ослабленіе энергіи издателя. Вѣдь нельзя-же было пѣть въ одинъ голосъ объ однихъ и тѣхъ-же предметахъ; предметы, обличеніе которыхъ занимало публику въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, перестали уже занимать ее въ серединѣ, а во вторую половину шестидесятыхъ годовъ пріѣлись. Публика ждала обличеній новыхъ сторонъ жизни, но оказывалось, что и въ прежнемъ кругѣ обличеній едва можно было держаться. Тонъ *Искры* спадалъ; вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшался и интересъ къ ней публики, уменьшалось число и подписчиковъ. Съ разными перерывами, вынуждаемыми денежными, цензурными и прочими затрудненіями, при содѣйствіи разныхъ болѣе или менѣе ненадежныхъ издателей, *Искра* могла просуществовать едва-едва до 1873 года, когда волны неудачъ окончательно потопили ее.

Положеніе Курочкина по прекращеніи *Искры* было по-истинѣ трагическое. Мало того, что онъ остался снова безъ всякихъ средствъ къ жизни, онъ скоронилъ въ любимомъ журналѣ своемъ все, чѣмъ жила душа его. При его талантѣ, трудолюбіи и почетномъ имени ему ничего не стоило зарабатывать столько, чтобы жить безбѣдно со своимъ семействомъ; но каково было человѣку, привыкшему стоять во главѣ изданія полновластнымъ хозяиномъ своего кровнаго дѣла, пресмыкаться по чужимъ редакціямъ, подчиняясь изъ-за куска хлѣба разнымъ чуждымъ условіямъ и требованіямъ! Нѣтъ ничего мудренаго, что при такихъ обстоятельствахъ онъ не могъ протянуть болѣе двухъ лѣтъ, причѣмъ онъ замѣтно хирѣлъ, и въ глазахъ его очень часто горѣлъ огонь мрачнаго отчаянія. Умеръ впрочемъ онъ случайно 15 августа 1875 года: при леченіи отъ остраго ревматизма, пріобрѣтеннаго на дачѣ въ 3-мъ Парголовѣ, по ошибкѣ ему было сдѣлано подкожное впрыскиванье такой дозы морфія, какой было достаточно, чтобы онъ уснулъ на вѣки. Похоронили его на Волковѣ, недалеко отъ могилъ Вѣлинскаго, Добролюбова и пр.

Кромѣ Беранже, изъ котораго Курочкинъ перевелъ до ста пьесъ, онъ переводилъ изъ Мольера (*Мизантропъ*), Вольтера (*Макаръ и Телэма*), Альфреда де-Виньи (*Смерть волка и Гнѣвъ Самсона*), Альфреда де-Мюссе (*Ночи, Ива, Письмо Фортунио*), Виктора Гюго (*Грозный годъ* и др.), Барбье (*Бѣдламъ, Всемирная сила* и др.), Грессе (*Шопуай*), изъ Надд, Бориса, Шиллера и пр. Наконецъ замѣ-

чательны также его передѣлки для русской сцены двухъ извѣстныхъ оперетокъ—*Фаустъ на-изнанку* и *Дочь рынка*.

Однимъ изъ самыхъ талантливыхъ и пользовавшихся наибольшою извѣстностью сподвижниковъ В. С. Курочкина на поприщѣ легкой сатиры и въ качествѣ постоянного сотрудника *Искры* является Дмитрій Дмитриевичъ Минаевъ.

Д. Д. Минаевъ родился 21-го октября 1835 года въ Симбирскѣ. Отецъ его Дмитрій Ивановичъ Минаевъ былъ тоже поэтъ, извѣстный переводчикъ *Слова о полку Игоря*. Д. Д. Минаевъ учился въ Дворянскомъ полку, по окончаніи курса въ которомъ служилъ въ симбирской казенной палатѣ, а затѣмъ въ Петербургѣ по министерству внутреннихъ дѣлъ въ земскомъ отдѣлѣ по крестьянскому вопросу. Выйдя затѣмъ въ 1857 году въ отставку, онъ посвятилъ себя исключительно литературной дѣятельности. Начиная съ 1858 года, стихи его начали появляться во всѣхъ повременныхъ изданіяхъ, особенно въ *Искрѣ*, гдѣ онъ подвизался подъ псевдонимами Обличительный поэтъ, Темный человекъ, Михаилъ Бурбоновъ, Дм. Свѣжскій, Литературное Домино и пр. Съ 1860 г. онъ много занимался переводами съ французскаго и даже англійскаго, переводилъ цѣлыя поэмы Байрона (*Донъ-Жуанъ*, *Чайльдъ-Гарольдъ*, *Бетто*, *Манфредъ* и *Каинъ*); но такъ какъ онъ зналъ языки плохо и переводилъ на стихи подстрочные переводы другихъ лицъ на подобіе, какъ Жуковский переводилъ Одиссею, то вѣрность и близость его переводовъ къ подлинникамъ подвержены большимъ сомнѣніямъ.

Вообще это былъ талантъ чисто внѣшній, не столько поэтической, сколько стихотворный въ специальномъ смыслѣ этого слова. Стихами онъ владѣлъ въ совершенствѣ и даръ стихосложенія доходилъ у него до импровизации, причемъ онъ прославился богатѣйшими рѣзками, которыми онъ приводилъ въ изумленіе своихъ современниковъ; можно положительно сказать, что не было такого слова и сочетанія звуковъ въ русскомъ языкѣ, къ которымъ онъ не прибралъ-бы созвучія.

При этомъ всё его произведенія мало-мальски серьезнаго содержанія не отличаются ни глубиною, ни силою (напр., удостоившаяся уваровской преміи и напечатанная въ *Вѣстникѣ Европы* 1874 года комедія *Спящая тѣсня*); но зато въ шуточныхъ стихотвореніяхъ, пародіяхъ, обличеніяхъ, эпиграммахъ,—онъ былъ неподражаемъ по своему остроумію и хотя легкому, поверхностному, но тѣмъ не менѣе порою очень мѣткому юмору.

Умеръ онъ 10 іюня 1889 года, 54-хъ лѣтъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

I—Школа поэтовъ чистаго искусства. Алексѣй Константиновичъ Толстой. Факты его жизни. II—Характеристика его произведеній. III—Аполлонъ Николаевичъ Майковъ. IV—Анастасій Аванасьевичъ Шеншинъ (Феть). V—Федоръ Ивановичъ Тютчевъ. Яковъ Петровичъ Полонскій. VI—Левъ Александровичъ Мей. Николай Федоровичъ Щербина. VII—Поэты-переводчики: Николай Васильевичъ Гербель. Петръ Исаевичъ Вейнбергъ. Михаилъ Илларионовичъ Михайловъ.

I.

Между тѣмъ какъ поэзія, созданная разсматриваемою нами эпохою, или отражала горе народное, или выражала хандру и покаяніе дворянскія, — сороковые годы завѣщали намъ особенную школу поэтовъ чистаго искусства, — школу довольно многочисленную и имѣющую въ своихъ рядахъ нѣсколько весьма недюжинныхъ талантовъ, но къ сожалѣнію представляющую собою хотя и пышный, но все-таки не болѣе, какъ пустоцвѣтъ. Поэты этой школы считали себя прямыми послѣдователями Пушкина, претендовали на то, что они одни только являются вѣрными хранителями пушкинскихъ традицій. Но въ этомъ они жестоко ошибались. Пушкинъ, хотя и завѣщальникъ въ известномъ своемъ стихотвореніи „Подите прочь, какое дѣло“, — заповѣдь чистаго искусства, но самъ онъ въ своей поэзіи былъ вполне живымъ поэтомъ, черпавшимъ свои прекрасные образы непосредственно изъ жизни. Поэты-же сороковыхъ годовъ, понявъ въ буквальномъ смыслѣ свое призваніе, что они рождены „не для житейскаго волненія, не для корысти, не для битвъ, а для вдохновенія, для звуковъ сладкихъ и молитвъ“, замкнулись въ эстетическія созерцанія прекрасныхъ образовъ классическаго искусства древнѣйшихъ и новѣйшихъ временъ, причѣмъ изолировались не отъ однихъ только злобъ дня и такъ-называемыхъ „гражданскихъ мотивовъ“, но и отъ жизни вообще, въ обширномъ смыслѣ этого слова. Путемъ такого отрѣшенія отъ жизни и замкнутости въ эстетическихъ созерцаніяхъ, они создали совершенно особеннаго рода поэзію — отвлеченную, кабинетную, искусственно-галантерейную, изысканно-риторичную. Главный недостатокъ такой поэзіи заключается въ ея международной безличности, въ отсутствіи такихъ красокъ, колорита, звуковъ, мотивовъ, въ которыхъ выражался-бы своеобразный букетъ русской народности и жизни. Вѣсть съ тѣмъ поэты этой школы страдаютъ отсутствіемъ и индивидуальной самобытности: все различіе ихъ одного отъ другого заключается лишь въ томъ,

что одни эпитеты и объективныѣ, другіе—субъективныѣ и лиричныѣ, третьи имѣютъ пристрастіе къ изображеніямъ изъ древне-классической жизни, четвертые предпочитаютъ воссѣвать любовь и пр. Но тщетно вы будете искать въ ихъ поэзіи рѣзко выраженныхъ чертъ ихъ духовныхъ фзіономій.

Они всѣ сливаются въ одинъ безразличный хаосъ изысканно стереотипныхъ образовъ и звуковъ. Однимъ словомъ поэзія ихъ имѣетъ совершенно такой-же искусственно-школьный, отвлеченный характеръ, какой имѣла старая академическая живопись, черпавшая свое содержаніе не непосредственно изъ жизни, а изъ такъ называемыхъ „великихъ образцовъ“ искусства, полагая всю суть послѣдняго въ подражаніи этимъ великимъ образцамъ.

Во главѣ этой школы, какъ самаго талантливаго ея представителя, слѣдуетъ поставить графа Алексѣя Константиновича Толстаго. Онъ родился 24-го августа 1817 года въ Петербургѣ, но шестинедѣльнымъ увезли его въ Малороссію мать его и дядя съ материнской стороны Алексѣй Перовскій, человекъ образованный, большой любитель изящныхъ искусствъ, принимавшій участіе въ литературѣ и извѣстный въ ней подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго. И такъ, родиною своею А. Толстой полное право имѣлъ считать Малороссію, гдѣ съ шестинедѣльнаго возраста онъ провелъ въ имѣніи родителей первые восемь лѣтъ своей жизни. Дѣтство Толстаго прошло чрезвычайно счастливо и оставило въ немъ одни свѣтлыя воспоминанія. Нѣжными попеченіями родителей онъ былъ огражденъ отъ всѣхъ неприятныхъ столкновеній и шероховатостей жизни, росъ въ полномъ одиночествѣ среди изящной обстановки, среди роскоши малороссійской природы, и повятно, что при такихъ условіяхъ въ немъ рано развилась мечтательность, и воображеніе его начало создавать самыя причудливыя и фантастическія грезы, вполне соответствующія изяществу окружающей его обстановки.

«Съ шестилѣтняго возраста, говоритъ гр. Толстой въ своей автобіографіи,—началъ я мараить бумагу и писать стихи—такъ было поражено мое воображеніе произведеніями нашихъ лучшихъ поэтовъ, найденныхъ мною въ какомъ-то толстомъ сборникѣ, дурно напечатанномъ и плохо переплетенномъ въ грязную красную обертку. Видъ этой книги, отпечатавшейся въ моей памяти, заставлялъ биться сердце всякій разъ, когда она мнѣ снова попадалась на глаза. Я таскалъ ее, бывало, съ собою всюду и прятался въ саду или въ лѣсу, что-бы лежать подъ деревьями, изучать ее часами. Скоро я зналъ ее наизусть; я упивался музыкою разнообразныхъ романсовъ и усвоилъ себѣ ихъ технику; какъ ни были неполны мои первые опыты, я долженъ однако сказать, что въ метрическомъ отношеніи они были безупречны».

При такихъ условіяхъ въ мальчикѣ очень рано начало обнаруживаться поэтическое призваніе.

Когда мальчику было восемь или девять лѣтъ, его повезли въ Петербургъ, гдѣ онъ былъ представленъ ко двору и допущенъ въ число дѣтей, составляющихъ воскресное общество Цесаревича (покойнаго императора Александра Николаевича). Но съ слѣдующаго-же года начинаются постоянныя странствія его съ родителями за границей, имѣвшія огромное вліаніе на эстетическое развитіе его и углубленіе въ міръ прекрасныхъ образовъ искусства. Первое путешествіе было совершено въ Германію. Въ Веймарѣ тогда дядя свелъ его къ Гете, которому мальчикъ проникся инстинктивно

ве личайшимъ почтениемъ за ту манеру, съ которою онъ говорилъ. Отъ этого посѣщенія у Толстаго сохранились въ памяти величественныя черты Гете и что онъ сидѣлъ у него на колѣняхъ.

Мальчику было 13 лѣтъ, когда впервые онъ посѣтилъ съ родными Италію. „Невозможно, говоритъ онъ въ своей автобіографіи, изобразить силы моихъ впечатлѣній и переворота, совершившагося въ моей душѣ, когда въ первый разъ увидѣлъ я тѣ сокровища, о которыхъ имѣлъ уже смутныя понятія, прежде нежели встрѣтился съ ними“. Они пріѣхали первымъ дѣломъ въ Венецію, гдѣ дядя его сдѣлалъ большіе покупки въ старомъ дворцѣ Гримани. Между прочимъ былъ купленъ бюстъ молодого Фавна, великолѣпный экземпляръ, приписываемый Микель-Анджело. Когда статую перенесли въ ихъ отель, мальчикъ не отходилъ отъ нея, и воображеніе его мучилось нелѣпнѣйшими подозрѣніями. Онъ задавалъ себѣ вопросъ, что ему дѣлать, если вспыхнетъ пожаръ въ отелѣ, и пробовалъ, можетъ-ли унести статую на своихъ рукахъ. Изъ Венеціи они отправились въ Миланъ, Флоренцію, Римъ и Неаполь; при каждомъ посѣщеніи восторгъ и любовь къ искусству возрастали въ юношѣ; дѣло дошло до того, что по возвращеніи въ Россію, онъ впалъ въ настоящую тоску по Италіи, доходилъ до какого-то отчаянія, которое заставляло его днемъ отказываться отъ пищи, а ночью рыдать, сны заносили его въ потерянный рай. Изъ всего этого мы можемъ судить, что воспитаніе Толстаго какъ-будто нарочно и систематично было направлено къ тому, чтобы отвлечь его отъ всякихъ непосредственныхъ отношеній къ живой дѣйствительности и поселить его въ отвлеченно-мечтательный міръ прекрасныхъ грезъ. Онъ по всей справедливости могъ къ себѣ отнести слѣдующіе стихи повѣсти его

Портретъ:

Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была
Отъ малыхъ лѣтъ несносна и противна;
Жизнь, какъ она вокругъ меня текла,
Все въ той-же прозѣ движась непрерывно,
Все, что зовутъ серьезныя дѣла —
Я ненавиждѣлъ съ дѣтства инстинктивно...

При отрѣшенности отъ дѣйствительности въ тоже время жизнь Толстаго отличается крайней бѣдностью событій. Семнадцати лѣтъ выдержалъ онъ выпускной экзаменъ въ московскомъ университетѣ. Въ 1836 году по желанію матери былъ прикомандированъ къ русскому посольству при нѣмецкомъ сеймѣ во Франкфуртѣ-на-Майнѣ; позже поступилъ во II отдѣленіе собственной Его Величества канцеляріи. Въ 1855 году онъ записался въ число охотниковъ, образовавшихъ стрѣлковый полкъ императорской фамиліи съ тѣмъ, чтобы отправиться въ крымскую компанію. Но полкъ не имѣлъ случая быть въ дѣлѣ и достигъ только Одессы, гдѣ потерялъ болѣе тысячи человѣкъ отъ тифа, полученнаго также и Толстымъ. Тотчасъ по заключеніи мира онъ вышелъ въ отставку и въ 1857 году вступилъ въ должность егермейстера Двора Его Величества, которую занималъ до самой смерти. Послѣдніе два года жизни Толстой провелъ по большей части въ странствіяхъ за-границей, преимущественно по разнымъ минеральнымъ водамъ Германіи, въ надеждѣ на исцѣленіе отъ снѣдавшаго его недуга. Воротившись наконецъ въ Россію, онъ, нигдѣ не останавливаясь, прямо

проѣхалъ въ свое любимое черниговское имѣніе Красный Рогъ, близъ города Почепъ, гдѣ и скончался 28-го сентября 1875 года вечеромъ, на пятьдесятъ девятомъ году жизни.

II.

Печататься Толстой началъ съ 1842 года, когда дебютировалъ не стихами, а нѣсколькими рассказами въ прозѣ. Въ 1855 году онъ отдалъ въ первый разъ свои лирическія и эпическія стихотворенія въ различные журналы, а позже помѣщалъ ихъ ежегодно въ *Вѣстникъ Европы* или *Русскомъ Вѣстникѣ*.

Въ произведеніяхъ гр. А. Толстого при всей ихъ чисто виѣшней красотѣ и преобладаніи живописной иластики, напрасно вы будете искать какихъ-либо такихъ особенностей, которыя рѣзко выдѣляли-бы этого поэта и составляли-бы его физиономію. Онъ напоминаетъ собою Жуковскаго въ томъ отношеніи, что самыми лучшими его произведеніями являются тѣ, которыя навѣяны иностранными или рускими поэтами; таковы напримѣръ стихотворенія, названныя очевидно Лермонговымъ (*Вотъ ужъ смѣлъ послѣдній въ полѣ таесть, Въ совѣсти искалъ я домо обвиненья, Въ странѣ, незримой нашимъ взорамъ, Горными тѣло летѣла душа небесами*), другія напоминающія Гейне (*Змья, что по скаламъ вьзвечетъ свои извивы** и многіе Крымскіе очерки, напр.: *Вы все любуетесь на скалы*, или *Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты*). Драматическая поэма *Донъ-Жуанъ* очевидно внушена изученіемъ Фауста Гете, а *Драконъ*, итальянскій рассказъ XII вѣка, носятъ на себѣ несомнѣнные слѣды изученія Данта.

Къ числу подобныхъ-же подражательныхъ стихотвореній Толстого слѣдуетъ причислить и всѣ поддѣлки его подъ народныя пѣсни и былинныя вродѣ *Ходитъ спѣсь надуваючись, Кабы знала я, кабы вѣдала, Колокольчики мои, цвѣтики степные, Не Божьимъ громомъ юре ударило, Алеша Поповичъ, Илья Муромецъ, Садко, Змѣй Тугаринъ* и пр. Они учень красивы, какъ и все написанное Толстымъ, но въ нихъ вы и слѣда не найдете искренняго, неподдѣльнаго чувства, живой, горячей страсти, вдохновенія, однимъ словомъ того, что составляетъ всю прелесть и силу истинной и естественной поэзіи. Напротивъ того, отъ нихъ такъ и вѣетъ холодомъ искусственнаго вымысла, тяжелыми усиліями кропотливой художественной отдѣлки, мучительными потѣніями надъ инымъ неукладывающимся въ размѣръ, стихомъ и недающейся рифмой. Какъ-бы то ни было, а стихотворенія гр. А. Толстого, навѣянные разными поэтами и написанныя въ духѣ различныхъ народностей, представляются все-таки лучшими и наиболѣе удачными; отъ нихъ вѣетъ, по крайней мѣрѣ, духомъ той поэзіи, которая вдохновляла графа и подъ вліяніемъ которой онъ создавалъ. Что-же касается до вполне самостоятельныхъ произведеній его, то всѣ они безхарактерны, безжизненны и риторичны, какъ и самостоятельныя произведенія Жуковскаго. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на какое характерное явленіе. Гр. А. Толстой, какъ это видно изъ его автобіографіи, былъ большой любитель природы, особенно малороссійской, среди которой провелъ всю жизнь. Въ одномъ мѣстѣ своей автобіографіи онъ связываетъ эту страсть къ природѣ со страстью къ охотѣ, говоря, что онъ нарочно ускользалъ отъ свѣтской жизни, чтобы проводить цѣ-

лые недѣли въ лѣсахъ, иногда съ товарищами, но обыкновенію въ одиночку. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что обязанъ этой жизни охотника тѣмъ, что поэзія его почти всегда писана въ мажорномъ тонѣ, между тѣмъ какъ соотечественники его поютъ по большей части—въ минорномъ, и что любовь его къ нашей дикой природѣ отразилась въ его поэзи почти столько-же, какъ и чувство пластической красоты.

Дѣйствительно, въ своихъ стихотвореніяхъ А. Толстой очень часто обращается къ природѣ и отличается немалою щедростію въ описаніяхъ ея красотъ. Но замѣчательно, что всѣ эти описанія составляютъ самую слабую сторону его стихотвореній. Читая ихъ, вы не чувствуете никакого обаянія природы, какимъ проникнуты лучшія произведенія нашей литературы въ этомъ родѣ, не говоря о Пушкинѣ, Лермонтовѣ, Гоголѣ, но даже описанія С. Аксакова. Изъ описаній А. Толстого вы не въ силахъ бываете представить себѣ даже того ландшафта, о которомъ идетъ рѣчь. Передъ вами вовсе не живыя, художественныя картины, а простой перечень предметовъ въ разсыпную, причеиъ воображенію вашему предоставляется самому слагать эти предметы во что-либо цѣльное и связанное. Такъ напримѣръ, казалось-бы, что ужъ какой же природѣ какъ не малороссійской, судя по вышесказанному, слѣдовало-бы отражаться въ произведеніяхъ гр. А. Толстого. А между тѣмъ именно ея-то вы у него и не найдете, точно будто онъ никогда не жилъ въ Малороссіи, а лишь проѣзжалъ и видѣлъ ее мелькомъ изъ оконъ вагона. Для доказательства вы прочтите напримѣръ стихотвореніе *Ты знаешь край*. Что здѣсь воспѣвается ничто иное какъ Малороссія, можно судить лишь потому, что упоминаются названія, относящіяся къ этой странѣ вроде паробковъ, Маруси, Грицко, Чубовъ, казачекъ или историческія имена вроде Кочубея, Мазепы, Палтя, Сагайдачнаго. Что-же касается колорита и характерныхъ особенностей мѣстности, ея быта и нравовъ, то вмѣсто всего этого вы найдете рядъ самыхъ общихъ, стереотипныхъ чертъ, могущихъ относиться къ какой угодно мѣстности Европы, лежащей подъ одною широтой съ Малороссіей.

Но писатель, бѣдный живыми и яркими образами, можетъ быть богатъ внутреннею жизнью, можетъ отразить въ своихъ произведеніяхъ въ условныхъ символическихъ образахъ рядъ любопытныхъ и поучительныхъ психическихъ явленій или философскихъ идей. Но и этого мы не можемъ сказать о Толстомъ. По своему міросозерцаію онъ стоитъ вполнѣ въ уровнѣ великосвѣтскаго кружка, которому принадлежалъ. Убѣжденія его ясны и опредѣленны, словно отлиты изъ бронзы, неизмѣнныя впродолженіе всей жизни, поражаютъ васъ узостью формального містизма, давящаго васъ, словно низенькій потолокъ надъ головой. Въ мистичизмѣ этомъ вы видите полное отреченіе отъ малѣйшаго покушенія на самостоятельную мысль. Однимъ словомъ — это не тотъ мистичизмъ, который въ поэзи создаетъ образы, хотя и дико-фантастическіе, но не лишены своеобразной прелести, а тотъ, который подчасъ, ради подобоострастной вѣрности традиціямъ, лишаетъ иные образы присущей имъ поэтичности, если поэтичность эта какъ-либо не согласуется съ буквою догмата. Это мы можемъ видѣть съ большою наглядностію въ драматической поэзіи А. Толстого *Донъ-Жуанъ*, въ которой поэтъ превратилъ оболѣстительнаго своимъ дерзкимъ протестомъ Донъ-Жуана въ сентиментальнаго святошу, слезно оплакивающаго грѣхи молодости въ севильскомъ монастырѣ при набожныхъ хорахъ монаховъ.

О дѣятельности гр. Толстого въ области исторической драматургiи и беллетристики мы имѣли уже случай говорить въ соотвѣствующихъ главахъ.

III.

Аполлонъ Николаевичъ Майковъ, правнукъ Василя Майкова, автора *Емеля*, былъ сынъ извѣстнаго художника Ник. Апол. Майкова; родился 23-го мая 1821 г. въ Москвѣ. Дѣтство провелъ онъ въ подмосковной усадьбѣ отца, близъ Троицко-Сергiевской лавры. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ отецъ Майкова переѣхалъ съ семействомъ въ Петербургъ. Здѣсь Майковъ началъ учиться подъ руководствомъ дяди, занимавшагося приготовленiемъ молодыхъ людей для поступленiя въ военно-учебныя заведенiя, причеиъ особенные успѣхи оказывалъ въ математикѣ. Болѣе-же всего своимъ образованiемъ Майковъ былъ обязанъ влиянiю друга отца его, Солоничина, соредатора Сенковского по изданiю *Библиотеки для чтенiя*; у него была обширная библиотека, доставившая возможность какъ Аполлону, такъ и Валерiану Майковымъ познакомиться съ капитальнѣйшими произведенiями русскихъ и западныхъ классиковъ, новѣйшихъ и древнихъ. Надо замѣтить при этомъ, что вообще домъ родителей Майкова представлялъ въ то время открытый литературный салонъ, куда стекались всѣ знаменитости того времени, начиная съ Бѣлинскаго и его друзей, группировавшихся вкругъ *Отечественныхъ Записокъ*. Довольно сказать, что словесность преподавалъ будущему поэту И. А. Гончаровъ, въ то время только что вышедшiй изъ университета молодой кандидатъ. Въ 1836 году Майковъ поступилъ уже въ университетъ на юридическiй факультетъ. Но хотя въ это время онъ писалъ уже стихи (первое стихотворенiе его *Разочарованiе* было написано 14 лѣтъ) и издавалъ домашнiе рукописные журналы подъ руководствомъ Гончарова, онъ смотрѣлъ на свои литературныя занятiя, какъ на нѣчто второстепенное. Наиболѣе-же увлекался живописью, ободренный успѣхомъ одной изъ своихъ картинъ, — *Распятiя*, — купленной въ устроенную тогда католическую капеллу для бракосочетанiя В. Кн. Марiи Николаевны. Онъ и по окончанiи курса въ университетѣ продолжалъ мечтать всего себя посвятить живописи, и лишь близорукость и слабость зрѣнiя понудили его отказаться отъ этой мысли, а успѣхъ нѣкоторыхъ изъ первыхъ стихотворенiй, обратившихъ на себя вниманiе профессоровъ Плетнева и Никитенко, увлекъ его окончательно на литературное поприще. Первыя стихотворенiя его въ печати появились въ 1838 году, а въ 1841 году вышло первое изданiе его стихотворенiй, встрѣченное обширною и обстоятельною статьею Бѣлинскаго, признавашаго въ Майковѣ „дарованiе неподдѣльное, замѣчательное и общающее въ будущемъ“. Но восторгъ Бѣлинскаго быстро охладѣлъ, и уже въ литературномъ обзорѣ за 1842 годъ, упоминая о томъ-же изданiи, и признавая, что антологическiя стихотворенiя Ап. Майкова не только не уступаютъ въ достоинствѣ антологическимъ стихотворенiямъ Пушкина, но едва-ли не превосходятъ ихъ, въ то-же время онъ оговаривается, что было-бы жаль, если-бы только на этомъ остановился Майковъ, что исключительная преданность древнему мiру (и притомъ далеко не вполне понятому), безъ всякаго живого, кровнаго сочувствiя къ современному мiру, не можетъ сдѣлать великимъ или особенно замѣчательнымъ поэта нашего времени;

всѣ-же неантологическія стихотворенія поэта пока не обѣщаютъ въ будущемъ ничего особеннаго.

Когда появился этотъ пророческій приговоръ Бѣлинскаго, Майковъ, по окончаніи университетскаго курса со степенью кандидата, путешествовалъ за-границей, восторгался Римомъ и его памятниками искусства, слушалъ лекціи Сорбонны и Collège de France, увлекался славянскимъ вопросомъ въ Прагѣ, познакомившись съ Ганкою.

По выходѣ изъ университета онъ опредѣлился въ департаментъ государственнаго казначейства, въ которомъ прослужилъ не долго, послѣ чего получилъ мѣсто бібліотекаря въ Румянцевскомъ музеѣ, которое занималъ до перенесенія музея въ Москву, послѣ чего перешелъ въ комитетъ цензуры иностранной, въ которомъ служилъ и по настоящее время.

Литературную дѣятельность Ап. Майкова можно раздѣлить на три періода. Къ первому періоду принадлежатъ стихотворенія его сороковыхъ годовъ и начала пятидесятыхъ. Въ этомъ періодѣ совершенно согласно съ опредѣленіемъ Бѣлинскаго преобладали стихотворенія антологическія, совершенно отрѣшенные отъ живой дѣятельности, по большей части изъ древняго міра. Въ это время была задумана Майковымъ драматическая поэма *Два міра*, изображающая столкновеніе язычества и христіанства въ эпоху паденія Рима. Поэму эту онъ писалъ всю жизнь съ перерывами; прологъ ея, подъ заглавіемъ *Три смерти*, былъ написанъ имъ съ 1841 по 1852 годъ, а напечатанъ въ 1857 году въ *Библіотекѣ для Чтенія*; въ цѣломъ-же видѣ поэма была окончена лишь въ 1872 году. Къ этому-же періоду относится поэма *День судьбы* (1845 г.) *Очерки Рима* (1847 г.), *Анакреонъ*, *Акивидъ* и проч.

Второй періодъ можно считать съ 1855 года и простирается онъ до половины шестидесятыхъ годовъ. Это было время полного расцвѣта таланта Майкова, когда подъ вліяніемъ движенія шестидесятыхъ годовъ и общаго одушевленія и онъ въ свою очередь вышелъ изъ своего антологическаго анахоретства и началъ увлекаться живыми вопросами времени. Къ этому періоду относятся лучшія его произведенія: *Клермонтскій соборъ*, *Саванаролла*, *Дурочка Дуня*, *Послѣдніе язычники*, *Поля*, *Картинка*, *Нива*, масса прекрасныхъ переводовъ изъ Гейне и проч.

Съ паденіемъ прогрессивной волны и съ наступленіемъ эпохи реакціи, обратилась вспять и податливая муза Майкова, и послѣднія двадцать пять лѣтъ дѣятельности его представляютъ печальное паденіе таланта. Паденіе это заключается не въ томъ, чтобы Ап. Майковъ вновь отрѣшился отъ современности и обратился къ антологической поэзіи своей юности. Онъ пошелъ далѣе служенія чистому искусству, проникнутости мистицизмомъ, славянофильскими тенденціями школы почвенниковъ и сдѣлался жрецомъ того фанатическаго обскурантизма, который гнѣздился въ семидесятые и восьмидесятые годы вокругъ *Русскаго Вѣстника*, гдѣ преимущественно и появлялись произведенія Майкова этого періода. Выстъ съ тѣмъ самый поэтический талантъ Майкова началъ замѣтно увядать съ каждымъ годомъ, и если прежде при всей изысканной галантерейности и риторичности, свойственной всѣмъ поэтамъ этой школы, встрѣчались въ лучшихъ произведеніяхъ его проблески истинной поэзіи, то послѣднія произведенія не представляютъ собою ничего болѣе какъ официальное рифмоплетство на какіе угодно торжественные случаи.

IV.

Аванасій Аванасъевичъ Шеншинъ (Фетъ) родился 22-го ноября 1820 г. въ имѣніи отца Аванасья Неофитовича, сельцѣ Новоселкахъ, мценскаго уѣзда, орловской губерніи. Получивъ первоначальное образованіе дома, онъ на четырнадцатомъ году поступилъ въ учебное заведеніе Крюггера въ городѣ Верро (лифляндской губ.), гдѣ и оставался около четырехъ лѣтъ. Семнадцати лѣтъ онъ перешелъ въ Москву, въ частный пансіонъ М. П. Погодина, а оттуда—въ московскій университетъ, сначала на юридическій, а затѣмъ на словесный факультеты. При поступленіи Фета въ университетъ встрѣтились неожиданныя затрудненія въ представленіи документовъ, вслѣдствіи чего при подачѣ прошенія онъ принялъ имя своей матери по первому браку—Фетъ, съ которымъ вскорѣ и выступилъ въ свѣтъ и которое, утвердившись за нимъ навсегда въ литературѣ, приобрѣло со временемъ всеобщую извѣстность. Впослѣдствіи, именно въ 1875 г., по представленіи необходимыхъ документовъ, за Фетомъ Высочайшимъ указомъ была утверждена родовая фамилія его—Шеншинъ.

Въ 1844 году, по окончаніи курса, Фетъ поступилъ юнкеромъ въ орденскій кирасирскій полкъ, стоявшій тогда въ одномъ изъ округовъ херсонскаго военного поселенія. Затѣмъ, прослуживъ въ полку около девяти лѣтъ, онъ перешелъ въ лейбъ-гвардіи уланскій Его Величества полкъ, съ которымъ сдѣлалъ походъ къ западнымъ границамъ Россіи. Въ 1856 году, по заключеніи мира, онъ вышелъ въ отставку, и будучи за-границей, въ Парижѣ женился на сестрѣ извѣстнаго врача С. П. Боткина—Марьѣ Петровнѣ.

Литературная дѣятельность Фета началась очень рано. Въ 1839 году, т. е. когда ему не было девятнадцати лѣтъ, онъ уже выпустилъ въ свѣтъ небольшой сборникъ своихъ стихотвореній подъ заглавіемъ: *Лирическій Пантеонъ. А. Ф. 1840 г.* Эти первые опыты были встрѣчены весьма сочувственно критикой и у юнаго поэта было признано присутствіе несомнѣннаго дарованія.

Поступленіе въ 1840 году въ университетъ и множество соединенныхъ съ нимъ обязательныхъ занятій на время остановили дальнѣйшіе поэтическіе опыты Фета. Только начиная съ 1842 года въ *Москвитянинъ* и затѣмъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* стали появляться его стихотворенія, сначала по нѣскольку разъ въ годъ, а потомъ почти ежемѣсячно. Въ *Москвитянинъ* стихотворенія Фета печатались до конца сороковыхъ годовъ. Наконецъ въ началѣ 1850 года въ Москвѣ вышло новое изданіе стихотвореній Фета, такъ-же какъ и первый его сборникъ вызвавшее одобрительные отзывы тогдашней критики.

Переселившись въ Петербургъ съ переходомъ въ гвардію, Фетъ началъ поощрять свои стихотворенія въ *Современникъ* и *Отечественныхъ Запискахъ*. Въ 1860 году онъ поселился въ деревнѣ, въ орловской губерніи, мценскомъ уѣздѣ, на хуторѣ Степановка, и совершенно посвятилъ себя сельскому хозяйству. 1863 годъ ознаменовался для Фета появленіемъ собранія его стихотвореній въ двухъ частяхъ, изданнаго въ Москвѣ Н. Т. Солдатовымъ. Съ 1866 по 1877 годъ онъ служилъ по выборамъ участковымъ мировымъ судьей мценскаго округа, въ которомъ состоитъ почетнымъ мировымъ судьей и понынѣ. За все это время онъ почти ничего не писалъ, за исключе-

нѣмъ замѣтокъ по сельскому хозяйству, время отъ времени появлявшихся въ *Русскомъ Вѣстникѣ* подъ заглавіемъ *Изъ деревни*. Въ 1877 году Фетъ переѣхалъ жить въ курскую губернію и съ этого времени начинается снова его непрерывная дѣятельность, результатомъ которой явился цѣлый рядъ переводовъ древнихъ классическихъ авторовъ, нѣсколько выпусковъ собственныхъ оригинальныхъ стихотвореній, переводы философскихъ сочиненій и пр. Такъ за это время издавы: 1) *Миръ — какъ воля и представленіе* Шопенгауэра, переводъ (1880 г.), 2) *Фаустъ*, трагедія Гете I—II части—переводъ (1882—1883 гг.), 3) *Вечерніе огни*, сборникъ стихотвореній, вып. I (1883 г.), 4) Полный переводъ Горация (1883 г.). 5) *Вечерніе огни*, вып. II (1885 г.), 6) Сатиры Ювѣлина, переводъ (1885 г.), 7) Стихотворенія Катутла, переводъ (1886 г.), 8) Элегія Тибулла, переводъ (1886 г.), 9) *О четвертомъ корнѣ закона достаточнаго основанія* А. Шопенгауэра, переводъ (1886 г.), 10) Овидія *Превращенія*, переводъ (1884 г.), 11) *Вечерніе огни*, вып. III (1888 г.), 12) Энеида Виргилія, переводъ (1888 г.), 13) Элегія Проперція, переводъ (1888 г.) и пр.

Уступая по талантливости А. Толстому и Ап. Майкову, Фетъ является въ то-же время наиболѣе типическимъ представителемъ своей школы. Имя его по крайней мѣрѣ сдѣлалось въ нашей критикѣ какъ-бы нарицательнымъ для обозначенія поэта чистаго искусства. И еще-бы: и А. Толстой, и Ап. Майковъ и прочіе поэты этой школы изрѣдка все-таки нисходили со своего Парнасса и отзывались на тѣ или другіе вопросы времени, пытались проводить тѣ или другія идеи.

Фетъ принципиально возставалъ не только противъ тенденціозности, но и какой-бы то ни было идейности въ искусствѣ. Ни одного стихотворенія не найдете вы у него, которое выражало-бы какую-бы то ни-было идею: безъидейность онъ возвелъ въ идеаль, въ сущность поэзіи. Всѣ стихотворенія его, по большей части очень небольшого размѣра, представляютъ собою рядъ или картинокъ природы, или какихъ-либо неуловимо тонкихъ, мимолетныхъ психическихъ эмоцій. Но надо отдать справедливость Фету, всѣ эти его картинки, выраженія душевныхъ ощущеній, поэтическихъ грезъ и т. п. исполнены чарующей и подкупающей васъ художественной прелести. Какъ ни много на-примѣръ смѣялись надъ его знаменитымъ стихотвореніемъ *Шопотъ, робкое дыханье*, а все-таки и до сихъ поръ, сколько-бы вы ни перечитывали этотъ странный наборъ однихъ подлежащихъ безъ сказуемыхъ, у васъ кружится голова отъ обаянія свѣтлой лѣтней ночи и любовнаго свиданія при соловьиныхъ треляхъ. Краткость и сжатость картинокъ Фета еще болѣе увеличиваетъ прелесть ихъ, пробуждая воображеніе читателей и заставляя ихъ дополнять то, чего не договорилъ художникъ. Раздѣляя вмѣстѣ съ прочими поэтами своей школы отрѣшенность отъ жизни, Фетъ въ то-же время чуждъ ихъ риторичности и стереотипности. Отрѣшенность его заключается лишь въ томъ, что изъ всего необъятнаго океана жизни онъ избралъ всего на всего двѣ капли ея,—природу и любовь; но въ этихъ двухъ капляхъ онъ является живымъ поэтомъ, и образы его черпаются изъ жизни, а не являются отвлеченными кабинетными измышленіями. Типичность Фета заключается въ томъ, что поэзія его представляетъ собою квинтъ-эссенцію того эстетическаго сладострастія, какое развилось на почвѣ помѣщичьяго сибаритства въ кружкахъ сороковыхъ годовъ. Та сладостлюбивая созерцательность, вѣчно млѣющая въ эстетическихъ восторгахъ, какую вы встрѣтите у всѣхъ

прозаиковъ и поэтовъ сороковыхъ годовъ, но лишь между прочимъ, — у Фета возведена въ альфу и омегу искусства, исчерпываетъ всю его поэтическую дѣятельность. Фетъ представляется въ этомъ отношеніи послѣднимъ могианомъ дореформеннаго помѣщичьяго режима. Движеніе пятидесятихъ годовъ не задѣло его ни кончикомъ своего крыла и, пребывая внѣ его вліянія, онъ съ самаго начала и до конца оставался непримиримымъ врагомъ его. Какъ довершеніе типичности Фета, замѣчательнъ тотъ фактъ, что вѣчный созерцатель красоты во всѣхъ ея мимолетныхъ и неуловимо-тонкихъ оттѣнкахъ, Фетъ въ то-же время въ своихъ письмахъ изъ деревни поражалъ современниковъ жалобами на прискорбныя послѣдствія крестьянской реформы, обнаруживая грубое кудачество своими рассказами о штрафахъ и прочихъ взысканіяхъ, налагаемыхъ имъ на крестьянъ за поправы и прочія провинности, что въ свое время возбуждало противъ поэта не мало сатирическаго смѣха въ *Искрѣ* и прочихъ юмористическихъ листкахъ шестидесятихъ годовъ.

V.

Хотя и уступающимъ по высотѣ таланта корифеямъ вышеупомянутой школы, но тѣмъ не менѣе самымъ старѣйшимъ жрецомъ чистаго искусства является Федоръ Ивановичъ Тютчевъ. Онъ почти ровестникъ Пушкина, такъ какъ родился 23-го ноября 1803 года въ родовомъ своемъ брянскомъ помѣстьѣ, селѣ Овстугъ. Первоначальное воспитаніе получилъ онъ въ домѣ отца, подѣ наблюденіемъ извѣстнаго переводчика Тасса и Аріоста С. Н. Раича, прожившаго въ домѣ Тютчевыхъ семь лѣтъ. Учасъ серьезно и прилежно, Тютчевъ въ то же время поражалъ всѣхъ своими блестящими дарованіями. Когда ему было всего четырнадцать лѣтъ, въ 1817 году, Раичъ представилъ въ общество любителей русской словесности переводы его изъ Горация, которые оказались такими хорошими, что общество напечатало ихъ въ своихъ *Трудахъ* и избрало мальчика въ члены-сотрудники. Пятнадцати лѣтъ Тютчевъ сгаль посѣщать университетъ, куда ѣздивъ съ Раичемъ, былъ очень любимъ Мерзляковымъ и блистательно выдержалъ экзаменъ на кандидата. Пріѣхавъ въ Петербургъ, Тютчевъ поступилъ 21-го февраля 1822 г. на службу въ государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ, гдѣ оставался до начала 1823 года, когда былъ причисленъ къ миссіи въ Мюнхенъ.

Возвышаясь въ чинахъ, пожалованный въ 1825 въ камеръ-юнкеры, а въ 1835 г. въ камергеры, онъ оставался за-границей до 1844 года, былъ обласканъ Геге, коротокъ былъ съ Гейне и со всѣми свѣтилами мысли и науки въ Германіи. Въ концѣ тридцатыхъ годовъ онъ исправлялъ должность повѣреннаго въ дѣлахъ при дворѣ короля Сардинскаго. Уѣхавши на досугѣ безъ разрѣшенія изъ Турина въ Швейцарію, онъ былъ за это исключенъ со службы и лишенъ камергерскаго званія и лишь въ 1844 году, по ходатайству Великой Княгини Маріи Николаевны, былъ прощенъ и снова принятъ на службу по министерству иностранныхъ дѣлъ. Съ 1857 года до самой смерти онъ исправлялъ должность предсѣдателя с.-петербургскаго комитета иностранной цензуры. 31-го декабря 1872 года его поразили ударъ, парализовавъ ему одну руку и ногу, послѣ чего онъ скончался 15 июня 1873 года въ Царскомъ Селѣ и погребенъ въ Воскресенскомъ Новодевичьемъ монастырѣ въ Петербургѣ.

Первыя стихотворенія Тютчева были напечатаны въ 1826 году въ альманахѣ *Уранія* и затѣмъ онъ печатался во всѣхъ періодическихъ изданіяхъ и альманахахъ — въ *Съзерной Лирѣ*, *Съверныхъ Цвѣтахъ* Дельвига, *Современникѣ* Пушкина и пр. Но большою извѣстностью онъ не пользовался впродолженіи всѣхъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и лишь Некрасовъ въ *Современникѣ* 1850 г. въ № 1 впервые познакомилъ публику съ Тютчевымъ въ статьѣ своей: *Русскіе второстепенные поэты*. Вслѣдъ затѣмъ въ 1854 году были приложены при *Современникѣ* 96 пьесъ Тютчева, что довершило извѣстность его, особенно послѣ того, какъ въ 4-й книжкѣ того-же года была помѣщена статья И. Тургенева подъ заглавіемъ: *Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ О. И. Тютчева*, въ которой, назвавъ Тютчева „однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, завѣщанныхъ намъ пріятелью и одобреніемъ Пушкина“, Тургеневъ между прочимъ говоритъ:

«Мы сказали сейчасъ, что Тютчевъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ; мы скажемъ болѣе: въ нашихъ глазахъ, какъ оно ни обидно для современниковъ, О. И. Тютчевъ, принадлежащій къ поколѣнію предыдущему, стоитъ рѣшительно выше всѣхъ своихъ собратьевъ по Аполлону. Легче указать на тѣ отдѣльныя качества, которыми превосходятъ его болѣе даровитые изъ теперешнихъ нашихъ поэтовъ: на пѣвительную, хотя нѣсколько однообразную грацію Фета, на энергичскую, часто сухую и жесткую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одномъ Тютчевѣ лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ относится и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ; въ немъ одномъ замѣчается та соразмѣрность таланта съ самимъ собою, та соответственность его съ жизнью автора—словомъ, хоть часть того, что въ полномъ развитіи своемъ составляетъ отличительные признаки великихъ дарованій. Кругъ Тютчева не обширенъ—это правда, но въ немъ онъ дома. Талантъ его не состоитъ изъ безсвязно разбросанныхъ частей; онъ замкнутъ и владѣетъ собою; въ немъ нѣтъ другихъ элементовъ, кромѣ элементовъ чисто лирическихъ; но эти элементы опредѣлительно—ясны и срослись съ самою личностью автора; отъ его стиховъ не вѣетъ сочиненіемъ, они всѣ кажутся написанными на извѣстный случай, какъ того хотѣлъ Гёте; то-есть они не придуманы, а выросли сами, какъ плоды на деревѣ, и по этому драгоценному качеству мы узнаемъ между прочимъ вліяніе на нихъ Пушкина, видимъ въ нихъ отблескъ его времени. Самыя короткія стихотворенія Тютчева почти всегда самыя удачныя. Чувство природы въ немъ необыкновенно тонко, живо и вѣрно; но онъ, говоря словомъ не совсѣмъ принятымъ въ хорошемъ обществѣ, не выѣзжаетъ на немъ, не принимается компановать и раскрашивать свои фигуры. Сравненія человѣческаго міра съ родственнымъ ему міромъ природы никогда не бывають натянуты и холодны у Тютчева, не отзываются наставническимъ тономъ, не стараются служить поясненіемъ какой-нибудь обыкновенной мысли, явившейся въ головѣ автора и принятой имъ за собственное открытіе. Кромѣ всего этого, въ Тютчевѣ замѣтенъ тонкій вкусъ—плодъ многосторонняго образованія, чтенія и богатой жизненной опытности. Языкъ страсти, языкъ женскаго сердца ему знакомъ и дается ему».

Какъ тонкому знатоку изящнаго и цѣнителю эстетическихъ красотъ произведеній, особенно современныхъ ему, Тургеневу конечно и книги въ руки; намъ остается прибавить къ характеристикѣ его развѣ лишь то соображеніе, что отрыгнй изъ среды посредственности и внезапно столь возвеличенный въ мрачныя годы общественаго безвременья пятидесятыхъ годовъ, Тютчевъ во всякомъ случаѣ въ достаточной мѣрѣ

скуповатъ въ своихъ безукоризненныхъ красотахъ, и исключая нѣкоторыя изъ его произведеній, помѣщаемыхъ въ христоматіяхъ, большинство ихъ читается съ трудомъ и цѣнятся лишь самыми строгими и рьяными эстетиками.

Яковъ Петровичъ Полонскій родился 6 декабря 1820 года въ Рязани, гдѣ провелъ дѣтство и первую молодость. Въ 1830 году умерла у него мать, а отецъ уѣхалъ на службу въ Эривань, оставивъ шестерыхъ дѣтей на попеченіе сестры своей жены. Въ 1831 году Полонскій поступилъ въ рязанскую гимназію, гдѣ онъ рано началъ обнаруживать проблески поэтическаго таланта и будучи ученикомъ 6-го класса за стихи, поднесенные Государю Наслѣднику во время проѣзда его черезъ Рязань, удостоился получить отъ него въ подарокъ золотыя часы. По окончаніи курса въ гимназіи Полонскій поступилъ на юридическій факультетъ Московскаго университета, причемъ вслѣдствіе разстройства дѣлъ и болѣзни отца принужденъ былъ пропитывать себя собственнымъ трудомъ, занимаясь уроками. Въ 1844 году онъ кончилъ университетскій курсъ и въ концѣ того-же года издалъ небольшую книжку своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ *Гаммы*, встрѣченную критикою того времени, въ томъ числѣ и Бѣлинскимъ, съ большою похвалою. Затѣмъ начинается въ жизни Полонскаго періодъ скитальчества, полного тревогъ, тяжкаго труженичества и заботъ о кускѣ хлѣба, причемъ обстоятельства бросаютъ его то въ Одессу, то въ Тифлисъ, то въ Петербургъ, то въ Варшаву; наконецъ въ 1857 году за-границу—въ Германію, Швейцарію, Римъ, Парижъ. Здѣсь онъ женился въ 1858 г. на дочери причетника при русской церкви въ Парижѣ Ел. В. Устюжской, которую встрѣтилъ въ одномъ русскомъ семействѣ, но черезъ полтора года послѣ свадьбы имѣлъ несчастіе лишиться ея.

Въ 1859 и 60 годахъ онъ занимался редактированіемъ *Русскаго Слова*. Въ мартѣ 1860 года поступилъ на мѣсто секретаря комитета иностранной цензуры; въ 1860 году вступилъ во второй бракъ съ дѣвицей Жозефиной Антоновной Рюльманъ, отъ которой имѣетъ троихъ дѣтей. Въ настоящее время Полонскій занимаетъ мѣсто члена совѣта въ комитетѣ иностранной цензуры, не переставая участвовать во многихъ періодическихъ изданіяхъ, и выпускаетъ въ свѣтъ отдѣльными изданіями, какъ сборники своихъ стихотвореній, такъ и романы.

У Полонскаго мы не видимъ того вѣрнаго и непреклоннаго служенія чистому искусству, какъ у всѣхъ вышеозначенныхъ поэтовъ разсматриваемой нами школы. Правда, большая часть его произведеній написана въ духѣ этой школы. Здѣсь вы встрѣтите и отрывки какихъ-то недоконченныхъ поэмъ, вроде *Магометъ*, и картины кавказской природы, и разочарованныя элегіи, исполненныя темныхъ и туманныхъ философскихъ размышленій, обличающихъ мысль въ философскомъ отношеніи весьма незрѣлую, и альбомныя стихи, и стихи на всякіе случаи, начиная со стихотворнаго письма Ап. Майкову изъ Ваденъ-Бадена и кончая литературно-юбилейными одами. Самыми видными произведеніями его этой категоріи считаются: шуточная поэма *Кузнечикъ музыкантъ* изданный въ 1863 году, поэмы *Мими*, напечатанная въ *Отечественныхъ Запискахъ* за 1873 годъ и *Келіотъ*—въ *Дѣлѣ* 1874 г. Во всѣхъ подобнаго рода произведеніяхъ Полонскаго вы и тѣни не найдете чего-либо оригинальнаго, самобытнаго, своего. Отъ нихъ такъ и вѣетъ, если не Пушкинымъ и Лермонтовымъ, то

какимъ-нибудь иностраннымъ поэтомъ, Шиллеромъ, Гейне и пр. Но порою Полонскій выходитъ изъ тѣсныхъ рамокъ своей школы и отдается инымъ поэтическимъ вѣяніямъ своего времени. Такъ среди стихотвореній его вы встрѣтите и нѣсколько такихъ, въ которыхъ онъ заплатилъ дань той самой гражданско-соціальной лирицѣ, на поприщѣ которой подвизались Некрасовъ и Плещеевъ. Стихотворенія его этого рода, отличаясь не малою силою и страстностью, свидѣтельствуютъ, что изъ Полонскаго могъ-бы выработаться поэтъ, не уступающій означеннымъ. Таковы его *Натурщица*, *Бѣлый*, *Литературный врачъ*, *Тяжелая минута*, *Казиміръ Великій*, *Что мнѣ она—не жена, не любовница*.

Не упустилъ изъ виду Як. Полонскій заплатить дань и той самобытно-народной лирицѣ, представителями которой являются въ нашей литературѣ Кольцовъ, Никитинъ и Некрасовъ. Не говоря уже о томъ, что стихотворенія Полонскаго этого рода, исполненные истиннаго поэтического одушевленія, являются самыми гармоничными и цѣльными въ художественномъ отношеніи, они отличаются той безыскусственной простотой, какая свойственна русской народной лирицѣ, и въ тоже время вы не найдете въ нихъ и тѣни народничанья, фальшивой поддѣлки подъ народныя пѣсни; они вполне оригинальны; на каждомъ изъ нихъ лежитъ печать индивидуальности поэта. Таковы: *Солнце и мѣсяцъ*, *За окномъ въ тѣни мелькаетъ*, *Затворница*, *Качка въ бурю*, *Пѣсня цыганки*, *Смерть мамотки*, *Колокольчикъ*, *Пѣсня*, *Подойди ко мнѣ старушка*, *Въ глуши*, *Подсолнечное царство*, *Волшебный мѣсяцъ*, *Старая няня*.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что нѣкоторыя изъ этихъ стихотвореній, какъ-то: *За окномъ въ тѣни мелькаетъ*, *Подойди ко мнѣ старушка*, *Затворница*, положенныя на музыку, проникли въ народъ и ихъ распѣваетъ вся Россія; а другія, коковы *Солнце и мѣсяцъ* или *Смерть мамотки*, вы найдете въ каждой христоматіи, и нѣтъ ни одного ребенка, который не зналъ-бы ихъ наизусть. Это — перлы нашей лирики, которые никогда не забудутся, и одни способны составить славу поэта и добрую память о немъ въ потомствѣ.

VI.

Левъ Александровичъ Мей, сынъ обрусѣвшаго чиновника нѣмецкаго происхожденія Ал. Ив. Мея и дворянки Ольги Ивановны Шлыковой, родился 13-го февраля 1822 года въ Москвѣ. Первоначальное воспитаніе онъ получилъ въ московскомъ дворянскомъ институтѣ, откуда былъ переведенъ въ 1835 г. за отличные успѣхи въ царскосельскій лицей, въ которомъ и окончилъ курсъ въ 1841 году съ чиномъ X класса. По выходѣ изъ лицея, Мей поступилъ на службу въ канцелярію московскаго военнаго генераль-губернатора, въ которой прослужилъ до января 1849 года. Выйдя въ отставку, Мей около полутора года оставался безъ мѣста, но въ мартѣ 1850 года снова поступилъ на службу по министерству народнаго просвѣщенія на должность инспектора 2-ой московской гимназіи. Прослуживъ здѣсь около полутора года, онъ вторично и окончательно вышелъ въ отставку и переѣхалъ на жительство въ Петербургъ, въ которомъ прожилъ безвыѣздно до смерти.

Стихи началъ писать Мей еще въ лицѣѣ, гдѣ принималъ дѣятельное участіе въ изданіи лицейскихъ рукописныхъ журналовъ. Первымъ напечатаннымъ произведеніемъ Мей было стихотвореніе *Гвананами*, въ 4-й части *Маяка* за 1840 годъ; затѣмъ начиная съ 1845 г. стихотворенія его стали появляться въ *Москвитяинѣ*, а по переѣздѣ въ Петербургъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, *Библіотекѣ для Ученія* и прочихъ періодическихъ изданіяхъ.

Будучи, подобно большинству поэтовъ школы чистаго искусства, лишены всякой самобытности, Мей вмѣстѣ съ тѣмъ не выражалъ своей индивидуальности хотя-бы въ видѣ предпочтенія одного какого-либо поэтическаго рода.

Какъ пчела онъ собиралъ свой медъ со всѣхъ цвѣтовъ безъ различія, и эклектизмъ его простирался до того, что онъ могъ совмѣщать въ себѣ автора такой классической драмы изъ древне-римской жизни, какъ *Сервилія* (1854), такихъ драмъ изъ русской старины, какъ *Царская невеста* (1849 г.) и *Псковитянка* (1860) и поэму изъ библейской древности—*Юдифь*. Зная основательно языки греческій, латинскій, древне-еврейскій, французскій, нѣмецкій, англійскій, итальянскій и польскій, онъ свободно переводилъ со всѣхъ этихъ языковъ. Особенно замѣчательны его полный переводъ Анакреона, девяти идиллій Теоокрита, двухъ пѣсень *Потеряннаго рая* Мильтона, *Лагеръ Валленштейна* и *Дмитрія Самозванца* Шиллера, и масса библейскихъ переложеній, изъ которыхъ болѣе всего выдаются переложенія *Пѣсни пѣсней*.

Проживъ около десяти лѣтъ въ Петербургѣ, посвящая все свое время литературѣ, Мей умеръ 16-го мая 1862 года, почти скоропостижно, диктуя повѣсть для *Моднаго магазина*, издававшагося женой его Софьей Григорьевной. Тѣло его погребено на Митрофаньевскомъ кладбищѣ, около самой церкви.

Николай Ѳеодоровичъ Щербина родился 2-го декабря 1821 года въ миусскомъ округѣ земли Войска Донскаго, въ поселкѣ Грузко-Елачинскомъ, лежащемъ въ 60 верстахъ отъ Таганрога. Отецъ его былъ малороссъ, мать—дочь природной гречанки. Греческій элементъ сильно отразился на ея воспитаніи, а она передала его сыну, что имѣло огромное вліяніе на эстетическое развитіе Щербины. Особенно-же когда донское имѣніе, гдѣ провелъ дѣтство поэтъ, было продано, а родители его переселились въ Таганрогъ, населенный почти исключительно греками, вліяніе это еще болѣе усилилось и сблизило ребенка съ греческимъ бытомъ и преданіями греческой старины. По вступленіи десяти лѣтъ въ таганрогскую гимназію Щербина такъ ревностно принялся за изученіе греческаго языка, что вскорѣ, не довольствуясь преподаваніемъ его въ гимназіи, сталъ ходить въ частную греческую школу, гдѣ прочиталъ въ первый разъ *Иліаду* Гомера и познакомился съ нѣкоторыми другими поэтами древней Греціи. Въ этому времени относится первое поэтическое произведеніе Щербины—поэма *Сафо*, написанная имъ на тринадцатомъ году, но потомъ уничтоженная, а также и первое печатное произведеніе его *Къ морю*, появившееся въ № 10 *Сина Отечества* за 1838 годъ.

Не кончивши гимназическаго курса, Щербина шестнадцати лѣтъ отправился въ Москву съ цѣлью приготовиться къ поступленію въ университетъ, но неблагоприятныя обстоятельства заставили его возвратиться въ Таганрогъ, и лишь въ 1841 году ему удалось поступить въ харьковскій университетъ на юридическій факультетъ. Но и на

этотъ разъ неблагопріятныя обстоятельства заставили его выйти изъ университета до окончанія курса и снискивать скудное пропитаніе уроками у окрестныхъ помѣщиковъ. Но борьба съ нищетою не мѣшала Щербинѣ посвящать часы досуга музамъ. Изъ стихотвореній, принадлежащихъ къ этому времени, заслуживаютъ наибольшаго вниманія *Клефты*, *Ночь въ Венеціи*, *Эллада*, напечатанныя въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ того времени. Въ 1849 г. Щербина отправился было посѣтить дорогую сердцу его Грецію, но и это не удалось ему: онъ заѣхъ въ Одессѣ, гдѣ прожилъ около года, издавъ здѣсь первый сборникъ своихъ стихотвореній подъ заглавіемъ *Греческія стихотворенія Н. Щербина*. Перебиваясь затѣмъ то уроками, то службой, то выгодными педагогическими изданіями (таково было: *Пчела*, *Сборникъ для народнаго чтенія*, выдержавшее четыре изданія съ 1865 по 1875 г.), Щербина въ концѣ концовъ былъ прикомандированъ къ главному управленію по дѣламъ печати и умеръ 10-го апрѣля 1869 г. отъ холеры въ горлѣ; похороненъ былъ въ Александровской лаврѣ.

Щербина прославился въ русской литературѣ исключительно какъ авторъ антологическихъ стихотвореній изъ древне-греческой жизни, въ которыхъ онъ является тѣмъ болѣе побѣдоноснымъ соперникомъ сравнительно съ Ап. Майковымъ, что въ жилахъ его текла греческая кровь, и что онъ имѣлъ не въ примѣръ болѣе основательныя свѣдѣнія въ древней жизни и литературѣ, чѣмъ Ап. Майковъ. Но зато поэзія его еще холоднѣе, галантерейнѣе и отвлеченнѣе въ томъ отношеніи, что никакого отношенія къ русской жизни не имѣетъ. Щербина могъ жить въ какой угодно странѣ и писать на какомъ угодно языкѣ.

Впрочемъ подъ конецъ своей жизни заплатилъ и онъ свою дань злобѣ дня. Не вынеся ничего изъ движенія шестидесятыхъ годовъ и не будучи въ состояніи уразумѣть его, онъ озлобился тѣми гоненіями на поэзію, какія послѣдовали со стороны Писарева, и разразился рядомъ желчныхъ пасквилей противъ своихъ литературныхъ противниковъ. Но объ этихъ его гражданскихъ подвигахъ, лишь омрачившихъ его литературную репутацію, лучше не упоминать.

VII.

Сороковые и пятидесятые годы ознаменовались въ тоже время массою образцовыхъ переводовъ лучшихъ произведеній классическихъ иностранныхъ поэтовъ, — переводовъ, не уступающихъ подлинникамъ, а порою превосходящихъ ихъ.

Страсть къ стихотворнымъ переводамъ была въ то время такъ сильна, что не говоря уже о томъ, что всѣ выдающіеся таланты, кромѣ развѣ одного Некрасова, подвизались на этомъ поприщѣ, — появились такіе поэты, которые большую часть своей литературной дѣятельности посвятили этому почтенному дѣлу и составили репутацію преимущественно какъ талантливые переводчики. Таковы — Николай Васильевичъ Гербель, Петръ Исаевичъ Вейнбергъ и Михаилъ Илларионовичъ Михайловъ.

Н. В. Гербель родился 26 ноября 1827 года. Родомъ онъ былъ изъ швейцарскаго семейства, переселившагося въ Россію при Петрѣ. Прапрадѣдъ его былъ извѣстный инженеръ и архитекторъ, пользовавшійся у Петра большимъ уваженіемъ и построив-

шій много зданій. Первое воспитаніе Гербель получилъ въ домѣ родителей. На девятнадцатомъ году онъ былъ отвезенъ въ Кіевъ и отданъ въ благородный пансіонъ при первой кіевской гимназіи. По окончаніи курса Гербель поступилъ въ Нѣжинскій лицей, въ 1844 г. Въ лицей, съ самаго своего поступления онъ съ особеннымъ увлеченіемъ занялся изученіемъ русской словесности и получалъ даже серебряную медаль за сочиненіе *Подробный разборъ словесныхъ произведеній Сумарокова и Ломоносова и общее заключеніе о характерѣ и состояніи русской словесности отъ Петра Великаго до Екатерины II*. Въ то же время Гербель началъ свои первыя поэтическія пробы, прославился между товарищами своими эпиграммами, касавшимися мѣстныхъ интересовъ, и лицъ; въ 1846-же году проникъ въ печать, такъ какъ въ этомъ году было напечатано въ *Библиотекѣ для Чтенія* первое его стихотвореніе *Бокаль*.

По окончаніи лицейскаго курса въ 1847 г. Гербель поступилъ въ военную службу юнкеромъ въ изюмскій гусарскій полкъ, а въ 1849 г. получилъ чинъ корнета и участвовалъ въ походѣ противъ венгровъ, отличившись храбростью. Дослужившись затѣмъ до чина штабсъ-ротмистра въ лейбъ-гвардіи уланскомъ полку, Гербель оставилъ службу и посвятилъ себя исключительно литературной и издательской дѣятельности. Во всѣхъ толстыхъ журналахъ начали появляться въ началѣ пятидесятыхъ годовъ его стихотворенія, причемъ особенно удачны были его переводы изъ Байрона. Въ 1854 году онъ ознаменовалъ свою дѣятельность стихотворнымъ переводомъ *Слова о полку Игоревѣ*, встрѣченнымъ большимъ сочувствіемъ публики и даже ученыхъ филологовъ—Срезневскаго, Максимовича, Дубенскаго и др.

Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ Гербель приступилъ къ грандіозному, дѣлающему честь и самому ему, и его эпохѣ предпріятію, издать въ русскомъ переводѣ лучшихъ иностранныхъ поэтовъ. Сознывая невозможность выполнить такое колоссальное дѣло одними своими личными силами, Гербель раздѣлилъ трудъ между нѣсколькими современными ему поэтами и кромѣ того собралъ во-едино всѣ лучшіе переводы классическихъ иностранныхъ поэтовъ, разбросанныя въ разныхъ журналахъ. И вотъ въ 1857 г. явилось *Собраніе сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писателей*. Поощренный успѣхомъ этого изданія Гербель рѣшился продолжать дѣло, и такимъ образомъ явились въ русскомъ переводѣ полныя собранія сочиненій Шекспира, Байрона, Гете и кромѣ того хрестоматіи изъ лучшихъ произведеній нѣмецкихъ, англійскихъ и славянскихъ поэтовъ. Не былъ забытъ Гербелемъ и русскій Парнасъ: такъ онъ издалъ сборникъ *Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ*, выдержавшій два изданія. Собственныя его стихотворенія онъ издалъ въ 1858 году подъ заглавіемъ *Отголоски*. Умеръ онъ 8 марта 1883 года отъ психической болѣзни, долгое время подтачивавшей его сильный организмъ.

Петръ Исаевичъ Вейнбергъ родился въ 1830 году въ Николаевѣ. Первоначальное образованіе получалъ въ одесскомъ пансіонѣ Золотова, продолжалъ его въ одесской гимназіи, по окончаніи которой поступилъ въ Решельевскій лицей, а затѣмъ въ харьковскій университетъ, на филологическій факультетъ и въ 1855 году окончилъ курсъ со степенью кандидата. Прослуживъ около двухъ лѣтъ въ Симбирскѣ, онъ переѣхалъ въ 1858 году на жительство въ Петербургъ, а въ 1868 году получилъ мѣсто профессора всеобщей литературы въ варшавскомъ университетѣ, и должность эту занималъ до

начала 1873 года. Въ настоящее время Вейнбергъ занимается чтеніемъ лекцій исторіи всеобщей и русской литературы въ женскихъ педагогическихъ курсахъ и другихъ женскихъ заведеніяхъ въ Петербургѣ.

На литературное поприще Вейнбергъ выступилъ въ 1854 году съ книжкой стихотвореній, изданной въ Одессѣ. По перѣздѣ-же въ 1858 году въ Петербургѣ сталъ помѣщать свои произведенія оригинальныя и переводныя во многихъ періодическихъ изданіяхъ того времени. Въ 1860 году Вейнбергъ виѣсть съ А. В. Дружининымъ, К. Д. Кавелинымъ и В. П. Безобразовымъ предпринялъ еженедѣльный журналъ *Вѣкъ*, продолжавшійся всего одинъ годъ. Въ журналѣ этомъ Вейнбергъ помѣстилъ массу своихъ трудовъ, — стихотворныхъ подъ псевдонимомъ Гейне изъ Тамбова, и прозаическихъ, подписывая ихъ русскимъ переводомъ своего имени — Камень Виногоровъ.

Въ 1864 году Вейнбергъ принялся за переводъ Шекспира и втеченіи трехъ лѣтъ перевелъ девять его пьесъ. Кромѣ того перевелъ Байрона — *Сардананалъ*, Шелли — *Ченчи*, Гутцкова — *Уриэль Акоста*, Шеридана — *Школу злословія*, Коппе — *Дѣя судьбы* и пр. Наконецъ Вейнбергъ издалъ сочиненія Гете и Гейне въ русскихъ переводахъ, первыя въ шести, а вторыя въ двѣнадцать томахъ. Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ Вейнбергъ сдѣлалъ новую попытку издавать ежемѣсячный журналъ — *Изящную литературу*, специально предназначенный для переводовъ лучшихъ произведеній иностранной прессы, но столь-же безуспѣшно, и по той-же причинѣ, по какой не удался ему *Вѣкъ*, — по недостатку матеріальныхъ средствъ для того, чтобы поставить изданіе на ноги и привлечь къ нему лучшія силы.

Михаилъ Илларионовичъ Михайловъ родился въ 1826 году въ одномъ изъ казенныхъ заводовъ на Уралѣ. Дѣдъ Михайлова былъ дворовый человекъ Аксаковыхъ и умеръ подъ розгами, защищая свою волю, которую завѣщала ему старая барыня, но на однихъ словахъ, а наследники этого словеснаго завѣщанія не признавали. Исторія его дважды была описана въ нашей литературѣ: въ *Семейной хроникѣ* Аксакова; (*Михайлушка*) и въ повѣсти самого внука подъ заглавіемъ *Село Чумбурово*.

Отецъ Михайлова былъ чиновникомъ горнаго вѣдомства, а мать киргизская княжна Уракова. Отецъ получилъ недурное образованіе и тщательно воспитывалъ дѣтей. У будущаго поэта было три гувернера: нѣмецъ, французъ и полякъ изъ ссыльныхъ.

Въ 1836 году Михайлова помѣстили въ уфимскую гимназію, но онъ не кончилъ въ ней курса. До 1844 года проживалъ въ Оренбургѣ, а затѣмъ поѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ вольнослушателемъ въ с.-петербургскій университетъ. Въ началѣ онъ усердно посѣщалъ лекціи, но когда въ 1845 году начали появляться въ *Иллюстраціи* и другихъ изданіяхъ стихотворенія его (а писать ихъ онъ началъ съ дѣтства), усѣхъ вскружилъ голову девятнадцатилѣтняго юноши, и онъ бросилъ посѣщать лекціи. Отецъ Михайлова вооружился противъ увлеченія сына стихоманіей и лишилъ его средствъ, и тогда молодому поэту пришлось терпѣть горькую нужду. Въ 1849 году подъ бременемъ этой нужды Михайловъ долженъ былъ переѣхать въ Нижній-Новгородъ на службу, но продолжалъ свободные часы посвящать литературѣ, посылая свои стихотворенія теперь уже въ *Москвитяинѣ*. Къ этому-же времени относятся первые прозаическіе рассказы его — *Нянюшка*, *Онъ* и *Адамъ Адамычъ*. Мало-по-малу имя его начало выдвигаться, и онъ пользовался уже почетною из-

вѣстностью, когда съ 1852 года пріѣхалъ въ Петербургъ и принялъ дѣятельное участіе одновременно и въ *Современникъ*, и въ *Отечественныхъ Запискахъ*.

Въ *Современникъ* напечатаны имъ втеченіе десятилѣтняго сотрудничества пять повѣстей: *Кружевница*, *Голубые глазки*, *Африканъ*, *Деревня и Городъ*, *Вольная птичка*, кромѣ того рядъ статей публицистическаго и критическаго характера, каковы: *Джорджъ Эллиотъ*, *Женщины*, *Американскіе поэты и романисты*, *Дж. Ст. Милль объ эмансипаціи женщинъ*, *Юморъ и поэзія въ Англии*, *Женщины въ университетъ*, наконецъ рядъ переводовъ изъ Гейне, Томаса Гуда, Ленау, Теннисона, Лонгфелло и другихъ. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* на первомъ планѣ стоитъ большой романъ его изъ быта провинціальныхъ актеровъ—*Перелетныя птицы*. Встрѣчаются повѣсти, рассказы и переводы и въ другихъ изданіяхъ штидесятихъ и шестидесятихъ годовъ; таковы напримѣръ переводъ Шиллера—*Коварство и любовь*, *Духовидецъ* и пр.

Въ 1858 и въ 1861 годахъ Михайловъ побывалъ за-границей,—въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ и многихъ другихъ большихъ городахъ Европы, и помѣстилъ рядъ писемъ изъ-за-границы въ *Современникъ* 1858, 59 и 60 годовъ. По возвращеніи въ Россію, осенью 1861 года, онъ былъ арестованъ по политическому дѣлу, сосланъ въ Сибирь, гдѣ и скончался лѣтомъ 1865 года на 39 году своей жизни.

Что изъ всѣхъ современныхъ переводчиковъ Михайловъ считался самымъ лучшимъ и образцовымъ, объ этомъ можно судить по тому, что очень многіе его переводы до сихъ поръ помѣщаются въ различныя дѣтскія христоматіи, начиная съ книгъ для чтенія для дѣтей самаго младшаго возраста и кончая сборниками образцовыхъ западныхъ произведеній для учениковъ высшихъ классовъ, изучающихъ исторію литературъ. Кому не извѣстны почти наизусть такія его вещи, какъ *Сонъ Невомника* Лонгфелло, *Пѣсня о рубашкѣ* Гуда, *Скованный Прометей* Эсхила. Но наиболѣе прославился Михайловъ, какъ прекрасный переводчикъ Гейне. Изданныя въ 1858 г. его *Пѣсни Гейне* имѣли огромный успѣхъ, впервые познакомивши русскую публику съ великимъ нѣмецкимъ поэтомъ такъ обстоятельно и художественно точно, какъ никогда ни до того времени, ни послѣ не переводился Гейне. Вообще нѣмецкимъ поэтамъ Михайловъ отдавалъ предпочтеніе; по крайней мѣрѣ въ изданномъ въ 1890 году томѣ его переводныхъ стихотвореній три четверти книги заняты переводами нѣмецкихъ поэтовъ и лишь одна четверть приходится на долю поэтовъ всѣхъ прочихъ странъ и времянь.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

I—Характеристика новых скорбныхъ поэтовъ, выражающихъ современную эпоху. Семень Яковлевичъ Надсонъ. Факты его жизни. II—Причина его популярности. Его нравственная физиономія, характеръ и духъ его произведеній. Семень Григорьевичъ Фругъ. III—Николай Максимовичъ Минскій. IV—Дмитрій Сергѣевичъ Мережковскій.—Новѣйшіе поэты чистаго искусства. Алексій Николаевичъ Апухтинъ, Константинъ Михайловичъ Фофановъ, А. А. Голенищевъ-Кутузовъ, С. А. Андреевскій П. А. Козловъ и проч.

I.

Втеченіи семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ русскимъ обществомъ овладѣла особенная стихоманія, выразившаяся въ появленіи несмѣтной массы молодыхъ поэтовъ, выступающихъ на судъ публики съ изданіями своихъ болѣе или менѣе скромныхъ сочиненій. Съ своей стороны никакія изданія не продавались такъ ходко и быстро, какъ стихотворные сборники любимыхъ поэтовъ. Но къ сожалѣнію изъ всей этой толпы жаждущихъ поэтической славы весьма немного выдѣлилось талантовъ, обратившихъ на себя вниманіе общества и критики. Да и эти немногіе далеко уступаютъ поэтамъ предшествовавшей эпохи. До сихъ поръ они рабски слѣдуютъ за своими предшественниками, повторяя тотъ-же типъ поэзіи, тѣ-же формы, образы, приемы, манеру, какіе были созданы послѣдними, не имѣя силъ создать въ свою очередь нѣчто самобытное, свою особенную школу.

На первомъ планѣ рисуется передъ нами группа поэтовъ, которые заслуживаютъ наибольшаго вниманія, такъ какъ выражаютъ въ своихъ произведеніяхъ современное настроеніе общества. Настроеніе это крайне скорбное, унылое; поэту и стихотворенія поэтовъ этой группы носятъ по большей части минорный характеръ; но глубоко ошибаются тѣ, кто видитъ въ нихъ разочарованныхъ пессимистовъ вродѣ тѣхъ, какіе были въ нашей литературѣ въ тридцатые и сороковые годы—въ лицѣ Полежаева, Лермонтова, Огарева. Мрачные образы, какими наполнены ихъ произведенія, постоянно смѣняются у нихъ порываніями къ правдѣ и свѣту, мечтами и надеждами о близкомъ наступленіи иныхъ болѣе отрадныхъ временъ, когда разсѣется мракъ окружающей ихъ ночи и наступитъ новый лучезарный день, полный тепла и блеска.

Если слѣдуетъ въ чемъ упрекнуть нашихъ молодыхъ поэтовъ и что составляетъ по-истинѣ существенный недостатокъ ихъ, это тотъ весьма прискорбный фактъ, что

послѣ Некрасова, Шевченка и Никитина наша поэзія не только не сдѣлала ни одного шага впередъ по пути народной самобытности, на который пытались направить ее означенные писатели, а напротивъ того, въ лицѣ всѣхъ молодыхъ поэтовъ безъ исключенія, обратилась рѣшительно вспять, снова вступила на почву международной отвлеченности и стереотипности, приче́мъ языкъ, на которомъ пишется стихотвореніе, равно какъ и публика, для которой оно предназначается, являются чѣмъ-то совершенно случайнымъ и безразличнымъ.

Во главѣ молодыхъ поэтовъ, какъ самый талантливый и популярный выразитель сокровенныхъ думъ и чувствъ, волнующихъ молодое поколѣніе, является Семень Яковлевичъ Надсонъ, на котораго мы и обратимъ наибольшее вниманіе.

Семень Яковлевичъ Надсонъ родился въ Петербургѣ 14 декабря 1862 г. Дѣтъ его былъ еврей, принявшій православіе, жившій въ Кіевѣ и имѣвшій тамъ недвижимую собственность, а отецъ, даровитый человекъ и хорошій музыкантъ, умеръ еще въ молодыхъ годахъ отъ психической болѣзни. Поэту было всего два года, когда онъ остался на рукахъ матери, изъ русской дворянской семьи Мамонтовыхъ. Оставшись жить въ Кіевѣ послѣ смерти мужа, она содержала себя и двухъ дѣтей собственными трудами, занимая мѣсто экономки и учительницы въ семьѣ нѣкоего Ф. Когда мальчику было приблизительно лѣтъ семь, мать уѣхала въ Петербургъ и поселилась у брата Д. Ст. Мамонтова, а сынъ поступилъ въ приготовительный классъ 1-й классической гимназіи. Вскорѣ затѣмъ, уже больная, мать Надсона вышла вторично за-мужъ за Николая Гавриловича Оумина и уѣхала съ нимъ въ Кіевъ. Но Оуминъ въ принадлежѣ умопомѣшательства повѣсился. Оставшись безъ всякихъ средствъ и испытывъ весь ужасъ нужды, несчастная женщина снова переѣхала съ дѣтьми въ Петербургъ, и здѣсь еще молодая, 31 года, умерла отъ чахотки.

Занятія мальчика въ классической гимназіи въ Петербургѣ, а затѣмъ въ Кіевѣ шли отлично. Въ послѣдніе-же мѣсяцы жизни матери отдали его пансіонеромъ во 2-ую военную гимназію. Первое время мальчику жилось нелегко въ военной гимназіи, такъ какъ товарища не любили его; болѣзненный, впечатлительный, не отличавшійся физическою силою и ловкостью, и вмѣстѣ съ тѣмъ самолюбивый, не въ примѣръ болѣе развитой и начитанный, чѣмъ весь классъ его, онъ выдѣлялся изъ общаго уровня, что обходится недешево. Но мало-по-малу товарищи оцѣнили искренность и дѣтски-рыцарское великодушіе мальчика, оказывавшаго имъ немалыя услуги и научились любить его.

Первое время пребыванія въ гимназіи Надсонъ занимался очень хорошо и шелъ вторымъ ученикомъ, но въ послѣднихъ классахъ онъ такъ уже увлекся литературою, что ему было не до уроковъ. Это не помѣшало ему кончить курсъ 16 лѣтъ, хотя математика давалась ему трудно. Всѣ свободные часы онъ посвящалъ чтенію, читая безъ разбора все, что попадалось подъ руки; страстно любилъ музыку до того, что часто ему казалось даже, что онъ созданъ больше музыкантомъ, чѣмъ поэтомъ; всю жизнь не разставался онъ со скрипкою: она сопровождала его всюду. Стихи началъ онъ писать съ девятилѣтняго возраста, а пятнадцати лѣтъ сознательно уже рѣшился посвятить себя поэзіи. Но музыка, поэзія и чтеніе не наполняли всего досуга Надсона, и не исчерпывали вполне его энергій. По его инициативѣ устраивались у товарищей виѣ

гимназіи домашніе спектакли, въ которыхъ онъ самъ принималъ участіе и какъ режиссеръ, и какъ актеръ. Крімъ того, по его-же инициативѣ и подъ его редакторствомъ въ гимназіи были предпринимаемы изданія рукописныхъ журналовъ, въ которыхъ онъ самъ былъ конечно и главнымъ сотрудникомъ. Въ то-же время онъ писалъ сочиненія за всѣхъ товарищей.

1878 годъ былъ особенно знаменателенъ въ жизни Надсона. Въ этотъ годъ онъ познакомился съ семействомъ одного своего товарища—Д—выми, и страстно полюбилъ молодую дѣвушку, сестру своего товарища. Въ этомъ-же году онъ впервые выступилъ въ печать, такъ какъ въ майской книжкѣ *Совѣта* за этотъ годъ было напечатано первое стихотвореніе его *На зарѣ*. Наконецъ въ этомъ-же году началась въ поэтѣ сильная внутренняя работа: его волновали и мучили разные „проклятые вопросы“ и главнымъ образомъ религіозные.

Но первая любовь юноши имѣла трагическій исходъ: 31 марта 1879 года горячо любимая имъ дѣвушка умерла отъ скоротечной чахотки. Какъ сильно поразила поэта смерть Н. М., какъ больно отразилась она на всей послѣдующей его жизни, видно изъ двухъ стихотвореній его, посвященныхъ ей памяти, *Любили-ль вы, какъ я и Я вновь одинъ*, вышедшихъ еще при жизни поэта въ изданномъ имъ сборникѣ своихъ стихотвореній, и множества посмертныхъ, написанныхъ на эту тему. Несмотря на поразившее его горе, Надсонъ все-таки нашелъ въ себѣ достаточно силъ, чтобы усѣбно выдержать экзаменъ и окончить курсъ. Затѣмъ, по желанію опекуна, Надсонъ поступилъ въ Павловское военное училище, гдѣ на первомъ-же ученіи схватилъ острый катарръ праваго легкаго и опасно заболѣлъ. Сначала онъ пролежалъ довольно долго въ лазаретѣ, а затѣмъ его отправили на казенный счетъ на Кавказъ, въ Тифлисъ, гдѣ онъ прожилъ у родственниковъ почти годъ.

Вернувшись въ Петербургъ осенью 1880 года, юноша снова поступилъ въ Павловское училище. Здѣсь онъ провелъ два года, втеченіи которыхъ писалъ и печаталъ довольно много, сначала въ *Мысли, Слово, Русской Рѣчи, Устолахъ*, а затѣмъ и въ *Отечественныхъ Запискахъ*, мало-по-малу становясь извѣстнымъ. Болѣзнь-же его медленно, но упорно двигалась впередъ, чему способствовали не подходящія для больного грудью условія училищной жизни, лагеря, маневры и проч. Крайне дѣятельный и живой по характеру, юноша не умѣлъ беречь ни силъ, ни здоровья: пѣлъ въ хорѣ юнкеровъ, устраивалъ любительскіе спектакли, словомъ—вѣлъ образъ жизни далеко неполезный для его расшатаннаго здоровья.

Въ сентябрѣ 1882 года онъ былъ произведенъ въ офицеры и назначенъ въ 148-й Каспійскій полкъ, стоящій въ Кронштадтѣ. Кронштадскій періодъ жизни его продолжался два года. Къ этому времени принадлежатъ многія изъ лучшихъ его стихотвореній: *Нить, легче мнѣ думать, что ты умерла, Геростратъ, Грезы, Затихъ блестящій залъ, Сбылося все* и др. Извѣстность Надсона быстро росла. Между прочимъ ему устроили чуть-ли не цѣлую овацію въ Пушкинскомъ кружкѣ 30 сент. 1883 г. Между тѣмъ болѣзнь продолжала дѣлать свои завоеванія. Лѣтомъ этого года онъ слегъ въ постель: у него открылась на ногѣ туберкулезная фистула—явленіе, весьма часто предшествующее и сопровождающее чахотку. Онъ пролежалъ все лѣто въ Петербургѣ, въ маленькой комнаткѣ, выходившей на пыльный и душ-

ный дворъ. Такія условія не могли не отразиться невыгодно на общемъ состояніи здоровья его.

Затѣмъ всю зиму Надсонъ хлопоталъ объ освобожденіи отъ военной службы, подыскивая подходящее занятіе, которое дало-бы ему возможность существовать. Онъ собирался было сдѣлаться народнымъ учителемъ, сдалъ удовлетворительно экзамень для этого; но когда ему предложено было мѣсто секретаря въ редакціи *Недѣли*, онъ съ радостью согласился, такъ какъ завѣтною мечтою его было стать поближе къ литературѣ и литературному міру.

Но недолго удалось Надсону заниматься въ редакціи *Недѣли*. Осенью болѣзнь его приняла такой опасный оборотъ, что по совѣту докторовъ его рѣшили отправить за-границу, на югъ Франціи. Литературный фондъ далъ для этой цѣли 500 р. (возвращены поэтомъ фонду лѣтомъ 1885 г. всей чистой прибылью съ перваго изданія его стихотвореній). Затѣмъ, чрезъ посредничество г-жи А. А. Д—вой, С. П. Д—въ далъ на поѣздку Надсона за-границу 1,200 р., а нѣсколько мѣсяцевъ спустя, въ январѣ 1885 г. г-жа Д—ва устроила концертъ, давшій 1,800 р. сбора. Эти средства доставили больному возможность прожить около года за-границей и пользоваться услугами лучшихъ хирурговъ для операціи фистулы на ногѣ, — операціи, которой онъ подвергался два раза въ Ниццѣ и затѣмъ два раза въ Бернѣ, въ больницѣ извѣстнаго швейцарскаго хирурга Кохера.

Послѣдніе два года Надсонъ провелъ частью въ деревнѣ у одного знакомаго въ подольской губерніи, частью въ Крыму, быстро угасая, сиѣдаемый своею смертельною болѣзью. Мысль о смерти не покидала его, и не радовали ни популярность его стихотвореній, успѣвшихъ при жизни его выдержать три изданія, ни присужденная ему Академіей наукъ пушкинская премія въ 500 р. Наконецъ 19 января 1887 г. его не стало. Тѣло его было перевезено въ Петербургъ и 4 февраля при многочисленномъ стеченіи народа было погребено на Волковомъ кладбищѣ, не далеко отъ могилъ Добролюбова и Бѣлинскаго.

II.

Впродолженіи пяти лѣтъ сочиненія Надсона, завѣщанныя имъ Литературному фонду, выдержали, какъ извѣстно, десять изданій и продолжаютъ расходиться также быстро, какъ и прежде. Подобную популарность нельзя объяснить никакими искусственными взвнчиваньями критики и разными случайными и побочными обстоятельствомъ. Тайна успѣха лежитъ гораздо глубже, и онъ представляется какъ нельзя болѣе естественнымъ и заслуженнымъ. Прежде всего къ Надсону привлекаетъ общество самый прекрасный образъ поэта, — гармоническое сочетаніе въ этомъ столь рано угасшемъ юношѣ-страдалицѣ физической красоты и безукоризненно-идеальнаго душевнаго совершенства, прозрачно-яснаго, кроткаго духа, чуждаго какой-бы-то ни было фальши, суетности, тщеславія, рисовки и тому подобныхъ человѣческихъ слабостей. По своей неподкупной честности, кристальной искренности и цѣльности Надсонъ имѣетъ среди молодого поколѣнія лишь одного совершенно подобнаго себѣ — именно въ лицѣ Вс. Мих. Гаршина; обѣ эти личности являются двумя существами совершен-

но тождественными, словно сливаются въ одинъ и тотъ-же лучезарный поэтическій образъ, дѣлая великую честь тому поколѣнію, среди котораго они явились.

Но не одна идеально-поэтическая красота личности Надсона привлекаетъ къ нему многочисленныхъ почитателей его. Въмѣстѣ съ тѣмъ онъ чаруетъ своимъ звучнымъ, легкимъ, въ истинномъ смыслѣ музыкальнымъ стихомъ, изящной прелестью и граціозностью своихъ поэтическихъ образовъ и неподдѣльно искреннею задумчивостью лиризма. Вы не встрѣтите въ этомъ лиризмѣ какихъ-либо мужественно-страстныхъ, энергическихъ звуковъ; преисполненный тихой, мечтательной грусти, лиризмъ этотъ напоминаетъ намъ не столько исполненнаго гнѣва и мести борца, сколько неутѣшныя слезы преждевременно увядающей красоты, но это усугубляетъ его очарованіе.

И вотъ этимъ-то своимъ музыкальнымъ стихомъ, этими нѣжными слезами своего женственнаго лиризма Надсонъ глубоко проникаетъ въ сердца читателей, задѣвая самыя сокровенныя и завѣтныя струны ихъ, вторя ихъ настроенію, вмѣстѣ съ ними то скорбя о настоящемъ безвременьѣ, то утѣшая свѣтлымъ будущимъ, ободряя не унывать и отважно стремиться впередъ.

Однимъ словомъ вся поэзія Надсона, словно солнце въ каплѣ воды, отражается въ извѣстномъ стихотвореніи *Другъ мой, братъ мой*, которое не даромъ считается его шедевромъ. Въ немъ дѣйствительно заключается квинтъ-эссенція всей его поэзіи. Вотъ это знаменитое стихотвореніе:

Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающій братъ,
Кто-бъ ты ни былъ, не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царятъ
Надъ омытой слезами землей,
Пусть разбитъ и поруганъ святой идеалъ
И струится невинная кровь: —
Вѣрь, настанетъ пора, и погибнетъ Вааль,
И вернется на землю любовь!

* * *

Не въ терновомъ вѣницѣ, не подъ гнетомъ цѣпей,
Не съ крестомъ на согбенныхъ плечахъ, —
Въ міръ прійдетъ она въ силѣ и славѣ своей,
Съ яркимъ свѣточемъ славы въ рукахъ.
И не будетъ на свѣтѣ ни слезъ, ни вражды,
Ни безкrestныхъ могилъ, ни рабовъ,
Ни нужды безпросвѣтной, мертвящей нужды,
Ни меча, ни позорныхъ столбовъ.

* * *

О мой другъ! Не мечта этотъ свѣтлый приходъ,
Не пустая надежда одна:
Оглянись, — зло вокругъ черезчуръ ужъ гнететъ,
Ночь вокругъ черезчуръ ужъ темна!
Міръ устанетъ отъ мукъ, захлебнется въ крови,
Утомится безумной борьбой, —
И подниметъ къ любви, къ безавѣтной любви
Очи, полныя скорбной мольбой...

Стоит прочесть это стихотвореніе, чтобы убѣдиться, въ какой мѣрѣ основательны обвиненія Надсона въ пессимизмѣ.

Семень Григорьевичъ Фругъ родился въ 1860 году въ еврейской земледѣльческой колоніи Бобровый Кутъ, въ херсонскомъ уѣздѣ. Отецъ его, уроженецъ той-же колоніи, всю жизнь занимался хлѣбопашествомъ. Фругъ не былъ ни въ какомъ учебномъ заведеніи, кромѣ начальной колониальной школы, въ которой учился чтенію и писму. Такимъ образомъ развитію своего таланта онъ былъ обязанъ вполне самому себѣ и является въ истинномъ смыслѣ этого слова самоучкой. До шестнадцати лѣтъ прожилъ онъ на родинѣ. Первое стихотвореніе его было напечатано въ 1880 году. Въ апрѣль-же 1885 года вышелъ уже въ свѣтъ первый сборникъ его стихотвореній; черезъ два года второй, а въ 1890 году вышло второе изданіе его стихотвореній. Лира Фруга не громка. Онъ не займетъ виднаго мѣста во всемірной или русской исторіи поэзіи, не создастъ школы, не заставитъ современныхъ, а тѣмъ болѣе послѣдующихъ поэтовъ цѣть въ одинъ съ нимъ голосъ. Но все это не мѣшаетъ ему быть однимъ изъ самыхъ симпатичныхъ, искреннихъ и, главное дѣло, истинныхъ поэтовъ. Отсутствіе всякой претенціозности и вычурности, простота, ясность, опредѣленность и звучность смѣлаго и энергическаго стиха, богатая образность и задушевная теплота составляютъ неотъемлемыя достоинства поэзіи Фруга. Онъ не задается никакими широкими и глубокими мировыми вопросами, философскими или политическими; въ большинствѣ своихъ стихотвореній онъ является лишь скромнымъ пѣвцомъ своего гонимаго, угнетаемаго и обиженаго судьбою и людьми народа. Это словно новый Іеремія, сидящій на рѣкахъ Вавилонскихъ и плачущій. Онъ самъ говоритъ, что ничего болѣе не желаетъ, какъ лишь уснуть „хотя одну слезу тоски и горя стереть съ лица народа его и вилести хоть одинъ листокъ лавровый въ его страдальческій терновый вѣнокъ“.

Въ то-же время Фругъ совершенно чуждъ узкаго націонализма и шовинизма. Онъ не мечтаетъ о какихъ-либо ликующихъ побѣдахъ надъ врагами или о пораженіи ихъ. Дѣтство, проведенное въ земледѣльческой средѣ, наложило неизгладимую печать на міросозерцаніе поэта, печать мира, любви и братства; его волнуютъ идеалы широкіе и свѣтлые вполне земледѣльческаго характера, и во имя ихъ онъ предрекаетъ своимъ землякамъ такую рациональную и отрадную будущность, какую конечно дай Богъ всякому народу. Тамъ въ стихотвореніи *Грядущее* онъ говоритъ устами пророка Ісаіи:

Придетъ пора — исчезнетъ злоба;
 Одной ликующей семьей
 Похъ знамя свѣта и свободы
 Стекутся мирные народы,
 И надъ воскресшею землей
 Утихнетъ гулъ борьбы кровавой,
 Угаснетъ пылъ вражды на-вѣкъ,
 Иною доблестью и славой
 Гордиться будетъ человѣкъ:
 То будетъ доблесть думъ въ сокиихъ,
 То будетъ слава добрыхъ дѣлъ,
 И тамъ, гдѣ въ мракѣ смуть жестокихъ
 Сверкала сталь и щитъ звенѣлъ, —

На тучныхъ нивахъ въ чистомъ полѣ
Высокій колосъ зашумить,
И пѣсня пахаря на волѣ
Отрадой свѣтлой зазвучитъ!...

Принимая въ соображеніе эти свѣтлые идеалы Фруга, вы поймете, въ какомъ заблужденіи находятся тѣ критики, которые и Фруга въ числѣ прочихъ молодыхъ поэтовъ заподозрѣваютъ въ пессимизмѣ. Правда, пѣсни его по большей части полны грусти и печали, онъ постоянно называетъ свою душу больною, говоритъ, что самъ содрогается при видѣ мукъ, воспытныхъ имъ, называетъ себя могильщикомъ, который съ нѣжныхъ дѣтскихъ дней бродилъ среди гробовъ, слыхалъ одни стенанья, и если запоетъ порою пѣсню—въ ней звучатъ лишь вопли и рыданья. Но между тоской и даже отчаяніемъ и пессимизмомъ—громадная разница. Въ то время, какъ пессимисты не вѣрятъ въ самую возможность счастья и прогресса на землѣ, отчаяніе очень часто протстекаетъ изъ излишней вѣры, когда люди убѣждены, что счастье и прогрессъ должны составлять неотъемлемую суть жизни, но не достижимы лишь вслѣдствіе враждебныхъ обстоятельствъ, покорить которыхъ не хватаетъ силъ у современнаго поколѣнія.

Что Фругъ вовсе не пессимистъ, что онъ вѣритъ въ побѣду добра и правды на землѣ когда-бы то ни было, въ этомъ насъ можетъ убѣдить стихотвореніе его *Пѣсня жизни*. Здѣсь онъ сравниваетъ жизнь человѣческую съ тѣми сказками, которыя рассказывала ему въ дѣтствѣ на сонъ грядущій его няня. Подобно тому какъ въ этихъ сказкахъ послѣ всевозможныхъ ужасовъ и страховъ въ концѣ концовъ правда, торжествуя гордо надъ побѣжденнымъ врагомъ, гордо вставала святая въ славѣ и блескѣ своемъ,—такую-же сказкою представляется ему и жизнь,—сказкою, длящейся уже семнадцать вѣковъ. Поэтъ вѣритъ, что раньше или позже сказка эта кончится такимъ-же торжествомъ добра и гибелью зла, какъ кончались и нянины сказки. Его сокрушаетъ только то, что подобно тому, какъ въ дѣтствѣ ему не удавалось дослушивать нянины сказки до конца, и онъ засыпалъ раньше ихъ желанной развязки, также случится и теперь: онъ не дождется вождѣльнаго конца сказки и заснетъ сномъ роковымъ, непробуднымъ во мракѣ одной изъ могилъ сотенъ замученныхъ жизнью, сотенъ загубленныхъ силъ...

Такимъ является Фругъ въ самыхъ лучшихъ лирическихъ своихъ произведеніяхъ. Кромѣ того вы найдете у него нѣсколько эпическихъ произведеній—легендъ, сказаній и цѣлыхъ поэмъ изъ древне-еврейской жизни, но всѣ они представляются растянутыми, стереотипно-отвлеченными, риторично-сочиненными. Фругъ очевидно лирикъ по своему своему существу. Эпосъ—не его призваніе.

III.

Совсѣмъ другое слѣдуетъ сказать о Николаѣ Максимовичѣ Виленкинѣ, выступившемъ на литературное поприще почти одновременно съ Фругомъ, въ 1879 году, подъ псевдонимомъ Минскаго. Псевдонимъ этотъ, обозначающій мѣсто его происхожденія—минскую губернію, до такой степени утвердился за нимъ, что рѣдко кто знаетъ его настоящую фамилію, и мы въ свою очередь будемъ называть его Минскимъ, какъ онъ

и известенъ большинству публики. Главное преобладающее качество музы Минскаго — спокойное, объективное раздумье и въ то-же время яркая образность. Въ этомъ отношеніи онъ рѣзко отличается отъ Надсона и Фруга, — поэтовъ лирическихъ по преимуществу, субъективныхъ до послѣдней крайности, главное достоинство которыхъ заключается въ силѣ и интенсивности выражаемыхъ ими чувствъ. Минскій-же, если и имѣетъ дѣло съ тѣми или другими чувствами, то не выражаетъ ихъ, какъ музыкантъ, а изображаетъ образами, какъ художникъ. Поэтому всѣ такія стихотворенія кажутся намъ холодными, словно надуманными, между тѣмъ какъ это происходитъ просто потому, что Минскій здѣсь не въ своей тарелкѣ: онъ не лирикъ, а пластикъ. Для примѣра возьмите хотя-бы его стихотвореніе *Скорбь*:

Надо мной заря зарю смѣняетъ,
Небеса темнѣютъ и горятъ,
Міръ кругомъ цвѣтеть и отцвѣтаетъ,
Жизнь и смерть чредою въ немъ царятъ...
А въ душѣ свинцовою волною
Скорбь растетъ, растетъ, не зная сна,
Шумомъ дня и ночи тишиною —
Жадно всѣмъ питается она.
Притаясь у родниковъ желаній,
Ихъ кристалль мутитъ она въ тиши,
И толпу несмѣлыхъ упованій
Сторожитъ на всѣхъ путяхъ души.
Къ небесамъ-ли звѣзднымъ я взираю,
Въ ясный день гляжу-ль въ нѣмую даль,—
На землѣ я грусть свою встрѣчаю,
Отъ небесъ я лью свою печаль,
И когда волнуемый любовью,
Я къ груди прижмуся дорогой,—
Тутъ-же Скорбь, прикинувъ къ изголовью,
Мнѣ, какъ другъ, киваетъ головой.

Согласитесь, что это вовсе не выраженіе скорби, а лишь ея описаніе совершенно въ одномъ и томъ-же эпически-спокойномъ тонѣ, въ какомъ представляются вамъ первые четыре стиха, занятые описаніемъ внѣшней природы. Очень понятно, что авторъ, словно чувствуя свое безсиліе выразить чувство въ надлежащей его интенсивности, прибѣгаетъ къ разнымъ внѣшнимъ черезчуръ уже смѣлымъ и рискованнымъ образамъ, сравненіямъ и т. п., которые чувства все-таки сами по себѣ не выражаютъ, а между тѣмъ придаютъ стихотворенію видъ нѣсколько комической утрировки. Такъ въ настоящемъ случаѣ, чтобы показать намъ, какъ велика его скорбь, поэтъ прямо заявляетъ, что она по размѣрамъ своимъ равняется, шутка-ли сказать, самому Богу:

Ты-бъ одинъ, Кто скорби чуждъ, измѣрилъ,
Скорбь мою, великую, какъ Ты...

Но если-бы поэтъ увѣрилъ насъ, что скорбь его превышаетъ самого Бога, все-таки онъ не далъ-бы намъ въ такой степени понятія объ этой скорби, какъ если-бы выразилъ ее въ самой музыкѣ стиховъ.

Но, по нашему мнѣнію, Минскому не для чего столь усердно и заботиться о выраженіи своихъ чувствъ. Это совсѣмъ не его область, и въ ней ему всегда придется наси-

ловать себя, напрягаться, прибѣгать къ натяжкамъ и преувеличеніямъ для того, чтобы внушить читателю, какъ сильно онъ чувствуетъ. Для возбужденія поэтическаго творчества Минскій нуждается непремѣнно въ какомъ-нибудь внѣшнемъ явленіи жизни, которое поразило-бы его и вокругъ котораго онъ могъ-бы сгруппировать цѣлый рядъ своихъ яркихъ образовъ или тихихъ, меланхолическихъ раздумій. По крайней мѣрѣ въ изданіи стихотвореній Минскаго, вышедшемъ въ 1887 году, лучшими являются антологическія, вродѣ напригѣръ слѣдующаго, озаглавленнаго *Засуха*:

Я помню: лѣтнею порою
Грозилъ намъ голодъ разъ. Поля
Всѣ были выжжены жарою,
Желтѣя трескалась земля.
Грозы молили всѣ у неба:
Толпилися въ церкви весь народъ.
Кричали дѣти у воротъ:
Дай, Боже, дождичка, дай хлѣба
Для дѣтокъ маленькихъ твоихъ!!!
И Богъ услышалъ ихъ.
Не даромъ въ скорби непритворной
Упала нахари слеза,
Промчались тучи стаей черной
И разразилася гроза.

Когда-же стихнулъ дождь желанный,
Я вышелъ въ садъ благоуханный;
И тамъ нашель среди кустовъ
Гнѣздо размытое грозою.
Надъ нимъ съ безпомощной тоскою
Кружилась мать. Своихъ птенцовъ
Она звала и щебетала,
Ихъ грѣла трепетнымъ крыломъ,
Металась, билась надъ гнѣздомъ
И подлѣ мертвая упала.
И думалъ я: что, если-бъ мать
Могла въ тоскѣ своей понять,
Что той грозой неумолимой
Спасенъ весь край!
— Что край родимый,
Когда не стало навсегда
Гнѣзда, родимаго гнѣзда!

Не правда-ли, какъ много глубокаго смысла въ этомъ стихотвореніи при всей его кажущейся простотѣ? Какъ поэтично это сопоставленіе общаго бѣдствія цѣлаго края и личнаго горя ласточки, потерявшей своихъ птенцовъ какъ разъ въ ту самую освѣжительную бурю, которой край былъ обязанъ своимъ избавленіемъ отъ голода. Сколько матерей рисуется передъ вами въ образѣ этой ласточки, также оплакивающихъ своихъ дѣтей, погибшихъ въ эпохи общественныхъ бѣдствій, и которыхъ вы не утѣшите никакими разумными доводами относительно неизбежности и величины искупительныхъ жертвъ для общаго блага.

Что край родимый, когда не стало навсегда гнѣзда, родимаго гнѣзда!*. Такова неопровержимая логика всѣхъ этихъ разбитыхъ материнскихъ сердець, и дѣйствительно, какое общее возрожденіе и благосостояніе, являющееся результатомъ бури, можетъ вознаграждать ихъ невозвратныя потери? Что въ состояніи утѣшить ихъ? И законъ, требующій искупительныхъ жертвъ, законъ, безжалостно жертвующій частными существованіями общему благу, — во всякомъ случаѣ поражаетъ васъ своимъ суровымъ, черствымъ безчеловѣчiemъ.

Такимъ образомъ всѣ стихотворенія Минскаго можно раздѣлить на два рѣзкіе отдѣла: къ первому принадлежатъ всѣ тѣ, въ которыхъ Минскій является вѣрнымъ своему призванію — художникомъ-пластикомъ, эникомъ. Стихотворенія эти отличаются своею простотою, естественностью и въ то-же время неподдѣльною поэтичностью. Таковы *Бѣлыя ночи*, *Пѣсни о родинѣ*, *На чуждомъ тѣру* и проч.

Но рядомъ съ ними вы найдете у того-же Минскаго массу стихотвореній холодныхъ, натянутыхъ, словно вымученныхъ, крайне вычурныхъ, ходульныххъ, съ претензіей на ложный титанизмъ и въ которыхъ къ довершенію всѣхъ благъ напыщенная риторика замѣняетъ истинное чувство. Особенно въ этомъ отношеніи непривлекателенъ дѣлается Минскій, когда напускаетъ на себя міровую скорбь и начинаетъ вопить о какихъ-то очень величественныхъ, но въ то-же время туманныхъ и неопредѣленныхъ началахъ...

IV.

Почти то-же самое слѣдуетъ сказать о Дмитрiѣ Сергѣевичѣ Мережковскомъ (родился въ 1865 г. и въ 1886 году кончилъ курсъ с.-петербургскаго университета со степенью кандидата). Въ большинствѣ своихъ стихотвореній онъ до сихъ поръ былъ пренеполненъ ходульными претензіями быть во что-бы-то ни стало какимъ-то интернаціональнымъ глашатаемъ превыспреннихъ фантазій. Всѣ эти его *Аввакумы*, *Сильвіо* и т. п. представляются вымученными исчадіями превыспренней, но холодной фантазіи, исполненными банальныхъ риторическихъ фразъ, повидному очень красивыхъ, но такихъ-же безжизненныхъ и мишурныхъ, какъ искусственные цвѣты съ проволочными стеблями, съ коленкоровыми листьями и батистовыми цвѣтами. — Но разъ ему случилось коснуться почвы живой русской дѣйствительности, и онъ, какъ Антей, обнаружилъ сразу такія недожинныя силы, которыхъ трудно было и ожидать отъ него, судя по всѣмъ предыдущимъ его произведеніямъ. Мы говоримъ о стихотворной повѣсти его *Впра*, напечатанной въ 1890 году въ № 3 и 4 *Русской Мысли*. Нѣтъ возможности и сравнивать это произведеніе Мережковскаго со всѣми предыдущими, — произведеніе такое-же живое, какъ сама жизнь, въ которомъ каждый стихъ трепещетъ передъ вами, задѣвая васъ за живое, и вы видите, какъ переливается въ немъ, какъ въ живомъ тѣлѣ, горячая кровь, струятся слезы, то безотрадно горькія, то утѣшительно сладкія, и вамъ жутко становится по прочтеніи повѣсти, — точно какъ будто вы сами пережили ту драму, которая въ ней развернулася передъ нами. А драма повидному такая простая и обыденная. Изображается юноша, замученный и озлобленный классическимъ воспитаніемъ и впавшій въ мрачный

пессимизмъ и скептицизмъ, совершенно не соответствующіе его молодымъ годамъ и горячей крови, струящейся въ его жилахъ. Изъ этого нравственнаго и умственнаго маразма его избавляетъ любовь, хотя дорого стоило ему это возрожденіе: онъ успѣлъ погубить своимъ напускнымъ холодомъ дѣвушку, которую полюбилъ всею душою, и лишь дорогая память о ней возбудила силы его и направила на спасительный путь общественнаго блага и пользы. Картина увяданія и смерти дѣвушки производитъ потрясающее впечатлѣніе и представляетъ собою нѣчто давно уже небывалое въ нашей литературѣ. Весьма желательно, чтобы и впредь Мережковскій, не мудрствуя лукаво, продолжалъ-бы черпать изъ живой дѣйствительности свои произведенія и осуществилъ-бы тѣ надежды, какія возбуждаетъ онъ въ каждомъ, кто прочелъ повѣсть его безъ предубѣжденій и проникся ея поэтическими красотами.

Четырьмя поэтами, рассмотрѣнными нами въ этой главѣ, исчерпывается вполне та живая струя современной поэзіи, которая имѣетъ тѣсныя точки соприкосновенія съ переживаемою нами эпохою, является созданною ею и ея выразительницею. — Въ сторонѣ отъ этой струи стоитъ рядъ поэтовъ, которыхъ можно назвать традиционными, такъ какъ они вѣрно и неизмѣнно слѣдуютъ традиціямъ чистаго искусства, завѣщеннымъ поэтами 40-хъ годовъ, рассмотрѣнными нами въ предыдущей главѣ. Таковы Алексѣй Николаевичъ Апухтинъ (родился въ 1841 г. въ Болховѣ орловской губерніи, воспитывался въ училищѣ правовѣдѣнія); таковы Константинъ Михайловичъ Фофановъ (родился въ 1862 г. въ С.-Петербургѣ, на литературное поприще выступилъ въ 1882 году); таковы кн. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ, С. А. Андреевскій, П. А. Козловъ, кн. Цертелевъ и пр. Всѣ они одарены безспорнымъ талантомъ; произведенія ихъ читаются съ удовольствіемъ; изданія раскупаются охотно. Но всѣ они страдаютъ еще въ большей степени тѣмъ-же недостаткомъ, какъ и ихъ предшественники: отсутствіемъ всякой самостоятельности, полною безличностью — произведенія ихъ напоминаютъ вамъ, то Майкова, то Полонскаго, то Тютчева, то Фета и тотчасъ же улетучиваются изъ головы по прочтеніи, не оставляя по себѣ никакого воспоминанія. Вслѣдствіе всего этого говорить о каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности и дѣлать характеристики ихъ мы считаемъ дѣломъ совершенно излишнимъ.

к о н е ц ъ .

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А.

- Аввакумъ, Мережковского, стр. 522.
Авдѣевъ, М. В., 216—219.
Авенаріусъ, В. П., 363.
Аверніевъ, Д. В., 453—454.
Австенно, В. Г., 361—362.
Аггей мудрый, рассказъ Гаршина, 393.
Адамъ Адамычъ, раз. М. Михайлова, 511.
А ей весело—она смѣется, п. Засодимскаго, 332.
Азбука, гр. Л. Толстого, 177.
Анробаты благотворительности, п. Григоровича, стр. 210.
Аксаковъ, Ив., 7, 17, 30—36.
Аксаковъ, Н., 7, 17, 30—38.
Аксаковъ, С. Т., 22, 203—209.
Антъ главнаго педагогическаго института, ст. Добролюбова, 71.
Алеша Поповичъ, был. А. Толстого, 498.
Ализиадъ, Майкова, 501.
Альбертъ, Л. Толстого, 164, 170.
Альбовъ, М. Н., 400—405.
Альбомъ, группы и портреты, Хвоцинской, 220, 222.
Американскіе поэты и романисты, ст. М. Михайлова, 512.
Анакреонъ, Ап. Майкова, 501.
Андреевскій, С. А., 523.
Андрей, поэма Тургенева, 129.
Андрей Колосовъ, пов. Тургенева, 130.
Анна Каренина, р. Л. Толстого, 160, 178, 180, 181.
Анна Михайловна, п. Хвоцинской, 219.
Анненновъ, П. В., 18, 21—25, 130, 212.
Антиварій, р. Ясинскаго, 399.
Антоновичъ, М. А., 115—119.
Антонъ Горемыка, п. Григоровича, 198, 208.
Антропологическій принципъ въ философіи, ст. Чернышевскаго, 62.
Апрасинцы, рассказъ Лейкина, 349.
Апугинъ, А. Н., 523.
Аракчеевскій сынокъ, ром. Е. А. Саліаса, 376.
Арендаторъ, повѣсть Салова, 347.
Ариушна, раз. Салтыкова, 288, 301.
Архіерейскія мелочи, Лѣскова, 358.
Аскольдова могила, ром. Загоскина, 365.
Асмодей нашего времени, ст. Антоновича, 115.
Аспидъ, п. И. Салова, 347.
Ассоціація во Франціи, Германіи и Англіи, ст. Шеллера, 328.
Ася, пов. Тургенева, 66, 134, 135.
Attalea princeps, Гаршина, 388, 390.
Африканъ, п. Михайлова, 512.
Ахметкина жена, р. Дмитриевой, 416.
Аховскій посадъ, Левитова, 258.
Ахшарумовъ, Н. А., 348, 349.
- ### Б.
- Баба, р. Голицина, 415.
Баба-Яга, ск. Некрасова, 458.
Бабушкины разказы, Мельникова, 239.
Бабье лѣто, п. О. А. Шапиръ, 417.
Бажинъ, Н. Ф., 332, 333.
Бакунинъ, М., 127.
Баранцевичъ, К. С., 403—406.
Баритонъ, п. Хвоцинской, 220.
Барчуки, р. Маркова, 343.
Батмановъ, Писемскаго, 213.
Батьна, п. Писемскаго, 214.
Бездна, р. Маркевича, 361.
Безпечальное житье, р. Шеллера, 328.
Безпечальный народъ, А. Левитова, 261, 262.
Безъ дочери, р. Крестовскаго, 359.
Безъ исхода, р. Станюковича, 336.
Безъ любви, р. О. А. Шапиръ, 417.
Безъ своей воли, р. Гл. Успенскаго, 279.
Берегъ моря, р. Маркова, 343.
Биржевыя артельщицы, р. Лейкина, 349.
Благовѣщенскій, Н. А., 323.
Благонамѣренныя рѣчи, Салтыкова, 297, 306.
Близнецы, р. Шевченко, 481.
Боборыкинъ П. Д., 338—342, 349.
Г.—Бовъ о возрастѣ искусствѣ, ст. Достоевскаго 200.
Богатый женихъ, п. Писемскаго, 213.
Богатыри времени великаго князя Владиміра по русскимъ пѣснямъ, ст. К. Аксакова, 35.
Богдане пьяный, Шевченко, 480.
Богданъ Шибининъ, р. Немировича-Данченко, 346.
Богомольцы-странники, р. Салтыкова, 300.
Богъ правду любить, Л. Толстого, 182.
Бокаль, стихотвореніе Гербея, 510.
Болотный цвѣтокъ, Ясинскаго, 312.
Большое мѣсто, р. Салтыкова, 399.
Большая медвѣдица, р. Хвоцинской, 220, 221.
Большіе корабли, ром. Клюшниковъ, 354.
Борская колонія, п. Коронина, 407.

- Борьба за жизнь, ст. Писарева, 114.
 Борьба за индивидуальность, ст. Михайловскаго, 118.
 Борьба партий во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X, ст. Чернышевскаго, 62.
 Борьба съ Западомъ въ русской литературѣ, ст. Н. Стрхова, 40.
 Ботининъ, В., 152.
 Боярщина, р. Писемскаго, 212—213.
 Брань по страсти, п. Писемскаго, 213.
 Братъ и сестра, ром. Помяловскаго, 318, 322, 325.
 Братъ и сестра, Потѣхина, 449.
 Братья Карамазовы, р. Достоевскаго, 193, 196—197.
 Братья Орловы, ром. Е. А. Салиаса, 376.
 Брегерь, п. Тургенева, 130.
 Бригадирская внучка, ром. Е. А. Салиаса, 376.
 Бригадиръ, п. Тургенева, 138.
 Бродячая Русь, С. В. Максимова, 233.
 Бродячія силы, п. Авенариуса, 363.
 Буддизмъ, его догматы, исторія и литература, соч. Васильева, ст. Добролюбова, 72.
 Бунты на Руси, П. Якушкина, 244, 245.
 Буранъ, п. Сергѣя Аксакова, 205.
 Бурмистръ, Потѣхина, 449.
 Бура, п. Авѣенко, 362.
 Бура, стих. Некрасова, 468.
 Бывальщина и сказки, Засодимскаго, 333.
 Бывые соколы, к. Писемскаго, 216.
 Бѣлые воротились, р. Данилевскаго, 234.
 Бѣлые въ Новороссіи, р. Данилевскаго, 234.
 Бѣглый, стих. Полонскаго, 507.
 Бѣгуны испасенные, соч. Помяловскаго, 318.
 Бѣдная невѣста, к. Островскаго, 422, 423, 428, 443.
 Бѣдность-не порокъ, к. Островскаго, 419, 423, 429, 433,—437.
 Бѣдные дворяне, ром. Потѣхина, 449.
 Бѣдные люди, р. Достоевскаго, 186, 197.
 Бѣдный волкъ, ск. Салтыкова, 314, 315.
 Бѣжинъ дугъ, р. Тургенева 131—132.
 Бѣлинскій, В., 2, 13, 24, 26, 44, 128, 148, 186, 209, 458.
 Бѣлыя ночи, п. Достоевскаго, 187.
 Бѣлыя ночи, стих. Минскаго, 522.
 Бѣсенонъ, п. Крестовскаго, 359.
 Бѣсы, р. Достоевскаго, 192, 195, 196, 197, 201, 351.
 Бѣшенныя деньги, ком. Островскаго, 444.
- В.**
- Вааль, др. Писемскаго, 216.
 Вакантное мѣсто, к. Потѣхина, 449.
 Ванья, стих. Некрасова, 471.
 Варенья, п. Авдѣева, 217.
 Василиса Мелентьева, истор. хроника Островскаго, 425.
 Василій Шуйскій, лет. хр. Островскаго, 425.
 Введенскій, Ир. Ив., 61.
 Великъ Богъ земли Русской, П. Якушкина, 245.
 Вечерніе огни, сборникъ стихотвореній, вып. I, Шеншина (Фета), 503.
 Вошнія воды, п. Тургенева, 135, 138.
 Вейнбергъ, П. Ис., 510, 511.
 Взбаломученное море, ром. Писемскаго, 212, 215, 216, 351, 357.
 Виленкинъ (Минскій), Н. М., 519—522.
 Виноградъ, А. А., 416—417.
 Виноуръ, ком. Л. Толстого, 182.
 Вино, стих. Некрасова, 471.
 Власть земли, оч. Гл. Успенскаго, 277—279.
 Власть тьмы, др. Л. Толстого, 182, 214, 224.
 Въ жизни, п. Крестовской, 417.
 Въ колѣи, ром. Головина, 362.
 Воевода, истор. хроника Островскаго, 425, 426, 447.
 Война за вѣру, стих. Никитина, 483.
 Волхонская барышня, пов. Эртея, 407.
 Волчиха, пов. Засодимскаго, 332.
 Волшебный мѣсяцъ, стих. Полонскаго, 507.
 Вольная пташка, пов. Михайлова, 512.
 Вольные казаки, оч. Гл. Успенскаго, 280.
 Вольные люди, ком. А. И. Пальма, 449.
 Вольтеріанецъ, ром. Вс. С. Соловьева, 376.
 Вольница и подвижники, ст. Михайловскаго, 118.
 Воля, р. Данилевскаго, 234.
 Воиларлярскій, 18.
 Вопросы жизни, ст. Н. И. Пирогова, 50.
 Воръ, стих. Некрасова, 471.
 Воспитаніе и образованіе, ст. Л. Толстого, 162, 171.
 Воспитанница, др. Островскаго, 424, 429.
 Воспоминанія, Гончарова, 159.
 Воспоминанія, разск. Баранцевича, 405.
 Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ, стих. А. Толстого, 498.
 Война и миръ, ром. Л. Толстого 160, 173—181, 224, 364, 370, 371.
 Впередъ, ром. Немировича-Данченко, 345.
 Всероссійскія идилліи, разрушаемыя розгами, ст. Добролюбова, 84.
 Встрѣча зимы, стих. Никитина, 484.
 Встрѣча, разск. Гаршина, 388, 390, 391.
 Встрѣча съ мартинистами, С. Аксакова, 205.
 Вторая правда, оч. Мачета, 407.
 Вуколь, оч. Помяловскаго, 320.
 Въ водоворотѣ, р. Писемскаго, 216.
 Въ глуши, стих. Полонскаго, 507.
 Въ гостяхъ, оч. Немировича-Данченко, 345.
 Въ дурномъ обществѣ, пов. Короленко, 410.
 Въ духѣ времени, піеса В. А. Крылова, 453.
 Въ еженыхъ рукавицахъ, ром. Немировича-Данченко, 345.
 Въ забытомъ краю, Наумова, 266.
 Въ лѣсахъ, р. Мельникова, 239.
 Въ мутной водѣ, комедія Потѣхина, 450.
 Въ ночь подъ свѣтлый праздникъ, раз. Короленко, 412.
 Въ ожиданіи лучшаго, р. Хвощинской, 220.
 Въ ожиданіи парама, п. Григоровича, 208.
 Въ осадномъ положеніи, В. А. Крылова, 453.
 Въ путь — дорогу, ром. Боборыкина, 340, 341.
 Въ разбродъ, ром. Шеллера, 328, 330.
 Въ разныя стороны, раз. Дмитріевой, 416.
 Въ совѣси искалъ я долго обвиненья, стих. А. Толстого, 498.
 Въ сороковыхъ годахъ, р. Авдѣева, 218.

- Въ средѣ умѣренности и аккуратности, Салты-
 кова, 297, 304.
 Въ странѣ, незримой нашимъ взорамъ, стих.
 А. Толстого, 498.
 Въ сумерки, раз. Чехова, 415.
 Въ тихомъ омутѣ, раз. Дмитриевой, 416.
 Въ тихомъ омутѣ, Наумова, 265.
 Въ усадьбѣ и на парадѣ, ром. Боборыкина, 341.
 Въ чемъ моя вѣра, Л. Толстого, 181.
 Въ чемъ состоятъ счастье? ст. гр. Л. Тол-
 стого, 181.
 Въ чужомъ пиру похмѣлье, др. Островскаго.
 424, 439, 443.
 Выборъ гетмана, Шевченко, 480.
 Вы все любуетесь на скалы, стих. А. Тол-
 стого, 498.
 Выдержка изъ исторіи Польши, Мордовцева,
 372.
 Вѣра, пов. Мережковскаго, 522.
 Вѣрное средство отъ разоренія, Левитова, 259.
 Вѣрочка, пов. Ясинскаго, 399.
 Вѣчный мужъ, р. Достоевскаго, 192.
- ## Г.
- Гаевскій, В. П., 18, 292.
 Галаховъ, А. А., 18, 255.
 Гамалія, поэма Шевченко, 480.
 Гамлетъ и Донъ-Кихотъ, ст. Тургенева, 134.
 Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, раз. Тургенева,
 23, 131, 135.
 Гайдамани, поэма Шевченко, 477, 480.
 Гайдамачина, повѣсть Мордовцева, 373.
 Гайна, пов. Соханской, 222.
 Гарденины, ихъ дворня, приверженцы и враги,
 ром. Эртеля, 407.
 Гаршинъ, В. М., 379, 386—395.
 Гаванганы, стих. Мея, 508.
 Гдѣ лучше? Рѣшетникова, 253.
 Гдѣ любовь, тамъ и Богъ, Л. Толстого, 182.
 Геннади, 18.
 Гербель, Н. В., 509, 510.
 Герои и толпа, ст. Михайловскаго, 118.
 Геростратъ, стих. Надсона, 515.
 Герцень, 6, 17, 29, 101, 128, 146, 218, 219, 420.
 Гетманъ, раз. Златовратскаго, 283.
 Гимнъ двѣмъ неба, стих. Чернышевскаго, 62.
 Гирь, Д. И., 336, 337.
 Глава изъ недописанной повѣсти, Альбова, 402.
 Глуховы, Рѣшетникова, 253.
 Гнилыя болота, ром. Шеллера, 328.
 Гнѣздо ласточки, стих. Никитина, 484.
 Гоголь, 1—4, 420.
 Годъ войны, оч. Немировича-Данченко, 345.
 Годъ на сѣверѣ, С. М. Максимова, 233.
 Изъ Голенищевъ-Кутузовъ, А. А., 523.
 Голицинъ (Муравлинъ), 396, 414—415.
 Головачева А. Я. (быв. Панаева, пс. Станиц-
 ка), 18, 219, 229, 230.
 Головинъ, Н. Ѳ., 31, 362.
 Голубые глаза, повѣсть Михайлова, 512.
 Голь, ром. Шеллера, 328.
 Гончаровъ, Из., 142—159, 224, 351.
 Гончаровъ, ст. Писарева, 114.
 Горе обличителю, Наумова, 245.
 Горестиза доля, раз. Терпигорева, 346.
 Горе отъ ума, ком. Грибоедова, 419, 420.
 Горе сель, деревень и городовъ, Левитова,
 260, 261.
 Горними тихо летѣла душа небесами, стих.
 А. Толстого, 498.
 Горное гнѣздо, ром. Мамина (Сибиряка), 414.
 Городъ мертвыхъ, Ясинскаго, 399.
 Горсточка родной земли, раз. Баранцевича,
 405.
 Горячее сердце, Островскаго, 443.
 Горькая судьбина, др. Писемскаго, 214, 215,
 448.
 Господа Головлевы, Салтыкова, 297, 308, 309.
 Господа Каравалевы, раз. Златовратскаго, 283.
 Господа Обносковы, ром. Шеллера, 328.
 Господа ташинцы, Салтыкова, 297, 306.
 Господинъ Прохачинъ, р. Достоевскаго, 186.
 Государство, ст. Чернышевскаго, 61.
 Государь-отрокъ, пов. Клюшниковъ, 355.
 Граждане лѣса, пов. Ахшарумова, 348.
 Гражданна, А. И. Пальма, 449.
 Грачевна, Левитова, 262.
 Грезы, стих. Надсона, тр. 515.
 Григорьевъ, Ап., 41—44.
 Григоровичъ, Д. В., 207—210.
 Гробня, стих. Некрасова, 471.
 Гробовщикъ, раз. Лейкина, 349.
 Гроза, драма Островскаго, 22, 42, 112, 424,
 425, 426, 441, 442.
 Гроза, ром. Немировича-Данченко, 345.
 Грушпа, Н. Успенскаго, 226.
 Грызуны, пов. И. Салова, 347.
 Грѣхъ да бѣда на ногу не живеть, Остров-
 скаго, 425, 430.
 Грѣшница, пов. Засодимскаго, 332.
 Грядущее, стих. Фруга, 518.
 Губернские очерки, Салтыкова (Щедрина),
 38, 288, 294, 297, 299, 300, 301, 309.
 Гутаперчевый мальчишъ, п. Григоровича 210.
- ## Д.
- Даль, оч. Немировича-Данченко, 345.
 Да, наша жизнь тебѣ мятежно, элегія Не-
 красова 463.
 Данилевскій, Г. П. 233—235, 371—372.
 Данилевскій, Н. Я., 40, 41.
 Два брата, ром. Станюковича, 336.
 Двадцать три сказки, Салтыкова, 297.
 Два міра, драм. поэма Майкова, 501.
 Два памятные дня, п. Хвоцинской, 220.
 Два портрета, И. С. Тургенева, 364, 370.
 Два пріятели, пов. Тургенева, 132.
 Два типа современныхъ философовъ, ст. Ан-
 тоновича, 115.
 Два старина, Л. Толстого, 182.
 Дворянская хандра, раз. Салтыкова, 311.
 Дворянское гнѣздо, Тургенева, 42, 134, 139, 140.
 Двойникъ, пов. Ахшарумова, 348.
 Двойникъ, пов. Достоевскаго, 186.
 Двѣ пары, пов. Эртеля, 407.
 Двѣ силы, ром. Крестовскаго, 360.
 Двѣ судьбы, поэма Майкова, 501.
 Дебютъ, раз. Баранцевича, 405.
 Девятый валъ, р. Данилевскаго, 235.
 Декабристы, Л. Толстого, 167, 173, 181.

Денщикъ и офицеръ, раз. Гаршина, 390.
 День итога, пов. Альбова, 401, 402.
 Деревня и городъ, пов. Михайлова, 512.
 Деревня, пов. Григоровича, 208.
 Деревенская жизнь помѣщика въ старые годы, ст. Добролюбова, 78.
 Деревенская неурядица, оч. Гл. Успенскаго, 276.
 Деревенскій аукционъ, Наумова, 266.
 Деревенскій пожаръ, ск. Салтыкова, 314.
 Деревенскій случай, пов. Хвоштинской, 219.
 Деревенскія будни, раз. Златовратскаго, 284.
 Деревенскія новости, стих. Некрасова, 471.
 Деревенскія письма, Н. Успенскаго, 227.
 Деревенскій торгашъ, Наумова, 266.
 Десница и шуйца Л. Толстого, ст. Михайловскаго, 118.
 Джонсонъ и Босвелъ, ст. Дружинина, 21.
 Джорджъ-Эллотъ ст. Михайлова, 512.
 Дж. Ст. Милль объ эмансипаціи женщинъ, ст. Михайлова, 512.
 Динариа, ком., Н. Я. Соловьева, 452.
 Дмитриева, В. I., 288, 416.
 Дмитрий-Самозванецъ, ист. хроника Островскаго, 425.
 Дневникъ лишняго человека, п. Тургенева, 23.
 Дневникъ писателя, Достоевскаго, 184, 186, 192, 193, 201.
 Дневникъ провинціала въ Петербургѣ, Салтыкова, 297, 306, 309.
 Добрая фея, ром. Ясинскаго, 399.
 Добровольецъ, раз. Дмитриевой, 416.
 Добролюбовъ, 66, 85.
 Довольно, п. Тургенева, 138, 140.
 Докторъ и пациентъ, Дружинина, 21.
 Докторъ Цибульна, ром. Боборыкина, 341.
 Долбая, оч. Помяловскаго, 320.
 Домашній бытъ русскихъ царей, Забѣлина, 17.
 Донъ-Жуанъ, др. поэма А. Толстого, 498—499.
 До пристани, ром. Альбова, 402.
 Дорогой цѣной, п. О. Шапиръ, 417.
 Дорожныя записки, Мельникова, 237.
 Достоевскій, Мих. 40, 184, 189, 190, 191.
 Достоевскій, Ф., 183—202, 224, 351.
 Доходное мѣсто, др. Островскаго., 424, 445.
 Драконъ, раз. А. Толстого, 498.
 Дрожининъ, С. Дм., 484.
 Другая жизнь, пов. Клошниковъ, 355.
 Другъ мой, братъ мой, стих. Надсона, 517.
 Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ, Некрасова, 460.
 Дружининъ, А. В. 21—25.
 Дудышкинъ, 52, 340.
 Дуракъ, ск. Салтыкова, 314.
 Дурочка Дуня, Майкова, 501.
 Дымъ, р. Тургенева, 135, 138, 357.
 Дѣвичьи грезы, пов. Салова, 347.
 Дѣдушка Поликарпъ, Мельникова, 239.
 Дѣдушкинъ сонъ, р. Достоевскаго, 189.
 Дѣлецъ, ст. Добролюбова, 84.
 Дѣловой романъ въ нашей литературѣ, ст. Анненкова, 22.
 Дѣльцы, ром. Боборыкина, 341.
 Дѣтство, Л. Толстого, 104, 162, 163.
 Дѣтскіе годы Багрова внука, Сер. Аксакова, 205.

Е.

Еврейя, повѣсть Е. А. Салиаса, 374.
 Елка и свадьба, Достоевскаго, 187.

Ж.

Желтая книга, сказаніе о новыхъ князьяхъ и старыхъ князьяхъ, Терпигорева, 347.
 Желѣзная дорога, Некрасова, 460.
 Жемчужниковъ, А. М., 19, 490.
 Жемчужниковъ, Вл. М., 19, 490.
 Жена ямщика, стих. Никитина, 484.
 Женитьба Бѣлугина, ком. Н. Я. Соловьева, 452.
 Женихъ изъ долговаго отдѣленія, Е. И. Чернышева, 452.
 Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова, ст. Писарева, 114.
 Женщины, ст. Михайлова, стр. 512.
 Женщины въ университетѣ, ст. Михайлова, 512.
 Жертва вечерняя, ром. Боборыкина, 341.
 Нестокій талантъ, ст. Михайловскаго, 118, 197.
 Живыя мощи, р. Тургенева, 138.
 Живыя цифры, оч. Гл. Успенскаго, 280.
 Жизнь Магомета, ст. Вашингтона Ирвинга, ст. Добролюбова, 72.
 Жизнь московскихъ закоулковъ, Левитова, 261.
 Жизнь Шупова, ром. Шеллера, 328, 331.
 Житейская школа, пов. Бажина, 333.
 Жуковский, Юл., 229.

З.

Забавы и удовольствія въ городѣ, Потѣхина, 449.
 Забытая деревня, стих. Некрасова, 471.
 Забытыя слова, Салтыкова, 297.
 Забытый рудникъ, раз. Немпровича-Данченко, 346.
 Завтракъ у предводителя, Тургенева, 448.
 Завѣщаніе, Шевченко, 481.
 Задушевные разсказы, Засодимскаго, 33.
 Зайцевъ, 109, 116, 119.
 Замѣтки о Дарвинизмѣ, ст. Михайловскаго, 118.
 Замѣтки о личности Бѣлинскаго, Гончарова, 159.
 Замѣчательное десятилѣтіе, Анненкова, 22.
 Замѣчательная богатства въ Россіи, истор. хроника Карновича, 373.
 Замѣчательныя и загадочныя личности XVIII в., истор. хроника Карновича, 373.
 За окномъ въ тѣни мелькаетъ, стих. Полонскаго, 507.
 Записки военнаго, раз. Гирса, 337.
 Записки изъ мертваго дома, ст. Достоевскаго, 188, 189, 190, 199, 200, 224, 286.
 Записки маркера, Л. Толстого, 169.
 Записки объ уженьѣ рыбы, С. Аксакова, 205.
 Записки о всемирной исторіи, Хомикова, 31.
 Записки охотника, Тургенева, 121, 126, 131—134, 198, 224.
 Записки подвальнаго жильца, раз. Альбова, 400.
 Записки причетника, Марковичъ, 226.
 Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи, Сер. Аксакова, 205.

- Записки рядового Иванова, раз. Гаршина, 389, 390.
- Записки степняка, оч. Эртеля, 407.
- Записки Тамирина, п. Авдѣва, 217.
- Запутанное дѣло, раз. Салтыкова, 293, 298.
- За рубежомъ, Салтыкова, 297.
- Засодимскій. П. В., 332—333.
- Застѣнчивость, стих. Некрасова, 468, 469.
- Засуха, Минскаго, 521.
- За сѣвернымъ полярнымъ кругомъ, очерки Мурманскаго берега, Немировича-Данченка, 345.
- Затворница, стих. Полонскаго, 507.
- Затихъ блестящій залъ, ст. Надсона, 515.
- Затишье, п. Тургенева, 132, 135.
- Захаровъ, 16.
- Зачастую, ком. Чернышева, 452.
- Здравья понятія, ром. Потапенко, 413—414.
- Земскія силы, ром. Боборыкина, 340.
- Земцы, піеса В. А. Крылова, 453.
- Зимнее утро, Сер. Аксакова, 205.
- Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ, ст. Достоевскаго, 190.
- Зимняя ночь въ деревнѣ, стих. Никитина, 484.
- Златовратскій, Н. Н., 267, 268, 280—288.
- Злая воля, рассказъ Дмитріевой, 416.
- Змѣя, что по скаламъ влечетъ свои извивы, стих. А. Толстого, 498.
- Змѣй, Н. Успенскаго, 226.
- Змѣй Тугаринъ, былина А. Толстого, 498.
- Золотыя сердца, раз. Златовратскаго, 283.
- Зотовъ, В., 18, 292.
- Зотовъ, Р., 364, 369, 370.
- ## И.
- Ивановъ, п. Авдѣва, 217.
- Ивановъ, комедія Чехова, 415.
- Иванъ Гусь, Шевченко, 477, 481.
- Иванъ Огородниковъ, пов. Салова, 347.
- Иванъ Пидюва, расповідъ Шевченко, 480.
- Иванъ Поджабринъ, оч. Гончарова, 148.
- Игрокъ, Достоевскаго, 190, 191, 197.
- Игрушечнаго дѣла людишки, ск. Салтыкова, 314.
- Идеалисты и реалисты, ром. Мордовцева, 373.
- Идеалисты 30-хъ годовъ, Анненкова, 22.
- Идиотъ, р. Достоевскаго, 192, 196, 197.
- Извозчикъ, стихотв. Некрасова, 471.
- Изъ воспоминаній о переписи, Л. Толстого, 181.
- Изъ деревни, замѣтки Шеншина (Фета), 503.
- Изъ дневника мирового посредника, Дружинина, 21.
- Изъ записокъ кн. Д. Неклюдова-Люцернъ, Л. Толстого, 164, 169, 172, 178.
- Изъ недавняго прошлаго (И одинъ въ полѣ воинъ), ром. Мачета, стр. 408.
- Изъ новыхъ, ром. Боборыкина, 341.
- Изъ огня да въ полымя, ром. Бажина, 333.
- Изъ рассказовъ о Крымской войнѣ, П. Якушкина, 244.
- Изъ семейной прозы, пов. О. А. Шапиръ, 417.
- Изъ Турина, Добролюбова, 84.
- Илья Муромецъ, был. А. Толстого, 498.
- Илья Муромецъ и богатырство кievское, Ор. Миллера, 47.
- И молотомъ, и золотомъ, ром. Шеллера, 328.
- Иппохондрия, п. Писемскаго, 213.
- Искушеніе, п. Хвоцинской, 220.
- Исповѣдь, Л. Толстого, 164, 167, 168, 178, 179, 180.
- Исповѣдь женщины, ром. Немировича-Данченка, 345.
- Испорченная жизнь, ком. Чернышева, 452.
- Испытаніе, пов. М. Крестовской, 417.
- Испытаніе, р. Хвоцинской, 220.
- Историческія параллели, ст. Михайловскаго, 118.
- Исторія лейтенанта Ергунова, пов. Тургенева, 138.
- Исторія одного города, Салтыкова, 297, 304, 305, 309.
- Исторія одного товарищества, пов. Бажина, 333.
- Исторія, пов. Новодворскаго, 382, 386.
- Исторія Ямбургскаго полка, Крестовскаго, 359.
- И. С. Тургеневъ и Л. Н. Толстой, ст. Анненкова, 22.
- Иринархъ Плутарховъ, Ясинскаго, 399.
- ## І.
- Іюльская монархія, ст. Чернышевскаго, 62.
- ## К.
- Ка-бы знала я, ка-бы вѣдала, народ. пѣсня А. Толстого, 498.
- Кавказъ, стих. Шевченко, 481.
- Казани, Л. Толстого, 162, 164, 177, 178, 229.
- Казанская крестьянка, Потѣхина, 449.
- Казимиръ Великій, стих. Полонскаго, 507.
- Какъ горѣли дрова, раз. Альбова, 402.
- Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты, стих. А. Толстого, 498.
- Калифорскій рудникъ, раз. Гирса, 337.
- Кандидатъ Куратовъ, пов. О. Шапиръ, 417.
- Каникулы или гражданскій брань, ром. Помилоскаго, 322, 326.
- Капитанъ гренадерской роты, ром. Соловьева, В. С., 376.
- Карась-идеалистъ, сказ. Салтыкова, 315.
- Кармелюнь, Марковичъ, стр. 225.
- Карновичъ, Е. П., 364, 373.
- Картина, Майкова, 501.
- Картинки общественной жизни, Станюковича, 336.
- Картины британскихъ литературныхъ нравовъ во второй половинѣ XVIII вѣка, Дружинина, 21.
- Картины семейнаго счастья, Островскаго, 422, 432.
- Карьера, раз. Новодворскаго, 383, 384, 385.
- Касимовская невѣста, ром. Соловьева В. С., 376.
- Катерина, поэма Шевченко, ст. 480.
- Качка въ бурю, стих. Полонскаго, 507.
- Каширская старина, др. Аверкиевъ, 454.
- Келють, поэма Полонскаго, 506.
- Кирѣвскій Ив., 30, 33, 35.
- Кирѣвскій, П., 240, 241.
- Китай городъ, ром. Боборыкина, 341.
- Клара Милличъ, р. Тургенева, 138.
- Клермонскій соборъ, Майкова, 501.

- Клефты, стихотв. Щербины, 509.
 Ключиновы, В. П., 354, 356.
 Книга о нѣвскихъ богатыряхъ, Авенариуса, 363.
 Княжна Острожская, пов. В. С. Соловьева, 376.
 Князь Серебряный, ром. А. Толстого, 364, 370, 404.
 Князя, ром. Голицина, 415.
 Кобзарь, Шевченко, 477.
 Ковалевскій, П., 152.
 Кавеньякъ, ст. Чернышевскаго, 62.
 Когда-же придетъ настоящій день? ст. Добролюбова, 75, 78.
 Козловъ, П. А., 523.
 Козьма Захарыч Мининъ - Сухорунъ, истор. хроника Островскаго, 425.
 Колокольчики мои, цвѣтики степные, народн. пѣсня А. Толстого, 498.
 Колокольчикъ, стихотв. Полонскаго, 507.
 Кольцо, стихотв. Лейкина, 349.
 Комедія изъ-за драмы, Чернышева, 452.
 Коминъ, п. Писемскаго, 213.
 Кому на Руси жить хорошо, Некрасова, 461, 471.
 Кому у кого учиться писать, А. Толстого, 171.
 Конецъ Неждомай улицы, раз. Альбова, 402.
 Конецъ Чертопанова, Тургенева, 138.
 Концы въ воду, ром. Ахшарумова, 348.
 Коробейники, Некрасова, 460, 471.
 Короленко, В. Г., 288, 409, 412.
 Костомаровъ, Н. И., 366, 370.
 Краевскій, 16, 52, 186, 349, 458.
 Красильниковъ, Мельникова, 239.
 Красный цвѣтокъ, раз. Гаршина, 389, 390, 395.
 Крейцера соната, А. Толстого, 180.
 Кремуцій Нордъ, др. Костомарова, 367.
 Крестовская, М. В., 417, 418.
 Крестовскій, В. В., 358, 360.
 Крестьяне-присяжные, п. Златовратскаго, 282.
 Крестьянскія дѣти, Некрасова, 460.
 Крестьянское царство, оч. Немировича-Данченко, 345.
 Критическая буря, ст. Анненкова, 22.
 Критика философскихъ предубѣждений противъ общиннаго владѣнія, ст. Чернышевскаго, 61.
 Кровавый пухъ, романъ Крестовскаго, 360.
 Кронодилъ, Достоевскаго, 198.
 Кротная, Достоевскаго, 192.
 Кружевница, пов. Михайлова, 512.
 Крушинскій, ром. Потѣхина, 449.
 Крыловъ, В. А., 439, 452, 453.
 Крымъ, Левитова, 262.
 Ксаня чудная, пов. Салиаса, 374.
 Куда ни кинь, все клинь, Паумова, 266.
 Кудеяръ, ром. Костомарова, 368, 369.
 Куланъ, поэма Никитина, 483, 484.
 Кудисы, ром. Немировича-Данченко, 345.
 Курочинъ, В. С., 215, 491, 494.
 Курочкинъ, Н. С., 349.
 Кусокъ хлѣба, пов. Лейкина, 349.
 Къ мировому, В. А. Крылова, 453.
 Къ морю, Щербины, 508.
 Къ родинѣ, стихотв. Некрасова, 459.

Л.

Лапландія и лапландцы, оч. Немировича-Данченко, 345.

- Левитовъ, А. И., 254, 263.
 Ледяной домъ, ром. Лажечникова, 365.
 Лейкинъ, Н. А., 349, 350.
 Лессингъ и его время, ст. Чернышевскаго 61, 66.
 Лирический Пантеонъ А. Ф. 1840 г., Шеншина, (Фета), 502.
 Литературныя мелочи прошлаго года, ст. Добролюбова, 82, 84.
 Литературный вечеръ, р. Гончарова, 159.
 Литературный врачъ, стих. Полонскаго, 507.
 Литературный шикъ слабаго чловѣка по поводу «Аси» Тургенева (1858 г.), ст. Анненкова, 22.
 Ловля красной рыбы въ Саратовской губерни, Потѣхина, 449.
 Лонгиновъ, Н. М., 18.
 Лотерейный билетъ, Григоровича, 207.
 Лучше поздно, чѣмъ никогда, Гончарова, 147, 154, 159.
 Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ, ст. Добролюбова, 78, 112.
 Лычины, ром. Шеллера, 328.
 Лѣсковъ, Н. С. (М. Стебницкій), 356, 358.
 Лѣсная глушь, С. П. Макинкова, 232.
 Лѣтъ, Островскаго, 443.
 Лѣтъ рубять — щепки летать, ром. Шеллера, 328.
 Лѣтъ шумить, пов. Короленко, 411.
 Лѣтшій, Писемскаго, 213, 214.
 Лѣтшій, ком. въ стих. Аверкіева, 454.
 Любили-ль вы, какъ я, стих. Надсона, 515.
 Любый дворовыхъ, пов. Крестовскаго, 359.
 Любопытный пассажъ въ исторіи русской словесности, ст. Добролюбова, 84.
 Люди и нравы современной деревни, оч. Гл. Успенскаго, 275.
 Люди сороковыхъ годовъ, р. Писемскаго, 212, 216.

М.

- Магдалина, п. Авдѣева, стр. 218.
 Майновъ, А. Н., 500, 501.
 Майновъ, В., 54, 56.
 Максиновъ, С. В., 232, 233.
 Маленькія рассказы, сборникъ Баранцевича, 406.
 Маленькій герой, Достоевскаго, 187, 188.
 Малороссійскій литературный сборникъ, Мордовцева, 373.
 Малье ребята, оч. Гл. Успенскаго, 274.
 Мальтійскій орденъ, ист. хр. Карновича, 373.
 Мамаево побоище, др. Аверкіева, 454.
 Маминъ (Сибирякъ), 414.
 Маннама, пов. Салиаса, 374.
 Маревъ, ром. Ключникова, 354, 355, 357.
 Марневичъ, Б. 360, 361.
 Марковичъ, М. А. (ис. Марко Вовчокъ), 225—226.
 Марковъ, Евг., 342—344.
 Маруся, Марковичъ, 225.
 Массоны, ром. Писемскаго, 216.
 Матеріалы для биографіи Н. А. Добролюбова, Чернышевскаго, 62.
 Матросъ, раз. Шевченко, 481.

- Махмудины дѣти, раз. Немировича-Данченко, 346.
- Мачтеть, Г. А., 407, 408.
- Медвѣди, раз. Гаршина, 390.
- Медвѣдь, Марковичъ, 225.
- Медвѣжій уголь, Мельникова, 239.
- Медовый мѣсяць, ком. Н. А. Соловьева, 452.
- Между двухъ огней, р. Авдѣева, 218.
- Между людьми, Рѣшетникова, 247, 253.
- Мелочи жизни, Салтыкова, 297, 313.
- Мельниковъ, П. И. (Печерскій), 235, 239, 371.
- Мельничка купца Чесалкина, пов. Салова, 347.
- Меренковский, Д. С., 522—523.
- Мертвое озеро, р. Станцкой, 18, 219.
- Мертвое тѣло, п. Сабцова, 231.
- Мечтатели, пов. Новодворскаго, 386.
- Мечты и звуки, стих. Некрасова, 458.
- Мей, Л. А., 507—508.
- Миллеръ, О. Ф., 45, 48.
- Миллионъ терзаній, Гончарова, 159.
- Миллоновъ, 187.
- Милютинъ, В., 13, 17, 470.
- Мими, поэма Полонскаго, 506.
- Мимоходомъ, оч. Гл. Успенскаго, 280.
- Минаевъ, Д. А., 494.
- Мировичъ, ром. Г. Данилевскаго, 371.
- Михайловъ, М. И., 511—512.
- Мирское дѣло, оч. Мачтета, 407.
- Михайловскій, Н. К., 117, 120.
- Миша и Ваня, раз. Салтыкова, 301.
- Мишура, ком. Потѣхина, 449.
- Мишура, ром., О. Шапиръ, 417.
- Млечный путь, ром. Австенко, 362.
- Молодежь, ром. Головина, 362.
- Молодость С. Тургенева, ст. Анненкова, 22.
- Молодые всходы, Ясинскаго, 399.
- Молотовъ, пов. Помяловскаго, 318, 322, 324.
- Монахъ, ром. Немировича-Данченко, 345.
- Мордовцевъ, Д. Л., 372—373.
- Морозъ-Красный носъ, поэма Некрасова, 460, 471, 472, 474.
- Морскіе рассказы, Станюковича, 336.
- Моръ, ром. Салиаса, 376.
- Московскія уличныя картины, Левитова, 261.
- Мой миръ, пов. Коронина, 407.
- Мой сосѣдь Радилловъ, Тургенева, 131.
- Мракъ, ром. Голицина, 415.
- Мудреное дѣло, пов. Ахшарумова, 348.
- Мужъ и жена, ром. Шеллера, 328.
- Мужицкій годъ, П. Я. Якушкина, 244.
- Музыкантъ-визничекъ, поэма Полонскаго, 506.
- Музыкантъ, раз. Шевченко, 481.
- Муму, Тургенева, 126, 132.
- Муть, раз. Баранцевича, 404.
- Мы побѣдили, оч. Мачтета, 407.
- Мѣсяць въ деревнѣ, Тургенева, 448.
- Мѣщане, ром. Пшжемскаго, 216.
- Мѣщанское счастье, ром. Помяловскаго, 318, 321, 324.
- Мать, Л. Толстого, стр. 170.
- Н.**
- Наблюденія одного лѣтяга, Гл. Успенскаго, 272.
- На бойномъ мѣстѣ, Островскаго, 425.
- Набѣгъ, Л. Толстого, 162.
- Навожденіе, ром. В. С. Соловьева, 376.
- На востокъ, С. В. Максимова, 233.
- На всякаго мудреца довольно простоты, Островскаго, 425.
- На горахъ, ром. Мельникова, 239.
- На границахъ человѣка, пов. Коронина, 407.
- Надежда Николаевна, пов. Гаршина, 390, 395.
- На дорогѣ, стих. Некрасова, 459, 471.
- Надсонъ, С. Я., 513, 514, 518.
- Надъ обрывомъ, ром. Шеллера, 328.
- На дѣйствительной службѣ, пов. Потапенко, 413, 414.
- На зарѣ, стих. Надсона, 515.
- Наймичка, пов. Шевченко, 477, 479.
- Наканунѣ, пов. Тургенева, 134—140, 154.
- На новую дорогу, пов. Альбова, 400.
- На ножахъ, ром. Лѣскова, 358.
- На полѣ, стихотв. Некрасова, 471.
- На порогѣ жизни, пов. О. Шапиръ, 417.
- На порогѣ къ дѣлу, ком. Н. Я. Соловьева, 452.
- На разныхъ берегахъ, ром. Шеллера, 328.
- Народное дѣло, ст. Добролюбова, 81, 84.
- Народное образованіе въ Россіи, ст. Шеллера, 328.
- Народныя пѣсни изъ собр. П. Якушкина 1868 г., 244.
- Наслѣдство, стихотв. Никитина, 484.
- Наташа, ст. Аксакова, 205.
- На то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ, ком. Станюковича, 336.
- Натурщица, пов. Ахшарумова, 348.
- Натурщица, стихотв. Полонскаго, 507.
- На улицѣ, стихотв. Некрасова, 471.
- Науомъ, Н. И., 263, 266.
- На ущербѣ, ром. Боборыкина, 341.
- На хлѣбахъ изъ милости, В. А. Кішлова, 453.
- Нахлѣбникъ, Тургенева, 424, 448.
- На чужомъ пиру, стих. Мяскаго, 522.
- Наша Наташа, раз. Винницкой, 417.
- Наша университетская наука, ст. Писарева, 97, 99, 113.
- Наше двувѣріе, С. В. Максимова, 233.
- Наше общество въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» Тургенева (1859 г.), 22.
- Наши дѣти, ст. Шеллера, 328.
- Наши нравы, ром. Станюковича, 336.
- Наши забавники, юмор. раз. Лейкина, 350.
- Нашъ другъ Неклюжевъ, ком. А. И. Пальма, 449.
- Не Божьимъ громомъ горе ударило, наодн. пѣсня А. Толстого, 498.
- Небывальщина, П. Якушкина, 244.
- Невинныя рассказы, Салтыкова, 297.
- Невольникъ, Шевченко, 477, 480, 481.
- Невольница, Марковичъ, 225.
- Не все коту масленица, Островскаго, 439, 440, 443.
- Не въ деньгахъ счастье, Чернышева, 452.
- Не въ привычку дѣло (Чудакъ-баринъ), оч. Гл. Успенскаго, 274.
- Не въ свои сани не садись, др. Островскаго, 419, 422, 423, 429, 432, 434, 439.
- Невѣдомая улица, раз. Альбова, 402.
- Недавняя встрѣча, пов. Соханской, 222.
- Недокопченныя бѣсѣды, Салтыкова, 297.

- Недреманое око, сказка Салтыкова, 314.
 Незамѣтные герои, раз. Немировича-Данченко, 346.
 Не ко двору, піеса В. А. Крылова, 453.
 Некрасовъ, Н. А., 455—474.
 Некуда, ром. Лѣскова, 357, 358.
 Немировичъ-Данченко, В. И., 344—346.
 Не начало-ли конца? Чернышевскаго, 226.
 Неосторожность, ст. Тургенева, 130.
 Не первый и не послѣдній, пов. Крестовскаго, 359.
 Непостижимая странность, ст. Добролюбова, 84.
 Непремѣнный, Мельникова, 239.
 Нерфшенный вопросъ, ст. Писарева, 105, 111.
 Не столь отдаленныя мѣста, ром. Станюковича, 336.
 Несчастливая, ст. Тургенева, 138.
 Несчастливые, поэма Некрасова, 456.
 Несчастный, раз. Шевченко, 481.
 Не съютъ, не жнутъ, Левитова, 262.
 Не такъ живи, какъ хочется, др. Островскаго, 419, 423, 437, 439, 441, 442.
 Неточка Незванова, ст. Достоевскаго, 187.
 Нива, Майкова, 501.
 Ни дна, ни покрывши, раз. Виницкой, 417.
 Никита Гайдай, распада Шивченко, 480.
 Никитинъ, И. С., 481—484.
 Нина, ром. Писемскаго, 213.
 Неунывающіе россияне, раз. Лейкина, 350.
 Новодворскій, А. С. (А. Осиповичъ), 380—386.
 Новые рассказы, сборникъ Баранцевича, 406.
 Новый Нарциссъ или влюбленный въ себя, сат. Салтыкова, 302, 303.
 Новь, р. Тургенева, 138, 383.
 Ночлеги, п. Слѣпцова, 231.
 Ночлеги извозчиковъ, стих. Никитина, 484.
 Ночь въ Венеціи, стих. Щербины, 509.
 Ночь, раз. Гаршина, 388, 390, 393.
 Нравы Растеряевой улицы, оч. Гл. Успенскаго, 268, 269, 271.
 Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ Ѳ. И. Тютчева, ст. Тургенева, 505.
 Нѣсколько словъ по поводу статьи Кирѣвскаго: О характерѣ просвѣщенія Европы, Хомякова, 35.
 Нѣтъ, легче мнѣ думать, что ты умерла, стихотв. Надсона, 515.
 Нянюшка, раз. Михайлова, 511.
- О.**
- О бенефисѣ актера московскаго театра Шумскаго, ст. Потѣхина, 449.
 Обзоръ выставки въ академіи художествъ, ст. Григоровича, 207.
 Обломовъ, Гончарова, 42, 142, 151—159.
 Обличительная литература въ первыхъ русскихъ журналахъ и стѣсненіе гласности, ст. Мордовцева, 373.
 Обманщикъ-газетчикъ и легковѣрный читатель, сказка Салтыкова, 314.
 Образование въ Европѣ и Америкѣ, ст. Шеллера, 328.
 Обрывъ, Гончарова, 142, 151—159, 351.
 Объ устройствѣ быта помѣщичьихъ крестьянъ, ст. Чернышевскаго, 61.
 Обыкновенная исторія, п. Гончарова, 142, 144, 150.
 О внутреннемъ состояніи Россіи, К. Аксакова, 34.
 Овсянниковъ, Тургенева, 131.
 О гегелевской философіи, ст. Антоновича, 115.
 О Глѣбѣ Успенскомъ, ст. Михайловскаго, 118.
 О губернскихъ очеркахъ Щедрина, ст. Чернышевскаго, 66.
 Огни, раз. Чехова, 415, 416.
 Одинъ изъ нашихъ старыхъ знакомыхъ, пов. Баранцевича, 404.
 Одиодворецъ, др. Боборыкина, 339.
 Одиодворецъ, ст. Тургенева, 131.
 О значеніи авторитета въ воспитаніи, ст. Добролюбова, 78, 84.
 О книгѣ Шапова, ст. Антоновича, 115.
 Около денегъ, ром. Ал. Потѣхина, 288, 449.
 Около любви, ром. Голицина, 415.
 19-го октября, стихотв. Никитина, 484.
 Олышанскій баринъ, пов. Салова, 347.
 О методахъ обученія грамотѣ, Л. Толстого, 171.
 Омуть, романъ Станюковича, 336.
 О мысляхъ въ произведеніяхъ изящной словесности, Анненкова, 22, 26.
 О народномъ образованіи, Л. Толстого, (Яснополянская), 171.
 О народномъ образованіи, ст. Л. Толстого, (ст. «От. Зап.»), 177.
 О необходимости держаться умѣренныхъ цифръ при опредѣленіи величины выкупа, ст. Чернышевскаго, 61.
 О нравственной стихіи въ поэзіи, ст. Ор. Миллера, 46.
 Онь, раз. Михайлова, 511.
 О поземельной собственности, ст. Чернышевскаго, 61.
 Опричина, др. Баранцевича, 404.
 О причинахъ паденія Рима, ст. Чернышевскаго, 62.
 Органъ, недѣлимое и общество, ст. Михайловскаго, 118.
 Органическое развитіе человѣка въ связи съ его умственною и нравственною дѣятельностью, ст. Добролюбова, 72.
 О русскихъ школьныхъ книгахъ, ст. Мордовцева, 373.
 Оскуднѣе, Терпигорева, стр. 346, 347.
 О Станкевичѣ, ст. Добролюбова, 73.
 О степени участія народности въ развитіи литературы, ст. Добролюбова, 77.
 Островскій, А. Н., 419—447, 448, 452.
 Отголоски, стихотв. Гербеля, 510.
 Отецъ Александръ Гавацци и его проповѣди, ст. Добролюбова, 84.
 Отецъ семейства, ком. Чернышева, 452.
 О томъ, кто такой былъ Эльфидоръ Перфильевичъ, Мельникова, 239.
 Отроческіе годы Пушкина, пов. Авенаріуса, 363.
 Отрочество, Л. Толстого, 104, 162, 163.
 Отрѣзанный ломоть, ком. Потѣхина, 449.

- Отставной солдатъ Пименовъ, раз. Салтыкова, 288.
 О Тургеневѣ, ст. Михайловскаго, 118.
 Отцы и дѣти, Тургенева, 115, 121, 134—140, 351.
 Отъ дождя въ воду, ст. Добролюбова, 84.
 Отъ совѣсти, разсказъ Дмитріевой, 416.
 О характерѣ просвѣщенія Европы, ст. Ив. Кирѣевскаго, 33, 35.
 Очень маленький ром., раз. Гаршина, 388.
 Очерки бурсы, Помяловскаго, 318, 322, 324.
 Очерки Гоголевскаго періода, ст. Чернышевскаго, 49, 61, 66.
 Очерки изъ крестьянскаго быта А. Ф. Писемскаго, ст. Дружинина, 25.
 Очерки морскаго быта, Станюковича, 336.
 Очерки Рима, Майкова, 501.
 Очерки научныхъ понятій о возникновеніи обстановки человѣческой жизни, и о ходѣ развитія человѣчества въ до историческія времена, ст. Чернышевскаго, 62.
 Очерки сибирскаго туриста Короленко, 410.
 О Щедринѣ, ст. Михайловскаго, 118.

П.

- Павловскіе очерки, Короленко, 412.
 Падежъ скота, оч. Златовратскаго, 282.
 Паденіе Польши, Мордовцева, 372.
 Пальмъ, А. И., 448—449.
 Панаевъ, Ив., 19.
 Панургово стадо, ром. Крестовскаго, 360.
 Параша, Тургенева, 128, 130.
 Паутина, Наумова, 266.
 Пахарь, стих. Некрасова, 471.
 Пахарь, ст. Григоровича, 208.
 Пахарь, стих. Никитина, 484.
 Пахомовна, раз. Салова, 288.
 Пегасъ, Тургенева, 138.
 Первая борьба, п. Хвоцинской, 220, 222.
 Первая любовь, Тургенева, 125, 134.
 Первая любовь, ром. Шеллера, 328.
 Первое апрѣля, сборн. Некрасова, 459.
 Перелетныя птицы, ром. Михайлова, 512.
 Переломъ, ром. Маркевича, 361.
 Переселенцы, р. Григоровича, 208.
 Пестренья жизнь, п. Авдѣева, 218.
 Пестряя письма, Салтыкова, 297.
 Пестрядь, Тершигорева, 347.
 Петербургская повѣсть, Ясинскаго, 399.
 Петербургская саранча, А. И. Пальма, 449.
 Петербургскій Сборникъ, Некрасова, 495.
 Петербургскій случай, А. Левитова, 261.
 Петербургскія трюшцы, книга о сытыхъ и голодныхъ, романъ въ 6 частяхъ, четыре тома, Крестовскаго, 360.
 Петербургскіе шарманщики, Григоровича, 207.
 Петербургское дѣйство, ром. Салиаса, 376.
 Петропавловскій (Коронинъ), 288, 406—407.
 Пироговъ, 49—51.
 Писаревъ, Дм. Ив., 95—114.
 Писемскій, Ал. Ф., 210—216, 351, 448.
 Писемскій, ст. Писарева, 114, 203.
 Письма знатныхъ иностранцевъ, Станюковича, 336.
 Письма изъ Сербіи, Гл. Успенскаго, 272.
 Письма къ тетенькѣ, Салтыкова, 297.
 Письма объ Испаніи, В. Боткина, 151.
 Письма о провинціи, Салтыкова, 297.
 Письма съ дороги, оч. Гл. Успенскаго, 280.
 Письмо, Наумова, 265.
 Питерщикъ, п. Писемскаго, 213, 214.
 Плевна и Шибка, ром. Немировича-Данченко, 345.
 Плещеевъ, А. Н., 485—490.
 Плотничья артель, п. Писемскаго, 914.
 По Волгѣ, оч. Немировича-Данченко, 345.
 Повѣсть Жюли, Дружинина, 21.
 Повѣсть о бѣдномъ Петрусь, Шевченко, 481.
 Повѣсть о томъ, какъ одинъ мужикъ двухъ генераловъ прокомилъ, Салтыкова, 314.
 Повѣтріе, пов. Авенариуса, 363.
 Погибшее, но милое созданіе, раз. Крестовскаго, 359.
 Погибіе и погибающіе, ст. Писарева, 114.
 По градамъ и вѣсямъ, ром. Засодимскаго, 333.
 Подвигъ матери, др. Ор. Миллера, 46.
 Подводный камень, ром. Авдѣева, стр. 104, 217.
 Подкопы, др. Писемскаго, 216.
 Подлиповцы, Рѣшетникова, 246, 252, 409.
 Подойди ко мнѣ, старушка, стих. Полонскаго, 507.
 Подростающая туманность, ст. Писар., 114.
 Подростокъ, р. Достоевскаго, 192, 196, 197.
 Подсолнечное царство, стих. Полонскаго, 507.
 По духовному завѣщанію, В. А. Крылова, 453.
 По душъ, да не по разуму, раз. Дмитріевой, 416.
 Подъ гнетомъ, сбор. Баранцевича, 406.
 Подъ Дамокловымъ мечемъ, раз. Гирса, 337.
 Пожаръ на морѣ, Тургенева, 138.
 Поленка Саксъ, Дружинина, 20, 21, 218.
 Ползуниковъ, Достоевскаго, 186.
 Поликушка, Л. Толстого, 170, 224.
 Полонскій, Я. П., 506—507.
 Поля, Майкова, 501.
 Помпадуры и помпадуриши, Салтыкова, 297, 305.
 Помяловскій, Н. Г., 318—326.
 По поводу одной очень обыкновенной исторіи, ст. Добролюбова, 84.
 По поводу очерковъ Англии и Франціи Чичерина, ст. Чернышевскаго, 61.
 Попытка не шутка, ром. Федорова (Омулевскаго), 334.
 Порабощеніе эстетики, Ахшарумова, 349.
 Порванная струна, пов. Баранцевича, 404—405.
 Поросенокъ, Н. Успенскаго, 226.
 Портретъ, пов. А. Толстого, 497.
 Поручикъ Гладковъ, к. Писемскаго, 216.
 Порѣчане, раз. Помяловскаго, 318, 322, 326.
 Посланіе до живыхъ и мертвыхъ и непороденныхъ земляковъ моихъ, Шевченко, 481.
 Послѣ войны, оч. Немировича-Данченко, 345.
 Послѣднее дѣйствіе комедіи, р. Хвоцинской, 220.
 Послѣдніе язычники, Майкова, 501.

- Послѣ обѣда въ гостяхъ, Соханской, 222.
 Потапенко, И. Н., 412—414.
 Потревоженыя тѣни, Терпигорева, 347.
 Потъхивъ, А. А., 449—451.
 Потѣшная исторія, пов. Потапенко, 414.
 Похороны, сатира Салтыкова, 310.
 Пошехонская старина, Салтыкова, 297, 317.
 Пошехонскіе рассказы, Салтыкова, 297.
 Поэтъ Державинъ, ром. Салтаса, 376.
 Поярковъ, Мельникова, 239.
 Праздничный сонъ до обѣда, Островскаго, 444.
 Прахъ, раз. Баранцевича, 406.
 Прежняя рекрутчина, п. Якушкина, 244.
 Преступленіе и наказаніе, Достоевскаго, 191—200, 351, 401.
 Признаки времени, Салтыкова, 297.
 Призраки, Тургенева, 138.
 Принцесса Володимирская, ром. Салтаса, 376.
 Причина, баллада Шевченко, 479.
 Проводы, стихотв. Некрасова, 471.
 Провинціалка, Тургенева, 448.
 Прогрессъ и опредѣленіе образованія, Л. Толстого, 172.
 Проектъ плана устройства народныхъ училищъ, Л. Толстого, 171.
 Происшествіе, раз. Гаршина, 388, 390, 395.
 Происхожденіе теоріи благотворности борьбы за жизнь, ст. Чернышевскаго, 62.
 Проклятая слава, раз. Потапенко, 413.
 Пролетаріатъ во Франціи, оч. Шеллера, 328.
 Пророкъ, ром. Шеллера, 328.
 Пророкъ, Ясинскаго, 399.
 Просвѣщенное время, к. Писемскаго, 216.
 Проселочныя дороги р. Григоровича, 210, 449.
 Прославились, ком. Н. Я. Соловьева, 452.
 Противорѣчія, разск. Салтыкова, 293, 298.
 Прохоръ и студенты, раз. Короленко, 412.
 Проѣзжіе, раз. Салтыкова, 300.
 Псковитянка, др. Мел., 508.
 Пугачевцы, ром. Е. А. Салтаса, 374, 376.
 Пунинь и Бабуринъ, Тургенева, 125, 134.
 Путеводная звѣзда, Ясинскаго, 399.
 Путевые очерки, Писемскаго, 232.
 Путевыя письма изъ Италіи, П. Ковалевскаго, 152.
 Путешествіе Радищева, ст. Тургенева, 131.
 Путешествіе Чернокижнинкова по петербургскимъ дачамъ, Дружинина, 19.
 Пучина, Островскаго, 425, 430.
 Пушкинь, А. С., 2, 4, 365, 495.
 Пушкинь и Бѣлинскій, ст. Писарева, 108.
 Пчела, сборникъ для народнаго чтенія, Щербинъ, 509.
 Пчельникъ, пов. Крестовскаго, 359.
 Пѣвцы, Тургенева, 131.
 Пѣсни жизни, стих. Омудлевскаго, 335.
 Пѣсни, Некрасова, 471.
 Пѣсни о родинѣ, стих. Минскаго, 522.
 Пѣснь торжествующей любви, Тургенева, 138.
 Пѣсня бобыля, стихотв. Никитина, 484.
 Пѣсня Еремушки, Некрасова, 467.
 Пѣсня жизни, стих. Фруга, 519.
 Пѣсня, стих. Полонскаго, 507.
 Пѣсня странника, стих. Плещеева, 485.
 Пѣсня цыганки, стих. Полонскаго, 507.
 Пять статей о русской литературѣ, Достоевскаго, 200.
- ## Р.
- Раба, ром. Баранцевича, 406.
 Развеселое житье, раз. Салтыкова, 301.
 Разговоръ, ст. Тургенева, 129—135.
 Размышленіе у параднаго подѣзда, Некрасова, 460.
 Разоренье, Гл. Успенскаго, 272.
 Раздѣлъ, к. Писемскаго, 213.
 Рассказъ Алексѣя Дмитріевича, Дружинина, 21.
 Рассказы и воспоминанія плотника, Сер. Аксакова 205.
 Рассказы изъ исторіи Англій, ст. Чернышевскаго, 62.
 Рассказъ отца Алексѣя, Тургенева, 138.
 Рассказъ покойника, Шевченко, 480.
 Рассыпались звѣзды, стих. Никитина, 484.
 Раннія грозы, ром. Крестовской, 417.
 Расколъ старообрядчества, ст. Антоновича, 115.
 Ребенокъ, др. Боборыкина, 339.
 Ревнивый мужъ, Достоевскаго, 187.
 Родина, стих. Некрасова, 456.
 Родственники, пѣса Станюковича, 336.
 Рождественская сказка, Салтыкова, 314, 315, 316.
 Роковой вопросъ, ст. Страхова, 190.
 Романъ въ девяти письмахъ, Достоевскаго, 186.
 Романъ кисейной барышни, ст. Писарева, 114, 321.
 Романъ, раз. Новодворскаго, 385.
 Россія и Европа, ст. Данилевскаго, 40.
 Рудинъ, Тургенева, 134, 139.
 Русалка, баллада Шевченко, 479.
 Русская литература, ст. Н. Страхова, 44.
 Русскіе второстепенные поэты, ст. Некрасова, 505.
 Русскіе писатели послѣ Гоголя, ст. Ор. Миллера, 47, 48.
 Русская цивилизація, сочиненная г. Жеребцовымъ, ст. Добролюбова, 73.
 Русскія женщины, поэма Некрасова, 461, 463, 469—470.
 Русскія пѣсни, собр. П. И. Якушкинымъ, 1860 г., 244.
 Русский человекъ на rendez-vous, ст. Чернышевскаго, 66.
 Русь, стихотвор. Никитина, 482, 483.
 Рыбаки, Григоровича, 208.
 Рыцарь на часъ, стих. Некрасова, 474.
 Рѣдкій праздникъ, раз. Потапенко, 414.
 Рѣка Керженецъ, Потѣхина, 449.
 Рѣшетниковъ, в. М., 246—254.
 Рядъ статей о русской литературѣ,—введеніе, ст. Достоевскаго, 190.
 Ряса, ром. Альбова, стр. 402.
- ## С.
- Савонаролла, Майкова, 501.

- Савва Шалый, др. Костомарова, 367.
 Садко, былина А. Толстого, 498.
 Саласъ-де-Турнемиръ, Е. А., 364, 373—376.
 Гр. Саласъ (Евг. Туръ), 18, 228, 374.
 Саловъ, И., 347—348.
 Салтыковъ, М. Е. (Шехринъ) 289—317.
 Самозванецъ Иоаннъ, Мордовцева, 372.
 Самозванцы, Мордовцева, 373.
 Самоуправцы, к. Писемскаго, 216.
 Сатиры и нимфа, ром. Лейкина, 350.
 Сатиры въ прозѣ, Салтыкова, 297.
 Саша, поэма Некрасова, 464, 466.
 Сбылося все, стихотвор. Надеина, 515.
 Свины, В. Слѣцова, 231.
 Свободное время, р. Хвоштинской, 220.
 Свои люди — сочтемся, (Банкротъ), ком. Островскаго, 422, 426, 428, 432.
 Своимъ судомъ, раз. Дмитриевой, 416.
 Свой хлѣбъ, Рѣшетникова, 253.
 Свѣтитъ, да не грѣетъ, др. Н. Я. Соловьева, 452.
 Свѣтъ погасъ, Ясинскаго, 399.
 Свѣтлое Христово Воскресенье, ст. Григоровича, 208.
 Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ, ст. Добролюбова, 75, 76.
 Свѣчка, Л. Толстого, 182.
 Святое искусство, пов. Потапенко, 412, 414.
 Святочные рассказы, Немировича-Данченка, 346.
 Святыя горы, оч. Немировича-Данченка, 345.
 Сдача Дорошенко, Шевченко, 480.
 Севастопольскіе рассказы, Л. Толстого, 162, 166, 167, 224.
 Секретарь его превосходительства, пов. Потапенко, 413, 414.
 Секты въ Америкѣ, ст. Шеллера, 328.
 Село Степанчиково, Достоевскаго, 189, 197.
 Село Чумбурово, пов. Михайлова, 511.
 Сельскій учитель, п. Хвоштинской, 220.
 Семейная хроника, С. Аксакова, 22, 156, 205, 206.
 Семейное счастье, Л. Толстого, 170.
 Семейство Тальниковыхъ, р. Станицкой, 219.
 Семья богатыхъ, ром. Немировича-Данченка, 345.
 Семья Кремлевыхъ, раз. Златовратскаго, 283.
 Сервилла, др. Мея, 508.
 Сергѣй Горбатовъ, ром. В. С. Соловьева, 376.
 Серьезные люди, пов. Головина, 362.
 Сибирь и каторга, С. В. Магсимова, 233.
 Сигналь, раз. Гаршина, 395.
 Сила солому ломить, Наумова, 265.
 Сильвіо, Мережковскаго, 522.
 Сиротинка, пов. кн. Одоевскаго, 37.
 Сказка о девяти братьяхъ, Марковича, 225.
 Сказки и рассказы, Салтыкова, 297, 313.
 Снежный анекдотъ, ст. Достоевскаго, 198.
 Скиталецъ, раз. Златовратскаго, 283.
 Скорбь, стихотвор. Минскаго, 520.
 Скрежетъ зубовой, ром. Авсеенко 362.
 Скрежетъ зубовой, сат. Салтыкова, 302.
 Скорбная элегія, пов. Бажина, 333.
 Скусающая публика, Гл. Успенскаго, 280.
 Скучная исторія, раз. Чехова, 415.
 Слабое сердце, Достоевскаго, 186, 197.
 Славянская весна, Данилевскаго, 234.
 Сляніе, ком. Тершгорова, 346.
 Слобода Неволя, траг. Аверкіева, 454.
 Слободинъ, р., А. И. Пальма, 449.
 Слуги, Гончарова, 159.
 Случай изъ солдатской жизни, Наумова, 265.
 Случевскій, 136.
 Слѣпой музыкантъ, раз. Короленко, 411.
 Слѣцовъ, В. Ал. 227—232.
 Смедовская долина, Григоровича, 208.
 Смерть Ивана Ильича, Л. Толстого, 182.
 Смерть Иоанна Грознаго, траг. А. К. Толстого, 448.
 Смерть малютки, стих. Полонскаго, 507.
 Смирнова, 219.
 Смутное время анабаптизма, Шеллера, 328.
 Сновидѣнія въ стихахъ и прозѣ, Достоевскаго, 190.
 Снѣгурочка, Островскаго, 446.
 Собака, Тургенева, 138.
 Собачка, ст. Григоровича, 207.
 Собесѣдникъ любителей русскаго слова, ст. Добролюбова, 71.
 Собираніе бабочекъ, С. Аксакова, 205.
 Соборяне, ром. Лѣскова, 358.
 Собраніе литературныхъ статей Н. И. Пирогова, ст. Добролюбова, 84.
 Современная идиллія, п. Авенаріуса, 363.
 Современная идиллія, Салтыкова, 297.
 Современная фізіологія и философія, ст. Антоновича, 115.
 Современная философія, ст. Антоновича, 115.
 Сожженная Москва, ром. Г. Данилевскаго, 371.
 Солидные добродѣтели, ром. Боборыкина, 341.
 Солнце и мѣсяцъ, стих. Полонскаго, 507.
 Соловки, оч. Немировича-Данченка, 345.
 Соловьевъ, В. С. 376—377.
 Соловьевъ, Н. Я., 452.
 Сонъ Макара, раз. Короленко, 409.
 Сонъ, баллада Шевченко, 477, 481.
 Сонъ Обломова, Гончарова, 143.
 Сонъ, Тургенева, 138.
 Сосѣди, сказка Салтыкова, 314.
 Соха, стихотв. Никитина, 484.
 Соханская, Н. С., (Кохановская) 222.
 Соціологическіе очерки, ст. Михайловскаго, 118.
 Слѣтая пѣсня, ком. Минаева, 494.
 Спящая красавица, Ясинскаго, 399.
 Сравнительно-критическія наблюденія надъ словеснымъ составомъ народнаго русскаго эпоса, ст. Оп. Миллера, 47.
 Ставленникъ, Рѣшетникова, 253.
 Станюковичъ, К. М., 335—336.
 Старая и новая Россія, ром. Гирса, 336, 337.
 Старая няня, стих. Полонскаго, 507.
 Старецъ, раз. Салтыкова, 288, 301.
 Старое барство, ст. Писарева, 114.
 Старое и новое, сборн. Баранцевича, 406.
 Старые годы, Мельникова, 239, 364, 371.
 Старыя гнѣзда, ром. Шеллера, 328.
 Старые знакомые, раз. Виницкой, 417.
 Старый домъ, соч. Зотова, 18.
 Старый баринъ, ком. А. И. Пальма, 449.

- Старый другъ лучше новыхъ двухъ, Островскаго, 424.
- Старый звонарь, раз. Короленко, 412.
- Статейки въ стихахъ безъ картинокъ, Некрасова, 459.
- Степанъ Рулевъ, пов. Бажина, 333.
- Степи, раз. Чехова, 415, 416.
- Степной король Лиръ, Тургенева, 138.
- Степные очерки, Левитова, 246, 256, 260, 261, 262.
- Степная тайна, ром. Засодимскаго, 333.
- Стихотворенія въ прозѣ, Тургенева, 138, 140.
- Столбы, пѣса В. А. Крылова, 453.
- Сторона наша убогая, дума Некрасова, 463, 471, 474.
- Стоячая вода, ст. Писарева, 109, 114.
- Страна холода, оч. Немировича-Данченка, 345.
- Странная исторія, Тургенева, 138.
- Страховъ, Н., 40—45.
- Страшная ночь, ком. въ стих. А. М. Жемчужникова, 490.
- Стукинъ и Хрустальниковъ, ром. Лейкина, 350.
- Стукъ-стукъ-стукъ, Тургенева, 138.
- Стучить, раз. Тургенева, 138.
- Субботы, Шевченко, 481.
- Судъ людской—не Божій, др. Потѣхина, 449, 451.
- Судьба, раз. Виницкой, 417.
- Суздальцы и суздальская критика, ст. Михайловскаго, 118.
- Сумасшествіе, стих. А. М. Жемчужникова, 490.
- Суриковъ, И. З., 475, 484.
- Сухая любовь, п. Авдѣева, 218.
- Сфинксъ, пов. Крестовскаго, 359.
- Сцены изъ сельскаго праздника, Н. Успенскаго, 226.
- Счастливые люди, Левитова, 262, 263.
- Счастливый день, Н. Я. Соловьева, 452.
- Съ двухъ сторонъ, раз. Короленко, 412.
- Съ работы, стихотв. Некрасова, 471.
- Сынъ, пов. Ксестомарова, 368.
- ### Т.
- Такъ что-же намъ дѣлать? Л. Толстого, 181.
- Тарасова нѣчь, распадѣ Шевченко, 480.
- Татьяна Борисовна и ея племянникъ, Тургенева, 131.
- Театральная карета, Григоровича, 207.
- Темное царство, Добролюбова, 78, 83, 424.
- Темныя силы, пов. Засодимскаго, 332.
- Теноръ, ром. Голицина (Муравлина), 415.
- Теорія Дарвина и общественная наука, ст. Михайловскаго, 118.
- Терентій мужъ Данилевичъ, ком. Аверкіева, 454.
- Терпигоревъ, С. Н., 340—347.
- Тише воды, ниже травы, Гл. Успенскаго, 272.
- Тишина, стих. Некрасова, 466.
- Тишь да гладь, Наумова, 266.
- Толстой, А. К., 370, 448, 490, 496—500.
- Толстой, Л. Н., 160—182.
- Тополя, баллада Шевченко, 479.
- Тоска, раз. Альбова, 402.
- То, чего не было, ск. Гаршина, 389, 390.
- Трагикъ, Ясинскаго, 399.
- Третьяковскій, 17.
- Три бѣсѣды о современномъ значеніи философіи П. А., ст. Антоновича, 115.
- Три портрета, Тургенева, 130.
- Тризна, стих. Шевченко, 477.
- Три семьи, пов. Бажина, 333.
- Три смерти, поэма Майсова, 501.
- Три страны свѣта, ром. Некрасова и Станицкой, 18, 219, 460.
- Тронутые, раз. Авсѣенко, 362.
- Тройка, стих. Некрасова, 471, 473, 474.
- Трудовой хлѣбъ, др. Островскаго, 431.
- Трудное время, В. Стѣшова, 231, 326.
- Трусъ, раз. Гаршина, 388, 390, 391, 395.
- Тургеневъ, Ив. С., 121—141, 351, 448.
- Тургеневъ, ст. Писарева, 114, 115.
- Тушино, истор. хрон. Островскаго, 425.
- Ты знаешь край, стих. А. Толстого, 499.
- Тысяча душъ, ст. Писемскаго, 78, 213, 215.
- Тѣма, пов. Салиаса, 374.
- Тютчевъ, Ф. И., 504—506.
- Тюрьма, раз. Дмитріевой, 416.
- Тюфякъ, пов. Писемскаго, 24, 213.
- Тяжелая минута, стих. Подолскаго, 507.
- Тяжелые дни, Островскаго, 424.
- ### У.
- Убогіе и нарядные, оч. Голицина (Муравлина), 414, 415.
- Убѣжище Монрепо, Салтыкова, 297, 306.
- Уголки театральнаго міра, пов. Крестовской, 417.
- Улитино дѣло, раз. Виницкой, 417.
- У людей-то въ дому—чистота, дѣлота, пѣсня Некрасова, 463.
- Умалишенный, Наумова, 266.
- Униженные и оскорбленные, р. Достоевскаго, 189, 190, 196, 197, 199.
- У Перевоза, Наумова, 266.
- Упустишь огонь—не потушишь, Л. Толстого, 182.
- Утоплена, баллада Шевченко, 479.
- Утро, стих. Никитина, 484.
- Утро молодого человѣка, Островскаго, 422.
- Успенскій, Г. И., 267—280.
- Успенскій, Н. В., 226—227.
- Устои, исторія одной деревни, пов. Златовратскаго, 284, 286.
- Утро помѣщика, Л. Толстого, 162, 163, 164.
- Ушанъ, раз. Маркова, 343.
- Уздный лекарь, Тургенева, 131.
- ### Ф.
- Фантазеръ, др. Боборыкина, 339.
- Фанфаронъ, Писемскаго, 213.
- Фаустъ, Тургенева, 129, 134.
- Федюшка, оч. Потапенко, 412.
- Фигуры и тропы московской жизни, Левитова, 261, 262.
- Физиологія Петербурга, Некрасова, 459.
- Финансовый гений, к. Писемскаго, 216.
- Фофановъ, К. М., 523.

Фрегатъ Паллада, Гончарова, 99, 142, 152, 224, 232.
Фроловъ, 127.
Фроль Скобѣевъ, ком. Аверкіева, 454.
Фругъ, С. Г., 513, 518—519.

X.

Характеристика Пушкина и Гоголя, ст. Чернышевскаго, 66.
Характеръ человѣческаго знанія, ст. Чернышевскаго, 62.
Хворь, ром. Голицина, 415.
Хвошинская, Н. Д., 219—222.
Хлѣба и зрѣлищя, ром. Шеллера, 328.
Хмурые люди, раз. Чехова, 415.
Ходить слѣзь надуваючись, народная пѣсня А. Толстого, 498.
Хозяйка, Достоевскаго, 186, 187, 196.
Холодный яръ, Шевченко, 477, 481.
Холостякъ, Тургенева, 23, 448.
Холстомѣръ, Л. Толстого, 170.
Хомяковъ, 30—38.
Хорошее житье, Н. Успенскаго, 226, 231.
Хоръ и Калинычъ, Тургенева, 131.
Христова невѣста, ром. Лейкина, 349.
Христова ночь, ск. Салтыкова, 314, 315.
Хроника села Смурина, ром. П. Засодимскаго, 288, 332, 333.
Художники, раз. Гаршина, 388, 391, 392.
Художникъ, раз. Шевченко, 481.
Художникъ и простой человѣкъ, А. Писемскаго, 22.

Ц.

Цари биржи, ром. Немировича-Данченко, 345.
Царская невѣста, др. Мея, 508.
Царь-Дѣвица, ром. В. С. Соловьева, 376.
Царь-Борисъ, траг. А. К. Толстого, 448.
Царь Федоръ Ивановичъ, траг. А. К. Толстого, 448.
Цвѣты невиннаго юмора, ст. Писарева, 104, 105, 113, 309.
Кн. Цертелевъ, 523.

Ч.

Часы, ст. Тургенева, 138.
Черная работа, оч. Гл. Успенскаго, 273, 274.
Черныи и бѣлыи, ком. Чернышева, 452.
Чернецъ, Шевченко, 480.
Черноземныя поля, ром. Маркова, 343, 344.
Чернышевскій, Н. Г., 57—67, 88—93.
Чернышевъ, И. Е., 433—452.
Черный годъ, ром. Г. Давыдовскаго, 371, 372.
Черты для характеристики русскаго простонародья, ст. Добролюбова, 80.
Четверть вѣка назадъ, ром. Маркевича, 361.
Четыре времени года, пов. Салова, 347.
Четыре дня, раз. Гаршина, 388, 390, 391, 395.
Чеховъ, А. П., 396, 415—416.
Чигиринъ, Шевченко, 481.
Чисти зубы, П. Якушкина, 244, 245.
Что дѣлать? ром. Чернышевскаго, 62, 88—93.
Что мнѣ она—не жена, не любовница, стих. Полонскаго, 507.

Что такое счастье, ст. Михайловскаго, 118.
Что такое Обломовщина? ст. Добролюбова, 78, 79.

Чужакъ, ром. Баранцевича, 405.
Чужая жена, ст. Достоевскаго, 186, 198.
Чужие грѣхи, ром. Шеллера, 328.
Чужие между своими, пов. Бакина, 333.
Чужое добро въ прокъ не идетъ, ком. Потѣхина, 450.
Чужое имя, ром. Ахшарумова, 322, 348.
Чѣмъ люди живы, Л. Толстого, 182.

III.

Шагъ за шагомъ (Свѣтловъ), ром. Оммулевскаго, 334, 335.
Шапиръ, О. А., 417.
Швачка, Шевченко, 480.
Шевченко, Т. Г., 475—481.
Шедо Фероти, ст. Писарева, 101, 102.
Шеллеръ, А. К. (Михайловъ), 327—332.
Шеншинъ (Феть) А. А., 16, 85, 495, 502—504.
Шлопотъ, робкое дыханье, стих. Фета, 503.
Школьникъ, стих. Некрасова, 466.
Шоссейный день, Левитова, 261, 262.
Шуба овечья—душа человѣчья, др. Потѣхина, 449.
Шутники, Островскаго, 425, 443.
Шуты гороховые, карт. съ нат. Лейкина, 350.

III.

Щербина, Н. В., 16, 495, 508—509.

В.

Вду-ли ночью по улицѣ темной, ст. Некрасова, 298, 468, 469.

В.

Экономическая дѣятельность, ст. Чернышевскаго, 61.
Эллада, стих. Щербины, 509.
Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны, пов. Новодворскаго, 381, 382, 383, 385.
Эртель, А. И., 288, 396, 407.
Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности, Чернышевскаго, 63—66.

Ю.

Юдифь, поэма Мея, 508.
Юморстические разказы, Чехова, 415.
Юморъ и поэзія въ Англии, ст. Михайлова, 512.
Юность, Л. Толстого, 104, 162, 163.
Юный императоръ, р. Вс. Соловьева, 376.
Юродивая, Наумова, 266.

Я.

Я вьюсь одинъ, стих. Надсона, 515.
Яковъ Пасынковъ, Тургенева, 134.
Якушкинъ, П. И., 240—245, 270.
Якъ-во то ты, Шевченко, 480.
Ясинскій, І. І. (Максимъ Бѣлинскій), 396—399.

Е.

Ефедоровъ, И. В. (Оммулевскій), 332—335.